

РЭЙ БРЭДБЕРИ

ЛУЧШАЯ ФАНТАСТИКА XX ВЕКА



45 1° по Фаренгейту
повести и рассказы

Annotation

Мастер мирового масштаба, совмещающий в литературе несовместимое. Создатель таких ярчайших шедевров, как «Марсианские хроники», «451° по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков» и так далее, и так далее. Лауреат многочисленных премий. Это Рэй Брэдбери. Его увлекательные истории прославили автора не только как непревзойденного рассказчика, но и как философа, мыслителя и психолога. Магический реализм его прозы, рукотворные механизмы радости, переносящие человека из настоящего в волшебные миры детства, чудо приобщения к великой тайне Литературы, щедро раздариваемое читателю, давно вывели Брэдбери на высокую классическую орбиту. Собранные в этой книге произведения достойное тому подтверждение.

- [Рэй Брэдбери](#)
 - [Предисловие. От редакции](#)
 - [Марсианские хроники](#)
 - [Январь 1999](#)
 - [Февраль 1999](#)
 - [Август 1999](#)
 - [Август 1999](#)
 - [Март 2000](#)
 - [Апрель 2000](#)
 - [Июнь 2001](#)
 - [Август 2001](#)
 - [Декабрь 2001](#)
 - [Февраль 2002](#)
 - [Август 2002](#)
 - [Октябрь 2002](#)
 - [Февраль 2003](#)
 - [Апрель 2003](#)
 - [Июнь 2003](#)
 - [2004–2005](#)
 - [Апрель 2005](#)
 - [Август 2005](#)
 - [Сентябрь 2005](#)
 - [Ноябрь 2005](#)

- [Ноябрь 2005](#)
- [Ноябрь 2005](#)
- [Декабрь 2005](#)
- [Апрель 2026](#)
- [Август 2026](#)
- [Октябрь 2026](#)
- [451° по Фаренгейту](#)
 - [Предисловие к изданию романа «451 градус по Фаренгейту», 1966 год](#)
 - [Часть 1](#)
 - [Часть 2](#)
 - [Часть 3](#)
- [Вино из одуванчиков](#)
- [Лето, прощай](#)
 - [I](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [II](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
 - [Глава 15](#)
 - [Глава 16](#)
 - [Глава 17](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)
 - [Глава 20](#)
 - [Глава 21](#)
 - [Глава 22](#)
 - [Глава 23](#)

- [Глава 24](#)
- [Глава 25](#)
- [Глава 26](#)
- [Глава 27](#)
- [Глава 28](#)
- [Глава 29](#)
- [Глава 30](#)
- [Глава 31](#)
- [Глава 32](#)
- [Глава 33](#)
- [Глава 34](#)
- [Глава 35](#)
- [III](#)
 - [Глава 36](#)
 - [Глава 37](#)
- [Послесловие](#)
- [Надвигается беда](#)
 - [ПРОЛОГ](#)
 - [I](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [II](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [III](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Рэй Брэдбери

451° по Фаренгейту (сборник)

Предисловие. От редакции

Когда мы готовили эту книгу к изданию, пришло печальное известие: 05 июня 2012 года ушел из жизни один из лучших фантастов в истории Рэй Брэдбери. Его друзья писатели-фантасты и миллионы читателей во всем мире откликнулись на это печальное событие в социальных сетях, в livejournal.ru и на многих других сайтах. Мы приводим здесь слова Нила Геймана — английского писателя-фантаста, из его прощания с Рэем Брэдбери (газета guardian.co.uk 06 июня 2012).

«Он был одним из тех писателей, каким другие стремятся стать. Но ни одному это не удалось». Нил Гейман

Миллионы читателей благодарят Рэя Брэдбери за то, что он научил их мечтать, любить, получать удовольствие от слов и образов, чувствовать и думать. Он воспитал несколько поколений мальчишек. Мальчишки выросли и благодарят автора за его книги, за то, чему он их научил. Вот отклики читателей с amazon.com:

«Его прекрасные истории увлекали меня в мир чудес и магии, возвращали ощущение детства. Спасибо, мистер Брэдбери».

«После того как я прочитал «451° по Фаренгейту», я начал интересоваться книгами и охотно стал читать».

«Люблю его, он Великий. Даже если это всего лишь слова книги, я чувствую тепло, когда читаю их».

«Чтение Брэдбери приносит радость. Я счастлив, что открыл для себя его рассказы лет в 11 — 12. Но и спустя 30 лет получаю огромное удовольствие, читая их».

Произведения Рэя Брэдбери — это в основном короткие рассказы (более 400), содержащие остродраматические, психологические моменты, построенные на диалогах, монологах и размышлениях героев. Но ни в одном произведении нельзя уличить автора в морализаторстве и навязывании своей точки зрения. Как бы ни развивалась ситуация, Брэдбери никогда не приводит читателя к выводу. Его рассказы волнуют, вызывают эмоции, заставляют размышлять.

«В них есть поэзия, и не имеет значения, что я много чего пропустил в детстве, того, что я почерпнул из его рассказов, было достаточно». *Нил Гейман*

Брэдбери легко меняет стили и жанры своих произведений. В рассказах одного и того же года написания можно встретить и фантастику,

и мелодраму, и детектив, и фэнтези, и исторические зарисовки. Его творчество принадлежит к «большой» внежанровой литературе, хотя его часто называют мэтром фантастики и основоположником жанра научной фантастики.

Свою прозу он называет кинематографичной: «вырывайте страницы и вставляйте текст в камеру — будет фильм». За свою жизнь он написал множество киносценариев. Отличные фильмы были сняты по ним в Голливуде, где он проводил много времени, будучи подростком, охотясь за автографами. Он описал это в одном из последних романов — «Кладбище для безумцев», в котором действие происходит на этой знаменитой киностудии.

Несмотря на талант к придумыванию сюжетов, занимательных и оригинальных, в произведениях Брэдбери важна сама атмосфера, язык, определенная магия, проникающая в окружающий мир. Что бы вы ни читали: детективную историю «Смерть — дело одинокое», или «Надвигается беда», или «451° по Фаренгейту», или мистику, или научную фантастику, или постигали магический реализм его рассказов, все это — его собственный жанр, его собственное направление в литературе.

Мальчишкой он приехал в Лос Анджелес из города Уокиган, штат Иллинойс, вместо колледжа самообразовывался в библиотеках, а потом продолжил так: «У меня прошло десять лет, чтобы написать первый сносный рассказ». И так: «Если ты хочешь быть писателем, ты должен писать каждый день. Хочется тебе или нет. Написав одну книгу, нельзя останавливаться. Это работа, но лучшая из профессий». И он стал писателем, великим, удивительным, абсолютно неподражаемым. В его произведениях море житейской мудрости, и мы понимаем, что для каждого возраста она своя.

«Нельзя жить как ребенок, который ждет не дождется Рождества с подарком под елкой. Всю свою жизнь я просыпаюсь и говорю себе: «Я жду не дождусь именно этого дня».

Брэдбери выступает за духовные ценности, фантазию и творчество. Внутренний мир человека, его мировоззрение он считает самым главным. А способность человека чувствовать, сопереживать писатель признает высшим качеством.

«Если бы мы слушались нашего разума, у нас бы никогда не было любовных отношений. У нас бы никогда не было дружбы. Мы бы никогда не пошли на это, потому что были бы циничны: «Что-то не то происходит», или «Она меня бросит», или «Я уже раз обжегся, а потому...». Глупость это. Так можно упустить всю жизнь. Каждый раз нужно прыгать

со скалы и отращивать крылья по пути вниз».

Его правила жизни порой жестоки, но в них правда.

«Не требуйте гарантий. И не ждите спасения от чего-то одного — от человека, или машины, или библиотеки. Сами создавайте то, что может спасти мир, — и если утонете по дороге, то хоть будете знать, что плыли к берегу» («451° по Фаренгейту»).

Коллеги, американские писатели-фантасты, между собой называли его «старым добрым сказочником» и очень его уважали. Сам Брэдбери в интервью отвечал, что его любимым писателем-фантастом был Жюль Верн, что он с ним одной крови: «он восхитителен, и его романы не утратят ценности, пока из мальчишек нужно будет воспитывать доброжелательных, славных, полных энтузиазма мужчин». В душе Рэй Брэдбери всегда оставался именно таким мальчишкой. Он был веселым и позитивным, улыбчивым и обаятельным в общении. Брэдбери был добрым и интеллигентным, искренне любил людей.

«Оглянувшись назад, вы увидите, что любовь была ответом на все».

Он был полон энтузиазма, который в нем не угасал никогда. Рэй Брэдбери покинул этот мир, но сделал его намного лучше. Он оставил нам красные пески и каналы Марса, человека в картинках, Хэллоуин на Среднем Западе, маленькие городки и темные карнавалы.

«Он дал людям так много поводов любить его. И мы любим». *Нил Гейман*

В сборник вошли: «Марсианские хроники» — сборник рассказов, ставший первым коммерческим успехом Рэя Брэдбери, роман «451° по Фаренгейту», написанный в рекордно короткие сроки и принесший автору мировую известность; классическое произведение «Вино из одуванчиков» и его продолжение «Лето, прощай», которого пришлось ждать полвека. Следом идет известная повесть «Надвигается беда» с темой мрачноватой мистики, загадочных символов и борьбы Добра и Зла.

Марсианские хроники

*МОЕЙ ЖЕНЕ МАРГАРЕТ С ИСКРЕННЕЙ
ЛЮБОВЬЮ*

*«Великое дело — способность удивляться, —
сказал философ. — Космические полеты снова сделали
всех нас детьми».*

Январь 1999

Ракетное лето

Только что была огайская зима: двери заперты, окна закрыты, стекла незрячие от изморози, все крыши оторочены сосульками, дети мчатся с горок на лыжах, женщины в шубах черными медведицами бредут по гололедным улицам.

И вдруг могучая волна тепла прокатилась по городку, вал горячего воздуха захлестнул его, будто нечаянно оставили открытой дверь пекарни. Зной омывал дома, кусты, детей. Сосульки срывались с крыш, разбивались и таяли. Двери распахнулись. Окна раскрылись. Дети скинули свитера. Мамаши сбросили медвежье обличье. Снег испарился, и на газонах показалась прошлогодняя жухлая трава.

Ракетное лето. Из уст в уста с ветром из дома в открытый дом — два слова: *Ракетное лето.* Жаркий, как дыхание пустыни, воздух переиначивал морозные узоры на окнах, слизывал хрупкие кружева. Льжи и санки вдруг стали не нужны. Снег, падавший на городок с холодного неба, превращался в горячий дождь, не долетев до земли.

Ракетное лето. Высунувшись с веранд под дробную капель, люди смотрели вверх на алеющее небо.

Ракета стояла на космодроме, испуская розовые клубы огня и печного жара. В стуже зимнего утра ракета творила лето каждым выдохом своих мощных дюз. Ракета делала погоду, и на короткий миг во всей округе воцарилось лето...

Февраль 1999

Илла

Они жили на планете Марс, в доме с хрустальными колоннами, на берегу высохшего моря, и по утрам можно было видеть, как миссис К ест золотые плоды, растущие из хрустальных стен, или наводит чистоту, рассыпая пригоршнями магнитную пыль, которую горячий ветер уносил вместе с сором. Под вечер, когда древнее море было недвижно и знойно, и винные деревья во дворе стояли в оцепенении, и старинный марсианский городок вдали весь уходил в себя и никто не выходил на улицу, мистера К можно было видеть в его комнате, где он читал металлическую книгу, перебирая пальцами выпуклые иероглифы, точно струны арфы. И книга пела под его рукой, певучий голос древности повествовал о той поре, когда море алым туманом застилало берега и древние шли на битву, вооруженные роями металлических шершней и электрических пауков.

Мистер и миссис К двадцать лет прожили на берегу мертвого моря, и их отцы и деды тоже жили в этом доме, который поворачивался, подобно цветку, вслед за солнцем, вот уже десять веков.

Мистер и миссис К были еще совсем не старые. У них была чистая, смуглая кожа настоящих марсиан, глаза желтые, как золотые монеты, тихие мелодичные голоса. Прежде они любили писать картины химическим пламенем, любили плавать в каналах в то время года, когда винные деревья наполняли их зеленой влагой, а потом до рассвета разговаривать под голубыми светящимися портретами в комнате для бесед.

Теперь они уже не были счастливы.

В то утро миссис К, словно вылепленная из желтого воска, стояла между колоннами, прислушиваясь к зною бесплодных песков, устремленная куда-то вдаль.

Что-то должно было произойти.

Она ждала.

Она смотрела на голубое марсианское небо так, словно оно могло вот-вот поднатужиться, сжаться и исторгнуть на песок сверкающее чудо.

Но все оставалось по-прежнему.

Истомившись ожиданием, она стала бродить между туманными колоннами. Из желобков в капителях заструился тихий дождь, охлаждая раскаленный воздух, глядя ее кожу. В жаркие дни это было все равно что войти в ручей. Прохладные струи посеребрили полы. Слышно было, как

муж без устали играет на своей книге; древние напевы не приедались его пальцам.

Она подумала без волнения: он бы мог когда-нибудь подарить и ей, как бывало прежде, столько же времени, обнимая ее, прикасаясь к ней, словно к маленькой арфе, как он прикасается к своим невозможным книгам.

Увы. Она покачала головой, отрешенно пожала плечами, чуть-чуть. Веки мягко прикрыли золотистые глаза. Брак даже молодых людей делает старыми, давно знакомыми...

Она опустилась в кресло, которое тотчас само приняло форму ее фигуры. Она крепко, нервно зажмурилась.

И сон явился.

Смуглые пальцы вздрогнули, метнулись вверх, ловя воздух. Мгновение спустя она испуганно выпрямилась в кресле, прерывисто дыша.

Она быстро обвела комнату взглядом, точно надеясь кого-то увидеть. Разочарование: между колоннами было пусто.

В треугольной двери показался ее супруг.

— Ты звала меня? — раздраженно спросил он.

— Нет! — почти крикнула она.

— Мне почудилось, ты кричала.

— В самом деле? Я задремала и видела сон!

— Днем? Это с тобой не часто бывает.

Глаза ее говорили о том, что она ошеломлена сновидением.

— Странно, очень-очень странно, — пробормотала она. — Этот сон...

— Ну? — Ему явно не терпелось вернуться к книге.

— Мне снился мужчина.

— Мужчина?

— Высокий мужчина, шесть футов один дюйм.

— Что за нелепость: это же великан, урод.

— Почему-то, — она медленно подбирала слова, — он не казался уродом. Несмотря на высокий рост. И у него — ах, я знаю, тебе это покажется вздором, — у него были голубые глаза!

— Голубые глаза! — воскликнул мистер К. — О боги!

Что тебе приснится в следующий раз? Ты еще скажешь — черные волосы?

— Как ты угадал?! — воскликнула она.

— Просто назвал наименее правдоподобный цвет, — сухо ответил он.

— Да, черные волосы! — крикнула она. — И очень белая кожа. Совершенно необычайный мужчина! На нем была странная одежда, и он спустился с неба и ласково говорил со мной.

Она улыбалась.

— С неба — какая чушь!

— Он прилетел в металлической машине, которая сверкала на солнце, — вспоминала миссис К. Она закрыла глаза, чтобы воссоздать видение. — Мне снилось небо, и что-то блеснуло, будто подброшенная в воздух монета, потом стало больше, больше и плавно опустилось на землю, — это был длинный серебристый корабль, круглый, чужой корабль. Потом сбоку отворилась дверь и вышел этот высокий мужчина.

— Работала бы побольше, тебе не снились бы такие дурацкие сны.

— А мне он понравился, — ответила она, откидываясь в кресле. — Никогда не подозревала, что у меня такое воображение. Черные волосы, голубые глаза, белая кожа! Какой странный мужчина — и, однако, очень красивый.

— Самовнушение.

— Ты недобрый. Я вовсе не придумала его намеренно, он сам явился мне, когда я задремала. Даже не похоже на сон. Так неожиданно, необычно... Он посмотрел на меня и сказал: «Я прилетел на этом корабле с третьей планеты. Меня зовут Натаниел Йорк...»

— Нелепое имя, — возразил супруг. — Таких вообще не бывает.

— Конечно, нелепое, ведь это был сон, — покорно согласилась она. — Еще он сказал: «Это первый полет через космос. Нас всего двое в корабле — я и мой друг Берт».

— Еще одно нелепое имя.

— Он сказал: «Мы из города на Земле, так называется наша планета», — продолжала миссис К. — Это его слова. Так и сказал — Земля. И говорил он не на нашем языке. Но я каким-то образом понимала его. В уме. Телепатия, очевидно.

Мистер К отвернулся. Ее голос остановил его.

— Илл! — тихо позвала она. — Ты никогда не задумывался... ну... есть ли люди на третьей планете?

— На третьей планете жизнь невозможна, — терпеливо разъяснил супруг. — Наши ученые установили, что в тамошней атмосфере слишком много кислорода.

— А как было бы чудесно, если бы там жили люди! И умели путешествовать через космос на каких-нибудь особенных кораблях.

— Вот что, Илла, ты отлично знаешь, я ненавижу эту сентиментальную болтовню. Займемся лучше делом.

Близился вечер, когда она, ступая между колоннами, источающими дождь, запела. Один и тот же мотив, снова и снова.

— Что это за песня? — рявкнул в конце концов супруг, проходя к огненному столу.

— Не знаю.

Она подняла на него глаза, удивляясь сама себе. Озадаченно поднесла ко рту руку. Солнце садилось, и по мере того, как дневной свет угасал, дом закрывался, будто огромный цветок. Между колоннами подул ветерок, на огненном столе жарко бурлило озерко серебристой лавы. Ветер перебирал кирпичные волосы миссис К, тихонько шепча ей на ухо. Она молча стояла, устремив затуманившийся взор золотистых глаз вдаль, на бледно-желтую гладь морского дна, словно вспоминая что-то.

*Глазами тост произнеси,
И я отвечу взглядом, —*

запела она тихо, медленно, нежно.

*Иль край бокала поцелуй —
И мне вина не надо.*[\[1\]](#)

Миссис К повторила мелодию, уже без слов, закрыв глаза, и руки ее словно порхали по ветру. Наконец она умолкла.

Мелодия была прекрасна.

— Впервые слышу эту песню. Ты сама ее сочинила? — строго спросил он, испытующе глядя на нее.

— Нет. Да. Право, не знаю! — Она была в смятении. — Я даже не понимаю слов, это другой язык!

— Какой язык?

Она машинально бросала куски мяса в кипящую лаву.

— Не знаю. — Через мгновение мясо было готово, она извлекла его из огня и подала мужу на тарелке. — Ах, наверно, я просто придумала весь этот вздор, только и всего. Сама не понимаю почему.

Он ничего не сказал. Смотрел, как она погружает мясо в шипящую огненную лужицу. Солнце скрылось. Медленно-медленно вошла в комнату ночь, темным вином наполнила ее до потолка, поглотив колонны и их двоих. Лишь отблески серебристой лавы озаряли лица.

Она снова стала напевать странную песню.

Он вскочил со стула и гневно прошествовал к двери.

Позднее он доел ужин один.

Встав из-за стола, потянулся, поглядел на нее и, зевая, предложил:

— Съездим на огненных птицах в город, развлечемся?

— Ты *серьезно*? — спросила она. — Ты не заболел?

— А что тут странного?

— Но мы уже полгода нигде не были!

— По-моему, неплохая мысль.

— С чего это вдруг ты так заботлив?

— Ну, хватит, — брюзгливо бросил он. — Поедешь или нет?

Она посмотрела на седую пустыню. Две белые луны вышли из-за горизонта. Прохладная вода гладила пальцы ног. Легкая дрожь пробежала по ее телу. Больше всего ей хотелось остаться здесь, сидеть тихо, беззвучно, неподвижно, пока не свершится то, чего она ждала весь день, то, что не должно было произойти и все же могло, могло случиться... Душа встрепенулась от нежного прикосновения песни.

— Я...

— Для тебя же лучше, — настаивал он. — Поехали.

— Я устала, — ответила она. — Как-нибудь в другой раз.

— Вот твой шарф. — Он подал ей флакон. — Мы уже который месяц никуда не выезжали.

— Если не считать твоих поездок в Кси-Сити два раза в неделю. — Она избегала смотреть на него.

— Дела, — сказал он.

— Дела? — прошептала она.

Из флакона брызнула жидкость, превратилась в голубую мглу и, трепеща, обвилась вокруг ее шеи.

На ровном прохладном песке, светясь, словно раскаленные угли, ожидали огненные птицы. Надуваемый ночным ветром, в воздухе плескался белый балдахин, множеством зеленых лент привязанный к птицам.

Илла легла под балдахин, и по приказу ее мужа пылающие птицы взметнулись к темному небу. Ленты натянулись, балдахин взмыл в воздух. Взвизгнув, ушли вниз пески; мимо, мимо потянулись голубые холмы, оттеснив назад их дом, колонны, источающие дождь, цветы в клетках, поющие книги, тихие ручейки на полу. Она не глядела на мужа. Ей было слышно, как он покрикивал на птиц, а те взвивались все выше, летя, словно тысячи каленых искр, словно багрово-желтый фейерверк, все дальше в небо, увлекая за собой сквозь ветер балдахин — трепещущий белый лепесток.

Она не смотрела на мелькающие внизу древние мертвые города, на дома — словно вырезанные из кости шахматы, не смотрела на древние каналы, наполненные пустотой и грезами. Над высохшими реками и сухими озерами пролетали они, будто лунный блик, будто горящий факел.

Она глядела только на небо.

Муж что-то сказал.

Она глядела на небо.

— Ты слышала, что я сказал?

— Что?

Он шумно выдохнул.

— Могла бы быть повнимательнее.

— Я задумалась.

— Никогда не знал, что ты такая любительница природы. Сегодня ты просто не отрываешь глаз от неба, — сказал он.

— Оно очень красиво.

— Я вот о чем подумал, — медленно продолжал супруг. — Не позвонить ли сегодня Халлу? Договориться, что мы приедем — на недельку, не больше! — к ним в Голубые горы. Чем не идея?..

— Голубые горы! — Она схватилась одной рукой за край балдахина и резко повернулась к нему.

— Я ведь только предлагаю.

— И когда ты думаешь ехать? — нервно спросила она.

— Да можно отправиться хоть завтра утром, — подчеркнуто небрежно бросил он. — Сама знаешь: раньше начнешь, скорее...

— Но мы еще никогда не уезжали так рано!

— Ну, в этом году в виде исключения... — Он улыбнулся. — Нам полезно переменить обстановку. Пожить в тиши, в покое. Словом, сама понимаешь. У тебя ведь нет других планов? Поедем, решено?

Она вздохнула, помедлила, потом ответила:

— Нет.

— Что? — Его возглас испугал птиц. Балдахин дернулся.

— Нет, — твердо сказала она. — Я не поеду.

Он посмотрел на нее. Разговор был окончен. Она отвернулась.

Птицы летели дальше — десять тысяч гонимых ветром угольков.

На рассвете солнце, пронизав лучами хрустальные колонны, растворило туман, на котором покоилась спящая Илла. Всю ночь она парила над полом, как бы плавая на мягком ложе из тумана, который пролился из стен, едва Илла прилегла. Всю ночь она проспала на этой

недвижной реке, точно челн среди немого потока. Теперь туман улетучивался, и наконец река спала, оставив Иллу на берегу пробуждения.

Она открыла глаза.

Над ней стоял муж. Было похоже, что он стоит тут, наблюдая, уже не один час. Почему-то Илла не могла смотреть ему в глаза.

— Тебе опять снился этот сон! — сказал он. — Ты разговаривала, не давала мне уснуть. Тебе непременно надо показаться врачу.

— Ничего со мной не случится.

— Ты много говорила во сне!

— Да? — Она поспешно села.

В комнате было холодно. Серый утренний свет проявил черты Иллы.

— Что тебе снилось?

Она молчала, вспоминая.

— Корабль. Он снова спустился с неба, и из него вышел высокий человек и заговорил со мной. Он шутил, смеялся, и мне было хорошо.

Мистер К коснулся рукой колонны. Окутанные паром струйки теплой воды вытеснили холодок из комнаты. Лицо мистера К было бесстрастно.

— А потом, — продолжала она, — этот мужчина, у которого такое странное имя — Натаниел Йорк, сказал что я прекрасна, и... и поцеловал меня.

— Ха! — крикнул муж и отвернулся, играя желваками.

— Но это всего лишь сон. — Ей стало весело.

— Ну и помалкивай про свои нелепые женские сны.

— Ты ведешь себя, как ребенок. — Она откинулась на последние ключья химического тумана. Мгновение спустя тихо рассмеялась.

— Я еще *что-то* вспомнила, — призналась она.

— Ну, *что*, говори, что! — вскричал муж.

— Илл, ты такой раздражительный!

— Говори! — потребовал он. — У тебя не должно быть секретов от меня!

На нее смотрело сверху его мрачное, суровое лицо.

— Я никогда не видела тебя таким, — ответила Илла, ей было и страшно и забавно. — Ничего такого не было, просто этот Натаниел Йорк сказал... словом, он сказал мне, что увезет меня на своем корабле, увезет на небеса, возьмет меня с собой на свою планету. Конечно, чепуха...

— Вот именно, чепуха! — Он едва не сорвал голос. — Ты бы послушала себя со стороны: заигрывать с ним разговаривать с ним, петь с ним, и так всю ночь напролет, о боги! *Послушала бы себя!*

— Илл!

— Когда он сядет? Где он опустится на своем проклятом корабле?
— Илл, не повышай голос.
— К черту мой голос! — он в гневе наклонился на и ней. — В этом твоём сне... — он стиснул ее запястье, — корабль сел в Зеленой долине, да? Отвечай!

— Ну, в долине...
— Сел сегодня, под вечер, да? — не унимался он.
— Да, да, кажется, так. Но это же только сон!
— Ладно. — Он сердито отбросил ее руку. — Хорошо, что ты не лжешь! Я слышал все, что ты говорила во сне, каждое слово. Ты сама назвала и долину, и время.

Тяжело дыша, он побрел между колоннами, будто ослепленный молнией. Постепенно его дыхание успокоилось. Она не отрывала от него глаз — уж не сошел ли он с ума!.. Наконец встала и подошла к нему.

— Илл, — прошептала она.
— Ничего, ничего...
— Ты болен.
— Нет. — Он устало, через силу улыбнулся. — Ребячество, только и всего. Прости меня, дорогая. — Он грубовато погладил ее. — Заработался. Извини. Я, пожалуй, пойду, прилягу...

— Ты так вспылел.
— Теперь все прошло. Прошло. — Он перевел дух. — Забудем об этом. Да, я вчера слышал анекдот про Уэла, хотел тебе рассказать. Ты приготовишь завтрак, я расскажу анекдот, а об этом больше не будем говорить, ладно?

— Это был только сон.
— Разумеется. — Он машинально поцеловал ее в щеку. — Только сон.

В полдень солнце палило, и очертания гор струились в его лучах.
— Ты не поедешь в город? — спросила Илла.
— В город? — Его брови чуть поднялись.
— Ты всегда уезжаешь в этот день. — Она поправила цветочную клетку на подставке. Цветы зашевелились и раскрыли голодные желтые рты.

Он захлопнул книгу.
— Нет. Слишком жарко. И поздно.
— Вот как. — Она закончила свое дело и пошла к двери. — Я скоро вернусь.
— Постой! Ты куда?

Она была уже в дверях.

— К Пао. Она пригласила меня!

— Сегодня?

— Я ее сто лет не видела. Это же недалеко.

— В Зеленой долине, если не ошибаюсь?

— Ну да, тут рукой подать, и я решила... — Она очень торопилась.

— Извини меня, — сказал он, догоняя ее с видом крайней озабоченности. — Я совершенно забыл: я же пригласил к нам сегодня доктора Нлле!

— Доктора Нлле! — Она подалась к двери.

Он поймал ее за локоть и решительно втолкнул в комнату.

— Да.

— А как же Пао...

— Пао подождет, Илла. Мы должны принять Нлле.

— Я на несколько минут...

— Нет, Илла.

— Нет?

Он отрицательно качнул головой.

— Нет. К тому же до них очень далеко идти. Через всю Зеленую долину, за большой канал, потом вниз... И сегодня очень, очень жарко, и доктору Нлле будет приятно увидеть тебя. Хорошо?

Она не ответила. Ей хотелось вырваться и убежать. Хотелось кричать. Но она только сидела в кресле, словно пойманная в западню, и с окаменевшим лицом разглядывала свои пальцы, медленно шевеля ими.

— Илла, — буркнул он, — ты останешься дома, ясно?

— Да, — сказала она после долгого молчания. — Останусь.

— Весь день?

Ее голос звучал глухо:

— Весь день.

Шли часы, а доктор Нлле все не появлялся. Казалось, муж Иллы не очень-то удивлен этим. Уже под вечер он, пробормотав что-то, подошел к стенному шкафу и достал зловещее оружие — длинную желтоватую трубку с гармошкой мехов и спусковым крючком на конце. Он обернулся — на его лице была лишенная всякого выражения маска, вычеканенная из серебристого металла, маска, которую он всегда надевал, когда хотел скрыть свои чувства; маска, выпуклости и впадины которой в точности отвечали его худым щекам, подбородку, лбу. Поблескивая маской, он держал в руках свое грозное оружие и разглядывал его. Оно непрерывно

жужжало — оружие, способное с визгом извергнуть полчища золотых пчел. Страшных золотых пчел, которые жалят, убивают своим ядом и падают замертво, будто семена на песок.

— Куда ты собрался? — спросила она.

— Что? — Он прислушивался к мехам, к зловещему жужжанию. — Раз доктор Нлле запаздывает, черта с два стану я его ждать. Пойду, поохочусь. Скоро вернусь.

А ты останешься здесь, и никуда отсюда, ясно? — Серебристая маска сверкнула.

— Да.

— И скажи доктору Нлле, что я приду. Только поохочусь.

Треугольная дверь затворилась. Его шаги удалились вниз по откосу.

Она смотрела, как муж уходит в солнечную даль, пока он не исчез. Потом вернулась к своим делам: наводит чистоту магнитной пылью, собирать свежие плоды с хрустальных стен. Она работала усердно и расторопно, но порой ею овладевала какая-то истома, и она ловила себя на том, что напевает эту странную, не идущую из ума песню и поглядывает на небо из-за хрустальных колонн.

Она затаила дыхание и замерла в ожидании.

Приближается...

Вот-вот это произойдет.

Бывают такие дни, когда слышишь приближение грозы, а кругом напряженная тишина, и вдруг едва ощутимо меняется давление — это дыхание непогоды, летящей над планетой, ее тень, порыв, марево. Воздух давит на уши, и ты натянут как струна в ожидании надвигающейся бури. Тебя охватывает дрожь. Небо в пятнах, небо цветное, тучи сгущаются, горы отливают металлом. Цветы в клетках тихонько вздыхают, предупреждая. Волосы чуть шевелятся на голове. Где-то в доме поют часы: «Время, время, время, время...» Тихо так, нежно, будто капающая на бархат вода.

И вдруг — гроза! Электрическая вспышка, и сверху непроницаемым заслоном рушатся всепоглощающие волны черного приобоя и громовой черноты.

Так было и теперь. Близилась буря, хотя небо было ясным. Назревала молния, хотя не было туч.

Илла бродила по комнатам притихшего летнего дома. В любой миг с неба может пасть молния, и будет раскат грома, клуб дыма, безмолвие, шаги на дорожке, стук в хрустальную дверь — и она *стрелой* метнется навстречу...

«Сумасшедшая Илла! — мысленно усмехнулась она. — Что за мысли

будоражат твой праздный ум?» И тут — свершилось.

Порыв жаркого воздуха, точно мимо пронеслось могучее пламя. Вихревой стремительный звук. В небе блеск, сверкание металла.

У Иллы вырвался крик.

Она побежала между колоннами, распахнула дверь. Она уставилась на горы. Но там уже ничего...

Хотела ринуться вниз по откосу, но спохватилась. Она обязана быть здесь, никуда не уходить. Доктор должен прийти с минуты на минуту, и муж рассердится, если она убежит.

Она остановилась в дверях, часто дыша, протянув вперед одну руку.

Попыталась рассмотреть что-нибудь там, где простерлась Зеленая долина, но ничего не увидела.

«Сумасшедшая! — Она вернулась в комнату. — Это все твоя фантазия. Ничего не было. Просто птица, листок, ветер или рыба в канале. Сядь. Приди в себя».

Она села.

Выстрел.

Ясный, отчетливый, зловещий звук.

Она содрогнулась.

Выстрел донесся издалека. Один. Далекое жужжание быстрых пчел. Один выстрел. А за ним второй, четкий, холодный, отдаленный.

Она опять вздрогнула и почему-то вскочила на ноги, крича, крича и не желая оборвать этот крик. Стремительно пробежала по комнатам к двери и снова распахнула ее.

Эхо стихало, уходя вдаль, вдаль...

Смолкло.

Несколько минут она простояла во дворе, бледная.

Наконец, медленно ступая, опустив голову, она побрела сквозь обрамленные колоннами покои, из одного в другой, руки ее машинально трогали вещи, губы дрожали; в сгущающемся мраке винной комнаты ей захотелось посидеть одной. Она ждала. Потом взяла янтарный бокал и стала тереть его уголком шарфа.

И вот издалека слышались шаги, хруст мелких камешков под ногами.

Она поднялась, стала в центре тихой комнаты. Бокал выпал из рук, разбился вдребезги.

Шаги нерешительно замедлились перед домом.

Заговорить? Воскликнуть: «Входи, входи же!»?

Она подалась вперед.

Вот шаги уже на крыльце. Рука повернула щеколду.

Она улыбнулась двери.

Дверь отворилась. Улыбка сбежала с ее лица.

Это был ее муж. Серебристая маска тускло поблескивала.

Он вошел и лишь на мгновение задержал на ней взгляд. Резким движением открыл мехи своего оружия, вытряхнул две мертвые пчелы, услышал, как они шлепнулись о пол, раздавил их ногой и поставил разряженное оружие в угол комнаты, а Илла, наклонившись, безуспешно пыталась собрать осколки разбитого бокала.

— Что ты делал? — спросила она.

— Ничего, — ответил он, стоя спиной к ней. Он снял маску.

— Ружье... я слышала, как ты стрелял. Два раза.

— Охотился, только и всего. Потянет иногда на охоту... Доктор Нлле пришел?

— Нет.

— Постой-ка. — Он противно щелкнул пальцами. — Ну, конечно, *теперь* я вспомнил. Мы же условились с ним на *завтра*. Я все перепутал.

Они сели за стол. Она глядела на свою тарелку, но руки ее не прикасались к еде.

— В чем дело? — спросил он, не поднимая глаз, бросая куски мяса в бурлящую лаву.

— Не знаю. Не хочется есть, — сказала она.

— Почему?

— Не знаю, просто не хочется.

В небе родился ветер; солнце садилось. Комната вдруг стала маленькой и холодной.

— Я пытаюсь вспомнить, — произнесла она в тиши комнаты, глянув в золотые глаза своего холодного, безупречно подтянутого мужа.

— Что вспомнить? — Он потягивал вино.

— Песню. Эту красивую, чудесную песню. — Она закрыла глаза и стала напевать, но песня не получилась. — Забыла. А мне почему-то не хочется ее забывать. Хочется помнить ее всегда. — Она плавно повела руками, точно ритм движений мог ей помочь. Потом откинулась в кресле. — Не могу вспомнить.

Она заплакала.

— Почему ты плачешь? — спросил он.

— Не знаю, не знаю, я ничего не могу с собой поделать. Мне грустно, и я не знаю почему, плачу — не знаю почему, но плачу.

Ее ладони стиснули виски, плечи вздрагивали.

— До завтра все пройдет, — сказал он.

Она не глядела на него, глядела только на нагую пустыню и на яркие-яркие звезды, которые высыпали на черном небе, а издали доносился крепнувший голос ветра и холодный плеск воды в длинных каналах. Она закрыла глаза, дрожа всем телом.

— Да, — повторила она, — до завтра все пройдет.

Август 1999

Летняя ночь

Люди стояли кучками в каменных галереях, растворяясь в тени между голубыми холмами. Звезды и лучезарные марсианские луны струили на них мягкий вечерний свет. Позади мраморного амфитеатра, скрытые мраком и далью, раскинулись городки и виллы, серебром отливали недвижимые пруды, от горизонта до горизонта блестели каналы. Летний вечер на Марсе, планете безмятежности и умеренности. По зеленой влаге каналов скользили лодки, изящные, как бронзовые цветки. В нескончаемо длинных рядах жилищ, извивающихся по склонам, подобно оцепеневшим змеям, в прохладных ночных постелях лениво перешептывались возлюбленные. Под факелами на аллеях, держа в руках извергающих тончайшую паутину золотых пауков, еще бегали заигравшиеся дети. Тут и там на столах, булькающих серебристой лавой, готовился поздний ужин. В амфитеатрах сотен городов на ночной стороне Марса смуглые марсиане с глазами цвета червонного золота собирались на досуге вокруг эстрад, откуда покорные музыкантам тихие мелодии, подобно аромату цветов, плыли в притихшем воздухе.

На одной эстраде пела женщина.

По рядам слушателей пробежал шелест.

Пение оборвалось. Певица поднесла руку к горлу. Потом кивнула музыкантам, они начали сначала.

Музыканты заиграли, она снова запела; на этот раз публика ахнула, подалась вперед, кто-то вскочил на ноги — на амфитеатр словно пахнуло зимней стужей. Потому что песня, которую пела женщина, была странная, страшная, необычная. Она пыталась остановить слова, срывающиеся с ее губ, но они продолжали звучать:

*Идет, блистая красотой
Тысячезвездной ясной ночи
В соровнованьи света с тьмой
Изваяны чело и очи.*

Руки певицы метнулись ко рту. Она оцепенела, растерянная.
— Что это за слова? — недоумевали музыканты.

— Что за песня?

— Чей язык?

Когда же они опять принялись дуть в свои золотые трубы, снова родилась эта странная музыка и медленно поплыла над публикой, которая теперь громко разговаривала, поднимаясь со своих мест.

— Что с тобой? — спрашивали друг друга музыканты.

— Что за мелодию ты играл?

— А ты сам что играл?

Женщина расплакалась и убежала с эстрады. Публика покинула амфитеатр. Повсюду, во всех смятенных марсианских городах, происходило одно и то же. Холод обьял их, точно с неба пал белый снег.

В темных аллеях под факелами дети пели:

*...Пришла, а шкаф уже пустой,
Остался песик с носом!*

— Дети! — раздавались голоса. — Что это за песенка? Где вы ее выучили?

— Она просто *пришла* нам в голову, ни с того ни с сего. Какие-то непонятные слова!

Захлопали двери. Улицы опустели. Над голубыми холмами взошла зеленая звезда.

На всей ночной стороне Марса мужчины просыпались от того, что лежавшие рядом возлюбленные напевали во мраке.

— Что это за мелодия?

В тысячах жилищ среди ночи женщины просыпались, обливаясь слезами, и приходилось их утешать:

— Ну, успокойся, успокойся же. Спи.

— Ну, что случилось? Дурной сон?

— Завтра произойдет что-то ужасное.

— Ничего не может произойти, у нас все в порядке.

Судорожное всхлипывание.

— Я чувствую, это надвигается все ближе, ближе, *ближе!*..

— С нами ничего не может случиться. Полно! Спи. Спи...

Тихо на предутреннем Марсе, тихо, как в черном студенном колодце, и свет звезд на воде каналов, и в каждой комнате дыхание свернувшихся калачиком детей с зажатыми в кулачках золотыми пауками, и возлюбленные спят рука в руке, луны закатились, погашены факелы, и

безлюдны каменные амфитеатры.

И лишь один-единственный звук, перед самым рассветом: где-то в дальнем конце пустынной улицы одиноко шагал во тьме ночной сторож, напевая странную, незнакомую песенку...

Август 1999

Земляне

Вот привязались, стучат и стучат!

Миссис Ттт сердито распахнула дверь.

— Ну, в чем дело?

— Вы говорите *по-английски*? — Человек, стоявший у входа, опешил.

— Говорю, как умею, — ответила она.

— *Чистейший английский язык!*

Человек был одет в какую-то форму. За ним стояли еще трое; все они были заметно взволнованы — сияющие, измазанные с головы до ног.

— Что вам угодно? — резко спросила миссис Ттт.

— Вы — *марсианка!* — Человек улыбался. — Это слово вам, конечно, незнакомо. Так говорят у нас, на Земле. — Он кивнул на своих спутников. — Мы с Земли. Я — капитан Уильямс. Мы всего час назад сели на Марсе. Вот прибыли. *Вторая* экспедиция! До нас была Первая экспедиция, но ее судьба нам не известна. Так или иначе, мы прилетели. И вы — первый житель Марса, которого мы встретили!

— Марсианка? — Брови ее взметнулись.

— Я хочу сказать, что вы живете на четвертой от Солнца планете. Точно?

— Элементарная истина, — фыркнула она, меряя их взглядом.

— А мы, — он прижал к груди свою пухлую розовую руку, — мы с Земли. Верно, ребята?

— Так точно, капитан! — откликнулся хор.

— Это планета Тирр, — сказала она, — если вам угодно знать ее настоящее имя.

— Тирр, Тирр. — Капитан устало рассмеялся. — *Чудесное* название! Но скажите же, добрая женщина, как объяснить, что вы так великолепно говорите по-английски?

— Я не говорю, — ответила она, — я думаю. Телепатия. Всего хорошего!

И она хлопнула дверью.

Мгновение спустя этот ужасный человек уже снова стучал.

Она распахнула дверь.

— Ну, что еще? — спросила она.

Он стоял на том же месте и силился улыбнуться, но уже без прежней

уверенности. Он протянул к ней руки.

— Мне кажется, вы не совсем *поняли*...

— Чего? — отрезала она.

Его глаза округлились от изумления.

— Мы прилетели с *Земли*!

— Мне некогда, — сказала она. — У меня сегодня куча дел — обед, уборка, шитье, всякая всячина... Вам, вероятно, нужен мистер Ттт, так он наверху, в своем кабинете.

— Да, да, — озадаченно произнес человек с Земли, моргая. — Ради бога, позовите мистера Ттт.

— Он занят. — И она снова захлопнула дверь.

На сей раз стук был уж совсем неприличным.

— Знаете что! — вскричал человек, едва дверь распахнулась. Он ворвался в прихожую, словно решил взять неожиданностью. — Так не принимают гостей!

— Мой чистый пол! — возмутилась она. — Грязь! Убирайтесь прочь! Если хотите войти в мой дом, сперва почистите обувь.

Человек испуганно посмотрел на свои грязные башмаки.

— Сейчас не время придирааться к пустякам, — решительно заявил он. — Такое событие! Его нужно отпраздновать!

Он упорно глядел на нее, словно это могло заставить ее понять, чего они хотят.

— Если мои хрустальные булочки перестояли в духовке, — закричала она, — то я вас поленом!..

И она поспешила к маленькой, пышущей жаром печке. Потом вернулась — раскрасневшаяся, потная. Ярко-желтые глаза, смуглая кожа, худенькая и юркая, как насекомое... Резкий, металлический голос.

— Обождите здесь. Я пойду посмотрю, может быть, и позволю вам на минутку зайти к мистеру Ттт. Какое там у вас дело к нему?

Человек выругался так, словно она ударила его молотком по пальцу.

— Скажите ему, что мы прилетели с Земли, что это впервые!

— Что впервые? — Она подняла вверх смуглую руку. — Ладно, это неважно. Я сейчас.

Звуки ее шагов прошелестели по переходам каменного дома.

А снаружи было невероятно синее, жаркое марсианское небо — недвижимое, будто глубокое теплое море. Над марсианской пустыней, словно над огромным кипящим котлом, струилось марево. На вершине пригорка неподалеку стоял, покосившись, небольшой космический корабль. От него к двери каменного дома протянулась цепочка крупных

следов.

Сверху, со второго этажа, донеслись возбужденные голоса. Люди у двери поглядывали друг на друга, переминались с ноги на ногу, поправляли пояса. Наверху что-то прорычал мужской голос. Женский голос ответил. Через четверть часа земляне от нечего делать стали слоняться взад-вперед по кухне.

— Закурим? — сказал один из них.

Другой достал сигареты, они закурили. Они выдыхали неторопливые бледные струйки дыма. Разгладили складки курток, поправили воротнички. Голоса наверху продолжали гудеть и журчать. Командир глянул на свои часы.

— Двадцать пять минут, — заметил он. — Что у них там происходит?

Он подошел к окну и выглянул наружу.

— Жаркий денек, — сказал один из космонавтов.

— Да уж, — лениво протянул другой, разморенный полуденным зноем.

Гул голосов наверху сменился глухим бормотанием, потом и вовсе стих. Во всем доме — ни звука. Только собственное дыхание слышно.

Целый час прошел в безмолвии.

— Уж не случилось ли из-за нас какой беды? — произнес командир, подходя к двери гостиной и заглядывая туда.

Мисс Ттт стояла посреди комнаты, поливая цветы.

— А я все думаю, что я такое забыла... — сказала она, заметив капитана. Она вышла на кухню. — Извините. — Она протянула ему клочок бумаги. — Мистер Ттт слишком занят. — Она повернулась к своим кастрюлям. — Да и все равно вам нужен не он, а мистер Ааа. Пойдите с этой запиской на соседнюю усадьбу возле голубого канала, там мистер Ааа расскажет вам все, что вы хотите знать.

— Нам ничего не надо узнавать, — возразил командир, надув толстые губы.

— Мы и так уже знаем.

— Вы получили записку, что еще вам надо? — резко спросила она. Больше они ничего не могли от нее добиться.

— Ладно, — сказал командир. Ему все еще не хотелось уходить. Он стоял с таким видом, будто чего-то ждал. Точно ребенок, глядящий на голую рождественскую елку. — Ладно, — повторил он. — Пошли, ребята.

И все четверо вышли из дома в душное безмолвие летнего дня.

Полчаса спустя мистер Ааа, который восседал в своей библиотеке,

прихлебывая электрическое пламя из металлической чаши, услышал голоса снаружи, на мощеной дорожке. Он высунулся из окна и уставился на четверку одетых в одинаковую форму людей, которые, щурясь, глядели на него.

— Вы мистер Ааа? — справились они.

— Я.

— Нас послал к вам мистер Ттт! — крикнул командир.

— Что за причина? — спросил мистер Ааа.

— Он был занят!

— Ну, знаете, это... — презрительно произнес мистер Ааа. — Уж не думает ли он, что мне больше нечего делать, как развлекать людей, которыми ему некогда заниматься?

— Сейчас это несущественно, сэр! — крикнул командир.

— Для меня — существенно. У меня накопилась куча книг, их нужно прочесть. Мистер Ттт совсем не считается с другими. Он не впервые ведет себя так бесцеремонно по отношению ко мне. И прошу не размахивать руками, сударь, дайте мне кончить. Вам следует быть повнимательнее. Я привык к тому, что люди слушают, когда я говорю. И потрудитесь выслушать меня с должным почтением, иначе я вообще не стану с вами разговаривать.

Четверо людей внизу растерянно топтались, разинув рты. У капитана на лбу вздулись жилы и даже блеснули слезы на глазах.

— Ну, так вот, — продолжал поучать мистер Ааа, — как, по-вашему, хорошо ли со стороны мистера Ттт вести себя так неучтиво?

Четверка недоуменно смотрела на него сквозь дымку знойного дня. Капитан не стерпел:

— Мы прилетели с Земли!

— По-моему, он ведет себя просто не по-джентельменски, — брюзжал мистер Ааа.

— Космический корабль. Мы прилетели на ракете. Вот она!

— И ведь он не в первый раз позволяет себе такое безобразие.

— Понимаете — с Земли!

— Он у меня дождется, я позвоню и отчитаю его, да-да.

— Мы четверо — я и вот эти трое — экипаж моего корабля.

— Вот возьму и позвоню сейчас же!

— Земля. Ракета. Люди. Полет. Космос.

— Позвоню и всыплю ему как следует! — крикнул мистер Ааа и пропал из окна, точно кукла в театре.

Было слышно, как по какому-то неведомому аппарату завязалась

перебранка. Капитан и его команда стояли во дворе, тоскливо поглядывая на свою красавицу ракету — такую изящную, стройную и родную.

Мистер Ааа вынырнул в окошке, торжествуя:

— Я его на дуэль вызвал, клянусь честью! Слышите — дуэль!

— Мистер Ааа, — терпеливо начал капитан.

— Застрелю его насмерть, так и знайте!

— Мистер Ааа, прошу вас, выслушайте меня. Мы пролетели шестьдесят миллионов миль.

Мистер Ааа впервые обратил внимание на капитана.

— Постойте, как вы сказали — откуда вы?

Лицо капитана осветилось белозубой улыбкой. Он шепнул своим:

— Наконец-то, *теперь* все в порядке! — И громко мистеру Ааа: — Шестьдесят миллионов миль — с планеты Земля!

Мистер Ааа зевнул.

— В это время года — от силы пятьдесят миллионов, не больше. — Он взял в руки какое-то угрожающего вида оружие. — Ну мне пора. Заберите свою дурацкую записку, хотя я не понимаю, какой вам от нее прок, и ступайте через вон тот бугор в городок, он называется Иопр, там изложите все мистеру Иии. Он именно тот человек, который вам нужен. А не мистер Ттт, этот кретин, — уж я позабочусь о том, чтобы его прикончить. И не я — это не по моей линии.

— Линии, линии! — передразнил его командир. — При чем тут линия, когда надо принять людей с Земли?

— Не говорите глупостей, это всем известно! — Мистер Ааа сбежал по лестнице. — Всего хорошего!

И он помчался по дорожке, точно взбесившийся кронциркуль.

Космонавты были совершенно ошарашены. Наконец капитан сказал:

— Нет, мы все-таки найдем кого-нибудь, кто нас выслушает.

— Что, если уйти, а потом вернуться, — уныло произнес один из его товарищей. — Взлететь и снова сесть. Чтобы дать им время очухаться и подготовить встречу.

— Может быть, так и сделаем, — буркнул измученный капитан.

Городок бурлил. Марсиане входили и выходили из домов, они приветствовали друг друга, на них были маски — золотые, голубые, розовые, ради приятного разнообразия, маски с серебряными губами и бронзовыми бровями, маски улыбающиеся и маски хмурающиеся, сообразно нраву владельца.

Земляне, все в испарине после долгого перехода, остановились и

спросили маленькую девочку, где живет мистер Иии.

— Вон там, — кивком указала девочка.

Капитан нетерпеливо, осторожно опустился на одно колено и заглянул в ее милое детское личико.

— Послушай, девочка, что я тебе расскажу.

Он посадил ее себе на колено и ласково сжал своими широкими ладонями ее смуглые ручонки, словно приготовился рассказать ей сказку на ночь, сказку, которую складывают в уме не торопясь, с множеством обстоятельных и счастливых подробностей.

— Понимаешь, малютка, с полгода тому назад на Марс прилетала другая ракета. В ней был человек по имени Йорк со своим помощником. Мы не знаем, что с ними случилось. Быть может, они разбились. Они прилетели на ракете. И мы, мы тоже прилетели на ракете. Вот бы ты на нее посмотрела! Большая-пребольшая ракета! Так что мы — *Вторая* экспедиция, а перед нами была Первая. Мы долго летели, с самой Земли...

Девочка бездумно высвободила одну руку и опустила на лицо золотую маску, выражающую безразличие. Потом достала игрушечного золотого паука и уронила его на землю, а капитан все твердил свое. Игрушечный паук послушно вскарабкался ей на колени, она же безучастно наблюдала за ним сквозь щелочки равнодушной маски: капитан ласково встряхнул ее и продолжал втолковывать ей свою историю.

— Мы — земляне, — говорил он. — Ты мне веришь?

— Да. — Девчурка искоса глядела, что чертят в пыли пальчики ее ног.

— Ну вот и умница. — Командир наполовину добродушно, наполовину злобно ущипнул ее за руку, чтобы заставить девочку глядеть на него. — Мы построили себе ракету. Ты *веришь*?

Девочка сунула в нос палец.

— Ага.

— И... нет-нет, дружок, вынь пальчик из носа... и я, командир космического корабля, и...

— Еще никогда в истории никто не выходил в космос на такой большой ракете, — продекларировала крошка, зажмурив глазки.

— Восхитительно! Как ты угадала?

— Телепатия. — Она небрежно вытерла пальчик о колечку.

— Ну? Неужели это тебе ничуть не интересно? — вскричал командир. — Разве ты *не* рада?

— Вы бы лучше пошли поскорее к мистеру Иии. — Она уронила игрушку на землю. — Он охотно поговорит с вами.

И она убежала, сопровождаемая по пятам игрушечным пауком.

Командир сидел на корточках, протянув руку к девочке и глядя ей вслед. Он почувствовал, как на глаза навертываются слезы. Посмотрел на свои пустые руки, беспомощно открыв рот. Товарищи стояли рядом, глядя на собственные тени. Они сплюнули на камни мостовой...

Мистер Иии сам отворил дверь. Он торопился на лекцию, но готов был уделить им минуту, если они побыстрее войдут и скажут, что им надо...

— Немного внимания, — сказал капитан, устало поднимая опухшие веки. — Мы — с Земли, у нас тут ракета, нас четверо — три космонавта и командир, мы совершенно вымотались, хотим есть, нам бы найти где поспать. И пусть кто-нибудь вручит нам ключи от города или что-нибудь в этом роде, пусть нам пожмут руки, крикнут «ура», скажут: «Поздравляем, старики!» Вот, пожалуй, и все.

Мистер Иии был долговязый ипохондрик, желтоватые глаза спрятаны за толстыми синими кристаллами очков. Наклонившись над письменным столом, он задумчиво перелистывал какие-то бумаги, то и дело пронизывая своих гостей пытливым взглядом.

— Боюсь, у меня нет здесь бланков. — Он перерыл все ящики стола. — Куда я их задевал? — Он нахмурился. — Где-то... где-то здесь... А, вот они! Прощу вас! — Он решительно протянул капитану бумаги. — Вам придется это подписать.

— Читать всю эту белиберду?

Толстые стекла очков воззрились на капитана.

— Но вы ведь сами сказали, что вы с Земли? В таком случае вам остается только подписать.

Капитан поставил свою подпись.

— Команда тоже должна подписаться?

Мистер Иии поглядел на него, поглядел на трех остальных и разразился издевательским смехом.

— *Им* тоже подписаться?! Ха-ха-ха! Это великолепно! Они... они... — У него катились слезы по щекам. Он хлопнул себя рукой по колену и согнулся, давась смехом, рвущимся из широко разинутого рта. Он уцепился за стол. — *Им* — подписаться!..

Космонавты нахмурились.

— Что тут смешного?

— *Им* подписаться! — выдохнул мистер Иии, обессиленный хохотом. — Еще бы не смешно! Я обязательно расскажу об этом мистеру Ыыы! — Он поглядел на подписанные бланки, продолжая смеяться. — Как

будто все в порядке. — Он кивнул. — Даже согласие на эвтаназию, если в конечном счете это окажется необходимым. — Он рассыпался мелким смешком.

— Согласие на *что*?

— Ладно, хватит. У меня для вас кое-что есть. Вот. Возьмите этот ключ.

Капитан вспыхнул.

— О, это великая честь.

— Это не от города, болван! — рявкнул мистер Иии. — Ключ от Дома. Ступайте по коридору, отоприте большую дверь, войдите и хорошенько захлопните за собой. Можете там переночевать. А утром я пришлю к вам мистера Ыы.

Капитан нерешительно взял ключ. Он стоял понурившись. Его товарищи не двигались с места. Казалось, из них выкачали всю их кровь, всю ракетную лихорадку. Они совершенно выдохлись.

— Ну, что еще? В чем дело? — спросил мистер Иии. — Чего вы ждете? Чего хотите? — Он подошел вплотную к капитану и, наклонив голову, снизу заглянул ему в лицо. — Выкладывайте!

— Боюсь, вы даже не в состоянии... — начал капитан. — То есть я хочу сказать... попытаться, подумать о том... — Он замялся. — Мы немало потрудились, такой путь проделали, может быть, стоит, ну, что ли, пожать нам руки и сказать... ну, хотя бы: «Молодцы?» — Он смолк.

Мистер Иии небрежно сунул ему руку.

— Поздравляю! — Его губы растянулись в холодной улыбке. — Поздравляю. — Он отвернулся. — А теперь мне пора. Не забудьте про ключ.

И, не обращая на них больше никакого внимания, словно они растаяли, мистер Иии заходил по комнате, набивая какими-то бумагами маленький портфель. Это длилось не меньше пяти минут, и все это время он ни разу больше не обратился к четверке угрюмых людей, которые стояли на подкашивающихся от усталости ногах, понуриив головы, с потухшими глазами.

Выходя, мистер Иии сосредоточенно разглядывал свои ногти...

В тусклом предвечернем свете они побрели по коридору. Они оказались перед большой блестящей серебристой дверью и отперли ее серебряным ключом. Вошли, захлопнули дверь и осмотрелись кругом.

Они были в просторном, залитом солнцем зале. Мужчины и женщины сидели за столами, стояли кучками разговаривали. Щелчок замка заставил

их обернуться, и все воззрились на четверых людей, одетых в форму.

Один марсианин подошел к ним и поклонился.

— Я мистер Ууу, — представился он.

— А я — капитан Джонатан Уильямс из Нью-Йорка, с Земли, — ответил капитан без всякого энтузиазма.

Мгновенно зал точно взорвался!

Потолок задрожал от криков и возгласов. Марсиане, размахивая руками, восторженно крича, опрокидывая столы, толкая друг друга, со всех концов зала кинулись к землянам, стиснули их в объятиях, подняли всю четверку на руки. Шесть раз они пронесли их на плечах вокруг всего зала, шесть раз бегом совершили ликующий круг почета, прыгая, приплясывая, громко распевая.

Земляне до того опешили, что целую минуту молча ехали верхом на качающихся плечах, прежде чем начали смеяться и кричать друг другу:

— Вот это да! Совсем другое дело!

— Здорово! Сразу бы так! Э-гей! Ух ты! Э-э-э-эх!

Они торжественно подмигивали друг другу, они вскинули руки, хлопая в ладоши.

— Э-гей!!!

— Ура! — вопила толпа.

Марсиане поставили землян на стол. Крики смолкли. Капитан чуть не разрыдался.

— Спасибо вам, большое спасибо. Это замечательно...

— Расскажите о себе, — предложил мистер Ууу.

Капитан откашлялся.

Слушатели восторженно охали и ахали. Капитан представил своих товарищей, каждый из них произнес коротенькую речь, смущенно принимая громовые овации.

Мистер Ууу похлопал капитана по плечу.

— Приятно встретить здесь земляка! Я ведь тоже с Земли.

— То есть как это?

— А вот так. Нас тут много с Земли.

— Вы? С Земли? — Капитан вытаращил глаза. — Не может этого быть! Вы что, тоже прилетели на ракете? В каком же веке начались космические полеты? — В его голосе было разочарование. — Да вы откуда, из какой страны?

— Туиэреол. Я перенесся сюда силой духа, много лет назад.

— Туиэреол... — медленно выговорил капитан. — Не знаю такой страны. И что это за сила духа...

— Вот мисс Ррр, она тоже с Земли. *Верно*, мисс Ррр?

Мисс Ррр кивнула и как-то странно усмехнулась.

— И мистер Ююю, и мистер Щщщ, и мистер Ввв!

— А я с Юпитера, — представился один мужчина, приосанившись.

— А я с Сатурна, — ввернул другой, хитро поблескивая глазами.

— Юпитер, Сатурн... — бормотал капитан, моргая.

Стало очень тихо. Марсиане толпились вокруг космонавтов, сидели за столами, но столы были пустые, банкетом тут и не пахло. Желтые глаза горели, ниже скул залегли глубокие тени. Только тут капитан заметил, что в зале нет окон, свет словно проникал через стены. И только одна дверь. Капитан нахмурился.

— Чепуха какая-то. Где находится Туизреол? Далеко от Америки?

— Что такое — Америка?

— Вы не слышали про Америку?! Говорите, что сами с Земли, а не знаете Америки!

Мистер Ууу сердито вздернул голову.

— Земля — сплошные моря, одни моря, больше ничего. Там нет суши. Я сам оттуда, уж я-то знаю.

— Пойдите, — капитан отступил на шаг, — да вы же самый настоящий марсианин! Желтые глаза. Смуглая кожа...

— Земля сплошь покрыта *джунглями*, — гордо произнесла мисс Ррр. — Я из Орри, страны серебряной культуры!

Капитан переводил взгляд с одного лица на другое, с мистера Ууу на мистера Ююю, с мистера Ююю на мистера Ззз, с мистера Ззз на мистера Ннн, мистера Ххх, мистера Ббб. Он видел, как расширяются и сужаются зрачки их желтых глаз, как их взгляд становится то пристальным, то туманным. Его охватила дрожь. Наконец он повернулся к своим подчиненным и мрачно сказал:

— Вы поняли, что это такое?

— Что, капитан?

— Это вовсе не торжественная встреча, — устало произнес он. — И не импровизированный прием. И не банкет. И мы здесь не почетные гости. А они не представители марсианских властей. Посмотрите на их глаза. Прислушайтесь к их речам!

Космонавты затаили дыхание. Поблескивая белками, они медленно обзревали странный зал.

— Теперь я понимаю, — голос капитана доносился словно издали. — Понимаю, почему все давали нам новые адреса и отсылали к кому-нибудь другому, пока мы не встретили мистера Иии... Ну, а уж он дал

точный адрес и даже ключ, чтобы мы отперли дверь и захлопнули ее. Вот мы и попали...

— Куда мы попали, командир?

Плечи капитана поникли.

— В сумасшедший дом.

Наступила ночь. Тишина царила в просторном зале, озаренном тусклым сиянием светильников, скрытых в прозрачных стенах. Четверо землян сидели вокруг деревянного стола и перешептывались, сдвинув уныло поникшие головы. На полу вперемежку спали мужчины и женщины. В темных углах что-то копошилось, одинокие фигуры странно взмахивали руками. Каждые полчаса кто-нибудь из космонавтов подходил к серебристой двери и возвращался к столу.

— Бесполезно, капитан. Мы заперты надежно.

— Капитан, неужели нас приняли за сумасшедших?

— Конечно. Вот почему наше появление не вызвало бурных восторгов.

Мы для них просто-напросто психически больные, каких здесь много. — Он показал на фигуры спящих. — Это же параноики, все до одного! Но как они нас встретили! Мне даже на минуту показалось, — в его глазах вспыхнул огонек и тут же потух, — что наконец-то мы дождались торжественной встречи. Эти возгласы, пение, речи... Ведь здорово было, а?..

— Сколько нас продержат здесь, командир?

— Пока мы не докажем, что мы не психи.

— Ну, это просто.

— *Надеюсь*, что так...

— Вы, кажется, не очень в этом уверены, капитан?

— М-да... Поглядите вон в тот угол.

Во мраке сидел на корточках мужчина. Из его рта вырвалось голубое пламя, которое приняло форму маленькой нагой женщины. Она плавно парила в воздухе, в дымке кобальтового света, что-то шепча и вздыхая.

Капитан мотнул головой в другую сторону. Там стояла женщина, с которой происходили удивительные превращения. Сперва она оказалась заключенной внутри хрустальной колонны, потом стала золотой статуей, потом — кедровым посохом и наконец обрела свой первоначальный вид.

Повсюду в полуночном зале мужчины и женщины манипулировали тонкими языками фиолетового пламени, непрерывно превращаясь и изменяясь, ибо ночь — пора тоски и метаморфоз.

— Колдовство, черная магия, — прошептал один из землян.

— Нет, галлюцинации. Они передают нам свой бред, так что мы

видим их галлюцинации. Телепатия. Самовнушение и телепатия.

— Это вас и тревожит, капитан?

— Да. Если галлюцинации кажутся нам — и не только нам всем — такими реальными, если галлюцинации так убедительны и правдоподобны, неудивительно, что нас приняли за психопатов. Тот мужчина может делать маленьких женщин из голубого пламени, а вон эта женщина способна превращаться в статую; вполне естественно для нормального марсианина решить, что ракетный корабль — плод *нашей* больной фантазии.

Из темноты донесся вздох отчаяния.

Кругом, то вспыхивая, то исчезая, плясали голубые огоньки. Из рта спящих мужчин вылетали чертики из красного песка. Женщины превращались в лоснящихся змей. Пахло зверьем и рептилиями.

Когда настало утро, все казались нормальными, веселыми и здоровыми. Никаких бесов, никакого пламени. Капитан со своей командой стоял у серебристой двери в надежде, что она откроется.

Мистер Ъы появился часа через четыре. Они подозревали, что он не меньше трех часов простоял за дверью изучая их, прежде чем войти, позвать их к себе и провести в свой маленький кабинет.

Это был добродушный улыбающийся мужчина, если верить его маске, на которой была изображена не одна, а три разные улыбки. Впрочем, голос, звучавший из-под маски, явно принадлежал не столь уж улыбчивому психиатру.

— Ну, что вас беспокоит?

— Вы считаете нас сумасшедшими, но это не так, — сказал капитан.

— Напротив, я вовсе не считаю всех вас сумасшедшими. — Психиатр направил на капитана маленькую указку. — Только вас, уважаемый. Все остальные — вторичные галлюцинации.

Капитан хлопнул себя по колену.

— Так вот в чем дело! Вот почему мистер Иии расхохотался, когда я спросил, надо ли моим товарищам тоже подписать бланки!

— Да, мистер Иии рассказал мне об этом, — Психиатр хохотнул сквозь извилистую прорезь рта в маске. — Отличная шутка. Так о чем я говорил? Да, вторичные галлюцинации. Ко мне приходят женщины, у которых из ушей лезут змеи. После моего лечения змеи исчезают.

— Мы с радостью подвергнемся лечению. Приступайте.

Мистер Ъы был озадачен.

— Поразительно. Мало кто соглашается на лечение. Дело в том, что оно весьма радикально.

— Ничего, валяйте, лечите! Вы сами убедитесь, что мы все здоровы.

— Разрешите сперва посмотреть ваши бумаги, все ли оформлено для лечения. — Он полистал папку — Так... Видите ли, случаи, подобные вашему, требуют особых методов. У тех, кого вы видели в Доме, более легкая форма... Но когда дело заходит так далеко, как у вас, — с первичными, вторичными, слуховыми, обонятельными и вкусовыми галлюцинациями в сочетании с мнимыми осязательными и оптическими восприятиями, — то, будем говорить начистоту, дело обстоит плохо. Мы вынуждены прибегнуть к эвтаназии.

Капитан с ревом вскочил на ноги.

— Ну, вот что, хватит нам голову морочить! Начинайте — обследуйте нас, стучите молотком по колену, выслушайте сердце, заставьте присесть, задавайте вопросы!

— Говорите на здоровье.

Капитан говорил с жаром целый час. Психиатр слушал.

— Невероятно, — задумчиво пробормотал он. — В жизни не слышал такого детализированного фантастического бреда.

— Черт возьми, мы покажем вам наш космический корабль! — взревел капитан.

— С удовольствием посмотрю. Вы можете показать его здесь, в этой комнате?

— Конечно. Он — в вашей картотеке, на букву «К».

Мистер Ыы внимательно посмотрел картотеку, разочарованно щелкнул языком и неторопливо закрыл ящик.

— Зачем вам понадобилось сбивать меня с толку? Тут нет никакого космического корабля.

— Разумеется, нет, кретин! Я пошутил. А теперь скажите: сумасшедшие острят?

— Иногда встречаются довольно необычные проявления юмора. Ладно, ведите меня к своей ракете. Я хочу посмотреть на нее.

Был жаркий полдень, когда они пришли к ракете.

— Та-ак. — Психиатр подошел к кораблю и постучал по корпусу. Звон был мягкий, густой. — Можно войти внутрь? — спросил он с хитрецей.

— Входите.

Мистер Ыы вошел в корабль — и застрял там.

— Всякое бывало в моей грешной жизни, но такого... — Капитан ждал, жуя сигару. — Больше всего на свете мне хочется улететь домой и сказать там, чтобы больше не связывались с этим Марсом. Более подозрительных пентюхов...

— Сдается мне, командир, здесь вообще каждый второй — ненормальный. Немудрено, что они такие недоверчивые.

— Все равно, мне это осточертело!

Полчаса психиатр копался, щупал, выстукивал, слушал, нюхал, пробовал на вкус, наконец он вышел из корабля.

— Ну, *теперь-то* вы убедились! — крикнул капитан, словно глухой.

Психиатр закрыл глаза и почесал нос.

— Это самый поразительный пример мнимого восприятия и гипнотического внушения, с каким я когда-либо сталкивался. Я осмотрел вашу так называемую «ракету». — Он постучал пальцем по корпусу. — Я ее слышу — слуховая иллюзия. — Он втянул носом воздух. — Я ее обоняю. Обонятельная галлюцинация, наведенная телепатической передачей чувств. — Он поцеловал обшивку ракеты. — Я ощущаю ее вкус: вкусовая иллюзия!

Он пожал руку капитана.

— Разрешите поздравить вас? Вы психопатический гений! Это-это просто верх совершенства! Ваша способность телепатическим путем проецировать свои психопатические фантазии на сознание других субъектов при полной сохранности силы восприятия поразительна, невероятна. Остальные наши пациенты обычно концентрируются на зрительных галлюцинациях, в лучшем случае в сочетании со слуховыми. Вы же справляетесь со всем комплексом! Ваше безумие совершенно до изумления!

— Мое безумие... — Капитан побледнел.

— Да, да, великолепное безумие! Металл, резина, гравитаторы, пища, одежда, горючее, оружие, трапы, гайки, болты, ложки — я проверил множество предметов. В жизни не видел такой сложной картины. Даже тени под койками — подо всем! Такая концентрация воли! И все — все, сколько я ни проверял, можно пощупать, понюхать, послушать, попробовать на вкус! Позвольте мне вас обнять!

Наконец он оторвался от Капитана.

— Я напишу об этом монографию; она будет лучшей моей работой! В следующем месяце прочту доклад в Марсианской Академии наук! Одна ваша внешность чего стоит! Вы ухитрились изменить даже цвет глаз — вместо желтого голубой, и кожа у вас не смуглая, а розовая! А этот костюм, и пять пальцев на руках вместо шести! Подумать только, полная биологическая метаморфоза под влиянием отклонений в психике! Да еще ваши три приятеля...

Он достал маленький пистолет.

— Вы, конечно, неизлечимы. Несчастный вы, удивительный человек! Только смерть принесет вам избавление. Хотите сказать что-нибудь напоследок?

— Стойте, бога ради! Не стреляйте!

— Бедняга! Я исцелю вас от страданий, которые заставили вас вообразить эту ракету и этих троих людей. Захватывающее будет зрелище: я убиваю вас, и мгновенно исчезают и ваши друзья, и ваша ракета. Ах, какую статеечку я напишу по сегодняшним наблюдениям — «Распад невротических иллюзий»!

— Я с Земли! Меня зовут Джонатан Уильямс, а эти...

— Знаю, знаю, — ласково сказал мистер Ыыы и выстрелил.

Капитан упал с пулей в сердце. Его товарищи закричали.

Мистер Ыыы вытаращил глаза.

— Вы продолжаете существовать? Это бесподобно! Галлюцинации с персистенцией во времени и пространстве! — Он направил на них пистолет. — Ничего, я вас заставлю исчезнуть.

— Нет! — крикнули космонавты.

— Слуховая иллюзия даже после смерти больного, — деловито отметил мистер Ыыы, убивая одного за другим всех троих.

Они неподвижно лежали на песке, нисколько не изменившись.

Он толкнул их ногой. Потом постучал по корпусу ракеты.

— Она не пропала! Они не исчезли! — Он снова и снова стрелял в безжизненные тела. Потом отступил назад. Маска с застывшей улыбкой упала ему под ноги.

Выражение лица психиатра медленно менялось. Нижняя челюсть отвисла. Пистолет выпал из ослабевшей руки. Взгляд его стал пустым, отсутствующим. Он вскинул руки вверх и повернулся кругом, точно слепой. Он щупал мертвые тела, то и дело сглатывая слюну.

— Галлюцинации, — лихорадочно бормотал он. — Вкус. Зрительные образы. Запах. Звук. Ощущение.

Он махал руками, выпучив глаза. На губах выступила пена.

— Сгиньте! — завопил мистер Ыыы, обращаясь к убитым. — Сгинь! — крикнул он ракете.

Он посмотрел на свои дрожащие руки.

— Заразился, — прошептал он в отчаянии. — Перешло ко мне. Телепатия. Гипноз. Теперь и я безумен. Все виды мнимых восприятия. — На секунду он замер, потом стал непослушными пальцами искать пистолет. — Осталось только одно средство. Единственный способ заставить их сгинуть, исчезнуть.

Раздался выстрел Мистер Бьы упал.

Под лучами солнца лежали четыре тела. Тут же рядом лежал мистер Бьы.

Ракета стояла, покосившись, на залитом солнцем пригорке, никуда не исчезая.

Когда на закате горожане нашли ракету, они долго ломали себе голову, что это такое. Никто не отгадал. Ракету продали старьевщику, который увез ее и разобрал на утиль.

Всю ночь напролет шел дождь. На следующий день было ясно и тепло.

Март 2000

Налогоплательщик

Он хотел улететь с ракетой на Марс. Рано утром он пришел к космодрому и стал кричать через проволочное ограждение людям в мундирах, что хочет на Марс. Он исправно платит налоги, его фамилия Причард, и он имеет полное право лететь на Марс. Разве он родился не здесь, не в Огайо? Разве он плохой гражданин? Так в чем же дело, почему ему нельзя лететь на Марс? Потрясая кулаками, он крикнул им, что не хочет оставаться на Земле: любой здравомыслящий человек мечтает унести ноги с Земли. Не позже чем через два года на Земле разразится атомная мировая война, и он вовсе не намерен дожидаться, когда это произойдет. Он и тысячи других, у кого есть голова на плечах, хотят на Марс. Спросите их сами! Подальше от войн и цензуры, от бюрократии и воинской повинности, от правительства, которое не дает шагу шагнуть без разрешения, подмяло под себя и науку и искусство! Можете оставаться на Земле, если хотите! Он готов отдать свою правую руку, сердце, голову, только бы улететь на Марс! Что надо сделать, где расписаться, с кем знакомство завести, чтобы попасть на ракету?

Они только смеялись в ответ из-за проволочного забора. И вовсе ему не хочется на Марс, говорили они. Разве он не знает, что Первая и Вторая экспедиции пропали, канули в небытие, что их участники, вернее всего, погибли?

Но это еще надо доказать, никто не знает этого *точно*, кричал он, вцепившись в проволоку. А может быть, там молочные реки и кисельные берега, может быть, капитан Йорк и капитан Уильямс просто не желают возвращаться. Ну так как — откроют ему ворота, пустят в ракету Третьей экспедиции, или ему придется вламываться силой?

Они посоветовали ему заткнуться.

Он увидел, как космонавты идут к ракете.

— Подождите меня! — закричал он — Не оставляйте меня в этом ужасном мире, я хочу улететь отсюда, скоро начнется атомная война! Не оставляйте меня на Земле!

Они силой оттащили его от ограды. Они захлопнули дверцу полицейской машины и увезли его в этот утренний час, а он прильнул к заднему окошку и за мгновение перед тем, как в облаке сиренного воя машина перемахнула через бугор, увидел багровое пламя, и услышал

могучий гул, и ощутил мощное сотрясение — это серебристая ракета взмыла ввысь, оставив его на ничем не примечательной планете Земля в это ничем не примечательное утро заурядного понедельника.

Апрель 2000

Третья экспедиция

Корабль пришел из космоса. Позади остались звезды, умопомрачительные скорости, сверкающее движение и немые космические бездны. Корабль был новый; в нем жило пламя, в его металлических ячейках сидели люди; в строгом беззвучии летел он, дыша теплом, извергая огонь. Семнадцать человек было в его отсеках, включая командира. Толпа на космодроме в Огайо кричала, махала руками, поднимая их к солнцу, и ракета расцвела гигантскими лепестками многокрасочного пламени и устремилась в космос — началась Третья экспедиция на Марс!

Теперь корабль с железной точностью тормозил в верхних слоях марсианской атмосферы. Он был по-прежнему воплощением красоты и мощи. Сквозь черные пучины космоса он скользил, подобно призрачному морскому чудовищу; он промчался мимо старушки Луны и ринулся в пустоты, пронзая их одну за другой. Людей в его чреве бросало, швыряло, колотило, все они по очереди переболели. Один из них умер, зато теперь оставшиеся шестнадцать, прильнув к толстым стеклам иллюминаторов, расширенными глазами глядели, как внизу под ними стремительно вращается и вырастает Марс.

— Марс! — воскликнул штурман Люстиг.

— Старина Марс! — сказал Сэмюэль Хинкстон, археолог.

— Добро, — произнес капитан Джон Блэк.

Ракета села на зеленой полянке. Чуть поодаль на той же полянке стоял олень, отлитый из чугуна. Еще дальше дремал на солнце высокий коричневый дом в викторианском стиле, с множеством всевозможных завитушек, с голубыми, розовыми, желтыми, зелеными стеклами в окнах. На террасе росла косматая герань и висели на крючках, покачиваясь взад-вперед, взад-вперед от легкого ветерка, старые качели. Башенка с ромбическими хрустальными стеклами и конической крышей венчала дом. Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть пюпитр с нотами под заглавием:

«Прекрасный Огайо».

Вокруг ракеты на все стороны раскинулся городок, зеленый и недвижимый в сиянии марсианской весны. Стояли дома, белые и из красного кирпича, стояли, клонясь от ветра, высокие клены, и могучие вязы, и каштаны. Стояли колокольни с безмолвными золотистыми

колоколами.

Все это космонавты увидели в иллюминаторы. Потом они посмотрели друг на друга. И снова выглянули в иллюминаторы. И каждый ухватился за локоть соседа с таким видом, точно им вдруг стало трудно дышать. Лица их побледнели.

— Черт меня побери, — прошептал Люстиг, потирая лицо онемевшими пальцами. — Чтоб мне провалиться!

— Этого просто не может быть, — сказал Самюэль Хинкстон.

— Господи, — произнес командир Джон Блэк.

Химик доложил из своей рубки:

— Капитан, атмосфера разреженная. Но кислорода достаточно. Опасности никакой.

— Значит, выходим? — спросил Люстиг.

— Отставить, — сказал капитан Джон Блэк — Надо еще разобраться, что это такое.

— Это? Маленький городок, капитан, воздух хоть и разреженный, но дышать можно.

— Маленький городок, похожий на земные города, — добавил археолог Хинкстон. — Невообразимо. Этого просто не может быть, и все же вот он, перед нами...

Капитан Джон Блэк рассеянно глянул на него.

— Как по-вашему, Хинкстон, может цивилизация на двух различных планетах развиваться одинаковыми темпами и в одном направлении?

— По-моему, это маловероятно, капитан.

Капитан Блэк стоял возле иллюминатора.

— Посмотрите вон на те герани. Совершенно новый вид. Он выведен на Земле всего лет пятьдесят тому назад. А теперь вспомните, сколько тысячелетий требуется для эволюции того или иного растения. И заодно скажите мне, логично ли это, чтобы у марсиан были: во-первых, именно такие оконные рамы, во-вторых, башенки, в-третьих, качели на террасе, в-четвертых, инструмент, который похож на пианино и скорее всего и есть не что иное, как пианино, в-пятых, — поглядите-ка внимательно в телескоп, вот так, — логично ли, чтобы марсианский композитор назвал свое произведение не как-нибудь иначе, а именно «Прекрасный Огайо»? Ведь это может означать только одно: на Марсе есть река Огайо!

— Капитан Уильямс, ну конечно же! — вскричал Хинкстон.

— Что?

— Капитан Уильямс и его тройка! Или Натаниел Йорк со своим напарником. Это все объясняет!

— Это не объясняет ничего. Насколько нам удалось установить, ракета Йорка взорвалась, едва они сели на Марсе, и оба космонавта погибли. Что до Уильямса и его тройки, то их корабль взорвался на второй день после прибытия. Во всяком случае, именно в это время прекратили работу передатчики. Будь они живы, они попытались бы связаться с нами. Не говоря уже о том, что со времени экспедиции Йорка прошел всего один год, а экипаж капитана Уильямса прилетел сюда в августе. Допустим даже, что они живы, — возможно ли, хотя бы с помощью самых искусных марсиан, за такое короткое время выстроить целый город, и чтобы он выглядел таким *старым*? Вы посмотрите как следует, ведь этому городу самое малое семьдесят лет. Взгляните на перильные тумбы крыльца, взгляните на деревья — вековые клены! Нет, ни Йорк, ни Уильямс тут ни при чем. Тут что-то другое. Не по душе мне это. И, пока я не узнаю, в чем дело, не выйду из корабля.

— Да к тому же, — добавил Люстиг, — Уильямс и его люди, и Йорк тоже садились на той стороне Марса. Мы ведь сознательно выбрали эту сторону.

— Вот именно. На тот случай, если Йорка и Уильямса убило враждебное марсианское племя, нам было приказано сесть в другом полушарии. Чтобы катастрофа не повторилась. Так что мы находимся в краю, которого, насколько нам известно, ни Уильямс, ни Йорк и в глаза не видали.

— Черт возьми, — сказал Хинкстон, — я все-таки пойду в этот город с вашего разрешения, капитан. Ведь может оказаться, что на всех планетах нашей Солнечной системы мышление и цивилизация развивались сходными путями. Кто знает, возможно, мы стоим на пороге величайшего психологического и философского открытия нашей эпохи![\[2\]](#)

— Я предпочел бы обождать немного, — сказал капитан Джон Блэк.

— Командир, может быть, перед нами явление, которое впервые докажет существование бога!

— Верующих достаточно и без таких доказательств, мистер Хинкстон...

— Да, и я отношусь к ним, капитан. Но совершенно ясно — такой город просто не мог появиться без вмешательства божественного провидения. Все эти мелочи, детали... Во мне сейчас такая борьба чувств, не знаю, смеяться мне или плакать.

— Тогда воздержитесь и от того, и от другого, пока мы не выясним, с чем столкнулись.

— С чем столкнулись? — вмешался Люстиг. — Да ни с чем.

Обыкновенный славный, тихий, зеленый городок, и очень похож на тот стародавний уголок, в котором я родился. Мне он просто нравится.

— Когда вы родились, Люстиг?

— В тысяча девятьсот пятидесятом, сэр.

— А вы, Хинкстон?

— В тысяча девятьсот пятьдесят пятом, капитан. Гриннелл, штат Айова. Вот гляжу сейчас, и кажется, будто я на родину вернулся.

— Хинкстон, Люстиг, я мог бы быть вашим отцом, мне ровно восемьдесят. Родился я в тысяча девятьсот двадцатом, в Иллинойсе, но благодаря божьей милости и науке, которая за последние пятьдесят лет научилась делать *некоторых* стариков молодыми, я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас, а вот недоверчивости у меня во много раз больше. У этого городка такой мирный, такой приветливый вид — и он так похож на мой Грин-Блафф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он *слишком* похож на Грин-Блафф. — Командир повернулся к радисту. — Свяжитесь с Землей. Передайте, что мы сели. Больше ничего. Скажите, что полный доклад будет передан завтра.

— Есть, капитан.

Капитан Блэк выглянул в иллюминатор; глядя на его лицо, никто не дал бы ему восьмидесяти лет — от силы сорок.

— Теперь слушайте, Люстиг. Вы, я и Хинкстон пойдем и осмотрим город. Остальным ждать в ракете. Если что случится, они успеют унести ноги. Лучше потерять троих, чем погубить весь корабль. В случае несчастья наш экипаж сумеет оповестить следующую ракету. Ее поведет капитан Уайлдер в конце декабря, если не ошибаюсь. Если на Марсе есть какие-то враждебные силы, новая экспедиция должна быть хорошо вооружена.

— Но ведь и мы вооружены. Целый арсенал с собой.

— Ладно, передайте людям — привести оружие в готовность. Пошли, Люстиг, пошли, Хинкстон.

И три космонавта спустились через отсеки корабля вниз.

Был чудесный весенний день. На цветущей яблоне щебетала неумолимая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зеленых ветвей, далеко вокруг разносилось нежное благоухание. Где-то в городке кто-то играл на пианино, и музыка плыла в воздухе — громче, тише, громче, тише, нежная, баюкающая. Играли «Прекрасного мечтателя». А в другой стороне граммофон сипло, невнятно гнусавил «Странствие в сумерках» в исполнении Гарри Лодера.

Трое космонавтов стояли подле ракеты. Они жадно хватали ртом сильно разреженный воздух, потом медленно пошли, сберегая силы.

Теперь звучала другая пластинка.

*Мне бы июньскую ночь,
Лунную ночь — и тебя...*

У Люстига задрожали колени, у Сэмюэля Хинкстона тоже.

Небо было прозрачное и спокойное, где-то на дне оврага, под прохладным навесом листвы, журчал ручей. Цокали конские копыта, громыхала, подпрыгивая, телега.

— Капитан, — сказал Сэмюэль Хинкстон, — как хотите, но похоже — нет, *иначе* просто быть *не может*, — полеты на Марс начались еще до первой мировой войны!

— Нет.

— Но как еще объясните вы эти дома, этого чугунного оленя, пианино, музыку? — Хинкстон настойчиво стиснул локоть капитана, посмотрел ему в лицо. — Представьте себе, что были, ну, скажем, в тысяча девятьсот пятом году люди, которые ненавидели войну, и они тайно сговорились с учеными, построили ракету и перебрались сюда, на Марс...

— Невозможно, Хинкстон.

— Почему? В тысяча девятьсот пятом году мир был совсем иной, тогда было гораздо легче сохранить это в секрете.

— Только не такую сложную штуку, как ракета! Нет, нет...

— Они прилетели сюда насовсем и, естественно, построили такие же дома, как на Земле, ведь они привезли с собой земную культуру.

— И все эти годы жили здесь? — спросил командир.

— Вот именно, тихо и мирно жили. Возможно, они еще не раз слетали на Землю, привезли сюда людей, сколько нужно, скажем, чтобы заселить вот такой городок, а потом прекратили полеты, чтобы их не обнаружили. Поэтому и город такой старомодный. Лично мне пока не попался на глаза ни один предмет, сделанный позже тысяча девятьсот двадцать седьмого года. А вам, капитан? Впрочем, может, космические путешествия вообще начались гораздо раньше, чем мы полагаем? Еще сотни лет назад, в каком-нибудь отдаленном уголке Земли? Что, если люди давно уже прилетели на Марс, и никто об этом не знал? А сами они изредка наведывались на Землю.

— У вас это звучит почти правдоподобно.

— Не почти, а вполне! Доказательство перед нами. Остается только найти здесь людей, и наше предположение подтвердится.

Густая зеленая трава поглощала звуки их шагов. Пахло свежескошенным сеном. Капитан Джон Блэк ощутил, как вопреки его воле им овладевает чувство блаженного покоя. Лет тридцать прошло с тех пор, как он последний раз побывал вот в таком маленьком городке; жужжание весенних пчел умиротворяло и убаюкивало его, а свежесть возрожденной природы исцеляла душу.

Они ступили на террасу, направляясь к затянутой сеткой двери, и глухое эхо отзывалось из-под половиц на каждый шаг. Сквозь сетку они видели перегородившую коридор бисерную портьеру, хрустальную люстру и картину кисти Максфилда Парриша на стене над глубоким креслом. В доме бесконечно уютно пахло стариной, чердаком, еще чем-то. Слышно было, как тихо звякал лед в кувшине с лимонадом. На кухне в другом конце дома по случаю жаркого дня кто-то готовил холодный ленч. Высокий женский голос тихо и нежно напевал что-то.

Капитан Джон Блэк потянул за ручку звонка.

Вдоль коридора прошелестели легкие шаги, и за сеткой появилась женщина лет сорока, с приветливым лицом, одетая так, как, наверно, одевались в году эдак тысяча девятьсот девятом.

— Чем могу быть полезна? — спросила она.

— Прощу прощения, — нерешительно начал капитан Блэк, — но мы ищем... то есть, может, вы...

Он запнулся. Она глядела на него темными недоумевающими глазами.

— Если вы что-нибудь продаете... — заговорила женщина.

— Нет, нет, постойте! — вскричал он. — Какой это город?

Она смерила его взглядом.

— Что вы хотите этим сказать: какой город? Как это можно быть в городе и не знать его названия?

У капитана было такое лицо, словно ему больше всего хотелось пойти и сесть под тенистой яблоней.

— Мы не здешние. Нам надо знать, как здесь очутился этот город и как вы сюда попали.

— Вы из бюро переписи населения?

— Нет.

— Каждому известно, — продолжала она, — что город построен в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году. Постойте, может быть, вы меня разыгрываете?

— Что вы, ничего подобного! — поспешно воскликнул капитан. — Мы с Земли.

— Вы хотите сказать, *из-под* земли? — удивилась она.

— Да нет же, мы вылетели с третьей планеты, Земли, на космическом корабле. И прилетели сюда, на четвертую планету, на Марс...

— Вы находитесь, — объяснила женщина тоном, каким говорят с ребенком, — в Грин-Блафф, штат Иллинойс, на материке, который называется Америка и омывается двумя океанами, Атлантическим и Тихим, в мире, именуемом также Землей. Теперь ступайте. До свидания.

И она засемила по коридору, на ходу раздвигая бисерную портьеру. Три товарища переглянулись.

— Высадим дверь, — предложил Люстиг.

— Нельзя. Частная собственность. О господи!

Они спустились с крыльца и сели на нижней ступеньке.

— Вам не приходило в голову, Хинкстон, что мы каким-то образом сбились с пути и просто-напросто прилетели обратно, вернулись на Землю?

— Это как же так?

— Не знаю, не знаю. Господи, дайте собраться с мыслями.

— Ведь мы контролировали каждую милю пути, — продолжал Хинкстон. — Наши хронометры точно отсчитывали, сколько пройдено. Мы миновали Луну, вышли в Большой космос и прилетели сюда. У меня нет *ни малейшего сомнения*, что мы на Марсе.

Вмешался Люстиг.

— А может быть, что-то случилось с пространством, с временем? Представьте себе, что мы заблудились в четырех измерениях и вернулись на Землю лет тридцать или сорок тому назад?

— Да бросьте вы, Люстиг!

Люстиг подошел к двери, дернул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат:

— Какой сейчас год?

— Тысяча девятьсот двадцать шестой, какой же еще, — ответила женщина, сидя в качалке и потягивая свой лимонад.

— Ну, слышали? — Люстиг круто обернулся. — Тысяча девятьсот двадцать шестой! Мы улетели в *прошлое*! Это Земля!

Люстиг сел. Они уже не сопротивлялись ужасной, ошеломляющей мысли, которая пронизала их. Лежащие на коленях руки судорожно дергались.

— Разве я за этим летел? — заговорил капитан. — Мне страшно, понимаете, страшно! Неужели такое возможно в действительности? Эйнштейна сюда бы сейчас...

— Кто в этом городе поверит нам? — отозвался Хинкстон. — Ох, в опасную игру мы ввязались!.. Это же время, четвертое измерение. Не лучше ли нам вернуться на ракету и лететь домой, а?

— Нет. Сначала заглянем хотя бы еще в один дом.

Они миновали три дома и остановились перед маленьким белым коттеджем, который приютился под могучим дубом.

— Я привык во всем добираться до смысла, — сказал командир. — А пока что, сдается мне, мы еще не раскусили орешек. Допустим, Хинкстон, верно ваше предположение, что космические путешествия начались давным-давно. И через много лет прилетевшие сюда земляне стали тосковать по Земле. Сперва эта тоска не выходила за рамки легкого невроза, потом развился настоящий психоз, который грозил перейти в безумие. Что вы как психиатр предложили бы в таком случае?

Хинкстон подумал.

— Что ж, наверно, я бы стал понемногу перестраивать марсианскую цивилизацию так, чтобы она с каждым днем все больше напоминала земную. Если бы существовал способ воссоздать земные растения, дороги, озера, даже океан, я бы это сделал. Затем средствами массового гипноза я внушил бы всему населению вот такого городка, будто здесь и в самом деле Земля, а никакой не Марс.

— Отлично, Хинкстон. Мне кажется, мы попали на верный след. Женщина, которую мы видели в том доме, просто думает, что живет на Земле, вот и все. Это сохраняет ей рассудок. Она и все прочие жители этого города — объекты величайшего миграционного и гипнотического эксперимента, какой вам когда-либо придется наблюдать.

— В самую точку, капитан! — воскликнул Люстиг.

— Без промаха! — добавил Хинкстон.

— Добро. — Капитан вздохнул. — Дело как будто прояснилось, и на душе легче. Хотя какая-то логика появилась. А то от всей этой болтовни о путешествиях взад и вперед во времени меня только мутит. Если же мое предположение *правильно*... — Он улыбнулся. — Что же, тогда нас, похоже, ожидает немалая популярность среди местных жителей!

— Вы уверены? — сказал Люстиг. — Как-никак, эти люди своего рода пилигримы, они намеренно покинули Землю. Может, они вовсе не будут нам рады. Может, даже попытаются изгнать нас, а то и убить.

— Наше оружие лучше. Ну, пошли, зайдем в следующий дом.

Но не успели они пересечь газон, как Люстиг вдруг замер на месте, устремив взгляд в дальний конец тихой дремлющей улицы.

— Капитан, — произнес он.

— В чем дело, Люстиг?

— *Капитан...* Нет, вы только... Что я *вижу!*

По щекам Люстига катились слезы. Растопыренные пальцы поднятых рук дрожали, лицо выражало удивление, радость, сомнение. Казалось, еще немного, и он потеряет разум от счастья. Продолжая глядеть в ту же точку, он вдруг сорвался с места и побежал, споткнулся, упал, поднялся на ноги и опять побежал, крича:

— Эй, послушайте!

— Остановите его! — Капитан пустился вдогонку.

Люстиг бежал изо всех сил, крича на бегу. Достигнув середины тенистой улицы, он свернул во двор и одним прыжком очутился на террасе большого зеленого дома, крышу которого венчал железный петух. Когда Хинкстон и капитан догнали Люстига, он барабанил в дверь, продолжая громко кричать. Все трое дышали тяжело, со свистом, обессиленные бешеной гонкой в разреженной марсианской атмосфере.

— Бабушка, дедушка! — звал Люстиг.

Двое стариков появились на пороге.

— Дэвид! — ахнули старческие голоса. И они бросились к нему и засуетились вокруг него, обнимая, хлопая по спине. — Дэвид, о, Дэвид, сколько лет прошло!.. Как же ты вырос, мальчуган, какой большой стал! Дэвид, мальчик, как ты поживаешь?

— Бабушка, дедушка! — всхлипывал Дэвид Люстиг. — Вы чудесно, чудесно выглядите!

Он разглядывал своих стариков, отодвинув от себя, вертел их кругом, целовал, обнимал, плакал и снова разглядывал, смахивая слезы с глаз. Солнце сияло в небе, дул ветерок, зеленела трава, дверь была отворена настежь.

— Входи же, входи мальчуган. Тебя ждет чай со льда, свежий, пей вволю!

— Я с друзьями. — Люстиг обернулся и, смеясь, нетерпеливым жестом подозвал капитана и Хинкстона. — Капитан, идите же.

— Здравствуйте, — приветствовали их старики. — Пожалуйста, входите. Друзья Дэвида — наши друзья. Не стесняйтесь!

В гостиной старого дома было прохладно; в одном углу размеренно тикали, поблескивая бронзой, высокие дедовские часы. Мягкие подушки на

широких кушетках, книги вдоль стен, толстый ковер с пышным цветочным узором, а в руках — запотевшие стаканы ледяного чая, от которого такой приятный холодок на пересохшем языке.

— Пейте на здоровье. — Бабушкин стакан звякнул о ее фарфоровые зубы.

— И давно вы здесь живете, бабушка? — спросил Люстиг.

— С тех пор как умерли, — с ехидцей ответила она.

— С тех пор как... что? — Капитан Блэк поставил свой стакан.

— Ну да, — кивнул Люстиг. — Они уже тридцать лет как умерли.

— А вы сидите как ни в чем не бывало! — воскликнул капитан.

— Полно, сударь! — Старушка лукаво подмигнула. — Кто вы такой, чтобы судить о таких делах? Мы здесь, и все тут. Что такое жизнь, коли на то пошло? Кому нужны эти «почему» и «зачем»? Мы снова живы, вот и все, что нам известно, и никаких вопросов мы не задаем. Если хотите, это вторая попытка. — Она, ковыляя, подошла к капитану и протянула ему свою тонкую, сухую руку. — Потрогайте.

Капитан потрогал.

— Ну как, настоящая?

Он кивнул.

— Так чего же вам еще надо? — торжествующе произнесла она. — К чему вопросы?

— Понимаете, — ответил капитан, — мы просто не представляли себе, что обнаружим на Марсе такое.

— А теперь обнаружили. Смею думать, на каждой планете найдется немало такого, что покажет вам, сколь неисповедимы пути господни.

— Так что же, здесь — царство небесное? — спросил Хинкстон.

— Вздор, ничего подобного. Здесь такой же мир, и нам предоставлена вторая попытка. Почему? Об этом нам никто не сказал. Но ведь и на Земле никто не объяснил нам, почему мы там очутились. На той Земле. С которой прилетели вы. И откуда нам знать, что до нее не было *еще одной*?

— Хороший вопрос, — сказал капитан.

С лица Люстига не сходила радостная улыбка.

— Черт возьми, до чего же приятно вас видеть, я так рад!

Капитан поднялся со стула и небрежно хлопнул себя ладонью по бедру.

— Ну, нам пора идти. Спасибо за угощение.

— Но вы ведь еще придете? — всполошились старики. — Мы ждем вас к ужину.

— Большое спасибо, постараемся прийти. У нас столько дел. Мои

люди ждут меня в ракете и...

Он смолк, ошеломление глядя на открытую дверь. Откуда-то издали, из пронизанного солнцем простора, доносились голоса, крики, дружные приветственные возгласы.

— Что это? — спросил Хинкстон.

— Сейчас узнаем. — И капитан Джон Блэк мигом выскочил за дверь и побежал через зеленый газон на улицу марсианского городка.

Он застыл, глядя на ракету. Все люки были открыты, и экипаж торопливо спускался на землю, приветственно махая руками. Кругом собралась огромная толпа, и космонавты влились в нее, смешались с ней, проталкивались через нее, разговаривая, смеясь, пожимая руки. Толпа приплясывала от радости, возбужденно теснилась вокруг землян. Ракета стояла покинутая, пустая.

В солнечных лучах взорвался блеском духовой оркестр, из высоко поднятых басов и труб брызнули ликующие звуки. Бухали барабаны, пронзительно свистели флейты. Золотоволосые девочки прыгали от восторга. Мальчуганы кричали: «Ура!» Толстые мужчины угощали знакомых и незнакомых десятицентовыми сигарами. Мэр города произнес речь. А затем всех членов экипажа одного за другим подхватили под руки — мать с одной стороны, отец или сестра с другой — и увлекли вдоль по улице в маленькие коттеджи и в большие особняки.

— Стой! — закричал капитан Блэк.

Одна за другое наглухо захлопнулись двери. Зной струился вверх к прозрачному весеннему небу, тишина нависла над городком. Трубы и барабаны исчезли за углом. Покинутая ракета одиноко сверкала и переливалась солнечными бликами.

— Дезертиры! — воскликнул командир. — Они самовольно оставили корабль! Клянусь, им это так не пройдет! У них был приказ!..

— Капитан, — сказал Люстиг, — не будьте излишне строги. Когда вас встречают родные и близкие...

— Это не оправдание!

— Но вы представьте себе их чувства, когда они увидели возле корабля знакомые лица!

— У них был приказ, черт возьми!

— А как бы вы поступили, капитан?

— Я бы выполнял прика... — Он так и замер с открытым ртом.

По тротуару в лучах марсианского солнца шел, приближаясь к ним, высокий, улыбающийся молодой человек лет двадцати шести с удивительно яркими голубыми глазами.

— Джон! — крикнул он и бросился к ним.

— Что? — Капитан Блэк попятился.

— Джон, старый плут!

Подбежав, мужчина стиснул руку капитана и хлопнул его по спине.

— Ты?.. — пролепетал Блэк.

— Конечно, я, *кто* же еще!

— Эдвард! — Капитан повернулся к Люстигу и Хинкстону, не выпуская руки незнакомца. — Это мой брат, Эдвард. Эд, познакомься с моими товарищами: Люстиг, Хинкстон! Мой брат!

Они тянули, теребили друг друга за руки, потом обнялись.

— Эд!

— Джон, бездельник!

— Ты великолепно выглядишь, Эд! Но постой, как же так? Ты ничуть не изменился за все эти годы. Ведь тебе... тебе же было двадцать шесть, когда ты умер, а мне девятнадцать. Бог ты мой, столько лет, столько лет — и вдруг ты здесь. Да что ж это такое?

— Мама ждет, — сказал Эдвард Блэк, улыбаясь.

— Мама?

— И отец тоже.

— Отец? — Капитан пошатнулся, точно от сильного удара, и сделал шаг-другой негнуцимися, непослушными ногами. — Мать и отец живы? Где они?

— В нашем старом доме, на Дубовой улице.

— В старом доме... — Глаза капитана светились восторгом и изумлением. — Вы слышали, Люстиг, Хинкстон?

Но Хинкстона уже не было рядом с ними. Он заметил в дальнем конце улицы свой собственный дом и поспешил туда. Люстиг рассмеялся.

— Теперь вы поняли, капитан, что было с нашими людьми? Их никак нельзя винить.

— Да... Да... — Капитан зажмурился. — Сейчас я открою глаза, и тебя не будет. — Он моргнул. — Ты здесь! Господи. Эд, ты *великолепно* выглядишь!

— Идем, ленч ждет. Я предупредил маму.

— Капитан, — сказал Люстиг, — если я понадоблюсь, я — у своих стариков.

— Что? А, ну конечно, Люстиг. Пока.

Эдвард потянул брата за руку, увлекая его за собой.

— Вот и наш дом. Вспоминаешь?

— Еще бы! Спорим, я первый добегу до крыльца!

Они побежали взапуски. Шумели деревья над головой капитана Блэка, гудела земля под его ногами. В этом поразительном сне наяву он видел, как его обгоняет Эдвард Блэк, видел, как стремительно приближается его родной дом и широко распахивается дверь.

— Я — первый! — крикнул Эдвард.

— Еще бы, — еле выдохнул капитан, — я старик, а ты вон какой молодец. Да ты ведь меня *всегда* обгонял! Думаешь, я забыл?

В дверях была мама — полная, розовая, сияющая.

За ней, с заметной проседью в волосах, стоял папа, держа в руке свою трубку.

— Мама, отец!

Он ринулся к ним вверх по ступенькам, точно ребенок.

День был чудесный и долгий. После ленча они перешли в гостиную, и он рассказал им все про свою ракету, а они кивали и улыбались ему, и мама была совсем такая, как прежде, и отец откусывал кончик сигары и задумчиво прикуривал ее — совсем как в былые времена. Вечером был обед, умопомрачительная индейка, и время летело незаметно. И когда хрупкие косточки были начисто обсосаны и грудой лежали на тарелках, капитан откинулся на спинку стула и шумно выдохнул воздух в знак своего глубочайшего удовлетворения. Вечер упокоил листву деревьев и окрасил небо, и лампы в милом старом доме засветились ореолами розового света. Из других домов вдоль всей улицы доносилась музыка, звуки пианино, хлопанье дверей.

Мама поставила пластинку на виктролу и закружилась в танце с капитаном Джоном Блэком. От нее пахло теми же духами, он их запомнил еще с того лета, когда она и папа погибли при крушении поезда. Но сейчас они легко скользили в танце, и его руки обнимали реальную, живую маму...

— Не каждый день человеку предоставляется вторая попытка, — сказала мама.

— Завтра утром проснусь, — сказал капитан, — и окажется, что я в своей ракете, в космосе, и ничего этого нет.

— К чему такие мысли! — воскликнула она ласково. — Не допытывайся. Бог милостив к нам. Будем же счастливы.

— Прости, мама.

Пластинка кончилась и вертелась, шипя.

— Ты устал, сынок. — Отец указал мундштуком трубки: — Твоя спальня ждет тебя, и старая кровать с латунными шарами — все как было.

— Но мне надо собрать моих людей.

— Зачем?

— Зачем? Гм... не знаю. Пожалуй, и впрямь незачем. Конечно, незачем. Они ужинают либо уже спят. Пусть выспятся, отдых им не повредит.

— Доброй ночи, сынок. — Мама поцеловала его в щеку. — Как славно, что ты дома опять.

— Да, дома хорошо...

Покинув мир сигарного дыма, духов, книг, мягкого света, он поднялся по лестнице и все говорил, говорил с Эдвардом. Эдвард толкнул дверь, и Джон Блэк увидел свою желтую латунную кровать, знакомые вымпелы колледжа и сильно потертую енотовую шубу, которую погладил с затаенной нежностью.

— Слишком много сразу, — промолвил капитан. — Я обессилел от усталости. Столько событий в один день! Как будто меня двое суток держали под ливнем без зонта и без плаща. Я насквозь, до костей пропитан впечатлениями...

Широкими взмахами рук Эдвард расстелил большие белоснежные простыни и взбил подушки. Потом растворил окно, впуская в комнату ночное благоухание жасмина. Светила луна, издали доносились звуки танцевальной музыки и тихих голосов.

— Так вот он какой, Марс, — сказал капитан, раздеваясь.

— Да, вот такой. — Эдвард раздевался медленно, не торопясь стянул через голову рубаху, обнажая золотистый загар плеч и крепкой, мускулистой шеи.

Свет погас, и вот они рядом в кровати, как бывало — сколько десятилетий тому назад? Капитан приподнялся на локте, вдыхая напоенный ароматом жасмина воздух, потоки которого раздували в темноте легкие тюлевые занавески. На газоне среди деревьев кто-то завел патефон — он тихо наигрывал «Всегда».

Блэку вспомнилась Мерилин.

— Мерилин тоже здесь?

Брат лежал на спине в квадрате лунного света из окна. Он ответил не сразу.

— Да. — Помешкал и добавил: — Ее сейчас нет в городе, она будет завтра утром.

Капитан закрыл глаза.

— Мне бы очень хотелось увидеть Мерилин.

В тишине просторной комнаты слышалось только их дыхание.

— Спокойной ночи, Эд.

Пауза.

— Спокойной ночи, Джон.

Капитан блаженно вытянулся на постели, дав волю мыслям. Только теперь схлынуло с него напряжение этого дня, и он наконец-то мог рассуждать логично. Все — все были сплошные эмоции. Громогласный оркестр, знакомые лица родни... Зато теперь...

«Каким образом? — дивился он. — Как все это было сделано? И зачем? Для чего? Что это — неизреченная благодать божественного провидения? Неужто бог и впрямь так печется о своих детях? Как, почему, для чего?»

Он взвесил теории, которые предложили Хинкстон и Люстиг еще днем, под влиянием первых впечатлений. Потом стал перебирать всякие новые предположения, лениво, как камешки в воду, роняя их в глубину своего разума, поворачивая их и так и сяк, и тусклыми проблесками вспыхивало в нем озарение. Мама. Отец. Эдвард. Марс. Земля. Марс. Марсиане.

А тысячу лет назад кто жил на Марсе? Марсиане? Или всегда было, как сегодня?

Марсиане. Он медленно повторял про себя это слово. И вдруг чуть не рассмеялся почти вслух. Внезапно пришла в голову совершенно нелепая теория. По спине пробежал холодок. Да нет, вздор, конечно. Слишком невероятно. Ерунда. Выкинуть из головы. Смешно.

И все-таки... Если *предположить*. Да, только предположить, что на Марсе живут именно марсиане, что они увидели, как приближается наш корабль, и увидели нас внутри этого корабля. И что они нас возненавидели. И еще допустим — просто так, курьеза ради, — что они решили нас уничтожить, как захватчиков, незваных гостей, и притом сделать это хитроумно, ловко, усыпив нашу бдительность. Так вот, какие же средства может марсианин пустить в ход против землян, оснащенных атомным оружием?

Ответ получался любопытный. Телепатию, гипноз, воспоминания, воображение.

Предположим, что эти дома вовсе не настоящие, кровать не настоящая, что все это продукты моего собственного воображения, материализованные с помощью марсианской телепатии и гипноза, размышлял капитан Джон Блэк. На самом деле дома совсем *иные*, построенные на марсианский лад, но марсиане, подлаживаясь под мои мечты и желания, ухитрились сделать так, что я как бы вижу свой родной

город, свой дом. Если хочешь усыпить подозрения человека и заманить его в ловушку, можно ли придумать лучшую приманку, чем его родные отец и мать?

Этот городок, такой старый, все, как в тысяча девятьсот двадцать шестом году, когда никого из моего экипажа еще не было на свете! Когда мне было шесть лет, когда действительно были в моде пластинки с песенками Гарри Лодера и еще висели в домах картины Максфилда Парриша, когда были бисерные портьеры, и песенка «Прекрасный Огайо», и архитектура начала двадцатого века. А что, если марсиане извлекли все представления о городе только из моего сознания? Ведь говорят же, что воспоминания детства самые яркие. И, создав город по моим воспоминаниям, они населили его родными и близкими, живущими в памяти всех членов экипажа ракеты!

И допустим, что двое спящих в соседней комнате вовсе не мои отец и мать, а марсиане с необычайно высокоразвитым интеллектом, которым ничего не стоит все время держать меня под гипнозом?..

А этот духовой оркестр? Какой потрясающий, изумительный план! Сперва заморочить голову Люстигу, за ним Хинкстону, потом согнать толпу; а когда космонавты увидели матерей, отцов, теток, невест, умерших десять, двадцать лет назад, — разве удивительно, что они забыли обо всем на свете, забыли про приказ, выскочили из корабля и бросили его? Что может быть естественнее? Какие тут могут быть подозрения? Проще некуда: кто станет допытываться, задавать вопросы, увидев перед собой воскресшую мать, — да тут от счастья вообще онемеешь. И вот вам результат: все мы разошлись по разным домам, лежим в кроватях, и нет у нас оружия, защищаться нечем, и ракета стоит в лунном свете, покинутая. Как ужасающе страшно будет, если окажется, что все это попросту часть дьявольски хитроумного плана, который марсиане задумали, чтобы разделить нас и одолеть, перебить всех до одного. Может быть, среди ночи мой брат, что лежит тут, рядом со мной, вдруг преобразится, изменит свой облик, свое существо и станет чем-то другим, жутким, враждебным, — станет марсианином? Ему ничего не стоит повернуться в постели и вонзить мне нож в сердце. И во всех остальных домах еще полтора десятка братьев или отцов вдруг преобразятся, схватят ножи и сделают то же с ни чего не подозревающими спящими землянами...

Руки Джона Блэка затряслись под одеялом. Он похолодел. Внезапно это перестало быть теорией. Внезапно им овладел неодолимый страх.

Он сел и прислушался. Ночь была беззвучна. Музыка смолкла. Ветер стих. Брат лежал рядом с ним, погруженный в сон.

Он осторожно откинул одеяло, соскользнул на пол и уже тихонько шел к двери, когда раздался голос брата:

— Ты куда?

— Что?

Голос брата стал ледяным.

— Я спрашиваю, далеко ли ты собрался?

— За водой.

— Ты не хочешь пить.

— Хочу, правда же хочу.

— Нет, не хочешь.

Капитан Джон Блэк рванулся и побежал. Он вскрикнул. Он вскрикнул дважды. Он не добежал до двери.

Наутро духовой оркестр играл заунывный траурный марш. По всей улице из каждого дома выходили, неся длинные ящики, маленькие скорбные процессии; по залитой солнцем мостовой выступали, утирая слезы, бабки, матери, сестры, братья, дядья, отцы. Они направлялись на кладбище, где уже ждали свежерытые могилы и новенькие надгробные плиты. Шестнадцать могил, шестнадцать надгробных плит.

Мэр произнес краткую заупокойную речь, и лицо его менялось, не понять — то ли мэр, то ли кто-то другой.

Мать и отец Джона Блэка пришли на кладбище, и брат Эдвард пришел. Они плакали, убивались, а лица их постепенно преображались, теряя знакомые черты.

Дедушка и бабушка Люстига тоже были тут и рыдали, и лица их таяли, точно воск, расплывались, как все расплывается в жаркий день.

Гробы опустили в могилы. Кто-то пробормотал насчет «внезапной и безвременной кончины шестнадцати отличных людей, которых смерть унесла в одну ночь...»

Комья земли застучали по гробовым крышкам.

Духовой оркестр, играя «Колумбия, жемчужина океана», прошагал в такт громыхающей меди в город, и в этот день все отдыхали.

Июнь 2001

И по-прежнему лучами серебрит простор луна...

Когда они вышли из ракеты в ночной мрак, было так холодно, что Спендер сразу принялся собирать марсианский хворост для костра. Насчет того, чтобы отпраздновать прилет на Марс, он и слова не сказал, просто набрал хворосту, подпалил его и стал смотреть, как он горит.

Потом в зареве, окрасившем разреженный воздух над высохшим марсианским морем, оглянулся через плечо на ракету, которая пронесла их всех — капитана Уайлдера, Чероки, Хетэуэя, Сэма Паркхилла, его самого — через немые черные звездные просторы и доставила в безжизненный, грезящий мир.

Джефф Спендер ждал, когда начнется содом. Он глядел на своих товарищей и ждал: сейчас запрыгают, закричат... Вот только пройдет оцепенение от потрясающей мысли, что они «первые» люди на Марсе. Никто об этом вслух не говорил, но в глубине души многие, видимо, надеялись, что их предшественники не долетели и пальма первенства будет принадлежать этой, Четвертой экспедиции. Нет, они никому не желали зла, просто им очень хотелось быть первыми и они мечтали о славе и почете, пока их легкие привыкали к разреженной атмосфере Марса, из-за которой голова становилась словно хмельная, если двигаться слишком быстро.

Гиббс подошел к разгорающемуся костру и спросил:

— Зачем хворост, ведь в ракете есть химическое горючее?

— Неважно, — ответил Спендер, не поднимая головы.

Немыслимо, просто непристойно в первую же ночь на Марсе устраивать шум и гам и тащить из ракеты неуместную здесь штуковину — печку, сверкающую идиотским блеском. Это же будет надругательство какое-то. Еще успеется, еще будет время швырять банки из-под сгущенного молока в гордые марсианские каналы, еще поползут, лениво закувыркаются по седому пустынному дну марсианских морей шуршащие листы «Нью-Йорк таймс», придет время банановой коже и замасленной бумаге валяться среди изящно очерченных развалин древних марсианских городов. Все впереди, все будет. Его даже передернуло от этой мысли.

Спендер подкармливал пламя из рук с таким чувством, словно приносил жертву мертвому исполину. Планета, на которую они сели, — гигантская гробница. Здесь погибла целая цивилизация. Элементарная

вежливость требует хотя бы в первую ночь вести себя здесь пристойно.

— Нет, так не пойдет! Посадку надо отпраздновать! — Гиббс повернулся к капитану Уайлдеру. — Начальник, а неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом и малость кутнуть.

Капитан Уайлдер смотрел на мертвый город, который раскинулся в миле от них.

— Мы все устали, — произнес он рассеянно, точно целиком ушел в созерцание города и забыл про своих людей. — Лучше завтра вечером. Сегодня хватит с нас того, что мы добрались сюда через эту чертову пустоту, и все живы, и в оболочке нет дыры от метеорита.

Космонавты топтались вокруг костра. Их было двадцать, кто положил руку на плечо товарища, кто поправлял пояс. Спендер пристально разглядывал их. Они были недовольны. Они рисковали жизнью ради великого дела. Теперь им хотелось напиться до чертиков, горланить песни, поднять такую пальбу, чтобы сразу было видно, какие они лихие парни — пробуравили космос и пригнали ракету на Марс. На Марс!

Но пока все помалкивали.

Капитан негромко отдал приказ. Один из космонавтов сбегал в ракету и принес консервы, которые открыли и раздали без особого шума. Мало-помалу люди разговорились. Капитан сел и сделал краткий обзор полета. Они все знали сами, но было приятно слушать и сознавать, что все это уже позади, дело благополучно завершено. Про обратный путь говорить не хотелось. Кто-то было заикнулся об этом, но его заставили замолчать. В двойном лунном свете быстро мелькали ложки; еда казалась очень вкусной, вино — еще вкуснее.

В небе чиркнуло пламя, и мгновение спустя за их стоянкой села вспомогательная ракета. Спендер смотрел, как открылся маленький люк и оттуда вышел Хетэуэй, врач и геолог, — у каждого участника экспедиции были две специальности, для экономии места в ракете. Хетэуэй, не торопясь, подошел к капитану.

— Ну, что там? — спросил капитан Уайлдер.

Хетэуэй глядел на далекие города, мерцающие в звездном свете. Потом проглотил ком в горле и перевел взгляд на Уайлдера:

— Вон тот город мертв, капитан, мертв уж много тысяч лет. Как и три города в горах. Но пятый город, в двухстах милях отсюда...

— Ну?

— Еще на прошлой неделе там жили.

Спендер встал.

— Марсиане, — добавил Хетэуэй.

— А где они теперь?

— Умерли, — сказал Хетэуэй. — Я зашел в один дом, думал, что он, как и другие дома в остальных городах, заброшен много веков назад. Силы небесные, сколько там трупов! Словно груды осенних листьев! Будто сухие стебли и клочки горелой бумаги — все, что от них осталось. Причем умерли *совсем* недавно, самое большее дней десять назад.

— А в других городах? Хотя *что-нибудь* живое вы видели?

— Ничего. Я потом еще не один проверил. Из пяти городов четыре заброшены много тысяч лет. Совершенно не представляю себе, куда подевались их обитатели. Зато в каждом пятом городе — одно и то же. Тела. Тысячи тел.

— От чего они умерли? — Спендер подошел ближе.

— Вы не поверите.

— Что их убило?

— Ветрянка, — коротко ответил Хетэуэй.

— Не может быть!

— Точно. Я сделал анализы. Ветряная оспа. Ее действие на марсиан совсем не такое, как на землян. Видимо, все дело в обмене веществ. Они почернели, как головешки, и высохли, превратились в ломкие хлопья. Но это ветрянка, никакого сомнения. Выходит, что и Йорк, и капитан Уильямс, и капитан Блэк — все три экспедиции добрались до Марса. Что с ними стало потом, одному богу известно. Но мы совершенно точно знаем, что они, сами того не ведая, *сделали* с марсианами.

— И нигде никаких признаков жизни?

— Возможно, конечно, что несколько марсиан вовремя сообразили и ушли в горы. Но, даже если так, бьюсь об заклад, что проблемы туземцев здесь нет, их слишком мало. Песенка марсиан спета.

Спендер повернулся и снова сел у костра, уставившись в огонь. Ветрянка, господи, подумать только, ветрянка! Население планеты миллионы лет развивается, совершенствует свою культуру, строит вот такие города, всячески старается утвердить свои идеалы и представления о красоте и — погибает. Часть умерла еще до нашей эры — пришел их срок, и они скончались тихо, с достоинством встретили смерть. Но остальные! Может быть, остальные марсиане погибли от болезни с изысканным, или грозным, или возвышенным названием? Ничего подобного, черт возьми, их доконала ветрянка, детская болезнь, болезнь, которая на Земле не убивает *даже детей!* Это неправильно, несправедливо. Это все равно что сказать про древних греков, что они погибли от свинки, а гордых римлян на их прекрасных холмах скосил грибок! Хотя бы дали мы марсианам время

приготовить свой погребальный убор, принять надлежащую позу и измыслить какую-нибудь *иную* причину смерти. Так нет же — какая-то паршивая, дурацкая ветрянка! Нет, не может быть, это несовместимо с величием их архитектуры, со всем их миром!

— Ладно, Хетэуэй, теперь перекусите.

— Спасибо, капитан.

И все! Уже забыто. Уже говорят совсем о другом.

Спендер, не отрываясь, следил за своими спутниками. Он не прикоснулся к своей порции, лежавшей в тарелке у него на коленях. Стало еще холоднее. Звезды придвинулись ближе, вспыхнули ярче.

Если кто-нибудь начинал говорить чересчур громко, капитан отвечал вполголоса, и они невольно понижали голос, стараясь подражать ему.

Какой здесь чистый, необычный воздух! Спендер долго сидел и просто дышал, наслаждаясь его ароматом. В нем слилась бездна запахов, он не мог угадать каких: цветы, химические вещества, пыль, ветер...

— Или взять хоть тот раз в Нью-Йорке, когда я подцепил эту блондиночку, — черт, забыл, как ее звали... Гинни! — орал Биггс. — Девчонка была что надо!

Спендер весь сжался. У него задрожали руки. Глаза беспокойно дергались под тонкими, прозрачными веками.

— Вот Гинни и говорит мне... — продолжал Биггс.

Раздался дружный хохот.

— Ну, я ей и вмазал! — выкрикнул Биггс, не выпуская из рук бутылки.

Спендер отставил свою тарелку в сторону. Прислушался к шепоту прохладного ветерка. Полюбовался белыми марсианскими зданиями — точно холодные льдины на дне высохшего моря...

— Какая девчонка, блеск! — Биггс опрокинул бутылку в свою широкую пасть. — Сколько их было — такой не попадалось!

В воздухе стоял резкий запах потного тела Биггса. Спендер дал костру потухнуть.

— Эй, Спендер, уснул, что ли, подкинь дров! — крикнул Биггс и снова присосался к бутылке. — Ну, так вот, однажды ночью мы с Гинни...

Один из космонавтов, по фамилии Шенке, принес свой аккордеон и стал отбивать чечетку, так что пыль столбом поднялась.

— Э-эх! — вопил он. — Живем!

— Ого-го! — горланили остальные, отбросив пустые тарелки.

Трое стали в ряд и задргали ногами, наподобие девиц из бурлеска, выкрикивая соленые шуточки. Другие хлопали в ладоши, требуя отколоть что-нибудь еще. Чероки сбросил рубаху и закружился, сверкая потным

торсом. Лунное сияние серебрило его ежик и гладко выбритые молодые щеки.

Ветер гнал легкий туман над дном пересохшего моря, огромные каменные изваяния глядели с гор на серебристую ракету и крохотный костер.

Шум и гомон становились сильнее, число танцоров росло, кто-то сосал губную гармонику, другой дул в гребешок, обернутый папиросной бумагой. Еще два десятка бутылок откупорено и выпито. Биггс пьяно топтался вокруг и пытался дирижировать пляской, размахивая руками.

— Командир, присоединяйтесь! — крикнул Чероки капитану и затащил песню.

Пришлось и капитану плясать. Он делал это без всякой охоты. Лицо его было сумрачно. Спендер смотрел на него и думал: «Бедняга! Что за ночь! Не ведают они, что творят. Им перед вылетом надо бы инструктаж устроить, объяснить, что надо вести себя на Марсе прилично, хотя бы первые дни».

— Хватит. — Капитан вышел из круга и сел, сославшись на усталость.

Спендер взглянул на грудь капитана. Не сказать, чтобы она вздымалась чаще обычного. И лицо ничуть не вспотело.

Аккордеон, гармоника, вино, крики, пляска, вопли, возня, лязг посуды, хохот.

Биггс, шатаясь, побрел на берег марсианского канала. Он захватил с собой шесть пустых бутылок и одну за другой стал бросать их в глубокую голубую воду. Погружаясь, они издавали гулкий, задыхающийся звук.

— Я нарекаю тебя, нарекаю тебя, нарекаю тебя... — заплетающимся языком бормотал Биггс. — Нарекать тебя именем Биггс, Биггс, канал Биггса...

Прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться, Спендер вскочил на ноги, прыгнул через костер и подбежал к Биггсу. Он ударил Биггса сперва по зубам, потом в ухо. Биггс покачнулся и упал прямо в воду. Всплеск. Спендер молча ждал, когда Биггс выкарабкается обратно. Но к этому времени остальные уже схватили Спендера за руки.

— Эй, Спендер, что это на тебя нашло? Ты что? — допытывались они.

Биггс выбрался на берег и встал на ноги, вода струилась с него на каменные плиты. Он сразу заметил, что Спендера держат.

— Так, — сказал он и шагнул вперед.

— Прекратить! — рявкнул капитан Уайлдер.

Спендера выпустили. Биггс замер, глядя на капитана.

— Ладно, Биггс, переоденьтесь. Вы, ребята, можете продолжать

веселиться! Спендер, пойдете со мной!

Веселье возобновилось. Уайлдер отошел в сторону и обернулся к Спендеру.

— Может быть, вы объясните, в чем дело? — сказал он.

Спендер смотрел на канал.

— Не знаю. Мне стало стыдно. За Биггса, за всех нас, за этот содом. Господи, какое безобразие!

— Путешествие было долгое. Надо же им отвести душу.

— Но где их уважение, командир? Где чувство пристойности?

— Вы устали, Спендер, и смотрите на вещи иначе, чем они. Уплатите штраф пятьдесят долларов.

— Слушаюсь, командир. Но уж очень неприятно, когда подумаешь, что Они видят, как мы дураков корчим.

— Они?

— Марсиане, будь то живые или мертвые, все равно.

— Безусловно, мертвые, — ответил капитан. — Вы думаете, они знают, что мы здесь?

— Разве старое не знает всегда о появлении нового?

— Пожалуй. Можно подумать, что вы верите в духов.

— Я верю в вещи, сделанные трудом, а все вокруг показывает, сколько здесь сделано. Здесь есть улицы, и дома, и книги, наверно, есть, и широкие каналы, башни с часами, стойла — ну, пусть не для лошадей, но все-таки для каких-то домашних животных, скажем, даже с двенадцатью ногами, почем мы можем знать? Куда ни глянешь, всюду вещи и сооружения, которыми пользовались. К ним прикасались, их употребляли много столетий. Спросите меня, верю ли я в душу вещей, вложенную в них теми, кто ими пользовался, — я скажу да. А они здесь, вокруг нас, — вещи, у которых было свое назначение. Горы, у которых были свои имена. Пользуясь этими вещами, мы всегда, неизбежно будем чувствовать себя неловко. И названия гор будут звучать для нас как-то не так — мы их окрестим, а старые-то названия никуда не делись, существуют где-то во времени, для кого-то здешние горы, представления о них были связаны именно с теми названиями. Названия, которые мы дадим каналам, городам, вершинам, скатятся с них как с гуся вода. Мы можем сколько угодно соприкоснуться с Марсом — настоящего общения никогда не будет. В конце концов это доведет нас до бешенства и знаете, что мы сделаем с Марсом? Мы его распотрошим, снимем с него шкуру и перекроим ее по своему вкусу.

— Мы не разрушим Марс, — сказал капитан. — Он слишком велик и

великолепен.

— Вы уверены? У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную в Египте среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе и там не развернешь коммерции. Но Египет всего лишь клочок нашей планеты. А здесь — здесь все древность, все непохожее, и мы где-нибудь тут обоснуемся и начнем опоганивать этот мир. Вот этот канал назовем в честь Рокфеллера, эту гору назовем горой короля Георга, и море будет морем Дюпона, там вон будут города Рузвельт, Линкольн и Кулидж, но это все будет неправильно, потому что у каждого места уже есть свое, *собственное* имя.

— Это уж ваше дело, археологов, раскапывать старые названия, а мы что ж, мы согласны ими пользоваться.

— Кучка людей вроде нас — против всех дельцов и трестов? — Спендер поглядел на отливающие металлом горы. — Они *знают*, что мы сегодня появились здесь, будем пакостить им; они должны нас ненавидеть.

Капитан покачал головой.

— Здесь нет ненависти. — Он прислушался к ветру. — Судя по их городам, это были добрые, красивые, мудрые люди. Они принимали свою судьбу как должное. Очевидно, смирились с тем, что им вымирать, и не затеяли с отчаяния никакой опустошительной войны напоследок, не стали уничтожать своих городов. Все города, которые мы до сих пор видели, сохранились в полной неприкосновенности. Сдается мне, мы им мешаем не больше, чем помешали бы дети, играющие на газоне, — велик ли спрос с ребенка? И кто знает, быть может, в конечном счете все это изменит нас к лучшему. Вы обратили внимание, Спендер, на необычно тихое поведение наших людей, пока Биггс не навязал им это веселье? Как смирно, даже робко они держались! Еще бы, лицом к лицу со всем этим сразу сообразишь, что мы не так уж сильны. Мы просто дети в коротких штанишках, шумные и непоседливые дети, которые носятся со своими ракетными и атомными игрушками. Но ведь когда-нибудь Земля станет такой, каков Марс теперь. Так что Марс нас отрезвит. Наглядное пособие по истории цивилизации. Полезный урок. А теперь — выше голову! Пойдем играть в веселье. Да, штраф остается в силе.

Но веселье не ладилось. С мертвого моря упорно дул ветер. Он вился вокруг космонавтов, вокруг капитана и Джеффа Спендера, когда те шли обратно к остальным. Ветер ворошил пыль и обтекал сверкающую ракету, тербил аккордеон, и пыль покрыла исцелованную губную гармонику Она

засоряла им глаза, и от ветра в воздухе звучала высокая певучая нота. Вдруг он стих, так же неожиданно, как начался.

Но и веселье тоже стихло.

Люди застыли неподвижно под равнодушным черным небом.

— А ну, ребята, давай! — Биггс, в чистой сухой одежде, выскочил из ракеты, стараясь не глядеть на Спендера. Звук его голоса погас, будто в пустом зале. Будто никого вокруг нет — Давайте все сюда!

Никто не тронулся с места.

— Эй, Уайти, что же твоя гармоника?

Уайти выдул какую-то трель. Она прозвучала фальшиво и нелепо. Уайти вытряхнул из инструмента влагу и убрал его в карман.

— Вы что, *на поминках*, что ли? — не унимался Биггс.

Кто-то сжал в объятиях аккордеон. Он издал звук, похожий на предсмертный стон животного. И все.

— Ладно, тогда мы с бутылочкой повеселимся вдвоем. — Биггс уселся, прислонившись к ракете, и поднес ко рту карманную фляжку.

Спендер не сводил с него глаз. Долго стоял неподвижно. Потом его пальцы тихонько, медленно поползли вверх по дрожащему бедру, нащупали пистолет и стали поглаживать кожаную кобуру.

— Кто хочет, может пойти со мной в город, — объявил капитан. — Поставим охрану у ракеты и захватим с собой оружие — на всякий случай.

Желающие построились и рассчитались по порядку. Их оказалось четырнадцать, включая Биггса, который стал в строй, гогоча и размахивая бутылкой. Шесть человек решили остаться.

— Ну, потопали! — заорал Биггс.

Отряд молча зашагал по долине, залитой лунным светом. Они пришли на окраину дремлющего мертвого города, озаренного светом двух догоняющих друг друга лун. Тени, протянувшиеся от их ног, были двойными. Несколько минут космонавты стояли, затаив дыхание. Ждали: вот сейчас что-нибудь шевельнется в этом безжизненном городе, возникнет какой-нибудь туманный силуэт, промчится галопом по бесплодному морскому дну этакий призрак седой старины верхом на закованном в латы древнем коне немислимых кровей с невиданной родословной.

Воображение Спендера оживляло пустынные городские улицы. Голубыми светящимися призраками шли люди по проспектам, замощенным камнем, слышалось невнятное бормотание, странные животные стремительно бежали по серовато-красному песку. В каждом окне кто-то стоял и, перегнувшись через подоконник, медленно поводил руками, точно утонувший в водах вечности, махая каким-то силуэтам,

движущимся в бездонном пространстве у подножия посеребренных луной башен. Внутренний слух улавливал музыку, — и Спендер попытался представить себе, как могут выглядеть инструменты, которые так звучат... Город был полон видениями.

— Э-гей! — крикнул Биггс, выпрямившись и сложив ладони рупором. — Эй, кто тут есть в городе, отзовись!

— Биггс! — сказал капитан.

Биггс умолк.

Они ступили на улицу, вымощенную плитами. Теперь они говорили только шепотом, потому что у них было такое чувство, будто они вошли в огромный читальный зал под открытым небом или в усыпальницу, где только ветер да яркие звезды над головой. Капитан заговорил вполголоса. Ему хотелось знать, куда девались жители города, что за люди они были, какие короли ими правили, отчего они умерли. Он тихо вопрошал: как сумели они построить такой долговечный город? Побывали ли они на Земле? Не они ли десятки тысяч лет назад положили начало роду землян? Так же ли любили они и ненавидели, как мы? И были ли их безрассудства такими же, когда они совершали их?

Они замерли. Луны точно околдовали, заморозили их; тихий ветер овеивал их.

— Лорд Байрон, — сказал Джефф Спендер.

— Какой лорд? — Капитан повернулся к нему.

— Лорд Байрон, поэт, жил в девятнадцатом веке. Давным-давно он написал стихотворение. Оно удивительно подходит к этому городу и выражает чувства, которые должны были бы испытывать марсиане. Если только здесь осталось кому чувствовать. Такие стихи мог бы написать последний марсианский поэт.

Люди стояли неподвижно, и тени их замерли.

— Что же это за стихотворение? — спросил капитан.

Спендер переступил с ноги на ногу, поднял руку, вспоминая, на мгновение зажмурился, затем его тихий голос стал неторопливо произносить слова стихотворения, и все слушали его, не отрываясь:

*Не бродить уж нам ночами,
Хоть душа любви полна,
И по-прежнему лучами
Серебрит простор луна.*

Город был пепельно-серый, высокий, безмолвный. Лица людей обратились к лунам.

*Меч сотрет железо ножен,
И душа источит грудь,
Вечный пламень невозможен,
Сердцу нужно отдохнуть.*

*Пусть влюбленными лучами
Месяц тянется к земле,
Не бродить уж нам ночами
В серебристой лунной мгле.*

Земляне молча стояли в центре города. Ночь была ясна и безоблачна. Кроме свиста ветра — ни звука кругом. Перед ними расстилалась площадь, и плиточная мозаика изображала древних животных и людей. Они стояли и смотрели.

Биггс издал рыгающий звук. Глаза его помутнели. Руки метнулись ко рту, он судорожно глотнул, зажмурился, согнулся пополам. Густая струя наполнила рот и вырвалась, хлынула с плеском прямо на плиты, заливая изображения. Так повторилось дважды. В прохладном воздухе разнесся кислый винный запах. Никто не шевельнулся помочь Биггсу. Его продолжало тошнить.

Мгновение Спендер смотрел на него, затем повернулся и пошел прочь. В полном одиночестве он шел по озаренным луной улицам города и ни разу не остановился, чтобы оглянуться на своих товарищей.

Они легли спать около четырех утра. Вытянувшись на одеялах, закрыли глаза и вдыхали неподвижный воздух. Капитан Уайлдер сидел возле костра, подбрасывая в него сучья.

Два часа спустя Мак-Клюр открыл глаза.

— Вы не спите, командир?

— Жду Спендера. — Капитан слабо улыбнулся.

Мак-Клюр подумал.

— Знаете, командир, мне кажется, он не придет. Сам не знаю почему, но у меня такое чувство. Не придет он.

Мак-Клюр повернулся на другой бок. Огонь рассыпался трескучими искрами и потух.

Прошла целая неделя, а Спендер не появлялся. Капитан разослал на

поиски его несколько отрядов, но они вернулись и доложили, что не понимают, куда он мог деться. Ничего, надоест шляться — сам придет. И вообще он нытик и брюзга. Ушел, и черт с ним!

Капитан промолчал, но записал все в корабельный журнал...

Однажды утром — это мог быть понедельник, или вторник, или любой иной марсианский день — Биггс сидел на краю канала, подставив лицо солнечным лучам и болтая ногами в прохладной воде.

Вдоль канала шел человек. Его тень упала на Биггса. Биггс открыл глаза.

— Будь я проклят! — воскликнул Биггс.

— Я последний марсианин, — сказал человек, доставая пистолет.

— Что ты сказал? — спросил Биггс.

— Я убью тебя.

— Брось. Что за глупые шутки, Спендер?

— Встань, умри, как мужчина.

— Бога ради, убери пистолет.

Спендер нажал курок только один раз. Мгновение Биггс еще сидел на краю канала, потом наклонился вперед и упал в воду. Выстрел был очень тихим — как шелест, как слабое жужжание. Тело медленно, отрешенно погрузилось в неторопливые струи канала, издавая глухой булькающий звук, который вскоре прекратился.

Спендер убрал пистолет в кобуру и неслышными шагами пошел дальше. Солнце светило сверху на Марс, его лучи припекали кожу рук, жарко гладили непроницаемое лицо Спендера. Он не стал бежать, шел так, будто с прошлого раза ничего не изменилось, если не считать, что теперь был день. Он подошел к ракете, несколько человек уписывали только что приготовленный завтрак под навесом, который оставил кок.

— А вот и наш Одинокий Волк идет, — сказал кто-то.

— Пришел, Спендер! Давненько не виделись!

Четверо за столом пристально смотрели на человека, который молча глядел на них.

— Далась тебе эти проклятые развалины, — усмехнулся кок, помешивая какое-то черное варево в миске. — Ну, чисто голодный пес, который до костей дорвался.

— Возможно, — ответил Спендер. — Мне надо было кое-что выяснить. Что вы скажете, если я вам сообщу, что видел здесь по соседству марсианина?

Четверо космонавтов отложили свои вилки.

— Марсианина? Где?

— Это не важно. Позвольте мне задать вам один вопрос. Как бы вы себя чувствовали на месте марсиан, если бы в вашу страну явились люди и стали бы все громить?

— Я-то знаю, что бы я чувствовал, — сказал Чероки. — В моих жилах есть кровь племени чероков. Мой дед немало мне порассказал из истории Оклахомы. Так что, если тут остались марсиане, я их понимаю.

— А вы? — осторожно спросил Спендер остальных.

Никто не ответил, молчание было достаточно красноречиво. Дескать, грабастай, сколько захватишь, что нашел — все твое, если ближний подставил щеку — вдарь покрепче, и так далее в том же духе.

— Ну, так вот, — сказал Спендер. — Я встретил марсианина.

Они недоверчиво смотрели на него.

— Там, в одном из мертвых поселений. Я и не подозревал, что встречу его. Даже не собирался искать. Не знаю, что он там делал. Эту неделю я прожил в маленьком городке, пытался разобрать древние письмена, изучал их старинное искусство. И вот однажды увидел марсианина. Он только на миг появился и тут же пропал. Потом дня два не показывался. Я сидел над письменами, когда он снова пришел. И так несколько раз, с каждым разом все ближе и ближе. В тот день, когда я наконец освоил марсианский язык, — это удивительно просто, и очень помогают пиктограммы — марсианин появился передо мной и сказал: «Дайте мне ваши башмаки». Я отдал ему башмаки, а он говорит: «Дайте мне ваше обмундирование и все, что на вас надето». Я все отдал, он опять: «Дайте пистолет». Подаю пистолет. Тогда он говорит: «А теперь пойдете со мной и смотрите, что будет». И марсианин пошел в лагерь, и вот он здесь.

— Не вижу никакого марсианина, — возразил Чероки.

— Очень жаль.

Спендер выхватил из кобуры пистолет. Послышалось слабое жужжание. Первая пуля поразила крайнего слева, вторая и третья — крайнего справа и того, что сидел посредине. Кок испуганно обернулся от костра и был сражен четвертой пулей. Он упал плашмя в огонь и остался лежать, его одежда загорелась.

Ракета стояла, залитая солнцем. Три человека сидели за столом, и руки их неподвижно лежали возле тарелок, на которых остывал завтрак. Один Чероки, невредимый, с тупым недоумением глядел на Спендера.

— Можешь пойти со мной, — сказал Спендер.

Чероки не ответил.

— Слышишь, я принимаю тебя в свою компанию. — Спендер ждал. Наконец к Чероки вернулся дар речи.

— Ты их убил, — произнес он и заставил себя взглянуть на сидящих напротив.

— Они это заслужили.

— Ты сошел с ума!

— Возможно. Но ты можешь пойти со мной.

— Пойти с тобой — зачем? — вскричал Чероки, мертвенно бледный, со слезами на глазах. — Уходи, убирайся прочь!

Лицо Спендера окаменело.

— Я-то думал, хоть ты меня поймешь.

— Убирайся! — Рука Чероки потянулась за пистолетом.

Спендер выстрелил в последний раз. Больше Чероки не двигался.

Зато покачнулся Спендер. Он провел ладонью по потному лицу. Он поглядел на ракету, и вдруг его начала бить дрожь. Он едва не упал, настолько сильна была реакция. Его лицо было лицом человека, который приходит в себя после гипноза, после сновидения. Он сел, чтобы справиться с дрожью.

— Перестать! Сейчас же! — приказал он своему телу.

Каждая клеточка судорожно дрожала.

— Перестань!

Он сжал тело в тисках воли, пока не выдавил из него всю дрожь, до последнего остатка. Теперь руки лежали спокойно на усмирённых коленях.

Он встал и с неторопливой тщательностью закрепил на спине ранец с продуктами. На какую-то крохотную долю секунды его руки опять задрожали, но Спендер очень решительно скомандовал: «Нет!», и дрожь прошла. И он побрел прочь на негнущихся ногах и затерялся среди раскаленных красных гор. Один.

Полыхающее солнце поднялось выше в небе. Час спустя капитан вылез из ракеты позавтракать. Он уже было открыл рот, чтобы поздороваться с космонавтами, сидящими за столом, но осекся, уловив в воздухе легкий запах пистолетного дыма. Он увидел, что кок лежит на земле, накрыв своим телом костер. Четверо сидели перед остывшим завтраком.

По трапу спустились Паркхилл и еще двое. Капитан стоял, загородив им путь, не в силах отвести глаз от молчаливых людей за столом, от их странных поз.

— Собрать всех людей! — приказал капитан.

Паркхилл побежал вдоль канала.

Капитан тронул рукой Чероки. Чероки медленно согнулся и упал со стула. Солнечные лучи осветили его жесткий ежик и скуластое лицо.

Экипаж собрался.

— Кого недостает?

— Все того же Спендера. Биггса мы нашли в канале.

— Спендер!

Капитан посмотрел на устремленные в дневное небо горы. Солнце высветило его зубы, обнаженные гримасой.

— Черт бы его побрал, — устало произнес капитан. — Почему он не пришел ко мне, я бы поговорил с ним.

— Нет, вот я бы с ним поговорил! — крикнул Паркхилл, яростно сверкнув глазами. — Я бы раскроил ему башку и выпустил мозги наружу!

Капитан Уайлдер кивком подозвал двоих.

— Возьмите лопаты, — сказал он.

Копать было жарко. С высохшего моря летел теплый ветер, он швырял им пыль в лицо, а капитан листал библию. Но вот он закрыл книгу, и с лопат на завернутые в ткань тела потекли медленные струи песка.

Они вернулись к ракете, щелкнули затворами своих винтовок, подвесили к поясу сзади связки гранат, проверили, легко ли вынимаются из кобуры пистолеты. Каждому был отведен определенный участок гор. Капитан говорил, куда кому идти, не повышая голоса, руки его вяло висели, он ни разу не шевельнул ими.

— Пошли, — сказал он.

Спендер увидел, как в разных концах долины поднимаются облачка пыли, и понял, что преследование началось по всем правилам. Он опустил плоскую серебряную книгу, которую читал, удобно примостившись на большом камне. Страницы книги были из чистейшего тонкого, как папиросная бумага, листового серебра, разрисованные от руки чернью и золотом. Это был философский трактат десяти тысячелетней давности, найденный им в одной из вилл небольшого марсианского селения. Спендеру не хотелось отрываться от книги.

Он даже подумал сперва: «А стоит ли? Буду сидеть и читать, пока не придут и не убьют меня».

Утром, после того как он застрелил шесть человек, Спендер ощутил тупую опустошенность, потом его тошнило, и наконец им овладел странный покой. Но и это чувство было преходящим, потому что при виде пыли, которая обозначала путь преследователей, он снова ощутил ожесточение.

Он глотнул холодной воды из походной фляги. Потом встал, потянулся, зевнул и прислушался к упоительной тишине окружавшей его долины. Эх, если бы он и еще несколько людей оттуда, с Земли, могли вместе

поселиться здесь и дожить свою жизнь без шума, без тревог...

Спендер взял в одну руку книгу, а в другую — пистолет. Рядом протекала быстрая речка с дном из белой гальки и большими камнями на берегах. Он разделся на камнях и вошел в воду ополоснуться. Он не спешил и, лишь поплескавшись вволю, оделся и снова взял пистолет.

Первые выстрелы раздались около трех часов дня. К этому времени Спендер ушел высоко в горы. Погоня шла следом. Миновали три горных марсианских городка. Над ними были разбросаны виллы марсиан.

Облюбовав себе зеленый лужок и быстрый ручей, древние марсианские семьи выложили из плиток бассейны, построили библиотеки, разбили сады с журчащими фонтанами. Спендер позволил себе поплавать с полчаса в наполненном дождевой водой бассейне, ожидая, когда приблизится погоня.

Покидая виллу, он услышал выстрелы. Позади него, в каких-нибудь пяти метрах, взорвался осколками кирпич. Спендер побежал, укрываясь за скальными выступами, обернулся и первым же выстрелом уложил наповал одного из преследователей.

Спендер знал, что его возьмут в кольцо и он окажется в ловушке. Окружат со всех сторон, и станут сходитьсь, и прикончат его. Странно даже, что они еще не пустили в ход гранаты. Капитану Уайлдеру достаточно слово сказать...

«Я слишком тонкое изделие, чтобы превращать меня в крошево, — подумал Спендер. — Вот что сдерживает капитана. Ему хочется, чтобы дело ограничилось одной аккуратной дырочкой. Чудно... Хочется, чтобы я умер благопристойно. Никаких луж крови. Почему? Да потому, что он меня понимает. Вот почему он готов рисковать своими лихими ребятами, лишь бы уложить меня точным выстрелом в голову. Разве не так?»

Девять-десять выстрелов прогремели один за другим, подбрасывая камни вокруг Спендера. Он методично отстреливался, иногда даже не отрываясь от серебряной книги, которую не выпускал из рук.

Капитан выскочил из-за укрытия под жаркие лучи солнца с винтовкой в руках. Спендер проводил его мушкой пистолета, но стрелять не стал. Вместо этого он выбрал другую цель и сбил пулей верхушку камня, за которым лежал Уайти. Оттуда донесся злобный крик.

Вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям и, отложив винтовку в сторону, пошел вверх по склону. Спендер немного выждал, потом и он поднялся на ноги, с пистолетом наготове.

Капитан подошел и сел на горячий камень, избегая смотреть на

Спендера.

Рука капитана потянулась к карману куртки. Спендер крепче сжал пистолет.

— Сигарету? — предложил капитан.

— Спасибо. — Спендер взял одну.

— Огоньку?

— Свои есть.

Они затянулись раз-другой в полной тишине.

— Жарко, — сказал капитан.

— Очень.

— Как вы тут, хорошо устроились?

— Отлично.

— И сколько думаете продержаться?

— Столько, сколько нужно, чтобы уложить дюжину человек.

— Почему вы не убили всех нас утром, когда была возможность? Вы вполне могли это сделать.

— Знаю. Духу не хватило. Когда тебе что-нибудь втемяшится в голову, начинаешь лгать самому себе. Говоришь, что все остальные неправы, а ты прав. Но едва я начал убивать этих людей, как сообразил, что они просто глупцы и зря я на них поднял руку. Поздно сообразил. Тогда я не мог заставить себя продолжать, вот и ушел сюда, чтобы еще раз солгать себе и разозлиться, восстановить нужное настроение.

— Восстановили?

— Не совсем. Но вполне достаточно.

Капитан разглядывал свою сигарету.

— Почему вы так поступили?

Спендер спокойно положил пистолет у своих ног.

— Потому что нам можно только мечтать обо всем том, что я увидел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться сто лет назад. Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками.

— Да, там у них чудесный город. — Капитан кивком головы указал на один из городов.

— Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом. У американцев искусство всегда особая статья, его место — в комнате чудаковатого сына наверху. Остальные принимают его, так сказать, воскресными дозами, кое-кто в смеси с религией. У марсиан есть все — и искусство, и религия, и другое...

— Думаете, они дознались, что к чему?

— Уверен.

— И по этой причине вы стали убивать людей.

— Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мехикосити. Никогда не забуду, как отец там держался — крикливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились тем, что они-де редко умываются и кожа у них темная. Сестра — та вообще избегала с ними разговаривать. Одному мне они пришлись по душе. И я отлично представляю себе, что, попади отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же. Средний американец от всего необычного нос воротит. Если нет чикагского клейма, значит, никуда не годится. Подумать только! Боже мой, только подумать! А война! Вы ведь слышали речи в конгрессе перед нашим вылетом! Мол, если экспедиция удастся, на Марсе разместят три атомные лаборатории и склады атомных бомб. Выходит, Марсу конец; все эти чудеса погибнут. Ну, скажите, что вы почувствовали бы, если бы марсианин облевал полы Белого дома?

Капитан молчал и слушал.

Спендер продолжал:

— А все прочие воротилы? Боссы горной промышленности, бюро путешествий... Помните, что было с Мексикой, когда туда из Испании явился Кортес со своей милой компанией? Какую культуру уничтожили эти алчные праведники-изуверы! История не простит Кортеса.

— Нельзя сказать, что вы сами сегодня вели себя нравственно, — заметил капитан.

— А что мне оставалось делать? Спорить с вами? Ведь я один — один против всей этой подлой, ненасытной шайки там, на Земле. Они же сразу примутся сбрасывать здесь свои мерзкие атомные бомбы, драться за базы для новых войн. Мало того, что одну планету разорили, надо и другим все изгадить? Тупые болтуны. Когда я попал сюда, мне показалось, что я избавлен не только от этой их так называемой культуры, но и от их этики, от их обычаев. Решил, что здесь их правила и устои меня больше не касаются. Оставалось только убить всех вас и зажить на свой лад.

— Но вышло иначе.

— Да. Когда я убил пятого там, у ракеты, я понял, что не сумел обновиться полностью, не стал настоящим марсианином. Не так-то легко оказалось избавиться от всего того, что к тебе прилипло на Земле. Но теперь мои колебания прошли. Я убью вас, всех до одного. Это задержит отправку следующей экспедиции самое малое лет на пять. Наша ракета единственная, других таких сейчас нет. На Земле будут ждать вестей от нас

год, а то и два, и, так как они о нас ничего не узнают, им будет страшно снаряжать новую экспедицию. Ракету будут строить вдвое дольше, сделают лишнюю сотню опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач.

— Расчет верный.

— Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так, даст бог, доживу до шестидесяти и буду встречать каждую новую экспедицию. За один раз больше одной ракеты не пошлют — и не чаще чем раз в год, — и экипаж не может превышать двадцать человек. Я, конечно, подружусь с ними, расскажу, что наша ракета неожиданно взорвалась, — я взорву ее на этой же неделе, как только управлюсь с вами, — а потом всех их прикончу. На полвека-то удастся отстоять Марс; земляне, вероятно, скоро прекратят попытки. Помните, как люди остыли к строительству цеппелинов, которые все время загорались и падали?

— Вы все продумали, — признал капитан.

— Вот именно.

— Кроме одного: нас слишком много. Через час кольцо сомкнется. Через час вы будете мертвы.

— Я обнаружил подземные ходы и надежные убежища, которых вам ни за что не найти. Уйду туда, отсижусь несколько недель. Ваша бдительность ослабнет. Тогда я выйду и снова ухлопаю вас одного за другим.

Капитан кивнул.

— Расскажите мне про эту вашу здешнюю цивилизацию, — сказал он, показав рукой в сторону горных селений.

— Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. Ведь что было у нас: сперва обрадовались, поспешили заключить в свои объятия и его, и Гексли, и Фрейда. Потом вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. Но ведь это глупо! Захотели немного потеснить Дарвина, Гексли, Фрейда. Они не очень-то поддавались. Тогда мы принялись сокрушать религию. И отлично преуспели. Лишились веры и стали ломать себе голову над смыслом жизни. Если искусство — всего лишь выражение неудовлетворенных страстей, если религия — самообман, то для чего мы живем? Вера на все находила ответ. Но с приходом Дарвина и Фрейда она вылетела в трубу. Как был род человеческий заблудшим, так и остался.

— А марсиане, выходит, *нашли* верный путь? — осведомился капитан.

— Да. Они сумели сочетать науку и веру так, что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали.

— Прямо идеал какой-то!

— Так оно и было. Мне очень хочется показать вам, как это выглядело на деле.

— Мои люди ждут меня.

— Каких-нибудь полчаса. Предупредите их, сэр.

Капитан помедлил, потом встал и крикнул своему отряду, который залег внизу, чтобы они не двигались с места.

Спендер повел его в небольшое марсианское селение, сооруженное из безупречного прохладного мрамора. Они увидели большие фризы с изображением великолепных животных, каких-то кошек с белыми лапами и желтые круги — символы солнца, увидели изваяния животных, напоминавших быков, скульптуры мужчин, женщин и огромных собак с благородными мордами.

— Вот вам ответ, капитан.

— Не вижу.

— Марсиане узнали тайну жизни у животных. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни, в ней и радость, и наслаждение. Вы посмотрите на эти скульптуры: всюду символические изображения животных.

— Язычество какое-то.

— Напротив, это символы бога, символы жизни. На Марсе тоже была пора, когда в Человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли: чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и возможно лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос: «Для чего жить?» — родился у них в разгар периода воин и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обрести равновесие, устойчивость, стоило прекратиться войнам, как этот вопрос опять оказался бессмысленным, уже совсем по-другому. Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем.

— Послушать вас, так марсиане были довольно наивными.

— Только там, где наивность себя оправдывала. Они излечились от стремления все разрушать, все развенчивать. Они слили вместе религию, искусство и науку: ведь наука в конечном счете — исследование чуда, коего мы не в силах объяснить, а искусство — толкование этого чуда. Они

не позволяли науке сокрушать эстетическое, прекрасное. Это же все вопрос меры. Землянин рассуждает: «В этой картине цвета как такового нет. Наука может доказать, что цвет — это всего-навсего определенное расположение частиц вещества, особым образом отражающих свет. Следовательно, цвет не является действительной принадлежностью предметов, которые попали в поле моего зрения». Марсианин, как более умный, сказал бы так: «Это чудесная картина. Она создана рукой и мозгом вдохновенного человека. Ее идея и краски даны жизнью. Отличная вещь».

Они помолчали. Сидя в лучах предвечернего солнца, капитан с любопытством разглядывал безмолвный мраморный городок.

— Я бы с удовольствием здесь поселился, — сказал он.

— Вам стоит только захотеть.

— Вы предлагаете это *мне*?

— Кто из ваших людей способен по-настоящему понять все это? Они же профессиональные циники, их уже не исправишь. Ну зачем вам возвращаться на Землю вместе с ними? Чтобы тянуться за Джонсами? Чтобы купить себе точно такой вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь, в одном дворике, я нашел запись марсианской музыки, ей не менее пятидесяти тысяч лет. Она все еще звучит. Такой музыки вы в жизни больше нигде не услышите. Оставайтесь и будете слушать. Здесь есть книги. Я уже довольно свободно их читаю. И вы могли бы.

— Это все довольно заманчиво.

— И все же вы не останетесь?

— Нет. Но за предложение все-таки спасибо.

— И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое. Мне придется всех вас убить.

— Вы оптимист.

— Мне есть за что сражаться и ради чего жить, поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, своя религия: я заново учусь дышать, лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация?

Капитан переступил с ноги на ногу и покачал головой.

— Мне очень жаль, что так получается. Обидно за все это...

— Мне тоже. А теперь, пожалуй, пора отвести вас обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку.

— Пожалуй.

— Капитан, вас я убивать не стану. Когда все будет кончено, вы

останетесь живы.

— Что?

— Я с самого начала решил пощадить вас.

— Вот как...

— Я спасу вас от тех, остальных. Когда они будут убиты, вы, может быть, передумаете.

— Нет, — сказал капитан. — В моих жилах слишком много земной крови. Я не смогу дать вам уйти.

— Даже если у вас будет возможность остаться здесь?

— Да, как ни странно, даже тогда. Не знаю почему. Никогда не задавался таким вопросом. Ну, вот и пришли.

Они вернулись на прежнее место.

— Пойдете со мной добровольно, Спендер? Предлагаю в последний раз.

— Благодарю. Не пойду. — Спендер вытянул вперед одну руку. — И еще одно, напоследок. Если вы победите, сделайте мне услугу. Постарайтесь, насколько это в ваших силах, оттянуть растерзание этой планеты хотя бы лет на пятьдесят, пусть сперва археологи потрудятся как следует. Обещаете?

— Обещаю.

— И еще, если от этого кому-нибудь будет легче, считайте меня безнадежным психопатом, который летним днем окончательно свихнулся, да так и не пришел в себя. Может, вам легче будет...

— Я подумаю. Прощайте, Спендер. Счастливо.

— Вы странный человек, — сказал Спендер, когда капитан зашагал вниз по тропе, навстречу теплому ветру.

Капитан наконец вернулся к своим запыленным людям, которые уже не чаяли его дожидаться. Он щурился на солнце и тяжело дышал.

— Выпить есть у кого? — спросил капитан.

Он почувствовал, как ему сунули в руку прохладную флягу.

— Спасибо.

Он глотнул. Вытер рот.

— Ну, так, — сказал капитан. — Будьте осторожны. Спешить некуда, времени у нас достаточно. С нашей стороны больше жертв быть не должно. Вам придется убить его. Он отказался пойти со мной добровольно. Постарайтесь уложить его одним выстрелом. Не превращайте в решето. Надо кончать.

— Я раскрою ему его проклятую башку, — буркнул Сэм Паркхилл.

— Нет, только в сердце, — сказал капитан. Он отчетливо видел перед

собой суровое, полное решимости лицо Спендера.

— Его проклятую башку, — повторил Паркхилл.

Капитан швырнул ему флягу.

— Вы слышали мой приказ? Только в сердце.

Паркхилл что-то буркнул себе под нос.

— Пошли, — сказал капитан.

Они снова рассыпались, перешли с шага на бег, затем опять на шаг, поднимаясь по жарким склонам, то ныряя в холодные, пахнущие мхом пещеры, то выскакивая на ярко освещенные открытые площадки, где пахло раскаленным камнем.

«Как противно быть ловким и расторопным, — думал капитан, — когда в глубине души не чувствуешь себя ловким и *не хочешь* им быть. Подбираться тайком, замышлять всякие хитрости и гордиться своим коварством. Ненавижу это чувство правоты, когда в глубине души я не уверен, что прав. Кто мы, если разобраться? Большинство?.. Чем не ответ: ведь большинство всегда непогрешимо, разве нет? Всегда — и не может даже на миг ошибиться, разве не так? Не ошибается даже раз в десять миллионов лет?..»

Он думал: «Что представляет собой это большинство и кто в него входит? О чем они думают, и почему они стали именно такими, и неужели никогда не переменятся, и еще — какого черта меня занесло в это треклятое большинство? Мне не по себе. В чем тут причина: клаустрофобия, боязнь толпы или просто здравый смысл? И может ли один человек быть правым, когда весь мир уверен в своей правоте? Не будем об этом думать. Будем ползать на брюхе, подкрадываться, спускать курок! Вот так! И так!»

Его люди перебежали, падали, снова перебежали, приседая в тени, и скалили зубы, хватая ртом воздух, потому что атмосфера была разреженная, бегать в ней тяжело; атмосфера была разреженная, и им приходилось по пяти минут отсиживаться, тяжело дыша, — и черные искры перед глазами, — глотать бедный кислородом воздух, которым никак не насытишься, наконец, стиснув зубы, опять вставать на ноги и поднимать винтовки, чтобы раздирать этот разреженный летний воздух огнем и громом.

Спендер лежал там, где его оставил капитан, изредка стреляя по преследователям.

— Размажу по камням его проклятые мозги! — завопил Паркхилл и побежал вверх по склону.

Капитан прицелился в Сэма Паркхилла. И отложил пистолет, с ужасом глядя на него.

— Что вы затеяли? — спросил он обессилевшую руку и пистолет.

Он едва не выстрелил в спину Паркхиллу.

— Господи, что это я!

Он увидел, как Паркхилл закончил перебежку и упал, найдя укрытие.

Вокруг Спендера медленно стягивалась редкая движущаяся цепочка людей. Он лежал на вершине, за двумя большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха, под мышками темными пятнами проступил пот. Капитан отчетливо видел эти камни. Их разделял просвет сантиметров около десяти, оставляя незащищенной грудь Спендера.

— Эй, ты! — крикнул Паркхилл. — У меня тут пуля припасена для твоего черепа!

Капитан Уайлдер ждал. «Ну, Спендер, давай же, — думал он. — Уходи, как у тебя было задумано. Через несколько минут будет поздно. Уходи, потом опять выйдешь. Ну! Ты же сказал, что уйдешь. Уйди в эти катакомбы, которые ты разыскал, заляг там и живи месяц, год, много лет, читай свои замечательные книги, купайся в своих храмовых бассейнах. Давай же, человек, ну, пока не поздно».

Спендер не двигался с места.

«Да что это с ним?» — спросил себя капитан.

Он взял свой пистолет. Понаблюдал, как перебегают от укрытия к укрытию его люди. Поглядел на башни маленького чистенького марсианского селения — будто резные шахматные фигурки с освещенными солнцем гранями. Перевел взгляд на камни и промежуток между ними, открывающий грудь Спендера.

Паркхилл ринулся вперед, рыча от ярости.

— Нет, Паркхилл, — сказал капитан. — Я не могу допустить, чтобы это сделали вы. Или кто-либо еще. Нет, никто из вас. Я сам.

Он поднял пистолет и прицелился.

«Будет ли у меня после этого чистая совесть? — спросил себя капитан. — Верно ли я поступаю, что беру это на себя? Да, верно. Я знаю, что и почему делаю, и все правильно, ведь я уверен, что это надлежит сделать мне. Я надеюсь и верю, что всей жизнью оправдаю свое решение».

Он кивнул головой Спендеру.

— Уходи! — крикнул он шепотом, которого никто, кроме него, не слышал. — Даю тебе еще тридцать секунд. Тридцать секунд!

Часы тикали на его запястье. Капитан смотрел, как бежит стрелка. Его люди бегом продвигались вперед. Спендер не двигался с места. Часы

тикали очень долго и очень громко, прямо в ухо капитану.

— Уходи, Спендер, уходи живей!

Тридцать секунд истекли.

Пистолет был наведен на цель. Капитан глубоко вздохнул.

— Спендер, — сказал он, выдыхая.

Он спустил курок.

Крохотное облачко каменной пыли закружилось в солнечных лучах — вот и все, что произошло. Раскатилось и заглохло эхо выстрела.

Капитан встал и крикнул своим людям:

— Он мертв.

Они не поверили. С их позиций не было видно просвета между камнями. Они увидели, как капитан один взбегает вверх по склону, и решили, что он либо очень храбрый, либо сумасшедший.

Прошло несколько минут, прежде чем они последовали за ним.

Они собрались вокруг тела, и кто-то спросил:

— В грудь?

Капитан опустил взгляд.

— В грудь, — сказал он. Он заметил, как изменился цвет камней под телом Спендера. — Хотел бы я знать, почему он ждал. Хотел бы я знать, почему он не ушел, как задумал. Хотел бы я знать, почему он дожидался, пока его убьют.

— Кто ведает? — произнес кто-то.

А Спендер лежал перед ними, и одна его рука сжимала пистолет, а другая — серебряную книгу, которая ярко блестела на солнце.

«Может, все это из-за меня? — думал капитан. — Потому что я отказался присоединиться к нему? Может быть, у Спендера не поднялась рука убить меня? Возможно, я чем-нибудь отличаюсь от них? Может, в этом все дело? Он, наверно, считал, что на меня можно положиться. Или есть другой ответ?»

Другого ответа не было. Он присел на корточки возле безжизненного тела.

«Я должен оправдать это своей жизнью, — думал он, — Теперь я не могу его обмануть. Если он считал, что я в чем-то схож с ним и потому не убил меня, то я обязан многое свершить! Да-да, конечно, так и есть. Я — тот же Спендер, он остался жить во мне, только я думаю, прежде чем стрелять. Я вообще не стреляю, не убиваю. Я направляю людей. Он потому не мог меня убить, что видел во мне самого себя, только в иных условиях».

Капитан почувствовал, как солнце припекает его затылок. Он услышал

собственный голос:

— Эх, если бы он поговорил со мной, прежде чем стрелять, — мы бы что-нибудь придумали.

— Что придумали? — буркнул Паркхилл. — Что общего у нас с *такими*, как он?

Равнина, скалы, голубое небо дышало зноем, от которого звенело в ушах.

— Пожалуй, вы правы, — сказал капитан. — Мы никогда не смогли бы поладить. Спендер и я — еще куда ни шло. Но Спендер и вы и вам подобные — нет, никогда. Для него лучше так, как вышло. Дайте-ка глотнуть из фляги.

Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском кладбище, которое они обнаружили. И Спендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди, и туда же положили свечи и вина, изготовленные десять тысяч лет назад. И последним, что они увидели, закрывая саркофаг, было его умиротворенное лицо.

Они постояли в древнем склепе.

— Думаю, вам полезно будет время от времени вспоминать Спендера, — сказал капитан.

Они вышли из склепа и плотно затворили мраморную дверь.

На следующий день Паркхилл затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов — он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал Паркхилла и выбил ему зубы.

Август 2001

Поселенцы

Земляне прилетали на Марс.

Прилетали, потому что чего-то боялись и ничего не боялись, потому что были счастливы и несчастливы, чувствовали себя паломниками и не чувствовали себя паломниками. У каждого была своя причина. Оставляли опостылевших жен, или опостылевшую работу, или опостылевшие города; прилетали, чтобы найти что-то, или избавиться от чего-то, или добыть что-то, откопать что-то или зарыть что-то, или предать что-то забвению. Прилетали с большими ожиданиями, с маленькими ожиданиями, совсем без ожиданий. Но во множестве городов на четырехцветных плакатах повелительно указывал начальственный палец: **ДЛЯ ТЕБЯ ЕСТЬ РАБОТА НА НЕБЕ — ПОБЫВАЙ НА МАРСЕ!** И люди собирались в путь; правда, сперва их было немного, какие-нибудь десятки — большинству еще до того, как ракета выстреливала в космос, становилось худо. Болезнь называлась Одиночество. Потому что стоило только представить себе, как твой родной город уменьшается там, внизу — сначала он с кулак размером, затем — с лимон, с булавочную головку, наконец, вовсе пропал в пламенной реактивной струе — и у тебя такое чувство, словно ты никогда не рождался на свет, и города никакого нет, и ты нигде, лишь космос кругом, ничего знакомого, только чужие люди. А когда твой штат — Иллинойс или Айова, Миссури или Монтана — тонул в пелене облаков, да что там, все Соединенные Штаты сжимались в мглистый островок, вся планета Земля превращалась в грязновато-серый мячик, летящий куда-то прочь, — тогда уж ты оказывался совсем один, одинокий скиталец в просторах космоса, и невозможно представить себе, что тебя ждет.

Ничего удивительного, что первых было совсем немного. Число переселенцев росло пропорционально количеству землян, которые уже перебрались на Марс: одному страшно, а на людях — не так. Но первым, Одиноким, приходилось полагаться только на себя...

Декабрь 2001

Зеленое утро

Когда солнце зашло, он присел возле тропы и приготовил нехитрый ужин; потом, отправляя в рот кусок за куском и задумчиво жуя, слушал, как потрескивает огонь. Миновал еще день, похожий на тридцать других: с утра пораньше вырыть много аккуратных ямок, потом посадить в них семена, натаскать воды из прозрачных каналов. Сейчас, скованный свинцовой усталостью, он лежал, глядя на небо, в котором один оттенок темноты сменялся другим.

Его звали Бенджамен Дрисколл, ему был тридцать один год. Он хотел одного — чтобы весь Марс зазеленел, покрылся высокими деревьями с густой листвой, рождающей воздух, больше воздуха; пусть растут во все времена года, освежают города в душное лето, не пускают зимние ветры. Дерево, чего-чего только оно не может... Оно дарит краски природе, простирает тень, усыпает землю плодами. Или становится царством детских игр — целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках... Великолепное сооружение, несущее пищу и радость, — вот что такое дерево. Но прежде всего деревья — это источник живительного прохладного воздуха для легких и ласкового шелеста, который нежит твои слух и убаюкивает тебя ночью, когда ты лежишь в снежно-белой постели.

Он лежал и слушал, как темная почва собирается с силами, ожидая солнца, ожидая дождей, которых все нет и нет... Приложив ухо к земле, он слышал поступь грядущих годов и видел — видел, как посаженные сегодня семена прорываются зелеными побегами и тянутся ввысь, к небу, раскидывая ветку за веткой, и весь Марс превращается в солнечный лес, светлый сад.

Рано утром, едва маленькое бледное солнце всплывет над складками холмов, он встанет, живо проглотит завтрак с дымком, затопчет головешки, нагрузит на себя рюкзак — и снова выбирать места, копать, сажать семена или саженцы, осторожно уминать землю, поливать и шагать дальше, насвистывая и поглядывая в ясное небо, а оно к полудню все ярче и жарче...

— Тебе нужен воздух, — сказал он своему костру. Костер — живой румяный товарищ, который шуточно кусает тебе пальцы, а в прохладные ночи, теплый, дремлет рядом, щуря сонные розовые глаза... — Нам всем нужен воздух. Здесь, на Марсе, воздух разреженный. Чуть что, и устал. Все

равно, что в Андах, в Южной Америке. Вдохнул и не чувствуешь. Никак не надьшишься.

Он тронул грудную клетку. Как она расширилась за тридцать дней! Да, здесь им нужно развивать легкие, чтобы вдохнуть побольше воздуха. Или сажать побольше деревьев.

— Понял, зачем я здесь? — сказал он. Огонь стрельнул. — В школе нам рассказывали про Джонни Яблочное Семечко. Как он шел по Америке и сажал яблони. А мое дело поважнее. Я сажаю дубы, вязы, и клены, и всякие другие деревья — осины, каштаны и кедры. Я делаю не просто плоды для желудка, а воздух для легких. Только подумать: когда все эти деревья наконец вырастут, сколько от них будет кислорода!

Вспомнился день прилета на Марс. Подобно тысяче других, он всматривался тогда в тихое марсианское утро и думал: «Как-то я здесь освоюсь? Что буду делать? Найдется ли работа по мне?»

И потерял сознание.

Кто-то сунул ему под нос пузырек с нашатырным спиртом, он закашлялся и пришел в себя.

— Ничего, оправитесь, — сказал врач.

— А что со мной было?

— Здесь очень разреженная атмосфера. Некоторые ее не переносят. Вам, вероятно, придется возвратиться на Землю.

— Нет! — Он сел, но в тот же миг в глазах у него потемнело, и Марс сделал под ним не меньше двух оборотов. Ноздри расширились, он принудил легкие жадно пить ничто. — Я свыкнусь. Я останусь здесь!

Его оставили в покое: он лежал, дыша, словно рыба на песке, и думал: «Воздух, воздух, воздух. Они хотят меня отправить отсюда из-за воздуха». И он повернул голову, чтобы поглядеть на холмы и равнины Марса. Присмотрелся и первое, что увидел: куда ни глянь, сколько ни смотри — ни одного дерева, ни единого. Этот край словно сам себя покарал, черный перегной стлался во все стороны, а на нем — ничего, ни одной травинки. «Воздух, — думал он, шумно вдыхая бесцветное нечто. — Воздух, воздух...» И на верхушках холмов, на тенистых склонах, даже возле ручья — тоже ни деревца, ни травинки.

Ну конечно! Ответ родился не в сознании, а в горле, в легких. И эта мысль, словно глоток чистого кислорода, сразу взбодрила. Деревья и трава. Он поглядел на свои руки и повернул их ладонями вверх. Он будет сажать траву и деревья. Вот его работа: бороться против того самого, что может ему помешать остаться здесь. Он объявит Марсу войну — особую, агробиологическую войну. Древняя марсианская почва... Ее собственные

растения прожили столько миллионов тысячелетий, что вконец одряхлели и выродились. А если посадить новые виды? Земные деревья — ветвистые мимозы, плакучие ивы, магнолии, величественные эвкалипты. Что тогда? Можно только гадать, какие минеральные богатства таятся в здешней почве — нетронутые, потому что древние папоротники, цветы, кусты, деревья погибли от изнеможения.

— Я должен встать! — крикнул он. — Мне надо видеть Координатора!

Полдня он и Координатор проговорили о том, что растет в зеленом уборе. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем можно будет начать планомерные посадки. Пока что продовольствие доставляют с Земли замороженным, в летающих сосульках; лишь несколько любителей вырастили сады гидропонным способом.

— Так что пока, — сказал Координатор, — действуйте сами. Добудем семян сколько можно, кое-какое снаряжение. Сейчас в ракетах мало места. Боюсь, поскольку первые поселения связаны с рудниками, ваш проект зеленых посадок не будет пользоваться успехом...

— Но вы мне разрешите?

Ему разрешили. Выдали мотоцикл, он наполнил багажник семенами и саженцами, выезжал в пустынные долины, оставлял машину и шел пешком, работая.

Это началось тридцать дней назад, и с той поры он ни разу не оглянулся. Оглянуться — значит пасть духом: стояла необычайно сухая погода, и вряд ли хоть одно семечко проросло. Может быть, битва проиграна? Четыре недели труда — впустую? И он смотрел только вперед, шел вперед по широкой солнечной долине, все дальше от Первого Города, и ждал — ждал, когда же пойдет дождь.

...Он натянул одеяло на плечи; над сухими холмами пухли тучи. Марс непостоянен, как время. Пропеченные солнцем холмы прихватывал ночной заморозок, а он думал о богатой черной почве — такой черной и блестящей, что она чуть ли не шевелилась в горсти, о жирной почве, из которой могли бы расти могучие, исполинские стебли фасоли, и спелые стручки роняли бы огромные, невообразимые зерна, сотрясающие землю.

Сонный костер подернулся пеплом. Воздух дрогнул: вдали прокатилась телега. Гром. Неожиданный запах влаги. «Сегодня ночью, — подумал он и вытянул руку проверить, идет ли дождь. — Сегодня ночью».

Что-то тронуло его бровь, и он проснулся.

По носу на губу скатилась влага. Вторая капля ударила в глаз и на миг его затуманила. Третья разбилась о щеку.

Дождь.

Прохладный, ласковый, легкий, он моросил с высокого неба — волшебный эликсир, пахнувший чарами, звездами, воздухом; он нес с собой черную, как перец, пыль, оставляя на языке то же ощущение, что выдержанный старый херес.

Дождь.

Он сел. Одежда съехала, и по голубой рубашке забегали темные пятна; капли становились крупнее и крупнее. Костер выглядел так, будто по нему, топчась огонь, плясал невидимый зверь; и вот остался только сердитый дым. Пошел дождь. Огромный черный небосвод вдруг раскололся на шесть аспидно-голубых осколков и обрушился вниз. Он увидел десятки миллиардов дождевых кристаллов, они замерли в своем падении ровно на столько времени, сколько нужно было, чтобы их запечатлел электрический фотограф. И снова мрак и вода, вода...

Он промок до костей, но сидел и смеялся, подняв лицо, и капли стучали по векам. Он хлопнул в ладоши, вскочил на ноги и прошелся вокруг своего маленького лагеря; был час ночи.

Дождь лил непрерывно два часа, потом прекратился. Высыпали чисто вымытые звезды, яркие, как никогда.

Бенджамен Дрисколл достал из пластиковой сумки сухую одежду, переоделся, лег и, счастливый, уснул.

Солнце медленно вошло между холмами. Лучи вырвались из-за преграды, тихо скользнули по земле и разбудили Дрисколла.

Он чуть помешкал, прежде чем встать. Целый месяц, долгий жаркий месяц он работал, работал и ждал... Но сегодня, поднявшись, он впервые повернулся в ту сторону, откуда пришел.

Утро было зеленое.

Насколько хватало глаз, к небу поднимались деревья. Не одно, не два, не десяток, а все те тысячи, что он посадил, семенами или саженцами. И не мелочь какая-нибудь, нет, не поросль, не хрупкие деревца, а мощные стволы, могучие деревья высотой с дом, зеленые-зеленые, огромные, округлые, пышные деревья с отливающей серебром листвой, шелестящие на ветру, длинные ряды деревьев на склонах холмов, лимонные деревья и липы, секвойи и мимозы, дубы и вязы, осины, вишни, клены, ясени, яблони, апельсиновые деревья, эвкалипты — подстегнутые буйным дождем, вскормленные чужой волшебной почвой. На его глазах продолжали тянуться вверх новые ветви, лопались новые почки.

— Невероятно! — воскликнул Бенджамен Дрисколл.

Но долина и утро были зеленые.

А воздух!

Отовсюду, словно живой поток, словно горная река, струился свежий воздух, кислород, источаемый зелеными деревьями. Присмотрись и увидишь, как он переливается в небе хрустальными волнами. Кислород — свежий, чистый, зеленый, прохладный кислород превратил долину в дельту реки. Еще мгновение, и в городе распахнутся двери, люди выбегут навстречу чуду, будут его глотать, вдыхать полной грудью, щеки порозовеют, носы озябнут, легкие заново оживут, сердце забьется чаще, и усталые тела полетят в танце.

Бенджамен Дрисколл глубоко-глубоко вдохнул влажный зеленый воздух и потерял сознание.

Прежде чем он очнулся, навстречу желтому солнцу поднялось еще пять тысяч деревьев.

Февраль 2002

Саранча

Ракеты жгли сухие луга, обращали камень в лаву, дерево — в уголь, воду — в пар, сплавляли песок и кварц в зеленое стекло; оно лежало везде, словно разбитые зеркала, отражающие в себе ракетное нашествие. Ракеты, ракеты, ракеты, как барабанная дробь в ночи. Ракеты роями саранчи садились в клубах розового дыма. Из ракет высыпали люди с молотками: перековать на привычный лад чужой мир, стесать все необычное, рот оцетинен гвоздями, словно стальнотубая пасть хищника, сплевывает гвозди в мелькающие руки, и те сколачивают каркасные дома, кроют крыши дранкой — чтобы спрятаться от чужих, пугающих звезд, вешают зеленые шторы — чтобы укрыться от ночи. Затем плотники спешили дальше, и являлись женщины с цветочными горшками, пестрыми ситцами, кастрюлями и поднимали кухонный шум, чтобы заглушить тишину Марса, притаившуюся у дверей, у занавешенных окон.

За шесть месяцев на голой планете был заложен десяток городков с великим числом трескучих неоновых трубок и желтых электрических лампочек. Девяносто с лишним тысяч человек прибыло на Марс, а на Земле уже укладывали чемоданы другие...

Август 2002

Ночная встреча

Прежде чем ехать дальше в голубые горы, Томас Гомес остановился возле уединенной бензоколонки.

— Не одиноко тебе здесь, папаша? — спросил Томас.

Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика.

— Ничего.

— А как тебе Марс нравится, старина?

— Здорово. Всегда что-нибудь новое. Когда я в прошлом году попал сюда, то первым делом сказал себе: вперед не заглядывай, ничего не требуй, ничему не удивляйся. Землю нам надо забыть, все, что было, забыть. Теперь следует приглядеться, освоиться и понять, что здесь *все* не так, все по-другому. Да тут одна только погода — это же настоящий цирк. Это *марсианская* погода. Днем жарища адская, ночью адский холод. А необычные цветы, необычный дождь — неожиданности на каждом шагу! Я сюда приехал на покой, задумал дожить жизнь в таком месте, где все иначе. Это очень важно старому человеку — переменить обстановку. Молодежи с ним говорить недосуг, другие старики ему осточертели. Вот я и смекнул, что самое подходящее для меня — найти такое необычное местечко, что только не ленись смотреть, кругом развлечения. Вот, подрядился на эту бензоколонку. Станет чересчур хлопотно, снимусь отсюда и переберусь на какое-нибудь старое шоссе, не такое оживленное; мне бы только заработать на пропитание, да чтобы еще оставалось время примечать, до чего же здесь все не так.

— Неплохо ты сообразил, папаша, — сказал Томас; его смуглые руки лежали, отдыхая, на баранке. У него было отличное настроение. Десять дней кряду он работал в одном из новых поселений, теперь получил два выходных и ехал на праздник.

— Уж я больше ничему не удивляюсь, — продолжал старик. — Гляжу, и только. Можно сказать, набираюсь впечатлений. Если тебе Марс, каков он есть, не по вкусу, отправляйся лучше обратно на Землю. Здесь все шиворот-навыворот: почва, воздух, каналы, туземцы (правда, я еще ни одного не видел, но, говорят, они тут где-то бродят), часы. Мои часы — и те чудят. Здесь даже *время* шиворот-навыворот. Иной раз мне сдается, что я один-одинешенек, на всей этой проклятой планете больше ни души. Пусто. А иногда покажется, что я — восьмилетний мальчишка, сам махонький, а

все кругом здоровенное! Видит бог, тут самое подходящее место для старого человека. Тут не задремлешь, я просто счастливый стал. Знаешь, что такое Марс? Он смахивает на вещицу, которую мне подарили на рождество семьдесят лет назад — не знаю, держал ли ты в руках такую штуку: их калейдоскопами называют, внутри осколки хрусталя, лоскутки, бусинки, всякая мишура... А поглядишь сквозь нее на солнце — дух захватывает! Сколько узоров! Так вот, это и есть Марс. Наслаждайся им и не требуй от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе проложено марсианами шестнадцать веков назад, а в полном порядке! Гони доллар и пятьдесят центов, спасибо и спокойной ночи.

Томас покатил по древнему шоссе, тихонько посмеиваясь.

Это был долгий путь через горы, сквозь тьму, и он держал руль, иногда опуская руку в корзинку с едой и доставая оттуда леденец. Прошло уже больше часа непрерывной езды, и ни одной встречной машины, ни одного огонька, только лента дороги, гул и рокот мотора, и Марс кругом, тихий, безмолвный. Марс — всегда тихий, в эту ночь был тише, чем когда-либо. Мимо Томаса скользили пустыни, и высохшие моря, и вершины среди звезд.

Нынче ночью в воздухе пахло Временем. Он улыбнулся, мысленно оценивая свою выдумку. Неплохая мысль. А в самом деле: чем пахнет Время? Пылью, часами, человеком. А если задуматься, какое оно — Время то есть — на слух? Оно вроде воды, струящейся в темной пещере, вроде зовущих голосов, вроде шороха земли, что сыплется на крышку пустого ящика, вроде дождя. Пойдем еще дальше, спросим, как выглядит Время? Оно точно снег, бесшумно летящий в черный колодец, или старинный немой фильм, в котором сто миллиардов лиц, как новогодние шары, падают вниз, падают в ничто. Вот чем пахнет Время и вот какое оно на вид и на слух. А нынче ночью — Томас высунул руку в боковое окошко, — нынче так и кажется, что его можно даже *пощупать*.

Он вел грузовик в горах Времени. Что-то кольнуло шею, и Томас выпрямился, внимательно глядя вперед.

Он въехал в маленький мертвый марсианский городок, выключил мотор и окунулся в окружающее его безмолвие. Затаив дыхание, он смотрел из кабины на залитые луной белые здания, в которых уже много веков никто не жил. Великолепные, безупречные здания, пусть разрушенные, но все равно великолепные.

Включив мотор, Томас проехал еще милю-другую, потом снова остановился, вылез, захватив свою корзинку, и прошел на бугор, откуда

можно было окинуть взглядом занесенный пылью город. Открыл термос и налил себе чашку кофе. Мимо пролетела ночная птица. На душе у него было удивительно хорошо, спокойно.

Минут пять спустя Томас услышал какой-то звук. Вверху, там, где древнее шоссе терялось за поворотом, он приметил какое-то движение, тусклый свет, затем донесся слабый рокот. Томас повернулся, держа чашку в руке. С гор спускалось нечто необычайное.

Это была машина, похожая на желто-зеленое насекомое, на богомола, она плавно рассекала холодный воздух, мерцая бесчисленными зелеными бриллиантами, сверкая фасеточными рубиновыми глазами. Шесть ног машины ступали по древнему шоссе с легкостью морозящего дождя, а со спины машины на Томаса глазами цвета расплавленного золота глядел марсианин, глядел будто в колодец.

Томас поднял руку и мысленно уже крикнул: «Привет!», но губы его не шевельнулись. Потому что это был *марсианин*. Но Томас плавал на Земле в голубых реках, вдоль которых шли незнакомые люди, вместе с чужими людьми ел в чужих домах, и всегда его лучшим оружием была улыбка. Он не носил с собой пистолета. И сейчас Томас не чувствовал в нем нужды, хотя где-то под сердцем притаился страх.

У марсианина тоже ничего не было в руках. Секунду они смотрели друг на друга сквозь прохладный воздух.

Первым решился Томас

— Привет! — сказал он

— Привет! — сказал марсианин на своем языке.

Они не поняли друг друга.

— Вы сказали «здравствуйте»? — спросили оба одновременно.

— Что вы сказали? — продолжали они, каждый на своем языке.

Оба нахмурились.

— Вы кто? — спросил Томас по-английски.

— Что вы здесь делаете? — произнесли губы чужака по-марсиански.

— Куда вы едете? — спросили оба с озадаченным видом.

— Меня зовут Томас Гомес.

— Меня зовут Мью Ка.

Ни один из них не понял другого, но каждый постучал пальцем по своей груди, и смысл стал обоим ясен.

Вдруг марсианин рассмеялся.

— Подождите!

Томас ощутил, как что-то коснулось его головы, хотя никто его не трогал.

— Вот так! — сказал марсианин по-английски. — Теперь дело пойдет лучше!

— Вы так быстро выучили мой язык?

— Ну что вы!

Оба, не зная, что говорить, посмотрели на чашку с горячим кофе в руке Томаса.

— Что-нибудь новое? — спросил марсианин, разглядывая его и чашку и подразумевая, по-видимому, и то и другое.

— Выпьете чашечку? — предложил Томас.

— Большое спасибо.

Марсианин соскользнул со своей машины.

Вторая чашка наполнилась горячим кофе. Томас подал ее марсианину.

Их руки встретились и, точно сквозь туман, прошли одна сквозь другую.

— Господи Иисусе! — воскликнул Томас и выронил чашку.

— Силы небесные! — сказал марсианин на своем языке.

— Видели, что произошло? — прошептали они.

Оба похолодели от испуга.

Марсианин нагнулся за чашкой, но никак не мог ее взять.

— Господи! — ахнул Томас.

— Ну и ну! — Марсианин пытался снова и снова ухватить чашку, ничего не получалось. Он выпрямился, подумал, затем отстегнул от пояса нож.

— Эй! — крикнул Томас.

— Вы не поняли, ловите! — сказал марсианин и бросил нож.

Томас подставил сложенные вместе ладони. Нож упал сквозь руки на землю. Томас хотел его поднять, но не мог ухватить и, вздрогнув, отпрянул.

Он глядел на марсианина, стоящего на фоне неба.

— Звезды! — сказал Томас.

— Звезды! — отозвался марсианин, глядя на Томаса.

Сквозь тело марсианина, яркие, белые, светили звезды, его плоть была расшита ими словно тонкая, переливающаяся искрами оболочка студенистой медузы. Звезды мерцали, точно фиолетовые глаза, в груди и в животе марсианина, блистали драгоценностями на его запястьях.

— Я вижу сквозь вас! — сказал Томас.

— И я сквозь вас! — отвечал марсианин, отступая на шаг.

Томас пощупал себя, ощутил живое тепло собственного тела и успокоился. «Все в порядке, — подумал он, — я существую».

Марсианин коснулся рукой своего носа, губ.

— Я не бесплотный, — негромко сказал он. — *Живой!*

Томас озадаченно глядел на него.

— Но если я существую, значит, *вы* — мертвый.

— Нет, *вы!*

— Привидение!

— Призрак!

Они показывали пальцем друг на друга, и звездный свет в их конечностях сверкал и переливался, как острие кинжала, как ледяные сосульки, как светлячки. Они снова проверили свои ощущения, и каждый убедился, что он жив-здоров и охвачен волнением, трепетом, жаром, недоумением, а вот тот, другой — ну, конечно же, тот нереален, тот призрачная призма, ловящая и излучающая свет далеких миров...

«Я пьян, — сказал себе Томас. — Завтра никому не расскажу про это, ни слова!»

Они стояли на древнем шоссе, и оба не шевелились.

— Откуда *вы?* — спросил наконец марсианин.

— С Земли.

— Что это такое?

— Там. — Томас кивком указал на небо.

— Давно?

— Мы прилетели с год назад, *вы* разве не помните?

— Нет.

— А *вы* все к тому времени вымерли, почти все. Вас очень мало осталось — разве *вы* этого *не знаете?*

— Это неправда.

— Я вам говорю, вымерли. Я сам видел трупы. Почерневшие тела в комнатах, во всех домах, и все мертвые. Тысячи тел.

— Что за вздор, *мы живы!*

— Мистер, всех ваших скосила эпидемия. Странно, что *вам* это неизвестно. *Вы* каким-то образом спаслись.

— Я не спасся, не от чего мне было спастись. О чем это *вы* говорите? Я еду на праздник у канала возле Эниальских Гор. И прошлую ночь был там. *Вы* разве не видите город? — Марсианин вытянул руку, показывая.

Томас посмотрел и увидел развалины.

— Но ведь этот город мертв уже много тысяч лет!

Марсианин рассмеялся.

— Мертв? Я ночевал там вчера!

— А я его проезжал на той неделе, и на позапрошлой неделе, и вот

только что, там одни развалины! Видите разбитые колонны?

— Разбитые? Я их отлично вижу в свете луны. Прямые, стройные колонны.

— На улицах ничего, кроме пыли, — сказал Томас.

— Улицы чистые!

— Каналы давно высохли, они пусты.

— Каналы полны лавандового вина!

— Город мертв.

— Город жив! — возразил марсианин, смеясь еще громче. — Вы решительно ошибаетесь. Видите, сколько там карнавальных огней? Там прекрасные челны, изящные, как женщины, там прекрасные женщины, изящные, как челны, женщины с кожей песочного цвета, женщины с огненными цветками в руках. Я их вижу, вижу, как они бегут вон там, по улицам, такие маленькие отсюда. И я туда еду, на праздник, мы будем всю ночь кататься по каналу, будем петь, пить, любить. Неужели вы *не видите*?

— Мистер, этот город мертв, как сушеная ящерица. Спросите любого из наших. Что до меня, то я еду в Грин-Сити — новое поселение на Иллинойском шоссе, мы его совсем недавно заложили. А вы что-то напутали. Мы доставили сюда миллион квадратных футов досок лучшего орегонского леса, несколько десятков тонн добрых стальных гвоздей и отгрохали два поселка — глаз не оторвешь. Как раз сегодня spryskivaем один из них. С Земли прилетают две ракеты с нашими женами и невестами. Будут народные танцы, виски...

Марсианин встрепенулся.

— Вы говорите — в *той* стороне?

— Да, там, где ракеты. — Томас подвел его к краю бугра и показал вниз. — Видите?

— Нет.

— Да вон же, *вон*, черт возьми! Такие длинные, серебристые штуки.

— Не вижу.

Теперь рассмеялся Томас.

— Да вы ослепли!

— У меня отличное зрение. Это вы не видите.

— Ну хорошо, а новый *поселок* вы видите? Или тоже нет?

— Ничего не вижу, кроме океана — и как раз сейчас отлив.

— Уважаемый, этот океан испарился сорок веков тому назад.

— Ну, знаете, это уж чересчур.

— Но это правда, уверяю вас!

Лицо марсианина стало очень серьезным.

— Пойдите. Вы в самом деле не видите города, как я его вам описал? Белые-белые колонны, изящные лодки, праздничные огни — я их так отчетливо вижу! Вслушайтесь! Я даже слышу, как там поют. Не такое уж большое расстояние.

Томас прислушался и покачал головой.

— Нет.

— А я, — продолжал марсианин, — не вижу того, что описываете вы. Как же так?..

Они снова зябко вздрогнули, точно их плоть пронизало ледяными иглами.

— А может быть?..

— Что?

— Вы сказали «с неба»?

— С Земли.

— Земля — название, пустой звук... — произнес марсианин. — Но... час назад, когда я ехал через перевал... — Он коснулся своей шеи сзади. — Я ощутил.

— Холод?

— Да.

— И теперь тоже?

— Да, снова холод. Что-то было со светом, с горами, с дорогой — что-то необычное. И свет, и дорога словно не те, и у меня на мгновение появилось такое чувство, будто я последний из живущих во вселенной...

— И со мной так было! — воскликнул Томас взволнованно; он как будто беседовал с добрым старым другом, доверяя ему что-то сокровенное.

Марсианин закрыл глаза и снова открыл их.

— Тут может быть только одно объяснение. Все дело во Времени. Да-да. Вы — создание Прошлого!

— Нет, это вы из Прошлого, — сказал землянин, поразмыслив.

— Как вы уверены! Вы можете доказать, кто из Прошлого, а кто из Будущего? Какой сейчас год?

— Две тысячи второй!

— Что это говорит мне?

Томас подумал и пожал плечами.

— Ничего.

— Все равно, что я бы вам сказал, что сейчас 4 462 853 год по нашему летосчислению. Слова — ничто, меньше, чем ничто! Где часы, по которым мы бы определили положение звезд?

— Но развалины — доказательство! Они доказывают, что я —

Будущее. Я жив, а вы мертвы!

— Все мое существо отвергает такую возможность. Мое сердце бьется, желудок требует пищи, рот жаждет воды. Нет, никто из нас ни жив, ни мертв. Впрочем, скорее жив, чем мертв. А еще вернее, мы как бы посередине. Вот: два странника, которые встретились ночью в пути. Два незнакомца, у каждого своя дорога. Вы говорите, развалины?

— Да. Вам страшно?

— Кому хочется увидеть Будущее? И кто его когда-либо увидит? Человек может лицезреть Прошлое, но чтобы... Вы говорите, колонны рухнули? И море высохло, каналы пусты, девушки умерли, цветы завяли? — Марсианин смолк, но затем снова посмотрел на город. — Но вон же они! Я их вижу, и мне этого достаточно. Они ждут меня, что бы вы ни говорили.

Точно так же вдали ждали Томаса ракеты, и поселок, и женщины с Земли.

— Мы никогда не согласимся друг с другом, — сказал он.

— Согласимся не соглашаться, — предложил марсианин. — Прошлое, Будущее — не все ли равно, лишь бы мы оба жили, ведь то, что придет вслед за нами, все равно придет — завтра или через десять тысяч лет. Откуда вы знаете, что эти храмы — не обломки вашей цивилизации через сто веков? Не знаете. Ну так и не спрашивайте. Однако ночь коротка. Вон рассыпался в небе праздничный фейерверк, взлетели птицы.

Томас протянул руку. Марсианин повторил его жест. Их руки не соприкоснулись — они растворились одна в другой.

— Мы еще встретимся?

— Кто знает? Возможно, когда-нибудь.

— Хотелось бы мне побывать с вами на вашем празднике.

— А мне — попасть в ваш новый поселок, увидеть корабль, о котором вы говорили, увидеть людей, услышать обо всем, что случилось.

— До свидания, — сказал Томас.

— Доброй ночи.

Марсианин бесшумно укатил в горы на своем зеленом металлическом экипаже, землянин развернул свой грузовик и молча повел его в противоположную сторону.

— Господи, что за сон, — вздохнул Томас, держа руки на баранке и думая о ракетах, о женщинах, о крепком виски, о вирджинских плясках, о предстоящем веселье.

«Какое странное видение», — мысленно произнес марсианин, прибавляя скорость и думая о празднике, каналах, лодках, золотоглазых женщинах, песнях...

Ночь была темна. Луны зашли. Лишь звезды мерцали над пустым шоссе. Ни звука, ни машины, ни единого живого существа, ничего. И так было до конца этой прохладной темной ночи.

Октябрь 2002

Берег

Марс был словно дальний берег океана, люди волнами растекались по нему. Каждая волна непохожа на предыдущую, одна мощнее другой. Первая принесла людей, привычных к просторам, холодам, одиночеству, худых, сухощавых старателей и пастухов, лица у них иссушены годами и непогодами, глаза, как шляпки гвоздей, руки задубевшие, как старые перчатки, готовы взяться за что угодно. Марс был им нипочем, они выросли на равнинах и прериях, таких же безбрежных, как марсианские поля. Они обживали голое место, так что другим было уже легче решиться. Остекляли пустые рамы, зажигали в домах огни.

Они были первыми мужчинами на Марсе.

Каковы будут первые женщины — знали все.

Со второй волной надо было бы доставить людей иных стран, со своей речью, своими идеями. Но ракеты были американские, и прилетели на них американцы, а Европа и Азия, Южная Америка, Австралия и Океания только смотрели, как исчезают в выси римские свечи. Мир был поглощен войной или мыслями о войне.

Так что вторыми тоже были американцы. Покинув мир многоярусных клетушек и вагонов подземки, они отдыхали душой и телом в обществе скупых на слова мужчин из степных штатов, знающих цену молчанию, которое помогало обрести душевный покой после долгих лет толкотни в каморках, коробках, туннелях Нью-Йорка.

И были среди вторых такие, которым, судя по их глазам, чудилось, будто они возносятся к господу богу.

Февраль 2003

Интермедия

Они привезли с собой пятнадцать тысяч погонных футов орегонской сосны для строительства Десятого города и семьдесят девять тысяч футов калифорнийской секвойи и отгрохали чистенький, аккуратный городок возле каменных каналов. Воскресными вечерами красно-зелено-голубые матовые стекла церковных окон вспыхивали светом и слышались голоса, поющие нумерованные церковные гимны. «А теперь споем 79. А теперь споем 94». В некоторых домах усердно стучали пишущие машинки — это работали писатели; или скрипели перья — там творили поэты; или царила тишина — там жили бывшие бродяги. Все это и многое другое создавало впечатление, будто могучее землетрясение расшатало фундаменты и подвалы провинциального американского городка, а затем смерч сказочной мощи мгновенно перенес весь городок на Марс и осторожно поставил его здесь, даже не трянув...

Апрель 2003

Музыканты

В какие только уголки Марса не забирались мальчишки. Они прихватывали с собой из дома вкусно пахнущие пакеты и по пути время от времени засовывали в них носы — вдохнуть сытный дух ветчины и пикулей с майонезом, прислушаться к влажному бульканью апельсиновой воды в теплых бутылках. Размахивая сумками с сочным, прозрачно-зеленым луком, пахучей ливерной колбасой, красным кетчупом и белым хлебом, они подбивали друг друга переступить запреты строгих родительниц. Они бегали взапуски:

— Кто первый добежит, дает остальным щелчка!

Они ходили в дальние прогулки летом, осенью, зимой. Осенью — лучше всего: можно вообразить, будто ты, как на Земле, бегаешь по опавшей листве.

Горстью звучных камешков высыпали мальчишки — кирпичные щеки, голубые бусины глаз — на мраморные набережные каналов и, запыхавшись, подбадривали друг друга возгласами, благоухающими луком. Потому что здесь, у стен запретного мертвого города, никто уже не кричал: «Последний будет девчонкой!» или «Первый будет Музыкантом!» Вот он, безжизненный город и все двери открыты... И кажется, будто что-то шуршит в домах, как осенние листья. Они крадутся дальше, все вместе, плечом к плечу, и в руках стиснуты палки, а в голове — родительский наказ: «Только не туда! В старые города ни в коем случае! Если посмеешь — отец всыплет так, что век будешь помнить!.. Мы по ботинкам узнаем!»

И вот они в мертвом городе, мальчишья стая, половина дорожной снеди уже проглочена, и они подзадоривают друг друга свистящим шепотом:

— Ну давай!

Внезапно один срывается с места, вбегают в ближайший дом, летит через столовую в спальню, и ну скакать без оглядки, приплясывать, и взлетают в воздух черные листья, тонкие, хрупкие, будто плоть полуночного неба. За первым вбегают еще двое, трое, все шестеро, но Музыкантом будет первый, только он будет играть на белом ксилофоне костей, обтянутых черными хлопьями. Снежным комом выкатывается огромный череп, мальчишки кричат! Ребра — паучьи ноги, ребра — гулкие струны арфы, и черной вьюгой кружатся смертные хлопья, а мальчишки

затеяли возню, прыгают, толкают друг друга, падают прямо на эти листья, на чуму, обратившую мертвых в хлопья и прах, в игрушку для мальчишек, в животах которых булькала апельсиновая вода.

Отсюда — в следующий дом и еще в семнадцать домов; надо спешить — ведь из города в город, начисто выжигая все ужасы, идут Пожарники, дезинфекторы с лопатами и корзинами, сгребают, выгребают эбеновые лохмотья и белые палочки-кости, медленно, но верно отделяя страшное от обыденного... Играйте, мальчишки, не мешкайте, скоро придут Пожарные!

И вот, светясь капельками пота, впиваются зубами в последний бутерброд. Затем — еще раз наподдать ногой напоследок, еще раз выбить дробь из маримбофона, по-осеннему нырнуть в кучу листьев и — в путь, домой.

Матери проверяли ботинки, нет ли черных чешуек. Найдут — получай: обжигающую ванну и отеческое внушение ремнем.

К концу года Пожарники выгребли все осенние листья и белые ксилофоны, потехе пришел конец.

Июнь 2003

...Высоко в небеса

- Слышал?
 - Что?
 - Негры-то, черномазые!
 - Что такое?
 - Уезжают, сматываются, драпают — неужели не слышал?
 - То есть, как это сматываются? Да как они могут!
 - Могут. Уже...
 - Какая-нибудь парочка?
 - Все до одного! Все негры южных штатов!
 - Не-е...
 - Точно!
 - Не поверю, пока сам не увижу. И куда же они? В Африку?
- Пауза.
- На Марс.
 - То есть — на *планету* Марс?
 - Именно.

Они стояли под раскаленным навесом на веранде скобяной лавки. Один бросил раскуривать трубку. Другой сплюнул в горячую полуденную пыль.

- Не могут они уехать, ни в жизнь.
- А вот уже уезжают.
- Да откуда ты взял?
- Везде говорят, и по радио только что передавали.

Они зашевелились — казалось, оживают запыленные статуи. Сэмюэль Тис, хозяин скобяной лавки, натянуто рассмеялся.

— А я-то не возьму в толк, что стряслось с Силли. Час назад дал ему свой велосипед и послал к миссис Бордмен. До сих пор не вернулся. Уж не махнул ли прямиком на Марс, дурень черномазый?

Мужчины фыркнули.

— А только пусть лучше вернет велосипед, вот что. Клянусь, воровства я не потерплю ни от кого.

— Слушайте!

Они повернулись, раздраженно толкая друг друга. В дальнем конце улицы словно прорвалась плотина. Жаркие черные струи хлынули,

затопляя город. Между ослепительно белыми берегами городских лавок, среди безмолвных деревьев, нарастал черный прилив. Будто черная патока ползла, набухая, по светло-коричневой пыли дороги. Медленно, медленно нарастала лавина — мужчины и женщины, лошади и лающие псы, и дети, мальчики и девочки. А речь людей — частиц могучего потока — звучала, как шум реки, которая летним днем куда-то несет свои воды, рокочущая, неотвратимая. В этом медленном темном потоке, раскешем ослепительное сияние дня, блестками живой белизны сверкали глаза. Они смотрели вперед, влево, вправо, а река, длинная, нескончаемая река, уже прокладывала себе новое русло. Бесчисленные притоки, речушки, ручейки, слились в единый материнский поток, объединили свое движение, свои краски и устремились дальше. Окаймляя вздувшуюся стремнину, плыли голосистые дедовские будильники, гулко тикающие стенные часы, кудахчущие куры в клетках, плачущие малютки; беспорядочное течение увлекало за собой мулов, кошек, тут и там всплывали вдруг матрасные пружины, растрепанная волосяная набивка, коробки, корзинки, портреты темнокожих предков в дубовых рамах. Река катилась и катилась, а люди на террасе скобяной лавки сидели подобно оцетинившимся псам и не знали, что предпринять: чинить плотину было поздно.

Сэмюэль Тис все еще не мог поверить.

— Да кто им даст транспорт, черт возьми? Как они думают *попасть* на Марс?

— Ракеты, — сказал дед Квортэрмэйн.

— У этих болванов и остолопов? Откуда они их взяли, ракеты-то?

— Скопили денег и построили.

— Первый раз слышу.

— Видно, черномазые держали все в секрете. Построили ракеты сами, а где — не знаю. Может, в Африке.

— Как же так? — не унимался Сэмюэль Тис, мечась по веранде. — А законы на что?

— Они как будто войны никому не объявляли, — мирно ответил дед.

— Откуда же они полетят, черт бы их побрал со всеми их секретами и заговорами? — крикнул Тис.

— По расписанию все негры этого города собираются возле Лун-Лейк. В час туда прилетят ракеты и заберут их на Марс.

— Надо звонить губернатору, вызвать полицию! — бесновался Тис. — Они обязаны были предупредить заранее!

— Твоя благоверная идет, Тис.

Мужчины повернулись.

По раскаленной улице в слепящем безветрии шли белые женщины. Одна, вторая, еще и еще, и у всех ошеломленные лица, и все порывисто шуршат юбками. Одни плакали, другие хмурились. Они шли за своими мужьями. Они исчезали за вращающимися дверьми баров. Они входили в тихие бакалейные лавки. Заходили в аптеки и гаражи. Одна из них, миссис Клара Тис, остановилась в пыли возле скобяной лавки, щурясь на своего разгневанного, надутого супруга, а за ее спиной набухал черный поток.

— Отец, пошли домой, я никак не могу уломать Люсинду!

— Чтобы я шел домой из-за какой-то черномазой дряни?!

— Она уходит. Что я буду делать без нее?

— Попробуй сама управляться. Я на коленях перед ней ползать не буду.

— Но она все равно что член семьи, — причитала миссис Тис.

— Не вопи! Не хватало еще, чтобы ты у всех на глазах хныкала из-за всякой...

Всхлипывания жены остановили его. Она утирала глаза.

— Я ей говорю: «Люсинда, останься, — говорю, — я прибавлю тебе жалованье, будешь свободна два вечера в неделю, если хочешь», — а она словно каменная. Никогда ее такой не видела. «Неужто ты меня не любишь, — говорю, — Люсинда?» «Люблю, — говорит, — и все равно должна уйти, так уж получилось». Убрала всюду, навела порядок, поставила на стол завтрак и... и пошла. Дошла до дверей, а там уже два узла приготовлены. Стала, у каждой ноги по узлу, пожалала мне руку и говорит: «Прощайте, миссис Тис». И ушла. Завтрак на столе, а нам кусок в горло не лезет. И сейчас там стоит, наверно, совсем остыл, как я уходила...

Тис едва не ударил ее.

— К черту, слышишь, марш домой! Нашла место представление устраивать!

— Но, отец...

Сэмюэль исчез в душной тьме лавки. Несколько секунд спустя он появился снова, с серебряным пистолетом в руке.

Его жены уже не было.

Черная река текла между строениями, скрипя, шурша и шаркая. Поток был спокойный, полный великой решимости; ни смеха, ни бесчинств, только ровное, целеустремленное, нескончаемое течение.

Тис сидел на самом краешке своего тяжелого дубового кресла.

— Клянусь богом, если кто-нибудь из них хотя бы улыбнется, я его прикончу.

Мужчины ждали.

Река мирно катила мимо сквозь дремотный полдень.

— Что, Сэм, — усмехнулся дед Квортэрмэйн, — видать, придется тебе самому черную работу делать.

— Я и по белому не промахнусь. — Тис не глядел на деда.

Дед отвернулся и замолчал.

— Эй, ты, постой-ка! — Сэмюэль Тис спрыгнул с веранды, протиснулся и схватил под уздцы лошадь, на которой сидел высокий негр. — Все, Белтер, слезай, приехали!

— Да, сэр. — Белтер соскользнул на землю.

Тис смерил его взглядом.

— Ну, как же это называется?

— Понимаете, мистер Тис...

— В путь собрался, да? Как в той песне... сейчас вспомню... «Высоко в небеса» — так, что ли?

— Да, сэр.

Негр ждал, что последует дальше.

— А ты не забыл, Белтер, что должен мне пятьдесят долларов?

— Нет, сэр.

— И задумал с ними улизнуть? А хлыста отведать не хочешь?

— Сэр, тут такой переполох, я совсем запамятовал.

— Он запамятовал... — Тис злобно подмигнул своим зрителям на веранде. — Черт возьми, мистер, ты знаешь, что ты будешь делать?

— Нет, сэр.

— Ты останешься здесь и отработаешь мне эти пятьдесят зелененьких, не будь я Сэмюэль В. Тис.

Он повернулся и торжествующе улыбнулся мужчинам под навесом.

Белтер смотрел на поток, до краев заполняющий улицу, на черный поток, неудержимо струящийся между лавками, черный поток на колесах, верхом, в пыльных башмаках, черный поток, из которого его так внезапно вырвали. Он задрожал.

— Отпустите меня, мистер Тис. Я пришлю оттуда ваши деньги, честное слово!

— Послушай-ка, Белтер. — Тис ухватил негра за подтяжки, потягивая то одну, то другую, словно струны арфы, посмотрел на небо и, пренебрежительно фыркнув, прицелился костистым пальцем в самого господина бога. — А ты знаешь, Белтер, что тебя там ждет?

— Знаю то, что мне рассказывали.

— Ему рассказывали! Иисусе Христе! Нет, вы слышали? Ему рассказывали! — Он небрежно так, словно играя, мотал Белтера за

подтяжки и тыкал пальцем ему в лицо. — Помяни мое слово, Белтер, вы взлетите вверх, как шутиха в день четвертого июля, и — бам! Готово, один пепел от вас, да и тот разнесет по всему космосу. Эти болваны ученые не смыслят ни черта, они вас всех укокошат!

— Мне все равно.

— И очень хорошо! Потому что там, на этом вашем Марсе, знаешь, что вас поджидает? Чудовища кровожадные, глазища — во! Как мухоморы! Небось, видал картинку в журналах про будущее, в закусочной у нас продают по десяти центов штука? Ну так вот, как налетят они на вас — весь мозг из костей высосут!

— Мне все равно, все равно, все равно. — Белтер, не отрываясь, смотрел на скользящий мимо поток. На темном лбу выступил пот. Казалось, он вот-вот потеряет сознание.

— А холодина там! И воздуха нет, упадешь там и задрыгаешься, как рыба. Разинешь пасть и помрешь. Покорчишься, задохнешься и помрешь! Как это — по душе тебе?

— Мало ли что мне не по душе, сэр... Пожалуйста, сэр, отпустите меня. Я опоздаю.

— Отпущу, когда захочу. Мы будем мило толковать с тобой здесь, пока я не позволю тебе уйти, и ты это отлично знаешь. Значит, путешествовать собрался? Ну, так вот что, мистер «Высоко в небеса», возвращайся домой, черт дери, и отработывай пятьдесят зелененьких! Срок тебе — два месяца.

— Но, сэр, если я останусь отработывать, я опоздаю на ракету!

— Ах, горе-то какое! — Тис попытался изобразить печаль.

— Возьмите мою лошадь, сэр.

— Лошадь не может быть признана законным платежным средством. Ты не двинешься с места, пока я не получу своих денег.

Тис ликовал. Настроение у него было чудесное. У лавки собралась небольшая толпа темнокожих людей. Они стояли и слушали. Белтер дрожал всем телом, понутив голову.

Вдруг от толпы отделился старик.

— Мистер?

Тис глянул на него.

— Ну?

— Сколько должен вам этот человек, мистер?

— Не твое собачье дело!

Старик повернулся к Белтеру.

— Сколько, сынок?

— Пятьдесят долларов.

Старик протянул черные руки к окружавшим его людям.

— Нас двадцать пять. Каждый дает по два доллара, и быстрее, сейчас не время спорить.

— Это еще что такое? — крикнул Тис, величественно выпрямляясь во весь рост.

Появились деньги. Старик собрал их в шляпу и подал ее Белтеру.

— Сынок, — сказал он, — ты не опоздаешь на ракету.

Белтер взглянул в шляпу и улыбнулся.

— Не опоздаю, сэр, теперь не опоздаю!

Тис заорал:

— Сейчас же верни им деньги!

Белтер почтительно поклонился и протянул ему долг, но Тис не взял денег; тогда негр положил их на пыльную землю у его ног.

— Вот ваши деньги, сэр, — сказал он. — Большое спасибо.

Улыбаясь, Белтер вскочил в седло и хлестнул лошаадь. Он благодарил старика: они ехали рядом и вместе скрылись из виду.

— Сукин сын! — шептал Тис, глядя на солнце невидящими глазами. — Сукин сын...

— Подними деньги, Сэмюэль, — сказал кто-то с веранды.

То же самое происходило вдоль всего пути. Примчались босоногие белые мальчишки и затараторили:

— У кого есть, помогают тем, у кого нет! И все получают свободу! Один богач дал бедняку двести зелененьких, чтобы тот рассчитался! Еще один дал другому десять зелененьких, пять, шестнадцать — и так повсюду, все так делают!

Белые сидели с кислыми минами. Они щурились и жмурились, словно в лицо им хлестали обжигающий ветер и пыль.

Ярость душила Сэмюэля Тиса. Взбежав на веранду, он сверлил глазами катившие мимо толпы. Он размахивал своим пистолетом. Его распирало, злоба искала выхода, и он стал орать, обращаясь ко всем, к любому негру, который оглядывался на него.

— Бам! Еще ракета взлетела! — вопил он во всю глотку. — Бам! Боже мой!

Черные головы смотрели вперед, никто не показывал вида, что слушает, только белки скользнут по нему и снова спрячутся.

— Тр-р-рах! Все ракеты вдребезги! Крики, ужас, смерть! Бам! Боже милосердный! Мне-то что, я остаюсь здесь, на матушке-земле. Старушка не подведет! Ха-ха!

Постукивали копыта, взбивая пыль. Дребезжали фургоны на разбитых

рессорах.

— Бам! — Голос Тиса одиноко звучал в жарком воздухе, силясь нагнать страх на пыль и ослепительное небо. — Бах! Черномазых раскидало по всему космосу! Как даст метеором по ракете и разметало вас, точно малявок! В космосе полно метеоров! А вы не знали? Точно! Как картечь, даже гуще! И посыпятся ваши жестяные ракеты, как рябчики, как глиняные трубки! Ржавые банки, набитые черной треской! Пошли хлопать, как хлопушки: бам! бам! бам! Десять тысяч убитых, еще десять тысяч. Летают вокруг земли в космосе, вечно летают, холодненькие, окоченевшие, высоко-высоко, владыка небесный! Слышите, эй, вы там! Слышите?!

Молчание. Широко, нескончаемо течет река. Начисто вылизав все лачуги, смыв их содержимое, она несет часы и стиральные доски, шелковые отрезы и гардинные карнизы, несет куда-то в далекое черное море.

Два часа дня. Прилив схлынул, поток мелеет. А затем река и вовсе высохла, в городе воцарилась тишина, пыль мягким ковром легла на строения, на сидящих мужчин, на высокие, изнывающие от духоты деревья.

Тишина.

Мужчины на веранде прислушались.

Ничего. Тогда их воображение, их мысли полетели дальше, в окрестные луга. Спозаранку весь край оглашало привычное сочетание звуков. Верные заведенному порядку, тут и там пели голоса; под мимозами смеялись влюбленные; где-то журчал смех негрятят, плескавшихся в ручье; на полях мелькали спины и руки: из лачуг оплетенных зеленью плюща, доносились шутки и радостные возгласы.

Сейчас над краем будто пронесся ураган и смел все звуки. Ничего. Гробовая тишина. На кожаных петлях повисли грубо сколоченные двери. В безмолвном воздухе застыли брошенные качели из старых покрышек. Опустели плоские камни на берегу — излюбленное место прачек. На заброшенных бахчах одиноко дозревают арбузы, тая под толстой коркой освежающий сок. Пауки плетут новую паутину в покинутых хижинах; сквозь дырявые крыши вместе с золотистыми лучами солнца проникает пыль. Кое-где теплится забытый в спешке костер, и пламя, внезапно набравшись сил, принимается пожирать сухой остов соломенной лачуги. И тогда тишину нарушает довольное урчание изголодавшегося огня.

Мужчины, словно окаменев, сидели на веранде скобяной лавки.

— Не возьму в толк, с чего это им вдруг загорелось уезжать именно сейчас. Вроде, все шло на лад. Что ни день, новые права получали. Чего им еще надо? Избирательный налог отменили, один штат за другим принимает

законы, чтобы не линчевать, кругом равноправие! Мало им этого? Зарабатывают почти что не хуже любого белого — и вот тебе на, сорвались с места.

В дальнем конце опустевшей улицы показался велосипедист.

— Разрази меня гром, Тис, это твой Силли едет.

Велосипед остановился возле крыльца, на нем сидел цветной, парнишка лет семнадцати, угловатый, нескладный — длинные руки и ноги, круглая, как арбуз, голова. Он взглянул на Сэмюэля Тиса и улыбнулся.

— Что, совесть заговорила, вернулся, — сказал Тис.

— Нет, хозяин, я просто привез велосипед.

— Это почему же — в ракету не влазит?

— Да нет, хозяин, не в том дело...

— Можешь не объяснять в чем дело! Слазь, я не позволю тебе красть мое имущество! — Он толкнул парня. Велосипед упал. — Пошел в лавку, медяшки чистить.

— Что вы сказали, хозяин? — Глаза парня расширились.

— То, что слышал! Надо ружья распаковать и ящик вскрыть — гвозди пришли из Натчеца...

— Мистер Тис...

— Наладить ларь для молотков...

— Мистер Тис, хозяин!

— Ты еще стоишь здесь?! — Тис свирепо сверкнул глазами.

— Мистер Тис, можно я сегодня возьму выходной? — спросил парень извиняющимся голосом.

— И завтра тоже, и послезавтра, и после-послезавтра? — сказал Тис.

— Боюсь, что так, хозяин.

— Бояться тебе надо, это верно. Пойди-ка сюда. — Он потащил парня в лавку и достал из конторки бумагу.

— Помнишь эту штуку?

— Что это, хозяин?

— Твой трудовой контракт. Ты подписал его, вот твой крестик, видишь? Отвечай.

— Я не подписывал, мистер Тис. — Парень весь трясся. — Кто угодно может поставить крестик.

— Слушай, Силли. Контракт: «Я обязуюсь работать на мистера Сэмюэля Тиса два года, начиная с 15 июля 2001 года, а если захочу уволиться, то заявлю об этом за четыре недели и буду продолжать работать, пока не будет подыскана замена». Вот, — Тис стукнул ладонью по бумаге, его глаза блестели. — А будешь артачиться, пойдем в суд.

— Я не могу! — вскричал парень; по его щекам покатались слезы. — Если я не уеду сегодня, я не уеду никогда.

— Я отлично тебя понимаю, Силли, да-да, и сочувствую тебе. Но ничего, мы будем хорошо обращаться с тобой, парень, хорошо кормить. А теперь ступай и берись за работу, и выкинь из головы всю эту блажь, понял? Вот так, Силли. — Тис мрачно ухмыльнулся и потрепал его по плечу.

Парень повернулся к старикам, сидящим на веранде. Слезы застилали ему глаза.

— Может... может, кто из этих джентльменов...

Мужчины под навесом, истомленные зноем, подняли головы, посмотрели на Силли, потом на Тиса.

— Это как же понимать: ты хочешь, чтобы твое место занял *белый*? — холодно спросил Тис.

Дед Квортэрмэйн поднял с колен красные руки. Он задумчиво поглядел в даль и сказал:

— Слышь, Тис, а как насчет меня?

— Что?

— Я берусь работать вместо Силли.

Остальные притихли.

Тис покачивался на носках.

— Дед... — произнес он предостерегающе.

— Отпусти парня, я почищу, что надо.

— Вы... в самом деле, взаправду? — Силли подбежал к деду. Он смеялся и плакал одновременно, не веря своим ушам.

— Конечно.

— Дед, — сказал Тис, — не суй свой паршивый нос в это дело.

— Не держи мальчика, Тис.

Тис подошел к Силли и схватил его за руку.

— Он мой. Я запру его в задней комнате до ночи.

— Не надо, мистер Тис!

Парень зарыдал. Горький плач громко отдавался под навесом. Темные веки Силли набухли. На дороге вдали появился старенький, дребезжащий «форд», увозивший последних цветных.

— Это мой, мистер Тис. О, пожалуйста, прошу вас, ради бога!

— Тис, — сказал один из мужчин, вставая, — пусть уходит.

Второй поднялся.

— Я тоже за это.

— И я, — вступил третий.

— К чему это? — Теперь заговорили все. — Кончай, Тис.

— Отпусти его.

Тис нащупал в кармане пистолет. Он увидел лица мужчин. Он вынул руку из кармана и сказал:

— Вот, значит, как?

— Да, вот так, — отозвался кто-то.

Тис отпустил парня.

— Ладно. Катись. — Он ткнул рукой в сторону лавки. — Надеюсь, ты не собираешься оставлять свое грязное барахло?

— Нет хозяин!

— Убери все до последней тряпки из своего закутка и сожги!

Силли покачал головой.

— Я возьму с собой.

— Так они и позволят тебе тащить в ракету всякую дрянь!

— Я возьму с собой, — мягко настаивал парнишка.

Он побежал через лавку в пристройку. Слышно было, как он подметает и наводит чистоту. Миг, и Силли появился снова, неся волчки, шарики, старых воздушных змеев и другое барахло, скопленное за несколько лет. Как раз в этот миг подъехал «форд»; Силли сел в машину, хлопнула дверца.

Тис стоял на веранде, горько улыбаясь.

— И что же ты собираешься делать там?

— Открою свое дело, — ответил Силли. — Хочу завести скобяную лавку.

— Ах ты дрянь, так вот ты зачем ко мне нанимался, задумал набить руку, а потом улизнуть и использовать науку!

— Нет, хозяин, я никогда не думал, что так получится. А оно получилось. Разве я виноват, что научился, мистер Тис?

— Вы небось придумали имена вашим ракетам?

Цветные смотрели на свои единственные часы — на приборной доске «форда».

— Да, хозяин.

— Небось «Илия» и «Колесница», «Большое колесо» и «Малое колесо», «Вера», «Надежда», «Милосердие»?

— Мы придумали имена для кораблей, мистер Тис.

— «Бог-сын» и «Святой дух», да? Скажи, мальй, а одну ракету называли в честь баптистской церкви?

— Нам пора ехать, мистер Тис.

Тис хохотал.

— Неужели ни одну не называли «Летай пониже» или «Благолепная

колесница»?

Машина тронулась.

— Прощайте, мистер Тис.

— А есть у вас ракета «Рассыпьте, мои косточки»?

— Прощайте, мистер!

— А «Через Иордань»? Ха! Ладно, парень, катись, отваливай на своей ракете, давай лети, пусть взрывается, я плакать не буду!

Машина покатила прочь в облаке пыли. Силли привстал, приставил ладони ко рту и крикнул напоследок Тису:

— Мистер Тис, мистер Тис, а что вы теперь будете делать *по ночам*? Что будете делать *ночью*, хозяин?

Тишина. Машина растаяла вдали. Дорога опустела.

— Что он хотел сказать, черт возьми? — недоумевал Тис. — Что я буду делать по ночам?..

Он смотрел, как оседает пыль, и вдруг до него дошло. Он вспомнил ночи, когда возле его дома останавливались автомашины, а в них — темные силуэты, торчат колени, еще выше торчат дула ружей, будто полный кузов журавлей под черной листвой спящих деревьев. И злые глаза... Гудок, еще гудок, он хлопает дверцей, сжимая в руке ружье, посмеиваясь про себя, и сердце колотится, как у мальчишки, и бешеная гонка по ночной летней дороге, круг толстой веревки на полу машины, коробки новеньких патронов оттопыривают карманы пальто. Сколько было таких ночей за все годы — встречный ветер, треплющий космы волос над недобрыми глазами, торжествующие вопли при виде хорошего дерева, надежного, крепкого дерева, и стук в дверь лачуги!

— Так вот он про что, сукин сын! — Тис выскочил из тени на дорогу. — Назад, ублюдок! Что я буду делать ночами?! Ах ты гад, подлюга...

Вопрос Силли попал в самую точку. Тис почувствовал себя больным, опустошенным. «В самом деле. Что мы будем делать *по ночам*? — думал он. — Теперь, когда *все* уехали...» На душе было пусто, мысли оцепенели.

Он выхватил из кармана пистолет, пересчитал патроны.

— Ты что это задумал, Сэм? — спросил кто-то.

— Убью эту сволочь.

— Не распаляйся так, — сказал дед.

Но Сэмюэль Тис уже исчез за лавкой. Секундой позже он выехал в своей открытой машине.

— Кто со мной?

— Я прокачусь, пожалуй, — отозвался дед, вставая.

— Еще кто?

Молчание.

Дед сел в машину и захлопнул дверцу. Сэмюэль Тис, вздымая пыль, вырулил на дорогу, и они рванулись вперед под ослепительным небом. Оба молчали. Над сухими нивами по сторонам струилось жаркое марево.

Развилоч. Стоп.

— Куда они поехали, дед?

Дед Квортэрмэйн прищурился.

— Прямо, сдается мне.

Они продолжали путь. Одинок ворчал мотор под летними деревьями. Дорога была пуста, но вот они стали примечать что-то необычное. Наконец Тис сбавил ход и перегнулся через дверцу, свирепо сверкая желтыми глазами.

— Черт подери, дед! Ты видишь, что придумали эти ублюдки?

— Что? — спросил дед, присматриваясь.

Вдоль дороги непрерывной цепочкой, аккуратными кучками лежали старые роликовые коньки, пестрые узелки с безделушками, рваные башмаки, колеса от телеги, поношенные брюки и пальто, драные шляпы, побрякушки из хрусталя, когда-то нежно звеневшие на ветру, жестяные банки с розовой геранью, восковые фрукты, коробки с деньгами времен конфедерации, тазы, стиральные доски, веревки для белья, мыло, чей-то трехколесный велосипед, чьи-то садовые ножницы, кукольная коляска, чертик в коробочке, пестрое окно из негритянской баптистской церкви, набор тормозных прокладок, автомобильные камеры, матрасы, кушетки, качалки, баночки с кремом, зеркала. И все это не было брошено кое-как, наспех, а положено бережно, с чувством, со вкусом вдоль пыльных обочин, словно целый город шел здесь, нагруженный до отказа, и вдруг раздался великий трубный глас, люди сложили свои пожитки в пыль и вознеслись прямиком на голубые небеса.

— «Не хотим жечь», как же! — злобно крикнул Тис. — Я им говорю сожгите, так нет, тащили всю дорогу и сложили здесь — напоследок еще раз посмотреть на свое барахло, вот оно, полюбуйтесь! Эти черномазые невесть что о себе воображают.

Он гнал машину дальше, километр за километром, наезжая на кучи, кроша шкатулки и зеркала, ломая стулья, рассыпая бумаги.

— Так! Черт дери... Еще! Так!

Передняя шина жалобно запищала. Машина вильнула и врезалась в канаву, Тис стукнулся лбом о ветровое стекло.

— А, сукины дети! — Сэмюэль Тис стряхнул с себя пыль и вышел из

машины, чуть не плача от ярости. Он посмотрел на пустынную безмолвную дорогу.

— Теперь мы уж их никогда не догоним, никогда.

Насколько хватал глаз, он видел только аккуратно сложенные узлы и кучи, и еще узлы, словно покинутые святыни, под жарким ветром, в свете угасающего дня.

Час спустя Тис и дед, усталые, подошли к скобяной лавке. Мужчины все еще сидели там, прислушиваясь и глядя на небо. В тот самый миг, когда Тис присел и стал снимать тесные ботинки, кто-то воскликнул:

— Смотрите!

— К черту! — прорычал Тис.

Но остальные смотрели, привстав. И они увидели далеко-далеко уходящие ввысь золотые веретена. Оставляя за собой хвосты пламени, они исчезли.

На хлопковых полях ветер лениво трепал белоснежные комочки. На бахчах лежали нетронутые арбузы, полосатые, как тигровые кошки, греющиеся на солнце.

Мужчины на веранде сели, поглядели друг на друга, поглядели на желтые веревки, аккуратно сложенные на полках, на сверкающие гильзы патронов в коробках, на серебряные пистолеты и длинные вороненые стволы винтовок, мирно висящих в тени под потолком. Кто-то сунул в рот травинку. Кто-то начертил в пыли человечка.

Сэмюэль Тис торжествуяще поднял ботинок, перевернул его, заглянул внутрь и сказал:

— А вы заметили? Он до самого конца говорил мне «хозяин», ей-богу!

2004–2005

Новые имена

Они пришли и заняли удивительные голубые земли и всему дали свои имена. Появились ручей Хинкстон-Крик и поляна Люстиг-Корнерс, река Блэк-Ривер и лес Дрисколл-Форест, гора Перегрин-Маунтин и город Уайлдертаун — все в честь людей и того, что совершили люди. Там, где марсиане убили первых землян, появился Редтаун — название, связанное с кровью. А вот здесь погибла Вторая экспедиция — отсюда название: Вторая Попытка; и всюду, где космонавты при посадке опалили землю своими огненными снарядами, остались имена — словно кучи шлака; не обошлось, разумеется, без горы Спендер-Хилл и города с длинным названием Натаниел-Йорк...

Старые марсианские названия были названия воды, воздуха, гор. Названия снегов, которые, тая на юге, стекали в каменные русла каналов, питающих высохшие моря. Имена чародеев, чей прах покоился в склепах, названия башен и обелисков. И ракеты, подобно молотам, обрушились на эти имена, разбивая вдребезги мрамор, кроша фаянсовые тумбы с названиями старых городов, и над грудями обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями: АЙРОНТАУН, СТИЛТАУН, АЛЮМИНИУМ-СИТИ, ЭЛЕКТРИК-ВИЛЛЕДЖ, КОРН-ТАУН, ГРЭЙН-ВИЛЛА, ДЕТРОЙТ II — знакомые механические, металлические названия с Земли.

А когда построили и окрестили города, появились кладбища, они тоже получили имена: Зеленый Уголок, Белые Мхи, Тихий Пригорок, Отдохни Малость — и первые покойники легли в свои могилы...

Когда же все было наколото на булабочки, чинно, аккуратно разложено по полочкам, когда все стало на свои места, города прочно утвердились и уединение стало почти невозможным — тогда-то с Земли стали прибывать искушенные и всезнающие. Они приезжали в гости и в отпуск, приезжали купить сувениры и сфотографироваться — «подышать марсианским воздухом»; они приезжали вести исследования и проводить в жизнь социологические законы; они привозили с собой свои звезды, кокарды, правила и уставы, не забыли прихватить и семена бюрократии, которая въедливым сорняком оплела Землю, и насадили их на Марсе всюду, где они только могли укорениться. Они стали законодателями быта и нравов; принялись направлять, наставлять и подталкивать на путь истинный тех

самых людей, кто перебрался на Марс, чтобы избавиться от наставлений и назиданий.

И нет ничего удивительного в том, что кое-кто из подталкиваемых стал отбиваться...

Апрель 2005

Эшер II

«Весь этот день — тусклый, темный, беззвучный осенний день — я ехал верхом в полном одиночестве по необычайно пустынной местности, над которой низко нависали свинцовые тучи, и наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера...»

Мистер Уильям Стендаль перестал читать. Вот она перед ним, на невысоком черном пригорке — Усадьба, и на угловом камне начертано: 2005 год.

Мистер Бигелоу, архитектор, сказал:

— Дом готов. Примите ключ, мистер Стендаль.

Они помолчали, стоя рядом, в тишине осеннего дня. На черной как вороново крыло траве у их ног шуршали чертежи.

— Дом Эшеров, — удовлетворенно произнес мистер Стендаль. — Спроектирован, выстроен, куплен, оплачен. Думаю, мистер По был бы в восторге!

Мистер Бигелоу прищурился.

— Все отвечает вашим пожеланиям, сэр?

— Да!

— Колорит такой, какой нужен? Картина *тоскливая* и *ужасная*?

— *Чрезвычайно ужасная, чрезвычайно тоскливая!*

— Стены — *угрюмые*?

— Поразительно!

— Пруд достаточно «черный и мрачный»?

— Невообразимо черный и мрачный.

— А осока — она окрашена, как вам известно, — в меру чахлая и седая?

— До отвращения!

Мистер Бигелоу сверился с архитектурным проектом. Он процитировал задание:

— Весь ансамбль внушает «леденящую, ноющую, сосущую боль сердца, безотрадную пустоту в мыслях»? Дом, пруд, усадьба?..

— Вы поработали на славу, мистер Бигелоу! Клянусь, это изумительно!

— Благодарю. Я ведь совершенно не понимал, что от меня требуется. Слава богу, что у вас есть свои ракеты, иначе нам никогда не позволили бы

перебросить сюда необходимое оборудование. Обратите внимание, здесь постоянные сумерки, в этом уголке всегда октябрь, всегда пустынно, безжизненно, мертво. Это стоило нам немалых трудов. Десять тысяч тонн ДДТ. Мы все убили. Ни змеи, ни лягушки, ни одной марсианской мухи не осталось! Вечные сумерки, мистер Стендаль, это моя гордость. Скрытые машины глушат солнечный свет. Здесь всегда «безотрадно».

Стендаль упивался безотрадностью, свинцовой тяжестью, удушливыми испарениями, всей «атмосферой», задуманной и созданной с таким искусством. А сам Дом! Угрюмая обветшалость, зловещий пруд, плесень, призраки всеобщего тления! Синтетические материалы или еще что-нибудь? Поди угадай.

Он взглянул на осеннее небо. Где-то вверху, вдали, далеко-далеко — солнце. Где-то на планете — марсианский апрель, золотой апрель, голубое небо. Где-то вверху прожигают себе путь ракеты, призванные цивилизовать прекрасную, безжизненную планету. Визг и вой их стремительного полета глухнул в этом тусклом звуконепроницаемом мире, в этом мире дремучей осени.

— Теперь, когда задание выполнено, — смущенно заговорил мистер Бигелоу, — могу я спросить, что вы собираетесь делать со всем этим?

— С усадьбой Эшер? Вы не догадались?

— Нет.

— Название «Эшер» вам ничего не говорит?

— Ничего.

— Ну а *такое* имя: Эдгар Алан По?

Мистер Бигелоу отрицательно покачал головой.

— Разумеется. — Стендаль сдержанно фыркнул, выражая печаль и презрение. — Откуда вам знать блаженной памяти мистера По? Он умер очень давно, раньше Линкольна. Все его книги были сожжены на Великом Костре. Тридцать лет назад, в 1975.

— А, — понимающе кивнул мистер Бигелоу. — Один из *этих*!

— Вот именно, Бигелоу, один из *этих*. Его и Лавкрафта, Хоторна и Амброза Бирса, все повести об ужасах и страхах, все фантазии, да что там, все повести о будущем сожгли. Безжалостно. Закон провели. Началось с малого, с песчинки, еще в пятидесятых и шестидесятых годах. Сперва ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов, фильмов, разумеется. Кидались то в одну крайность, то в другую, брали верх различные группы, разные клики, политические предубеждения, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее большинство, которое боялось непонятного,

будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени.

— Понятно.

— Устрашаемые словом «политика» (которое в конце концов в наиболее реакционных кругах стало синонимом «коммунизма», да-да, и за одно только употребление этого слова можно было поплатиться жизнью!), понукаемые со всех сторон — здесь подтянут гайку, там закрутят болт, оттуда ткнут, отсюда пырнут, — искусство и литература вскоре стали похожи на огромную тянучку, которую выкручивали, жали, мяли, завязывали в узел, швыряли туда-сюда до тех пор, пока она не утратила всякую упругость и всякий вкус. А потом осеклись кинокамеры, погрузились в мрак театры, и могучая Ниагара печатной продукции превратилась в выхолощенную струйку «чистого» материала. Поверьте мне, понятие «уход от действительности» тоже попало в разряд крамольных!

— Неужели?

— Да-да! Всякий человек, говорили они, обязан смотреть в лицо действительности. Видеть только сиюминутное! Все, что *не* попадало в эту категорию, — прочь. Прекрасные литературные вымыслы, полет фантазии — бей влет. И вот воскресным утром, тридцать лет назад, в 1975 году их поставили к библиотечной стенке: Санта-Клауса и Всадника без головы, Белоснежку, и Домового, и Матушку-Гусыню — все в голос рыдали! — и расстреляли их, потом сожгли бумажные замки и царевен-лягушек, старых королей и всех, кто «с тех пор зажил счастливо» (в самом деле, о ком можно сказать, что он с тех пор зажил счастливо!), и Некогда превратилось в Никогда! И они развеяли по ветру прах Заколдованного Рикши вместе с черепками Страны Оз, изрубили Глинду Добрую и Озму, разложили Многоцветку в спектроскопе, а Джека Тыквенную Голову подали к столу на Балу Биологов! Гороховый Стручок зачах в бюрократических зарослях! Спящая Красавица была разбужена поцелуем научного работника и испустила дух, когда он вонзил в нее медицинский шприц. Алису они заставили выпить из бутылки нечто такое, от чего она стала такой крохотной, что уже не могла больше кричать: «Чем дальше, тем любопытственнее!» Волшебное Зеркало они одним ударом молота разбили вдребезги, и пропали все Красные Короли и Устрицы!

Он сжал кулаки. Господи, как все это близко, точно случилось вот сейчас! Лицо его побагровело, он задыхался.

Столь бурное извержение ошеломило мистера Бигелоу. Он моргнул раз-другой и наконец сказал:

— Извините. Не понимаю, о чем вы. Эти имена ничего мне не говорят. Судя по тому, что вы сейчас говорили, костер был только на пользу.

— Вон отсюда! — вскричал Стендаль. — Ваша работа завершена, теперь убирайтесь, болван!

Мистер Бигелоу кликнул своих плотников и ушел.

Мистер Стендаль остался один перед Домом.

— Слушайте, вы! — обратился он к незримым ракетам. — Я перебрался на Марс, спасаясь от вас, Чистые Души, а вас, что ни день, все больше и больше здесь, вы слетаетесь, словно мухи на падаль. Так я вам тут кое-что покажу. Я проучу вас за то, что вы сделали на Земле с мистером По. Отныне берегитесь! Дом Эшера начинает свою деятельность!

Он погрозил небу кулаком.

Ракета села. Из нее важно вышел человек. Он посмотрел на Дом, и серые глаза его выразили неудовольствие и досаду. Он перешагнул ров, за которым его ждал щуплый мужчина.

— Ваша фамилия Стендаль?

— Да.

— Гаррет, инспектор из управления Нравственного Климата.

— Ага, вы таки добрались до Марса, блюстители Нравственного Климата? Я уже прикидывал, когда же вы тут появитесь...

— Мы прибыли на прошлой неделе. Скоро здесь будет полный порядок, как на Земле. — Он раздраженно помахал своим удостоверением в сторону Дома. — Расскажите-ка мне, что это такое, Стендаль?

— Это замок с привидениями, если вам угодно.

— Не угодно, Стендаль, *никак* не угодно. «С привидениями» — не годится.

— Очень просто. В нынешнем, две тысячи пятом году господа бога нашего я построил механическое святилище. В нем медные летучие мыши летают вдоль электронных лучей, латунные крысы снуют в пластмассовых подвалах, пляшут автоматические скелеты, здесь обитают автоматические вампиры, шуты, волки и белые призраки, порождение химии и изобретательности.

— Именно этого я опасался, — сказал Гаррет с улыбочкой. — Боюсь, придется снести ваш домик.

— Я знал, что вы явитесь, едва проведаете.

— Я бы раньше прилетел, но мы хотели удостовериться в ваших намерениях, прежде чем вмешиваться. Демонтажники и Огневая Команда могут прибыть к вечеру. К полуночи все будет разрушено до основания, мистер Стендаль. По моему разумению, сэр. Вы, я бы сказал, сглупили. Выбрасывать на ветер деньги, заработанные упорным трудом. Да вам это

миллиона три стало...

— Четыре миллиона! Но учтите, мистер Гаррет, я был еще совсем молод, когда получил наследство, — двадцать пять миллионов. Могу позволить себе быть мотом. А вообще-то это досадно: только закончил строительство, как вы уже здесь со своими Демонтажниками. Может, позвольте мне потешиться моей Игрушкой, ну, хотя бы двадцать четыре часа?

— Вам известен Закон Как положено: никаких книг, никаких домов, ничего, что было бы сопряжено с привидениями, вампирами, феями или иными творениями фантазии.

— Вы скоро начнете жечь мистеров Бэббитов!

— Вы уже причинили нам достаточно хлопот, мистер Стендаль. Сохранились протоколы. Двадцать лет назад. На Земле. Вы и ваша библиотека.

— О да, я и моя библиотека. И еще несколько таких же, как я. Конечно, По был уже давно забыт тогда, забыты Оз и другие создания. Но я устроил небольшой тайник. У нас были свои библиотеки — у меня и еще у нескольких частных лиц, — пока вы не прислали своих людей с факелами и мусоросжигателями. Изорвали в клочья мои пятьдесят тысяч книг и сожгли их. Вы так же расправились и со всеми чудотворцами; и вы еще приказали вашим кинопродюсерам, если они вообще хотят что-нибудь делать, пусть снимают и переснимают Эрнеста Хемингуэя. Боже мой, сколько раз я видел «По ком звонит колокол»! Тридцать различных постановок. Все реалистичные. О реализм! Ох, уж этот реализм! Чтоб его!..

— Рекомендовал бы воздержаться от сарказма!

— Мистер Гаррет, вы ведь обязаны представить полный отчет?

— Да.

— В таком случае, любопытства ради, вошли бы, посмотрели. Всего одну минуту.

— Хорошо. Показывайте. И никаких фокусов. У меня есть пистолет.

Дверь Дома Эшеров со скрипом распахнулась. Повеяло сыростью. Послышались могучие вздохи и стоны, точно в заброшенных катакомбах дышали незримые мехи.

По каменному полу метнулась крыса. Гаррет гикнул и наподдал ее ногой. Крыса перекувырнулась, и из ее нейлонового меха высыпали полчища металлических блох.

— Поразительно! — Гаррет нагнулся, чтобы лучше видеть.

В нише, трясая восковыми руками над оранжево-голубыми картами, сидела старая ведьма. Она вздернула голову и зашипела беззубым ртом на

Гаррета, постукивая пальцем по засаленным картам.

— Смерть! — крикнула она.

— Вот именно *такие* вещи я и подразумевал... — сказал Гаррет. —
Весьма предосудительно!

— Я разрешу вам лично сжечь ее.

— В самом деле? — Гаррет просиял. Но тут же нахмурился. — Вы так легко об этом говорите.

— Для меня достаточно было устроить все это. Чтобы я мог сказать, что добился своего. В современном скептическом мире воссоздал средневековую атмосферу.

— Я и сам, сэр, так сказать, невольно восхищен вашим гением.

Гаррет смотрел — мимо него проплывало в воздухе, шелестя и шепча, легкое облачко, которое приняло облик прекрасной призрачной женщины. В дальнем конце сырого коридора гудела какая-то машина. Как сахарная вата из центрифуги, оттуда ползла и расплывалась по безмолвным залам бормочущая мгла.

Невесть откуда возникла обезьяна.

— Брысь! — крикнул Гаррет.

— Не бойтесь. — Стендаль похлопал животное по черной груди. — Это робот. Медный скелет и так далее, как и ведьма. Вот!

Он взъерошил мех обезьяны, блеснул металлический корпус.

— Вижу. — Гаррет протянул робкую руку, потрепал робота. — Но к чему это, мистер Стендаль, в чем смысл всего *этого*? Что вас довело?..

— Бюрократия, мистер Гаррет. Но мне некогда объяснять. Властям и без того скоро все будет ясно. — Он кивнул обезьяне. — Пора. *Давай*.

Обезьяна убила мистера Гаррета.

— Почти готово, Пайкс?

Пайкс оторвал взгляд от стола.

— Да, сэр.

— Отличная работа.

— Даром хлеб не едим, мистер Стендаль, — тихо ответил Пайкс; приподняв упругое веко робота, он вставил стеклянное глазное яблоко и ловко прикрепил к нему каучуковые мышцы. — Так...

— Вылитый мистер Гаррет.

— А с ним что делать, сэр? — Пайкс кивком головы указал на каменную плиту, где лежал настоящий мертвый Гаррет.

— Лучше всего сжечь. Пайкс. На что нам два мистера Гаррета, верно?

Пайкс подтащил Гаррета к кирпичному мусоросжигателю.

— Всего хорошего.

Он втолкнул мистера Гаррета внутрь и захлопнул дверку.

Стендаль обратился к роботу Гаррету.

— Вам ясно ваше задание, Гаррет?

— Да, сэр. — Робот приподнялся и сел. — Я должен вернуться в управление Нравственного Климата. Представить дополнительный доклад. Оттянуть операцию самое малое на сорок восемь часов. Сказать, что мне нужно провести более обстоятельное расследование.

— Правильно, Гаррет. Желаю успеха.

Робот поспешно прошел к ракете Гаррета, поднялся в нее и улетел.

Стендаль повернулся.

— Ну, Пайкс, теперь разошлем оставшиеся приглашения на сегодняшний вечер. Полагаю, будет весело. Как вы думаете?

— Учитывая, что мы ждали двадцать лет, — даже очень весело!

Они подмигнули друг другу.

Ровно семь. Стендаль взглянул на часы. Теперь уж недолго. Он сидел в кресле и вертел в руке рюмку с хересом. Над ним, меж дубовых балок попискивали, сверкая глазками, летучие мыши, тонкие медные скелетики, обтянутые резиновой плотью. Он поднял рюмку, приветствуя их.

— За наш успех.

Откинулся назад, сомкнул веки и мысленно проверил все сначала. Уж отведет он душу на старости лет... Отомстит этому антисептическому правительству за расправу с литературой, за костры. Годами копился гнев, копилась ненависть... И в оцепенелой душе исподволь, медленно зрел замысел. Так было до того дня три года назад, когда он встретил Пайкса.

Именно, Пайкса. Пайкса, ожесточенная душа которого была как обугленный черный колодец, наполненный едкой кислотой. Кто такой Пайкс? Величайший из них всех, только и всего! Пайкс — человек с тысячами личин, фурия, дым, голубой туман, седой дождь, летучая мышь, горгона, чудовище, вот кто Пайкс! «Лучше, чем Лон Чени, патриарх?» — спросил себя Стендаль. Чени, которого он смотрел в древних фильмах, много вечеров подряд смотрел... Да, лучше чем Чени. Лучше того, другого старинного актера — как его, Карлофф, кажется? Гораздо лучше! А Люгоси? Никакого сравнения! Пайкс — единственный, неподражаемый. И что же, его ограбили, отняли право на выдумку, и некуда податься, не перед кем лицедействовать. Запретили играть даже перед зеркалом для самого себя!

Бедняга Пайкс — невероятный, обезоруженный Пайкс! Что ты чувствовал в тот вечер, когда они конфисковали твои фильмы, вырывали,

вытягивали, подобно внутренностям, кольца пленки из кинокамеры, из твоего чрева, хватали, комкали, бросали в печь, сжигали! Было ли это так же больно, как потерять, ничего не получив взамен, пятьдесят тысяч книг? Да. Да. Стендаль почувствовал, как руки его холодеют от каменной ярости. И вот однажды — что может быть естественнее — они встретились и заговорили, и разговоры их растянулись на бессчетные ночи, как не было счета и чашкам кофе, и из потока слов и горького настоя родился — Дом Эшера.

Гулкий звон церковного колокола. Начался съезд гостей.

Улыбаясь, он пошел встретить их.

Роботы ждали — взрослые без воспоминаний детства. Ждали роботы в зеленых шелках цвета лесных озер, в шелках цвета лягушки и папоротника. Ждали роботы с желтыми волосами цвета песка и солнца. Роботы лежали, смазанные, с трубчатыми костями из бронзы в желатине. В гробах для не живых и не мертвых, в дощатых ящиках маятники ждали, когда их толкнут. Стоял запах смазки и латунной стружки. Стояла гробовая тишина. Роботы — обоего пола, но бесполое. С лицами, не безликие, заимствовавшие у человека все, кроме человечности, роботы смотрели в упор на прошитые гвоздями крышки ящиков с надписью «Франкоборт», пребывая в небытии, которого смертью не назовешь, потому что ему не предшествовала жизнь... Но вот громко взвизгнули гвозди. Одна за другой поднимаются крышки. По ящикам мечутся тени, стиснутая рукой масленка брызжет машинным маслом. Тихонько затикал один механизм, пущенный в ход. Еще один, еще, и вот уже застрекотало все кругом, как в огромном часовом магазине. Каменные глаза раздвинули резиновые веки. Затрепетали ноздри. Встали на ноги роботы, покрытые обезьяньей шерстью и мехом белого кролика. Близнецы Твидлдам и Твидлди, Телячья Голова, Соня, бледные утопленники — соль и зыбкие водоросли вместо плоти, посиневшие висельники с закатившимися глазами цвета устриц, создания из льда и сверкающей мишуры, глиняные карлики и коричневые эльфы. Тик-так, Страшила, Санта-Клаус в облаке искусственной метели. Синяя Борода — бакенбарды словно пламя ацетиленовой горелки. Поплыли клубы серного дыма с языками зеленого огня, и будто изваянный из глыбы чешуйчатого змеевика, дракон с пылающей жаровней в брюхе протиснулся через дверь: вой, стук, рев, тишина, рывок, поворот. Тысячи крышек снова захлопнулись. Часовой магазин двинулся на Дом Эшера. Ночь колдовства началась.

На усадьбу повеяло теплом. Прожигая небо, превращая осень в весну,

прибывали ракеты гостей.

Из ракет выходили мужчины в вечерних костюмах, за ними следовали женщины с замысловатейшими прическами.

— Вот он какой, Эшер!

— А где же дверь?

И тут появился Стендаль. Женщины смеялись и болтали. Мистер Стендаль поднял руку, прося тишины. Потом повернулся, обратил взгляд к окну высоко в стене замка и крикнул:

Рапунцель. Рапунцель, проснись,
Спусти свои косоньки вниз.

Прекрасная девушка выглянула в окно навстречу ночному ветерку и спустила вниз золотые косы. И косы, сплетаясь, развеваясь, стали лестницей, по которой смеющиеся гости могли подняться в Дом.

Самые видные социологи! Самые проникательные психологи! Самые что ни на есть выдающиеся политики бактериологи, психоневрологи! Вот они все тут, между серых стен.

— Добро пожаловать!

Мистер Трайон, мистер Оуэн, мистер Данн, мистер Лэнг, мистер Стеффенс, мистер Флетчер и еще две дюжины знаменитостей.

— Входите, входите!

Мисс Гиббс, мисс Поуп, мисс Черчилль, мисс Блат, мисс Драммонд и еще два десятка блестящих женщин.

Все без исключения видные виднейшие лица, члены Общества Борьбы с фантазиями, поборники запрета старых праздников — «всех святых» и Гая Фокса, убийцы летучих мышей, истребители книг, факельщики, все без исключения добропорядочные незапятнанные граждане, которые предоставили людям попроще, поглубже первыми прилететь на Марс, похоронить марсиан, очистить от заразы поселения, построить города, отремонтировать дороги и вообще устранить всякие непорядки. А уж потом, когда прочно утвердилась Безопасность, эти Душителы Радости, эти субъекты с формалином вместо крови и с глазами цвета йодной настойки явились насаждать свой Нравственный Климат и милостиво наделять всех добродетелями. И все они — его друзья! Да-да, в прошлом году на Земле он неназойливо, осторожно с каждым из них познакомился, каждому выказал свое расположение.

— Добро пожаловать в безбрежные покои Смерти! — крикнул он.

— Послушайте, Стендаль, что все это *значит*?

— Увидите. Всем раздеться! Вон там есть кабины. Наденьте костюмы, которые там приготовлены. Мужчины — в эту сторону, женщины — в ту. Гости стояли в некотором замешательстве.

— Не знаю, прилично ли нам оставаться, — сказала мисс Поуп. — Не нравится мне здесь. Это... это похоже на кощунство.

— Чепуха, *костюмированный бал*!

— Боюсь, это все противозаконно. — Мистер Стеффенс настороженно шмыгал носом.

— Полно! — рассмеялся Стендаль. — Повеселитесь хоть раз. Завтра тут будут одни развалины. По кабинам!

Дом сверкал жизнью и красками, шуты звенели бубенчиками, белые мыши танцевали миниатюрную кадрили под музыку карликов, которые щекотали крохотные скрипки крошечными смычками, флажки трепетали под закоптелыми балками, и стаи летучих мышей кружили у разверстых пастей горгулий, извергавших холодное, хмельное, пенное вино. Через все семь залов костюмированного бала бежал ручеек. Гости приложились к нему и обнаружили, что это херес! Гости высыпали из кабин, сбросив годы с плеч, скрывшись под маскарадными домино, и уже то, что они надели маски, лишало их права осуждать фантазии и ужасы. Кружились смеющиеся женщины в красных одеждах. Мужчины увивались за ними. По стенам скользили тени, отброшенные неведомо кем, тут и там висели зеркала, в которых ничто не отражалось.

— Да мы все упыри! — рассмеялся мистер Флетчер. — Мертвецы!

Семь залов, каждый иного цвета: один голубой, один пурпурный, один зеленый, один оранжевый, еще один белый, шестой фиолетовый, седьмой затянут черным бархатом. В черном зале эбеновые куранты гулко отбивали часы. Из зала в зал, между фантастическими роботами, между Сонями и Сумасшедшими Шляпниками, Троллями и Великанами, Черными Котами и Белыми Королевами носились опьяневшие гости, и под их пляшущими ногами пол пульсировал тяжело и глухо, точно сокрытое под ним сердце не могло сдержать своего волнения.

— Мистер Стендаль!

Шепотом.

— Мистер Стендаль!

Рядом с ним стояло чудовище в маске Смерти. Это был Пайкс.

— Нам нужно поговорить наедине.

— В чем дело?

— Вот. — Пайкс протянул ему костлявую руку. В ней была горсть

оплавленных, почерневших колесиков, гайки, винты, болты.

Стендаль долго смотрел на них. Затем увлек Пайкса в коридор.

— Гаррет? — спросил он шепотом.

Пайкс кивнул.

— Он прислал робота вместо себя. Я нашел это только что, когда чистил мусоросжигатель.

Оба глядели на зловещие винты.

— Это значит, что в любой момент может нагрянуть полиция, — сказал Пайкс. — Наши планы рухнут.

— Это еще неизвестно. — Стендаль взглянул на кружащихся желтых, синих, оранжевых людей. Музыка волнами неслась сквозь туманные просторы залов. — Я должен был догадаться, что Гаррет не настолько глуп, чтобы явиться лично. Но погодите-ка!

— Что случилось?

— Ничего. Ничего серьезного. Гаррет прислал к нам робота. Но ведь мы ответили тем же. Если он не будет очень уж приглядываться, то просто не заметит подмены.

— Конечно!

— Следующий раз он явится сам. Теперь он уверен, что ему ничто не грозит. Ждите его с минуты на минуту, *собственной* персоной! Еще вина, Пайкс?

Зазвонил большой колокол.

— Бьюсь об заклад, это он. Идите, впустите мистера Гаррета.

Рапунцель спустила вниз свои золотые волосы.

— Мистер Стендаль?

— Мистер Гаррет, *подлинный* Гаррет?

— Он самый. — Гаррет окинул пристальным взглядом сырые стены и кружащихся людей. — Решил, лучше самому посмотреть. На роботов нельзя положиться. Тем более, на чужих роботов. Заодно я предусмотрительно вызвал Демонтажников. Через час они придут, чтобы обрушить стены этого мерзостного логова.

Стендаль поклонился.

— Спасибо за предупреждение. — Он сделал жест рукой. — А пока приглашаю вас развлечься. Немного вина?

— Нет-нет, благодарю. Что тут происходит? Где предел падения человека?

— Убедитесь сами, мистер Гаррет.

— Разврат, — сказал Гаррет.

— Самый гнусный, — подтвердил Стендаль.

Где-то завизжала женщина Подбежала мисс Поуп, бледная, как сыр.

— Что сейчас случилось, какой ужас! На моих глазах обезьяна задушила мисс Блант и затолкала ее в дымоход!

Они заглянули в трубу и увидели свисающие вниз длинные желтые волосы. Гаррет вскрикнул.

— Ужасно! — причитала мисс Поуп. Вдруг она осеклась. Захлопала глазами и повернулась: — Мисс Блант!

— Да. — Мисс Блант стояла рядом с ней.

— Но я только что видела вас в каминной трубе!

— Нет, — рассмеялась мисс Блант — Это был робот, моя копия. Искусная репродукция!

— Но, но...

— Утрите слезы, милочка. Я жива-здорова. Разрешите мне взглянуть на себя. Так вот где я! Да, в дымоходе, как вы и сказали. Потешно, не правда ли?

Мисс Блант удалилась, смеясь.

— Хотите выпить, Гаррет?

— Пожалуй, выпью. Немного расстроился. Боже мой, что за место. Оно *вполне* заслуживает разрушения. На мгновение мне... — Гаррет выпил вина.

Новый крик. Четыре белых кролика несли на спине мистера Стеффенса вниз по лестнице, которая вдруг чудом открылась в полу. Мистера Стеффенса утащили в яму и оставили там, связанного по рукам и ногам, глядеть, как сверху все ниже, ниже, ближе и ближе к его простертому телу опускалось, качаясь, острое как бритва, лезвие огромного маятника.

— Это я там внизу? — спросил мистер Стеффенс, появившись рядом с Гарретом. Он наклонился над колодцем. — Очень, очень странно наблюдать собственную гибель.

Маятник качнулся в последний раз.

— До чего реалистично, — сказал мистер Стеффенс, отворачиваясь.

— Еще вина, мистер Гаррет?

— Да, пожалуйста.

— Теперь уже недолго. Скоро придут Демонтажники.

— Слава богу!

И опять, в третий раз — крик.

— Ну что еще? — нервно спросил Гаррет.

— Теперь моя очередь, — сказала мисс Драммонд. — Смотрите.

Вторую мисс Драммонд, сколько она ни кричала, заколотили в гроб и

бросили в сырую землю под полом.

— Пойдите, я же помню это! — ахнул инспектор Нравственного Климата. — Это же из старых, запрещенных книг... «Преждевременное погребение». Да и остальное: колодец, маятник, обезьяна, дымоход... «Убийство на улице Морг». Я сам сжег эту книгу, ну конечно же!

— Еще вина, Гаррет. Так, держите рюмку крепче.

— Господи, какое у вас воображение!

На их глазах погибли еще пятеро: один в пасти дракона, другие были сброшены в черный пруд, пошли ко дну и сгнули.

— Хотите взглянуть, что мы приготовили для вас? — спросил Стендаль.

— Разумеется, — ответил Гаррет. — Какая разница? Все равно мы взорвем эту скверну. Вы отвратительны.

— Тогда пошли. Сюда.

И он повел Гаррета вниз, в подполье, по многочисленным переходам, опять вниз по винтовой лестнице под землю, в катакомбы.

— Что вы хотите мне здесь показать? — спросил Гаррет.

— Вас, убитого.

— Моего двойника?

— Да. И еще кое-что.

— Что же?

— Амонтильядо, — сказал Стендаль, шагая впереди с поднятым в руке фонарем.

Кругом, наполовину высунувшись из гробов, торчали недвижные скелеты. Гаррет прикрыл нос ладонью, лицо его выражало отвращение.

— Что-что?

— Вы никогда не слышали про амонтильядо?

— Нет!

— И не узнаете вот это? — Стендаль указал на нишу.

— Откуда мне знать?

— Это тоже? — Стендаль, улыбаясь, извлек из складок своего балахона мастерок каменщика.

— Что это такое?

— Пошли, — сказал Стендаль.

Они ступили в нишу. Во тьме Стендаль заковал полупьяного инспектора в кандалы.

— Боже мой, что вы делаете? — вскричал Гаррет, гремя цепями.

— Я, так сказать, кую железо, пока горячо. Не перебивайте человека, который кует железо, пока оно горячо, это неучтиво. Вот так!

— Вы заковали меня в цепи!..
— Совершенно верно.
— Что вы собираетесь сделать?
— Оставить вас здесь.
— Вы шутите.
— Весьма удачная шутка.
— Где мой двойник? Разве мы не увидим, как его убьют?
— Никакого двойника нет.
— Но как же *остальные*?!
— Остальные мертвы. Вы видели, как убивали живых людей. А двойники, роботы, стояли рядом и смотрели.

Гаррет молчал.

— Теперь вы обязаны воскликнуть: «Ради всего святого, Монрезор!» — сказал Стендаль. — А я отвечу: «Да, ради всего святого». Ну, что же вы? Давайте. *Говорите*.

— Болван!

— Что, я вас упрашивать должен? Говорите. Говорите: «Ради всего святого, Монрезор!»

— Не скажу, идиот. Выпустите меня отсюда. — Он уже протрезвел.

— Вот. Наденьте. — Стендаль сунул ему что-то, позванивающее бубенчиками.

— Что это?

— Колпак с бубенчиками. Наденьте его, и я, быть может, выпущу вас.

— Стендаль!

— Надевайте, говорят вам!

Гаррет послушался. Бубенчики тренькали.

— У вас нет такого чувства, что все это уже когда-то происходило? — справился Стендаль, берясь за лопатку, раствор, кирпичи.

— Что вы делаете?

— Замуровываю вас. Один ряд выложен. А вот и второй.

— Вы сошли с ума!

— Не стану спорить.

— Вас привлекут к ответственности за это!

Стендаль, напевая, постучал по кирпичу и положил его на влажный раствор.

Из тонущей во мраке ниши неслись стук, лязг, крики.

Стена росла.

— Лязгайте как следует, прощу вас, — сказал Стендаль. — Чтобы было сыграно на славу!

— Выпустите, выпустите меня!

Осталось уложить один, последний кирпич. Вопли не прекращались.

— Гаррет? — тихо позвал Стендаль.

Гаррет смолк.

— Гаррет, — продолжал Стендаль, — знаете почему я так поступил с вами? Потому что вы сожгли книги мистера По, даже не прочитав их как следует. Положились на слова других людей, что надо их сжечь. Иначе вы сразу, как только мы пришли сюда догадались бы, что я задумал. Неведение пагубно, мистер Гаррет.

Гаррет молчал.

— Все должно быть в точности, — сказал Стендаль, поднимая фонарь так, чтобы луч света проник в нишу и упал на поникшую фигуру. — Позвоните тихонько бубенчиками.

Бубенчики звякнули.

— А теперь, если вы изволите сказать «Ради всего святого, Монтрезор!», я, возможно, освобожу вас.

В луче света появилось лицо инспектора. Минута колебания, и вот прозвучали нелепые слова.

— Ради всего святого, Монтрезор.

Стендаль удовлетворенно вздохнул, закрыв глаза.

Вложил последний кирпич и плотно заделал его

— Requiescat in pace, дорогой друг.

Он быстро покинул катакомбы.

В полночь, с первым ударом часов, в семи залах дома все смолкло.

Появилась Красная Смерть.

Стендаль на миг задержался в дверях, еще раз все оглядел. Выбежал из Дома и поспешил через ров туда, где ждал вертолет.

— Готово, Пайкс?

— Готово.

Улыбаясь, они смотрели на величавое здание. Дом начал раскалываться посередине, точно от землетрясения, и, любуясь изумительной картиной, Стендаль услышал, как позади него Пайкс тихо и напевно декламирует:

— «...на моих глазах мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами Дома Эшеров».

Вертолет взлетел над бурлящим озером, взяв курс на запад.

Август 2005

Старые люди

И наконец — как и следовало ожидать — на Марс стали прибывать старые люди; они отправились по следу, проложенному громогласными пионерами, утонченными скептиками, профессиональными скитальцами романтическими проповедниками, искавшими свежей поживы.

Люди немощные и дряхлые, люди, которые только и делали, что слушали собственное сердце, щупали собственный пульс, беспрестанно глотали микстуру перекошенными ртами, люди, которые прежде в ноябре отправлялись в общем вагоне в Калифорнию, а в апреле на третьеклассном пароходе в Италию, эти живые мощи, эти сморчки тоже наконец появились на Марсе...

Сентябрь 2005

Марсианин

Устремленные вверх голубые пики терялись в завесе дождя, дождь поливал длинные каналы, и старик Лафарж вышел с женой из дома посмотреть.

— Первый дождь сезона, — заметил Лафарж.

— Чудесно... — вздохнула жена.

— Благодать!

Они затворили дверь. Вернувшись в комнаты, стали греть руки над углями в камине. Они зябко дрожали. Сквозь окно они видели вдали влажный блеск дождя на корпусе ракеты, которая доставила их сюда с Земли.

— Вот одно только... — произнес Лафарж, глядя на свои руки.

— Ты о чем? — спросила жена.

— Если бы мы могли взять с собой Тома...

— Лаф, ты опять!

— Нет, нет, прости меня, я не буду.

— Мы прилетели сюда, чтобы тихо, без тревог прожить свою старость, а не думать о Томе. Сколько лет прошло, как он умер, надо постараться забыть его и все, что было на Земле.

— Верно, верно, — сказал он и снова потянулся к теплу. Его глаза смотрели на огонь. — Я больше не заговорю об этом. Просто, ну... очень уж недостает мне наших поездок в Грин-Лон-Парк по воскресеньям, когда мы клали цветы на его могилу. Ведь мы больше никуда не выезжали...

Голубой дождь ласковыми струями поливал дом. В девять часов они легли спать; молча, рука в руке, лежали они, ему — пятьдесят пять, ей — шестьдесят, во мраке, наполненном шумом дождя.

— Энн, — тихо позвал он.

— Да? — откликнулась она.

— Ты ничего не слышала?

Они вместе прислушались к шуму ветра и дождя.

— Ничего, — сказала она.

— Кто-то свистел, — объяснил он.

— Нет, я не слышала.

— Пойду посмотрю на всякий случай.

Он надел халат и прошел через весь дом к наружной двери. Помедлив

в нерешительности, толчком отворил ее, и холодные капли дождя ударили по его лицу. Дул ветер.

У крыльца стояла маленькая фигура.

Молния распоролла небо, и мазок белого света выхватил из мрака лицо. Оно глядело на стоящего в дверях Лафаржа.

— Кто там? — крикнул старик, дрожа.

Молчание.

— Кто это? Что вам надо?

По-прежнему ни слова.

Он почувствовал страшную усталость, слабость, изнеможение.

— Кто ты такой? — крикнул Лафарж снова.

Жена подошла к нему сзади и взяла его за руку.

— Чего ты так кричишь?

— Какой-то мальчик стоит у крыльца и не хочет мне отвечать, — сказал старик, дрожа. — Он похож на Тома!

— Пойдем спать, тебе почудилось.

— Он и сейчас стоит, взгляни сама.

Лафарж отворил дверь шире, чтобы жене было видно. Холодный ветер, редкий дождь — и фигурка, глядящая на них задумчивыми глазами. Старая женщина прислонилась к притолоке.

— Уходи! — сказала она, отмахиваясь рукой. — Уходи!

— Скажешь, не похож на Тома? — спросил старик.

Фигурка не двигалась.

— Мне страшно, — произнесла женщина. — Запри дверь и пойдем спать. Не хочу, не хочу!..

И она ушла в спальню, причитая себе под нос. Старик стоял на ветру, и руки его стыли от студеной влаги.

— Том, — тихо сказал он — Том, на тот случай, если это ты, если это каким-то чудом ты, — я не стану запираеть дверь. Если ты озяб и захочешь войти погреться, входи и ложись подле камина, там есть меховой коврик.

И он прикрыл дверь, не заперев ее.

Жена услышала, как он ложится, и зябко поежилась.

— Ужасная ночь. Я чувствую себя такой старой. — Она всхлипнула.

— Ладно, ладно, — ласково успокаивал он ее, обнимая. — Спи.

Наконец она уснула.

И тут его настороженный слух тотчас уловил: наружная дверь медленно-медленно отворилась, впуская дождь и ветер, потом затворилась. Лафарж слышал легкие шаги возле камина и слабое дыхание. «Том», — сказал он сам себе.

Молния полыхнула в небе и расколола мрак на части.

Утром светило жаркое-жаркое солнце.

Лафарж распахнул дверь в гостиную и обвел ее быстрым взглядом.

На коврике никого не было.

Лафарж вздохнул.

— Стар становлюсь, — сказал он.

И он пошел к двери, чтобы спуститься к каналу за ведром прозрачной воды для умывания. На пороге он чуть не сбил с ног юного Тома, который шел уже с полным до краев ведром.

— Доброе утро, отец!

— Доброе утро, Том.

Старик посторонился. Подросток пробежал босиком через комнату, поставил ведро и обернулся, улыбаясь.

— Чудесный день сегодня!

— Да, хороший, — настороженно отозвался старик.

Мальчик держался как ни в чем не бывало. Он стал умываться принесенной водой. Старик шагнул вперед.

— Том, как ты сюда попал? Ты жив?

— А почему мне не быть живым? — Мальчик поднял глаза на отца.

— Но, Том... Грин-Лон-Парк, каждое воскресенье... цветы... и... — Лафарж вынужден был сесть. Сын подошел к нему, остановился и взял его руку. Старик ощутил пальцы — крепкие, теплые.

— Ты в самом деле здесь, это не сон?

— Разве вы *не хотите*, чтобы я был здесь? — Мальчик встревожился.

— Что ты, Том, конечно, хотим!

— Тогда зачем спрашивать? Пришел, и все тут.

— Но твоя мать, такая неожиданность...

— Не беспокойся, все будет хорошо. Ночью я пел вам обоим, это поможет вам принять меня, особенно ей. И знаю, как действует неожиданность. Погоди, она войдет, и убедишься сам.

И он рассмеялся, тряхнув шапкой кудрявых медно-рыжих волос. У него были очень голубые и ясные глаза.

— Доброе утро, Лаф и Том. — Мать вышла из дверей спальни, собирая волосы в пучок. — Правда, чудесный день?

Том повернулся к отцу, улыбаясь:

— Что я говорил?

Вместе, втроем, они замечательно позавтракали в тени за домом. Миссис Лафарж достала припрятанную впрок старую бутылку

подсолнухового вина, и все немножко выпили. Никогда еще Лафарж не видел свою жену такой веселой. Если у нее и было какое-то сомнение насчет Тома, то вслух она его не высказывала. Для нее все было в порядке вещей. И чем дальше, тем больше сам Лафарж проникался этим чувством.

Пока мать мыла посуду, он наклонился к сыну и тихонько спросил:

— Сколько же тебе лет теперь, сынок?

— Разве ты не знаешь, папа? Четырнадцать, конечно.

— А кто ты такой *на самом деле*? Ты не можешь быть Томом, но кем-то ты должен быть! Кто ты?

— Не надо. — Парнишка испуганно прикрыл лицо руками.

— Мне ты можешь сказать, — настаивал старик, — я пойму. Ты марсианин, наверно? Я тут слышал разные басни про марсиан, правда, толком никто ничего не знает. Вроде бы их совсем мало осталось, а когда они появляются среди нас, то в облике землян. Вот и ты, если приглядеться: будто бы и Том, и не Том...

— Зачем, зачем это?! Чем я вам не хорош? — закричал мальчик, спрятав лицо в ладонях. — Пожалуйста ну пожалуйста, не надо сомневаться во мне!

Он вскочил на ноги и ринулся прочь от стола.

— Том, вернись!

Но мальчик продолжал бежать вдоль канала к городу.

— Куда это он? — спросила Энн; она пришла за остальными тарелками.

Она посмотрела в лицо мужу.

— Ты что-нибудь сказал, напугал его?

— Энн, — заговорил он, беря ее за руку, — Энн, ты помнишь Грин-Лон-Парк, помнишь ярмарку и как Том заболел воспалением легких?

— Что ты *такое* говоришь? — Она рассмеялась.

— Так, ничего, — тихо ответил он.

Вдали, у канала, медленно оседала пыль, поднятая ногами бегущего Тома.

В пять часов вечера, на закате, Том возвратился. Он настороженно поглядел на отца.

— Ты опять начнешь меня расспрашивать?

— Никаких вопросов, — сказал Лафарж.

Блеснула белозубая улыбка.

— Вот это здорово.

— Где ты был?

— Возле города. Чуть не остался там. Меня чуть... — Он замялся,

подбирая нужное слово. — Я чуть не попал в западню.

— Что ты хочешь этим сказать — «в западню»?

— Там, возле канала есть маленький железный дом, и когда я шел мимо него, то меня чуть было не заставили... после этого я не смог бы вернуться сюда, к вам. Не знаю, как вам объяснить, нет таких слов, я не умею рассказать, я и сам не понимаю, это так странно, мне не хочется об этом говорить.

— И не надо. Иди-ка лучше умойся. Ужинать пора.

Мальчик побежал умываться.

А минут через десять на безмятежной глади канала показалась лодка, подгоняемая плавными толчками длинного шеста, который держал в руках долговязый худой человек с черными волосами.

— Добрый вечер, брат Лафарж, — сказал он, придерживая лодку.

— Добрый вечер, Саул, что слышно?

— Всякое. Ты ведь знаешь Номленда — того, что живет в жестяном сарайчике на канале?

Лафарж оцепенел.

— Знаю, ну и что?

— А какой он негодяй был, тоже знаешь?

— Говорили, будто он потому Землю покинул, что человека убил.

Саул оперся о влажный шест, внимательно глядя на Лафаржа.

— А помнишь фамилию человека, которого он убил?

— Гиллингс, кажется?

— Точно, Гиллингс. Ну так вот, часа этак два тому назад этот Номленд прибежал в город с криком, что видел Гиллингса — живьем, здесь, на Марсе, сегодня, только что! Просился в тюрьму, чтобы его спрятали туда от Гиллингса. Но в тюрьму его не пустили. Тогда Номленд пошел домой и двадцать минут назад — люди мне рассказали — пустил себе пулю в лоб. Я как раз оттуда.

— Ну и ну, — сказал Лафарж.

— Вот какие дела-то бывают! — подхватил Саул. — Ладно, Лафарж, пока, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Лодка заскользила дальше по тихой глади канала.

— Ужин на столе, — крикнула миссис Лафарж.

Мистер Лафарж сел на свое место и, взяв нож, поглядел через стол на Тома.

— Том, — сказал он, — ты что делал сегодня вечером?

— Ничего, — ответил Том с полным ртом. — А что?

— Да нет, я так просто. — Старик засунул уголок салфетки за ворот сорочки.

В семь часов вечера миссис Лафарж собралась в город.

— Уж который месяц не была там, — сказала она.

Том отказался идти.

— Я боюсь города, — объявил он. — Боюсь людей. Мне не хочется.

— Большой парень — и такие разговоры! — настаивала Энн. — Слушать не хочу. Пойдешь с нами. Я так решила.

— Но, Энн, если мальчику не хочется... — вступился старик.

Однако миссис Лафарж была неумолима. Она чуть не силой втащила их в лодку, и все вместе отправились в путь по каналу под вечерними звездами. Том лежал на спине, закрыв глаза, и никто не сказал бы, спит он или нет. Старик пристально глядел на него, размышляя. «Кто же это, — думал он, — что за создание, жаждущее любви не меньше нас? Кто он и что он — пришел, спасаясь от одиночества, в круг чуждых ему существ, приняв голос и облик людей, которые жили только в нашей памяти, чтобы остаться среди нас и обрести наконец свое счастье в нашем признании? С какой он горы, из какой пещеры, отпрыск какого народа, еще населявшего этот мир, когда прилетели ракеты с Земли?» Лафарж покачал головой. Этого не узнать. А так, с какой стороны ни посмотри — он Том, и все тут.

Старик перевел взгляд на приближающийся город и почувствовал неприязнь к нему. Но затем он опять стал думать о Томе и Энн и сказал себе: «Может быть, и неправильно это — оставить у себя Тома, хоть ненадолго, если все равно не выйдет ничего, кроме беды и горя... Но как отказаться от того, о чем мы так мечтали, пусть это всего на один день, и он потом исчезнет, и пустота станет еще невыносимей, темные ночи — еще темней, дождливые ночи — еще сырей... Лишать нас этого — все равно что попытаться вырвать у нас кусок изо рта...»

И он поглядел на парнишку, который так безмятежно дремал на дне лодки. Тот всхлипнул; верно, что-то приснилось.

— Люди, — бормотал Том во сне. — Меняюсь и меняюсь... Капкан...

— Полно, полно, парень. — Лафарж погладил его мягкие кудри, и Том успокоился.

Лафарж помог жене и сыну выйти из лодки на берег.

— Ну, вот и приехали! — Энн улыбнулась ярким огням, слушая музыку из таверн, звуки пианино и патефонов, любуясь парочками, которые гуляли под руку по оживленным улицам.

— Лучше бы я остался дома, — сказал Том.

— Прежде ты так не говорил, — возразила мать. — Тебе всегда нравилось в субботу вечером поехать в город.

— Держитесь ко мне поближе, — прошептал Том. — Я не хочу, чтоб меня поймали.

Энн услышала эти слова.

— Что ты там болтаешь, пошли!

Лафарж заметил, что пальцы мальчика льнут к его ладони, и крепко стиснул их.

— Я с тобой, Томми. — Он поглядел на снующую мимо толпу, и ему тоже стало не по себе. — Мы не будем задерживаться долго.

— Вздор, — вмещалась Энн. — Мы на весь вечер приехали.

Переходя улицу, они наткнулись на тройку пьяных. Их затолкали, закрутили, оторвали друг от друга; оглядевшись, Лафарж окаменел.

Тома не было.

— Где он? — сердито спросила Энн. — Что за манера — чуть что, куда-то удирать от родителей! Том!!

Мистер Лафарж бегал кругом, расталкивая прохожих, но Тома нигде не было.

— Вернется, вот увидишь, будет ждать возле лодки, когда мы поедem домой, — уверенно произнесла Энн, увлекая мужа по направлению к кинотеатру.

Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство, и мимо Лафаржа пробежали двое — мужчина и женщина. Он узнал их: Джо Сполдинг с женой. Они исчезли прежде, чем Лафарж успел заговорить с ними.

Встревоженно озираясь, он купил билеты и безропотно потащился за женой в постылую темноту кинозала.

В одиннадцать часов Тома у причала не было.

— Ничего, мать, — сказал Лафарж, — ты только не волнуйся. Я найду его. Подожди здесь.

— Поскорее возвращайтесь.

Ее голос утонул в плеске воды.

Он шел по ночным улицам, сунув руки в карманы. Один за другим гасли огни. Кое-где из окон еще высывались люди — ночь была теплая, хотя в небе все еще плыли среди звезд обрывки грозовых туч. Лафарж вспомнил, как мальчик постоянно твердил что-то насчет западни, как он боялся толпы, городов. «Что за нелепость, — устало подумал старик. — Наверно, парень ушел навсегда. А может, его и вовсе не было...» Лафарж

свернул в переулок, скользя взглядом по номерам домов.

— Это ты, Лафарж?

На крыльце, куря трубку, сидел мужчина.

— Привет, Майк.

— Что, повздорил с хозяйкой? Вышел проветриться, нервы успокоить?

— Да нет, просто гуляю.

— У тебя такой вид, словно ты что-то ищешь. Да, к слову о находках. Ведь сегодня вечером кое-кто нашелся. Джо Спеллинга знаешь? Помнишь его дочь, Лавинию?

— Помню, — Лафарж похолодел. Это было как сон, который снится во второй раз. Он в точности знал, что будет сказано дальше.

— Лавиния вернулась домой сегодня вечером, — сказал Майк, выпуская дым. — Помнишь, она с месяц назад заблудилась на дне мертвого моря? Потом нашли тело, вроде бы ее, да очень уж изуродовано было... С тех пор Спеллинги были словно не в себе. Джо ходил и все твердил, что она жива, не ее это тело. И вот выходит, он был прав. Сегодня Лавиния объявилась.

— Где? — Лафаржу стало трудно дышать, сердце отчаянно заколотилось.

— На Главной улице. Спеллинги как раз покупали билеты в кино. Вдруг видят в толпе Лавинию. Вот сцена была, воображаю! Сперва-то она их не узнала. Они квартала три шли за ней, все говорили, говорили. Наконец она вспомнила.

— И ты ее видел?

— Нет, но я слышал ее голос. Помнишь, она любила петь «Чудный берег Ломондского озера»? Ну так вот, я только что слышал, как она эту песню отцу пела, вон их дом. Так она пела — заслушаешься! Славная девочка. Я как узнал, что она погибла, — вот ведь беда, подумал, вот несчастье. А теперь вернулась, и так на душе хорошо. Э, да тебе вроде нездоровится. Зайди-ка, глотни виски!

— Спасибо, Майк, не хочу. — Старик побрел прочь.

Он слышал, как Майк пожелал ему доброй ночи, но не ответил, а устремил взгляд на двухэтажный дом, высокую хрустальную крышу которого устлали пышные кисти алых марсианских цветов. Над садом навис балкон с витой железной решеткой, в окнах второго этажа горел свет. Было очень поздно, но он все-таки подумал:

«Что будет с Энн, если я не приведу Тома? Новый удар — снова смерть, — как она это перенесет? Вспомнит первую смерть?.. И весь этот сон наяву? И это внезапное исчезновение? Господи, я должен найти Тома,

ради Энн! Бедняжка Энн, она ждет его на пристани...»

Он поднял голову. Где-то наверху голоса желали доброй ночи другим ласковым голосам, хлопали двери, гас свет, и все время слышалась негромкая песня. Мгновение спустя на балкон вышла прехорошенькая девушка лет восемнадцати.

Лафарж окликнул ее, преодолевая голосом сильный ветер.

Девушка обернулась, глянула вниз.

— Кто там? — крикнула она.

— Это я, — сказал старик и, сообразив, как странно, нелепо ответил ей, осекся, только губы продолжали беззвучно шевелиться.

Крикнуть: «Том, сынок, это твой отец»? Как заговорить с ней? Она ведь примет его за сумасшедшего и позовет родителей.

Девушка перегнулась через перила в холодном, неверном свете.

— Я вас знаю, — мягко ответила она. — Пожалуйста, уходите, вы тут ничего не можете поделать.

— Ты должен вернуться! — Слова сами вырвались у Лафаржа, прежде чем он смог их удержать.

Освещенная луной фигурка наверху отступила в тень и пропала, только голос остался.

— Теперь я больше не твой сын, — сказал голос. — Зачем только мы поехали в город...

— Энн ждет на пристани!

— Простите меня, — ответил тихий голос. — Но что я могу поделать? Я счастлива здесь, меня любят — как любили вы. Я то, что я есть, беру то, что дается. Поздно: они взяли меня в плен.

— Но подумай об Энн, какой это будет удар для нее...

— Мысли в этом доме чересчур сильны, я словно в заточении. Я не могу перемениться сама.

— Но ведь ты же Том, это ты была Томом, верно? Или ты издеваешься над стариком — может быть, на самом деле ты Лавиния Сполдинг?

— Я ни то, ни другое, я только я. Но везде, куда я попадаю, я еще и нечто другое, и сейчас вы не в силах изменить этого нечто.

— Тебе опасно оставаться в городе. У нас на канале лучше, там никто тебя не обидит, — умолял старик.

— Верно... — Голос звучал нерешительно. — Но теперь я обязана считаться с этими людьми. Что будет с ними, если утром окажется, что я снова исчезла — уже навсегда? Правда, мама-то знает, кто я, — догадалась, как и вы. Мне кажется, они все догадались, только не хотят спрашивать. Провидению не задают вопросов. Если действительность недоступна, чем

плоха тогда мечта? Пусть я не та, которую они потеряли, для них я даже нечто лучшее — идеал, созданный их мечтой. Передо мной теперь стоит выбор: либо причинить боль им, либо вашей жене.

— У них большая семья, их пятеро. Им легче перенести утрату!

— Прощу вас, — голос дрогнул, — я устала.

Голос старика стал тверже

— Ты должен пойти со мной. Я не могу снова подвергать Энн такому испытанию. Ты наш сын. Ты мой сын, ты принадлежишь нам.

— Не надо, пожалуйста! — Тень на балконе трепетала.

— Тебя ничто не связывает с этим домом и его обитателями!

— О, что вы делаете со мной!

— Том, Том, сынок, послушай меня. Вернись к нам скорей, ну, спустись по этим лианам. Пошли, Энн ждет, у тебя будет настоящий дом, все, чего ты захочешь.

Лафарж не отрывал пристального взгляда от балкона, желая, желая, чтобы свершилось...

Тени колыхались, шелестели лианы.

Наконец тихий голос произнес:

— Хорошо, отец.

— Том!

В свете луны вниз по лианам скользнула юркая мальчишеская фигурка. Лафарж поднял руки — принять ее. В окнах вверху вспыхнуло электричество. Чей-то голос вырвался из-за узорной решетки.

— Кто там?

— Живей, парень!

Еще свет, еще голоса.

— Стой, я буду стрелять! Винни, ты цела?

Топот спешащих ног...

Старик и мальчик пустились бежать через сад. Раздался выстрел. Пуля ударила в стену возле самой калитки.

— Том, ты — в ту сторону! Я побегу сюда, запутаю их. Беги к каналу, через десять минут встретимся там! Давай!

Они побежали в разные стороны.

Луна скрылась за тучей. Старик бежал в полной темноте.

— Энн, я здесь!

Она, дрожа, помогла ему спуститься в лодку.

— Где Том?

— Сейчас прибежит.

Они смотрели на тесные улочки и спящий город. Еще появлялись

запоздалые прохожие: полицейский, ночной сторож, пилот ракеты, одинокие мужчины, идущие домой после ночного свидания, четверо мужчин и женщин, которые, смеясь, вышли из бара... Где-то приглушенно звучала музыка.

— Почему его нет? — спросила мать.

— Сейчас, сейчас.

Но Лафарж уже не был уверен. Что, если парнишку опять перехватили — где-то, каким-то образом — пока он спешил к пристани, бежал полуночными улицами между темных домов? Конечно, бежать было далеко, даже для мальчика, но все-таки Том должен был поспеть раньше его...

Вдруг вдали, на залитой лунным светом улице, показалась бегущая фигурка.

Лафарж вскрикнул, но тотчас заставил себя замолчать: оттуда же, издали, доносились другие голоса, топот других ног. В окнах, словно по цепочке, вспыхнули огни. Одинокая фигурка вырвалась на широкую площадь перед причалом. Это был не Том, а просто бегущее существо с серебристым лицом, которое блестело, переливалось, освещенное многочисленными шарами фонарей. Но чем ближе подбегало оно, тем все более знакомым становилось, и когда фигурка достигла причала, это был уже Том! Энн всплеснула руками, Лафарж поспешно отчалил. Но было уже поздно.

Потому что из улицы на безмолвную площадь выбежал мужчина... еще один... женщина, еще двое мужчин, мистер Спеллинг. Они остановились в замешательстве. Они озирались по сторонам, и им хотелось вернуться домой: ведь это... это был явный кошмар, безумие какое-то, ну конечно! И, однако же, они продолжали погоню, поминутно останавливаясь в нерешительности и вновь припускаясь бежать.

Да, было уже поздно. Пришел конец этому необычному вечеру, необычному событию. Лафарж крутил в руках чалку. Ему было очень холодно и одиноко. В лунном свете было видно, как бежали, спешили люди, выпучив глаза, торопливо скидывая ноги, и вот уже все они, вся десятка, стоят у причала. Они яростно уставились на лодку. Они кричали.

— Ни с места, Лафарж! — Спеллинг держал в руке пистолет.

Теперь было ясно, что произошло... Том один, обгоняя прохожих, мчится по освещенным луной улицам. Полицейский замечает промелькнувшую фигуру. Круто обернувшись, всматривается в лицо, кричит какое-то имя, бросается вдогонку. «Эй, стой!» Он увидел известного преступника. И так всю дорогу, кто бы ни встретился. Мужчина

ли, женщина, ночной сторож или пилот ракеты — для каждого бегущая фигура была кем угодно. В ней воплощались для них любой знакомый, любой образ, любое имя... Сколько разных имен было произнесено за последние пять минут!.. Сколько лиц угадано в лице Тома — и все ложно!

Вдоль всего пути — преследуемый и преследователи, мечта и мечтатели, дичь и — псы. Вдоль всего пути: нежданное открытие, блеск знакомых глаз, выкрик полузабытого имени, воспоминания о давних временах — и растет, растет толпа, бегущая по его следам. Каждый срывался с места и спешил вдогонку, едва проносилось мимо — словно лик, отраженный десятком тысяч зеркал, десятком тысяч глаз, — бегущее видение, лицо, одно для тех, кто впереди, иное для тех, кто позади, и другое, новое, для тех, кто еще попадетсся ему на пути, кто еще не видел.

И вот они все здесь, у лодки, и каждый хочет один завладеть мечтой, — как мы хотим, чтобы это был только Том, ни Лавиния, ни Роджер, ни кто-либо еще, подумал Лафарж. Но теперь этому не бывать. Слишком далеко все зашло.

— Выходите из лодки, ну! — скомандовал Сполдинг.

Том поднялся на пристань. Сполдинг схватил его за руку.

— Ты пойдешь к нам домой. Я все знаю.

— Стой, — вмешался полицейский, — он арестован!

Его фамилия Декстер, разыскивается за убийство.

— Нет, нет! — всхлипнула женщина. — Это мой муж! Что уж, я своего мужа не знаю?!

Другие голоса твердили свое. Толпа напирала. Миссис Лафарж заслонила собой Тома.

— Это мой сын, у вас нет никакого права обвинять его в чем-либо! Нам надо ехать домой!

А Тома безостановочно била дрожь. Он выглядел тяжелобольным. Толпа все напирала, протягивая нетерпеливые руки, ловя его, хватая.

Том закричал.

Он менялся на глазах у всех. Это был Том, и Джеймс, и человек по фамилии Свичмен, и другой, по фамилии Баттерфилд; это был мэр города, и девушка по имени Юдифь, и муж Уильям, и жена Кларисса. Он был словно мягкий воск, послушный их воображению. Они орали, наступали, зывали к нему. Он тоже кричал, простирая к ним руки, и каждый призыв заставлял его лицо преображаться.

— Том! — звал Лафарж.

— Алиса! — звучал новый зов.

— Уильям!

Они хватали его за руки, тянули к себе, пока он не упал, испустив последний крик ужаса.

Он лежал на камнях — застывал расплавленный воск, и его лицо было как все лица, один глаз голубой, другой золотистый, волосы каштановые, рыжие, русые, черные, одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука большая, другая маленькая.

Они стояли над ним, прижав палец к губам. Они наклонились.

— Он умер, — сказал кто-то наконец.

Пошел дождь.

Капли падали на людей, и люди посмотрели на небо.

Они отвернулись и сперва медленно, потом все быстрее пошли прочь, а потом бросились бежать в разные стороны. Только мистер и миссис Лафарж, объятые ужасом, стояли на месте, держась за руки, и глядели на него.

Дождь поливал обращенное вверх лицо, в котором не осталось ни одной знакомой черты. Энн молча начала плакать.

— Поехали домой, Энн, тут уж ничего не поделаешь, — сказал старик.

Они спустились в лодку и заскользили в мраке по каналу. Они вошли в свой дом, и развели огонь в камине, и согрели над ним руки. Они пошли спать и лежали вместе, продрогшие, изможденные, слушая, как снова стучит по крыше дождь.

— Тсс, — вдруг произнес Лафарж среди ночи. — Ты ничего не слышала?

— Нет, ничего...

— Я все-таки погляжу.

Он пересек на ощупь темную комнату и долго стоял возле наружной двери, прежде чем отворить.

Наконец распахнул ее настежь и выглянул наружу.

Дождь с черного неба поливал пустой двор, поливал канал, поливал склоны синих гор.

Он подождал минут пять, потом мокрыми руками медленно затворил дверь и задвинул засов.

Ноябрь 2005

«Дорожные товары»

Уж очень далекой она показалась, эта новость, которую владелец магазина дорожных товаров услышал вечером по радио, когда модулированный световой луч принес последние известия с Земли. Просто непостижимо.

На Земле назревала война.

Он вышел и посмотрел на небо.

Вот она. Земля, на вечернем небосводе, догоняет закатившееся за горы солнце. Эта зеленая звезда и есть то, о чем говорило радио.

— Не могу поверить, — сказал лавочник.

— Это потому, что вы не там, — заметил отец Перегрин, он подошел поздороваться.

— Как это понять, святой отец?

— Вот так же было, когда я был мальчишкой, — сказал отец Перегрин. — Мы слышали о войнах в Китае. Но нам не верилось. Это было слишком далеко. И слишком много людей там погибало. Невозможно себе представить. Даже когда мы смотрели фильмы оттуда, нам не верилось. Так и теперь. Земля — тот же Китай. Слишком далеко, вот и не верится. Это не здесь, не у нас. Не то что пощупать, даже разглядеть нельзя. Зеленый огонек — вот все, что мы видим. И на этом зеленом огоньке живет два миллиарда людей? Невероятно! Война? Но мы не слышим взрывов.

— Услышим, — сказал лавочник. — Я вот все думаю о тех людях, которые должны прилететь сюда на этой неделе. Как там передавали про них? В течение ближайшего месяца на Марс прибудет около ста тысяч человек — так, кажется. Что с ними будет, если начнется война?

— Повернут назад, наверно.

— Н-да, — сказал лавочник. — Ладно, пойду-ка я сотру пыль с чемоданов. Того и гляди покупатели нагрянут.

— Думаете, если это *та* Большая война, которой мы ждали много лет, все захотят вернуться на Землю?

— Вот именно, святой отец: как это ни странно, я думаю, мы все захотим вернуться. Конечно, мы прилетели сюда, спасаясь от политики, от атомной бомбы, войны, влиятельных клик, предрассудков, законов. Все это мне известно. Но родина-то все-таки там. Вот увидите. Как только на

Америку упадет первая бомба, здешний народ призадумается. Слишком мало они тут прожили — каких-нибудь два года. Если бы лет сорок, тогда другое дело, а сейчас ведь у них на Земле родня, города, в которых они выросли. Я-то, можно сказать, в Землю даже не верю, для меня она как бы и не существует. Но я старик, от меня все равно никакого проку. Я могу и тут остаться.

— Вряд ли.

— Пожалуй, что вы правы.

Они стояли на террасе, глядя на звезды. Потом отец Перегрин достал из кармана деньги и подал их хозяину магазина.

— Кстати, подберите-ка мне чемодан. А то мой старый очень уж истрепался...

Ноябрь 2005

Мертвый сезон

Сэм Паркхилл лихо махал метлой, выметая голубой марсианский песок.

— Вот и все! — сказал он. — Прощу, сэр, полюбуйтесь! — Он показал рукой. — Взгляните на вывеску «ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ СЭМА»! Красота — правда, Эльма?

— Правда, Сэм, — подтвердила его супруга.

— Во, куда я махнул! Увидели бы меня теперь ребята из Четвертой экспедиции. Слава богу, свое дело завел, а они все еще солдатскую лямку тянут. Мы будем тысячи загребать, Эльма, тысячи!

Жена смотрела на него и молчала.

— Куда девался капитан Уайлдер? — спросила она наконец. — Твой начальник, который убил этого типа, ну, что задумал всех землян перебить — как его фамилия?..

— Этого психа-то? Спендер. Чистоплюй проклятый. Да, насчет капитана Уайлдера... На Юпитер полетел, говорят. С повышением, так сказать. Сдается мне, Марс и ему тоже в голову ударил. Раздражительный больно стал, не дай бог. Лет через двадцать вернется с Юпитера и Плутона, если повезет. Будет знать, как трепать языком. Вот так-то — он там от мороза сдыхает, а я тут, смотри, что наворочал! Местечко-то какое!

Два заброшенных шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из вздувшегося заклепками алюминия сооружение, залитое ослепительным белым светом и дрожащее от рева автомата-радиолы.

Он нагнулся, чтобы поправить окаймляющий дорожку бордюр из битого стекла. Стекло он выломал в старинных марсианских зданиях в горах.

— Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе! Лук, перец, горчица — все лучшего качества! Что-то, а растяпой меня не назовешь! Вот вам две магистрали, вон мертвый город, а вон там рудники. Грузовики из 101 Сеттльмента будут идти мимо нас двадцать четыре часа в сутки. Скажешь, плохое я место выбрал?

Жена разглядывала свои ногти.

— Ты думаешь, эти десять тысяч новых ракет с рабочими прилетят на Марс? — сказала она наконец.

— Не пройдет и месяца, — уверенно ответил он. — Чего ты кривишься?

— Не очень-то я полагаюсь на эту публику, там, на Земле, — ответила она. — Вот когда сама увижу десять тысяч ракет и сто тысяч мексиканцев и китайцев, тогда и поверю.

— Покупателей, — он посмаковал это слово. — Сто тысяч голодных клиентов!

— Только бы не было атомной войны, — медленно произнесла жена, глядя на небо. — Эти атомные бомбы мне покою не дают. Их уже столько накопилось на Земле, всякое может случиться.

Сэм только фыркнул в ответ и продолжал подметать. Уголком глаза он уловил голубое мерцание. Что-то бесшумно парило в воздухе за его спиной. Он услышал голос жены:

— Сэм, тут к тебе приятель явился.

Сэм повернулся и увидел качающуюся на ветру маску.

— Опять пришел! — Сэм взял метлу наперевес.

Маска кивнула. Она была сделана из голубоватого стекла и венчала тонкую шею, ниже которой развевалось одеяние из тончайшего желтого шелка. Из шелка торчали две серебряные руки, прозрачные, как сетка. На месте рта у маски была узкая прорезь, из нее вырывались мелодичные звуки, а руки, маска, одежда то всплывали вверх, то опускались.

— Мистер Паркхилл, я опять пришел поговорить с вами, — произнес голос из-под маски.

— Тебе же сказано, чтобы духу твоего здесь не было! — гаркнул Сэм. — Убирайся, не то Болезнь напуцует!

— У меня уже была Болезнь, — ответил голос. — Я один из немногих, кто выжил. Я очень долго болел.

— Убирайся в свои горы и сиди там, где тебе положено. Чего ты сюда ходишь, пристаешь ко мне. Ни с того ни с сего. Да еще по два раза на день.

— Мы не причиним вам зла.

— Зато я вам причиню! — сказал Сэм, пятась. — Я иностранцев не люблю. И марсиан не люблю. До сих пор ни одного не видел. Вообще чертовщина какая-то! Столько лет сидели где-то, прятались, и вдруг, на тебе, я им понадобился. Оставьте меня в покое.

— У нас к вам важное дело, — сказала голубая маска.

— Если это насчет участка, то он мой. Я построил сосисочную собственными руками.

— В известном смысле да, по поводу участка.

— Ну вот что, послушай-ка меня, — ответил Сэм. — Я сам из Нью-

Йорка. Это огромный город; там еще десять миллионов таких, как я. А вас, марсиан, всего дюжина-другая осталась. Городов у вас нет, бродите по горам, ни властей, ни законов, и ты еще начинаешь мне про участок толковать. Заруби себе на носу: старое должно уступать место новому. Лучше разойдемся полюбовно. При мне пистолет, вот он. Нынче утром, как ты ушел, я сразу его достал и зарядил.

— Мы, марсиане — телепаты, — сказала бесстрастная голубая маска. — У нас есть связь с одним из ваших городов по ту сторону мертвого моря. Вы сегодня слушали радио?

— Мой приемник скис.

— Значит, вам ничего неизвестно. Очень важные новости. Это касается Земли.

Серебряная рука сделала движение, и в ней появилась бронзовая трубка.

— Позвольте показать вам вот это.

— Пистолет! — вскричал Сэм Паркхилл.

Выхватив из кобуры свой пистолет, он открыл огонь по туманному силуэту, по одеждам, по голубой маске.

Маска на миг застыла в воздухе. Потом шелк зашуршал и мягко, складка за складкой, опал, будто крохотный цирковой шатер, у которого выбили стойки, серебряные руки тренькнули о мощеную дорожку, и маска накрыла безгласную маленькую кучку белых костей и ткани.

У Сэма перехватило дыхание.

Его жена, пошатываясь, стояла над останками марсианина.

— Это не оружие, — сказала она, нагибаясь и поднимая бронзовую трубку. — Это, видно, письмо. Он его хотел показать тебе. Оно написано какой-то змеиной азбукой, видишь — все одни голубые змеи. Не умею читать эти знаки. А ты?

— Нет. Что в них проку-то было, в этих марсианских пиктограммах? Брось ее! — Он воровато оглянулся по сторонам. — Ну, как другие еще нагрянут! Надо убрать его с глаз долой. Неси-ка лопату!

— Что ты собираешься делать?

— Закопать его, что же еще?

— Не надо было убивать его.

— Ну, ошибся, подумаешь. Пошевеливайся!

Она молча принесла ему лопату.

К восьми часам Сэм Паркхилл вернулся и принялся виновато мести площадку перед сосисочной. Жена стояла в залитых светом дверях, сложив руки на груди.

— Жаль, конечно, что так получилось, — сказал он. Поглядел на жену, отвел глаза в сторону. — Сама видела, это случайно вышло, стечение обстоятельств.

— Да, — сказала жена.

— Меня такое зло взяло, когда он достал оружие.

— Какое оружие?

— Ну, мне показалось, что оружие! Я сожалею, сожалею! Сколько раз еще надо повторять!

— Тсс, — произнесла Эльма, поднося палец к губам. — Тсс.

— А мне наплевать, — сказал он. — Я не один — вся компания «Сеттльменты землян, инкорпорейтед» вступится, если что! — Он презрительно фыркнул. — Да эти марсиане и не посмеют...

— Смотри, — перебила его Эльма.

Сэм поглядел в сторону сухого моря. Он выронил из рук метлу, потом поднял ее; рот его был разинут, и крохотная капелька слюны сорвалась с губы и улетела по ветру. Его вдруг кинуло в дрожь.

— Эльма, Эльма, Эльма! — вырвалось у него.

— Вот они и пришли, — сказала Эльма.

По дну древнего моря, словно голубые призраки, голубые дымки, скользили десять-двенадцать высоких марсианских песчаных кораблей под голубыми парусами.

— Песчаные корабли! Но ведь их уже нет, Эльма, их не осталось.

— И все-таки это, похоже, их корабли, — сказала она.

— Как же так? Власти же их конфисковали! И все разломали, только несколько штук продали с аукциона! Во всей нашей округе я один купил эту посудину и знаю, как ее водить!

— Не осталось... — повторила она, кивая в сторону моря.

— Живо, нам надо убраться отсюда!

— Почему? — протяжно спросила она, замороженно глядя на марсианские корабли.

— Они убьют меня! В машину, скорей!

Эльма не двигалась с места.

Ему пришлось силой увести ее за сосисочную. Здесь стояли две машины: грузовик, на котором он постоянно разъезжал до недавнего времени, и старый марсианский песчаный корабль, который он потехи ради выторговал на аукционе. Последние три недели он возил на нем всякие грузы из-за моря, по гладкому дну. Только взглянув на грузовик, он вспомнил. Мотор лежал на земле — он уже два дня возился с его ремонтом.

— Грузовик вроде не на ходу, — заметила Эльма.

— Песчаный корабль! Садись скорей!

— Чтобы ты вез меня на этом корабле? О, нет.

— Садись! Я умею!

Он втолкнул ее, вскочил следом и дернул руль, подставляя кобальтовый парус вечернему бризу.

Под яркими звездами голубые марсианские корабли стремительно скользили по шуршащим пескам. Корабль Сэма не двигался с места, пока он не вспомнил про якорь и не рванул его.

— Есть!

И сильный ветер помчал песчаный корабль по дну мертвого моря, над поглощенными песком глыбами хрусталя, мимо поваленных колонн, мимо заброшенных пристаней из мрамора и меди, мимо белых шахматных фигурок мертвых городов, мимо пурпурных предгорий и дальше, дальше... Очертания марсианских кораблей становились все меньше, пока они не помчались за Сэмом.

— Лихо я им нос утер! — крикнул Сэм. — А сейчас я заявлю в «Ракетную компанию», и мне дадут охрану. Скажи, что у меня не варит котелок!

— Они могли задержать тебя, если бы захотели, — устало ответила Эльма. — Просто им это не очень нужно.

Он засмеялся.

— Брось! С чего это им отпускать меня? Не догнали, вот и все!

— Не догнали? — Эльма кивком головы указала за его спину.

Сэм не обернулся. Его обдало холодом. Он боялся оглянуться. Он ощутил нечто там, на сиденье, за своей спиной, нечто эфемерное, как дыхание человека студеным утром, и голубое, словно плывущий в сумерках дым над горячими чурками гикори, нечто подобное старинным белым кружевам и летучему снегу, напоминающее иней на хрупком камыше.

Послышался звук, будто разбилось тонкое стекло: смех. И снова молчание. Он обернулся.

На корме, близ руля, спокойно сидела молодая женщина. Кисти рук тонкие, как сосульки, глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер овеивал ее, и она колыхалась, совсем как отражение на воде, к складки шелка, как струи голубого дождя, порхали вокруг ее хрупкого тела.

— Поверните назад, — сказала она.

— Нет. — Сэма трясло мелкой трусливой дрожью, он дрожал, словно шершень, висящий в воздухе, он колебался на грани между страхом и

злостью. — Прочь с моего корабля!

— Это не ваш корабль, — ответило видение. — Он такой же древний, как наш мир. Он ходил по пескам еще десять тысяч лет назад, когда моря улетучились и пристани опустели, а вы, пришельцы, похитили его, забрали себе. Но поверните же и возвратитесь к перекрестку. Нам нужно поговорить с вами. Произошло нечто очень важное.

— Прочь с моего корабля! — сказал Сэм. Кожаная кобура скрипнула, когда он вытащил пистолет. Он тщательно прицелился. — Прыгай, считаю до трех...

— Не надо! — вскричала девушка. — Я вам ничего дурного не сделаю. И другие тоже. Мы пришли с миром!

— Раз, — молвил Сэм.

— Сэм, — сказала Эльма.

— Выслушайте меня, — просила девушка.

— Два, — жестко произнес Сэм, взводя курок.

— Сэм! — крикнула Эльма.

— Три, — сказал Сэм.

— Мы только... — начала девушка.

Пистолет выстрелил.

В лучах солнца тает снег, кристаллики превращаются в пар, в ничто. В пламени очага пляшут и пропадают химеры. В кратере вулкана распадается, исчезает все хрупкое и непрочное. От выстрела, от огня, от удара девушка спалась, как легкий газовый шарф, растаяла, будто ледяная статуэтка. А все, что от нее осталось — льдинки, снежинки, дым, — унесло ветром. Кормовое сиденье опустело.

Сэм убрал пистолет в кобуру, избегая глядеть на жену.

Целую минуту слышен был лишь шелестящий бег корабля по песчаному морю, залитому лунным сиянием.

— Сэм, — сказала она наконец, — останови корабль.

Он обратил к ней бледное лицо.

— Нет, не бывать этому. После стольких лет ты меня не бросишь.

Она посмотрела на его руку, лежащую на рукоятке пистолета.

— Что ж, я верю, ты способен, — сказала она. — От тебя этого можно ждать.

Он замотал головой, сжимая пальцами руль.

— Эльма, не дури. Сейчас мы приедем в город и будем в безопасности!

— Да-да, — ответила его жена, безучастно откинувшись на спину.

— Эльма, выслушай меня.

— Тебе нечего сказать, Сэм.

— Эльма!

Они пронеслись мимо белого шахматного городка, и, одержимый бессильной яростью, Сэм выпустил одну за другой шесть пуль по хрустальным башням. Под грохот выстрелов город рассыпался ливнем старинного стекла и обломков кварца. Разбился вдребезги, растворился, будто он был вырезан из мыла. Города не стало. Сэм рассмеялся и выстрелил еще раз. Последняя башня, последняя шахматная фигурка загорелась, вспыхнула и взлетела голубыми черепками к звездам.

— Я им покажу! Я всем покажу!

— Давай, давай, Сэм, показывай. — Глухая тень скрывала ее лицо.

— А вот еще город! — Сэм снова зарядил пистолет. — Погляди, как я с ним расправлюсь!

А сзади стремительно надвигались, неумолимо выростали контуры голубых кораблей-призраков. Сначала он даже не увидел их, только услышал свист и завывающую высокую ноту, будто сталь скрипела по песку: это бритвенно-острые носы песчаных кораблей резали поверхность морского дна. На голубых кораблях под красными и голубыми вымпелами стояли синие фигуры, люди в масках, люди с серебристыми лицами, с голубыми звездами вместо глаз, с лепными ушами из золота, отливающими металлом щеками и рубиновыми губами.

Они стояли, скрестив руки на груди. Это были марсиане, и они преследовали его.

Раз, два, три... Сэм считал. Марсианские корабли подошли вплотную к нему.

— Эльма, Эльма, я не отобьюсь от всех!

Эльма не ответила, даже не пошевелилась.

Сэм выстрелил восемь раз. Один песчаный корабль развалился на части, распались паруса, изумрудный корпус, его бронзовая оковка, лунно-белый руль и остальные образы. Люди в масках, все до одного, упали с корабля, зарылись в песок, и над каждым из них вспыхнуло пламя, сначала оранжевое, потом подернутое копотью.

Но остальные корабли продолжали приближаться.

— Их слишком много, Эльма! — вскричал он. — Они меня убьют!

Он выбросил якорь. Без толку. Парус порхнул вниз, ложась в складки, вздыхая. Корабль, ветер, движение — все остановилось. Казалось, весь Марс замер, когда величественные суда марсиан, окружив Сэма, вздыбились над ним.

— Землянин, — воззвал голос откуда-то с высоты. Одна из

серебристых масок шевелилась, рубиновые губы поблескивали в такт словам.

— Я ничего не сделал! — Сэм смотрел на окружавшие его лица — их было не меньше ста.

На Марсе осталось очень мало марсиан — всего не больше ста — ста пятидесяти. И почти все они были здесь, на дне мертвого моря, на своих воскрешенных кораблях, возле вымерших шахматных городов, один из которых только что рассыпался осколками, как хрупкая ваза, пораженная камнем. Сверкали серебряные маски.

— Все это недоразумение, — взмолился он, привстав над бортом; жена его по-прежнему лежала замертво, свернувшись комочком, на дне корабля. — Я прилетел на Марс как честный предприимчивый бизнесмен, таких здесь много. Выстроил себе ларек из обломков разбившейся ракеты, ларек, сами видели, загляденье, на самом перекрестке, вы это местечко знаете. Сработано чисто, правда ведь? — Сэм захихикал, переводя взгляд с одного лица на другое. — А тут, значит, появляется этот марсианин, я знаю — он ваш приятель. Я его нечаянно убил, уверяю вас, это несчастный случай. Мне ничего не надо, я только хотел завести сосисочную, первую, единственную на Марсе, центральную, можно сказать. Понимаете? Подавать лучшие на всей планете горячие сосиски, черт возьми, с перцем и луком, и апельсиновый сок.

Серебряные маски неподвижно блестили в лунном свете. Светились устремленные на Сэма желтые глаза. Желудок его сжался в комок, в камень. Он швырнул пистолет на песок.

— Сдаюсь.

— Поднимите свой пистолет, — хором сказали марсиане.

— Что?

— Ваш пистолет. — Над носом голубого корабля взлетела ажурная рука. — Возьмите его. Уберите.

Он, все еще не веря, подобрал пистолет.

— А теперь, — продолжал голос, — разверните корабль и возвращайтесь к своему ларьку.

— Сейчас же?

— Сейчас же, — сказал голос. — Мы вам ничего дурного не сделаем. Вы обратились в бегство, прежде чем мы успели вам объяснить. Следуйте за нами.

Огромные корабли развернулись легко, как лунные пушинки. Крылья-паруса тихо заплескались в воздухе, будто кто-то бил в ладони. Маски

сверкали, поворачиваясь, холодным пламенем выжигали тени.

— Эльма! — Сэм неуклюже взобрался на корабль. — Поднимайся, Эльма. Мы возвращаемся. — Он был так потрясен неожиданным избавлением, что лепета его почти нельзя было понять. — Они мне ничего не сделают, не убьют меня, Эльма. Поднимайся, голубушка, вставай.

— Что. Что? — Эльма растерянно озиралась, и, пока их корабль разворачивался под ветер, она медленно, будто во сне, поднялась и тяжело, словно мешок с камнями, опустилась на сиденье, не сказав больше ни слова.

Песок под кораблем убежал назад. Через полчаса они снова были у перекрестка, корабли ошвартовались и все сошли с кораблей.

Перед Сэмом и Эльмой остановился Глава марсиан: маска вычеканена из полированной бронзы, глаза — бездонные черно-синие провалы, рот — прорезь, из которой плыли по ветру слова.

— Снаряжайте вашу лавку, — сказал голос. В воздухе мелькнула рука в алмазной перчатке. — Готовьте яства, готовьте угощение, готовьте чужеземные вина, ибо нынешняя ночь — поистине великая ночь!

— Стало быть, — заговорил Сэм, — вы разрешите мне остаться здесь?

— Да.

— Вы на меня не сердитесь?

Маска была сурова и жестка, бесстрастна и слепа.

— Готовьте свое кормилице, — тихо сказал голос. — И возьмите вот это.

— Что это?

Сэм уставился на врученный ему свиток из тонкого серебряного листа, по поверхности которого извивались змейки иероглифов.

— Это дарственная на все земли от серебряных гор до голубых холмов, от мертвого моря до далеких долин, где лунный камень и изумруды, — сказал Глава.

— Все м-мое? — пробормотал Сэм, не веря своим ушам.

— Ваше.

— Сто тысяч квадратных миль?

— Ваши.

— Ты слышала, Эльма?

Эльма сидела на земле, прислонившись спиной к алюминиевой стене сосисочной; глаза ее были закрыты.

— Но почему, с какой стати вы мне дарите все это? — спросил Сэм, пытаясь заглянуть в металлические прорези глаз.

— Это не все. Вот.

Еще шесть свитков. Вслух перечисляются названия, обозначения других земель.

— Но это же половина Марса! Я хозяин половины Марса! — Сэм стиснул гремучие свитки, тряс ими перед Эльмой, захлебываясь безумным смехом. — Эльма, ты слышала?

— Слышала, — ответила Эльма, глядя на небо.

Казалось, она что-то разыскивает. Апатия мало-помалу оставляла ее.

— Спасибо, большое спасибо, — сказал Сэм бронзовой маске.

— Это произойдет сегодня ночью, — ответила маска. — Приготовьтесь.

— Ладно. А что это будет — неожиданность какая-нибудь? Ракеты с Земли прилетят раньше объявленного, за месяц до срока? Все десять тысяч ракет с поселенцами, с рудокопами, с рабочими и их женами, сто тысяч человек, как говорили? Вот здорово было бы, правда, Эльма? Видишь, я тебе говорил, говорил, что в этом поселке одной тысячей жителей дело не ограничится. Сюда прилетят еще пятьдесят тысяч, через месяц — еще сто тысяч, а всего к концу года — пять миллионов с Земли! И на самой оживленной магистрали, на пути к рудникам — единственная сосисочная, моя сосисочная!

Маска парила на ветру.

— Мы покидаем вас. Приготовьтесь. Весь этот край остается вам.

В летучем лунном свете древние корабли — металлические лепестки ископаемого цветка, голубые султаны, огромные и бесшумные кобальтовые бабочки — повернули и заскользили по зыбким пескам, и маски все лучились и сияли, пока последний отсвет, последний голубой блик не затерялся среди холмов.

— Эльма, почему они так поступили? Почему не убили меня? Неужто они ничего не знают? Что с ними стряслось? Эльма, ты что-нибудь понимаешь? — Он потряс ее за плечо. — Половина Марса — моя!

Она глядела на небо и ожидала чего-то.

— Пошли, — сказал он. — Надо все приготовить. Кипятить сосиски, подогреть булочки, перечный соус варить, чистить и резать лук, приправы расставить, салфетки разложить в кольцах, и чтобы чистота была — ни единого пятнышка! Эге-гей! — Он отбил коленце какого-то необузданного танца, высоко вскидывая пятки. — Я счастлив, парень, счастлив, сэр, — запел он, фальшивя. — Сегодня мой счастливый день!

Он работал, как одержимый: бросил в кипяток сосиски, разрезал булки вдоль, крошил лук.

— Ты слышала, что сказал тот марсианин — неожиданность, говорит!

Тут только одно может быть, Эльма. Эти сто тысяч человек прилетают раньше срока, сегодня ночью прилетают! Представляешь, какой у нас будет наплыв! До поздней ночи будем работать, каждый день, а там ведь еще туристы нахлынут, Эльма! Деньги-то, деньги какие!

Он вышел наружу и посмотрел на небо. Ничего не увидел.

— С минуты на минуту, — произнес он, радостно вдохнув прохладный воздух, потянулся, ударил себя в грудь. — А-ах!

Эльма молчала. Она чистила картофель для жарки и не сводила глаз с неба.

Прошло полчаса.

— Сэм, — сказала она. — Вон она. Гляди.

Он поглядел и увидел.

Земля.

Яркая, зеленая, будто камень лучшей огранки, над холмами взошла Земля.

— Старушка Земля, — с нежностью прошептал он. — Дорогая старушка Земля. Шли сюда, ко мне, своих голодных и изнуренных. Э-э... как там в стихе говорится? Шли ко мне своих голодных. Земля-старушка. Сэм Паркхилл тут как тут, горячие сосиски готовы, соус варится, все блестит. Давай, Земля, присылай ракеты!

Он отошел в сторонку полюбоваться своим детищем. Вот она, сосисочная, как свеженькое яичко на дне мертвого моря, единственный на сотни миль бесплодной пустыни очаг света и тепла. Точно сердце, одиноко бьющееся в исполинском черном теле.

Он даже растрогался, и глаза увлажнились от гордости.

— Тут поневоле смирением проникнешься, — произнес он, вдыхая запах кипящих сосисок, горячих булочек, сливочного масла. — Подходите, — обратился он к звездам, — покупайте. Кто первый?

— Сэм, — сказала Эльма.

Земля в черном небе вдруг преобразилась.

Она воспламенилась.

Часть ее диска вдруг распалась на миллионы частиц — будто рассыпалась огромная мозаика. С минуту Земля пылала жутким рваным пламенем, увеличившись в размерах раза в три, потом съежилась.

— Что это было? — Сэм глядел на зеленый огонь в небесах.

— Земля, — ответила Эльма, прижав руки к груди.

— Какая же это Земля, это не может быть Земля! Нет-нет, не Земля! Не может быть.

— Ты хочешь сказать: не могла быть? — сказала Эльма, смотря на

него. — Теперь это уже не Земля, да, это больше не Земля — ты это хотел сказать?

— Не Земля, нет-нет, это была не она, — выл он.

Он стоял неподвижно, руки повисли как плети, рот открыт, тупо вытаращены глаза.

— Сэм, — позвала она. Впервые за много дней ее глаза оживились. — Сэм!

Он смотрел вверх, на небо.

— Что ж, — сказала она. С минуту молча переводила взгляд с одного предмета на другой, потом решительно перекинула через руку влажное полотенце. — Включай свет, больше света, заводи радиолу, раскрывай двери настежь! Жди новую партию посетителей — примерно через миллион лет. Да-да, сэр, чтобы все было готово.

Сэм не двигался.

— Ах, какое бесподобное место для сосисочной! — Она достала из стакана зубочистку и воткнула себе между передними зубами. — Скажу тебе по секрету, Сэм, — прошептала она, наклоняясь к нему: — Похоже, начинается мертвый сезон...

Ноябрь 2005

Наблюдатели

В тот вечер все вышли из своих домов и уставились на небо. Бросили ужин, посуду, сборы в кино, вышли на свои, теперь уже не такие новешенькие веранды и стали смотреть в упор на зеленую звезду Земли. Это было совсем непроизвольно; они поступили так, пытаясь осмыслить новость, которую только что принесло радио. Вон она — Земля, где назревает война, и там сотни тысяч матерей, бабушек, отцов, братьев, тетушек, дядюшек, двоюродных сестер. Они стояли на верандах и заставляли себя поверить в существование Земли; это было почти так же трудно, как некогда поверить в существование Марса: прямо противоположная задача. В общем-то Земля была для них все равно что мертвой. Они расстались с ней три или четыре года назад. Расстояние обезболивало душу, семьдесят миллионов миль глушили чувства, усыпляли память, делали Землю безлюдной, стирали прошлое и позволяли этим людям трудиться здесь, ни о чем не думая. Но сегодня вечером умершие восстали. Земля вновь стала обитаемой, память пробудилась и они называли множество имен. Что делает сейчас такой-то, такая-то? Как там имярек? Люди стояли на своих верандах и поглядывали друг на друга.

В девять часов Земля как будто взорвалась и вспыхнула.

Люди на верандах вскинули вверх руки, точно хотели загасить пламя.

Они ждали.

К полуночи пожар потух. Земля осталась на своем месте. И по верандам осенним ветерком пронесся вздох.

— Давненько мы ничего не слышали от Гарри.

— А что ему делается.

— Надо бы послать весточку маме.

— Она жива-здоровая.

— Ты уверен?

— Ладно, ты только не тревожься.

— Думаешь, с ней ничего не приключилось?

— Конечно же, пошли-ка спать.

Но никто не уходил. На ночные газоны вынесли остывший ужин, накрыли складные столы, и люди вяло ковыряли пищу вилками до двух часов ночи, когда с Земли долетело послание светового радио. Словно далекие светлячки, мерцали мощные вспышки морзянки, и они читали:

**АВСТРАЛИЙСКИЙ МАТЕРИК ОБРАЩЕН В ПЫЛЬ
НЕПРЕДВИДЕННЫМ ВЗРЫВОМ АТОМНОГО СКЛАДА.**

**ЛОС АНДЖЕЛЕС, ЛОНДОН ПОДВЕРГНУТЫ
БОМБАРДИРОВКЕ.**

ВОЙНА. ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ. ДОМОЙ. ДОМОЙ.

Они поднялись из-за столов.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ. ДОМОЙ, ДОМОЙ.

— Ты в этом году получал что-нибудь от своего брата Теда?

— Будто не знаешь: послать письмо на Землю стоит пять монет. Не очень-то распишешься.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ.

— Меня что-то Джейн беспокоит — помнишь Джейн, мою младшую сестричку?

ДОМОЙ.

В три часа, когда занималось зябкое утро, владелец магазина «Дорожные товары» вскинул голову. По улице шла целая толпа людей.

— А я умышленно не закрывал. Что возьмете, мистер?

К рассвету все полки магазина опустели.

Декабрь 2005

Безмолвные города

На краю мертвого марсианского моря раскинулся безмолвный белый городок. Он был пуст. Ни малейшего движения на улицах. Днем и ночью в универмагах одиноко горели огни. Двери лавок открыты настежь, точно люди обратились в бегство, позабыв о ключах. На проволочных рейках у входов в немые закулочные нечитанные, порыжевшие от солнца, шелестели журналы, доставленные месяц назад серебристой ракетой с Земли.

Городок был мертв. Постели в нем пусты и холодны. Единственный звук — жужжание тока в электропроводах и динамо-машинах, которые все еще жили сами по себе. Вода переполняла забытые ванны, текла в жилые комнаты, на веранды, в маленькие сады, питая заброшенные цветы. В темных зрительных залах затвердела прилепленная снизу к многочисленным сиденьям жевательная резинка, еще хранящая отпечатки зубов.

За городом был космодром. Едкий паленый запах до сих пор стоял там, откуда взлетела курсом на Землю последняя ракета. Если опустить монетку в телескоп и навести его на Землю, можно, пожалуй, увидеть бушующую там большую войну. Увидеть, скажем, как взрывается Нью-Йорк. А то и рассмотреть Лондон, окутанный туманом нового рода. И, может быть, тогда станет понятным, почему покинут этот марсианский городок. Быстро ли проходила эвакуация? Войдите в любой магазин, нажмите на клавиши кассы. И ящичек выскочит, сверкая и брэнча монетами. Да, должно быть, плохо дело на Земле...

По пустынным улицам городка, негромко посвистывая, сосредоточенно гоня перед собой ногами пустую банку, шел высокий худой человек. Угрюмый, спокойный взгляд его глаз отражал всю степень его одиночества. Он сунул костистые руки в карманы, где брэнчали новенькие монеты. Нечаянно уронил монетку на асфальт, усмехнулся и пошел дальше, кропя улицы блестящими монетами...

Его звали Уолтер Грипп. У него был золотой прииск и уединенная лачуга далеко в голубых марсианских горах, и раз в две недели он отправлялся в город поискать себе в жены спокойную, разумную женщину. Так было не первый год, и всякий раз он возвращался в свою лачугу разочарованный и по-прежнему одинокий. А неделю назад, придя в город, застал вот такую картину!

Он был настолько ошеломлен в тот день, что заскочил в первую попавшуюся закусочную и заказал себе тройной сэндвич с мясом.

— Будет сделано! — крикнул он.

Он расставил на стойке закуски и испеченный накануне хлеб, смахнул пыль со стола, предложил самому себе сесть и ел, пока не ощутил потребность отыскать сатуратор и заказать содовой. Владелец, некто Уолтер Грипп, оказался на диво учтивым и мигом налил ему шипучий напиток!

Он набил карманы джинсов деньгами, какие только ему подворачивались. Нагрузил тележку десятидолларовыми бумажками и побежал, обуреваемый вожделениями, по городу. Уже на окраине он внезапно уразумел, до чего постыдно и глупо себя ведет. На что ему деньги! Он отвез десятидолларовые бумажки туда, где взял их, вынул из собственного бумажника один доллар, опустил его в кассу закусочной за сэндвичи и добавил четвертак на чай.

Вечером он насладился жаркой турецкой баней, сочным филе и изысканным грибным соусом, импортным сухим хересом и клубникой в вине. Подобрал себе новый синий фланелевый костюм и роскошную серую шляпу, которая потешно болталась на макушке его длинной головы. Он сунул монетку в автомат-радиолу, которая заиграла «Нашу старую шайку». Насовал пятаков в двадцать автоматов по всему городу. Печальные звуки «Нашей старой шайки» заполнили ночь и пустынные улицы, а он шел все дальше, высокий, худой, одинокий, мягко ступая новыми ботинками, грея в карманах озябшие руки.

С тех пор прошла неделя. Он спал в отличном доме на Марс-Авеню, утром вставал в девять, принимал ванну и лениво брел в город позавтракать яйцами с ветчиной. Что ни утро, он заряжал очередной холодильник тонной мяса, овощей, пирогов с лимонным кремом, запасая себе продукты лет на десять, пока не вернутся с Земли Ракеты. Если они вообще вернутся.

А сегодня вечером он слонялся взад-вперед, рассматривая восковых женщин в красочных витринах — розовых, красивых. И впервые ощутил, до чего же мертв город. Выпил кружку пива и тихонько заснул.

— Черт возьми, — сказал он. — Я же совсем один.

Он зашел в кинотеатр «Элит», хотел показать себе фильм, чтобы отвлечься от мыслей об одиночестве. В зале было пусто и глухо, как в склепе, по огромному экрану ползли серые и черные призраки. Его бросило в дрожь, и он ринулся прочь из этого логова нечистой силы.

Решив вернуться домой, он быстро шел, почти бежал по мостовой тихого переуллка, когда услышал телефонный звонок.

Он прислушался.

«Где-то звонит телефон».

Он продолжал идти вперед.

«Сейчас кто-нибудь возьмет трубку», — лениво подумалось ему.

Он сел на край тротуара и принялся не спеша вытряхивать камешек из ботинка.

И вдруг крикнул, вскакивая на ноги:

— Кто-нибудь! Силы небесные, да что это я!

Он лихорадочно озирался. В каком доме? Вон в том! Ринулся через газон, вверх по ступенькам, в дом, в темный холл.

Сорвал с рычага трубку.

— Алло! — крикнул он.

Зззззззззззззз.

— Алло, алло!

Уже повесили.

— Алло! — заорал он и стукнул по аппарату. — Идиот проклятый! — выругал он себя. — Рассиживал себе на тротуаре, дубина! Чертов болван, тупица! — Он стиснул руками телефонный аппарат — Ну, позвони еще раз. Ну же!

До сих пор ему и в голову не приходило, что на Марсе мог остаться кто-то еще, кроме него. За всю прошедшую неделю он не видел ни одного человека. Он решил, что все остальные города так же безлюдны, как этот.

Теперь он, дрожа от волнения, глядел на несносный черный ящичек. Автоматическая телефонная сеть соединяет между собой все города Марса. Их тридцать — из которого звонили?

Он не знал.

Он ждал. Прошел на чужую кухню, оттаял замороженную клубнику, уныло съел ее.

— Да там никого и не было, — пробурчал он. — Наверно, ветер где-то повалил телефонный столб и нечаянно получился контакт.

Но ведь он слышал щелчок, точно кто-то на том конце повесил трубку?

Всю ночь Уолтер Грипп провел в холле.

— И вовсе не из-за телефона, — уверял он себя. — Просто мне больше нечего делать.

Он прислушался к тиканью своих часов.

— Она не позвонит больше, — сказал он. — Ни за что не станет снова

набирать номер, который не ответил. Наверно, в эту самую минуту обзванивает другие дома в городе! А я сижу здесь... Постой! — он усмехнулся. — Почему я говорю «она»?

Он растерянно заморгал.

— С таким же успехом это мог быть и «он», верно?

Сердце угомонилось. Холодно и пусто, очень пусто. Ему так хотелось, чтобы это была «она». Он вышел из дому и остановился посреди улицы, лежавшей в тусклом свете раннего утра.

Прислушался. Ни звука. Ни одной птицы. Ни одной автомашины. Только сердца стук. Толчок — перерыв — толчок. Мышцы лица свело от напряжения. А ветер, такой нежный, такой ласковый, тихонько трепал полы его пиджака.

— Тсс, — прошептал он. — *Слушай!*

Он медленно поворачивался, переводя взгляд с одного безмолвного дома на другой.

Она будет набирать номер за номером, думал он. Это должна быть женщина. Почему? Только женщина станет перебирать все номера. Мужчина не станет. Мужчина самостоятельнее. Разве я звонил кому-нибудь? Нет! Даже в голову не приходило. Это должна быть женщина. *Неприменно* должна, видит бог!

Слушай.

Вдалеке, где-то под звездами, зазвонил телефон.

Он побежал. Остановился послушать. Тихий звон. Еще несколько шагов. Громче. Он свернул и помчался вдоль аллеи. Еще громче! Миновал шесть домов, еще шесть! Совсем громко! Вот этот? Дверь была заперта.

Внутри звонил телефон.

— А, черт! — Он дергал дверную ручку.

Телефон надрывался.

Он схватил на веранде кресло, обрушил его на окно гостиной и прыгнул в пролом.

Прежде чем он успел взяться за трубку, телефон смолк.

Он пошел из комнаты в комнату, бил зеркала, срывал портьеры, сшиб ногой кухонную плиту.

Вконец обессилев, он подобрал с пола тонкую телефонную книгу, в которой значились все абоненты на Марсе. Пятьдесят тысяч фамилий.

Начал с первой фамилии.

Амелия Амз Нью-Чикаго, за сто миль, по ту сторону мертвого моря. Он набрал ее номер.

Нет ответа.

Второй абонент жил в Нью-Йорке, за голубыми горами, пять тысяч миль.

Нет ответа.

Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой: дрожащие пальцы с трудом удерживали трубку.

Женский голос ответил:

— Алло?

Уолтер закричал в ответ:

— Алло, господи, алло!

— Это запись, — декламировал женский голос. — Мисс Элен Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно будет записано на проволоку, чтобы она могла позвонить вам, когда вернется. Алло? Это запись. Мисс Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно...

Он повесил трубку.

Его губы дергались.

Подумав, он набрал номер снова.

— Когда мисс Элен Аразумян вернется домой, — сказал он, — передайте ей, чтобы катилась к черту.

Он позвонил на центральный коммутатор Марса, на телефонные станции Нью-Бостона, Аркадии и Рузвельт Сити, рассудив, что там скорее всего можно застать людей, пытающихся куда-нибудь дозвониться, потом вызвал ратуши и другие официальные учреждения в каждом городе. Обзвонил лучшие отели. Какая женщина устоит против искушения пожить в роскоши!

Вдруг он громко хлопнул в ладоши и рассмеялся. Ну, конечно же! Сверился с телефонной книгой и набрал через междугородную номер крупнейшего косметического салона в Нью-Тексас-Сити. Где же еще искать женщину, если не в обитом бархатом, роскошном косметическом салоне, где она может метаться от зеркала к зеркалу, лепить на лицо всякие мази, сидеть под электросушилкой!

Долгий гудок. Кто-то на том конце провода взял трубку.

Женский голос сказал:

— Алло!

— Если это запись, — отчеканил Уолтер Грипп, — я приеду и взорву к чертям ваше заведение.

— Это не запись, — ответил женский голос — Алло! Алло, неужели тут есть живой человек! Где вы?

Она радостно взвизгнула.

Уолтер чуть не упал со стула.

— Алло!.. — Он вскочил на ноги, сверкая глазами. — Боже мой, какое счастье, как вас звать?

— Женевьева Селзор! — Она плакала в трубку. — О, господи, я так рада, что слышу ваш голос, кто бы вы ни были!

— Я Уолтер Грипп!

— Уолтер, здравствуйте, Уолтер!

— Здравствуйте, Женевьева!

— Уолтер. Какое чудесное имя. Уолтер, Уолтер!

— Спасибо.

— Но где же вы, Уолтер?

Какой милый, ласковый, нежный голос... Он прижал трубку плотнее к уху, чтобы она могла шептать ласковые слова. У него подкашивались ноги Горели щеки.

— Я в Мерлин-Вилледж, — сказал он — Я...

Зззз.

— Алло? — оторопел он.

Зззз.

Он постучал по рычагу. Ничего.

Где-то ветер свалил столб. Женевьева Селзор пропала так же внезапно, как появилась.

Он набрал номер, но аппарат был нем.

— Ничего, теперь я знаю, где она.

Он выбежал из дома. В лучах восходящего солнца он задним ходом вывел из чужого гаража спортивную машину, загрузил заднее сиденье взятыми в доме продуктами и со скоростью восьмидесяти миль в час помчался по шоссе в Нью-Тексас-Сити. Тысяча миль, подумал он. Терпи, Женевьева Селзор, я не заставлю тебя долго ждать!

Выезжая из города, он лихо сигналил на каждом углу.

На закате, после дня невыносимой гонки, он свернул к обочине, сбросил тесные ботинки, вытянулся на сиденье и надвинул свою роскошную шляпу на утомленные глаза. Его дыхание стало медленным, ровным. В сумраке над ним летел ветер, ласково сияли звезды. Кругом высились древние-древние марсианские горы. Свет звезд мерцал на шпилях марсианского городка, который шахматными фигурками прилепился к голубым склонам.

Он лежал, витая где-то между сном и явью. Он шептал: Женевьева. Потом тихо запел. «О Женевьева, дорогая, — пускай бежит за годом год. Но, дорогая Женевьева...» На душе было тепло. В ушах звучал ее тихий, нежный, ровный голос: «Алло, о, алло, Уолтер! Это не запись. Где ты,

Уолтер, где ты?»

Он вздохнул, протянул руку навстречу лунному свету — прикоснуться к ней. Ветер развеивал длинные черные волосы, чудные волосы. А губы — как красные мятные лепешки. И щеки, как только что срезанные влажные розы. И тело будто легкий светлый туман, а мягкий, ровный, нежный голос напевает ему слова старинной печальной песенки:

«О Женестьева, дорогая — пускай бежит за годом год...»

Он уснул.

Он добрался до Нью-Тексас-Сити в полночь.

Остановил машину перед косметическим салоном «Делюкс» и лихо гикнул.

Вот сейчас она выбежит в облаке духов, вся лучась смехом.

Ничего подобного не произошло.

— Уснула. — Он пошел к двери. — Я уже тут! — крикнул он. — Алло, Женестьева!

Безмолвный город был озарен двоящимся светом лун. Где-то ветер хлопал брезентовым навесом. Он распахнул стеклянную дверь и вошел.

— Эгей! — Он смущенно рассмеялся. — Не прячься! Я знаю, что ты здесь!

Он обыскал все кабинки.

Нашел на полу крохотный платок. Запах был такой дивный, что его зашатало.

— Женестьева, — произнес он.

Он погнал машину по пустым улицам, но никого не увидел.

— Если ты вздумала подшутить...

Он сбавил ход.

— Постой-ка, нас же разъединили. Может, она поехала в Мерлин-Вилледж, пока я ехал сюда?! Свернула, наверно, на древнюю Морскую дорогу, и мы разминулись днем. Откуда ей было знать, что я приеду сюда? Я же ей не сказал. Когда телефон замолчал, она так перепугалась, что бросилась в Мерлин-Вилледж искать меня! А я здесь торчу, силы небесные, какой же я идиот!

Он нажал клаксон и пулей вылетел из города.

Он гнал всю ночь. И думал: «Что если я не застаю ее в Мерлин-Вилледж?»

Вон из головы эту мысль. Она *должна* быть там. Он подбежит к ней и обнимет ее, может быть, даже поцелует — один раз — в губы.

«Женестьева, дорогая», — насвистывал он, выжимая педалью сто миль

в час.

В Мерлин-Вилледж было по-утреннему тихо. В магазинах еще горели желтые огни; автомат, который играл сто часов без перерыва, наконец щелкнул электрическим контактом и смолк; безмолвие стало полным. Солнце начало согревать улицы и холодное безучастное небо.

Уолтер свернул на Мейн-стрит, не выключая фар, усиленно гудя клаксоном, по шесть раз на каждом углу. Глаза впивались в вывески магазинов. Лицо было бледное, усталое, руки скользили по мокрой от пота баранке.

— Женестьева! — взывал он к пустынной улице.

Отворилась дверь косметического салона.

— Женестьева! — Он остановил машину и побежал через улицу.

Женестьева Селзор стояла в дверях салона. В руках у нее была раскрытая коробка шоколадных конфет. Коробку стискивали пухлые, белые пальцы. Лицо — он увидел его, войдя в полосу света, — было круглое и толстое, глаза — два огромных яйца, воткнутых в бесформенный ком теста. Ноги — толстые, как колоды, походка тяжелая, шаркающая. Волосы — неопределенного бурого оттенка, тщательно уложенные в виде птичьего гнезда. Губ не было вовсе, их заменял нарисованный через трафарет жирный красный рот, который то восхищенно раскрывался, то испуганно захлопывался. Брови она выщипала, оставив две тонкие ниточки.

Уолтер замер. Улыбка сошла с его лица. Он стоял и глядел.

Она уронила конфеты на тротуар.

— Вы Женестьева Селзор? — У него звенело в ушах.

— Вы Уолтер Грифф? — спросила она.

— Грипп.

— Грипп, — поправилась она.

— Здравствуйте, — выдавил он из себя.

— Здравствуйте. — Она пожала его руку.

Ее пальцы были липкими от шоколада.

— Ну, — сказал Уолтер Грипп.

— Что? — спросила Женестьева Селзор.

— Я только сказал «ну», — объяснил Уолтер.

— А-а.

Девять часов вечера. Днем они ездили за город, а на ужин он приготовил филе-миньон, но Женестьева нашла, что оно недожарено, тогда Уолтер решил дожарить его и то ли пережарил, то ли пережег, то ли еще

что. Он рассмеялся и сказал:

— Пошли в кино!

Она сказала «ладно» и взяла его под руку липкими, шоколадными пальцами. Но ее запросы ограничились фильмом пятидесятилетней давности с Кларком Гейблом.

— Вот ведь умора, да? — хихикала она. — Ох, умора!

Фильм кончился.

— Крути еще раз, — велела она.

— Снова? — спросил он.

— Снова, — ответила она.

Когда он вернулся, она прижалась к нему и облапила его.

— Ты не совсем то, что я ожидала, но все же ничего, — призналась она.

— Спасибо, — сказал он, чуть не подавившись.

— Ах, этот Гейбл. — Она ущипнула его за ногу.

— Ой, — сказал он.

После кино они пошли по безмолвным улицам «за покупками». Она разбила витрину и напялила самое яркое платье, какое только смогла найти. Потом опрокинула на голову флакон духов и стала похожа на мокрую овчарку.

— Сколько тебе лет? — поинтересовался он.

— Угадай. — Она вела его по улице, капая на асфальт духами.

— Около тридцати? — сказал он.

— Вот еще, — сухо ответила она. — Мне всего двадцать семь, чтоб ты знал! Ой, вот еще кондитерская! Честное слово, с тех пор как началась эта заваруха, я живу, как миллионерша. Никогда не любила свою родню, так, болваны какие-то. Улетели на Землю два месяца назад. Я тоже должна была улететь с последней ракетой, но осталась. Знаешь, почему?

— Почему?

— Потому что все меня дразнили. Вот я и осталась здесь — лей на себя духи, сколько хочешь, пей пиво, сколько влезет, ешь конфеты, и некому тебе твердить: «Слишком много калорий!» Потому я *тут!*

— Ты тут. — Уолтер зажмурился.

— Уже поздно, — сказала она, поглядывая на него.

— Да.

— Я устала, — сказала она.

— Странно. У меня ни в одном глазу.

— О, — сказала она.

— Могу всю ночь не ложиться, — продолжал он. — Знаешь, в बारे

Майка есть хорошая пластинка. Пошли, я тебе ее заведу.

— Я устала. — Она стрельнула в него хитрыми блестящими глазами.

— А я — как огурчик, — ответил он. — Просто удивительно.

— Пойдем в косметический салон, — сказала она. — Я тебе кое-что покажу.

Она втащила его в стеклянную дверь и подвела к огромной белой коробке.

— Когда я уезжала из Тексас-Сити, — объяснила она, — захватила с собой вот это. — Она развязала розовую ленточку. — Подумала: ведь я единственная дама на Марсе, а он единственный мужчина, так что...

Она подняла крышку и откинула хрусткие слои шелестящей розовой гофрированной бумаги. Она погладила содержимое коробки.

— Вот.

Уолтер Грипп вытаращил глаза.

— Что это? — спросил он, преодолевая дрожь.

— Будто не знаешь, дурачок? Гляди-ка, сплошь кружева, и все такое белое, шикарное...

— Ей-богу, не знаю, что это.

— Свадебное платье, глупенький!

— Свадебное? — Он охрип.

Он закрыл глаза. Ее голос звучал все так же мягко, спокойно, нежно, как тогда в телефоне. Но если открыть глаза и посмотреть на нее...

Он попятился.

— Очень красиво, — сказал он.

— Правда?

— Женестьева. — Он покосился на дверь.

— Да?

— Женестьева, мне нужно тебе кое-что сказать.

— Да?

Она подалась к нему, ее круглое белое лицо приторно благоухало духами.

— Хочу сказать тебе... — продолжал он.

— Ну?

— До свидания!

Прежде чем она успела вскрикнуть, он уже выскочил из салона и вскочил в машину.

Она выбежала и застыла на краю тротуара, глядя, как он разворачивает машину.

— Уолтер Грифф, вернись! — прорыдала она, вскинув руки.

— Грипп, — поправил он.

— Грипп! — крикнула она.

Машина умчалась по безмолвной улице, невзирая на ее топот и вопли. Струя выхлопа колыхнула белое платье, которое она мяла в своих пухлых руках, а в небе сияли яркие звезды, и машина канула в пустыню, утонула во мраке.

Он гнал день и ночь, трое суток подряд. Один раз ему показалось, что сзади едет машина, его бросило в дрожь, прошиб пот, и он свернул на другое шоссе, пересекающее пустынные марсианские просторы, бегущее мимо безлюдных городков. Он гнал и гнал — целую неделю, и еще один день, пока не оказался за десять тысяч миль от Мерлин-Вилледж. Тогда он заехал в поселок под названием Холтвиль-Спрингс, с маленькими лавками, где он мог вечером зажигать свет в витринах, и с ресторанами, где мог посидеть, заказывая блюда. С тех пор он так и живет там; у него две морозильные камеры, набитые продуктами лет на сто, запас сигарет на десять тысяч дней и отличная кровать с мягким матрасом.

Текут долгие годы, и если в кои-то веки у него зазвонит телефон — он не отвечает.

Апрель 2026

Долгие годы

Так уж повелось: когда с неба налетал ветер, он и его небольшая семья отсиживались в своей каменной лачуге и грели руки над пылающими дровами. Ветер вспахивал гладь каналов, чуть не срывал звезды с неба, а мистер Хетэуэй сидел, наслаждаясь уютом, и говорил что-то жене, и жена отвечала ему, и он рассказывал о былых временах на Земле двум дочерям и сыну, и они вставляли слово к месту.

Шел двадцатый год после Большой Войны. Марс представлял собой огромный могильник. А Земля? Что с ней? В долгие марсианские ночи Хетэуэй и его семья часто размышляли об этом.

В эту ночь неистовая марсианская пылевая буря пронеслась над приземистыми могилами марсианских кладбищ, завывая на улицах древних городов и снося совсем еще новые пластиковые стены уходящего в песок, заброшенного американского города.

Но вот буря утихла, прояснилось, и Хетэуэй вышел посмотреть на Землю — зеленый огонек в ветреных небесах. Он поднял руку вверх, точно хотел получше вернуть тускло горящую лампочку под потолком сумрачной комнаты. Поглядел вдаль, над дном мертвого моря. «На всей планете ни души, — подумал он. — Один я. И они». Он оглянулся на дверь каменной лачуги.

Что сейчас происходит на Земле? Сколько он ни смотрел в свой тридцатидюймовый телескоп, до сих пор никаких изменений не приметил. «Что ж, если я буду беречь себя, — подумал он, — еще лет двадцать проживу». Глядишь, кто-нибудь явится. Либо из-за мертвых морей, либо из космоса на ракете, привязанной к ниточке красного пламени.

— Я пойду погуляю, — крикнул он в дверь.

— Хорошо, — отозвалась жена.

Он не спеша пошел вниз между рядами развалин.

— «Сделано в Нью-Йорке», — прочитал он на куске металла. — Древние марсианские города намного переживут все эти предметы с Земли...

И посмотрел туда, где между голубых гор вот уже пятьдесят веков стояло марсианское селение.

Он пришел на уединенное марсианское кладбище: небольшие каменные шестигранники выстроились в ряд на бугре, овеваемом

пустынными ветрами.

Склонив голову, он смотрел на четыре могилы, четыре грубых деревянных креста, и на каждом имя. Слез не было в его глазах. Слезы давно высохли.

— Ты простишь меня за то, что я сделал? — спросил он один из крестов. — Я был очень, очень одинок. Ведь ты понимаешь?

Он возвратился к каменной лачуге и перед тем, как войти, снова внимательно оглядел небо из-под ладони.

— Все ждешь и ждешь, и смотришь, — пробормотал он, — и, может быть, однажды ночью...

В небе горел красный огонек. Он шагнул в сторону, чтобы не мешал свет из двери.

— Смотришь *еще раз*... — прошептал он.

Красный огонек горел в том же месте.

— Вчера вечером его не было, — прошептал он. Споткнулся, упал, поднялся на ноги, побежал за лачугу, развернул телескоп и навел его на небо.

Через минуту — после долгого исступленного взгляда на небо — он появился в низкой двери своего дома. Жена, обе дочери и сын повернулись к нему. Он не сразу смог заговорить.

— У меня хорошие новости, — сказал он. — Я смотрел на небо. Сюда летит ракета, она заберет нас всех домой. Рано утром будет здесь.

Он положил руки на стол, опустил голову на ладони и тихо заплакал.

В три часа утра он сжег все, что осталось от Нью-Нью-Йорка.

Взял факел, пошел в этот город из пластика и стал трогать пламенем стены повсюду, где проходил. Город расцвел могучими вихрями света и жара. Он превратился в костер размером в квадратную милю — такой можно заметить из космоса. Этот маяк приведет ракету к мистеру Хетзуэю и его семье.

Он вернулся в дом; сердце билось болезненно и часто.

— Видите? — Он держал в поднятой руке запыленную бутылку. — Я приберег вино специально для этой ночи. Я знал, что придет срок и кто-нибудь найдет нас! Выпьем же и порадуемся!

Он наполнил пять бокалов.

— Да, немало времени прошло... — заговорил он опять, сосредоточенно глядя в свой бокал. — Помните день, когда разразилась война? Двадцать лет и семь месяцев назад. Все ракеты вызвали с Марса домой. А ты, я и дети — мы были в это время в горах, занимались археологией, изучали древнюю хирургию марсиан. Помнишь, как мы чуть

до смерти не загнали наших коней? И все равно опоздали на целую неделю. Город был уже покинут. Америка была разрушена, и все до одной ракеты ушли, не дожидаясь отставших, — помнишь, помнишь? А потом оказалось, что отстали-то *только мы*, помнишь? Боже мой, сколько лет минуло. Без вас я бы не выдержал. Без вас я бы покончил с собой. С вами ожидание было не таким тяжким. Выпьем же за нас. — Он поднял бокал. — И за наше долгое совместное ожидание.

Он выпил вино.

Жена, обе дочери и сын поднесли к губам свои бокалы. И у всех четверых вино побежало струйками по подбородкам.

К рассвету все, что осталось от города, ветер разметал по морскому дну большими мягкими черными хлопьями. Пожар унялся, но цель была достигнута: красное пятнышко на небе стало расти.

Из каменной лачуги струился вкусный запах поджаристого имбирного пряника. Когда Хетэуэй вошел, его жена ставила на стол горячие противни со свежим хлебом. Дочери прилежно мели голый каменный пол жесткими вениками, а сын чистил столовое серебро.

— Мы приготовим им роскошный завтрак. — Хетэуэй радостно рассмеялся. — Надевайте свои лучшие наряды!

Он торопливо прошел через свой участок к огромному металлическому сараю. Здесь стояли холодильная установка и небольшая электростанция, которые он за эти годы починил и наладил своими искусными, тонкими, нервными пальцами так же умело, как чинил часы, телефоны, магнитофоны в часы своего досуга. В сарае скопилось множество созданных им вещей, в том числе и совершенно непонятных механизмов, назначение которых он теперь сам не мог разгадать.

Он извлек из морозильника седые от инея коробки с бобами и клубникой двадцатилетней давности. «Вылезай, несчастный», — и достал холодного цыпленка.

Когда ракета села, воздух был напоен всяческими кулинарными ароматами.

Словно мальчишка, Хетэуэй побежал вниз по склону. Внезапная острая боль в груди заставила его остановиться. Он посидел на камне, отдышался и побежал дальше, уже без передышки.

Он остановился в жарком мареве, источаемом раскаленной ракетой. Открылся люк. Оттуда выглянул человек.

Хетэуэй долго смотрел из-под ладони, наконец сказал:

— Капитан Уайлдер!

— Кто это? — спросил капитан Уайлдер. Он спрыгнул вниз и замер, глядя на старика. Потом протянул руку. — Господи, да это же Хетэуэй!

— Совершенно верно, это я.

— Хетэуэй из моего первого экипажа, из Четвертой экспедиции.

Они внимательно оглядели друг друга.

— Давненько мы расстались, капитан.

— Очень давно. Я рад вас видеть.

— Я постарел, — сказал Хетэуэй без обиняков.

— Я и сам уже не молод. Двадцать лет мотался: Юпитер, Сатурн, Нептун.

— Как же, слышал я, вас повысили, так сказать, чтобы вы не мешали колонизации Марса. — Старик огляделся. — Вы столько путешествовали, наверно, не знаете даже, что произошло...

— Догадываюсь, — ответил Уайлдер. — Мы дважды обошли вокруг Марса. Кроме вас, нашли еще только одного человека по имени Уолтер Грипп, в десяти тысячах милях отсюда. Хотели захватить его с собой, но он отказался. Когда мы улетали, он сидел на качалке посреди шоссе, курил трубку и махал нам вслед. Марс вымер, начисто вымер, даже марсиан не осталось. А как Земля?

— Я знаю не больше вас. Изредка удается поймать земное радио, еле-еле слышно. Но всякий раз на каком-нибудь чужом языке. А я из иностранных языков знаю, увы, один латинский. Отдельные слова удастся разобрать. Судя по всему, на большей части Земли все перебиты, а война все идет. Вы летите туда, командир?

— Да. Сами понимаете, хочется своими глазами убедиться. У нас ведь не было радиосвязи, слишком большое расстояние. Что бы там ни было, мы летим на Землю.

— Вы возьмете нас с собой?

Капитан на миг опешил.

— Ах, да, разумеется, у вас тут жена, помню, помню. Мы виделись, кажется, двадцать пять лет назад, верно? Когда построили Первый Город, вы оставили службу и забрали ее с Земли. У вас были и дети...

— Сын, две дочери...

— Да-да, припоминаю. Они здесь?

— В нашей лачуге, вон там на горке. Мы приготовили вам всем отличный завтрак. Придете?

— Сочтем за честь, мистер Хетэуэй. — Капитан Уайлдер повернулся к ракете. — Оставить корабль!

Они шли вверх по откосу — Хетэуэй и капитан Уайлдер, за ними еще двадцать человек, экипаж корабля, глубоко вдыхая прохладный разреженный утренний воздух. Показалось солнце, день выдался ясный.

— Помните Спендера, капитан?

— Никогда не забывал...

— Раз в год мне случается проходить мимо его могилы. А ведь в конечном счете вышло вроде, как он хотел. Он был против того, чтобы мы здесь селились. Теперь, наверно, счастлив, что все отсюда убрались.

— А этот... как его? Паркхилл, Сэм Паркхилл, что с ним стало?

— Открыл сосисочную.

— Похоже на него.

— А через неделю — война, и он вернулся на Землю. — Хетэуэй вдруг сел на камень, схватившись за сердце. — Простите. Переволновался. После стольких лет — и вдруг встреча с вами. Отдохну немного.

Он чувствовал, как колотится сердце. Проверил пульс. Скверно...

— У нас есть врач, — сказал Уайлдер. — Не обижайтесь, Хетэуэй, я знаю, вы сами врач, но все-таки посоветуемся с нашим...

Позвали доктора.

— Сейчас пройдет, — твердил Хетэуэй. — Это все ожидание, волнение.

Он задышался. Губы посинели.

— Понимаете, — сказал он, когда врач приставил к его груди стетоскоп, — ведь я все эти годы жил как будто ради сегодняшнего дня. А теперь, когда вы здесь, прилетели забрать меня на Землю, мне вроде ничего больше не надо, и я могу лечь и отдать концы.

— Вот. — Доктор подал ему желтую таблетку. — Вам бы лучше тут отдохнуть подольше.

— Ерунда. Еще чуточку посижу, и все. До чего я рад видеть вас всех. Рад слышать новые голоса.

— Таблетка действует?

— Отлично. Пошли!

Они поднялись на горку.

— Алиса, погляди, кого я привел! — Хетэуэй нахмурился и просунул голову в дверь. — Алиса, ты слышишь?

Появилась его жена. Следом вышли обе дочери, высокие, стройные, за ними еще более рослый сын.

— Алиса, помнишь капитана Уайлдера?

Она замаялась, посмотрела на Хетэуэя, точно ожидая указаний, потом улыбнулась.

— Ну, конечно, капитан Уайлдер!

— Помнится, миссис Хетэуэй, мы вместе с вами обедали накануне моего вылета на Юпитер.

Она горячо пожала его руку.

— Мои дочери, Маргарет и Сьюзен. Мой сын Джон. Дети, вы, конечно, помните капитана?

Рукопожатия, смех, оживленная речь.

Капитан Уайлдер потянул носом.

— Неужели *имбирные пряники*?

— Хотите?

Все пришли в движение. Мигом были установлены складные столы, извлечены из печей горячие блюда, появились тарелки, столовое серебро, камчатные салфетки. Капитан Уайлдер долго глядел на миссис Хетэуэй, потом перевел взгляд на ее сына и бесшумнодвигающихся высоких дочерей. Рассматривал мелькающие лица, ловил каждое движение молодых рук, каждое выражение гладких, без единой морщинки лиц. Он сел на стул, который принес сын миссис Хетэуэй.

— Сколько вам лет, Джон?

— Двадцать три, — ответил тот.

Уайлдер растерянно вертел в руках вилку и нож. Он вдруг побледнел. Сидевший рядом космонавт шепнул ему:

— Капитан Уайлдер, тут что-то не так.

Сын пошел за стульями.

— Что вы хотите сказать, Уильямсон?

— Мне сорок три года, капитан. Двадцать лет назад я учился вместе с молодым Хетэуэем. Он говорит, что ему теперь всего двадцать три, но это одна видимость. Это все неправильно. Ему должно быть сорок два, самое малое. Что все это значит, сэр?

— Не знаю.

— На вас лица нет, сэр.

— Мне нездоровится. И дочери тоже — я их видел лет двадцать назад, а они не изменились, ни одной морщинки. Можно попросить вас об одолжении, Уильямсон? Я хочу дать вам одно поручение. Объясню, куда пойти и что проверить. К концу завтрака незаметно скройтесь. Вам всего десять минут понадобится. Это недалеко отсюда. Я видел с ракеты, когда мы садились.

— Прощу! О чем это вы так серьезно разговариваете? — Миссис Хетэуэй проворно налила супу в их миски. — Улыбнитесь же! Мы все вместе опять, путешествие завершено, вы почти дома!

— Да-да, конечно. — Капитан Уайлдер засмеялся. Вы так чудесно, молодо выглядите, миссис Хетэуэй!

— Ах, эти мужчины!

Он смотрел, как она плавной походкой двинулась дальше, внимательно смотрел на ее разрумянившееся лицо, гладкое и свежее, точно наливное яблоко. Она звонко смеялась шуткам, усердно подкладывала салат на тарелки, не давая себе передышки. Долговязый сын и стройные дочери состязались с отцом в блестящем остроумии, рассказывая про долгие годы своей уединенной жизни, и гордый отец кивал, слушая речь детей.

Уильямсон сбежал вниз по склону.

— Куда это он? — спросил Хетэуэй.

— Проверить ракету, — ответил Уайлдер. — Так вот, Хетэуэй, на Юпитере ничего нет, человеку там делать нечего. На Сатурне и Плутоне — тоже...

Уайлдер говорил машинально, не слушая собственного голоса; он думал только об одном: сейчас Уильямсон бежит вниз, скоро он вернется, поднимется на горку и принесет ответ...

— Спасибо.

Маргарет Хетэуэй налила ему воды в стакан. Движимый внезапным побуждением, капитан коснулся ее плеча. Она отнеслась к этому совершенно спокойно. У нее было теплое, нежное тело.

Сидевший против капитана Хетэуэй то и дело замолкал и с искаженным болью лицом касался пальцами груди, затем вновь продолжал слушать негромкий разговор и случайные звонкие возгласы, поминутно бросая озабоченные взгляды на Уайлдера, который жевал свой пряник без видимого удовольствия.

Вернулся Уильямсон. Он молча ковырял вилкой еду, пока капитан не шепнул через плечо:

— Ну?

— Я нашел это место, сэр.

— Ну, ну?

Уильямсон был бледен, как полотно. Он не сводил глаз с веселой компании. Дочери сдержанно улыбались, сын рассказывал какой-то анекдот.

Уильямсон сказал:

— Я прошел на кладбище.

— Видели четыре креста?

— Видел четыре креста, сэр. И имена сохранились. Я записал их, чтобы не ошибиться. — Он стал читать по белой бумажке: — Алиса,

Маргарет, Сьюзен и Джон Хетэуэй. Умерли от неизвестного вируса. Июль 2007 года.

— Спасибо, Уильямсон. — Уайлдер закрыл глаза.

— Девятнадцать лет назад, сэр. — Рука Уильямсона дрожала.

— Да.

— Но кто же *эти*?

— Не знаю.

— Что вы собираетесь предпринять?

— Тоже не знаю.

— Расскажем остальным?

— Попозже. Продолжайте есть, как ни в чем не бывало.

— Мне что-то больше не хочется, сэр.

Завтрак завершало вино, принесенное с ракеты. Хетэуэй встал.

— За ваше здоровье. Я так рад снова быть вместе с друзьями. И еще за мою жену и детей — без них, в одиночестве, я бы не выжил здесь. Только благодаря их добрым заботам я находил в себе силы жить и ждать вашего прилета.

Он повернулся, держа бокал, в сторону своих домочадцев; они ответили ему смущенными взглядами, а когда все стали пить, и совсем опустили глаза.

Хетэуэй выпил до дна. Не успев даже крикнуть, он упал ничком на стол и сполз на землю. Несколько человек подбежали и положили его поудобнее. Врач наклонился, послушал сердце. Уайлдер тронул врача за плечо. Тот поднял на него взгляд и покачал головой. Уайлдер опустился на колени и взял руку старика.

— Уайлдер? — голос у Хетэуэя был едва слышен. — Я испортил вам завтрак.

— Чепуха.

— Прощайтесь за меня с Алисой и детьми.

— Сейчас я их позову.

— Нет-нет, не надо! — задыхаясь, прошептал Хетэуэй. — Они не поймут. И я не хочу, чтобы они понимали! Не надо!

Уайлдер повиновался.

Хетэуэй умер.

Уайлдер долго не отходил от него. Наконец поднялся и пошел прочь от потрясенных людей, окруживших Хетэуэя. Он подошел к Алисе Хетэуэй, глянул ей в лицо и сказал:

— Вы знаете, что случилось?

— Что-нибудь с моим мужем?

— Он только что скончался: сердце. — Уайлдер следил за выражением ее лица.

— Очень жаль, — сказала она.

— Вам не больно? — спросил он.

— Он не хотел, чтобы мы огорчились. Он предупредил нас, что это когда-нибудь произойдет, и велел нам не плакать. Знаете, он даже не научил нас плакать, не хотел, чтобы мы умели. Говорил, что хуже всего для человека познать одиночество, познать тоску и плакать. Поэтому мы не должны знать, что такое слезы и печаль.

Уайлдер поглядел на ее руки, мягкие, теплые руки, на красивые наманикюренные ногти, тонкие запястья. Посмотрел на ее длинную, нежную белую шею и умные глаза. Наконец сказал:

— Мистер Хетэуэй великолепно сделал вас и детей.

— Ваши слова обрадовали бы его. Он очень гордился нами. А потом даже забыл, что сам нас сделал. Полюбил нас, принимал за настоящих жену и детей. В известном смысле так оно и есть

— С вами ему было легче.

— Да, из года в год мы все сидели и разговаривали. Он любил разговаривать. Любил нашу каменную лачугу и камин. Можно было поселиться в настоящем доме в городе, но ему больше нравилось здесь, где он мог по своему выбору жить то примитивно, то на современный лад. Он рассказывал мне про свою лабораторию и про всякие вещи, что он там делал. Весь этот заброшенный американский город внизу он оплел громкоговорителями. Нажмет кнопку — всюду загораются огни и город начинает шуметь, точно в нем десять тысяч людей. Слышится гул самолетов, автомашин, людской говор. Он, бывало, сидит, курит сигару и разговаривает с нами, а снизу доносится шум города. Иногда звонит телефон, и записанный на пленку голос спрашивает у мистера Хетэуэя совета по разным научным и хирургическим вопросам, и он отвечает. Телефонные звонки, и мы тут, и городской шум, и сигара — и мистер Хетэуэй был вполне счастлив. Только одного он не сумел сделать — чтобы мы старились. Сам старился с каждым днем, а мы оставались все такими же. Но мне кажется, это его не очень-то беспокоило. Полагаю даже, он сам того хотел.

— Мы похороним его внизу, на кладбище, где стоят четыре креста. Думаю, это отвечает его желанию.

Она легко коснулась рукой его запястья.

— Я уверена в этом.

Капитан распорядился. Маленькая процессия тронулась к подножию

холма; семья следовала за ней. Двое несли Хетэуэя на накрытых носилках. Они прошли мимо каменной лачуги, потом мимо сарая, где Хетэуэй много лет назад начал свою работу. Уайлдер помешкал возле двери этой мастерской.

Каково это, спрашивал он себя, жить на планете с женой и тремя детьми — и вдруг они умирают, оставляя тебя наедине с ветром и безмолвием? Как поступит в таком положении человек? Он похоронит умерших на кладбище, поставит кресты, потом придет в мастерскую и, призвав на помощь силу ума и памяти, сноровку рук и изобретательность, соберет, частица за частицей, то, что стало затем его женой, сыном, дочерьми. Когда под горой есть американский город, где можно найти все необходимое, незаурядный человек, пожалуй, может создать все что угодно.

Звук их шагов потонул в песке. На кладбище, когда они пришли, два человека уже копали могилу.

Они вернулись к ракете под вечер.

Уильямсон кивком указал на каменную лачугу.

— Что будем делать с ними?

— Не знаю, — сказал капитан.

— Может, вы их выключите?

— Выключить? — Капитан несколько удивился. — Мне это не приходило в голову.

— Но вы же не повезете их с собой?

— Нет, это ни к чему.

— Неужели вы хотите оставить их здесь, вот таких, какие они есть?

Капитан протянул Уильямсону пистолет.

— Если вы можете что-нибудь сделать, вы сильнее меня.

Пять минут спустя Уильямсон вернулся от лачуги, весь в испарине.

— Вот, возьмите свой пистолет. Теперь я вас понимаю. Я вошел к ним с пистолетом в руке. Одна из дочерей улыбнулась мне. И остальные. Жена предложила мне чашку чаю. Боже мой, это было бы просто убийство!

Уайлдер кивнул.

— Такого совершенства человек больше никогда не создаст. Они созданы для долголетия — десять, пятьдесят, двести лет. Так-то... У них ничуть не меньше прав на... на жизнь, чем у вас, меня, любого из нас. — Он выбил пепел из трубки. — Ладно, поднимайтесь на борт. Полетим дальше. Этот город все равно погиб, нам он не годится.

День угасал. Подул холодный ветер. Весь экипаж уже был на борту. Капитан медлил. Уильямсон спросил:

— Уж не собираетесь ли вы сходить э-э... попрощаться с ними?

Капитан холодно посмотрел на Уильямсона.

— Не ваше дело.

Уайлдер зашагал в гору навстречу сумрачному ветру. Космонавты увидели, как его силуэт замер в дверях лачуги. Они увидели силуэт женщины. Они увидели, как их командир пожал ей руку.

Спустя минуту он бегом вернулся к ракете.

По ночам, когда ветер свистит над ложем мертвого моря, над шестигранниками на кладбище, над четырьмя старыми крестами и одним новым, по ночам в низкой каменной лачуге горит свет; ревет ветер, вихрится пыль, сверкают холодные звезды, а в той лачуге четыре фигуры — женщина, две дочери и сын — не дают погаснуть огню в камине, сами не зная зачем, и разговаривают, и смеются.

Из года в год, из года в год, каждую ночь, сама не зная зачем, женщина выходит из лачуги и, вскинув руки, долго смотрит на небо, на зеленое пламя Земли, не понимая, зачем она это делает; потом возвращается в дом и подкидывает щепку в огонь, а ветер крепчает, и мертвое море продолжает оставаться мертвым.

Август 2026

Будет ласковый дождь

В гостиной говорящие часы настойчиво пели: *тик-так, семь часов, семь утра, вставать пора!* — словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили свое в пустоту: *девять минут восьмого, к завтраку все готово, девять минут восьмого!*

На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева восемь безупречно поджаренных тостов, четыре глазуньи, шестнадцать ломтиков бекона, две чашки кофе и два стакана холодного молока.

— Сегодня в городе Эллендейле, штат Калифорния, четвертое августа две тысячи двадцать шестого года, — произнес другой голос, с потолка кухни. Он повторил число трижды, чтобы получше запомнили. — Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна. Годовщина свадьбы Тилиты. Подошел срок страхового взноса, пора платить за воду, газ, свет.

Где то в стенах щелкали реле, перед электрическими глазами скользили ленты памятки.

Восемь одна, тик-так, восемь одна, в школу пора, на работу пора, живо, живо, восемь одна! Но не хлопали двери, и не слышалось мягкой поступи резиновых каблучков по коврам.

На улице шел дождь. Метеокоробка на наружной двери тихо пела: «Дождик, дождик целый день, плащ, галоши ты надень...» Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома.

Во дворе зазвонил гараж, поднимая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина... Минута, другая — дверь опустилась на место.

В восемь тридцать яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину, оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском.

Девять пятнадцать, — пропели часы, — *пора уборкой заняться.*

Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Они стучались о кресла, вертели своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо высасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свои убежища. Их розовые

электрические глазки потухли. Дом был чист.

Десять часов. Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видимое на много миль вокруг.

Десять пятнадцать. Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекала по обугленной западной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, катящего травяную косилку. А вот, точно на фотографии, женщина нагнулась за цветком. Дальше — еще силуэты, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение... Мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного мяча, напротив мальчишки — девочка, ее руки подняты, ловят мяч, который так и не опустился.

Только пять пятен краски — мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное — тонкий слой древесного угля.

Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света...

Как надежно оберегал дом свой покой вплоть до этого дня! Как бдительно он спрашивал: «Кто там? Пароль?» И, не получая нужного ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих котов, затворял окна и опускал шторы с одержимостью старой девы. Самосохранение, граничащее с психозом, — если у механизмов может быть паранойя.

Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко щелкала штора и перепуганная птица летела прочь. Никто — даже воробей — не смел прикасаться к дому!

Дом был алтарем с десятью тысячами священнослужителей и прислужников, больших и маленьких, они служили и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку.

Двенадцать.

У парадного крыльца заскулил продрогнувший пес.

Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пес, некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа да кости, весь в парше, вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши — сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать!

Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под

дверью, как стенные панели мигом приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах, пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда по трубам мусор спускался в подвал, в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным Ваалом притаился в темном углу.

Пес побежал наверх, истерически лая перед каждой дверью, пока не понял — как это уже давно понял дом, — что никого нет, есть только мертвая тишина.

Он принялся и поскреб кухонную дверь, потом лег возле нее, продолжая нюхать. Там, за дверью, плита пекла блины, от которых по всему дому шел сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки.

Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя. Пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и сдох. Почти час пролежал он в гостиной.

Два часа, — пропел голос.

Учуяв наконец едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей, легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим веером.

Два пятнадцать.

Пес исчез.

Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр.

Два тридцать пять.

Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка.

Но столы хранили молчание, и никто не брал карт.

В четыре часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены.

Половина пятого.

Стены детской комнаты засветились.

На них возникли животные: желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые к краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминая волнуемое ветром поле, и по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки, а в жарком неподвижном воздухе, в остром запахе звериных следов, порхали бабочки из тончайшей

розовой ткани! Слышался звук, как от огромного, копошащегося в черной пустоте кузнечных мехов роя пчел: ленивое урчание сытого льва. Слышался цокот копыт окапи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам.

Время детской передачи.

Пять часов. Ванна наполнилась прозрачной горячей водой.

Шесть, семь, восемь часов. Блюда с обедом проделали удивительные фокусы, потом что-то щелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара с шапочкой мягкого серого пепла.

Девять часов. Невидимые провода согрели простыни — здесь было холодно по ночам.

Девять ноль пять. В кабинете с потолка донесся голос:

— Миссис Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня?

Дом молчал.

Наконец голос сказал:

— Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь наудачу.

Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент.

— Сара Тисдейл. Ваше любимое, если не ошибаюсь...

Будет ласковый дождь, будет запах земли.

Щебет юрких стрижей от зари до зари,

И ночные рулады лягушек в прудах.

И цветение слив в белопенных садах;

Огнегрудый комочек слетит на забор,

И малиновки трель выткет звонкий узор.

И никто, и никто не вспомнит войну.

Пережито-забыто, ворошить ни к чему.

И ни птица, ни ива слезы не прольет,

Если сгинет с Земли человеческий род.

*И весна... и Весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет.*

В камине трепетало, угасая, пламя, сигара осыпалась кучкой немого пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла, играла музыка.

В десять часов наступила агония.

Подул ветер. Сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась вдребезги о плиту. Миг — и вся кухня охвачена огнем!

— Пожар! — послышался крик. Лампы замигали, с потолков, нагнетаемые насосами, хлынули струи воды. Но горючая жидкость растекалась по линолеуму, она просочилась, нырнула под дверь и уже целый хор подхватил:

— Пожар! Пожар! Пожар!

Дом старался выстоять. Двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жара, и ветер раздувал огонь.

Под натиском огня, десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать.

Еще из стен, семена, выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. И стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос. Прекратился дождь-огнеборец. Иссякла вода в запасном баке, который много-много дней питал ванны и посудомойки.

Огонь потрескивал, пожирая ступеньку за ступенькой. В верхних комнатах он, словно гурман, смаковал картины Пикассо и Матисса, слизывая маслянистую корочку и бережно скручивая холсты черной стружкой.

Он добрался до кроватей, вот уже скачет по подоконникам, перекрашивает портьеры!

Но тут появилось подкрепление.

Из чердачных люков вниз уставились незрячие лица роботов, изрыгая ртами-форсунками зеленые химикалии.

Огонь попятился: даже слон пятится при виде мертвой змеи. А тут по

полу хлестало двадцать змей, умерщвляя огонь холодным чистым ядом зеленой пены.

Но огонь был хитер, он послал языки пламени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв! Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовой шрапнелью вонзился в балки.

Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду.

Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями, его оголенный скелет корчился от жара, сеть проводов — его нервы — обнажилась, словно некий хирург содрал с него кожу, чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскаленном воздухе. Караул, караул! Пожар! Бегите, спасайтесь! Огонь крошил зеркала, как хрупкий зимний лед. А голоса причитали: «Пожар, пожар, бегите, спасайтесь!» Словно печальная детская песенка, которую в двенадцать голосов, кто громче, кто тише, пели умирающие дети, брошенные в глухом лесу. Но голоса умолкали один за другим по мере того, как лопалась, подобно жареным каштанам, изоляция на проводах. Два, три, четыре, пять голосов заглохли.

В детской комнате пламя объяло джунгли. Рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы. Пантеры метались по кругу, поминутно меняя окраску; десять миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали...

Еще десять голосов умерли. В последний миг сквозь гул огневой лавины можно было различить хор других, сбитых с толку голосов, еще объявлялось время, играла музыка, метались по газону телеуправляемые косилки, обезумевший зонт прыгал взад-вперед через порог наружной двери, которая непрерывно то затворялась, то отворялась, — одновременно происходила тысяча вещей, как в часовой мастерской, когда множество часов вразнобой лихорадочно отбивают время: то был безумный хаос, спаянный в некое единство; песни, крики, и последние мыши-мусорщики храбро выскакивали из нор — расчистить, убрать этот ужасный, отвратительный пепел! А один голос с полнейшим пренебрежением к происходящему декламировал стихи в пылающем кабинете, пока не сгорели все пленки, не расплавились провода, не рассыпались все схемы.

И наконец, пламя взорвало дом, и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр.

На кухне, за мгновение до того, как посыпались головни и горящие балки, плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки: десять десятков яиц, шесть батонов тостов, двести ломтей бекона — и все, все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще!

Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную, гостиная — в цокольный этаж, цокольный этаж — в подвал. Холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы — все рухнуло вниз обугленными скелетами.

Дым и тишина. Огромные клубы дыма.

На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин. Из этой стены говорил последний одинокий голос, солнце уже осветило дымящиеся обломки, а он все твердил:

— Сегодня 5 августа 2026 года, сегодня 5 августа 2026 года, сегодня...

Октябрь 2026

Каникулы на Марсе

Эту мысль почему-то высказала мама — а не отправиться ли всей семьей на рыбалку? На самом деле слова были не мамины, Тимоти отлично это знал. Слова были папины, но почему-то их за него сказала мама.

Папа, переминаясь с ноги на ногу на шуршащей марсианской гальке, согласился. Тотчас поднялся шум и гам, в мгновение ока лагерь был свернут, все уложено в капсулы и контейнеры, мама надела дорожный комбинезон и куртку, отец, не отрывая глаз от марсианского неба, набил трубку дрожащими руками, и трое мальчиков с радостными воплями кинулись к моторной лодке — из всех троих один Тимоти все время посматривал на папу и маму.

Отец нажал кнопку. К небу взмыл гудящий звук. Вода за кормой ринулась назад, а лодка помчалась вперед, под дружные крики «ура!».

Тимоти сидел на корме вместе с отцом, положив свои тонкие пальцы на его волосатую руку. Вот за изгибом канала скрылась изрытая площадка, где они сели на своей маленькой семейной ракете после долгого полета с Земли. Ему вспомнилась ночь накануне вылета, спешка и суматоха, ракета, которую отец каким-то образом где-то раздобыл, разговоры о том, что они летят на Марс отдыхать. Далековато, конечно, для каникулярной поездки, но Тимоти промолчал, потому что тут были младшие братишки. Они благополучно добрались до Марса и вот с места в карьер отправились — во всяком случае, так было сказано — на рыбалку.

Лодка неслась по каналу... Странные глаза у папы сегодня. Тимоти никак не мог понять, в чем дело. Они ярко светились, и в них было облегчение, что ли. И от этого глубокие морщины смеялись, а не хмурились и не скорбели.

Новый поворот канала — и вот уже скрылась из глаз остывшая ракета.
— А мы далеко едем?

Роберт шлепал рукой по воде — будто маленький краб прыгал по фиолетовой глади.

Отец вздохнул:

— За миллион лет.

— Ух ты! — удивился Роберт.

— Поглядите, дети. — Мама подняла длинную гибкую руку. —

Мертвый город.

Завороженные, они уставились на вымерший город, а он безжизненно простерся на берегу для них одних и дремал в жарком безмолвии лета, дарованном Марсу искусством марсианских метеорологов.

У папы было такое лицо, словно он радовался тому, что город мертв.

Город: хаотическое нагромождение розовых глыб, уснувших на песчаном косогоре, несколько поваленных колонн, заброшенное святилище, а дальше — опять песок, песок, миля за милей... Белая пустыня вокруг канала, голубая пустыня над ним.

Внезапно с берега взлетела птица. Точно брошенный кем-то камень пронесся над голубым прудом, врезался в толщу воды и исчез.

Папа даже изменился в лице от испуга.

— Мне почудилось, что это ракета.

Тимоти смотрел в пучину неба, пытаясь увидеть Землю, и войну, и разрушенные города, и людей, которые убивали друг друга, сколько он себя помнил. Но ничего не увидел. Война была такой же далекой и абстрактной, как две мухи, сражающиеся насмерть под сводами огромного безмолвного собора. И такой же нелепой.

Уильям Томас отер пот со лба и взволнованно ощутил на своей руке прикосновение пальцев сына, легких, как паучьи лапки.

Он улыбнулся сыну:

— Ну, как оно, Тимми?

— Отлично, папа.

Тимоти никак не мог до конца разобраться, что происходит в этом огромном взрослом механизме рядом с ним. В этом человеке с большим, шелушащимся от загара орлиным носом, с ярко-голубыми глазами вроде каменных шариков, которыми он играл летом дома, на Земле, с длинными, могучими, как колонны, ногами в широких бриджах.

— Что ты так высматриваешь, пап?

— Я искал земную логику, здравый смысл, разумное правление, мир и ответственность.

— И как — увидел?

— Нет. Не нашел. Их больше нет на Земле. И, пожалуй, не будет никогда. Возможно, мы только сами себя обманывали, а их вообще и не было.

— Это как же?

— Смотри, смотри, вон рыба, — показал отец.

Трое мальчиков звонко вскрикнули, и лодка накренилась, так дружно

они изогнули свои тонкие шейки, торопясь увидеть. Ух ты, вот это да! Мимо проплыла серебристая рыба-кольцо, извиваясь и мгновенно сжимаясь, точно зрачок, едва только внутрь попадали съедобные крупинки.

— В точности как война, — глухо произнес отец. — Война плывет, видит пищу, сжимается. Миг — и Земли нет.

— Уильям, — сказала мама.

— Извини.

Они примолкли, а мимо стремительно неслась студеная стеклянная вода канала. Ни звука кругом, только гул мотора, шелест воды, струи распаренного солнцем воздуха.

— А когда мы увидим марсиан? — воскликнул Майкл.

— Скоро, — заверил его отец. — Может быть, вечером.

— Но ведь марсиане все вымерли, — сказала мама.

— Нет, не вымерли, — не сразу ответил папа. — Я покажу вам марсиан, точно.

Тимоти нахмурился, но ничего не сказал. Все было как-то не так. И каникулы, и рыбалка, и эти взгляды, которыми обменивались взрослые.

А его братья уже уставились из-под ладошек на двухметровую каменную стенку канала, высматривая марсиан.

— Какие они? — допытывался Майкл.

— Узнаешь, когда увидишь. — Отец вроде усмехнулся, и Тимоти заметил, как у него подергивается щека.

Мама была хрупкая и нежная, золотая коса лежала тиарой на голове, а глаза были такого же цвета, как глубокая студеная вода канала в тени, почти пурпурные, с янтарными крапинками. Можно было видеть, как плавают мысли в ее глазах — словно рыбы, одни светлые, другие темные, одни быстрые, стремительные, другие медленные, неторопливые, а иногда — скажем, если она глядела на небо, туда, где Земля, — в глазах ничего не было, один только цвет... Мама сидела на носу лодки, одну руку она положила на борт, вторую на заглаженную складку своих брюк, и полоска мягкой загорелой шеи обрывалась там, где, подобно белому цветку, открывался воротник.

Она все время глядела вперед, что-то высматривая, но не могла разглядеть и обернулась к мужу; в его глазах она увидела отражение того, что впереди, а он к этому отражению добавил что-то от самого себя, свою твердую решимость, и напряжение спало с ее лица, она снова повернулась вперед, теперь уже спокойно, зная, чего ей искать.

Тимоти тоже смотрел. Но он видел лишь прямую черту фиолетового канала посреди широкой ровной долины, обрамленной низкими

размытыми холмами. Черта уходила за край неба, и канал тянулся все дальше, дальше, сквозь города, которые — встряхни их — загремели бы, словно жуки в высохшем черепе. Сто, двести городов, видящих летние сны — жаркие днем и прохладные ночью...

Они пролетели миллионы миль ради этого пикника, ради рыбалки. А в ракете было оружие. Называется, поехали на каникулы! А для чего все эти продукты — хватит с лихвой не на один год, — которые они спрятали по соседству с ракетой? Каникулы! Но за этими каникулами скрывалась не радостная улыбка, а что-то жестокое, твердое, даже страшное. Тимоти никак не мог раскусить этот орешек, а братьям не до того, — что может занимать мальчишек в десять и восемь лет?

— Ну, где же марсиане? Дураки какие-то! — Роберт положил клинышек подбородка на ладони и уставился в канал.

У папы на запястье было атомное радио, сделанное по старинке: прижми его к голове, возле уха, и радио начнет вибрировать, напевая или говоря что-нибудь. Как раз сейчас папа слушал, и лицо его было похоже на один из этих погибших марсианских городов — угрюмое, изможденное, безжизненное.

Потом он дал послушать маме. Ее губы раскрылись.

— Что... — начал Тимоти свой вопрос, но не договорил.

Потому что в этот миг их встряхнули и ошеломили два громоздящихся друг на друга исполинских взрыва, за которыми последовало несколько толчков послабее.

Отец вскинул голову и тотчас прибавил ходу. Лодка рванулась и понеслась, прыгая и громко шлепая по воде. Роберт мигом оправился от страха, а Майкл испуганно и восторженно взвизгнул и прижался к маминым ногам, глядя, как мимо самого его носа летят быстрые струи.

Сбавив скорость, отец круто развернул лодку, и они скользнули в узкий отводной канал, к древнему полуразрушенному каменному причалу, от которого пахло крабами. Лодка ткнулась носом в причал так сильно, что всех швырнуло вперед, но никто не ушибся, а отец уже смотрел, обернувшись, не осталось ли на воде борозды, которая может выдать, где они укрылись. По глади канала разбегались длинные волны; облизав камень, они отступали, перехватывая набегающие сзади, все смешалось в игре солнечных бликов, потом рябь исчезла.

Папа прислушался. Они все прислушались.

Дыхание отца гулко отдавалось под навесом, будто удары кулака о холодные, влажные камни причала. Мамины кошачьи глаза глядели в полутьме на папу, допытываясь, что теперь будет.

Отец глубоко, с облегчением, вздохнул и рассмеялся сам над собой.

— Это же наша ракета! Что-то я становлюсь пугливым. Конечно, ракета.

— А что это было, пап, — спросил Майкл, — что это было?

— Просто мы взорвали нашу ракету, вот и все. — Тимоти старался говорить буднично. — Что ли не слыхал, как ракеты взрывают? Вот и нашу тоже...

— А зачем мы нашу ракету взорвали? — не унимался Майкл. — Зачем, пап?

— Так полагается по игре, дурачок! — ответил Тимоти.

— По игре?! — Майкл и Роберт очень любили это слово.

— Папа сделал так, чтобы она взорвалась, и никто не узнал, где мы сели и куда подевались! Если кто захочет нас искать, понятно?

— Ух ты, тайна!

— Собственной ракеты испугался, — признался отец маме. — Нервы! Смешно даже подумать, будто здесь могут появиться другие ракеты. Разве что еще одна прилетит: если Эдвардс с женой сумеют добраться.

Он снова поднес к уху маленький приемник. Через две минуты рука его упала, словно тряпичная.

— Все, конец, — сказал он маме. — Только что прекратила работу станция на атомном луче. Другие станции Земли давно молчат. В последние годы их всего-то было две-три. Теперь в эфире мертвая тишина. Видно, надолго.

— На сколько? — спросил Роберт.

— Может быть... может быть, ваши правнуки снова услышат радио, — ответил отец. Он сидел понурившись, и детям передалось то, что он чувствовал: смирение, отчаяние, покорность.

Потом он опять вывел лодку на главный канал, и они продолжали путь.

Вечерело. Солнце уже склонилось к горизонту; впереди простирались чередой мертвые города.

Отец говорил с сыновьями ласковым, ровным голосом. Прежде он часто бывал сух, замкнут, неприступен, теперь же — они это чувствовали — папа будто гладил их по голове своими словами.

— Майкл, выбирай город.

— Что, папа?

— Выбирай город, сынок. Любой город, какой тут нам подвернется.

— Ладно, — сказал Майкл. — А как выбирать?

— Какой тебе больше нравится. И ты, Роберт, и Тим тоже. Выбирайте

себе город по вкусу.

— Я хочу такой город, чтобы в нем были марсиане, — сказал Майкл.

— Будут марсиане, — ответил отец. — Обещаю. — Его губы обращались к сыновьям, но глаза смотрели на маму.

За двадцать минут они миновали шесть городов. Отец больше не поминал про взрывы, теперь для него как будто важнее всего на свете было веселить сыновей, чтобы им стало радостно.

Майклу понравился первый же город, но его отвергли, решив, что поспешные решения — не самые лучшие. Вторым городом никому не приглянулся. Его построили земляне, и деревянные стены домов уже превратились в труху. Третий город пришелся по душе Тимоти тем, что он был большой. Четвертый и пятый всем показались слишком маленькими, зато шестой у всех, даже у мамы, вызвал восторженные крики. «Ух ты!», «Блеск!», «Вот это да!».

Тут сохранилось в целостности около полусотни огромных зданий, улицы были хоть и пыльные, но мощные. Два-три старинных центробежных фонтана еще пульсировали влагой на площадях, и прерывистые струи, освещенные лучами заходящего солнца, были единственным проявлением жизни во всем городе.

— Здесь, — дружно сказали все.

Отец подвел лодку к пристани и выскочил на берег.

— Что ж, приехали. Все это — наше. Теперь будем жить здесь!

— Будем жить? — Майкл опешил. Он поднялся на ноги, глядя на город, потом повернулся лицом в ту сторону, где они оставили ракету. — А как же ракета? Как Миннесота?

— Вот, — сказал папа. Он прижал маленький радиоприемник к русой головке Майкла. — Слушай. Майкл прислушался.

— Ничего, — сказал он.

— Верно. Ничего. Ничего не осталось. Никакого Миннеаполиса, никаких ракет, никакой Земли.

Майкл поразмыслил немного над этим страшным откровением и тихонько захныкал.

— Погоди, Майкл, — поспешно сказал папа. — Я дам тебе взамен гораздо больше!

— Что? — Любопытство задержало слезы, но Майкл был готов сейчас же дать им волю, если дальнейшие откровения отца окажутся такими же печальными, как первое.

— Я дарю тебе этот город, Майкл. Он твой.

— Мой?

— Твой, Роберта и Тимоти, ваш собственный город, на троих.

Тимоти выпрыгнул из лодки.

— Смотрите, ребята, все наше! Все-все!

Он играл наравне с отцом, играл великолепно, всю душу вкладывал. После, когда все уляжется и устроится, он, возможно, уйдет куда-нибудь минут на десять и поплачет наедине. Но сейчас идет игра «семья на каникулах», и братишки должны играть.

Майкл и Роберт выскочили на берег. Они помогли выйти на пристань маме.

— Берегите сестренку, — сказал папа, лишь много позднее они поняли, что он подразумевал.

И они быстро-быстро пошли в большой розовокаменный город, разговаривая шепотом — в мертвых городах почему то хочется говорить шепотом, хочется смотреть на закат.

— Дней через пять, — тихо сказал отец, — я вернусь туда, где была наша ракета, и заберу продукты, которые мы спрятали в развалинах. Заодно поищу Берта Эдвардса с женой и дочерьми.

— Дочерьми? — повторил Тимоти. — Сколько их?

— Четыре.

— Как бы потом из-за этого неприятностей не было. — Мама медленно покачала головой.

— Девчонки. — Майкл скроил рожу, напоминающую каменные физиономии марсианских истуканов. — Девчонки.

— Они тоже на ракете прилетят?

— Да. Если им удастся. Семейные ракеты рассчитаны для полета на Луну, не на Марс. Нам просто повезло, что мы добрались

— А откуда ты взял ракету? — шепотом спросил Тимоти, двое других мальчуганов уже убежали вперед.

— Я ее прятал. Двадцать лет прятал, Тим. Убрал и надеялся, что никогда не понадобится. Наверное, надо было сдать ее государству, когда началась война, но я все время думал о Марсе...

— И о пикнике!..

— Вот-вот! Но это только между нами. Когда я увидел, что Земле приходит конец — я ждал до последней минуты! — то стал собираться в путь. Берт Эдвардс тоже припрятал корабль, но мы решили, что вернее всего стартовать порознь на случай, если кто-нибудь попытается нас сбить.

— А зачем ты ее взорвал, папа?

— Чтобы мы не могли вернуться, никогда. И чтобы эти недобрые люди, если они когда-нибудь окажутся на Марсе, не узнали, что мы тут.

— Ты поэтому все время на небо глядишь?

— Конечно, глупо. Никто не будет нас преследовать. Не на чем. Я чересчур осторожен, в этом все дело.

Прибежал обратно Майкл.

— Пап, это вправду наш город?

— Вся планета с ее окрестностями принадлежит нам, ребята. Целиком и полностью.

Они стояли — Король Холмов и Пригорков, Первейший из Главных, Правитель Всего Обозримого Пространства, Непогрешимые Монархи и Президенты, — пытаюсь осмыслить, что это значит, владеть целым миром, и как это много — целый мир!

В разреженной марсианской атмосфере быстро темнело. Оставив семью на площади возле пульсирующего фонтана, отец сходил к лодке и вернулся, неся в больших руках целую охапку бумаги.

На заброшенном дворе он сложил книги в кучу и поджег. Они присели на корточки возле костра погреться и смеялись, а Тимоти смотрел, как буквы прыгали, точно испуганные зверьки, когда огонь хватал их и пожирал. Бумага морщилась, словно стариковская кожа, пламя окружало и теснило легионы слов.

«Государственные облигации; Коммерческая статистика 1999 года; Религиозные предрассудки, эссе; Наука о военном снабжении; Проблемы панамериканского единства; Биржевой вестник за 3 июля 1998 года; Военный сборник...»

Отец нарочно захватил все эти книги именно для этой цели. И вот, присев у костра, он с наслаждением бросал их в огонь, одну за другой, и объяснял своим детям в чем дело.

Пора вам кое-что растолковать. Наверно, я был не прав, когда ограждал вас от всего. Не знаю, много ли вы поймете, но я все равно должен высказаться, даже если до вас дойдет только малая часть. Он уронил в огонь лист бумаги.

— Я сжигаю образ жизни — тот самый образ жизни, который сейчас выжигают с лица Земли. Простите меня, если я говорю как политик, но ведь я бывший губернатор штата. Я был честным человеком, и меня за это ненавидели. Жизнь на Земле никак не могла устояться, чтобы хоть что-то сделать как следует, основательно. Наука слишком стремительно и слишком далеко вырвалась вперед, и люди заблудились в машинных дебрях, они, словно дети, чрезмерно увлеклись занятыми вещами, хитроумными механизмами, вертолетами, ракетами. Не тем занимались; без конца придумывали все новые и новые машины — вместо того, чтобы

учиться управлять ими. Войны становились все более разрушительными и в конце концов погубили Землю. Вот что означает молчание радио. Вот от чего мы бежали. Нам посчастливилось. Больше ракет не осталось. Пора вам узнать, что мы прилетели вовсе не рыбу ловить. Я все откладывал, не говорил... Земля погибла. Пройдет века, прежде чем возобновятся межпланетные сообщения, — если они вообще возобновятся. Тот образ жизни доказал свою непригодность и сам себя задушил. Вы только начинаете жить. Я буду вам повторять все это каждый день, пока вы не усвоите...

Он остановился, чтобы подбросить в костер еще бумаги.

— Теперь мы одни. Мы и еще горстка людей, которые прилетят сюда через день-два. Достаточно, чтобы начать сначала. Достаточно, чтобы поставить крест на всем, что было на Земле, и идти по новому пути...

Пламя вспыхнуло ярче, как бы подчеркивая его слова. Уже все бумаги сгорели, кроме одной. Все законы и верования Земли превратились в крупички горячего пепла, который скоро развеет ветром.

Тимоти посмотрел на последний лист, что папа бросил в костер. Карта мира... Она корчилась, корежилась от жара, порх — и улетела горячей черной ночной бабочкой. Тимоти отвернулся.

— А теперь я покажу вам марсиан, — сказал отец. — Пойдем, вставайте. Ты тоже, Алиса.

Он взял ее за руку.

Майкл расплакался, папа поднял его и понес. Мимо развалин они пошли вниз к каналу.

Канал. Сюда завтра или послезавтра приедут на лодке их будущие жены, пока — смешливые девчонки, со своими папой и мамой.

Ночь окружила их, высыпали звезды. Но Земли Тимоти не мог найти. Уже зашла. Как тут не призадуматься...

Среди развалин кричала ночная птица. Снова заговорил отец:

— Мать и я попытаемся быть вашими учителями. Надеюсь, что мы сумеем... Нам довелось немало пережить и узнать. Это путешествие мы задумали много лет назад, когда вас еще не было. Не будь войны, мы, наверно, все равно улетели бы на Марс, чтобы жить здесь, по-своему, создать свой образ жизни. Земной цивилизации понадобилось бы лет сто, чтобы еще и Марс отравить. Теперь-то, конечно...

Они дошли до канала. Он был длинный, прямой, холодный, в его влажном зеркале отражалась ночь.

— Мне всегда так хотелось увидеть марсианина, — сказал Майкл. — Где же они, папа? Ты ведь обещал.

— Вот они, смотри, — ответил отец. Он посадил Майкла на плечо и указал прямо вниз.

Марсиане!.. Тимоти охватила дрожь.

Марсиане. В канале. Отраженные его гладью Тимоти, Майкл, Роберт, и мама, и папа.

Долго, долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели марсиане...

451° по Фаренгейту

451° по Фаренгейту — температура, при которой воспламеняется и горит бумага.

ДОНУ КОНГДОНУ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперёк.

Хуан Рамон Хименес

Предисловие к изданию романа «451 градус по Фаренгейту», 1966 год

С девяти лет и до подросткового возраста я проводил по крайней мере два дня в неделю в городской библиотеке в Уокигане (штат Иллинойс). А летними месяцами вряд ли был день, когда меня нельзя было найти там, прячущимся за полками, вдыхающим запах книг, словно заморских специй, пьянеющим от них ещё до чтения.

Позже, молодым писателем, я обнаружил, что лучший способ вдохновиться — это пойти в библиотеку Лос Анджелеса и бродить по ней, вытаскивая книги с полок, читать — строчку здесь, абзац там, выхватывая, пожирая, двигаться дальше и затем внезапно писать на первом попавшемся кусочке бумаги. Часто я стоял часами за столами-картотеками, царапая на этих клочках бумаги (их постоянно держали в библиотеке для записок исследователей), боясь прерваться и пойти домой, пока мной владело это возбуждение.

Тогда я ел, пил и спал с книгами — всех видов и размеров, цветов и стран. Это проявилось позже в том, что когда Гитлер сжигал книги, я переживал это так же остро как и, простите меня, когда он убивал людей, потому что за всю долгую историю человечества они были одной плоти. Разум ли, тело ли, кинутые в печь — это грех, и я носил это в себе, проходя мимо бесчисленных дверей пожарных станций, похлопывая служебных собак, любуясь своим длинным отражением в латунных шестах, по которым пожарники съезжают вниз. И я часто проходил мимо пожарных станций, идя и возвращаясь из библиотеки, днями и ночами, в Иллинойсе, мальчиком.

Среди записок о моей жизни я обнаружил множество страниц с описанием красных машин и пожарных, грохочущих ботинками. И я вспоминаю одну ночь, когда я услышал пронзительный крик из комнаты в доме моей бабушки, я прибежал в ту комнату, распахнул дверь, чтобы заглянуть вовнутрь и закричал сам.

Потому что там, карабкаясь по стене, находился светящийся монстр. Он рос у меня на глазах. Он издавал мощный рёвущий звук, словно из печи и казался фантастически живым, когда он питался обоями и пожирал потолок.

Это был, конечно, огонь. Но он казался ослепительным зверем, и я никогда не забуду его и то как он заморозил меня, прежде чем мы убежали,

чтобы наполнить ведро и убить его насмерть.

Наверное эти воспоминания — о тысячах ночей в дружелюбной, тёплой, огромной темноте, с лужами зелёного света ламп, в библиотеках, и пожарных станциях, и злобном огне, посетившем наш дом собственной персоной, соединившись позже со знанием о новых несгораемых материалах, послужили тому, чтобы «451 градус по Фаренгейту» вырос из записок в абзацы, из абзацев в повесть.

«451 градус по Фаренгейту» был полностью написан в здании библиотеки Лос-Анджелеса, на платной пишущей машинке, которой я был вынужден скармливать десять центов каждые полчаса. Я писал в комнате, полной студентов, которые не знали, что я там делал, точно так же как я не знал что они там делали. Наверное, какой-то другой писатель работал в этой комнате. Мне нравится так думать. Есть ли лучшее место для работы, нежели глубины библиотеки?

Но вот я уйду, и передаю Вас в руки самого себя, под именем Монтэг, в другой год, с кошмаром, с книгой, зажатой в руке, и книгой спрятанной в голове. Пожалуйста, пройдите с ним небольшой путь.

Часть 1

ОЧАГ И САЛАМАНДРА

Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник брандспойта зажат в кулаках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина, кровь стучит в висках, а руки кажутся руками диковинного дирижёра, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные, обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб, глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти: он нажимает воспламенитель — и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-жёлто-чёрные тона. Он шагает в рое огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве, — сунуть в огонь прутик с леденцом, пока книги, как голуби, шелестя крыльями-страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом, они взлетают в огненном вихре, и чёрный от копоти ветер уносит их прочь.

Жёсткая улыбка застыла на лице Монтэга, улыбка-гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнём и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения.

Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнёт своему обожжённому, измазанному сажей лицу. И позже в темноте, уже засыпая, он всё ещё будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица, никогда, сколько он себя помнит.

Он тщательно вытер и повесил на гвоздь чёрный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую куртку, с наслаждением вымылся под сильной струёй душа и, насвистывая, сунув руки в карманы, пересёк площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов, обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа.

Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд поглотил его, пролетел, как челнок, по хорошо смазанной трубе подземного туннеля и вместе с сильной струёй

тёплого воздуха выбросил на выложенный жёлтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность в одном из пригородов.

Насвистывая, Монтэг поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине. Не думая ни о чём, во всяком случае, ни о чём в особенности, он дошёл до поворота. Но ещё раньше, чем выйти на угол, он вдруг замедлил шаги, как будто ветер, налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то окликнул его по имени.

Уже несколько раз, приближаясь вечером к повороту, за которым освещённый звёздами тротуар вёл к его дому, он испытывал это странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть, за углом кто-то стоял. В воздухе была какая-то особая тишина, словно там, в двух шагах, кто-то притаился и ждал и лишь за секунду до его появления вдруг превратился в тень и пропустил его сквозь себя.

Может быть, его ноздри улавливали слабый аромат, может быть, кожей лица и рук он ощущал чуть заметное повышение температуры вблизи того места, где стоял кто-то невидимый, согревая воздух своим теплом. Понять это было невозможно. Однако, завернув за угол, он всякий раз видел лишь белые плиты пустынного тротуара. Только однажды ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но всё исчезло, прежде чем он смог взглядеться или произнести хоть слово.

Сегодня же у поворота он так замедлил шаги, что почти остановился. Мысленно он уже был за углом — и уловил слабый шорох. Чьё-то дыхание? Или движение воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал?

Он завернул за угол.

По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам, а скользит над ними, подгоняемая ветром и листвой. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки её туфель задевают кружащуюся листву. Её тонкое матовой белизны лицо светилось ласковым, неутолимým любопытством. Оно выражало лёгкое удивление. Тёмные глаза так пытливо смотрели на мир, что, казалось, ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье, оно шелестело. Монтэгу чудилось, что он слышит каждое движение её рук в такт шагам, что он услышал даже тот легчайший, неуловимый для слуха звук — светлый трепет её лица, когда, подняв голову, она увидела вдруг, что лишь несколько шагов отделяют её от мужчины, стоящего посреди тротуара.

Ветви над их головами, шурша, роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она готова была отпрянуть назад, но вместо того

она пристально поглядела на Монтэга, и её тёмные, лучистые, живые глаза так просияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. Но он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка, как заморожённая, смотрит на изображение саламандры, на рукаве его тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил:

— Вы, очевидно, наша новая соседка?

— А вы, должно быть... — она наконец оторвала глаза от эмблем его профессии, — пожарник? — Голос её замер.

— Как вы странно это сказали.

— Я... я догадалась бы даже с закрытыми глазами, — тихо проговорила она.

— Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется. — Он засмеялся. — Дочиста его ни за что не отмоешь.

— Да. Не отмоешь, — промолвила она, и в голосе её прозвучал страх.

Монтэгу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места.

— Запах керосина, — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание. — А для меня он всё равно, что духи.

— Неужели правда?

— Конечно. Почему бы и нет?

Она подумала, прежде чем ответить:

— Не знаю. — Потом она оглянулась назад, туда, где были их дома. — Можно, я пойду с вами? Меня зовут Кларисса Маклеллан.

— Кларисса... А меня — Гай Монтэг. Ну что ж, идёмте. А что вы тут делаете одна и так поздно? Сколько вам лет?

Тёплой ветреной ночью они шли по серебряному от луны тротуару, и Монтэгу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно — ведь на дворе осень.

Нет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом, и в лунном свете лицо её сияло, как снег. Он знал, что сейчас она обдумывает его вопросы, соображает, как лучше ответить на них.

— Ну вот, — сказала она, — мне семнадцать лет, и я помешанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит: если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, правда? Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запах, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролёт и

встречаю восход солнца.

Некоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво:

— Знаете, я совсем вас не боюсь.

— А почему вы должны меня бояться? — удивлённо спросил он.

— Многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарников. Но ведь вы, в конце концов, такой же человек...

В её глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел своё отражение, тёмное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное — даже складки у рта, — как будто её глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки заключившими в себе его образ. Её лицо, обращённое теперь к нему, казалось хрупким, матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным, немеркнущим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее, мягкое мерцание свечи. Как-то раз, когда он был ребёнком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий: мир изменился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоём, странно преображённые, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше. Вдруг Кларисса сказала:

— Можно спросить вас?.. Вы давно работаете пожарником?

— С тех пор как мне исполнилось двадцать. Вот уже десять лет.

— А вы когда-нибудь читаете книги, которые сжигаете?

Он рассмеялся.

— Это карается законом.

— Да-а... Конечно.

— Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в среду — Уитмена, в пятницу — Фолкнера. Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз.

Они прошли ещё немного. Вдруг девушка спросила:

— Правда ли, что когда-то, давно, пожарники тушили пожары, а не разжигали их?

— Нет. Дома всегда были несгораемыми. Поверьте моему слову.

— Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой, от какой-нибудь неосторожности. И тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь.

Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза.

— Почему вы смеётесь?

— Не знаю. — Он снова засмеялся, но вдруг умолк. — А что?

— Вы смеётесь, хотя я не сказала ничего смешного. И вы на всё отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила.

Монтэг остановился.

— А вы и правда очень странная, — сказал он, разглядывая её. — У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику!

— Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям.

— А это вам разве ничего не говорит? — Он легонько похлопал пальцами по цифре 451 на рукаве своей угольно-чёрной куртки.

— Говорит, — прошептала она, ускоряя шаги. — Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?

— Меняете тему разговора?

— Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят иначе, как на большой скорости, — продолжала она. — Покажите им зелёное пятно, и они скажут: ага, это трава! Покажите розовое — они скажут: а, это розарий! Белые пятна — дома, коричневые — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехать по шоссе со скоростью не более сорока миль в час. Его арестовали и посадили на два дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно.

— Вы слишком много думаете, — заметил Монтэг, испытывая неловкость.

— Я редко смотрю телевизионные передачи, и не бываю на автомобильных гонках, и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остаётся время для всяких сумасбродных мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длиною в двести футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиною всего в двадцать футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы никто их и прочитать не смог.

— Нет, я этого не знал! — Монтэг коротко рассмеялся.

— А я ещё кое-что знаю, чего вы, наверно, не знаете. По утрам на траве лежит роса.

Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но так и не смог и вдруг почувствовал раздражение.

— А если посмотреть туда, — она кивнула на небо, — то можно увидеть человечка на луне.

Но ему уже давно не случалось глядеть на небо...

Дальше они шли молча, она — задумавшись, он — досадуя и чувствуя

неловкость, по временам бросая на неё укоризненные взгляды.

Они подошли к её дому. Все окна были ярко освещены.

— Что здесь происходит? — Монтэгу никогда ещё не приходилось видеть такое освещение в жилом доме.

— Да ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость, всё равно как ходить пешком. Говорила я вам, что дядю ещё раз арестовали? Да, за то, что он шёл пешком. О, мы очень странные люди.

— Но о чём же вы разговариваете?

Девушка засмеялась.

— Спокойной ночи! — сказала она и повернула к дому. Но вдруг остановилась, словно что-то вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством взгляделась в его лицо.

— Вы счастливы? — спросила она.

— Что? — воскликнул Монтэг.

Но девушки перед ним уже не было — она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь.

— Счастлив ли я? Что за вздор!

Монтэг перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину во входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась.

— Конечно, я счастлив. Как же иначе? А она что думает — что я несчастлив? — спрашивал он у пустых комнат. В передней взор его упал на вентиляционную решётку. И вдруг он вспомнил, что там спрятано. Оно как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвёл глаза.

Какая странная ночь, и какая странная встреча! Такого с ним ещё не случалось. Разве только тогда в парке, год назад, когда он встретился со стариком и они разговорились...

Монтэг тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки — такое, каким оно сохранилось в его памяти, — прекрасное, даже больше, удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в тёмной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдёт солнце.

— В чём дело? — спросил Монтэг у своего второго, подсознательного «я», у этого чудачка, который временами вдруг выходит из повиновения и

болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку.

Он снова взглянул на стену. Как похоже её лицо на зеркало. Просто невероятно! Многих ли ты ещё знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... он помедлил в поисках сравнения, потом нашёл его, вспомнив о своём ремесле, — на факелы, которые полыхают во всю мочь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных трепетных мыслей!

Какой невероятной способностью перевоплощения обладала эта девушка! Она смотрела на него, Монтэга, как зачарованный зритель в театре марионеток, предвосхищала каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое движение пальцев.

Сколько времени они шли рядом? Три минуты? Пять? И вместе с тем как долго! Каким огромным казалось ему теперь её отражение на стене, какую тень отбрасывала её тоненькая фигурка! Он чувствовал, что если у него зачесется глаз, она моргнёт, если чуть напрягутся мускулы лица, она зевнёт ещё раньше, чем он сам это сделает.

И, вспомнив об их встрече, он подумал: «Да ведь, право же, она как будто знала наперёд, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час...»

Он открыл дверь спальни.

Ему показалось, что он вошёл в холодный, облицованный мрамором склеп, после того как зашла луна. Непроницаемый мрак. Ни намёка на залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Однако комната не была пуста.

Он прислушался.

Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своём уютном и тёплом розовом гнёздышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию.

Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго и, догорев, упала и погасла. Мрак. Темнота. Нет, он не счастлив. Он не счастлив! Он сказал это самому себе. Он признал это. Он носил своё счастье, как маску, но девушка отняла её и убежала через лужайку, и уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить, чтобы она вернула ему маску.

Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена,

распростёртая на кровати, не укрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремлёнными в потолок, словно притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у неё плотно вставлены миниатюрные «Ракушки», крошечные, с напёрсток, радиоприёмники-втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами омывает берега её бодрствующего мозга. Нет, комната была пуста. Каждую ночь сюда врывался океан звуков и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносил её, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние два года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью ещё и ещё раз.

В комнате было холодно, но Монтэг чувствовал, что задыхается.

Однако он не поднял штор и не открыл балконной двери — он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обречённостью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удушья, он ошупью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели.

За мгновение до того, как его нога наткнулась на предмет, лежавший на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу. Его нога, вызвав своим движением колебание воздуха, получила отражённый сигнал о препятствии на пути и почти в ту же секунду ударилась обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту.

Монтэг резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в кромешном мраке комнаты: дыхание было слабым, чуть заметным, в нём едва угадывалась жизнь — от него мог бы затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один-единственный волосок.

Он всё ещё не хотел впустить в комнату свет с улицы. Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал...

Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька, два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья, — над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни. — Милдред!

Её лицо было, как остров, покрытый снегом, если дождь прольётся над ним, оно не ощутит дождя, если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Недвижность, немота... Только жужжание ос-втулок, плотно закрывающих уши Милдред, только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющее крылья ноздрей — вдох и выдох, вдох и выдох, — и полная безучастность к тому, что в

любую минуту даже и это может прекратиться навсегда.

Предмет, который Монтэг задел ногой, тускло светился на полу возле кровати — маленький хрустальный флакончик, в котором ещё утром было тридцать снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо поблёскивая при свете крошечного огонька зажигалки.

Вдруг небо над домом заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки десять тысяч миль чёрного холста. Монтэга словно расколело надвое, словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики — первый, второй, первый, второй, первый, второй. Шесть, девять, двенадцать — один за другим, один за другим, сотрясая воздух оглушительным рёвом. Монтэг открыл рот, и звук ворвался в него сквозь его оскаленные зубы. Дом сотрясался. Огонёк зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону.

Бомбардировщики пролетели. Его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки:

— Больницу неотложной помощи.

Шёпот, полный ужаса...

Ему казалось, что от рёва чёрных бомбардировщиков звёзды превратились в пыль и завтра утром земля будет вся осыпана этой пылью, словно диковинным снегом.

Эта нелепая мысль не покидала его, пока он стоял в темноте возле телефона, дрожа всем телом, беззвучно шевеля губами.

Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как чёрная кобра на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнившего прошлого. Она пила зелёную жижу, всасывала её и выбрасывала вон. Могла ли она выпить всю темноту? Или весь яд, скопившийся там за долгие годы? Она пила молча, по временам захлёбываясь, издавая странные чмокающие звуки, как будто шарилась там на дне, что-то выискивая. У машины был глаз. Обслуживающий её человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытьё канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твёрдой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур глубже, высасывайте пустоту, если только может её высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея!

Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины.

Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла её свежей кровью и свежей плазмой.

— Приходится очищать их сразу двумя способами, — заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. — Желудок — это ещё не всё, надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови, кровь, как молотком, ударит в мозг — этак тысячи две ударов, и готово! Мозг сдаётся, просто перестаёт работать.

— Замолчите! — вдруг крикнул Монтэг.

— Я только хотел объяснить, — ответил санитар.

— Вы что, уже кончили? — спросил Монтэг.

Они бережно укладывали в ящики свои машины.

— Да, кончили. — Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили, дым вился, лез им в нос и глаза, но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. — Это стоит пятьдесят долларов.

— Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова?

— Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам — выкачивается старая кровь, вливается новая, и всё в порядке.

— Но ведь вы — не врачи! Почему не прислали врача?

— Врача-а! — сигарета подпрыгнула в губах у санитаря. — У нас бывает по девять-десять таких вызовов в ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза, остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса всё кончено. Однако надо идти, — они направились к выходу. — Только что получили по радио новый вызов. В десяти кварталах отсюда ещё кто-то проглотил всю коробочку со снотворным. Если опять понадобится, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснётся очень голодная. Пока!

И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой меланхолией и тёмной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату.

Монтэг тяжело опустился на стул и взгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь её лицо было спокойно, глаза закрыты, протянув руку, он ощутил на ладони теплоту её дыхания.

— Милдред, — выговорил он наконец.

«Нас слишком много, — думал он. — Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видел».

Прошло полчаса.

Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила её. Как порозовели её щёки, какими свежими и алыми стали губы! Теперь выражение их было нежным и спокойным. Чужая кровь взамен собственной...

Да, если бы можно было заменить также и плоть её, и мозг, и память! Если бы можно было самую душу её отдать в чистку, чтобы её там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно... Если бы можно!..

Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, впустил в комнату свежий ночной воздух. Было два часа ночи. Неужели прошёл всего час с тех пор, как он встретил на улице Клариссу Маклеллан, всего час с тех пор, как он вошёл в эту тёмную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик? Один только час, но как всё изменилось — исчез, растаял тот, прежний мир и вместо него возник новый, холодный и бесцветный.

Через залитую лунным светом лужайку до Монтэга долетел смех. Смех доносился из дома, где жили Кларисса, её отец и мать и её дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения, и доносился он в этот поздний час из ярко освещённого дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак.

Монтэг слышал голоса беседующих людей, они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов.

Монтэг вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчёта в том, что делает, пересёк лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: «Впустите меня. Я не скажу ни слова. Я буду молчать. Я только хочу послушать, о чём вы говорите».

Но он не двинулся с места. Он всё стоял, продрогший, окоченелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос (это, наверно, дядя) говорит спокойно и неторопливо:

— В конце концов, мы живём в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в неё сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают,

бросают... Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имён игроков? Ну-ка, скажи, например, в какого цвета фуфайках они выйдут на поле?

Монтэг побрёл назад к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошёл к Милдред, заботливо укутал её одеялом и лёг в свою постель. Лунный свет коснулся его скул, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо.

Упала первая капля дождя. Кларисса. Ещё капля. Милдред. Ещё одна. Дядя. Ещё одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая, Милдред. Третья. Дядя. Четвёртая. Пожар. Одна, другая, третья, четвёртая, Милдред, Кларисса, дядя, пожар, таблетки снотворного, люди — бумажные, салфетки, используй, брось, возьми новую! Одна, другая, третья, четвёртая. Дождь. Гроза. Смех дяди. Раскаты грома. Мир обрушивается потоками ливня. Пламя вырывается из вулкана. И всё кружится, несётся, бурной, клокочущей рекой устремляется сквозь ночь навстречу утру...

— Ничего больше не знаю, ничего не понимаю, — сказал Монтэг и положил в рот снотворную таблетку. Она медленно растаяла на языке.

Утром в девять часов постель Милдред была уже пуста. Монтэг торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился.

Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло.

Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся на тарелку. Уши её были плотно заткнуты гудящими электронными пчёлами. Подняв голову и увидев Монтэга, она кивнула ему.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. За десять лет знакомства с радиовтулками «Ракушка» Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и вложила в тостер свежий ломтик хлеба.

Монтэг сел.

— Не понимаю, почему мне так хочется есть, — сказала его жена.

— Ты... — начал он.

— Ужас, как проголодалась!

— Вчера вечером...

— Я плохо спала. Отвратительно себя чувствую, — продолжала она. — Господи, до чего хочется есть! Не могу понять почему...

— Вчера вечером... — опять начал он. Она рассеянно следила за его

губами.

— Что было вчера вечером?

— Ты разве ничего не помнишь?

— А что такое? У нас были гости? Мы кутили? Я сегодня словно с похмелья. Боже, до чего хочется есть! А кто у нас был?

— Несколько человек.

— Я так и думала. — Она откусила кусочек поджаренного хлеба. — Боли в желудке, но голодна ужасно. Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей?

— Нет, — сказал он тихо.

Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность.

— Ты тоже неважно выглядишь, — заметила его жена.

Во второй половине дня шёл дождь, всё кругом потемнело, мир словно затянуло серой пеленой. Он стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел на вентиляционную решётку. Его жена, читавшая сценарий в телевизиорной комнате, подняла голову и посмотрела на него.

— Смотрите-ка! Он думает!

— Да, — ответил он. — Мне надо поговорить с тобой. — Он помедлил. — Вчера ты проглотила все таблетки снотворного, все, сколько их было в флаконе.

— Ну да? — удивлённо воскликнула она. — Не может быть!

— Флакон лежал на полу пустой.

— Да не могла я этого сделать. Зачем бы мне? — ответила она.

— Может быть, ты приняла две таблетки, а потом забыла и приняла ещё две, и опять забыла и приняла ещё, а после, уже одурманенная, стала глотать одну за другой, пока не проглотила все тридцать или сорок — всё, что было в флаконе.

— Чепуха! Зачем бы я стала делать такие глупости?

— Не знаю, — ответил он.

Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушёл, — она этого даже не скрывала.

— Не стала бы я это делать, — повторила она. — Ни за что на свете.

— Хорошо, пусть будет по-твоему, — ответил он.

— Как сказала леди, — добавила она и снова углубилась в чтение сценария.

— Что сегодня в дневной программе? — спросил он устало.

Она ответила, не поднимая головы:

— Пьеса. Начинается через десять минут с переходом на все четыре стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что, это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея! Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня. И я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: «Что ты скажешь на это, Элен?» — и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю... я отвечаю... — она стала водить пальцем по строчкам рукописи. — Ага, вот: «По-моему, это просто великолепно!» Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: «Ты согласна с этим, Элен?» Тогда я отвечаю: «Ну, конечно, согласна». Правда, как интересно, Гай?

Он стоял в передней и молча смотрел на неё.

— Право же, очень интересно, — снова сказала она.

— А о чём говорится в пьесе?

— Я же тебе сказала. Там три действующих лица — Боб, Рут и Элен.

— А!

— Это очень интересно. И будет ещё интереснее, когда у нас будет четвёртая телевизорная стена. Как ты думаешь, долго нам ещё надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизорную? Это стоит всего две тысячи долларов.

— Третью моего годового заработка.

— Всего две тысячи долларов, — упрямо повторила она. — Не мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили четвёртую стену, эта комната была уже не только наша. В ней жили бы разные необыкновенные, занятые люди. Можно на чём-нибудь другом сэкономить.

— Мы и так уж на многом экономим, с тех пор как уплатили за третью стену. Если помнишь, её поставили всего два месяца назад.

— Только два месяца? — Она остановила на нём задумчивый взгляд.

— Ну, до свидания, милый.

— До свидания, — ответил он, направляясь к выходу, но вдруг остановился и обернулся. — А какой конец в этой пьесе? Счастливый?

— Я ещё не дочитала до конца.

Он подошёл, взглянул на последнюю страницу, кивнул головой, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу.

Дождь уже почти перестал. Девушка шла посередине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на её лицо. Увидев Монтэга, она

улыбнулась.

— Здравствуйте.

Монтэг ответил на приветствие, затем спросил:

— Что это вы делаете? Ещё что-то придумали?

— Ну да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо! Я люблю гулять под дождём.

— Мне бы не понравилось — ответил он.

— А может, и понравилось бы, если бы попробовали.

— Я никогда не пробовал.

Она облизнула губы.

— Дождик даже на вкус приятен.

— Всегда вам хочется что-то попробовать. — сказал он. — Хоть раз, да попробовать.

— А бывает, что и не раз, — ответила она и взглянула на то, что прятала в руке.

— Что там у вас? — спросил он.

— Одуванчик. Последний, наверно. Вот уж не думала, что найду одуванчик так поздно осенью. Теперь нужно его взять и потереть под подбородком. Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите! — Смеясь, она провела цветком у себя под подбородком.

— Зачем?

— Если останется след — значит, я влюблена. Ну как?

Что было делать? Он взглянул на её подбородок.

— Ну? — спросила она.

— Жёлтый стал.

— Чудесно! А теперь проверим на вас.

— У меня ничего не выйдет.

— Посмотрим. — И, не дав ему опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, а она рассмеялась. — Стойте смирно!

Оглядев его подбородок, она нахмурилась.

— Ну как? — спросил он.

— Какая жалость! — воскликнула она. — Вы ни в кого не влюблены!

— Нет, влюблён.

— Но этого не видно.

— Я влюблён, очень влюблён. — Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно. — Я влюблён, — упрямо повторил он.

— Не смотрите так! Пожалуйста, не надо!

— Это ваш одуванчик виноват, — сказал он. — Вся пыльца сошла вам

на подбородок. А мне ничего не осталось.

— Ну вот, я вас расстроила? Я вижу, что расстроила. Простите, я, право, не хотела... — она легонько тронула его за локоть...

— Нет-нет, — поспешно ответил он. — Я ничего.

— Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились.

— Я не сержусь. Так, чуточку огорчился.

— Я иду к своему психиатру. Меня заставляют ходить к нему. Ну я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица. Приходится облупливать слой за слоем.

— Я тоже склонён думать, что вам нужен психиатр, — сказал Монтэг.

— Неправда. Вы этого не думаете.

Он глубоко вздохнул, потом сказал:

— Верно. Я этого не думаю.

— Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию.

— Хорошо. Покажите.

— Они то и дело спрашивают, чем это я всё время занята. Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю. Но не говорю, о чём. Пусть поломают голову. А иногда я им говорю, что люблю, откинув назад голову, вот так, ловить на язык капли дождя. Они на вкус, как вино. Вы когда-нибудь пробовали?

— Нет, я...

— Вы меня простили? Да?

— Да. — Он на минуту задумался. — Да, простил. Сам не знаю почему. Вы какая-то особенная, на вас обижаешься и вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам семнадцать лет?

— Да, будет через месяц.

— Странно. Очень странно. Моей жене — тридцать, но иногда мне кажется, что вы гораздо старше её. Не понимаю, отчего у меня такое чувство.

— Вы тоже какой-то особенный, мистер Монтэг. Временами я даже забываю, что вы пожарник. Можно опять рассердить вас?

— Ладно, давайте.

— Как это началось? Как вы попали туда? Как выбрали эту работу и почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видала некоторых — я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера заговорила о луне, вы взглянули на небо. Те, другие, никогда бы этого не

сделали. Те просто ушли бы и не стали меня слушать. А то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость. Поэтому мне странно, что вы пожарник. Как-то не подходит к вам.

Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам и одна его половина была горячей как огонь, а другая холодной как лёд, одна была нежной, другая — жёсткой, одна — трепетной, другая — твёрдой как камень. И каждая половина его раздвоившегося «я» старалась уничтожить другую.

— Вам пора. Не опоздайте к своему психиатру, — сказал он.

Она убежала, оставив его на тротуаре под дождём. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо дождю, на мгновение открыл рот...

Механический пёс спал и в то же время бодрствовал, жил и в то же время был мёртв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещённой конуре в конце тёмного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках в ноздрях этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих восьми паучьих, подбитых резиной лапах.

Монтэг соскользнул вниз по бронзовому шесту и вышел поглядеть на спящий город. Тучи рассеялись, небо было чисто. Он закурил и, вернувшись в коридор, нагнулся и заглянул в конуру. Механический пёс напоминал гигантскую пчелу, возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов напоён ядом, рождающим безумие и кошмары. Тело пса напиталось этим густым сладким дурманом, и теперь он спал, сном пытаясь побороть злую силу яда.

— Здравствуй, — прошептал Монтэг, как всегда зачарованно глядя на мёртвого и в то же время живого зверя.

По ночам, когда становилось скучно, — а это бывало каждую ночь, пожарники спускались вниз по медным шестам и, настроив тикающий механизм обонятельной системы пса на определённый запах, пускали в подвал крыс, цыплят, а иногда кошек, которых всё равно предстояло утопить. Держали пари, которую из жертв пёс схватит первой.

Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыплёнок, кошка или крыса, не успев пробежать и несколько метров, оказывались в мягких лапах

пса, и четырехдюймовая стальная игла, высунувшись, словно жало, из его морды, впрыскивала жертве изрядную дозу морфия, или прокаина. Затем убитого зверька бросали в печь для сжигания мусора, и игра начиналась снова.

Монтэг обычно оставался наверху и не принимал участия в этих забавах. Как-то раз, два года назад, он побился об заклад с одним из опытных игроков и проиграл недельный заработок. Расплатой был бешеный гнев Милдред — он до сих пор помнит её лицо всё в красных пятнах, со вздувшимися на лбу жилами. Теперь по ночам он лежал на койке, отвернувшись к стене, прислушиваясь к долетавшим снизу взрывам хохота, дробному цокоту крысиных когтей по полу — будто кто-то быстро-быстро дёргал струну рояля, — к скрипичному писку мышей, к внезапной тишине, когда пёс одним бесшумным прыжком выскакивал из будки, как тень, как гигантская ночная бабочка, вдруг вылетевшая на яркий свет. Он хватал свою жертву, вонзал в неё жало и возвращался в конуру, чтобы тут же затихнуть и умереть — как будто выключили рубильник.

Монтэг коснулся морды пса.

Пёс заворчал.

Монтэг отпрянул.

Пёс приподнялся в конуре и взглянул на Монтэга внезапно ожившими, полными зелёно-синих неоновых искр глазами. Снова он заворчал — странный, режущий ухо звук, смесь электрического жужжания, шипения масла на сковороде и металлического скрежета, словно пришёл в движение какой-то ветхий, давно заброшенный механизм, скрипучий от ржавчины и стариковской подозрительности.

— Но-но, старик, — прошептал Монтэг, сердце у него бешено заколотилось. Он увидел, как из морды собаки высунулась на дюйм игла, исчезла, снова высунулась, снова исчезла. Где-то в чреве пса нарастало рычание, сверкающий взгляд был устремлён на Монтэга.

Монтэг попятился. Пёс сделал шаг из конуры. Монтэг схватился рукой за шест. Ответив на прикосновение, шест взвился вверх и бесшумно пронёс Монтэга через люк в потолке. Он ступил на полутёмную площадку верхнего этажа.

Он весь дрожал, лицо его покрылось землистой бледностью. Внизу пёс затих и снова опустился на свои восемь неправдоподобных паучьих лап, продолжая мягко гудеть: его многогранные глаза-кристаллы снова погасли.

Монтэг не сразу отошёл от люка, он хотел сперва немного успокоиться. За его спиной, в дальнем углу, у стола, освещённого лампой

под зелёным абажуром, четверо мужчин играли в карты. Они бегло взглянули на Монтэга, но никто из них не произнёс ни слова. Только человек в шлеме брандмейстера, украшенном изображением феникса, державший карты в сухощавой руке, заинтересовался наконец и спросил из своего угла:

— Что случилось, Монтэг?

— Он меня не любит, — сказал Монтэг.

— Кто, пёс? — Брандмейстер разглядывал карты в руке. — Бросьте. Он не может любить или не любить. Он просто «функционирует». Это как задача по баллистике. Для него рассчитана траектория, и он следует по ней. Сам находит цель, сам возвращается обратно, сам выключается. Медная проволока, аккумуляторы, электрическая энергия — вот и всё, что в нём есть.

Монтэг судорожно глотнул воздух.

— Его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию — столько-то аминокислот, столько-то фосфора, столько-то жиров и щелочей. Так?

— Ну, это всем известно.

— Химический состав крови каждого из нас и процентное соотношение зарегистрированы в общей картотеке там, внизу. Что стоит кому-нибудь взять и настроить «память» механического пса на тот или другой состав — не полностью, а частично, ну хотя бы на аминокислоты? Этого достаточно, чтобы он сделал то, что сделал сейчас, — он реагировал на меня.

— Чепуха! — сказал брандмейстер.

— Он раздражён, но не разъярён окончательно. Кто-то настроил его «память» ровно настолько, чтобы он рычал, когда я прикасаюсь к нему.

— Да кому пришло бы в голову это делать? — сказал брандмейстер. — У вас нет здесь врагов, Гай?

— Насколько мне известно, нет.

— Завтра механики проверят пса.

— Это уже не первый раз он рычит на меня, — продолжал Монтэг. — В прошлом месяце было дважды.

— Завтра всё проверим. Бросьте об этом думать.

Но Монтэг продолжал стоять у люка. Он вдруг вспомнил о вентиляционной решётке в передней своего дома и о том, что было спрятано за ней. А что, если кто-нибудь узнал об этом и «рассказал» псу?..

Брандмейстер подошёл к Монтэгу и вопросительно взглянул на него.

— Я пытаюсь представить себе, — сказал Монтэг, — о чём думает пёс

по ночам в своей конуре? Что он, правда, оживает, когда бросается на человека? Это даже как-то страшно.

— Он ничего не думает, кроме того, что мы в него вложили.

— Очень жаль, — тихо сказал Монтэг. — Потому что мы вкладываем в него только одно — преследовать, хватать, убивать. Какой позор, что мы ничему другому не можем его научить!

Брандмейстер Битти презрительно фыркнул.

— Экой вздор! Наш пёс — это прекрасный образчик того что может создать человеческий гений. Усовершенствованное ружьё, которое само находит цель и бьёт без промаха.

— Вот именно. И мне, понимаете ли, не хочется стать его очередной жертвой, — сказал Монтэг.

— Да почему вас это так беспокоит? У вас совесть не чиста, Монтэг?

Монтэг быстро вскинул глаза на брандмейстера Битти. Тот стоял, не сводя с него пристального взгляда, вдруг губы брандмейстера дрогнули, раздвинулись в широкой улыбке, и он залился тихим, почти беззвучным смехом.

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И каждый день, выходя из дому, он знал, что Кларисса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево, в другой раз он видел её сидящей на лужайке — она вязала синий свитер, три или четыре раза он находил на крыльце своего дома букетик осенних цветов, горсть каштанов в маленьком кулёчке, пучок осенних листьев, аккуратно приколотый к листу белой бумаги и прикрепленный кнопкой к входной двери. И каждый вечер Кларисса провожала его до угла. Один день был дождливый, другой ясный, потом очень ветреный, а потом опять тихий и тёплый, а после был день жаркий и душный, как будто вернулось лето, и лицо Клариссы покрылось лёгким загаром.

— Почему мне кажется, — сказал он, когда они дошли до входа в метро, будто я уже очень давно вас знаю?

— Потому что вы мне нравитесь, — ответила она, — и мне ничего от вас не надо. А ещё потому, что мы понимаем друг друга.

— С вами я чувствую себя старым-престарым, как будто гожусь вам в отцы.

— Да? А скажите, почему у вас у самого нет дочки, такой вот, как я, раз вы так любите детей?

— Не знаю.

— Вы шутите!

— Я хотел сказать... — он запнулся и покачал головой. — Видите ли, моя жена... Ну, одним словом, она не хотела иметь детей.

Улыбка сошла с лица девушки.

— Простите. Я ведь, правда, подумала, что вы смеётесь надо мной. Я просто дуручка.

— Нет-нет! — воскликнул он. — Очень хорошо, что вы спросили. Меня так давно никто об этом не спрашивал. Никому до тебя нет дела... Очень хорошо, что вы спросили.

— Ну, давайте поговорим о чём-нибудь другом. Знаете, чем пахнут палые листья? Корицей! Вот понюхайте.

— А ведь верно... Очень напоминает корицу.

Она подняла на него свои лучистые тёмные глаза.

— Как вы всегда удивляетесь!

— Это потому, что раньше я никогда не замечал... Не хватало времени...

— А вы посмотрели на рекламные щиты? Помните, я вам говорила?

— Посмотрел. — И невольно рассмеялся.

— Вы теперь уже гораздо лучше смеётесь.

— Да?

— Да. Более непринуждённо.

У него вдруг стало легко и спокойно на сердце.

— Почему вы не в школе? Целыми днями бродите одна, вместо того чтобы учиться?

— Ну, в школе по мне не скучают, — ответила девушка. — Видите ли, они говорят, что я необщительна. Будто бы я плохо схожусь с людьми. Странно. Потому что на самом деле я очень общительна. Всё зависит от того, что понимать под общением. По-моему, общаться с людьми — значит болтать вот как мы с вами. — Она подбросила на ладони несколько каштанов, которые нашла под деревом в саду. — Или разговаривать о том, как удивительно устроен мир. Я люблю бывать с людьми. Но собрать всех в кучу и не давать никому слова сказать — какое же это общение? Урок по телевизору, урок баскетбола, бейсбола или бега, потом урок истории — что-то переписываем, или урок рисования — что-то перерисовываем, потом опять спорт. Знаете, мы в школе никогда не задаём вопросов. По крайней мере большинство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами — трах, трах, трах, — а потом ещё сидим часа четыре и смотрим учебный фильм. Где же тут общение? Сотня воронок, и в них по желобам льют воду только для того, чтобы она вылилась с другого конца. Да ещё уверяют, будто это вино. К концу дня мы так устаём, что только и можем

либо завалиться спать, либо пойти в парк развлечений — задевать гуляющих или бить стёкла в специальном павильоне для битья стёкол, или большим стальным мячом сшибать автомашины в тире для крушений. Или сесть в автомобиль и мчаться по улицам — есть, знаете, такая игра: кто ближе всех проскочит мимо фонарного столба или мимо другой машины. Да, они, должно быть, правы, я, наверно, такая и есть, как они говорят. У меня нет друзей. И это будто бы доказывает, что я ненормальная. Но все мои сверстники либо кричат и прыгают как сумасшедшие, либо колотят друг друга. Вы заметили, как теперь люди беспощадны друг к другу?

— Вы рассуждаете, как старушка.

— Иногда я и чувствую себя древней старухой. Я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Неужели всегда так было? Дядя говорит, что нет. Только в этом году шесть моих сверстников были застрелены. Десять погибли в автомобильных катастрофах. Я их боюсь, и они не любят меня за это. Дядя говорит, что его дед помнил ещё то время, когда дети не убивали друг друга. Но это было очень давно, тогда всё было иначе. Дядя говорит, тогда люди считали, что у каждого должно быть чувство ответственности. Кстати, у меня оно есть. Это потому, что давно, когда я ещё была маленькой, мне вовремя задали хорошую трёпку. Я сама делаю все покупки по хозяйству, сама убираю дом.

— Но больше всего, — сказала она, — я всё-таки люблю наблюдать за людьми. Иногда я целый день езжу в метро, смотрю на людей, прислушиваюсь к их разговорам. Мне хочется знать, кто они, чего хотят, куда едут. Иногда я даже бываю в парках развлечений или катаюсь в ракетных автомобилях, когда они в полночь мчатся по окраинам города. Полиция не обращает внимания, лишь бы они были застрахованы. Есть у тебя в кармане страховая квитанция на десять тысяч долларов, ну, значит, всё в порядке и все счастливы и довольны. Иногда я подслушиваю разговоры в метро. Или у фонтанчиков с содовой водой. И знаете что?

— Что?

— Люди ни о чём не говорят.

— Ну как это может быть!

— Да-да. Ни о чём. Сыплют названиями — марки автомобилей, моды, плавательные бассейны и ко всему прибавляют: «Как шикарно!» Все они твердят одно и то же. Как трещотки. А ведь в кафе включают ящики анекдотов и слушают всё те же старые остроты или включают музыкальную стену и смотрят, как по ней бегут цветные узоры, но ведь всё это совершенно беспредметно, так — переливы красок. А картинные галереи? Вы когда-нибудь заглядывали в картинные галереи? Там тоже всё

беспредметно. Теперь другого не бывает. А когда-то, так говорит дядя, всё было иначе. Когда-то картины рассказывали о чём-то, даже показывали людей.

— Дядя говорит то, дядя говорит это. Ваш дядя, должно быть, замечательный человек.

— Конечно, замечательный. Ну, мне пора. До свидания, мистер Монтэг.

— До свидания.

— До свидания...

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Пожарная станция.

— Монтэг, вы прямо, как птичка, взлетаете по этому шесту.

Третий день.

— Монтэг, я вижу, вы сегодня пришли с чёрного хода. Опять вас пёс беспокоит?

— Нет-нет.

Четвёртый день.

— Монтэг, послушайте, какой случай! Мне только сегодня рассказали. В Сиэттле один пожарник умышленно настроил пса на свой химический комплекс и выпустил его из конуры. Ничего себе — способ самоубийства!

Пятый, шестой, седьмой день.

А затем Кларисса исчезла. Сперва он даже не понял, чем отличается этот день от другого, а суть была в том, что нигде не видно было Клариссы. Лужайка была пуста, деревья пусты, улицы пусты. И, прежде чем он сообразил, чего ему не хватает, прежде чем он начал искать пропавшую, ему уже стало не по себе, подходя к метро, он был уже во власти смутной тревоги. Что-то случилось, нарушился какой-то порядок, к которому он привык. Правда, порядок этот был так прост и несложен и установился всего несколько дней тому назад, а всё-таки...

Он чуть не повернул обратно. Может быть, пройти ещё раз весь путь от дома до метро? Он был уверен, что если пройдёт ещё раз, Кларисса нагонит его и всё станет по-прежнему. Но было уже поздно, и подошедший поезд положил конец его колебаниям.

Шелест карт, движение рук, вздрагивание век, голос говорящих часов, монотонно возвещающих с потолка дежурного помещения пожарной станции: «...час тридцать пять минут утра, четверг, ноября четвёртого... час тридцать шесть минут... час тридцать семь минут...» Шлёпанье карт о засаленный стол. Звуки долетали до Монтэга, несмотря на плотно

закрытые веки — хрупкий барьер, которым он пытался на миг защититься. Но и с закрытыми глазами он ясно ощущал всё, что было вокруг: начищенную медь и бронзу, сверкание ламп, тишину пожарной станции. И блеск золотых и серебряных монет на столе. Сидящие через стол от него люди, которых он сейчас не видел, глядели в свои карты, вздыхали, ждали. «...Час сорок пять минут...» Говорящие часы, казалось, оплакивали уходящие минуты неприветливого утра и ещё более неприветливого года.

— Что с вами, Монтэг?

Монтэг открыл глаза. Где-то хрипело радио:

— В любую минуту может быть объявлена война. Страна готова защищать свои...

Здание станции задрожало: эскадрилья ракетных бомбардировщиков со свистом прорезала чёрное предраассветное небо.

Монтэг растерянно заморгал. Битти разглядывал его, как музейный экспонат. Вот он сейчас встанет, подойдёт, прикоснётся к Монтэгу, вскроет его вину, причину его мучений. Вину? Но в чём же его вина?

— Ваш ход, Монтэг.

Монтэг взглянул на сидящих перед ним людей. Их лица были опалены огнём тысячи настоящих и десятка тысяч воображаемых пожаров, их профессия окрасила неестественным румянцем их щёки, воспалила глаза. Они спокойно, не щурясь и не моргая, глядели на огонь платиновых зажигалок, раскуривая свои неизменные чёрные трубки. Угольно-чёрные волосы и чёрные, как сажа, брови, синеватые щёки, гладко выбритые и вместе с тем как будто испачканные золой — клеймо наследственного ремесла! Монтэг вздрогнул и замер, приоткрыв рот, — странная мысль пришла ему в голову. Да видел ли он когда-нибудь пожарного, у которого не было бы чёрных волос, чёрных бровей, воспаленно-красного лица и этой стальной синевы гладко выбритых и вместе с тем как будто давно не бритых щёк? Эти люди были как две капли воды похожи на него самого! Неужели в пожарные команды людей подбирали не только по склонности, но и по внешнему виду? В их лицах не было иных цветов и оттенков, кроме цвета золы и копоти, их постоянно сопровождал запах гари, исходивший от их вечно дымящихся трубок. Вот, окутанный облаком табачного дыма, встаёт брандмейстер Битти. Берёт новую пачку табака, открывает её — целлофановая обёртка рвётся с треском, напоминающим треск пламени.

Монтэг опустил глаза на карты, зажатые в руке.

— Я... я задумался. Вспомнил пожар на прошлой неделе и того человека, чьи книги мы тогда сожгли. Что с ним сделали?

— Отправили в сумасшедший дом. Орал как оглашённый.

— Но он же не сумасшедший!

Битти молча перетасовывал карты.

— Если человек думает, что можно обмануть правительство и нас, он сумасшедший.

— Я пытался представить себе, — сказал Монтэг, — что должны чувствовать люди в таком положении. Например, если бы пожарные стали жечь наши дома и наши книги.

— У нас нет книг.

— Но если б были!

— Может, у вас есть?

Битти медленно поднял и опустил веки.

— У меня нет, — сказал Монтэг и взглянул мимо сидящих у стола людей на стену, где висели отпечатанные на машинке списки запрещённых книг. Названия этих книг вспыхивали в огнях пожаров, когда годы и века рушились под ударами его топора и, политые струёй керосина из шланга в его руках, превращались в пепел. — Нет, — повторил он и тотчас почувствовал на щеке прохладное дуновение. Снова он стоял в передней своего дома, и струя воздуха из знакомой вентиляционной решётки холодила ему лицо. И снова он сидел в парке и разговаривал со старым, очень старым человеком. В парке тоже дул прохладный ветер...

С минуту Монтэг не решался, потом спросил:

— Всегда ли... всегда ли было так? Пожарные станции и наша работа? Когда-то, давным-давно...

— Когда-то, давным-давно!.. — воскликнул Битти. — Это ещё что за слова?

«Глупец, что я говорю, — подумал Монтэг. — Я выдаю себя». На последнем пожаре в руки ему попала книжка детских сказок, он прочёл первую строчку...

— Я хотел сказать, в прежнее время, — промолвил он. — Когда дома ещё не были несгораемыми... — и вдруг ему почудилось, что эти слова произносит не он, он слышал чей-то другой, более молодой голос. Он только открывал рот, но говорила за него Кларисса Маклеллан. — Разве тогда пожарные не тушили пожары, вместо того чтобы разжигать их?

— Вот это здорово! — Стоунмен и Блэк оба разом, как по команде, выхватили из карманов книжки уставов и положили их перед Монтэгом. Кроме правил, в них давалась краткая история пожарных команд Америки, и теперь книжки были раскрыты именно на этой хорошо знакомой Монтэгу странице: «Основаны в 1790 году для сожжения проанглийской литературы в колониях. Первый пожарный — Бенджамин Франклин.

Правило 1. По сигналу тревоги выезжай немедленно.

Правило 2. Быстро разжигай огонь.

Правило 3. Сжигай всё дотла.

Правило 4. Выполнив задание, тотчас возвращайся на пожарную станцию.

Правило 5. Будь готов к новым сигналам тревоги».

Все смотрели на Монтэга. Он не шелохнулся.

Вдруг завыл сигнал тревоги.

Колокол под потолком дежурного помещения заколотил, отбивая свои двести ударов. Четыре стула мгновенно опустели. Карты, как снег, посыпались на пол. Медный шест задрожал. Люди исчезли.

Монтэг продолжал сидеть. Внизу зафыркал, оживая, оранжевый дракон. Монтэг встал со стула и, словно во сне, спустился вниз по шесту.

Механический пёс встрепенулся в своей конуре, глаза его вспыхнули зелёными огнями.

— Монтэг, вы забыли свой шлем!

Монтэг сорвал со стены шлем, побежал, прыгнул на подножку, и машина помчалась. Ночной ветер разносил во все стороны рёв сирены и могучий грохот металла.

Это был облупившийся трёхэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь, наверно, не меньше столетия. В своё время, как и все дома в городе, он был покрыт тонким слоем огнеупорного состава, и казалось, только эта хрупкая предохранительная скорлупа спасла его от окончательного разрушения.

— Приехали!..

Мотор ещё раз фыркнул и умолк. Битти, Стоунмен и Блэк уже бежали к дому, уродливые и неуклюжие в своих толстых огнеупорных комбинезонах. Монтэг побежал за ними.

Они ворвались в дом. Схватили женщину, хотя она и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, покачиваясь, глядя на пустую стену перед собой, словно оглушённая ударом по голове. Губы её беззвучно шевелились, в глазах было такое выражение, как будто она старалась что-то вспомнить и не могла. Наконец вспомнила, и губы её, дрогнув, произнесли:

— «Будьте мужественны, Ридли. Божьей милостью мы зажжём сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда».

— Довольно! — сказал Битти. — Где они?

С величайшим равнодушием он ударил женщину по лицу и повторил

свой вопрос. Старая женщина перевела взгляд на Битти.

— Вы знаете, где они, иначе вы не были бы здесь, — промолвила она.

Стоунмен протянул записанную на карточке телефонограмму: «Есть основания подозревать чердак дома № 11 по Элм-Стрит». Внизу вместо подписи стояли инициалы «Э. Б.».

— Это, должно быть, миссис Блейк, моя соседка, — сказала женщина, взглянув на инициалы.

— Ну хорошо, ребята. За работу!

И в следующее мгновение пожарные уже бежали по лестнице, размахивая сверкающими топориками в застоявшейся темноте пустых комнат, взламывали незапертые двери, натываясь друг на друга, шумя и крича, как ватага разбушевавшихся мальчишек:

— Эй! Эй!

Лавина книг обрушилась на Монтэга, когда он с тяжёлым сердцем, содрогаясь всем своим существом, поднимался вверх по крутой лестнице. Как нехорошо получилось! Раньше всегда проходило гладко... Всё равно как снять нагар со свечи. Первыми являлись полицейские, заклеивали жертве рот липким пластырем и, связав её, увозили куда-то в своих блестящих жуках-автомобилях. Когда приезжали пожарные, дом был уже пуст. Никому не причиняли боли, только разрушали вещи. А вещи не чувствуют боли, они не кричат и не плачут, как может закричать и заплакать эта женщина, так что совесть тебя потом не мучила. Обыкновенная уборка, работа дворника. Живо, всё по порядку! Керосин сюда! У кого спички?

Но сегодня кто-то допустил ошибку. Эта женщина тем, что была здесь, нарушила весь ритуал. И поэтому все старались как можно больше шуметь, громко разговаривать, шутить, смеяться, чтобы заглушить страшный немой укор её молчания. Казалось, она заставила пустые стены вопить от возмущения, сбрасывать на мечущихся по комнатам людей тонкую пыль вины, которая лезла им в ноздри, въедалась в душу... Непорядок! Неправильно! Монтэг вдруг обозлился. Только этого ему не хватало, ко всему остальному! Эта женщина! Она не должна была быть здесь!

Книги сыпались на плечи и руки Монтэга, на его обращённое кверху лицо. Вот книга, как белый голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. В слабом неверном свете открытая страница мелькнула, словно белоснежное перо с начертанным на нём узором слов. В спешке и горячке работы Монтэг лишь на мгновение задержал на ней взор, но строчки, которые он прочёл, огнём обожгли его мозг и запечатлелись в нём, словно выжженные раскалённым железом: «И время, казалось,

дремало в истоме под полуденным солнцем». Он уронил книгу на пол. И сейчас же другая упала ему в руки.

— Эй, там, внизу! Монтэг! Сюда!

Рука Монтэга сама собой стиснула книгу. Самозабвенно, бездумно, безрассудно он прижал её к груди. Над его головой на чердаке, подымая облака пыли, пожарники ворошили горы журналов, сбрасывая их вниз. Журналы падали, словно подбитые птицы, а женщина стояла среди этих мёртвых тел смиренно, как маленькая девочка.

Нет, он, Монтэг, ничего не сделал. Всё сделала его рука. У его руки был свой мозг, своя совесть, любопытство в каждом дрожащем пальце, и эта рука вдруг стала вором. Вот она сунула книгу под мышку, крепко прижала её к потному телу и вынырнула уже пустая... Ловкость, как у фокусника! Смотрите, ничего нет! Пожалуйста! Ничего!

Потрясённый, он разглядывал эту белую руку, то отводя её подальше, как человек, страдающий дальновзоркостью, то поднося к самому лицу, как слепой.

— Монтэг!

Вздвогнув, он обернулся.

— Что вы там встали, идиот! Отойдите!

Книги лежали, как груды свежей рыбы, сваленной на берег для просолки. Пожарные прыгали через них, поскользнувшись, падали. Вспыхивали золотые глаза тиснёных заглавий, падали, гасли...

— Керосин!

Включили насосы, и холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой 451 — у каждого пожарного за спиной был прикреплен такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты. Затем торопливо спустились по лестнице. Задыхаясь от керосиновых испарений, Монтэг, спотыкаясь, шёл сзади.

— Выходите! — крикнули они женщине. — Скорее!

Она стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касалась пальцами облитых керосином переплётов, ощупывала тиснение заглавий, и глаза её с гневным укором глядели на Монтэга.

— Не получить вам моих книг, — наконец выговорила она.

— Закон вам известен, — ответил Битти. — Где ваш здравый смысл? В этих книгах всё противоречит одно другому. Настоящая вавилонская башня! И вы сидели в ней взаперти целые годы. Бросьте всё это. Выходите на волю. Люди, о которых тут написано, никогда не существовали. Ну, идём!

Женщина отрицательно покачала головой.

— Сейчас весь дом загорится, — сказал Битти.

Пожарные неуклюже пробирались к выходу. Они оглянулись на Монтэга, который всё ещё стоял возле женщины.

— Нельзя же бросить её здесь! — возмущённо крикнул Монтэг.

— Она не хочет уходить.

— Надо её заставить!

Битти поднял руку с зажигалкой.

— Нам пора возвращаться на пожарную станцию. А эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное.

Монтэг взял женщину за локоть.

— Пойдёмте со мной.

— Нет, — сказала она. — Но вам — спасибо!

— Я буду считать до десяти, — сказал Битти. — Раз, два...

— Пожалуйста, — промолвил Монтэг, обращаясь к женщине.

— Уходите, — ответила она.

— Три. Четыре...

— Ну, прошу вас, — Монтэг потянул женщину за собой.

— Я останусь здесь, — тихо ответила она.

— Пять. Шесть... — считал Битти.

— Можете дальше не считать, — сказала женщина и разжала пальцы — на ладони у неё лежала крохотная тоненькая палочка. Обыкновенная спичка.

Увидев её, пожарные опрометью бросились вон из дома. Брандмейстер Битти, стараясь сохранить достоинство, медленно пятился к выходу. Его багровое лицо лоснилось и горело блеском тысячи пожаров и ночных тревог.

«Господи, — подумал Монтэг. — а ведь правда! Сигналы тревоги бывают только ночью. И никогда днём. Почему? Неужели только потому, что ночью пожар красивое, эффектное зрелище?»

На красном лице Битти, замешкавшегося в дверях, мелькнул испуг. Рука женщины сжимала спичку. Воздух был пропитан парами керосина. Спрятанная книга трепетала у Монтэга под мышкой, толкалась в его грудь, как живое сердце.

— Уходите, — сказала женщина. Монтэг почувствовал, что пятится к двери следом за Битти, потом вниз по ступенькам и дальше, дальше, на лужайку, где, как след гигантского червя, пролежала тёмная полоска керосина. Женщина шла за ними. На крыльце она остановилась и окинула их долгим спокойным взглядом. Её молчание осуждало их. Битти щёлкнул зажигалкой. Но он опоздал. Монтэг замер от ужаса. Стоявшая на крыльце

женщина, бросив на них взгляд, полный презрения, чиркнула спичкой о перила. Из домов на улицу выбегали люди.

Обратно ехали молча, не глядя друг на друга. Монтэг сидел впереди, вместе с Битти и Блэком. Они даже не курили трубок, только молча глядели вперёд, на дорогу. Мощная Саламандра круто сворачивала на перекрёстках и мчалась дальше.

— Ридли, — наконец произнёс Монтэг.

— Что? — спросил Битти.

— Она сказала «Ридли». Она что-то странное говорила, когда мы вошли в дом: «Будьте мужественны, Ридли». И ещё что-то... Что-то ещё...

— «Божьей милостью мы зажжём сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда», — промолвил Битти.

Стоунмен и Монтэг изумлённо взглянули на брандмейстера.

Битти задумчиво потёр подбородок.

— Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь в Оксфорде шестнадцатого октября тысяча пятьсот пятьдесят пятого года.

Монтэг и Стоунмен снова перевели взгляд на мостовую, быстро мелькавшую под колёсами машины.

— Я начинён цитатами, всякими обрывками, — сказал Битти. — У брандмейстеров это не редкость. Иногда сам себе удивляюсь. Не зевайте, Стоунмен!

Стоунмен нажал на тормоза.

— Чёрт! — воскликнул Битти. — Проехали наш поворот.

— Кто там?

— Кому же быть, как не мне? — отозвался из темноты Монтэг. Он затворил за собой дверь спальни и устало прислонился к косяку.

После небольшой паузы жена наконец сказала:

— Зажги свет.

— Мне не нужен свет.

— Тогда ложись спать.

Он слышал, как она недовольно заворочалась на постели, жалобно застонали пружины матраца.

— Ты пьян? — спросила она.

Так вот значит как это вышло! Во всём виновата его рука. Он почувствовал, что его руки — сначала одна, потом другая — стащили с плеч куртку, бросили её на пол. Снятые брюки повисли в его руках, и он

равнодушно уронил их в темноту, как в пропасть.

Кисти его рук поражены заразой, скоро она поднимется выше, к локтям, захватит плечи, перекинется, как искра, с одной лопатки на другую. Его руки охвачены ненасытной жадностью. И теперь эта жадность передалась уже и его глазам: ему вдруг захотелось глядеть и глядеть, не переставая, глядеть на что-нибудь, безразлично, на что, глядеть на всё...

— Что ты там делаешь? — спросила жена. Он стоял, пошатываясь в темноте, зажав книгу в холодных, влажных от пота пальцах. Через минуту жена снова сказала:

— Ну! Долго ты ещё будешь вот так стоять посреди комнаты?

Из груди его вырвался какой-то невнятный звук.

— Ты что-то сказал? — спросила жена. Снова неясный звук слетел с его губ. Спотыкаясь, ощупью добрался он до своей кровати, неловко сунул книгу под холодную как лёд подушку, тяжело повалился на постель. Его жена испуганно вскрикнула. Но ему казалось, что она где-то далеко, в другом конце комнаты, что его постель — это ледяной остров среди пустынного моря. Жена что-то говорила ему, говорила долго, то об одном, то о другом, но для него это были только слова, без связи и без смысла. Однажды в доме приятеля он слышал, как, вот так же лепеча, двухлетний малыш выговаривал какие-то свои детские словечки, издавал приятные на слух, но ничего не значащие звуки... Монтэг молчал. Когда невнятный стон снова слетел с его уст, Милдред встала и подошла к его постели. Наклонившись, она коснулась его щеки. И Монтэг знал, что, когда Милдред отняла руку, ладонь у неё была влажной.

Позже ночью он поглядел на Милдред. Она не спала. Чуть слышная мелодия звенела в воздухе — в ушах у неё опять были «Ракушки», и опять она слушала далёкие голоса из далёких стран. Её широко открытые глаза смотрели в потолок, в толщу нависшей над нею тьмы.

Он вспомнил избитый анекдот о жене, которая так много разговаривала по телефону, что её муж, желавший узнать, что сегодня на обед, вынужден был побежать в ближайший автомат и позвонить ей оттуда. Не купить ли и ему, Монтэгу, портативный передатчик системы «Ракушка», чтобы по ночам разговаривать со своей женой, нащёптывать ей на ухо, кричать, вопить, орать? Но что нащёптывать? О чём кричать? Что мог он сказать ей?

И вдруг она показалась ему такой чужой, как будто он никогда раньше её и в глаза не видел. Просто он по ошибке попал в чей-то дом, как тот человек в анекдоте, который, возвращаясь ночью пьяный, открыл чужую

дверь, вошёл в чужой дом и улёгся в постель рядом с чужой женой, а рано утром встал и ушёл на работу, и ни он, ни женщина так ничего и не заметили...

— Милли! — прошептал он.

— Что?..

— Не пугайся! Я только хотел спросить...

— Ну?

— Когда мы встретились и где?

— Для чего встретились? — спросила она.

— Да нет! Я про нашу первую встречу.

Он знал, что сейчас она недовольно хмурится в темноте.

Он пояснил:

— Ну, когда мы с тобой в первый раз увидели друг друга. Где это было и когда?

— Это было... — она запнулась. — Я не знаю.

Ему стало холодно:

— Неужели ты не можешь вспомнить?

— Это было так давно.

— Десять лет назад. Всего лишь десять!

— Что ты так расстраиваешься? Я же стараюсь вспомнить. — Она вдруг засмеялась странным, взвизгивающим смехом. — Смешно! Право, очень смешно! Забыть, где впервые встретилась со своим мужем... И муж тоже забыл, где встретился с женой...

Он лежал, тихонько растирая себе веки, лоб, затылок. Прикрыл ладонями глаза и нажал, словно пытаюсь вдвинуть память на место. Почему-то сейчас важнее всего на свете было вспомнить, где он впервые встретился с Милдред.

— Да это же не имеет никакого значения. — Она, очевидно, встала и вышла в ванную. Монтэг слышал плеск воды, льющей из крана, затем глотки — она запивала водой таблетки.

— Да, пожалуй, что и не имеет, — сказал он. Он попытался сосчитать, сколько она их проглотила, и в его памяти встали вдруг те двое с иссиня-бледными, как цинковые белила, лицами, с сигаретами в тонких губах, и змея с электронным глазом, которая, извиваясь, проникала всё глубже во тьму, в застоявшуюся воду на дне... Ему захотелось окликнуть Милдред, спросить: «Сколько ты сейчас проглотила таблеток? Сколько ещё проглотишь и сама не заметишь?» Если не сейчас, так позже, если не в эту ночь, так в следующую... А я буду лежать всю ночь без сна, и эту, и следующую, и ещё много ночей — теперь, когда это началось. Он

вспомнил всё, что было в ту ночь, неподвижное тело жены, распростёртое на постели, и двоих санитаров, не склонившихся заботливо над ней, а стоящих около, равнодушных и бесстрастных, со скрещёнными на груди руками. В ту ночь возле её постели он почувствовал, что, если она умрёт, он не сможет плакать по ней. Ибо это будет для него как смерть чужого человека, чьё лицо он мельком видел на улице или на снимке в газете... И это показалось ему таким ужасным, что он заплакал. Он плакал не оттого, что Милдред может умереть, а оттого, что смерть её уже не может вызвать у него слёз. Глупый, опустошённый человек и рядом глупая, опустошённая женщина, которую у него на глазах ещё больше опустошила эта голодная змея с электронным глазом...

«Откуда эта опустошённость? — спросил он себя. — Почему всё, что было в тебе, ушло и осталась одна пустота? Да ещё этот цветок, этот одуванчик!» Он подвёл итог: «Какая жалость! Вы ни в кого не влюблены». Почему же он не влюблён?

Собственно говоря, если вдуматься, то между ним и Милдред всегда стояла стена. Даже не одна, а целых три, которые к тому же стоили так дорого. Все эти дядюшки, тётушки, двоюродные братья и сёстры, племянники и племянницы, жившие на этих стенах, свора тараторящих обезьян, которые вечно что-то лопочут без связи, без смысла, но громко, громко, громко! Он с самого начала прозвал их «родственниками»:

«Как поживает дядюшка Льюис?» — «Кто?» — «А тётушка Мод?»

Когда он думал о Милдред, какой образ чаще всего вставал в его воображении? Девочка, затерявшаяся в лесу (только в этом лесу, как ни странно, не было деревьев) или, вернее, заблудившаяся в пустыне, где когда-то были деревья (память о них ещё пробивалась то тут, то там), проще сказать, Милдред в своей «говорящей» гостиной. Говорящая гостиная! Как это верно! Когда бы он ни зашёл туда, стены разговаривали с Милдред:

«Надо что-то сделать!»

«Да, да, это необходимо!»

«Так чего же мы стоим и ничего не делаем?»

«Ну давайте делать!»

«Я так зла, что готова плевать!»

О чём они говорят? Милдред не могла объяснить. Кто на кого зол? Милдред не знала. Что они хотят делать? «Подожди и сам увидишь», — говорила Милдред.

Он садился и ждал.

Шквал звуков обрушивался на него со стен. Музыка бомбардировала

его с такой силой, что ему как будто отрывало сухожилия от костей, сворачивало челюсти и глаза у него плясали в орбитах, словно мячики. Что-то вроде контузии. А когда это кончалось, он чувствовал себя, как человек, которого сбросили со скалы, повертели в воздухе с быстротой центрифуги и швырнули в водопад, и он летит, стремглав летит в пустоту — дна нет, быстрота такая, что не задеваешь о стены... Вниз... Вниз... И ничего кругом... Пусто... Гром стихал. Музыка умолкала.

— Ну как? — говорила Милдред. — Правда, потрясающе?

Да, это было потрясающе. Что-то совершилось, хотя люди на стенах за это время не двинулись с места и ничего между ними не произошло. Но у вас было такое чувство, как будто вас протащило сквозь стиральную машину или всосало гигантским пылесосом. Вы захлёбывались от музыки, от какофонии звуков.

Весь в поту, на грани обморока Монтэг выскакивал из гостиной. Милдред оставалась в своём кресле, и вдогонку Монтэгу снова неслись голоса «родственников»:

«Теперь всё будет хорошо», — говорила тётушка.

«Ну, это ещё как сказать», — отвечал двоюродный братец.

«Пожалуйста, не злись».

«Кто злится?»

«Ты».

«Я?»

«Да. Прямо бесишься».

«Почему ты так решила?»

«Потому».

— Ну хорошо! — кричал Монтэг. — Но из-за чего у них ссора? Кто они такие? Кто этот мужчина? И кто эта женщина? Кто они, муж и жена? Жених и невеста? Разведены? Помолвлены? Господи, ничего нельзя понять!..

— Они... — начинала Милдред. — Видишь ли, они... Ну, в общем, они поссорились. Они часто ссорятся. Ты бы только послушал!.. Да, кажется, они муж и жена. Да, да, именно муж и жена. А что?

А если не гостиная, если не эти три говорящие стены, к которым по мечте Милдред скоро должна была прибавиться четвёртая, тогда это был жук — открытая машина, которую Милдред вела со скоростью ста миль в час. Они мчались по городу, и он кричал ей, а она кричала ему в ответ, и оба ничего не слышали, кроме рёва мотора. «Сбавь до минимума!» — кричал он. «Что?» — кричала она в ответ. «До минимума! До пятидесяти пяти! Сбавь скорость!» «Что?» — вопила она, не расслышав. «Скорость!»

— орал он. И она вместо того, чтобы сбавить, доводила скорость до ста пяти миль в час, и у него перехватывало дыхание.

А когда они выходили из машины, в ушах у Милдред уже опять были «Ракушки».

Тишина. Только ветер мягко шумит за окном.

— Милдред! — Он повернулся на постели. Протянув руку, он выдернул музыкальную пчёлку из ушей Милдред: — Милдред! Милдред!

— Да, — еле слышно ответил её голос из темноты. Ему показалось, что он тоже превратился в одно из странных существ, живущих между стеклянными перегородками телевизорных стен. Он говорил, но голос его не проникал через прозрачный барьер. Он мог объясняться только жестами и мимикой в надежде, что Милдред обернётся и заметит его. Они не могли даже прикоснуться друг к другу сквозь эту стеклянную преграду.

— Милдред, помнишь, я тебе говорил про девушку?

— Какую девушку? — спросила она сонно.

— Девушку из соседнего дома.

— Какую девушку из соседнего дома?

— Ну, ту, что учится в школе. Её зовут Кларисса.

— А, да, — ответила жена.

— Я уже несколько дней её нигде не вижу. Четыре дня, чтобы быть точным. А ты её не видала?

— Нет.

— Я хотел тебе рассказать о ней. Она очень странная.

— А! Теперь я знаю, о ком ты говоришь.

— Я так и думал, что ты её знаешь.

— Она... — прозвучал голос Милдред в темноте.

— Что она? — спросил Монтэг.

— Я хотела сказать тебе, но забыла. Забыла...

— Ну скажи сейчас. Что ты хотела сказать?

— Её, кажется, уже нет.

— Как так — нет?

— Вся семья уехала куда-то. Но её совсем нет. Кажется, она умерла.

— Да ты, должно быть, о ком-то другом говоришь.

— Нет. О ней. Маклеллан. Её звали Маклеллан. Она попала под автомобиль. Четыре дня назад. Не знаю наверное, но, кажется, она умерла. Во всяком случае, семья уехала отсюда. Точно не знаю. Но, кажется, умерла.

— Ты уверена?..

— Нет, не уверена. Впрочем, да, совершенно уверена.

— Почему ты раньше мне не сказала?

— Забыла.

— Четыре дня назад!

— Я совсем забыла.

— Четыре дня, — ещё раз тихо повторил он. Не двигаясь, они лежали в темноте.

— Спокойной ночи, — сказала наконец жена. Он услышал лёгкий шорох: Милдред шарила по подушке. Радиовтулка шевельнулась под её рукой, как живое насекомое, и вот она снова жужжит в ушах Милдред.

Он прислушался — его жена тихонько напевала. За окном мелькнула тень. Осенний ветер прошумел и замер. Но в тишине ночи слух Монтэга уловил ещё какой-то странный звук: словно кто-тодохнул на окно. Словно что-то, похожее на зеленоватую фосфоресцирующую струйку дыма или большой осенний лист, сорванный ветром, пронеслось через лужайку и исчезло.

«Механический пёс, — подумал Монтэг. — Он сегодня на свободе. Бродит возле дома... Если открыть окно...» Но он не открыл окна.

Утром у него начался озноб, потом жар.

— Ты болен? — спросила Милдред. — Не может быть!

Он прикрыл веками воспалённые глаза.

— Да, болен.

— Но ещё вчера вечером ты был совершенно здоров!

— Нет, я и вчера уже был болен. — Он слышал, как в гостиной вопили «родственники».

Милдред стояла у его постели, с любопытством разглядывая его. Не открывая глаз, он видел её всю — сожжённые химическими составами, ломкие, как солома, волосы, глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот, худое от постоянной диеты, сухощавое, как у кузнечика, тело, белая, как сало, кожа. Сколько он помнил, она всегда была такой.

— Дай мне воды и таблетку аспирина.

— Тебе пора вставать, — сказала она. — Уже полдень. Ты проспал лишних пять часов.

— Пожалуйста, выключи гостиную.

— Но там сейчас «родственники»!

— Можешь ты уважить просьбу больного человека?

— Хорошо, я уменьшу звук.

Она вышла, но тотчас вернулась, ничего не сделав.

- Так лучше?
- Благодарю.
- Это моя любимая программа, — сказала она.
- Где же аспирин?
- Ты раньше никогда не болел. — Она опять вышла.
- Да, раньше не болел. А теперь болен. Я не пойду сегодня на работу.

Позвони Битти.

— Ты ночью был какой-то странный. — Она подошла к его постели, тихонько напевая.

— Где же аспирин? — повторил Монтэг, глядя на протянутый ему стакан с водой.

— Ах! — она снова ушла в ванную. — Что-нибудь вчера случилось?

— Пожар. Больше ничего.

— А я очень хорошо провела вечер, — донёсся её голос из ванной.

— Что же ты делала?

— Смотрела передачу.

— Что передавали?

— Программу.

— Какую?

— Очень хорошую.

— Кто играл?

— Да, ну там вообще — вся труппа.

— Вся труппа, вся труппа, вся труппа... — Он нажал пальцами на ноющие глаза. И вдруг бог весть откуда повеявший запах керосина вызвал у него неудержимую рвоту.

Продолжая напевать, Милдред вошла в комнату.

— Что ты делаешь? — удивлённо воскликнула она. Он в смятении посмотрел на пол.

— Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину...

— Хорошо, что ковёр можно мыть.

Она принесла тряпку и стала подтирать пол.

— А я вчера была у Элен.

— Разве нельзя смотреть спектакль дома?

— Конечно, можно. Но приятно иногда пойти в гости.

Она вышла в гостиную. Он слышал, как она поёт.

— Милдред! — позвал он.

Она вернулась, напевая и легонько прищёлкивая в такт пальцами.

— Тебе не хочется узнать, что у нас было прошлой ночью? — спросил он.

— А что такое?

— Мы сожгли добрую тысячу книг. Мы сожгли женщину.

— Ну и что же?

Гостиная сотрясалась от рёва.

— Мы сожгли Данте, и Свифта, и Марка Аврелия...

— Он был европеец?

— Кажется, да.

— Радикал?

— Я никогда не читал его.

— Ну ясно, радикал. — Милдред неохотно взялась за телефонную трубку. — Ты хочешь, чтобы я позвонила брандмейстеру Битти? А почему не ты сам?

— Я сказал, позвони!

— Не кричи на меня!

— Я не кричу. — Он приподнялся и сел на постели, весь красный, дрожа от ярости.

Гостиная грохотала в жарком воздухе.

— Я не могу сам позвонить. Не могу сказать ему, что я болен.

— Почему?

«Потому что боюсь, — подумал он. — Притворяюсь больным, как ребёнок, и боюсь позвонить потому, что знаю, чем кончится этот короткий телефонный разговор: „Да, брандмейстер, мне уже лучше. Да, в десять буду на работе“».

— Ты вовсе не болен, — сказала Милдред.

Монтэг откинулся на постели. Сунул руку под подушку. Книга была там.

— Милдред, что ты скажешь, если я на время брошу работу?

— Как? Ты хочешь всё бросить? После стольких лет работы? Только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами...

— Если бы ты её видела, Милли...

— Мне до неё нет дела. Не держала бы у себя книги! Сама виновата! Надо было раньше думать! Ненавижу её. Она совсем сбила тебя с толку, и не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице, — ни крыши над головой, ни работы, ничего!

— Ты не была там, ты не видела, — сказал Монтэг. — Есть, должно быть, что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, если эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть! Человек не пойдёт на смерть так, ни с того ни с сего.

— Просто она была ненормальная.

— Нет, она была нормальная. Как ты или я. А может быть, даже нормальнее нас с тобой. И мы её сожгли.

— Это всё пройдёт и забудется.

— Нет, это не пройдёт и не забудется. Ты когда-нибудь видела дом после пожара? Он тлеет несколько дней. А этот пожар мне не потушить до конца моей жизни. Господи! Я старался потушить его в своей памяти. Всю ночь мучился. Чуть с ума не сошёл.

— Об этом надо было думать раньше, до того, как ты стал пожарным.

— Думать! — воскликнул он. — Да разве у меня был выбор? Мой дед и мой отец были пожарными. Я даже во сне всегда видел себя пожарным.

Из гостиной доносились звуки танцевальной музыки.

— Сегодня ты в дневной смене, — сказала Милдред. — Тебе полагалось уйти ещё два часа тому назад. Я только сейчас сообразила.

— Дело не только в гибели этой женщины, — продолжал Монтэг. — Прошлой ночью я думал о том, сколько керосина я израсходовал за эти десять лет. А ещё я думал о книгах. И впервые понял, что за каждой из них стоит человек. Человек думал, вынашивал в себе мысли. Тратил бездну времени, чтобы записать их на бумаге. А мне это раньше и в голову не приходило.

Он вскочил с постели.

— У кого-то, возможно, ушла вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чём он думал того, что он видел. А потом прихожу я, и — пуф! — за две минуты всё обращено в пепел.

— Оставь меня в покое, — сказала Милдред. — Я в этом не виновата.

— Оставить тебя в покое! Хорошо. Но как я могу оставить в покое себя? Нет, нельзя нас оставлять в покое. Надо, чтобы мы беспокоились, хоть изредка. Сколько времени прошло с тех пор, как тебя в последний раз что-то тревожило? Что-то значительное, настоящее?

И вдруг он умолк. Он припомнил всё, что было на прошлой неделе, — два лунных камня, глядевших вверх в темноту, змею-насос с электронным глазом и двух безликих, равнодушных людей с сигаретами в зубах. Да, ту Милдред что-то тревожило — и ещё как! Но то была другая Милдред, так глубоко запрятанная в этой, что между ними не было ничего общего. Они никогда не встречались, они не знали друг друга...

Он отвернулся.

Вдруг Милдред сказала:

— Ну вот, ты добился своего. Посмотри, кто подъехал к дому.

— Мне всё равно.

— Машина марки «Феникс» и в ней человек в чёрной куртке с

оранжевой змейей на рукаве. Он идёт сюда.

— Брандмейстер Битти?

— Да, брандмейстер Битти.

Монтэг не двинулся с места. Он стоял, глядя перед собой на холодную белую стену.

— Впусти его. Скажи, что я болен, — промолвил он.

— Сам скажи. — Милдред заметалась по комнате и вдруг замерла, широко раскрыв глаза, — рупор сигнала у входной двери тихо забормотал: «Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли. Миссис Монтэг, к вам пришли». Рупор умолк.

Монтэг проверил, хорошо ли спрятана книга, не спеша улёгся, откинулся на подушки, оправил одеяло на груди и на согнутых коленях.

Придя в себя, Милдред бросилась к двери, и тотчас же в комнату неторопливым шагом, засунув руки в карманы, вошёл брандмейстер Битти.

— Выключите-ка «родственников», — сказал он, не глядя на Монтэга и его жену.

Милдред выскочила из комнаты. Шум голосов в гостиной умолк.

Брандмейстер Битти уселся, выбрав самый удобный стул. Его красное лицо хранило самое мирное выражение. Не спеша он набил свою отделанную медью трубку и, раскурив её, выпустил в потолок большое облако дыма.

— Решил зайти, проведать больного.

— Как вы узнали, что я болен?

Битти улыбнулся своей обычной улыбкой, обнажившей конфетно-розовые дёсны и мелкие, белые как сахар зубы.

— Я видел, что к тому идёт. Знал, что скоро вы на одну ночь попроситесь в отпуск.

Монтэг приподнялся и сел на постели.

— Ну что ж, — сказал Битти, — отдохните.

Он вертел в руках неразлучную свою зажигалку, на крышке которой красовалась надпись: «Гарантирован один миллион вспышек». Битти рассеянно зажигал и гасил химическую спичку — зажигал, ронял несколько слов, глядя на крохотный огонёк, и гасил его, снова зажигал, гасил и смотрел, как тает в воздухе тоненькая струйка дыма.

— Когда думаете поправиться? — спросил он.

— Завтра. Или послезавтра. В начале той недели.

Битти попыхивал трубкой.

— Каждый пожарник рано или поздно проходит через это. И надо помочь ему разобраться. Надо, чтобы он знал историю своей профессии.

Раньше новичкам всё это объясняли. А теперь нет. И очень жаль. — Пфф... — Только брандмейстеры ещё помнят историю пожарного дела. — Снова пфф!.. — Сейчас я вас просвещу.

Милдред нервно заёрзала на стуле.

Битти уселся поудобнее, минуту — не меньше — сидел молча, в раздумье.

— Как всё это началось, спросите вы, — я говорю о нашей работе, — где, когда и почему? Началось, по-моему, примерно в эпоху так называемой гражданской войны, хотя в наших уставах и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с введением фотографии. А потом, в начале двадцатого века, — кино, радио, телевидение. И очень скоро всё стало производиться в массовых масштабах.

Монтэг неподвижно сидел в постели.

— А раз всё стало массовым, то и упростилось, — продолжал Битти. — Когда-то книгу читали лишь немногие — тут, там, в разных местах. Поэтому и книги могли быть разными. Мир был просторен. Но, когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. Этакая универсальная жвачка. Вы понимаете меня, Монтэг?

— Кажется, да, — ответил Монтэг. Битти разглядывал узоры табачного дыма, плывущие в воздухе.

— Постарайтесь представить себе человека девятнадцатого столетия — собаки, лошади, экипажи — медленный темп жизни. Затем двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объёме. Сокращённое издание. Пересказ. Экстракт. Не размазывать! Скорее к развязке!

— Скорее к развязке, — кивнула головой Милдред.

— Произведения классиков сокращаются до пятнадцатиминутной радиопередачи. Потом ещё больше: одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты, потом ещё: десять — двадцать строк для энциклопедического словаря. Я, конечно, преувеличиваю. Словари существовали для справок. Но немало было людей, чьё знакомство с «Гамлетом» — вы, Монтэг, конечно, хорошо знаете это название, а для вас, миссис Монтэг, это, наверно, так только, смутно знакомый звук, — так вот, немало было людей, чьё знакомство с «Гамлетом» ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвастливо заявлял: «Наконец-то вы можете прочитать всех классиков! Не отставайте от своих соседей». Понимаете? Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший

последние пять или более столетий.

Милдред встала и начала ходить по комнате, бесцельно переставляя вещи с места на место.

Не обращая на неё внимания, Битти продолжал:

— А теперь быстрее крутите плёнку, Монтэг! Быстрее! Клик! Пик! Флик!^[3] Сюда, туда, живей, быстрее, так, этак, вверх, вниз! Кто, что, где, как, почему? Эх! Ух! Бах, трах, хлоп, шлёп! Дзинь! Бом! Бум! Сокращайте, ужимайте! Пересказ пересказа! Экстракт из пересказа пересказов! Политика? Одна колонка, две фразы, заголовок! И через минуту всё уже испарилось из памяти. Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрее, быстрее! — руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли!..

Милдред подошла к постели и стала оправлять простыни. Сердце Монтэга дрогнуло и замерло, когда руки её коснулись подушки. Вот она тормозит его за плечо, хочет, чтобы он приподнялся, а она взобьёт как следует подушку и снова положит ему за спину. И, может быть, вскрикнет и широко раскроет глаза или просто, сунув руку под подушку, спросит: «Что это?» — и с трогательной наивностью покажет спрятанную книгу.

— Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется всё меньше и меньше времени, и наконец эти предметы заброшены совсем. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения, а их кругом сколько угодно, на каждом шагу, наслаждайтесь! Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты?

— Дай я поправлю подушку, — сказала Милдред.

— Не надо, — тихо ответил Монтэг.

— Застёжка-молния заменила пуговицу, и вот уже нет лишней полминуты, чтобы над чем-нибудь призадуматься, одеваясь на рассвете, в этот философский и потому грустный час.

— Ну же, — повторила Милдред.

— Уйди, — ответил Монтэг.

— Жизнь превращается в сплошную карусель, Монтэг. Всё визжит, кричит, грохочет! Бац, бах, трах!

— Трах! — воскликнула Милдред, дёргая подушку.

— Да оставь же меня наконец в покое! — в отчаянии воскликнул Монтэг.

Битти удивлённо поднял брови. Рука Милдред застыла за подушкой. Пальцы её ощупывали переплёт книги, и по мере того, как она начала понимать, что это такое, лицо её стало менять выражение — сперва любопытство, потом изумление... Губы её раскрылись... Сейчас спросит...

— Долой драму, пусть в театре останется одна клоунада, а в комнатах сделайте стеклянные стены, и пусть на них взлетают цветные фейерверки, пусть переливаются краски, как рой конфетти, или как кровь, или херес, или сотерн. Вы, конечно, любите бейсбол, Монтэг?

— Бейсбол — хорошая игра.

Теперь голос Битти звучал откуда-то издалека, из-за густой завесы дыма.

— Что это? — почти с восторгом воскликнула Милдред. Монтэг тяжело навалился на её руку. — Что это?

— Сядь! — резко выкрикнул он. Милдред отскочила. Руки её были пусты. — Не видишь, что ли, что мы разговариваем?

Битти продолжал, как ни в чём не бывало:

— А кегли любите?

— Да.

— А гольф?

— Гольф — прекрасная игра.

— Баскетбол?

— Великолепная.

— Биллиард, футбол?

— Хорошие игры. Все хорошие.

— Как можно больше спорта, игр, увеселений — пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать. Организуйте же, организуйте всё новые и новые виды спорта, сверхорганизуйте сверхспорт! Больше книг с картинками. Больше фильмов. А пицци для ума всё меньше. В результате неудовлетворённость. Какое-то беспокойство. Дороги запружены людьми, все стремятся куда-то, всё равно куда. Бензиновые беженцы. Города превратились в туристские лагеря, люди — в орды кочевников, которые стихийно влекутся то туда, то сюда, как море во время прилива и отлива, — и вот сегодня он ночует в этой комнате, а перед тем ночевали вы, а накануне — я.

Милдред вышла, хлопнув дверью. В гостиной «тётушки» захохотали над «дядюшками».

— Возьмём теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше население, тем больше таких групп. И

берегитесь обидеть которую-нибудь из них — любителей собак или кошек, врачей, адвокатов, торговцев, начальников, мормонов, баптистов, унитариев, потомков китайских, шведских, итальянских, немецких эмигрантов, техасцев, бруклинцев, ирландцев, жителей штатов Орегон или Мехико. Герои книг, пьес, телевизионных передач не должны напоминать подлинно существующих художников, картографов, механиков. Запомните, Монтэг, чем шире рынок, тем тщательнее надо избегать конфликтов. Все эти группы и группочки, созерцающие собственный пуп, — не дай бог как-нибудь их задеть! Злонамеренные писатели, закройте свои пишущие машинки! Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа. Книги — в подслащённые помои. Так, по крайней мере, утверждали критики, эти заносчивые снобы. Не удивительно, говорили они, что книг никто не покупает. Но читатель прекрасно знал, что ему нужно, и, кружась в вихре веселья, он оставил себе комиксы. Ну и, разумеется, эротические журналы. Так-то вот, Монтэг. И всё это произошло без всякого вмешательства сверху, со стороны правительства. Не с каких-либо предписаний это началось, не с приказов или цензурных ограничений. Нет! Техника, массовость потребления и нажим со стороны этих самых групп — вот что, хвала господу, привело к нынешнему положению. Теперь благодаря им вы можете всегда быть счастливы: читайте себе на здоровье комиксы, разные там любовные исповеди и торгово-рекламные издания.

— Но при чём тут пожарные? — спросил Монтэг.

— А, — Битти наклонился вперёд, окружённый лёгким облаком табачного дыма. — Ну, это очень просто. Когда школы стали выпускать всё больше и больше бегунов, прыгунов, скакунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах, лётчиков, автогонщиков вместо исследователей, критиков, учёных и людей искусства, слово «интеллектуальный» стало бранным словом, каким ему и надлежит быть. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Вспомните-ка, в школе в одном классе с вами был, наверное, какой-нибудь особо одарённый малыш? Он лучше всех читал вслух и чаще всех отвечал на уроках, а другие сидели, как истуканы, и ненавидели его от всего сердца? И кого же вы колотили и всячески истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны стать одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды, тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют своё ничтожество. Вот! А книга — это заряженное ружьё в доме соседа. Сжечь

её! Разрядить ружьё! Надо обуздать человеческий разум. Почём знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я? Но я не выношу эту публику! И вот, когда дома во всём мире стали строить из несгораемых материалов и отпала необходимость в той работе, которую раньше выполняли пожарные (раньше они тушили пожары, в этом, Монтэг, вы вчера были правы), тогда на пожарных возложили новые обязанности — их сделали хранителями нашего спокойствия. В них, как в фокусе, сосредоточился весь наш вполне понятный и законный страх оказаться ниже других. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров. Это — вы, Монтэг, и это — я.

Дверь из гостиной открылась, и на пороге появилась Милдред. Она поглядела на Битти, потом на Монтэга. Позади неё на стенах гостиной шипели и хлопали зелёные, жёлтые и оранжевые фейерверки под аккомпанемент барабанного боя, глухих ударов там-тама и звона цимбал. Губы Милдред двигались, она что-то говорила, но шум заглушал её слова.

Битти вытряхнул пепел из трубки на розовую ладонь и принялся его разглядывать, словно в этом пепле заключён был некий таинственный смысл, в который надлежало проникнуть.

— Вы должны понять, сколь огромна наша цивилизация. Она так велика, что мы не можем допустить волнений и недовольства среди составляющих её групп. Спросите самого себя: чего мы больше всего жаждем? Быть счастливыми, ведь так? Всю жизнь вы только это и слышали. Мы хотим быть счастливыми, говорят люди. Ну и разве они не получили то, чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует. Для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность.

— Да.

По движению губ Милдред Монтэг догадывался, о чём она говорит, стоя в дверях. Но он старался не глядеть на неё, так как боялся, что Битти обернётся и тоже всё поймёт.

— Цветным не нравится книга «Маленький чёрный Самбо». Сжечь её. Белым неприятна «Хижина дяди Тома». Сжечь и её тоже. Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку лёгких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность, Монтэг, спокойствие. Прочь всё, что рождает тревогу. В печку! Похороны нагоняют уныние — это языческий обряд. Упразднить похороны. Через пять минут после кончины человек уже на пути в «большую трубу». Крематории обслуживаются геликоптерами. Через десять минут после смерти от

человека остаётся щепотка чёрной пыли. Не будем оплакивать умерших. Забудем их. Жгите, жгите всё подряд. Огонь горит ярко, огонь очищает.

Фейерверки за спиной у Милдред погасли. И одновременно — какое счастливое совпадение! — перестали двигаться губы Милдред. Монтэг с трудом перевёл дух.

— Тут, по соседству, жила девушка, — медленно проговорил он. — Её уже нет. Кажется, она умерла. Я даже хорошенько не помню её лица. Но она была не такая. Как... как это могло случиться?

Битти улыбнулся.

— Время от времени случается — то там, то тут. Это Кларисса Маклеллан, да? Её семья нам известна. Мы держим их под надзором. Наследственность и среда — это, я вам скажу, любопытная штука. Не так-то просто избавиться от всех чудаков, за несколько лет этого не сделаешь. Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытается привить школа. Вот почему мы всё время снижали возраст для поступления в детские сады. Теперь выхватываем ребятшек чуть не из колыбели. К нам уже поступали сигналы о Маклелланах, ещё когда они жили в Чикаго, но сигналы все оказались ложными. Книг у них мы не нашли. У дядюшки репутация неважная, необщителен. А что касается девушки, то это была бомба замедленного действия. Семья влияла на её подсознание, в этом я убедился, просмотрев её школьную характеристику. Её интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и почему. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать почему да зачем, и если вовремя не остановиться, то конец может быть очень печальный. Для бедняжки лучше, что она умерла.

— Да, она умерла.

— К счастью, такие, как она, встречаются редко. Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции. В самом раннем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь, и если не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а ещё лучше — ни одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ налогами, — это всё-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, Монтэг, превыше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: кто лучше помнит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города штатов или кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы цифрами, начиняйте их безобидными фактами, пока их не затошнит, ничего, зато им

будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперёд, хоть на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо «факты», которыми они напичканы, это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай бог, если они начнут строить выводы и обобщения. Ибо это ведёт к меланхолии! Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену, — а в наши дни большинство это умеет, — куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить вселенную, ибо нельзя её ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал! Нет, к чёрту! Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексy! Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего — ударьте по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны. Но мне-то всё равно. Я люблю, чтобы меня тряхнуло как следует.

Битти встал.

— Ну, мне пора. Лекция окончена. Надеюсь, я вам всё разъяснил. Главное, Монтэг, запомните — мы борцы за счастье — вы, я и другие. Мы охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех несчастными. Мы сторожа на плотине. Держитесь крепче, Монтэг! Следите, чтобы поток меланхолии и мрачной философии не захлестнул наш мир. На вас вся наша надежда! Вы даже не понимаете, как вы нужны, как мы с вами нужны в этом счастливом мире сегодняшнего дня.

Битти пожал безжизненную руку Монтэга. Тот неподвижно сидел в постели. Казалось, обрушья сейчас потолок ему на голову, он не шелохнётся. Милдред уже не было в дверях.

— Ещё одно напоследок, — сказал Битти. — У каждого пожарника хотя бы раз за время его служебной карьеры бывает такая минута: его вдруг охватывает любопытство. Вдруг захочется узнать: да что же такое написано в этих книгах? И так, знаете, захочется, что нет сил бороться. Ну так вот что, Монтэг, уж вы поверьте, мне в своё время немало пришлось прочитать книг — для ориентировки, и я вам говорю: в книгах ничего нет! Ничего такого, во что можно бы поверить, чему стоило бы научить других. Если это беллетристика, там рассказывается о людях, которых никогда не было на свете, чистый вымысел! А если это научная литература, так ещё хуже:

один учёный обзывает другого идиотом, один философ старается перекричать другого. И все суетятся и мечутся, стараются потушить звёзды и погасить солнце. Почитаешь — голова кругом пойдёт.

— А что, если пожарник случайно, без всякого злого умысла унесёт с собой книгу? — Нервная дрожь пробежала по лицу Монтэга. Открытая дверь глядела на него, словно огромный пустой глаз.

— Вполне объяснимый поступок. Простое любопытство, не больше, — ответил Битти. — Мы из-за этого не тревожимся и не приходим в ярость. Позволяем ему сутки держать у себя книгу. Если через сутки он сам её не сожжёт, мы это сделаем за него.

— Да. Понятно... — Во рту у Монтэга пересохло.

— Ну вот и всё, Монтэг. Может, хотите сегодня выйти попозже, в ночную смену? Увидимся с вами сегодня?

— Не знаю, — ответил Монтэг.

— Как? — На лице Битти отразилось лёгкое удивление.

Монтэг закрыл глаза.

— Может быть, я и приду. Попозже.

— Жаль, если сегодня не придёте, — сказал Битти в раздумье, пряча трубку в карман.

«Я никогда больше не приду», — подумал Монтэг.

— Ну, поправляйтесь, — сказал Битти. — Выздоровливайте. — И, повернувшись, вышел через открытую дверь.

Монтэг видел в окно, как отъехал Битти в своём сверкающем огненно-жёлтом с чёрными, как уголь, шинами жуке-автомобиле.

Из окна была видна улица и дома с плоскими фасадами. Что это Кларисса однажды сказала о них? Да: «Больше нет крылечек на фасаде. А дядя говорит, что прежде дома были с крылечками. И по вечерам люди сидели у себя на крыльце, разговаривали друг с другом, если им хотелось, а нет, так молчали, покачиваясь в качалках. Просто сидели и думали о чём-нибудь. Архитекторы уничтожили крылечки, потому что они будто бы портят фасад. Но дядя говорит, что это только отговорка, а на самом деле нельзя было допускать, чтобы люди вот так сидели на крылечках, отдыхали, качались в качалках, беседовали. Это вредное времяпрепровождение. Люди слишком много разговаривали. И у них было время думать. Поэтому крылечки решили уничтожить. И сады тоже. Возле домов нет больше садиков, где можно посидеть. А посмотрите на мебель! Кресло-качалка исчезло. Оно слишком удобно. Надо, чтобы люди больше двигались. Дядя говорит... дядя говорит... дядя...» Голос Клариссы умолк.

Монтэг отвернулся от окна и взглянул на жену, она сидела в гостиной и разговаривала с диктором, а тот, в свою очередь, обращался к ней. «Миссис Монтэг», — говорил диктор, — и ещё какие-то слова. — «Миссис Монтэг» — и ещё что-то. Специальный прибор, обошедшийся им в сто долларов, в нужный момент автоматически произносил имя его жены. Обращаясь к своей аудитории, диктор делал паузу и в каждом доме в этот момент прибор произносил имя хозяев, а другое специальное приспособление соответственно изменяло на телевизионном экране движение губ и мускулов лица диктора. Диктор был другом дома, близким и хорошим знакомым...

«Миссис Монтэг, а теперь взгляните сюда». Милдред повернула голову, хотя было совершенно очевидно, что она не слушает. Монтэг сказал: — Стоит сегодня не пойти на работу — и уже можно не ходить и завтра, можно не ходить совсем.

— Но ты ведь пойдёшь сегодня? — воскликнула Милдред.

— Я ещё не решил. Пока у меня только одно желание — это ужасное чувство! — хочется всё ломать и разрушать.

— Возьми автомобиль. Поезжай, проветришься.

— Нет, спасибо.

— Ключи от машины на ночном столике. Когда у меня бывает такое состояние, я всегда сажусь в машину и еду куда глаза глядят, — только побыстрее. Доведёшь до девяноста пяти миль в час — и великолепно помогает. Иногда всю ночь катаюсь, возвращаюсь домой под утро, а ты не знаешь ничего. За городом хорошо. Иной раз под колёса кролик попадёт, а то и собака. Возьми машину.

— Нет, сегодня не надо. Я не хочу, чтобы это чувство рассеивалось. О чёрт, что-то кипит во мне! Не понимаю, что это такое. Я так ужасно несчастлив, я так зол, сам не знаю почему. Мне кажется, я пухну, я разбухаю. Как будто я слишком многое держал в себе... Но что, я не знаю. Я, может быть, даже начну читать книги.

— Но ведь тебя посадят в тюрьму. — Она посмотрела на него так, словно между ними была стеклянная стена. Он начал одеваться, беспокойно бродя по комнате.

— Ну и пусть. Может, так и надо, посадить меня, пока я ещё кого-нибудь не покалечил. Ты слышала Битти? Слышала, что он говорит? У него на всё есть ответ. И он прав. Быть счастливым — это очень важно. Веселье — это всё. А я слушал его и твердил про себя: нет, я несчастлив, я несчастлив.

— А я счастлива, — рот Милдред растянулся в ослепительной

улыбке. — И горжусь этим!

— Я должен что-то сделать, — сказал Монтэг. — Не знаю что. Но что-то очень важное.

— Мне надоело слушать эту чепуху, — промолвила Милдред и снова повернулась к диктору. Монтэг тронул регулятор на стене, и диктор умолк.

— Милли! — начал Монтэг и остановился. — Это ведь и твой дом тоже, не только мой. И, чтобы быть честным, я должен тебе рассказать. Давно надо было это сделать, но я даже самому себе боялся признаться. Я покажу тебе то, что я целый год тут прятал. Целый год собирал, по одной, тайком. Сам не знаю, зачем я это делал, но вот, одним словом, сделал, а тебе так и не сказал...

Он взял стул с прямой спинкой, не спеша отнёс его в переднюю, поставил у стены возле входной двери, взобрался на него. С минуту постоял неподвижно, как статуя на пьедестале, а Милдред стояла рядом, глядя на него снизу вверх, и ждала. Затем он отодвинул вентиляционную решётку в стене, глубоко засунул руку в вентиляционную трубу, нащупал и отодвинул ещё одну решётку и достал книгу. Не глядя, бросил её на пол. Снова засунул руку, вытащил ещё две книги и тоже бросил на пол. Он вынимал книги одну за другой и бросал их на пол: маленькие, большие, в жёлтых, красных, зелёных переплётах. Когда он вытащил последнюю, у ног Милдред лежало не менее двадцати книг.

— Прости меня, — сказал он. — Я сделал это не подумав. А теперь похоже, что мы с тобой оба запутались в эту историю.

Милдред отшатнулась, словно увидела перед собой стаю мышей, выскочивших из-под пола. Монтэг слышал её прерывистое дыхание, видел её побледневшее лицо, застывшие широко открытые глаза. Она повторяла его имя — ещё и ещё раз, — затем с жалобным стоном метнулась к книгам, схватила одну и бросилась в кухню к печке для сжигания мусора.

Монтэг схватил её. Она завизжала и, царапаясь, стала вырываться.

— Нет, Милли, нет! Подожди! Перестань, прошу тебя. Ты ничего не знаешь... Да перестань же!.. — он ударил её по лицу и, схватив за плечи, встряхнул.

Губы её снова произнесли его имя, и она заплакала.

— Милли! — сказал он. — Выслушай меня. Одну секунду! Умоляю! Теперь уж ничего не поделаешь. Нельзя их сейчас жечь. Я хочу сперва заглянуть в них, понимаешь, заглянуть хоть разок. И если брандмейстер прав, мы вместе сожжём их. Даю тебе слово, мы вместе их сожжём! Ты должна помочь мне, Милли! — Он заглянул ей в лицо. Взял её за подбородок. Вглядываясь в её лицо, он искал в нём себя, искал ответ на

вопрос, что ему делать.

— Хочешь не хочешь, а мы всё равно уже запутались. Я ни о чём не просил тебя все эти годы, но теперь я прошу, я умоляю. Мы должны наконец разобраться, почему всё так получилось — ты и эти пилюли и безумные поездки в автомобиле по ночам, я и моя работа. Мы катимся в пропасть, Милли! Но я не хочу, чёрт возьми! Нам будет нелегко, мы даже не знаем, с чего начать, но попробуем как-нибудь разобраться, обдумать всё это, помочь друг другу. Мне так нужна твоя помощь, Милли, именно сейчас! Мне даже трудно передать тебе, как нужна! Если ты хоть капельку меня любишь, то потерпишь день, два. Вот всё, о чём я тебя прошу, — и на том всё кончится! Я обещаю, я клянусь тебе! И если есть хоть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупица разума среди хаоса, может быть, мы сможем передать её другим.

Милдред больше не сопротивлялась, и он отпустил её. Она отшатнулась к стене, обессиленно прислонилась к ней, потом тяжело сползла на пол. Она молча сидела на полу, глядя на разбросанные книги. Нога её коснулась одной из них, и она поспешно отдернула ногу.

— Эта женщина вчера... Ты не была там, Милли, ты не видела её лица. И Кларисса... Ты никогда не говорила с ней. А я говорил. Такие люди, как Битти, боятся её. Не понимаю! Почему они боятся Клариссы и таких, как Кларисса? Но вчера на дежурстве я начал сравнивать её с пожарниками на станции и вдруг понял, что ненавижу их, ненавижу самого себя. Я подумал, что, может быть, лучше всего было бы сжечь самих пожарных.

— Гай!

Рупор у входной двери тихо забормотал: «Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли».

Тишина.

Они испуганно смотрели на входную дверь, на книги, валявшиеся на полу.

— Битти! — промолвила Милдред.

— Не может быть. Это не он.

— Он вернулся! — прошептала она.

И снова мягкий голос из рупора: «...к вам пришли».

— Не надо открывать.

Монтэг прислонился к стене, затем медленно опустился на корточки и стал растерянно перебирать книги, хватая то одну, то другую, сам не понимая, что делает. Он весь дрожал, и больше всего ему хотелось снова запрянуть их в вентилятор. Но он знал, что встретиться ещё раз с

брандмейстером Битти он не в силах. Он сидел на корточках, потом просто сел на пол, и тут уже более настойчиво прозвучал голос рупора у двери. Монтэг поднял с полу маленький томик.

— С чего мы начнём? — Он раскрыл книгу на середине и заглянул в неё. Думаю, надо начать с начала...

— Он войдёт, — сказала Милдред, — и сожжёт нас вместе с книгами.

Рупор у двери наконец умолк. Тишина. Монтэг чувствовал чьё-то присутствие за дверью: кто-то стоял, ждал, прислушивался. Затем послышались шаги. Они удалялись. По дорожке. Потом через лужайку...

— Посмотрим, что тут написано, — сказал Монтэг. Он выговорил это с трудом, запинаясь, словно его сковывал жестокий стыд. Он пробежал глазами с десяток страниц, перескакивая с одного на другое, пока наконец не остановился на следующих строках:

«Установлено, что за всё это время не меньше одиннадцати тысяч человек пошли на казнь, лишь бы не подчиняться повелению разбивать яйца с острого конца».

Милдред сидела напротив.

— Что это значит? В этом же нет никакого смысла! Брандмейстер был прав!

— Нет, подожди, — ответил Монтэг. — Начнём опять. Начнём с самого начала.

Часть 2

СИТО И ПЕСОК

Весь долгий день они читали, а холодный ноябрьский дождь падал с неба на притихший дом. Они читали в передней. Гостиная казалась пустой и серой. На её умолкших стенах не играла радуга конфетти, не сверкали огнями фейерверки, не было женщин в платьях из золотой мишуры, и мужчины в чёрных бархатных костюмах не извлекали стофунтовых кроликов из серебряных цилиндров. Гостиная была мертва. И Милдред с застывшим, лишённым выражения лицом то и дело поглядывала на молчавшие стены, а Монтэг то беспокойно шагал по комнате, то опять опускался на корточки и по нескольку раз перечитывал вслух какую-нибудь страницу.

«Трудно сказать, в какой именно момент рождается дружба. Когда по капле наливаешь воду в сосуд, бывает какая-то одна, последняя капля, от которой он вдруг переполняется, и влага переливается через край, так и здесь в ряде добрых поступков какой-то один вдруг переполняет сердце».

Монтэг сидел, прислушиваясь к шуму дождя.

— Может быть, это-то и было в той девушке, что жила рядом с нами? Мне так хотелось понять её.

— Она же умерла. Ради бога, поговорим о ком-нибудь живом.

Не взглянув на жену, Монтэг, весь дрожа, как в ознобе, вышел в кухню. Он долго стоял там, глядя в окно на дождь, хлеставший по стёклам. Когда дрожь унялась, он вернулся в серый сумрак передней и взял новую книгу:

— «Наша излюбленная тема: о Себе». — Прищурившись, он поглядел на стену. — «Наша излюбленная тема: о Себе».

— Вот это мне понятно, — сказала Милдред.

— Но для Клариссы это вовсе не было излюбленной темой. Она любила говорить о других, обо мне. Из всех, кого я встречал за много, много лет, она первая мне по-настоящему понравилась. Только она одна из всех, кого я помню, смотрела мне прямо в глаза — так, словно я что-то значу.

Он поднял с полу обе книги, которые только что читал.

— Эти люди умерли много лет назад, но я знаю, что всё написанное

ими здесь так или иначе связано с Клариссой.

Снаружи, под дождём, что-то тихо заскреблось в дверь.

Монтэг замер. Милдред, вскрикнув, прижалась к стене.

— Кто-то за дверью... Почему молчит рупор?

— Я его выключил.

За дверью слышалось слабое пофыркивание, лёгкое шипение электрического пара. Милдред рассмеялась.

— Да это просто собака!.. Только и всего! Прогнать её?

— Не смей! Сиди!

Тишина. Там, снаружи, морозящий холодный дождь. А из-под запертой двери — тонкий запах голубых электрических разрядов.

— Продолжим, — спокойно сказал Монтэг. Милдред отшвырнула книгу ногой.

— Книги — это не люди. Ты читаешь, а я смотрю кругом, и никого нет!

Он глянул на стены гостиной: мёртвые и серые, как воды океана, который, однако, готов забурлить жизнью, стоит только включить электронное солнце.

— А вот «родственники» — это живые люди. Они мне что-то говорят, я смеюсь, они смеются. А краски!

— Да. Я знаю.

— А кроме того, если брандмейстер Битти узнает об этих книгах... — Она задумалась. На лице её отразилось удивление, потом страх. — Он может прийти сюда, сжечь дом, «родственников», всё! О, какой ужас! Подумай, сколько денег мы вложили во всё это! Почему я должна читать книги? Зачем?

— Почему? Зачем? — воскликнул Монтэг. — Прошлой ночью я видел змею. Отвратительней её нет ничего на свете! Она была как будто мёртвая и вместе с тем живая. Она могла смотреть, но она не видела. Хочешь взглянуть на неё? Она в больнице неотложной помощи, там подробно записано, какую мерзость она высосала из тебя. Может, пойдёшь туда, считаешь запись? Не знаю только, под какой рубрикой её искать: «Гай Монтэг», или «Страх», или «Война»? А может, пойдёшь посмотреть на дом, который вчера сгорел? Раскопаешь в пепле кости той женщины, что сама сожгла себя вместе с домом? А Кларисса Маклеллан? Где её теперь искать? В морге? Вот слушай!

Над домом проносились бомбардировщики, один за другим, проносились с рёвом, грохотом и свистом, словно гигантский невидимый вентилятор вращался в пустой дыре неба.

— Господи боже мой! — воскликнул Монтэг. — Каждый час они воют у нас над головой! Каждая секунда нашей жизни этим заполнена! Почему никто не говорит об этом? После 1960 года мы затеяли и выиграли две атомные войны. Мы тут так веселимся, что совсем забыли и думать об остальном мире. А не потому ли мы так богаты, что весь остальной мир беден и нам дела нет до этого? Я слышал, что во всём мире люди голодают. Но мы сыты! Я слышал, что весь мир тяжело трудится. Но мы веселимся. И не потому ли нас так ненавидят? Я слышал — когда-то давно, — что нас все ненавидят. А почему? За что? Ты знаешь?.. Я не знаю. Но, может быть, эти книги откроют нам глаза! Может быть, хоть они предостерегут нас от повторения всё тех же ужасных ошибок! Я что-то не слышал, чтобы эти идиотики в твоей гостиной когда-нибудь говорили об этом. Боже мой, Милли, ну как ты не понимаешь? Если читать каждый день понемногу — ну, час в день, два часа в день, — так, может быть...

Зазвонил телефон. Милдред схватила трубку.

— Энн! — Она радостно засмеялась. — Да, Белый клоун! Сегодня в вечерней программе!

Монтэг вышел в кухню и швырнул книгу на стол.

«Монтэг, — сказал он себе, — ты в самом деле глуп. Но что же делать? Сообщить о книгах на станцию? Забыть о них?» — Он снова раскрыл книгу, стараясь не слышать смеха Милдред.

«Бедная Милли, — думал он. — Бедный Монтэг. Ведь и ты тоже ничего в них не можешь понять. Где просить помощи, где найти учителя, когда уже столько времени потеряно?»

Не надо сдаваться. Он закрыл глаза. Ну да, конечно. Он снова поймал себя на том, что думает о городском парке, куда однажды забрёл год тому назад. В последнее время он всё чаще вспоминал об этом. И сейчас в памяти ясно всплыло всё, что произошло в тот день: зелёный уголок парка, на скамейке старик в чёрном костюме, при виде Монтэга он быстро спрятал что-то в карман пальто.

...Старик вскочил, словно хотел бежать. А Монтэг сказал:

— Подождите!

— Я ни в чём не виноват! — воскликнул старик дрожа.

— А я и не говорю, что вы в чём-то виноваты, — ответил Монтэг. Какое-то время они сидели молча в мягких зелёных отцветах листвы. Потом Монтэг заговорил о погоде, и старик отвечал ему тихим, слабым голосом. Это была странная, какая-то очень тихая и спокойная беседа. Старик признался, что он бывший профессор английского языка, он лишился работы лет сорок тому назад, когда из-за отсутствия учащихся и

материальной поддержки закрылся последний колледж изящной словесности. Старика звали Фабер, и когда наконец его страх перед Монтэгом прошёл, он стал словоохотлив, он заговорил тихим размеренным голосом, глядя на небо, на деревья, на зелёные лужайки парка. Они беседовали около часа, и тут старик вдруг что-то прочитал наизусть, и Монтэг понял, что это стихи. Потом старик, ещё больше осмелев, снова что-то прочитал, и это тоже были стихи. Прижав руку к левому карману пальто, Фабер с нежностью произносил слова, и Монтэг знал, что стоит ему протянуть руку — и в кармане у старика обнаружится томик стихов. Но он не сделал этого. Руки его, странно бессильные и ненужные, неподвижно лежали на коленях.

— Я ведь говорю не о самих вещах, сэр, — говорил Фабер. — Я говорю об их значении. Вот я сижу здесь и знаю — я живу.

Вот и всё, что случилось тогда. Разговор, длившийся час, стихи и эти слова, а затем старик слегка дрожащими пальцами записал ему свой адрес на клочке бумажки. До этой минуты оба избегали упоминать о том, что Монтэг — пожарный.

— Для вашей картотеки, — сказал старик, — на тот случай, если вы вздумаете рассердиться на меня.

— Я не сержусь на вас, — удивлённо ответил Монтэг.

В передней пронзительно смеялась Милдред. Открыв стенной шкаф в спальне, Монтэг перебирал карточки в ящике с надписью «Предстоящие расследования (?)». Среди них была карточка Фабера. Монтэг не донёс на него тогда, но и не уничтожил адреса.

Он набрал номер телефона. На другом конце провода сигнал несколько раз повторил имя Фабера, и наконец в трубке послышался слабый голос профессора. Монтэг назвал себя. Ответом было долгое молчание, а затем:

— Да, мистер Монтэг?

— Профессор Фабер, у меня к вам не совсем обычный вопрос. Сколько экземпляров библии осталось в нашей стране?

— Не понимаю, о чём вы говорите.

— Я хочу знать, остался ли у нас хоть один экземпляр библии?

— Это какая-то ловушка! Я не могу со всяким разговаривать по телефону.

— Сколько осталось экземпляров произведений Шекспира, Платона?

— Ни одного! Вы знаете это не хуже меня. Ни одного!

Фабер бросил трубку.

Монтэг тоже положил трубку. Ни одного. Монтэг и раньше это знал по спискам на пожарной станции. Но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера.

В передней его встретила Милдред с порозовевшим, весёлым лицом.

— Ну вот, сегодня у нас в гостях будут дамы!

Монтэг показал ей книгу.

— Это Ветхий и Новый завет, и знаешь, Милдред...

— Не начинай, пожалуйста, опять всё сначала!

— Это, возможно, единственный уцелевший экземпляр в нашей части света.

— Но ты должен сегодня же её вернуть? Ведь брандмейстер Битти знает об этой книге?

— Вряд ли он знает, какую именно книгу я унёс. Можно сдать другую. Но какую? Джефферсона? Или Торо? Какая из них менее ценна? А с другой стороны, если я её подменю, а Битти знает, какую именно книгу я украл, он догадается, что у нас тут целая библиотека.

У Милдред задёрнулись губы.

— Ну подумай, что ты делаешь! Ты нас погубишь! Что для тебя важнее — я или библия?

Она уже опять истерически кричала, похожая на восковую куклу, тающую от собственного жара.

Но Монтэг не слушал её. Он слышал голос Битти.

«Садитесь, Монтэг. Смотрите. Берём страничку. Осторожно. Как лепесток цветка. Поджигаем первую. Затем вторую. Огонь превращает их в чёрных бабочек. Красиво, а? Теперь от второй зажигайте третью, и так, цепочкой, страницу за страницей, главу за главой — все глупости, заключённые в словах, все лживые обещания, подержанные мысли, отжившую философию!»

Перед ним сидел Битти с влажным от пота лбом, а вокруг него пол был усеян трупами чёрных бабочек, погибших в огненном смерче.

Милдред перестала вопить столь же неожиданно, как и начала. Монтэг не обращал на неё внимания.

— Остаётся одно, — сказал он. — До того как наступит вечер, и я буду вынужден отдать книгу Битти, надо снять с неё копию.

— Ты будешь дома, когда начнётся программа Белого клоуна и придут гости? — крикнула ему вслед Милдред.

Не оборачиваясь, Монтэг остановился в дверях.

— Милли!

Молчание.

— Ну что?

— Милли, Белый клоун любит тебя?

Ответа нет.

— Милли, — он облизнул сухие губы, — твои «родственники» любят тебя? Любят всем сердцем, всей душой? А, Милли?

Он чувствовал, что, растерянно моргая, она смотрит ему в затылок.

— Зачем ты задаёшь такие глупые вопросы?

Ему хотелось плакать, но губы его были плотно сжаты, и в глазах не было слёз.

— Если увидишь за дверью собаку, дай ей за меня пинка, — сказала Милдред.

Он стоял в нерешительности перед дверью, прислушиваясь. Затем открыл её и перешагнул порог.

Дождь перестал, на безоблачном небе солнце клонилось к закату. Около дома никого не было, улица и лужайка были пусты. Вздох облегчения вырвался из груди Монтэга.

Он захлопнул за собой дверь.

Монтэг ехал в метро.

«Я весь словно застыл, — думал он. — Когда же это началось? Когда застыло моё лицо, моё тело? Не в ту ли ночь, когда в темноте я натолкнулся на флакон с таблетками, словно на спрятанную мину?»

Это пройдёт. Не сразу, может быть, понадобится время. Но я всё сделаю, чтобы это прошло, да и Фабер мне поможет. Кто-нибудь вернёт мне моё прежнее лицо, мои руки, они опять станут такими, как были. Сейчас даже улыбка, привычная улыбка пожарника покинула меня. Без неё я как потерянный».

В окнах мелькала стена туннеля — кремовые изразцы и густая чернота — изразцы и чернота, цифры и снова чернота, всё несло мимо, всё складывалось в какой-то непонятный итог.

Когда-то давно, когда он был ещё ребёнком, он сидел однажды на берегу моря, на жёлтом песке дюн в жаркий летний день и пытался наполнить песком сито, потому что двоюродный брат зло подшутил над ним, сказав: «Если наполнишь сито песком, получишь десять центов». Но чем быстрее он наполнял его, тем стремительнее, с сухим горячим шелестом песок просыпался сквозь сито. Руки у него устали, песок был горячий, как огонь, а сито всё оставалось пустым. Он молча сидел на берегу в душный, июльский день, и слёзы катились по его щекам.

Теперь, когда пневматический поезд мчал его, потряхивая и качая, по

пустым подземным коридорам, он вспомнил безжалостную логику сита и, опустив глаза, вдруг увидел, что держит в руках раскрытую библию. В вагоне были люди, но он, не скрываясь, держал книгу в руках, и в голову ему вдруг пришла нелепая мысль: если читать быстро и всё подряд, то хоть немного песка задержится в сите. Он начал читать, но слова просыпались насквозь, а ведь через несколько часов он увидит Битти и отдаст ему книгу, поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть, нужно запомнить каждую строчку. «Я, Монтэг, должен это сделать, я заставлю себя это сделать!»

Он судорожно стиснул книгу. В вагоне ревели радиорупоры:

— Зубная паста Денгэм!..

«Замолчи, — думал Монтэг. — Посмотрите на лилии, как они растут...»

— Зубная паста Денгэм!

«Они не трудятся...»

— Зубная паста...

«Посмотрите на лилии... Замолчи, да замолчи же!..»

— Зубная паста!..

Он опять раскрыл книгу, стал лихорадочно листать страницы, он ощупывал их, как слепой, впивался взглядом в строчки, в каждую букву.

— Денгэм. По буквам: Д-е-н...

«Не трудятся, не прядут...»

Сухой шелест песка, просыпающегося сквозь пустое сито.

— Денгэм освежает!..

«Посмотрите на лилии, лилии, лилии...»

— Зубной эликсир Денгэм!

— Замолчите, замолчите, замолчите!.. — эта мольба, этот крик о помощи с такой силой вырвался из груди Монтэга, что он сам не заметил, как вскочил на ноги. Пассажиры шумного вагона испуганно отшатнулись от человека с безумным, побагровевшим от крика лицом, с перекошенными, воспалёнными губами, сжимавшего в руках открытую книгу, все с опаской смотрели на него, все, кто минуту назад мирно отбивал такт ногой под выкрики рупора: Денгэм, Денгэм, зубная паста, Денгэм, Денгэм, зубной эликсир — раз два, раз два, раз два три, раз два, раз два, раз два три, все, кто только что машинально бормотал себе под нос: «Паста, паста, зубная паста, паста, паста, зубная паста...»

И, как бы в отместку, рупоры обрушили на Монтэга тонну музыки, составленной из металлического лязга — из дребезжания и звона жести, меди, серебра, латуни. И люди смирились, оглушённые до состояния полной покорности, они не убежали, ибо бежать было некуда: огромный

пневматический поезд мчался в глубоком туннеле под землёй.

— Лилии полевые...

— Денгэм!

— Лилии!.. Лилии!!

Люди с удивлением смотрели на него:

— Позовите кондуктора.

— Человек сошёл с ума...

— Станция Нолл Вью!

Со свистом выпустив воздух, поезд остановился.

— Нолл Вью! — громко.

— Денгэм, — шёпотом.

Губы Монтэга едва шевелились.

— Лилии...

Зашипев, дверь вагона открылась. Монтэг всё ещё стоял. Шумно вздохнув, дверь стала закрываться.

И только тогда Монтэг рванулся вперёд, растолкал пассажиров и, продолжая беззвучно кричать, выскочил на платформу сквозь узкую щель закрывающейся двери. Он бежал по белым плиткам туннеля, не обращая внимания на эскалаторы, — ему хотелось чувствовать, как ДВИЖУТСЯ его ноги, руки, как сжимаются и разжимаются лёгкие при каждом вдохе и выдохе и воздух обжигает горло. Вслед ему нёсся рёв: «Денгэм, Денгэм, Денгэм!!»

Зашипев, словно змея, поезд исчез в чёрной дыре туннеля.

— Кто там?

— Это я. Монтэг.

— Что вам угодно?

— Впустите меня.

— Я ничего не сделал.

— Я тут один. Понимаете? Один.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

Дверь медленно отворилась, выглянул Фабер. При ярком свете дня он казался очень старым, слабым, напуганным. Старик выглядел так, словно много лет не выходил из дому. Его лицо и белые оштукатуренные стены комнаты, видневшиеся за ним, были одного цвета. Белыми казались его губы, и кожа щёк, и седые волосы, и угасшие бледно-голубые глаза. Но вдруг взгляд его упал на книгу, которую Монтэг держал под мышкой, и старик разом изменился, теперь он уже не казался ни таким старым, ни

слабым. Страх его понемногу проходил.

— Простите, приходится быть осторожным. — Глаза Фабера были прикованы к книге. — Значит, это правда?

Монтэг вошёл. Дверь захлопнулась.

— Присядьте. — Фабер пятился, не сводя глаз с книги, словно боялся, что она исчезнет, если он хоть на секунду оторвёт от неё взгляд. За ним виднелась открытая дверь в спальню и там — стол, загромождённый частями каких-то механизмов и рабочим инструментом. Монтэг увидел всё это лишь мельком, ибо Фабер, заметив, куда он смотрит, быстро обернулся и захлопнул дверь. Он стоял, сжимая дрожащей рукой дверную ручку. Затем перевёл нерешительный взгляд на Монтэга.

Теперь Монтэг сидел, держа книгу на коленях.

— Эта книга... Где вы?..

— Я украл её.

Впервые Фабер посмотрел прямо в глаза Монтэгу.

— Вы смелый человек.

— Нет, — сказал Монтэг. — Но моя жена умирает. Девушка, которая была мне другом, уже умерла. Женщину, которая могла бы стать моим другом, сожгли заживо всего сутки тому назад. Вы единственный, кто может помочь мне. Я хочу видеть! Видеть!

Руки Фабера, дрожащие от нетерпения, протянулись к книге:

— Можно?..

— Ах да. Простите. — Монтэг протянул ему книгу.

— Столько времени!.. Я никогда не был религиозным... Но столько времени прошло с тех пор... — Фабер перелистывал книгу, останавливаясь иногда, пробегая глазами страничку. — Всё та же, та же, точь-в-точь такая, какой я её помню! А как её теперь исковеркали в наших телевизионных гостиных! Христос стал одним из «родственников». Я часто думаю, узнал бы господь бог своего сына? Мы так его раздели. Или, лучше сказать, — раздели. Теперь это настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему.

Фабер понюхал книгу.

— Знаете, книги пахнут мускатным орехом или ещё какими-то пряностями из далёких заморских стран. Ребёнком я любил нюхать книги. Господи, ведь сколько же было хороших книг, пока мы не позволили уничтожить их!

Он перелистывал страницы.

— Мистер Монтэг, вы видите перед собой труса. Я знал тогда, я видел,

к чему идёт, но я молчал. Я был одним из невиновных, одним из тех, кто мог бы поднять голос, когда никто уже не хотел слушать «виновных». Но я молчал и, таким образом, сам стал соучастником. И когда наконец придумали жечь книги, используя для этого пожарных, я пороптал немного и смирился, потому что никто меня не поддержал. А сейчас уже поздно.

Фабер закрыл библию.

— Теперь скажите мне, зачем вы пришли?

— Мне нужно поговорить, а слушать меня некому. Я не могу говорить со стенами, они кричат на меня. Я не могу говорить с женой, она слушает только стены. Я хочу, чтобы кто-нибудь выслушал меня. И если я буду говорить долго, то, может быть, и договорюсь до чего-нибудь разумного. А ещё я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю.

Фабер пристально посмотрел на худое, с синевой на бритых щеках, лицо Монтэга.

— Что вас так всколыхнуло? Что выбило факел пожарника из ваших рук?

— Не знаю. У нас есть всё, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чём я знаю, что раньше оно было, а теперь его нет, — это книги, которые я сам сжигал вот уже десять или двенадцать лет. И я подумал: может быть, книги мне и помогут.

— Вы — безнадёжный романтик, — сказал Фабер. — Это было бы смешно, если бы не было так серьёзно. Вам не книги нужны, а то, что когда-то было в них, что могло бы и теперь быть в программах наших гостиных. То же внимание к подробностям, ту же чуткость и сознательность могли бы воспитывать и наши радио- и телевизионные передачи, но, увы, они этого не делают. Нет, нет, книги не выложат вам сразу всё, чего вам хочется. Ищите это сами всюду, где можно, — в старых граммофонных пластинках, в старых фильмах, в старых друзьях. Ищите это в окружающей вас природе, в самом себе. Книги — только одно из мест, где мы храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в том, как они сшивают лоскутки вселенной в единое целое. Конечно, вам неоткуда было это узнать. Вам, наверно, и сейчас ещё непонятно, о чём я говорю. Но вы интуитивно пошли по правильному пути, а это главное. Слушайте, нам не хватает трёх вещей. Первая. Знаете ли вы, почему так важны такие книги, как эта? Потому что они обладают качеством. А что значит качество? Для меня это текстура, ткань книги. У этой книги есть

поры, она дышит. У неё есть лицо. Её можно изучать под микроскопом. И вы найдёте в ней жизнь, живую жизнь, протекающую перед вами в неисчерпаемом своём разнообразии. Чем больше пор, чем больше правдивого изображения разных сторон жизни на квадратный дюйм бумаги, тем более «художественна» книга. Вот моё определение качества. Давать подробности, новые подробности. Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью. Посредственные — лишь поверхностно скользят по ней. А плохие насилуют её и оставляют растерзанную на съедение мухам.

— Теперь вам понятно, — продолжал Фабер, — почему книги вызывают такую ненависть, почему их так боятся? Они показывают нам поры на лице жизни. Тем, кто ищет только покоя, хотелось бы видеть перед собой восковые лица, без пор и волос, без выражения. Мы живём в такое время, когда цветы хотят питаться цветами же, вместо того чтобы пить влагу дождя и соки жирной почвы. Но ведь даже фейерверк, даже всё его великолепие и богатство красок создано химией земли. А мы вообразили, будто можем жить и расти, питаясь цветами и фейерверками, не завершая естественного цикла, возвращающего нас к действительности. Известна ли вам легенда об Антее? Это был великан, обладавший непобедимой силой, пока он прочно стоял на земле. Но, когда Геркулес оторвал его от земли и поднял в воздух, Антей погиб. То же самое справедливо и для нас, живущих сейчас, вот в этом городе, — или я уж совсем сумасшедший. Итак, вот первое, чего нам не хватает: качества, текстуры наших знаний.

— А второе?

— Досуга.

— Но у нас достаточно свободного времени!

— Да. Свободного времени у нас достаточно. Но есть ли у нас время подумать? На что вы тратите своё свободное время? Либо вы мчитесь в машине со скоростью ста миль в час, так что ни о чём уж другом нельзя думать, кроме угрожающей вам опасности, либо вы убиваете время, играя в какую-нибудь игру, либо вы сидите в комнате с четырехстенным телевизором, а с ним уж, знаете ли, не поспоришь. Почему? Да потому, что эти изображения на стенах — это «реальность». Вот они перед вами, они зримы, они объемны, и они говорят вам, что вы должны думать, они вколачивают это вам в голову. Ну вам и начинает казаться, что это правильно — то, что они говорят. Вы начинаете верить, что это правильно. Вас так стремительно приводят к заданным выводам, что ваш разум не успевает возмутиться и воскликнуть: «Да ведь это чистейший вздор!»

— Только «родственники» — живые люди.

— Простите, что вы сказали?

— Моя жена говорит, что книги не обладают такой «реальностью», как телевизор.

— И слава богу, что так. Вы можете закрыть книгу и сказать ей: «Подожди». Вы её властелин. Но кто вырвет вас из цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы включаете телевизорную гостиную? Она мнёт вас, как глину, и формирует вас по своему желанию. Это тоже «среда» — такая же реальная, как мир. Она становится истиной, она есть истина. Книгу можно победить силой разума. Но при всех моих знаниях и скептицизме я никогда не находил в себе силы вступить в спор с симфоническим оркестром из ста инструментов, который ревел на меня с цветного и объёмного экрана наших чудовищных гостиных. Вы видите, моя гостиная — это четыре обыкновенные оштукатуренные стены. А это, — Фабер показал две маленькие резиновые пробки, — это чтобы затыкать уши, когда я еду в метро.

— Денгэм, Денгэм, зубная паста... «Они не трудятся, не прядут», — прошептал Монтэг, закрыв глаза. — Да. Но что же дальше? Помогут ли нам книги?

— Только при условии, что у нас будет третья необходимая нам вещь. Первая, как я уже сказал, — это качество наших знаний. Вторая — досуг, чтобы продумать, усвоить эти знания. А третья — право действовать на основе того, что мы почерпнули из взаимодействия двух первых. Но сомнительно, чтобы один глубокий старик и один разочаровавшийся пожарник могли что-то изменить теперь, когда дело зашло уже так далеко...

— Я могу доставать книги.

— Это страшный риск.

— Знаете, в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять — не боишься риска.

— Вы сейчас сказали очень любопытную вещь, — засмеялся Фабер, — и ведь ниоткуда не вычитали!

— А разве в книгах пишут о таком? Мне это так, вдруг почему-то пришло в голову.

— То-то и хорошо. Значит, не придумали нарочно для меня, или для кого-нибудь другого, или хоть для самого себя.

Монтэг нагнулся к Фаберу.

— Я сегодня вот что придумал: если книги действительно так ценны, так нельзя ли раздобыть печатный станок и отпечатать несколько экземпляров?.. Мы могли бы...

— Мы?

— Да, вы и я.

— Ну уж нет! — Фабер резко выпрямился.

— Да вы послушайте — я хоть изложу свой план...

— Если вы будете настаивать, я попрошу вас покинуть мой дом.

— Но разве вам не интересно?

— Нет, мне не интересны такие разговоры, за которые меня могут сжечь. Другое дело, если бы можно было уничтожить саму систему пожарных. Вот если бы вы предложили отпечатать несколько книг и спрятать их в домах у пожарных так, чтобы посеять семена сомнения среди самих поджигателей, я сказал бы вам: браво!

— Подбросить книги, дать сигнал тревоги и смотреть, как огонь пожирает дома пожарных? Вы это хотите сказать?

Фабер поднял брови и посмотрел на Монтэга, словно видел его впервые.

— Я пошутил.

— Вы считаете, что это дельный план? Стоит попытаться? Но мне нужно знать наверное, что от этого будет толк.

— Этого вам никто не может гарантировать. Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы всё-таки только и делали, что искали самый крутой утёс, чтобы с него прыгнуть. Тут достоверно только одно: да, нам необходимо дышать полной грудью. Да, нам нужны знания. И, может быть, лет этак через тысячу мы научимся выбирать для прыжков менее крутые утёсы. Ведь книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы. Они как преторианская стража Цезаря, которая нашёптывала ему во время триумфа: «Помни, Цезарь, что и ты смертен». Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. У нас нет ни времени, ни денег, ни такого количества друзей. Всё, что вы ищете, Монтэг, существует в мире, но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами, а остальные девяносто девять процентов он познаёт через книгу. Не требуйте гарантий. И не ждите спасения от чего-то одного — от человека, или машины, или библиотеки. Сами создавайте то, что может спасти мир, — и если утонете по дороге, так хоть будете знать, что плыли к берегу.

Фабер встал и начал ходить по комнате.

— Ну? — спросил Монтэг.

— Вы это серьёзно — насчёт пожарных?

— Абсолютно.

— Коварный план, ничего не скажешь, — Фабер нервно покосился на

дверь спальни. — Видеть, как по всей стране пылают дома пожарных, гибнут эти очаги предательства! Саламандра, пожирающая свой собственный хвост! Ух! Здорово!

— У меня есть адреса всех пожарных. Если у нас будет своего рода тайное...

— Людям нельзя доверять, в этом весь ужас. Вы да я, а кто ещё?

— Разве не осталось профессоров, таких, как вы? Бывших писателей, историков, лингвистов?..

— Умерли или уже очень стары.

— Чем старше, тем лучше. Меньше вызовут подозрений. Вы же знаете таких, и, наверно, не один десяток. Признайтесь!

— Да, пожалуй. Есть, например, актёры, которым уже много лет не приходилось играть в пьесах Пиранделло, Шоу и Шекспира, ибо эти пьесы слишком верно отражают жизнь. Можно бы использовать их гнев. И благородное возмущение историков, не написавших ни одной строчки за последние сорок лет. Это верно, мы могли бы создать школу и сызнава учить людей читать и мыслить.

— Да!

— Но всё это капля в море. Вся наша культура мертва. Самый остов её надо переплавить и отлить в новую форму. Но это не так-то просто! Дело ведь не только в том, чтобы снова взять в руки книгу, которую ты отложил полвека назад. вспомните, что надобность в пожарных возникает не так уж часто. Люди сами перестали читать книги, по собственной воле. Время от времени вы, пожарники, устраиваете для нас цирковые представления — поджигаете дома и развлекаете толпу. Но это так — дивертисмент, и вряд ли на этом всё держится. Охотников бунтовать в наше время осталось очень немного. А из этих немногих большинство легко запугать. Как меня, например. Можете вы плясать быстрее, чем Белый клоун, или кричать громче, чем сам господин Главный Фокусник и все гостиные «родственники»? Если можете, то, пожалуй, добьётесь своего. А в общем, Монтэг, вы, конечно, глупец. Люди-то ведь действительно веселятся.

— Кончая жизнь самоубийством? Убивая друг друга?

Пока они говорили, над домом проносились эскадрильи бомбардировщиков, держа курс на восток. Только сейчас они заметили это и умолкли, прислушиваясь к мощному рёву реактивных моторов, чувствуя, как от него всё сотрясается у них внутри.

— Потерпите, Монтэг. Вот будет война — и все наши гостиные сами собой умолкнут. Наша цивилизация несётся к гибели. Отойдите в сторону, чтобы вас не задело колесом.

— Но ведь кто-то должен быть наготове, чтобы строить, когда всё рухнет?

— Кто же? Те, кто может наизусть цитировать Мильтона? Кто может сказать: «А я ещё помню Софокла»? Да и что они станут делать? Напоминать уцелевшим, что у человека есть также и хорошие стороны? Эти уцелевшие только о том будут думать, как бы набрать камней да запустить ими друг в друга. Идите домой, Монтэг. Ложитесь спать. Зачем тратить свои последние часы на то, чтобы кружиться по клетке и уверять себя, что ты не белка в колесе?

— Значит, вам уже всё равно?

— Нет, мне не всё равно. Мне до такой степени не всё равно, что я прямо болен от этого.

— И вы не хотите помочь мне?

— Спокойной ночи. Спокойной ночи. Руки Монтэга протянулись к библии. Он сам удивился тому, что вдруг сделали его руки.

— Хотели бы вы иметь эту книгу?

— Правую руку отдал бы за это, — сказал Фабер.

Монтэг стоял и ждал, что будут делать дальше его руки. И они, помимо его воли и желания, словно два живых существа, охваченных одним стремлением, стали вырывать страницы. Оторвали титульный лист, первую страницу, вторую.

— Сумасшедший! Что вы делаете? — Фабер подскочил как от удара. Он бросился к Монтэгу, но тот отстранил его. Руки Монтэга продолжали рвать книгу. Ещё шесть страниц упали на пол. Монтэг поднял их и на глазах у Фабера скомкал в руке.

— Не надо! Прощу вас, не надо! — воскликнул старик.

— А кто мне помешает? Я пожарный. Я могу сжечь вас.

Старик взглянул на него.

— Вы этого не сделаете!

— Могу сделать, если захочу.

— Эта книга... не рвите её!

Фабер опустил на стул. Лицо его побелело как полотно, губы дрожали.

— Я устал. Не мучайте меня. Чего вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы научили меня.

— Хорошо. Хорошо.

Монтэг положил книгу. Руки его начали разглаживать смятые страницы. Старик устало следил за ним.

Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя оцепенение, Фабер спросил:

— У вас есть деньги, Монтэг?

— Есть. Немного. Четыреста или пятьсот долларов. Почему вы спрашиваете?

— Принесите мне. Я знаю человека, который полвека тому назад печатал газету нашего колледжа. Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на курс лекций по истории драмы, от Эсхила до Юджина О'Нила, записался всего один студент. Понимаете? Впечатление было такое, будто прекрасная статуя из льда тает у тебя на глазах под палящими лучами солнца. Я помню, как одна за другой умирали газеты, словно бабочки на огне. Никто не пытался их воскресить. Никто не жалел о них. И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, пожирателей огня. Так вот, Монтэг, у нас, стало быть, имеется безработный печатник. Мы можем отпечатать несколько книг и ждать, пока не начнётся война, которая разрушит нынешний порядок вещей и даст нам нужный толчок. Несколько бомб — и все эти «родственники», обитающие в стенах гостиных, вся эта шутовская свора умолкнет навсегда! И в наступившей тишине, может быть, станет слышен наш шёпот.

Глаза обоих были устремлены на книгу, лежащую на столе.

— Я пытался запомнить, — сказал Монтэг. — Но, чёрт! Стоит отвести глаза, и я уже всё забыл. Господи, как бы мне хотелось поговорить с брандмейстером Битти! Он много читал, у него на всё есть ответ, или так, по крайней мере, кажется. Голос у него, как масло. Я только боюсь, что он уговорит меня и я опять стану прежним. Ведь всего неделю назад, наполняя шланг керосином, я думал: чёрт возьми, до чего же здорово!

Старик кивнул головой:

— Кто не созидает, должен разрушать. Это старо как мир. Психология малолетних преступников.

— Так вот, значит, кто я такой!

— В каждом из нас это есть.

Монтэг сделал несколько шагов к выходу.

— Вы не можете как-нибудь мне помочь, когда я сегодня вечером буду разговаривать с брандмейстером Битти? Мне нужна поддержка. А то как бы мне не захлебнуться, когда он станет изливать на меня потоки своих речей.

Старик ничего не ответил и снова бросил беспокойный взгляд на дверь спальни. Монтэг заметил это.

— Ну так как же?

Старик глубоко вздохнул. Закрыв глаза и плотно сжав губы, он ещё раз с усилием перевёл дыхание. С его губ слетело имя Монтэга.

Наконец, повернувшись к Монтэгу, он сказал:

— Пойдёмте. Я чуть было не позволил вам уйти. Я в самом деле трус. И старый дурак.

Он растворил дверь спальни. Следом за ним Монтэг вошёл в небольшую комнату, где стоял стол, заваленный инструментами, мотками тончайшей, как паутина, проволоки, крошечными пружинками, катушками, кристалликами.

— Что это? — спросил Монтэг.

— Свидетельство моей страшной трусости. Я столько лет жил один в этих стенах, наедине со своими мыслями. Возиться с электрическими приборами и радиоприёмниками стало моей страстью. Именно эта трусость и в то же время мятежный дух, подспудно живущий во мне, побудили меня изобрести вот это.

Он взял со стола маленький металлический предмет зеленоватого цвета, напоминающий пулю небольшого калибра.

— Откуда я взял на это средства, спросите вы? Ну, понятно, играл на бирже. Это ведь последнее прибежище для опасномыслящих интеллигентов, оставшихся без работы. Играл на бирже, работал над этим изобретением и ждал. Полжизни просидел, трясясь от страха, всё ждал, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам я не решался ни с кем заговаривать. Когда мы с вами сидели в парке и беседовали — помните? — я уже знал, что вы придёте ко мне, но с факелом ли пожарника или за тем, чтобы протянуть мне руку дружбы, — вот этого я не мог сказать наперёд. И этот маленький аппарат был уже готов несколько месяцев тому назад. А всё-таки я чуть было не позволил вам уйти. Вот какой я трус.

— Похож на радиоприёмник «Ракушку».

— Но это больше, чем приёмник. Мой аппарат слушает! Если вы вставите эту пульку в ухо, Монтэг, я могу спокойно сидеть дома, греть в тепле свои напуганные старые кости и вместе с тем слушать и изучать мир пожарников, выискивать его слабые стороны, не подвергаясь при этом ни малейшему риску. Я буду, как пчелиная матка, сидящая в своём улье. А вы будете рабочей пчелой, моим путешествующим ухом. Я мог бы иметь уши во всех концах города, среди самых различных людей. Я мог бы слушать и делать выводы. Если пчёлы погибнут, меня это не коснётся, я по-прежнему буду у себя дома в безопасности, буду переживать свои страх с максимумом комфорта и минимумом риска. Теперь вы видите, как мало я рискую в этой игре, какого презрения я достоин!

Монтэг вложил зелёную пульку в ухо. Старик тоже вложил в ухо такой же маленький металлический предмет и зашевелил губами:

— Монтэг!

Голос раздавался где-то в глубине мозга Монтэга.

— Я слышу вас!

Старик засмеялся:

— Я вас тоже хорошо слышу, — Фабер говорил шёпотом, но голос его отчётливо звучал в голове Монтэга.

— Когда придёт время, идите на пожарную станцию. Я буду с вами. Мы вместе послушаем вашего брандмейстера. Может быть, он один из нас, кто знает. Я подскажу вам, что говорить. Мы славно его разыграем. Скажите, вы ненавидите меня сейчас за эту электронную штучку, а? Я выгоняю вас на улицу, в темноту, а сам остаюсь за линией фронта, мои уши будут слушать, а вам за это, может быть, снимут голову.

— Каждый делает что может, — ответил Монтэг. Он вложил библию в руки старика. — Берите. Я попробую отдать что-нибудь другое вместо неё. А завтра...

— Да, завтра я повिдаюсь с безработным печатником. Хоть это-то я могу сделать.

— Спокойной ночи, профессор.

— Нет, спокойной эта ночь не будет. Но я всё время буду с вами. Как назойливый комар, стану жужжать вам на ухо, как только понадобится. И всё же дай вам бог спокойствия в эту ночь, Монтэг. И удачи.

Дверь растворилась и захлопнулась. Монтэг снова был на тёмной улице и снова один на один с миром.

В ту ночь даже небо готовилось к войне. По нему клубились тучи, и в просветах между ними, как вражеские дозорные, сияли мириады звёзд. Небо словно собиралось обрушиться на город и превратить его в кучу белой пыли. В кровавом зареве вставала луна. Вот какой была эта ночь.

Монтэг шёл от станции метро, деньги лежали у него в кармане (он уже побывал в банке, открытом всю ночь, его обслуживали механические роботы). Он шёл и, вставив «Ракушку» в ухо, слушал голос диктора:

— Мобилизован один миллион человек. Если начнётся война, быстрая победа обеспечена... — Внезапно ворвавшаяся музыка заглушила голос диктора, и он умолк.

— Мобилизовано десять миллионов, — шептал голос Фабера в другом ухе. — Но говорят, что один. Так спокойнее.

— Фабер!

— Да.

— Я не думаю. Я только выполняю то, что мне приказано, как делал это всегда. Вы сказали достать деньги, и я достал. Но сам я не подумал об этом. Когда же я начну думать и действовать самостоятельно?

— Вы уже начали, когда это сказали. Но на первых порах придётся вам полагаться на меня.

— На тех я тоже полагался.

— Да, и видите, куда это вас завело. Какое-то время вы будете брести вслепую. Вот вам моя рука.

— Перейти на другую сторону и опять действовать по указке? Нет, так я не хочу. Зачем мне тогда переходить на вашу сторону?

— Вы уже поумнели, Монтэг.

Монтэг почувствовал под ногами знакомый тротуар, и ноги сами несли его к дому.

— Продолжайте, профессор.

— Хотите, я вам почитаю? Я постараюсь читать так, чтобы вы всё запомнили. Я сплю всего пять часов в сутки. Свободного времени у меня много. Если хотите, я буду читать вам каждый вечер, на сон грядущий. Говорят, что мозг спящего человека всё запоминает, если тихонько нащёптывать спящему на ухо.

— Да.

— Так вот слушайте. — Далеко, в другом конце города, тихо зашелестели переворачиваемые страницы. — Книга Иова.

Взошла луна. Беззвучно шевеля губами, Монтэг шёл по тротуару.

В девять вечера, когда он заканчивал свой лёгкий ужин, рупор у входной двери возвестил о приходе гостей. Милдред бросилась в переднюю с поспешностью человека, спасающегося от извержения вулкана. В дом вошли миссис Фелпс и миссис Бауэлс, и гостиная поглотила их, словно огненный кратер. В руках у дам были бутылки martini. Монтэг прервал свою трапезу. Эти женщины были похожи на чудовищные стеклянные люстры, звенящие тысячами хрустальных подвесок. Даже сквозь стену он видел их застывшие бессмысленные улыбки. Они визгливо приветствовали друг друга, стараясь перекрыть шум гостиной.

Дождёвая кусок, Монтэг остановился в дверях.

— У вас прекрасный вид!

— Прекрасный!

— Ты шикарно выглядишь, Милли!

— Шикарно!

— Все выглядят чудесно!

— Чудесно!

Монтэг молча наблюдал их.

— Спокойно, Монтэг, — предостерегающе шептал в ухо Фабер.

— Зря я тут задержался, — почти про себя сказал Монтэг. — Давно уже надо было бы ехать к вам с деньгами.

— Это не поздно сделать и завтра. Будьте осторожны, Монтэг.

— Чудесное ревью, не правда ли? — воскликнула Милдред.

— Восхитительное!

На одной из трёх телевизиорных стен какая-то женщина одновременно пила апельсиновый сок и улыбалась ослепительной улыбкой.

«Как это она ухитряется?» — думал Монтэг, испытывая странную ненависть к улыбающейся даме. На другой стене видно было в рентгеновских лучах, как апельсиновый сок совершает путь по пищеводу той же дамы, направляясь к её трепещущему от восторга желудку. Вдруг гостиная ринулась в облака на крыльях ракетного самолёта, потом нырнула в мутно-зелёные воды моря, где синие рыбы пожирали красных и жёлтых рыб. А через минуту три белых мультипликационных клоуна уже рубили друг другу руки и ноги под взрывы одобрительного хохота. Спустя ещё две минуты стены перенесли зрителей куда-то за город, где по кругу в бешеном темпе мчались ракетные автомобили, сталкиваясь и сшибая друг друга. Монтэг видел, как в воздух взлетели человеческие тела.

— Милли, ты видела?

— Видела, видела!

Монтэг просунул руку внутрь стены и повернул центральный выключатель. Изображения на стенах погасли, как будто из огромного стеклянного аквариума, в котором метались обезумевшие рыбы, кто-то внезапно выпустил воду.

Все три женщины обернулись и с нескрываемым раздражением и неприязнью посмотрели на Монтэга.

— Как вы думаете, когда начнётся война? — спросил Монтэг. — Я вижу, ваших мужей сегодня нет с вами.

— О, они то приходят, то уходят, — сказала миссис Фелпс. — То приходят, то уходят, себе места не находят... Пита вчера призвали. Он вернётся на будущей неделе. Так ему сказали. Короткая война. Через сорок восемь часов все будут дома. Так сказали в армии. Короткая война. Пита призвали вчера и сказали, что через неделю он будет дома. Короткая...

Три женщины беспокойно ёрзали на стульях, нервно поглядывая на

пустые грязно-серые стены.

— Я не беспокоюсь, — сказала миссис Фелпс. — Пусть Пит беспокоится, — хихикнула она. — Пусть себе Пит беспокоится. А я и не подумаю. Я ничуть не тревожусь.

— Да, да, — подхватила Милли. — Пусть себе Пит тревожится.

— Убивают всегда чужих мужей. Так говорят.

— Да, я тоже слышала. Не знаю ни одного человека, погибшего на войне. Погибают как-нибудь иначе. Например, бросаются с высоких зданий. Это бывает. Как муж Глории на прошлой неделе. Это да. Но на войне? Нет.

— На войне — нет, — согласилась миссис Фелпс. — Во всяком случае, мы с Питом всегда говорили: никаких слёз и прочих сантиментов. Это мой третий брак, у Пита тоже третий, и мы оба совершенно независимы. Надо быть независимым — так мы всегда считали. Пит сказал, если его убьют, чтобы я не плакала, а скорей бы выходила замуж — и дело с концом.

— Кстати! — воскликнула Милдред. — Вы видели вчера на стенах пятиминутный роман Клары Доув? Это про то, как она...

Монтэг молча разглядывал лица женщин, так когда-то он разглядывал изображения святых в какой-то церквушке чужого вероисповедания, в которую случайно забрёл ребёнком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хоть он и пробовал обращаться к ним в молитве и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться чужой верой, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту пыли. Ему думалось: если эти запахи наполнят его лёгкие, проникнут в его кровь, тогда, быть может, его тронут, станут понятнее эти раскрашенные фигурки с фарфоровыми глазами и яркими, как рубин, губами. Но ничего не получилось, ничего! Всё равно как если бы он зашёл в лавку, где в обращении была другая валюта, так что он ничего не мог купить на свои деньги. Он остался холоден, даже когда потрогал святых — просто дерево, глина. Так чувствовал он себя и сейчас, в своей собственной гостиной, глядя на трёх женщин, нервно ёрзавших на стульях. Они курили, пускали в воздух клубы дыма, поправляли свои яркие волосы, разглядывали свои ногти — огненно-красные, словно воспламенившиеся от пристального взгляда Монтэга. Тишина угнетала женщин, в их лицах была тоска. Когда Монтэг проглотил наконец недоеденный кусок, женщины невольно подались вперёд. Они настороженно прислушивались к его лихорадочному дыханию. Три пустые стены гостиной были похожи теперь на бледные лбы спящих великанов, погружённых в тяжкий сон без

сновидений. Монтэгу чудилось — если коснуться великаньих лбов, на пальцах останется след солёного пота. И чем дальше, тем явственнее выступала испарина на этих мёртвых лбах, тем напряжённее молчание, тем ощутимее трепет в воздухе и в теле этих сгорающих от нетерпения женщин. Казалось, ещё минута — и они, громко зашипев, взорвутся.

Губы Монтэга шевельнулись:

— Давайте поговорим.

Женщины вздрогнули и уставились на него.

— Как ваши дети, миссис Фелпс? — спросил Монтэг.

— Вы прекрасно знаете, что у меня нет детей! Да и кто в наше время, будучи в здравом уме, захочет иметь детей? — воскликнула миссис Фелпс, не понимая, почему так раздражает её этот человек.

— Нет, тут я с вами не согласна, — промолвила миссис Бауэлс. — У меня двое. Мне, разумеется, оба раза делали кесарево сечение. Не терпеть же мне родовые муки из-за какого-то там ребёнка? Но, с другой стороны, люди должны размножаться. Мы обязаны продолжать человеческий род. Кроме того, дети иногда бывают похожи на родителей, а это очень забавно. Ну, что ж, два кесаревых сечения — и проблема решена. Да, сэр. Мой врач говорил — кесарево не обязательно, вы нормально сложены, можете рожать, но я настояла.

— И всё-таки дети — это ужасная обуза. Вы просто сумасшедшая, что вздумали их заводить! — воскликнула миссис Фелпс.

— Да нет, не так уж плохо. Девять дней из десяти они проводят в школе. Мне с ними приходится бывать только три дня в месяц, когда они дома. Но и это ничего. Я их загоняю в гостиную, включаю стены — и всё. Как при стирке белья. Вы закладываете бельё в машину и захлопываете крышку. — Миссис Бауэлс хихикнула. — А нежностей у нас никаких не полагается. Им и в голову не приходит меня поцеловать. Скорее уж дадут пинка. Слава богу, я ещё могу ответить им тем же.

Женщины громко расхохотались.

Милдред с минуту сидела молча, но видя, что Монтэг не уходит, захлопала в ладоши и воскликнула:

— Давайте доставим удовольствие Гаю и поговорим о политике.

— Ну что ж, прекрасно, — сказала миссис Бауэлс. — На прошлых выборах я голосовала, как и все. Конечно, за Нобля. Я нахожу, что он один из самых приятных мужчин, когда-либо избиравшихся в президенты.

— О да. А помните того, другого, которого выставили против Нобля?

— Да уж хорош был, нечего сказать! Маленький, невзрачный, и выбрит кое-как, и причёсан плохо.

— И что это оппозиции пришло в голову выставить его кандидатуру? Разве можно выставлять такого коротышку против человека высокого роста? Вдобавок он мямлил. Я почти ничего не расслышала из того, что он говорил. А что расслышала, того не поняла.

— Кроме того, он толстяк и даже не старался скрыть это одеждой. Чему же удивляться! Конечно, большинство голосовало за Уинстона Нобля. Даже их имена сыграли тут роль. Сравните: Уинстон Нобль и Хьюберт Хауг — и ответ вам сразу станет ясен.

— Чёрт! — воскликнул Монтэг. — Да ведь вы же ничего о них не знаете — ни о том, ни о другом!

— Ну как же не знаем. Мы их видели на стенах вот этой самой гостиной! Всего полгода назад. Один всё время ковырял в носу. Ужас что такое! Смотреть было противно.

— И по-вашему, мистер Монтэг, мы должны были голосовать за такого человека? — воскликнула миссис Фелпс.

Милдред засияла улыбкой:

— Гай, пожалуйста, не зли нас! Отойди от двери! — Но Монтэг уже исчез, через минуту он вернулся с книгой в руках. — Гай!

— К чёрту всё! К чёрту! К чёрту!

— Что это? Неужели книга? А мне казалось, что специальное обучение всё теперь проводится с помощью кинофильмов. — Миссис Фелпс удивлённо заморгала глазами. — Вы изучаете теорию пожарного дела?

— Какая там к чёрту теория! — ответил Монтэг. — Это стихи.

— Монтэг! — прозвучал у него в ушах предостерегающий шёпот Фабера.

— Оставьте меня в покое! — Монтэг чувствовал, что его словно затягивает в какой-то стремительный гудящий и звенящий водоворот.

— Монтэг, держите себя в руках! Не смейте...

— Вы слышали их? Слышали, что эти чудовища лопотали тут о других таких же чудовищах? Господи! Что только они говорят о людях! О собственных детях, о самих себе, о своих мужьях, о войне!.. Будь они прокляты! Я слушал и не верил своим ушам.

— Позвольте! Я ни слова не сказала о войне! — воскликнула миссис Фелпс.

— Стихи! Терпеть не могу стихов, — сказала миссис Бауэлс.

— А вы их когда-нибудь слышали?

— Монтэг! — голос Фабера ввинчивался Монтэгу в ухо. — Вы всё погубите. Сумасшедший! Замолчите!

Женщины вскочили.

— Сядьте! — крикнул Монтэг. Они послушно сели.

— Я ухожу домой, — дрожащим голосом промолвила миссис Бауэлс.

— Монтэг, Монтэг, прошу вас, ради бога! Что вы затеяли? — умолял Фабер.

— Да вы почитали бы нам какой-нибудь стишок из вашей книжки, — миссис Фелпс кивнула головой. — Будет очень интересно.

— Но это запрещено, — жалобно возопила миссис Бауэлс. — Этого нельзя!

— Но посмотрите на мистера Монтэга! Ему очень хочется почитать, я же вижу. И, если мы минутку посидим смирно и слушаем, мистер Монтэг будет доволен, и тогда мы сможем заняться чем-нибудь другим. — Миссис Фелпс нервно покосилась на пустые стены.

— Монтэг, если вы это сделаете, я выключусь, я вас брошу, — пронзительно звенела в ухе мошка. — Что это вам даст? Чего вы достигнете?

— Напугаю их до смерти, вот что! Так напугаю, что света не взвидят!

Милдред оглянулась:

— Да с кем ты разговариваешь, Гай?

Серебряная игла вонзилась ему в мозг.

— Монтэг, слушайте, есть только один выход! Обратите всё в шутку, смейтесь, сделайте вид, что вам весело! А затем сожгите книгу в печке.

Но Милдред его опередила. Предчувствуя беду, она уже объясняла дрожащим голосом:

— Дорогие дамы, раз в год каждому пожарному разрешается принести домой книгу, чтобы показать своей семье, как в прежнее время всё было глупо и нелепо, как книги лишали людей спокойствия и сводили их с ума. Вот Гай и решил сделать вам сегодня такой сюрприз. Он прочтёт нам что-нибудь, чтобы мы сами увидели, какой это всё вздор, и больше уж никогда не ломали наши бедные головки над этой дребеденью. Ведь так, дорогой?

Монтэг судорожно смял книгу в руках.

— Скажите да, Монтэг, — приказал Фабер.

Губы Монтэга послушно выполнили приказ Фабера:

— Да.

Милдред со смехом вырвала книгу.

— Вот, прочти это стихотворение. Нет, лучше это, смешное, ты уже читал его сегодня вслух. Милочки мои, вы ничего не поймёте — ничего! Это просто набор слов — ту-ту-ту. Гай, дорогой, читай вот эту страницу!

Он взглянул на раскрытую страницу. В ухе зазвенела мошка:

— Читайте, Монтэг.

— Как называется стихотворение, милый?

— «Берег Дувра».

Язык Монтэга прилип к гортани.

— Ну читай же — погромче и не торопись.

В комнате нечем было дышать. Монтэга бросало то в жар, то в холод. Гостиная казалась пустыней — три стула на середине и он, нетвёрдо стоящий на ногах, ждущий, когда миссис Фелпс перестанет оправлять платье, а миссис Бауэлс оторвёт руки от причёски. Он начал читать, сначала тихо, запинаясь, потом с каждой прочитанной строчкой всё увереннее и громче. Голос его проносился над пустыней, ударялся в белую пустоту, звенел в раскалённом воздухе над головами сидящих женщин:

Доверья океан
Когда-то полон был и, брег земли обвив,
Как пояс, радужный, в спокойствии лежал
Но нынче слышу я
Лишь долгий грустный стон да ропщущий отлив
Гонимый сквозь туман
Порывом бурь, разбитый о края
Житейских голых скал.

Скрипели стулья. Монтэг продолжал читать.

Дозволь нам, о любовь,
Друг другу верным быть.
Ведь этот мир, что рос
Пред нами, как страна исполнившихся грёз,
Так многолик, прекрасен он и нов,
Не знает, в сущности, ни света, ни страстей,
Ни мира, ни тепла, ни чувств, ни состраданья,
И в нём мы бродим, как по полю брани,
Хранящему следы смятенья, бегств, смертей,
Где полчища слепцов сошлись в борьбе своей[4]

Миссис Фелпс рыдала.

Её подруги смотрели на её слёзы, на искажённое гримасой лицо. Они

сидели, не смея коснуться её, ошеломлённые столь бурным проявлением чувств. Миссис Фелпс безудержно рыдала. Монтэг сам был потрясён и обескуражен.

— Тише, тише, Клара, — промолвила Милдред. — Успокойся! Да перестань же, Клара, что с тобой?

— Я... я... — рыдала миссис Фелпс. — Я не знаю, не знаю... Ничего не знаю. О-о...

Миссис Бауэлс поднялась и грозно взглянула на Монтэга.

— Ну? Теперь видите? Я знала, что так будет! Вот это-то я и хотела доказать! Я всегда говорила, что поэзия — это слёзы, поэзия — это самоубийства, истерики и отвратительное самочувствие, поэзия — это болезнь. Гадость — и больше ничего! Теперь я в этом окончательно убедилась. Вы злой человек, мистер Монтэг, злой, злой!

— Ну, а теперь... — шептал на ухо Фабер.

Монтэг послушно повернулся, подошёл к камину и сунул руку сквозь медные брусья решётки навстречу жадному пламени.

— Глупые слова, глупые, ранящие душу слова, — продолжала миссис Бауэлс. — Почему люди стараются причинить боль друг другу? Разве мало и без того страданий на свете, так нужно ещё мучить человека этаким чепухой.

— Клара, успокойся! — увещевала Милдред рыдающую миссис Фелпс, теребя её за руку. — Прощу тебя, перестань! Мы включим «родственников», будем смеяться и веселиться. Да перестань же плакать! Мы сейчас устроим пирушку.

— Нет, — промолвила миссис Бауэлс. — Я ухожу. Если захотите навестить меня и моих «родственников», милости просим, в любое время. Но в этом доме, у этого сумасшедшего пожарника, ноги моей больше не будет.

— Уходите! — сказал Монтэг тихим голосом, глядя в упор на миссис Бауэлс. — Ступайте домой и подумайте о вашем первом муже, с которым вы развелись, о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине, о вашем третьем муже, который скоро тоже разmozжит себе голову! Идите домой и подумайте о тех десятках абортот, что вы сделали, о ваших кесаревых сечениях, о ваших детях, которые вас ненавидят! Идите домой и подумайте над тем, как могло всё это случиться и что вы сделали, чтобы этого не допустить. Уходите! — уже кричал он. — Уходите, пока я не ударил вас или не вышвырнул за дверь!

Дверь хлопнула, дом опустел.

Монтэг стоял в ледяной пустыне гостиной, где стены напоминали

грязный снег.

Из ванной комнаты донёлся плеск воды. Он слышал, как Милдред вытряхивала на ладонь из стеклянного флакончика снотворные таблетки.

— Вы глупец, Монтэг, глупец, глупец! О боже, какой вы идиот!..

— Замолчите! — Монтэг выдернул из уха зелёную пульку и сунул её в карман, но она продолжала жужжать:

— Глупец... глупец!..

Монтэг обыскал весь дом и нашёл наконец книги за холодильником, куда их засунула Милдред. Нескольких не хватало, и Монтэг понял, что Милдред сама начала понемножку изымать динамит из своего дома. Но гнев его уже погас. Он чувствовал только усталость и недоумение. Зачем он всё это сделал?

Он отнёс книги во двор и спрятал их в кустах у забора. Только на одну ночь. На тот случай, если Милдред опять надумает их жечь.

Вернувшись в дом, он прошёлся по пустым комнатам.

— Милдред! — позвал он у дверей тёмной спальни. Никто не ответил.

Пересекая лужайку по пути к метро, Монтэг старался не замечать, каким мрачным и опустевшим был теперь дом Клариссы Маклеллан...

В этот час, идя на работу, он вдруг так остро ощутил своё полное одиночество и всю тяжесть совершённой им ошибки, что не выдержал и снова заговорил с Фабером — ему страстно захотелось услышать в ночной тиши этот слабый голос, полный удивительной теплоты и сердечности. Он познакомился с Фабером несколько часов назад, но ему уже казалось, что он знал его всю жизнь. Монтэг чувствовал теперь, что в нём заключены два человека: во-первых, он сам, Монтэг, который ничего не понимал, не понимал даже всей глубины своего невежества, лишь смутно догадывался об этом, и, во-вторых, этот старик, который разговаривал сейчас с ним, разговаривал всё время, пока пневматический поезд бешено мчал его из одного конца спящего города в другой. Все дни, какие ещё будут в его жизни, и все ночи — и тёмные, и озарённые ярким светом луны — старый профессор будет разговаривать с ним, роняя в его душу слово за словом, каплю за каплей, камень за камнем, искру за искрой. И когда-нибудь сознание его наконец переполнится и он перестанет быть Монтэгом. Так говорил ему старик, уверял его в том, обещал. Они будут вместе — Монтэг и Фабер, огонь и вода, а потом, в один прекрасный день, когда всё перемешается, перекипит и уляжется, не будет уже ни огня, ни воды, а будет вино. Из двух веществ, столь отличных одно от другого, создаётся

новое, третье. И наступит день, когда он, оглянувшись назад, поймёт, каким глупцом был раньше. Он и сейчас уже чувствовал, что этот долгий путь начался, что он прощается со своим прежним «я» и уходит от него.

Как приятно было слышать в ухе это гудение шмеля, это сонное комариное жужжание, тончайший филигранный звук старческого голоса! Вначале он бранил Монтэга, потом утешал в этот поздний ночной час, когда Монтэг, выйдя из душного туннеля метро, снова очутился в мире пожарных.

— Имейте снисхождение, Монтэг, снисхождение. Не высмеивайте их, не придирайтесь. Совсем недавно и вы были таким. Они свято верят, что так будет всегда. Но так всегда не будет. Они не знают, что вся их жизнь похожа на огромный пылающий метеор, несущийся сквозь пространство. Пока он летит, это красиво, но когда-нибудь он неизбежно должен упасть. А они ничего не видят — только этот нарядный, весёлый блеск. Монтэг, старик, который прячется у себя дома, оберегая свои старые кости, не имеет права критиковать. Но я всё-таки скажу: вы чуть не погубили всё в самом начале. Будьте осторожны. Помните, я всегда с вами. Я понимаю, как это у вас вышло. Должен сознаться, ваш слепой гнев придал мне бодрости. Господи, я вдруг почувствовал себя таким молодым! Но теперь я хочу, чтобы вы стали стариком, я хочу перелить в вас капельку моей трусости. В течение этих нескольких часов, что вы проведёте с Битти, будьте осторожны, ходите вокруг него на цыпочках, дайте мне послушать его, дайте мне возможность оценить положение. Выжить — вот наш девиз. Забудьте об этих бедных глупых женщинах...

— Я их так расстроил, как они, наверно, ни разу за всю жизнь не расстраивались, — сказал Монтэг. — Я сам был потрясён, когда увидел слёзы миссис Фелпс. И, может быть, они правы. Может быть, лучше не видеть жизни такой, как она есть, закрыть на всё глаза и веселиться. Не знаю. Я чувствую себя виноватым...

— Нет, не надо! Если бы не было войны и на земле был мир, я бы сам сказал вам: веселитесь! Но нет, Монтэг, вы не имеете права оставаться только пожарником. Не всё благополучно в этом мире.

Лоб Монтэга покрылся испариной.

— Монтэг, вы слышите меня?

— Мои ноги... — пробормотал Монтэг. — Я не могу ими двинуть. Какое глупое чувство. Мои ноги не хотят идти!

— Слушайте, Монтэг. Успокойтесь, — мягко уговаривал старик. — Я понимаю, что с вами. Вы боитесь опять наделать ошибок. Но не бойтесь. Ошибки иногда полезны. Если бы вы только знали! Когда я был молод, я

совал своё невежество всем в лицо. Меня били за это. И к сорока годам я отточил наконец оружие моих знаний. А если вы будете скрывать своё невежество, вас не будут бить и вы никогда не поумнеете. Ну, а теперь шагайте. Ну! Смелее! Идёмте вместе на пожарную станцию! Нас теперь двое. Вы больше не одиноки, мы уже не сидим каждый порознь в своей гостиной, разделённые глухой стеной. Если вам будет нужна помощь, когда Битти станет наседать на вас, я буду рядом, в вашей барабанной перепонке, я тоже буду слушать и всё примечать!

Монтэг почувствовал, что его ноги — сначала правая, потом левая — снова обрели способность двигаться.

— Не покидайте меня, мой старый друг, — промолвил он.

Механического пса в конуре не было. Она была пуста, и белое оштукатуренное здание пожарной станции было погружено в тишину. Оранжевая Саламандра дремала, наполнив брюхо керосином, на её боках, закреплённые крест-накрест, отдыхали огнемёты. Монтэг прошёл сквозь эту тишину и, ухватившись рукой за бронзовый шест, взлетел вверх, в темноту, не сводя глаз с опустевшего логова механического зверя. Сердце его то замирало, то снова начинало бешено колотиться. Фабер на время затих в его ухе, словно серая ночная бабочка.

На верхней площадке стоял Битти. Он стоял спиной к люку, будто и не ждал никого.

— Вот, — сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты, — вот идёт любопытнейший экземпляр, на всех языках мира именуемый дураком.

Не оборачиваясь, он протянул руку ладонью кверху, молчаливо требуя дани. Монтэг вложил в неё книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзинку и закурил сигарету.

— «Самый большой дурак тот, в ком есть хоть капля ума». Добро пожаловать, Монтэг. Надеюсь, вы теперь останетесь подежурить с нами, раз лихорадка у вас прошла и вы опять здоровы? В покер сыграем?

Они сели к столу. Раздали карты. В присутствии Битти Монтэг остро ощущал виновность своих рук. Его пальцы шныряли, как напроказившие хорьки, ни минуты не оставаясь в покое. Они то нервно шевелились, то теребили что-то, то прятались в карманы от бледного, как спиртовое пламя, взгляда Битти. Монтэгу казалось, что стоит брандмейстеру дохнуть на них — и руки усохнут, скорчатся и больше уж никогда не удастся вернуть их к жизни, они навсегда будут похоронены в глубине рукавов его куртки. Ибо эти руки вздумали жить и действовать по своей воле, независимо от Монтэга, в них впервые проявило себя его сознание, реализовалась его тайная жажда схватить книгу и убежать, унося с собой

Иова, Руфь или Шекспира. Здесь, на пожарной станции, они казались руками преступника, обгагрёнными кровью.

Дважды в течение получаса Монтэг вставал и выходил в уборную мыть руки. Вернувшись, он прятал их под столом.

Битти рассмеялся:

— А ну-ка держите ваши руки на виду, Монтэг. Не то, чтобы мы вам не доверяли, но знаете ли, всё-таки...

Все захохотали.

— Ладно уж, — сказал Битти. — Кризис миновал, и всё опять хорошо. Заблудшая овца вернулась в стадо. Всем нам случалось в своё время заблуждаться. Правда всегда будет правдой, кричали мы. Не одиноки те, кто носит в себе благородные мысли, убеждали мы себя. «О мудрость, скрытая в живых созвучьях», — как сказал сэр Филип Сидней. Но, с другой стороны: «Слова листве подобны, и где она густа, так вряд ли плод таится под сению листа», — сказал Александр Поп. Что вы об этом думаете, Монтэг?

— Не знаю.

— Осторожно, — шептал Фабер из другого далёкого мира.

— Или вот ещё: «Опасно мало знать, о том не забывая, кастанальскою струёй налей бокал до края. От одного глотка ты опьянеешь разом, но пей до дна и вновь обрящешь светлый разум». Поп, те же «Опыты». Это, пожалуй, и к вам приложимо, Монтэг, а? Как вам кажется?

Монтэг прикусил губу.

— Сейчас объясню, — сказал Битти, улыбаясь и глядя в карты. — Вы ведь как раз и опьянели от одного глотка. Прочитали несколько строчек, и голова пошла кругом. Трах-тарарах! Вы уже готовы взорвать вселенную, рубить головы, топтать ногами женщин и детей, ниспровергать авторитеты. Я знаю, я сам прошёл через это.

— Нет, я ничего, — ответил Монтэг в смятении.

— Не краснейте, Монтэг. Право же, я не смеюсь над вами. Знаете, час назад я видел сон. Я прилёг отдохнуть, и мне приснилось, что мы с вами, Монтэг, вступили в яростный спор о книгах. Вы метали громы и молнии и сыпали цитатами, а я спокойно отражал каждый ваш выпад. «Власть», — говорил я. А вы, цитируя доктора Джонсона, отвечали: «Знания сильнее власти». А я вам: тот же Джонсон, дорогой мой мальчик, сказал: «Безумец тот, кто хочет поменять определённость на неопределённость». Держитесь пожарников, Монтэг. Всё остальное — мрачный хаос!

— Не слушайте его, — шептал Фабер. — Он хочет сбить вас с толку. Он скользкий, как угорь. Будьте осторожны!

Битти засмеялся довольным смешком.

— Вы же мне ответили на это: «Правда, рано или поздно, выйдет на свет божий. Убийство не может долго оставаться сокрытым». А я воскликнул добродушно: «О господи, он всё про своего коня!» А ещё я сказал: «И чёрт умеет иной раз сослаться на священное писание». А вы кричали мне в ответ: «Выше чтят у нас дурака в атласе, чем мудрого в бедном платье!» Тогда я тихонько шепнул вам: «Нужна ли истине столь ярая защита?» А вы снова кричали: «Убийца здесь — и раны мертвецов раскрылись вновь и льют потоки крови!» Я отвечал, похлопав вас по руке: «Ужель такую жадность пробудил я в вас?» А вы вопили: «Знание — сила! И карлик, взобравшись на плечи великана, видит дальше его!» Я же с величайшим спокойствием закончил наш спор словами: «Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом — это заблуждение, свойственное всем нам», — как сказал однажды мистер Поль Валери.

У Монтэга голова шла кругом. Ему казалось, что его нещадно избивают по голове, глазам, лицу, плечам, по беспомощно поднятым рукам. Ему хотелось крикнуть: «Нет! Замолчите! Вы стараетесь всё запутать. Довольно!»

Тонкие нервные пальцы Битти схватили Монтэга за руку.

— Боже, какой пульс! Здорово я вас взвинтил, Монтэг, а? Чёрт, пульс у вас скачет, словно на другой день после войны. Не хватает только труб и звона колоколов. Поговорим ещё? Мне нравится ваш взволнованный вид. На каком языке мне держать речь? Суахили, хинди, английский литературный — я говорю на всех. Но это похоже на беседу с немым, не так ли, мистер Вилли Шекспир?

— Держитесь, Монтэг! — прошелестела ему на ухо мошка. — Он мутит воду!

— Ох, как вы испугались, — продолжал Битти. — Я и правда поступил жестоко — использовал против вас те самые книги, за которые вы так цеплялись, использовал для того, чтобы опровергать вас на каждом шагу, на каждом слове. Ах, книги — это такие предатели! Вы думаете, они вас поддержат, а они оборачиваются против вас же. Не только вы, другой тоже может пустить в ход книгу, и вот вы уже увязли в трясине, в чудовищной путанице имён существительных, глаголов, прилагательных. А кончился мой сон тем, что я подъехал к вам на Саламандре и спросил: «Нам не по пути?» Вы вошли в машину, и мы помчались обратно на пожарную станцию, храня блаженное молчание, страсти улеглись, и между нами снова был мир.

Битти отпустил руку Монтэга, и она безжизненно упала на стол.

— Всё хорошо, что хорошо кончается.

Тишина. Монтэг сидел, словно белое каменное изваяние. Отголоски последних нанесённых ему ударов медленно затихали где-то в тёмных пещерах мозга. Фабер ждал, пока они затихнут совсем. И когда осели наконец вихри пыли, взметённые в сознании Монтэга, Фабер начал тихим голосом:

— Хорошо, он сказал всё, что хотел. Вы это выслушали. Теперь в ближайшие часы буду говорить я. Вам придётся выслушать и это. А потом постарайтесь разобраться и решить — с кем вы. Но я хочу, чтобы вы решили это сами, чтобы это решение было вашим собственным, а не моим и не брандмейстера Битти. Одного только не забывайте — брандмейстер принадлежит к числу самых опасных врагов истины и свободы, к тупому и равнодушному стаду нашего большинства. О, эта ужасная тирания большинства! Мы с Битти поём разные песни. От вас самого зависит, кого вы станете слушать.

Монтэг уже открыл было рот, чтобы ответить Фаберу, но звон пожарного колокола вовремя помешал ему совершить эту непростительную оплошность. Рупор пожарного сигнала гудел под потолком. В другом конце комнаты стучал телефонный аппарат, записывающий адрес. Брандмейстер Битти, держа карты в розовой руке, нарочито медленным шагом подошёл к аппарату и оторвал бумажную ленту. Небрежно взглянув на адрес, он сунул его в карман и, вернувшись к столу, снова сел. Все глядели на него.

— С этим можно подождать ровно сорок секунд, как раз столько, сколько мне нужно, чтобы обыграть вас, — весело сказал Битти.

Монтэг положил карты на стол.

— Устали, Монтэг? Хотите выйти из игры?

— Да.

— Ну! Не падайте духом! Впрочем, можно закончить партию после. Положите ваши карты на стол рубашкой кверху: вернёмся — доиграем. А теперь пошевеливайтесь! Живо! — Битти поднялся. — Монтэг, мне не нравится ваш вид. Уж не собираетесь ли вы опять захворать?

— Да нет, я здоров, я поеду.

— Да, вы должны поехать. Это особый случай. Ну, вперёд!..

Они прыгнули в провал люка, крепко ухватившись руками за медный шест, словно в нём было единственное спасение от взмывавших снизу волн. Но шест низвергнул их прямо в пучину, где уже фыркал, рычал и кашлял, пробуждаясь, бензиновый дракон.

— Э-эй!

С грохотом и рёвом они завернули за угол — скрипели тормоза, взвизгивали шины, плескался керосин в блестящем медном брюхе Саламандры, словно пища в животе великана. Пальцы Монтэга прыгали на сверкающих поручнях, то и дело срываясь в холодную пустоту, ветер рвал волосы, свистел в зубах, а Монтэг думал, всё время неотрывно думал о тех женщинах в его гостиной, пустых женщинах, из которых неоновый ветер давно уже выдул последние зёрнышки разума, и о своей нелепой идиотской затее читать им книгу. Всё равно, что пытаться погасить пожар из водяного пистолета. Бред, сумасшествие! Просто припадок бешенства. Ещё одна вспышка гнева, с которой он не умел совладать. Когда же он победит в себе это безумие и станет спокоен, по-настоящему спокоен?

— Вперёд, вперёд!

Монтэг оторвал глаза от поручней. Обычно Битти никогда не садился за руль, но сегодня машину вёл он, круто сворачивая на поворотах, наклонившись вперёд с высоты водительского трона, полы его тяжёлого чёрного макинтоша хлопали и развевались — он был как огромная летучая мышь, несущаяся над машиной, грудью навстречу ветру.

— Вперёд, вперёд, чтобы сделать мир счастливым! Так, Монтэг?

Розовые, словно фосфоресцирующие щёки Битти отсвечивали в темноте, он улыбался с каким-то остервенением.

— Вот мы и прибыли!

Саламандра круто остановилась. Неуклюжими прыжками посыпались с неё люди. Монтэг стоял, не отрывая воспалённых глаз от холодных блестящих поручней, за которые судорожно уцепились его пальцы.

«Я не могу сделать это, — думал он. — Как могу я выполнить это задание, как могу я снова жечь? Я не могу войти в этот дом».

Битти — от него ещё пахло ветром, сквозь который они только что мчались, — вырос рядом.

— Ну, Монтэг!

Пожарные, в своих огромных сапогах похожие на калек, разбежались бесшумно, как пауки.

Наконец, оторвав глаза от поручней, Монтэг обернулся. Битти следил за его лицом.

— Что с вами, Монтэг?

— Что это? — медленно произнёс Монтэг. — Мы же остановились у моего дома!

Часть 3

ОГОНЬ ГОРИТ ЯРКО

В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтэг глядели, один с сдержанным удовлетворением, другой не веря своим глазам, на дом, которому суждено было стать главной ареной представления: здесь будут жонглировать факелами и глотать пламя.

— Ну вот, — промолвил Битти, — вы добились своего. Старина Монтэг вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумевает, как это могло случиться. Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям?

Застывшее лицо Монтэга ничего не выражало, он почувствовал, как его голова медленно и тяжело, словно каменная, повернулась в сторону соседнего дома — тёмного и мрачного среди окружавших его ярких цветочных клумб.

Битти презрительно фыркнул:

— Э, бросьте! Неужто вас одурачила эта маленькая сумасбродка со своим избитым репертуаром? А, Монтэг? Цветочки, листочки, мотыльки, солнечный закат. Знаем, знаем! Всё записано в её карточке. Эгэ! Да я, кажется, попал в точку! Достаточно поглядеть на ваше потерянное лицо. Несколько травинок и лунный серп! Экая чушь! И что хорошего она всем этим сделала?

Монтэг присел на холодное крыло Саламандры. Он несколько раз повернул свою одеревеневшую голову, вправо — влево, вправо — влево...

— Она всё видела. Она никому ничего не сделала. Она никого не трогала...

— Не трогала! Как бы не так! А возле вас она не вертелась? Ох уж эти мне любители делать добро, с их святейшими минами, с их высокомерным молчанием и единственным талантом: заставлять человека ни с того ни с сего чувствовать себя виноватым. Чёрт бы их всех побрал! Красуются, словно солнце в полночь, чтобы тебе и в постели покоя не было!

Дверь дома отворилась, по ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в застывшей руке. Со свистом затормозив, у тротуара остановилось такси.

— Милдред!

Она пробежала мимо, прямая и застывшая, — лицо белое от пудры,

рта нет — забыла накрасить губы.

— Милдред, неужели это ты дала сигнал тревоги?

Она сунула чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча как во сне:

— Бедные мои «родственники», бедняжки, бедняжки! Всё погибло, всё, всё теперь погибло...

Битти схватил Монтэга за плечо. Машина рванула и, сразу же набрав скорость до семидесяти миль в час, исчезла в конце улицы.

Раздался звон, как будто вдребезги рассыпалась мечта, созданная из гранёного стекла, зеркал и хрустальных призм. Монтэг машинально повернулся — его словно подтолкнуло неведомо откуда налетевшим вихрем. И он увидел, что Стоунмен и Блэк, размахивая топорами, крушат оконные рамы, давая простор сквозняку.

Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся о холодную чёрную преграду.

— Монтэг, это я — Фабер. Вы слышите меня? Что случилось?

— Теперь это случилось со мной, — ответил Монтэг.

— Ах, скажите, какая неожиданность! — воскликнул Битти. — В наши дни всякий почему-то считает, всякий твёрдо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, но я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности. Но только они есть, вот в чём беда. Впрочем, что об этом толковать! Когда уж дошло до последствий, так разговаривать поздно, правда, Монтэг?

— Монтэг, можете вы спастись? Убежать? — спрашивал Фабер.

Монтэг медленно шёл к дому, но не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по влажной ночной траве. Где-то рядом Битти щёлкнул зажигалкой, и глаза Монтэга, как зачарованные, приковались к оранжевому язычку пламени.

— Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечёт к нему и старого и малого? — Битти погасил и снова зажёл маленькое пламя. — Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашёл. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая, в течение всей нашей жизни. И всё же, что такое огонь? Тайна. Загадка! Учёные что-то лепечут о трении и молекулах, но, в сущности, они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной — в печку её. Вот и вы, Монтэг, сейчас представляете собой этакое же бремя. Огонь снимет вас с моих плеч быстро, чисто и наверняка. Даже гнить будет нечему. Удобно. Гигиенично.

Эстетично.

Монтэг глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным: поздний ночной час, шёпот соседей, осколки разбитого стекла и вон там на полу — Книги с оторванными переплётками и разлетевшимися, словно лебединые перья, страницами, непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо и, право же, не стоят, чтобы из-за них столько волноваться, — просто пожелтевшая бумага, чёрные литеры и потрёпанные переплётки.

Это всё, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду, и снова внесла их в дом. Милдред, Милдред.

— Я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтэг. Но не с керосином и спичкой, а шаг за шагом, с огнём. Вы сами должны очистить свой дом.

— Монтэг, разве вы не можете скрыться, убежать?

— Нет! — воскликнул Монтэг в отчаянии. — Механический пёс! Из-за него нельзя!

Фабер услышал, но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему.

— Да, пёс где-то поблизости, — ответил он, — так что не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Готовы?

— Да. — Монтэг щёлкнул предохранителем огнём.

— Огонь!

Огромный язык пламени вырвался из огнём, ударил в книги, отбросил их к стене. Монтэг вошёл в спальню и дважды выстрелил по широким постелям, они вспыхнули с громким свистящим шёпотом и так яростно запылали, что Монтэг даже удивился: кто бы подумал, что в них заключено столько жара и страсти. Он сжёг стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал всё это изменить, он сжёг стулья, столы, а в столовой — ножи, вилки и посуду из пластмассы — всё, что напоминало о том, как он жил здесь, в этом пустом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла его и мчится сейчас одна по городу, слушая только то, что нашептывает ей в уши радио-«Ракушка».

И, как и прежде, жечь было наслаждением — приятно было дать волю своему гневу, жечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения? Так вот же, теперь не будет и проблемы! Огонь разрешает всё!

— Монтэг, книги!

Книги подскакивали и металась, как опалённые птицы их крылья

пламенели красными и жёлтыми перьями.

Затем он вошёл в гостиную, где в стенах притаились погружённые в сон огромные безмозглые чудища, с их белыми пустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трёх голых стен, и вакуумные колбы лопнули с пронзительным шипением — пустота откликнулась Монтэгу яростным пустым свистом, бессмысленным криком. Он пытался представить себе её, рождавшую такие же пустые и бессмысленные образы, и не мог. Он только задержал дыхание, чтобы пустота не проникла в его лёгкие. Как ножом, он разрезал её и, отступив назад, послал комнате в подарок ещё один огромный ярко-жёлтый цветок пламени. Огнеупорный слой, покрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламени.

— Когда закончите, — раздался за его спиной голос Битти, — имейте в виду, вы арестованы.

Дом рухнул грудой красных углей и чёрного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла, и высокий султан дыма вставал над развалинами, тихо колеблясь в небе. Была половина четвёртого утра. Люди разошлись по домам: от циркового балагана осталась куча золы и щебня. Представление окончилось.

Монтэг стоял, держа огнемёт в ослабевших руках, тёмные пятна пота расползались под мышками, лицо было всё в саже. За ним молча стояли другие пожарники, их лица освещал слабый отблеск догорающих огней.

Монтэг дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил:

— Моя жена дала сигнал тревоги?

Битти утвердительно кивнул.

— А ещё раньше то же самое сделали её приятельницы, только я не хотел торопиться. Так или иначе, а вы бы всё равно попались, Монтэг! Очень глупо было с вашей стороны декламировать стихи направо и налево. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочитать несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами. А оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Посмотрите, куда они вас завели, — вы по горло увязли в трясине, стоит мне двинуть мизинцем, и она поглотит вас!

Монтэг не шевельнулся. Землетрясение и огненная буря только что сравняли его дом с землёй, там, под обломками была погребена Милдред и вся его жизнь тоже, и у него не было сил двинуться с места. Отголоски пронёсшейся бури ещё отдавались где-то внутри, затихая, колени Монтэга сгибались от страшного груза усталости, недоумения, гнева. Он безропотно

позволял Битти наносить удар за ударом.

— Монтэг, вы — идиот! Вы — непроходимый дурак! Ну зачем, скажите пожалуйста, вы это сделали?

Монтэг не слышал. Мысленно он был далёко и убегал прочь, оставив своё бездыханное, измазанное сажей тело в жертву этому безумствующему маньяку.

— Монтэг, бегите! — настаивал Фабер.

Монтэг прислушался.

Сильный удар по голове отбросил его назад. Зелёная пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил её и поднёс к уху.

Монтэг слышал далёкий голос:

— Монтэг, что с вами? Вы живы?

Битти отнял пульку от уха и сунул её в карман.

— Ага! Значит, тут скрыто больше, чем я думал. Я видел, как вы наклоняете голову и прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что у вас в ушах «Ракушка», но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы, и вашему приятелю несдобровать.

— Нет! — крикнул Монтэг.

Он сдвинул предохранитель огнемёта. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтэга, глаза его чуть-чуть расширились. Монтэг прочёл в них удивление. Он сам невольно взглянул на свои руки — что они ещё натворили? Позже, вспоминая всё, что произошло, он никак не мог понять, что же, в конце концов, толкнуло его на убийство: сами ли руки или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать? Последние рокочущие раскаты грома замерли, коснувшись лишь слуха, но не сознания Монтэга.

Лицо Битти расплзлось в чарующе-презрительную гримасу.

— Что ж, это недурной способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и волей-неволей, а он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что скажете на этот раз? Почему не угощаете меня Шекспиром, вы, жалкий сноб? «Мне не страшны твои угрозы, Кассий. Они, как праздный ветер, пролетают мимо. Я чувством чести прочно ограждён». Так, что ли? Эх вы, незадачливый литератор! Действуйте же, чёрт вас дери! Спускайте курок!

И Битти сделал шаг вперёд.

— Мы всегда жгли не то, что следовало... — смог лишь выговорить Монтэг.

— Дайте сюда огнёмёт, Гай, — промолвил Битти с застывшей улыбкой.

Но в следующее мгновение он уже был клубком пламени, скачущей, вопящей куклой, в которой не осталось ничего человеческого, катающимся по земле огненным шаром, ибо Монтэг выпустил в него длинную струю жидкого пламени из огнемёта. Раздалось шипение, словно жирный плевок упал на раскалённую плиту, что-то забулькало и забурлило, словно бросили горсть соли на огромную чёрную улитку и она расплылась, вскипев жёлтой пеной. Монтэг зажмурился, закричал, он пытался зажать уши руками, чтобы не слышать этих ужасных звуков. Ещё несколько судорожных движений, и Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих.

Два других пожарника стояли, окаменев, как истуканы.

С трудом подавляя приступ дурноты, Монтэг направил на них огнемёт. — Повернитесь! — приказал он.

Они послушно повернулись к нему спиной, пот катился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтэг с силой ударил их по головам, сбил с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно.

Лёгкий шелест, как будто слетел с ветки сухой осенний лист.

Монтэг обернулся и увидел Механического пса. Появившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко чёрно-серого дыма.

Пёс сделал прыжок — он взвился в воздухе фута на три выше головы Монтэга, растопырив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом — прокаиновой иглой. Монтэг встретил его струёй пламени, чудесным огненным цветком, — вокруг металлического тела зверя завились жёлтые, синие и оранжевые лепестки, одевая его в новую пёструю оболочку. Пёс обрушился на Монтэга, отбросил его вместе с огнемётом футов на десять в сторону, к подножью дерева, Монтэг почувствовал на мгновение, как пёс барахтается, хватает его за ногу, вонзает иглу, — и тотчас же пламя подбросило собаку в воздух, вывернуло её металлические кости из суставов, распорол ей брюхо, и нутро её брызнуло во все стороны красным огнём, как лопнувшая ракета.

Монтэг лёжа видел, как перевернулось в воздухе, рухнуло наземь и затихло это мёртвое и вместе с тем живое тело. Казалось, пёс и сейчас ещё готов броситься на него, чтобы закончить смертоносное впрыскивание, действие которого Монтэг уже ощущал в ноге. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который только-только успел

отскочить в сторону от бешено мчащейся машины, и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться, боялся, что совсем не сможет ступить на онемевшую от прокаина ногу. Оцепенение начинало разливаться по всему его телу...

Что же теперь делать?..

Улица пуста, дом сгорел, как старая театральная декорация, другие дома вдоль улицы погружены во мрак, рядом — останки механического зверя, дальше — Битти, ещё дальше — двое пожарных и Саламандра... Он взглянул на огромную машину. Её тоже надо уничтожить...

«Ну, — подумал он, — посмотрим, сильно ли ты пострадал. Попробуй встать на ноги! Осторожно, осторожно... вот так!»

Он стоял, но у него была всего лишь одна нога. Вместо другой был мёртвый обрубок, обуглившийся кусок дерева, который он вынужден был таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех. Когда он наступал на неё, тысячи серебряных иголок пронзали ногу от бедра до колена. Он заплакал. Нет, иди, иди! Здесь тебе нельзя оставаться!

В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ли их тревожила необычная тишина, Монтэг не знал. Хромая, подпрыгивая, он пробирался среди развалин, подтаскивая руками волочащуюся больную ногу, он разговаривал с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал ей приказания, проклинал её и молил — иди, иди, да иди же, ведь сейчас от этого зависит моя жизнь! Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходящего в глухой переулок.

«Битти, — думал он, — теперь вы больше не проблема. Вы всегда говорили: „Незачем решать проблему, лучше сжечь её“. Ну вот я сделал и то, и другое. Прощайте, брандмейстер».

Спотыкаясь, он заковылял в темноте по переулку.

Острая боль пронизывала ногу всякий раз, как он ступал на неё, и он думал: дурак, дурак, болван, идиот, чёртов идиот, дурак проклятый... Посмотри, что ты натворил, и как теперь всё это расхлёбывать, как?

Гордость, будь она проклята, и гнев — да, не сумел сдержать себя и вот всё испортил, всё погубил в самом начале. Правда, столько навалилось на тебя сразу — Битти, эти женщины в гостинной, Милдред, Кларисса. И всё же нет тебе оправдания, нет! Ты дурак, проклятый болван! Так выдать себя!

Но мы ещё спасём то, что осталось, мы всё сделаем, что можно. Если уж придётся гореть, так прихватим кое-кого с собой.

Да! Он вспомнил о книгах и повернул обратно. Надо их взять. На всякий случай.

Он нашёл книги там, где оставил их, — у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала не всё. Четыре ещё лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни. Где-то далеко уже грохотали другие Саламандры, рёв их сирен сливался с рёвом полицейских автомобилей, мчавшихся по ночным улицам.

Монтэг поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекли голову и оставили одно лишь обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его наземь. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий, и рыдал.

Битти хотел умереть.

Теперь Монтэг не сомневался, что это так. Битти хотел умереть. Ведь он стоял против Монтэга, не пытаясь защищаться, стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтэга перехватило дыхание. Как странно, как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках, и вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой и...

Вдалеке — топот бегущих ног.

Монтэг поднялся и сел. Надо уходить. Вставай, нельзя медлить! Но рыдания всё ещё сотрясали его тело. Надо успокоиться. Вот они уже утихают. Он никого не хотел убивать, даже Битти. Тело его судорожно скорчилось, словно обожжённое кислотой. Он зажал рот рукой. Перед глазами был Битти — пылающий факел, брошенный на траву. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать: «Я не хотел этого! Боже мой, я не хотел, не хотел этого!»

Он старался всё припомнить, восстановить связь событий, воскресить в памяти прежнюю свою жизнь, какой она была несколько дней назад, до того как в неё вторглись сито и песок, зубная паста Денгэм, шелест крыльев ночной бабочки в ухе, огненные светляки пожара, сигналы тревоги и эта последняя ночная поездка — слишком много для двух-трёх коротких дней, слишком много даже для целой жизни!

Топот ног слышался уже в конце переулка.

«Вставай! — сказал он себе. — Вставай, чёрт тебя возьми!» — приказал он больной ноге и поднялся. Боль острыми шипами вонзилась в колено, потом заколола, как тысяча иголок, потом перешла в тупое булавочное покалывание, и наконец, после того как он проковылял шагов

пятьдесят вдоль деревянного забора, исцарапав и занозив себе руки, покалывание перешло в жжение, словно ему плеснули на ногу кипятком. Но теперь нога уже повиновалась ему. Бежать он всё-таки боялся, чтобы не вывихнуть ослабевший сустав. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то у него внутри, он неровным шагом, прихрамывая, но решительно двинулся вперёд. Книги он держал в руках. Он думал о Фабере.

Фабер остался там, в не остывшем ещё сгустке, которому нет теперь ни имени, ни названия. Ведь он сжёг и Фабера тоже! Эта мысль так потрясла его, что ему представилось, будто Фабер и в самом деле умер, изжарился, как мелкая рыбёшка, в крохотной зелёной капсуле, спрятанной и навсегда погибшей в кармане человека, от которого осталась теперь лишь кучка костей, опутанных спёкшимися сухожилиями.

Запомни: их надо сжечь или они сожгут тебя, подумал он. Сейчас это именно так.

Он пошарил в карманах — деньги были тут. В другом кармане он наткнулся на обыкновенную радио «Ракушку», по которой в это холодное, хмурое утро город разговаривал сам с собой.

— Внимание! Внимание! Полиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений против государства. Имя: Гай Монтэг. Профессия: пожарник. В последний раз его видели...

Кварталов шесть он бежал не останавливаясь. Потом переулок вывел его на бульвары — на широкую автостраду, раз в десять шире обыкновенной улицы, залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшую пустынную реку. Он понимал, как опасно сейчас переходить через неё: слишком она широка, слишком пустынна. Она была похожа на голую сцену, без декораций, и она предательски заманивала его на это пустое пространство, где при ярком свете фонарей так легко было заметить беглеца, так легко поймать, так легко прицелиться и застрелить. «Ракушка» жужжала в ухе.

— ...Следите за бегущим человеком... следите за бегущим человеком... он один, пеший... следите...

Монтэг попятился в тень — прямо перед ним была заправочная станция — огромная белая глыба, сверкающая глазурью кафелей. Два серебристых жука-автомобиля остановились возле неё, чтобы заправиться горючим...

Нет, если ты хочешь без риска пересечь этот широкий бульвар, нельзя бежать, надо идти спокойно, не спеша, как будто гуляешь. Но для этого у тебя должен быть опрятный и приличный вид. Больше будет шансов

спастись, если ты умоешься и причешешь волосы, прежде чем продолжить свой путь... Путь куда? Да, спросил он себя, куда же я бегу?

Никуда. Ему некуда было бежать, у него не было друзей, к которым он мог бы обратиться. Кроме Фабера. И тогда он понял, что всё это время инстинктивно бежал по направлению к дому Фабера. Но ведь Фабер не может спрятать его, даже попытка сделать это граничила бы с самоубийством! Всё равно он должен повидаться с Фабером, хотя бы на несколько минут. Фабер поддержит в нём быстро иссякающую веру в возможность спастись, выжить. Только бы повидать его, убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер, только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там, вместе с другим обуглившимся телом. Кроме того, надо оставить ему часть денег, чтобы он мог использовать их после, когда Монтэг пойдёт дальше своим путём. Может быть, ему удастся выбраться из города, он спрячется в окрестностях, будет жить возле реки, вблизи больших дорог, среди полей и холмов...

Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза.

В небо один за другим поднимались полицейские вертолеты. Их было много, казалось, кто-то сдул пушистую сухую головку одуванчика. Не меньше двух десятков их парило в воздухе мили за три от Монтэга, нерешительно колеблясь на месте, словно мотыльки, вялые от осеннего холода. Затем они стали опускаться: тут один, там другой — они садились на улицу и, превратившись в жуков-автомобилей, с рёвом мчались по бульварам, чтобы немного погодя опять подняться в воздух и продолжать поиски.

Перед ним была заправочная станция. Служащих нигде не видно. Заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтэг вошёл в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донёсся голос диктора: «Война объявлена». Снаружи у колонки накачивали бензин. Сидящие в автомобилях переговаривались со служащими станции — что-то о моторах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Монтэг стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. Ладно. Пусть война подождёт. Для него она начнётся позже, через час или два.

Он вымыл руки и лицо, вытерся полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя из умывальной, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара.

Вот она — игра, которую он должен выиграть: широкая площадка

кегельбана, над которой веет прохладный предутренный ветер. Бульвар был чист, как гладиаторская арена за минуту до появления на ней безвестных жертв и безымённых убийц. Воздух над широкой асфальтовой рекой дрожал и вибрировал от тепла, излучаемого телом Монтэга, — поразительно, что жар в его теле мог заставить так колебаться окружающий его мир. Он, Монтэг, был светящейся мишенью, он знал, он чувствовал это. А теперь ему ещё предстояло проделать этот короткий путь через улицу.

Квартала за три от него сверкнули огни автомобиля. Монтэг глубоко втянул в себя воздух. В лёгких царапнуло, словно горячей щёткой. Горло пересохло от бега, во рту неприятный металлический вкус, ноги, как свинцовые...

Огни автомобиля... Если начать переходить улицу сейчас, то надо рассчитать, когда этот автомобиль будет здесь. Далеко ли до противоположного тротуара? Должно быть, ярдов сто. Нет, меньше, но всё равно, пусть будет сто. Если идти медленно, спокойным шагом, то, чтобы покрыть это расстояние, понадобится тридцать — сорок секунд. А мчащийся автомобиль? Набрав скорость, он пролетит эти три квартала за пятнадцать секунд. Значит, даже если, добравшись до середины, пуститься бегом...

Он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал пустынную улицу.

Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдёшь благополучно. Машина может внезапно появиться на подъёме шоссе, за четыре квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя — налетит и промчится дальше...

Он решил не считать шагов. Он не глядел по сторонам — ни направо, ни налево. Свет уличных фонарей казался таким же предательски ярким и так же обжигал, как лучи полуденного солнца.

Он прислушивался к шуму мчащейся машины: шум слышался справа, в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли и наконец осветили Монтэга.

Иди-иди, не останавливайся!

Монтэг замешкался на мгновение. Потом покрепче сжал в руках книги и заставил себя двинуться вперёд. Ноги его невольно заторопились, побежали, но он вслух пристыдил себя и снова перешёл на спокойный шаг. Он был уже на середине улицы, но и рёв мотора становился всё громче — машина набирала скорость.

Полиция, конечно. Заметили меня. Всё равно, спокойней, спокойней,

не оборачивайся, не смотри по сторонам, не подавай вида, что тебя это тревожит! Шагай, шагай, вот и всё.

Машина мчалась, машина редела, машина увеличивала скорость. Она выла и грохотала, она летела, едва касаясь земли, она неслась как пуля, выпущенная из невидимого ружья. Сто двадцать миль в час. Сто тридцать миль в час. Монтэг стиснул зубы. Казалось, свет горящих фар обжигает лицо, от него дёргаются веки, липким потом покрывается тело.

Ноги Монтэга нелепо волочились, он начал разговаривать сам с собой, затем вдруг не выдержал и побежал. Он старался как можно дальше выбрасывать ноги, вперёд, вперёд, вот так, так! Господи! Господи! Он уронил книгу, остановился, чуть не повернул обратно, но передумал и снова ринулся вперёд, крича в каменную пустоту, а жук-автомобиль нёсся за своей добычей — их разделяло двести футов, потом сто, девяносто, восемьдесят, семьдесят... Монтэг задыхался, нелепо размахивал руками, высоко вскидывал ноги, а машина всё ближе, ближе, она гудела, она подавала сигналы. Монтэг вдруг повернул голову, белый огонь фар опалил ему глаза — не было машины, только слепящий сноп света, пылающий факел, со страшной силой брошенный в Монтэга, рёв, пламя — сейчас, сейчас она налетит!..

Монтэг споткнулся и упал. Я погиб! Всё кончено! Но падение спасло его. За секунду до того, как наскочить на Монтэга, бешеный жук вдруг круто свернул, объехал его и исчез. Монтэг лежал, распластавшись на мостовой, лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетели обрывки смеха.

Его правая рука была выброшена далеко вперёд. Он поднял её. На самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска — след от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, глядя на эту полоску, не смея поверить своим глазам. Значит, это была не полиция?

Он глянул вдоль бульвара. Пусто. Нет, это была не полиция, просто машина, полная подростков, — сколько им могло быть лет? От двенадцати до шестнадцати? Шумная, крикливая орава детей отправилась на прогулку, увидели человека, идущего пешком, — странное зрелище, диковинка в наши дни! — и решили: «А ну, сшибём его!» — даже не подозревая, что это тот самый мистер Монтэг, которого по всему городу разыскивает полиция. Да, всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчаться миль пятьсот — шестьсот на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернутся домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет — ведь в этом и была для них острота таких прогулок.

«Они хотели убить меня», — подумал Монтэг. Он стоял пошатываясь. В потревоженном воздухе оседала пыль. Он ощупал ссадину на щеке. — «Да, они хотели убить меня, просто так, ни с того ни с сего, не задумываясь над тем, что делают».

Монтэг побрёл ко всё ещё далёкому тротуару, приказывая ослабевшим ногам двигаться. Каким-то образом он подобрал рассыпанные книги, но он не помнил, как нагибался и собирал их. Сейчас он перекладывал их из одной руки в другую, словно игрок карты, перед тем как сделать сложный ход.

Может быть, это они убили Клариссу?

Он остановился и мысленно повторил ещё раз очень громко:

— Может быть, это они убили Клариссу!

И ему захотелось с криком броситься за ними вдогонку.

Слёзы застилали глаза.

Да, его спасло только то, что он упал. Водитель вовремя сообразил, даже не сообразил, а почувствовал, что мчащаяся на полной скорости машина, наскочив на лежащее тело, неизбежно перевернётся и выбросит всех вон. Но если бы Монтэг не упал?..

Монтэг вдруг затаил дыхание.

В четырёх кварталах от него жук замедлил ход, круто повернул, встав на задние колёса, и мчался теперь обратно по той же стороне улицы, нарушая все правила движения.

Но Монтэг был уже вне опасности: он укрылся в тёмном переулке — цели своего путешествия. Сюда он устремился час назад — или то было лишь минуту назад? Вздрагивая от ночного холодка, он оглянулся. Жук промчался мимо, выскочил на середину бульвара и исчез, взрыв смеха снова нарушил ночную тишину.

Шагая в темноте по переулку, Монтэг видел, как, словно снежные хлопья, падали с неба вертолеты — первый снег грядущей долгой зимы...

Дом был погружён в молчание.

Монтэг подошёл со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потрогал застеклённую дверь чёрного хода, она оказалась незапертой, прислушался и бесшумно скользнул в дом.

«Миссис Блэк, вы спите? — думал он. — Я знаю, это нехорошо, то, что я делаю, но ваш муж поступал так с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно, никогда не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы жена пожарника, пришёл и ваш черёд, теперь огонь уничтожит ваш дом — за все дома, что сжёт ваш муж, за всё горе, что он не

задумываясь причинял людям».

Дом молчал.

Монтэг спрятал книги на кухне и вышел обратно в переулок. Он оглянулся: погружённый в темноту и молчание, дом спал.

Снова Монтэг шагал по ночным улицам. Над городом, словно поднятые ветром обрывки бумаги, кружились вертолёты. По пути Монтэг зашёл в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Потом он долго стоял, поёживаясь от холода, и ждал, когда завоют вдалеке пожарные сирены и Саламандры с рёвом понесутся жечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе, но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять и смотреть, как пылает и рушится крыша её дома. А сейчас она ещё крепко спит.

Спокойной ночи, миссис Блэк.

— Фабер!

Стук в дверь. Ещё раз. Ещё. Шёпотом произнесённое имя. Ожидание. Наконец, спустя минуту, слабый огонёк блеснул в домике Фабера. Ещё минута ожидания, и задняя дверь отворилась.

Они молча глядели друг на друга в полумраке — Монтэг и Фабер, словно не верили своим глазам. Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку, втащил Монтэга в дом, усадил на стул, снова вернулся к дверям, прислушался. В предрассветной тишине выли сирены. Фабер закрыл дверь.

— Я вёл себя, как дурак, с начала и до конца. Наделал глупостей. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я ухожу, одному богу известно куда, — промолвил Монтэг.

— Во всяком случае, вы делали глупости из-за стоящего дела, — ответил Фабер. — Я думал, вас уже нет в живых. Аппарат, что я вам дал...

— Сгорел.

— Я слышал, как брандмейстер говорил с вами, а потом вдруг всё умолкло. Я уже готов был идти разыскивать вас.

— Брандмейстер умер. Он обнаружил капсулу и услышал ваш голос, он хотел добраться и до вас. Я сжёг его из огнемёта.

Фабер опустился на стул. Долгое время оба молчали.

— Боже мой, как всё это могло случиться? — снова заговорил Монтэг. — Ещё вчера всё было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и всё же оставаться в живых? Мне трудно дышать. Битти мёртва, а когда-то он был моим другом. Милли ушла, я считал, она моя жена, но теперь не знаю. У меня нет больше дома, он сгорел, нет работы, и сам я вынужден скрываться. По пути сюда я

подбросил книги в дом пожарника. О господи, сколько я натворил за одну неделю!

— Вы сделали только то, чего не могли не сделать. Так должно было случиться.

— Да, я верю, что это так. Хотя в это я верю, а больше мне, пожалуй, и верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, как что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне. Удивляюсь, как ещё снаружи не было видно. И вот теперь я пришёл к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь. Ведь они могут прийти сюда!

— Впервые за много лет я снова живу, — ответил Фабер. — Я чувствую, что делаю то, что давно должен был сделать. И пока что я не испытываю страха. Должно быть, потому, что наконец делаю то, что нужно. Или, может быть, потому, что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Должно быть, мне и дальше придётся совершать ещё более смелые поступки, ещё больше рисковать, чтобы не было пути назад, чтобы не струсить, не позволить страху снова сковать меня. Что вы теперь намерены делать?

— Скрываться. Бежать.

— Вы знаете, что объявлена война?

— Да, слышал.

— Господи! Как странно! — воскликнул старик. — Война кажется чем-то далёким, потому что у нас есть теперь свои заботы.

— У меня не было времени думать о ней. — Монтэг вытащил из кармана стодолларовую бумажку. — Вот, возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распорядитесь ими, как найдёте нужным.

— Однако...

— К полудню меня, возможно, не будет в живых. Используйте их для дела.

Фабер кивнул головой.

— Постарайтесь пробраться к реке, потом идите вдоль берега, там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города в глубь страны. Отыщите её и ступайте по ней. Всё сообщение ведётся теперь по воздуху, и большинство железнодорожных путей давно заброшено, но эта колея ещё сохранилась, ржавеет потихоньку. Я слышал, что кое-где, в разных глухих углах, ещё можно найти лагеря бродяг. Пешие таборы, так их называют. Надо только отойти подальше от города да иметь зоркий глаз. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идёт отсюда на Лос-Анджелес, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского университета. Большею частью это беглецы, скрывающиеся от полиции. Но им всё же удалось

уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете укрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я отправляюсь туда сегодня утром, пятичасовым автобусом, хочу повидаться с тем старым печатником. Видите, и я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Монтэг, и да хранит вас бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут?

— Нет, лучше мне не задерживаться.

— Давайте посмотрим, как развиваются события.

Фабер торопливо провёл Монтэга в спальню и отодвинул в сторону одну из картин, висевших на стене. Под ней оказался небольшой телевизионный экран размером не более почтовой открытки.

— Мне всегда хотелось иметь маленький экранчик, чтобы можно было, если захочу, закрыть его ладонью, а не эти огромные стены, которые оглушают тебя криком. Вот смотрите.

Он включил экран.

— Монтэг, — произнёс телевизор, и экран осветился. — М-О-Н-Т-Э-Г, — по буквам прочитал голос диктора. — Гай Монтэг. Всё ещё разыскивается. Поиски ведут полицейские вертолеты. Из соседнего района доставлен новый Механический пёс.

Монтэг и Фабер молча переглянулись.

— Механический пёс действует безотказно. Это чудесное изобретение, с тех пор как впервые было применено для розыска преступников, ещё ни разу не ошиблось. Наша телевизионная компания гордится тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камерой, установленной на вертолете, повсюду следовать за механической ищейкой, как только она начнёт свой путь по следу преступника...

Фабер налил виски в стаканы.

— Выпьем. Это нам не помешает. Они выпили.

— ...Обоняние механической собаки настолько совершенно, что она способна запомнить около десяти тысяч индивидуальных запахов и выследить любого из этих десяти тысяч людей без новой настройки.

Лёгкая дрожь пробежала по телу Фабера. Он окинул взглядом комнату, стены, дверь, дверную ручку, стул, на котором сидел Монтэг. Монтэг заметил этот взгляд. Теперь оба они быстро оглядели комнату. Монтэг вдруг почувствовал, как дрогнули и затрепетали крылья его ноздрей, словно он сам пустился по своему следу, словно обоняние его настолько

обострилось, что он сам стал способен по запаху найти след, проложенный им в воздухе, словно внезапно стали зримы микроскопические капельки пота на дверной ручке, там, где он взялся за неё рукой, — их было множество, и они поблёскивали, как хрустальные подвески крохотной люстры. На всём остались крупинцы его существования, он, Монтэг, был везде — и в доме и снаружи, он был светящимся облаком, привидением, растворившимся в воздухе. И от этого трудно было дышать. Он видел, как Фабер задержал дыхание, словно боялся вместе с воздухом втянуть в себя тень беглеца.

— Сейчас Механический пёс будет высажен с вертолёта у места пожара!

На экранчике возник сгоревший дом, толпа, на земле что-то прикрытое простынёй и опускающийся с неба вертолёт, похожий на причудливый цветок.

Так. Значит, они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то, что через какой-нибудь час может разразиться война...

Как зачарованный, боясь пошевелинуться, Монтэг следил за происходящим. Всё это казалось таким далёким, не имеющим к нему никакого отношения. Как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму, смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. «А ведь это всё обо мне, — думал он, — ах ты, господи, ведь это всё обо мне!»

Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удобством проследить всю погоню до конца, шаг за шагом, по переулкам и улицам, пустынным широким бульварам, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений, и снова по переулкам, прямо к объёмному пламенем дому мистера и миссис Блэк и наконец сюда, в этот домик, где они с Фабером сидят и попивают виски, а электрическое чудовище тем временем уже обнюхивает след его недавних шагов, безмолвное, как сама смерть. Вот оно уже под окном. Теперь, если Монтэг захочет, он может встать и, одним глазом поглядывая на телевизор, подойти к окну, открыть его и высунуться навстречу механическому зверю. И тогда на ярком квадратике экрана он увидит самого себя со стороны, как главного героя драмы, знаменитость, о которой все говорят, к которой прикованы все взоры, — в других гостиных в эту минуту все будут видеть его объёмным, в натуральную величину, в красках! И если он не зазеваётся в этот последний момент, он ещё сможет за секунду до ухода в небытие увидеть, как пронзает его прокаиновая игла

— во имя счастья и спокойствия бесчисленных людей, минуту назад разбуженных истошным воем сирен и поспешивших в свои гостиные, чтобы с волнением наблюдать редкое зрелище — охоту на крупного зверя, погоню за преступником, драму с единственным действующим лицом.

Успеет ли он сказать своё последнее слово? Когда на глазах у миллионов зрителей пёс схватит его, не должен ли он, Монтэг, одной фразой или хоть словом подвести итог своей жизни за эту неделю, так, чтобы сказанное им ещё долго жило после того, как пёс, сомкнув и разомкнув свои металлические челюсти, отпрыгнет и убежит прочь, в темноту. Телекамеры, замерев на месте, будут следить за удаляющимся зверем — эффектный конец! Где ему найти такое слово, такое последнее слово, чтобы огнём обжечь лица людей, пробудить их ото сна?

— Смотрите, — прошептал Фабер.

С вертолёта плавно спускалось что-то, не похожее ни на машину, ни на зверя, ни мёртвое, ни живое, что-то, излучающее слабый зеленоватый свет. Через миг это чудовище уже стояло у тлеющих развалин. Полицейские подобрали брошенный Монтэгом огнемёт и поднесли его рукоятку к морде механического зверя. Раздалось жужжание, щёлканье, лёгкое гудение.

Монтэг, очнувшись, тряхнул головой и встал. Он допил остаток виски из стакана:

— Пора. Я очень сожалею, что так всё вышло.

— Сожалеете? О чём? О том, что опасность грозит мне, моему дому? Я всё это заслужил. Идите, ради бога, идите! Может быть, мне удастся задержать их...

— Пойдите. Какая польза, если и вы попадёте? Когда я уйду, сожгите покрывало с постели — я касался его. Бросьте в печку стул, на котором я сидел. Протрите спиртом мебель, все дверные ручки. Сожгите половик в прихожей. Включите на полную мощность вентиляцию во всех комнатах, посыпьте всё нафталином, если он у вас есть. Потом включите всю ваши поливные установки в саду, а дорожки промойте из шланга. Может быть, удастся прервать след...

Фабер пожал ему руку:

— Я всё сделаю. Счастливого пути. Если мы оба останемся живы, на следующей неделе или ещё через неделю постарайтесь подать о себе весть. Напишите мне в Сент-Луис, главный почтамт, до востребования. Жаль, что не могу всё время держать с вами контакт, — это было бы очень хорошо и для вас и для меня, но у меня нет второй слуховой капсулы. Я, видите ли, никогда не думал, что она пригодится. Ах, какой я был старый глупец! Не

предвидел, не подумал!.. Глупо, непростительно глупо! И вот теперь, когда нужен аппарат, у меня его нет. Ну же! Уходите!

— Ещё одна просьба. Скорей дайте мне чемодан, положите в него какое-нибудь старое своё платье — старый костюм, чем заношенной, тем лучше, рубашку, старые башмаки, носки...

Фабер исчез, но через минуту вернулся. Они заклеили щели картонного чемодана липкой лентой.

— Чтобы не выветрился старый запах мистера Фабера, — промолвил Фабер, весь взмокнув от усилий.

Взяв виски, Монтэг обрызгал им поверхность чемодана:

— Совсем нам ни к чему, чтобы пёс сразу учуял оба запаха. Можно, я возьму с собой остаток виски? Оно мне ещё пригодится. О, господи, надеюсь, наши старания не напрасны!..

Они опять пожали друг другу руки и, уже направляясь к двери, ещё раз взглянули на телевизор. Пёс шёл по следу медленно, крадучись, принюхиваясь к ночному ветру. Над ним кружились вертолеты с телекамерами. Пёс вошёл в первый переулок.

— Прощайте!

Монтэг бесшумно выскользнул из дома и побежал, сжимая в руке наполовину пустой чемодан. Он слышал, как позади него заработали поливные установки, наполняя предрассветный воздух шумом падающего дождя, сначала тихим, а затем всё более сильным и ровным. Вода лилась на дорожки сада и ручейками сбегала на улицу. Несколько капель упало на лицо Монтэга. Ему послышалось, что старик что-то крикнул ему на прощанье — или, может быть, ему только показалось?

Он быстро удалялся от дома, направляясь к реке.

Монтэг бежал.

Он чувствовал приближение Механического пса — словно дыхание осени, холодное, лёгкое и сухое, словно слабый ветер, от которого даже не колеблется трава, не хлопают ставни окон, не колеблется тень от ветвей на белых плитках тротуара. Своим бегом Механический пёс не нарушал неподвижности окружающего мира. Он нёс с собой тишину, и Монтэг, быстро шагая по городу, всё время ощущал гнёт этой тишины. Наконец он стал невыносим. Монтэг бросился бежать.

Он бежал к реке. Остановившись на мгновение, чтобы перевести дух, он заглядывал в слабо освещённые окна пробудившихся домов, видел силуэты людей, глядящих в своих гостиных на телевизорные стены, и на стенах, как облачко неоновых пар, то появлялся, то исчезал Механический пёс,

мелькал то тут, то там, всё дальше, дальше на своих мягких паучьих лапах. Вот он на Элм-террас, на улице Линкольна, в Дубовой, в Парковой аллее, в переулке, ведущем к дому Фабера!

«Беги, — говорил себе Монтэг, — не останавливайся, не мешкай!»

Экран показывал уже дом Фабера, поливные установки работали вовсю, разбрызгивая струи дождя в ночном воздухе. Пёс остановился, вздрагивая.

Нет! Монтэг судорожно вцепился руками в подоконник. Не туда! Только не туда!

Прокаиновая игла высунулась и спряталась, снова высунулась и снова спряталась. С её кончика сорвалась и упала прозрачная капля дурмана, рождающего сны, от которых нет пробуждения. Игла исчезла в морде собаки.

Монтэгу стало трудно дышать, в груди теснило, словно туда засунули кулак.

Механический пёс повернул и бросился дальше по переулку, прочь от дома Фабера.

Монтэг оторвал взгляд от экрана и посмотрел на небо. Геликоптеры были уже совсем близко — они все слетались к одной точке, как мошкара, летящая на свет.

Монтэг с трудом заставил себя вспомнить, что это не какая-то вымышленная сценка, на которую он случайно загляделся по пути к реке, что это он сам наблюдает, как ход за ходом разыгрывается его собственная шахматная партия.

Он громко закричал, чтобы вывести себя из оцепенения, чтобы оторваться от окна последнего из домов по этой улице и от того, что он там видел. К чёрту! К чёрту! Это помогло. Он уже снова бежал. Переулок, улица, переулок, улица, всё сильнее запах реки. Правой, левой, правой, левой. Он бежал. Если телевизионные камеры поймают его в свои объективы, то через минуту зрители увидят на экранах двадцать миллионов бегущих Монтэгов — как в старинном водевиле с полицейскими и преступниками, преследуемыми и преследователями, который он видел тысячу раз. За ним гонятся сейчас двадцать миллионов безмолвных, как тень, псов, перескакивают в гостиных с правой стены на среднюю, со средней на левую, чтобы исчезнуть, а затем снова появиться на правой, перейти на среднюю, на левую — и так без конца!

Монтэг сунул в ухо «Ракушку»:

— Полиция предлагает населению Элм-террас сделать следующее: пусть каждый, кто живёт в любом доме на любой из улиц этого района,

откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. Беглецу не удастся скрыться, если все разом выглянут из своих домов. Итак, приготовиться!

Конечно! Почему это раньше не пришло им в голову? Почему до сих пор этого никогда не делали? Всем приготовиться, всем разом выглянуть наружу! Беглец не сможет укрыться! Единственный человек, бегущий в эту минуту по улице, единственный, рискнувший вдруг проверить способность своих ног двигаться, бежать!

— Выглянуть по счёту десять. Начинаем. Один! Два!

Он почувствовал, как весь город встал.

— Три!

Весь город повернулся к тысячам своих дверей.

Быстрее! Лево́й, право́й!

— Четыре!

Все, как лунатики, двинулись к выходу.

— Пять!

Их руки коснулись дверных ручек. С реки тянуло прохладой, как после ливня. Горло у Монтэга пересохло, глаза воспалились от бега. Внезапно он закричал, словно этот крик мог подтолкнуть его вперёд, помочь ему пробежать последние сто ярдов.

— Шесть, семь, восемь!

На тысячах дверей повернулись дверные ручки.

— Девять!

Он пробежал мимо последнего ряда домов. Потом вниз по склону, к тёмной движущейся массе воды.

— Десять!

Двери распахнулись.

Он представил себе тысячи и тысячи лиц, вглядывающихся в темноту улиц, дворов и ночного неба, бледные, испуганные, они прячутся за занавесками, как серые зверьки, выглядывают они из своих электрических нор, лица с серыми бесцветными глазами, серыми губами, серые мысли в окоченелой плоти.

Но Монтэг был уже у реки.

Он окунул руки в воду, чтобы убедиться в том, что она не привиделась ему. Он вошёл в воду, разделся в темноте догола, ополоснул водой тело, окунул руки и голову в пьянящую, как вино, прохладу, он пил её, он дышал ею. Переодевшись в старое платье и башмаки Фабера, он бросил свою одежду в реку и смотрел, как вода уносит её. А потом, держа чемодан в руке, он побрёл по воде прочь от берега и брёл до тех пор, пока дно не

ушло у него из-под ног, течение подхватило его и понесло в темноту.

Он уже успел проплыть ярдов триста по течению, когда пёс достиг реки. Над рекой гудели огромные пропеллеры вертолетов. Потоки света обрушились на реку, и Монтэг нырнул, спасаясь от этой иллюминации, похожей на внезапно прорвавшееся сквозь тучи солнце. Он чувствовал, как река мягко увлекает его всё дальше в темноту. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег, вертолеты повернули к городу, словно напали на новый след. Ещё мгновение, и они исчезли совсем. Исчез и пёс. Остались лишь холодная река и Монтэг, плывущий по ней в неожиданно наступившей тишине, всё дальше от города и его огней, всё дальше от погони, от всего.

Ему казалось, будто он только что сошёл с театральных подмостков, где шумела толпа актёров, или покинул грандиозный спиритический сеанс с участием сонма лепечущих привидений. Из нереального, страшного мира он попал в мир реальный, но не мог ещё вполне ощутить его реальность, ибо этот мир был слишком нов для него.

Тёмные берега скользили мимо, река несла его теперь среди холмов. Впервые за много лет он видел над собой звёзды, бесконечное шествие совершающих свой предначертанный круг светил. Огромная звёздная колесница катилась по небу, грозя раздавить его.

Когда чемодан наполнился водой и затонул, Монтэг перевернулся на спину. Река лениво катила свои волны, уходя всё дальше и дальше от людей, которые питались тенями на завтрак, дымом на обед и туманом на ужин. Река была по-настоящему реальна, она бережно держала Монтэга в своих объятиях, она не торопила его, она давала время обдумать всё, что произошло с ним за этот месяц, за этот год, за всю жизнь. Он прислушался к ударам своего сердца: оно билось спокойно и ровно. И мысли уже не мчались в бешеном круговороте, они текли так же спокойно и ровно, как и поток крови в его жилах.

Луна низко висела в небе. Луна и лунный свет. Откуда он? Ну понятно, от солнца. А солнце откуда берёт свой свет? Ниоткуда, оно горит собственным огнём. Горит и горит изо дня в день, всё время. Солнце и время. Солнце, время, огонь. Огонь сжигающий. Река мягко качала Монтэга на своих волнах. Огонь сжигающий. На небе солнце, на земле часы, отмеряющие время. Всё это вдруг слилось в сознании Монтэга и стало единством. И после многих лет, прожитых на земле, и немногих минут, проведённых на этой реке, он понял наконец, почему никогда больше он не должен жечь.

Солнце горит каждый день. Оно сжигает Время. Вселенная несётся по кругу и вертится вокруг своей оси.

Время сжигает годы и людей, сжигает само, без помощи Монтэга. А если он, Монтэг, вместе с другими пожарниками будет сжигать то, что создано людьми, а солнце будет сжигать Время, то не останется ничего. Всё сгорит.

Кто-то должен остановиться. Солнце не остановится. Значит, похоже, что остановиться должен он, Монтэг, и те, с кем он работал бок о бок всего лишь несколько часов тому назад. Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей, кто-то должен снова собрать и сберечь то, что создано человеком, сберечь это в книгах, в грампластинках, в головах людей, убереечь любой ценой от моли, плесени, ржавчины, тлена и людей со спичками. Мир полон пожаров, больших и малых. Люди скоро будут свидетелями рождения новой профессии — профессии людей, изготавливающих огнеупорную одежду для человечества.

Он почувствовал, что ноги его коснулись твёрдого грунта, подошвы ботинок закрипели о гальку и песок. Река прибила его к берегу.

Он огляделся. Перед ним была тёмная равнина, как огромное существо, безглазое и безликое, без формы и очертаний, обладавшее только протяжённостью, раскинувшееся на тысячи миль и ещё дальше, без предела, зелёные холмы и леса ожидали к себе Монтэга.

Ему не хотелось покидать покойные воды реки. Он боялся, что где-нибудь там его снова встретит Механический пёс, что вершины деревьев вдруг застонут и зашумят от ветра, поднятого пропеллерами вертолётов.

Но по равнине пробежал лишь обычный осенний ветер, такой же тихий и спокойный, как текущая рядом река. Почему пёс больше не преследует его? Почему погоня повернула обратно, в город? Монтэг прислушался. Тишина. Никого. Ничего.

«Милли, — подумал он. — Посмотри вокруг. Прислушайся! Ни единого звука. Тишина. До чего же тихо, Милли! Не знаю, как бы ты к этому отнеслась. Пожалуй, стала бы кричать: „Замолчи! Замолчи!“. Милли, Милли». Ему стало грустно.

Милли не было, не было и Механического пса. Аромат сухого сена, донёсшийся с далёких полей, воскресил вдруг в памяти Монтэга давно забытую картину. Однажды ещё совсем ребёнком он побывал на ферме. То был редкий день в его жизни, счастливый день, когда ему довелось своими глазами увидеть, что за семью завесами нереальности, за телевизорными стенами гостиных и жестяным валом города есть ещё другой мир, где коровы пасутся на зелёном лугу, свиньи барахтаются в полдень в тёплом

иле пруда, а собаки с лаем носятся по холмам за белыми овечками.

Теперь запах сухого сена и плеск воды напоминали ему, как хорошо было спать на свежем сене в пустом сарае позади одинокой фермы, в стороне от шумных дорог, под сенью старинной ветряной мельницы, крылья которой тихо поскрипывали над головой, словно отсчитывая пролетающие годы. Лежать бы опять, как тогда, всю ночь на сеновале, прислушиваясь к шороху зверьков и насекомых, к шелесту листьев, к тончайшим, еле слышным ночным звукам.

Поздно вечером, думал он, ему, быть может, послышатся шаги. Он приподнимется и сядет. Шаги затихнут. Он снова ляжет и станет глядеть в окошко сеновала. И увидит, как один за другим погаснут огни в домике фермера и девушка, юная и прекрасная, сядет у тёмного окна и станет расчёсывать косу. Её трудно будет разглядеть, но её лицо напомнит ему лицо той девушки, которую он знал когда-то в далёком и теперь уже безвозвратно ушедшем прошлом, лицо девушки, умевшей радоваться дождю, неуязвимой для огненных светляков, знавшей, о чём говорит одуванчик, если им потереть под подбородком. Девушка отойдёт от окна, потом опять появится наверху, в своей залитой лунным светом комнатке. И, внимая голосу смерти под рёв реактивных самолётов, раздирающих небо надвое до самого горизонта, он, Монтэг, будет лежать в своём надёжном убежище на сеновале и смотреть, как удивительные незнакомые ему звёзды тихо уходят за край неба, отступая перед нежным светом зари.

Утром он не почувствует усталости, хотя всю ночь он не сомкнёт глаз и всю ночь на губах его будет играть улыбка, тёплый запах сена и всё увиденное и услышанное в ночной тиши послужит для него самым лучшим отдыхом. А внизу, у лестницы, его будет ожидать ещё одна, совсем уже невероятная радость. Он осторожно спустится с сеновала, освещённый розовым светом раннего утра, полный до краёв ощущением прелести земного существования, и вдруг замрёт на месте, увидев это маленькое чудо. Потом наклонится и коснётся его рукой.

У подножья лестницы он увидит стакан с холодным свежим молоком, несколько яблок и груш.

Это всё, что ему теперь нужно — доказательство того, что огромный мир готов принять его и дать ему время подумать над всем, над чем он должен подумать.

Стакан молока, яблоко, груша. Он вышел из воды.

Берег ринулся на него, как огромная волна прибоя. Темнота, и эта незнакомая ему местность, и миллионы неведомых запахов, несомых прохладным, леденящим мокрым телом ветром, — всё это разом навалилось

на Монтэга. Он отпрянул назад от этой темноты, запахов, звуков. В ушах шумело, голова кружилась. Звёзды летели ему навстречу, как огненные метеоры. Ему захотелось снова броситься в реку, и пусть волны несут его всё равно куда. Тёмная громада берега напомнила ему тот случай из его детских лет, когда, купаясь, он был сбит с ног огромной волной (самой большой, какую он когда-либо видел!), она оглушила его и швырнула в зелёную темноту, наполнила рот, нос, желудок солёно-жгучей водой. Слишком много воды!

А тут было слишком много земли.

И внезапно во тьме, стеною вставшей перед ним, — шорох, чья-то тень, два глаза. словно сама ночь вдруг глянула на него. словно лес глядел на него.

Механический пёс!

Столько пробежать, так измучиться, чуть не утонуть, забраться так далеко, столько перенести, и, когда уже считаешь себя в безопасности и со вздохом облегчения выходишь наконец на берег, вдруг перед тобой...

Механический пёс!

Из горла Монтэга вырвался крик. Нет, это слишком! Слишком много для одного человека.

Тень метнулась в сторону. Глаза исчезли. Как сухой дождь, посыпались осенние листья.

Монтэг был один в лесу.

Олень. Это был олень. Монтэг ощутил острый запах мускуса, смешанный с запахом крови и дыхания зверя, запах кардамона, мха и крестовника, в глухой ночи деревья стеной бежали на него и снова отступали назад, бежали и отступали в такт биению крови, стучащей в висках.

Земля была устлана опавшими листьями. Их тут, наверно, были миллиарды, ноги Монтэга погружались в них, словно он переходил вброд сухую шуршащую реку, пахнущую гвоздикой и тёплой пылью. Сколько разных запахов! Вот как будто запах сырого картофеля, так пахнет, когда разрежешь большую картофелину, белую, холодную, пролежавшую всю ночь на открытом воздухе в лунном свете. А вот запах пикулей, вот запах сельдерея, лежащего на кухонном столе, слабый запах жёлтой горчицы из приоткрытой баночки, запах махровых гвоздик из соседнего сада. Монтэг опустил руку, и травяной стебелёк коснулся его ладони, как будто ребёнок тихонько взял его за руку. Монтэг поднёс пальцы к лицу: они пахли лакрицей.

Он остановился, глубоко вдыхая запахи земли. И чем глубже он вдыхал

их, тем осязаемее становился для него окружающий мир во всём своём разнообразии. У Монтэга уже не было прежнего ощущения пустоты — тут было чем наполнить себя. И отныне так будет всегда.

Он брёл, спотыкаясь, по сухим листьям.

И вдруг в этом новом мире необычного — нечто знакомое.

Его нога задела что-то, отозвавшееся глухим звоном. Он пошарил рукой в траве — в одну сторону, в другую.

Железнодорожные рельсы.

Рельсы, ведущие прочь от города, сквозь рощи и леса, ржавые рельсы заброшенного железнодорожного пути.

Путь, по которому ему надо идти. Это было то единственно знакомое среди новизны, тот магический талисман, который ещё понадобится ему на первых порах, которого он сможет коснуться рукой, чувствовать всё время под ногами, пока будет идти через заросли куманики, через море запахов и ощущений, сквозь шорох и шёпот леса.

Он двинулся вперёд по шпалам.

И, к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твёрдо знает нечто, чего, однако, никак не смог бы доказать: когда-то давно Кларисса тоже проходила здесь.

Полчаса спустя, продрогший, осторожно ступая по шпалам, остро ощущая, как темнота впитывается в его тело, заползает в глаза, в рот, а в ушах стоит гул лесных звуков и ноги исколоты о кустарник и обожжены крапивой, он вдруг увидел впереди огонь.

Огонь блеснул на секунду, исчез, снова появился — он мигал вдали словно чей-то глаз. Монтэг замер на месте, казалось, стоит дохнуть на этот слабый огонёк, и он погаснет. Но огонёк горел, и Монтэг начал подкрадываться к нему. Прошло добрых пятнадцать минут, прежде чем ему удалось подойти поближе, он остановился и, укрывшись за деревом, стал глядеть на огонь. Тихо колеблющееся пламя, белое и алое, странным показался Монтэгу этот огонь, ибо он теперь означал для него совсем не то, что раньше.

Этот огонь ничего не сжигал — он *согривал*.

Монтэг видел руки, протянутые к его теплу, только руки — тела сидевших вокруг костра были скрыты темнотой. Над руками — неподвижные лица, оживлённые отблесками пламени. Он и не знал, что огонь может быть таким. Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать. Даже запах этого огня был совсем другой.

Бог ведь, сколько он так простоял, отдаваясь нелепой, но приятной

фантазии, будто он лесной зверь, которого свет костра выманил из чащи. У него были влажные в густых ресницах глаза, гладкая шерсть, шершавый мокрый нос, копыта, у него были ветвистые рога, и если бы кровь его пролилась на землю, запахло бы осенью. Он долго стоял, прислушиваясь к тёплому потрескиванию костра.

Вокруг костра была тишина, и тишина была на лицах людей, и было время посидеть под деревьями вблизи заброшенной колеи и поглядеть на мир со стороны, обнять его взглядом, словно мир весь сосредоточился здесь, у этого костра, словно мир — это лежащий на углях кусок стали, который эти люди должны были перековать заново. И не только огонь казался иным. Тишина тоже была иной. Монтэг подвинулся ближе к этой особой тишине, от которой, казалось, зависели судьбы мира.

А затем он слышал голоса, люди говорили, но он не мог ещё разобрать, о чём. Речь их текла спокойно, то громче, то тише, — перед говорившими был весь мир, и они не спеша разглядывали его, они знали землю, знали леса, знали город, лежащий за рекой, в конце заброшенной железнодорожной колеи. Они говорили обо всём, и не было вещи, о которой они не могли бы говорить. Монтэг чувствовал это по живым интонациям их голосов, по звучащим в них ноткам изумления и любопытства. А потом кто-то из говоривших поднял глаза и увидел Монтэга, увидел в первый, а может быть, и в седьмой раз, и чей-то голос окликнул его:

— Ладно, можете не прятаться.

Монтэг отступил в темноту.

— Да уж ладно, не бойтесь, — снова прозвучал тот же голос. — Милости просим к нам.

Монтэг медленно подошёл. Вокруг костра сидели пятеро стариков, одетых в тёмно-синие из грубой холщовой ткани брюки и куртки и такие же тёмно-синие рубашки. Он не знал, что им ответить.

— Садитесь, — сказал человек, который, по всей видимости, был у них главным. — Хотите кофе?

Монтэг молча смотрел, как тёмная дымящаяся струйка льётся в складную жестяную кружку, потом кто-то протянул ему эту кружку. Он неловко отхлебнул, чувствуя на себе любопытные взгляды. Горячий кофе обжигал губы, но это было приятно. Лица сидевших вокруг него заросли густыми бородами, но бороды были опрятны и аккуратно подстрижены. И руки у этих людей тоже были чисты и опрятны. Когда он подходил к костру, они все поднялись, приветствуя гостя, но теперь снова уселись. Монтэгпил кофе.

— Благодарю, — сказал он. — Благодарю вас от всей души.

— Добро пожаловать, Монтэг. Меня зовут Грэнджер. — Человек, назвавшийся Грэнджером, протянул ему небольшой флакон с бесцветной жидкостью. — Выпейте-ка и это тоже. Это изменит химический индекс вашего пота. Через полчаса вы уже будете пахнуть не как вы, а как двое совсем других людей. Раз за вами гонится Механический пёс, то не мешает вам опорожнить эту бутылочку до конца.

Монтэг выпил горьковатую жидкость.

— От вас будет разить, как от козла, но это не важно, — сказал Грэнджер.

— Вы знаете моё имя? — удивлённо спросил Монтэг.

Грэнджер кивком головы указал на портативный телевизор, стоявший у костра:

— Мы следили за погоней. Мы так и думали, что вы спуститесь по реке на юг, и когда потом услышали, как вы ломитесь сквозь чащу, словно шалый лось, мы не спрятались, как обычно делаем. Когда вертолеты вдруг повернули обратно к городу, мы догадались, что вы нырнули в реку. А в городе происходит что-то странное. Погоня продолжается, но в другом направлении.

— В другом направлении?

— Давайте проверим.

Грэнджер включил портативный телевизор. На экранчике замелькали краски, с жужжанием заматались тени, словно в этом маленьком ящичке был заперт какой-то кошмарный сон, и странно было, что здесь, в лесу, можно взять его в руки, передать другому. Голос диктора кричал:

— Погоня продолжается в северной части города! Полицейские вертолеты сосредотачиваются в районе Восемьдесят седьмой улицы и Элм Гроув парка!

Грэнджер кивнул:

— Ну да, теперь они просто инсценируют погоню. Вам удалось сбить их со следа ещё у реки. Но признаться в этом они не могут. Они знают, что нельзя слишком долго держать зрителей в напряжении. Скорее к развязке! Если обыскивать реку, то и до утра не кончишь. Поэтому они ищут жертву, чтобы с помпой завершить всю эту комедию. Смотрите! Не пройдёт и пяти минут, как они поймут Монтэга!

— Но как?..

— Вот увидите.

Глаз телекамеры, скрытый в брюхе вертолета, был теперь наведён на пустынную улицу.

— Видите? — прошептал Грэнджер. — Сейчас появись вы. Вон там, в конце улицы. Намеченная жертва. Смотрите, как ведёт съёмку камера! Сначала эффектно подаётся улица. Тревожное ожидание. Улица в перспективе. Вот сейчас какой-нибудь бедняга выйдет на прогулку. Какой-нибудь чудака, оригинал. Не думайте, что полиция не знает привычек таких чудаков, которые любят гулять на рассвете, просто так, без всяких причин, или потому, что страдают бессонницей. Полиция следит за ними месяцы, годы. Никогда не знаешь, когда и как это может пригодиться. А сегодня, оказывается, это очень кстати. Сегодня это просто спасает положение. О господи! Смотрите!

Люди, сидящие у костра, подались вперёд. На экране в конце улицы из-за угла появился человек. Внезапно в объектив ворвался Механический пёс. Геликоптеры направили на улицу десятки прожекторов и заключили фигурку человека в клетку из белых сверкающих столбов света.

Голос диктора торжествующе возвестил:

— Это Монтэг! Погоня закончена!

Ни в чём не повинный прохожий стоял в недоумении, держа в руке дымящуюся сигарету. Он смотрел на пса, не понимая, что это такое. Вероятно, он так и не понял до самого конца. Он взглянул на небо, прислушался к вою сирен. Теперь телекамеры вели съёмку снизу. Пёс сделал прыжок — ритм и точность его движений были поистине великолепны. Сверкнула игла. На мгновение всё замерло на экране, чтобы зрители могли лучше разглядеть всю картину — недоумевающий вид жертвы, пустую улицу, стальное чудовище в прыжке — эту гигантскую пулю, стремящуюся к мишени.

— Монтэг, не двигайтесь! — произнёс голос с неба.

В тот же миг пёс и объектив телекамеры обрушились на человека сверху. И камера и пёс схватили его одновременно. Он закричал. Человек кричал, кричал, кричал!..

Наплыв.

Тишина.

Темнота.

Монтэг вскрикнул и отвернулся.

Тишина.

Люди у костра сидели молча, с застывшими лицами, пока с тёмного экрана не прозвучал голос диктора:

— Поиски окончены. Монтэг мёртв. Преступление, совершённое против общества, наказано.

Темнота.

— Теперь мы переносим вас в «Зал под крышей» отеля Люкс. Получасовая передача «Перед рассветом». В нашей программе...

Грэнджер выключил телевизор.

— А вы заметили, как они дали его лицо? Всё время не в фокусе. Даже ваши близкие друзья не смогли бы с уверенностью сказать, вы это были или не вы. Дан намёк — воображение зрителя дополнит остальное. О, чёрт, — прошептал он.

Монтэг молчал, повернувшись к телевизору, весь дрожа, он не отрывал взгляда от пустого экрана. Грэнджер легонько коснулся его плеча.

— Приветствуем воскресшего из мёртвых.

Монтэг кивнул.

— Теперь вам не мешает познакомиться с нами, — продолжал Грэнджер. — Это Фред Клемент, некогда возглавлявший кафедру имени Томаса Харди в Кембриджском университете, это было в те годы, когда Кембридж ещё не превратился в Атомно-инженерное училище. А это доктор Симмонс из Калифорнийского университета, знаток творчества Ортега-и-Гассет,^[5] вот профессор Уэст, много лет тому назад в стенах Колумбийского университета сделавший немалый вклад в науку об этике, теперь уже древнюю и забытую науку. Преподобный отец Падовер тридцать лет тому назад произнёс несколько проповедей и в течение одной недели потерял своих прихожан из-за своего образа мыслей. Он уже давно бродяжничает с нами. Что касается меня, то я написал книгу под названием: «Пальцы одной руки. Правильные отношения между личностью и обществом». И вот теперь я здесь. Добро пожаловать к нам, Монтэг!

— Нет, мне не место среди вас, — с трудом выговорил наконец Монтэг. — Всю жизнь я делал только глупости.

— Ну, это для нас не ново. Мы все совершали ошибки, иначе мы не были бы здесь. Пока мы действовали каждый в одиночку, ярость была нашим единственным оружием. Я ударил пожарника, когда он пришёл, чтобы сжечь мою библиотеку. Это было много лет тому назад. С тех пор я вынужден скрываться. Хотите присоединиться к нам, Монтэг?

— Да.

— Что вы можете нам предложить?

— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого.

— Экклезиаст — это не плохо. Где вы хранили его?

— Здесь, — Монтэг рукой коснулся лба.

— А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.

— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.

— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Экклезиаст?

— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.

— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо. — Будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!

— Но я всё забыл!

— Нет, ничто не исчезает бесследно. У нас есть способ встряхнуть вашу память.

— Я уже пытался вспомнить.

— Не пытайтесь. Это придёт само, когда будет нужно. Человеческая память похожа на чувствительную фотоплёнку, и мы всю жизнь только и делаем, что стараемся стереть запечатлевшееся на ней. Симмонс разработал метод, позволяющий воскрешать в памяти всё однажды прочитанное. Он трудился над этим двадцать лет. Монтэг, хотели бы вы прочесть «Республику» Платона?

— О да, конечно!

— Ну вот, я — это «Республика» Платона. А Марка Аврелия хотите почитать? Мистер Симмонс — Марк Аврелий.

— Привет! — сказал мистер Симмонс.

— Здравствуйте, — ответил Монтэг.

— Разрешите познакомить вас с Джонатаном Свифтом, автором весьма острой политической сатиры «Путешествие Гулливера». А вот Чарлз Дарвин, вот Шопенгауэр, а это Эйнштейн, а этот, рядом со мной, — мистер Альберт Швейцер, добрый философ. Вот мы все перед вами, Монтэг, — Аристофан и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, Томас Лав Пикок,^[6] Томас Джефферсон и Линкольн — к вашим услугам. Мы также — Матвей, Марк, Лука и Иоанн.

Они негромко рассмеялись.

— Этого не может быть! — воскликнул Монтэг.

— Нет, это так, — ответил, улыбаясь, Грэнджер. — Мы тоже сжигаем книги. Прочитываем книгу, а потом сжигаем, чтобы её у нас не нашли. Микрофильмы не оправдали себя. Мы постоянно скитаемся, меняем места, плёнку пришлось бы где-нибудь закапывать, потом возвращаться за нею, а это сопряжено с риском. Лучше всё хранить в голове, где никто ничего не увидит, ничего на заподозрит. Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пэйн,

Макиавелли, Христос — все здесь, в наших головах. Но уже поздно. И началась война. Мы здесь, а город там, вдали, в своём красочном уборе. О чём вы задумались, Монтэг?

— Я думаю, как же я был глуп, когда пытался бороться собственными силами. Подбрасывал книги в дома пожарных и давал сигнал тревоги.

— Вы делали, что могли. В масштабах всей страны это дало бы прекрасные результаты. Но наш путь борьбы проще и, как нам кажется, лучше. Наша задача — сохранить знания, которые нам ещё будут нужны, сберечь их в целостности и сохранности. Пока мы не хотим никого задевать и никого подстрекать. Ведь если нас уничтожат, погибнут и знания, которые мы храним, погибнут, быть может, навсегда. Мы в некотором роде самые мирные граждане: бродим по заброшенным колеям, ночью прячемся в горах. И горожане оставили нас в покое. Иной раз нас останавливают и обыскивают, но никогда не находят ничего, что могло бы дать повод к аресту. У нас очень гибкая, неуловимая, разбросанная по всем уголкам страны организация. Некоторые из нас сделали себе пластические операции — изменили свою внешность и отпечатки пальцев. Сейчас нам очень тяжело: мы ждём, чтобы поскорее началась и кончилась война. Это ужасно, но тут мы ничего не можем сделать. Не мы управляем страной, мы лишь ничтожное меньшинство, глас вопиющего в пустыне. Когда война кончится, тогда, может быть, мы пригодимся.

— И вы думаете, вас будут слушать?

— Если нет, придётся снова ждать. Мы передадим книги из уст в уста нашим детям, а наши дети в свою очередь передадут другим. Много, конечно, будет потеряно. Но людей нельзя силком заставить слушать. Они должны сами понять, сами должны задуматься над тем, почему так вышло, почему мир взорвался у них под ногами. Вечно так продолжаться не может.

— Много ли вас?

— По дорогам, на заброшенных железнодорожных колеях нас сегодня тысячи, с виду мы — бродяги, но в головах у нас целые хранилища книг. Вначале всё было стихийно. У каждого была какая-то книга, которую он хотел запомнить. Но мы встречались друг с другом, и за эти двадцать или более лет мы создали нечто вроде организации и наметили план действий. Самое главное, что нам надо было понять, — это что сами по себе мы ничто, что мы не должны быть педантами или чувствовать своё превосходство над другими людьми. Мы всего лишь обложки книг, предохраняющие их от порчи и пыли, — ничего больше. Некоторые из нас живут в небольших городках. Глава первая из книги Торо «Уолден»^[7] живёт в Грин Ривер, глава вторая — в Уиллоу Фарм, штат Мэн. В штате

Мэриленд есть городок с населением всего в двадцать семь человек, так что вряд ли туда станут бросать бомбы, в этом городке у нас хранится полное собрание трудов Бертрана Рассела. Его можно взять в руки, как книгу, этот городок, и полистать страницы, — столько-то страниц в голове у каждого из обитателей. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать, созовём всех этих людей, и они прочтут наизусть всё, что знают, и мы всё это напечатаем на бумаге. А потом, возможно, наступит новый век тьмы и придётся опять всё начинать сначала. Но у человека есть одно замечательное свойство: если приходится всё начинать сначала, он не отчаивается и не теряет мужества, ибо он знает, что это очень важно, что это стоит усилий.

— А сейчас что мы будем делать? — спросил Монтэг.

— Ждать, — ответил Грэнджер. — И на всякий случай уйдём подальше, вниз по реке.

Он начал забрасывать костёр землёй. Остальные помогали ему, помогал и Монтэг. В лесной чаще люди молча гасили огонь.

При свете звёзд они стояли у реки.

Монтэг взглянул на светящийся циферблат своих часов. Пять часов утра. Только час прошёл. Но он был длиннее года. За дальним берегом брезжил рассвет.

— Почему вы верите мне? — спросил он. Человек шевельнулся в темноте.

— Достаточно взглянуть на вас. Вы давно не смотрелись в зеркало, Монтэг. Кроме того, город никогда не оказывал нам такой чести и не устраивал за нами столь пышной погони. Десяток чудаков с головами, напичканными поэзией, — это им не опасно, они это знают, знаем и мы, все это знают. Пока весь народ — массы — не цитирует ещё Хартию вольностей и конституцию, нет оснований для беспокойства. Достаточно, если пожарники будут время от времени присматривать за порядком. Нет, нас горожане не трогают. А вас, Монтэг, они здорово потрепали.

Они шли вдоль реки, направляясь на юг. Монтэг пытался разглядеть лица своих спутников, старые, изборождённые морщинами, усталые лица, которые он видел у костра. Он искал на них выражение радости, решимости, торжества над будущим. Он, кажется, ожидал, что от тех знаний, которые они несли в себе, их лица будут светиться как зажжённый фонарь в ночном мраке. Но ничего этого он не увидел на их лицах. Там, у костра, их озарял отблеск горящих сучьев, а сейчас они ничем не

отличались от других таких же людей, много скитавшихся по дорогам, проведших в поисках немало лет своей жизни, видевших, как гибнет прекрасное, и вот наконец, уже стариками, они собрались вместе, чтобы поглядеть, как опустится занавес и погаснут огни. Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставит зарю будущего разгореться более ярким пламенем, они ни в чём не были уверены, кроме одного — они видели книги, стоящие на полках, книги с ещё не разрезанными страницами, ждущие читателей, которые когда-нибудь придут и возьмут книги, кто чистыми, кто грязными руками. Монтэг пристально вглядывался в лица своих спутников.

— Не пытайтесь судить о книгах по обложкам, — сказал кто-то.

Все тихо засмеялись, продолжая идти дальше, вниз по реке.

Оглушительный, режущий ухо скрежет — и в небе пронеслись ракетные самолёты, они исчезли раньше, чем путники успели поднять головы. Самолёты летели со стороны города. Монтэг взглянул туда, где далеко за рекой лежал город, сейчас там виднелось лишь слабое зарево.

— Там осталась моя жена.

— Сочувствую вам. В ближайшие дни городам придётся плохо, — сказал Грэнджер.

— Странно, я совсем не тоскую по ней. Странно, но я как будто неспособен ничего чувствовать, — промолвил Монтэг. — Секунду назад я даже подумал — если она умрёт, мне не будет жаль. Это нехорошо. Со мной, должно быть, творится что-то неладное.

— Послушайте, что я вам скажу, — ответил Грэнджер, беря его под руку, он шагал теперь рядом, помогая Монтэгу пробираться сквозь заросли кустарника. — Когда я был ещё мальчиком, умер мой дед, он был скульптором. Он был очень добрый человек, очень любил людей, это он помог очистить наш город от трущоб. Нам, детям, он мастерил игрушки, за свою жизнь, он, наверно, создал миллион разных вещей. Руки его всегда были чем-то заняты. И вот когда он умер, я вдруг понял, что плачу не о нём, а о тех вещах, которые он делал. Я плакал потому, что знал: ничего этого больше не будет, дедушка уже не сможет вырезать фигурки из дерева, разводить с нами голубей на заднем дворе, играть на скрипке или рассказывать нам смешные истории — никто не умел так их рассказывать, как он. Он был частью нас самих, и когда он умер, всё это ушло из нашей жизни: не осталось никого, кто мог бы делать это так, как делал он. Он был особенный, ни на кого не похожий. Очень нужный для жизни человек. Я так и не примирился с его смертью. Я и теперь часто думаю, каких

прекрасных творений искусства лишился мир из-за его смерти, сколько забавных историй осталось не рассказано, сколько голубей, вернувшись домой, не ощутят уже ласкового прикосновения его рук. Он переделывал облик мира. Он дарил миру новое. В ту ночь, когда он умер, мир обеднел на десять миллионов прекрасных поступков.

Монтэг шёл молча.

— Милли, Милли, — прошептал он, — Милли.

— Что вы сказали?

— Моя жена... Милли... Бедная, бедная Милли. Я ничего не могу вспомнить... Думаю о её руках, но не вижу, чтобы они делали что-нибудь. Они висят вдоль её тела, как плети, или лежат на коленях, или держат сигарету. Это всё, что они умели делать.

Монтэг обернулся и взглянул назад.

Что ты дал городу, Монтэг?

Пепел.

Что давали люди друг другу?

Ничего.

Грэнджер стоял рядом с Монтэгом и смотрел в сторону города.

— Мой дед говорил: «Каждый должен что-то оставить после себя. Сына, или книгу, или картину, выстроенный тобой дом или хотя бы возведённую из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чём после смерти найдёт прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на возвращённое тобою дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив». Мой дед говорил: «Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы всё, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нём оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником, — говорил мне дед. — Первый пройдёт, и его как не бывало, но садовник будет жить не одно поколение».

Грэнджер сжал локоть Монтэга.

— Однажды, лет пятьдесят назад, мой дед показал мне несколько фильмов о реактивных снарядах Фау-2, — продолжал он. — Вам когда-нибудь приходилось с расстояния в двести миль видеть грибовидное облако, что образуется от взрыва атомной бомбы? Это ничто, пустяк. Для лежащей вокруг дикой пустыни — это всё равно что булавоочный укол. Мой дед раз десять провертел этот фильм, а потом сказал: он надеется, что наступит день, когда города шире раздвинут свои стены и впустят к себе леса, поля и дикую природу. Люди не должны забывать, сказал он, что на

земле им отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно всё, что дала человеку. Ей ничего не стоит смести нас с лица земли своим дыханием или затопить нас водами океана — просто чтобы ещё раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает. Мой дед говорил: если мы не будем постоянно ощущать её рядом с собой в ночи, мы позабудем, какой она может быть грозной и могущественной. И тогда в один прекрасный день она придёт и поглотит нас. Понимаете?

Грэнджер повернулся к Монтэгу.

— Дед мой умер много лет тому назад, но если вы откроете мою черепную коробку и взгляните в извилины моего мозга, вы найдёте там отпечатки его пальцев. Он коснулся меня рукой. Он был скульптором, я уже говорил вам. «Ненавижу римлянина по имени Статус Кво, — сказал он мне однажды. — Шире открой глаза, живи так жадно, как будто через десять секунд умрёшь. Старайся увидеть мир. Он прекрасней любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя — такого зверя нет на свете. А если есть, так он сродни обезьяне-ленивцу, которая день-деньской висит на дереве головою вниз и всю свою жизнь проводит в спячке. К чёрту! — говорил он. — Тряхни посильнее дерево, пусть эта ленивая скотина треснет задницей об землю!»

— Смотрите! — воскликнул вдруг Монтэг. В это мгновение началась и окончилась война. Впоследствии никто из стоявших рядом с Монтэгом не мог сказать, что именно они видели и видели ли хоть что-нибудь. Мимолётная вспышка света на чёрном небе, чуть уловимое движение... За этот кратчайший миг там, наверху, на высоте десяти, пяти, одной мили пронеслись, должно быть, реактивные самолёты, словно горсть зерна, брошенная гигантской рукой сеятеля, и тотчас же с ужасающей быстротой, и вместе с тем так медленно, бомбы стали падать на пробуждающийся ото сна город. В сущности, бомбардировка закончилась, как только самолёты, мчась со скоростью пять тысяч миль в час, приблизились к цели и приборы предупредили о ней пилотов. И столь же молниеносно, как взмах серпа, окончилась война. Она окончилась в тот момент, когда пилоты нажали рычаги бомбосбрасывателей. А за последующие три секунды, всего три секунды, пока бомбы не упали на цель, вражеские самолёты уже прорезали всё обозримое пространство и ушли за горизонт, невидимые, как невидима пуля в бешеной быстроте своего полёта, и не знакомый с огнестрельным оружием дикарь не верит в неё, ибо её не видит, но сердце его уже пробито, тело, как подкошенное, падает на землю, кровь вырвалась

из жил, мозг тщетно пытается задержать последние обрывки дорогих воспоминаний и, не успев даже понять, что случилось, умирает.

Да, в это трудно было поверить. То был один-единственный мгновенный жест. Но Монтэг видел этот взмах железного кулака, занесённого над далёким городом, он знал, что сейчас последует рёв самолётов, который, когда уже всё свершилось, внятно скажет: разрушай, не оставляй камня на камне, погибни. Умри.

На какое-то мгновенье Монтэг задержал бомбы в воздухе, задержал их протестом разума, беспомощно поднятыми вверх руками. «Бегите! — кричал он Фаберу. — Бегите! — кричал он Клариссе. — Беги, беги!» — взывал он к Милдред. И тут же вспомнил: Кларисса умерла, а Фабер покинул город, где-то по долине меж гор мчится сейчас пятичасовой автобус, держа путь из одного объекта разрушения в другой. Разрушение ещё не наступило, оно ещё висит в воздухе, но оно неизбежно. Не успеет автобус пройти ещё пятидесяти ярдов по дороге, как место его назначения перестанет существовать, а место отправления из огромной столицы превратится в гигантскую кучу мусора. А Милдред?.. Беги, беги!

В какую-то долю секунды, пока бомбы ещё висели в воздухе, на расстоянии ярда, фута, дюйма от крыши отеля, в одной из комнат он увидел Милдред. Он видел, как, подавшись вперёд, она всматривалась в мерцающие стены, с которых не умолкая говорили с ней «родственники». Они тараторили и болтали, называли её по имени, улыбались ей, но ничего не говорили о бомбе, которая повисла над её головой, — вот уже только полдюйма, вот уже только четверть дюйма отделяют смертоносный снаряд от крыши отеля. Милдред впилась взглядом в стены, словно там была разгадка её тревожных бессонных ночей. Она жадно тянулась к ним, словно хотела броситься в этот водоворот красок и движения, нырнуть в него, окунуться, утонуть в его призрачном веселье.

Упала первая бомба.

— Милдред!

Быть может — но узнает ли кто об этом? — быть может, огромные радио- и телевизионные станции с их бездной красок, света и пустой болтовни первыми исчезли с лица земли?

Монтэг, бросившийся плашмя на землю, увидел, почувствовал — или ему почудилось, что он видит, чувствует, — как в комнате Милдред вдруг погасли стены, как они из волшебной призмы превратились в простое зеркало, он услышал крик Милдред, ибо в миллионную долю той секунды, что ей осталось жить, она увидела на стенах своё лицо, лицо, ужасающее своей пустотой, одно в пустой комнате, пожирающее глазами самое себя.

Она поняла наконец, что это её собственное лицо, что это она сама, и быстро взглянула на потолок, и в тот же миг всё здание отеля обрушилось на неё и вместе с сотнями тонн кирпича, металла, штукатурки, дерева увлекло её вниз, на головы других людей, а потом всё ниже и ниже по этажам, до самого подвала, и там, внизу, мощный взрыв бессмысленно и нелепо покончил с ними раз и навсегда.

— Вспомнил! — Монтэг прильнул к земле. — Вспомнил! Чикаго! Это было в Чикаго много лет назад. Милли и я. Вот где мы встретились! Теперь помню. В Чикаго. Много лет назад.

Сильный взрыв потряс воздух. Воздушная волна прокатилась над рекой, опрокинула людей, словно костяшки домино, водяным смерчем прошла по реке, взметнула чёрный столб пыли и, застонав в деревьях, пронеслась дальше, на юг. Монтэг ещё теснее прижался к земле, словно хотел врасти в неё, и плотно зажмурил глаза. Только раз он приоткрыл их и в это мгновение увидел, как город поднялся на воздух. Казалось, бомбы и город поменялись местами. Ещё одно невероятное мгновение — новый и неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, о каких не мечтал ни один строитель, зданиями, сотканными из брызг раздроблённого цемента, из блёсток разорванного в клочки металла, в путанице обломков, с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими красками, как водопад, который взметнулся вверх, вместо того чтобы свергнуться вниз, как фантастическая фреска, город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез.

Спустя несколько секунд грохот далёкого взрыва принёс Монтэгу весть о гибели города.

Монтэг лежал на земле. Мелкая цементная пыль засыпала ему глаза, сквозь плотно сжатые губы набилась в рот. Он задыхался и плакал. И вдруг вспомнил... Да, да, я вспомнил что-то! Что это, что? Экклезиаст! Да, это главы из Экклезиаста и Откровения. Скорей, скорей, пока я опять не забыл, пока не прошло потрясение, пока не утих ветер. Экклезиаст, вот он! Прижавшись к земле, ещё вздрагивающей от взрывов, он мысленно повторял слова, повторял их снова и снова, и они были прекрасны и совершенны, и теперь реклама зубной пасты Денгэм не мешала ему. Сам проповедник стоял перед ним и смотрел на него...

— Вот и всё, — произнёс кто-то. Люди лежали, судорожно глотая воздух, словно выброшенные на берег рыбы. Они цеплялись за землю, как ребёнок инстинктивно цепляется за знакомые предметы, пусть даже мёртвые и холодные. Впившись пальцами в землю и широко разинув рты,

люди кричали, чтобы уберечь свои барабанные перепонки от грохота взрывов, чтобы не дать помутиться рассудку. И Монтэг тоже кричал, всеми силами сопротивляясь ветру, который резал ему лицо, рвал губы, заставлял кровь течь из носу.

Монтэг лёжа видел, как мало-помалу оседало густое облако пыли, вместе с тем великое безмолвие опускалось на землю. И ему казалось, что он видит каждую крупинку пыли, каждый стебелёк травы, слышит каждый шорох, крик и шёпот, рождавшийся в этом новом мире. Вместе с пылью на землю опускалась тишина, а с ней и спокойствие, столь нужное им для того, чтобы оглядеться, вслушаться и вдуматься, разумом и чувствами постигнуть действительность нового дня.

Монтэг взглянул на реку. Может быть, мы пойдём вдоль берега? Он посмотрел на старую железнодорожную колею. А может быть, мы пойдём этим путём? А может быть, мы пойдём по большим дорогам? И теперь у нас будет время всё разглядеть и всё запомнить. И когда-нибудь позже, когда всё виденное уляжется где-то в нас, оно снова выльется наружу в наших словах и в наших делах. И многое будет неправильно, но многое окажется именно таким, как нужно. А сейчас мы начнём наш путь, мы будем идти и смотреть на мир, мы увидим, как он живёт, говорит, действует, как он выглядит на самом деле. Теперь я хочу видеть всё! И хотя то, что я увижу, не будет ещё моим, когда-нибудь оно сольётся со мной воедино и станет моим «я». Посмотри же вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой! Лишь тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь и вместе с ней миллион раз за день обернётся в твоих жилах. Я так крепко ухвачу его, что он уже больше не ускользнёт от меня. Когда-нибудь он весь будет в моих руках, сейчас я уже чуть-чуть коснулся его пальцем. И это только начало.

Ветер утих.

Ещё какое-то время Монтэг и остальные лежали в полузабытьи, на грани сна и пробуждения, ещё не в силах подняться и начать новый день с тысячами забот и обязанностей: разжигать костёр, искать пищу, двигаться, идти, жить. Они моргали, стряхивая пыль с ресниц. Слышалось их дыхание, вначале прерывистое и частое, потом всё более ровное и спокойное.

Монтэг приподнялся и сел. Однако он не сделал попытки встать на ноги. Его спутники тоже зашевелились. На тёмном горизонте алела узкая полоска зари. В воздухе чувствовалась прохлада, предвещающая дождь.

Молча поднялся Грэнджер. Бормоча под нос проклятья, он ощупал свои руки, ноги. Слёзы текли по его щекам. Тяжело передвигая ноги, он

спустился к реке и взглянул вверх по течению.

— Города нет, — промолвил он после долгого молчания. — Ничего не видно. Так, кучка пепла. Город исчез. — Он опять помолчал, потом добавил: — Интересно, многие ли понимали, что так будет? Многих ли это застало врасплох?

А Монтэг думал: сколько ещё городов погребло в других частях света? Сколько их погребло в нашей стране? Сто, тысяча?

Кто-то достал из кармана клочок бумаги, чиркнул спичкой, на огонёк положили пучок травы и горсть сухих листьев. Потом стали подбрасывать ветки. Влажные ветки шипели и трещали, но вот наконец костёр вспыхнул, разгораясь всё жарче и жарче. Взошло солнце. Люди медленно отвернулись от реки и молча придвинулись к костру, низко склоняясь над огнём. Лучи солнца коснулись их затылков.

Грэнджер развернул промасленную бумагу и вынул кусок бекона.

— Сейчас мы позавтракаем, а потом повернём обратно и пойдём вверх по реке. Мы будем нужны там.

Кто-то подал небольшую сковородку, её поставили на огонь. Через минуту на ней уже шипели и прыгали кусочки бекона, наполняя утренний воздух аппетитным запахом.

Люди молча следили за этим ритуалом.

Грэнджер смотрел в огонь.

— Феникс, — сказал он вдруг.

— Что?

— Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет она сжигала себя на костре. Должно быть, она была близкой роднёй человеку. Но, сгорев, она всякий раз снова возрождалась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу. Однако у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более лет. А раз мы это знаем и всё это записано и мы можем оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об ошибках человечества.

Он снял сковородку с огня и дал ей немного остынуть. Затем все молча, каждый думая о своём, принялись за еду.

— Теперь мы пойдём вверх по реке, — сказал Грэнджер. — И помните одно: сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе. Когда-нибудь оно пригодится людям. Но заметьте — даже в те давние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не

использовали всего, что они давали нам. Мы продолжали осквернять память мёртвых, мы плевали на могилы тех, кто жил до нас. В ближайшую неделю, месяц, год мы всюду будем встречать одиноких людей. Множество одиноких людей. И когда они спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества, и поэтому мы в конце концов непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу и навеки похороним в ней войну. А теперь в путь. Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал. И в ближайший год выдавать зеркала, зеркала, ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько рассмотреть в них себя.

Они кончили завтракать и погасили костёр. Вокруг них день разгорался всё ярче, словно кто-то подкручивал фитиль в огромной лампе с розовым абажуром. Летевшие было птицы вернулись и снова щебетали в ветвях деревьев.

Монтэг двинулся в путь. Он шёл на север. Оглянувшись, он увидел, что все идут за ним. Удивлённый, он посторонился, чтобы пропустить Грэнджера вперёд, но тот только посмотрел на него и молча кивнул. Монтэг пошёл вперёд. Он взглянул на реку, и на небо, и на ржавые рельсы в траве, убегающие туда, где были фермы и сеновалы, полные сена, и куда под покровом ночи приходили люди, покидавшие города. Когда-нибудь потом, через месяц или полгода, но не позже, чем через год, он опять пройдёт, уже один, по этим местам и будет идти до тех пор, пока не нагонит тех, кто прошёл здесь до него.

А сейчас им предстоит долгий путь: они будут идти всё утро. До самого полудня. И если пока что они шли молча, то только оттого, что каждому было о чём подумать и что вспомнить. Позже, когда солнце взойдёт высоко и согреет их своим теплом, они станут беседовать или, может быть, каждый просто расскажет то, что запомнил, чтобы удостовериться, чтобы знать наверняка, что всё это цело в его памяти. Монтэг чувствовал, что и в нём пробуждаются и тихо оживают слова. Что скажет он, когда придёт его черёд? Что может он сказать такого в этот день, что хоть немного облегчит им путь? Всеми своё время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить. Да, это так. Но что ещё? Есть ещё что-то, ещё что-то, что надо сказать...

«...И по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее каждый месяц плод свой и листья древа — для исцеления народов».

Да, думал Монтэг, вот что я скажу им в полдень. В полдень...

Когда мы подойдем к городу.

Вино из одуванчиков

Уолтеру А. Брэдбери, не дядюшке и не двоюродному брату, но, вне всякого сомнения, издателю и другу.

Утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно нежился в постели. Пришло лето, и ветер был летний — теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета.

Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, только что открыл глаза и, как в теплую речку, погрузился в предрассветную безмятежность. Он лежал в сводчатой комнатке на четвертом этаже — во всем городе не было башни выше, — и оттого, что он парил так высоко в воздухе вместе с июньским ветром, в нем рождалась чудодейственная сила. По ночам, когда вязаы, дубы и клены сливались в одно беспокойное море, Дуглас окидывал его взглядом, пронзавшим тьму, точно маяк. И сегодня... — Вот здорово! — шепнул он. Впереди целое лето, несчетное множество дней — чуть не полкалендаря. Он уже видел себя многоруким, как божество Шива из книжки про путешествия: только поспевай рвать еще зеленые яблоки, персики, черные как ночь сливы. Его не вытащить из лесу, из кустов, из реки. А как приятно будет померзнуть, забравшись в заиндевелый ледник, как весело жариться в бабушкиной кухне заодно с тысячью цыплят!

А пока — за дело!

(Раз в неделю ему позволяли ночевать не в домике по соседству, где спали его родители и младший братишка Том, а здесь, в дедовской башне; он взбегал по темной винтовой лестнице на самый верх и ложился спать в этой обители кудесника, среди громов и видений, а спозаранку, когда даже молочник еще не звякал бутылками на улицах, он просыпался и приступал к заветному волшебству.)

Стоя в темноте у открытого окна, он набрал полную грудь воздуха и изо всех сил дунул.

Уличные фонари мигом погасли, точно свечи на черном именинном пироге. Дуглас дунул еще и еще, и в небе начали гаснуть звезды.

Дуглас улыбнулся. Ткнул пальцем.

Там и там. Теперь тут и вот тут...

В предутреннем тумане один за другим прорезались прямоугольники — в домах зажигались огни. Далеко-далеко, на рассветной земле вдруг озарилась целая вереница окон.

— Всем зевнуть! Всем вставать! Огромный дом внизу ожил.

— Дедушка, вынимай зубы из стакана! — Дуглас немного подождал. — Бабушка и прабабушка, жарьте оладьи!

Сквозняк пронес по всем коридорам теплый дух жареного теста, и во всех комнатах встрепенулись многочисленные тетки, дядья, двоюродные братья и сестры, что съехались сюда погостить.

— Улица Стариков, просыпайся! Мисс Элен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли! Покашляйте, встаньте, проглотите свои таблетки, пошевеливайтесь! Мистер Джонас, запрягайте лошадь, выводите из сарая фургон, пора ехать за старьем!

По ту сторону оврага открыли свои драконьи глаза угрюмые особняки. Скоро внизу появятся на электрической Зеленой машине две старухи и покатают по утренним улицам, приветственно махая каждой встречной собаке.

— Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо! И вскоре по узким руслам мощеных улиц поплывет трамвай, рассыпая вокруг жаркие синие искры.

— Джон Хаф, Чарли Вудмен, вы готовы? — шепнул Дуглас улице Детей. — Готовы? — спросил он у бейсбольных мячей, что мокли на росистых лужайках, у пустых веревочных качелей, что, сучая, свисали с деревьев.

— Мам, пап, Том, проснитесь!

Тихонько прозвенели будильники. Гулко пробили часы на здании суда. Точно сеть, заброшенная его рукой, с деревьев взметнулись птицы и запели. Дирижируя своим оркестром, Дуглас повелительно протянул руку к востоку.

И взошло солнце.

Дуглас скрестил руки на груди и улыбнулся, как настоящий волшебник. Вот то-то, думал он: только я приказал — и все повскакали, все забегали. Отличное будет лето!

И он напоследок оглядел город и щелкнул ему пальцами. Распахнулись двери домов, люди вышли на улицу. Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года началось.

В то утро, проходя по лужайке, Дуглас наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба и неслышно лопнула.

И от этого пустячного случая он насторожился: день будет не такой, как все. Не такой еще и потому, что бывают дни, сотканые из одних запахов, словно весь мир можно втянуть носом, как воздух: вдохнуть и выдохнуть, — так объяснял Дугласу и его десятилетнему брату Тому отец, когда вез их в машине за город. А в другие дни, говорил еще отец, можно слышать каждый гром и каждый шорох вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные — на ощупь. А бывают и такие, когда есть все сразу. Вот, например, сегодня — пахнет так, будто в одну ночь там, за холмами, невесть откуда взялся огромный фруктовый сад, и все до самого горизонта так и благоухает. В воздухе пахнет дождем, но на небе — ни облачка. Того и гляди, кто-то неведомый захохочет в лесу, но пока там тишина...

Дуглас во все глаза смотрел на плывущие мимо поля. Нет, ни садом не пахнет, ни дождем, да и откуда бы, раз ни яблонь нет, ни туч. И кто там может хохотать в лесу?..

А все-таки, — Дуглас вздрогнул, — день этот какой-то особенный.

Машина остановилась в самом сердце тихого леса.

— А ну, ребята, не баловаться!

(Они подталкивали друг друга локтями.)

— Хорошо, папа.

Мальчики вылезли из машины, захватили синие жестяные ведра и, сойдя с пустынной проселочной дороги, погрузились в запахи земли, влажной от недавнего дождя.

— Ищите пчел, — сказал отец. — Они всегда вьются возле винограда, как мальчишки возле кухни. Дуглас! Дуглас встрепенулся.

— Опять витаешь в облаках, — сказал отец. — Спустишь на землю, пойдем с нами.

— Хорошо, папа.

И они гуськом побрели по лесу: впереди отец, рослый и плечистый, за ним Дуглас, а последним семенил коротышка Том. Поднялись на невысокий холм и посмотрели вдаль. Вон там, указал пальцем отец, там обитают огромные, по-летнему тихие ветры и, незримые, плывут в зеленых глубинах, точно призрачные киты.

Дуглас глянул в ту сторону, ничего не увидел и почувствовал себя обманутым — отец, как и дедушка, вечно говорит загадками. И... и все-таки... Дуглас затаил дыхание и прислушался.

Что-то должно случиться, подумал он, я уж знаю.

— А вот папоротник, называется «Венерин волос». — Отец неторопливо шагал вперед, синее ведро позвякивало у него в руке. — А

это, чувствуете? — И он ковырнул землю носком башмака. — Миллионы лет копился этот перегной, осень за осенью падали листья, пока земля не стала такой мягкой.

— Ух ты, я ступаю как индеец, — сказал Том. — Совсем неслышно!

Дуглас потрогал землю, но ничего не ощутил; он все время настороженно прислушивался. Мы окружены, думал он. Что-то случится! Но что? Он остановился. Выходи же! Где ты там? Что ты такое? — мысленно кричал он.

Том и отец шли дальше по тихой, податливой земле.

— На свете нет кружева тоньше, — негромко сказал отец. И показал рукой вверх, где листва деревьев вплеталась в небо — или, может быть, небо вплеталось в листву? — Все равно, — улыбнулся отец, — все это кружева, зеленые и голубые; всмотритесь хорошенько и увидите — лес плетет их, словно гудящий станок. — Отец стоял уверенно, по-хозяйски, и рассказывал им всякую всячину, легко и свободно, не выбирая слов. Часто он и сам смеялся своим рассказам, и от этого они текли еще свободнее. — Хорошо при случае послушать тишину, — говорил он, — потому что тогда удается услышать, как носится в воздухе пыльца полевых цветов, а воздух так и гудит пчелами, да, да, так и гудит! А вот — слышите? Там, за деревьями водопадом льется птичье щебетанье!

Вот сейчас, думал Дуглас. Вот оно. Уже близко! А я еще не вижу... Совсем близко! Рядом!

— Дикий виноград, — сказал отец. — Нам повезло. Смотрите-ка!

Не надо! — ахнул про себя Дуглас.

Но Том и отец наклонились и погрузили руки в шуршащий куст. Чары рассеялись. То пугающее и грозное, что подкрадывалось, близилось, готово было ринуться и потрясти его душу, исчезло!

Опустошенный, растерянный Дуглас упал на колени. Пальцы его ушли глубоко в зеленую тень и вынырнули, обгаренные алым соком, словно он взрезал лес ножом и сунул руки в открытую рану.

— Мальчики, завтракать!

Ведро чуть не доверху наполнено диким виноградом и лесной земляникой; вокруг гудят пчелы — это вовсе не пчелы, а целый мир тихонько мурлычет свою песенку, говорит отец, а они сидят на замшелом стволе упавшего дерева, жуют сэндвичи и пытаются слушать лес, как слушает он. Отец, чуть посмеиваясь, искоса поглядывает на Дугласа. Хотел было что-то сказать, но промолчал, откусил еще кусок сэндвича и задумался.

— Хлеб с ветчиной в лесу — не то что дома. Вкус совсем другой, верно? Острее, что ли... Мятой отдает, смолой. А уж аппетит как разыгрывается!

Дуглас перестал жевать и потрогал языком хлеб и ветчину. Нет, нет... обыкновенный сэндвич.

Том кивнул, продолжая жевать.

— Я понимаю, пап.

Ведь уже почти случилось, — думает Дуглас. Не знаю, что это, но оно большущее, прямо громадное. Что-то его спугнуло. Где же оно теперь? Опять ушло в тот куст? Нет, где-то за мной. Нет, нет, здесь... Тут, рядом.

Дуглас исподтишка пощупал свой живот.

Оно еще вернется, надо только немножко подождать. Больно не будет, я уж знаю, не за тем оно ко мне придет. Но зачем же? Зачем?

— А ты знаешь, сколько раз мы в этом году играли в бейсбол? А в прошлом? А в позапрошлом? — ни с того ни с сего спросил Том.

Губы его двигались быстро-быстро.

— Я все записал! Тысяч пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я чистил зубы за десять лет жизни? Шесть тысяч раз! А руки мыл пятнадцать тысяч раз, спал четыре с лишним тысячи раз, и это только ночью. И съел шестьсот персиков и восемьсот яблок. А груш — всего двести, я не очень-то люблю груши. Что хочешь спроси, у меня все записано! Если вспомнить и сосчитать, что я делал за все десять лет, прямо тысячи миллионов получаютя!

Вот, вот, думал Дуглас. Опять оно ближе. Почему? Потому что Том болтает? Но разве дело в Томе? Он все трещит и трещит с полным ртом, отец сидит молча, насторожился, как рысь, а Том все болтает, никак не уgomонится, шипит и пенится, как сифон с содовой.

— Книг я прочел четыреста штук; кино смотрел и того больше: сорок фильмов с участием Бака Джонса, тридцать — с Джеком Хокси, сорок пять — с Томом Миксом, тридцать девять — с Хутом Гибсоном, сто девяносто два мультипликационных про кота Феликса, десять с Дугласом Фербенксом, восемь раз видел «Призрак в опере» с Лоном Чани, четыре раза смотрел Милтона Силлса, даже один про любовь, с Адольфом Менжу, только я тогда просидел целых девяносто часов в киношной уборной, все ждал, чтоб эта ерунда кончилась и пустили «Кошку и канарейку» или «Летучую мышь». А уж тут все цеплялись друг за дружку и визжали два часа без передышки. И съел за это время четыреста леденцов, триста тянучек, семьсот стаканчиков мороженого...

Том болтал еще долго, минут пять, пока отец не прервал его:

— А сколько ягод ты сегодня собрал, Том?

— Ровно двести пятьдесят шесть, — не моргнув глазом ответил Том.

Отец рассмеялся, и на этом окончился завтрак; они вновь двинулись в лесные тени собирать дикий виноград и крошечные ягоды земляники. Все трое наклонялись к самой земле, руки быстро и ловко делали свое дело, ведра все тяжелели, а Дуглас прислушивался и думал: вот, вот оно, опять близко, прямо у меня за спиной. Не оглядывайся! Работай, собирай ягоды, кидай в ведро. Оглянешься — спугнешь. Нет уж, на этот раз не упущу! Но как бы его заманить поближе, чтобы поглядеть на него, глянуть прямо в глаза? Как?

— А у меня в спичечном коробке есть снежинка, — сказал Том и улыбнулся, глядя на свою руку, — она была вся красная от ягод, как в перчатке.

Замолчи! — чуть не завопил Дуглас, но нет, кричать нельзя: всполошится эхо и все спугнет...

Постой-ка... Том болтает, а оно подходит все ближе! Значит, оно не боится Тома, Том только притягивает его, Том тоже немножко оно...

— Дело было еще в феврале, валил снег, а я подставил коробок, — Том хихикнул, — поймал одну снежинку побольше и — раз! — захлопнул, скорей побежал домой и сунул в холодильник!

Близко, совсем близко. Том трещал без умолку, а Дуглас не сводил с него глаз. Может, отскочить, удрать — ведь из-за леса накатывается какая-то грозная волна. Вот сейчас обрушится и раздавит...

— Да, сэр, — задумчиво продолжал Том, обрывая куст дикого винограда. — На весь штат Иллинойс у меня у одного летом есть снежинка. Такой клад больше нигде не сыщешь, хоть тресни. Завтра я ее открою, Дуг, ты тоже можешь посмотреть...

В другое время Дуглас бы только презрительно фыркнул — ну да, мол, снежинка, как бы не так. Но сейчас на него мчалось то, огромное, вот-вот обрушится с ясного неба — и он лишь зажмурился и кивнул.

Том до того изумился, что даже перестал собирать ягоды, повернулся и уставился на брата.

Дуглас застыл, сидя на корточках. Ну как тут удержаться? Том испустил воинственный клич, кинулся на него, опрокинул на землю. Они покатались по траве, барахтаясь и тузя друг друга.

Нет, нет! Ни о чем другом не думать! И вдруг... Кажется, все хорошо! Да! Эта стычка, потасовка не спугнула набегавшую волну; вот она захлестнула их, разлилась широко вокруг и несет обоих по густой зелени травы в глубь леса. Кулак Тома угодил Дугласу по губам. Во рту стало

горячо и солоно. Дуглас обхватил брата, крепко стиснул его, и они замерли, только сердца колотились, да дышали оба со свистом. Наконец Дуглас украдкой приоткрыл один глаз: вдруг опять ничего?

Вот оно, все тут, все как есть!

Точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении, на него в упор смотрел весь мир.

И он понял: вот что нежданно пришло к нему, и теперь останется с ним, и уже никогда его не покинет.

Я ЖИВОЙ, — подумал он.

Пальцы его дрожали, розовея на свету стремительной кровью, точно клочки неведомого флага, прежде невиданного, обретенного впервые... Чей же это флаг? Кому теперь присягать на верность?

Одной рукой он все еще стискивал Тома, но совсем забыл о нем и осторожно потрогал светящиеся алым пальцы, словно хотел снять перчатку, потом поднял их повыше и оглядел со всех сторон. Выпустил Тома, откинулся на спину, все еще воздев руку к небесам, и теперь весь он был — одна голова; глаза, будто часовые сквозь бойницы неведомой крепости, оглядывали мост — вытянутую руку и пальцы, где на свету трепетал кроваво-красный флаг.

— Ты что, Дуг? — спросил Том.

Голос его доносился точно со дна зеленого замшелого колодца, откуда-то из-под воды, далекий и таинственный.

Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пушистые ножны. И где-то далеко, в теннисных туфлях, шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Лесистые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птицы, точно камушки, брошенные ловкой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы, он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи пчел и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. Десять тысяч волосков на голове Дугласа выросли на одну миллионную дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди. Тело жадно дышало миллионами пор.

Я и правда живой, думал Дуглас. Прежде я этого не знал, а может, и знал, да не помню.

Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый! Надо же! Прожил на свете целых двенадцать лет и ничегошеньки не понимал! И вдруг такая находка: дрался с Томом, и вот тебе — тут, под деревом, сверкающие

золотые часы, редкостный хронометр с заводом на семьдесят лет!

— Дуг, да что с тобой?

Дуглас издал дикий вопль, сгреб Тома в охапку, и они вновь покатались по земле.

— Дуг, ты спятил?

— Спятил!

Они катились по склону холма, солнце горело у них в глазах и во рту, точно осколки лимонно-желтого стекла; они задыхались, как рыбы, выброшенные из воды, и хохотали до слез.

— Дуг, ты не рехнулся?

— Нет, нет, нет, нет!

Дуглас зажмурился: в темноте мягко ступали пятнистые леопарды.

— Том! — И тише: — Том... Как по-твоему, все люди знают... знают, что они... живые?

— Ясно, знают! А ты как думал? Леопарды неслышно прошли дальше во тьму, и глаза уже не могли за ними уследить.

— Хорошо бы так, — прошептал Дуглас. — Хорошо бы все знали.

Он открыл глаза. Отец, подбоченясь, стоял высоко над ним и смеялся; голова его упиралась в зеленолистый небосвод. Глаза их встретились.

Дуглас восторженно вскрикнул. Папа знает, понял он. Все так и было задумано. Он нарочно привез нас сюда, чтобы это со мной случилось! Он тоже в заговоре, он все знает! И теперь он знает, что и я уже знаю.

Большая рука опустилась с высоты и подняла его в воздух. Покачиваясь на нетвердых ногах между отцом и Томом, исцарапанный, восторженный, все еще ошарашенный, Дуглас осторожно потрогал свои локти — они были как чужие — и с удовлетворением облизнул разбитую губу. Потом взглянул на отца и на Тома.

— Я понесу все ведра, — сказал он. — Сегодня я хочу один все тащить.

Они загадочно усмехнулись и отдали ему ведра. Дуглас стоял, чуть покачиваясь, и его ноша — весь истекающий соком лес — оттягивала ему руки. Хочу почувствовать все, что только можно, думал он. Хочу устать, хочу очень устать. Нельзя забыть ни сегодня, ни завтра, ни после.

Он шел, опьяненный, со своей тяжелой ношей, а за ним плыли пчелы, и запах дикого винограда, и ослепительное лето; на пальцах вспухали блаженные мозоли, руки онемели, и он спотыкался, так что отец даже схватил его за плечо.

— Не надо, — пробормотал Дуглас. — Я ничего, я отлично справлюсь...

Еще добрых полчаса он ощущал руками, ногами, спиной траву и корни, камни и кору, что словно отпечатались на его теле. Понемногу отпечаток этот стирался, таял, ускользал, Дуглас шел и думал об этом, а брат и молчаливый отец шли позади, предоставляя ему одному пролагать путь сквозь лес к неправдоподобной цели — к шоссе, которое приведет их обратно в город...

И вот — город в тот же день.

И еще одно откровение.

Дедушка стоял на широком парадном крыльце и, точно капитан, оглядывал широкие недвижимые просторы: перед ним раскинулось лето. Он вопрошал ветер и недостижимо высокое небо, и лужайку, где стояли Дуглас и Том и вопрошали только его одного.

— Дедушка, они уже созрели? Дедушка поскреб подбородок.

— Пятьсот, тысяча, даже две тысячи — наверняка. Да, да, хороший урожай. Сбирать легко, соберите все. Плачу десять центов за каждый мешок, который вы принесете к прессу.

— Ура!

Мальчики заулыбались и с жаром взялись за дело. Они рвали золотистые цветы, цветы, что наводняют весь мир, переплескиваются с лужаек на мощные улицы, тихонько стучатся в прозрачные окна погребов, не знают угомону и удержу и все вокруг заливают слепящим сверканием расплавленного солнца.

— Каждое лето они точно с цепи срываются, — сказал дедушка. — Пусть их, я не против. Вон их сколько, стоят гордые, как львы. Посмотришь на них подольше — так и прожгут у тебя в глазах дырку. Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава, никто ее не замечает, а мы уважаем, считаем: одуванчик — благородное растение.

Они набрали полные мешки одуванчиков и унесли вниз, в погреб. Вывалили их из мешков, и во тьме погреба разлилось сияние. Винный пресс дождался их, открытый, холодный. Золотистый поток согрел его. Дедушка передвинул пресс, повернул ручку, завертел — быстрее, быстрее, — и пресс мягко стиснул добычу...

— Ну вот... вот так...

Сперва тонкой струйкой, потом все щедрее, обильнее побежал по желобу в глиняные кувшины сок прекрасного жаркого месяца; ему дали перебродить, сняли пену и разлили в чистые бутылки из-под кетчупа — и они выстроились рядами на полках, поблескивая в сумраке погреба.

Вино из одуванчиков.

Самые эти слова — точно лето на языке. Вино из одуванчиков — пойманное и закупоренное в бутылки лето. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно: надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня — дня сбора одуванчиков — тоже закупорить и сохранить; а потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег, и солнца уже давным-давно никто не видел, и, может быть, это чудо позабылось, и хорошо бы его снова вспомнить, — вот тогда он его откупорит! Ведь это лето непременно будет летом неожиданных чудес, и надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы после, в любой час, когда вздумаешь, пробраться на цыпочках во влажный сумрак и протянуть руку...

И там, ряд за рядом, будут стоять бутылки с вином из одуванчиков — оно будет мягко мерцать, точно раскрывающиеся на заре цветы, а сквозь тонкий слой пыли будет поблескивать солнце нынешнего июня. Взгляни сквозь это вино на холодный зимний день — и снег растает, из-под него покажется трава, на деревьях оживут птицы, листва и цветы, словно мириады бабочек, затрепещут на ветру. И даже холодное серое небо станет голубым.

Возьми лето в руку, налей лето в бокал — в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток; поднеси его к губам — и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето...

— Теперь — дождевой воды!

Конечно, здесь годится только чистейшая вода дальних озер, сладостные росы бархатных лугов, что возносятся на заре к распахнувшимся навстречу небесам; там, в прохладных высях, они собирались чисто омытыми гроздьями, ветер мчал их за сотни миль, заряжая по пути электрическими зарядами. Эта вода вобрала в каждую свою каплю еще больше небес, когда падала дождем на землю. Она впитала в себя восточный ветер, и западный, и северный, и южный и обратилась в дождь, а дождь в этот час священнодействия уже становится терпким вином.

Дуглас схватил ковш, выбежал во двор и глубоко погрузил его в бочонок с дождевой водой.

— Вот она!

Вода была точно шелк, прозрачный, голубоватый шелк. Если ее выпить, она коснется губ, горла, сердца мягко, как ласка. Но ковш и полное ведро надо отнести в погреб, чтобы вода пропитала там весь урожай

одуванчиков струями речек и горных ручьев.

Даже бабушка в какой-нибудь февральский день, когда беснуется за окном вьюга и слепит весь мир и у людей захватывает дыхание, — даже бабушка тихонько спустится в погреб.

Наверху в большом доме будет кашель, чиханье, хриплые голоса и стоны, простуженным детям очень больно будет глотать, а носы у них покраснеют, точно вишни, вынутые из наливки, — всюду в доме притаится коварный микроб.

И тогда из погреба возникнет, точно богиня лета, бабушка, пряча что-то под вязаной шалью; она принесет это «что-то» в комнату каждого болящего и разольет — душистое, прозрачное — в прозрачные стаканы, и стаканы эти осушат одним глотком. Лекарство иных времен, бальзам из солнечных лучей и праздного августовского полудня, едва слышный стук колес тележки с мороженым, что катится по мощеным улицам, шорох серебристого фейерверка, что рассыпается высоко в небе, и шелест срезанной травы, фонтаном бьющей из-под косилки, что движется по лугам, по муравьиному царству, — все это, все — в одном стакане!

Да, даже бабушка, когда спустится в зимний погреб за июнем, наверно, будет стоять там тихонько, совсем одна, в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой, как и дедушка, и папа, и дядя Берт, и другие тоже, словно беседуя с тенью давно ушедших дней, с пикниками, с теплым дождем, с запахом пшеничных полей, и жареных кукурузных зерен, и свежескошенного сена. Даже бабушка будет повторять снова и снова те же чудесные, золотящиеся слова, что звучат сейчас, когда цветы кладут под пресс, — как будут их повторять каждую зиму, все белые зимы во все времена. Снова и снова они будут слетать с губ, как улыбка, как неожиданный солнечный зайчик во тьме.

Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков.

Они приходили неслышно. Уходили почти бесшумно. Трава пригибалась и распрямлялась вновь. Они скользили вниз по холмам, точно тени облаков... Это бежали летние мальчишки.

Дуглас отстал и заблудился. Задыхаясь от быстрого бега, он остановился на краю оврага, на самой кромке над пропастью, и оттуда на него дохнуло холодом. Навострив уши, точно олень, он вдруг учуял старую как мир опасность. Город распался здесь на две половины. Здесь кончилась цивилизация. Здесь живет лишь вспухшая земля, ежечасно совершается миллион смертей и рождений.

И здесь проторенные или еще не проторенные тропы твердят: чтобы

стать мужчинами, мальчишки должны странствовать, всегда, всю жизнь странствовать.

Дуглас обернулся. Эта тропа огромной пыльной змеей скользит к ледяному дому, где в золотые летние дни прячется зима. А та бежит к раскаленным песчаным берегам июльского озера. А вон та — к деревьям, где мальчишки прячутся меж листьев, точно терпкие, еще незрелые плоды дикой яблони, и там растут и зреют. А вот эта — к персиковому саду, к винограднику, к огородным грядкам, где дремлют на солнце арбузы, полосатые, словно кошки тигровой масти. Эта тропа, заросшая, капризная, извилистая, тянется к школе. А та, прямая как стрела, — к субботним утренникам, где показывают ковбойские фильмы. Вот эта, вдоль ручья, — к дикой лесной чаще...

Дуглас зажмурился.

Кто скажет, где кончается город и начинается лесная глушь? Кто скажет, город вырастает в нее или она переходит в город? Издавна и навеки существует некая неуловимая грань, где борются две силы и одна на время побеждает и завладевает просекой, лощиной, лужайкой, деревом, кустом. Бескрайнее море трав и цветов плещется далеко в полях, вокруг одиноких ферм, а летом зеленый прибой яростно подступает к самому городу. Ночь за ночью чащи, луга, дальние просторы стекают по оврагу все ближе, захлестывают город запахом воды и трав, и город словно пустеет, мертвеет и вновь уходит в землю. И каждое утро овраг еще глубже вгрызается в город и грозит поглотить гаражи, точно дырявые лодчонки, и пожрать допотопные автомобили, оставленные на милость дождя и разъедаемые ржавчиной.

— Эй! Ау!

Сквозь тайны оврага, и города, и времени мчались Джон Хаф и Чарли Вудмен.

— Эй!

Дуглас медленно двинулся по тропинке. Конечно, если хочешь посмотреть на две самые главные вещи — как живет человек и как живет природа, — надо прийти сюда, к оврагу. Ведь город, в конце концов, всего лишь большой, потрепанный бурями корабль, на нем полно народу, и все хлопочут без устали — вычерпывают воду, обкалывают ржавчину. Порой какая-нибудь шлюпка, хибарка — детище корабля, смытое неслышной бурей времени, — тонет в молчаливых волнах термитов и муравьев, в распахнутой овражьей пасти, чтобы ощутить, как мелькают кузнечики и шуршат в жарких травах, точно сухая бумага; чтобы оглохнуть под пеленой тончайшей пыли и наконец рухнуть градом камней и потоком смолы, как

рушатся тлеющие угли костра, зажженного громом и синей молнией, на миг озарившей торжество лесных дебрей.

Так вот, значит, что тянуло сюда Дугласа — тайная война человека с природой: из года в год человек похищает что-то у природы, а природа вновь берет свое, и никогда город по-настоящему, до конца, не побеждает, вечно ему грозит безмолвная опасность; он вооружился косилкой и тяпкой, огромными ножницами, он подрезает кусты и опрыскивает ядом вредных букашек и гусениц, он упрямо плывет вперед, пока ему велит цивилизация, но каждый дом того и гляди захлестнут зеленые волны и схоронят навеки, а когда-нибудь с лица земли исчезнет последний человек и его косилки и садовые лопаты, изъеденные ржавчиной, рассыплются в прах.

Город. Чаща. Дома. Овраг. Дуглас озадаченно мигает. Но какая же связь меж человеком и природой, как понять, что значат они друг для друга, когда...

Он опустил глаза.

Первый летний обряд позади — одуванчики собраны и заготовлены впрок. Пора приступать ко второму, но Дуглас застыл и не движется с места.

— Дуг! Пошли, Дуг! Голоса затихли вдалеке.

— Я живой, — сказал Дуглас. — Но что толку? Они еще больше живые, чем я. Как же это? Как же?

Так он стоял, в одиночестве, глядя на свои ноги, не в силах двинуться с места, — и наконец понял.

В тот вечер Дуглас возвращался домой из кино вместе с родителями и братом Томом и увидел их в ярко освещенной витрине магазина — теннисные туфли. Дуглас поспешно отвел глаза, но его ноги уже ощутили прикосновение парусины и заскользили по воздуху — быстрее, быстрее! Земля завертелась, захлопали полотняные навесы над витринами — такой он поднял ветер, так он мчался... Родители и Том шагали не торопясь, а между ними, пятясь задом, шел Дуглас и не сводил глаз с теннисных туфель там, позади, в полуночной витрине.

— Хорошая была картина, — сказала мама.

— Ага, — буркнул Дуглас.

Стоял июнь, давно миновало то время, когда на лето покупают такие туфли, легкие и тихие, точно теплый дождь, что шуршит по тротуарам. Уже июнь, и земля полна первозданной силы, и все вокруг движется и растет. Трава и по сей день переливается сюда из лугов, омывает тротуары, подступает к домам. Кажется, город вот-вот черпнет бортом и покорно

пойдет на дно, и в зеленом море трав не останется ни всплеска, ни ряби. Дуглас вдруг застыл, точно врос в мертвый асфальт и красный кирпич улицы, не в силах тронуться с места.

— Пап, — выпалил он. — Вон там, в окне, теннисные туфли...

Отец даже не обернулся.

— А зачем тебе новые туфли, скажи, пожалуйста? Можешь ты мне объяснить?

— Ну-у...

Да затем, что в них чувствуешь себя так, будто впервые в это лето скинул башмаки и побежал босиком по траве. Точно в зимнюю ночь высунул ноги из-под теплого одеяла и подставил ветру, что дышит холодом в открытое окно, и они стынут, стынут, а потом втягиваешь их обратно под одеяло, и они совсем как сосульки... В теннисных туфлях чувствуешь себя так, будто впервые в это лето бредешь босиком по ленивому ручью и в прозрачной воде видишь, как твои ноги ступают по дну — будто они переломились и движутся чуть впереди тебя, потому что ведь в воде все видится не так...

— Пап, — сказал Дуглас, — это очень трудно объяснить.

Люди, которые мастерили теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что им нужно. Они кладут в подметки чудо-траву, что делает дыханье легким, а под пятку — тугие пружины, а верх ткут из трав, отбеленных и обожженных солнцем в просторах степей. А где-то глубоко в мягком чреве туфель запрятаны тонкие, твердые мышцы оленя. Люди, которые мастерят эти туфли, верно, видели множество ветров, проносящихся в листве деревьев, и сотни рек, что устремляются в озера. И все это было в туфлях, и все это было — лето.

Дуглас попытался объяснить все отцу.

— Допустим, — сказал отец. — Но чем плохи твои прошлогодние туфли? Поройся в чулане, ты, конечно, найдешь их там.

Дугласу стало вдруг жалко мальчишек, которые живут в Калифорнии и ходят в теннисных туфлях круглый год; они ведь даже не знают, какое это чудо — сбросить с ног зиму, скинуть тяжеленные кожаные башмаки, полные снега и дождя, и с утра до ночи бегать, бегать босиком, а потом зашнуровать на себе первые в это лето новенькие теннисные туфли, в которых бегать еще лучше, чем босиком. Но туфли непременно должны быть новые — в этом все дело. К первому сентября волшебство, наверно, исчезнет, но сейчас, в конце июня, оно еще действует вовсю, и такие туфли все еще в силах помчать тебя над деревьями, над реками и домами. И если захочешь — они перенесут тебя через заборы, тротуары и упавшие деревья.

— Как же ты не понимаешь? — сказал Дуглас отцу. — Прошлогодние никак не годятся.

Ведь прошлогодние туфли уже мертвые внутри. Они хороши только одно лето, только когда их надеваешь впервые. Но к концу лета всегда оказывается, что на самом деле в них уже нельзя перескочить через реки, деревья или дома, — они уже мертвые. А ведь сейчас опять настало новое лето, и, конечно, в новых туфлях он опять сможет делать все, что только пожелает.

Они поднялись на крыльцо и вошли в дом.

— Копи деньги, — посоветовал отец. — Месяца через полтора...

— Да ведь тогда лето кончится!

Погасили огонь. Том уснул, а Дуглас все смотрел на свои ноги — они белели под лунным светом, далеко, в конце кровати, свободные от тяжелых башмаков: только теперь с них свалились эти гири — остатки зимы.

— Надо придумать, почему нужны новые. Надо что-то придумать.

Ну, во-первых, всякий знает, что на холмах, за городом полным-полно друзей — они распугивают коров, предсказывают перемену погоды, с утра до ночи жарятся на солнце, так что кожа лупится и они обдирают ее ключьями, словно листки календаря, и снова жарятся на солнце. Если хочешь их поймать, придется бегать быстрее всех белок и лисиц. А в городе полным-полно врагов, они злятся из-за жары и потому помнят все зимние споры и обиды. Ищи друзей, расшвыривай врагов! Вот девиз легких как пух волшебных туфель. Мир бежит слишком быстро? Хочешь его догнать? Хочешь всегда быть проворней всех? Тогда заведи себе волшебные туфли! Туфли, легкие как пух!

Дуглас встряхнул свою копилку — в ней чуть звякнуло. Она была почти пустая.

Если тебе что-нибудь нужно, добивайся сам, подумал он. Ночью постараемся найти ту заветную тропку...

Огни внизу, в городе, гасли один за другим. В окно дунул ветер. Точно река течет — так бы пошел с нею...

Во сне он слышал, как в теплой густой траве бежит, бежит, бежит кролик.

Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке, точно по какому-то питомнику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород; и на ходу он ласково гладил своих любимцев. Мистер Сэндерсон погладил каждую пару башмаков и туфель,

выставленных в витрине, и одни казались ему собаками, другие кошками; он касался их заботливой рукой — где поправит шнурки, где вытянет язычок. Потом остановился на самой середине ковра, покрывавшего пол лавки, огляделся вокруг и с удовлетворением кивнул.

Вдалеке, нарастая, загремел гром.

Миг — и в дверях появился Дуглас Сполдинг. Он смущенно глядел вниз, на свои кожаные башмаки, точно они были такие тяжелые, что их никак не оторвешь от асфальта. Он остановился в дверях — и гром тотчас умолк. И вот, мучительно медленно, держа на ладони все свои сбережения и не решаясь поднять глаза, Дуглас шагнул из яркого полуденного света в лавку. Он осторожно разложил столбиками на прилавке медяки, монетки по десять и двадцать пять центов, словно шахматист, что ждет с тревогой — вознесет ли его следующий ход к вершинам торжества или погрузит в бездну отчаянья.

— Все ясно без слов, — сказал мистер Сэндерсон. Дуглас замер.

— Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить, — продолжал мистер Сэндерсон. — Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, тебе нужны, называя их полным именем, «легкие, как пух, мягкие, как масло, прохладные, как мята» теннисные туфли. В-четвертых, у тебя не хватает денег, и тебе нужен кредит.

— Нет! — крикнул Дуглас, тяжело дыша, точно он бежал во сне всю ночь без отдыха. — Не надо мне кредита, я придумал кое-что получше, — выдохнул он наконец. — Сейчас я объясню, только сперва, пожалуйста, скажите мне одну вещь, сэр, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли?

Старик помрачнел.

— Ну, лет десять назад или двадцать, может быть, даже тридцать... Почему это тебя интересует?

— Знаете что, мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть примерить ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете? Вот и примерьте хоть на минутку, сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как это бывает. Ведь хозяин табачной лавочки курит, правда? И кондитер всегда, конечно, пробует свой товар. Вот я и думаю...

— Ты, верно, заметил, я тоже не босиком хожу, — сказал старик.

— Но не в теннисных туфлях, сэр! Как же вы их продаете, если не можете даже как следует их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком и не знаете?

Дуглас говорил с таким жаром, что Сэндерсон даже попятился и в раздумье поскреб подбородок.

— Н-да-а, пожалуй...

— Мистер Сэндерсон, — сказал Дуглас, — вы мне продайте одну вещь, а я тоже продам вам кое-что очень полезное.

— Но неужели для этой сделки необходимо, чтобы я надел пару теннисных туфель, дружок?

— Это было бы очень хорошо, сэр!

Старик вздохнул. Через минуту он уже сидел на стуле и, тяжело дыша, зашнуровывал на своих узких длинных ногах теннисные туфли. Туфли казались чужими и неуместными рядом с темными обшлагами его пиджака. Наконец он встал.

— Ну, как вы себя в них чувствуете? — спросил мальчик.

— Как я себя чувствую? Отлично. — И он хотел снова сесть на стул.

— Нет, нет! — Дуглас умоляюще протянул руку. — Теперь, пожалуйста, покачайтесь немного с пяток на носки, попрыгайте, поскачите, что ли, а я вам все доскажу. Значит, так: я отдаю вам деньги, вы отдаете мне туфли. Я должен вам еще доллар. Но, как только я надену эти туфли, мистер Сэндерсон, как только я их надену, знаете, что случится?

— Что же?

— Хлоп! Я разношу вашим покупателям на дом покупки, таскаю для вас всякие свертки, приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку! Я буду летать взад и вперед, взад и вперед, десять раз в минуту! Вот вы теперь сами чувствуете, какие эти туфли, сэр, сами чувствуете, как быстро они будут меня носить! Ведь они на пружинах — чувствуете? Они сами бегут! Охватят ногу и уже не дают никакого покоя, им совсем не нравится стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас все, что вам не захочется делать самому, да знаете, как быстро! Вы сидите спокойно у себя в лавке, в холодке, а я буду носиться за вас по всему городу. Но ведь если по правде, это буду не я, это все туфли! Возьмут и помчатся по улицам как бешеные, раз-два — за угол, раз-два — обратно! Вот как!

Сэндерсона оглушило это красноречие. Поток слов захватил его и понес; он поглубже засунул ноги в туфли, пошевелил пальцами, повертел ступней, вытянул ногу в подъем. В открытую дверь задувал ветерок, и мистер Сэндерсон тихонько покачивался, подставляя ноги под его свежее дуновение. Туфли неслышно тонули в мягком ковре, точно в бархатной траве джунглей, во вспаханном черноземе или в размокшей глине. Старик с серьезным видом привстал на носки, оттолкнулся пятками, словно от пышного теста, от податливой мягкой земли. Все его ощущения

отражались у него на лице, как будто быстро переключали разноцветные огни. Рот приоткрылся. Он еще немного покачался на носках — все медленнее, медленнее — и наконец застыл; голос мальчика тоже умолк, и в глубокой, многозначительной тишине они стояли и смотрели в глаза друг другу.

По тротуару под жарким солнцем шли мимо лавки редкие прохожие.

А старик и мальчик все стояли друг против друга, и лицо мальчика сияло, а старик, казалось, обдумывал некое неожиданное открытие.

— Послушай, — сказал он наконец. — Не хочешь ли лет эдак через пять продавать у меня тут ботинки?

— Спасибо, мистер Сэндерсон, только я и сам еще не знаю, что стану делать, когда вырасту.

— Что захочешь, сынок, то и станешь делать, — сказал старик. — Ты своего добьешься. И никто тебя не удержит,

Он легким шагом подошел к стене, где стояло, уж наверно, десять тысяч коробок с обувью, и вернулся к прилавку с туфлями для Дугласа. Потом он писал что-то на листке бумаги, а Дуглас в это время надел туфли, завязал шнурки и теперь стоял и ждал.

Старик кончил писать и протянул ему листок.

— Вот тебе десяток поручений на сегодня. Когда все сделаешь, мы с тобой квиты и ты получаешь расчет.

— Спасибо, мистер Сэндерсон! — Дуглас кинулся прочь из лавки.

— Постой! — закричал старик.

Дуглас остановился и обернулся к нему.

— Ну, как туфли? — с интересом спросил старик. Дуглас поглядел на свои ноги — они были уже далеко, на берегу реки, среди пшеничных полей, на ветру, что гнал его из города. Потом вскинул голову и посмотрел на старика; глаза его горели, губы шевелились, но с них не слетело ни звука.

— Антилопы? — Старик перевел взгляд с лица мальчика на туфли. — Газели?

Дуглас подумал, помолчал в нерешительности и торопливо кивнул. И — исчез. Шепнул что-то, круто повернулся и исчез. Дверь — настежь, на пороге — никого. Быстрый шорох теннисных туфель растаял в тропическом зное.

Мистер Сэндерсон стоял в дверях, ослепленный солнцем, и прислушивался. С давних-давних пор, когда его еще одолевали мальчишеские мечты, он помнил этот звук. Под небом мелькали чудесные создания, скользили под деревьями и в кустах, убегали все дальше, и

оставалось лишь еле слышное эхо...

— Антилопы, — повторил Сэндерсон. — Газели... Он нагнулся и поднял с пола брошенные зимние башмаки Дугласа, отяжелевшие от уже забытых дождей и давно растаявших снегов. Потом отошел в тень, подальше от слепящих лучей солнца, и неторопливо, мягко и легко ступая, направился назад, к цивилизации...

Он вынул пятицентовый блокнот в желтом переплете. Вынул желтый карандаш фирмы Тайкондерога. Открыл блокнот. Лизнул карандаш.

— Знаешь, Том, мне понравилось, как ты все считаешь, — сказал он. — Теперь и я буду так делать, все записывать. Вот ты, верно, про это и не думал, а мы ведь каждое лето опять и опять, снова-здорово делаем то же самое, что делали прошлым летом.

— Например, Дуг?

— Ну, например, делаем вино из одуванчиков, покупаем теннисные туфли, пускаем первый фейерверк, делаем лимонад, вытаскиваем из ног занозы, собираем дикий виноград. Каждый год одно и то же, в точности как раньше, и никаких перемен, никакой разницы. Но это только одна половина лета, Том.

— А другая?

— Другая — то, что мы делаем первый раз в жизни.

— Например, едим оливки?

— Нет уж, кое-что поважнее. Ну, как если мы вдруг увидим, что папа и дедушка не все на свете знают.

— Пожалуйста, не выдумывай! Они знают все, что только можно знать!

— Не спорь, Том. Я уже записал это в «Открытия и откровения». Они знают не все. Но тут нет ничего страшного. Я и это открыл.

— Какую еще ерунду ты там записал?

— Что я живой.

— Вот еще, Америку открыл! Давно известно.

— Нет, я про это думаю, я это замечаю — вот что ново. Сперва живешь, живешь, ходишь, делаешь что-нибудь, а сам даже не замечаешь. И потом вдруг увидишь: ага, я живу, хожу или там дышу — вот это и есть настоящему в первый раз. Теперь я разделю лето на две половины. Первая в моем блокноте называется «Обряды и обыкновенности». Первый раз в этом году пил шипучку. Первый раз в этом году бегал босиком по траве. Первый раз в этом году чуть не утонул в озере. Первый арбуз. Первый москит. Первый сбор одуванчиков. Все это бывает из года в год, и мы про

это никогда не думаем. А вторая половина блокнота — «Открытия и откровения». Или даже лучше назвать «Озарения» — вот отличное слово, правда? Или, может, «Ощущения»? В общем, когда делаешь что-нибудь старое, давно известное, ну хоть разливаешь в бутылки вино из одуванчиков, это, конечно, надо записать в «Обряды и обыкновения». А потом про это подумаешь — и уж тут все мысли, какие придут в голову, все равно, умные или глупые, надо записать в «Открытия и откровения». Вот, слушай, что я записал про это вино:

«Каждый раз, когда мы разольем его по бутылкам, у нас остается в целости и сохранности кусок лета двадцать восьмого года». Ну, что скажешь?

— Я уже давным-давно не понимаю, что ты такое говоришь, — сказал Том.

— Ну гляди, вот я еще записал. В «Обрядах и обыкновениях» у меня стоит так: «Первый раз спорил с папой и получил первую трепку летом 1928 года, утром 24 июня». А в «Открытиях и откровениях» у меня про это так:

"Взрослые и дети — два разных народа, вот почему они всегда воюют между собой. Смотрите, они совсем не такие, как мы. Смотрите, мы совсем не такие, как они. Разные народы — «и друг друга они не поймут»^[8]. Вот, мотай себе на ус, Том.

— Верно, Дуг, в самую точку! Ясно, именно так! Поэтому-то мы никак не можем поладить с папой и мамой. Вечно одни неприятности с утра до ночи! Дуг, ты просто гений!

— Значит, так: увидишь за эти три месяца что-нибудь, что мы делаем опять и опять, — тут же скажи мне. Потом подумай про это — и тоже скажи мне. А в День труда^[9] мы все это прочитаем и посмотрим, что у нас получится за лето.

— А я тебе прямо сейчас скажу кое-что. Бери карандаш, Дуг. На свете пять миллиардов деревьев. Я это вычитал в книжке. И под каждым деревом есть тень, верно? Значит, откуда берется ночь? А вот откуда: пять миллиардов деревьев — и из-под каждого дерева выползает тень. Представляешь? Вот бы найти способ удержать их все под деревьями и не выпускать — тогда и спать ложиться незачем, ведь ночи-то и не было бы вовсе! Вот тебе и выходит: немножко старого и немножко нового.

— Все правильно, тут есть и старое и новое. — Дуглас лизнул желтый карандаш Тайкондерога (ему ужасно нравилось это название). — Ну-ка, скажи все это еще разок...

— На свете пять миллиардов деревьев, и под каждым деревом лежит тень...

Да, лето состоит из привычных обрядов, для каждого есть свое привычное время и свое привычное место. Обряд приготовления лимонада или замороженного чая, обряд вина, туфель или босых ног и, наконец, очень скоро, еще один, полный спокойного достоинства обряд: на веранде вешают качели.

На третий день лета, под вечер, дедушка выходит на веранду и принимается невозмутимо разглядывать два пустых кольца, свисающих с потолка. Неторопливо подходит к перилам, уставленным горшками с геранью, точно Ахав, который испытующим взглядом встречает ясный тихий день и ясное небо; потом облизывает палец и подставляет его ветру, снимает пиджак — надо же убедиться, не холодно ли на закате в одной рубашке. Потом издали здоровается с соседями — те тоже выходят на уставленные цветами веранды, чтобы насладиться теплым летним вечером; они даже не слышат, как чирикают за стеной или тьякают, точно болонки, их жены.

— Что ж, Дуглас, давай вешать. Они отыскивают в гараже качели, стирают с них пыль, выносят на веранду, и дедушка подвешивает их к кольцам в потолке, точно водружает парадное седло на слона для торжественного и тихого праздника летних вечеров.

Дуглас легче деда, он первым садится на качели. А потом и солидный дедушка осторожно пристраивается рядом. И они, улыбаясь и кивая друг другу, молча раскачиваются взад и вперед, взад и вперед...

Минут через десять на веранду выходит бабушка с полными ведрами и швабрами, подметает и моет веранду. Из дома выносят легкие стулья, качалки и шезлонги.

— Люблю выбираться на веранду пораньше, — говорит дедушка. — Пока еще не так много moskitov.

Часов в семь раздается легкий скрип — от столов отодвигают стулья, а если постоять под окном столовой, услышишь, как там бренчат на разбитом фортепьяно с пожелтевшими от старости клавишами. Чиркают спички, булькает вода — во всех кухнях моют посуду, со звоном ставят тарелки сушить на полку. А потом понемногу на сумеречных улицах под огромными дубами и вязами оживает дом за домом, на тенистые веранды выходят люди, точно фигурки на часах с барометром, предсказывающие погоду.

Вот появляется дядя Берт, а то и дедушка, потом отец и еще кто-нибудь

из родных; женщины еще переговариваются в остывающей кухне, мужчины первыми выходят в сладостную тишь вечера, попыхивая сигаретами, и наводят порядок в своем собственном мире. На веранде зазвучат мужские голоса; мужчины расположатся поудобнее, задрав ноги повыше, а мальчишки, точно воробьи, усядутся рядком на стертых ступеньках или на деревянных перилах, и оттуда за вечер уж непременно что-нибудь свалится — либо мальчишка, либо горшок с геранью.

И наконец за дверью на веранде вдруг возникнут, точно привидения, бабушка, прабабушка и мама, и тогда мужчины зашевелиятся, встанут и придвинут им стулья и качалки. Женщины принесут с собой всевозможные веера, сложенные газеты, бамбуковые метелочки или надушенные носовые платки и за разговором будут ими обмахиваться.

Они болтают без умолку целый вечер, а о чем — назавтра никто уже и не вспомнит. Да никому и не важно, о чем говорят взрослые; важно только, что звук их голосов то нарастает, то замирает над тонкими папоротниками, окаймляющими веранду с трех сторон; важно, что город понемногу наполняется тьмой, как будто черная вода льется на дома с неба, и в этой тьме алыми точками мерцают огоньки, и журчат, журчат голоса. Женщины сплетничают и отмахиваются от первых moskitov, и те начинают в воздухе свою неистовую пляску. Мужские голоса проникают в старое дерево домов; если закрыть глаза и прижаться головой к доскам пола, слышно, как рокочут голоса мужчин, точно отдаленное землетрясение, оно не прекращается ни на миг, только слышится то чуть тише, то погромче.

Дуглас растянулся на сухих досках веранды, счастливый и умиротворенный, — голоса эти никогда не умолкнут, они будут вечно обволакивать говорливым потоком его тело, его сомкнутые веки, вливаться в сонные уши. Качалки потрескивают, как сверчки, сверчки стрекочут, как качалки, а поросшая мхом бочка для дождевой воды под окном столовой рождает все новые поколения moskitov и дает тему для разговора еще на множество лет.

Как хорошо летним вечером сидеть на веранде; как легко и спокойно; вот если бы этот вечер никогда не кончался! Это — вечные, надежные обряды; всегда, до скончания века будут вспыхивать трубки курильчиков, в полутьме будут мелькать бледные руки и в них — вязальные спицы, будет шуршать серебряная обертка мороженого, кто-нибудь все время будет приходить и уходить. Потому что за вечер непременно кто-нибудь придет — из соседних домов или те, кто живет на другой стороне улицы; проедут на своем маленьком жужжащем автомобильчике мисс Ферн и мисс Роберта, иногда они захватят Тома или Дугласа прокатиться вокруг дома, а

возвращаясь, посидят на веранде, обмахивая веером пылающие щеки; или мистер Джонас, старьевщик, поставит свой фургон с лошадьёю где-нибудь под деревьями и впопыхах поднимется по ступенькам — сразу видно, ему не терпится рассказать что-то новенькое, еще не слышанное, и, как ни странно, это и правда бывает что-нибудь новое. И наконец, дети — они бегают где-то в темноте, напоследок играют в прятки или в мяч, а потом, когда уже вовсе ничего не разглядеть, запыхавшись, с разгоревшимися лицами, точно бумеранги, неслышно возвращаются к дому по бархатной лужайке и затихают под мерное журчанье на веранде, и голоса журчат, журчат, баюкают их и усыпляют...

Как чудесно лежать в ночи папоротников, трав, в ночи негромких сонных голосов, все они шелестят, и сплетаются, и из них соткана тьма. Взрослые давно о нем забыли — ведь он притаился, лежит тихий как мышонок, слушает, как они строят планы для него и для себя тоже. И голоса их замирают, плывут с освещенным луной табачным дымком, а мотыльки, точно оживший поздний яблоневый цвет, тихонько стучатся в далекие уличные фонари, и голоса уплывают и льются в грядущие годы...

В тот вечер мужчины собрались перед табачной лавкой и принялись сжигать дирижабли, топить боевые корабли, взрывать пороховые заводы — словом, смаковать хрупкими ртами те самые бактерии, которые в один прекрасный день их убьют. Смертоносные тучи вспухали в дыму их сигар и окутывали взволнованного человека, которого почти нельзя было разглядеть сквозь этот дым; он прислушивался к стуку заступов в их речах, словно различал в них пророческое «ибо прах ты и в прах возвратишься». Это был Лео Ауфман, городской ювелир; наконец он широко раскрыл блестящие черные глаза, вскинул худые, точно детские, руки и в ужасе закричал:

— Перестаньте! Ради бога, прекратите эти похоронные марши!

— Вы правы, Лео, — сказал ему дедушка Сполдинг; он как раз проходил мимо со своими внуками Дугласом и Томом, возвращаясь с обычной вечерней прогулки. — Они каркают как вороны и вещают недоброе, но кто же заткнет им рты? Изобретите что-нибудь, попробуйте сделать будущее ярче, веселее, отраднее. Ведь вы мастерили велосипеды, чинили автоматы в Галерее, были даже киномехаником, правда?

— Верно! — подхватил Дуглас. — Смастерите для нас Машину счастья! Все засмеялись.

— Не смейтесь, — сказал Лео Ауфман. — Для чего мы до сих пор пользовались машинами? Только чтоб заставить людей плакать. Всякий

раз, когда казалось, что человек и машина вот-вот наконец уживутся друг с другом, — бац! Кто-то где-то смошенничает, приделает какой-нибудь лишний винтик — и вот уже самолеты бросают на нас бомбы и автомобили срываются со скал в пропасть. Отчего же мальчику не попросить Машину счастья? Он совершенно прав!

Лео Ауфман умолк, подошел к краю тротуара и погладил свой велосипед, словно собаку или кошку.

— Что мне терять? — бормотал он. — Наживу еще несколько мозолей на руках, потрачу еще несколько фунтов железа да немного меньше посплю. Решено, я ее сделаю, клянусь, я ее сделаю!

— Лео, — сказал дедушка, — мы вовсе не хотели... Но Лео Ауфман был уже далеко; изо всех сил нажимая на педали велосипеда, он мчался в теплый летний вечер, и лишь издали донесся его голос:

— Я ее сделаю... сделаю...

— А знаешь, — почтительно сказал Том, — он и правда сделает, вот увидишь.

Посмотришь, как Лео Ауфман катит на своем велосипеде по вечерней каменистой улице, круто сбегаящей с холма, — и сразу понятно, что этому человеку все вокруг по душе: как шуршит в нагретой солнцем траве чертополох, когда ветер пышет жаром в лицо, словно из раскаленной печи, и как звенят под дождем электрические провода. Он был не из тех, для кого бессонная ночь — мученье, напротив, когда не спалось, он лежал и вволю предавался размышлениям: как работает гигантский часовой механизм вселенной? Кончается ли завод в этих исполинских часах или им предстоит отсчитывать еще долгие, долгие тысячелетия? Кто знает! Но бесконечными ночами, прислушиваясь к темноте, он то решал, что конец близок, то — что это только начало...

Главные потрясения и повороты жизни — в чем они? — думал он сейчас, крутя педали велосипеда. Рождаешься на свет, растешь, стареешь, умираешь. Рождение от тебя не зависит. Но зрелость, старость, смерть — может быть, с этим можно что-нибудь сделать?

В голове у него, сверкая легкими золотыми спицами, вертелись колеса его Машины счастья. Это должна быть машина, которая поможет мальчишкам персиковый пушок на щеках сменить на мужественную щетину, а девчонкам — превратиться из нескладных гусениц в ярких бабочек. И в зрелые годы, когда счет ударам сердца идет уже на миллиарды, когда лежишь ночью в постели и только тревожный дух твой скитается по земле, эта машина утолит тревогу, и человек сможет мирно

дремать вместе с палыми листьями, как засыпают осенью мальчишки, растянувшись на копне душистого сухого сена и безмятежно сливаясь с уходящим на покой миром...

— Папа!

По лужайке ему навстречу бежали дети, все шестеро:

Саул, Маршалл, Джозеф, Ребекка, Рут и Ноэми, — младшему было пять, старшему пятнадцать; каждому хотелось взять у отца велосипед, каждый спешил коснуться его руки.

— Мы тебя ждали! У нас сегодня мороженое! Лео двинулся к веранде, чувствуя невидимую в темноте улыбку жены.

Пять минут прошло в блаженном молчании — все рты были заняты; потом Лео поднял вверх ложку серебристого мороженого, точно в нем и заключалась тайна вселенной и касаться ее следовало очень осторожно, и спросил:

— Лина, что ты скажешь, если я попробую изобрести Машину счастья?

— Что-нибудь случилось? — тотчас спросила жена.

Дедушка вел Дугласа и Тома домой. На полпути мимо роем метеоров пронеслась орава мальчишек, и среди них Чарли Вудмен и Джон Хаф: сила их притяжения была так велика, что они оторвали Дугласа от Тома и дедушки и увлекли за собой к оврагу.

— Не заблудись, внучек!

— Нет, нет, дедушка, не заблужусь!

И мальчишки скрылись в темноте.

А дедушка с Томом прошли весь остальной путь до дома в молчании и, только когда они уже вошли в калитку, Том сказал:

— Надо же — Машина счастья! Вот здорово!

— Не пыхти, — сказал дедушка. Часы на здании суда пробили восемь.

Часы на здании суда пробили девять; становилось поздно, — в сущности, на этой скромной улочке маленького городка в большом штате огромного континента на планете Земля, мчащейся в пропасть вселенной, в никуда или куда-нибудь, была уже ночь, и Том ощущал каждую милю этого бесконечного и стремительного падения. Он сидел у двери веранды и сквозь мелкую сетку от москитов глядел на стремительную тьму, у которой был самый невинный вид, как будто она вовсе и не движется. Только если лечь и закрыть глаза, чувствуешь, как под твоей постелью вертится земной шар и темное море оглушает тебя, подступая и разбиваясь о незримые

рифы.

Пахло дождем. В доме мама гладила белье и сквозь пробку брызгала водой из бутылочки на похрустывающее сухое полотно.

А одна лавка за квартал отсюда была еще открыта — лавка миссис Сингер.

И наконец, когда миссис Сингер, верно, совсем уже собралась закрывать, мама сжалась и сказала Тому:

— Сбегай, возьми пинту мороженого да присмотри, чтобы она поплотней его набила.

— А можно ее попросить, пускай сверху польет мороженое шоколадом, а то он не любит ванили, — спросил Том. И мама позволила. Он зажал деньги в кулаке и как был босиком побежал по теплому вечернему асфальту тротуара, под яблонями и дубами. Город стоял тихий и далекий, слышно было лишь стрекотанье сверчков где-то за жаркими иссиня-фиолетовыми деревьями, что заслоняют звезды.

Шлепая босыми пятками по асфальту, он перебежал улицу. Миссис Сингер важно расхаживала по своей лавке, напевая еврейскую песенку.

— Пинту мороженого? — переспросила она. — И полить шоколадом? Хорошо!

Том смотрел, как она отвинчивает металлическую крышку мороженицы, как вертит большой круглой ложкой, плотно набивает пинтовую картонку и поливает: «Шоколадом? Хорошо!» Он отдал деньги, взял ледяной пакет, потерся об него лбом и щекой, засмеялся и — шлеп-шлеп босыми ногами — побежал домой. Позади в лавке миссис Сингер мигнул и погас одинокий огонек, теперь мерцал лишь фонарь на углу улицы — казалось, весь город погружается в сон.

Том распахнул затянутую сеткой от moskitов дверь веранды: мама все еще гладила. Видно, ей было очень жарко и она была чем-то недовольна, но все-таки улыбнулась ему.

— Когда папа вернется со своего собрания? — спросил Том.

— Часов в одиннадцать, а то и позже, — ответила мама, унесла мороженое в кухню и поделила его. Дала Тому побольше шоколада, немного взяла себе, а остальное убрала. — Это Дугласу и отцу, когда вернутся, — пояснила она.

Так они сидели, наслаждаясь мороженым, окутанные глубокой тишиной летнего вечера. Только вдвоем — мама и он, и вокруг них, вокруг их домика и улочки — ночь. Том старательно облизывал ложку, прежде чем набрать следующую; мама отодвинула гладильную доску, отставила утюг, и он понемногу остывал, а она сидела в кресле у патефона, ела мороженое и

говорила:

— Ну и денек выдался, вот жарница-то! Земля целый день впитывает в себя зной, а вечером опять его отдает. Душно будет спать!

Они прислушивались к ночи, ощущая, как она подступает ко всем окнам и дверям и как давит тишина, потому что в приемнике сели батареи, а все пластинки играны-переиграны уже тысячу раз и надоели до смерти; и Том просто сидел на деревянном полу и смотрел в черную-черную черноту, прижимаясь лицом к сетке двери так, что на кончике носа отпечатались маленькие темные квадратики.

— Где же это Дуг? Уже почти половина десятого.

— Придет, — сказал Том.

Уж конечно, Дуглас придет.

Мама пошла мыть посуду, и Том отправился за ней. Каждый звук, звон ложки или тарелки гулко раздавался в знойном вечернем воздухе. Потом они молча пошли в большую комнату, сняли с дивана подушки, вдвоем раскрыли его и разложили — ведь на самом деле это был вовсе не диван, а широченная кровать. Мама постелила им с Дугласом постель, ловко взбила подушки, Том начал было расстегивать рубашку, но она сказала:

— погоди минутку, Том.

— Почему?

— Надо.

— Ты какая-то чудная, мам.

Она опустилась на стул, но сразу же встала, подошла к двери и позвала. Она звала снова и снова: «Дуглас! Дуг! Ду-уг!» Ее голос уплывал в душную тьму и тонул в ней без всякого отклика. Даже эхо не отвечало.

— Дуглас! Дуглас! Дуглас! Ду-у-у-гла-а-ас!

Том сидел на полу, и его пронизывал холод, но виной тому было не мороженое, и не зима, и не летний зной. Он видел — мама то растерянно озирается, то закрывает глаза, стоит и не знает, что делать, и очень волнуется. Да, сразу видно — растеряна и волнуется.

Она открыла дверь веранды. Шагнула в темноту, спустилась по ступенькам, прошла по дорожке под кусты сирени. Том прислушивался к ее шагам.

Она опять позвала.

Молчание.

Она позвала еще два раза. Том все сидел в комнате. Вот сейчас с длинной-длинной узкой улицы донесется голос Дугласа: «Иду, мам! Не беспокойся, я иду!»

Но Дуглас не отвечал. Том долгие две минуты сидел, глядя на

раскрытую постель, на молчащее радио и молчащий патефон, на люстру, где как ни в чем не бывало поблескивали стеклянные висюльки, на ковер, расписанный пунцовыми и фиолетовыми завитушками. Потом нарочно стукнул ногой о кровать, чтобы поглядеть, будет ли больно. Оказалось — больно.

Дверь веранды со скрипом отворилась, и мама сказала

— Пойдем, Том. Пройдемся.

— Куда?

— Просто по улице. Идем.

Он взял ее за руку. Они пошли по Сент-Джеймс-стрит. Асфальт под ногами был все еще теплый, сверчки стрекотали громче прежнего в сгущавшейся тьме. Они дошли до угла, свернули и двинулись по направлению к Западному оврагу.

Где-то проплыл автомобиль, сверкнул вдали фарами. На улицах никаких признаков жизни — ни света, ни движения. Кое-где позади мерцали слабо освещенные квадраты окон — в той стороне, откуда они шли, не все еще легли спать. Но очень, очень многие дома уже стояли без огней и спали, а перед некоторыми, тоже темными, на крылечках сидели их обитатели и вполголоса вели вечернюю беседу. Кое-где на верандах поскрипывали качели.

— Хоть бы отец был дома, — сказала мама. Она сжимала в своей большой руке руку Тома. — Ну постой, дай мне только добраться до этого мальчишки! Душегуб опять вышел на охоту. Он убивает людей. Всем грозит опасность. Никто не знает, где и когда он вдруг появится. Вот клянусь, пусть только Дуг придет домой, я его так отколочу, век будет помнить.

Они прошли еще квартал и теперь стояли перед черным силуэтом немецкой баптистской церкви на углу Чепел-стрит и Глен Рок. В сотне шагов за церковью начинался овраг. Том уже чуял его: оттуда тянуло канализационной трубой, сгнившими листьями, душным и влажным запахом сплошных зеленых зарослей. Овраг был широкий, извилистый, он перерезал город, и мама всегда говорила, что это и днем-то непроходимые дебри, а уж ночью к нему лучше и близко не подходить.

Оттого что рядом церковь, страхи должны бы рассеяться, но Тому все равно было жутко: в этот час, темная, без единого огонька, она казалась холодной и бесполезной развалиной на краю оврага.

Тому было всего десять лет. Он ничего толком не знал о смерти, страхе, ужасе. Смерть — это восковая кукла в ящике, он видел ее в шесть лет: тогда умер его прадедушка и лежал в гробу, точно огромный упавший ястреб, безмолвный и далекий, — никогда больше он не скажет, что надо

быть хорошим мальчиком, никогда больше не будет спорить о политике. Смерть — это его маленькая сестренка: однажды утром (ему было в то время семь лет) он проснулся, заглянул в ее колыбельку, а она смотрит прямо на него застывшими, слепыми синими глазами... а потом пришли люди и унесли ее в маленькой плетеной корзинке. Смерть — это когда он месяц спустя стоял возле ее высокого стульчика и вдруг понял, что она никогда больше не будет тут сидеть, не будет смеяться или плакать и ему уже не будет досадно, что она родилась на свет. Это и была смерть. И еще смерть — это Душегуб, который подкрадывается невидимкой, и прячется за деревьями, и бродит по округе, и выжидает, и раз или два в год приходит сюда, в этот город, на эти улицы, где вечерами всегда темно, чтобы убить женщину; за последние три года он убил трех. Это смерть...

Но сейчас тут не просто смерть. В этой летней ночи под далекими звездами на него разом нахлынуло все, что он испытал, видел и слышал за всю свою жизнь, и он захлебывался и тонул.

Они сошли с тротуара и зашагали по протоптанной, усыпанной щебнем тропинке — по обе стороны густо росла сорная трава, и в ней громко, неумолчно трещали сверчки. Том послушно шел за матерью — большой, храброй, прекрасной, его защитницей от всего света. Так вдвоем они шли и шли — и вот остановились на самом краю цивилизации.

Овраг.

Здесь, в этой пропасти посреди черной чащобы, вдруг сосредоточилось все, чего он никогда не узнает и не поймет; все, что живет, безымянное, в непроглядной тени деревьев, в удушливом запахе гниения...

А ведь они с матерью здесь совсем одни.

И ее рука дрожит!

Да, дрожит, ему не почудилось... Но отчего? Мама ведь больше, сильнее, умнее его? Неужели и она тоже чувствует эту неуловимую угрозу, то зловещее, что затаилось там, внизу, и сейчас выползет из темноты? Значит, можно вырасти и все равно не стать сильным? Значит, стать взрослым вовсе не утешение? Значит, в жизни нет прибежища? Нет такой надежной цитадели, что устояла бы против надвигающихся ужасов ночи? Сомнения разрывали его. Мороженое вновь обожгло ему холодом горло, все внутри похолодело, по спине пошел мороз, оледенели руки и ноги; ему вдруг стало очень зябко, точно вновь налетел из прошлого декабрьский ветер.

Так вот оно что! Значит, это участь всех людей, каждый человек для себя — один-единственный на свете. Один-единственный, сам по себе

среди великого множества других людей, и всегда боится. Вот как сейчас. Ну закричишь, станешь звать на помощь — кому какое дело?

Тьма поглотит в одно мгновение; одно чудовищное, леденящее мгновение — и все кончено. Еще задолго до рассвета, задолго до того, как полицейские начнут прощупывать своими фонариками темную, растревоженную тропинку и на ней зашуршит щебень под ногами людей, которые в смятении кинутся на помощь. И даже если они сейчас только в пятистах шагах от тебя, а уж наверно так оно и есть, темный прибор может захлестнуть за три секунды и отнять у тебя все твои десять лет, и...

Жизнь — это одиночество. Внезапное открытие обрушилось на Тома как сокрушительный удар, и он задрожал. Мама тоже одинока. В эту минуту ей нечего надеяться ни на святость брака, ни на защиту любящей семьи, ни на конституцию Соединенных Штатов, ни на полицию; ей не к кому обратиться, кроме собственного сердца, а в сердце своем она найдет лишь неодолимое отвращение и страх. В эту минуту перед каждым стоит своя, только своя задача, и каждый должен сам ее решить. Ты совсем один, пойми это раз и навсегда.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и прижался к матери. Господи, не дай ей умереть, молил он. Не делай нам ничего плохого. Папа придет с собрания через час, и если дома никого не будет...

Мать двинулась по тропинке в дикую чащу.

— Мам, ты за Дуга не бойся, — дрожащим голосом сказал Том. — С ним ничего не случилось. Ты за него не бойся, с ним ничего не случилось.

— Он всегда возвращается этим путем. — Голос матери звенел от напряжения. — Я сто раз говорила ему — ходи другой дорогой, но эти проклятые мальчишки все равно лезут напролом. Когда-нибудь он пойдет туда и больше не вернется.

БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ. Это может означать что угодно. Бродяги. Преступники. Тьма. Несчастный случай. А главное — смерть!

Один во всей вселенной.

На свете миллион таких городишек. И в каждом так же темно, так же одиноко, каждый так же от всего отрешен, в каждом — свои ужасы и свои тайны. Пронзительные, заунывные звуки скрипки — вот музыка этих городишек без света, но со множеством теней. А какое необъятное, непомерное одиночество! А неведомые овраги, что засасывают, как тряпина! Жизнь в этих городишках по ночам оборачивается леденящим ужасом: разуму, семье, детям, счастью со всех сторон грозит чудище, имя которому Смерть.

Мать снова громко позвала в темноту:

— Дуглас! Дуг!

И вдруг оба почувствовали — что-то случилось.

Сверчки умолкли.

Стало совсем тихо.

Он и не знал, что бывает такая тишина. Беспредельная, бездыханная тишина. Отчего замолчали сверчки? Отчего? Какая этому причина? Прежде они никогда не умолкали. Никогда.

Значит... Значит...

Сейчас что-то случится.

Казалось, овраг напрягает свои черные мышцы, вбирает в себя все силы спящих городков и ферм на многие мили вокруг. Великая тишина пропитанных росой лесов, и долин, и накатывающихся как прибой холмов, где собаки, задрав морды, воют на луну, вся собиралась, стекалась, стягивалась в одну точку, и в самом сердце тишины были они — мама и Том. Вот сейчас, сию минуту что-то случится, что-то случится. Сверчки все молчат, звезды опустились так низко, что, кажется протяни руку — и на пальцах останется позолота. Их не счесть, звезд, они жаркие, колючие...

Все растет, разбухает тишина. Все острее, напряженней ожидание. Ох, как темно, пустынно, как бесприютно!

И вдруг далеко-далеко за оврагом — голос:

— Я здесь, мам! Иду, мама! И снова:

— Мам, а мам! Иду!

Шлеп-шлеп-шлеп мчатся ноги в теннисных туфлях по дну оврага: с хохотом несутся трое мальчишек — брат Дуглас, Чарли Вудмен и Джон Хаф. Бегут, хохочут...

Звезды взвились вверх, точно десять миллионов ужаленных улиток втянули свои рожки.

Сверчки застрекотали.

Темнота отступала, испуганная, ошарашенная, злобная. Отступила, потеряв аппетит, — ведь она совсем уже собралась поживиться, и вдруг ей так грубо помешали. И когда темнота отхлынула, точно волна во время отлива, из нее возникли, смеясь, трое мальчишек.

— Мам! Том! Привет!

И сразу вокруг запахло Дугласом. Ведь от него всегда пахнет потом, травой, деревьями, ветвями и ручьем.

— Вам предстоит порка, молодой человек, — объявила мама. От ее страхов и следа не осталось. Том знал — она никогда в жизни никому про это не расскажет, никогда. Но страх этот навсегда останется у нее в душе, и в душе Тома тоже.

Темной летней ночью они шли домой, спать. Как хорошо, что Дуглас живой! Как хорошо! А на одну секунду там, на краю оврага, ему подумалось...

Где-то далеко, по смутному, озаренному луной лесу над виадуком, потом внизу, по долине, прогрохотал поезд, он отчаянно свистел, точно безымянный железный зверь заблудился в ночи. Том улегся в постель рядом с братом; весь дрожа, он прислушивался к этому свисту и думал: далеко-далеко, там, где сейчас мчится поезд, жил их двоюродный брат — и умер от воспаления легких много лет назад, вот в такую же ночь...

Дуглас лежал рядом, от него пахло потом. И это было как волшебство. Том перестал дрожать.

— Только две вещи я знаю наверняка, Дуг, — прошептал он.

— Какие?

— Одна — что ночью ужасно темно.

— А другая?

— Если мистер Ауфман когда-нибудь в самом деле построит Машину счастья, с оврагом ей все равно не совладать.

Дуглас немного подумал.

— Повтори, что ты сказал.

Они умолкли: на улице внезапно раздались шаги — ближе, ближе, вот они уже под деревьями, возле дома, на тротуаре. Мама со своей кровати негромко сказала:

— Папа идет. И не ошиблась.

Поздно вечером на веранде сидел Лео Ауфман и что-то писал в темноте — бумагу и ту толком нельзя было разглядеть. Время от времени он восклицал: «Ага!» или «И это тоже!» — значит, ему в голову приходило еще что-нибудь подходящее для его списка. Потом дверь чуть стукнула, точно в сетку от москитов ударилась ночная бабочка.

— Лина? — шепнул Ауфман.

Она села рядом с ним на качели, в одной ночной сорочке, не тоненькая, как семнадцатилетняя девочка, которую еще не любят, и не толстая, как пятидесятилетняя женщина, которую уже не любят, но складная и крепкая, именно такая, как надо, — таковы женщины во всяком возрасте, если они любимы.

Она была удивительная. Ее тело, как и его собственное, всегда думало за нее, только по-другому: оно вынашивало детей или входило впереди Лео в каждую комнату чтобы неумовимо изменить там самый воздух под стать

настроению мужа. Казалось, она никогда не задумывается надолго; мысль тотчас передавалась от ее головы плечам, пальцам и претворялась в действие так незаметно и естественно, что Лео не смог бы, да и не хотел изобразить это какими-либо чертежами.

— Эта Машина... — сказала она наконец. — Не нужна она нам.

— Да, — отозвался он, — но иногда нужно позаботиться и о других. Я вот все думаю, что туда вставить? Кинокартины? Радиоприемники? Стереоскопические очки? Если собрать все это вместе, всякий человек пощупает, улыбнется и скажет: «Да, да, это и есть счастье».

Сочинить такую хитрую механику, думал он, что пускай у человека промокли ноги, или ноет язва, или его мучает бессонница и он ворочается в постели всю ночь напролет, и душу его грызут заботы, а все равно твоя Машина даст ему счастье, как та магическая крупинка соли, что брошена в океан и вечно рождает соль и обратила все море в соляной раствор. Кто не расшибся бы в лепешку, лишь бы изобрести такую Машину? Пусть ему ответит на этот вопрос целый мир, пусть ответит весь городок, пусть ответит жена!

Лина смущенно молчала, сидя рядом с ним на качелях, и ее молчание говорило яснее всяких слов.

Лео тоже умолк, запрокинул голову и слушал, как свищет ветер в густой листве могучего вяза.

«Не забывай, — говорил он себе, — и этот шелест листьев тоже нужен для твоей Машины».

Через минуту веранда опустела, пустые качели неподвижно повисли в темноте.

Дедушка улыбнулся во сне.

Он почувствовал эту улыбку, удивился ей — и проснулся. Полежал немного, прислушался к себе — и понял, откуда она взялась.

Ибо он услышал нечто гораздо более важное, нежели пение птиц или шелест молодой листвы. Каждый год наступал день, когда он вот так просыпался и ждал этого звука, который означал, что теперь-то уж лето началось по-настоящему. Оно начиналось вот в такое утро, когда кто-нибудь из домочадцев или гостей, племянник, сын или внук, выходил на лужайку под его окном и металлические ножи и спицы, кружа и звеня по душистой летней траве, прилежно обегали ее по краям — на север, на восток, на юг, на запад, описывая все меньшие и меньшие квадраты. Косилка звонко стрекотала, из-под ножей брызгали головки клевера, редкие золотые искры уцелевших после сбора одуванчиков, муравьи,

палочки, камешки, остатки прошлогоднего празднования Четвертого июля — обгорелые шутихи и кусочки трута, но главное — за ней стлался прохладный, чистый поток сочной зеленой травы. Дедушке уже представлялось, как она щекочет его ноги, охлаждает разгоряченное лицо, наполняет ноздри извечным ароматом вновь родившегося лета и обещает: да, мы все — ВСЕ! — проживем еще целый год.

Великое чудо — косилка, говорил себе дедушка. Какой это дурак выдумал, что новый год начинается первого января? Надо было поставить дозорных караулить рост травы на миллионах лужаек Иллинойса, Огайо или Айовы — и как заметят, что она созрела для сенокоса, в то самое утро вместо фейерверков, фанфар и криков пусть начинается великая бурная симфония косилок, срезающих свежие травы на необъятных луговых просторах. В тот единственный день в году, который по-настоящему знаменует собой начало, людям надо бы бросать друг в друга не конфетти и не серпантин, а пригоршни свежескошенной травы.

Дедушка хмыкнул — что-то уж больно долгую философию развел! — встал, подошел к окну и высунулся в ласковый солнечный свет. Так и есть: Форестер, новый жилец, молодой газетчик, как раз заканчивает ряд.

— Доброе утро, мистер Сполдинг!

— Так ее, хорошенько, Билл! — с жаром крикнул дедушка и вскоре уже сидел внизу и уплетал приготовленный бабушкой завтрак; широкое окно было раскрыто, и жужжанье косилки словно подпевало завтраку.

— От этой косилки на душе становится спокойнее, — заметил дедушка. — Ты только послушай!

— Теперь уж недолго нам ее слушать, — отозвалась бабушка и поставила на стол горку пшеничных лепешек. — Билл Форестер посеет сегодня новый сорт травы, ее не надо будет косить. Не помню, как там она называется, но она как вырастет, сколько нужно, так сама и остановится и больше не растет.

Дедушка с изумлением уставился на жену.

— Довольно глупая шутка, — сказал он наконец.

— Иди посмотри сам. Билл Форестер говорит, это земле на пользу, — сказала бабушка. — Он уже привез новые семена, они сложены за домом в маленьких корзинках. Нужно в разных местах вырыть ямки и засыпать туда семена. К концу года новая трава убьет всю старую, и тогда можешь продавать свою косилку, она тебе больше не понадобится.

Дедушка сорвался со стула и мигом выскочил во двор. Билл Форестер остановил косилку и, жмурясь от солнца, с улыбкой подошел к нему.

— Вот так-то, — сказал он. — Вчера купил новые семена. Дай думаю,

засею вам лужайку, пока я свободен.

— А меня почему не спросили? Лужайка-то все-таки моя! — закричал дедушка.

— Я думал, вы будете довольны, мистер Сполдинг.

— Ничего я не доволен. Покажите мне эту чертову траву.

Они стояли возле маленьких четырехугольных корзинок с новомодными семенами. Дедушка подозрительно потыкал одну из них носком башмака.

— По-моему, это самая обыкновенная трава. А вы уверены, что вас не надули?

— Я в Калифорнии видел, как она растет. Вот настолько вырастет — и все. Если только она приживется в здешнем климате, нам уже на будущий год не придется каждую неделю подстригать лужайку.

— В том-то и беда с вашим поколением, — сказал дедушка. — Мне стыдно за вас, Билл, а еще журналист! Вы готовы уничтожить все, что есть на свете хорошего. Только бы тратить поменьше времени, поменьше труда, вот чего вы добиваетесь. — Он непочтительно пнул корзинку ногой. — Вот поживете с мое, тогда поймете, что мелкие радости куда важнее крупных. Рано утром по весне прогуляться пешком не в пример лучше, чем катить восемьдесят миль в самом роскошном автомобиле; а знаете почему? Потому что все вокруг благоухает, все растет и цветет. Когда идешь пешком, есть время оглядеться вокруг, заметить самую малую красоту. Я понимаю, сейчас вам хочется охватить все сразу, и это, наверно, естественно, это свойство молодости. Но газетчику надо уметь видеть и мелкий виноград, а не только огромные арбузы. Вам подавай целый скелет, а с меня довольно и следа пальцев; что ж, тоже понятно. Сейчас мелочи кажутся вам скучными, но, может, вы просто еще не знаете им цены, не умеете находить в них вкус? Дай вам волю, вы бы издали закон об устранении всех мелких дел, всех мелочей. Но тогда вам нечего было бы делать в перерыве между большими делами и пришлось бы до исступления придумывать себе занятие, чтобы не сойти с ума. Так уж лучше поучились бы кое-чему у самой природы. Подстригать траву и выпалывать сорняки — тоже одна из радостей жизни, сынок.

Билл Форестер ласково улыбнулся старику.

— Знаю, знаю, — сказал дедушка. — Я становлюсь слишком болтливым.

— В жизни никого не слушал с таким удовольствием.

— Тогда продолжим лекцию. Куст сирени лучше орхидей. И одуванчики тоже, и чертополох. А почему? Да потому, что они хоть

ненадолго отвлекают человека, уводят его от людей и города, заставляют попотеть и возвращают с небес на землю. И уж когда ты весь тут и никто тебе не мешает, хоть ненадолго остаешься наедине с самим собой и начинаешь думать, один, без посторонней помощи. Когда копаешься в саду, самое время пофилософствовать. Никто об этом не догадывается, никто тебя не обвиняет, никто и не знает ничего, а ты становишься заправским философом — эдакий Платон среди пионов, Сократ, который сам себе выращивает цикуту. Тот, кто тащит на спине по своей лужайке мешок навоза, сродни Атласу, у которого на плечах вращается земной шар. Сэмюэл Сполдинг, эсквайр, сказал однажды: «Копая землю, покопайся у себя в душе». Вертите лопасти этой косилки, Билл, и да оросит вас живительная струя Фонтана юности. Лекция окончена. Кроме того, изредка очень полезно отведать зелени одуванчиков.

— А вы давно ели зелень одуванчиков на ужин, сэр?

— Не будем уточнять.

Билл кивнул и легонько стукнул ближайшую корзинку носком башмака.

— Так вот, насчет этой травы. Я еще не все вам сказал. Она растет так густо, что наверняка заглушит и клевер и одуванчики.

— Господи помилуй! Значит, уже на будущий год мы останемся без вина из одуванчиков? И ни одной пчелы над лужайкой? Да вы просто с ума сошли! Послушайте, сколько вы заплатили за эти семена?

— Доллар корзинка. Я купил десять штук вам в подарок.

Дедушка полез в карман, вытащил старомодный длинный кошелек, отстегнул серебряную застежку и извлек три бумажки по пять долларов.

— Билл, вы только что совершили превыгодную сделку — заработали пять долларов. Извольте сейчас же отправить всю эту чересчур прозаическую траву в овраг, на помойку, — словом, куда хотите, только, покорнейше прошу, не сейте ее у меня во дворе. Я знаю, у вас самые похвальные намерения, но я все-таки уже достиг весьма почтенного возраста и с моими желаниями не грех считаться в первую очередь.

— Хорошо, сэр. — Билл нехотя сунул деньги в карман.

— Вот что, Билл: вы просто посеете эту новую траву когда-нибудь в другой раз. Как только я помру, на другой же день можете перекопать эту чертову лужайку. Ну как, хватит у вас терпения подождать еще лет пять-шесть, чтобы старый болтун успел отдать концы?

— Уж будьте уверены, подожду, — сказал Билл.

— Сам не знаю, как вам объяснить, но для меня жужжанье этой косилки — самая прекрасная мелодия на свете, в ней вся прелесть лета,

без нее я бы ужасно тосковал, и без запаха свежескошенной травы тоже.

Билл нагнулся и поднял с земли корзинку.

— Я пошел к оврагу.

— Вы славный юноша и все понимаете, я уверен, из вас получится блестящий и умный репортер, — сказал дедушка, помогая ему поднять корзинку. — Я вам это предсказываю!

Прошло утро, наступил полдень. После обеда дедушка поднялся к себе, немного почитал Уиттиера^[10] и крепко уснул. Когда он проснулся, было три часа, в окна вливался яркий и веселый солнечный свет. Дедушка лежал в кровати и вдруг вздрогнул — с лужайки доносилось прежнее, знакомое, незабываемое жужжанье.

— Что это? — сказал он. — Кто-то косит траву! Но ведь ее только сегодня утром скосили!

Он еще послушал. Да, конечно, это жужжит косилка — мерно, неумоимо.

Дедушка выглянул в окно и ахнул.

— Да ведь это Билл! Эй, Билл Форестер! Вам что, солнце ударило в голову? Вы косите уже скошенную траву!

Билл поднял голову, простодушно улыбнулся и помахал рукой.

— Знаю. Но, кажется, утром я работал не очень чисто. Дедушка еще добрых пять минут нежился в кровати, и с лица его не сходила улыбка, а Билл Форестер все шагал с косилкой — на север, на восток, на юг и наконец на запад, — и из-под косилки весело бил душистый зеленый фонтан.

В воскресенье утром Лео Ауфман бродил по своему гаражу, словно ожидая, что какое-нибудь полено, виток проволоки, молоток или гаечный ключ подпрыгнет и закричит: «Начни с меня!» Но ничто не подпрыгивало, ничто не просилось в начало.

«Какая она должна быть, эта Машина счастья? — думал Лео. — Может, она должна уместиться в кармане? Или она должна тебя самого носить в кармане?»

— Одно я знаю твердо, — сказал он вслух. — Она должна быть яркой!

Лео поставил на верстак банку оранжевой краски, взял словарь и побрел в дом.

— Лина! — Он заглянул в толковый словарь. — Ты довольна, спокойна, весела, в восторге? Тебе во всем везет и все удается? По-твоему, все идет разумно, хорошо и успешно?

Лина перестала резать овощи и закрыла глаза.

— Прочитай мне все это еще раз, пожалуйста. Лео захлопнул словарь.

— За какие это грехи я должен целый час ждать, пока ты придумаешь мне ответ? Скажи только да или нет, больше мне ничего не надо. Ты что же, не довольна, не спокойна, не весела и не в восторге?

— Довольны бывают коровы, а в восторге — младенцы да несчастные старики, которые уже впали в детство, — сказала Лина. — Ну а насчет того, что весела... Сам видишь, как я весело смеюсь, когда скребу эту раковину.

Лео внимательно поглядел на жену, и лицо его прояснилось.

— Ты права, Лина. Мужчины такой народ — никогда ничего не смыслят. Может быть, мы вырвемся из этого заколдованного круга уже совсем скоро.

— Я вовсе не жалею, — закричала Лина. — Я-то не прихожу к тебе со словарем и не говорю: «Высунь язык!» Лео, ты ведь не спрашиваешь, почему сердце у тебя стучит не только днем, но и ночью? Нет. А можешь ты спросить, что такое брак? Кто это знает? Не задавай вопросов. Есть же такие люди — все им надо знать: как устроен мир, как то, как се да как это... задумается такой — и падает с трапеции в цирке либо задохнется, потому что ему приспичило понять, как у него в горле мускулы работают. Ешь, пей, спи, дыши и перестань смотреть на меня такими глазами, будто в первый раз видишь.

Лина Ауфман вдруг замерла. Потянула носом воздух.

— Вот беда! А все ты виноват.

Она рванула дверцу духовки. Оттуда повалил дым.

— Счастье, счастье! — горестно воскликнула она. — Из-за этого счастья мы с тобой ссоримся, в первый раз за полгода. И в первый раз за двадцать лет на ужин будут уголья вместо хлеба!

Когда дым рассеялся, Лео Ауфмана уже и след простыл.

Грохот, лязг, схватка человека с вдохновением, день за днем в воздухе так и мелькают куски металла, дерева, молоток, гвозди, рейсшина, отвертки... Порой Лео Ауфмана охватывало отчаяние — и он скитался по улицам, всегда беспокойный, всегда начеку; он вздрагивал и оборачивался, заслышав где-то вдалеке чей-то смех, прислушивался к забавам детворы, присматривался — что вызывает у детей улыбку? Вечерами он подсаживался к шумной компании на веранде у кого-нибудь из соседей, слушал, как старики вспоминают прошлое и толкуют о жизни, — и при каждом взрыве веселья оживлялся, точно генерал, который видит, что

темные вражеские силы разгромлены и что его стратегия оказалась правильной. По дороге домой он торжествовал, пока не вошел опять в свой гараж, где лежали мертвые инструменты и неодушевленное дерево. Тогда его сияющее лицо вновь мрачнело, и, пытаясь избыть горечь неудачи, он с ожесточением расшвыривал и колотил части своей машины, словно это были живые яростные противники. Наконец контуры машины начали вырисовываться, и через десять дней и ночей, дрожа от усталости, изможденный, полумертвый от голода, такой высохший и почерневший, точно в него ударила молния, Лео Ауфман, спотыкаясь, побрел в дом.

Дети ссорились и оглушительно кричали друг на друга, но при виде отца тотчас умолкли, как будто пробил урочный час и в комнату вошла сама смерть.

— Машина счастья готова, — прохрипел Лео Ауфман.

— Лео Ауфман похудел на пятнадцать фунтов, — сказала его жена. — Он уже две недели не разговаривал со своими детьми, они сами не свои, смотрите, они дерутся! Его жена тоже сама не своя, смотрите, она потолстела на десять фунтов, теперь ей понадобятся новые платья! Да, конечно. Машина готова, а стали мы счастливее? Кто скажет? Лео, брось ты мастерить эти часы, в них не влезет ни одна кукушка. Человеку не положено соваться в такие дела. Господу богу это, наверно, не повредит, а вот Лео Ауфману один вред и никакой пользы. Если так будет продолжаться еще хоть неделю, мы его похороним в его собственной Машине.

Но этих слов Лео Ауфман уже не слышал: он с изумлением смотрел, как на него валится потолок.

Вот так штука, — подумал он, уже лежа на полу.

Но тут его обволокла тьма, и он услышал только, как кто-то трижды прокричал что-то насчет Машины счастья.

На другое утро, едва раскрыв глаза, он увидел птиц: они пронеслись в воздухе, точно разноцветные камешки, брошенные в непостижимо чистый ручей, и, легонько звякнув, опускались на жестяную крышу гаража.

Собаки всевозможных пород тихонько прокрадывались во двор и, повизгивая, заглядывали в гараж; четверо мальчишек, две девочки и несколько мужчин помедлили на дорожке, потом нерешительно подошли поближе и остановились под вишнями.

Лео Ауфман прислушался и понял, что влечет их всех к нему во двор.

Голос Машины счастья.

Такое можно было бы слышать летним днем возле кухни какой-нибудь великанши. Это было разноголосое жужжанье — высокое и низкое,

то ровное, то прерывистое. Казалось, там вьются роем огромные золотистые пчелы величиной с чашку и стряпают сказочные блюда. Сама великанша удовлетворенно мурлычет себе под нос песенку, лицо у нее — точно розовая луна в полнолуние; вот-вот она, необъятная, как лето, подплывет к дверям и спокойно глянет во двор, на улыбающихся собак, на белобрысых мальчишек и седых стариков.

— Пойдите-ка, — громко сказал Лео. — Я ведь сегодня еще не включал Машину. Саул!

Саул поднял голову — он тоже стоял внизу во дворе.

— Саул, ты ее включил?

— Ты же сам полчаса назад велел мне разогреть ее.

— Ах да. Я совсем забыл. Я еще толком не проснулся. И он опять откинулся на подушку. Лина принесла ему завтрак и остановилась у окна, глядя вниз, на гараж.

— Послушай, Лео, — негромко сказала она. — Если эта Машина и вправду такая, как ты говоришь, может быть, она умеет рожать детей? А может она превратить старика снова в юношу? И еще — можно в этой Машине со всем ее счастьем спрятаться от смерти?

— Спрятаться?

— Вот ты работаешь, себя не жалеешь, а в конце концов надорвешься и помрешь — что я тогда буду делать? Влезу в этот большой ящик и стану счастливой? И еще скажи мне, Лео: что у нас теперь за жизнь? Сам знаешь, как у нас ведется дом. В семь утра я поднимаю детей, кормлю их завтраком; к половине девятого вас никого уже нет и я остаюсь одна со стиркой, одна с готовкой, и носки штопать тоже надо, и огород полоть, и в лавку сбегать, и серебро почистить. Я разве жалуясь? Я только напоминаю тебе, как ведется наш дом, Лео, как я живу. Так вот, ответь мне: как все это уместится в твою Машину?

— Она устроена совсем иначе.

— Очень жаль. Значит, мне некогда будет даже посмотреть, как она устроена.

Лина поцеловала его в щеку и вышла из комнаты, а он лежал и принюхивался — ветер снизу доносил сюда запах Машины и жареных каштанов, что продаются осенью на улицах Парижа, которого он никогда не видел...

Между замороженными собаками и мальчишками невидимкой проскользнула кошка и замурлыкала у дверей гаража; а из-за гаража слышался шорох снежно-белой пены, мерное дыханье прибоя у далеких-далеких берегов...

Завтра мы испытаем Машину, думал Лео Ауфман. Все вместе.

Он проснулся поздно ночью — что-то его разбудило. Далеко, в другой комнате, кто-то плакал.

— Саул, это ты? — шепнул Лео Ауфман, вылезая из кровати, и пошел к сыну.

Мальчик горько рыдал, уткнувшись в подушку.

— Нет... нет... — всхлипывал он. — Все кончено... кончено...

— Саул, тебе приснилось что-нибудь страшное? Расскажи мне, сынок! Но мальчик только заливался слезами.

И тут, сидя у него на кровати, Лео Ауфман, сам не зная почему, выглянул в окно. Двери гаража были распахнуты настежь.

Он почувствовал, как волосы у него встали дыбом.

Когда Саул, тихонько всхлипывая, наконец, забылся беспокойным сном, отец спустился по лестнице, подошел к гаражу и, затаив дыхание, осторожно вытянул руку.

Ночь была прохладная, но Машина счастья обожгла ему пальцы.

Вот оно что, подумал он: Саул приходил сюда сегодня ночью.

Зачем? Разве он несчастлив и ему нужна Машина? Нет, он счастлив, просто он хочет навсегда сохранить свое счастье. Что же тут плохого, если мальчик умен, и знает цену счастью, и хочет его сохранить? Ничего плохого в этом нет. И все-таки...

Внезапно у Саула в окне колыхнулось что-то белое. Сердце Лео бешено заколотилось. Но он сейчас же понял — это всего лишь ветром подхватило белую занавеску. А ему показалось — что-то нежное, трепетное выпорхнуло в ночь, словно сама душа мальчика вылетела из окна. И Лео Ауфман невольно вскинул руки, словно хотел поймать ее и втолкнуть обратно в спящий дом.

Весь дрожа, он вернулся в комнату Саула, поймал хлопавшую на ветру занавеску и накрепко запер окно, чтобы она не могла больше вырваться наружу. Потом сел на кровать и положил руку на плечо сына.

— «Повесть о двух городах»? Моя. «Лавка древностей»? Ха, уж это-то наверняка Лео Ауфмана. «Большие надежды»? Когда-то это было мое. Но теперь пусть «Большие надежды» остаются ему.

— Что тут происходит? — спросил Лео Ауфман, входя в комнату.

— Тут происходит раздел имущества, — ответила Лина. — Если отец ночью до полусмерти пугает сына, значит, пора делить все пополам. Прочь с дороги, «Холодный дом» и «Лавка древностей»! Во всех этих книгах,

вместе взятых, не найдешь такого сумасшедшего выдумщика, как Лео Ауфман!

— Ты уезжаешь — и даже не испробовала, что такое Машина счастья! — запротестовал он. — Попробуй хоть разок, и, уж конечно, ты сейчас же все распакуешь и останешься!

— «Том Свифт и его электрический истребитель», а это чье? Угадать нетрудно.

И Лина, презрительно фыркнув, протянула книгу мужу.

К вечеру все книги, посуда, белье и одежда были поделены — одна сюда, одна туда; четыре сюда, четыре туда; десять сюда, десять туда. У Лины Ауфман голова пошла кругом от этих счетов, и она присела отдохнуть.

— Ну ладно, — выдохнула она. — Пока я не уехала, Лео, попробуй, докажи мне, что это не по твоей вине ни в чем не повинным детям снятся страшные сны.

Лео Ауфман молча повел жену в сумерки. И вот она стоит перед огромным, вышиной в восемь футов, оранжевым ящиком.

— Это и есть счастье? — недоверчиво спросила она. — Какую же кнопку мне нажать, чтобы я стала рада и счастлива, всем довольна и весьма признательна?

А вокруг них уже собрались все дети.

— Мама, не надо, — сказал Саул.

— Должна же я знать, о чем прошу судьбу, Саул, — возразила Лина.

Она влезла в Машину, уселась и, качая головой, посмотрела оттуда на мужа.

— Это нужно вовсе не мне, а тебе, несчастному неврастенику, который стал на всех кричать.

— Ну, пожалуйста, — сказал он. — Сейчас сама увидишь.

И закрыл дверцу.

— Нажми кнопку! — закричал он. Раздался щелчок. Машина слегка вздрогнула, как большая собака во сне.

— Папа, — с тревогой позвал Саул.

Слушай! — ответил Лео Ауфман.

Сперва все было тихо, только Машина подрагивала — где-то в ее глубине таинственно двигались зубцы и колесики.

— С мамой там ничего не случилось? — спросила Ноэми.

— Ничего, ей там хорошо. Вот сейчас... Вот! Из Машины послышался голос Лины Ауфман:

— Ах!.. О!.. — Голос был изумленный. — Нет, вы только посмотрите! Это Париж! — И через минуту: — Лондон! А это Рим! Пирамиды! Сфинкс!

— Вы слышите, дети: сфинкс! — шепнул Лео Ауфман и засмеялся.

— Духами пахнет! — с удивлением воскликнула Лина Ауфман.

Где-то патефон тихо заиграл «Голубой Дунай» Штрауса.

— Музыка! Я танцую!

— Ей только кажется, что она танцует, — поведал миру Лео Ауфман.

— Чудеса! — сказала в Машине Лина. Лео Ауфман покраснел.

— Вот что значит жена, которая понимает своего мужа! И тут Лина Ауфман заплакала в Машине счастья. Улыбка сбежала с губ изобретателя,

— Она плачет, — сказала Ноэми.

— Не может этого быть!

— Плачет, — подтвердил Саул.

— Да не может она плакать! — И Лео Ауфман, недоуменно моргая, прижался ухом к стенке Машины. — Но... да... плачет, как маленькая...

Он открыл дверцу.

— Постой. — Лина сидела в Машине, и слезы градом катились по ее щекам. — Дай мне доплакать. И она еще немного поплакала. Ошеломленный, Лео Ауфман выключил свою Машину.

— Какое же это счастье, одно горе! — всхлипывала его жена. — Ох, как тяжело, прямо сердце разрывается... — Она вылезла из Машины. — Сначала там был Париж...

— Что ж тут плохого?

— Я в жизни и не мечтала побывать в Париже. А теперь ты навел меня на эти мысли. Париж! И вдруг мне так захотелось в Париж, а ведь я отлично знаю, мне его вовек не видать.

— Машина, в общем-то, не хуже.

— Нет, хуже! Я сидела там и знала, что все это обман.. — Не плачь, мама!

Лина посмотрела на мужа большими черными глазами, полными слез.

— Ты заставил меня танцевать. А мы не танцевали уже двадцать лет.

— Завтра же сведу тебя на танцы!

— Нет, нет! Это неважно, и правильно, что неважно. А вот твоя Машина уверяет, будто это важно! И я начинаю ей верить! Ничего, Лео, все пройдет, я только еще немножко поплачу.

— Ну а еще что плохо?

— Еще? Твоя машина говорит: «Ты молодая». А я уже не молодая. Она все лжет, эта Машина грусти!

— Почему же грусти?

Лина уже немного успокоилась.

— Я тебе скажу, в чем твоя ошибка, Лео: ты забыл главное — рано или поздно всем придется вылезать из этой штуки и опять мыть грязную посуду и стелить постели. Конечно, пока сидишь там внутри, закат длится чуть не целую вечность, и воздух такой душистый, так тепло и хорошо. И все, что хотелось бы продлить, в самом деле длится и длится. А дома дети ждут обеда, и у них оборваны пуговицы. И потом, давай говорить честно: сколько времени можно смотреть на закат? И кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность? И кому нужно вечное тепло? Кому нужен вечный аромат? Ведь ко всему этому привыкаешь и уже просто перестаешь замечать. Закатом хорошо любоваться минуту, ну две. А потом хочется чего-нибудь другого. Уж так устроен человек, Лео. Как ты мог про это забыть?

— А разве я забыл?

— Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день.

— Но это очень грустно, Лина.

— Нет, если бы он длился вечно и до смерти надоел бы нам, вот это было бы по-настоящему грустно. Значит, ты сделал две ошибки. Во-первых, задержал и продлил то, что всегда проходит быстро. Во-вторых, принес сюда, в наш двор, то, чего тут быть не может, и все получается наоборот, начинаешь думать: «Нет, Лина Ауфман, ты никогда не поедешь путешествовать, не видать тебе Парижа. И Рима тоже». Но ведь я и сама это знаю, зачем же мне напоминать? Лучше забыть, тянуть свою лямку и не ворчать.

Лео Ауфман прислонился к Машине, ноги у него подкашивались. И с удивлением отдернул обожженную руку,

— Как же теперь быть, Лина? — спросил он.

— Вот уж этого я не знаю. Но только пока эта штука, стоит здесь, меня все время будет тянуть к ней и Саула тоже, как прошлой ночью: знаем, что глупо и ни к чему, а все равно захочется сидеть в этом ящике и глядеть на далекие края, где нам вовек не бывать, и всякий раз мы будем плакать, и такая семья тебе вовсе не годится.

— Ничего не понимаю, — сказал Лео Ауфман. — Как же это я так оплошал? Дай-ка я сам посмотрю, верно ли ты говоришь. — Он уселся в Машину. — Ты не уйдешь?

— Мы тебя подождем, — сказала Лина.

Он закрыл дверцу. Чуть помедлил в теплой тьме, потом нажал кнопку, откинулся назад и уже готов был насладиться яркими красками и музыкой, но тут раздался крик:

— Пожар, папа! Машина горит!

Кто-то забарабанил в дверцу. Лео вскочил, ударился головой и упал, но тут дверца поддалась, и сыновья вытащили его наружу. Позади что-то глухо взорвалось. Вся семья кинулась бежать. Лео Ауфман оглянулся и ахнул,

— Саул! — выкрикнул он, задыхаясь. — Вызови пожарную команду!

Саул кинулся было со двора, но Лина схватила его за рукав.

— Подожди, — сказала она.

Из Машины вырвался язык пламени, раздался еще один приглушенный взрыв. Когда Машина разгорелась как следует, Лина Ауфман кивнула.

— Ну вот, Саул, теперь можно звонить в пожарную команду.

Все, соседи и не соседи, сбежались на пожар. Были тут и дедушка Сполдинг, и Дуглас, и Том, и почти все жители их квартала, и несколько стариков из другой части города, что за оврагом, и все ребятишки из шести окрестных кварталов. А дети Лео Ауфмана стояли впереди всех и очень гордились — вот какое отличное пламя вырывается из-под крыши их гаража!

Дедушка Сполдинг пригляделся к высокому — под самое небо — столбу дыма и негромко спросил:

— Лео, это она? Ваша Машина счастья?

— Счастья или несчастья — в этом я когда-нибудь разберусь и тогда отвечу вам, — сказал Лео.

Лина Ауфман стояла в темноте и смотрела, как бегают по двору пожарники; наконец гараж с грохотом рухнул.

— Тебе вовсе незачем долго в этом разбираться, Лео, — сказала она, — Просто оглянись вокруг. Подумай. Помолчи немного. А потом приди и скажи мне. Я буду в доме, надо поставить книги обратно на полки, положить одежду обратно в шкафы, приготовить ужин. Мы и так запоздали с ужином, смотри, как темно на улице. Пойдемте, дети, помогите маме.

Когда пожарные и соседи ушли, Лео Ауфман остался с дедушкой Сполдингом, Дугласом и Томом; все они задумчиво смотрели на догорающие остатки гаража. Лео ткнул ногой в мокрую золу и медленно высказал то, что лежало на душе:

— Первое, что узнаешь в жизни, — это что ты дурак. Последнее, что узнаешь, — это что ты все тот же дурак. Много передумал я за один только час. И сказал себе: да ведь ты слепой, Лео Ауфман! Хотите увидеть настоящую Машину счастья? Ее изобрели тысячи лет тому назад, и она все еще работает: не всегда одинаково хорошо, нет, но все-таки работает. И она

все время здесь.

— А пожар... — начал было Дуглас.

— Да, конечно, пожар, гараж! Но Лина права, долго раздумывать над этим незачем: то, что сгорело в гараже, не имеет никакого отношения к счастью.

Он поднялся по ступеням крыльца и поманил их за собой.

— Вот, — шепнул Лео Ауфман. — Посмотрите в окно. Тише, сейчас вы все увидите.

Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходящее на улицу.

И там, в теплом свете лампы, они увидели то, что хотел им показать Лео Ауфман. В столовой за маленьким столиком Саул и Маршалл играли в шахматы. Ребекка накрывала стол к ужину. Ноэми вырезала из бумаги платья для своих кукол. Рут рисовала акварелью. Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь в кухню была открыта: там, в облаке пара, Лина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню. Пахло свежим хлебом, и ясно было, что это — самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все, что надо, и все это — живое, неподдельное.

Дедушка, Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Ауфмана, а тот неотрывно смотрел в окно, и розовый отсвет лампы лежал на его лице.

— Ну конечно, — бормотал он. — Это оно самое и есть.

Сперва с тихой грустью, потом с живым удовольствием и наконец со спокойным одобрением он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага.

— Машина счастья, — сказал он. — Машина счастья.

Через минуту его уже не было под окном.

Дедушка, Дуглас и Том видели, как он захлопотал в доме — то поправит что-нибудь, то передвинет, то складку разгладит, то пылинку сдует — такой же деловитый винтик большой, удивительной, бесконечно тонкой, вечно таинственной, вечно движущейся машины.

А потом, не переставая улыбаться, они спустились с крыльца в прохладную летнюю ночь.

Два раза в год во двор выносили большие хлопающие ковры и расстлали их на лужайке, где они были совсем не к месту и казались

какими-то необитаемыми. Потом из дома выходили мама и бабушка, в руках они несли как будто спинки красивых плетеных кресел, что стоят в парке у павильона с газированной водой. Каждому вручали такой жезл с широкой плетеной верхушкой, и все — Дуглас, Том, бабушка, прабабушка и мама — становились в кружок над пыльными узорами старой Армении, точно сборище ведьм и домовых. Затем по знаку прабабушки — едва она мигнет или подождет губы — все вскидывали цепи и принимались без передышки молотить ковры.

— Вот тебе, вот, — приговаривала прабабушка. — Бейте блох, мальчики, не жалейте и вшей!

— Ну что ты такое говоришь! — укоризненно замечала ей бабушка.

Все смеялись. Вокруг бушевала пыльная буря, и смех переходил в кашель.

Вихри корпии, струи песка, золотистые хлопья трубочного табака взвивались в воздух и трепетали, подбрасываемые все новыми и новыми ударами. Остановившись, чтобы передохнуть, мальчики видели следы своих башмаков и башмаков взрослых, тысячу раз отпечатавшиеся на узорах ковра, — восточный рисунок то исчезал, то появлялся вновь вместе с мерным прибоем ударов, что омывал его берега.

— Вот тут твой муж пролил кофе. — И бабушка ударила по ковру.

— А здесь ты пролила сметану, — И прабабушка выбила из ковра огромный столб пыли.

— Смотрите, тут весь ворс вытоптан. Ах, ребята, ребята!

— А вот чернила, прабабушка!

— Глупости! У меня чернила лиловые, а это обыкновенные, синие. Хлоп!

— Посмотрите, какую дорожку протоптали, — это из прихожей в кухню. Ох уж эта еда! Она даже львов ведет на водопой. Давайте-ка повернем его другим боком.

— А может, просто запереть все двери и никого не впускать?

— Или пусть разуваются еще в прихожей!

Хлоп, хлоп!

Наконец ковры развешаны на веревках. Том разглядывает узор — хитроумные петли и переплеты, цветы, какие-то загадочные фигуры, разводы и змеящиеся линии.

— Том, ты что стоишь? Выбивай!

— Занятно все-таки видеть всякие вещи, — говорит Том. Дуглас подозрительно смотрит на него.

— Что ты там увидел?

— Да весь город, людей, дома, вот и наш дом — Хлоп! — Наша улица! — Хлоп! — А вон то, черное, — овраг. — Хлоп! — Вот школа. — Хлоп! — А вот эта чудная закорючка — ты. Дуг! — Хлоп! — Вот прабабушка, бабушка, мама... — Хлоп! — Сколько же лет пролежал у нас этот ковер?

— Пятнадцать.

— И целых пятнадцать лет по нему топали! Даже видны отпечатки башмаков! — ахнул Том.

— Силен ты болтать, парень, — сказала прабабушка.

— Тут видно все, что случилось у нас в доме за пятнадцать лет. — Хлоп! — Конечно, это все прошлое, но я могу и будущее увидеть. Вот сейчас зажмурюсь, а потом — р-раз! — погляжу на эти разводы и сразу увижу, где мы завтра будем ходить и бегать.

Дуглас перестал размахивать выбивалкой.

— А что еще ты там видишь?

— Главным образом нитки, — вставила прабабушка. — Тут только и осталась одна основа. Сразу видно, как его ткали.

— Верно, — загадочно сказал Том. — В эту сторону нитки и в ту тоже. Я все вижу. Черти рогатые. Грешники в аду. Хорошая погода и плохая. Прогулки. Праздничные обеды. Земляничные пиры. — Он с важным видом тыкал выбивалкой то в одно, то в другое место ковра.

— Да по-твоему выходит, что я держу тут какой-то пансион, — сказала бабушка, вся красная и запыхавшаяся.

— Тут все видно, хоть и не очень ясно. Дуг, ты нагни голову набок и зажмурь один глаз, только не совсем. Конечно, ночью видно лучше, когда ковер в комнате, и лампа горит, и вообще. Тогда тени бывают самые разные, кривые и косые, светлые и темные, и видно, как нитки разбегаются во все стороны: пощупаешь ворс, погладишь, а он как шкура какого-нибудь зверя. И пахнет как пустыня, правда-правда. Жарой пахнет и песком — наверно, так пахнет каменный гроб, где лежит мумия. Смотри, видишь красное пятно? Это горит Машина счастья!

— Просто кетчуп с какого-то сэндвича, — сказала мама.

— Нет, Машина счастья, — возразил Дуглас, и ему стало грустно, что и тут она горит. Он так надеялся на Лео Ауфмана, уж у него-то все пойдет как надо, он всех заставит улыбаться, и каждый раз, когда земля, повернувшись от солнца, накренится к черным безднам вселенной, маленький гироскоп, который сидит у Дугласа где-то внутри, станет поворачивать к солнцу. И вот Лео Ауфман что-то там прошляпил — и осталась только кучка золы да пепла.

Хлоп! Хлоп! Дуглас с силой ударил выбивалкой.

— Смотрите, вот Зеленый электрический автомобильчик! Мисс Ферн! Мисс Роберта! — сказал Том. — Би-ип! Би-ип!

Хлоп!

Все рассмеялись.

— А вот твои линии жизни, Дуг, они все в узлах. Слишком много кислых яблок! И соленые огурцы перед сном!

— Которые? Где? — закричал Дуглас, всматриваясь в узор ковра.

— Вот эта — через год, эта — через два, а эта — через три, четыре и пять лет.

Хлоп! Проволочная выбивалка зашипела, точно змея.

— А вот эта — на всю остальную жизнь, — сказал Том. Он ударил по ковру с такой силой, что вся пыль пяти тысяч столетий рванулась из потрясенной ткани, на мгновение замерла в воздухе, — и пока Дуглас стоял, зажмурясь, и старался хоть что-нибудь разглядеть в переплетающихся нитях и пестрых разводах ковра, лавина армянской пыли беззвучно обрушилась на него и навеки погребла его на глазах у всех родных...

Старая миссис Бентли и сама не могла бы сказать, как все это началось. Она часто видела детей в бакалейной лавке — точно мошки или обезьянки, мелькали они среди кочанов капусты и связок бананов, и она улыбалась им, и они улыбались в ответ. Миссис Бентли видела, как они бегают зимой по снегу, оставляя на нем следы, как вдыхают осенний дым на улицах, а когда цветут яблони — стряхивают с плеч облака душистых лепестков, но она никогда их не боялась. Дом у нее в образцовом порядке, каждая мелочь на своем привычном месте, полы всегда чисто выметены, провизия аккуратно заготовлена впрок, шляпные булавки воткнуты в подушечки, а ящики комода в спальне доверху набиты всякой всячиной, что накопилась за долгие годы.

Миссис Бентли была женщина бережливая. У нее хранились старые билеты, театральные программы, обрывки кружев, шарфики, железнодорожные пересадочные билеты — словом, все приметы и свидетельства ее долгой жизни.

— У меня куча пластинок, — говорила она. — Вот Карузо: это было в Нью-Йорке, в девятьсот шестнадцатом; мне тогда было шестьдесят, и Джон был еще жив... А вот Джун Мун — это, кажется, девятьсот двадцать четвертый год, Джон только что умер...

Вот это было, пожалуй, самым большим огорчением в ее жизни: то,

что она больше всего любила слушать, видеть и ощущать, ей сохранить не удалось. Джон остался далеко в лугах, он лежит там в ящике, а ящик надежно спрятан под травами, а над ним написано число... и теперь ей ничего от него не осталось, только высокий шелковый цилиндр, трость да выходной костюм, что висит в гардеробе. А все остальное пожрала моль.

Но миссис Бентли сохранила все, что могла. Пять лет назад, когда она переехала в этот город, она привезла с собой огромные черные сундуки — там, пересыпанные шариками нафталина, лежали смятые платья в розовых цветочках и хрустальные вазочки ее детства. Покойный муж владел всякого рода недвижимым имуществом в разных городах, и она передвигалась из одного города в другой, словно пожелтевшая от времени шахматная фигура из слоновой кости, продавая все подряд, пока не очутилась здесь, в чужом, незнакомом городишке, окруженная своими сундуками и темными уродливыми шкафами и креслами, застывшими по углам, будто давно вымершие звери в допотопном зоологическом саду.

Происшествие с детьми случилось в середине лета. Миссис Бентли вышла из дому полить дикий виноград у себя на парадном крыльце и увидела, что на лужайке преспокойно разлеглись две девочки и мальчик, — свежескошенная трава покальвала их голые руки и ноги, и это им явно нравилось.

Миссис Бентли благодушно улыбнулась всем своим желтым морщинистым лицом, и в эту минуту из-за угла появилась тележка с мороженым. Точно оркестр крошечных эльфов, она вызванивала ледяные мелодии, острые и колючие, как звон хрустальных бокалов в умелых руках, созывая и маня к себе всех вокруг. Дети тотчас же сели и все разом, словно подсолнухи к солнцу, повернули головы в сторону тележки.

— Хотите мороженого? — спросила миссис Бентли и окликнула: — Эй, сюда!

Тележка остановилась, звякнули монетки, и в руках у миссис Бентли очутились бруски душистого льда. Дети с полным ртом поблагодарили ее и принялись с любопытством разглядывать — от башмаков на пуговицах до седых волос.

— Дать вам немножко? — спросил мальчик.

— Нет, детка. Я уже старая, и мне ничуть не жарко. Я, наверно, не растаю даже в самый жаркий день, — засмеялась миссис Бентли.

Со сладкими сосульками в руках дети поднялись на тенистое крыльцо и уселись рядышком на ступеньку.

— Меня зовут Элис, это Джейн, а это — Том Сполдинг.

— Очень приятно. А я — миссис Бентли. Когда-то меня звали Элен.

Дети в изумлении уставились на нее.

— Вы не верите, что меня звали Элен? — спросила миссис Бентли.

— А я не знал, что у старух бывает имя, — жмурясь от солнца, ответил Том.

Миссис Бентли сухо засмеялась.

— Он хочет сказать, старух не называют по имени, — пояснила Джейн.

— Когда тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, дружок, тебя тоже никто не станет называть Джейн. Стариков всегда величают очень торжественно — только «мистер» или «миссис», не иначе. Люди помоложе не хотят называть старуху Элен. Это звучит очень легкомысленно.

— А сколько вам лет? — спросила Элис.

— Ну, я помню даже птеродактиля, — улыбнулась миссис Бентли.

— Нет, правда, сколько?

— Семьдесят два.

Дети задумчиво пососали свои ледяные лакомства.

— Да-а, уж это старая так старая, — сказал Том.

— А ведь я чувствую себя так же, как тогда, когда была в вашем возрасте, — сказала миссис Бентли.

— В нашем?

— Конечно. Когда-то я была такой же хорошенькой девчуркой, как ты, Джейн, и ты, Элис. Дети молчали.

— В чем дело?

— Ни в чем.

Джейн поднялась на ноги.

— Как, неужели вы уже уходите? Даже не доели мороженое... Что-нибудь случилось?

— Мама всегда говорит, что врать нехорошо, — заметила Джейн.

— Конечно, нехорошо. Очень плохо, — подтвердила миссис Бентли.

— И слушать, когда врут, — тоже нехорошо.

— Кто же тебе соврал, Джейн? Джейн взглянула на миссис Бентли и смущенно отвела глаза.

— Вы.

— Я? — Миссис Бентли засмеялась и приложила сморщенную руку к тощей груди. — Про что же?

— Про себя. Что вы были девочкой. Миссис Бентли выпрямилась и застыла.

— Но я и правда была девочкой, такой же, как ты, только много лет

назад.

— Пойдем, Элис. Том, пошли.

— Постойте, — сказала миссис Бентли. — Вы что, не верите мне?

— Не знаю, — сказала Джейн. — Нет, не верим.

— Но это просто смешно! Ведь ясно же: все когда-то были молодыми!

— Только не вы, — потупив глаза, чуть слышно шепнула Джейн, словно про себя. Ее палочка от мороженого упала в лужицу ванили на крыльце.

— Ну, конечно, мне было и восемь, и девять, и десять лет, так же, как всем вам.

Девочки хихикнули, но, спохватившись, тотчас умолкли.

Глаза миссис Бентли сверкнули.

— Ладно, не могу я целое утро спорить без толку с маленькими глупышами. Ясное дело, мне тоже когда-то было десять лет, и я была такая же глупая.

Девочки засмеялись. Том смущенно поежился.

— Вы просто шутите, — все еще смеясь, сказала Джейн. — По правде, вам никогда не было десяти лет, да?

— Ступайте домой! — вдруг крикнула миссис Бентли, ей стало невтерпеж под их взглядами. — Нечего тут смеяться!

— И вас вовсе не зовут Элен?

— Разумеется, меня зовут Элен!

— До свиданья! — сквозь смех крикнули девочки, убегая по лужайке; Том поплелся за ними. — Спасибо за мороженое!

— Я и в классы играла! — крикнула им вдогонку миссис Бентли, но их уже не было.

Весь день после этого миссис Бентли яростно громыхла чайниками и кастрюлями, с шумом готовила свой скудный обед и то и дело подходила к двери в надежде поймать этих дерзких дьяволят — уж наверно они бродят где-нибудь поблизости и смеются. Впрочем... если она и увидит их снова, что им сказать? Да и с какой стати они занимают ее мысли?

— Подумать только, — сказала миссис Бентли, обращаясь к изящной фарфоровой чашечке, расписанной букетиками роз. — В жизни еще никто не сомневался, что и я когда-то была девочкой. Это глупо и жестоко. Я ничуть не горюю, что я уже старая... почти не горюю. Но отнять у меня детство — ну уж нет!

Ей казалось — дети бегут прочь под дуплистыми деревьями, унося в холодных пальцах ее юность, незримую как воздух.

После ужина миссис Бентли, сама не зная зачем, с бессмысленным упорством наблюдала, как ее руки, точно пара призрачных перчаток на спиритическом сеансе, собирают в надушенный носовой платок некие необходимые предметы. Потом она вышла на крыльцо и простояла там, не шевелясь, добрых полчаса.

Наконец, внезапно, точно спугнутые ночные птицы, мимо пронеслись дети, но оклик миссис Бентли остановил их на лету:

— Что, миссис Бентли?

— Поднимитесь ко мне на крыльцо, — приказала она. Девочки повиновались, следом поднялся и Том.

— Что, миссис Бентли?

Они старательно нажимали на слово «миссис», как будто это и было ее настоящее имя.

— Я хочу показать вам несколько очень дорогих мне вещей.

Миссис Бентли развернула надушенный узелок и сперва заглянула в него сама, точно ожидала найти там нечто удивительное и для себя. Потом вынула маленькую круглую гребенку, на ней поблескивали фальшивые бриллиантики.

— Я носила ее в волосах, когда мне было девять лет, — объяснила она. Джейн повертела гребенку в руке.

— Очень мило.

— Покажи-ка! — закричала Элис.

— А вот крохотное колечко, я носила его, когда мне было восемь лет, — продолжала миссис Бентли. — Видите, теперь оно не лезет мне на палец. Если посмотреть на свет, видна Пизанская башня, кажется, что она вот-вот упадет.

— Ну покажи мне, Джейн!

Девочки передавали колечко друг другу, и наконец оно очутилось на пальце у Джейн.

— Смотрите, оно мне как раз! — воскликнула она.

— А мне — гребенка! — изумилась Элис.

Миссис Бентли вынула из платка несколько камешков.

— Вот, — сказала она. — Я в них играла, когда была маленькая.

Она подбросила камешки, и они упали на крыльцо причудливым созвездием.

— А теперь взгляните. — И старуха торжествующе подняла вверх раскрашенную фотографию, свой главный козырь. Фотография изображала миссис Бентли семи лет от роду, в желтом, пышном, как бабочка, платье, с золотистыми кудрями, синими-пресиними глазами и пухлым ротиком

херувима.

— Что это за девочка? — спросила Джейн.

— Это я!

Элис и Джейн впились глазами в фотографию.

— Ни капельки не похоже, — просто сказала Джейн. — Кто хочешь может раздобыть себе такую карточку.

Они подняли головы и долго вглядывались в морщинистое лицо.

— А у вас есть еще карточки, миссис Бентли? — спросила Элис. — Какие-нибудь попозже? Когда вам было пятнадцать лет, и двадцать, и сорок, и пятьдесят?

И девочки торжествующе захихикали.

— Я вовсе не обязана ничего вам показывать, — сказала миссис Бентли.

— А мы вовсе не обязаны вам верить, — возразила Джейн.

— Но ведь эта фотография доказывает, что и я была девочкой!

— На ней какая-то другая девочка, вроде нас. Вы ее у кого-нибудь взяли.

— Я и замужем была!

— А где же мистер Бентли?

— Он давно умер. Если бы он был сейчас здесь, он бы рассказал вам, какая я была молоденькая и хорошенькая в двадцать два года.

— Но его здесь нету, и ничего он не может рассказать, и ничего это не доказывает.

— У меня есть брачное свидетельство.

— А может, вы его тоже у кого-нибудь взяли. Нет, вы найдите такого человека, чтоб сказал, что видел вас много-много лет назад и вам было десять лет, — вот тогда я поверю, что вы в самом деле были молодая. — И Джейн даже зажмурилась, уверенная в своей правоте.

— Тысячи людей видели меня в то время, но они уже умерли, дурочка, или больны, или живут в других городах. А в вашем городе я не знаю ни души, я ведь совсем недавно тут поселилась, и никто здесь не видел меня молодой.

— Ага, то-то! — И Джейн подмигнула Тому и Элис. — Никто не видел!

— Да погоди же! — Миссис Бентли схватила девочку за руку. — Таким вещам верят без всяких доказательств. Когда-нибудь вы будете такие же старые, как я. И вам тоже люди не станут верить. Они скажут: «Нет, эти старые вороны никогда не были ласточками, эти совы не могли быть иволгами, эти попугаи не были певчими дроздами». Да, да, придет день —

и вы станете такими же, как я!

— Ну нет, — ответили девочки. — Ведь правда этого не может быть? — спрашивали они друг друга.

— Вот увидите, — сказала миссис Бентли. А про себя думала: господи боже, дети есть дети, а старухи есть старухи, и между ними пропасть. Они не могут представить себе, как меняется человек, если не видели этого собственными глазами.

— Вот ты, — обратилась она к Джейн, — неужели ты не замечала, что твоя мама с годами меняется?

— Нет, — ответила Джейн. — Она всегда была такая, как теперь.

И это правда. Когда живешь все время рядом с людьми, они не меняются ни на йоту. Вы изумляетесь происшедшим в них переменам, только если расстаетесь надолго, на годы. И миссис Бентли вдруг показалось, что она целых семьдесят два года мчалась в грохочущем черном поезде, и вот наконец поезд остановился у вокзала и все кричат:

«Ты ли это, Элен Бентли?!»

— Теперь мы, пожалуй, пойдем домой, — сказала Джейн. — Спасибо за колечко, оно мне в самый раз.

— Спасибо за гребенку, она очень красивая.

— Спасибо за карточку той девочки.

— Погодите! — закричала миссис Бентли им вслед (они уже сбегали по ступенькам). — Отдайте! Это все мое!

— Не надо, — попросил Том, догоняя девочек. — Отдайте.

— Нет, она все это украла. Это все вещи какой-то девочки, а она их просто украла. Спасибо! — еще раз крикнула Элис.

Миссис Бентли кричала, звала, но они исчезли, точно мотыльки в ночи.

— Простите, — сказал Том. Он снова стоял на лужайке и глядел на миссис Бентли. Потом и он ушел.

«Они унесли мое колечко, и мою гребенку, и фотографию, — думала миссис Бентли; она стояла на крыльце и вся дрожала. — И ничего не осталось, совсем ничего! Ведь это была часть моей жизни!»

Ночью, лежа среди своих сундуков и безделушек, она долгие часы не смыкала глаз. Она обводила взглядом тщательно сложенные в стопки лоскуты, игрушки и страусовые перья и говорила вслух:

— Да полно, мое ли все это?

Может быть, просто старуха пытается уверить себя, что и у нее было прошлое? В конце концов, что минуло, того больше нет и никогда не будет. Человек живет сегодня. Может, она и была когда-то девочкой, но теперь

это уже все равно. Детство миновало, и его больше не вернуть.

В комнату дохнул ночной ветер. Белая занавеска трепетала на темной трости, что стояла у стены рядом со всякой всячиной, копившейся долгие годы. Порыв ветра качнул трость, и она с негромким стуком упала прямо в пятно лунного света на полу. Сверкнул золотой набалдашник. Это была парадная трость ее покойного мужа. Казалось, он указывает ею сейчас на миссис Бентли, как это бывало, когда они — очень редко! — ссорились и он увещевал ее своим мягким, печальным и рассудительным голосом.

— Дети правы, — сказал бы он ей. — Они у тебя ничего не украли, дорогая. Все это уже не принадлежит тебе. Оно принадлежало той, другой тебе, и это было так давно.

Господи, подумала миссис Бентли. И тут, словно зашипел валик старинного фонографа под стальной иглой, она ясно услышала свой разговор с мужем. Мистер Бентли, такой подтянутый, даже немного чопорный, с розовой гвоздикой на безукоризненном лацкане, говорил ей:

— Дорогая, ты никак не можешь понять, что время не стоит на месте. Ты всегда хочешь оставаться такой, какой была прежде, а это невозможно: ведь сегодня ты уже не та. Ну зачем ты бережешь эти старые билеты и театральные программы? Ты потом будешь только огорчаться, глядя на них. Выкинь-ка их лучше вон.

Но она упрямо хранила все билеты и программы.

— Это не поможет, — говорил мистер Бентли, попивая свой чай. — Как бы ты ни старалась оставаться прежней, ты все равно будешь только такой, какая ты сейчас, сегодня. Время гипнотизирует людей. В девять лет человеку кажется, что ему всегда было девять и всегда так и будет девять. В тридцать он уверен, что всю жизнь оставался на этой прекрасной грани зрелости. А когда ему минет семьдесят — ему всегда и навсегда семьдесят. Человек живет в настоящем, будь то молодое настоящее или старое настоящее; но иного он никогда не увидит и не узнает.

Это был один из немногих и очень дружеских споров в их мирной семейной жизни. Джон никогда не одобрял ее склонности собирать памятки о прошлом.

— Будь тем, что ты есть, поставь крест на том, чем ты была, — говорил он. — Старые билеты — обман. Беречь всякое старье — только пытаться обмануть себя.

Был бы он жив сегодня, что бы он сказал?

— Ты бережешь коконы, из которых уже вылетела бабочка, — сказал бы он. — Старые корсеты, в которые ты уже никогда не влезешь. Зачем же их беречь? Доказать, что ты была когда-то молода, невозможно.

Фотографии? Нет, они лгут. Ведь ты уже не та, что на фотографиях.

— А письменные показания под присягой?

— Нет, дорогая, ведь ты не число, не чернила, не бумага. Ты — не эти сундуки с тряпьем и пылью. Ты — только та, что здесь сейчас, сегодня, сегодняшняя ты.

Миссис Бентли кивнула. Ей стало легче дышать.

— Да, я понимаю... Понимаю.

Трость с золотым набалдашником поблескивала в лунных бликах на ковре.

— Утром я со всем этим покончу, — сказала миссис Бентли, обращаясь к трости. — Отныне я буду только тем, что я есть сегодня. Да, решено, так и будет.

И она уснула.

Утро настало зеленое, солнечное, в дверь уже осторожно стучались обе девочки.

— У вас есть еще что-нибудь для нас, миссис Бентли? Еще какие-нибудь вещи той девочки?

Миссис Бентли повела их из прихожей в библиотеку.

— Возьми вот это. — И она протянула Джейн платье, в котором когда-то, в пятнадцать лет, играла дочь мандарина. — И это, и вот это. — Она отдала калейдоскоп и увеличительное стекло. — Берите все, что хотите, — говорила миссис Бентли. — Книги, коньки, куклы, все... Все это ваше.

— Наше?!

— Только ваше. И вот что: помогите мне в одном деле, я собираюсь развести на заднем дворе большой костер. Нужно вынуть все из сундуков и выбросить всякий хлам, пусть его забирает старьевщик. Все это уже не мое. Ничего нельзя сохранить навеки.

— Мы поможем, — сказали девочки.

Миссис Бентли повела их на задний двор. Она захватила коробку спичек, девочки несли по охапке всякой всячины.

И потом все лето обе девочки и Том часто сидели в ожидании на ступеньках крыльца миссис Бентли, как птицы на жердочке. А когда слышались серебряные колокольчики мороженщика, дверь отворялась и из дома выплывала миссис Бентли, погрузив руку в кошелек с серебряной застежкой, и целых полчаса они оставались на крыльце вместе, старуха и дети, и смеялись, и лед таял, и таяли шоколадные сосульки во рту. Теперь наконец они стали добрыми друзьями.

— Сколько вам лет, миссис Бентли?

— Семьдесят два.
— А сколько вам было пятьдесят лет назад?
— Семьдесят два.
— И вы никогда не были молодая и никогда не носили лент и вот таких платьев?
— Никогда.
— А как вас зовут?
— Миссис Бентли.
— И вы всю жизнь прожили в этом доме?
— Всю жизнь.
— И никогда не были хорошенькой?
— Никогда.
— Никогда-никогда за тысячу миллионов лет? В душной тишине летнего полудня девочки пытливо склонялись к старой женщине и ждали ответа.
— Никогда, — отвечала миссис Бентли. — Никогда-никогда за тысячу миллионов лет.

— Ты приготовил блокнот, Дуг?
— Конечно! — И Дуглас хорошенько полизал карандаш.
— Что у тебя там уже записано?
— Все обряды.
— Четвертое июля, и как делают вино из одуванчиков, и еще всякая чепуха, вроде того, как на веранду вешают качели, да?
— Вот тут сказано, когда я в это лето первый раз ел эскимо — первого июня тысяча девятьсот двадцать восьмого года.
— Какое же это лето, это еще весна.
— Все равно, это было в первый раз, потому я и записал. Купил новые теннисные туфли — двадцать пятого июня. В первый раз ходил босиком по траве — двадцать шестого июня. Бим-бом, бири-бом — побежали босиком! А про тебя что записать, Том? Еще что-нибудь «в первый раз»? Какой-нибудь чудной обряд, может, про каникулы, вроде того, что ловили крабов в ручье или поймали водяного паука-скорохода?
— Еще никто на свете не поймал водяного скорохода. Знаешь ты такого человека, который его поймал? Ну-ка, подумай!
— Думаю.
— И что?
— Правильно. Никто не поймал. И не поймает, наверно. Они уж очень быстрые.

— Да не в том дело. Их просто не бывает, — сказал Том. Еще чуть подумал и убежденно кивнул головой. — Вот то-то и оно, их просто нет на свете и никогда не было. А запиши вот что...

Он наклонился и пошептал брату на ухо.

Дуглас все записал.

Потом они оба это перечитали.

— Чтоб мне провалиться! — воскликнул Дуглас. — А я и не додумался! Вот это да! Ясно, как апельсин: старики никогда не были детьми.

— А правда, это как-то грустно? — задумчиво сказал Том. — И уж тут ничем не поможешь.

— Похоже, в городе полно машин, — сказал на бегу Дуглас. — У мистера Ауфмана — Машина счастья, у мисс Ферн и мисс Роберты — Зеленая машина. А у тебя что, Чарли?

— Машина времени, — пропыхтел Чарли Вудмен и обогнал Дугласа. — Вот честное-пречестное.

— И на ней можно съездить в прошлое и в будущее? — спросил Джон Хаф, легко обходя их обоих.

— Только в прошлое, нельзя же все сразу. Стоп, приехали.

Чарли Вудмен остановился у живой изгороди. Дуглас всмотрелся в старый дом.

— Да ведь тут живет полковник Фрилей! Ну уж нет, тут не будет никаких машин. Он, во-первых, никакой не изобретатель, а потом, если бы он и изобрел, да не что-нибудь, а Машину времени, мы бы давным-давно про это узнали.

Чарли и Джон на цыпочках поднялись по ступенькам крыльца. Дуглас только презрительно фыркнул и покачал головой, но с места не двинулся.

— Ну и не ходи, раз ты такой упрямый осел, — сказал Чарли. — Правильно, полковник Фрилей не изобрел Машину времени, а только он тоже ее хозяин, и она всегда здесь. Мы просто дураки, что раньше ее не разглядели. Будь здоров, Дуглас Сполдинг, оставайся тут, тебе же хуже.

Чарли взял Джона под руку, точно вел даму, открыл затянутую сеткой дверь веранды и вошел. Дверь не хлопнула.

Дуглас придержал ее и молча последовал за друзьями.

Чарли прошел через всю веранду, постучал и отворил дверь в дом. Все трое, вытянув шеи, заглянули через длинную темную переднюю в комнату, где свет был зеленоватый, тусклый и какой-то водянистый, точно в подводной пещере.

— Полковник Фрилей! Молчание.

— Он не очень-то хорошо слышит, — шепнул Чарли. — Он говорил: «Прямо входи и покричи погромче». Полковник!

Ничего. Только откуда-то сверху, крутясь, сыпалась пыль и оседала на винтовой лестнице. Потом из той подводной комнаты-пещеры донесся легкий шорох.

Мальчики осторожно прошли через прихожую и заглянули в комнату — там только и было что старик да кресло. И чем-то они походили друг на друга — оба такие тощие и костлявые, что, кажется, сразу видны все суставы и сочленения, видно, где прикрепляются мышцы и сухожилия, а где планки и шарниры. А еще в комнате были грубый дощатый пол, голые стены и потолок и очень много тишины.

— Он совсем как мертвый, — прошептал Дуглас.

— Нет, это он придумывает, куда бы еще съездить попутешествовать, — негромко и очень гордо сказал Чарли. — Полковник!

Один из двух темных предметов в комнате шевельнулся — это и был полковник; он подслеповато поморгал, взгляделся и расплылся в широчайшей беззубой улыбке.

— Чарли!

— Полковник, это Дуглас и Джон, они пришли, чтобы...

— Рад вам, ребята. Садитесь, садитесь. Мальчики неловко уселись на пол.

— Но где же... — начал было Дуглас. Чарли поспешно ткнул его локтем в бок.

— Ты о чем? — спросил полковник Фрилей.

— Он хотел сказать, где же толк, если мы сами будем говорить. — Чарли украдкой подмигнул Дугласу, потом улыбнулся полковнику. — Нам совсем нечего сказать, полковник. Лучше вы расскажите нам что-нибудь.

— Берегись, Чарли. Мы, старики, только и ждем случая поговорить. Только попроси — и пойдем трещать, будто старый ржавый лифт: закряхтел да и пополз вверх с этажа на этаж.

— Чин Линсу, — словно невзначай сказал Чарли.

— Как? — переспросил полковник.

— Бостон, — подсказал Чарли. — Девятьсот десятый год.

— Бостон, девятьсот десятый... — Полковник нахмурился. — Ну да, конечно, Чин Линсу!

— Да, сэр, полковник Фрилей.

— Дайте-ка мне вспомнить... — Старик невнятно забормотал, голос его словно уносился вдаль, над безмятежными водами тихого озера... —

Дайте-ка мне вспомнить...

Мальчики ждали.

Полковник глубоко вздохнул, еще помедлил...

— Первое октября десятого года, тихий прохладный осенний вечер, театр варьете в Бостоне... Да, так оно и было. Народу — битком, и все ждут. Оркестр, трубы, занавес! Чин Линсу, великий восточный маг и чародей! Вот он, на сцене. А вот я, в середине первого ряда. Он кричит: «Фокус с пулей! Кто хочет попробовать?» Мой сосед встает и идет к сцене. «Осмотрите ружье, — говорит Чин Линсу. — Теперь пометьте пулю. Вот так. Теперь стреляйте меченой пулей из этого самого ружья прямо мне в лицо, а я буду стоять на другом конце сцены и поймаю пулю зубами!»

Полковник Фрилей перевел дух и умолк.

Дуглас глядел на него во все глаза, изумленный и зачарованный. Джон Хаф и Чарли совсем оцепенели. Старик снова заговорил, он сидел неподвижно, точно каменный, только губы шевелились.

— «Готовься, целься, пли!» — кричит Чин Линсу. Трах! Гремит ружье. Трах! Чин Линсу вскрикивает, шатается, падает, лицо залито кровью. Шум, гам, ад крошечный, все вскакивают на ноги. Что-то неладно с ружьем. Кто-то говорит: «Мертв». И верно. Мертв. Ужасно, ужасно... Никогда не забуду... Лицо точно алая маска, занавес быстро опускается, женщины плачут... Девятьсот десятый год... Бостон... Театр варьете... Бедняга... Бедняга...

Полковник Фрилей медленно открывает глаза.

— Бог ты мой, полковник, — говорит Чарли. — Вот уж здорово так здорово. А теперь хорошо бы про Поуни Билла.

— Про Поуни Билла?

— Вы тогда еще были в прериях, давно, в восемьсот семьдесят пятом...

— Поуни Билл... — Полковник ощупью двигался во тьме. — Тысяча восемьсот семьдесят пятый... Да, мы с Поуни Биллом ждем на пригорке, в самом сердце прерии... «Шш-ш, — говорит Поуни Билл. — Слушай!» Прерия — как огромная сцена, все готово, пора начинаться грозе. Раскат грома. Сначала глухой. Еще раскат. На этот раз ближе, громче. И во всю ширь прерии, насколько хватает глаз, надвигается злобная буря, полная черных молний, — стелется низко-низко, миль пятьдесят в ширину, миль пятьдесят в длину, миль в высоту и всего на дюйм от земли. А я стою на пригорке и кричу: «Господи, помилуй!» Земля бьется, точно обезумевшее сердце, ребятки, точно сердце, охваченное ужасом. Я трясусь как осиновый лист. Земля дрожит. Трах-тарарах, грохочет гром. Так и

громыхает. Ох, как она гремела, эта гроза, и все надвигалась, наступала и весь мир закрыла эта туча. «Это они!» — кричит Поуни Билл. И туча эта была не туча, а песок! Не пар, не дождь, нет, а песок, его взмело со всей прерии, с высохшей жухлой травы, он был как мука самого тонкого помола, как цветочная пыльца, и так и сверкал на солнце, потому что теперь и солнце появилось в небе. Я опять как закричу... Отчего? Да оттого, что эту пыль будто адское пламя пронизало, будто занавес отдернули на свету — и тут я их увидел, клянусь вам, увидел своими глазами! То было великое войско древних прерий — бизоны и буйволы!

Полковник умолк; когда тишина стала невыносимой, он продолжал:

— Головы — точно кулаки великана-негра, туловища — как паровозы. Будто на западе выстрелили двадцать, пятьдесят, двести тысяч пушек, и снаряды сбились с пути и мчатся, рассыпая огненные искры, глаза у них как горящие угли, и вот сейчас они с грохотом канут в пустоту...

Пыль взметнулась к небу, смотрю — развеваются гривы, проносятся горбатые спины — целое море, черные косматые волны вздымаются и опадают... «Стреляй! — кричит Поуни Билл. — Стреляй!» А я стою и думаю — я ж сейчас как божья кара... и гляжу, а мимо бешеным потоком мчится яростная силища, точно полночь среди дня, точно нескончаемая похоронная процессия, черная и сверкающая, горестная и невозвратимая, а разве можно стрелять в похоронную процессию, как вы скажете, ребята? Разве это можно? В тот час я хотел только одного — чтобы песок снова скрыл от меня эти черные, грозные силуэты судьбы, как они сталкиваются и бьются друг о друга в диком смятении. И представьте, ребята, пыль и правда осела и скрыла миллион копыт, которые подняли весь этот гром, вихрь и бурю. Поуни Билл, выругался да как стукнет меня по руке! Но я был рад, что не тронул эту тучу или силу, которая скрывалась в ней, ни единой крупинкой свинца. Так бы все и стоял и смотрел, как само время катит мимо на громадных колесах, под покровом бури, что подняли бизоны, и уносится вместе с ними в вечность.

Час, три, шесть часов прошло, пока буря не унеслась за горизонт к людям, не таким добрым, как я. Поуни Билл куда-то исчез, я остался один, я совсем оглох и словно окаменел. Потом пошел, сто миль на юг шел до ближайшего города, и не слышал человеческих голосов, и рад был, что не слышу. Хотелось, чтоб в ушах еще звучал этот гром. Я и сейчас его слышу, особенно летом, вот в такие дни, как нынче, когда над озером стеной стоит дождь... устрашающий, ни на что не похожий грохот... Вот бы и вам когда-нибудь его услышать...

В полумраке большой нос полковника Фрилея чуть просвечивал,

словно белая фарфоровая чашка, в которую налили очень слабого и чуть теплого апельсинового чая.

— Он заснул? — спросил наконец Дуглас.

— Нет, — ответил Чарли. — Просто перезаряжает свои батареи.

Полковник дышал часто и неглубоко, как будто запыхался от долгого бега. Потом он открыл глаза.

— Да, сэр? — восторженно сказал Чарли.

— Здравствуй, Чарли! — И полковник недоуменно улыбнулся остальным ребятам.

— Это Дуглас, а вот это — Джон, — сказал Чарли.

— Рад познакомиться, мальчики. Мальчики поздоровались.

— Но где же... — начал снова Дуглас.

— Ох и дурак же ты! — Чарли ткнул Дугласа в бок, потом повернулся к полковнику: — Вы говорили, сэр...

— Я что-то говорил? — пробормотал старик.

— Про войну Севера и Юга, — вполголоса подсказал Джон Хаф. — Он ее помнит?

— Помню ли я гражданскую войну? — встрепенулся полковник. — Ну еще бы! — Голос его задрожал, и он снова закрыл глаза. — Все, все помню, вот только... на чьей же стороне я сражался?

— А какого цвета у вас был мундир?.. — спросил Чарли.

— Цвета начинают путаться, — прошептал полковник. — Они тускнеют. Я вижу рядом солдат, но уже давно не помню, какие на них шинели и кепи — серые или синие. Я родился в штате Иллинойс, учился в Вирджинии, женился в Нью-Йорке, дом построил в Теннесси, а теперь, под конец жизни, слава богу, опять здесь, в Гринтауне. Теперь вы понимаете, почему у меня все цвета перепутались?

— Но ведь вы помните, по какую сторону гор дрались? — Чарли говорил совсем тихо. — Солнце вставало справа от вас или слева? Вы шли к Канаде или к Мексике?

— Иногда солнце вроде бы вставало со стороны моей здоровой руки, правой, а иногда — из-за левого плеча. И шли мы то туда, то сюда. Тому теперь уж лет семьдесят. За такой долгий срок немудрено и позабыть, с какой стороны всходило солнце.

— Ну а победы вы какие-нибудь помните? Выиграли же вы хоть какое-нибудь сражение?

— Нет, не припомню, — словно откуда-то издали прозвучал голос старого полковника. — Никто никогда ничего не выигрывает. В войне вообще не выигрывают, Чарли. Все только и делают, что проигрывают, и

кто проиграет последним, просит мира. Я помню лишь вечные проигрыши, поражение и горечь, а хорошо было только одно — когда все кончилось. Вот конец — это, можно сказать, выигрыш, Чарльз, но тут уж пушки ни при чем. Хотя вы-то, конечно, не про такие победы хотели услышать, правда?

— Антайтем, — сказал Джон Хаф. — Спроси его про Антайтем.

— Я там был.

У мальчиков заблестели глаза.

— Булл Ран, спроси его про Булл Ран...

— Я там был, — очень тихо сказал полковник.

— А как насчет Шайло?

— Я всю жизнь его вспоминаю и говорю себе: стыд и срам, что такое красивое название сохранилось только в старой военной хронике.

— Ну, значит, про Шайло. А форт Самтер?

— Я видел там первые клубы порохового дыма, — мечтательно сказал полковник. — Многое приходит на память, очень многое... Помню песни: «На Потомаке нынче тихо, солдаты мирно спят; под осеннюю луною палатки их блестят...» Помню, помню и дальше: «На Потомаке нынче тихо, лишь плещет волна; часовым убитым не встать ото сна...» А когда они капитулировали, мистер Линкольн вышел на балкон Белого дома и попросил оркестр сыграть «Будьте на страже...» А потом одна леди из Бостона как-то ночью сочинила песню, которая будет жить тысячу лет:

«Видели мы воочию — господь наш нисходит с неба; он попирает лозы, где зреют гроздья гнева...» По ночам я, сам не знаю отчего, начинаю шевелить губами и пою про себя:

«Слава вам, слава, воины Дикси! Стойте на страже родных побережий...» и «Когда герои наши с победой возвратятся, их увенчают лавры, их встретит гром оваций...» Сколько песен! Их пели обе стороны, ночной ветер относил их то на юг, то на север... «Мы идем, отец наш, Авраам, триста тысяч воинов идут», «Станем лагерем, ребята, разобьем палатки...», «Ура, ура, несем свободы знамя...»

Голос старого вояки постепенно затих.

Мальчики долго не шевелились. Потом Чарли повернулся к Дугласу и спросил:

— Ну что, да или нет?

Дуглас два раза шумно вздохнул и ответил:

— Конечно, да. Полковник открыл глаза.

— Что — да? — спросил он.

— Конечно, вы — Машина времени, — пробормотал Дуглас.

Полковник долго смотрел на мальчиков. Потом спросил почти со страхом:

— Так вот как вы меня называете?

— Да, так, сэр.

— Да, сэр.

Полковник медленно откинулся на спинку кресла, посмотрел на мальчиков, потом на свои руки, потом уставился поверх мальчишечьих голов на голую стену.

Чарли встал.

— Пожалуй, нам пора. Всего хорошего, полковник, спасибо вам.

— Что? Да, всего хорошего, ребята.

Дуглас, Джон и Чарли на цыпочках направились к двери.

Они прошли мимо полковника, прямо перед ним, но он их словно и не видел.

Когда они вышли на улицу, из окна второго этажа раздалось:

— Эй!

Все трое вздрогнули и задрали головы.

— Да, сэр.

Полковник высунулся из окна и помахал им рукой.

— Я думал о том, что вы мне сказали, ребята.

— Да, сэр.

— Вы совершенно правы! Как это мне самому не пришло в голову? Машина времени, право слово, ну, конечно, Машина времени!

— Да, сэр.

— Всего доброго, мальчики. Приходите когда вздумается, в любой час.

В конце улицы они обернулись — полковник все еще махал им рукой из окна. Они помахали ему в ответ, всем троим стало как-то тепло и приятно. Потом пошли дальше.

— Пф-ф, пффф, — запыхтел Джон. — Сейчас уеду в прошлое, за двенадцать лет. Ду-у-у-у-у! Пффф, пффф.

— Ага, верно, — сказал Чарли, оглядываясь на тихий дом. — А вот за сто лет не уедешь.

— Да, за сто не могу, — задумчиво согласился Джон. — Вот это было бы путешествие! Вот это Машина!

С минуту они шагали в молчании, глядя себе под ноги. Потом перед ними оказался забор.

— Кто перепрыгнет последний, тот девчонка, — сказал Дуглас.

И всю остальную дорогу домой они называли Дугласа Дорой.

Том проснулся далеко за полночь и увидел, что Дуглас поспешно пишет что-то в своем блокноте при свете карманного фонарика.

— Дуг, что случилось?

— Как что? Все случилось! Я подсчитываю свои удачи, Том. Вот смотри: Машина счастья не получилась, так? Но мне наплевать, у меня все равно целый год уже расписан. Если надо побегать по главным улицам Гринтауна, чтобы поглядеть вокруг и подсмотреть, что делается в мире, у меня есть трамвай. А если надо покрутиться где-нибудь по окраинам — стучусь к мисс Роберте и мисс Ферн, они заряжают батареи своего электрического автомобильчика — и поехали! Надо побегать по проулкам или перепрыгнуть через забор и посмотреть, что там делается, за заборами, за домами, за садами, — пожалуйста, на то есть новехонькие теннисные туфли. Значит, так: туфли. Зеленый автомобильчик и трамвай. Чего мне еще надо? Но и это не все, Том. Слушай: я хочу пробраться в такое место, куда никому другому не пробраться, никто до этого и не додумается. Если я отправлюсь в тысяча восемьсот девяностый год, потом перескочу в тысяча восемьсот семьдесят пятый, а потом — в тысяча восемьсот шестидесятый, я как раз поспею на экспресс полковника Фрилея! Вот слушай, что я про это пишу: «Может быть, старики никогда не были детьми, хоть миссис Бентли и спорит, но маленькие они были или большие, а кто-нибудь из них наверняка стоял у Аппоматокса летом тысяча восемьсот шестьдесят пятого года». И у таких зрение — как у индейцев, и они видят назад много дальше, чем мы с тобой когда-нибудь увидим вперед.

— Звучит здорово. Дуг. А что это значит? Дуглас продолжал писать.

— Это значит, что они — настоящие путешественники, нам с тобой нипочем с ними не сравниться. Если уж очень повезет, мы сможем путешествовать лет сорок, ну пятьдесят, а для них это пустяки. Вот кто ездит девяносто лет, девяносто пять, сотню, тот самый настоящий путешественник.

Фонарик мигнул и погас.

Братья тихо лежали в лунном свете.

— Том, — шепнул Дуглас. — Мне непременно надо испробовать все эти пути. Увидеть все, что только можно. Но главное — мне надо навещать полковника Фрилея хоть раз в неделю, а может, и два, и три раза. Он лучше всех других Машин. Он говорит, а ты знай слушай. И чем больше он говорит, тем больше хочется присмотреться ко всему, что есть вокруг, и все-все разглядеть, все, что можно. Он говорит — ты, мол, едешь в таком особенном, необыкновенном поезде — и верно, так оно и есть! Он и сам в

нем ездил, и все знает. А теперь мы с тобой едем по той же дороге, только еще дальше, и надо столько всего увидеть, и понюхать, и потрогать! Вот и нужно, чтобы полковник Фрилей нас подтолкнул и сказал: мол, смотрите в оба, запоминайте все-все, каждую секунду! Помнить надо все, что только есть на свете. А потом когда-нибудь сам будешь старый-старый, и к тебе придут ребята, и ты им тоже поможешь, как полковник нам помогает. Вот как оно получается, Том, и мне надо побольше его слушать и почаще пускаться с ним в самые дальние путешествия.

Том помолчал. В темноте он старался разглядеть лицо брата. Потом спросил:

— Дальние путешествия. Ты это сам придумал?

— Может, да, а может, и нет.

— Дальние путешествия, — прошептал Том.

— Одно я точно знаю, — сказал Дуглас, закрывая глаза. — От этого почему-то тоска берет, как-то одиноко становится.

Бац!

Хлопнула дверь. На чердаке со старых письменных столов и книжных шкафов взметнулась пыль. Две старушки навалились на дверь чердака, стараясь запереть ее покрепче. Казалось, у них над головами взмыла вверх тысяча голубей. Старушки согнулись, точно под тяжкой ношей, чтобы их не задела громко хлопающие крылья. Потом выпрямились, удивленно раскрыли рты. Нет, это не голуби, это от страха оглушительно стучат их собственные сердца... Стараясь перекричать этот гром, они заговорили:

— Что мы наделали! Бедный мистер Куотермейн!

— Мы, наверно, его убили! И наверно, кто-нибудь это видел и погнался за нами. Давай посмотрим.

Мисс Ферн и мисс Роберта выглянули в затянутое паутиной чердачное окошко. Внизу, озаренные солнцем, по-прежнему росли дубы и вязы, точно и не случилось страшного несчастья. Мальчишка прошел мимо по тротуару, вернулся, еще раз прошел мимо и, задрвав голову, посмотрел вверх.

На чердаке старушки взглянули друг на друга, будто пытались разглядеть свои лица в быстром ручье.

— Полиция!

Но внизу никто не барабанил во входную дверь, никто не кричал: «Именем закона!»

— Что это за мальчишка?

— Дуглас, Дуглас Сполдинг! Батюшки мои, это он пришел попросить нас прокатить его на Зеленой машине! Он ничего не знает. Наша

собственная гордыня нас погубила. Гордыня и эта электрическая штукавина!

— И тот ужасный коммивояжер из Гампорт Фолса. Это он во всем виноват со своими уговорами.

Уговоры, разговоры, точно теплый дождик стучит по крыше.

Им вдруг вспомнился другой день, другой полдень. Они сидят на своей увитой плющом веранде, обмахиваются белыми веерами, а перед ними полные тарелки прохладного, вздрагивающего лимонного желе.

И вот из слепящего солнечного блеска, сверкающая, великолепная, точно карета сказочного принца, возникла...

ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА!

Она скользила. Она что-то нашептывала, ласково, точно морской ветерок. Изящная, словно кленовый лист, свежая, словно ключевая вода, она мурлыкала как кошка, величаво выступая в знойных полуденных лучах. А в машине — коммивояжер из Гампорт Фолса, его напомаженную голову осеняет панاما. Машина на резиновом ходу, она мягко и ловко скользит по выжженному солнцем добела тротуару; вот она, жужжа, подлетает прямо к нижней ступеньке крыльца, вихрем разворачивается и замирает. Выскочил коммивояжер, поскорей надвинул панаму на лоб, спасаясь от солнца. В тени широких ее полей блеснула улыбка.

— Меня зовут Уильям Тара! А это... (он нажал грушу, раздался отрывистый лай)... это сигнал. — Он приподнял черные, блестящие, как шелк, подушки. — Здесь — аккумуляторные батареи! (Пахнуло свежестью, как после грозы.) — Вот стартер. Сюда ставят ноги. Это — тент, защита от солнца. А все вместе — Зеленая машина!

Старушки на темном чердаке вздрогнули, вспоминая все это. Глаза у них были закрыты.

— И почему мы не закололи его вязальными спицами!

— Ш-ш! Слышишь?

Внизу кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился. Через двор прошла женщина и скрылась в соседнем доме.

— Да это Лавиния Неббс, и в руках у нее пустая чашка. Наверно, хотела занять у нас сахару.

— Обними меня, мне страшно.

Они опять зажмурились. И вновь замелькали воспоминания. Старая соломенная шляпа на кованом сундуке вдруг шевельнулась, точно ею помахал тот коммивояжер из Гампорт Фолса.

— Чайку прямо с ледника? Спасибо, с удовольствием выпью.

В тишине слышно было, как он глотал прохладительное питье. Потом

установился на старушек, точно доктор, который с помощью своего круглого зеркала заглядывает вам в глаза, в нос и в горло.

— Уважаемые дамы, обе вы — весьма энергичные особы. Это сразу видно. Восемьдесят лет для вас — чистые пустяки! (Он пренебрежительно щелкнул пальцами.) Но имейте в виду: настанут трудные времена, вам будет некогда, ужасно некогда, и вам понадобится друг; друг в беде — истинный друг, не так ли? И этим другом станет для вас двухместная Зеленая машина!

И он устремил сверкающий взор на свой удивительный товар — глаза у него тоже были зеленые, стеклянные, точно у чучела лисы. Машина блестела на солнце, новенькая, еще пахнувшая краской, и ждала их; удобная, уютная, точно козетка из гостиной, поставленная на колеса.

— В ней спокойно, как на пуховой перине. — Его дыхание мягко касалось их лиц. — Послушайте. Ни звука, ни шороха! Все электрическое. Надо только каждый вечер перезаряжать батареи у себя в гараже.

— А вдруг она... то есть... — Младшая сестра отпила глоток ледяного чая. — А не может она убить нас током?

— Совершенно исключено!

Он кинулся в машину, улыбаясь во весь рот, зубы его сверкали; когда поздно вечером возвращаешься домой, так улыбается навстречу реклама зубного порошка.

— В гости, на чашку чая! — Машина описала грациозный круг, точно тур вальса. — В клуб, поиграть в бридж. Провести вечер с друзьями. На праздник. На званый обед. На день рождения. На завтрак «Дочерей американской революции». — Машина упорхнула, с мягким рокотом покатила прочь, точно готовая скрыться навсегда, но тут же неслышно развернулась на своих резиновых шинах и подкатила к крыльцу. Коммивояжер сидел гордый тем, что так прекрасно понимает женскую натуру. — Управлять ею легко. Трогается с места и тормозит изящно и бесшумно. Не требует водительских прав. В жаркие дни ее продувает ветерком. Да что говорить — не машина, а мечта! — Машина скользила мимо крыльца, взад и вперед, а он сидел, закинув голову, самозабвенно закрыв глаза, напомаженные волосы его развевались по ветру.

Потом он устало и почтительно взошел по ступеням на веранду, держа панаму в руке, оглянулся и посмотрел на машину, блистательно выдержавшую все испытания, как смотрит верующий на алтарь с детства знакомой церкви.

— Сударыни, — сказал он вкрадчиво. — Двадцать пять долларов единовременно, и потом, на протяжении двух лет, по десять долларов в

месяц.

Ферн первой сошла с крыльца и села в машину. Конечно, ей было страшновато. Но у нее чесались руки. Наконец она подняла руку и отважилась нажать резиновую грушу сигнала.

Раздался отрывистый лай.

Роберта восторженно взвизгнула и перегнулась через перила крыльца.

Коммивояжер ликовал вместе с ними. Он свел старшую сестру с крыльца, шумно восторгался машиной и в то же время доставал перо и шарил в своей панаме в поисках какого-нибудь клочка бумаги.

— Вот так мы ее и купили, — вспоминала теперь на чердаке мисс Роберта, сама ужасаясь столь дерзкому поступку. — Все это надо было предвидеть! Да я-то всегда считала, что в этой машине есть что-то сумасбродное, как в карусели, которую привозит с собой бродячий цирк.

— Но ты же знаешь, у меня уже столько лет болит нога, — точно оправдываясь, возразила Ферн. — Да и ты всегда устаешь, когда ходишь пешком. И мне казалось, что ездить в машине — это так утонченно, так величественно. Будто в старину, когда женщины носили кринолины. Они словно плыли по воздуху! И наша Зеленая машина тоже плыла, так ровно и величаво!

Точь-в-точь маленькая лодочка, управлять на диво легко — знай себе поворачивай рукоятку, только и всего.

Ах, какая это была чудесная, упоительная неделя — волшебные дни, полные золотого света: машина, жужжа, проплывает по тенистому городу, словно лодка по сонной, недвижной реке, а ты сидишь, гордо выпрямившись, улыбаешься встречным знакомым, невозмутимо выбрасываешь морщинистую руку при каждом повороте, а на перекрестках выжимаешь из резиновой груши хриплый лай; порой берешь прокатиться Дугласа или Тома Сполдинга или еще какого-нибудь мальчишку из тех, что, весело болтая, бегут рядом с машиной. Предельная скорость — пятнадцать неспешных и приятнейших миль в час. Так они катили сквозь летнее солнце и сквозь тени, а мимо проплывали деревья, бросая на их лица мимолетные пятна и блики, и вновь машина появлялась и вновь исчезала, точно древний призрак на колесах.

— И надо же, чтобы сегодня... — прошептала Ферн. — Ах, надо же!

— Это был несчастный случай.

— Да, но мы удрали, а это уже преступление. Это случилось сегодня. Пахло кожаными подушками сиденья и еще их собственными привычными старыми духами, которыми за десятки лет пропахло все их белье и

платье, — этот запах струился вслед, когда Зеленая машина бесшумно двигалась по маленькому, оглушенному зноем городку.

Все произошло очень быстро. Улицы накалил зной, поэтому в полдень, когда укрыться от палящего солнца можно было только в тени деревьев, что нависали из соседних садов, машина мягко вкатилась на тротуар и дошла до угла, сигналив изо всех сил. И вдруг, точно чертик из коробочки, перед ней неизвестно откуда вырос мистер Куотермейн.

— Осторожно! — взвизгнула мисс Ферн.

— Осторожно! — взвизгнула мисс Роберта.

— Осторожно! — взвизгнул мистер Куотермейн.

Старушки в ужасе ухватились друг за друга, хотя хвататься нужно было, конечно, за тормоза.

Устрашающий глухой удар. Зеленая машина покатила дальше в ярком солнечном свете, под тенистыми каштанами, мимо яблонь, на которых уже наливались яблоки. Один только раз старушки оглянулись — и то, что они увидели, наполнило их души несказанным ужасом.

Куотермейн лежал на тротуаре, немой и неподвижный.

— Дожили! — горестно говорила теперь мисс Ферн, сидя на чердаке, где сгущалась тьма. — Ох, почему мы не остановились! Зачем мы удрали!

— Ш-ш! — Обе прислушались. Внизу опять кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился, и в тусклом свете сумерек по лужайке прошел мальчик.

— Это только Дуглас Сполдинг — наверно, хотел еще разок прокатиться.

И обе тяжело вздохнули.

Проходили часы. Солнце клонилось к закату.

— Мы торчим здесь целый день, — устало сказала наконец Роберта. — Но не можем же мы просидеть на чердаке три недели, пока все забудут, что случилось.

— Мы просто умрем с голоду.

— Что же нам делать? Как ты думаешь, кто-нибудь видел и выследил нас?

Они поглядели друг на друга.

— Нет. Никто не видел.

Город затихал, во всех домишках зажигались огни. Снизу доносился запах политой травы и стряпни — всюду готовили ужин.

— Пора ставить мясо на плиту, — сказала мисс Ферн. — Через десять минут вернется Фрэнк.

— Очень страшно идти вниз.

— Если Фрэнк увидит, что нас нет, он позвонит в полицию. Тогда будет еще хуже.

За окном быстро темнело. Теперь они уже и друг друга не могли разглядеть в туманной мгле.

— Как ты думаешь, он умер? — спросила мисс Ферн.

— Мистер Куотермейн? Молчание.

— Кто же еще...

Роберта ответила не сразу:

— Посмотрим в вечерней газете. Они открыли дверь чердака и опасно оглядели лестницу.

— Если Фрэнк узнает, он отнимет у нас Зеленую машину... А в ней так приятно ездить... видишь весь город, и прохладный ветерок обдувает лицо...

— А мы ему не скажем.

— Не скажем?

Поддерживая друг дружку, они спустились по скрипучим ступеням, то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Добрались до кухни, заглянули в кладовую, испуганными глазами посмотрели во все окна и наконец принялись поджаривать бифштекс. Минут пять прошло в молчании, потом Ферн грустно подняла глаза на Роберту.

— Я вот все думаю. Мы старые и немощные, а признаваться в этом не хочется даже самим себе. Мы стали опасны для общества. И виноваты, что удрали...

— Как же быть?

И вновь воцарилось молчание; забыв о шипящей сковородке, сестры глядели друг на друга.

— Мне кажется... — Ферн долго не отрывала глаз от стены, — нельзя нам больше ездить на Зеленой машине.

Высохшей рукой Роберта взяла со стола тарелку, да так и застыла.

— Никогда?

— Никогда.

— Но разве... разве мы должны... совсем от нее отказаться? Может, хотя бы оставим ее у себя? Ферн подумала.

— Это, наверно, можно.

— Все-таки утешение. Пойду выключу батареи. В дверях Роберта столкнулась с Фрэнком, их младшим братом, всего пятидесяти шести лет от роду.

— Добрый вечер, сестрички! — крикнул он. Роберта молча

протиснулась мимо него в дверь и, вышла в теплый сумрак. Брат принес газету, Ферн тотчас выхватила ее у него из рук. Вся дрожа, она лихорадочно шарила глазами по страницам и наконец со вздохом отдала газету Фрэнку.

— Сейчас видел на улице Дугласа Сполдинга. Он просил передать вам обеим, чтобы вы не беспокоились: он все видел и все в порядке. Что это, собственно, значит?

— Понятия не имею.

Ферн отвернулась и принялась искать в кармане носовой платок.

— Ох уж эти мне мальчишки!

Фрэнк долго смотрел в спину сестре, потом пожал плечами.

— Похоже, что скоро ужинать? — спросил он добродушно.

— Да, сейчас. Ферн накрыла на стол.

Во дворе рывкнул автомобильный рожок. Раз, другой, третий — глухо, словно издали.

— Это еще что такое? — Фрэнк выглянул из окна кухни в темноту. — Что там делает Роберта? Смотри-ка, она сидит в Зеленой машине и тычет пальцем в резиновую грушу.

В темноте негромко и жалобно, точно крик раненого звереныша, раздался сигнал машины, потом еще и еще.

— Что это с ней стряслось? — строго спросил Франк.

— Оставь ее в покое! — закричала Ферн. Франк удивленно поднял брови. Через минуту в кухню тихонько, ни на кого не глядя, вошла Роберта, и все трое сели ужинать.

Раннее-раннее утро, первые отсветы зари на крыше за окном. Все листья на деревьях вздрагивают, отзываясь на малейшее дуновение предрассветного ветерка. И вот где-то далеко, из-за поворота, на серебряных рельсах появляется трамвай, покачиваясь на четырех маленьких серо-голубых колесах, ярко-оранжевый, как мандарин. На нем эполеты мерцающей меди и золотой кант проводов, и желтый звонок громко звякает, едва допотопный вожатый стукнет по нему ногой в стоптанном башмаке. Цифры на боках трамвая и спереди ярко-золотые, как лимон. Сиденья точно поросли прохладным зеленым мхом. На крыше словно занесен огромный кучерской бич, на бегу он скользит по серебряной паутине, протянутой высоко среди деревьев. Из всех окон, будто ладаном, пахнет всепроникающим голубым и загадочным запахом летних гроз и молний.

Трамвай звенит вдоль окаймленных вязами улиц, и обтянутая серой перчаткой рука вожатого опять и опять легко касается рукояток.

В полдень вожатый остановил вагон посреди квартала и высунулся в окошко.

— Эй!

И, завидев призывный взмах серой перчатки, Дуглас, Чарли, Том, все мальчишки и девчонки всего квартала кубарем скатились с деревьев, побросали в траву скакалки (они так и остались лежать, словно белые змеи) и побежали к трамваю; они расселись по зеленым плюшевым сиденьям, и никто с них не спросил никакой платы. Мистер Тридден, вожатый, положил перчатку на щель кассы и повел трамвай дальше по тенистым улицам, громко звякая звонком.

— Эй, — сказал Чарли, — куда это мы едем?

— Последний рейс, — ответил Тридден, глядя вперед на бегущие высоко над вагоном провода. — Больше трамвая не будет. Завтра пойдет автобус. А меня отправляют на пенсию, вот как. И потому покатайтесь напоследок, всем бесплатно! Осторожно!

Он рывком повернул медную рукоятку, трамвай заскрипел и круто свернул, описывая бесконечную зеленую петлю, и само время на всем белом свете замерло, только Тридден и дети плыли в его удивительной машине куда-то далеко по нескончаемой реке...

— Напоследок? — переспросил удивленный Дуглас. — Да как же так? И без того все плохо. Зеленой машины больше нет, ее заперли в гараже, и никак ее оттуда не вызволишь! И мои новые теннисные туфли уже становятся совсем старыми и бегут все медленнее и медленнее! Как же я теперь буду? Нет, нет... Не могут они убрать трамвай! Что ни говори, автобус — это не трамвай! Он и шумит не так, рельсов у него нет, проводов нет, он и искры не разбрасывает, и рельсы песком не посыпает, да и цвет у него не такой, и звонка нет, и подножку он не спускает!

— А ведь верно, — подхватил Чарли. — Страх люблю смотреть, когда трамвай спускает подножку: прямо гармоника!

— То-то и оно, — сказал Дуглас.

Тут они приехали на конечную остановку; впрочем, серебряные рельсы, заброшенные восемнадцать лет назад, бежали среди холмов дальше. В тысяча девятьсот десятом году трамваем ездили на загородные прогулки в Чесмен-парк, прихватив огромные корзины с провизией. С тех пор рельсы так и остались ржаветь среди холмов.

— Тут-то мы и поворачиваем назад, — сказал Чарли.

— Тут-то ты и ошибся! — И мистер Тридден щелкнул выключателем аварийного генератора. — Поехали!

Трамвай дернулся, скользнул по рельсам и, оставив позади городские окраины, покатился вниз, в долину; он то вылетал на душистые, залитые солнцем лужайки, то нырял под тенистые деревья, где пахло грибами. Там и сям колею пересекали ручейки, солнце просвечивало сквозь листву деревьев, точно сквозь зеленое стекло. Вагон, тихонько бормоча что-то про себя, скользил по лугам, усеянным дикими подсолнухами, мимо давно заброшенных станций, усыпанных, словно конфетти, старыми трамвайными билетами, и вслед за лесным ручьем устремлялся в летние леса.

— Трамвай — он даже пахнет по-особенному, — говорил Дуглас. — Ездил я в Чикаго на автобусах: у тех какой-то чудной запах.

— Трамвай чересчур медленно ходит, — сказал мистер Тридден. — Вот они и хотят пустить по городу автобусы. И ребят в школу тоже станут возить в автобусах.

Трамвай взвизгнул и остановился. Тридден достал сверху корзину с провизией. Ребята восторженно завопили и вместе с ним потащили корзину на траву, туда, где ручей впадал в молчаливое озеро; здесь некогда поставили эстраду для оркестра, но теперь она совсем рассыпается в прах.

Они сидели на траве, уплетали сандвичи с ветчиной, свежую клубнику и яркие, блестящие, точно восковые, апельсины, и Тридден рассказывал, как много лет назад тут по вечерам на разукрашенной эстраде играл оркестр: музыканты изо всех сил трубили в медные трубы, толстенький дирижер, обливаясь потом, усердно размахивал палочкой; в высокой траве гонялись друг за другом ребяташки и мелькали светлячки, а по дощатым мосткам, постукивая каблуками, будто играя на ксилофоне, расхаживали дамы в длинных платьях с высокими стоячими воротниками и мужчины в таких тесных накрахмаленных воротничках, что того и гляди задохнутся. Вот они, остатки этих мостков, только за долгие годы доски сгнили и превратились в какое-то деревянное месиво... Озеро лежало молчаливое, голубое и безмятежное, рыба медленно плескалась в блестящих камышах, а вагоновожатый все говорил и говорил, и детям казалось, что они перенеслись в какое-то иное время, и мистер Тридден стал вдруг на диво молодой, а глаза у него горят, как голубые электрические лампочки. День проплывал сонно, бестревожно, никто никуда не спешил, со всех сторон их обступал лес, и даже солнце словно остановилось на одном месте, а голос Триддена поднимался и падал, и стрекозы сновали в воздухе, рисуя золотые невидимые узоры. Пчела забралась в цветок и жужжит, жужжит... Трамвай стоял молчаливый, точно заколдованный орган, поблескивая в солнечных лучах. Ребята ели спелые вишни, а на руках у них все еще держался медный

запах трамвая. И когда теплый ветерок шевелил на них одежду, от нее тоже остро пахло трамваем.

В небе с криком пролетела дикая утка.

Кто-то вздрогнул.

— Ну, пора домой. Отцы да матери, чего доброго, подумают, что я вас украл.

В темном трамвае было тихо и прохладно, совсем как в аптеке, где торгуют мороженым. Присмирившие ребята повернули зашуршавшие плюшевые сиденья и уселись спиной к тихому озеру, к заброшенной эстраде и дощатым мосткам, которые выстукивают под ногами звонкую деревянную песенку, если идти по ним вдоль берега в иные страны.

Дзинь! Под башмаком Триддена звякнул звонок, и трамвай помчался назад, через луг с увядшими цветами, откуда уже ушло солнце, через лес и город, и тут кирпич, асфальт и дерево словно стиснули его со всех сторон; Тридден затормозил и выпустил детей на тенистую улицу.

Чарли и Дуглас последними остановились у открытой двери перед тем, как ступить на складную подножку; они жадно втягивали ноздрями воздух, пронизанный электричеством, и не сводили глаз с перчаток Триддена на медной рукоятке.

Дуглас погладил зеленый бархатный мох сиденья, еще раз оглядел серебро, медь, темно-красный, как вишня, потолок.

— Что ж... До свиданья, мистер Тридден!

— Всего вам доброго, ребята.

— Еще увидимся, мистер Тридден.

— Еще увидимся.

Раздался негромкий вздох — это закрылась дверь. Подобрал длинный рубчатый язык складной подножки, трамвай медленно поплыл в послеполуденный зной, ярче солнца, весь оранжевый, как мандарин, сверкающий золотом рукояток и цифр на боках; свернул за дальний угол и скрылся, пропал из глаз.

— Развозить школьников в автобусах! — презрительно фыркнул Чарли, шагая к обочине тротуара. — Тут уж в школу никак не удастся опоздать. Придет за тобой прямо к твоему крыльцу. В жизни никуда теперь не опоздаешь! Вот жуть, Дуг, ты только подумай!

Но Дуглас стоял на лужайке и ясно видел, что будет завтра: рабочие зальют рельсы горячим варом, и потом никто даже не догадается, что когда-то здесь шел трамвай. Но нет, теперь и ему, и этим ребятам еще много-много лет не забыть этой серебряной дорожки, сколько ни заливай рельсы варом. Настанет такое утро, осенью ли, зимой или весной:

проснешься — и, если не подойти к окну, а остаться в теплой, уютной постели, непременно услышишь, как где-то далеко, чуть слышно бежит и звенит трамвай.

И в изгибе утренней улицы, на широком проезде, между ровными рядами платанов, вязов и кленов, в тишине, перед тем как начнется дневная жизнь, услышишь за домом знакомые звуки. Словно затикают часы, словно покатится с грохотом десяток железных бочонков, словно затрещит крыльями на заре большущая-пребольшущая стрекоза. Словно карусель, словно маленькая электрическая буря, словно голубая молния, мелькнет и исчезнет, зазвенит звонком трамвай! И зашипит, точно сифон с содовой, опуская и вновь поднимая подножку, — и вновь качнется сон, вагон поплывет своим путем, все дальше и дальше по своим потаенным, давно схороненным рельсам к какой-то своей потаенной, давно схороненной цели...

После ужина погоняем мяч? — спросил Чарли.

Ясно, — ответил Дуглас. — Ясно, погоняем.

Сведения о Джоне Хафе, двенадцати лет, очень просты и уместаются всего в нескольких строках. Он умел отыскивать следы не хуже любого следопыта из племени Чокто или Чероки, умел прыгнуть прямо с неба, как шимпанзе с лианы, оставался под водой целых две минуты и успевал за это время проплыть вниз по течению пятьдесят ярдов. Мячи, которые ему подавали, он отбивал прямо в яблони, и весь урожай градом сыпался на землю. Он перескакивал через шестифутовые заборы фруктовых садов, взлетал вверх по ветвям и, наевшись досыта персиков, спускался вниз быстрее всех мальчишек. Он умел смеяться на бегу. Свободно держался на лошади. Не задира. Добрая душа. Волосы у него были темные и кудрявые, а зубы — белые как сахар. Он помнил наизусть слова всех ковбойских песен и охотно учил им всякого, кто об этом попросит. Знал названия всех полевых цветов, знал, когда взойдет и зайдет луна, когда будет прилив и когда — отлив. Словом, для Дугласа Сполдинга Джон Хаф был единственным божеством, которое обитало в Гринтауне, штат Иллинойс, в двадцатом веке.

И вот они с Дугласом бродят за городом, день снова теплый и круглый, точно камешек, высоко над головой небо, точно голубая опрокинутая чаша, ручьи сверкающими прозрачными струями разбегаются по белым камням. Да, славный день, ясный и чистый, как огонек свечи.

Дуглас шел сквозь этот день и думал, что так будет вечно. Все вокруг

такое отчетливое, законченное. И запах травы летит прямо перед тобой со скоростью света. Рядом — друг, свистит, как скворец, подбрасывает ногой комья земли, а ты скачешь, точно верхом на лихом скакуне, по пыльной тропинке и звенишь в кармане ключами, и все необыкновенно хорошо, все можно потрогать рукой; все в мире близко и понятно, и так будет всегда.

Такой чудесный был этот день, и вдруг облако поползло по небу, закрыло солнце — и все вокруг потемнело.

Джон Хаф уже несколько минут негромко что-то говорил. И вот Дуглас остановился на тропинке как вкопанный и посмотрел на него.

— Погоди-ка: что ты сказал?

— Ты же слышал, Дуг.

— Ты и вправду... ты уезжаешь?

— У меня уж и билет есть на поезд, вот он, в кармане. Ду-ду-у! Пф-пф-пф, чух-чух-чух... Ду-ду-ду-у-у-у!

Голос его постепенно замер.

Джон торжественно вынул из кармана железнодорожный билет, и оба посмотрели на желто-зеленый кусочек картона.

— Сегодня! — сказал Дуглас. — Вот так раз! Мы ж сегодня собирались играть в светофор и в статуи! Как же это так вдруг? Весь век ты тут был, в Гринтауне. А теперь вдруг сорвешься и уедешь? Да как же это?!

— Понимаешь, — сказал Джон, — папа нашел работу в Милуоки. Но до сегодняшнего дня мы еще толком не знали...

— Вот так раз! Да ведь на той неделе баптисты устраивают пикник, а потом в День труда будет большой карнавал, а там канун Дня всех святых... Неужели твой папа не может подождать?

Джон покачал головой.

— Вот беда, — сказал Дуглас. — Дай-ка я сяду. Они уселись под старым дубом, на той стороне холма, откуда виден был город, и стали глядеть вниз, а солнце разбрасывало вокруг них широкие дрожащие тени, и под деревом было прохладно, как в пещере. Вдали, внизу лежал город, окутанный дымкой зноя, все окна в домах были распахнуты настежь. Дугласу хотелось кинуться туда, в город, — может, он всей тяжестью, всей громадой, всеми домами замкнет Джона в кольцо и не даст ему вырваться и удрать.

— Но мы же друзья, — беспомощно сказал он.

— И всегда останемся друзьями.

— Ты сможешь приезжать хоть разок в неделю, а?

— Папа говорит, только раза два в год. Все-таки восемьдесят миль.

— Восемьдесят миль — это совсем недалеко! — закричал Дуглас.

— Конечно, совсем недалеко, — подтвердил Джон Хаф.

— У моей бабушки есть телефон. Я буду тебе звонить. Или, может, мы соберемся в твои края. Вот будет здорово! Джон долго молчал.

— Давай поговорим про что-нибудь, — предложил Дуглас.

— Про что?

— Тьфу, пропасть! Да ведь раз ты уезжаешь, нужно поговорить про миллион всяких вещей. Про что мы бы говорили через месяц и еще позже. Про богомолы, про цеппелины, про акробатов и шпагоглотателей! Давай как будто ты уже опять приехал — ну хоть про то, как кузнечики плюются табаком.

— Знаешь, это чудно, но мне что-то не хочется говорить про кузнечиков.

— А раньше хотелось!

— Да. — Джон упорно смотрел вдаль. — Наверно, сейчас просто не время.

— Джон, что с тобой? Ты какой-то странный...

Джон сидел с закрытыми глазами, лицо его искрилось.

— Дуг, ты знаешь дом Терлов? Помнишь, какой у него верх?

— Конечно.

— Там маленькие круглые окошки, и в них разноцветные стекла — они всегда были такие?

— Конечно.

— Ты уверен?

— Старые-престарые окошки, они всегда были такие, еще когда нас с тобой на свете не было.

— А я их никогда не замечал, — сказал Джон. — А сегодня шел мимо, поднял голову, смотрю — стекла цветные! Дуг, да как же я их столько лет не замечал?

— У тебя были другие дела.

— Ты думаешь? — Джон повернулся и со страхом посмотрел на Дугласа. — Тьфу, пропасть, Дуг, с чего эти окаянные окошки меня так напугали? Тут и пугаться нечего, правда? Наверно, это потому, что... — Он говорил медленно, запинался и путался. — Наверно, уж если я не замечал этих окошек до самого сегодняшнего дня, значит, я, наверно, еще много чего не замечал... А с тем, что я видел, как теперь будет? Вдруг я уеду из города и потом не смогу ничего вспомнить?

— Что хочешь помнить, то всегда помнишь. Вот я два года назад ездил летом в лагерь. И там я все-все помнил.

— А вот и нет. Ты мне сам говорил. Ты просыпался ночью и никак не

мог вспомнить, какое лицо у твоей мамы.

— Неправда!

— Со мной ночью так бывает, даже дома, — знаешь, как это страшно! Я другой раз ночью встану и иду в спальню к своим: они спят, а я гляжу на них, проверяю, какие у них лица. А потом прихожу назад в свою комнату — и опять не помню! Черт возьми. Дуг, ах, черт возьми! — Джон крепко обхватил руками колени. — Обещай мне одну вещь, Дуг. Обещай, что ты всегда будешь меня помнить, обещай, что будешь помнить мое лицо и вообще все. Обещаешь?

Ну, это проще простого. У меня в голове есть киноаппарат. Ночью, в постели, я могу повернуть выключатель — раз! — и готово, на стенке все видно, как на экране, и ты оттуда кричишь мне и машешь рукой.

— Дуг, закрой глаза. Теперь скажи: какого цвета у меня глаза? Нет, ты не подсматривай! Ну? Какого цвета? Дугласа бросило в пот. Веки его вздрагивали.

— Ну, знаешь, Джон, это нечестно.

— Говори!

— Карие.

Джон отвернулся.

— Вот и нет.

— Как же нет?

— А вот так. Даже непохоже. Джон зажмурился.

— А ну-ка, повернись, — сказал Дуглас. — Открой глаза, я посмотрю.

— Что толку, — ответил Джон. — Ты уже забыл. Я ж говорю, со мной тоже так бывает.

— Да повернись ты! — Дуглас схватил друга за волосы и медленно повернул его голову к себе.

— Ну ладно.. Джон открыл глаза.

— Зеленые... — Дуглас в унынии опустил руки. — У тебя глаза зеленые... Ну и что же? Это очень похоже на карие. Почти светло-карие.

— Дуг, не ври мне.

— Ладно, — тихонько сказал Дуглас. — Не буду. Они еще долго сидели и молчали, а другие ребята бегали по холму и кричали, и звали их.

Они мчались наперегонки вдоль железной дороги, потом открыли пакеты из оберточной бумаги и с наслаждением понюхали свой завтрак — сэндвичи с поджаренной ветчиной, маринованные огурцы и разноцветные мятные конфеты. Потом опять побежали. Потом Дуглас приник ухом к горячим стальным рельсам и услышал, как далеко-далеко, в иных землях, идут невидимые поезда и посылают ему азбукой Морзе вести сюда, под это

палящее солнце. Дуглас распрямился, оглушенный.

— Джон!

Потому что Джон все еще бежал, и это было ужасно. Ведь если бежишь, время точно бежит с тобой. Кричишь, визжишь, бегаешь наперегонки, катаешься по земле, кувыркаешься, и вдруг — хват! — солнце уже зашло, гудит гудок вечернего поезда, и ты плетешься домой ужинать. Чуть отвернулся — и солнце уже зашло тебе за спину! Нет, есть только один-единственный способ хоть немного задержать время: надо смотреть на все вокруг, а самому ничего не делать! Таким способом можно день растянуть на три дня. Ясно: только смотри и ничего сам не делай.

— Джон!

Теперь уж от него помощи не дождеешься, разве только если как-нибудь схитрить.

— Джон, сворачивай, петляй! Собьем их со следа! И они с криком кинулись наутек под горку, обгоняя ветер, заставляя земное притяжение помогать им, и дальше — по лугам, за амбары, и наконец голоса гнавшихся за ними мальчишек замерли далеко позади.

Тогда они забрались в стог сена, оно потрескивало под ними, точно хворост костра.

— Давай ничего не делать, — сказал Джон.

— Вот и я хотел это сказать, — отозвался Дуглас.

Они сидели не шевелясь и пытались отдышаться.

Что-то тихонько тикало, словно в сене шуршало какое-то насекомое.

Оба услышали это тиканье, но не посмотрели, откуда оно доносится. Дуглас двинул рукой — теперь тикало в другом месте. Дуглас положил руку себе на колено — и вот уже тикает на колене. Он на мгновение опустил глаза. Три часа.

Дуглас украдкой прикрыл часы другой рукой и незаметно отвел стрелки назад.

Теперь у них будет вдоволь времени как следует поглядеть на мир, почувствовать, как солнце мчится по небу, точно огненный ветер.

Но настала минута — и Джон всем телом ощутил, как переместился бесплотный груз их теней.

— Дуг, который час?

— Половина третьего.

Джон взглянул на небо.

«Не надо», — подумал Дуглас.

— Похоже, что не третьего, а четвертого, а может, и все четыре, — сказал Джон. — Бой-скаутов учат распознавать такие вещи.

Дуглас вздохнул и снова перевел стрелки.

Джон молча следил за его движениями. Дуглас поднял голову, и Джон легонько стукнул его по плечу.

Вдруг откуда-то вынырнул поезд и промчался так быстро, что Дуглас, Джон и все остальные мальчишки едва успели отскочить в сторону и заорали, грозя ему вслед кулаками. Поезд с грохотом покатил дальше по рельсам, унося в себе две сотни пассажиров, и исчез. Вихри пыли немного проводили его к югу, потом улеглись в золотистом безмолвии меж голубых рельсов. Ребята возвращались домой.

— Когда мне будет семнадцать, я поеду в Цинциннати и поступлю пожарником на железную дорогу, — объявил Чарли Вудмен.

— А у меня есть дядя в Нью-Йорке, — сказал Джим. — Я поеду в Нью-Йорк, буду печатником.

Дуглас не стал спрашивать, что задумали другие. Он уже слышал, как поют свою песнь поезда, видел лица друзей — они прижались к окнам, уплывают на вагонных площадках. Они ускользают, одно за другим. И остаются пустые пути, летнее небо, и сам он, в другом поезде, едет совсем не туда.

Земля повернулась у него под ногами, тени ребят соскользнули с травы, и вокруг потемнело.

Он проглотил ком, застрявший в горле, издал дикий вопль, замахнулся кулаком и с силой послал в небо воображаемый мяч.

— Кто прибежит домой последним, тот носорожий хвост!

С хохотом размахивая руками, они кинулись по шпалам. Джон Хаф бежал легко, совсем не касаясь земли. А Дуглас все время чувствовал под ногами землю.

В семь часов, после ужина, мальчишки стали собираться вместе; один за другим они выходили на улицу, заслышав, как хлопают двери соседних домов, а отцы и матери сердито кричали вслед, чтоб не хлопали так дверями. Дуглас, Том, Чарли и Джон стояли среди десятка других, пора было играть в прятки и в статуи.

— Во что-нибудь одно, — сказал Джон. — Потом мне надо домой. В девять уходит поезд. Кто будет водить?

— Я, — сказал Дуглас.

— В жизни не слышал, чтобы кто сам вызвался водить, — сказал Том.

Дуглас пристально посмотрел на Джона.

— Разбегайтесь, — сказал он.

Мальчишки с криком кинулись врассыпную. Джон попятился, потом

повернулся и побежал вприпрыжку. Дуглас медленно считал до десяти. Дал им отбежать подальше, разделиться кто куда, замкнуться каждому в своем собственном мирке. Когда они разогнались вовсю, так что ноги уже сами несли их, и почти скрылись из виду, он набрал полную грудь воздуха и крикнул:

— Замри!

Все окаменели.

Медленно, медленно Дуглас двинулся по лужайке туда, где в сумерках, точно железный олень, замер Джон Хаф.

Вдалеке стояли как статуи другие мальчики, руки у них подняты, на лицах застыли гримасы, одни глаза горят, точно у чучела белки.

А Джон — вот он, один, недвижимый, — никто не может прибежать или заорать вдруг и все испортить.

Дуглас обошел статую с одного боку, потом с другого. Статуя не шелохнулась. Не вымолвила ни слова. Глядела куда-то вдаль, и на губах ее застыла легкая улыбка.

Дугласу вспомнилось: несколько лет назад они ездили в Чикаго, там был большой дом, а в доме всюду стояли безмолвные мраморные фигуры, и он бродил среди них в этой безмолвии. И вот стоит Джон Хаф, и колени и штаны у него зеленые от травы, пальцы исцарапаны, и на локтях корки от подсохших ссадин. Ноги — в теннисных туфлях, которые сейчас угомонились, словно он обут в тишину. Этот рот сжевал за лето многое множество абрикосовых пирожков и говорил спокойные раздумчивые слова про то, что такое жизнь и как все в мире устроено. И глаза эти вовсе не слепы, как глаза статуй, а полны расплавленного зеленого золота. Темными волосами играет ветерок — то вправо отбросит, то влево... А на руках, кажется, оставил след весь город — на них пыль дорог и чешуйки древесной коры, пальцы пахнут коноплей, и виноградом, и недозрелыми яблоками, и старыми монетами, и зелеными лягушками. Уши просвечивают на солнце, они теплые и розовые, точно восковые персики, и, невидимое в воздухе, пахнет мятой его дыханье.

— Ну, Джон, — сказал Дуглас, — смотри не шевелись. Не смей даже глазом моргнуть. Приказываю: стой тут и не сходи с места ровным счетом три часа. Губы Джона шевельнулись.

— ДУГ...

— Замри, — приказал Дуглас.

Джон снова устремил взгляд на дальний край неба, но теперь он уже не улыбался.

— Мне надо идти, — шепнул он.

— Не шелохнись! Правил, что ли, не знаешь?

— Никак не могу, мне пора домой, — сказал Джон.

Статуя ожила, опустила руки и повернула голову, чтобы посмотреть на Дугласа. Они стояли и глядели друг на друга. Остальные мальчишки тоже зашевелились и опустили затекшие руки.

— Сыграем еще разок, — сказал Джон. — Только теперь водить буду я. Разбегайтесь! Ребята побежали.

— Замри!

Все замерли. Дуглас тоже.

— Не шевелись. Ни на волос.

Он подошел к Дугласу и остановился рядом.

— Понимаешь, иначе никак ничего не получится, — сказал он.

Дуглас глядел вдаль, в предвечернее небо.

— Еще три минуты всем застыть, как истуканам! — сказал Джон.

Дуглас чувствовал, что Джон обходит его кругом, как только что он сам обходил Джона. Потом Джон сзади легонько стукнул его по плечу.

— Ну, пока, — сказал он.

Что-то зашуршало, и Дуглас, не оборачиваясь, понял, что позади уже никого нет.

Где-то вдалеке прогудел паровоз.

Еще долгую минуту Дуглас стоял не шевелясь и ждал, чтобы утих топот бегущих ног, а он все не утихал. Джон бежит прочь, а его слышно так громко, словно он топчется на одном месте. Почему же он не удаляется?

И тут Дуглас понял — да ведь это стучит его собственное сердце!

Стой! Он прижал руку к груди. Перестань! Не хочу я это слышать!

А потом он шел по лужайке среди остальных статуй и не знал, ожили ли и они тоже. Казалось, они все еще не двигаются. Впрочем, он и сам только еле передвигал ноги, а тело его совсем застыло и было холодное как камень.

Он уже поднялся на свое крыльцо, но вдруг обернулся и поглядел на лужайку.

На ней никого не было.!

Бац, бац, бац! — точно затрещали выстрелы. Это хлопали одна за другой входные двери по всей улице — последний закатный залп.

Самое лучшее — статуи, подумал Дуглас. Только их и можно удержать у себя на лужайке. Никогда не позволяй им двигаться. Стоит только раз позволить — и тогда с ними уже не совладаешь.

И вдруг он вскинул сжатый кулак и яростно погрозил лужайкам, улице, сгущающимся сумеркам. Он весь покраснел, глаза сверкали.

— Джон! — крикнул он. — Эй, Джон! Ты мой враг, слышишь! Ты мне не друг! Не приезжай, никогда не приезжай! Убирайся! Ты мне враг, слышишь! Вот ты кто! Между нами все кончено, ты дрянь, вот и все, просто дрянь! Джон, ты меня слышишь? Джон!

Точно фитиль привернули еще немного в огромной, яркой лампе за городом, и небо еще чуть потемнело. Дуглас стоял на крыльце, рот его судорожно дергался, лицо кривилось. Кулак все еще грозил дому напротив. Дуглас поглядел на свою руку — она растаяла во тьме, и весь мир тоже растаял.

Дуглас поднимался в свою комнату в полнейшей темноте; он лишь чувствовал свое лицо, но не видел ничего, даже собственных кулаков, и опять и опять твердил себе:

«Я зол, как черт, я взбешен, я его ненавижу, я зол, как черт, я его ненавижу!»

Через десять минут он медленно дошел в темноте до верхней площадки лестницы.

— Том, — сказал Дуглас. — Обещай мне одну вещь, ладно?

— Обещаю? А что это?

— Конечно, ты мой брат, и, может, я другой раз на тебя злюсь, но ты меня не оставляй, будь где-нибудь рядом, ладно?

— Это как? Значит, мне можно ходить с тобой и с большими ребятами гулять?

— Ну... ясно... и это тоже. Я что хочу сказать: ты не уходи, не исчезай, понял? Гляди, чтоб никакая машина тебя не переехала, и с какой-нибудь скалы не свались.

— Вот еще! Дурак я, что ли?

— Тогда, на самый худой конец, если уж дело будет совсем плохо и оба мы совсем состаримся — ну, если когда-нибудь нам будет лет сорок или даже сорок пять, — мы можем владеть золотыми приисками где-нибудь на Западе. Будем сидеть там, покуривать маисовый табак и отращивать бороды.

— Бороды! Ух ты!

— Вот я и говорю, болтайся где-нибудь рядом и чтоб с тобой ничего не стряслось.

— Уж будь спокоен, — ответил Том.

— Да я в общем не за тебя беспокоюсь, — пояснил Дуглас. — Я больше насчет того, как бог управляет миром. Том задумался.

— Ничего, Дуг, — сказал он наконец. — Он все-таки старается.

Она вышла из ванной, смазывая йодом палец, — она его сильно порезала, когда брала себе ломоть кокосового торта. В эту минуту по ступенькам поднялся почтальон, открыл дверь и вошел на веранду. Хлопнула дверь. Эльмира Браун так и подскочила.

— Сэм! — закричала она, отчаянно махая коричневым от йода пальцем, чтобы не так жгло. — Я все никак не привыкну, что у меня муж — почтальон. Каждый раз, когда ты вот такходишь в дом, я пугаюсь до смерти.

Сэм Браун сконфуженно почесал в затылке; его почтовая сумка уже наполовину опустела. Он оглянулся, как будто в это славное ясное летнее утро ворвался густой туман.

— Ты что-то рано сегодня, Сэм, — заметила жена.

— Я еще пойду, — сказал он, видимо, думая о другом.

— Ну, выкладывай, что случилось? — Она подошла поближе и заглянула ему в лицо.

— Кто его знает, может — ничего, а может — очень много. Я сейчас доставил почту Кларе Гудуотер, на нашей улице...

— Кларе Гудуотер?!

— Ну, ну, не кипятись. Это были книги от фирмы «Джонсон — Смит», город Расин, штат Висконсин. И одна называлась... дай-ка вспомнить... — Он весь сморщился, потом морщинки разошлись. «Альбертус Магнус», вот как. «Одобренные, проверенные, загадочные и естественные ЕГИПЕТСКИЕ ТАЙНЫ, или... — он задрал голову к потолку, словно пытаюсь разобрать там слова, — белая и черная магия для человека и животного, раскрывающая запретные знания и секреты древних философов»!

— И все это для Клары Гудуотер?

— Пока я к ней шел, я успел заглянуть в первые страницы — вроде ничего худого там нет. «Скрытые тайны жизни, разгаданные знаменитым ученым, философом, химиком, натуралистом, психологом, астрологом, алхимиком, металлургом, фокусником, толкователем тайн всех магов и чародеев, а также разъяснены темные суждения всевозможных наук и искусств — простых, сложных, практических и т. д. и т. п.». Уф! Ей-богу, голова у меня — как у папы римского! Все слова помню, хоть ни черта в них не понял.

Эльмира внимательно разглядывала свой почерневший от йода палец, словно пыталась понять — чей же это он.

— Клара Гудуотер, — бормотала она.

— Я ей отдал книгу, а она поглядела мне прямо в глаза и говорит: «Ну, теперь-то я стану заправской колдуньей. В два счета получу диплом и открою дело. Буду ворожить молодым и старым, большим и малым, оптом и в розницу». Тут она вроде засмеялась, уткнулась носом в книгу, да так и ушла в дом.

Эльмира оглядела царапину на локте, опасливо потрогала языком расшатавшийся зуб.

Хлопнула дверь. Том Сполдинг, который в это время стоял на коленях на лужайке перед домом Эльмиры Браун, поднял голову. Он долго бродил по соседству, смотрел, как поживают в разных кучах муравьи, и вдруг наткнулся на отличный, просто редкостный муравейник с широченным входом; здесь так и сновали всевозможные огненно-рыжие муравьи, одни мчались во весь дух, другие выбивались из сил, волоча свою ношу — клочок мертвого кузнечика или крошку какой-нибудь пичуги. И вдруг — хлоп! — на крыльцо выскочила миссис Браун; стоит, и вид у нее такой, будто она вот-вот упадет — похоже, она только сейчас обнаружила, что земля мчится в космическом пространстве со скоростью шестьдесят триллионов миль в секунду. А позади нее стоит мистер Браун, уж этот-то не знает никаких миль в секунду, а хоть бы и знал, так ему наверняка на них наплевать.

— Эй, Том, — позвала миссис Браун, — мне нужна моральная поддержка, и ты будешь мне вместо жертвенного агнца. Пойдем.

И, не разбирая дороги, кинулась на улицу; по пути она давила муравьев, сбивала головки с одуванчиков, и ее острые каблукы прокалывали глубокие ямки на цветочных клумбах.

Том еще минуту постоял на коленях, разглядывая позвоночник и лопатки убегающей миссис Браун. Эти кости сказали ему красноречивее всяких слов, что тут предстоит приключение и мелодрама, — ничего такого Том от женщин не ожидал, хоть у миссис Браун и торчали над верхней губой усики, немножко похожие на усы какого-нибудь пирата. Еще через минуту он уже ее нагнал.

— Вы какая-то ужасно сердитая, миссис Браун, прямо бешеная!

— Ты еще не знаешь, что такое бешенство, мальчик.

— Осторожно! — вскричал Том. Эльмира Браун упала прямо на спящего железного пса, который украшал зеленую лужайку.

— Миссис Браун!

— Вот видишь? — Миссис Браун села. — Это все Клара Гудуотер. Колдовство!

— Колдовство?

— Ничего, ничего, мальчик. Вот и крыльцо. Иди первым и раскидай с дороги все невидимые веревки. Позвони в этот звонок, только сейчас же отдерни руку, а не то палец у тебя почернеет, как головешка.

Том не дотронулся до звонка.

— Клара Гудуотер!

Миссис Браун нажала пуговку звонка пальцем, который был смазан йодом.

Где-то далеко в прохладных, сумрачных пустых комнатах звякнул и умолк серебряный колокольчик.

Том прислушался. Где-то еще дальше — шорох, точно пробежала мышь. В далекой гостиной шевельнулась тень — может быть, развевается от ветра занавеска.

— Здравствуйте, — произнес спокойный голос. И вдруг за сеткой от москитов появилась миссис Гудуотер, свежая, как мятная конфетка.

— Да это вы, Эльмира! И Том... Какими судьбами?..

— Не торопите меня! Вы, говорят, надумали выучиться на самую заправскую колдунью? Миссис Гудуотер улыбнулась.

— Ваш муж не только почтальон, но и блюститель закона. Он и сюда сунул нос.

— Мой муж не суется в чужую почту!

— Он от одного дома до другого идет целых десять минут, потому что он читает все открытки и смеется. Он даже примеряет ботинки, которые присылают почтой.

— И ничего он не видел, а вы ему сказали про эти ваши книжки, что он принес.

— Да я просто пошутила! Стану колдуньей, сказала я ему, и хлоп! — Сэм удирает со всех ног, точно я стрельнула в него молнией. Говорю вам, у этого человека нет ни единой извилины в мозгу!

— Вы вчера толковали про свое колдовство и в других местах.

— Наверно, вы имеете в виду Сандвич-клуб?

— А меня туда нарочно не пригласили!

— Так ведь вы всегда навещаете в этот день свою бабушку, сударыня.

— Ну уж если б меня пригласили, я всегда могла бы уговориться с бабушкой насчет другого дня.

— Да там и не было ничего особенного, просто я сидела за столом, ела сандвич с ветчиной и маринованным огурцом и как-то между прочим сказала: «Наконец-то я получу свой диплом! Ведь я уже сколько лет учусь на колдунью!» Сказала громко, все слышали.

— И мне сразу же передали по телефону.

— Эти новомодные изобретения — просто чудо! — сказала миссис Гудуотер.

— Вот вы — председательница нашего клуба «Жимолость» чуть ли не со времен Гражданской войны, так уж скажите честно: может, мы не по доброй воле вас столько раз выбирали, а вы нас колдовством принудили?

— А разве вы в этом хоть сколько-нибудь сомневаетесь, сударыня?

— Завтра опять выборы, и мне очень интересно узнать: неужели вы опять выставили свою кандидатуру и неужели вам ни капельки не совестно?

— Да, выставила, и ничуть мне не совестно. Послушайте, сударыня, я купила эти книги для моего двоюродного брата Рауля. Ему всего десять лет, и он в каждой шляпе ищет кролика. Я давно твержу ему, что искать кроликов в шляпах — гиблое дело, все равно как искать хоть каплю здравого смысла в голове у некоторых людей (у кого именно — называть не стану), но он все не понимает; вот я и решила подарить ему эти книжки.

— Хоть сто раз присягните, все равно не поверю!

— А все-таки это чистая правда. Обожаю шутить насчет всяческого колдовства. Наши дамы так и завизжали, когда я рассказала им про свое тайное могущество. Жаль, вас там не было!

— Зато я буду там завтра, буду бороться с вами золотым крестом и поведу на вас все добрые силы, — сказала Эльмира. — А теперь скажите-ка мне, какие еще колдовские штуки есть у вас в доме?

Миссис Гудуотер указала на столик, что стоял в комнате у самой двери.

— Я покупаю разные волшебные травы. Они очень странно пахнут, и Рауль от них в восторге. Трава вот в этом мешочке называется «рута душистая», а вот эта — «копытень», а та — «сарсапарель». Здесь — черная сера, а тут, говорят, мука из молотых костей.

— Из костей! — Эльмира отпрянула назад и стукнула Тома по щиколотке. Том взвыл.

— А тут — горькая полынь и листья папоротника; полынью можно замораживать пули в ружьях, а если пожевать листья папоротника, можно летать во сне, точно летучая мышь, — так сказано в десятой главе вот этой книжечки. По-моему, для воспитания мальчиков очень полезно забивать им голову подобными вещами. Но, судя по вашему лицу, вы не верите, что у меня есть двоюродный братишка Рауль. Постойте, я дам вам его адрес, он живет в Спрингфилде.

— Ну конечно, — фыркнула Эльмира, — и как только я ему напишу, вы сядете в спрингфилдский автобус, доедете до почтамта, получите мое

письмо и напишете мне каракулями ответ. Знаю я вас!

— Миссис Браун, скажите откровенно: вы хотите стать председателем нашего клуба, да? Вот уже десять лет подряд вы этого добиваетесь. Сами выставляете свою кандидатуру. И неизменно получаете один-единственный голос — ваш собственный. Поймите же, если бы наши дамы хотели вас выбрать, они бы давным-давно за вас проголосовали. Но я же вижу, вы так и остаетесь одна, сама за себя, и ваш голос — глас вопиющего в пустыне. Знаете что? Давайте я завтра выдвину вашу кандидатуру и сама буду за вас голосовать, хотите?

— Ну тогда уж наверняка ничего не выйдет, — сказала Эльмира. — В прошлом году, как раз в самые выборы, я ужасно простудилась; надо было проводить свою предвыборную кампанию, а я как назло не могу выйти на улицу! А в позапрошлом году об эту пору я сломала ногу. Очень, знаете, странно. — Она с ненавистью глянула на хозяйку дома через москитную сетку. — И это еще не все. В прошлом месяце я шесть раз порезала палец, десять раз расшибала коленку, два раза падала с заднего крыльца, слышите? — два раза! Еще я разбила окно, уронила четыре тарелки и вазу — я заплатила за нее целый доллар и сорок девять центов! И теперь я буду предъявлять вам счет за каждую разбитую тарелку, все равно, разобьется она у меня в доме или в его окрестностях!

— Ай-я-яй, к рождеству я совсем разорюсь, — сказала миссис Гудуотер. Она вдруг распахнула дверь и вышла на веранду. Дверь хлопнула. — Эльмира Браун, сколько вам лет?

— У вас это наверняка записано в какой-нибудь черной книге. Тридцать пять.

— А-а, как подумаешь, что вы прожили тридцать пять лет... — Миссис Гудуотер поджала губы и заморгала, погружаясь в вычисления. — Это получается примерно двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять дней... стало быть, если считать по три в день, двенадцать с лишним тысяч суматох, двенадцать тысяч шумов из ничего и двенадцать тысяч бедствий! Что и говорить, жизнь ваша полна и богата событиями, Эльмира Браун. Вашу руку!

— Да ну вас, — отмахнулась Эльмира.

— Нет, сударыня, вы не самая неуклюжая женщина в Гринтауне, штат Иллинойс, вы всего лишь вторая. Вы толком и сесть-то не можете — непременно наступите на кошку. Пойдете по лужайке — непременно свалитесь в колодец. Всю жизнь вы катитесь по наклонной плоскости, Эльмира Элис Браун. Почему бы вам честно в этом не признаться?

— Все мои несчастья происходят вовсе не оттого, что я неуклюжая, а

только из-за вас! Как вы подойдете к моему дому ближе чем на милю, так у меня сразу кастрюля с бобами из рук валится или мне палец дернет током.

— Сударыня, в таком маленьком городишке мудрено от всех держаться за милю, хоть раз в день поневоле к каждому подойдешь поближе.

— Так вы признаетесь, что были поблизости?

— Признаюсь, что я здесь родилась, это да, но дорого бы дала, чтоб родиться в Кеноше или Сионе. Мой вам совет, Эльмира, пойдите к зубному врачу, может, он сумеет что-нибудь сделать с вашим змеиным жалом.

— Ой! — вскрикнула Эльмира. — Ой-ой-ой!

— Вы окончательно вывели меня из терпения. Прежде я ничуть не интересовалась чародейством, но теперь, пожалуй, займусь. Слушайте! Вот вы уже и невидимы! Пока вы тут стояли, я вас заколдовала. Вы совсем пропали из глаз.

— Не может этого быть!

— По совести говоря, я и раньше никак не могла вас разглядеть, — призналась колдунья.

Эльмира выхватила из кармана зеркальце.

— Да вот же я!

Присмотрелась внимательней и ахнула. Потом подняла руку над головой, точно настраивая арфу, осторожно выдернула волосок и выставила его напоказ, словно вещественное доказательство на суде.

— Ну вот! До этой самой секунды у меня в жизни не было ни единого седого волоска! Ведьма прелюбезно улыбнулась.

— Суньте его в кувшин со стоячей водой, и наутро он обернется червяком. Нет, вы только поглядите на себя, Эльмира! Всю жизнь вы обвиняете других в том, что ноги у нас спотыкливые, а руки — крюки! Вы когда-нибудь читали Шекспира? Там есть указания для актеров: «Волнение, движение и шум». Вот это вы и есть. Волнение, движение и шум. А теперь ступайте-ка домой, не то я насажаю шишек вам на голову и прикажу всю ночь вертеться с боку на бок. Брысь отсюда!

И она замахала руками перед носом Эльмиры, точно отгоняя стаю птиц.

— Ну и мух нынче летом! — сказала она. Вошла в дом и заперла дверь на крюк. Эльмира скрестила руки на груди.

— Лопнуло мое терпение, миссис Гудуотер, — сказала она. — В последний раз вам говорю: снимите свою кандидатуру и выходите завтра на честный бой. Я вас одолею, в председательницы выберут меня! Я приведу с собой Тома. Он хороший, добрый мальчик, чистая душа. А доброта и чистота завтра победят.

— Вы не очень-то надейтесь, что я такой уж хороший, миссис Браун, — вмешался Том. — Моя мама говорит...

— Замолчи, Том! Хороший — значит хороший. Ты будешь там по правую руку от меня, мальчик.

— Хорошо, мэм, — сказал Том.

— Если, конечно, я переживу эту ночь, — продолжала Эльмира. — Я ведь знаю, эта особа станет лепить из воска мои изображения и протыкать им сердца ржавыми иголками. Том, если ты на рассвете найдешь у меня в постели одну только огромную фигу, всю сморщенную и увядшую, ты уж поймешь, кто сорвал этот фрукт в винограднике. И тогда миссис Гудуотер будет председательницей клуба до ста девяноста пяти лет, вот увидишь!

— Что вы, что вы, сударыня! Мне уже сегодня триста пять, — сказала из-за москитной сетки миссис Гудуотер. — Меня еще в старину называли «ОНА!» — И она ткнула пальцем в сторону улицы. — Абракадабра-зиммити-ЗЭМ! Ну как?

Эльмира бросилась бежать.

— Завтра увидимся! — крикнула она через плечо.

— До завтра, сударыня, — сказала миссис Гудуотер. Том пожал плечами и двинулся следом за Эльмирой, на ходу скидывая с тротуара муравьев.

Эльмира бежала через улицу и вдруг взвизгнула.

— Миссис Браун! — в тревоге воскликнул Том. Из гаража ближайшего дома задом выезжала машина и проехала прямо по большому пальцу правой ноги Эльмиры.

Среди ночи Эльмира Браун поднялась: очень болела нога; она пошла в кухню, съела кусок холодного цыпленка, потом старательно составила точный список всех своих бед и несчастий.

Во-первых, болезни за прошлый год. Простуда — три раза, легкое несварение желудка — четыре, раздуло щеку — один раз; да еще приступ артрита, прострел (она принимала его за подагру), сильный бронхит, астма в начальной стадии, какие-то пятна на руке, нарыв в ухе, из-за которого она несколько дней ходила шатаясь, как пьяная, да еще ломило спину, болела голова и тошнило. Лекарства стоили ей **ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ДОЛЛАРОВ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ЦЕНТОВ**.

Во-вторых, вещи сломанные и разбитые в доме за последний год: две лампы, шесть ваз, десять тарелок, суповая миска, два окна, шесть стаканов и один хрустальный тюльпан на люстре; кроме того, сломан стул и порвана диванная подушка. Всего на сумму **ДВЕНАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ ДЕСЯТЬ**

ЦЕНТОВ.

В-третьих, сегодняшние страдания. Палец, на который наехала машина, очень болит. Желудок расстроен. Спина затекла, ноги гудят, точно не свои. В глазах багровый туман и жжение. На языке мерзкий вкус какой-то пыльной тряпки. В ушах шум и звон. Какая всему этому цена? Высчитывая и прикидывая, она пошла обратно в спальню.

За все страдания — десять тысяч долларов.

— Вот и получи их без суда, — сказала она вполголоса.

— А? — отозвался спросонок муж. Эльмира улеглась в постель.

— Я умирать не желаю.

— Как ты сказала? — переспросил муж.

— Ни за что не умру, — сказала она, глядя в потолок.

— Я всегда это говорил, — ответил муж и снова захрапел.

На другое утро Эльмира Браун встала пораньше и отправилась в библиотеку, а оттуда — в аптеку и обратно домой, так что, когда ее муж Сэм разнес всю почту по адресам и пришел в полдень домой, Эльмира уже смешивала всевозможные снадобья.

— Обед в холодильнике, — сказала она ему, помешивая в большом стакане какую-то зеленоватую кашицу.

— Господи, это еще что такое? — спросил муж. — С ВИДУ — прямо молочный коктейль, который лет сорок простоял на солнце. Тут уж вроде и плесень сверху пошла.

— Против колдовства нужно бороться колдовством.

— Уж не собираешься ли ты это пить?!

— И выпью! Выпью и пойду в клуб «Жимолость» на великие дела.

Самюэль Браун понюхал снадобье.

— Мой тебе совет — сперва взойди на крыльцо, а уж потом пей, не то и двух ступенек не одолеешь. Что тут намешано?

— Снег с крыльев ангелов (вообще-то это ментол), чтобы остудить сжигающий человека адский огонь, — так сказано вот в этой книге, она из библиотеки. Сок свежего винограда, только-только с лозы, чтобы наперекор темным видениям мысли все равно были чистые и светлые, — это тоже сказано в книге. Еще тут есть ревень, винный камень, белый сахар, яичный белок, ключевая вода и почки клевера, в них таится добрая сила земли. И еще много всякого, не перечить. Вот тут все записано, добро против зла, белое против черного. Уж теперь-то я ее одолею!

— Одолеешь, одолеешь! — сказал муж. — Вот только как ты узнаешь, что твоя взяла?

— Стану думать чистые, светлые мысли. И по пути захвачу Тома, он

будет мне вроде как талисман.

— Бедняга он, — заметил муж. — Сама говоришь — чистая он душа, а на выборах в вашей этой «Жимолости» не сносить ему головы!

— Ничего с ним не случится, — возразила Эльмира. Она вылила булькающее зелье в банку из-под овсяных хлопьев и закрыла крышкой; потом вышла на улицу, причем — небывалый случай! — ни разу не зацепилась платьем за гвоздь и не порвала новенькие девяностовосьмицентовые чулки. Очень этим гордая и довольная, Эльмира проследовала без всяких происшествий к дому Сполдингов, где ее ждал Том, одетый, как она велела, во все белое.

— Фу! — воскликнул Том. — Что это у вас в банке?

— Судьба, — сказала Эльмира.

— Ну разве что судьба, — ответил Том, держась шага на два впереди.

Клуб «Жимолость» был полон; дамы гляделись в зеркальце, взятое у приятельницы, оправляли юбки и спрашивали друг друга, не виднеется ли из-под платья комбинация.

В час дня по ступенькам поднялась миссис Эльмира Браун в сопровождении мальчика в белом. Он заткнул себе нос и зажмурил один глаз, так что плохо видел, куда идет. Миссис Браун поглядела на собравшихся, потом на свою банку и, открыв крышку, заглянула внутрь, но тут у нее захватило дух, и она закрыла банку, так и не выпив ни капли. Потом она двинулась в зал, а вслед плыл шорох, точно шелк шелестел, — это члены клуба шептались у нее за спиной.

Миссис Браун уселась вместе с Томом в заднем ряду, и вид у Тома был самый разнесчастный. Одним глазом он оглядел это дамское сборище и тотчас зажмурился окончательно. Эльмира открыла банку и медленно выпила ее содержимое.

В половине второго председательница — миссис Гудуотер — стукнула молотком о стол, и все дамы умолкли; разговаривать продолжали всего лишь десятка два.

— Сударыни, — прозвучал голос миссис Гудуотер над морем шелков и кружев, на волнах которого там и сям мелькали белые и серые гребенки, — настало время перевыборов. Но прежде, мне кажется, миссис Эльмира Браун, супруга нашего известного графолога...

Слушательницы захихикали.

Эльмира толкнула Тома локтем в бок.

— Что такое «графолог»? — шепнула она.

— Не знаю, — прошипел Том; глаза у него были закрыты, и толчок

локтем обрушился на него из темноты.

— ... супруга, как я уже сказала, нашего известного специалиста по почеркам, Сэмюэля Брауна... (в зале опять смех)... служащего почтового ведомства Соединенных Штатов, миссис Браун желает высказаться, — продолжала миссис Гудуотер. — Прощу вас, миссис Браун!

Эльмира встала. Складной стул опрокинулся и, громко щелкнув, захлопнулся, точно медвежий капкан. От неожиданности Эльмира подскочила, зашаталась, выбивая каблуками по полу частую дробь, и еле устояла на ногах.

— Да, мне есть о чем порассказать, — провозгласила она.

Держа в одной руке пустую банку из-под овсяных хлопьев вместе с Библией, она другой рукой схватила Тома за локоть и рванулась вперед; по дороге она задевала сидящих локтями и то и дело кричала: «Поосторожнее, вы! Дайте пройти! Не мешайте!»

Наконец она добралась до помоста, повернулась и опрокинула стакан с водой; вода потекла по всему столу и закапала на пол. Эльмира злобно покосилась на миссис Гудуотер и предоставила ей вытирать воду крошечным носовым платком. Потом она торжествующе подняла пустую банку, чтобы миссис Гудуотер хорошенько ее разглядела.

— Знаете, что тут было? — шепнула она. — Теперь все это у меня внутри, сударыня. Теперь меня защищает магический круг. Ни один нож, ни один топор сквозь него не прорвется.

В зале все говорили разом и никто ее не слышал.

Миссис Гудуотер кивнула и подняла обе руки, призывая к молчанию. Воцарилась тишина.

Эльмира еще крепче стиснула руку Тома. Он морщился, не открывая глаз.

— Сударыни, — сказала Эльмира, — я вам сочувствую. Я-то знаю, чего вы натерпелись за последние десять лет. Я-то знаю, почему вы голосовали за эту миссис Гудуотер. Вам надо кормить мужей, дочерей, сыновей. Вам надо укладываться в свой бюджет. Вы не можете допустить, чтобы молоко скисло, чтобы хлеб не взошел, чтобы пироги не пропеклись. Вам вовсе не хочется, чтобы ваши дети переболели подряд свинкой, ветрянкой, оспой и коклюшем. Вы не хотите, чтобы ваш муж разбил машину или налетел за городом на провод высокого напряжения и его ударило током. Но теперь всему этому пришел конец. Теперь вы можете ничего не опасаться. Не будет больше ни изжоги, ни ломоты в пояснице, потому что я принесла с собой магическое слово и сейчас мы его испробуем — изгоним бесов из этой ведьмы, которая затесалась в наш

клуб.

Все стали оглядываться вокруг, но никто не заметил никакой ведьмы.

— Да ведь это ваша председательница! — закричала Эльмира.

— Это я! — И миссис Гудуотер помахала залу рукой.

— Сегодня я пошла в библиотеку, — задыхаясь, продолжала Эльмира и схватилась за стол, чтобы не упасть. — Я хотела найти хоть какое-нибудь средство, чтобы защититься от нее. Ну, узнать, как избавиться от людей, которые обманывают других, как изгнать ведьму. И я нашла способ бороться за наши права. Я чувствую, как сила моя растет. Во мне сейчас волшебство разных добрых корней и всякой химии. Во мне... — Она умолкла. Пошатнулась. Потом мигнула. — Во мне винный камень, и... во мне желтые цветы травы-ястребинки и молоко, заквашенное при свете луны, и... — Она снова замолчала и с минуту подумала. Потом закрыла рот и издала какой-то странный звук, словно чревоушательница. И опять на мгновение зажмурилась, прислушиваясь к своей силе.

— Вы плохо себя чувствуете, миссис Браун? — спросила миссис Гудуотер.

— Я отлично себя чувствую, — медленно выговорила Эльмира Браун. — Я положила несколько тертых морковок, и тонко нарезанную петрушку, и еще ягоды можжевельника, и...

Она снова умолкла, точно некий внутренний голос приказал ей замолчать, и посмотрела в зал.

Все вокруг медленно закачалось: слева направо, потом справа налево.

— Корень розмарина и цвет лютика... — глухо сказала Эльмира. Потом выпустила руку Тома. Том открыл один глаз и поглядел на нее.

— Лавровый лист, лепестки настурции... — говорила она.

— Вы бы лучше сели, — посоветовала миссис Гудуотер. Одна из дам встала и открыла окно.

— ... сушеный лист бетеля, лаванду и семечки дикого яблока, — сказала миссис Браун и умолкла. — Давайте скорей начинать выборы. Мне нужны голоса. Я буду считать.

— Не спешите, Эльмира, — сказала миссис Гудуотер.

— Нет, надо спешить. — Миссис Браун глубоко, судорожно вздохнула. — Помните, сударьни, больше бояться нечего. Можете смело высказать вслух все, что хотите. Голосуйте за меня, ведь вы всегда этого хотели. Голосуйте и... — Комната опять закачалась, на этот раз вверх и вниз. — Правление будет честным. Все, кто за миссис Гудуотер, скажите «да».

— Да, — сказал весь зал.

— Все, кто за миссис Эльмиру Браун? — спросила Эльмира слабым голосом.

Она проглотила ком, подкатившийся к горлу. Потом сказала одна:

— Да.

И, ошеломленная, осталась стоять на трибуне. В зале воцарилась тишина. И в этой тишине вдруг раздалось какое-то карканье. Эльмира Браун схватилась рукой за горло. Потом повернулась и мутными глазами посмотрела на миссис Гудуотер, а та преспокойно вынула из сумочки восковую куколку, утыканную ржавыми чертежными кнопками.

— Том, — сказала Эльмира, — проводи меня в дамскую комнату.

— Хорошо, мэм.

Они тронулись в путь, потом ускорили шаг и наконец пустились бежать. Эльмира бежала впереди, сквозь толпу, по проходу... Добралась до дверей и повернула налево.

— Нет, нет, Эльмира, направо, направо! — закричала миссис Гудуотер.

Эльмира свернула налево и исчезла из виду. Раздался грохот, точно по скату сыпался крупный уголь.

— Эльмира!

Все дамы забегали кругами, натываясь друг на друга, — точь-в-точь женская баскетбольная команда.

Одна миссис Гудуотер напрямик кинулась к двери.

На площадке лестницы стоял Том и, вцепившись руками в перила, глядел вниз.

— Сорок ступенек! — простонал он. — Донижу целых сорок ступенек!

И после, многие месяцы и годы спустя, люди рассказывали, как Эльмира Браун, словно отпетый пьяница, катилась по этим ступенькам и ни одной не пропустила на своем долгом пути вниз. Говорили, что она, видимо, в первый же миг потеряла сознание, и потому все ее мышцы были расслаблены, и она не ударялась, а катилась по ступеням мягко, как мешок. Наконец она шлепнулась у подножия лестницы, растерянно хлопая глазами и чувствуя себя гораздо лучше, ибо все, от чего ей было не по себе, осталось позади, по всей лестнице. Правда, теперь ее, точно татуировкой, сплошь покрывали ссадины и кровоподтеки. Но ни одна косточка не была сломана, руки и ноги не вывихнуты, даже сухожилия не растянуты. Два-три дня она как-то странно неподвижно держала голову и, если надо было поглядеть по сторонам, лишь косилась краешком глаза. Но вот что главное: у подножия лестницы мигом очутилась миссис Гудуотер, и голова Эльмиры уже покоилась у нее на коленях, и она кропила эту буйную голову слезами, а вокруг, охая, ахая, рыдая и заламывая руки, собирались

остальные дамы.

— Эльмира, я обещаю, я клянусь, Эльмира, если только вы останетесь живы, если вы не умрете... Эльмира, вы слышите меня? Слушайте же! С этой минуты я буду ворожить только ради добрых дел. Больше никакой черной магии, одна только белая! Если это будет зависеть от меня, вы никогда больше не упадете с лестницы, не порежете себе палец, не споткнетесь о порог. Блаженство, Эльмира, обещаю вам блаженство! Только не умирайте! Смотрите не умирайте! Смотрите, я вынимаю из куклы все кнопки. Эльмира, скажите же мне хоть слово! Ну скажите что-нибудь и сядьте! И пойдете наверх, проголосуем все снова! Обещаю, вы будете председательницей, мы вас выбираем, даже без всякого голосования, мы все единодушно одобряем вашу кандидатуру, ведь правда, сударыни?

При этих словах все члены клуба «Жимолость» зарыдали в голос и им пришлось ухватиться друг за друга, чтобы не упасть.

Том, все еще стоявший наверху, решил, что так плакать можно только над покойницей и миссис Браун наверняка умерла.

Он побежал вниз, но на середине лестницы столкнулся с процессией дам — вид у них был такой, точно они вырвались из самого центра динамитного взрыва.

— С дороги, мальчик!

Первой шла миссис Гудуотер, плача и смеясь.

За ней следовала миссис Эльмира Браун, смеясь и плача.

А уж за ними шествовали все сто двадцать три члена клуба «Жимолость», сами не понимая, возвращаются ли они с похорон, или отправляются на бал.

Том проводил их глазами и покачал головой.

— Теперь я им ни к чему, — сказал он. — Все ни к чему.

И пока его не хватились, стал на цыпочках спускаться с лестницы и все время, до самого низа, крепко держался за перила.

— Что уж тут расписывать, — сказал Том. — Коротко и ясно: все они там просто с ума посходили. Стоят в кружок и сморкаются. А Эльмира Браун сидит на полу под лестницей, и ничего у нее не сломано — я так думаю, у нее кости сделаны из желе, — и ведьма плачет у нее на плече, и вдруг все поднимаются вверх по лестнице и уже смеются! Видал ты когда-нибудь такое? Ну, я скорее дал деру.

Том расстегнул рубашку и снял галстук.

— Так ты говоришь, колдовство? — спросил Дуглас.

— Колдовство как пить дать!

— И ты в это веришь?

— Середка наполовинку.

— Ну и ну, чего только в нашем городе не увидишь! — И Дуглас уставился вдаль: на горизонте громоздились облака самых причудливых очертаний — воины, древние боги и духи. — Так, говоришь, чары, и восковые куклы, и иголки, и снадобья разные?

— Да снадобье-то неважноецкое, но здорово подействовало как рвотное. Э-э-э! Йок! — Том схватился за живот и высунул язык.

— Ведьмы... — пробормотал Дуглас и загадочно скосил глаза.

А потом наступает день, когда слышишь, как всюду вокруг яблонь одно за другим падают яблоки. Сначала одно, потом где-то невдалеке другое, а потом сразу три, потом четыре, девять, двадцать, и наконец яблоки начинают сыпаться как дождь, мягко стучат по влажной, темнеющей траве, точно конские копыта, и ты — последнее яблоко на яблоне, и ждешь, чтобы ветер медленно раскачал тебя и оторвал от твоей опоры в небе, и падаешь все вниз, вниз... И задолго до того, как упадешь в траву, уже забудешь, что было на свете дерево, другие яблоки, лето и зеленая трава под яблоней. Будешь падать во тьму...

— Нет!

Полковник Фрилей быстро открыл глаза и выпрямился в своем кресле на колесах. Вскинул застывшую руку — да, телефон все еще здесь! Полковник на секунду прижал его к груди и растерянно мигнул.

— Не нравится мне этот сон, — сообщил он пустой комнате.

Наконец дрожащими пальцами он поднял трубку, вызвал междугородную и назвал номер, а потом ждал, не сводя глаз с двери своей спальни, точно опасаясь, что вот-вот ворвется орда сыновей, дочерей, внуков, сиделок и докторов и отнимет у него последнюю радость, которую он позволял своему угасающему сердцу. Много дней — или, может быть, лет? — назад, когда оно пронзило острой болью его мышцы и ребра, он услышал этих мальчуганов внизу... как их зовут?.. Чарли, Чарли, Чак, да! И Дуглас! И Том! Он помнит! Они позвали его оттуда, издалека, из прихожей, но у них перед самым носом захлопнули дверь, и они ушли. Доктор сказал, ему нельзя волноваться. Никаких посетителей, ни в коем случае! И он слышал, как мальчики переходили улицу, он их видел, даже помахал им рукой. И они помахали ему в ответ. «Полковник... Полковник...» И теперь он сидит совсем один, и сердце его, как маленький серый лягушонок, вяло шлепает лапками у него в груди, то тут, то там.

— Полковник Фрилей, — раздалось в трубке. — Говорите, я вас соединила. Мехико, Эриксон, номер 3899. И далекий, но удивительно ясный голос:

— Виепо.

— Хорхе! — закричал старый полковник.

— Сеньор Фрилей! Опять! Но ведь это же очень дорого!

— Ну и пусть. Ты знаешь, что надо делать.

— Si. Окно?

— Окно, Хорхе. Пожалуйста.

— Минутку, — сказал голос.

И за тысячи миль от Гринтауна, в южной стране, в огромном многоэтажном здании, в кабинете раздались шаги — кто-то отошел от телефона. Старый полковник весь подался вперед и, крепко прижимая трубку к сморщенному уху, напряженно, до боли, вслушивался и ждал, что будет дальше.

Там открыли окно.

Полковник вздохнул.

Сквозь открытое окно в трубку ворвались шумы Мехико, шумы знойного золотого полудня, и полковник так ясно увидел Хорхе — вот он стоит у окна, а телефонную трубку выставил на улицу, под яркое солнце.

— Сеньор...

— Нет, нет, пожалуйста! Дай мне послушать!

Он слышал: ревут гудки автомобилей, скрипят тормоза, кричат разносчики, на все лады расхваливая свой товар — связки красноватых бананов и дикие апельсины.

Ноги полковника, свисавшие с кресла, невольно начали подергиваться, точно и он шагал по той улице. Веки его были плотно сомкнуты. Он шумно втягивал ноздрями воздух, словно надеясь учуять запах мясных туш, что висят на огромных железных крюках, залитые солнцем и сплошь облепленные мухами, и запах мощенных камнем переулков, еще не просохших после утреннего дождя. Он ощущал на своих колючих, давно не бритых щеках жгучее солнце — ему снова двадцать пять лет, и он идет и смотрит вокруг, и улыбается, и счастлив тем, что живет, что так остро чувствует, впитывает в себя цвета и запахи...

Стук в дверь. Он поспешно накрыл телефон на коленях полкой халата.

Вошла сиделка.

— Ну как, мы хорошо себя вели? — спросила она бодро.

— Да, — машинально ответил полковник. Перед глазами у него стоял туман. Он еще не опомнился от потрясения, стук в дверь застал его

врасплох; часть его существа еще оставалась там, в другом, далеком городе. Он подождал — пусть все вернется на место, ведь нужно отвечать на вопросы, вести себя разумно, быть вежливым.

— Я пришла проверить ваш пульс.

— Не сейчас, — сказал полковник.

— Уж не собираетесь ли вы куда-нибудь пойти? — Сиделка улыбнулась.

Он пристально посмотрел на нее. Он не выходил из дому уже десять лет.

— Дайте-ка руку.

Ее жесткие, уверенные пальцы нащупывали болезнь в его пульсе, измеряли ее, точно кронциркуль.

— Сердце очень возбуждено. Чем это вы его растревожили?

— Ничем.

Она обвела комнату взглядом и увидела пустой телефонный столик. В эту минуту за две тысячи миль раздался приглушенный автомобильный гудок.

Сиделка вынула телефон из-под халата полковника и поднесла к самому его лицу.

— Зачем вы себя губите? Ведь вы обещали больше этого не делать. Поймите, вам же это вредно. Волнуетесь, слишком много разговариваете. И еще эти мальчишки скачут вокруг вас...

— Они сидели очень спокойно и слушали, — сказал полковник. — А я рассказывал о разных разностях, о которых они еще не слыхивали. О буйволах, о бизонах. Ради этого стоило поволноваться. Мне все равно. Я был как в лихорадке и чувствовал, что живу. И если жить полной жизнью — значит умереть скорее, пусть так: предпочитаю умереть быстро, но сперва вкусить еще от жизни. А теперь дайте мне телефон. Раз вы не позволяете мальчикам приходить и тихонько сидеть около меня, я хоть поговорю с кем-нибудь издали.

— Извините, полковник. Мне придется рассказать об этом вашему внуку. Он еще на прошлой неделе хотел убрать отсюда телефон, но я его отговорила. А теперь, видно, придется так и сделать.

— Это мой дом и мой телефон. И я плачу вам жалованье, — сказал старик.

— За то, чтобы я помогала вам поправиться, а не волноваться. — Она откатила кресло в другой конец комнаты. — А теперь, молодой человек, в постель!

Но и с постели полковник, не отрываясь, глядел на телефон.

— Я сбегаяю на минутку в магазин, — сказала сиделка. — А кресло ваше я увезу в прихожую. Так мне спокойно, я уж буду знать, что вы не станете опять звонить по телефону.

И она выкатила пустое кресло за дверь. Потом он услышал, что она снизу звонит на междугородную станцию.

Неужели в Мехико-Сити? Нет, не посмеет.

Хлопнула парадная дверь.

Всю минувшую неделю он провел здесь один, в четырех стенах, и какое это было наслаждение — тайные звонки через моря и океаны, тонкая ниточка, протянутая сквозь дебри омытых дождем девственных лесов, среди озер и горных вершин... разговоры... разговоры... Буэнос-Айрес... и Лима... и Рио-де-Жанейро... разговоры...

Он приподнялся на локте в своей холодной постели. Завтра телефона уже не будет! Каким же он был жадным дураком! Полковник спустил с кровати хрупкие, желтые, как слоновая кость, ноги и изумился — они совсем тонкие! Казалось, эти сухие палки прикрепили к его телу однажды ночью, пока он спал, а другие ноги, помоложе, сняли и сожгли в печи. За долгие годы все его тело разрушили, отняли руки и ноги и оставили взамен нечто жалкое и беспомощное, как шахматные фигурки. А теперь хотят добраться до самого неуловимого — до его памяти: пытаются обрезать провода, которые ведут назад, в прошлое.

Спотыкаясь, полковник кое-как пересек комнату. Схватил телефон и прижал к себе; ноги уже не держали его, и он сполз по стене на пол. Потом позвонил на междугородную, а сердце поминутно взрывалось у него в груди — чаще, чаще... В глазах потемнело. Скорей, скорей!

Он ждал.

— Буэно.

— Хорхе, нас разъединили.

— Вам нельзя звонить, сеньор, — сказал далекий голос. — Ваша сиделка меня просила. Она говорит, вы очень больны. Я должен повесить трубку.

— Нет, Хорхе, пожалуйста! — взмолился старик. — В последний раз прошу тебя. Завтра у меня отберут телефон. Я уже никогда больше не смогу тебе позвонить.

Хорхе молчал.

— Заклинаю тебя, Хорхе, — продолжал старый полковник. — Ради нашей дружбы, ради прошлых дней! Ты не знаешь, как это для меня важно. Мы с тобой однолетки, но ведь ты можешь ДВИГАТЬСЯ! А я не двигаюсь с места уже десять лет!

Он уронил телефон и с большим трудом вновь поднял его, боль в груди разрасталась, не давала дышать.

— Хорхе! Ты меня слышишь?

— И это в самом деле будет последний раз? — спросил Хорхе.

— Да, обещаю тебе!

За тысячи миль от Гринтауна телефонную трубку положили на стол. Снова отчетливо, знакомо звучат шаги, тишина, и наконец открывается окно.

— Слушай же, — шепнул себе старый полковник.

И он услышал тысячу людей под иным солнцем и слабое отрывистое треньканье: шарманка играет «Ла Маримба» — такой прелестный танец!

Старик крепко зажмурился, поднял руку, точно собрался сфотографировать старый собор, и тело его словно налилось, помолодело, и он ощутил под ногами раскаленные камни мостовой.

Ему хотелось сказать:

— Вы все еще здесь, да? Вы, жители далекого города, сейчас у вас время ранней сиесты, лавки закрываются, а мальчишки выкрикивают: «Loteria National para hoy»^[11] и суют прохожим лотерейные билеты. Вы все здесь, люди далекого города. Мне просто не верится, что и я был когда-то среди вас. Из такой дали кажется, что его и нет вовсе, этого города, что он мне только приснился. Всякий город — Нью-Йорк, Чикаго — со всеми своими обитателями издали кажется просто выдумкой. И не верится, что и я существую здесь, в штате Иллинойс, в маленьком городишке у тихого озера. Всем нам трудно поверить, каждому трудно поверить, что все остальные существуют, потому что мы слишком далеко друг от друга. И как же отрадно слышать голоса и шум и знать, что Мехико-Сити все еще стоит на своем месте и люди там все так же ходят по улицам и живут...

Он сидел на полу, крепко прижимая к уху телефонную трубку.

И наконец ясно услышал самый неправдоподобный звук — на повороте заскрежетал зеленый трамвай, полный чужих смуглых и красивых людей, и еще люди бежали вдогонку, и доносились торжествующие возгласы — кому-то удалось вскочить на ходу, трамвай заворачивал за угол, и рельсы звенели, и он уносил людей в знойные летние просторы, и оставалось лишь шипенье кукурузных лепешек на рыночных жаровнях, — а быть может, лишь непрерывное, то угасавшее, то вновь нарастающее гуденье медных проводов, что тянулись за две тысячи миль...

Старый полковник сидел на полу.

Время шло.

Внизу медленно отворилась дверь. Легкие шаги в прихожей, потом

кто-то помедлил в нерешительности и вот, осмелев, поднимается по лестнице. Приглушенные голоса:

— Не надо нам было приходиться!

— А я тебе говорю, он мне позвонил. Ему одному невтерпех. Что ж мы, предатели, что ли, — возьмем да и бросим его?

— Так ведь он болен?

— Ясно, болен. Но он велел приходиться, когда сиделки нет дома. Мы только на минутку войдем, поздороваемся, и...

Дверь спальни раскрылась настежь. И трое мальчишек увидели: старый полковник сидит на полу у стены.

— Полковник Фрилей, — негромко позвал Дуглас.

Тишина была какая-то странная, они тоже не решались больше заговорить.

Потом подошли поближе, тихонько, чуть ли не на цыпочках.

Дуглас наклонился и вынул телефон из совсем уже застывших пальцев старика. Поднес трубку к уху, прислушался. И сквозь гуденье проводов и треск разрядов услышал странный, далекий, последний звук.

Где-то за две тысячи миль закрылось окно.

— Бумм! — крикнул Том. — Бумм, бумм, бумм! Он сидел во дворе суда верхом на пушке времен Гражданской войны.

Перед пушкой стоял Дуглас, он схватился за сердце и рухнул на траву. И не вскочил, а остался лежать и, видно, о чем-то задумался.

— У тебя такое лицо, точно ты вот-вот вытащишь карандаш и возьмешься писать.

— Не мешай мне думать, — ответил Дуглас, глядя на пушку. Потом перекатился на спину и уставился на небо и на макушки деревьев. — Том, до меня только сейчас дошло.

— Что?

— Вчера умер Чин Линсу. Вчера, прямо здесь, в нашем городе, навсегда кончилась Гражданская война. Вчера, прямо здесь, умер президент Линкольн, и генерал Ли, и генерал Грант, и сто тысяч других, кто лицом к югу, а кто — к северу. И вчера днем в доме полковника Фрилея ухнуло со скалы в самую что ни на есть бездонную пропасть целое стадо бизонов и буйволов, огромное, как весь Гринтаун, штат Иллинойс. Вчера целые тучи пыли улеглись навеки. А я-то сначала ничего и не понял! Ужасно, Том, просто ужасно! Как же нам теперь быть? Что будем делать? Больше не будет никаких буйволов... И никаких не будет солдат и генерала Гранта, и генерала Ли, и Честного Эйба^[12], и Чин Линсу не будет! Вот уж

не думал, что сразу может умереть столько народу! А ведь они все умерли, Том, это уж точно.

Том сидел верхом на пушке и глядел сверху вниз на брата, пока тот не умолк.

— Блокнот у тебя тут? Дуглас покачал головой.

— Тогда сбегай-ка за ним и запиши все, пока не забыл. Не каждый день у тебя на глазах помирает половина земного шара.

Дуглас сел на траве, потом встал. И медленно побрел по двору суда, покусывая нижнюю губу.

— Бумм, — негромко сказал Том. — Бумм, бумм. Потом закричал вслед брату:

— Дуг! Пока ты шел по двору, я тебя три раза убил! Слышишь? Эй, Дуг! Ну, ладно. — Он улегся на пушке и, прищурясь, поглядел вдоль корявого ствола. — Бумм, — прошептал он в спину удалявшемуся Дугласу. — Бумм!

— Двадцать девятая!

— Есть!

— Тридцатая!

— Есть!

— Тридцать первая!

Рычаг нырнул вниз. Жестяные колпачки на закупоренных бутылках блестели, как золото. Дедушка подал Дугласу последнюю бутылку.

— Второй летний урожай. Июньский уже в погребе, а вот готов и июльский. Теперь остается только август.

Дуглас поднял бутылку теплого вина из одуванчиков, но на полку ее не поставил. Там уже стояло много перенумерованных бутылок, все совершенно одинаковые, как близнецы: все яркие, аккуратные, все доверху заполненные и плотно закупоренные.

Эта — с того дня, когда я открыл, что живу, подумал он. Почему же она ни капельки не ярче других?

А эта — с того дня, когда Джон Хаф упал с края земли и исчез. Почему же она не темнее остальных?

Где же, где веселые собаки, что все лето прыгали и резвились, точно дельфины, в волнах переливающейся на ветру пшеницы? Где грозовой запах Зеленой машины и трамвая, запах молний? Осталось ли все это в вине? Нет! Или по крайней мере кажется, что нет.

В какой-то книге он вычитал однажды: все слова, что говорили люди с начала времен, все песни, какие они когда-либо пели, и поныне звучат в

межзвездных далях, и если бы долететь до созвездия Центавра, можно было бы услышать, что говорил во сне Джордж Вашингтон или как вскрикнул Юлий Цезарь, когда в спину ему вонзили нож. Насчет звуков все ясно. А как насчет света? Ведь если кто-то хоть раз что-то увидел, оно уже не может просто исчезнуть без следа! Значит, где-то, если хорошенько поискать, — быть может, в истекающих медом пчелиных сотах, где свет прячется в янтарном соке, что собрали обремененные пылью пчелы, или в тридцати тысячах линз, которыми увенчана голова полуденной стрекозы, — удастся найти все цвета и зрелища мира. Или положить под микроскоп одну единственную каплю вот этого вина из одуванчиков — и, может, запольхает извержение Везувия, точно все фейерверки всех дней Четвертого июля. Этому придется поверить.

И все же... вот смотришь на эту бутылку — по номеру ясно, что она налита в тот самый день, когда полковник Фрилей споткнулся и упал на шесть футов под землю, — и, однако, в ней не разглядишь ни грана темного осадка, ни пятнышка пыли, летящей из-под копыт огромных буйволов, ни крошки серы из ружей, что палили в битве при Шайло...

— Да, остается еще август, — сказал Дуглас. — Это верно. Только если и дальше так пойдет, в последнем урожае не соберешь никаких друзей, никаких машин, и одуванчиков кот наплакал.

— Бом! Бом! Ты словно не говоришь, а звонишь в похоронный колокол, — сказал дедушка. — Такие речи хуже всякой ругани. Впрочем, я не стану промывать тебе рот мылом. Тут лучшее лекарство — глоток вина из одуванчиков. А ну-ка! Одним духом! Каково?

— Уф! Будто огонь проглотил!

— Теперь — наверх! Обеги три раза вокруг квартала, пять раз перекувырнись, шесть раз проделай зарядку, взберись на два дерева — и живо из главного плакальщика станешь дирижером веселого оркестра. Дуй!

Четыре раза зарядку, взберусь на одно дерево и два раза перекувырнусь — и хватит, — подумал Дуглас на бегу.

А первого августа в полдень Билл Форестер уселся в свою машину и закричал, что едет в город за каким-то необыкновенным мороженым и не составит ли ему кто-нибудь компанию? Не прошло и пяти минут, как повеселевший Дуглас шагнул с раскаленной мостовой в прохладную, точно пещера, пахнущую лимонадом и ванилью аптеку и уселся с Биллом Форестером у снежно-белой мраморной стойки. Они потребовали, чтобы им перечислили все самые необыкновенные сорта мороженого, и когда

официант дошел до лимонного мороженого с ванилью, «какое едали в старину», Билл Форестер прервал его:

— Вот его-то нам и давайте.

— Да, сэр, — подтвердил Дуглас.

В ожидании мороженого они медленно поворачивались на своих вертящихся табуретах. Перед глазами у них проплывали серебряные краны, сверкающие зеркала, приглушенно жужжащие вентиляторы, что мелькали под потолком, зеленые шторы на окнах, плетеные стулья... Потом они перестали вертеться. Их взгляды уперлись в мисс Элен Лумис — ей было девяносто пять лет, и она с удовольствием уплетала мороженое.

— Молодой человек, — сказала она Биллу Форестеру. — Вы, я вижу, наделены и вкусом и воображением. И силы воли у вас, конечно, хватит на десятерых, иначе вы бы не посмели отказаться от обычных сортов, перечисленных в меню, и преспокойно, без малейшего колебания и угрызений совести заказать такую неслыханную вещь, как лимонное мороженое с ванилью.

Билл Форестер почтительно склонил голову.

— Подите сюда, вы оба, — продолжала старуха. — Садитесь за мой столик. Поговорим о необычных сортах мороженого и еще о всякой всячине — похоже, у нас найдутся общие слабости и пристрастия. Не бойтесь, я за вас заплачу.

— Они заулыбались и, прихватив свои тарелочки, пересели к ней.

— Ты, видно, из Сполдингов, — сказала она Дугласу. — Голова у тебя точь-в-точь как у твоего дедушки. А вы — вы Уильям Форестер. Вы пишете в «Кроникл», и совсем неплохо. Я о вас очень наслышана, все даже и пересказывать неохота.

— Я тоже вас знаю, — ответил Билл Форестер. — Вы — Элен Лумис. — Он чуть замялся и прибавил: — Когда-то я был в вас влюблен.

— Недурно для начала. — Старуха спокойно набрала ложечку мороженого. — Значит, не миновать следующей встречи. Нет, не говорите мне, где, когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Отложим до другого раза. Вы своей болтовней испортите мне аппетит. Смотри ты какой! Впрочем, сейчас мне пора домой. Раз вы репортер, приходите завтра от трех до четырех пить чай; может случиться, что я расскажу вам историю этого города с тех далеких времен, когда он был просто факторией. И оба мы немножко удовлетворим свое любопытство. А знаете, мистер Форестер, вы напоминаете мне одного джентльмена, с которым я дружила семьдесят... да, семьдесят лет тому назад.

Она сидела перед ними, и им казалось, будто они разговаривают с

серой, дрожащей заблудившейся молью. Голос ее доносился откуда-то издалека, из недр старости и увядания, из-под праха засушенных цветов и давным-давно умерших бабочек.

— Ну что ж. — Она поднялась. — Так вы завтра придете?

— Разумеется, приду, — сказал Билл Форестер. И она отправилась в город по своим делам, а мальчик и молодой человек неторопливо доедали свое мороженое и смотрели ей вслед.

На другое утро Уильям Форестер проверял кое-какие местные сообщения для своей газеты, после обеда съездил за город, на рыбалку, но только и поймал несколько мелких рыбешек и сразу же беспечно швырнул их обратно в реку; а в три часа, сам не заметив, как это вышло, — ведь он как будто об этом и не думал вовсе, — очутился в своей машине на некоей улице. Он с удивлением смотрел, как руки его сами собой поворачивают руль и машина, описав широкий полукруг, подъезжает к увитому плющом крыльцу. Он вылез, захлопнул дверцу, и тут оказалось, что машина у него мятая и обшарпанная, совсем как его изжеванная и выдавшая виды трубка, — в огромном зеленом саду перед свежевыкрашенным трехэтажным домом в викторианском стиле это особенно бросалось в глаза. В дальнем конце сада что-то колыхнулось, донесся чуть слышный оклик, и он увидел мисс Лумис — там, вдалеке, в ином времени и пространстве, она сидела одна и ждала его; перед ней мягко поблескивало серебро чайного сервиза.

— В первый раз вижу женщину, которая вовремя готова и ждет, — сказал он, подходя к ней. — Правда, я и сам первый раз в жизни прихожу на свиданье вовремя.

— А почему? — спросила она и выпрямилась в плетеном кресле.

— Право, не знаю, — признался он.

— Ладно. — Она стала разливать чай. — Для начала: что вы думаете о нашем подлунном мире?

— Я ничего о нем не знаю.

— Говорят, с этого начинается мудрость. Когда человеку семнадцать, он знает все. Если ему двадцать семь и он по-прежнему знает все — значит, ему все еще семнадцать.

— Вы, видно, многому научились за свою жизнь.

— Хорошо все-таки старикам — у них всегда такой вид, будто они все на свете знают. Но это лишь притворство и маска, как всякое другое притворство и всякая другая маска. Когда мы, старики, остаемся одни, мы подмигиваем друг другу и улыбаемся: дескать, как тебе нравится моя маска, мое притворство, моя уверенность? Разве жизнь — не игра? И ведь

я недурно играю?

Они оба посмеялись. Билл откинулся на стуле и впервые за много месяцев смех его звучал естественно. Потом мисс Лумис обеими руками взяла свою чашку и заглянула в нее.

— А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Не хотела бы я встретить вас, когда мне был двадцать один год и я была совсем глупенькая.

— Для хорошеньких девушек в двадцать один год существуют особые законы.

— Так вы думаете, я была хорошенькая? Он добродушно кивнул.

— Да с чего вы это взяли? — спросила она. — Вот вы увидели дракона, он только что съел лебедя; можно ли судить о лебеде по нескольким перышкам, которые прилипли к пасти дракона? А ведь только это и осталось — дракон, весь в складках и морщинах, который сожрал бедную лебедушку. Я не вижу ее уже много-много лет. И даже не помню, как она выглядела. Но я ее чувствую. Внутри она все та же, все еще жива, ни одно перышко не слиняло. Знаете, в иное утро, весной или осенью, я просыпаюсь и думаю: вот сейчас побегу через луга в лес и наберу земляники! Или поплаваю в озере, или стану танцевать всю ночь напролет, до самой зари! И вдруг спохватываюсь. Ах ты, пропади все пропадом! Да ведь он меня не выпустит, этот дряхлый развалина-дракон. Я как принцесса в рухнувшей башне — выйти невозможно, знай себе сиди да жди Прекрасного принца.

— Вам бы книги писать.

— Дорогой мой мальчик, я и писала. Что еще оставалось делать старой деве? До тридцати лет я была легкомысленной дурой, только и думала, что о забавах, развлечениях да танцульках. А потом единственному человеку, которого я по-настоящему полюбила, надоело меня ждать, и он женился на другой. И тут назло самой себе я решила: раз не вышла замуж, когда улыбнулось счастье, — поделом тебе, сиди в девках! И принялась путешествовать. На моих чемоданах запестрели разноцветные наклейки. Побывала я в Париже, в Вене, в Лондоне — и всюду одна да одна, и тут оказалось: быть одной в Париже ничуть не лучше, чем в Гринтауне, штат Иллинойс. Все равно где — важно, что ты одна. Конечно, остается вдоволь времени размышлять, шлифовать свои манеры, оттачивать остроумие. Но иной раз я думаю: с радостью отдала бы острое словцо или изящный реверанс за друга, который остался бы со мной на субботу и воскресенье лет эдак на тридцать.

Они молча допили чай.

— Вот какой приступ жалости к самой себе, — добродушно сказала

мисс Лумис. — Давайте поговорим о вас. Вам тридцать один и вы все еще не женаты?

— Я бы объяснил это так: женщины, которые живут, думают и говорят как вы, — большая редкость, — сказал Билл.

— Бог ты мой, — серьезно промолвила она. — Да неужто молодые женщины станут говорить как я! Это придет позднее. Во-первых, они для этого слишком молоды. И во-вторых, большинство молодых людей до смерти пугаются, если видят, что у женщины в голове есть хоть какие-нибудь мысли. Наверно, вам не раз встречались очень умные женщины, которые весьма успешно скрывали от вас свой ум. Если хотите найти для коллекции редкостного жучка, нужно хорошенько поискать и не лениться пошарить по разным укромным уголкам.

Они снова посмеялись.

— Из меня, верно, выйдет ужасно дотошный старый холостяк, — сказал Билл.

— Нет, нет, так нельзя. Это будет неправильно. Вам и сегодня не надо бы сюда приходить. Эта улица упирается в египетскую пирамиду — и только. Конечно, пирамиды — это очень мило, но мумии вовсе не подходящая для вас компания. Куда бы вам хотелось поехать? Что бы вы хотели делать, чего добиться в жизни?

— Хотел бы повидать Стамбул, Порт-Саид, Найроби, Будапешт. Написать книгу. Очень много курить. Упасть со скалы, но на полдороге зацепиться за дерево. Хочу, чтобы где-нибудь в Марокко в меня раза три выстрелили в полночь в темном переулке. Хочу любить прекрасную женщину.

— Ну, я не во всем смогу вам помочь, — сказала мисс Лумис. — Но я много путешествовала и могу вам порассказать о разных местах. И если угодно, пробегите сегодня вечером, часов в одиннадцать, по лужайке перед моим домом, и я, так и быть, выпалю в вас из мушкета времен Гражданской войны, конечно, если еще не лягу спать. Ну как, насытит ли это вашу мужественную страсть к приключениям?

— Это будет просто великолепно!

— Куда же вы хотите отправиться для начала? Могу увезти вас в любое место. Могу вас заколдовать. Только пожелайте. Лондон? Каир? Ага, вы так и просияли! Ладно, значит, едем в Каир. Не думайте ни о чем. Набейте свою трубку этим душистым табаком и устраивайтесь поудобнее.

Билл Форестер откинулся в кресле, закурил трубку и, чуть улыбаясь, приготовился слушать.

— Каир... — начала она.

Прошел час, наполненный драгоценными камнями, глухими закоулками и ветрами египетской пустыни. Солнце источало золотые лучи, Нил катил свои мутно-желтые воды, а на вершине пирамиды стояла совсем юная, порывистая и очень жизнерадостная девушка, и смеялась, и звала его из тени наверх, на солнце, и он спешил подняться к ней, и вот она протянула руку и помогает ему одолеть последнюю ступеньку... а потом они, смеясь, качаются на спине у верблюда, а навстречу вздымается громада Сфинкса... а поздно ночью в туземном квартале звенят молоточки по бронзе и серебру и кто-то наигрывает на незнакомых струнных инструментах, и незнакомая мелодия звучит все тише и наконец замирает вдали...

Уильям Форестер открыл глаза. Мисс Элен Лумис умолкла, и оба они опять были в Гринтауне, в саду, с таким чувством, точно целый век знают друг друга, и чай в серебряном чайнике уже остыл, и печенье подсохло в лучах заходящего солнца. Билл вздохнул, потянулся и снова вздохнул.

— Никогда в жизни мне не было так хорошо!

— И мне тоже.

— Я вас очень утомил. Мне надо было уйти уже час назад.

— Вы и сами знаете, что я отлично провела этот час. Но вот вам-то что за радость сидеть с глупой старухой...

Билл Форестер вновь откинулся на спинку кресла и смотрел на нее из-под полуопущенных век. Потом зажмурился так, что в глаза проникла лишь тонюсенькая полоска света. Осторожно наклонил голову на один бок, потом на другой.

— Что это вы? — недоуменно спросила мисс Лумис. Билл не ответил и продолжал ее разглядывать.

— Если найти точку, — бормотал он, — важно приспособиться, отбросить лишнее... — а про себя подумал: можно не замечать морщины, скинуть со счетов годы, повернуть время вспять.

И вдруг встрепенулся.

— Что случилось? — спросила мисс Лумис. Но все уже пропало. Он открыл глаза, чтобы снова поймать тот призрак. Ошибка, это делать не следовало. Надо было откинуться назад, забыть обо всем и смотреть словно бы лениво, не спеша, полузакрыв глаза.

— На какую-то секунду я это увидел, — сказал он.

— Что увидели?

Лебедушку, конечно, подумал он, и, наверно, она прочла это слово по

его губам.

Старуха порывисто выпрямилась в своем кресле. Руки застыли на коленях. Глаза, устремленные на него, медленно наполнялись слезами. Билл растерялся.

— Простите меня, — сказал он наконец. — Ради бога, простите.

— Ничего. — Она по-прежнему сидела выпрямившись, стиснув руки на коленях, и не смахивала слез. — Теперь вам лучше уйти. Да, завтра можете прийти опять, а сейчас, пожалуйста, уходите, и ничего больше не надо говорить.

Он пошел прочь через сад, оставив ее в тени за столом. Оглянуться он не посмел.

Прошло четыре дня, восемь, двенадцать; его приглашали то к чаю, то на ужин, то на обед. В долгие зеленые послеполуденные часы они сидели и разговаривали — об искусстве, о литературе, о жизни, обществе и политике. Ели мороженое, жареных голубей, пили хорошие вина.

— Меня никогда не интересовало, что болтают люди, — сказала она однажды. — А они болтают, да? Билл смущенно поерзал на стуле.

— Так я и знала. Про женщину всегда сплетничают, даже если ей уже стукнуло девяносто пять.

— Я могу больше не приходиться.

— Что вы! — воскликнула она и тотчас опомнилась. — Это невозможно, вы и сами знаете, — продолжала она спокойнее. — Да ведь и вам все равно, что они там подумают и что скажут, правда? Мы-то с вами знаем — ничего худого тут нет.

— Конечно, мне все равно, — подтвердил он.

— Тогда мы еще поиграем в нашу игру. — Мисс Лумис откинулась в кресле. — Куда на этот раз? В Париж? Давайте в Париж.

— В Париж. — Билл согласно кивнул.

— Итак, — начала она, — на дворе год тысяча восемьсот восемьдесят пятый, и мы садимся на пароход в нью-йоркской гавани. Вот наш багаж, вот билеты, там — линия горизонта. И мы уже в открытом море. Подходим к Марселю...

Она стоит на мосту и смотрит вниз, в прозрачные воды Сены, и вдруг он оказывается рядом с ней и тоже смотрит вниз, на волны лета, бегущие мимо. Вот в белых пальцах у нее рюмка с аперитивом, и снова он тут как тут, наклоняется к ней, чокается, звенят рюмки. Он видит себя в зеркалах Версаля, над дымящимися доками Стокгольма, они вместе читают вывески цирюльников вдоль каналов Венеции. Все, что она видела одна, они видят

теперь снова вместе.

Как-то в середине августа они под вечер сидели вдвоем и глядели друг на друга.

— А знаете, ведь я бываю у вас почти каждый день вот уже две с половиной недели, — сказал Билл.

— Не может быть!

— Для меня это огромное удовольствие.

— Да, но ведь на свете столько молодых девушек...

— В вас есть все, чего недостает им, — доброта, ум, остроумие...

— Какой вздор! Доброта и ум — свойства старости. В двадцать лет женщине куда интересней быть бессердечной и легкомысленной. — Она умолкла и перевела дух. — Теперь я хочу вас смутить. Помните, когда мы встретились в первый раз в аптеке, вы сказали, что у вас одно время была... ну, скажем, симпатия ко мне. Потом вы старались, чтобы я об этом забыла, ни разу больше об этом не упомянули. Вот мне и приходится самой просить вас объяснить мне, что это была за нелепость.

Билл замялся.

— Вы и правда меня смутили.

— Ну, выкладывайте!

— Много лет назад я случайно увидел вашу фотографию.

— Я никогда не разрешаю себя фотографировать.

— Это была очень старая карточка, вам на ней лет двадцать.

— Ах, вот оно что. Это просто курам на смех! Всякий раз, когда я жертвую деньги на благотворительные цели или еду на бал, они выкапывают эту карточку и опять ее перепечатывают. И весь город смеется. Даже я сама.

— Со стороны газеты это жестоко.

— Ничуть. Я им сказала: если вам нужна моя фотография, берите ту, где я снята в тысяча восемьсот пятьдесят третьем году. Пусть запомнят меня такой. И уж, пожалуйста, во время панихиды не открывайте крышку гроба.

— Я расскажу вам, как все это было.

Билл Форестер скрестил руки на груди, опустил глаза и немного помолчал. Он так ясно представил себе эту фотографию. Здесь, в этом саду, было вдоволь времени вспомнить каждую черточку, и перед ним встала Элен Лумис — та, с фотографии, совсем еще юная и прекрасная, когда она впервые в жизни одна позировала перед фотоаппаратом. Ясное лицо, тихая, застенчивая улыбка.

Это было лицо весны, лицо лета, теплое дыхание душистого клевера. На губах рдели гранаты, в глазах голубело полуденное небо. Коснуться этого лица — все равно что ранним декабрьским утром распахнуть окно и, задохнувшись от ощущения новизны, подставить руку под первые легчайшие пушинки снега, что падают с ночи, неслышные и неожиданные. И все это — теплота дыхания и персиковая нежность — навсегда запечатлелось в чуде, именуемом фотографией, над ним не властен ветер времени, его не изменит бег часовой стрелки, оно никогда ни на секунду не постареет; этот легчайший первый снежок никогда не растает, он переживет тысячи жарких июлей.

Вот какова была та фотография, и вот как он узнал мисс Лумис. Он вспомнил все это, знакомый облик встал перед его мысленным взором, и теперь он вновь заговорил:

— Когда я в первый раз увидел эту простую карточку — девушку со скромной, без затей, прической, — я не знал, что снимок сделан так давно. В газетной заметке говорилось, что Элен Лумис откроет в этот вечер бал в ратуше. Я вырезал фотографию из газеты. Весь день я всюду таскал ее с собой. Я твердо решил пойти на этот бал. А потом, уже к вечеру, кто-то увидел, как я гляжу на эту фотографию, и мне открыли истину. Рассказали, что снимок очаровательной девушки сделан давным-давно и газета из года в год его перепечатывает. И еще мне сказали, что не стоит идти на бал и искать вас там по этой фотографии. Долгую минуту они сидели молча. Потом Билл исподтишка глянул на мисс Лумис. Она смотрела в дальний конец сада, на ограду, увитую розами. На лице ее ничего не отразилось. Она немного покачалась в своем кресле и мягко сказала:

— Ну вот и все. Не выпить ли нам еще чаю? Они молча потягивали чай. Потом она наклонилась вперед и похлопала его по плечу.

— Спасибо.

— За что?

— За то, что вы хотели пойти на бал искать меня, за то, что вырезали фотографию из газеты, — за все. Большое вам спасибо.

Они побродили по тропинкам сада.

— А теперь моя очередь, — сказала мисс Лумис. — Помните, я как-то обмолвилась об одном молодом человеке, который ухаживал за мной семьдесят лет тому назад? Он уже лет пятьдесят как умер, но в то время он был совсем молодой и очень красивый, целые дни проводил в седле и даже летними ночами скакал на лихом коне по окрестным лугам. От него так и веяло здоровьем и сумасбродством, лицо всегда было покрыто загаром, руки вечно исцарапаны; и все-то он бурлил и кипятился, а ходил так

стремительно, что казалось, его вот-вот разорвет на части. То и дело менял работу — бросит все и перейдет на новое место, а однажды сбежал и от меня, потому что я была еще сумасбродней его, нипочем не соглашалась стать степенной мужней женой. Вот так все и кончилось. И я никак не ждала, что в один прекрасный день вновь увижу его живым. Но вы живой, и нрав у вас тоже горячий и неумный и вы такой же неуклюжий и вместе с тем изящный. И я заранее знаю, как вы поступите, когда вы и сами еще об этом не догадываетесь, и, однако, всякий раз вам поражаюсь. Я всю жизнь считала, что перевоплощение — бабьи сказки, а вот на днях вдруг подумала: а что, если взять и крикнуть на улице: «Роберт! Роберт!» — обернется ли на этот зов Уильям Форестер?

— Не знаю, — сказал он.

— И я не знаю. Потому-то жизнь так интересна.

Август почти кончился. По городу медленно плыло первое прохладное дыхание осени, яркая зелень листвы потускнела, а потом деревья вспыхнули буйным пламенем, горы и холмы зарумянились, заиграли всеми красками, а пшеничные поля побурели. Дни потекли знакомой однообразной чередой, точно писарь выводил ровным круглым почерком букву за буквой, строку за строкой.

Как-то раз Уильям Форестер шагал по хорошо знакомому саду и еще издали увидел, что Элен Лумис сидит за чайным столом и старательно что-то пишет. Когда Билл подошел, она отодвинула перо и чернила.

— Я вам писала, — сказала она.

— Не стоит трудиться — я здесь.

— Нет, это письмо особенное. Посмотрите. — Она показала Биллу голубой конверт, только что заклеенный и аккуратно разглаженный ладонью. — Запомните, как оно выглядит. Когда почтальон принесет вам его, это будет означать, что меня уже нет в живых.

— Ну что это вы такое говорите!

— Садитесь и слушайте. Он сел.

— Дорогой мой Уильям, — начала она, укрывшись под тенью летнего зонтика. — Через несколько дней я умру. Нет, не перебивайте меня. — Она предостерегающе подняла руку. — Я не боюсь. Когда живешь так долго, теряешь многое, в том числе и чувство страха. Никогда в жизни не любила омаров — может, потому что не пробовала. А в день, когда мне исполнилось восемьдесят, решила — дай-ка отведаю. Не скажу, чтобы я их так сразу и полюбила, но теперь я хоть знаю, каковы они на вкус, и не боюсь больше. Так вот, думаю, и смерть вроде омара, и уж как-нибудь я с

ней примирюсь. — Мисс Лумис махнула рукой. — Ну, хватит об этом. Главное, что я вас больше не увижу. Отпевать меня не будут. Я полагаю, женщина, которая прошла в эту дверь, имеет такое же право на уединение, как женщина, которая удалилась на ночь к себе в спальню.

— Смерть предсказать невозможно, — выговорил наконец Билл.

— Вот что, Уильям. Полвека я наблюдаю за дедовскими часами в прихожей. Когда их заводят, я могу точно сказать наперед, в котором часу они остановятся. Так и со старыми людьми. Они чувствуют, как слабеет завод и маятник раскачивается все медленнее. Ох, пожалуйста, не смотрите на меня так.

— Простите, я не хотел... — ответил он.

— Мы ведь славно провели время, правда? Это было так необыкновенно хорошо — наши с вами беседы каждый день. Есть такая ходячая, избитая фраза — родство душ; так вот, мы с вами и есть родные души. — Она повертела в руках голубой конверт. — Я всегда считала, что истинную любовь определяет дух, хотя тело порой отказывается этому верить. Тело живет только для себя. Только для того, чтобы пить, есть и ждать ночи. В сущности, это ночная птица. А дух ведь рожден от солнца, Уильям, и его удел — за нашу долгую жизнь тысячи и тысячи часов бодрствовать и выпитывать все, что нас окружает. Разве можно сравнить тело, это жалкое и себялюбивое порождение ночи, со всем тем, что за целую жизнь дают нам солнце и разум? Не знаю. Знаю только, что все последние дни мой дух соприкасался с вашим и дни эти были лучшими в моей жизни. Еще о многом надо бы поговорить, да придется отложить до новой встречи.

— У нас не так уж много времени.

— Да, но вдруг будет еще одна встреча! Время — престранная штука, а жизнь — и еще того удивительней. Как-то там не так повернулись колесики или винтики, и вот жизни человеческие переплелись слишком рано или слишком поздно. Я чересчур зажилась на свете, это ясно. А вы родились то ли слишком рано, то ли слишком поздно. Ужасно досадное несовпадение. А может, это мне в наказание — уж очень я была легкомысленной девчонкой. Но на следующем обороте колесики могут опять повернуться так, как надо. А куда непременно найдите себе славную девушку, женитесь и будьте счастливы. Но прежде вы должны мне кое-что обещать.

— Все что угодно.

— Обещайте не дожить до глубокой старости, Уильям. Если удастся, постарайтесь умереть, пока вам не исполнилось пятьдесят. Я знаю, это не

так просто. Но я вам очень советую — ведь кто знает, когда еще появится на свет вторая Элен Лумис. А вы только представьте: вот вы уже дряхлый старик, и в один прекрасный день в тысяча девятьсот девяносто девятом году плететесь по Главной улице и вдруг видите меня, а мне только двадцать один, и все опять полетело вверх тормашками — ведь правда, это было бы ужасно? Мне кажется, как ни приятно нам было встречаться в эти последние недели, мы все равно больше не могли бы так жить. Тысяча галлонов чая и пятьсот печений — вполне достаточно для одной дружбы. Так что непременно устройте себе, лет эдак через двадцать, воспаление легких. Ведь я не знаю, сколько вас там продержат, на том свете, — а вдруг сразу отпустят обратно? Но я сделаю все, что смогу, Уильям, обещаю вам. И если все пойдет как надо, без ошибок и опозданий, знаете, что может случиться?

— Скажите мне.

— Как-нибудь, году так в тысяча девятьсот восемьдесят пятом или девяностом, молодой человек по имени Том Смит или, скажем, Джон Грин, гуляя по улицам, заглянет мимоходом в аптеку и, как полагается, спросит там какого-нибудь редкостного мороженого. А по соседству окажется молодая девушка, его сверстница, и, когда она услышит, какое мороженое он заказывает, что-то произойдет. Не знаю, что именно и как именно. А уж она-то и подавно не будет знать, как и что. И он тоже. Просто от одного названия этого мороженого у обоих станет необыкновенно хорошо на душе. Они разговорятся. А потом познакомятся и уйдут из аптеки вместе.

И она улыбнулась Уильяму.

— Вот как гладко получается, но вы уж извините старуху, люблю все разбирать и по полочкам раскладывать. Это просто так, пустячок вам на память. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. О чем же? Осталось ли на свете хоть одно местечко, куда мы еще не съездили? А в Стокгольме мы были?

— Да, прекрасный город.

— А в Глазго? Куда же нам теперь?

— Почему бы не съездить в Гринтаун, штат Иллинойс? — предложил Билл. — Сюда. Мы ведь, собственно, не побывали вместе в нашем родном городе.

Мисс Лумис откинулась в кресле. Билл последовал ее примеру, и она начала:

— Я расскажу вам, каким был наш город давным-давно, когда мне едва минуло девятнадцать...

Зимний вечер, она легко скользит на коньках по замерзшему пруду, лед под луной белый-белый, а под ногами скользит ее отражение и словно шепчет ей что-то. А вот летний вечер — летом здесь, в этом городе, зноем опалены и улицы, и щеки, и в сердце знойно, и, куда ни глянь, мерцают — то вспыхнут, то погаснут — светлячки. Октябрьский вечер, ветер шумит за окном, а она забежала на кухню полакомиться тянучкой и беззаботно напевает песенку; а вот она бежит по мшистому берегу реки, вот весенним вечером плавает в гранитном бассейне за городом, в глубокой и теплой воде; а теперь Четвертое июля, в небе рассыпаются разноцветные огни фейерверка — и алым, синим, белым светом озаряются лица зрителей на каждом крыльце, и, когда гаснет в небе последняя ракета, одно девичье лицо сияет ярче всех.

— Вы видите все это? — спрашивает Элен Лумис. — Видите меня там, с ними?

— Да, — отвечает Уильям Форестер, не открывая глаз. — Я вас вижу.

— А потом, — говорит она, — потом...

Голос ее все не смолкает, день на исходе, и сгущаются сумерки, а голос все звучит в саду, и всякий, кто пройдет мимо за оградой, даже издали может его услышать — слабый, тихий, словно шелест крыльев мотылька...

Два дня спустя Уильям Форестер сидел за столом у себя в редакции, и тут пришло письмо. Его принес Дуглас, отдал Уильяму, и лицо у него было такое, словно он знал, что там написано.

Уильям Форестер сразу узнал голубой конверт, но не вскрыл его. Просто положил в карман рубашки, минуту молча смотрел на мальчика, потом сказал:

— Пойдем, Дуг. Я угощаю.

Они шли по улицам и почти всю дорогу молчали; Дуглас и не пытался заговорить — чутье подсказывало ему, что так надо. Надвинувшаяся было осень отступила. Вновь сияло лето, вспенивая облака и начищая голубой металл неба. Они вошли в аптеку и уселись у снежно-белой стойки. Уильям Форестер вынул из нагрудного кармана письмо и положил перед собой, но все не распечатывал конверт.

Он смотрел в окно: желтый солнечный свет на асфальте, зеленые полотняные навесы над витринами, сияющие золотом буквы вывесок через дорогу... потом взглянул на календарь на стене. Двадцать седьмое августа тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Он взглянул на свои наручные часы; сердце билось медленно и тяжело, а минутная стрелка на

циферблате совсем не двигалась, и календарь навеки застыл на этом двадцать седьмом августа, и даже солнце, казалось, пригвождено к небу и никогда уже не закатится. Вентиляторы над головой, вздыхая, разгоняли теплый воздух. Мимо распахнутых дверей аптеки, чему-то смеясь, проходили женщины, но он их не видел, он смотрел сквозь них и видел дальние улицы и часы на высокой башне здания суда. Наконец распечатал письмо и стал читать.

Потом медленно повернулся на вертящемся табурете. Опять и опять беззвучно повторял эти слова про себя, и наконец выговорил их вслух, и снова повторил:

— Лимонного мороженого с ванилью, — сказал он. — Лимонного мороженого с ванилью.

Дуглас, Том и Чарли, тяжело дыша, бежали по залитой солнцем улице.

— Том, скажи честно.

— Чего тебе?

— Бывает так, что все хорошо кончается?

— Бывает — в пьесках, которые показывают на утренниках по субботам.

— Ну это понятно, а в жизни так бывает?

— Я тебе одно скажу, Дуг: ужасно люблю вечером ложиться спать! Так что уж один-то раз в день непременно бывает счастливый конец. Наутро встаешь и, может, все пойдет хуже некуда. Но тогда я сразу вспомню, что вечером опять лягу спать и как полежу немножко, все опять станет хорошо.

— Да нет, я про мистера Форестера и про старую мисс Лумис.

— Так ведь она умерла, что ж тут поделаешь.

— Я знаю. Только тут все равно что-то не так, верно?

— А, ты вон про что! Ему-то кажется, что она все молоденькая, совсем как на той карточке, а на самом деле ей уже целый миллион лет — про это, да? Ну, а по-моему, это просто здорово!

— Как так здорово?

— За последнее время мистер Форестер мне понемножку про все это рассказывал, и я под конец сообразил, что к чему, и давай реветь — прямо как девчонка! Даже сам не знаю, с чего это я. Только мне вовсе не хочется, чтобы было по-другому. Ведь будь оно по-другому, нам с тобой и говорить бы не о чем. И потом мне нравится плакать. Как поплачешь хорошенько, сразу кажется, будто опять утро и начинается новый день.

— Вот теперь понятно!

— Да ты и сам любишь поплакать, только не признаешься. Поплачешь всласть, и потом все хорошо. Вот тебе и счастливый конец. И опять охота бежать на улицу и играть с ребятами. И тут, глядишь, начинается самое неожиданное! Вот и мистер Форестер вдруг подумает-подумает и поймет, что тут уж все равно ничего не поделаешь, да как заплачет, потом поглядит, а уже опять утро, хоть бы на самом деле было пять часов дня.

— Что-то непохоже это на счастливый конец.

— Надо только хорошенько выспаться, или пореветь минут десять, или съесть целую пинту шоколадного мороженого, а то и все это вместе — лучшего лекарства не придумаешь. Это тебе говорит Том Сполдинг, доктор медицины.

— Да замолчите вы, — сказал Чарли. — Мы уже почти пришли.

Они завернули за угол.

Среди зимы они, бывало, искали следы и признаки лета и находили их в топках печей в подвалах или в вечерних кострах на краю пруда, превращенного в каток. Теперь, летом, они искали хоть малейшего отзвука, хоть напоминания о забытой зиме.

За углом в их разгоряченные лица дохнуло свежестью, словно легкий морозящий дождик брызнул навстречу с огромного кирпичного здания; прямо перед ними была вывеска, которую они давно знали наизусть:

ЛЕТНИЙ ЛЕД

Того-то им и надо было.

«Летний лед» в летний день! Они смеялись и повторяли эти слова, и подошли поближе, чтобы заглянуть в громадную пещеру, где в аммиачных парах и хрустальных каплях дремали большущие, по пятьдесят, сто и двести фунтов, куски ледников и айсбергов — давно выпавший, но незабытый январский снег.

— Чувствуешь? — вздохнул Чарли Вудмен. — Чего еще надо человеку?

Над ними всюду светило солнце, а лица опять и опять оневали холодное дыханье зимы, и они втягивали ноздрями запах влажной деревянной платформы, где всеми цветами радуги переливался постоянный туман; он исходил от механизмов, которые там, наверху, вырабатывали лед.

Ребята грызли сосульки, пальцы у них заоченели — пришлось завернуть сосульки в носовые платки и сосать полотно.

— "Ледяные дуновенья, леденящие туманы", — шепнул Том. — Помните «Снежную королеву»? Понятно, теперь мы уже не верим в такую ерунду. А может, она как раз тут и прячется, потому что никто больше в нее

не верит? Очень просто!

Они стояли и смотрели, как над холодильником поднимаются испарения и уплывают длинными лентами холодного дыма.

— Нет, — сказал Чарли. — Знаете, кто тут живет? Только он один. Про кого как подумаешь, враз мурашки по спине забегают. — Чарли понизил голос почти до шепота: ДУШЕГУБ!

— Душегуб?

— Ну да, тут он родился, вырос и весь свой век тут живет. Вы поймите, ребята: тут всегда зима, всегда холод, а ведь из-за Душегуба мы и летом дрожим, в самую жару, в самые душные ночи. Откуда же ему еще взяться? Тут даже пахнет им. Верно вам говорю, да вы и сами знаете. Душегуб... Душегуб...

Туман и испарения клубились в темноте.

Том взвизгнул.

— Ничего, ничего, Дуг! — Чарли широко ухмыльнулся. — Это я просто запустил ему за шиворот сосульку.

Часы на здании суда пробили семь раз. Отзвучало и замерло эхо.

Маленький городишко в штате Иллинойс, затерянный в глуши, отгороженный от мира рекой, лесом, лугом и озером, окутанный теплыми летними сумерками. От тротуаров еще пышет жаром. Закрываются магазины, на улицы ложится тень. И над городом — две луны: на все четыре стороны смотрят четыре циферблата часов над торжественным черным зданием суда, а на востоке в темном небе, светясь молочной белизной, восходит настоящая луна.

В аптеке высоко под потолком шепчутся вентиляторы. В тени вычурных крылечек сидят несколько человек, в темноте их не разглядеть. Порою разгорится розовый огонек сигары. Затянутые москитной сеткой двери веранд скрипят и хлопают. По лиловым в поздних летних сумерках камням мостовой бежит Дуглас Сполдинг, следом мчатся собаки и мальчишки.

— Привет, мисс Лавиния!

Мальчишки пронеслись мимо. Лавиния Неббс лениво помахала им вдогонку. Она сидела совсем одна, изредка белыми пальцами подносила к губам высокий фужер с прохладным лимонадом, отпивала глоток, ждала.

— Вот и я!

Лавиния обернулась — у крыльца стояла Франсина, вся в белом, от нее веяло цветущими цинниями и гибискусом.

Лавиния Неббс заперла парадную дверь, оставила недопитый лимонад

на веранде.

— Самый подходящий вечер для хорошего фильма. Они вышли на улицу.

— Куда вы, девочки? — окликнули их мисс Роберта и мисс Ферн, завидев подруг со своей веранды.

— В кино «Элита», смотреть Чарли Чаплина, — через мягкий океан тьмы отозвалась Лавиния. — Нет уж, в такую ночь нас из дому не выманишь! — крикнула мисс Ферн. — Вот в такие ночи Душегуб и душит женщин. Мы сегодня захватим пистолет и запремся в чулане.

— Вот еще глупости! — сказала Лавиния. За обеими старушками громко захлопнулась дверь, в замке щелкнул ключ, а девушки пошли дальше. Славно было ощущать теплое дыхание летней ночи над раскаленными тротуарами. Будто идешь по твердой корочке свежеепеченного хлеба. Жаркие струи вкрадчиво обвивают ноги, забираются под платье, охватывают все тело... Приятно!

— Лавиния, а ты веришь всем этим разговорам насчет Душегуба?

— Уж очень наши дамы. любят поболтать, язык-то без костей.

— А что ни говори, два месяца назад убили Хетти Мак-Доллис, а месяц назад — Роберту Ферри, а теперь вот исчезла Элизабет Рэмсел...

— Хетти Мак-Доллис была просто дурочка. Ручаюсь, она сбежала с каким-нибудь коммивояжером.

— А как же остальные? Говорят, их всех нашли удушенными, и язык прикушен.

Они стояли на краю оврага, который делил город надвое. Позади остались освещенные дома и музыка, впереди — провал, сырость, светлячки и тьма.

— Может, зря мы сегодня пошли в кино, — заметила Франсина. — Вдруг Душегуб нас выследит и убьет! Не люблю я этот овраг. Посмотри-ка на него.

Лавиния посмотрела, и овраг показался ей динамо-машиной, которая ни днем ни ночью не знает покоя; там непрерывно что-то ворчит, шуршит и ворочается — идет жизнь растений, насекомых и какого-то зверья. Из глубины оврага тянет, словно из теплицы, какими-то неведомыми приторными испарениями, древними, насквозь промытыми сланцами, сыпучими песками. А черная динамо-машина все гудит и гудит, и летающие светлячки разрывают тьму, точно электрические искры.

— Мне-то уж не надо будет сегодня в такую поздноту возвращаться домой через этот мерзкий овраг, — сказала Франсина. — А вот тебе придется идти домой этой дорогой, Лавиния. По этим ступенькам и через

мост... а вдруг тебе встретится Душегуб?

— Глупости! — сказала Лавиния Неббс.

— Я-то не пойду, а вот ты пойдешь по тропинке одна и станешь прислушиваться к собственным шагам. Всю дорогу до дому тебе придется идти одной. Послушай, Лавиния, неужели тебе не жутко совсем одной в твоём доме?

— Старые девы любят жить одни. — Лавиния указала на тропку среди кустов, уходящую во тьму; там было жарко, словно в теплице. — Давай пойдём напрямик.

— Я боюсь!

— Ещё рано. Душегуб выходит на охоту гораздо позже. Лавиния взяла Франсину под руку и повела по извилистой тропинке, все ниже, ниже, в теплоту сверчков, кваканья лягушек и напоенную тонким пеньем москитов тишину. Они пробирались сквозь сожжённую солнцем траву, сухие стебли кололи их голые щиколотки.

— Побежим! — задыхаясь, попросила Франсина.

— Нет!

Тропинка вильнула в сторону — и тут они увидели...

В певучей тишине ночи, под сенью нагретых солнцем деревьев лежала Элизабет Рэмсел — казалось, она прилегла здесь, чтобы насладиться ласковыми звездами и беспечным ветерком, руки свободно лежали вдоль тела, как весла легкокрылого суденышка.

Франсина вскрикнула.

— Не кричи! — Лавиния протянула руки и ухватила за Франсину, а та всхлипывала и давилась слезами. — Не кричи, не смей кричать!

Элизабет лежала, точно ее вынесло сюда волнами; лицо залито лунным светом, глаза широко раскрыты и тускло отсвечивают, как речная галька, кончик языка прикушен.

— Она мертвая, — сказала Франсина. — Ой, она мертвая, мертвая!

Лавиния словно окаменела, а вокруг темнели теплые тени, стрекотали сверчки, громко квакали лягушки.

— Надо сообщить в полицию, — сказала она наконец.

— Обними меня, Лавиния, мне холодно, ужасно холодно, в жизни не было так холодно!

Лавиния обняла Франсину; а между тем по сухой до хруста траве шагали полицейские, под ногами металась пятна света от карманных фонариков, звучали приглушенные голоса; время близилось к половине девятого.

— Прямо как в декабре. Свитер бы надеть! — не открывая глаз, сказала Франсина и прижалась к подруге.

— Теперь вы обе можете идти, уважаемые, — сказал полицейский. — А завтра прошу зайти к нам в участок, у нас, наверно, будут к вам еще кое-какие вопросы.

И Лавиния с Франсиной пошли от полиции и от белой простыни, которая прикрывала теперь нечто неподвижное, простертое на траве.

Сердце Лавинии отчаянно колотилось, ее тоже насквозь, до самых костей пробирал холод; в лунном свете ее тонкие пальцы белели как льдинки; и ей запомнилось, что она всю дорогу что-то говорила, а Франсина только всхлипывала и жалась к ней.

Внезапно вдогонку послышался голос:

— Может, вас проводить?

— Нет, мы дойдем одни, — ответила в темноту Лавиния, и они пошли дальше. Они шли по оврагу, тут все шуршало и словно бы настороженно принюхивалось к ним, перешептывалось, стрекотало и потрескивало, а крошечный островок, где остались огни и голоса, где люди искали следы убийцы, затерялся далеко позади.

— Я никогда раньше не видела мертвых, — сказала Франсина.

Лавиния взгляделась в свои часы, словно они были бог весть в какой дали, словно собственное запястье оказалось за тысячу миль от нее.

— Сейчас только половина девятого. Захватим по дороге Элен и пойдем в кино.

— В кино?! — Франсина отшатнулась.

— Непременно. Нужно забыть все это. Нужно выкинуть это из головы. Если сейчас вернуться домой, мы все время будем об этом думать. Нет, пойдем в кино, как будто ничего не случилось.

— Лавиния, неужели ты серьезно?

— Еще как серьезно. Нужно забыть, нужно смеяться.

— Но ведь там Элизабет... твоя подруга... и моя...

— Ей мы уже ничем не можем помочь; значит, надо думать о себе. Пойдем.

В темноте они стали взбираться каменистой тропинкой по склону оврага. И вдруг перед ними, загораживая им дорогу, не видя их, потому что он смотрел вниз, на движущиеся огоньки и на мертвое тело, и прислушивался к голосам полицейских, вырос Дуглас Сполдинг.

Он стоял, беспомощно опустив руки, белый как мел от лунного света и, не отрываясь, глядел вниз, в овраг.

— Иди домой! — крикнула Франсина. Он не слышал.

— Эй, ты! — завопила Франсина. — Иди домой, уходи отсюда сейчас же, слышишь? Иди домой, домой, ДОМОЙ!

Дуглас вскинул голову и уставился на них невидящими глазами. Губы его подергивались. Он промычал что-то невнятное. Потом молча повернулся и бросился бежать. Молча бежал он к дальним холмам, в теплую тьму.

Франсина снова всхлипнула и заплакала и пошла дальше с Лавинией Неббс.

— Ну, наконец-то. Я уж думала, вы совсем не придете! — Элен Грир стояла на крыльчке и нетерпеливо притоптывала ногой. — Вы опоздали всего лишь на какой-нибудь час. Что случилось?

— Мы... — начала было Франсина. Но Лавиния крепко стиснула ее руку.

— Там ужасный переполох. Кто-то нашел в овраге Элизабет Рэмсел.

— Мертвую? Она... умерла?

Лавиния кивнула. Элен ахнула и схватилась рукой за горло.

— Кто же ее нашел?

Лавиния крепко сжимала руку Франсины.

— Мы не знаем.

Три девушки стояли в сумерках летнего вечера и смотрели друг на друга.

— Мне почему-то хочется войти в дом и запереть все двери, — сказала наконец Элен.

Но в конце концов она пошла только надеть свитер; было еще тепло, но и она вдруг почувствовала, что зябнет.

Едва она скрылась за дверью, Франсина зашептала, как в лихорадке:

— Почему ты ей не сказала?

— Зачем ее расстраивать? — ответила Лавиния. — Успеется. Завтра скажу.

Три подруги пошли по улице под чернильно-черными деревьями мимо внезапно замкнувшихся домов. Как быстро разнеслась страшная весть — из оврага, от дома к дому, от крыльца к крыльцу, от телефона к телефону! И вот они идут и слышат, как защелкиваются дверные замки, и чувствуют на себе взгляды тех, кто прячется за спущенными шторами. Как странно: был обычный вечер, с трещотками, хлопучками и мороженым, руки пахли ванильным кремом от москитов — и вдруг детей точно вымело с улицы, они побросали все свои игры и разбежались по домам, их упрятали в четырех стенах, за плотно занавешенными окнами, и только брошенные

хлопушки валяются в лимонных и земляничных лужицах растаявшего мороженого. Странно: душные комнаты, там, за бронзовыми дверными молотками и ручками, битком набиты, люди задыхаются, все в испарине. Бейсбольные мячи и биты валяются на пустынных лужайках. На раскалившемся за день тротуаре, от которого идет пар, не дорисованы белым мелом «классы»... Точно секунду назад кто-то объявил, что сейчас грянет трескучий мороз.

— Мы просто сумасшедшие! Надо же — в такой вечер бродить по улицам! — заметила Элен.

— Душегуб не убьет сразу трех, — ответила Лавиния. — Втроем не опасно. И потом, бояться еще рано. Он убивает не чаще одного раза в месяц.

На их перепуганные лица упала тень. За деревом кто-то стоял. И словно кулак обрушился на клавиши органа — все три пронзительно вскрикнули на разные голоса.

— Ага, поймал! — зарычал густой бас.

И вот перед ними человек. Стремительно выскочил на свет и хохочет. Прислонился спиной к дереву, за которым только что прятался, указывает на девушек пальцем и знай себе хохочет!

— Эй, вы! Это я и есть Душегуб!

— Фрэнк Диллон!

— Фрэнк!

— Фрэнк!

— Фрэнк, — сказала Лавиния, — если вы еще когда-нибудь выкинете такую дурацкую шутку, пусть вас изрешетят пулями.

— Как не стыдно! — И Франсина истерически зарыдала. Улыбка сбежала с губ Фрэнка.

— Прощу прощенья, я никак не думал...

— Уходите! — сказала Лавиния. — Разве вы не слышали про Элизабет? Ее нашли мертвую в овраге. А вы бегаєте по ночам и пугаете женщин. Молчите, мы не хотим больше слышать ни слова.

— Послушайте, погодите...

Они пошли прочь. Он двинулся было за ними.

— Оставайтесь здесь, мистер Душегуб, пугайте самого себя. Пойдите посмотрите на лицо Элизабет Рэмсел — увидите, как все это забавно!

И Лавиния повела подруг дальше по улице, осененной деревьями и звездами. Франсина не отнимала от глаз платок.

— Франсина, ведь он пошутил, — сказала Элен. — Лавиния, почему она так плачет?

— После расскажем, когда придем в город. И что бы там ни было, мы идем в кино! А теперь — хватит! Доставайте-ка деньги, мы уже почти пришли.

В аптеке застоялся теплый воздух; большие деревянные вентиляторы разгоняли его, и на улицу вырывались волны запахов — тянуло то арникой, то спиртом, то содой.

— Дайте мне на пять центов зеленых мятных конфеток, — сказала Лавиния хозяину. Как и у всех, кого они видели в этот вечер на полупустых улицах, лицо у него было бледное и решительное. — Надо же что-нибудь жевать в кино.

Он отвесил на пять центов зеленых конфет, насыпав их в кулек серебряным совком.

— Какие вы все нынче хорошенькие, — сказал он. — А днем, когда вы зашли выпить содовой с шоколадом, мисс Лавиния, вы были такая хорошенькая и серьезная, что один человек даже стал про вас расспрашивать.

— Вот как?

— Да, мужчина, что сидел вот тут, у стойки. Вы вышли, а он долго так глядел вам вслед и спрашивает: «Это кто такая?» — «Да это ж Лавиния Неббс, — говорю. — Самая хорошенькая девушка в городе». — «И вправду хороша, — говорит он. — А где она живет?»

Тут хозяин смутился и прикусил язык.

— Не может быть! — сказала Франсина. — Неужели вы дали ему адрес? Поверить не могу!

— Видите ли, я как-то не подумал... «Да на Парк-стрит, — говорю, — знаете, у самого оврага». Так просто, не подумавши. А вот сейчас, как услышал, что Элизабет нашли убитую, так и спохватился. Бог ты мой, думаю, что же это я наделал!

И он подал Лавинии кулек, в котором конфет было куда больше, чем на пять центов.

— Какой дурак! — закричала Франсина, и глаза ее снова наполнились слезами.

— Извините меня. Да ведь, может, тут еще и нет ничего худого.

Все как замороженные смотрели на Лавинию. А она была совсем спокойна. Только чуть дрожало что-то внутри, будто перед прыжком в холодную воду. Машинально она протянула деньги за конфеты.

— Нет, ничего я с вас не возьму, — сказал хозяин, отвернулся и стал перебирать какие-то бумаги.

— Ну вот что. — Элен вскинула голову и решительным шагом пошла прочь из аптеки. — Сейчас я возьму такси, и мы все отправимся по домам. Я вовсе не намерена потом разыскивать по всей округе твой труп, Лавиния. Тот человек замышляет недоброе. С какой это стати он про тебя расспрашивал? Может, ты хочешь, чтобы в следующий раз в овраге нашли тебя?

— Это был самый обыкновенный человек, — возразила Лавиния, медленно повернулась и обвела взглядом вечерний город.

— Фрэнк Диллон тоже человек, но, может быть, как раз он-то и есть Душегуб.

Тут они заметили, что Франсина не вышла из аптеки вместе с ними, оглянулись и увидели ее в дверях.

— Я заставила хозяина описать мне того человека, — сказала она. — Расспросила, какой он с виду. Говорит, нездешний, в темном костюме. Какой-то бледный и худой.

— Все мы с перепугу невесть чего навывдумывали, — сказала Лавиния. — Не поеду я ни в каком такси, и не уговаривайте меня. Если уж мне суждено стать следующей жертвой — что ж, так тому и быть. Жизнь вообще слишком скучна и однообразна, особенно для девицы тридцати трех лет от роду, так что уж не мешайте мне хоть на этот раз поволноваться. Да и вообще это глупо. Я вовсе не красивая.

— Ты очень красивая, Лавиния. Ты красивей всех в городе, да еще теперь, когда Элизабет... — Франсина запнулась. — Просто ты чересчур гордая. Будь ты хоть немножко поговорчивей, ты бы уже давным-давно вышла замуж!

— Перестань хныкать, Франсина! Вот и касса. Я плачу сорок один цент и иду смотреть Чарли Чаплина. Если вам нужно такси — пожалуйста, поезжайте. Я посмотрю фильм и отлично дойду одна.

— Лавиния, ты с ума сошла! Мы не оставим тебя тут делать глупости. Они вошли в кинотеатр.

Первый сеанс уже окончился, в тускло освещенном зале народу было немного. Три подружки уселись в среднем ряду, вокруг пахло лаком — должно быть, недавно протирали медные дверные ручки; и тут из-за выцветшей красной бархатной портьеры вышел хозяин и объявил:

— Полиция просила нас закончить сегодня пораньше, чтобы все могли прийти домой не слишком поздно. Поэтому мы не будем показывать хронику и сейчас же пускаем фильм. Сеанс окончится в одиннадцать часов. Всем советуют — идите прямо домой, не задерживайтесь на улицах.

— Это он говорит специально для нас, Лавиния, — прошептала

Франсина.

Свет погас. Ожил экран.

— Лавиния, — шепнула Элен.

— Что?

— Когда мы сюда входили, улицу переходил мужчина в темном костюме. Он только что вошел в зал и сидит сейчас за нами.

— Ох, Элен!

— Прямо за нами?

Одна за другой все три оглянулись.

Они увидели незнакомое лицо, совсем белое в жутком неверном отсвете серебристого экрана. Казалось, в темноте над ними нависли лица всех мужчин на свете.

— Я позову управляющего! — И Элен пошла к выходу. — Остановите фильм! Зажгите свет!

— Элен, вернись! — крикнула Лавиния и встала.

Они поставили на столик пустые стаканы из-под содовой и, смеясь, слизнули ванильные усики от мороженого.

— Вот видите, как глупо получилось, — сказала Лавиния. — Подняли такой шум из ничего. Ужасно неудобно!

— Ну, я виновата, — тихонько отозвалась Элен. Часы показывали уже половину двенадцатого. Три подруги вышли из темного кинотеатра, смеясь над Элен, с ними высыпали остальные зрители и зрительницы и заспешили кто куда, в неизвестность. Элен тоже пыталась смеяться над собой.

— Ты только представь себе, Элен: бежишь по проходу и кричишь: «Свет! Дайте свет!» Я подумала — сейчас умру. А каково тому бедняге!

— Он — брат управляющего, приехал из Расина.

— Я же извинилась, — возразила Элен, глядя на потолок, где все вертелся, вертелся и разгонял теплый ночной воздух огромный вентилятор, вновь и вновь обдавая их запахом ванили, мяты и креозота.

— Не надо нам было задерживаться тут, пить эту содовую. Ведь полиция предупреждала.

— Да ну ее, полицию! — засмеялась Лавиния. — Ничего я не боюсь. Душегуб уже, наверно, за тысячи миль отсюда. Он теперь не скоро вернется, а как явится снова, полиция его тут же сцапает, вот увидите. Правда, фильм чудесный?

Улицы были пусты — легковые машины и фургоны, грузовики и людей словно метлой вымело. В витринах небольшого универсального

магазина еще горели огни, а согретые ярким светом восковые манекены протягивали розовые восковые руки, выставляя напоказ пальцы, унизанные перстнями с голубовато-белыми бриллиантами, или задирали оранжевые восковые ноги, привлекая взгляд прохожего к чулкам и подвязкам. Жаркие, синего стекла, глаза манекенов провожали девушек, а они шли по улице, пустой, как русло высохшей реки, и их отражения мерцали в окнах, точно водоросли, расцветающие в темных волнах.

— Как вы думаете, если мы закричим, они прибегут к нам на помощь?

— Кто?

— Ну, публика эта, из витрин...

— Ох, Франсина!

— Не знаю...

В витринах стояла тысяча мужчин и женщин, застывших и молчаливых, а на улице они были только втроем, и стук их каблуков по спекшемуся асфальту пробуждал резкое эхо, точно вдогонку трещали выстрелы.

Красная неоновая вывеска тускло мигала в темноте и, когда они проходили мимо, зажужжала, как умирающее насекомое.

Впереди лежали улицы — белые, спекшиеся. Справа и слева над тремя хрупкими женщинами вставали высокие деревья, и ветер шевелил густую листву лишь на самых макушках. С остроконечной башни здания суда показалось бы — летят по улице три пушинки одуванчика.

— Сперва мы проводим тебя, Франсина.

— Нет, я провожу вас.

— Не глупи, — возразила Лавиния. — Твой Электрик-парк — это такая даль. Проводишь меня, а потом тебе придется возвращаться домой через овраг. Да ведь если на тебя с дерева упадет хоть один листочек, у тебя будет разрыв сердца.

— Что ж, тогда я останусь ночевать у тебя, Лавиния, — сказала Франсина. — Ведь из всех нас ты самая хорошенькая.

Так они шли, двигаясь, будто три стройных и нарядных манекена, по залитому лунным светом морю зеленых лужаек и асфальта, и Лавиния приглядывалась к черным деревьям, что проплывали по обе стороны от них, прислушивалась к голосам подруг — они негромко болтали и пытались даже смеяться; и ночь словно ускоряла шаг, потом помчалась бегом — и все-таки еле плелась, и все стремительно несло куда-то, и все казалось раскаленным добела и жгучим, как снег.

— Давайте петь, — предложила Лавиния. И они запели «Свети, свети, осенняя луна...». Они шли, взявшись под руки, не оглядываясь назад, и

задумчиво, вполголоса пели. И чувствовали, как раскаленный за день асфальт понемногу остывает у них под ногами.

— Слушайте! — сказала Лавиния.

Они прислушались к летней ночи. Стрекотали сверчки, вдалеке часы на здании суда пробили без четверти двенадцать.

— Слушайте!

Она и сама прислушивалась. В темноте скрипнул гамак — это мистер Терн вышел на веранду выкурить перед сном последнюю сигару и молча одиноко сидел в гамаке. Розовый кончик сигары медленно качался взад и вперед.

Огни постепенно гасли, гасли — и погасли совсем. Погасли огни в маленьких домишках, и в больших домах, желтые огни и зеленые, фонари и фонарики, свечи, керосиновые лампы и лампочки на верандах — и все живое спряталось за медными, железными, стальными замками, засовами и запорами, думала Лавиния, все живое забилося в тесные, темные каморки, завернулось и укрылось с головой. Люди лежат в кроватях, на них светит луна. Там, у себя в спальнях, они ничего не боятся, дышат ровно и спокойно, потому что они не одни. А мы идем по улице, по остывающему ночному асфальту. И над нами светят редкие уличные фонари, отбрасывая неверные, пьяные тени.

— Вот и твой дом, Франсина. Спокойной ночи!

— Лавиния, Элен, переночуйте у меня. Уже очень поздно, почти полночь. Я уложу вас в гостиной. Сварю горячего шоколада... будет так весело! — Франсина обняла их обеих.

— Нет, спасибо, — сказала Лавиния. И Франсина заплакала.

— Ох, сделай милость, не начинай все сначала, — сказала Лавиния.

— Я не хочу, чтобы ты умерла, — всхлипывала Франсина, и слезы градом катились по ее щекам. — Ты такая красивая и милая, я хочу, чтобы ты осталась жива. Ну, пожалуйста, пожалуйста, не уходи!

— Вот уж не думала, что ты из-за этого так разволнуешься. Я приду домой и сразу тебе позвоню.

— Обещаешь?

— Ну конечно, и скажу, что все в порядке. А завтра мы устроим в Электрик-парке пикник. Я сама приготовлю сэндвичи с ветчиной. Ладно? Видишь, я вовсе не собираюсь умирать.

— Значит, ты позвонишь?

— Я же обещала!

— Ну, тогда спокойной ночи, спокойной ночи! Франсина одним духом взбежала на крыльцо и юркнула в дверь, которая тотчас же захлопнулась за

ней, и следом загремел засов.

— Теперь я отведу домой тебя, Элен, — сказала Лавиния.

Часы на здании суда пробили полночь. Звуки летели над пустынным городом — никогда еще не был он таким пустынным. И замерли над пустынными улицами, над пустыми палисадниками и опустелыми лужайками.

— Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, — считала Лавиния, держа Элен под руку.

— Правда, чувствуешь себя как-то странно? — спросила Элен.

— Ты о чем?

— Как подумаешь, что мы сейчас идем по улице, а все люди преспокойно лежат в постели за закрытыми дверями. Ведь сейчас, наверно, на тысячу миль вокруг только мы одни остались под открытым небом.

До них донесся смутный шум, идущий из теплой и темной глубины: овраг был уже недалеко.

Через минуту они стояли у дома Элен и долгим взглядом смотрели друг на друга. Ветер дохнул запахом прозрачной свежести. По небу потянулись облака, и луна померкла.

— Может быть, все-таки останешься у меня, Лавиния?

— Нет, я пойду домой.

— Иногда...

— Что иногда?

— Иногда мне начинает казаться, что люди сами ищут смерти. Сегодня вечером ты ведешь себя престранно.

— Просто я ничуть не боюсь, — ответила Лавиния. — И мне, наверно, немножко любопытно. И я не теряю головы. Если рассуждать трезво. Душегуб никак не может сейчас быть где-нибудь поблизости. Такой переполох, и вся полиция на ногах.

— Твоя полиция давно уже дома и спит сладким сном.

— Ну, скажем так: я развлекаюсь, хоть и чуть рискованно, но в общем не опасно. Если бы это было и в самом деле опасно, я бы, конечно, осталась у тебя.

— А вдруг в глубине души тебе и правда не хочется жить?

— Глупости! И что вы с Франсиной такое выдумываете!

— Мне так совестно! Ты только еще доберешься до дна оврага и пойдешь по мосту, а я уже буду пить горячее какао!

— Выпей чашку за мое здоровье. Спокойной ночи!

Лавиния Неббс вышла одна на спящую улицу, в безмолвие

августовской ночи. Дома стояли темные, ни одно окно не светило, где-то лаяла собака. «Через пять минут я буду уже дома и в безопасности, — думала Лавиния. — Через пять минут я позвоню этой глупышке Франсине. Я...»

И тут она услышала голос.

Вдалеке, меж деревьев, мужской голос пел: «Под июньской луной жду свиданья с тобой...»

Лавиния прибавила шаг.

Голос пел: «Я тебя обниму... и своей назову...»

В тусклом лунном свете по улице ленивой, беспечной походкой шел человек.

«Если уж придется, побегу и постучусь в любую дверь», — думала Лавиния.

«Под июньской луной жду свиданья с тобой», — пел незнакомец, помахивая длинной дубинкой.

— Ба, кто это тут бродит? Нашли время для прогулок, мисс Неббс, нечего сказать!

— Сержант Кеннеди? Разумеется, это был он.

— Давайте-ка я провожу вас до дому.

— Спасибо, я и одна дойду.

— Но ведь придется идти через овраг...

Да, думала Лавиния, но с мужчиной я через овраг не пойду, даже если он полицейский. Откуда мне знать, кто из вас Душегуб?

— Ничего, — сказала она. — Я пойду быстро.

— Тогда я подожду здесь, — предложил он. — Если вам понадобится помощь, только крикните. Я услышу и тотчас прибегу.

— Спасибо.

И она пошла дальше, а он остался один под фонарем и опять замурлыкал свою песенку.

«Ну вот», — сказала она себе.

Овраг.

Лавиния стояла на верхней из ста тринадцати ступенек, которые вели вниз по крутому склону; потом надо было пройти семьдесят ярдов по мосту и снова подняться наверх, к Парк-стрит. И на всем этом пути — только один фонарь. Через три минуты я поверну ключ, и отопру дверь моего дома, и войду, подумала она. Ничего со мной не случится за какие-нибудь сто восемьдесят секунд.

Она начала спускаться по бесконечным, позеленевшим от плесени ступенькам в овраг.

— Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, — считала она их шепотом.

Лавиния шла медленно, но задыхалась, точно от быстрого бега.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать ступенек, — задыхаясь, шептала она.

— Это уже пятая часть пути, — объявила она себе. Овраг был глубокий и черный, черный, непроглядно-черный! И весь мир остался позади, мир тех, кто спокойно спит в своей постели; запертые двери, город, аптека, кинотеатр, огни — все осталось позади. А здесь — один овраг, только он вокруг — черный и огромный.

— Ведь ничего не случилось, правда? И никого здесь нет. Двадцать четыре ступеньки, двадцать пять. А помнишь, в детстве мы пугали друг друга сказками о привидениях?

Она прислушалась к собственным шагам — они отсчитывали ступеньку за ступенькой.

— Помнишь сказочку про то, как в дом к тебе приходит черный человек, а ты уже лежишь в постели? И вот он уже на первой ступеньке лестницы, которая ведет к тебе в спальню. Вот он уже на второй ступеньке. Вот уже на третьей, на четвертой, на пятой! Помнишь, как вы все визжали и смеялись, слушая эту сказочку? И вот ужасный черный человек уже на двенадцатой ступеньке, вот он открывает дверь в твою комнату, вот стоит у твоей кровати. «АГА, ПОПАЛАСЬ!»

Лавиния вскрикнула. Никогда в жизни она не слыхала такого отчаянного вопля. И сама никогда в жизни не кричала так громко. Она остановилась, замерла на месте и ухватилась за деревянные перила. Сердце в груди разрывалось. Его неистовый стук, казалось, заполнил вселенную.

«Вот, вот оно! — кричало что-то у нее внутри. — Там, внизу, под фонарем кто-то стоит! Нет, уже скрылся. Но он меня ждал!»

Лавиния прислушалась.

Тишина.

На мосту — никого.

Ничего там нет, думала она, держась за сердце. Ничего. Дура я! Зачем было вспоминать эту сказку? До чего глупо! И что мне теперь делать?

Сердце понемногу успокоилось.

Позвать сержанта Кеннеди? Может, он слышал, как я завопила?

Она снова прислушалась. Ничего. Ничего.

Пойду дальше. Это все та глупая сказка виновата.

Она опять начала считать ступеньки.

— Тридцать пять, тридцать шесть, осторожно, не упасть бы. Я просто дура. Тридцать семь, тридцать восемь... девять, сорок и еще две, значит, сорок две, уже почти полпути.

Она снова замерла.

— Погоди, — сказала она себе. Сделала шаг. Раздалось эхо. Еще шаг. Снова эхо. Чужой шаг, на долю секунды позже.

— Кто-то идет за мной, — шепнула она оврагу, черным сверчкам, и затаившимся зеленым лягушкам, и черной речке. — Кто-то идет сзади по лестнице. Я боюсь обернуться.

Еще шаг, снова эхо.

— Как только я шагну, он тоже шагает. Шаг и эхо.

— Сержант Кеннеди, это вы? — нерешительно спросила она у оврага. Сверчки молчали.

Сверчки прислушивались. Ночь прислушивалась к ней и к ее шагам. Все дальние ночные луга и все ближние ночные деревья вокруг, против обыкновения, застыли и не шевелились; листья, кусты, звезды и трава в лугах — все вдруг замерло и слушало, как бьется сердце Лавинии Неббс. И может быть, где-то за тысячу миль, на глухом полустанке, где от поезда до поезда — целая вечность, одинокий путник читает сейчас газету при тусклом свете единственной лампочки — и вдруг поднимет голову, прислушается и спросит себя: что это? И подумает: наверно, просто дятел стучит по дуплистому стволу. Но нет, это не дятел, это Лавиния Неббс, это ее сердце стучит так громко.

Тишина. Тишина летней ночи, что раскинулась на тысячи миль, затопила землю, точно белое море, полное теней. Скорей, скорей! Все ниже по ступенькам. Беги!

Она услышала музыку. Безумие, глупость, но на нее обрушилась мощная волна музыки, и тут оказалось — она бежит, бежит в страхе и ужасе, а в каком-то уголке сознания, еще усиливая и нагнетая страх, звучит грозная, тревожная музыка и толкает ее все дальше, дальше, скорее, скорее, и она летит и падает все ниже, ниже, на самое дно оврага.

— Еще немножко! — молила Лавиния. — Сто восемь, девять, сто десять ступенек! Наконец-то дно! Теперь бегом! Через мост!

Она торопила руки, ноги, все тело, весь свой страх, она приказывала всем фибрам своего существа в эту ослепительную и страшную минуту, когда она бежала над шумной быстрой речкой по пустынным, гулким, качающимся и упругим, чуть ли не живым доскам, а за ней по мосту гнались шаги и настигали, настигали, и музыка тоже гналась следом, пронзительная и бессвязная...

Он догоняет, не оборачивайся, не смотри, если увидишь его — перепугаешься насмерть и уже не сможешь двинуться с места. Беги, беги!

Она бежала по мосту.

Господи боже, прошу тебя, молю, дай мне взбежать наверх! Вот и подъем, тропинка, теперь между холмов, ох, как темно, и все так далеко! Если я даже закричу, теперь это уже не поможет; да я и не в силах кричать. Ну вот, конец тропки, вот и улица; господи, хоть бы добраться, если только я доберусь домой, больше никогда в жизни никуда не пойду одна. Я была дура, ну да, я была дура, я не знала, что такое страх, но только бы добраться сегодня домой — клянусь, я уже никогда никуда не пойду без Элен или Франсины! Вот и улица. Теперь через дорогу!

Она перебежала дорогу и кинулась дальше по тротуару.

Ну вот крыльцо! Мой дом! Господи, дай мне еще минутку, я войду и запру дверь — и я спасена!

И тут — как глупо, некогда сейчас замечать такие пустяки, скорей, скорей, не терять ни секунды, и все-таки она заметила: он блестит в темноте — недопитый стакан лимонада, она оставила его тут, на веранде, давным-давно, год назад, целых полвечера тому назад... Стакан с лимонадом стоит тут преспокойно, как ни в чем не бывало... и...

Непослушные ноги поднялись по ступенькам крыльца, руки тряслись и никак не попадали в замок ключом. Сердце стучало на весь свет. И что-то внутри отчаянно кричало от страха.

Наконец-то ключ в замке.

Открывай же, скорей, скорей!

Дверь распахнулась.

Скорей туда. Захлопывай!

Она хлопнула дверь.

— Теперь на ключ, на засов, на все запоры! — задыхаясь, прошептала Лавиния. — Крепче, крепче, надежнее!

Дверь заперта крепко, надежно.

Музыка умолкла. Она вновь прислушалась к стуку сердца — он понемногу стихал.

Дома! Наконец-то! Дома и в безопасности! Спасена, спасена, дома! Она в изнеможении прислонилась спиной к двери. Спасена, спасена! Слушай! Ни звука. Спасена, слава богу, спасена, в безопасности, дома. Никогда, никогда больше не выйду вечером на улицу. Буду сидеть дома. Никогда в жизни больше не пойду через этот овраг! Дома, дома, спасена, все хорошо, как все хорошо! Дверь заперта, все хорошо. Стоп! Выгляни в окно.

Она выглянула.

Да ведь там никого нет! Никого! И никто вовсе за мной и не шел. Никто меня не догонял. Лавиния вздохнула и чуть было не засмеялась над собой. Ну ясно же! Если бы кто-то за мной гнался, он бы, конечно, меня поймал! Не так уж я быстро бегаю... И на веранде никого нет, и во дворе тоже... Какая я глупая! Ни от чего я не убегала. В этом овраге так же безопасно, как в любом другом месте. И все-таки как хорошо дома! Так тепло, уютно, нет лучше места на земле!

Она протянула руку к выключателю и замерла.

— Что? — сказала она. — Что? Что такое?! У нее за спиной кто-то откашлялся.

— А, чтоб им пусто было, все-то они портят!

— Да ты не расстраивайся, Чарли!

— Ну ладно, а про что мы теперь будем говорить? Какой толк говорить про Душегуба, если его даже нет больше в живых? Это теперь ни капельки не страшно.

— Не знаю, как ты, Чарли, — сказал Том, — а я опять пойду к «Летнему льду». Сяду там у двери и стану воображать, будто он живой, и опять у меня мороз пойдет по коже.

— Ну, это обман.

— А как же быть, если кругом нет ничего страшного? Приходится что-то придумывать.

Дуглас не слушал, что говорят Том с Чарли. Он глядел на дом Лавинии Неббс и бормотал:

— Вчера вечером я был в овраге. Я это видел. Я все видел. А по дороге домой проходил тут. И видел этот самый стакан с лимонадом на веранде, там еще оставался лимонад. Мне даже захотелось его допить. Вот бы, думаю, допить его. Я был в овраге и тут тоже. Я был в самой-самой гуще всего.

Том и Чарли, в свою очередь, не обращали никакого внимания на Дугласа.

— Если хочешь знать, — говорил Том, — я и не верю вовсе, что Душегуб умер.

— Да ты ж сам был тут утром, когда «Скорая помощь» вынесла этого человека на носилках.

— Ясно, был, — сказал Том.

— Ну вот, это он самый и есть — Душегуб, дурень ты! Читай газеты! Целых десять лет он увертывался и не попадался — и вот старушка

Лавиния Неббс берет и протыкает его самыми обыкновенными ножницами! Вечно суются не в свое дело.

— Что же ей, по-твоему, сложить руки и пускай он ее спокойненько душит?

— Нет, зачем же, но хоть выскочила бы из дому, побежала бы, что ли, по улице, заорала бы: «Душегуб! Душегуб!» А он бы тем временем улизнул. Да-а, до вчерашней полуночи у нас в городе было хоть что-то хорошее. А теперь такая тишь да гладь, что даже тошно!

— В последний раз говорю тебе, Чарли: Душегуб не умер. Я видел его лицо, и ты тоже видел. И Дуг видел его, верно, Дуг?

— Что? Да, кажется. Да.

— Все его видели. Так вот, вы мне скажите: похож он, по-вашему, на Душегуба?

— Я... — начал Дуглас и умолк. Прошло секунд пять.

— Бог ты мой, — прошептал наконец Чарли. Том ждал и улыбался.

— Он ни капельки не похож на Душегуба, — ахнул Чарли. — Он похож просто на человека!

— Вот то-то и оно! Сразу видно — самый обыкновенный человек, который даже мухи не обидит! Уж если ты Душегуб, так должен быть и похож на Душегуба, верно? А этот похож на лотошника — знаешь, который вечером перед кино торгует конфетами.

— Что ж, по-твоему, это был просто какой-нибудь бродяга? Шел по городу, увидал пустой дом и забрался туда, а мисс Неббс взяла да там его и убила?

— Ясно.

— Постой-ка! Мы ведь не знаем, какой Душегуб с виду. Никаких его карточек мы не видали. А кто его видел, те ничего сказать не могут, потому что они уже мертвые.

— Ты отлично знаешь, какой Душегуб с виду, и я знаю, и Дуг тоже. Он обязательно высокий, да?

— Ясно...

— И обязательно бледный, да?

— Правильно, бледный.

— И костлявый, как скелет, и волосы длинные, черные, да?

— Ну да, я всегда так и говорил.

— И глазищи выдупленные и зеленые, как у кошки?

— Правильно, весь тут, тютелька в тютельку.

— Ну вот. — Том фыркнул. — Вы же видели этого беднягу, которого выволокли из дома мисс Неббс. Какой он, по-вашему?

— Маленький, лицо красное и даже вроде толстый, волос — кот наплакал и те какие-то рыжеватые... Ай да Том, попал в самую точку! Пошли! Зови ребят! Ты им тоже все растолкуешь. Ясно, Душегуб живой! Он сегодня ночью опять будет всюду рыскать и искать себе жертву.

— Угу, — сказал Том и вдруг задумался.

— Ты молодчина, Том, здорово соображаешь. Никто бы из нас не сумел вот так поправить все дело. Целое лето чуть не полетело вверх тормашками, спасибо ты вовремя выручил. Август будет не вовсе пропащий! Эй, ребята!

И Чарли умчался прочь, крича во все горло и размахивая руками.

А Том все стоял на тротуаре перед домом Лавинии Неббс. Он был бледен.

— Бог ты мой, — шептал он. — Что же я такое натворил?

И повернулся к Дугласу.

— Послушай, Дуг, что же это я натворил? Дуглас не сводил глаз с дома. Губы его шевелились.

— Вчера вечером я был в овраге. Я видел Элизабет Рэмсел. И я проходил здесь по дороге домой. И видел стакан с лимонадом там, на веранде. Только вчера вечером. Я даже мог его выпить... Я его чуть не выпил...

Она была из тех женщин, у кого в руках всегда увидишь метлу, или пыльную тряпку, или мочалку, или поварешку. Утром она, что-то мурлыча себе под нос, срезала с пирога подгоревшую корочку, днем ставила пироги в духовку, а в сумерки вынимала их. Когда она несла в буфет фарфоровые чашки, они звенели, точно колокольчики. Она неумоимо сновала по комнатам, словно пылесос, выскивая малейшие пылинки, наводя везде чистоту и порядок. В каждом окне стекла сверкали, как зеркала, вбирая в себя солнечные лучи. Дважды в день она обходила весь сад с лопаткой в руках — и всюду, где она проходила, тотчас распрямлялись и вспыхивали ярче трепетные огоньки цветов. Спала она спокойным сном, за всю ночь переворачивалась с боку на бок раза три, не больше, — она вся отдыхала, точно белая перчатка, которую на рассвете вновь заполнит неумоимая рука. А проснувшись, легко касалась людей и поправляла их, как покосившиеся картины.

Но теперь...

— Бабушка, — говорили все в доме. — Прабабушка. Казалось, надо было сложить длинный-длинный столбик чисел — и вот теперь наконец под чертой выводишь самую последнюю, окончательную. Она начинала

индеек, цыплят, голубей, взрослых людей и мальчишек. Она мыла потолки, стены, больных и детей. Она настилала на полы линолеум, чинила велосипеды, разводила огонь в печах, мазала йодом тысячи царапин и порезов. Неугомонные руки ее не знали устали — весь день они утоляли чью-то боль, что-то разглаживали, что-то придерживали, кидали бейсбольные мячи, размахивали яркими крокетными молотками, сажали семена в черную землю, укрывали то яблоки, запеченные в тесте, то жаркое, то детей, разметавшихся во сне. Она опускала шторы, гасила свечи, поворачивала выключатели и... старела. Если оглянуться назад, видно: она переделала на своем веку тысячи миллионов самых разных дел, и вот все сложено и подсчитано, выведена последняя цифра, последний ноль медленно становится на место. И теперь, с мелом в руке, она отступила от доски жизни, и молчит, и смотрит на нее, и сейчас возьмет тряпку и все сотрет.

— Что-то я еще хотела... — сказала прабабушка. — Что-то я хотела...

Без всякого шума и суматохи она обошла весь дом, добралась наконец до лестницы и, никому ничего не сказав, одна поднялась на три пролета, вошла в свою комнату и молча легла, как старинная мумия, под прохладные белоснежные простыни и начала умирать. И опять голоса:

— Бабушка! Прабабушка!

Слухи о том, чем она там занимается, скатились вниз по лестнице, ударились о самое дно и расплескались по комнатам, за двери и окна, по улице вязов до края зеленого оврага.

— Сюда, сюда!

Вся семья собралась у ее постели.

— Не мешайте мне лежать спокойно, — шепнула она. Ее недуг не разглядеть было ни в какой микроскоп; тихо, но неодолимо нарастала усталость, все тяжелело маленькое и хрупкое, как у воробышка, тело, и сон затягивал — глубоко, все глубже и глубже.

А ее детям и детям ее детей никак не верилось: ведь то, что происходит, так просто и естественно, и ничего неожиданного тут нет, откуда же у них такая тревога?

— Послушай, бабушка, это просто нечестно. Ты же знаешь, без тебя развалится весь дом. Нам надо приготовиться, дай нам хоть год сроку!

Прабабушка открыла один глаз. Все ее девяносто лет спокойно глядели на врачей, как призрак из чердачного окна пустующего дома.

— Том...

Мальчика прислали одного; он подошел к самой кровати, чтобы расслышать шепот.

— Том, — слабо, издалека шептала прабабушка. — В южных морях наступает в жизни каждого мужчины такой день, когда он понимает: пора распрощаться со всеми друзьями и уплыть прочь, и он так и делает, и так оно и должно быть, потому что настал его час. Вот так и сегодня. Мы с тобой очень похожи — ты тоже иногда засиживаешься на субботних утренниках до девяти вечера, пока мы не пошлем за тобой отца. Но помни. Том, когда те же ковбои начинают стрелять в тех же индейцев на тех же горных вершинах, самое лучшее — тихонько встать со стула и пойти напрямик к выходу, и не стоит оглядываться, и ни о чем не надо жалеть. Вот я и уйду, пока я все еще счастлива и жизнь мне еще не наскучила.

Следующим к ней привели Дугласа.

— Бабушка, кто же весной будет крыть крышу? Каждую весну, в апреле — так повелось с незапамятных времен, — на крыше поднимался перестук, точно ее долбили дятлы. Но это были не птицы: туда невесть каким образом забиралась прабабушка и под самым небом, весело напевая, забивала гвозди и меняла черепицы.

— Дуглас, — прошептала она. — Никогда не позволяй никому крыть крышу, если это не доставляет ему удовольствия.

— Хорошо, бабушка.

— Как придет апрель, оглянись вокруг и спроси: «Кто хочет чинить крышу?» И если кто-нибудь обрадуется, заулыбается, он-то тебе и нужен. Потому что с этой крыши виден весь город, и он тянется к полям, а поля тянутся за край земли, и река блестит, и утреннее озеро, и птицы поют на деревьях под тобой, и тебя овеивает самый лучший весенний ветер. Даже чего-нибудь одного довольно, чтобы весной на заре человек с радостью забрался хоть на флюгер. Это — час великих свершений, дай только случай...

Ее голос постепенно затих.

Дуглас плакал.

Она вновь встрепенулась.

— Отчего же ты плачешь?

— Оттого, что завтра тебя здесь не будет. Старуха поглядела в маленькое ручное зеркальце, потом повернула его к мальчику. Он посмотрел на ее отражение, потом на свое, потом снова на нее.

— Завтра утром я встану в семь часов и хорошенько вымою уши и шею, — сказала она. — Потом побегу с Чарли Вудменом в церковь, потом на пикник в Электрик-парк. Я буду плавать, бегать босиком, падать с деревьев, жевать мятную жевательную резинку... Дуглас, Дуглас, ну как тебе не стыдно? Ногти ты себе стрижешь?

— Да, бабушка.

— И не плачешь, когда твое тело возрождается каждые семь лет или вроде этого — когда у тебя на пальцах и в сердце отмирают старые клетки и рождаются новые? Ведь это тебя не огорчает?

— Нет, бабушка.

— Ну вот, подумай, мальчик. Только дурак станет хранить обрезки ногтей. Ты когда-нибудь видал, чтобы змея старалась сохранить свою старую кожу? А ведь в этой кровати сейчас только и осталось, что обрезки ногтей да старая, облезлая кожа. Стоит один лишь разок вздохнуть поглубже — и я рассыплюсь в прах. Главное — не та я, что тут лежит, а та, что сидит на краю кровати и смотрит на меня, и та, что сейчас внизу готовит ужин, и та, что возится в гараже с машиной или читает книгу в библиотеке. Все это — частицы меня, они-то и есть самые главные. И я сегодня вовсе не умираю. Никто никогда не умирает, если у него есть дети и внуки. Я еще очень долго буду жить. И через тысячу лет будут жить на свете мои потомки — полный город! И они будут грызть кислые яблоки в тени эвкалиптов. Вот мой ответ всем, кто задает мудреные вопросы. А теперь быстро пришли сюда всех остальных!

И наконец вся семья собралась в спальне — стоят, точно на вокзале провожают кого-то в дальний путь.

— Ну вот, — говорит прабабушка, — вот и все. Скажу честно: мне приятно видеть всех вас вокруг. На будущей неделе принимайтесь за работы в саду, и за уборку в чуланах, и пора закупить детям одежду на зиму. И раз уж здесь не будет той частицы меня, которую для удобства называют прабабушкой, разные другие частицы, которые называются дядя Берт, и Лео, и Том, и Дуглас, и все остальные, должны меня заменить, и всякий пусть делает что сможет.

— Хорошо, бабушка.

— И, пожалуйста, не устраивайте здесь завтра никакого шума и толчеи. Не желаю, чтобы про меня говорили всякие лестные слова: я сама все их с гордостью сказала в свое время. Я на своем веку отведала каждого блюда и станцевала каждый танец — только один пирог еще надо попробовать, только одну мелодию остается спеть. Но я не боюсь. По правде говоря, мне даже интересно. Я ничего не собираюсь упустить, надо вкусить и от смерти. И, пожалуйста, не волнуйтесь за меня. А теперь уходите все и дайте мне уснуть...

Где-то тихонько закрылась дверь.

— Вот так-то лучше...

Она уютно свернулась в теплом сугробе полотна и шерсти, простынь и

одеял, и лоскутное покрывало горело всеми цветами радуги, точно цирковые флажки в старину. Так она лежала, маленькая, затихшая, и ждала — чего же? — совсем как восемьдесят с лишком лет назад, когда, просыпаясь по утрам, она нежилась в постели, расправляя еще не окрепшие косточки.

«Когда-то очень давно, — думала она, — мне снился сон, и он был такой хороший, и вдруг меня разбудили — это было в тот день, когда я родилась. А теперь? Пстой-ка, дай сообразить... — Она унеслась мыслями в прошлое. — Да, так о чем, бишь, я?.. — думала она. — Девяносто лет... Как теперь подхватить ту ниточку и воскресить тот давний сон? — Она высунула из-под одеяла высохшую руку. — А, вот... Да, вот оно». Она улыбнулась. Повернула голову на подушке, погружаясь глубже в теплый, пушистый снег. Вот так-то лучше. Да, теперь он снова возникал в ее памяти, спокойно и безмятежно, как тихое море, что плещет о бесконечный, вечнозеленый берег. И вот давний сон теплой волной коснулся ее, и поднял из снежного сугроба, и бережно понес над забытой уже кроватью.

Внизу они чистят серебро, думала она, прибирают в погребе и подметают комнаты и коридоры. Слышно, как по всему дому идет неутомимая жизнь.

— Все хорошо, — прошептала прабабушка, и сон подхватил ее. — Как и все в жизни, это правильно, все так и должно быть.

И волны повлекли ее в открытое море.

— Привидение! — закричал Том.

— Нет, — ответил голос. — Это я.

В темную спальню, наполненную ароматом яблок, ворвался призрачный свет. Баночка размером в четверть литра, точно повисшая в воздухе, переливалась множеством мерцающих огоньков. В этом мертвенно-бледном сиянии торжественно светились глаза Дугласа. Он так загорел, что его лицо и руки совсем растворились в темноте, а ночная сорочка казалась бесплотным видением.

— Ух ты! — выдохнул Том. — Двадцать, тридцать светлячков!

— Ш-ш, не ори!

— Зачем они тебе?

— Когда мы читали по вечерам с фонариками под одеялом, нам попало, да? Ну вот, а если тут будет стоять банка со светлячками, все подумают, что это просто коллекция.

— Дуг, ты гений!

Но Дуглас не ответил. Он с важностью водрузил мерцающую и подмигивающую банку на ночной столик, взял карандаш и стал усердно писать что-то в своем блокноте. Светлячки горели, умирали, снова горели и снова умирали, в глазах мальчика вспыхивали и гасли три десятка переменчивых зеленых огоньков, а он все писал — десять минут, двадцать, черкал, исправлял строчку за строчкой, записывал и вновь переписывал сведения, которые так жадно, второпях копил все лето. Том лежал и как замороженный не сводил глаз с крохотного живого костра, что вздрагивал, полыхал и замирал в банке, и наконец так и уснул, опершись на локоть, а Дуглас все писал и писал. На последней странице он подвел итог всему.

НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ВЕЩИ, ПОТОМУ, ЧТО:

... взять, например, машины: они разваливаются, или ржавеют, или гниют, или даже остаются недоделанными... или кончают свою жизнь в гараже...

... или взять теннисные туфли: в них можно пробежать всего лишь столько-то миль и с такой-то быстротой, а потом земля опять тянет тебя вниз...

... или трамвай. Уж на что он большой, а всегда доходит до конца, там уж и рельсов нет, и дальше ему идти некуда...

НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ЛЮДЕЙ, ПОТОМУ ЧТО:

... они уезжают...

... чужие люди умирают...

... знакомые тоже умирают...

... друзья умирают...

... люди убивают других людей, как в книгах...

... твои родные тоже могут умереть... **ЗНАЧИТ...**

Дуглас глубоко вздохнул и медленно, шумно выдохнул, опять набрал полную грудь воздуха и опять, стиснув зубы, выдохнул его. **ЗНАЧИТ**, он дописал огромными, жирными буквами:

ЗНАЧИТ, ЕСЛИ ТРАМВАИ, И БРОДЯГИ, И ПРИЯТЕЛИ, И САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ МОГУТ УЙТИ НА ВРЕМЯ ИЛИ НАВСЕГДА, ИЛИ ЗАРЖАВЕТЬ, ИЛИ РАЗВАЛИТЬСЯ, ИЛИ УМЕРЕТЬ, И ЕСЛИ ЛЮДЕЙ МОГУТ УБИТЬ, И ЕСЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ПРАБАБУШКА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ВЕЧНО, ТОЖЕ МОГУТ УМЕРЕТЬ... ЕСЛИ ВСЕ ЭТО ПРАВДА... ЗНАЧИТ, Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, КОГДА-НИБУДЬ... ДОЛЖЕН...

Вот тут светлячки, точно придавленные его мрачными мыслями, мигнули в последний раз и погасли.

Все равно я сейчас больше не могу писать, подумал Дуглас. Больше я

сегодня писать не стану. Не стану, не хочу кончать про это сегодня.

Он оглянулся на Тома — тот спал, опершись на локоть. Дуглас тронул его за руку, и Том со вздохом повалился на подушку.

Дуглас поднял банку с угасшими темными комочками, и, точно его рука их оживила, в банке снова засветились холодные огоньки. Он поднял ее так, чтобы мерцающий свет падал на его блокнот. Надо было дописать самые окончательные, последние слова. Но он не стал их писать, а подошел к окну и распахнул раму с москитной сеткой. Потом отвинтил крышку банки и каскадом бледных искр высыпал светлячков в безветренную ночь. Они расправили крылышки и улетели.

Дуглас проводил их глазами. Они исчезли точно бледные обрывки последних сумерек в истории умирающего мира. Они выскользнули у него из рук как последние обрывки теплившейся надежды. Темнота окутала его лицо и все тело, темнота хлынула внутрь. Он остался опустошенный, как банка из-под светлячков, которую он, сам того не замечая, положил с собой в кровать, когда пытался заснуть...

Ночь за ночью она сидела в своем стеклянном гробу и ждала; тело ее таяло в карнавальном блеске лета, зябло в призрачных ветрах зимы, уголки губ приподнялись в улыбке, крючковатый восковой нос навис над бледно-розовыми, морщинистыми восковыми руками, навсегда застывшими над раскинувшейся веером колодой старинных карт. Колдунья Таро! Восхитительное имя! Колдунья Таро. Сунешь в серебряную щель монетку, и где-то далеко внизу, в самой глубине, внутри хитроумного механизма что-то застонет, заскрипит, повернутся какие-то рычажки, завертятся колесики. И колдунья в стеклянном ящике поднимет голову и ослепит тебя одним острым как игла взглядом. Неумолимая левая рука опустится и скользнет по картам, словно перебирая таинственные квадратики — черепа, чертей, висельников, пустынников, кардиналов и клоунов, и голова склонится низко-низко, точно вглядываясь: что они тебе сулят, карты, — горе, убийство, надежду или здоровье, возрождение по утрам и новую смерть каждый вечер? Потом она тонким паутинным почерком выведет что-то на одной из карт и выпустит ее, и карта порхнет по крутому желобу прямо тебе в руки. И тут колдунья сверкнет в тебя на прощанье уже тускнеющими глазами и вновь застынет в своей неизменной стеклянной скорлупе на долгие месяцы и годы, пока новая медная монетка не возродит ее, всеми забытую, снова к жизни. Сейчас, мертвая и восковая, она, казалось, неохотно ждала приближения двух братьев.

Дуглас приложил пятерню к стеклу.

— Вот она.

— Обыкновенная восковая кукла, — сказал Том. — И зачем ты привел меня глядеть на нее?

— Вечно ты допытываешься — зачем да почему! — завопил Дуглас. — Потому что потому кончается на "у".

Потому что... огни галереи затуманились... потому что...

Однажды вдруг оказывается, что ты живой.

Взрыв! Потрясение! Озарение! Восторг!

Ты хохочешь, пляшешь, кричишь.

Но очень скоро солнце заходит за тучи. В жаркий августовский полдень сыплет снег, только никто его не видит.

В ковбойском фильме в прошлую субботу на раскаленном экране человек упал мертвым. Дуглас вскрикнул. За несколько лет у него на глазах застрелили, повесили, сожгли, уничтожили миллион ковбоев. Но сейчас, когда убили этого человека...

Никогда больше он не будет ходить, бегать, сидеть, смеяться, плакать, никогда не будет ничего делать, думал Дуглас. Сейчас он уже холодеет. Зубы Дугласа выбивали дробь, сердце стучало медленно и трудно. Он из всех сил зажмурился, его трясло от беззвучных подавленных рыданий.

Пришлось удрать от остальных ребят — ведь они не думали о смерти, они смеялись и улюлюкали мертвецу, как будто он был еще живой. Дуглас и мертвец отплыли в лодке, а ярко освещенный берег остался позади, и там бегали, прыгали и бесновались остальные, не зная, что лодка с Дугласом и мертвецом плывет, плывет все дальше, уже уплыла в темноту. Дуглас с плачем побежал в пахнущую известью мужскую комнату, и там его вырвало — точно огненные струи трижды обожгли ему горло.

Он ждал, когда пройдет тошнота, и думал: сколько людей, которых я знал, умерли этим летом... Полковник Фрилей умер! А я этого раньше толком и не понял. Почему? И прабабушка тоже умерла. По-настоящему умерла — и кончено. И это еще не все... (Он запнулся.) А я? Нет, они не могут убить меня! «Да, — сказал голос внутри, — да, могут, стоит им только захотеть, как ни брыкайся, как ни кричи, тебя просто придавят огромной ручищей, и ты затихнешь...» Я не хочу умирать, — беззвучно закричал Дуглас. «Все равно придется, — сказал голос внутри, — хочешь не хочешь, а придется».

Солнце за окнами кинотеатра освещало какую-то ненастоящую улицу, ненастоящие дома, и люди двигались так медленно, словно затонули в ослепительных тяжелых волнах чистого горящего газа, и Дуглас думал: никуда не денешься, пора, надо идти домой и дописать в блокноте

последнюю строчку: КОГДА-НИБУДЬ Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, ТОЖЕ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ...

Минут десять он все никак не мог решиться пересечь улицу; потом сердце его стало биться спокойнее, и он увидел Галерею и на обычном месте, в прохладной пыльной тени, странную восковую колдунью, и под пальцами у нее — людские судьбы. Проезжавшая машина бросила на Галерею сноп лучей, метнулись тени, и Дугласу показалось, что восковая кукла быстрым кивком позвала его.

И он повиновался, и через пять минут вышел оттуда, уверенный, что теперь-то уж с ним ничего не может случиться. И, конечно, надо показать ее Тому.

— Она совсем как живая, — сказал Том.

— Она и есть живая. Вот смотри.

Он сунул в щель монетку.

Ничего не произошло.

Дуглас окликнул через всю Галерею ее владельца, мистера Мрака; тот сидел на ящике, в каких развозят бутылки с содовой, и, запрокинув голову, тянул из полупустой бутылки золотисто-коричневую жидкость.

— Эй! — закричал Дуглас. — С колдуньей что-то неладно!

Мистер Мрак подошел, шаркая ногами; глаза его были полузакрыты, он шумно, прерывисто дышал.

— И с тираном неладно, и с панорамой, и «Электрический стул за грош» тоже разладился, — пожаловался он и стукнул кулаком по стеклянному ящику.

— Эй ты! Давай работай! Колдунья не шелохнулась.

— Мне один ремонт каждый месяц стоит больше, чем на ней выручишь.

Мистер Мрак сунул руку за ящик, вытащил объявление «Не работает» и повесил его прямо на лицо гадалки.

— Что ж, не с одной с ней неладно. И со мной неладно, и с вами, и с городом неладно, и во всей стране, и во всем мире. К черту тебя! — Он погрозил колдунье кулаком. — На свалку тебя, слышишь? На свалку! На лом!

Тяжело волоча ноги, он побрел прочь, грузно опустился на свой ящик и принялся ощупывать монетки в кармане фартука, точно у него болел живот.

— Неужели она испортилась... Этого просто не может быть, — прошептал потрясенный Дуглас.

— Она уже старая, — сказал Том. — Дедушка говорит, она стояла тут,

когда он был еще мальчишкой, и даже раньше. Надо же ей когда-нибудь окочуриться...

— Ну, пожалуйста, — молил Дуглас. — Пожалуйста, погадай еще один только разочек, пускай Том посмотрит!

Он потихоньку сунул в щель монетку.

— Пожалуйста!

Мальчики прижались к стеклу, от их дыханья оно затуманилось.

Где-то в самой глубине ящика зашуршало, зажужжало...

Колдунья медленно подняла голову, поглядела на мальчиков так, что у них кровь застыла в жилах, и рука ее заметалась над картами, то вдруг повисая над одной из них, то вновь срываясь — вправо, влево. Вот она наклонила голову, одна рука дернулась и замерла, а другая судорожно задвигалась, чертя что-то на карте; она писала, останавливалась и вновь писала, а машину трясло, как в лихорадке. Наконец машина содрогнулась так, что задребезжал стеклянный ящик, и вторая рука тоже застыла. Колдунья низко опустила голову, неживые черты ее словно исказила странная горестная гримаса. Потом механизм точно ахнул, скользнуло какое-то колесико, и в подставленные ладони Дугласа скатилась крошечная гадальная карта.

— Она ожила! Она опять действует!

— Дуг, а что там, на карте?

— То же самое, что она написала мне в субботу. Слушай!

И Дуглас прочитал:

Гоп-ля-ля! Тру-ля-ля!

Только дурак хочет умереть!

То ли дело плясать и петь!

Когда звучит погребальный звон,

Пой и пляши, дурные мысли — вон!

Пусть воеет буря,

Дрожит земля,

Пляши и пой,

Тру-ля-ля, гоп-ля-ля!

— И больше ничего? — спросил Том.

— Еще в конце есть: «Предсказание: долгая и веселая жизнь».

— Вот это уже похоже на дело! А мне она погадает? И Том сунул в щель монетку. Колдунья содрогнулась. В ладони мальчика упала карта.

— Кто добежит последним, тот колдунья хвост, — спокойно заявил Том.

Они вихрем помчались прочь — мистер Мрак только ахнул и стиснул

в одном кулаке сорок пять медных монеток, в другом — тридцать шесть.

На улице при неверном свете фонаря они сделали ужасное открытие.

Карта была пуста.

— Этого не может быть!

— Да ты не волнуйся, Дуг. Ну, обыкновенная пустая карта, мы потеряли всего одно пенни — подумаешь, беда какая!

— Это вовсе не обыкновенная пустая карта, и мне не денег жалко, не в том дело: тут вопрос жизни и смерти.

Под дрожащими лучами фонаря Дуглас разглядывал карту, вертел ее и так и эдак, будто надеясь, что на ней появится хоть одно словечко; он был очень бледен.

— У нее кончились чернила.

— У нее никогда не кончаются чернила!

Дуглас посмотрел через окно на мистера Мрака — тот допивал свою бутылку и отчаянно ругался, даже не подозревая, какой он счастливый, что живет здесь, в этой Галерее. Только бы теперь Галерея тоже не развалилась, думал Дуглас. И без того в жизни все плохо — друзья исчезают, людей убивают и хоронят, так уж пусть хоть волшебная Галерея останется!.. Только бы она осталась как есть!

Теперь Дуглас понял, почему его так упорно тянуло сюда всю неделю и сегодня тоже. Здесь все прочно, незыблемо, установлено раз и навсегда, все заранее известно, ясно и непоколебимо, всегда неизменно сверкают серебряные щели автоматов, восковой герой неизменно поражает кинжалом ужасную гориллу, спасая совсем уж восковую героиню; стоит опустить в щелку пенни — и за маленьким окошком, под одинокой голой электрической лампочкой неизменно начинает разматываться узкая пленка, и начинается погоня — отчаянно мчатся отчаянные бандиты, только чудом не попадая то под автомобиль, то под трамвай, то под поезд, вечно кидаются с волнолома в океан, но, конечно, не тонут, потому что опять и опять им надо мчаться навстречу автомобилю, трамваю, поезду, снова и снова нырять все с того же знакомого-перезнакового волнолома. Вечные и неизменные замкнутые мирки, грошковые аттракционы, которые пускаешь в ход, чтобы повторились те же неизменные, привычные заклинания и обряды. Только пожелай — и песчаный ветер подхватит братьев Райт, и вот они парят на крыльях «Китти Хоук»; только пожелай — и Тедди Рузвельт выставит напоказ все свои зубы в ослепительной улыбке; отстраивается и горит, горит и отстраивается Сан-Франциско — до тех пор, пока в ненасытную глотку автоматов летят жаркие от потных ладоней медяки.

Дуглас огляделся — как знать, что тебя ждет в этом ночном городе, что может случиться через минуту? Днем ли, ночью ли, здесь слишком мало щелей, куда можно сунуть монетку, слишком мало попадает тебе в руки карт, по которым можно прочитать свою судьбу, и даже в тех, которые прочитаешь, почти никогда нет никакого смысла. Здесь, в мире людей, можно отдать время, деньги, молитву — и ничего не получить взамен.

А там, в Галерее, можно подержать в руках молнию — на то есть электрическая машина «Попробуй вытерпи!»: если раздвинуть ее хромированные рукоятки, электрический ток ужалит как оса, обожжет и прошьет, точно иглой, твои содрогающиеся пальцы. А вот силомер: стукни кулаком по мешку с опилками изо всех сил — и сразу видишь, сколько сотен фунтов найдется у тебя в мускулах, чтобы ударить, если понадобится, по всему миру. Или еще — стисни руку робота и попробуй — кто кого, чья рука скорей опустится; тогда зажгутся лампочки хотя бы посередине кривой черты, взлетающей на доске с цифрами, а если вспыхнет фейерверк на самом верху — значит, ты даже сильнее робота.

Словом, в Галерее всегда знаешь, что получится из каждого твоего шага, чего ждать от каждого автомата. И уходишь оттуда успокоенный, как из какого-то вновь обретенного храма.

А теперь? Как же теперь?

Колдунья еще двигается, но молчит и, пожалуй, скоро совсем умрет в своем прозрачном гробу. Дуглас взглянул на мистера Мрака — тот дремал, словно бросая вызов всем мирам, даже своему собственному. Когда-нибудь все эти прекрасные механизмы заржавеют, потому что некому за ними заботливо ухаживать; бандиты и сыщики раз и навсегда застынут на бегу, наполовину погрузившись в озеро или наполовину увернувшись от колес паровоза, братья Райт так и не поднимут в воздух свой летательный аппарат...

— Том, — сказал Дуглас, — надо посидеть в библиотеке и все как следует обдумать.

Они пошли по улице, опять и опять передавая друг другу белую пустую карту.

Они посидели в библиотеке, в притененном свете ламп под зелеными абажурами; потом вышли, уселись верхом на каменного льва и долго сидели, хмурясь и болтая ногами.

— Старик Мрак только и делает, что кричит на нее да грозитя убить.

— Как же ее убить, Дуг? Она ж никогда и не была живая.

— Он-то с ней обращается так, будто она живая или когда-то была живая. Орет на нее, вот ей и надоело. Или, может, не совсем надоело, а

просто она подает нам тайный знак, что ее жизнь в опасности. Может, тут невидимые чернила или лимонный сок! Наверняка тут что-то написано, только она не хотела, чтобы мистер Мрак увидел — вдруг бы он вздумал посмотреть, пока мы еще не ушли? Пстой-ка! У меня есть спички!

— С чего бы это она стала нам писать, Дуг?

— Держи карту! Ну-ка...

Дуглас чиркнул спичкой и быстро провел ею под картой.

— Ой! Не жги мне пальцы, Дуг, на них-то ничего не написано!

— Вот видишь! — с торжеством закричал Дуглас. И в самом деле, на белом квадратике проступили тонкие, чуть заметные линии, как будто невероятно перепутанные письма... слово, два, три...

— Она горит! — взвыл Том и уронил карту.

— Наступи ногой!

Но пока они вскочили и начали топтать каменную спину старого льва, карта успела превратиться в горстку пепла.

— Дуг! Теперь мы никогда не узнаем, что там было! Дуглас задумчиво глядел на свою ладонь, на теплые черные хлопья.

— Нет, я видел. Я помню все слова.

Пепел с еле слышным шелестом разлетелся с его руки.

— Помнишь, мы весной видели в кино комедию про Быстроногого Чарли? Там тонул француз и все время кричал одно слово по-французски, а Чарли никак не мог его понять: «Secours! Secours!»^[13]. А потом кто-то сказал Чарли, что это значит, и он прыгнул в воду и спас француза. Ну вот, я своими глазами видел на карте это слово — «Secours!».

— Зачем же ей писать по-французски?

— Чтобы мистер Мрак не понял, дурень!

— Дуг, это был просто водяной знак, он только стал виднее, когда карта нагрелась... — Тут Том увидел лицо Дугласа и запнулся. — Ладно, не злись. Там было что-то вроде «секу», верно. Но ведь были и другие слова...

— Там еще стояло... «Мадам Таро». Том, я все понял! Когда-то, очень давно, и правда жила такая мадам Таро, она была гадалка-предсказательница. Я один раз видел ее портрет в энциклопедии. К ней со всей Европы съезжались люди, и она предсказывала им судьбу. Том, ну неужели ты еще ничего не понял? Ты думай, думай хорошенько!

Том снова оседлал льва и поглядел вдоль улицы туда, где мерцали огни Галереи.

— Что ж, по-твоему, это и есть самая настоящая мадам Таро?

— Ну ясно! Снаружи стеклянный ящик, а в нем пропасть красного и голубого шелка, а там — воск, уж такой-то старь, наполовину

растопился, а внутри — она! Может, ее когда-то кто-то приревновал или возненавидел, вот и залил ее всю воском и навсегда засадил в этот ящик, и она сотни лет переходила от одного злодея к другому и наконец очутилась здесь, у нас, в Гринтауне, штат Иллинойс, и чем бы гадать королям всей Европы, работает теперь тут за медные гроши!

— А разве мистер Мрак — злодей?

— Конечно! Имя — Мрак, рубашка черная, штаны черные и галстук черный. В кино злодеи всегда одеты во все черное, разве нет?

— Но почему же она не звала на помощь в прошлом году или в позапрошлом?

— Почему ты знаешь? Может, она уже сто лет каждый вечер пишет на картах лимонным соком, а все читают только то, что написано чернилами, и никто не додумался, как мы, подогреть карту и поглядеть, что там написано на самом деле. Хорошо, что я вспомнил это самое «Secours».

— Ну ладно, она просит помощи. А дальше что?

— Ясно, мы ее спасем.

— Украдем прямо из-под носа у мистера Мрака, да? А потом он нас засадит в стеклянные ящики вместо колдуньи, зальет лицо воском, и будем мы там сидеть десять тысяч лет?

— Том, вот она, библиотека. Давай вооружимся чарами и магическими зельями и одолеем мистера Мрака.

— Мистера Мрака может одолеть одно-единственное зелье на свете, — сказал Том. — Каждый вечер, как только у него наберется достаточно монеток, он... постой-ка. — Том вытащил из кармана несколько монеток. — Ага, этого, наверно, хватит. Дуг, ты иди, читай книги. А я побегу обратно и пятнадцать раз погляжу «Бандитов и Сыщиков» — это мне никогда не надоедает. А потом приходи, встретимся у Галереи, тогда зелье уже наверняка будет работать на нас.

— Том, а ты понимаешь, чем это пахнет?

— А ты хочешь выручить эту принцессу или нет? Дуглас круто повернулся и побежал во весь дух. Том подождал, пока двери библиотеки не захлопнулись за братом. Потом перепрыгнул через льва и канул в ночь. Ветер сдунул со ступеней библиотеки пепел колдуньиной карты.

В Галерее было темно: лабиринты «китайского бильярда» лежали смутные и загадочные, словно кто-то чертил палкой в пыли на полу пещеры великана. В окошках панорамы игриво усмехался Тедди Рузвельт, а братья Райт запускали деревянный пропеллер. Колдунья сидела в своем ящике, ее восковые глаза были совсем тусклые. И вдруг один глаз блеснул. Луч карманного фонарика пробился снаружи сквозь запыленные окна.

Грузная фигура, пошатываясь, прислонилась к запертой двери, в замке заскрипел ключ. Дверь с грохотом распахнулась да так и осталась открытой. Донеслось тяжелое дыхание.

— Это я, старушка, — сказал, покачиваясь, мистер Мрак.

В это время к Галерее, уткнувшись в книгу, подошел Дуглас, огляделся и увидел Тома, который притаился в соседнем подъезде.

— Тс-с! — шепнул Том. — Все прошло как по маслу. Я пятнадцать раз подряд запустил «Бандитов и Сыщиков». Мистер Мрак как услышал, что я накидал в машину пятнадцать монет, прямо глаза вытаращил, в два счета открыл автомат, вытащил все деньги, выгнал меня вон и скорей пошел в забегаловку через дорогу за магическим зельем.

Дуглас подкрался к окну и заглянул внутрь; в темноте смутно виднелись две гориллы — одна застыла неподвижно с восковой красавицей на руках, другая стояла посреди комнаты и слегка покачивалась.

— Ух, Том, ты просто гений! — прошептал Дуглас. — Он совсем упился этим своим зельем.

— Вот то-то и оно. А ты что-нибудь узнал? Дуглас похлопал ладонью по книге и сказал вполголоса:

— Я правильно говорил, эта мадам Таро предсказывала судьбу, смерть и еще всякую всячину разным богачам, но она сделала одну ошибку: предсказала Наполеону поражение и смерть прямо ему в глаза! Ну и конечно...

Он умолк и снова поглядел через пыльное стекло на неясную фигуру, что спокойно сидела в своем стеклянном ящике.

— «Secours», — пробормотал Дуглас. — Ясно, Наполеон вспомнил про музей мадам Тюссо и велел мастерам бросить колдунью Таро живьем в кипящий воск... и вот теперь... вот она и...

— Смотри, смотри, Дуг! Что это затеял мистер Мрак? У него там какая-то дубинка или палка, что ли...

И в самом деле, грузная фигура мистера Мрака угрожающе качнулась к ящику. С отвратительной руганью он замахал перед самым носом колдуньи огромным ножом.

— Он прицепился к ней потому, что во всем этом окаянном сборище только она одна и похожа на человека, — сказал Том. — Он не сделает ей ничего плохого. Сейчас свалится на пол и захрапит.

— Ну уж нет, — сказал Дуглас. — Он знает, что она нас предупредила и мы придем ей на выручку. Он боится, как бы мы не раскрыли его преступную тайну... может, он задумал сегодня же уничтожить ее раз и навсегда?

— Откуда ему знать, что она нас предупредила? Мы и сами этого не знали, пока не ушли отсюда.

— Он бросал монетки в машину и заставил ее сознаться, ведь на этих картах с черепами и костями она соврать не может. Она поневоле говорит правду, вот она и выдала ему карту, на которой изображены два рыцаря — маленькие, вроде мальчишек, понимаешь? Это и есть мы, с дубинками в руках, идем по улице прямо сюда.

— Бросаю монету в последний раз! — донесся, словно из пещеры дикаря, вопль мистера Мрака. — В последний раз, черт бы тебя побрал, я требую: говори! Заработаю я хоть что-нибудь на этой распроклятой Галерее или мне сразу объявить себя банкротом? Все вы, бабы, такие: сидит тут, холодная как рыба, а человек умирает с голоду! Ну, давай карту! Так. Сейчас поглядим.

И он поднес карту к свету.

— Ух ты, что сейчас будет! — шепнул Дуглас. — Ну, приготовиться!

— Нет! — завопил мистер Мрак. — Лгунья, лгунья! Вот тебе!

И грохнул кулаком по ящику. Взметнулся фонтан стеклянных брызг, точно тысячи звезд сверкнули и угасли в темноте. Колдунья сидела теперь беззащитная и спокойно, с достоинством ждала следующего удара.

— Нет! — Дуглас ворвался в Галерею. — Мистер Мрак!

— Дуг! — закричал Том.

Мистер Мрак круто обернулся. Наобум занес нож. Дуглас оцепенел. Но мистер Мрак только мигнул, вытаращил глаза, повернулся вокруг собственной оси и медленно повалился на пол — он падал целую тысячу лет! Фонарик выпал из его правой руки, нож серебряной рыбкой выскользнул из левой.

Том с опаской вошел в полутемную Галерею и взгляделся в распростертое тело.

— Дуг, по-твоему, он умер?

— Нет, это его потрясло предсказание мадам Таро. Смотри: он какой-то прямо как ошпаренный. Наверно, на карте было написано что-то ужасное.

Мистер Мрак громко храпел на полу.

Дуглас подобрал разбросанные гадальные карты и дрожащими руками засунул их в карман.

— Том, давай унесем ее отсюда, пока не поздно.

— Да ты что, спятил? Это ж воровство!

— А ты хочешь, чтоб тебя обвинили в содействии и соучастии, а то и похуже? В убийстве, например?

— Тьфу ты! Как можно убить несчастную старую куклу?

Но Дуглас не слушал. Стеклопанной преграды уже не было, он протянул руки, и восковая колдунья Таро с шорохом, подобным вздоху, медленно склонилась вперед и упала в его объятья, точно она ждала этой минуты долгие-долгие годы.

Часы на здании суда проббили без четверти десять. Луна поднялась уже высоко и наполняла все небо ярким, хоть и неприветливым, светом. По тротуару, словно отлитому из серебра, двигались черные тени. Дуглас шел один, медленно и осторожно, неся в руках куклу из бархата и воска; он поминутно отступал в сторону и прятался в скользкой тени деревьев. И прислушивался и оглядывался. Но вот легкий шорох, точно бегут мыши. Из-за угла пуль вылетел Том и мигом догнал брата.

— Дуг, я застрял потому, что боялся — вдруг он... ну, в общем... а потом он ожил и стал ругаться... Ох, Дуг, если он тебя поймает с этой куклой! Что подумают наши? Это же воровство!

— Тише ты!

Они прислушались, оглянулись: улица расстилалась позади, словно лунная река.

— Вот что, Том: ты можешь помочь мне спасти ее, но тогда не называй ее куклой, и не кричи так, и не тащись, точно куль с мукой.

— Ясно, я помогу! — Том тоже взялся за колдунью. — Ну и тяжесть!

— Она была совсем молоденькая, когда Наполеон... — Дуглас перебил себя: — Старые всегда тяжелые. Потому и видно, что они старые.

— А к чему все это, Дуг? Ты мне скажи, к чему мы из-за нее так хлопочем, а?

К чему? Дуглас растерянно заморгал и остановился. Все случилось так быстро, он зашел так далеко и так разволновался, что успел уже забыть, к чему все это и зачем. И только теперь, когда они уже снова шагали по тротуару и на веках у них трепетали тени, точно черные бабочки, а руки пропахли пыльным воском, он вдруг подумал — а правда, к чему?

Он медленно заговорил, и голос у него был чужой и далекий, как этот неверный лунный свет.

— Знаешь, Том, совсем недавно, месяца полтора назад, я вдруг открыл, что я живой. Ну и плясал же я тогда! А потом, только на прошлой неделе, в кино, я открыл, что когда-нибудь непременно умру. Раньше я об этом вовсе не думал. И меня как-то ошарашило... будто мне вдруг сказали, что больше никогда не будет кино и пикников, или что школу закроют навсегда, а ведь она не такая уж плохая, хоть мы ее и ругаем, или все персиковые деревья вдруг завянут, или овраг засыплут и совсем негде

будет играть, или я заболею и буду сто лет лежать в постели в темноте... и я здорово напугался. И теперь сам не знаю, что к чему. Но только я хочу помочь мадам Таро. Спрячу ее на несколько недель или месяцев, а пока поищу в библиотеке книжек по черной магии и узнаю, как ее расколдовать и вытащить из этого воска, и пускай себе опять живет на свете, она и так уж сколько времени потеряла даром. И, ясное дело, она будет очень благодарна, и разложит свои карты со всеми чертями и кубками, и саблями, и костями, и предскажет мне, которую яму надо обходить стороной и в какие четверги лучше оставаться в постели. И я буду жить вечно или вроде того.

— Ты же и сам в это не веришь.

— Нет, верю — почти во все. Осторожно, вот и овраг. Мы пройдем напрямик, через свалку, и...

Том остановился — Дуглас схватил его за руку. Не оборачиваясь, мальчики слушали грохот тяжелых шагов за спиной; каждый шаг вызывал громкое эхо, будто на дне пересохшего озера неподалеку палили из ружья. Кто-то выкрикивал ругательства.

— Том, ты навел его на след!

Они побежали, но огромная рука подхватила их и швырнула одного направо, другого налево. Они с криком покатались по траве, а рассвирепевший мистер Мрак бешено размахивал кулаками, скалил зубы и брызгал слюной. Он держал куклу за шиворот и за локоть и яростно сверкал глазами на мальчиков.

— Она моя! Что хочу, то и делаю! Какого черта вы ее стащили? От нее все мои несчастья — и денег нет, и дело прогорает, все летит к чертям. Сейчас я ей покажу!

— Не надо! — закричал Дуглас.

Но огромные железные руки вскинули хрупкое восковое тело так высоко, что оно заслонило луну, закружили, завертели его под звездами и наконец с проклятьями метнули, точно из великанской рогатки, прямо в овраг. Оно просвистело в воздухе и рухнуло, следом полетели проклятья, лавиной посыпался мусор, взметнулось облако пыли и пепла.

Дуглас приподнялся, сел и поглядел вниз.

— Нет, — сказал он. — Нет!!

Мистер Мрак качнулся на краю откоса, охнул и тоже чуть не полетел в овраг.

— Скажите спасибо, что я и вас туда же не отправил! И он неуверенно побрел прочь, ноги у него заплетались, один раз он упал, но поднялся и все время что-то бормотал про себя, то хохотал, то бранился, пока не исчез из

виду.

Дуглас долго сидел на краю оврага и плакал. Наконец высморкался. Поглядел на брата.

— Том, уже поздно. Папа будет всюду ходить и нас искать. Нам надо было вернуться час назад. Беги домой по Вашингтон-стрит, найди папу и приведи сюда.

— Ты что, может, в овраг за ней полезешь?

— Раз она валяется на помойке, она теперь ничья. И никому нет до нее дела, даже мистеру Мраку. Скажи папе, зачем я его зову и что ему вовсе незачем возвращаться с нами по городу, пускай его никто с ней не видит. Я понесу ее задворками, и никто ничего не узнает.

— Да ведь от нее теперь никакого толку, механика-то вся сломана.

— Как же ты не понимаешь, ведь не оставлю я ее здесь одну, под дождем.

— Ясное дело.

И Том медленно пошел прочь.

Дуглас стал спускаться в овраг, осторожно пробираясь между грудками золы, грязной бумаги и консервных банок. На полдороге он остановился и прислушался. Вгляделся в многоцветный сумрак, в провал, зияющий под ногами.

— Мадам Таро!

Ему почудилось, что далеко внизу в лунном свете шевельнулась восковая рука. Это на ветру затрепетал клочок бумаги. Но Дуглас все же двинулся к нему...

Городские часы пробили полночь. Почти всюду в домах погасли огни. В маленькой мастерской в гараже отец и двое сыновей отступили от колдуньи — она сидела теперь спокойно, совсем как прежде, в старом кресле-качалке, а перед нею на карточном столике, покрытом клеенкой, фантастическим веером раскинулись монахи и клоуны, кардиналы и скелеты, солнца и хвостатые звезды — гадальные карты, которых она чуть касалась восковой рукой.

Говорил отец:

— ... все отлично понимаю. Бывало, еще мальчишкой, когда из нашего города уезжал цирк, я носился как сумасшедший и собирал миллионы афиш. Потом разводил кроликов, увлекался колдовством. Мастерил на чердаке всякие иллюзии, а потом никак не мог их оттуда вытащить. — Он кивнул колдунье. — Помню, лет тридцать назад она и мне предсказала будущее. Ну ладно, теперь хорошенько почистите ее и идите спать. А в субботу мы для нее соорудим специальный ящик.

Отец пошел было к выходу из гаража, но Дуглас тихонько его окликнул:

— Пап. Спасибо тебе. Спасибо за обратную дорогу. В общем, спасибо.

— Вот еще, — сказал отец и вышел. Оставшись одни с колдуньей, братья поглядели друг на друга.

— Надо же, прямо по Главной улице так и прошагали все вчетвером — ты, я, папа и она! Другого такого отца на свете нет!

— Завтра пойду и откуплю у мистера Мрака все остальные автоматы, — сказал Дуглас. — Долларов за десять он их отдаст, все равно ведь выкидывать.

— Ясное дело. — Том поглядел на старуху в кресле-качалке. — Ух ты, сидит совсем как живая. Интересно, что у нее там внутри?

— Тонюсенькие косточки вроде птичьих. Все, что осталось от мадам Таро со времен Наполеона...

— И никакого механизма? Давай вспорем ее и посмотрим.

— Успеем.

— Когда же?

— Ну, года через два, когда мне будет уже четырнадцать, вот тогда и посмотрим. А пока я ничего не хочу знать, она здесь — и ладно. Завтра я примусь за дело и расколдую ее раз и навсегда. Когда-нибудь ты услышишь, что у нас в городе появилась неизвестная красавица итальянка в летнем платье, и все видели ее на вокзале, она купила билет в какую-то восточную страну и села в поезд, и все скажут, что в жизни не видали такой красоты, и все сразу про нее заговорят, и никто не будет знать, откуда она взялась и куда уехала... и когда ты про это услышишь, Том, вот тогда ты поймешь — это я нашел такие чары и расколдовал ее и освободил. И тогда, значит, года через два, в ту самую ночь, когда уйдет ее поезд, мы с тобой поглядим, что там под воском. А раз ее уже здесь не будет, ясно, мы найдем внутри только мелкие винтики и колесики и всякие тряпки. Вот так.

Дуглас осторожно приподнял восковую руку и стал двигать ею над танцем жизни, над шалостями костлявой старухи смерти, над сроками, и судьбами, и сумасбродствами — рука чуть касалась их, постукивала по ним, шелестела потускневшими ногтями. Повинуясь каким-то скрытым законам равновесия, колдунья склонила лицо и поглядела прямо на мальчиков; немигающие глаза ее сверкнули в ярком свете голой, без колпака, лампы.

— Предсказать тебе судьбу, Том? — тихо спросил Дуглас.

— Давай.

Из широченного рукава колдуньи выпала карта.

— Том, ты видал? Одна еще оставалась, спрятанная — и, пожалуйста, она кидает ее нам! — Дуглас поднес карту к свету. — Ничего нет. Я положу ее на ночь в коробку со всякой химией. Завтра откроем, а там проступят буквы.

— И что же там будет написано?

Дуглас закрыл глаза, чтобы получше разглядеть слова.

— Там будет вот что: «Ваша покорная слуга и преданный друг мадам Флористан Марианн Таро, хиромантка, целительница душ и прорицательница, сердечно вас благодарит».

Том засмеялся и тряхнул брата за плечо.

— Ну-ка, ну-ка, а дальше?

— Сейчас... И еще там будет сказано:

"Гоп-ля-ля! Тру-ля-ля!"

Только дурак хочет умереть!

То ли дело плясать и петь!

Когда звучит погребальный звон,

Пой и пляши, дурные мысли — вон!"

И еще: «Том и Дуглас Сполдинги, в вашей жизни сбудется все, чего вы только пожелаете». И еще там будет сказано, что мы с тобой будем жить вечно, Том, вечно. И никогда не умрем...

— И все это будет написано на одной карте?

— Все-все, до единого слова.

В свете яркой электрической лампочки они склонились над такой прекрасной и многообещающей, хоть пока и пустой, картой — двое мальчишек и колдунья, и горящие ребячьи глаза пронизывали ее и читали каждое непостижимо скрытое там слово, которое вот-вот, уже совсем скоро всплывет из своего тусклого небытия.

— Эй, ты, — чуть слышно сказал Том.

И Дуглас отозвался торжествующим шепотом:

— Эй, ты...

Под полуденными знойными деревьями негромкий голос тянул:

— ... девять, десять, одиннадцать, двенадцать...

Дуглас медленно двинулся по лужайке на этот голос.

— Том, ты что считаешь?

— ... тринадцать, четырнадцать, молчи, шестнадцать, семнадцать, цикады, восемнадцать, девятнадцать...

— Цикады?

— А, черт! — Том открыл глаза. — Черт, черт, черт!

— Смотри, кто-нибудь услышит, как ты ругаешься...

— Черт, черт, черт живет в аду! — крикнул Том. — Теперь придется начинать все сначала. Я считал, сколько раз прострекочут цикады за пятнадцать секунд. — Он поднял вверх свои дешевенькие часы. — Надо только заметить время, прибавить тридцать девять, и получится, сколько сейчас градусов жары. — Он глянул на часы, зажмурил один глаз, склонил голову набок и снова зашептал: — Раз, два, три...

Дуглас медленно повернул голову и прислушался. Где-то высоко в раскаленном белесом небе дрогнула и зазвенела медная проволока. Снова и снова, точно электрические разряды, падали ошеломляющими ударами с потрясенных деревьев пронзительные содрогания металла.

— Семь, — считал Том. — Восемь...

Дуглас поплелся на веранду. Блаженно жмурясь, заглянул в прихожую. Через минуту опять медленно вышел на веранду и вяло окликнул Тома.

— Сейчас ровно восемьдесят семь градусов по Фаренгейту... двадцать семь, двадцать восемь...

— Эй, Том, ты слышишь?

— Слышу, тридцать, тридцать один! Убирайся! Два, три, тридцать четыре...

— Хватит тебе считать, в доме на градуснике сейчас восемьдесят семь и еще лезет вверх, и не нужны тебе никакие кациды.

— Цикады! Тридцать девять, сорок. Не кациды! Сорок два!

— Восемьдесят семь градусов. Я думал, тебе будет интересно узнать.

— Сорок пять, это же в доме, а не на улице! Сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один! Пятьдесят два, пятьдесят три!. Пятьдесят три плюс тридцать девять будет... будет девяносто два градуса!

— Кто сказал?

— Я сказал! Не восемьдесят семь по Фаренгейту, а девяносто два по Сполдингу!

— Ты-то ты, а еще-то кто?

Том вскочил и поднял раскрасневшееся лицо к солнцу.

— Я и цикады, вот кто! Я и цикады! Нас больше! Девяносто два, девяносто два, девяносто два градуса по Сполдингу, вот тебе!

Оба стояли и глядели в безжалостное, без единого облачка небо — точно испорченный фотоаппарат, зияющий раскрытым во всю ширь объективом, оно глазело на недвижный, оглушенный зноем, умирающий в пламенных лучах город.

Дуглас закрыл глаза и увидел, как два дурацких солнца выплясывают на внутренней стороне розовых прозрачных век.

— Раз... два... три...

Дуглас почувствовал, как шевелятся его губы.

— ... четыре... пять... шесть...

Теперь цикады стрекотали еще быстрее.

С полудня до заката, с полуночи до рассвета на улицах Гринтауна, штат Иллинойс, маячили лошадь с фургоном и возница, которых хорошо знали все двадцать шесть тысяч триста сорок девять обитателей города.

Средь бела дня дети вдруг ни с того ни с сего останавливались среди какой-нибудь игры и говорили:

— А вот и мистер Джонас!

— А вот и Над!

— А вот и фургон!

Взрослые могли сколько угодно глядеть на север или на юг, на восток или на запад, они все равно не увидели бы ни мистера Джонаса, ни лошади по имени Над, ни фургона; это был большой крытый фургон на огромных колесах, такие фургоны когда-то бороздили прерии, пробираясь сквозь чащу к побережью.

Но если бы ухо у вас было чуткое, как у собаки, да если еще насторожить его и настроить на самые высокие и далекие звуки, вы бы услышали за много-много миль заунывное пение, точно молитва старей равин в земле обетованной или мулла на башне минарета. Голос мистера Джонаса летел далеко впереди его самого, люди успевали приготовиться к его появлению, у них оставалось для этого полчаса, а то и целый час. И к той минуте, когда его фургон показывался из-за угла или в конце улицы, вдоль тротуаров уже выстраивались ребята, словно на парад.

И вот подъезжал фургон, на высоких его козлах под зонтиком цвета хурмы восседал мистер Джонас, и вожжи струились в его ласковых руках, словно ручеек. Он пел!

— Хлам, барахло?

Нет, сэр, не хлам.

Хлам, барахло?

Нет, мэ, не хлам!

Спицы, булавки, иголки,

Тряпки, обломки, осколки,

Пустячки, побрякушки,

Вещички-старушки —

Все возьму в барахолку

Ради пользы и толку!

Ясно ли вам?

Это не хлам!

Всякий, кто хоть раз слышал пение мистера Джонаса, а он всегда сочинял что-нибудь новенькое, — сразу понимал, что это не простой старьевщик. С виду-то его, правда, от обыкновенного старьевщика не отличить: рваные, в заплатках, плисовые штаны, побуревшие от времени, а на голове — фетровая шляпа, украшенная пуговицами времен избрания первого президента. Но в одном он был старьевщик необыкновенный: его фургон можно было увидеть не только при солнечном свете, но и при свете луны — даже ночью он без усталости кружил по улицам, точно по извилистым речкам, огибая островки-кварталы, где жили люди, которых он знал всю свою жизнь. И в фургоне полно было самых разных вещей; он подбирал их во всех концах города и возил с собой день, неделю, год, пока они кому-нибудь не понадобятся. Тогда стоило только сказать: «Эти часы мне пригодятся» или «Как насчет вон того матраца?» — и Джонас отдавал часы или матрац, не брал никаких денег и ехал дальше, сочиняя по дороге новую песню.

Вот так и получалось, что иной раз в три часа ночи он оказывался единственным бодрствующим человеком в Гринтауне; и если кто маялся головной болью, надо было только, завидев сверкающую в лунном свете лошадь с фургоном, выбежать на улицу и спросить, может, у мистера Джонса случайно найдется аспирин, — и аспирин всегда находился. Не раз он и роды принимал в четыре часа ночи, и тогда люди вдруг замечали, что у него поразительно чистые руки и ногти — ну прямо руки богача, верно, он ведет, еще и вторую, неизвестную им жизнь! Порой он отвозил людей на работу в другой конец города, а иногда, если видел, что кто-нибудь страдает бессонницей, поднимался к нему на крыльцо, угощал сигарой и сидел и беседовал с ним до зари.

Да, мистер Джонас был человек странный, непонятный, ни на кого не похожий, он казался чудаком и даже помешанным, но на самом деле ум у него был ясный и здравый. Он сам не раз спокойно и мягко объяснял, что ему уже много лет назад надоели его дела в Чикаго и он решил подыскать себе какое-нибудь другое занятие. Церковь мистер Джонас терпеть не мог, хоть и одобрял ее идеи, зато сам любил проповедовать и делиться с людьми своими познаниями; потому он и купил лошадь с фургоном и теперь проводил остаток дней своих в заботах о том, чтобы одни люди могли получить то, в чем другие больше не нуждаются. Он считал себя неким воплощением диффузии, которая в пределах одного города помогает обмену между различными слоями общества. Он не выносил, когда что-

нибудь пропадало зря, ибо знал: то, что для одного — ненужный хлам, для другого — недоступная роскошь.

Вот почему и взрослые, и особенно дети взбирались по откидной лесенке и с любопытством заглядывали в фургон, где громоздились всевозможные сокровища.

— Помните, — говорил мистер Джонас, — вы можете получить все, что вам нужно, если только это вам и вправду нужно. Спросите-ка себя, жаждете ли вы этого всеми силами души? Доживете ли до вечера, если не получите этой вещи? И если уверены, что не доживете, — хватайте ее и бегите. Что бы это ни было, я с радостью вам эту вещь отдам.

И дети рылись в сокровищах; были там и пергаментная бумага, и обрывки парчи, и куски обоев, и мраморные пепельницы, и жилетки, и роликовые коньки, и огромные, вспухшие от набивки кресла, и маленькие приставные столики, и стеклянные подвески к люстрам. Сперва в фургоне только перешептывались, чем-то брнчали и позвякивали. Мистер Джонас смотрел и слушал, неторопливо попыхивая трубкой, и дети знали, что он внимательно следит за ними. Порой кто-нибудь тянулся к шахматной доске, к нитке бус или к старому стулу и, едва коснувшись их рукой, поднимал голову и встречал спокойный, мягкий, пытливый взгляд мистера Джонаса. И рука отдергивалась, и поиски продолжались. А потом рука находила что-то единственное, желанное и уже не двигалась с места. Голова поднималась, и лицо так сияло, что и мистер Джонас невольно расплывался в улыбке. Он на минуту заслонял глаза ладонью, словно отгораживаясь от этого сиянья. И тут ребята во все горло кричали ему: «Спасибо!», хватали ролики, фаянсовые плитки или зонтик и, соскочив наземь, бежали прочь.

И через минуту возвращались, неся ему что-нибудь взамен — куклу или игру, из которой выросли или которая уже надоела, что-нибудь, что уже выдохлось и не доставляет больше радости, как потерявшая вкус жевательная резинка: такую забаву пора передать куда-нибудь в другую часть города, там ее увидят в первый раз, и там она вновь оживет и кого-то порадует. Свои приношения ребята робко бросали на кучу невидимых теперь богатств — и фургон, покачиваясь, катил дальше, поблескивали большущие, как подсолнухи, колеса, и мистер Джонас уже опять пел:

— Хлам, барахло? Нет, сэр, не хлам! Нет, мэ, не хлам!

Наконец он исчезал из виду, и только собаки в тени под деревьями слышали заунывное пение и слабо виляли хвостами.

— ... хлам...

Все тише и тише:

— ... хлам...

Еле слышно:

— ... хлам... Все стихло.

И собаки спят...

Всю ночь по тротуарам носились пыльные призраки; их поднимали пышущие жаром ветры, и гоняли, и кружили, а потом осторожно укладывали на разогретые душистые лужайки. От шагов запоздалых прохожих вздрагивали ветки деревьев, и с них обрушивались лавины пыли. Будто с полуночи пробуждался где-то за городом вулкан и извергал раскаленный пепел, который осыпал все вокруг, толстым слоем покрывал недремлющих ночных сторожей и собак, что совсем извелись от жары. В три часа, перед самым рассветом, в каждом доме словно занимался пожар — начинали тлеть желтым светом чердачные окошки.

Да, на заре все предметы и самые стихии преобразались. Воздушные струи, точно горячие ключи, неслышно текли в неизвестность. Озеро недвижимым жарким облаком нависало над долинами, населенными рыбой и песком, и жгло их своим равнодушным дыханьем. Гудрон на улицах плавился в патоку, кирпич становился медным и золотым, а черепица на крышах — бронзовой. Провода высокого напряжения — навек плененные молнии — угрожающе сверкали над бессонными домами.

Цикады трещали все громче.

Солнце не просто взошло, оно нахлынуло как поток и переполнило весь мир.

У себя в комнате, в постели, Дуглас таял и плавился, лицо его было все в поту.

— Уф, — сказал Том, входя в комнату. — Пошли, Дуг, в такой день только и сидеть в речке и не вылезать.

Дуглас тяжело дышал. Пот струился у него по шее.

— Дуг, ты что, спишь?

Чуть заметное движение головы.

— Ты, может, захворал? Да уж, этот дом сегодня прямо горит огнем. — Том приложил ладонь ко лбу брата. Это было все равно что тронуть заслонку пылающей печки. Он испуганно отдернул руку. Повернулся и сбежал вниз по лестнице.

— Мам, — сказал он. — Дуг, кажется, зодорово заболел. Мать в эту минуту вынимала яйца из холодильника; она замерла, и на лице у нее мелькнула тревога; сунув яйца обратно, она пошла за Томом наверх.

Дуглас за все это время не шелохнулся.

Цикады трещали изо всех сил, от этого треска звенело в ушах.

В полдень у веранды остановилась машина доктора; он примчался так быстро, будто солнце гналось за ним по пятам, готовое обрушиться на него всей своей тяжестью. Глаза у доктора были усталые; тяжело дыша, он отдал свой саквояж Тому.

В час дня доктор, качая головой, вышел из дому. Том с матерью остались за дверью, а доктор, обернувшись, опять и опять повторял им негромко через москитную сетку, что он не знает, право, не знает... Потом надел панаму, поглядел, как лучи солнца терзают и жгут листву деревьев, чуть помедлил, точно готовясь кинуться в первый круг ада, и побежал к своей машине. Из выхлопного отверстия вырвалось облако сизого дыма и еще добрых пять минут дрожало в воздухе, когда он уехал.

Том взял в кухне ломик, разбил на маленькие кусочки целый фунт льда и отнес наверх. Мать сидела на краю кровати, в комнате слышно было только прерывистое дыхание Дугласа — он вдыхал пар и выдыхал огонь. Лед завернули в носовые платки и положили Дугласу на лоб и вдоль тела. Задернули занавески, и комната сразу стала похожа на пещеру. Том с матерью сидели возле Дугласа до двух часов и все время приносили ему свежий лед. Потом опять пощупали его лоб — он был горячий, как лампа, которая горела всю ночь напролет. Тронешь — и невольно глядишь себе на пальцы: кажется, будто сжег их до самой кости.

Мать открыла было рот, хотела что-то сказать, но тут цикады затрещали так громко, что с потолка стала сыпаться известка.

Окутанный непроглядным багровым сумраком, Дуглас лежал и слушал, как глухо ухает его сердце и как медленно, толчками движется густая кровь в руках и ногах.

Губы тяжелые, неповоротливые. И мысли тоже тяжелые и медлительные, падают неторопливо и редко одна за другой, точно песчинки в разленившихся песочных часах. Кап...

По блестящему стальному полукругу рельсов из-за поворота вылетел трамвай, вскинулась и опала радуга шипящих искр, назойливый звонок звякал десять тысяч раз кряду и совсем смешался со стрекотом цикад. Мистер Тридден помахал рукой. Трамвай затрещал, как пулемет, умчался за угол и исчез. Мистер Тридден... Кап. Упала песчинка. Кап...

— Чух-чух-чух! Ду-у-у-у!

Высоко на крыше мальчишка изображал паровоз, дергал невидимую веревку гудка и вдруг замер, превратился в статую. «Джон Хаф! Эй ты,

Джон Хаф! Я тебя ненавижу! Джон, ведь мы друзья. Нет, не ненавижу, нет!»

Джон падает в бесконечную вязовую аллею, как в бездонный летний колодец, и становится все меньше, меньше.

Кап. Джон Хаф. Кап. Падает песчинка. Кап. Джон...

Дуглас повернул голову — как болит затылок, как больно расплющивается о белую, белую, мучительно белую подушку.

Мимо проплывают в своей Зеленой машине две старушки, лает черный тюлень, и старушки поднимают руки — белые руки, точно голуби. И погружаются в омут лужайки, и травы смыкаются над ними, а белые перчатки все машут, машут...

Мисс Ферн! Мисс Роберта!

Кап... Кап...

И вдруг в доме напротив из окна высунулся полковник Фрилей, а вместо лица у него часы, по улице вихрем — пыль из-под копыт буйволов. Полковник Фрилей качнулся вперед, быстро-быстро забормотал, челюсть у него отвалилась — и вместо языка изо рта выскочила часовая пружина и задрожала в воздухе. Он рухнул на подоконник, как марионетка, а одна рука все машет, машет...

Проехал мистер Ауфман в какой-то непонятной блестящей машине, похожей сразу и на трамвай, и на Зеленый автомобильчик; за ней тянется пышный хвост дыма, а смотреть на нее — глаза болят, слепит, как солнце. «Мистер Ауфман, значит, вы ее все-таки изобрели? — кричит Дуглас. — Значит, вы наконец построили Машину счастья?»

И тут он увидел, что у машины нет дна. Мистер Ауфман попросту бежит по улице и тащит всю эту неправдоподобную громадину на своих плечах.

— Счастье, Дуг, вот оно, счастье!

И он исчез, как исчезли трамвай, Джон Хаф и старушки, у которых руки точно белые голуби.

Наверху, на крыше, легкий частый стук. Тук-тук... тук! Тишина. Тук-тук... тук! Гвоздь и молоток. Молоток и гвоздь. Птичий хор. И старушечий, дрожащий, но бодрый голос весело поет:

Соберемся у реки... у реки... у реки...

Соберемся у реки...

Что струится у подножия

Трона божия...

— Бабушка! Прабабушка! Кап — тихонько, — кап. Кап — тихонько, — кап.

... У реки... у реки...

А теперь только птицы чуть постукивают по крыше крохотными лапками. Тук-тук. Скрип. Тук. Тук. Тихонько. Тихонько.

... у реки...

Дуглас глубоко вздохнул, тотчас шумно выдохнул и заплакал в голос.

Он не слышал, как в комнату вбежала мать.

На его бесчувственную руку, точно горячий пепел сигареты, упала муха, зажужжала обжегшись и улетела.

Четыре часа дня. На мостовой — дохлые мухи. В конурах комьями влажной шерсти — взмокшие собаки. Под деревьями жмутся короткие тени. Магазины в городе закрылись, двери заперты. Берег озера опустел. Тысячи людей забрались по горло в воду — хоть она и теплая, а все-таки легче.

Четверть пятого. По мощным улицам движется фургон старьевщика, мистер Джонас сидит на козлах и поет.

У Тома нет больше сил глядеть на воспаленное лицо брата, он вышел на улицу и побрел было в сторону клуба — и тут рядом с ним остановился фургон.

— Здравствуйте, мистер Джонас.

— Здравствуй, Том.

Они были только вдвоем на пустой улице, можно было всласть полюбоваться сокровищами, сваленными в фургоне, но ни тот, ни другой на них не глядел. Мистер Джонас заговорил не сразу. Он зажег трубку, и попыхивал ею, и качал головой, будто наперед знал, что случилось неладное.

— Ну что, Том? — спросил он.

— С Дугом плохо, — сказал Том. — С моим братом... Мистер Джонас поднял голову и посмотрел на дом Сполдингов.

— Он заболел, — сказал Том. — Он умирает!

— Ну-ну, не может этого быть, — сказал мистер Джонас и хмуро огляделся: вокруг был спокойный, надежный мир, и ничто в этот тихий день не напоминало о смерти.

— Он умирает, — повторил Том. — И доктор никак не поймет, что с ним. Говорит, это все жара виновата. Может так быть, мистер Джонас? Неужели жара может убить человека, даже не на улице, а в темной комнате?

— Ну... — начал было мистер Джонас и прикусил язык. Потому что Том заплакал.

— Я всегда думал — я его ненавижу... я думал... мы ведь всегда

деремся... Наверно, я и правда его ненавидел... иногда... а теперь... теперь... ох, мистер Джонас, если б только...

— Что, мальчик?

— Если б только у вас в фургоне нашлось что-нибудь для Дуга! Ну что-нибудь такое, чтобы отнести ему — и он поправится...

Том опять заплакал.

Мистер Джонас вытащил красный носовой платок и протянул Тому. Том высморкался и утер глаза.

— Дугу нынче летом уж очень не везет, — сказал он. — Прямо все шишки на него валятся.

— Расскажи-ка толком, — попросил старьевщик.

— Ну... во-первых, — Том всхлипнул и перевел дух, он еще не совсем совладал со слезами, — он лишился своего лучшего друга, это и правда был настоящий парень. И сейчас же кто-то стащил его вратарскую бейсбольную перчатку, а она очень дорогая — доллар девяносто пять! Потом он еще сваял дурака — сменялся с Чарли Вудменом, отдал свою коллекцию ракушек и морских камешков за глиняную статую Тарзана — ну, знаете, какую дают в магазине, если принести им много-много крышек от ящичков из-под макарон. А Дуглас на другой же день уронил этого Тарзана на тротуар и разбил.

— Ай-я-яй, — сказал старьевщик, живо представив себе осколки на асфальте.

— И еще он очень хотел на рождение книгу волшебных фокусов, а ему взяли и подарили штаны да рубашку. Ну, и понятно, лето вышло пропащее.

— Родители иногда забывают, как они сами были детьми, — сказал старьевщик.

— Ну ясно, — сказал Том и продолжал, понизив голос: — А потом он забыл во дворе одну штуку — самые настоящие кандалы из Тауэра, и они там провалялись всю ночь и совсем заржавели. А главное — я вырос на целый дюйм и почти его догнал, вот это ему обиднее всего.

— Это все? — спросил старьевщик.

— Да нет, надо только вспомнить, было еще сто разных бед вроде этих и даже еще похуже. Выдастся же такое лето — не везет человеку, да и только. То муравьи источили ему несколько комиксов, то новые теннисные туфли вмиг заплесневели.

— Я помню, у меня тоже бывали такие годы, — сказал старьевщик.

Он поглядел на далекое небо и увидел там все эти годы.

— Ну вот, мистер Джонас. В этом все дело. Поэтому он и умирает...

Том замолчал и отвернулся.

— Дай-ка мне подумать, — сказал мистер Джонас.

— Вы поможете, мистер Джонас? Неужели вы сумеете? Мистер Джонас заглянул в недра своего фургона и покачал головой. Теперь, в ярком свете дня, лицо у него было усталое, на лбу выступили капельки пота. Он всматривался в груды ваз, облупленных абажуров, мраморных нимф, позеленевших бронзовых сатиров. Вздохнул. Повернулся, подобрал вожжи и легонько их встряхнул.

— Том, — сказал он, глядя в спину лошади. — Мы еще сегодня увидимся. Мне нужно кое-что сообразить. Я немного осмотрюсь и приеду опять после ужина. Но и тогда... трудно сказать. А покуда...

Он перегнулся и вытащил из фургона несколько нитей японских хрустальных подвесков.

— Повесь их у брата на окне. Они очень славно звенят на ветру, совсем как льдинки.

Том стоял с японскими хрусталиками в руках, пока фургон не скрылся из виду. Потом поднял их и подержал на весу, но ветра не было, и они не шевельнулись. Они никак не могли зазвенеть.

Семь часов. Город кажется огромной печью, с запада на него опять и опять накатываются волны зноя, от каждого дома, от каждого дерева, вздрагивая, тянется тень — черная, точно нарисованная углем. Внизу по улице идет человек с ярко-рыжими волосами. Они вспыхивают в лучах заходящего, но все еще жгучего солнца, и Тому чудится: гордо шествует огненный факел, торжественно выступает огненная лиса, сам дьявол обходит свои владения.

В половине восьмого миссис Сполдинг вышла на заднее крыльцо, чтобы выкинуть на помойку арбузные корки, и увидела во дворе мистера Джонаса.

— Как Дуглас? — спросил он.

Губы миссис Сполдинг задрожали, она не решалась отвечать.

— Позвольте мне его повидать, — попросил старьевщик.

Она все не могла вымолвить ни слова.

— Мы с ним старые знакомые, — сказал мистер Джонас. — Виделись чуть ли не каждый день с тех пор, как он научился ходить и стал бегать по улицам. У меня кое-что для него припасено.

— Он... — она хотела сказать «без сознания», но вместо этого сказала: — Он еще не проснулся, мистер Джонас. Доктор не велел его тревожить. Ох, мистер Джонас, мы просто не знаем, что это с ним!

— Даже если он еще не проснулся, — сказал мистер Джонас, — мне

хотелось бы с ним поговорить. Иной раз слова, которые услышишь во сне, бывают еще важнее, к ним лучше прислушиваешься, они глубже проникают в самую душу.

— Извините, мистер Джонас, я просто не могу рисковать. — Миссис Сполдинг ухватилась за ручку двери, но и не подумала ее открыть. — Но все равно спасибо вам. Спасибо, что пришли.

— Воля ваша, мэм, — сказал мистер Джонас. Он не двинулся с места. Стоял и смотрел вверх, на окно Дугласа. Миссис Сполдинг вошла в дом и закрыла за собой дверь.

Наверху в своей постели тяжело дышал Дуглас. Если прислушаться, казалось: кто-то выхватывает и снова вставляет в ножны острый нож.

В восемь часов пришел доктор и, уходя, опять качал головой; он был без пиджака, галстук развязан, и можно было подумать, что он за один этот день похудел на тридцать фунтов. В девять часов Том с матерью и отцом вынесли в сад под яблоню раскладушку и уложили на нее Дугласа: уж если подует ветерок, тут его почувствуешь скорее, чем в душных комнатах. До одиннадцати они то и дело выходили в сад к Дугласу, потом завели будильник на три — пора будет наколоть и сменить лед — и наконец легли спать.

В доме стало темно и тихо, все уснули. В тридцать пять минут первого веки Дугласа затрепетали.

Всходила луна.

И где-то далеко послышалось пение.

Печальный высокий голос то взмывал вверх, то замирал. Чистый, мелодичный. Слов было не разобрать.

Луна поднялась над краем озера и поглядела на Гринтаун, штат Иллинойс, и увидела его весь, и весь его осветила — каждый дом, каждое дерево, каждую собаку: собаки спали и часто вздрагивали — в нехитрых снах им виделись доисторические времена.

И казалось, чем выше поднималась луна, тем ближе, громче, звонче пел тот голос.

Дуглас беспокойно заворочался и вздохнул.

Было это, пожалуй, за час до того, как луна затопила потоком света весь мир, а быть может, и раньше. Но голос все приближался, и вместе с ним слышалось словно биение сердца — это цокали лошадиные копыта по камням мостовой, и жаркая густая листва деревьев приглушала их стук.

И еще изредка что-то поскрипывало, постанывало, будто медленно открывалась и закрывалась дверь. Это двигался фургон.

И вот на улице в ярком свете луны появилась лошадь, впряженная в фургон, а на высоких козлах сидел мистер Джонас, и его худое тело мерно покачивалось в такт движению. На голове у него была шляпа, как будто все еще палило солнце; изредка он перебирал вожжи, и они колыхались над спиной лошади, как речные струи. Медленно, очень медленно фургон плыл по улице, и мистер Джонас пел, и Дуглас во сне словно затаил на миг дыхание и прислушался.

— Воздух, воздух... А вот кому воздуха?.. Прохладный, отраднй, как ручей течет, холодит, как лед... Купишь разок — запросишь в другой... Есть и весенний, есть и осенний, из дальних краев, с Антильских островов... ясный и синий, пахнет дыней... Воздух, воздух, свежий, соленый... чистый, душистый... в бутылке с колпачком, надушен чабрецом... Всякому на долю, и всласть и вволю, сколько хочешь вдохнешь — и всего-то за грош!

Потом фургон оказался у обочины тротуара. И вот во дворе стоит человек, под ногами у него черная тень, в руках зеленоватым огнем поблескивают две бутылки, будто кошачьи глаза во тьме. Мистер Джонас поглядел на раскладушку и тихонько позвал Дугласа по имени — раз, другой, третий. Помедлил в раздумье, поглядел на свои бутылки, решился и неслышно подкрался к яблоне; тут он уселся на траву и внимательно посмотрел на мальчика, сраженного непомерной тяжестью лета.

— Дуг, — сказал старьевщик, — ты знай себе лежи спокойно. Ничего не надо говорить, и глаза открывать не надо. И не старайся показать, что ты меня слышишь. Я все равно знаю, что слышишь: это старик Джонас, твой друг. Твой друг, — повторил он и кивнул.

Потом потянулся к ветке, сорвал яблоко, повертел его в руке, откусил кусок, прожевал и снова заговорил.

— Некоторые люди слишком рано начинают печалиться, — сказал он. — Кажется, и причины никакой нет, да они, видно, от роду такие. Уж очень все к сердцу принимают, и устают быстро, и слезы у них близко, и всякую беду помнят долго, вот и начинают печалиться с самых малых лет. Я-то знаю, я и сам такой.

Он откусил еще кусок яблока, пожевал.

— О чем, бишь, я? — задумчиво спросил он.

— Жаркая августовская ночь, ни ветерка, — ответил он себе. — Жара убийственная. Лето тянется и тянется, нет ему конца, и столько всего приключилось, верно? Чересчур много всего. И время к часу ночи, а ни ветерком, ни дождиком и не пахнет. И сейчас я встану и уйду. Но когда я уйду — запомни хорошенько, — у тебя на кровати останутся вот эти две

бутылки. Вот я уйду, а ты еще немножко подожди, а потом не спеша открой глаза, сядь, возьми эти бутылки и все из них выпей. Только не ртом, нет, пить нужно носом. Вытащи пробку, наклони бутылку и втяни в себя поглубже все, что там есть, чтоб прошло прямо в голову. Но сперва, понятно, прочти, что на бутылке написано. Хотя постой, я сам тебе прочту.

Он поднял бутылку к свету.

— «ЗЕЛЕННЫЕ СУМЕРКИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ ВО СНЕ ЧИСТЕЙШИЙ СЕВЕРНЫЙ ВОЗДУХ, — прочитал он. — Взятые из атмосферы снежной Арктики весной тысяча девятисотого года и смешаны с ветром, дувшим в долине верхнего Гудзона в апреле тысяча девятьсот десятого; содержат частицы пыли, которая сияла однажды на закате солнца в лугах вокруг Гринелла, штат Айова, когда от озера, от ручейка и родника поднялась прохлада, тоже заключенная в этой бутылке».

Теперь прочтем то, что написано помельче, — сказал он и прищурился. — «Содержит также молекулы испарений ментола, лимона, плодов дынного дерева, арбуза и всех других, пахнущих водой, прохладных на вкус фруктов и деревьев, камфары, вечнозеленых кустарников и трав, и дыханье ветра, который веет от самой Миссисипи. Необычайно освежает и прохлаждает. Принимать в летние ночи, когда температура воздуха превышает девяносто градусов».

Мистер Джонас поднял к свету вторую бутылку.

— В этой то же самое, только я еще собрал сюда ветер с Аранских островов, и соленый ветер с Дублинского залива, и полоску густого тумана с побережья Исландии.

Он поставил обе бутылки на кровать.

— И последнее предписание. — Он наклонился над мальчиком и договорил совсем тихо: — Когда ты будешь это пить, помни: все это собрано для тебя другом. Разливка и закупорка Компании Джонас, Гринтаун, штат Иллинойс, август тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Хорошего тебе года, мальчик. Урожайного тебе года.

Через минуту по спине лошади мягко хлопнули вожжи и фургон покатил по улице в лунном свете.

Веки Дугласа затрепетали; медленно, медленно открылись глаза.

— Мама, — зашептал Том. — Папа! Проснитесь! Дуг поправляется! Я сейчас ходил на него посмотреть, и он... идем скорей! — Том выбежал из дома, отец и мать — за ним.

Дуглас спал. Том подошел первым и замахал рукой, подзывая родителей поближе, он весь расплылся в улыбке. Все трое наклонились над раскладушкой.

Выдох — затишье, выдох — затишье; они стояли и слушали.

Рот Дугласа был полуоткрыт, от его губ, от тонких ноздрей поднимался едва уловимый аромат прохладной ночи и прохладной воды, прохладного белого снега и прохладного зеленого мха, прохладного лунного света, что лежит на серебристых камешках на дне спокойной реки, и прохладной чистой воды на дне маленького белокаменного колодца.

Будто они на миг склонились над фонтаном, и прохладная, пахнувшая яблоневым цветом струя взметнулась ввысь и омыла их лица.

Еще долго они не могли шевельнуться.

На другое утро исчезли все гусеницы.

Еще накануне повсюду было полно крошечных черных и коричневых мохнатых комочков, которые усердно взбирались по вздрагивающим под их тяжестью былинкам и хлопотали на зеленых листках, — и вдруг все они исчезли. Замерли миллиарды неслышных шагов, беззвучный топоток гусениц, что неумоимо расхаживали по своему собственному миру. Том всегда уверял, что отлично слышит этот редкостный звук, и теперь с изумлением глядел на город, где нечего стало клюнуть ни одной голодной птице. И цикады тоже умолкли.

А потом в тишине что-то шумно вздохнуло, зашуршало, и все поняли, почему исчезли гусеницы и смолкли цикады.

Летний дождь.

Сначала — как легкое прикосновение. Потом сильнее, обильнее. Застучал по тротуарам и крышам, как по клавишам огромного рояля.

А наверху, снова у себя в комнате, в постели, Дуглас, прохладный как снег, повернул голову и открыл глаза, он увидел струящееся свежестью небо, и пальцы его медленно-медленно потянулись к желтому пятицентовому блокноту и желтому карандашу фирмы Тайкондерога...

Как всегда, когда кто-нибудь приезжает, поднялась суматоха. Где-то гремели фанфары. Где-то в комнатах набралось полным-полно жильцов и соседей, и все они пили чай. Приехала тетка по имени Роза, голос ее, поистине трубный глас, перекрывал все остальные, и казалось, она заполняет всю комнату, большая и жаркая, точно тепличная роза, недаром у нее такое имя. Но что сейчас Дугласу вся эта суматоха и голос тетки! Он только что пришел из своего флигеля, остановился за дверью кухни — и тут-то бабушка, извинившись, вышла из шумной, крикливой, как курятник, гостиной и углубилась в свои привычные владенья — пора было готовить ужин. Она увидела за москитной сеткой Дугласа, впустила его, поцеловала

в лоб, отвела упавшую ему на глаза выцветшую прядь и вгляделась в лицо — совсем ли прошел жар? Убедилась, что внук уже здоров, замурлыкала песенку и принялась за работу.

Дугласу часто хотелось спросить: «Бабушка, наверно, здесь и начинается мир?» Ясно, только в таком месте он и мог начаться. Конечно же, центр мироздания — кухня, ведь все остальное вращается вокруг нее; она-то и есть тот самый фундамент, на котором держится весь храм!

Он закрыл глаза, чтобы ничто не отвлекало, и глубоко втянул носом воздух. Его обдавало то жаром адского пламени, то внезапной метелью сахарной пудры; в этом удивительном климате царила бабушка, и взгляд ее глаз был загадочен, словно все сокровища Индии, а в корсаже прятались две крепкие, теплые курицы. Тысячерукая, точно индийская богиня, она что-то встряхивала, взбивала, смешивала, поливала жиром, разбивала, крошила, нарезала, чистила, завертывала, солила и помешивала.

Ослепленный, Дуглас ощупью добрался до двери столовой. Из гостиной донесся взрыв смеха и звон чайной посуды. Но он пошел дальше, в прохладную обитель многоцветных богатств, зеленых, как водоросли, оранжевых, как хурма, где ему сразу ударил в голову тягучий запах зреющих в тиши сливочно-желтых бананов. Мошकारа кружилась над бутылками уксуса и сердито шипела прямо Дугласу в уши.

Он открыл глаза. Хлеб лежал, точно летнее облако, и только ждал, чтобы его разрезали на теплые ломти; вокруг маленькими съедобными обручами разбросаны были жареные пирожки. У Дугласа потекли слюнки. За стеной дома росли тенистые сливовые деревья, и в жарком ветре у окна прохладной родниковой струей текли кленовые листья, а здесь, на полках, выстроились банки и на них — названия всевозможных пряностей.

Как же мне отблагодарить мистера Джонаса? — думал Дуглас. Как отблагодарить, чем отплатить за все, что он для меня сделал? Ничем, ну ничем за это не отплатишь. Нет этому цены. Как же быть? Как? Может, надо как-то отплатить кому-нибудь другому? Передать благодарность по кругу? Оглядеться по сторонам, найти человека, которому нужно помочь, и сделать для него что-нибудь хорошее. Наверно, только так и можно...

Кайенский перец, майоран, корица.

Названия потерянных сказочных городов, где взвились и умчались пряные бури.

Он подбросил вверх темные луковки, что прибыли сюда с какого-то неведомого континента: там они когда-то расплескались на молочном мраморе — игрушки детей со смуглыми руками цвета лакрицы.

Поглядел на кувшин с одной-единственной наклейкой — и вдруг

вернулся к началу лета, к тому неповторимому дню, когда впервые заметил, что весь огромный мир вращается вокруг него, точно вокруг оси.

На наклейке стояло одно только слово: УСЛАДА.

А хорошо, что он решил жить!

Услада! Занятое название для мелко нарубленных маринованных овощей, так заманчиво уложенных в банку с белой крышкой! Тот, кто придумал такое название, уж, верно, был человек необыкновенный. Он, верно, без устали носился по всему свету и, наконец, собрал отовсюду все радости и запихнул их в эту банку, и большими буквами вывел на ней это название, да еще и кричал во все горло: услада, услада! Ведь само это слово — будто катаешься на душистом лугу вместе с игривыми гнедыми жеребятами и у тебя полон рот сочной травы или погрузил голову в озеро, на самое дно, и через нее с шумом катятся волны. Услада!

Дуглас протянул руку. А вот это — ПРЯНОСТИ!

— Что бабушка готовит на ужин? — донесся из трезвого мира гостинной голос тети Розы.

— Этого никто никогда не знает, пока не сядем за стол, — ответил дедушка; он сегодня пришел с работы пораньше, чтобы огромному цветку не было скучно. — Ее стряпня всегда окутана тайной, можно только гадать, что это будет.

— Ну нет, я предпочитаю заранее знать, чем меня накормят! — вскричала тетя Роза и засмеялась. Стеклянные висюльки на люстре в столовой возмущенно зазвенели. Дуглас двинулся дальше, в сумеречную глубь кладовой. Пряности... вот отличное слово! А бетель? А базилик? А стручковый перец? А кэрри? Все это великолепные слова. Но Услада, да еще с большой буквы, — тут уж спору нет, лучше не придумаешь!

Бабушка приходила и уходила в облаке пара, приносила из кухни покрытые крышками блюда, а за столом все молча ждали. Никто не осмеливался поднять крышку и взглянуть на таящиеся под ней яства. Наконец бабушка тоже села, дедушка прочитал молитву, и серебряные крышки мигом взлетели в воздух, точно стая саранчи.

Когда все рты были битком набиты чудесами кулинарии, бабушка откинулась на своем стуле и спросила:

— Ну как, нравится?

И перед всеми родичами, домочадцами и нахлебниками, и перед тетей Розой тоже встала неразрешимая задача, потому что зубы и языки их были заняты восхитительными трудами. Что делать: заговорить и нарушить очарование или дальше наслаждаться нектаром и амброзией? Казалось,

они сейчас засмеются или заплачут, не в силах найти ответ. Казалось, начнись пожар или землетрясение, стрельба на улицах или резня во дворе, — все равно они не встанут из-за стола, недостижимые для стихий и бедствий, подвластные лишь колдовским ароматам пищи богов, что сулит им бессмертие. Все злодеи казались невинными агнцами в эту минуту, посвященную нежнейшим травам, сладкому сельдерею, душистым кореньям. Взгляды торопливо обегали снежную равнину скатерти, на которой пестрело жаркое всех сортов и видов, какие-то неслыханные смеси тушеных бобов, солонины и кукурузы, тушеная рыба с овощами и разные рагу...

И тут тетя Роза собрала воедино свою неукротимую розовость, и здоровье, и силу, вздохнула поглубже, высоко подняла вилку с наколотой на нее загадкой и сказала чересчур громким голосом:

— Да, конечно, это очень вкусно, но что же это все-таки за блюдо?

Лимонад перестал булькать в хрустальных фужерах, мелькавшие в воздухе вилки опустились рядом с тарелками.

Дуглас посмотрел на тетю Розу — так смотрит на охотника смертельно раненный олень. На всех лицах отразилось оскорбленное изумление. О чем тут спрашивать? Кушанья сами говорят за себя, в них заключена собственная философия, и они сами отвечают на все вопросы. Неужели мало того, что все твое существо поглощено этой упоительной минутой блаженного священнодействия?

— Кажется, никто не слышал моего вопроса? — сказала тетя Роза.

Наконец бабушка сдержанно проговорила:

— Я называю это блюдо Четверговым. Я всегда готовлю его по четвергам.

Это была неправда.

За все эти годы ни одно кушанье никогда не походило на другое. Откуда взялось, например, вот это блюдо? Не из зеленых ли морских глубин? А это, быть может, пуля достала в синеве летнего неба? Плавало оно или летало по воздуху, текла в его жилах кровь или хлорофилл, бродило оно по земле или тянулось к солнцу, не сходя с места? Никто этого не знал. Никто и не спрашивал. Никого это не интересовало.

Разве что подойдет кто-нибудь, станет на пороге кухни, и заглядится, и заслушается — а там взметаются тучи сахарной пудры, что-то позвякивает, трещит, щелкает, будто работает взбесившаяся фабрика, а бабушка щурится и озирается кругом, и руки ее сами находят нужные банки и коробки.

Понимала ли она, что наделена особым талантом? Вряд ли. Когда ее спрашивали, как она стряпает, бабушка опускала глаза и глядела на свои

руки — это они с каким-то непостижимым чутьем находили верный путь и то окунались в муку, то погружались в самое нутро громадной выпотрошенной индейки, словно пытаясь добраться до птичьей души. Серые глаза мигали за очками, которые покоробились за сорок лет от печного жара, замутились от перца и шалфея так, что, случилось, самые нежные, самые сочные свои бифштексы бабушка посыпала картофельной мукой! А бывало, что и абрикосы попадали в мясо, скрещивались и сочетались, казалось бы, несочетаемые фрукты, овощи, травы — бабушку ничуть не заботило, так ли полагается готовить по кулинарным правилам и рецептам, лишь бы за столом у всех потекли слюнки и дух захватило от удовольствия. Словом, бабушкины руки, как прежде руки прабабушки, и для нее самой были загадкой, наслаждением, всей ее жизнью. Она поглядывала на них с удивлением, но не мешала им жить самостоятельно — ведь по-другому они не могли и не умели!

И вот впервые за долгие годы кто-то стал задавать дерзкие вопросы, разбираться и допытываться, как ученый в лаборатории, стал рассуждать там, где похвальнее всего молчать.

— Да, да, я понимаю, но все-таки, что именно вы положили в это Четверговое блюдо?

— Ну а что там есть, по-твоему? — уклончиво сказала бабушка.

Тетя Роза понюхала кусок на вилке.

— Говядина... или барашек? Имбирь... или это корица? Ветчинный соус? Черника? И, верно, немного печенья? Чеснок? Миндаль?

— Вот именно, — сказала бабушка. — Кто хочет добавки? Все?

Поднялся шум, зазвенели тарелки, замелькали руки, все громко заговорили, словно пытаясь навсегда заглушить эти святотатственные расспросы, а Дуглас говорил громче всех и больше всех размахивал руками. Но по лицам сидевших за столом было видно, что их мир пошатнулся, радость и довольство висят на волоске. Ведь тут собрались самые избранные домочадцы, они всегда бросали все свои дела, будь то игра или работа, и мчались в столовую с первым же звуком обеденного гонга. Много лет они спешили сюда, как на праздник, торопливо разворачивали белоснежные трепещущие салфетки, хватались за вилки и ножи, словно изголодались в одиночных камерах и только и ждали сигнала, чтобы, толкаясь и обгоняя друг друга, ринуться вниз и захватить место за обеденным столом. Сейчас они громко, тревожно переговаривались, вспоминали старые, избитые шутки и искоса поглядывали на тетю Розу, точно в ее необъятной груди притаилась бомба и часовой механизм отсчитывает секунды, приближая всех к роковому концу.

Тетя Роза почувствовала наконец, что и в молчании есть счастье, усердно занялась тем безыменным и загадочным, что лежало у нее на тарелке, уничтожила подряд три порции и отправилась к себе в комнату, чтобы распустить шнуровку.

— Бабушка, — сказала тетя Роза, когда снова спустилась вниз. — Вы только поглядите, в каком виде у вас кухня! Признайтесь, тут ведь просто хаос! Повсюду бутылки, тарелки, коробки, все вперемешку, наклейки поотрывались, никаких надписей нет — откуда вы знаете, что кладете в еду? Меня просто совесть замучает, если я не помогу вам привести все это в порядок, пока я здесь. Сейчас, только засучу рукава.

— Нет, большое спасибо, не надо, — сказала бабушка. Дуглас, сидя за стеной, в библиотеке, слышал весь этот разговор, и сердце у него заколотилось.

— А жара, а духота какая! — продолжала тетя Роза. — Давайте хоть окно откроем и поднимем жалюзи, а то не видно, что делаешь.

— У меня глаза болят от света, — сказала бабушка.

— Вот и мочалка. Я перемою все тарелки и аккуратно их расставлю. Нет, я непременно вам помогу, и не спорьте.

— Прощу тебя, сядь, посиди, — сказала бабушка.

— Вы только подумайте, вам ведь сразу станет гораздо легче. Вы великая мастерица, это верно, вы ухитряетесь готовить так вкусно в таком диком хаосе, но поймите же — если каждая вещь будет на своем месте и не придется ничего искать по всей кухне, вы сможете стряпать еще лучше!

— Я как-то никогда об этом не думала... — сказала бабушка.

— Так подумайте теперь. Допустим, современные кулинарные методы помогут вам готовить еще процентов на десять — пятнадцать лучше. Ваши мужчины уже и сейчас ведут себя за столом по-свински. Пройдет какая-нибудь неделя — и они станутдохнуть от обжорства, как мухи. Еда будет такой красивой и вкусной, что они просто не смогут остановиться!

— Ты и правда так думаешь? — с интересом спросила бабушка.

— Не сдавайся, не сдавайся! — зашептал в библиотеке Дуглас.

Но, к ужасу своему, он услышал, что за стеной метут и чистят, выбрасывают полупустые мешки, наклеивают ярлычки на банки и коробки, расставляют тарелки, кастрюли и сковородки на полки, которые столько лет пустовали. Даже ножи, которые всегда валялись на кухонном столе, точно стайка серебряных рыбок только-только из сетей, — и те угодили в ящик.

Дедушка стоял позади Дугласа и добрых пять минут прислушивался к

этой суете. Потом озабоченно поскреб подбородок.

— Да, пожалуй, тут в кухне и вправду испокон веков царил хаос. Кое-что надо бы привести в порядок, это верно. И если тетя Роза права, Дуг, дружок, завтра у нас будет такой ужин, какой никому и во сне не снился!

— Да, сэр, — сказал Дуглас, — и во сне не снился.

— Что там у тебя? — спросила бабушка.

Тетя Роза подала ей сверток, который прятала за спиной.

Бабушка его развернула.

— Поваренная книга! — воскликнула она и уронила книгу на стол. — Не надо мне ее. Просто я кладу пригоршню того, щепотку сего, капельку этого — и все тут...

— Я помогу вам все закупить, — сказала тетя Роза. — И еще, я смотрю, пора заняться вашим зрением. Неужели вы все эти годы портите себе глаза такими ужасными очками? Ведь оправа вся перекошена, стекла исцарапаны — удивительно, что вы до сих пор не свалились куда-нибудь в мучной ларь. Немедленно идемте за новыми!

И они вышли на солнечную улицу, и бабушка, ошеломленная и сбита с толку, покорно плелась рядом с тетей Розой.

Вернулись они нагруженные всяческой бакалеей, куплены были и новые очки, и шампунь. Вид у бабушки был такой, точно она бегала по всему городу, спасаясь от погони. Она совсем запыхалась, и тете Розе пришлось помочь ей подняться на крыльцо.

— Ну вот, бабушка. Теперь у вас каждая вещь на своем месте. И теперь вы можете все разглядеть!

— Пойдем, Дуг, — сказал дедушка. — Прогуляемся перед ужином. Обойдем наш квартал и нагуляем аппетит. Сегодня будет исторический вечер. Попомни мое слово, такого ужина еще свет не видал!

Час ужина. Улыбка сбежала с лиц. Дуглас три минуты жевал первый кусок и наконец, сделав вид, что утирает рот, выплюнул его в салфетку. Том и отец сделали то же самое. За столом кто собирал еду на тарелке в одну кучку, кто чертил в ней вилкой разные узоры и дорожки, рисовал соусом целые картины, кто строил из ломтиков картофеля дворцы и замки, кто украдкой совал куски мяса собаке.

Первым из-за стола встал дедушка.

— Я сыт, — сказал он.

Остальные сидели притихшие, понурые.

Бабушка бестолково тыкала вилкой в тарелку.

— Правда, как вкусно? — спросила тетя Роза, не обращаясь ни к кому в отдельности. — И приготовить успели даже на полчаса раньше обычного!

Но остальные думали о том, что за воскресеньем настанет понедельник, а там и вторник, потянется долгая неделя, и все завтраки будут такие же унылые, обеды — такие же безрадостные, ужины — такие же мрачные. В несколько минут столовая опустела. Наверху, каждый у себя в комнате, домочадцы предались горестным размышлениям.

Бабушка, потрясенная, поплелась на кухню.

— Ну вот что, — сказал дедушка. — Дело зашло слишком далеко. — Он подошел к лестнице и крикнул наверх, навстречу пропыленному солнечному лучу: — Эй, спускайтесь все вниз!

Все обитатели дома собрались в полутемной уютной библиотеке, заперлись там и толковали вполголоса. Дедушка преспокойно пустил шляпу по кругу.

— Это будет банк, — сказал он. Потом тяжело опустил руку на плечо Дугласа. — У нас есть для тебя очень важное поручение, дружок. Вот слушай... — И он доверительно зашептал Дугласу на ухо, обдавая его теплым дыханием.

На другой день Дуглас отыскал тетю Розу в саду, она срезала цветы.

— Тетя Роза, — серьезно предложил он, — пойдете погуляем, хорошо? Я покажу вам овраг, где живут бабочки, вон в той стороне!

Они обошли вдвоем весь город. Дуглас болтал без умолку, беспокойно и торопливо; на тетку он не глядел и только прислушивался к бою часов на здании суда.

Когда они под прогретыми летним солнцем вязами подходили к дому, тетя Роза вдруг ахнула и схватилась рукой за горло.

На нижних ступенях крыльца стояли все ее аккуратно упакованные пожитки. На одном из чемоданов ветерок шевелил края розового железнодорожного билета.

Все десять обитателей дома сидели на веранде, лица у них были суровые и непреклонные. Дедушка сошел с крыльца — торжественно, как проводник в поезде, как мэр города, как добрый друг. Он взял тетю Розу за руку. — Роза, — начал он, — мне надо тебе кое-что сказать, — а сам все пожимал и тряс ее руку.

— В чем дело? — спросила тетя Роза.

— До свиданья! — сказал дедушка.

В предвечерней тишине издалека донесся зов паровоза и рокот колес. Веранда опустела, чемоданов как не бывало, в комнате тети Розы — никого. Дедушка пошарил на полке в библиотеке и с улыбкой вытащил из-за томика Эдгара По аптечный пузырек.

Бабушка вернулась домой — она ходила в город за покупками, совсем одна.

— А где же тетя Роза?

— Мы проводили ее на вокзал, — ответил дедушка. — Мы прощались, и все очень горевали. Ей ужасно не хотелось уезжать, но она прислала тебе самый сердечный привет и обещала навестить опять годиков эдак через десяток. — Дедушка вынул массивные золотые часы. — Теперь пойдемте-ка все в библиотеку и выпьем по стаканчику хереса, а потом бабушка, по своему обыкновению, задаст нам пир горой.

Бабушка удалилась на кухню.

Все домочадцы и дедушка с Дугласом болтали, смеялись и прислушивались к негромкой возне на кухне. И когда бабушка ударила в гонг, все, теснясь и подталкивая друг друга, заторопились в столовую.

Все откусили по огромному куску.

Бабушка переводила испытующий взгляд с одного лица на другое. Все молча уставились себе в тарелки, сложили руки на коленях, а за щекой так и остался недожеванный кусок.

— Я разучилась, — сказала бабушка. — Я больше не умею стряпать...

И заплакала.

Потом встала и побрела в свою аккуратнейшую кухню, с аккуратнейшими наклейками на всех банках, неся перед собой бесполезные, точно чужие, руки.

Все легли спать голодными.

Дуглас слышал, как часы на здании суда пробили половину одиннадцатого, одиннадцать, потом полночь, слышал, как все остальные опять и опять ворочаются в постелях, будто под залитой лунным светом крышей просторного дома шумит неумолчный прибой. Ну конечно же, никто не спит, всех одолевают невеселые мысли. Наконец он сел в постели. И заулыбался стене и зеркалу. Отворил дверь и прокрался вниз, а улыбка все не сходила с его лица. В гостиной было темно, пахло старостью и одиночеством. Дуглас затаил дыханье.

Ощупью пробрался в кухню, минуту постоял, выжидая.

Потом взялся за дело.

Пересыпал сахарную пудру из прекрасной новой банки в старый

мешок, где она всегда была раньше. Вывалил белую муку в старый глиняный горшок. Извлек сахар из огромного жестяного короба с надписью «Сахар» и разложил его в привычные коробки помельче, на которых было написано «Пряности», «Ножи», «Шпагат». Рассыпал гвоздику по дну полудюжины ящичков, где она лежала годами. Снял с полки тарелки, вытащил из ящичков ножи и вилки — им место на столах.

Потом он отыскивал новые бабушкины очки на камине в гостиной и спрятал их в погребке. И наконец, разжег в старой дровяной плите большущий огонь, а на растопку пустил листы из новой поваренной книги. К часу ночи в печной трубе взревел такой столб пламени и дыма, что проснулись даже те, кому удалось уснуть. По лестнице зашаркали бабушкины шлепанцы. Вот она уже стоит в кухне и только растерянно моргает, глядя на весь этот хаос. Дуглас шмыгнул за дверь кладовой и притаился.

Среди ночи, в половине второго, сквозняки понесли по всем коридорам соблазнительные запахи. Сверху спускались одни за другим все обитатели дома — женщины в папильотках, мужчины в купальных халатах на цыпочках подкрадывались к двери и заглядывали в кухню, освещенную только прихотливыми вспышками багрового пламени в шипящей плите. Здесь, в темной кухне, среди грохота и звона, точно привидение, проплывала бабушка; было уже два часа ночи, и без новых очков она опять плохо видела, и руки ее по наитию нащупывали в полумраке все, что нужно, сыпали душистые специи в булькающие кастрюли и исходящие паром котелки с необыкновенной стряпней; она что-то хватала, помешивала, переливала, и покрасневшее лицо ее в отблесках огня казалось совсем красным, колдовским и околдованным.

Домочадцы тихо-тихо накрыли стол лучшей скатертью, разложили сверкающее серебро и вместо электричества зажгли свечи, чтобы не нарушить чары.

Дедушка вернулся домой очень поздно — он весь вечер работал в типографии — и с изумлением услышал, что в столовой, при свечах, читают застольную молитву.

А еда? Мясо было поджарено с пряностями, соусы приправлены кэрри, зелень полита душистым маслом, печенье обрызгано каплями золотого меда; все мягкое, сочное и такой восхитительной свежести, что над столом пронесся то ли тихий стон, то ли мычанье, словно на лугу в густом клевере пировало стадо. Все громко радовались, что на них только свободные ночные одеяния и ничто не стесняет их талии.

В половине четвертого ночи, под воскресенье, когда весь дом

переполнило тепло благодушной сытости и дружелюбия, дедушка наконец отодвинул свой стул и величественно помахал рукой. Вышел в библиотеку и вернулся с томом Шекспира. Положил его на доску, на который режут хлеб, и преподнес жене.

— Бабушка, — сказал он, — сделай милость, приготовь нам завтра на ужин эту превосходную книгу. Я уверен, завтра в сумерки, когда она попадет на обеденный стол, она станет нежной, сочной, поджаристой и мягкой, как грудка осеннего фазана.

Бабушка взяла тяжелую книгу обеими руками и заплакала от радости.

До самой зари никто не ложился спать, все что-то ели на сладкое, пили настойки из полевых цветов, которые росли в палисаднике, и лишь когда встрепенулись первые птицы и на востоке угрожающе блеснуло солнце, все разбрелись по спальням. Дуглас прислушался — в далекой кухне остывала печь. Прошла к себе бабушка.

Старьевщик, думал он, мистер Джонас, где-то вы сейчас? Вот теперь я вас отблагодарил, я уплатил долг. Я тоже сделал доброе дело, ну да, я передал это дальше...

Он заснул и увидел сон.

Во сне звонил гонг и все с восторженными воплями бежали в столовую завтракать.

И вдруг лето кончилось.

Дуглас обнаружил это, когда они однажды шли по улице. Том ахнул, схватил его за руку и ткнул пальцем в витрину дешевой лавчонки. Они остановились как вкопанные: из витрины невозмутимо, с ужасающим спокойствием на них глядели предметы совсем иного мира.

— Карандаши, Дуг, десять тысяч карандашей!

— Тьфу ты, пропасть!

— Блокноты, грифельные доски, ластики, акварельные краски, линейки, компасы — сто тысяч штук!

— Не смотри. Может, это просто мираж!

— Нет, — в отчаянии простонал Том. — Это школа.

Самая настоящая школа! Ну с какой стати паршивые лавчонки выставляют все это напоказ, когда лето еще не кончилось? Половину каникул отравили!

Они пошли дальше и дома застали дедушку одного на высохшей, польсевшей лужайке — он собирал последние редкие одуванчики. Некоторое время они молча помогали ему, а потом Дуглас склонился к собственной тени и сказал:

— Как, по-твоему, Том, какой у нас получится следующий год? Лучше этого или хуже?

— Ты меня не спрашивай. — Том подул в стебель одуванчика, точно в дудку. — Ведь не я создал мир. — Он на минуту задумался. — Хотя иногда мне кажется, что все это моих рук дело.

И он лихо сплюнул.

— У меня предчувствие, — сказал Дуглас.

— Какое?

— Следующий год будет еще больше, и дни будут ярче, и ночи длиннее и темнее, и еще люди умрут, и еще малыши родятся, а я буду в самой гуще всего этого.

— Ну да, ты и еще триллиарды людей не забудь, пожалуйста.

— В такие дни, как сегодня, мне кажется... что я буду один, — пробормотал Дуглас.

— Как понадобится помощь — только кликни, — сказал Том.

— Много ли поможет десятилетний братишка?

— Десятилетнему братишке на то лето будет уже одиннадцать. Я буду каждое утро развертывать мир, как резиновую ленту на мяче для гольфа, а вечером завертывать обратно. Если очень попросишь — покажу, как это делается.

— Спятил!

— Всегда был такой. — Том скосил глаза и высунул язык. — И всегда буду.

Дуглас засмеялся. Они пошли с дедушкой в погреб, и пока тот обрывал головки одуванчиков, мальчики смотрели на полки, где недвижимыми потоками сверкало минувшее лето, закупоренное в бутылки с вином из одуванчиков. Девяносто с лишним бутылок из-под кетчупа, по одной на каждый летний день, почти все полные доверху, жарко светятся в сумраке погреба.

— Вот это здорово, — сказал Том. — Отличный способ сохранить живьем июнь, июль и август. Лучше и не придумаешь.

Дедушка поднял голову, подумал и улыбнулся.

— Да, это вернее, чем запихивать на чердак вещи, которые никогда больше не понадобятся. А так хоть на улице и зима, то и дело на минуту переселяешься в лето; ну а когда бутылки опустеют, тут уж лету конец — и тогда не о чем жалеть, и не остается вокруг никакого сентиментального хлама, о который спотыкаешься еще сорок лет. Чисто, бездымно, действительно — вот оно какое, вино из одуванчиков.

Мальчики тыкали пальцем то в одну, то в другую бутылку.

— Это — первый летний день.

— А в этот день я купил новые теннисные туфли.

— Верно! А это — Зеленая машина!

— Пыль буйволов и Чин Линсу!

— Колдунья Таро! Душегуб!

— По-настоящему лето не кончилось, — сказал Том. — Оно никогда не кончится. Я век буду помнить весь этот год — в какой день что было.

— Оно кончилось еще прежде, чем началось, — сказал дедушка, разбирая винный пресс. — Вот я решительно ничего не помню, разве только эту новую траву, которую не нужно косить.

— Ты шутишь!

— Ничуть. Когда-нибудь вы сами убедитесь, мальчики, что к старости дни как-то тускнеют... и уже не отличишь один от другого...

— Как же так! — сказал Том. — В этот понедельник я катался на роликах в Электрик-парке, во вторник ел шоколадный торт, в среду упал и растянул ногу, в четверг свалился с виноградной лозы — да вся неделя была полным-полна всяких событий! И сегодняшний день я тоже запомню, потому что листья все желтеют и краснеют. Скоро они засыпят всю лужайку, и мы соберем их в кучи и будем на них прыгать, а потом спалим. Никогда я не забуду сегодняшний день! Век буду его помнить, это я точно знаю!

Дедушка поглядел вверх, в оконце погреба, на предосенние деревья — листва шелестела под ветром, и ветер уже дышал прохладой.

— Конечно, ты его запомнишь. Том, — сказал он. — Конечно, запомнишь.

И они оторвались от мягкого мерцанья вина из одуванчиков и вышли из погреба: надо было совершить последние обряды лета, ибо настал последний день и последняя ночь. А к вечеру они вдруг спохватились — оказывается, вот уже три дня, как веранды пустеют совсем рано. И в воздухе пахнет как-то по-другому, суше, и бабушка поговаривает теперь не о ледяном чае, а о горячем кофе; открытые окна, в которых трепетали белые занавески, понемногу закрываются; холодные закуски уступают место горячему мясу. На верандах больше нет москитов, они покинули поле боя — и тут войне со временем настал конец, люди тоже отступили, укрылись в теплых комнатах.

Как три месяца назад, — или это были три долгих столетия? — Том, Дуглас и дедушка стояли на веранде, и она скрипела, словно корабль, что дремлет ночью, покачиваясь на волнах, и все трое втягивали ноздрями воздух. Мальчикам казалось: в начале лета кости у них были как стебли

зеленой мяты и лакрицы, а теперь обратились в мел и слоновую кость. Но прежде всего осенняя прохлада коснулась костей дедушки, точно неумелая рука забарабанила по пожелтевшим басовым клавишам фортепьяно, которое стоит в столовой.

Дедушка повернулся к северу, как стрелка компаса.

— Пожалуй, мы больше не будем выходить сюда по вечерам, — сказал он раздумчиво.

И втроем они сняли цепи с крюков в потолке и унесли качели в гараж, будто старые разбитые похоронные дроги, а за ними летели на землю первые сухие листья. Слышно было, как бабушка растапливает камин в библиотеке. Вдруг налетел ветер и в окнах задребезжали стекла.

Дуглас в последний раз остался ночевать сегодня в своей комнатке в башне; он достал блокнот и записал:

«Теперь все идет обратным ходом. Как в кино, когда фильм пускают задом наперед — люди выскакивают из воды на трамплин. Наступает сентябрь, закрываешь окошко, которое открыл в июне, снимаешь теннисные туфли, которые надел тогда же, и влезает в тяжеленные башмаки, которые тогда забросил. Теперь люди скорей прячутся в дом, будто кукушки обратно в часы, когда прокукуют время. Только что на верандах было полно народу и все трещали, как сороки. И сразу двери захлопнулись, никаких разговоров не слышать, только листья с деревьев так и падают».

Он поглядел из высокого окна: на равнине по руслам ручьев валяются, как сушеный инжир, дохлые сверчки; в небе под заунывные крики гагар уже скоро потянутся к югу птицы, деревья взметут к свинцовым тучам буйные костры пламенеющей листвы. Из далеких полей доносится запах созревающих тыкв — они уже сами тянутся к ножу, скоро в них прорежут треугольники глаз и глянет изнутри жгучее пламя свечи. А тут, в городе, из труб взвились первые клубы дыма, и где-то приглушенно позвякивает железо — значит, по желобам в погреба уже потекли жесткие черные реки и скоро там в ларях вырастут высокие темные холмы угля.

Но время идет, час уже поздний.

В высокой башне над городом Дуглас протянул руку.

— Всем раздеваться!

Он подождал. Холодный ветер леденил оконное стекло.

— Чистить зубы! Он еще подождал.

— Теперь, — сказал он наконец, — гасите свет! И мигнул. И город сонно замигал в ответ: часы на здании суда пробили десять, половину одиннадцатого, одиннадцать и дремотную полночь, и один за другим гасли

огни.

— Ну, теперь последние... вон там... и тут...

Он лежал в постели, а вокруг спал город, и овраг лежал темный, и озеро чуть колыхалось в берегах, и повсюду его родные и друзья, старики и молодые спали на этой ли, на другой ли улице, в этом ли, в другом ли доме, или на далеких кладбищах за городом.

Дуглас закрыл глаза.

Июньские зори, июльские полдни, августовские вечера — все прошло, кончилось, ушло навсегда и осталось только в памяти. Теперь впереди долгая осень, белая зима, прохладная зеленеющая весна, и за это время нужно обдумать минувшее лето и подвести итог. А если он что-нибудь забудет — что ж, в погребе стоит вино из одуванчиков, на каждой бутылке выведено число, и в них — все дни лета, все до единого. Можно почаще спускаться в погреб и глядеть прямо на солнце, пока не заболят глаза, а тогда он их закроет и всмотрится в жгучие пятна, мимолетные шрамы от виденного, которые все еще будут плясать внутри теплых век, и станет расставлять по местам каждое отражение и каждый огонек, пока не вспомнит все, до конца...

С этими мыслями он уснул.

И этим сном окончилось лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

Лето, прощай

*С любовью – Джону Хаффу, который живет и
здоровствует спустя годы после «Вина из одуванчиков»*

I

Почти Антиетам^[14]

Глава 1

Иные дни похожи на вдох: Земля наберет побольше воздуха и замирает – ждет, что будет дальше. А лето не кончается, и все тут.

В такую пору на обочинах буйствуют цветы, да не простые: заденешь стебель, и окатит тебя ржавый осенний дождик. Тропинки, все подряд, словно бороздил колесами старый бродячий цирк, теряя разболтанные гайки. Рассыпалась после него ржавчина под деревьями, на речных берегах и, конечно, у железной дороги, где раньше бегали локомотивы; правда, очень давно. Нынче эти рельсы, обросшие пестрой чешуей, томились на границе осени.

– Глянь-ка, Дуг, – заговорил дед, когда они возвращались в город с фермы.

У них в кузове фургона лежали здоровенные тыквы, числом в шесть штук, только-только снятые с грядки.

– Видишь цветы?

– Да, сэр.

– «Прощай-лето», Дуг. Такое у них название. Чуешь, какой воздух? Август пришел. Прощай, лето.

– Ничего себе, – сказал Дуг, – тоскливое у них название.

По пути в буфетную бабушка определила, что ветер дует с запада. Из квашни вылезала опара, будто внушительная голова инопланетянина, отъевшегося на урожае прошлых лет. Приподняв на ней шапочку-холстинку, бабушка потрогала эту гору. Такой была земля в то утро, когда на нее сошел Адам. То утро сменило собою ночь, когда Ева соединилась с незнакомцем на ложе в райских кущах.

Из окошка было видно, как в саду отдыхает солнечный свет, тронувший яблони золотом, и бабушка проговорила точь-в-точь те же слова:

– Прощай, лето. Октябрь на дворе, первое число. А на градуснике – восемьдесят два. Не уходит летняя пора. Собаки под деревьями прячутся. Листва зеленеет. И плакать охота, и смеяться. Сбегай-ка ты на чердак, Дуг, да выпусти из потайного чулана дурковатую старую деву.

– Разве у нас на чердаке живет дурковатая старая дева? – изумился Дуг.
– У нас – нет, но ты уж сбегай, раз так заведено.

Над лужайкой поплыли облака. А когда опять выглянуло солнце, бабушка у себя в буфетной еле слышно шепнула:

– Лето, прощай.

На веранде Дуг помедлил рядом с дедом, надеясь выпитать хоть немного его зоркости, чтобы также посмотреть сквозь холмы, и немного печали, и немного первозданной радости. Но выпитал только запах трубочного табака да одеколona «Тигр». В груди закружился волчок: то темная полоса, то светлая, то смешинка в рот попадет, то соленая влага затуманит глаза.

Дуг осмотрел сверху озерцо травы, уже без единого одуванчика, пригляделся к ржавым отметинам на деревьях, втянул запах Египта, прилетевший из дальних восточных краев.

– Надо пончик съесть да поспать чуток, – решил Дуг.

Глава 2

Как был, с усами из сахарной пудры, Дуг раскинулся на кровати в летнем флигеле, готовый погрузиться в дрему, которая уже витала в голове и заботливо укрывала его темнотой.

Где-то вдалеке заиграл оркестр: приглушенные расстоянием духовые и ударные выводили под сурдинку незнакомый тягучий мотив.

Дуг прислушался.

Вроде как трубачи с барабанщиками выбрались из пещеры на яркий солнечный свет. Невидимая стая растревоженных дроздов взмыла в небо и повела партию пикколо.

– Праздничное шествие! – ахнул Дуг и выпрыгнул из кровати, стряхивая остатки дремоты вместе с сахарной пудрой.

Музыка звучала все громче, протяжней и глубже; грозовой тучей, чреватой молниями, опускалась на темнеющие крыши.

Подскочив к окну, Дуглас глядел во все глаза.

И было на что посмотреть: на лужайке, с тромбоном в руках, вытянулся его одноклассник и закадычный друг Чарли Вудмен; другой парнишка, Уилл Арно, приятель Чарли, поднимал кверху трубу, а городской парикмахер, мистер Уайнески, стоял с тубой, словно обвитый кольцами удава, и еще: стоп!

Развернувшись, Дуглас побежал через опустевшие комнаты.

И остановился на крыльце.

В числе музыкантов оказались и дед с валторной, и бабушка с бубном, и братишка Том с дудкой.

Все радостно галдели, все смеялись.

– Эй! – прокричал Дуг. – Какой сегодня день?

– Вот так раз! – прокричала в ответ бабушка. – Сегодня *твой* день, Дуг.

– Ближе к ночи будет фейерверк, а сейчас – прогулка на пароходе!

– Мы отправляемся на пикник?

– Точнее сказать, в путешествие. – Мистер Уайнески поглубже нахлобучил соломенную шляпу цвета кукурузных хлопьев. – Вот послушай!

С дальнего берега озера плыл протяжный гудок парохода.

– Шагом марш!

Бабушка ударила в бубен, Том заиграл на дудке, и пестрая толпа, в сопровождении целой своры заливающихся лаем собак, увлекла Дуга по улице. В центре города кто-то забрался на крышу гринтаунской гостиницы и раскурочил телефонный справочник. Но когда желтое конфетти опустилось на мостовую, процессия была уже далеко.

Над озерной водой собиралась дымка.

Вдалеке безутешно стонал туманный горн.

Показавшийся из тумана белоснежный пароход ткнулся бортом в причал.

Дуг не сводил с него глаз.

– Почему корабль без названия?

Завыл пароходный гудок. В толпе началось движение; Дугласа подталкивали к сходням.

– Ты первый, Дуг!

Тонна меди и десять фунтов палочек дружно грянули «Ведь он достойнейший малый»; люди водрузили Дугласа на палубу, а сами спрыгнули на причал.

Бам!

Это рухнули сходни.

Кто был на берегу, тот не попался в ловушку, вовсе нет.

Зато *он* попался в ловушку на воде.

Пароход, гудя, отчаливал от пристани. Оркестр заиграл «Колумбия, жемчужина морей».

– До свидания, Дуглас! – кричали городские библиотекарьши.

– Счастливо, – шелестела толпа.

При виде расставленных на палубе корзин со снедью Дугласу вспомнилось, как он раз ходил в музей и видел там египетскую гробницу,

где была вырезанная из дерева ладья, а в ней – игрушки и сухие комочки фруктов. Воспоминание сверкнуло пороховой вспышкой.

– Счастливо, Дуг, счастливо! – Женщины вытащили платочки, мужчины замахали соломенными шляпами.

Вскоре корабль уже разрезал холодные воды, туман окутал его целиком, и оркестр как-то растворился.

– В добрый час, парень.

И тут до него дошло: обыщи хоть все закутки – не найдешь ни капитана, ни матросов, хотя в машинном отделении рокочет двигатель. Замерев на месте, он вдруг подумал, что можно перегнуться через борт в носовой части, а там рука сама нащупает выведенное свежей краской имя корабля: «ПРОЩАЙ-ЛЕТО»

– Дуг! – звали голоса. – Ах, до свидания! Ох, счастливо!

А потом пристань опустела, процессия скрылась вдали, пароход дал прощальный гудок и разбил Дугласу сердце: оно брызнуло слезами у него из глаз, и он стал звать родных и близких, оставшихся на берегу.

– Бабушка, дедушка, Том, на помощь!

Покрывшись холодным потом, Дуг залился горячими слезами – и упал с кровати.

Глава 3

Дуг успокоился.

Поднявшись с пола, он приблизился к зеркалу, чтобы посмотреть, как выглядит грусть, а она тут как тут, залила ему щеки краской, и тогда он, протянув руку, пощупал то, другое лицо, и было оно холодным.

В доме повеяло вкусным вечерним запахом свежих пирогов. Дуг побежал через сад на кухню и не пропустил тот момент, когда бабушка вытаскивала из курицы диковинные потроха; потом он выглянул в окно и увидел, как братишка Том залезает на свое любимое дерево, чтобы добраться до неба.

А кое-кто стоял на крыльце и попыхивал своей любимой трубкой.

– Дедушка, ты здесь! Фу ты, ох, надо же! И дом на месте! И город!

– Сдается мне, и ты здесь, парень.

– Ага, точно, да.

Деревья оперлись тенью на лужайку. Где-то стрекотала запоздалая газонокосилка: она подравнивала бывшее, оставляя за собой аккуратные холмики.

– Деда, вот скажи...

Тут Дуглас зажмурился и договорил уже в темноте.

– Смерть – это когда уплываешь на корабле, а вся родня остается на берегу?

Дедушка сверился с облаками.

– Вроде того, Дуг. А с чего ты вдруг спросил?

Дуглас проводил глазами удивительное облако, которое никогда еще не принимало подобных очертаний и никогда больше не станет прежним.

– Говори, дедушка.

– Что говорить-то? Прощай, лето?

Нет, беззвучно закричал Дуглас, этого не надо! И тут у него в голове поднялся ураган.

Глава 4

Страшной силы железный грохот, да еще с присвистом, кромсал небо ножом гильотины. Удар. Город содрогнулся. Но на самом деле это просто налетел северный ветер.

На дне оврага мальчишки дожидались новой атаки.

Заняв позицию вдоль ручья, они дружно и весело справляли малую нужду под холодными лучами солнца; был здесь и Дуглас. Каждому хотелось запечатлеть свое имя на песке горячей лимонной стружкой. ЧАРЛИ, вывел первый. УИЛЛ, второй. А потом пошло: БО, ПИТ, СЭМ, ГЕНРИ, РАЛЬФ, ТОМ.

Дуглас ограничился своими инициалами, украсив их парой завитушек, но вслед за тем поднатужился и добавил: ВОЙНА.

Том прищурился:

– Чего это?

– Война, как видишь, дурила. Война!

– А с кем?

Дуглас Сполдинг пробежал глазами по зеленым склонам необъятного секретного оврага.

И тут в четырех обветшалых, давно не крашенных особняках заводными игрушками возникли четверо стариков, слепленных из плесени и пожелтевшей сухой лозы; они, как мумии из гробов, таращились кто с крыльца, кто из окна.

– С ними, – прошипел Дуг. – Вот они, враги!

Крутанувшись на месте, Дуг скомандовал:

- В атаку!
- Кого убивать-то? – спросил Том.

Глава 5

Из окна сухой мансарды серого от времени дома, что над зеленым оврагом, свесился, как чердачный хлам, трясущийся старикан Брейлинг. Внизу сновали мальчишки.

– Боже милостивый, – воскликнул он, – сделай так, чтобы прекратился этот дикий гогот!

Слабыми руками он схватился за грудь, как поступает швейцарский часовщик, когда заговаривает тонкий механизм особым заклинанием, сродни молитве.

По ночам, страшась остановки сердца, он ставил у изголовья метроном, чтобы пульсация крови не прекратилась, пока он спит.

На крыльце зашаркали чьи-то шаги, сопровождаемые стуком трости. Не иначе как сюда пожаловал старый Келвин Си Квотермейн, чтобы устроиться в шершавом плетеном кресле и обсудить политику школьного попечительского совета. Брейлинг чуть не кубарем скатился с лестницы и выскочил на крыльцо.

– Квотермейн!

Келвин Си Квотермейн опустился на тростниковое сиденье, как негнувшийся игрушечный робот, непомерно большой и насквозь ржавый.

Брейлинг хохотнул:

– А ведь я добился своего!

– Надолго ли? – усомнился Квотермейн.

– Черт-те что, – вздохнул Брейлинг. – Того и гляди, впихнут нас в коробку из-под сухофруктов да закопают. Одному богу известно, что им взбредет в голову, этим негодникам.

– Совсем распоясались. Ты только послушай!

– Бабах!

Это мимо крыльца пронесся Дуг.

– Не смей топтать лужайку! – заголосил Брейлинг.

Дуг развернулся и прицелился из капсюльного пистолета.

– Бабах!

Побледневший, с перекошенной физиономией, Брейлинг выкрикнул:

– Мазила!

– Бабах! – Дуглас запрыгнул на ступеньки. В глазах Брейлинга он

увидел две испуганные луны.

– Бабах! Рука прострелена!

– Рука не считается! – фыркнул Брейлинг.

– Бабах! Прямо в сердце!

– Как ты сказал?

– Прямо в сердце – бабах!

– Спокойно! Раз-два! – зашептал старик.

– Бабах!

– Раз-два. – Брейлинг давал команду своим рукам, сжимающим ребра. – Господи! Метроном!

– Чего?

– Метроном!

– Бабах! Наповал!

– Раз-два, – выдавил Брейлинг.

И упал замертво.

Дуглас отпрянул и, пересчитав ступеньки, грохнулся на сухую траву, однако не выпустил из рук капсюльный пистолет.

Глава 6

Часы сменяли друг друга снежно-холодными всполохами, а в особняке Брейлинга металась люди, надеясь, вопреки здравому смыслу, лицезреть воскрешение Лазаря.

Келвин Си Квотермейн, словно капитан тонущего корабля, не уходил с крыльца.

– Черт побери! Я своими глазами видел у мальчишки пистолет!

– Пулевых ранений не обнаружено, – заявил вызванный соседями доктор Либер.

– Застрелили! Насмерть!

В доме воцарилась тишина; соседи помогли вынести безжизненную оболочку бедняги Брейлинга и разошлись. Келвин Си Квотермейн, брызгая слюной, сошел с крыльца последним.

– Богом клянусь разыскать убийцу!

Опираясь на трость, он поковылял за угол.

Крик, удар!

– Нет, ради бога, нет! – Какая-то сила подбросила его в воздух и швырнула оземь.

Соседки, отдышавшие неподалеку в креслах-качалках, вытянули шеи.

– А ведь это почтенный Квотермейн, верно?

– Неужто и этому пришел конец? Мыслимое ли дело?

У Квотермейна дрогнули веки. Вдалеке он заметил мальчишку, который удирал на велосипеде.

Убийца, пронеслось у него в голове. Убийца!

Глава 7

Если Дуглас плелся нога за ногу, его мысли неслись как угорелые; если он сам несся как угорелый, мысли плелись еле-еле. Сейчас дома расступались; небо полыхало.

На краю оврага он размахнулся и выбросил пистолет. Поток тут же смыл все следы. Эхо замерло.

И тут пистолет срочно понадобился ему вновь, чтобы потрогать грани убийства, как можно было потрогать того злющего старика.

Скатившись в овраг, Дуглас ринулся сквозь бурьян и, чуть не плача, отыскал свое оружие. От него пахло порохом, огнем и тьмой.

– Бабах, – прошептал Дуг и поспешил вверх по склону, туда, где бросил велосипед – через дорогу от места убийства старика Брейлинга.

Сначала он отвел велосипед подальше, как слепого коня, а потом оседлал его и покатил вокруг квартала, влекомый к тому же месту жестокого убийства.

Заворачивая за угол, он услышал крики: «Нет! Нет!» – это его велосипед сбил нелепое пугало, которое рухнуло на дорогу; тогда он с воем нажал на педали и через плечо оглянулся на новую жертву. Чей-то голос вопрошал:

– А ведь это почтенный Квотермейн, верно?!

– Не может быть, – простонал Дуг.

Брейлинг упал. Упал и Квотермейн. Стук-стук, два длинных топорика тюкнулись носом – один в крыльцо, другой в дорожную обочину, застыли и больше уже не поднимутся.

Дуг гнал велосипед по городским улицам. Преследования не было.

Похоже, город и не догадывался, что одного из жителей только что застрелили, а другого покалечили. Город пил чай и мурлыкал: «Передай сахарницу».

У своего крыльца Дуг резко тормознул. Не иначе как мама заливается слезами, а отец уже налаживает бритву.

Он распахнул кухонную дверь.

- Ага, явился не запылится. – Мать чмокнула его в лоб. – Appetit нагулял – и тут как тут.
- Странно, – сказал Дуг. – Почему-то аппетита совершенно нет.

Глава 8

За ужином вся семья услышала, как в дверь с улицы полетели камешки.

– Вот интересно, – сказала мать, – мальчишки понимают, для чего существует звонок?

– За последние два столетия, – вступил отец, – не отмечено ни одного случая, чтобы юноша в возрасте до пятнадцати лет подходил к дверному звонку ближе чем на десять футов. Вы поели, молодой человек?

– Так точно, сэр.

Дуглас, как артиллерийский снаряд, вышиб входную дверь, затянутую сеткой от мошкеры, прокатился по полу и прыгнул назад, успев придержать створку, пока она не грохнула. Только после этого он соскочил с крыльца на лужайку, где уже истомился Чарли Вудмен, встретивший его ощутимыми дружескими тычками.

– Дуг! Как сказал, так и сделал! Брейлинга пристрелил! Силен!

– Тише ты, Чарли!

– А когда расстреляем попечительский совет? Прикинь, до чего дошли: в этом году каникулы на неделю урезали! За такое убить мало! Расскажи, как ты это провернул, Дуг?

– Просто крикнул: «Бабах! Наповал!»

– И Квотермейна – так же?!

– Квотермейна?

– Ты ему ногу сломал! Везде поспел, Дуг!

– Никому я ногу не ломал. Это мой велик.

– Нет, машина какая-то! Я сам слышал, как старикашка Кел орал, когда его волокли домой: «Адская машина!» Что еще за адская машина, Дуг?

Мысленным взором Дуглас увидел, как велосипед на полном ходу врезается в Квотермейна и подбрасывает его в воздух, а он, Дуглас, дает деру под старческие вопли.

– Дуг, а почему ты ему обе ноги не переломал, раз уж обзавелся адской машиной?

– Чего?

– Покажешь, как это делается, Дуг? А можно твою машину настроить

так, чтоб она кромсала на тысячу кусочков?

Дуг взгляделся в лицо Чарли, заподозрив насмешку, но физиономия приятеля была чиста, как церковный алтарь, озаренный святым духом.

– Дуг, – захлебывался он, – ну, Дуг, ты – супер!

– Ясное дело, – согласился Дуглас, потеплев перед этим алтарем. – Квотермейн попер на меня, я попер на него и на гадский попечительский совет, а после доберусь и до городских заправил: до мистера Блика, до мистера Грея и всех этих тупых стариков, которые обсели наш овраг.

– А поглядеть-то можно, как ты будешь их давить?

– Что? Ну да, конечно. Только прежде нужно все спланировать, сколотить армию.

– Прямо сегодня, Дуг?

– Завтра.

– Нет, давай сегодня! Хоть умри! Ты будешь капитаном.

– Генералом!

– Ладно, будь по-твоему. Сейчас наших соберу. Пусть услышат своими ушами! Встречаемся у моста через овраг, ровно в восемь! Ну, дела!

– Под окнами не ори, – напомнил Дуг. – Каждому оставь на крыльце тайное сообщение. Это приказ!

– Понял!

Чарли с гиканьем умчался прочь. Дуглас почувствовал, как его сердце тонет в тепле запоздалого лета. У него в голове, в мускулах и кулаках зрела власть. Столько всего за один день! Был заурядный троечник, а теперь – генерал!

Так, кому тут сломать ногу? Кому заткнуть метроном? Он судорожно глотал летний воздух.

Все огненно-розовые окна умирающего дня смотрели на этого супербандита, который вышагивал в их ослепительном свете, с суровой улыбкой двигаясь навстречу фортуне, навстречу восьми часам, навстречу сбору великой Гринтаунской конфедерации и всем тем, кто поет у костра: «Станем лагерем, ребята, разобьем палатки»

Эту песню, решил он, мы споем трижды.

Глава 9

На чердаке Дуг с Томом устроили штаб. Из перевернутого ящика получился генеральский стол; адъютант стоял навтыяжку, ожидая приказов.

– Бери блокнот, Том.
– Есть.
– Карандаш «Тайкондерога»?
– Есть.
– Мною утвержден личный состав Великой армии Республики.^[15]
Записывай. Уилл, Сэм, Чарли, Бо, Пит, Генри, Ральф. Да, и еще ты, Том.
– На кой нам этот список, Дуг?
– Каждому будет дано особое поручение. Время не ждет. Первым делом следует решить, сколько у нас будет капитанов и сколько лейтенантов. Генерал – один. Это я.
– Правильно, Дуг. Всех надо занять делом.
– Первые трое по списку – капитаны. Следующие трое – лейтенанты. Остальные – разведчики.
– Разведчики, говоришь?
– По-моему, это самое лучшее звание. Ползаешь по-пластунски, ведешь слежку, потом являешься с донесением.
– Круто! Я тоже хочу в разведчики.
– Постой. Давай-ка всех произведем в капитаны и лейтенанты, чтобы не было раздоров, а то проиграем войну, не успев начать. Просто некоторые будут заодно ходить в разведку.
– Отлично, Дуг, вот, готово.
Дуг пробежал глазами список.
– Теперь нужно определить первоочередные задачи.
– Пусть разведчики добудут сведения.
– Решено, Том. Будешь командиром разведчиков. После вечерней поверки в овраге. – Заслышав эти слова, Том сурово покачал головой. – В чем дело?
– Слышь, Дуг, можно, конечно, и в овраге, но я знаю местечко получше. Кладбище. Чтоб каждый помнил, куда попадет, если будет хлопать ушами.
– Неплохо придумано, Том.
– Так вот. Я пойду в разведку и оповещу наших. Сбор у моста, затем передислокация на кладбище, так?
– Молодчина, Том.
– Всегда был таким, – сказал Том. – Всегда был таким.
Убрав карандаш в карман куртки и спрятав пятипенсовый блокнот за пояс комбинезона, он отдал честь командиру.
– Разойдись!
И Том убежал.

Глава 10

На всем зеленом пространстве старого кладбища теснились надгробные камни, а на камнях читались имена. Не только имена людей, погребенных под травой и цветами, но еще имена времен года. Весенний дождь начертал здесь тихие, невидимые письма. Летнее солнце отбелило гранит. Осенний ветер смягчил очертания букв. А снег отпечатал свою холодную ладонь на зимнем мраморе. Но сейчас, среди дрожащих теней, времена года только и могли, что бесстрастно выкликать послания имен: «ТАЙСОН!» «БОУМЕН!» «СТИВЕНС!»

Дуглас перепрыгнул через «ТАЙСОНА», поплясал на «БОУМЕНЕ», покружил вокруг «СТИВЕНСА».

На кладбище было прохладно от старых смертей и еще от старых камней, что появились на свет в горах далекой Италии, откуда были доставлены по морю и возложены на этот зеленеющий подземный город, под небом, чересчур ярким в летние месяцы и чересчур тоскливым – в зимние.

Дуглас осмотрелся. Вся территория кишела древними страхами и проклятиями. Его окружала Великая армия, а он смотрел, не запутались ли, часом, в кронах высоких тополей и вязов перепончатые крылья, поднятые вверх могучими воздушными потоками. Виделось ли его солдатам то же самое? Было ли им слышно, как осенние каштаны по-кошачьи мягко прыгают с веток на жирную землю? Правда, сейчас все вокруг притихло в заповедных голубых сумерках, которые блесками света поместили на могильных плитах те места, куда некогда опускались едва появившиеся на свет желтые бабочки, чтобы набраться сил и обсушить крыльшки.

По приказу Дугласа внезапно оробевшие вояки продвинулись вглубь тишины и завязали ему глаза платком-банданой; на лице остался только рот, улыбающийся сам себе.

Наткнувшись на ближайшее высокое надгробие, Дуг обхватил его руками, пробежал пальцами по камню, будто по струнам арфы, и зашептал:

– «Джонатан Силкс. Тысяча девятьсот двадцатый. Пулевое ранение». Идем дальше: «Уилл Колби. Тысяча девятьсот двадцать первый. Грипп».

Он слепо блуждал из стороны в сторону и нащупывал высеченные глубоко в камне позеленевшие, замшелые имена, и дождливые годы, и старинные игры, родом из забытых Дней поминовения, когда его тетки поливали слезами траву и шуршали словами, как деревья в бурю.

Дуг назвал тысячу имен, опознал десять тысяч могильных цветов, десять миллионов раз сверкнул острым заступом.

– Воспаление легких, подагра, чахотка, заворот кишок. Такая у них была подготовка, – сказал Дуг. – Тренировались перед смертью. А ведь это дурацкое занятие – лежать в земле, сложа руки, согласны?

– Послушай-ка, Дуг, – смущенно выговорил Чарли. – Мы сюда пришли армию сколотить, а теперь мертвякам кости перемываем. До Рождества еще миллиард лет пройдет. Времени – вагон, что хочешь, то и делай, но не помирать же! Я, например, сегодня утром проснулся и говорю себе: Чарли, до чего же классно – жить! Живи да радуйся!

– Ты, Чарли, рассуждаешь, как тебя всю жизнь учили!

– Я что, морщинами пошел? Желтый стал, как собаками обгаженный? Может, мне уже не четырнадцать лет, а пятнадцать или двадцать? Ну, говори!

– Ты все испортишь, Чарли!

– Да мне побоку. – Чарли расплылся в улыбке. – Конечно, все люди умирают, но когда придет моя очередь, я скажу: нет уж, спасибочки. Вот ты, Бо, собираешься помирать? А ты, Пит?

– Еще чего!

– И я не собираюсь!

– Усек? – Чарли повернулся лицом к Дугу. – Пусть мухи дохнут, а мы не хотим. До поры до времени ляжем в тени, как гончие псы. Не кипятись, Дуг.

Засунутые в карманы руки Дугласа, сгребая пыль, оловянные биты и кусочек мела, сжались в кулаки. В любую минуту Чарли мог сдернуть, а за ним и вся банда, как тьявкаящая собачья свора, умчится куда глаза глядят сквозь темнеющие заросли дикого винограда и даже букашку не прихлопнет.

Не долго думая он принялся выводить мелом имена на могильных плитах: ЧАРЛИ, ТОМ, ПИТ, БО, УИЛЛ, СЭМ, ГЕНРИ, РАЛЬФ, а потом отошел в сторонку, чтобы каждый мог найти себя на мраморной поверхности, в осыпающейся меловой пыли, под ветвями, сквозь которые летело время.

Мальчишки остолбенели; не говоря ни слова, они долго-долго разглядывали непрошенные меловые штрихи на холодном камне. Наконец послышались робкие шепотки.

– Ни за что не умру! – заплакал Уилл. – Я буду драться!

– Скелеты не дерутся, – возразил Дуглас.

– Без тебя знаю! – Заливаясь слезами, Уилл бросился к надгробию и

начал стирать мел.

Остальные не шевельнулись.

– Конечно, – заговорил Дуглас, – в школе нам будут твердить: вот здесь у вас сердце, с ним может случиться инфаркт! Будут трендеть про всякие вирусы, которые даже увидеть нельзя! Будут командовать: прыгни с крыши, или зарежь человека, или ложись и умирай.

– Нет уж, – выдохнул Сэм.

Уходящее солнце теребило слабыми пальцами последних лучей необъятный кладбищенский луг. В воздухе уже мельтешили ночные бабочки, а журчание кладбищенского ручья рождало лунно-холодные мысли и вздохи; тут Дуглас вполголоса закончил:

– Ясное дело, кому охота лежать в земле, где и жестянку не пнуть? Вам это нужно?

– Скажешь тоже, Дуг.

– Вот и давайте бороться! Мы же видим, чего от нас хотят взрослые: расти, учись врать, мошенничать, воровать. Война? Отлично! Убийство? Здорово! Нам никогда не будет так классно, как сейчас. Вырастешь – станешь грабителем и поймаешь пулю, или еще того хуже: заставят тебя ходить в пиджаке, при галстукке, да и сунут за решетку Первого национального банка! У нас один выход – остановиться! Не выходить из этого возраста. Расти? Не больно хотелось! Вырастешь – надо жениться, чтобы тебе каждый день скандалы закатывали! Так что: сопротивляемся или нет? Готовы слушать, если я вам расскажу, как от этого спастись?

– А то! – сказал Чарли. – Валяй!

– Итак, – начал Дуг, – прикажите своему организму: кости, чтобы ни дюйма больше! Замерите! И вот еще что. Хозяин этого кладбища – Квотермейн. Ему только на руку, если мы здесь ляжем в землю – и ты, и ты, и ты! Но мы его достанем. И всех прочих стариканов, которые заправляют у нас в городе! До Хэллоуина осталось всего ничего, но мы и ждать не будем: покажем им, где раки зимуют! Хотите стать как они? А знаете, как они такими стали? Ведь все до единого были молодыми, но лет этак в тридцать, или в сорок, или в пятьдесят начали жевать табак, а от этого пропитались слизью и не успели оглянуться, как эта слизь, клейкая, тягучая, стала выходить наружу харкотинной, обволокла их с головы до ног – сами знаете, видели, во что они превратились: точь-в-точь гусеницы в коконах, кожа задубела, молодые парни превратились в старичье, им самим уже не выбраться из этой коросты, точно говорю. Старики все на одно лицо. Вот и получается: копит небо такой старый хрен, а внутри у него томится молодой парень. Может, конечно, кожа вскорости растрескается, и

старик выпустит молодого на волю. Но тот уже никогда не станет по-настоящему молодым: получится из него этакая бабочка «мертвая голова»; хотя, если пораскинуть мозгами, старики молодых не отпустят, так что молодым никогда не выйти из липкого кокона, только и будут всю жизнь на что-то надеяться. Дело дрянь, согласны? Хуже некуда.

– А ты откуда знаешь, Дуг? – спросил Том.

– Во-во, – подхватил Пит. – Сам-то понял, чего сказал?

– Пит просто хочет знать наверняка, чтоб без обмана, – уточнил Бо.

– Объясняю еще раз, – сказал Дуг. – Слушайте ухом, а не брюхом.

Записываешь, Том?

– А как же. – Том занес карандаш над блокнотом. – Поехали.

В сгущающейся мгле, среди запаха травы, и листьев, и увядших роз, и холодного камня, слушатели вскинули головы, пошмыгали носами и утерли щеки рукавами.

– Так вот, – сказал Дуг. – Повторяю. Глазеть на эти могилы – бесполезняк. Нужно подслушивать под открытыми окнами, чтобы узнать, чего эти старперы боятся больше всего. Том, ты притащишь тыквы из бабушкиной кладовки. Устроим соревнование: кто вырежет самую страшную рожу. Одна тыква должна смахивать на старика Квотермейна, другая – на Блика, третья – на Грея. Зажгите внутри по свечке и выставьте на улицу. Прямо сегодня ночью и провернем нашу первую операцию с тыквами. Вопросы есть?

– Вопросов нет! – дружно прокричали все.

Они перемахнули через «УАЙТА», «УИЛЬЯМСА» и «НЕББА», устроили опорные прыжки через «СЭМЮЕЛСА» и «КЕЛЛЕРА», со скрипом распахнули кованую калитку и оставили позади сырой дерн, заплутавшие лучи солнца и неиссякаемый ручей под горкой. Следом увязалась туча серых мотыльков, но у калитки они отстали, а Том вдруг помедлил, смерив брата осуждающим взглядом.

– Дуг, что ты там наплел про эти тыквы? У тебя мозги набекрень, честное слово!

– Разговорчики! – Дуг остановился, развернувшись к нему лицом, хотя все остальные мчались что есть духу от этого места.

– Может, хватит? Гляди, что ты наделал. Сгношил ребят, а теперь запугиваешь. От таких речей вся армия разбежится. Надо сплотить наши ряды. Каждому дать задание, иначе все разбредутся по домам и больше не выйдут, а то и вовсе спать завалятся. Придумай что-нибудь, Дуг. Без этого нельзя.

Подбоченясь, Дуг в упор смотрел на Тома:

- Выходит, ты у нас теперь генерал, а я – последний рядовой?
- О чем ты, Дуг?
- Мне уже почти четырнадцать, а тебе – еле-еле двенадцать, но ты мной командуешь, будто сто лет прожил, да еще поучаешь. Неужели у нас все так паршиво?
- Паршиво, говоришь? Да у нас все прахом пошло. Смотри, как ребята драпают. Догоняй-ка и придумай что-нибудь дельное, пока бежишь до главной площади. Армию надо обновить. Дай нам толковое задание, а то придумал, надо же: тыквы резать! Шевели мозгами, Дуг, соображай!
- Соображаю. – Дуглас закрыл глаза.
- Ну, тогда вперед! Беги, Дуг. Я за тобой.
- И Дуг сорвался с места.

Глава 11

На городской окраине, неподалеку от школы, была дешевая кондитерская, где в соблазнительных ловушках прятались отравленные сладкие приманки.

Дуг остановился, пригляделся, подождал Тома и крикнул:

– Сюда, ребята! Заходим!

Мальчишки так и замерли – ведь он добавил название лавчонки, поистине волшебный звук.

Но по знаку Дуга все подтянулись к дверям и стали входить по одному, выстроившись в затылок, как и подобает обученной армии.

Последним зашел Том, заговорщически улыбнувшись Дугу.

Там был мед в сотах из теплого африканского шоколада. В янтарных сокровищницах застыли бразильские орехи нового урожая, миндаль и глазированные снежные гроздья кокосовой стружки. Темные сахарные слитки вобрали в себя июньское масло и августовскую пшеницу. Все это было завернуто в серебристую фольгу, а сверху замаскировано красными и синими обертками, на которых указывался только вес, состав и производитель. Яркими букетиками пестрели конфетные россыпи: карамель, чтобы склеивались зубы, лакрица, чтобы чернело сердце, жевательные бутылочки с тошнотворным ментолом и земляничным сиропом, трубочки «тутси» в форме сигар и мятно-сахарные сигареты с красными кончиками – на случай холодного утра, когда дыхание клубится в воздухе.

Стоя посреди лавки, ребята глазели на яства, что жуются с хрустом, и

фантастические напитки, что проглатываются залпом. В голубовато-ледяной, колючей воде холодильного шкафа плыли, как по течению Нила, бутылки с шипучкой цвета спелой хурмы. Над ними, на стеклянных полках, штабелями высились имбирное, миндальное и шоколадное печенье, полукруглые вафли и зефир в шоколаде, белый сюрприз под черной маской. И все это – специально, чтобы обложило язык и прилипло к небу.

Дуг вытащил из кармана несколько монеток и кивнул приятелям.

Один за другим, прижав носы к стеклу и затуманивая дыханием хрустальный шкаф, они стали выбирать сладкие сокровища.

Прошло совсем немного времени – и все уже мчались по проезжей части к оврагу, унося с собой лимонад и сладости.

Когда армия была в сборе, Дуг опять кивнул, дав знак спускаться по склону. С противоположной стороны, на высоком берегу оврага маячили стариковские дома, омрачающие солнечный день угрюмыми тенями. А еще выше – Дуг приложил ладонь козырьком и взгляделся повнимательнее – громадой выделялся дом с привидениями.

– Я вас не зря сюда привел, – сказал Дуг.

Том ему подмигнул и щелчком откупорил бутылку.

– Будем тренировать волю, чтобы стать настоящими бойцами. Показываю, – отчеканил он, вытягивая руку с лимонадной бутылкой. – Ничему не удивляйтесь. Выливаем!

– Вообще уже! – Чарли Вудмен постучал себя по лбу. – Это ж у тебя крем-сода, Дуг, вкуснотища! А у меня – апельсиновый краш!

Дуг перевернул свою бутылку вверх дном. Крем-сода с шипением влилась в прозрачный ручей, который стремительно понес ее в озеро. Мальчишки остолбенели при виде этого действия.

– Хочешь, чтобы из тебя испариной выходил апельсиновый краш? – Дуглас выхватил у Чарли бутылку. – Хочешь, чтобы у тебя плевки были из крем-соды, хочешь пропитаться отравой, от которой никогда не очиститься? Когда вырастешь, назад уже не вращешь, воздух из себя иголкой не выпустишь.

Страдальцы мрачно опрокинули свои бутылки.

– Пусть раки травятся. – Чарли Вудмен швырнул бутылку о камень.

Остальные последовали его примеру, как немцы после тоста; стекло брызнуло сверкающими осколками.

Потом они развернули подтаявшие шоколадки, марципаны и миндальные пирожные. Все облизнулись, у всех потекли слюнки. Но глаза были устремлены на генерала.

– Торжественно клянусь: отныне – никаких сладостей, никакого

лимонада, никакой отравы.

Дуглас пустил по воде шоколадный батончик, как покойника на морских похоронах.

Бойцам не было позволено даже облизать пальцы.

Прямо над оврагом им встретилась девчонка, которая ела мороженое – сливочный рожок. От такого зрелища языки высунулись сами собой. Девчонка слизнула холодный завиток. Бойцы зажмурились. А ей хоть бы что – уплетала себе рожок да еще улыбалась. На полудюжине лбов проступил пот. Лизни она еще хоть раз, высунься из девчоночьего рта этот аккуратный розовый язычок, коснись он холодного сливочного пломбира – и мятеж в рядах армии был бы неминуем. Набрав полную грудь воздуха, Дуглас гаркнул:

– Брысь!

Девчонка отпрянула и пустилась наутек. Выждав, пока не улеглись страсти по мороженому, Дуглас негромко произнес:

– У моей бабушки всегда наготове вода со льдом. Шагом марш!

II

Шайло и далее [\[16\]](#)

Глава 12

Келвин Си Квотермейн был таким же длинным и напыщенным, как его имя.

Он не ходил, а шествовал.

Не смотрел, а созерцал.

Не разговаривал, а выстреливал суждения, беспощадно поражая любую близкую мишень.

Он изрекал и вещал, никого никогда не хвалил и всех поливал презрением.

В данный момент он изучал микробов сквозь линзы своих очков в тонкой золотой оправе. Микробами, подлежащими уничтожению, были мальчишки. В особенности один.

– Велосипед, силы небесные, проклятый голубой велосипед. Больше там ничего не было!

Квотермейн даже зарычал, брыкнув здоровой ногой.

– Гаденьши! Брейлинга прикончили! А теперь за мной охотятся!

Дородная сестра милосердия удерживала его поперек живота, как деревянного индейца из табачной лавки, пока доктор Либер накладывал гипс.

– Господи! Какой же я болван! Ведь Брейлинг упомянул метроном. Боже мой!

– Полегче, у вас нога сломана!

– Велосипед ему не поможет! Меня и адской машиной не возьмешь, вот так-то!

Сестра милосердия сунула ему в рот таблетку.

– Все хорошо, мистер Си, все хорошо.

Глава 13

Ночь; лимоннокислый дом Келвина Си Квотермейна; хозяин, давно выписанный из больницы, лежит в собственной постели – а его молодость тем временем пробила панцирь, выскользнула между ребрами, покинула

старческую оболочку и затрепетала на ветру.

Когда по воздуху пробежали шумы летней ночи, у Квотермейна резко дергалась голова. Прислушиваясь, он извергал ненависть:

– Господи, порази огнем этих выродков!

А сам думал, покрываясь холодной испариной: «Брейлинг отчаянно старался сделать их людьми, но потерпел поражение, зато я возьму верх. Боже, что ж там делается?»

Он поднял глаза туда, где наемни полыхнула огнестрельная вспышка, в одночасье взорвавшая их жизнь в конце одного запоздалого лета, соединившего в себе капризы погоды, слепоту небес и неожиданное чудо – жить и дышать среди этого водоворота безумных событий. Боже милосердный! Кто командовал этим парадом и куда его вел? Будь бдителен, Господи! Барабанщики убивают капитана.

– Должны же быть и другие, вроде меня, – шептал он в сторону распахнутого окна. – Те, кому сейчас не дают покоя мысли об этих негоднях!

Он явственно ощущал, как дрожат далекие тени – такие же насквозь проржавевшие железные старики, что прячутся в своих высоких башнях, чавкают жидкой кашей и ломают на кусочки сухие галеты. Надо бросить им клич, и его тревога зарницей пролетит по небу.

– Телефон, – выдохнул Квотермейн. – Давай, Келвин, собирай своих!

Из темного палисадника донеслись какие-то шорохи.

– Это еще что? – прошептал он.

Мальчишки сгрудились внизу, на темных глубинах травы. Дуг и Чарли, Уилл и Том, Бо, Генри, Сэм, Ральф и Пит – все присматривались к высокому окну Квотермейновой спальни.

У них были с собой три мастерски вырезанные, устрашающие тыквы. Не выпуская их из рук, мальчишки начали расхаживать по тротуару, а голоса взмывали вверх среди освещенных звездами деревьев, становясь все громче:

– Черви в череп заползают, черви череп проедают.

Скрюченные, веснушчато-пергаментные пальцы Квотермейна вцепились в телефонную трубку.

– Блик!

– Квотермейн? Тебе известно, который час?

– Погоди! Ты слышал, что случилось с Брейлингом?

– Так я и знал: когда-нибудь его застукают без часов.

– Сейчас не время острить!

– Да будь он неладен со своими хронометрами; они у него тикали на

весь город. Уж коли висишь на краю могилы, так прыгай. И мальчишку с пугачом не впутывай. Что ж теперь прикажешь делать? Пугачи запрещать?

– Блик, ты мне нужен!

– Все мы друг другу нужны.

– Брейлинг был секретарем попечительского совета. А я – председатель! Наш треклятый город наводнен потенциальными убийцами.

– Квотермейн, любезнейший, – сухо произнес Блик, – ты мне напомнил анекдот про главного врача психиатрической лечебницы, который сетовал, что пациенты посходили с ума. Неужели ты не знал, что все мальчишки – паразиты?

– Таких надо наказывать!

– Жизнь накажет.

– Эти безбожники окружили мой дом и затянули похоронную песню!

– «Черви в череп заползают»? Я и сам в детстве обожал эту песенку. Ты-то помнишь себя десятилетним? Возьми да позвони их родителям.

– Этим недоумкам? В лучшем случае они скажут своим чадам: «Оставьте в покое вредного старикашку».

– Почему бы не принять закон, чтобы всем сразу стукнуло семьдесят девять? – По телефонным проводам побежала ухмылка Блика. – У меня самого два десятка племянников, которые на стенку лезут, когда я намекаю, что собираюсь жить вечно. Очнись, Кел. Мы ведь меньшинство, как чернокожие или вымершие хетты. Наша страна хороша для молодых. Единственное, что мы можем сделать, – дождаться, пока этим садистам исполнится девятнадцать, и тут же отправить их на войну. В чем их преступление? В том, что они лопаются от лимонада и весеннего дождя. Запасись терпением. Пройдет совсем немного времени – и они будут ходить с инеем в волосах. Отомстить всегда успеешь.

– Поможешь ты мне или нет, черт тебя побери?

– Ты имеешь в виду выборы в попечительский совет? Помогу ли я тебе собрать Гвардию старых перечников имени Квотермейна? Я буду наблюдать из-за боковой и время от времени отдавать свой голос за вас, бешеных псов. Сократить летние каникулы, урезать зимние, отменить весенний парад воздушных змеев – таковы ваши планы, правильно я рассуждаю?

– По-твоему, у меня помрачение рассудка?

– Нет, всего лишь замедленная реакция. Вот я, к примеру, разменяв шестой десяток, сразу сообразил, что влился в ряды лишних людей. Мы, конечно, не африканцы, Квотермейн, и даже не язычники-азиаты, но мы помечены клеймом седины, а руки у нас покрыты ржавчиной, хотя еще

недавно были гладкими и чистыми. Терпеть не могу того субъекта, чья растерянная одинокая физиономия глядит на меня по утрам из зеркала. А что со мной творится при виде хорошеньких женщин, боже мой! Меня охватывает неистовство. Такой весенний сумбур в мыслях смутил бы даже мумию фараона. Короче говоря, в разумных пределах можешь на меня рассчитывать, Кел. Спокойной ночи.

Два телефона щелкнули одновременно.

Квотермейн высунулся из окна. Под луной стояли тыквы, мерцающие жутким октябрьским светом.

«Откуда, хотелось бы знать, у меня такое ощущение, – спросил он сам себя, – будто первая тыква похожа на меня, вторая смахивает на Блика, а третья – вылитый Грей? Нет, нет. Быть такого не может. Господи, где бы мне отыскать метроном Брейлинга?»

– Вон отсюда! – прокричал он в темноту.

Подхватив костыли, Квотермейн с усилием поднялся с кресла, еле-еле спустился по лестнице, допрыгал до веранды и кое-как добрался до тротуара, где подмигивали стоящие рядом тыквенные головы.

– Ну и ну, – забормотал он. – Впервые в жизни вижу такие гнусные, омерзительные тыквы! Ну, держитесь!

Он замахнулся костылем и с плеча рубанул оранжевую голову, потом вторую и третью; свечи, мерцавшие сквозь прорези, угасли.

Попятившись, чтобы сподручнее было рубить, кромсать и полосовать, он рассек каждую тыкву на части, да так, что наружу брызнули семечки, а клочки рыжей плоти разлетелись во все стороны.

– Эй, кто-нибудь! – позвал он.

Его экономка в смятении выскочила из дому и ринулась через обширный газон.

– Не поздно ли будет, – громогласно осведомился Квотермейн, – затопить печку?

– Затопить печку, мистер Кел?

– Да, затопить распроклятую печку. Доставайте противни. У вас есть рецепт тыквенного пирога?

– Как не быть, мистер Кел.

– Тогда собирайте эти ошметья. Заказываю обед на завтра: «Сплошные десерты!».

Квотермейн развернулся и на костылях взобрался по лестнице.

Глава 14

Внеочередное заседание Гринтаунского муниципального комитета по образованию должно было начаться с минуты на минуту.

Кроме Келвина Си Квотермейна присутствовали еще двое: Блик и мисс Флинн, секретарь-референт.

Квотермейн указал на столик с пирогами.

– Что это такое? – удивились двое других.

– Триумфальный завтрак, а может, обед.

– На мой взгляд, это пироги, Квотермейн.

– А что же еще, дурная твоя голова! Пир победителей, вот что это такое. Мисс Флинн?

– Да, мистер Кел?

– Внесите в протокол. Сегодня перед заходом солнца я сделаю несколько заявлений над оврагом.

– А именно?

– «Слушайте меня, подлые бунтари. Война не окончена: вы не сдались, но и не победили. Похоже, все решит случай. Готовьтесь, октябрь будет долгим. Вы у меня на крючке. Берегитесь».

Квотермейн умолк, закрыл глаза и сжал пальцами виски, будто старался что-то вспомнить.

– Ага, вот. Незабвенный полковник Фрилей. Нам требуется полковник. Когда Фрилей был произведен в полковники?

– Сразу как Линкольна застрелили.

– Так-так. Кто-то из нас должен стать полковником. Им буду я. Полковник Квотермейн. Как на ваш слух?

– Весьма достойно, Кел, весьма достойно.

– А раз так – отставить разговоры и приступить к пирогам.

Глава 15

На веранде у Дуга с Томом ребята расселись в кружок. В голубой краске потолка отражалась голубизна октябрьского неба.

– Трам-тарарам! – начал Чарли, – прямо не знаю, как сказать, Дуг, но мне жрать охота.

– Чарли! Ты не о том думаешь!

– Я как раз о том думаю, – возразил Чарли. – Земляничный пирог, а сверху – огромное белое облако взбитых сливок.

– Том, – потребовал Дуглас, – загляни-ка в блокнот: что сказано в уставе насчет измены?

– С каких это пор мысли о пироге считаются изменой? – Чарли поковырял в ухе и с преувеличенным интересом стал разглядывать комочек воска.

– Не мысли, а разговоры.

– Да я с голодухи ноги протяну! – сказал Чарли. – И у других на уме то же самое – того и гляди, кусаться начнем. Не катит твоя затея, Дуг.

Дуг обвел глазами своих солдат, словно подначивая их занять вместе с Чарли.

– У моего деда есть книга, где написано, что индусы могут голодать по девяносто дней. Так что успокойся. После первых трех суток уже все нипочем!

– А у нас сколько прошло? Том, глянь-ка на часы. Сколько прошло?

– М-м-м, один час и десять минут.

– Обалдеть!

– Что значить «обалдеть»? Нечего смотреть на часы! Смотреть надо в календарь. Любой пост длится семь суток!

Они еще немного посидели в молчании. Потом Чарли спросил:

– Том, а теперь сколько прошло?

– Не говори ему, Том!

Том важно сверился с часами:

– Один час и двенадцать минут!

– Кранты! – Чарли скривился. – У меня брюхо к спине прилипло. Всю жизнь буду питаться через трубочку. А вообще-то я уже умер. Известите родных и близких. Передайте, что я их любил.

Закатив глаза, он откинулся на дощатый пол.

– Два часа, – в скором времени сообщил Том. – Целых два часа голодаем, Дуг. Не хухры-мухры! Нам бы еще после ужина проблеваться – и, считай, дело сделано.

– Ох, – подал голос Чарли, – чувствую себя как у зубодера, когда он мне укол всадил. Все онемело! У ребят просто кишка тонка, а то бы они тоже тебе сказали, что пухнут с голоду. Точно я говорю, парни? Сейчас бы сырку! Да с крекерами!

Раздался общий стон. Чарли не унимался:

– И жареную курочку!

Все взвыли.

– И ножку индейки!

– Вот видишь. – Том ткнул Дуга в локоть. – Всех до судорог довел! И где же твой переворот?

– Еще один день!

- А потом?
- Сухой паек.
- Пирог с крыжовником, яблочное пюре, сэндвичи с лучком?
- Завязывай, Чарли.
- Булка с виноградным джемом!
- Заткнись!

– Не дождетесь, сэр! – фыркнул Чарли. – Сорвите с меня шевроны, генерал. Первые десять минут все шло как по маслу. А теперь у меня в животе бульдог мечется. Пойду-ка я домой, сяду как человек, положу себе полторта с бананами, пару бутербродов с ливерной колбаской. Лучше уж загремлю под фанфары из вашей долбаной армии, но, по крайней мере, останусь жив, а не усохну, как мумия, на каких-то обедах.

– Чарли, – взмолился Дуг, – ты же у нас в штабе – правая рука.

Залившись краской, Дуг вскочил и сжал кулаки. Это было поражение. Хуже некуда. Разработанный план у него на глазах пошел прахом, и великий переворот сорвался.

В это мгновение городские часы начали бить полдень, и протяжный металлический бой спас положение, потому что Дуг бросился к перилам и стал смотреть в сторону главной площади, на этот неприступный железный монумент, а потом и на зеленый сквер, где по обыкновению старики просиживали за шахматными досками.

У него на лице мелькнула отчаянная догадка.

– Пойдите-ка, – пробормотал он и выкрикнул в полный голос: – Шахматные доски! – Одно дело – испытание голодом, и оно пойдет нам на пользу, но теперь я вижу настоящую цель. Вот там, у здания суда, эти гнусные стариканы играют в шахматы.

Мальчишки недоуменно заморгали.

– Как же так?

– Да, как же так? – эхом повторили остальные.

– У них на шахматной доске – мы с вами! – воскликнул Дуглас. – Мы для них – шахматные фигуры! Старичье может нами двигать хоть по прямой, хоть по косой. Почему зря гоняют нас по шахматной доске.

– Дуг, – произнес Том, – ты у нас голова!

Бой часов умолк. Наступила глубокая, дивная тишина.

– Что ж, – выдохнул Дуглас. – Наверное, теперь каждому ясно, что делать дальше!

В зеленом сквере, под мраморной сенью здания суда, у громады часовой башни ожидали шахматные столики.

И хотя серое небо робко предрекало морось, стариковские руки разложили дюжину шахматных досок. Две дюжины седых голов склонились над черно-красными театрами военных действий. Пешки и ладьи, кони, ферзи и короли вздрогнули и сошли с мест, а королевства стали рушиться на глазах.

Каждый ход пестрел бликами от листвы деревьев; старики, шамкая впалыми ртами, поглядывали друг на друга то с прищуром, то с холодком, то с ухмылкой. Их беседа шуршала и шелестела вблизи памятника жертвам Гражданской войны.

Дуглас Сполдинг подкрался незамеченным и, выглядывая из-за памятника, пристально следил за движением фигур. Приятели сгрудились у него за спиной. Поначалу они тоже смотрели во все глаза, но вскоре начали по одному пятиться назад и сонливо опускаться на траву. Дуг шпионил за стариками, а те часто, по-собачьи, дышали над своими досками. Их руки подрагивали. Снова и снова.

Обернувшись к своему воинству, Дуглас зашептал:

– Смотрите! Вот тот офицер – это ты, Чарли! А король – я! – Тут он резко дернулся. – Ай, за меня взялся мистер Уибл! На помощь! – Он вытянул перед собой одеревеневшие руки и застыл как вкопанный.

Мальчишки вытаращили глаза. Кто-то схватил его за руки.

– Дуг, мы тебя не отдадим!

– Кто-то меня тащит! Это мистер Уибл!

– Проклятый Уибл!

Тут сверкнула молния, прогремел гром и хлынул дождь.

– Вот это да! – вырвалось у Дуга. – Смотрите!

Стихия затопила площадь перед зданием суда, и старики повскакали с мест, забыв про шахматы, сбитые потоками ливня.

– Айда, ребята! Хватайте, кто сколько может! – скомандовал Дуг.

Хищной стаей они ринулись вперед, на шахматные фигуры.

Опять была молния, опять был гром.

– Живей! – кричал Дуг.

В третий раз сверкнула молния, а они, толкаясь, хватали фигуры.

Шахматные доски опустели.

Тогда мальчишки остановились и стали смеяться над стариками, которые спасались от дождя под кронами деревьев.

А потом сами, как обезумевшие летучие мыши, помчались искать укрытие.

Глава 17

– Блик! – рывкнул Квотермейн в телефонную трубку.

– Кел?

– Представляешь, они сперли шахматные фигуры, которые нам прислали из Италии в год убийства Линкольна. Хитрые бестии! Жду тебя сегодня вечером. Нужно продумать контрнаступление. Сейчас еще Грею позвоню.

– Грею не до того: он умирает.

– Ну, знаешь ли, сколько его помню, он все умирает! Что ж, обойдемся своими силами.

– Стоит ли пороть горячку, Кел? Невелика важность – шахматные фигуры.

– Но они дороги нам как память, Блик! Тут пахнет мятежом.

– Купим новые.

– Право слово, с тобой говорить – что с покойником. Придется все-таки звонить Грею, пусть отложит свою кончину еще на сутки.

У Блика вырвался негромкий смешок.

– В котел бы их всех, малолетних бунтарей, да сварить на медленном огне, как ты считаешь?

– Будь здоров, Блик.

Не откладывая в долгий ящик, он позвонил Грею. У того было занято. Квотермейн бросил трубку, но тут же снова поднес ее к уху и сделал еще одну попытку. Слушая гудки, он уловил постукивание веток по оконному стеклу – совсем слабое, отдаленное.

«Боже мой, – подумал Квотермейн, – ведь это оно и есть. Предвестие смерти».

Глава 18

На другом краю оврага, стало быть, высился дом с привидениями.

Откуда было известно, что там обитают привидения?

Так уж говорили. Это всякий знал.

Дом стоял, почитай, сотню лет, и люди толковали: при свете дня – дом как дом, зато ночами творится в нем что-то нехорошее.

Неудивительно, что именно туда и бежали мальчишки, унося свою добычу; впереди всех Дуглас, а Том – замыкающий.

Чтобы спрятаться, лучше места не придумаешь, потому что никто –

кроме мальчишечьей своры – на пушечный выстрел не подойдет к дому с привидениями, хоть бы и при свете дня.

Гроза не утихала; надумай кто-нибудь присмотреться к нехорошему дому или наудачу отворить скрипучую дверь, чтобы, миновав затхлую от времени прихожую, подняться по таким же скрипучим ступенькам, – и взору явился бы чердак, загроможенный бесполезными стульями, пропахший старинным составом для чистки бамбуковой мебели, а сейчас захваченный розовощекими мальчишками, которые вбежали сюда под трещотки молний и овации грома; стихия между тем наблюдала сверху, довольная, что так легко заставила ребят перепрыгивать через две ступеньки, хохотать во все горло и рассаживаться в кружок по-турецки на голом полу.

Дуг зажег принесенный с собой огарок свечи и воткнул его в старый стеклянный подсвечник. Вслед за тем из пенькового мешка были по одному извлечены и расставлены все похищенные шахматные фигуры, которые по ходу дела именовались в честь Чарли, Уилла, Тома, Бо и так далее. Каждой из них Дуг кивком определял место, как бойцовой собаке.

– Это ты, Чарли.

Проскрежетала молния.

– Так точно!

– Это ты, Уилли.

Зарокотал гром.

– Так точно!

– А это – ты, Том.

– Как мелочь пузатая – так сразу я, – возмутился Том. – Может, я хочу быть королем.

– А королевой не хочешь? Помолчал бы.

– Молчу, – сдался Том.

Дуглас прошелся по всему списку, и ребята, покрывшись потом, сомкнули круг в ожидании того мгновения, когда новая вспышка молнии плеснет на них свой электрический свет. Вдалеке откашлялся гром.

– Слушайте! – воскликнул Дуг. – А ведь мы почти у цели! Город, можно считать, взят. Шахматы отныне в наших руках, так что старики больше не смогут нами помыкать. Может, у кого будет задумка покруче?

Задумки покруче ни у кого не было, в чем каждый тут же признался с чистой совестью.

– Я вот чего не понял, – сказал Том. – Как ты вызвал молнию, Дуг?

– Закрой рот и слушай, – оборвал его Дуглас, раздосадованный, что у него выпытывают сверхсекретные данные. – Как вызвал, так и вызвал,

только она по моему приказу нагнала страху на этих дряхлых морских волков и ветеранов Гражданской. Прячутся теперь по углам и мрут как мухи. Как мухи.

– Одно плохо, – сказал Чарли. – Шахматы, понятно, в наших руках. Но я лично сейчас что угодно отдал бы за горячий хот-дог.

– Язык прикуси!

В этот самый миг молния расколола дерево, росшее прямо под чердачным окном. Мальчишки ничком рухнули на пол.

– Дуг! Черт! Прекрати!

Зажмурившись, Дуг прокричал:

– Не могу! Беру свои слова обратно! Я наврал!

Получив некоторую сатисфакцию, гроза с ворчанием удалилась.

Напоследок, словно возвещая прибытие важных гостей, полыхнула далекая молния и прокатился гром; все невольно покосились в сторону лестницы, ведущей вниз.

На первом этаже кто-то невидимый прочистил горло.

Наострив уши, Дуглас приблизился к лестнице и помимо своей воли крикнул в пролет:

– Дедушка, это ты?

– Может быть, – отозвался голос откуда-то снизу. – Вы, ребята, не умеете замечать следы. По всему городу траву примяли. Вот я и отправился за вами; где спросил, где разузнал – и нашел.

Дуглас сглотнул застрявший в горле комок и повторил:

– Дедушка, это ты?

– В городе переполох, – сообщил снизу дед, не показываясь им на глаза.

– Переполох?

– Да вроде того, – подтвердил дедушкин голос.

– Поднимешься к нам?

– Нет, – сказал дедушка. – Сдается мне, это вы сейчас спуститесь. Надо бы повидаться да потолковать о том о сем. А после будет вам наказ, ибо в городе разыскивают похищенное.

– Похищенное?

– У мистера По было такое словцо.^[17] Кто забыл, пускай сходит домой и откроет этот рассказ, чтобы освежить память.

– Похищенное, – повторил Дуглас. – Да, вроде было.

– А похищенное – сейчас точно не скажу, что именно, – с расстояния продолжал дедушка, – да это и не важно, только есть у меня мысль, сынок, что похищенное должно вернуться туда, откуда взято. В городе

поговаривают, будто уже вызвали шерифа, так что давайте-ка ноги в руки.

Попятившись, Дуглас уставился на приятелей, которые тоже слышали голос и теперь стояли ни живы ни мертвы.

– Больше ничего не скажешь? – окликнул снизу все тот же голос. – Ладно, может, в другой раз. Однако мне пора; ты знаешь, где меня искать. До скорого.

– Ага, хорошо, сэр.

Дуг и все остальные молча слушали, как отдаются эхом от стен нечистого дома дедушкины шаги: через площадку, вниз по лестнице, на крыльцо. И все.

Когда Дуглас обернулся, Том уже держал наготове пеньковый мешок.

– Пригодится, Дуг? – шепотом спросил он.

– Давай сюда.

Вцепившись в кромку, Дуглас начал собирать шахматные фигуры и по одной бросать их в мешок. Первым на дно шмякнулся Пит, за ним Том, за ним Бо и все прочие.

Дуг встряхнул мешок; шахматы загремели, точно старые кости.

В последний раз оглянувшись через плечо на свою армию, Дуг двинулся вниз по ступенькам.

Глава 19

Дедушкина библиотека представляла собой невероятное сумрачное пристанище, облицованное книгами, а посему там могли случиться – и вечно случались – всякие неожиданности. Достаточно было снять с полки какую-нибудь книжку, раскрыть ее – и сумрак уже не был сумраком.

Здесь-то, водрузив на нос очки в золотой оправе, и устраивался дедушка то с одной книгой на коленях, то с другой и всегда привечал посетителей, которые заглядывали на минутку, а задерживались на час.

Сюда после дневных трудов заходила даже бабушка, подобно тому, как всякая усталая живая тварь идет к водопою, чтобы набраться свежих сил. А дедушка только рад был плеснуть в кружки добрый, чистый Уолденский пруд^[18] или аукнуть в бездонный кладезь Шекспира, чтобы потом удовлетворенно слушать эхо.

Здесь бок о бок отдыхали лев и антилопа, здесь шакал превращался в единорога, здесь в субботний полдень можно было застать немолодого отшельника, который, сидя в тени придуманной, а может, и не придуманной ветви, подкреплялся хлебом, замаскированным под

сэндвич, и прихлебывал из кувшина домашнее вино.

На краю этого мира в ожидании стоял Дуглас.

– Входи, Дуглас, – сказал дедушка.

И Дуглас вошел, пряча за спиной пеньковый мешок.

– Хотел что-то рассказать, Дуглас?

– Нет, ничего, сэр.

– Так уж и ничего? Ни о чем?

– Ни о чем, сэр.

– Что сегодня поделывал, парень?

– Ничего.

– Совсем ничего или ничего особенного?

– Вроде бы совсем ничего.

– Дуглас. – Протирая очки в золотой оправе, дедушка помолчал. – Знаешь, как люди говорят: признание облегчает душу.

– Ну, говорят.

– Видно, есть в этом здравый смысл, не зря же так говорится.

– Допустим.

– Уж я-то знаю, Дуглас, я-то знаю. Хотел кое в чем признаться?

– В чем? – Дуглас по-прежнему держал мешок за спиной.

– Пытаюсь догадаться. Не подскажешь?

– А ты намекни, дедушка.

– Ну что ж. Нынче над ратушей вроде как разверзлись хляби небесные.

По слухам, на лужайку лавиной хлынули мальчишки. Ты, часом, никого из них не знаешь?

– Нет, сэр.

– Может, кто-нибудь из них знает тебя?

– Если я их не знаю, откуда им-то меня знать, сэр?

– Неужто тебе и сказать больше нечего?

– Вот прямо сейчас? Нечего, сэр.

Дед покачал головой.

– Говорил же я тебе, Дуг: мне известно о похищенном. Жаль, что ты упорствуешь. А меня, помню, в твои годы застукали с поличным, когда устроил я одну каверзу; и ведь знал, что пакость, а все равно делал. Да, как сейчас помню. – Дедушкины веки дрогнули за стеклами очков. – Не стану задерживать, парень. Вижу, ты как на иголках.

– Да, сэр.

– Тогда вперед. Дождь не утихает, в небе молнии разбушевались, на площади ни души. А коли на бегу призвать молнию, то, само собой, и управишься в два счета. Смекаешь?

- Да, сэр.
- Вот и славно. Одна нога здесь, другая там.
- Дуглас попятился.
- Стоит ли пятиться, сынок, – сказал дед. – Я ж тебе не король на троне. Кругом – и можешь ретироваться по-быстрому.
- Ретироваться. Это из французского пришло, дедушка?
- Не исключено. – Старик потянулся за какой-то книгой. – Как вернешься, так сразу и проверим!

Глава 20

Незадолго до полуночи Дуг проснулся от жуткой скуки, которую способен навевать только сон.

Тогда, прислушавшись к посапыванию Тома, который впал в глубокую летнюю спячку, Дуг поднял руки и пошевелил пальцами – точь-в-точь камертон; вслед за этим возникло едва ощутимое колебание воздуха. Прямо чувствовалось, как душа продирается сквозь бескрайние дебри.

Босые ноги опустились на пол, и Дуг накренился в южную сторону, чтобы уловить радиоволны от дяди, жившего неподалеку. Не послышался ли ему трубный глас Тантора, что призывал к себе мальчонку, воспитанного обезьянами? И еще: коль скоро прошло уже полночи, провалился ли сидевший за стенкой дедушка – на носу очки, справа Эдгар Аллан По, слева жертвы (подлинные жертвы) Гражданской войны – в дремотную могилу, отрешившись от мира, но вместе с тем как бы ожидая возвращения Дугласа?

Итак, хлопнув в ладоши над головой и пошевелив пальцами, Дуг вызвал одно последнее колебание литературного камертона и по тайному наитию двинулся в сторону дедушкиного и бабушкиного флигеля.

Дедушка позвал кого-то шепотом из своей дремотной могилы.

И Дуг стремительно выскочил за полночную дверь, впопыхах едва не забыв придержать раздвижные створки, чтобы они не грохнули.

Не отзываясь на слоновий рев, доносившийся сзади, он пошлепал к бабушке с дедушкой.

И впрямь, дед покоился в библиотеке, готовый воскреснуть к завтраку и выслушать любые предложения.

Но покамест, в полночь, еще оставалось неосвещенное время для особого курса наук, поэтому Дуглас, наклонившись, прошептал дедушке на ухо:

– Тысяча восемьсот девяносто девятый.

И дедушка, затерявшийся в другом времени, стал вполголоса рассказывать про тот самый год: какова была температура воздуха да как выглядели прохожие на городских улицах.

Вслед за тем Дуглас произнес:

– Тысяча восемьсот шестьдесят девятый.

И дедушка погрузился в те времена, которые настали четыре года спустя после убийства Линкольна.

Дуглас не шевелился, смотрел перед собой и раздумывал: что, если прибегать на такие вот необыкновенные, долгие беседы каждую ночь, этак с полгодика, а еще лучше целый год или даже пару лет – тогда, глядишь, дед прямо так, во сне, мог бы сделаться ему наставником и дать такие познания, о каких никто на свете и мечтать не смеет. Дед, сам того не ведая, стал бы учить его уму-разуму, а он, Дуглас, впитывал бы эту премудрость по секрету от Тома, от родителей и всех прочих.

– На сегодня хватит, – шепнул Дуг. – Спасибо, дедушка, за все твои рассказы во сне и наяву. И отдельное спасибо, что надоумил, как быть с похищенным. Больше ничего говорить не буду. А то еще разбужу тебя ненароком.

С этими словами Дуглас, загрузив себе до отказа голову всем, что смогло войти через уши, оставил деда спать дальше, а сам на цыпочках поспешил к лестнице, ведущей в мезонин, чтобы еще разок оглядеть ночной город под луной.

В это время городские башенные часы, сами похожие на гигантскую, изумленно-гулкую луну в электрическом ореоле, прочистили охрипшее горло и огласили воздух полночным боем.

Раз.

Дуглас устремился вверх по ступенькам.

Два. Три.

Четыре. Пять.

Прильнув к чердачному окошку, Дуглас окинул взглядом океан крыш, сомкнувшийся вокруг могучего исполина часовой башни, а время между тем продолжало вести свой отсчет.

Шесть. Семь.

У него екнуло сердце.

Восемь. Девять.

Все тело сковало льдом.

Десять. Одиннадцать.

С тысяч ветвей посыпался дождь темных листьев.

Двенадцать!

«Вот оно что!» – пронеслось у него в голове.

Часы! Как же он раньше не подумал?

Конечно, часы!

Глава 21

Последний отзвук гигантских курантов растаял в ночи.

Деревья в саду кланялись ветру; чайного цвета занавеска бледным призраком трепетала в оконном проеме.

У Дугласа перехватило дыхание. «Ну и дела, – подумал он. – Почему мне это никогда не приходило в голову?»

Башенные часы, великие и ужасные. Не далее как в прошлом году разве не показывал ему дед, собираясь преподать очередной урок, переснятые чертежи часового механизма?

Огромный лунный диск башенных часов – это, считай, та же мельница, говорил дедушка. Сыпь туда зерна Времени – крупные зерна столетий, мелкие зерна годов, крошечные зернышки часов и минут – куранты все перемелют, и Время неслышно развеется по воздуху тончайшей пылью, которую подхватят холодные ветры, чтобы укутать этим прахом город, весь целиком. Споры такой пыли проникнут и в твою плоть, отчего кожа пойдет морщинами, кости начнут со страшной силой выпирать наружу, а ступни распухнут, как репы, и откажутся влезать в башмаки. И все оттого, что всемогущие жернова в центре города отдают Время на откуп ненастью.

Часы!

Это они отравляют и губят жизнь, вытряхивают человека из теплой постели, загоняют в школу, а потом и в могилу! Не Квотермейн с кучкой старперов, не Брейлинг и его метроном, а эти часы хозяйничают в городе, будто в часовне.

Подернутые туманом даже в самую погожую ночь, они распространяли вокруг себя отблески, зарево и старость. Башня маячила над городом, как темный могильный курган, тянулась к небесам на зов луны, протяжными стонами оплакивала минувшее и безвозвратное, а сама исподволь рассказывала про другую осень, когда город был еще совсем юным, когда все только начиналось и ничто не предвещало конца.

– Ну, держитесь, – прошептал Дуглас.

Полночь, объявили часы. И добавили: Время, Мрак. Стая ночных птиц

взметнулась над озером, унося прощальный стон в далекие темные края. Дуг дернул вниз шторы, чтобы Время не проникло хотя бы сюда.

Свет от башенных часов застыл на обшивке стен, словно туманное дыхание на оконном стекле.

Глава 22

– Чего я тут наслушался – обалдеть. – Чарли подошел вразвалочку, с цветком клевера в зубах. – Выведал секретные сведения у девчонок.

– У девчонок?!

Чарли ухмыльнулся: его слова шарахнули десятидюймовой петардой, миг согнав ленту с приятельских физиономий.

– Сестренка моя проболталась – еще в июле раскололи они старую леди Бентли, и та призналась, что никогда не была молодой. Съели? Вот так-то.

– Чарли, Чарли!

– Конечно, требуются доказательства, – продолжил Чарли. – Девчонки говорят, старуха Бентли сама показала им кое-какие фотографии, безделушки и прочий хлам, но это еще ничего не значит. Хотя, если пораскинуть мозгами, все старичье на одно лицо, словно молодости в помине не было.

– Тебе бы раньше сообразить, Дуг, – вклинился Том.

– А тебе бы заткнуться, – отрезал Дуглас.

– Думаю, пора меня произвести в лейтенанты, – сказал Чарли.

– Да ты только вчера произведен в сержанты!

Чарли пробуравил Дугласа пристальным взглядом.

– Ладно, черт с тобой, будешь лейтенантом, – уступил Дуглас.

– Ну, спасибо, – сказал Чарли. – А с сестренкой-то моей как поступим? Просится к нам в армию – тайным агентом.

– Еще чего!

– Так ведь она добыла секретные сведения, причем, согласись, не хилые.

– Да, Чарли, котелок у тебя варит, – сказал Том. – А у тебя, Дуг, почему котелок не варит?

– Ну, вообще уже! – вскричал Дуглас. – Кто, интересно, придумал сбор на кладбище, и уничтожение сластей, и голодовку, и шахматные фигуры – кто все это придумал?

– Погоди-ка, – сказал Том. – Сбор на кладбище, между прочим,

придумал я. Сладости – допустим, твоя идея. Зато с голодовкой – уж извини – ты в лужу сел. И вообще, у тебя битых два часа не было ни одной новой мысли. А шахматы преспокойно вернулись на место, и старичье снова помыкает ими – нами – почему зря. Того и гляди, схватят нас за горло и куда-нибудь задвинут, чтобы не дать нам жить собственной жизнью.

Дуглас понимал: Чарли с Томом хотят на него наехать и вырвать из рук командирскую власть, как спелую сливу. Рядовой, капрал, сержант, лейтенант. Сегодня лейтенант, завтра капитан. А послезавтра?

– Мысли важны не сами по себе, – Дуглас утер пот со лба. – Важна их стыковка. А те сведения, которые принес Чарли, даже не им раздобыты! Курам на смех: девчонки его обскакали!

Все дружно вздернули брови.

У Чарли вытянулась физиономия.

– Короче, – продолжал Дуглас, – сейчас я занимаюсь стыковкой идей для настоящего разоблачения!

На него устремились недоуменные взгляды.

– Выкладывай, не темни, Дуг, – потребовал Чарли.

Дуглас закрыл глаза.

– Что ж, слушайте: если по старикам не видно, что они были ребятами, значит, у них молодости не было и в помине! А раз так – это вообще не люди!

– Не люди? А кто же?

– Другое племя!

Все так и сели, ослепленные протуберанцем этого открытия, этого невероятного озарения. Оно обожгло каждого огненным дождем.

– Да, другое племя, – подтвердил Дуглас. – Пришельцы. Злодеи. А нас – нас они держат при себе как рабов, чтобы нашими руками вершить темные делишки и карать за непослушание.

Выводы из такого разоблачения взбудоражили всех до единого.

Чарли встал и торжественно произнес:

– Дуг, видишь берет у меня на голове? Снимаю перед тобой берет, дружище! – И Чарли приподнял берет под аплодисменты и смех всей компании.

В окружении улыбающихся лиц Дуг – командир, генерал – достал из кармана перочинный нож и сам с собой затеял философскую игру в ножички.

– Так-то оно так: – начал Том и на этом не остановился. – Только у тебя концы с концами не сходятся. Допустим, старики нагрянули с другой планеты – выходит, и дед с бабушкой тоже? Но ведь мы их всю жизнь

знаем. Скажешь, они тоже пришельцы?

Дугласа бросило в краску. Здесь действительно вышла неувязка, и родной брат, его правая рука, младший офицер, взял да и поставил под сомнение всю теорию.

– И вот еще что, – продолжал Том, – дела-то у нас хоть какие-нибудь намечаются, Дуг? Не сидеть же нам сложа руки. Как действовать будем?

Дуг проглотил застрявший в горле комок. Не успел он и слова сказать, как Том, на которого теперь были устремлены все взгляды, с расстановкой произнес:

– Единственное, что сейчас на ум приходит, – часы башенные остановить, что ли. А то тикают над городом, задолбали уже. Баммм! Полночь! Буммм! Подъем! Боммм! Отбой! Лечь, встать, лечь, встать – сколько можно?

«Чтоб тебе пусто было, – пронеслось в голове у Дугласа. – Ночью ведь смотрел в окно. Часы! Почему же я первым не сказал?»

Том невозмутимо поковырял в носу.

– Расколошматить бы эти гадские часы – чтобы раз и навсегда! А потом – делай что хочешь, когда душе угодно. Пойдет?

Все взгляды устремились на Тома. Вслед за тем грянули радостные крики и вопли; даже Дуглас гнал от себя мысль, что не он сам, а его младший брат спас все дело.

– Том! – гремело в воздухе. – Молодчина, Том!

– Да ладно, чего там, – бросил Том и посмотрел на брата. – Когда идем убивать эту чертову штуковину?

Дуглас промычал что-то невнятное; у него отсох язык. А солдаты смотрели ему в рот и ждали приказа.

– Сегодня к ночи? – подсказал Том.

– Это я хотел сказать! – вскричал Дуглас.

Глава 23

Городские часы откуда-то прознали, что их вот-вот придут убивать.

В мраморном обрамлении, со сверкающим циферблатом, они ледяной глыбой маячили над главной площадью и поджидали убийц, готовясь обрушиться на них сверху. А в самом низу, как водится, гремучие бронзовые двери провожали хранителей вселенской веры и мудрости, почтенных седовласых посланников распада и Времени.

Видя, как из-под темных сводов появляется неспешная рать смерти и

застоя, Дуглас приходил в смятение. Там, в кабинетах ратуши, среди запахов мебельного лака и шелеста бумажек, департамент образования тихой сапой перекраивал судьбы, кромсал листы календаря, пожирал субботы под соусом домашних заданий, планировал новые выволочки, кары и беззакония. Мертвенные руки спрямляли улицы и загоняли мягкий грунт под жесткий, неприступный панцирь асфальта, отчего природа и вольница с годами отступали за черту города – дело шло к превращению зеленых возвышенностей в едва различимое эхо, такое далекое, что целой жизни не хватит, чтобы добраться до городской окраины и разглядеть одинокую чахлую рощицу.

А в этом самом здании между тем раскладывали по полочкам человеческие жизни – сортировали по алфавиту и по отпечаткам пальцев; мальчишечьи судьбы клали под сукно! Чиновники с лицами цвета пурги и волосами цвета молний доставляли сюда в портфелях Время – спешили подольститься к часам, чтобы ни одна шестеренка, ни одна передача не застаивалась без движения. А когда смеркалось, они выходили на улицу, довольные собой, – шутка ли дело: нашли новые способы усмирения, заточения, ограничения свободы за счет денежных поборов и всяких справок. Без чиновников даже не доказать, что ты умер – только в этом здании, под этими часами выправят тебе документ с подписью и печатью.

– Боевая готовность номер один, – шепотом скомандовал Дуглас окружившим его приятелям. – Вот-вот начнут расходиться. Смотрите в оба. Прошляпим – и операция насмарку. Последний замок запирается точно с наступлением сумерек – вот тут-то и надо ловить момент, соображаете? Они повалят оттуда, а мы – туда.

– Соображаем, – ответили бойцы.

– Тогда, – сказал Дуглас, – всем затаиться.

– Есть затаиться, – отозвался Том. – А можно одну вещь сказать, Дуг?

– Ну, что еще?

– Пойми, даже если подгадать время, толпой ломиться нельзя: кто-нибудь нас непременно засечет, запомнит в лицо, и тогда нам кранты. С шахматами – и то чуть не погорели. Нас вычислили, пришлось все вернуть. Вот я и говорю: не подождать ли нам, пока они все замки позапирают?

– Такой номер не пройдет. Я же объяснил.

– А я вот что думаю, – продолжал Том. – Надо бы мне одному проскользнуть туда прямо сейчас да отсидеться в сортире, пока все не разойдутся. Потом проберусь наверх и открою вам окошко, поближе к башне. Вон там, на четвертом этаже. – Он указал на какой-то высокий проем в старой кирпичной кладке.

- Ага! – обрадовалась армия.
- Не получится, – отрезал Дуг.
- Это еще почему? – возмутился Том.

Не успел Дуг придумать хоть какую-нибудь отговорку, как в спор вклинился Чарли.

– Спокойно, все у нас получится, – заявил он. – Том дело говорит. Готов, Том?

– Как штык, – подтвердил Том.

Под общими взглядами Дуг – как-никак генерал – вынужден был дать согласие.

– Одного терпеть не могу, – заметил он, – когда лезет вперед какой-нибудь выскочка и думает, что самый умный. Ладно, валяй, сиди пока на толчке. Как стемнеет – откроешь нам.

– Тогда я пошел, – сказал Том.

И усвистал.

Чиновники выходили из внушительных бронзовых дверей, а Дуг с сообщниками таились за углом в ожидании заката.

Глава 24

В здании суда наконец-то воцарилась полная тишина; сгустилась тьма, и мальчишки бесшумно подтянулись к пожарной лестнице, чтобы взобраться на четвертый этаж, поближе к часовой башне.

Они замерли перед окошком, которое должен был открыть Том, но за стеклом никого не оказалось.

– Проклятье, – выпалил Дуг. – Надеюсь, его не заперли в сортире.

– Сейчас прибежит, – сказал Чарли. – Сортир вообще на замок не запирают.

И впрямь, откуда ни возьмись за оконным переплетом возник Том, который подавал им знаки и шевелил губами, но слов было не разобрать.

Повозившись, он сумел поднять оконную раму, и по вечернему воздуху поплыли конторские запахи.

– Можно влезать, – сообщил Том.

– Без тебя знаем, – огрызнулся Дуг.

Мальчишки друг за другом скользнули внутрь и устремились по коридорам к той двери, за которой скрывался часовой механизм.

– зуб даю, – пробормотал Том, – эта чертова дверь тоже на замке.

– Подавись ты своим зубом, – бросил Дуг и подергал дверную ручку. –

Еще не легче! Не хотел говорить, но ты как в воду глядел, Том. Никто случайно не прихватил петарду?

Шестерка рук стремительно нырнула в карманы комбинезонов и так же стремительно взметнулась вверх с тремя петардами, в четыре и пять дюймов.

– Что толку-то? – фыркнул Том. – Спички нужны.

Дуг разглядывал злополучную дверь.

– А как приспособить петарды, чтобы они рванули прицельно? – задумался он.

– С помощью клея, – ответил Том.

Склонив голову набок, Дуг ухмыльнулся:

– С помощью клея – это неплохо. Кто, интересно, таскает с собой клей?

В воздух взметнулась одна рука. Оказалось, это рука Пита.

– Держи клей, «бульдог» называется, – сказал он. – Авиамодели склеивать купил; на нем еще бирка прикольная была, с бульдогом.

– Попробуем.

Дуг щедро выдавил клей на одну из двух пятидюймовых петард и крепко прижал ее к двери.

– Всем оттянуться назад, – приказал он и чиркнул спичкой.

Армия повиновалась, а сам он зажал уши и стал ждать, когда рванет. По шнуру с фырканием змеился рыжий огонек.

Взрыв получился на славу.

Следующий миг показался вечностью; бойцы даже приуныли, но тут у них на глазах дверь медленно-медленно подалась.

– Ну, что я говорил! – воскликнул Том.

– Язык прикуси, – оборвал его Дуг. – Заходим.

Он широко распахнул дверь, потянув ручку на себя.

Вдруг снизу послышались чьи-то шаги.

– Кто там? – прокричали с первого этажа.

– Дьявольщина, – прошептал Том. – Зуб даю, это сторож.

– Эй, кто там? – выкрикнул тот же голос.

– Айда! – И Дуглас впереди всех ринулся в дверь.

Наконец-то они проникли в нутро часов.

Со всех сторон их обступила громоздкая, пугающая машина Неприятеля, Счетовода Жизни и Времени. Сердцевина города, самая его суть. Дуг явственно ощущал, как бытие всех известных ему людей безостановочно вращается вместе с этим механизмом, барахтаясь в жирной смазке, и перемальвается острыми зубцами и тугими пружинами.

Часы шли молча. Теперь его осенило: ведь они и прежде никогда не тикали! Никому не доводилось слышать, чтобы они вели свой отсчет вслух; просто каждый из горожан слишком уж напряженно вслушивался – и улавливал биение собственного сердца и мерное течение жизни в запястьях, в груди и висках. А здесь царило холодное, металлическое безмолвие, немое движение, которому сопутствовали только слабые шепотки стали и меди, да еще блики и отсветы.

Дугласа затрясло.

Сейчас они были рядом: Дуг и эти часы, которые, сколько он помнил, еженощно обращали в его сторону свой лунный лик. Великая машина грозила протянуть к нему пружины, опутать медными кольцами и бросить в жернова шестеренок, чтобы окропить его кровью свое бесконечное будущее, пронзить частоколом зубцов и располосовать кожу на тонкие полосы, которые можно потом играючи настроить на разные лады, не хуже чем в музыкальной шкатулке.

И тут, выбрав подходящий момент, часы громоподобно откашлялись. Исполинская пружина выгнулась, будто готовясь произвести пушечный выстрел. Дуглас и глазом моргнуть не успел, как на него обрушилось форменное извержение.

Один! Два! Три!

Это выстреливал часовой колокол! А Дуглас превратился в мотылька, в мышонка, угодившего в ведро, которое без устали пинают чужие башмаки. Башня ходила ходуном, как при землетрясении, – на ногах не устоишь.

Четыре! Пять! Шесть!

Покачиваясь, он зажимал уши ладонями, чтобы не лопнули барабанные перепонки.

Вновь и вновь – *семь! восемь!* – в воздухе грохотали раскаты. Пораженный, он прислонился к стене и зажмурился; с каждой штормовой волной у него обмирало сердце.

– Шевелитесь! – вскричал Дуглас. – Петарды сюда!

– Смерть железным гадам! – провозгласил Том.

– Это мне положено говорить, – осадил его Дуг. – Прикончить часы!

Чиркнули спички, вспыхнули запалы, и петарды полетели в механическую утробу.

За этим последовал дикий топот и гвалт: мальчишки уносили ноги.

Они запрыгивали на подоконник четвертого этажа и чуть не кубарем летели вниз по перекладинам пожарной лестницы; когда все уже были на земле, в башне прогремели два взрыва, сопровождаемые оглушительным лязгом металла. А часы все били раз за разом, без остановки – они

цеплялись за жизнь. Вровень с ними кружили голуби, точно клочки бумаги, пущенные по ветру с крыши. Бом! Небеса раскальвались от громоподобных ударов. Рикошет, скрежет, последняя отчаянная судорога стрелок. А потом:

Тишина.

Оказавшись у подножия пожарной лестницы, мальчишки задрали головы и уставились на мертвую махину. Никакого тиканья – ни придуманного, ни всамделишного, ни тебе птичьего щелбета, ни урчания двигателей – только легкие выдохи спящих домов.

С минуты на минуту глазающая вверх армия ожидала услышать предсмертные стоны круглолицего циферблата, искореженных стрелок, цифр и внутренностей, а вслед за тем, все ближе и ближе, скользящий скрежет медных кишок и железных метеоритных дождей, которые обрушатся на газон, чтобы придавить неприятеля рокошущей лавиной минут, часов, лет и вечностей.

Но нет: только тишина да еще эти часы, безгласные и недвижимые, которые обезумевшим привидением белели в вышине, опустив никчемные мертвые руки-стрелки. Тишина, и опять долгая тишина; но в домах уже вспыхивали огни, по всей округе перемигивались яркие лучики, а горожане выползали на открытые веранды и вглядывались в темнеющее небо.

Весь в испарине, Дуглас по-прежнему смотрел вверх и собирался что-то сказать, когда тишину прорезал вопль.

– Я это сделал! – кричал Том.

– Том! – не выдержал Дуг. – Мы! Мы, все вместе. Вот только разобраться бы: что мы сделали?

– Смываться надо, – сказал Том, – пока нас не накрыло.

– Кто здесь командует? – рассердился Дуглас.

– Я больше не буду, – сказал Том.

– Бегом марш! – приказал Дуг.

И победоносная армия умчалась в темноту.

Глава 25

Настала полночь, а Тому все не спалось.

Дуг знал это наверняка: он слышал, как у Тома раз за разом падали постельные принадлежности, а значит, брат ворочался и метался, но всякий раз сгребал с пола одеяла и подушки и водружал их обратно.

Часа в два ночи Дуг спустился в ледник и принес Тому в спальню

блюдечко мороженого, чтобы легче было вызвать младшего брата на разговор.

Том сел в постели, но к мороженому, считай, не притронулся. Он долго смотрел, как оно тает, а потом выдавил:

– Прокололись мы, Дуг.

– И не говори, Том, – подтвердил Дуг.

– Мы-то думали: вырубим эти здоровенные часы – и стариканы, глядишь, тоже вырубятся, не смогут больше отнимать, красть наше время. Но разве хоть что-нибудь вырубилось?

– Нет, сэр, – сказал Дуг.

– Вот и я о том же, – продолжал Том. – Время-то движется. Ничего не изменилось. Когда мы драпали, я специально посмотрел: ни в одном доме свет не погас. В конце улицы топтались полицейские – они тоже не вырубались. А я бегу и думаю: вот-вот свет вырубится или еще чего-нибудь и будет нам знак, что дело сделано. Как же, жди! Хорошо еще, если никто из наших не покалечился. Вспомни, как ребята ковыляли; и Уилл, и Бо, да чуть ли не все. Сегодня они не заснут как пить дать, а если заснут, так под утро и будут потом как вареные, из кровати не вылезут, на улицу не выйдут, рта не раскроют – прямо как я: сто лет со мной такого не бывало, чтоб ночью сна ни в одном глазу. Даже зажмуриться страшно. Чего делать будем, Дуг? Ты сам говорил: «Надо убить часы»; а воскресить-то их можно, если припрет?

– Часы ведь не живые, – тихо сказал Дуг.

– Все равно, ты сам говорил, – не унимался Том. – Ну, допустим, это я говорил. Вроде бы я первый придумал. Да чего там, все говорили, мол, пора их прикончить. Сказано – сделано, а дальше что? Кажись, влипли мы по самое некуда, – закончил Том.

– Влип только я, – сказал Дуг. – От деда теперь влетит.

– Мы все замазаны, Дуг. Но сработали классно. Всем было в кайф. Оттянулись по полной! А все-таки ты мне объясни: если часы не живые, как бы нам их поднять из мертвых? Может, одно другому не мешает? Надо что-то делать. Как поступим?

– Думаю, придется мне пойти в ратушу и подписать обязательство, или как там это называется, – выговорил Дуг. – Лет восемь-девять буду сдавать туда все свои деньги, чтобы хватило на ремонт.

– Ну, это уж вообще, Дуг!

– Примерно такая сумма и выйдет, – продолжал Дуг. – Вещь-то солидная, такую оживить непросто. Лет восемь-десять. Чего уж теперь, так мне и надо. Думаю прямо с утра пойти сдаваться.

– Я с тобой, Дуг.

– Нет, сэр, – отрезал Дуг.

– Все равно пойду.

От Тома так просто не отделаешься.

– Том, – произнес Дуг. – Хочу тебе кое-что сказать.

– Ну?

– Хорошо, что у меня есть такой братишка.

Дуг отвернулся, покраснел и направился к дверям.

– Сейчас тебе еще больше захорошеет, – сказал Том.

Дуг помедлил.

– Ты насчет денег кумекаешь, – сказал Том, – а что, если наша банда, всем скопом, поднимется в часовую башню, чтобы там прибрать, хоть чуток расчистить этот чертов механизм? Исправить его нам, конечно, не под силу, нечего и думать, но часок-другой поработаем, разгребем завалы, а там – чем черт не шутит, – может, восстановим ход, тогда и тратиться не нужно будет, и тебе не придется в кабалу идти на всю оставшуюся жизнь.

– Ну, не знаю, – протянул Дуг.

– Попытка – не пытка, – убеждал Том. – Ты с дедом потолкуй. Пусть узнает, не дадут ли нам тумачков, если мы заявимся в ратушу чин-чинарем, с полиролью, с машинным маслом; глядишь – и оживим эту проклятую громадину. Может, еще обойдется, Дуг. Наверняка обойдется. Давай попробуем.

Дуг развернулся, опять подошел к кровати, присел на краешек и сказал:

– Мороженое, чур, на двоих.

– Само собой, – ответил Том. – Первая ложка – тебе.

Глава 26

На другой день, ровно в двенадцать, Дуглас шел из школы домой обедать. Не успел он войти, как мать отправила его в соседний флигель, к деду с бабушкой. Дед поджидал в библиотеке, устроившись в любимом кресле под ярким светом любимой лампы, а книги на полках вытянулись в тишине по стойке «смирно», готовые явиться по первому требованию.

Заслышав стук входной двери, дед спросил, не отрываясь от книжки:

– Дуглас?

– Ага.

– Входи, парень, присаживайся.

Не так-то часто дед предлагал гостю посидеть; это означало, что разговор предстоит серьезный.

Дуглас вошел без звука и сел на диван, лицом к деду.

Через некоторое время дед отложил книгу (еще один признак серьезного положения дел), снял очки в золотой оправе (самый неблагоприятный признак) и – как бы поточнее выразиться – пронзил Дуга взглядом.

– Вот что, Дуг, – начал он. – Почитывал я тут одного из моих любимых писателей, мистера Конан Дойла; а у Конан Дойла мой самый любимый герой – это мистер Шерлок Холмс. Именно он повлиял на мой характер и прибавил зоркости. А день нынче такой, что пришлось мне с утра пораньше влезть в шкуру этого лондонского сыщика с Бейкер-стрит.

– Да, сэр, – сказал Дуг, ничем себя не выдав.

– Начал я сопоставлять кое-какие обрывочные вести; похоже, город охватила повальная эпидемия: многие ребята почему-то не пошли в школу, якобы захворали, то да се. Пункт первый: бабушка мне на рассвете представила подробное донесение из вашего дома. Твой брат Том, оказывается, совсем плох.

– Я бы не сказал, – пробубнил Дуглас.

– Ты бы не сказал, а я скажу, – откликнулся дед. – Малец так занемог, что на уроки не пошел. А ведь он такой непоседа, словно заводной: как ни посмотришь – все бегом. Не знаешь ли, Дуг, что за хворь его подкосила?

– Нет, сэр.

– Не хотелось бы тебя уличать, дружок, но сдается мне, все ты знаешь. Однако не спеши с ответом: добавлю кое-что еще. Вот у меня список ребят из твоей компании, эти всегда на виду – то под деревьями шныряют, то на яблоню лезут, то жестянку по мостовой гоняют. Частенько вижу: в одной руке петарда, в другой – зажженная спичка.

Тут Дуглас закрыл глаза и сглотнул слюну.

– Я не поленился, – продолжал дед, – позвонил каждому домой и, как ни странно, услышал, что все как один разболелись. Это наводит на размышления, Дуг. Не подскажешь ли, в чем причина? Мальчишки-то верткие, как хорьки, носятся по улице – не уследишь. А тут вдруг у всех недомогание, сонливость. Ты-то как себя чувствуешь, Дуг?

– Нормально.

– В самом деле?

– Да, сэр.

– По виду незаметно. Вид у тебя, прямо скажем, бледный. Одно к одному – мальчишки в школу не пошли, Том занемог, да и на тебе лица нет;

отсюда вывод: ночью где-то случилась большая заваруха.

Дед умолк и взял в руки лист бумаги, лежавший до поры до времени у него на коленях.

– Поутру звонили мне из городской канцелярии. Насколько я понял, в башне нашли стреляные петарды. Делопроизводитель говорит, здание теперь требует основательного ремонта. Не знаю, что именно там стряслось, но деньги нужны немалые. Я тут подсчитал: если разбросать на энное число семей, то выйдет примерно, – прежде чем назвать цифру, дед снова водрузил очки на свой крупный, породистый нос: – семьдесят долларов девяносто центов с каждой. Таких средств, насколько мне известно, у большинства горожан просто нет. Чтобы собрать эту сумму, нужно трудиться не день и не два – многие недели, а то и месяцы, уж как повезет. Хочешь ознакомиться с размерами ущерба, Дуг? Вот перечень, у меня под рукой.

– Да нет, зачем? – сказал Дуг.

– По-моему, тебе полезно будет его изучить, парень. Гляди. – И он передал бумажку Дугласу.

Дуг пробежал ее глазами. Затуманенные глаза отказывались разбирать строчки. Цифры были запредельными; создавалось впечатление, будто они простираются далеко в будущее, не на недели-месяцы, а – упаси боже – на долгие годы.

– У меня к тебе поручение, Дуг, – сказал дедушка. – Возьми с собой этот список и отправляйся по адресам, как доктор. Начнешь обход сразу после уроков. Первым делом зайди к себе домой и проведай Тома. А на словах передай: мол, дедушка просит ближе к вечеру купить два эскимо и заглянуть к нему, посидеть на веранде. Так и передай, Дуг, – увидишь, как он приободрится.

– Да, сэр, – сказал Дуг.

– После этого пойдешь к другим ребятам, их тоже не мешает проведать. А как справишься – загляни ко мне с отчетом, ибо каждый, кто сейчас лежит пластом, нуждается в хорошей встряске. Буду тебя ждать. Как по-твоему, это справедливо?

– Да, сэр. – Дуглас встал с дивана. – А можно кое-что сказать?

– Что именно, Дуг?

– Ты такой умный, дедушка.

Дед призадумался, а потом ответил:

– Не то чтобы умный, Дуг, скорее проницательный. Тебе доводилось смотреть это слово в Толковом словаре Уэбстера?

– Нет, сэр.

– В таком случае перед уходом открой словарь и поинтересуйся, что говорит по этому поводу мистер Уэбстер.

Глава 27

Час был поздний, но мальчишки не уходили из башни; они вдевтером отчищали пороховой налет и выгребали клочки жженой бумаги. За дверью уже образовалась приличная куча мусора.

Вечер выдался душным; мальчишки обливались потом и разговаривали вполголоса, мечтая перенестись куда угодно, да хотя бы в школу – всяко лучше, чем здесь.

Дуг выглянул из окна часовой башни и увидел внизу деда, который ненавязчиво посматривал вверх.

Заметив в окне голову Дугласа, он кивнул и едва заметно помахал в воздухе недокуренной сигарой.

В конце концов город окутали сумерки, а вслед за тем наступила полная тьма; тут появился сторож. Оставалось еще смазать огромную шестерню и маховики. Мальчишек охватило благоговение, смешанное со страхом. У них на глазах машина отмщения, которую они считали поверженной, возвращалась к жизни. Причем с их же помощью. В слабом свете одной-единственной голой лампочки сторож взвел огромную пружину и отступил. Чрево гигантских часов заскрежетало, содрогнулось, как от колик, и мальчишки отпрянули.

Часы начали тикать; до боя курантов оставалось всего ничего, и ребята, попятившись, выскочили гурьбой за порог и помчались вниз по лестнице: Дуг – замыкающим, Том – впереди всех.

На газоне всю компанию встретил дед: кого погладил по макушке, кого потрепал по плечу. Мальчишки разбежались по домам, предоставив Тому и Дугласу идти с дедушкой в табачную лавку «Юнайтед», которая по случаю субботы была открыта допоздна.

Последние ночные гуляки разбрелись восвояси; дед без помех выбрал самую лучшую сигару и, обрезав кончик, прикурил от негасимого огонька, горевшего на прилавке. Вкусно попыхивая, он смотрел на обоих внуков со скрытым удовлетворением.

– Молодцы, ребята, – изрек он. – Молодцы.

И тут раздался звук, который им совсем не хотелось слышать.

Откашлявшись у себя на верхотуре, огромные часы издали первый удар.

Боммм!

Уличные фонари стали гаснуть один за другим.

Боммм!

Дед обернулся, кивнул и, махнув сигарой, дал команду внукам следовать за ним к дому.

Они перешли через дорогу и двинулись вдоль квартала, а гигантские часы ударили еще раз и еще, отчего содрогнулся воздух, а в жилах затрепетала кровь.

Мальчики побледнели.

Дед заметил, но не подал виду.

Между тем все фонари уже погасли; пришлось шагать в потемках, полагаясь лишь на узкий серп луны, указывающий дорогу.

Они уходили все дальше от грозного боя этих часов, который эхом отдавался в крови и напоминал горожанам о неизбежности судьбы.

Позади остался овраг, а в нем, возможно, притаился новый Душегуб, готовый в любой момент выскочить и утащить их к себе.

Вдалеке Дуг различил темные очертания нехорошего дома над оврагом и впал в задумчивость.

Наконец, уже в непроглядной тьме, с последним раскатом боя здоровенных часов, они втроем дотащились до тротуара перед своим домом, и дедушка сказал:

– Спокойной ночи, ребятки. Храни вас Бог.

Мальчики разбежались по своим спальням. Они ощущали, хотя и не слышали, как тикают башенные часы, а под покровом ночи крадется будущее.

В темноте Дуг услышал, как Том зовет его из своей комнаты напротив.

– Дуг?

– Чего тебе?

– Оказалось не так уж трудно.

– Пожалуй, – отозвался Дуг. – Не так уж трудно.

– Мы справились. По крайней мере, восстановили порядок.

– Не уверен, – сказал Дуг.

– Точно говорю, – настаивал Том, – потому что эти проклятые часы утром прикажут солнцу взойти. Скорей бы.

Вскоре Том уснул, а за ним и Дуг тоже.

Глава 28

Боммм!

Келвин Си Квотермейн заворочался во сне, а потом медленно сел в постели.

Боммм!

Великие часы били полночь.

Он, полукалека, невольно устремился к окну и распахнул створки под бой великих часов.

Боммм!

– Трудно поверить! – пробормотал он. – Не умерли. Не умерли. Чертов механизм отремонтирован. Утром обзвоню наших. Может, и делу конец. Может, все утряслось. Во всяком случае, город живет как положено; завтра же начну планировать дальнейшие шаги.

Подняв руку к губам, он нащупал непривычную штуковину. Улыбку. Хотел ее поймать и, если получится, изучить.

«Не иначе как это погода, – думал он. – Не иначе как это ветер – дует в нужном направлении. А может, на меня снизошел путаный сон – что же мне приснилось? – как только ожили часы. Придется над этим поразмыслить. Война почти окончена. Но как мне из нее выйти? И как победить?»

Квотермейн высунулся из окна и поглядел на луну – серебристую дольку в ночном небе. Полумесяц, часы да скрип собственных костей. Квотермейну вспомнились бесчисленные ночи, проведенные у окна, над спящим городом, хотя в прежние годы спина его оставалась прямой, а суставы – подвижными; в прежние годы он был молод, свеж как огурчик и беспощаден – точь-в-точь как нынешние мальчишки.

Минуточку! У кого там близится день рождения? – спросил он себя, пытаясь вызвать в памяти школьные реестры. У одного из этих чудовищ? Вот это шанс так шанс. Я их убью добротой, изменю себя до неузнаваемости, переоденусь домашним псом, а вредного кота спрячу внутри!

Им-то невдомек, чем я их прошибу.

Глава 29

Погода в тот день стояла такая, что все двери с самого утра были нараспашку, а оконные рамы подняты. Сидеть в четырех стенах стало невыносимо, вот люди и высыпали на воздух: никто не хотел помирать, все хотели жить вечно. Настоящая весна, а не «прощай, лето», райские кущи, а

не Иллинойс. Ночью прошел ливень, напоивший жару, а утром, когда тучи поспешили прочь, каждое дерево в каждом саду проливалось, чуть тронь, свой отдельный дождик.

Квотермейн выбрался из постели и с грохотом колесил по дому, крутя колеса руками, пока снова не обнаружил на губах эту диковинную штуку – улыбку.

Пинком здоровой ноги он распахнул кухонную дверь и, сверкая глазами, с прилипшей к тонким губам улыбкой въехал во владения прислуги, а там:

О, этот торт!

– Доброе утро, мистер Кел, – сказала кухарка.

На кухонном столе альпийской вершиной громоздился торт. К утренним ароматам примешивались запахи чистого горного снега, кремовых розочек и цукатных бутонов, а еще нежных, как цветочные лепестки, свечей и полупрозрачной глазури. Торт красовался, будто далекий холм в пророческом сне – белый, точно лунные облака, выпеченный в форме прожитых лет, утыканный свечками, – хоть сейчас зажигай да задувай.

– Вышло на славу, – прошептал Квотермейн. – Бог свидетель: то, что надо. Несите в овраг. Да поживее.

Экономка на пару с садовником подняли белоснежную гору. Кухарка бросилась вперед, отворяя двери.

Они прошествовали за порог, сошли с крыльца и пересекли сад.

«Кого оставит равнодушным такая вкуснотища, такая мечта?» – вопрошал про себя Квотермейн.

– Осторожней!

Экономка поскользнулась на росистой траве.

– Нет, ради бога, только не это!

Когда он решился открыть глаза, порядок следования был уже восстановлен; обливаясь потом, прислуга спускалась по склону в зеленый овраг – туда, где у зеркального ручья, в прохладной тени раскидистых деревьев стоял именинный стол.

– Благодарю, – прошептал Квотермейн, а потом добавил: – Всевышнего.

Внизу, в овраге, торт водрузили на стол, чтобы он до поры до времени белел, и светился, и поражал своим совершенством.

– Вот так, – сказала мать, поправляя ему галстук.

– Кому это нужно – к девчонке на день рожденья тащиться, – бурчал Дуглас. – Тоска зеленая.

– Если сам Квотермейн не поленился заказать торт для Лисабелл, то и ты не сочти за труд ее поздравить. Он даже разослал приглашения. Прояви элементарную вежливость – больше ничего не требуется.

– Что ты копаешься, Дуг, шевелись! – крикнул Том, заждавшийся на крыльце.

– На пожар, что ли? Иду, иду.

Стукнула дверь, затянутая москитной сеткой, и вот он уже выскочил на улицу, и они с Томом двинулись вперед сквозь дневную свежесть.

– Кайф! – мечтательно шептал Том. – Обожрись сейчас!

– Нутром чую какой-то подвох, – выговорил Дуглас. – Почему Квотермейн не стал гнать волну? С чего это он вдруг подобрел, улыбочки расточает?

– Никогда в жизни, – сказал Том, – не считал подвохом кусок торта и порцию мороженого.

У одного из соседских домов им встретился Чарли, который с похоронным видом зашагал с ними в ногу.

– Этот галстук меня уже доконал, – проворчал он, не нарушая торжественную шеренгу.

Очень скоро к ним присоединился Уилл, а потом и все прочие.

– После дня рожденья айда купаться! Может, другого случая не будет – вода уже холодная. Лето кончилось.

Дуг спросил:

– Неужели я один заподозрил неладное? Прикиньте: зачем старик Квотермейн устраивает праздник ради какой-то Лисабелл? Зачем пригласил нас? Не к добру это, парни.

Чарли потерял галстук и сказал:

– Неохота говорить, Дуг, но, кажись, от нашей войны скоро останется один пшик. Вроде как теперь смысла нет с ними сражаться.

– Не знаю, Чарли. Концы с концами не сходятся.

У оврага они остановились.

– Пришли, – сказал Дуглас. – Теперь не зевайте. По моему приказу будьте готовы рассредоточиться и скрыться. Вперед, парни. Я задержусь. У меня возник стратегический план.

Бойцы нехотя двинулись под откос. Первую сотню футов преодолели походным шагом, потом заскользили, а под конец с гиканьем понеслись вниз прыжками и скачками. На дне оврага, у столов, они сбились в кучку и

заметили, как вдалеке белыми пташками тут и там порхают по склону девочки, которые вскоре тоже сбились в кружок; под конец явился и сам Келвин Си Квотермейн – он катил по тропе в инвалидной коляске, издавая оглушительные, радостные вопли.

– Охренеть! – пробормотал, застыв в одиночестве, Дуглас. – То есть обалдеть!

Ребята толкали друг дружку локтями и покатывались со смеху. Издалека они напоминали игрушечные фигурки в живописных декорациях. Дуглас кривился, когда до его слуха долетал хохот.

А потом за детскими спинами, на отдельном столе, покрытом белой скатертью, во всей красе открылся именинный торт. Дуглас вытаращил глаза.

Великолепное многоярусное сооружение возвышалось, точно снеговик, и поблескивало в лучах солнца.

– Дуг! Эй, Дуг! – донеслось из оврага.

Но он ничего не слышал.

Торт, изумительный белый торт, чудом уцелевший снежно-прохладный торос стародавней зимы на исходе лета. Торт, умопомрачительный белый торт, иней, ледяные узоры и снежинки, яблоневый цвет и свежие лилии. И смешливые голоса, и хохот, взметнувшийся на край оврага, где в стороне от всех одиноко стоял Дуглас, и оклики:

– Дуг, иди сюда, ну давай, спускайся. Эй, Дуг, иди сюда, ну давай!

От инея и снега слепило глаза. Ноги сами понесли его в овраг, и он не отдавал себе отчета, что его притягивает это белое видение и никакая сила не способна остановить его ноги или отвлечь взгляд; все мысли о боевых операциях и переброске армии улетучились из головы. Вначале скользля, потом вприпрыжку, а дальше бегом, быстрее и быстрее; поравнявшись с вековым деревом, он ухватился за ствол, чтобы отдышаться. И вроде как со стороны услышал свой шепот: «Привет».

Тогда все присутствующие, глядя на него сквозь сияние зимней горы, отозвались: «Привет». И он присоединился к гулянию.

Виновицей торжества была Лисабелл. Она выделялась среди прочих: личико тонкое, как узоры инея, губы нежные и розовые, как именинные свечи. Большие серые глаза неотступно следили за ним. Почему-то он вдруг почувствовал траву сквозь подошвы ботинок. В горле пересохло. Язык распух. Гости ходили кругами, и посредине этой карусели все время оказывалась Лисабелл.

Квотермейн с ветерком подкатил по каменистой тропе; инвалидное кресло чуть не врезалось в стол – оно разве что не летело по воздуху. Он

вскрикнул и остался сидеть подле хоровода; на морщинистом желтом лице читалось невыразимое удовлетворение.

Тут подоспел и мистер Блик: он встал за креслом и тоже улыбался, но совсем по-другому.

Когда Лисабелл склонилась над тортом, Дуглас уставился на нее во все глаза. Легкий ветер принес мимолетный запах розовых свечек. Ее личико, теплое и прекрасное, было похоже на летний персик, а в темных глазах отражались язычки пламени. Дуглас затаил дыхание. А вместе с ним остановился, затаив дыхание, весь мир. Квотермейн тоже застыл, вцепившись в кресло, как будто это было его туловище, грозившее пуститься наутек. Четырнадцать свечей. Каждый из четырнадцати годов полагалось задуть и при этом задумать желание, для того чтобы следующий год оказался не хуже. Лисабелл сияла от счастья. Она плыла по великой реке Времени и наслаждалась этим путешествием. В ее взгляде и жестах сквозила радость безумия.

Она что есть силы дунула, и от ее дыхания повеяло летним яблоком.

Все свечи оказались задуты.

И мальчишки, и девчонки подтянулись к столу, потому что Лисабелл взялась за широкую серебряную лопаточку. На серебре играли солнечные блики, которые слепили глаза. Она разрежала торт и положила первый кусок на тарелку, придерживая лопаточкой. Девичьи руки подняли тарелку над головами. Торт был белым, нежным и – сразу видно – сладким. От него было не оторваться. Старик Квотермейн расплывался в улыбке, как блаженный. Блик грустно усмехался.

– Кому достанется первый кусок? – выкрикнула Лисабелл.

Ждать ее решения пришлось ужас как долго; со стороны могло показаться, будто частица ее самой успела впитаться в податливую белизну марципана и хлопья сахарной ваты.

Лисабелл сделала два медленных шага вперед. Сейчас она не улыбалась. Ее лицо было сосредоточенно-серьезным. Держа тарелку на вытянутых руках, она устремилась к Дугласу.

Когда она остановилась перед ним, лицо ее оказалось совсем близко, и он кожей почувствовал легкое дыхание.

Содрогнувшись, Дуг отпрянул назад.

Уязвленная Лисабелл широко раскрыла глаза и шепотом прокричала слово, которое он поначалу не разобрал.

– Трус! – выдохнула она и добавила: – Да еще и дикарь!

– Не слушай ее, Дуг, – сказал Том.

– Во-во, не принимай всерьез, – сказал Чарли.

Дуглас отступил еще на шаг и прищурился.

Тарелка все же перекечевала к нему в руки; вокруг плотным кольцом стояли ребята. Он не видел, как Квотермейн подмигнул Блику и ткнул его локтем. Единственное, что он видел, – это лицо Лисабелл. На нем играли вишни и снег, вода и трава, и этот ранний вечер. Это лицо заглядывало прямо в душу. Почему-то ему чудилось, будто она его трогает – то тут, то там, веки, уши, нос. Он содрогнулся. И попробовал торт.

– Ну? – спросила Лисабелл. – Что молчишь? Если у тебя даже сейчас поджилки трясутся, могу поспорить, что там – она указала вверх, в сторону дальней кромки оврага, – ты окончательно сдрейфишь. Сегодня ночью, – продолжила она, – мы все отправимся туда. Могу поспорить, ты и близко не подойдешь.

Дуг перевел взгляд на край обрыва: там стоял дом с привидениями, куда мальчишки порой наведывались при свете дня, но никогда не совались по ночам.

– Ну? – повторила Лисабелл. – Язык проглотил? Придешь или струсил?

– Дуг, – возмутился Том. – Почему ты это терпишь? Срежь-ка ее, Дуг.

Дуг опять поднял взгляд от лица Лисабелл на высокий крутогор, к нехорошему дому.

Торт таял во рту. Дуглас, то стреляя глазами, то силясь принять решение, ничего не надумал – так и стоял с набитым ртом, а язык обволакивала сладость. Сердце билось как бешеное, к щекам прихлынула кровь.

– Я буду, – выдавил он.

– Как это понять: «буду»? – потребовала Лисабелл.

– Буду там, – сказал он.

– Молоток, Дуг, – похвалил Том.

– Смотри, чтоб она над тобой не приколотась, – сказал Бо.

Но Дуг повернулся к друзьям спиной. Вдруг ему вспомнилась одна старая история. Когда-то давно он убил бабочку, опустившуюся на куст: взял да и сбил палкой, без всякой причины – просто настроение такое было. Подняв глаза, он между столбиками крыльца увидел над собой изумленное лицо деда – ни дать ни взять, портрет в раме. Дуг тогда отбросил палку и подобрал рваные крылышки – яркие лоскутки солнца и трав. Он стал нашептывать заговор, чтобы они срослись, как было. В конце концов у него сквозь слезы вырвалось: «Я не хотел».

А дедушка в свой черед сказал: «Запомни: ничто и никогда не проходит бесследно».

От истории с бабочкой его мысли обратились к Квотермейну. Ветви деревьев трепетали на ветру; почему-то Дуглас уставился на Квотермейна в упор и представил, каково это – вековать свой век в доме с привидениями. Он подошел к именинному столу, выбрал тарелку с самым щедрым куском торта и направился в сторону Квотермейна. На стариковском лице появилось чопорное выражение; тусклые глаза встретили мальчишеский взгляд, обшарили подбородок и нос.

Дуглас остановился перед инвалидной коляской.

– Мистер Квотермейн, – выговорил он.

И протянул тарелку сквозь теплый воздух прямо в руки Квотермейну.

Сначала старик и пальцем не пошевелил. Потом будто бы проснулся и удивленно принял тарелку. Это подношение озадачило его сверх всякой меры.

– Благодарю, – сказал он, только очень тихо, никто даже не услышал.

Его губы тронули кусочек белого марципана. Все замерли.

– Рехнулся, Дуг? – зашипел Бо, оттаскивая Дуга от коляски. – Спятил? У нас что сегодня, День примирения? Хочешь, чтоб с тебя эполеты сорвали – только скажи. С какой радости потчевать этого старого хрена?

«А с такой, – подумал Дуглас, но не сказал вслух, – с такой радости, что я уловил, как он дышит».

Глава 31

Проиграл, думал Квотермейн. Эту партию я проиграл. Шах. Мат.

Под умирающим предзакатным солнцем Блик толкал перед собой его инвалидное кресло, будто тачку с корзиной урюка. На глаза наворачивались слезы, и Квотермейн ругал себя за это последними словами.

– Господи! – воскликнул он. – Что же это было?

Блик ответил, что и сам не уверен: с одной стороны, серьезное поражение, но с другой – маленькая победа.

– Ты что, издеваешься – «маленькая победа»?! – рявкнул Квотермейн.

– Ладно, ладно, – сказал Блик. – Больше не буду.

– Ни с того ни с сего, – разволновался Квотермейн, – с размаху мальчишке...

Тут ему пришлось сделать паузу, чтобы справиться с удушьем.

– ...по физиономии, – продолжил он. – Прямо по физиономии. – Квотермейн касался пальцами губ, точно вытаскивая из себя слова. Он тогда ясно увидел: из мальчишеских глаз, как из открытой двери,

выглядывал он сам. – А я-то при чем?

Блик не отвечал; он по-прежнему вез Квотермейна через блики и тени.

Квотермейн даже не пытался самостоятельно крутить колеса своего инвалидного кресла. Сгорбившись, он неотрывно смотрел туда, где заканчивались проплывающие мимо деревья и белесая река тротуара.

– Нет, в самом деле, что стряслось?

– Если ты сам теряешься, – сказал Блик, – то я – тем более.

– Мне казалось, победа обеспечена. Вроде расчет был хитрый, тонкий, с подковыркой. И все напрасно.

– Да уж, – согласился Блик.

– Не могу понять. Все складывалось в мою пользу.

– Ты сам их вывел вперед. Расшевелил.

– Только и всего? Значит, победа за ними.

– Пожалуй, хотя они, скорее всего, этого не ведают. Каждый твой ход, в том числе и вынужденный, – начал Блик, – каждый приступ боли, каждое касание смерти, даже смерть – это им на руку. Победа там, где есть движение вперед. В шахматах – и то победа никогда не приходит к игроку, который только и делает, что сидит и размышляет над следующим ходом.

Следующий квартал они миновали в молчании; потом Квотермейн заявил:

– А все-таки Брейлинг был не в своем уме.

– Ты про метроном? Да уж. – Блик покачал головой. – Запугал себя до смерти, а то, глядишь, остался бы жив. Он думал, можно стоять на месте и даже пятиться назад. Хотел обмануть жизнь, а что получил? Надгробные речи да торопливые похороны.

Они свернули за угол.

– До чего же трудно отпускать, – вздохнул Квотермейн. – Вот я, например, всю жизнь цепляюсь за то, к чему единожды прикоснулся. Вразуми меня, Блик!

И Блик послушно начал его вразумлять:

– Прежде чем научиться отпускать, научись удерживать. Жизнь нельзя брать за горло – она послушна только легкому касанию. Не переусердствуй: где-то нужно дать ей волю, а где-то пойти на поводу. Считай, что сидишь в лодке. Заводи себе мотор да сплавляйся по течению. Но как только услышишь прямо по курсу крепнувший рев водопада, выбрось за борт старый хлам, повяжи лучший галстук, надень выходную шляпу, закури сигару – и полный вперед, пока не навернешься. Вот где настоящий триумф. А спорить с водопадом – это пустое.

– Давай-ка еще кружок сделаем.

– Как скажешь.

Косые лучи падали сквозь листву, мерцая на тонкой, словно калька, коже стариковских запястий; тени играли с угасающим светом. Каждое движение сопровождалось еле слышными шепотками.

– Ни с того ни с сего. Прямо в лицо! А ведь он мне принес кусок торта, Блик.

– Да, я видел.

– Почему, почему он это сделал? Таращился на меня – и как будто впервые видел. Не в этом ли причина? Нет? Почему же он так поступил? А ведь из него выглядывал не кто иной, как я. И уже тогда я понял, что проиграл.

– Скажем так: не победил. Но и не проиграл.

– Что на меня нашло? Я возненавидел это чудовище, а потом вдруг возненавидел самого себя. Но почему?

– Потому, что он не приходится тебе сыном.

– Глупости!

– И тем не менее. Насколько мне известно, ты никогда не состоял в браке.

– Никогда!

– И детей не прижил?

– Еще не хватало! Скажешь тоже!

– Ты отрезал себя от жизни. А этот мальчуган тебя подсоединил обратно. Он – твой несостоявшийся внучок, от него к тебе могла бы идти подпитка, жизненная энергия.

– Верится с трудом.

– Сейчас ты обретаешь себя. Кто обрезал телефонные провода, тот потерял связь с миром. Другой бы продолжал жить в своем сыне и в сыне своего сына, а ты уже собирался на свалку. Этот парнишка напомнил тебе о неотвратимости конца.

– Довольно, довольно! – Вцепившись пальцами в жесткие резиновые шины, Квотермейн резко остановил кресло-каталку.

– От правды не уйдешь, – сказал Блик. – Мы с тобою два старых дурака. Ума набираться поздно, остается только подтрунивать над собой – все лучше, чем делать вид, будто так и надо.

Блик расцепил пальцы друга и свернул за угол; умирающее солнце окрасило стариковские щеки здоровым румянцем.

– Понимаешь, – добавил он, – вначале жизнь дает нам все. Потом все отнимает. Молодость, любовь, счастье, друзей. Под занавес это канет во

тьму. У нас и в мыслях не было, что ее – жизнь – можно завещать другим. Завещать свой облик, свою молодость. Передать дальше. Подарить. Жизнь дается нам только на время. Пользуйся, пока можешь, а потом без слез отпусти. Это диковинная эстафетная палочка – одному богу известно, где произойдет ее передача. Но ты уже пошел на последний круг, а тебя никто не ждет. Эстафету передать некому. Бежал, бежал – и все напрасно. Только команду подвел.

– Вот как?

– Именно так. Ты не причинил мальчишке никакого вреда. Просто хотел заставить его немного повзрослеть. Было время, вы оба с ним наделали ошибок. Теперь оба ноздря в ноздю идете к победе. Не по своей воле – просто деваться вам некуда.

– Нет, пока что у него есть фора. Была у меня мысль – растить этих сорванцов, как саженцы для могилы. А я всего-навсего предложил им...

– ...любовь, – закончил Блик.

Квотермейн так и не выдавил из себя это слово. Приторное, слащавое. Такое пошлое, такое правдивое, такое докучливое, такое чудесное, такое пугающее и в конечном счете для него совершенно потерянное.

– Они победили. Мне-то хотелось – подумать только! – оказать им услугу. Где были мои глаза? Я хотел, чтобы они занимались мышинной возней, как мы, чтобы увядали и приходили от этого в ужас, и умирали, как умираю я. Но они не понимают, они остаются в неведении, они еще счастливее, чем были мы, – если такое возможно.

– Разумеется. – Блик толкал перед собой кресло. – Счастливее. Но, в сущности, стареть не так уж плохо. Все нипочем, если присутствует в твоей судьбе одна штука. Присутствует – значит, порядок.

Опять это невыносимое слово!

– Замолчи!

– Мыслям не прикажешь, – отозвался Блик, с трудом прогоняя улыбку, тронувшую морщинистые губы.

– Допустим, ты прав, допустим, я жалкая личность, торчу здесь, как плаксивый идиот!

Солнечные веснушки пробежали по его рукам, покрытым бурными пятнами. На какой-то миг эти узоры сложились один к одному, как в разрезной картинке, и руки сделались мускулистыми, загорелыми и молодыми. Он не поверил своим глазам: куда исчезли старость и дряхлость? Но веснушки уже заплясали, замигали под проплывающими кронами деревьев.

– Что мне делать, как быть дальше? Помогите, Блик.

– Каждый сам себе помощник. Ты направлялся к пропасти. Я тебя предостерег. Мальчишек теперь не удержишь. Будь у тебя побольше здравого смысла, ты бы мог поддержать их бунт: пусть бы не выросли, жили бы эгоистами. Тогда бы узнали, почем фунт лиха!

– Ты задним умом крепок.

– Скажи спасибо, что я раньше не додумался. Хуже нет, если человек застрял в детстве. Сплошь и рядом такое вижу. В каждом доме есть дети. Гляди – это дом бедняжки Леоноры. А вот там живут две старые девы со своей Зеленой машиной. Дети, дети, не знающие любви. Теперь взгляни туда. Овраг. Душегуб. Это тоже жизнь: ребенок в обличье мужчины. Вот где собака зарыта. Дай срок – любого из тех мальчишек можно превратить в Душегуба. Но ты ошибся в выборе стратегии. Силком ничего не добьешься. Недоросля нужно всячески баловать. Пусть не прощает обид и обрастает ядовитыми шипами. Пусть дорожит островками злобы и несправедливости. Если уж ты хотел их покарать, лучше всего было бы сказать: «Бунтуйте! Я с вами, переходим в наступление! Да здравствует хамство! Перебьем всех гадов и сволочей, что стоят нам поперек дороги!»

– Уймись. Все равно у меня к ним ненависти больше нет. Ну и денек, поди разберись. Я ведь и вправду выглядывал из-за его лица. Точно говорю, я там был, влюбленный в ту девчушку. Прожитых лет как не бывало. Я снова увидел Лайзу.

– Не исключено, что события можно повернуть вспять. В каждом из нас живет ребенок. Запереть его на веки вечные – дело нехитрое. Ты сделай еще одну попытку.

– Нет. С меня довольно. Хватит с меня войны. Пусть отправляются на все четыре стороны. Смогут заслужить для себя жизнь получше моей – на здоровье. Теперь у меня язык не повернется пожелать им такой жизни, как моя. Не забывай: я смотрел его глазами, я видел ее. Боже, какое дивное личико! Ко мне вдруг вернулась молодость. Давай-ка к дому. Хочу составить планы на год вперед. Требуется кое-что прикинуть.

– Слушаюсь, Эбenezер.

– Нет, не Эбenezер и даже не Скрудж. А неизвестно кто. Я еще не решил. Такие дела наспех не делаются. Знаю одно: я не тот, что прежде. Пока не могу сказать, чем займусь дальше.

– Займись благотворительностью.

– Это не по мне, сам знаешь.

– У тебя же есть брат.

– Ну да, в Калифорнии живет.

– Когда вы в последний раз виделись?

– Дай бог памяти... лет тридцать назад.
– У него ведь и дети есть, правда?
– Кажется, есть. Две дочки и сын. Взрослые уже. У самих дети.
– Вот и напиши им.
– О чем писать-то?
– Пригласи в гости. Места всем хватит. А один из племянников, может стать, чем-то смахивает на тебя. Вот что мне пришло в голову: коль скоро у тебя нет собственной надежды на продолжение рода, на бессмертие – называй как хочешь, – можно поискать такую надежду в доме брата. Сдается мне, ты бы охотно взял на себя некоторые заботы.

– Бред.
– Нет, здравый смысл. Для женитьбы и отцовства ты слишком стар; остается только экспериментировать. Сам знаешь, как в жизни бывает. Один ребенок похож на отца, другой на мать, а третий пошел в кого-то из дальних родственников. Не думаешь, что такое сходство будет тебя согревать?

– Слишком уж примитивно.
– А все-таки обмозговать стоит. Да не тyani, а то опять станешь кем был – вредным старикашкой.
– Вот, значит, кем я был? Так-так. А ведь старался не скатываться до вредности, да, видно, не удержался. А сам-то ты не вредный, Блик?

– Нисколько, потому что я над собой работал. Навредить могу только себе. Но за свои ошибки других не виню. У меня тоже есть недостатки, просто не такие, как у тебя. К примеру, гипертрофированное чувство юмора. – С этими словами Блик то ли подмигнул, то ли просто сощурился от уходящего солнца.

– Хорошо бы и мне вооружиться чувством юмора. Ты заходи почаще, Блик. – Непослушные пальцы Квотермейна сжали руку Блика.
– На кой ты мне сдался, старый чертяка?
– Да ведь мы – Великая армия, забыл? Твоя обязанность – помогать мне думать.
– Слепые, ведущие увечных, – фыркнул Блик. – Вот мы и пришли. Он остановился у аллеи перед облезлым, серым строением.
– Неужели это мой дом? – удивился Квотермейн. – Страшен как смертный грех, господи прости! Покрасить его, что ли?
– Вот тебе, кстати, еще одна тема для размышлений.
– Не дом, а тихий ужас! Подкати меня к порогу, Блик.
И Блик покати друга по аллее.

Глава 32

На дне пахнущего сыростью оврага, среди поздней летней зелени стояли Дуглас, Том и Чарли. В неподвижном воздухе комары устроили прихотливые танцы. Под собственный истошный писк.

– Все свалили, – проговорил Том.

Дуглас присел на валун и снял ботинки.

– Бабах, ты убит, – вполголоса сказал Том.

– Эх, если бы так! Лучше б я был убит, – вырвалось у Дуга.

Том спросил:

– А что, война окончена? Можно свертывать знамя?

– Какое еще знамя?

– Обыкновенное.

– Валяй. Свертывай. Только я не уверен, что война окончена раз и навсегда: просто она перешла в другую стадию. Надо бы разобраться, как это случилось.

Чарли заметил:

– А чего тут разбираться – ты же самолично поднес торт врагу. Где это видано.

– Тра-та-та-а-а, – напевал Том.

Он притворялся, будто свертывает большое полотнище в теплом и пустом неподвижном воздухе. Лучи уходящего солнца скользили по его фигурке, вытянувшейся в торжественной позе у тихого ручья.

– Тра-та-та-а-а. Тра-та-та-а-а, – тянул он. – Капитуляция. – По щеке скатилась слезинка.

– Замолчишь ты или нет? – не выдержал Дуглас. – Хватит!

Дуглас, Том и Чарли выбрались из оврага и побрели сквозь расчерченный и расфасованный город – проспектами, улицами и переулками, среди плотно населенных, сверкающих огнями высоток-тюррем, по строгим тротуарам и бескомпромиссным переулкам, а окраина осталась далеко-далеко – как будто море разом отхлынуло от берега их жизни, которую предстояло влачить в этом городишке еще лет сорок, отворяя и запирая двери, поднимая и опуская шторы; а зеленый лужок теперь казался далеким и чужим.

При взгляде на Тома Дугласу померещилось, что брат растет с каждой минутой. У него засосало под ложечкой, на ум пришла вкуснейшая домашняя еда, а перед глазами возникла Лисабелл, которая, задув свечи, преспокойно спалила четырнадцать прожитых лет, – необыкновенно

привлекательная, нарядная, красивая. Почему-то вспомнился и Одиночка-Душегуб – вот уж кто одинок так одинок, никем не любим да еще сгинул неведомо куда.

У дома Чарли Дуглас остановился, чувствуя, что между ними пробежала черная кошка.

– Разрешите откланяться, – сказал Чарли. – Увидимся к ночи, на тусовке с дурехами-девчонками под носом у привидений.

– Ага, до встречи, Чарли.

– Пока, Чарли, – сказал Том.

– Да, кстати, – спохватился Чарли, оборачиваясь к приятелям, точно вспомнил что-то важное. – Я вот что хотел сказать. Есть у меня дальний родственник двадцати пяти лет. Прикатил сегодня на «бьюике», да не один, а с женой. Дамочка из себя хоть куда, симпатичная. И я все утро думал: может, и упираться не стоит, когда враги станут тащить меня к двадцати пяти годам. Двадцать пять – достойный пожилой возраст. Если не запретят мне рассекать на «бьюике» с красоткой женошкой, так я на них зла держать не буду. А дальше – ни-ни! Чтобы никаких детей! Пойдут дети – пиши пропало. Нет, мне бы шикарную тачку да красивую подружку – и на озеро, купаться. Эх! Так можно хоть тридцать лет кайфовать! Вот бы тридцать лет прожить двадцатипятилетним. А там – хоть трава не расти.

– Что ж, надо подумать, – выдавил Дуглас.

– Вот я приду домой и прямо сейчас подумаю, – сказал Чарли.

– А войну-то когда продолжим? – не понял Том.

Дуглас и Чарли переглянулись.

– Черт, даже не знаю, – стушевался Дуг.

– Завтра, или на той неделе, или через месяц?

– Ну, как-то так.

– Отступать позорно! – заявил Том.

– Никто и не думает отступать, – заверил Чарли. – Выберем время – и повоюем, согласен, Дуг?

– А как же, самой собой!

– Подправим стратегию, определим боевые задачи, без этого никуда, – сказал Чарли. – Зря ты раскис, Том, будет тебе война.

– Обещаете? – со слезами на глазах вскричал Том.

– Вот-те крест, слово чести.

– Тогда ладно. – У Тома дрожали губы.

Тут со свистом налетел холодный ветер; да и то сказать, на смену позднему лету пришла ранняя осень.

– Дело ясное, – застенчиво улыбнулся Чарли, исподлобья поглядывая

на Дуга. – Прощай, лето, не иначе.

– Это точно.

– Мы времени даром не теряли.

– Да уж.

– Но я не понял, – сказал Том, – кто победил-то?

Чарли с Дугласом уставились на младшего.

– Кто победил? Не глупи, Том! – Погрузившись в молчание, Дуглас некоторое время изучал небо, а потом пронзил взглядом соратников. – Откуда я знаю. Либо мы, либо они.

Чарли почесал за ухом.

– Все при своих. Первая война за всю историю человечества, когда все при своих. Уж не знаю, как это вышло. Ну, пока. – Он шагнул на тротуар и пересек палисадник, отворил дверь, помахал – и был таков.

– Вот и Чарли отвалил, – подытожил Дуглас.

– Ну, вообще тоска! – выговорил Том.

– В каком смысле?

– Сам не знаю. Крутится в голове тоскливая песня, вот и все.

– Не вздумай запеть!

– Нет, я молчу. А хочешь знать почему? Я для себя решил.

– Почему?

– Потому что пломбирный рожок быстро кончается.

– Что ты несешь?

– Пломбирного рожка надолго не хватает. Только лизнул верхушку – глядишь, остался один вафельный хвостик. На каникулах побежал купаться, не успел нырнуть – уже пора вылезать и опять в школу. Оттого и тоска берет.

– Это как посмотреть, – сказал Дуг. – Прикинь, сколько еще ждет впереди. Будет тебе и миллион рожков, и десять миллиардов яблочных пирогов, и сотни летних каникул. Кусай, глотай, ныряй – только успевай.

– Вот бы, – размечтался Том, – добыть такой здоровенный пломбирный рожок, чтобы объедаться всю жизнь от пуза – и не доесть. Представляешь?

– Таких рожков не делают.

– Или вот еще, – размечтался Том. – Чтоб у летних каникул не наступал последний день. Или чтоб на утренниках показывали только фильмы с Баком Джонсом, как он скачет верхом, палит из револьвера, а индейцы валяются, точно пустые бутылки. Покажи мне хоть что-нибудь хорошее, чему не приходит конец, и у меня на радостях крыша съедет. В кино прямо реветь охота, когда на экране выплывает: «Конец фильма», а

фильм-то был с Джеком Хокси или Кеном Мейнардом. Или вот еще: лопаешь попкорн, а в пакете остается одна-единственная кукурузинка.

– Угомонись, – сказал Дуг. – Нечего себя накручивать. Ты, главное, внуши себе: черт побери, будут еще десять тысяч утренников, и очень скоро.

– Пришли. Чего мы такого сегодня сделали, за что полагается нахлобучка?

– Да вроде ничего.

– Тогда вперед.

И они, входя в дом, не преминули хлопнуть дверью.

Глава 33

Дом этот стоял на краю оврага. Сразу было видно: молва не врет, здесь обитают привидения.

В девять вечера Том, Чарли и Бо, под командованием Дуга, вскарабкались по склону и остановились перед нехорошим домом. Вдалеке пробили городские часы.

– Ну вот, – проговорил Дуг и повертел головой вправо-влево, словно что-то высматривая.

– Дальше-то что? – спросил Том.

– Слышь, – сказал Бо, – а правду говорят, будто здесь водится нечистая сила?

– В восемь вечера тут еще спокойно, так я слышал, – ответил Дуг. – И в девять тоже. Зато ближе к десяти из этого дома начинают доноситься странные звуки. Надо бы здесь покрутиться да узнать, что к чему. Вдобавок Лисабелл с подружками грозились прийти. Поживем – увидим.

Они потоптались возле разросшихся у крыльца кустарников, и очень скоро на небосклоне взошла луна.

Тут до их слуха донеслись чьи-то шаги по невидимой тропинке, а из дома послышался скрип невидимых ступенек.

Дуг насторожился и вытянул шею, но так и не разглядел, что же происходит за оконными переплетами.

– Елки-палки, – подал голос Чарли. – Чего мы тут забыли? Тоска зеленая. А мне еще уроки учить. Буду-ка я двигать к дому.

– Стой, – приказал Дуг. – Надо выждать еще пару минут.

Они выжидали; луна поднималась все выше. А потом, в самом начале одиннадцатого, как только растаял последний удар городских часов, они

услышали доносившийся из дома шум. Поначалу тихий, едва различимый: просто шорох и царапанье, будто внутри кто-то передвигал сундуки.

Еще через несколько минут раздался отрывистый выкрик, за ним другой, потом опять шепотки, шорохи, а под конец – глухой стук.

– А вот это, – сказал Дуг, – уж точно привидения. Видно, там людей убивают и волоком перетаскивают трупы из комнаты в комнату. Похоже на то, правда?

– Тьфу на тебя, – буркнул Чарли. – Откуда я знаю?

– А я – тем более, – поддакнул Бо.

– Вот что, – сказал Чарли, – мне это обрыдло. Если там снова заорут, я пас.

Они затаили дыхание. Тишина. И вдруг вопли, стоны, а среди этого – слабый зов: «Помогите!»

Потом все смолкло.

– К чертям собачьим, – не выдержал Чарли. – Я сваливаю.

– И я, – подхватил Бо.

Они развернулись и дали деру. Шепот сделался зловещим; у Дуга волосы встали дыбом.

– Ты как хочешь, – сказал Том, – а я пошел. Нравится тебе слушать, как привидения воют, – слушай сколько влезет, только без меня. Дома увидимся, Дуг.

Том пустился наутек.

Дуглас остался один; он долго разглядывал заброшенный дом. Через некоторое время у него за спиной, на тропинке, возникло какое-то движение. Сжав кулаки, он обернулся, готовый дать отпор полуночному врагу.

– Лисабелл, – изумился он. – Ты откуда?

– Сказала же, что приду. А вот ты, интересно знать, что тут делаешь? Я думала, у тебя кишка тонка. Как по-твоему, правду люди говорят? Ты хоть что-нибудь выведал? По мне, все это враки, а ты как считаешь? Привидений не бывает, согласен? А значит, это дом как дом.

– Мы решили выждать, – сказал Дуг, – и посмотреть, что будет. Но ребята струхнули, я один остался. Как видишь, стою, выжидаю, слушаю.

Они прислушались вместе. Из дома вырвался тягучий стон, который поплыл по ночному воздуху.

Лисабелл спросила:

– Это и есть призрак?

Дуг весь обратился в слух.

– Вроде того.

Через мгновение опять раздался зловещий шепот, а за ним вопль.

– Двое их там, что ли?

– Похоже, тебе смешно. – Дуг заглянул ей в глаза.

– Сама не знаю, – сказала Лисабелл. – Странно это все. Чем больше слушаю, тем... – Она сверкнула непонятной улыбкой.

Шепотки, вопли и бормотание становились все громче; Дугласа бросало то в жар, то в холод.

В конце концов он нагнулся, поднял с земли камень и с размаху запустил в окно.

Оконное стекло разлетелось вдребезги; дверь медленно отворилась. И вдруг все привидения завывали в один голос.

– Дуг, ты что?! – вскричала Лисабелл. – Зачем?

– Просто... – начал Дуг.

И тут случилось нечто.

Затопотали ноги, лавиной обрушился ропот, и кружащийся сонм белых фигур вырвался из дверей, слетел по ступеням крыльца и устремился по тропинке в овраг.

– Дуг, – повторила Лисабелл. – Зачем ты это сделал?

– Просто терпение лопнуло, – сказал Дуг. – На них тоже можно нагнать страху. Кто-то же должен был их турнуть, раз и навсегда. Спорим, они больше не вернутся.

– Отвратительно, – сказала Лисабелл. – Кому мешали привидения?

– По какому праву, – спросил Дуг, – они тут ошивались? Мы даже не знаем, кто они такие.

– Ах так? – сурово сказала Лисабелл. – Это тебе даром не пройдет.

– Что-что? – не понял Дуглас.

Тогда Лисабелл шагнула к нему, схватила за уши и что было сил поцеловала прямо в губы. Поцелуй длился какое-то мгновение, но, как разряд молнии, ударил Дугласа в лицо, искажил его черты и скрутил болью все тело.

Его затрясло с головы до ног; из вытянутых пальцев разве что не сыпались искры. Веки трепетали, со лба ручьями тек пот. У него перехватило дыхание.

Лисабелл отступила назад и любовалась собственным творением: Дуглас Сполдинг, шарахнутый молнией.

Дуглас отпрянул, чтобы она больше не смогла до него добраться. Лисабелл весело расхохоталась.

– Вот так-то! – воскликнула она. – Поделом тебе!

С этими словами она пустилась бежать, а Дуглас, сокрушенный, с

раскрытым ртом и дрожащими губами, остался стоять под незримым дождем, среди неслыханной грозы, мучаясь то от жара, то от озноба.

Разряд молнии настиг его снова, только на этот раз в мыслях, и ударил еще сильнее, чем прежде.

Дуглас медленно опустился на колени; голова у него подрагивала, а все мысли были о том, что же с ним произошло и куда подевалась Лисабелл.

Он окинул взглядом опустевший дом. Ему даже захотелось подняться по ступенькам и проверить, не сам ли он только что вылетел из дверей.

– Том, – зашептал он. – Отведи меня домой. – И только сейчас вспомнил: Том давно смылся.

Развернувшись, Дуглас споткнулся, едва не полетел кубарем в овраг и попытался сообразить, в какой стороне лежит дорога домой.

Глава 34

Спросонья Квотермейн рассмеялся.

Он лежал в постели и гадал, с чего бы это. Что именно ему приснилось – теперь уж было не вспомнить, но что-то поистине восхитительное, пробежавшее улыбкой по лицу и лукаво хохотнувшее под ребрами. Силы небесные! Что ж это такое?

Не зажигая лампы, он набрал номер Блика.

– Тебе известно, который час? – возмутился Блик. – У тебя есть лишь один повод изводить меня ночными звонками – твоя идиотская война. Но ты, кажется, заверял, что с глупостями покончено?!

– Разумеется, разумеется.

– Что «разумеется»? – рявкнул Блик.

– Покончено, – уточнил Квотермейн. – Осталось лишь слегка подстраховаться. Чтобы, говоря твоими словами, расслабиться и получить удовольствие. Помнишь, Блик, как мы с тобою давным-давно собрали коллекцию разных диковинок и уродцев, чтобы выставить на городской ярмарке? Скажи-ка, есть ли возможность разыскать эти склянки? Не завалились ли они где-нибудь на чердаке или в подвале?

– Разыскать можно. Только зачем?

– Тогда разыщи. Обмахни от пыли. Вынесем их еще разок на свет божий. Собирай нашу седовласую армию. За дело! Время пошло.

Звяк. Динь.

Глава 35

Над входом в шатер висела дощечка с намалеванным на ней огромным вопросительным знаком. Шатер вырос на берегу озера; внутри разместился устроенный на скорую руку ярмарочный павильон. Там сделали дощатый помост, однако ни уродцев, ни диковинных зверушек, ни фокусников, ни публики еще не было. Каким-то чудом шатер возник за одну ночь, будто сам по себе.

На другом конце города ухмылялся Квотермейн.

Дуглас, придя наутро в школу, обнаружил у себя в парте записку, причем без подписи. В ней крупными печатными буквами черным по белому было написано: РАЗГАДКА ТАЙН ЖИЗНИ.??? У ОЗЕРА. ВХОД ОГРАНИЧЕН. Записка пошла по рукам, и, как только учеников распустили на обед, мальчишки сломя голову помчались в указанное место. Войдя с друзьями в шатер, Дуглас был горько разочарован. «Что за дела: ни скелетов, ни динозавров, ни бесноватых полковников на поле боя», – подумал он. Только темный брезент, невысокий настил да еще... Дуглас взгляделся в темноту. Чарли прищурился. Последними втянули запах старой древесины и рубероида Уилл, Бо и Том. В павильоне не оказалось даже распорядителя в цилиндре и с указкой в руке. А было вот что:

Тут и там на лотках поблескивали трехлитровые и шестилитровые стеклянные банки, до краев наполненные густой прозрачной жидкостью. Каждая банка была закупорена притертой стеклянной крышкой, и каждая крышка имела свой номер, коряво выведенный красной краской, – от одного до двенадцати. А внутри банок... может, к этим штуковинам и относился огромный вопросительный знак над входом.

– Фигня какая-то, – проворчал Бо. – Посмотреть не на что. Надули нас. Пока, ребята.

Круто развернувшись, он отбросил край шатра и вышел.

– Постой, – окликнул Дуглас, но Бо уже и след простыл. – Том, Чарли, Уилл, вы-то не уйдете? Кто уйдет, тот много потеряет.

– А что тут делать – на пустые банки пялиться?

– Обождите-ка, – сказал Дуглас. – Банки непустые. Что-то в них плавает. Айда, поглядим поближе.

С опаской двигаясь вдоль настила, они рассматривали банку за банкой. На этих прозрачных емкостях не было ни одной этикетки: стоят себе и стоят стеклянные баллоны с чем-то жидким, а к ним подведена мягкая подсветка, пульсирующая в толще жидкости и бросающая отблески

на их растерянные, покрасневшие физиономии.

– Чего это такое? – спросил Том.

– Кто его знает? Разберемся.

Глаза шарили по настилу, стреляли в стороны, задерживались, опять задерживались и снова стреляли в стороны, разглядывали, изучали; носы расплющивались о стекло, рты не закрывались.

– Что здесь такое, Дуг? А это? А вон там?

– Понятия не имею. Ну-ка, пропустите!

Дуг вернулся к началу и присел на корточки перед первой банкой; его глаза оказались вровень с непонятным содержимым.

За сверкающим стеклом плавало нечто бесформенно-серое, похожее на дохлую устрицу-переростка. Изучив этот комок со всех сторон, Дуг пробормотал что-то себе под нос, распрямылся и двинулся дальше. Мальчишки не отставали.

Во второй банке болталась какая-то прозрачная водоросль; нет, скорее морской конек, вот-вот, крошечный морской конек.

В третьей виднелось кое-что покрупнее – вроде как освежеванный крольчонок или котенок...

Мальчишеские взгляды переходили с одного экспоната на другой, стреляли в сторону, задерживались, раз за разом возвращались к первой банке, ко второй, третьей, четвертой.

– Ух ты, а тут что, Дуг?

Номер пять, номер шесть, номер семь.

– Смотрите!

По общему мнению, это был очередной зверек: то ли белка, то ли мартышка – ага, точно, мартышка, только шкура почему-то прозрачная и мордочка непонятная, грустная какая-то.

Восемь, девять, десять, одиннадцать – только цифры, никаких наименований. Ни намек на то, что же такое плавало в банках и почему от одного взгляда на эти диковины кровь стыла в жилах. Дойдя до конца этого ряда, возле указателя «Выход», все сгрудились у последней банки, наклонились и вытаращили глаза.

– Не может быть!

– Откуда что взялось?

– Так и есть, – выдохнул Дуглас. – Младенец!

– Какой еще младенец?

– Мертвый, как видишь.

– Это ясно... только как он туда...

Все взгляды устремились к началу – одиннадцать, десять, девять,

восемь, семь, шесть, пять, потом четыре и три, потом два и наконец номер один – все та же бледная завитушка, похожая на устрицу.

– Если это ребенок...

– Тогда, – цепенея, подхватил Уилл, – что за фиговины засунуты в другие банки?

Дуглас пересчитал банки туда и обратно, но не произнес ни звука, только покрылся гусиной кожей.

– Что тут скажешь?

– Не тяни, Дуг.

– В других банках... – начал Дуглас, помрачнев лицом и голосом, – в них... тоже младенцы!

Эти слова шестью кувалдами ударили по шести солнечным сплетениям.

– Уж больно мелкие!

– Может, это пришельцы из другого мира.

«Из другого мира, – беззвучно повторил Дуглас. – Другой мир утопили в этих банках. Другой мир».

– Медузы, – предположил Чарли. – Кальмары. Ну, сам знаешь.

«Знаю, знаю, – подумал Дуглас. – Водный мир».

– Глазенки-то голубые, – прошептал Уилл. – На нас вылутился.

– Скажешь тоже, – бросил Дуг. – Это же утопленник.

– Пошли отсюда, Дуг, – зашептал Том. – У меня поджилки трясутся.

– Фу-ты, ну-ты, поджилки у него трясутся, – возмутился Чарли. – Меня, например, всего колотит. Откуда здесь эти козявки?

– Без понятия. – У Дугласа зачесались локти.

– Помните, в том году приезжал музей восковых фигур? Вот и здесь – типа того.

– При чем тут восковые фигуры? – сказал Том. – Прикинь, Дуг, это же настоящий ребенок, он когда-то живым был. Впервые вижу, чтоб такой маленький – и уже мертвяк. Ох, меня сейчас вырвет.

– Беги на воздух! Скорей!

Тома как ветром сдуло. В следующее мгновение Чарли тоже попытился к выходу, переводя взгляд от младенца к подобию медузы и дальше, к чему-то вроде отрезанного уха.

– Почему нам никто ничего не объясняет? – спросил Уилл.

– Возможно, потому, – с расстановкой ответил Дуг, – что боятся, или не могут, или не хотят.

– Господи, – поежился Уилл. – Холодина-то какая.

За брезентовыми стенами шатра Том содрогался от приступа рвоты.

– Эй, смотрите! – закричал вдруг Уилл. – Шевельнулся!

Дуг потянулся к банке.

– Ничего подобного.

– Шевельнулся, гаденьш. Видать, не понравились мы ему! Шевельнулся, точно говорю! Ну, с меня хватит. Бывай, Дуг.

И Дуг остался один в темном шатре, среди холодных стеклянных банок с крошечными слепцами, которые вперились в стекло незрячими глазками, повествующими о том, как жутко быть мертвым.

Спросить-то некого, размышлял Дуглас, – кругом ни души. Спросить некого, поделиться не с кем. Как докопаться до сути? Узнаем ли мы правду?

Из другого конца палаточного музея раздался пронзительный смешок. Это в шатер вбежали шестеро хихикающих девчонок, которые впустили внутрь яркий клин дневного света.

Когда полог вернулся в прежнее положение и шатер снова погрузился в полумрак, веселье как рукой сняло.

Дуг отвернулся и наугад шагнул к выходу.

Он набрал полную грудь теплого воздуха, отдающего летом, и крепко зажмурился. У него так и стояли перед глазами тумбы, лотки, банки с тягучим раствором, а в этом растворе плавали жутковатые кусочки плоти, непонятные существа из нехоженых краев. Одно походило на лягушку с половинкой глаза и половинкой лапки, но он знал, что это не то. Другое смахивало на клочок, вырванный из привидения, на сверхъестественный сгусток, вылетевший из окутанного туманом фолианта в ночном книгохранилище, но нет. Третье напоминало мертворожденного щенка любимой собаки, но как бы не так. Перед его мысленным взором содержимое банок таяло, раствор соединялся с раствором, свет со светом. Но если быстро переводить взгляд с одной банки на другую, удавалось почти оживить содержимое: перед глазами вроде как прокручивалась пленка, на которой мелкие детали становились крупнее, потом еще крупнее, приобретали очертания пальца, кисти, ладони, запястья, локтя, а последнее существо стряхивало сон, широко открывало тусклые голубые глазки, лишённые ресниц, и, уставившись прямо на тебя, беззвучно кричало: «Смотри! Разглядывай! Я здесь в вечном плену! Кто я? Кто я – вот в чем вопрос, кто, кто? Эй ты, там, снаружи, любопытный зевака, не кажется ли тебе, что я – это... ты?»

Рядом с ним, по щиколотку в траве, стояли Чарли, Уилл и Том.

– Как это понимать? – шепотом спросил Уилл.

– Я чуть не... – начал Дуг, но его перебил Том, давившийся слезами.

– Что-то я нюни распустил.

– С кем не бывает, – сказал Уилл, но и у него глаза были на мокром месте. – Тьфу ты, – пробормотал он.

Рядом раздался какой-то скрип. Краем глаза Дуглас увидел женщину с коляской, в которой нечто ворочалось и плакало.

Кроме этой женщины в толпе еще выделялась парочка: молодая красотка под руку с моряком. А у самой воды девчонки с развевающимися волосами играли в пятнашки, увертывались и прыгали, мерили песок резвыми ножками. Их стайка убегала все дальше по берегу, и под трели девчоночьего смеха Дуглас опять повернулся к пологу шатра и к большому вопросительному знаку.

Ноги сами понесли его, как лунатика, прямо ко входу.

– Дуг! – окликнул Том. – Ты куда? Снова эту дрянь разглядывать?

– Хотя бы.

– Делать тебе нечего, что ли? – взорвался Уилл. – Страхолюдины заспиртованные, в банках из-под соленых огурцов. Я домой пошел. Айда, парни.

– Как хотите, – сказал Дуг.

– И вообще, – Уилл провел ладонью по лбу, – голова у меня раскалывается. С перепугу, наверное. А у вас?

– Чего пугаться-то? – сказал Том. – Сам же говоришь: заспиртованные они.

– Пока, ребята. – Дуглас медленно приблизился к шатру и остановился у мрачного входа. – Том, дождись меня. – И Дуг скрылся за пологом.

– Дуг! – крикнул, побледнев, Том в сторону шатра, помоста и банок с невиданными уродцами. – Осторожней там, Дуг! Будь начеку!

Ринувшись было следом, он обхватил себя за локти, чтобы унять дрожь, заскрипел зубами и остался стоять – наполовину в ночи, наполовину при свете дня.

III

Аппоматокс [\[19\]](#)

Глава 36

Почему-то весь городок заполнили девчонки: они то бегали, то чинно прогуливались, то скрывались в дверях, то выскакивали на улицу, толкались в дешевом магазинчике, сидели, болтая ногами, у стойки с газировкой, отражались в зеркалах и витринах, ступали на проезжую часть и поднимались на тротуар, и все как на подбор вопреки осени пестрели яркими платьицами, и все как одна – ну ладно, не все, но почти все – подставляли волосы ветру, и все опускали глаза, чтобы проследить, куда направятся их туфельки.

Это девчоночье нашествие приключилось нежданно-негаданно, и Дуглас, шагавший по городу, как по зеркальному лабиринту, оказался почему-то вблизи оврага, начал продираться сквозь джунгли кустарников и только теперь понял, куда его занесло. С верхушки косогора ему мерещился озерный берег, песок и шатер с вопросительным знаком.

Он пошел куда глаза глядят и необъяснимыми путями забрел в палисадник мистера Квотермейна, где остановился как вкопанный и стал ждать неизвестно чего.

Квотермейн, почти невидимый на затененной веранде, подался вперед в кресле-качалке; заскрипело плетеное сиденье, заскрипели кости. Некоторое время старик смотрел в одну сторону, а мальчик в другую, пока они не встретились взглядом.

– Дуглас Сполдинг? – уточнил Квотермейн.

– Мистер Квотермейн? – уточнил мальчик. Как будто никогда прежде не встречались.

– Дуглас Сполдинг. – На сей раз это было подтверждение, а не вопрос. – Дуглас Хинкстон Сполдинг.

– Сэр. – Мальчик тоже подтверждал, а не спрашивал. – Мистер Келвин Си Квотермейн. – И добавил для верности: – Сэр.

– Так и будешь стоять посреди лужайки?

Дуглас удивился.

– Не знаю.

– Почему бы тебе не подойти поближе? – спросил Квотермейн.

– Мне домой пора, – сказал Дуглас.

– К чему такая спешка? Давай-ка сочтемся славой, освежим в памяти, как науськивали бойцовых псов, как сеяли панику в стане врага – нам ведь есть что вспомнить.

Дуглас еле удержался от смеха, но поймал себя на том, что не отваживается сделать первый шаг.

– Смотри сюда, – сказал Квотермейн, – вот я сейчас зубы выну и тогда уж точно тебя не укушу.

Он притворился, будто вытаскивает изо рта вставные челюсти, но вскоре оставил эту затею, потому что Дуглас уже оказался на первой ступеньке, потом на второй и наконец ступил на веранду, а там старик кивком указал на свободное кресло-качалку.

После чего случилась удивительная вещь. Как только Дуглас опустился в кресло, дощатый настил веранды чуток просел под его весом, буквально на полдюйма.

Одновременно с этим мистер Квотермейн почувствовал, как плетеное сиденье приподнялось под ним на те же полдюйма!

А дальше Квотермейн устроился поудобней, и настил просел уже под его креслом.

В тот же миг кресло Дугласа беззвучно поползло вверх, этак на четверть дюйма.

Так и получилось, что каждый из них каким-то чутьем, каким-то полусознанием догадался, что они качаются на противоположных концах невидимой доски, которая в такт их неспешной беседе ходит вверх-вниз, вверх-вниз; сначала опускался Дуглас, а Квотермейна малость поднимало вверх, потом снижался Квотермейн, а Дуглас незаметно приподнимался – раз-два, выше-ниже, плавно-плавно.

Вот в ласковом воздухе умирающего лета оказался Квотермейн, а через мгновение – Дуглас.

– Сэр?

– Да, сынок?

А ведь раньше он меня так не называл, подумал Дуглас и с капелькой сочувствия отметил, как потеплело стариковское лицо.

Квотермейн склонился вперед.

– Пока ты не засыпал меня вопросами, дай-ка я у тебя у тебя кое-что выясню.

– Да, сэр?

Старик понизил голос и выдохнул:

– Тебе сколько лет?

Этот выдох проник сквозь губы Дугласа.

– М-м-м... восемьдесят один?

– Что?!

– Ну, не знаю. Примерно так. Точней не скажу.

Помолчав, Дуглас решил:

– А вам, сэр?

– Однако... – протянул Квотермейн.

– Сэр?

– Хорошо, давай навскидку. Двенадцать?

– Сэр?!

– Не лучше ли сказать, тринадцать?

– В точку, сэр! Вверх-вниз.

– Дуглас, – заговорил наконец Квотермейн. – Вот объясни. Что это за штука – жизнь?

– Ничего себе! – вскричал Дуглас. – Я то же самое у вас хотел спросить!

Квотермейн откинулся назад.

– Давай немного покачаемся.

А качели – ни туда ни сюда. Остановились – и как заколодило.

– Лето нынче затянулось, – проговорил старик.

– Я думал, ему конца не будет, – подтвердил Дуглас.

– Оно и не кончается. До поры до времени, – сказал Квотермейн.

Потянувшись к столику, он нащупал кувшин с лимонадом, наполнил стакан и передал Дугласу. Тот чинно сделал небольшой глоток. Квотермейн прокашлялся и стал изучать собственные руки.

– Аппоматокс, – произнес он.

Дуглас не понял:

– Сэр?

Квотермейн оглядел перила крыльца, ящики с кустами герани и плетеные кресла, в которых сидели они с мальчиком.

– Аппоматокс. Не доводилось слышать?

– В школе вроде бы проходили.

– Как узнать, кто из них ты и кто – я? Это важно.

– Из кого «из них», сэр?

– Из двух генералов, Дуг. Ли и Грант. Грант и Ли. У тебя какого цвета военная форма?

Дуглас оглядел свои рукава, штанины, башмаки.

– Стало быть, ответа нет, – заметил Квотермейн.

– Нет, сэр.

– Давно это было. Двое усталых, немолодых генералов. При Аппоматоксе.

– Да, сэр.

– Итак. – Кел Квотермейн наклонился вперед, поскрипывая тростниковыми костями. – Что ты хочешь узнать?

– Все, – выпалил Дуглас.

– Все? – Квотермейн хмыкнул себе под нос. – На это потребуется аж десять минут, никак не меньше.

– А если хоть что-нибудь? – спросил Дуглас.

– Хоть что-нибудь? Одну, конкретную вещь? Ну, ты загнул, Дуглас, для этого и всей жизни не хватит. Я довольно много размышлял на эту тему. «Все» с необычайной легкостью слетает у меня с языка. Другое дело «что-нибудь»! «Что-нибудь»! Пока разжуешь, челюсть вывихнешь. Так что давай-ка лучше побеседуем обо «всем», а там видно будет. Когда ты разговоришься и вычислишь одну-единственную, особенную, неизменную сущность, которая пребудет вечно, сразу дай мне знать. Обещаешь?

– Обещаю.

– Итак, где мы остановились? Жизнь? Это, между прочим, тема из разряда «все». Хочешь узнать о жизни все?

Дуглас кивнул и потупился.

– Тогда наберись терпения.

Подняв глаза, Дуглас припечатал Квотермейна таким взглядом, в котором соединились терпение неба и терпение времени.

– Что ж, для начала... – Он умолк и потянулся за пустым стаканом Дугласа. – ...освежись-ка, сынок.

Стакан наполнился лимонадом. Дуглас не заставил себя упрашивать.

– Жизнь, – повторил старик и что-то зашептал, забормотал, потом снова зашептал.

Глава 37

Среди ночи Келвина Квотермейна разбудил чей-то возглас или зов.

Кто же мог подать голос? Никто и ничто.

Он посмотрел в окно на круглый лик башенных часов и почти услышал, как они прочищают горло, чтобы возвестить: три часа.

– Кто здесь? – выкрикнул Квотермейн в ночную прохладу.

Это я.

– Неужели опять ты? – Приподняв голову, Квотермейн посмотрел

сначала налево, потом направо.

Да я, кто ж еще. Узнаешь?

И тут его взгляд скользнул вниз по одеялу.

Даже не протянув руку, чтобы удостовериться на ощупь, Квотермейн уже понял: его старинный дружок тут как тут. Правда, на последнем издыхании, но все же он самый.

Не было нужды отрывать голову от подушки и разглядывать скромный бугорок, возникший под одеялом пониже пупа, между ног. Так только, одно биение сердца, один удар пульса, потерянный отросток, призрак плоти. Однако все чин-чином.

– Ага, вернулся? – с короткой усмешкой бросил Квотермейн, глядя в потолок. – Давненько не виделась.

Ответом ему было слабенькое шевеление в знак их встречи.

– Ты надолго?

Невысокий холмик отсчитал два удара собственного сердца, нет, три, но не изъявил желания скрыться; похоже, он планировал задержаться.

– В последний раз прорезался? – спросил Квотермейн.

Кто знает? – последовал молчаливый ответ его старинного приятеля, угнездившегося среди блеклых проволочных завитков.

«Если голова медленно, но верно седеет – плевать, – когда-то давно сказал Квотермейн, – а вот когда там, внизу, появляются пегие клочки – пиши пропало. Пускай старость лезет куда угодно, только не туда!»

Однако старость пришла и к нему, и к его верному дружку. Везде, где можно, напылила мертвенно-снежную седину. Но не зря же сейчас возникло это биение сердца, осторожный, неправдоподобный толчок в знак приветствия, обещание весны, града воспоминаний, отголосок... этого... как его... вылетело из головы... как в городе называют удивительную нынешнюю пору, когда у всех соки бурлят?

«Прощай-лето».

Господи, ну конечно!

– Эй, не пропадай. Побудь со мной. Без дружка плохо.

Дружок не пропал. И они побеседовали. В три часа ночи.

– Откуда на сердце такая радость? – спрашивал Квотермейн. – Что происходит? Я потерял рассудок? А может, исцелился? Не в этом ли заключено исцеление? – От непристойного смеха у него застучали зубы.

Да я только попроситься хотел, шепнул слабый голосок.

– Попроситься? – Квотермейн подавился собственным смехом. – Как это понимать?

Вот так и понимай, ответил все тот же шепот. *Лет-то сколько минуло.*

Пора закругляться.

– И вправду пора. – У Квотермейна увлажнились глаза. – Куда, скажи на милость, ты собрался?

Трудно сказать. Придет время – узнаешь.

– Как же я узнаю?

Увидишь меня. Я тоже там буду.

– А как я пойму, что это ты?

Поймешь как-нибудь. Ты всегда все понимал, а уж меня – в первую очередь.

– Из города-то не исчезнешь?

Нет-нет. Я рядом. Но когда меня увидишь, не смущай других, ладно?

– Ни в коем случае.

Одеяло и пододеяльник начали опадать, холмик таял. Шепот стал едва различимым.

– Не знаю, куда ты собрался, но... – Квотермейн осекся.

Что «но»?

– Живи долго, в счастье и радости. *Спасибо.*

Молчание. Тишина. Квотермейн не мог придумать, что еще сказать.

Тогда прощай?

Старик кивнул; влага застила ему глаза.

Кровать, одеяло, его собственное туловище сделались теперь плоскими, как доска. То, что было при нем семьдесят лет, исчезло без следа.

– Прощай, – сказал Квотермейн в неподвижный ночной воздух.

«Все же интересно, – подумал он, – чертовски интересно, куда его понесло?»

Огромные часы наконец-то пробили три раза.

И мистер Квотермейн уснул.

В темноте Дуглас открыл глаза. Городские часы отсчитали последний из трех ударов.

Он поглядел в потолок. Ничего. Перевел взгляд в сторону окон. Ничего. Только легкое дуновение ночи шевелило бледные занавески.

– Кто там? – прошептал он. Молчок.

– Кто-то тут есть, – прошептал он. А выждав, снова спросил: – Кто здесь?

Смотри сюда, раздался невнятный говорок.

– Что это?

Это я, был ответ откуда-то из темноты.

– Кто «я»?

Смотри сюда, опять прошелестело из темноты.

– Куда?

Вот сюда – совсем тихо.

– Куда же?

И Дуглас поглядел по сторонам, а потом вниз.

– Сюда, что ли?

Ну, наконец-то.

В самом низу его туловища, под грудной клеткой, ниже пупка, между бедер, там, где соединялись ноги. В том самом месте.

– Ты кто такой? – шепнул он.

Скоро узнаешь.

– Откуда ты выскочил?

Из прошлого в миллион веков. Из будущего в миллион веков.

– Это не ответ.

Другого не будет.

– Не ты ли был...

Где?

– Не ты ли был в том шатре?

Это как?

– Внутри. В стеклянных банках. Ты или не ты?

В некотором роде я.

– Что значит «в некотором роде»?

То и значит.

– Не понимаю.

Поймешь, когда мы с тобой познакомимся поближе.

– Звать-то тебя как?

Как назовешь. Имен – множество. Каждый мальчишка называет по-своему. Каждый мужчина за свою жизнь произносит это имя десять тысяч раз.

– Но я не...

Не понимаешь? Лежи себе спокойно. У тебя теперь два сердца. Послушай пульс. Одно бьется у тебя в груди. А второе – ниже. Чувствуешь?

– Чувствую.

Ты и вправду чувствуешь два сердца?

– Да. Честное слово!

Тогда спи.

– А ты никуда не денешься, когда я проснусь?

Буду тебя поджидать. Проснись первым. Спокойной ночи, дружище.

– Честно? Мы теперь друзья?

Каких у тебя прежде не бывало. Друзья на всю жизнь.

По полу затопотали заячьи лапы. Кто-то натолкнулся на кровать, кто-то нырнул под одеяло.

– Том, ты?

– Ага, – ответил голос из-под одеяла. – Можно, я рядышком посплю? Ну пожалуйста!

– Ты чего, Том?

– Сам не знаю. На меня страх напал: вдруг ты наутро исчезнешь или помрешь, а еще хуже – и то и другое разом.

– Я помирать не собираюсь, Том.

– Когда-нибудь все равно придется.

– Ну, знаешь...

– Так можно мне остаться?

– Ладно уж.

– Возьми меня за руку, Дуг. Да сожми покрепче.

– Зачем?

– Сам подумай: Земля крутится со скоростью двадцать пять тысяч миль в час или около того, верно? Перед сном обязательно нужно за что-нибудь уцепиться, а то сбросит тебя – и поминай как звали.

– Давай руку. Вот так. Теперь не страшно?

– Не-а. Теперь и поспать можно. А то я за тебя испугался.

Короткое молчание, вдох-выдох.

– Том?

– Ну?

– Как видишь, я тебя не кинул.

– Слава богу, Дуг, ох, слава богу.

В саду поднялся ветер; он раскачал ветки, отряхнул листья, все до единого, и погнал их по траве.

– Лето кончилось, Том.

Том прислушался.

– Прошло лето. Осень на дворе.

– Хэллоуин.

– Ого! Надо что-нибудь придумать.

– Я уже придумываю.

Они подумали вместе и вместе заснули.

Городские часы пробили четыре раза.

А бабушка села в постели, не зажигая света, и назвала по имени то самое время года, что наметни кончилось, миновало, кануло в прошлое.

Послесловие

Как важно удивляться

Ход работы над моими романами можно описать при помощи такого сравнения: иду на кухню, задумав поджарить яичницу, но почему-то принимаюсь готовить праздничный обед. Начинаю с самого простого, но тут же возникают словесные ассоциации, которые ведут дальше, и в конце концов мною овладевает неутолимое желание узнать, какие неожиданности произойдут за следующим поворотом, в ближайший час, на другой день, через неделю.

Замысел романа «Лето, прощай» возник у меня лет пятьдесят пять тому назад, когда я был еще совсем зелен и не обладал должной начитанностью, чтобы создать хоть сколько-нибудь значимое произведение. Материал копился годами, но потом в одночасье захватил меня с головой и потом уже не переставал удивлять; тогда-то я и сел за машинку, чтобы писать рассказы и повести, которые впоследствии составили единое целое.

Основным местом действия в романе служит овраг; этот образ проходит сквозь всю мою жизнь. Наш дом стоял на маленькой улочке в Вокегане, штат Иллинойс; к востоку от дома был овраг, который тянулся на несколько миль к северу и югу, а потом описывал петлю, сворачивая к западу. Получалось, что я обитал на острове, откуда мог в любой момент нырнуть в овраг, навстречу разным приключениям.

Там можно было вообразить себя хоть в Африке, хоть на Марсе. Мало этого, через овраг я каждый день бегал в школу, а зимней порой здесь же гонял на лыжах и катался на санках, поэтому овраг занимал главное место в моей жизни; вполне естественно, что впоследствии он стал центром этого романа, по кромкам расположились все мои друзья, а рядом с ними еще и старики – удивительные живые хронометры.

Меня всегда тянуло к старым людям. Они входили в мою жизнь и шли дальше, а я увязывался за ними, засыпал вопросами и набирался ума, как явствует из этого романа, в котором главными героями выступают дети и старики, своеобразные Машины Времени.

Зачастую самые прочные дружеские отношения складывались у меня с людьми за восемьдесят, а то и за девяносто; при каждом удобном случае я донимал их расспросами про все на свете, а сам молча слушал и мотал на ус.

В некотором смысле «Лето, прощай» – это роман о том, как много можно узнать от стариков, если набраться смелости задать им кое-какие вопросы, а затем, не перебивая, выслушать, что они скажут. Вопросы, которые ставит Дуг, и ответы, которые дает мистер Квотермейн, служат организующим стержнем в отдельных главах и в развязке романа.

К чему я веду речь: ход событий определяется не мною. Вместо того чтобы управлять своими персонажами, я предоставляю им жить собственной жизнью и без помех выражать свое мнение. А сам только слушаю и записываю.

По сути дела, «Лето, прощай» служит продолжением романа «Вино из одуванчиков», увидевшего свет полвека назад. Я тогда принес рукопись в издательство и услышал: «Ну нет, такой объем не пойдет! Давайте-ка выпустим первые девяносто тысяч слов отдельным изданием, а что останется, отложим до лучших времен – пусть созреет для публикации». Весьма сырой вариант полного текста первоначально назывался у меня «Памятные синие холмы». Исходным заглавием той части, которая впоследствии превратилась в «Вино из одуванчиков», было «Летнее утро, летний вечер». Зато для этой, отвергнутой издателями книги название возникло сразу: «Лето, прощай».

Итак, все эти годы вторая часть «Вина из одуванчиков» дозревала до такого состояния, когда, с моей точки зрения, ее не стыдно явить миру. Я терпеливо ждал, чтобы эти главы романа обросли новыми мыслями и образами, придающими живость всему тексту.

Для меня самое главное – не переставать удивляться. Перед отходом ко сну я непременно даю себе наказ с утра пораньше обнаружить что-нибудь удивительное. В том-то и заключалась одна из самых захватывающих особенностей становления этого романа: мои наказания перед сном и удивительные открытия, сродни озарениям, поутру.

На все повествование наложило отпечаток влияние моих деда с бабушкой, а также тетки, Нейвы Брэдбери. Дед отличался мудростью и бесконечным терпением; он умел не просто объяснить, а еще и показать. Бабушка моя – настоящее чудо; она врожденным умом понимала внутренний мир мальчишек. А тетя Нейва приобщила и приохотила меня к тем метафорам, которые вошли в мою плоть и кровь. Ее заботами я воспитывался на самых лучших сказках, стихах, фильмах и спектаклях, с горячностью ловил все происходящее и с увлечением это записывал. Даже теперь, много лет спустя, меня не покидает такое чувство, будто она заглядывает в мою рукопись и сияет от гордости.

К сказанному остается добавить лишь одно: я рад окончанию

многолетней работы над этой книжкой и надеюсь, что каждый найдет в ней что-нибудь для себя. Мне было несказанно приятно вновь оказаться в родном Гринтауне – поглазеть на дом с привидениями, послушать гулкий бой городских часов, перебежать через овраг, впервые познать поцелуй девушки и набраться ума-разума от тех, кого уже с нами нет.

Надвигается беда

С благодарностью Джанет Джонсон, учившей меня писать рассказы, и Сноу Лонгли Хауш, учившей меня поэзии в лос-анджелесской средней школе, очень давно, и Джеку Гассу, помогавшему мне в работе над этим романом, не так уж давно.

Не удержишь то, что любишь.

У. Б. Йейтс

Потому что они не заснут, если не сделают зла; пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения; ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения.

Книга Притчей Соломоновых, 4, 16-17

Мне неизвестно толком, чем все это кончится, но что бы там ни было, я иду навстречу концу, смеясь.

Стабб в «Моби Дике», гл. XXXIX

ПРОЛОГ

Главное дело — стоял октябрь, месяц, особенный для мальчишек. Само собой, остальные месяцы тоже не похожи друг на друга, просто, как говорят пираты, одни получше, другие похуже. Взять вот сентябрь — плохой месяц: надо в школу идти. Август не в пример лучше — до школы еще не близко. Июль — ну, июль замечательный: куда ни глянь, на школу и намека нет. Ну а уж июнь лучше всех: школьные двери нараспашку, а до сентября — миллион лет.

А теперь взять октябрь. Уже месяц, как началась школьная тягомотина, значит, к узде пообвык, и дальше пойдет легче. Уже можно выкроить время и поразмыслить, чего бы такого особенно гадкого подкинуть на крыльцо старому Приккету, или что за прелесть мохнатый обезьяний костюм, дожидаящийся праздника у ХСМ^[20] в последний вечер месяца.

А если дело, к примеру, происходит еще и в двадцатых числах, и небо, оранжевое, как апельсин, слегка пахнет дымом, то кажется, что Хэллуин^[21] в суматохе метел и хлопанье простынь на ветру так никогда и не наступит.

Но вот в один странный, дикий, мрачный, долгий год Хэллуин пришел рано, и случилось это двадцать четвертого октября в три часа после полуночи.

К этому времени Джеймсу Найтшеду с 97-й Дубовой улицы исполнилось тринадцать лет одиннадцать месяцев и двадцать три дня от роду, а соседу его, Вильяму Хэллуэю, — тринадцать лет одиннадцать месяцев и двадцать четыре дня. Оба почти коснулись четырнадцатилетия, вот-вот оно затрепыхается в руках.

В ту октябрьскую неделю им обоим выпала ночь, когда они выросли сразу, вдруг, и навсегда распрощались с детством...

I

ПРИБЫТИЕ

1

Продавец громоотводов прибыл как раз перед бурей. На склоне облачного октябрьского дня он шел по улице Гринтауна, Иллинойс, и внимательно поглядывал по сторонам. А вслед за ним, пока еще в отдалении, стая молний долбила землю, там огромным зубастым зверем vorочалась гроза, и увернуться от нее было не так-то просто.

В огромном кожаном мешке торговца тоже погромыхивало. Он шел от дома к дому, выкрикивая странные названия таившихся в мешке штуковин, и вдруг остановился перед подстриженной вкривь и вкось лужайкой.

Трава? Нет, не то. Торговец поднял глаза. А, вот оно. На траве, выше по отлогому склону, — двое мальчишек. Схожие и ростом, и обликом, сидят и вырезают свистульки из бузины, беспечно болтая о прошлом и будущем, сидят, вполне довольные собой. Этим летом ничего в Гринтауне не обошлось без них, отсюда до озера и еще дальше — до реки, на каждой вольной тропке остались следы их ног, и к школе они вроде управились со всеми делами.

— Эй! Как дела? — окликнул их человек в одежде грозового цвета. — Дома есть кто?

Мальчишки одинаково помотали головами.

— Ладно. Ну, а как у вас с монетой?

Головы снова качнулись вправо-влево.

— Добро, — кивнул торговец, сделал несколько шагов и остановился, сразу ссутулившись. Что-то его встревожило... может, окна ближайшего дома, может, тяжелое, холодное небо над городом. Он медленно повернулся, словно принюхиваясь. Ветер трепал ветки облетевших деревьев. Солнечный луч, отыскав просвет в тучах, мгновенно вызолотил последние дубовые листья и тут же пропал, — золото на дубах потускнело, потянуло сыростью. Все. Очарование исчезло.

Пришелец ступил на зеленый склон.

— Как звать тебя, парень? — спросил он.

Один из ребят, с головой, похожей на белый пух чертополоха,

прищурился и глянул на торговца глазом, блестящим, словно огромная капля летнего дождя.

— Вилли, — представился он. — Вильям Хэллуэй^[22].

Грозовой джентльмен слегка повернулся:

— А тебя?

Сосед Вилли даже не шелохнулся. Он лежал ничком на осенней траве, глубоко задумавшись, словно ему еще только предстояло сотворить себе имя. Волосы густые, настоящие лохмы цвета спелых каштанов, вид — отсутствующий, глаза разглядывают что-то внутри, а цветом — как зеленый горный хрусталь. Все. Сотворил. Небрежно ткнул сухую травину в рот.

— Джим Найтшед^[23].

Торговец понимающе кивнул.

— Найтшед. То самое имя.

— И в самый раз ему, — сказал Вилли. — Я родился за минуту до полуночи тридцатого октября, а Джим через минуту после полуночи, стало быть, уже тридцать первого.

— Аккурат в Хэллуин, — произнес Джим.

Несколько слов — но за ними крылись их жизни: гордость за матерей, живущих по-соседству, вместе спешащих в больницу, вместе приносящих миру сыновей, минутой раньше — светлого, минутой позже — темного. За этим виделась история веселых праздников вместе, на них Вилли каждый год зажигал свечи на пироге за минуту до полуночи, а Джим в первую минуту последнего дня месяца гасил их.

Так много сказал Вилли несколькими словами, так много подтвердил своим молчанием Джим. Так много услышал торговец, опередивший бурю и задержавшийся здесь невесть зачем, разглядывая лица ребят.

— Хэллуэй, Найтшед, — повторил он. — Значит, говорите, нет денег?

Похоже, огорченный собственным безрассудством, торговец запустил руку в мешок и выудил чудную железяку.

— Ладно. Берите даром. Думаете — с чего бы это? Скажу, пожалуй. В один из этих домов ударит молния. Без этой штуки — бац! Огонь и пепел, жаркое и угли! Трах!

Торговец протянул стержень. Джим не пошевелился, а Вилли схватил железяку и воскликнул:

— Ты посмотри, какая тяжеленная! И чудная. Никогда таких громоотводов не видал. Ну, погляди, Джим!

Потянувшись как кошка, Джим наконец соизволил повернуть голову.

Зеленые глаза удивленно распахнулись и тут же превратились в узенькие щелочки.

Громоотвод представлял из себя кованый крест с полумесяцем внизу. Стержень усеивали крохотные завитушки и сплошь покрывали выгравированные слова, произнося которые можно было запросто вывихнуть челюсть, а таинственные цифры переплетались с какими-то полужверями-полунасекомыми из сплошной щетины, когтей и клыков.

— Это — египетский, — уверенно показал носом Джим на припаянного посередке жука. — Скарабей!

— Точно, парень. Он и есть!

Джим прищурился:

— А вон те куриные следы — финикийские знаки.

— Опять верно.

— Но почему они здесь?

— Почему? — повторил задумчиво торговец. — Ты спрашиваешь, почему на громоотводе египетские, арабские, абиссинские, чоктавские знаки? А на каком языке, по-твоему, говорит ветер? Из какого народа буря? Откуда приходит дождь? Какого цвета молния? Где родина грома? Чтобы заклинать огни Святого Эльма, чтобы усмирять этих синих, крадущихся, косматых котов, надо быть готовым воспользоваться любым наречием, может пригодиться любой знак, зверь любого обличья. Во всем мире только мои громоотводы способны почуять и отогнать любую бурю, откуда бы она ни явилась, на каком бы языке ни говорила и в каком бы виде ни пришла. Не сыщете такого чужедального громогласного шторма, которого не смогла бы перешептать эта железная штуковина.

Но, похоже, Вилли уже не слушал. Повернувшись, он уставился на что-то позади.

— В чей? — напряженно выдохнул он. — В чей дом она попадет?

— Гм... в чей?.. — отозвался торговец. — Погоди-ка... а ну, повернись ко мне. — Он внимательно изучал их лица и бормотал при этом: — Есть люди... они просто-таки притягивают молнию, словно хотят высосать ее. У одних, знаете ли, отрицательная полярность, у других положительная. Одни только в темноте и загораются, другие в ней гаснут... Вот вы двое...

— А почему вы так уверены, что молния попадет прямо сюда? — перебил Джим, сверкая глазами.

Торговца вопрос не смутил.

— У меня есть нос, глаза и уши. Вот два дома. Прислушайтесь, что говорят их бревна!

Они прислушались. Наверное, это ветер нажимал на стены... а может,

и не ветер.

— Молнии, как реки, текут по своим руслам, — продолжал между тем торговец. — Чердак одного из этих домов как раз и есть такое пересохшее русло, оно только и ждет, чтобы молния пролилась и промчалась по нему. Нынче же ночью!

— Ночью? Этой ночью? — Джим просто сиял от счастья.

— Идет необычная гроза, — промолвил торговец. — Это вам Том Фури говорит. Фури — подходящее имечко для торговца громоотводами, а? Я ли взял его? Нет. Имя ли подтолкнуло меня выбрать профессию? Да! Я жил и смотрел, как облачные огни скачут по миру, а люди вздрагивают и прячутся. И я подумал: нанесу на карты ураганы, отмечу бури, а потом пойду впереди них и буду громыхать моими железными дубинками, моими чудесными защитницами. Я укрыл и обезопасил сто тысяч, нет, двести, не счесть сколько, мирных, богобоязненных домов. Слушайте меня, парни. Если я говорю, что ваши дела плохи, значит, так оно и есть. Полезайте на крышу, прибежите там эту железку да заземлите хорошенько. И все это надо успеть до полуночи!

— Но вы же не сказали, который из домов? — воскликнул Вилли.

Торговец отступил назад, достал огромный платок, высморкался и медленно пошел через лужайку. Он шел так, словно впереди его ждала огромная мина с часовым механизмом. Он осторожно коснулся перил на крыльце у Вилли, провел рукой по столбу, потрогал доски ступеней, потом закрыл глаза и прильнул к дому, вслушиваясь в скрипы и шорохи его костей. Через минуту, все так же настороженно, он перешел к дверям Джима. Джим встал и вытянул шею.

Торговец лишь коснулся, лишь пробежал пальцами по старой краске, слегка стукнул по дереву и уверенно заявил:

— Этот.

Не оглядываясь, он спросил:

— Джим Найтшед, это твой?

— Мой! — с гордостью ответил Джим.

— Я мог бы сразу догадаться, — буркнул торговец.

— Эй, а со мной как же? — В голосе Вилли звучала обида.

Торговец повел носом в сторону его дома.

— Нет. Разве что несколько искорок проскочат по водосточной трубе. А настоящее зрелище будет здесь, у Найтшедов. Вот так-то! — Торговец заторопился по лужайке к своему мешку. — Ну, мне пора. Гроза уже близко. Джим, друг, тебе говорю — не тяни! А то — бамм! И все твои медяки, все десятицентовики, все солдатики-индейцы потекли ручейками.

Эйб Линкольн расплылся в мисс Колумбию, орлы на четвертаках полиняли догола, даже пуговицы на джинсах — и те потекут, как ртуть. А если молния попадет в мальчишку — трах! — и в глаз, как на «Кодаке», отпечатается этот огонь. Вот он скачет с неба, и как дунет в тебя — душа вон! Эй, парень, прибай эту штуку повыше, а то не видать тебе завтрашнего рассвета!

Громко брякнув мешком, торговец повернулся и пошел по дороге, поглядывая то на небо, то на крыши домов, фыркая и бормоча себе под нос: — Ох, худо! Сюда идет, чую. Далеко пока, но уж больно быстро...

Человек в грозových одеждах уходил. Шляпа цвета тучи сползла ему на глаза, деревья встревоженно шелестели, а небо враз стало старым.

Джим и Вилли стояли на лужайке, принюхиваясь к ветру — не пахнет ли электричеством, а громоотвод лежал между ними на траве.

— Джим, — пихнул наконец друга в бок Вилли, — да не стой ты! Твой ведь дом-то, он сказал. Собираешься ты прибывать эту штуку или нет?

— Нет, — улыбнулся Джим. — Зачем веселье портить?

— Да какое веселье?! Рехнулся, что ли! Я тащу лестницу, а ты — давай за молотком с гвоздями. И проволоку не забудь.

Вилли мигом приволок лестницу. А Джим, похоже, и не пошевелился за это время.

— Ну, Джим! Ты о маме подумал? Хочешь, чтобы она сгорела?

Вилли приставил лестницу и сам полез вверх. Тогда наконец и Джим медленно подошел и начал взбираться по ступеням.

Далеко в облачных холмах прокатился гром. Наверху в воздухе явно различались запахи свежести и сырости. Даже Джим согласился.

Самые лучшие на свете книжки — о живой воде, о рыцарях, изрубленных на куски, или о том, как расплавленный свинец льется со стен на головы всяким дуракам, — так говорил Джим Найтшед, и других книжек он не читал. Если уж не об ограблении Первого Национального Банка, так хоть про то, как построить катапульту или сшить из черных лоскутьев невидимую одежду для ночных вылазок.

Все это Джим выдохнул разом, а Вилли, тоже разом, вдохнул, пока они возились на крыше, прилаживая громоотвод. Вилли занимался этим делом с чувством важности и нужности происходящего, а Джим — слегка стыдясь и считая, что они просто струсили. Так и день прошел.

После ужина предстоял еженедельный поход в библиотеку. Как все мальчишки, они никогда не ходили просто так, но, выбрав цель, кидались к ней со всех ног. Никто не выигрывал, да и не хотел выиграть, они ведь были друзья; просто хорошо было бежать рядом, стремительно пропечатывать теннисными туфлями параллельные строчки следов по лужайкам, через кусты и рощицы, хорошо было вместе рвать финишную ленточку и разом схватиться за ручку библиотечной двери, — никто не оставался в проигрыше, оба побеждали, храня дружбу до поры, когда утраты станут неизбежны.

Все так и шло этим вечером, сначала теплым, потом — прохладным. В восемь часов они предоставили ветру нести их вниз, в город. Летящие руки, локти развернуты, как крылья, мелькают перемежающиеся слои воздуха — и вот они уже там, где надо. Три ступеньки, шесть, девять, двенадцать — хлоп! — ладони шлепнули по библиотечной двери.

Джим и Вилли улыбнулись друг другу. Все это было здорово: и тихие октябрьские вечера, и библиотека с зелеными лампами внутри и едва уловимым запахом бумажной пыли.

Джим вслушался.

— Что это?

— Ветер?..

— Как музыка... — Джим всматривался в даль.

— Совсем никакой музыки не слышу...

— Кончилась! — Джим тряхнул головой. — А может, и не было.

Идем!

Они открыли дверь, ступили внутрь и застыли на пороге.

Перед ними в ожидании распахнулись библиотечные глубины.

Снаружи, в мире, как будто ничего не происходило. Но здесь, в этих зеленых сумерках, в этой земле бумаги и кожи, могло случиться всякое. Всегда случалось. Только прислушайся и услышишь крики десятков тысяч людей, вот миллионы перетаскивают пушки, точат гильотины, а вот китайцы маршируют по четыре в ряд. Конечно, незримо, конечно, бесшумно, но ведь и у Джима, и у Вилли носы и уши на месте. Здесь фабрика пряностей, здесь дремлют неведомые пустыни.

Напротив двери приятная пожилая дама мисс Уотрикс отмечает книги, а справа от нее — уже Тибет, и Антарктида, и Конго. Туда как раз удалилась другая библиотекарша, мисс Уиллс, ушла через Монголию, запросто унося куски Иокогамы и остров Целебес. Дальше, в третьем книжном туннеле, пожилой мужчина шуршит в темноте веником, подметая остатки имбиря и корицы...

Вилли широко открыл глаза. Каждый раз этот старик удивлял его — своей работой, своим именем. "Чарльз Вильям Хэллуэй, — думал Вилли, — не дедушка, не дальний родственник, не какой-нибудь пожилой дядюшка, нет, — мой отец..."

А отец? Не поражался ли он каждый раз, встречая собственного сына на пороге этого уединенного мира? Да. Каждый раз он выглядел ошеломленным, словно последняя их встреча состоялась век назад и с тех пор один успел состариться, а другой так и остался молодым. Это мешало, стояло между ними.

Старик неуверенно улыбнулся издали. Отец и сын осторожно двинулись навстречу друг другу.

— Батюшки! Вилли! С утра еще на дюйм вырос! — Чарльз Хэллуэй повернул голову. — Джим? О, глаза потемнели, щеки посветлели, тебя что, с обеих сторон припекло?

— Дьявольщина! — энергично высказался Джим.

— Такого не держим, — мгновенно ответил старик. — Ад есть, вот тут, на "А", у Алигьери.

— Аллегии — это не по мне, — мотнул головой Джим.

— Твоя правда, — засмеялся отец Вилли. — Но я-то имел в виду Данте. Погляди-ка сюда. Рисунки самого господина Дорэ. Со всех сторон все показано. Аду повезло. Он никогда не выглядел лучше. Вот, обрати внимание, души падают прямо в грязь. Смотри, смотри, кто-то даже вверх ногами...

— Ничего себе! — Джим мгновенно пожрал страницу глазами вдоль и поперек и принялся листать дальше. — А картинки с динозаврами тут

есть?

— Это там, дальше. — Он повел их в следующий проход. — Вот здесь. «Птеродактиль, Змей-Разоритель», — прочитал он. — А как насчет «Барабанов Рока: саги о Громовых Ящерах»? Ну, ожил, Джим?

— Ага. Вполне.

Отец подмигнул Вилли. Вилли подмигнул в ответ. Они стояли рядом — мальчишка с волосами цвета спелой пшеницы и мужчина, седой как лунь. Лицо мальчишки — словно летнее наливное яблоко, лицо мужчины — словно то же яблоко зимой. «Папа, папа мой, — думал Вилли, — он похож на меня! Только... как в плохом зеркале!»

Внезапно Вилли припомнил, как, бывало, ночами он вставал и смотрел из окна на город внизу. Там мерцал только один огонек в библиотечном окне. Это отец засиживался допоздна над книгой в нездешнем свете зеленой лампы. И радостно, и грустно было смотреть на этот одинокий огонек и знать, что его... — Вилли помедлил, подбирая слово, — ...его отец один бодрствует во всем этом мраке.

— Вилли, — окликнул старик, по должности — уборщик, по воле случая — его отец, — а тебе чего хочется?

— А? — Вилли встрепенулся.

— Ты предпочитаешь книжку в белой шляпе или в черной?

— Шляпе?

— Вот Джим, — старик медленно двинулся вдоль полок, слегка касаясь пальцами книжных корешков, — Джим носит черные десятигаллоновые шляпы и книжки предпочитает им под стать. Поначалу Мориарти, верно, Джим? Теперь он готов хоть сейчас двинуться от Фу Мангу к Макиавелли — средних размеров темная фетровая шляпа, а оттуда — к доктору Фаусту, это уже большущий черный стетсон. А на твою долю остаются приятели в белых шляпах... Вот Ганди, там дальше — святой Томас, следующий... ну, к примеру, Будда.

— Меня вполне устроит «Таинственный остров», — улыбнулся Вилли.

— Я не понял, при чем здесь шляпы? — нахмурился Джим.

— Однажды, очень давно, — неторопливо проговорил отец, протягивая Вилли Жюля Верна, — я, как и каждый человек, решил для себя, какой цвет буду носить.

— Ну и какой? — недоверчиво спросил Джим.

Старый человек, казалось, удивился и поспешил рассмеяться.

— Ну и вопросы ты задаешь!.. Ладно, Вилли, скажи маме, что я скоро буду. А теперь, двигайте-ка отсюда оба. Мисс Уотрикс! — мягко окликнул он библиотекаря. — Будьте настороже. К вам подбираются динозавры и

таинственные острова.

Дверь захлопнулась. На небесных полях высыпали ясные звезды.

— Дьявольщина! — Джим втянул носом воздух с севера, потом — с юга. — А где буря? Этот проклятый торгаш обещал... Я же должен посмотреть, как молния вдарит в мою крышу!

Вилли подождал, пока порыв ветра взъерошит, а потом пригладит волосы.

— Она будет здесь. К утру, — словно нехотя произнес он.

— Кто сказал?

— А вот, черничник у меня под руками. Он говорит.

— Ха! Здорово!

Ветер сорвал и унес Джима прочь. Таким же воздушным змеем Вилли кинулся вдогонку.

Чарльз Хэллуэй провожал ребят глазами, с трудом сдерживая желание составить им компанию. Он знал эти колдовские шгучки ветра, знал, как и где подхватывает он две легкие фигурки, как несет их мимо всяких таинственных мест, таинственных только сегодня, только в этот миг и никогда больше.

Грусть шевельнула крылом в груди старого человека.

"Если бежать вместе в такой вечер, то печаль не ранит, — подумал он. — Смотри-ка! Вот Вилли. Он бежит ради самого бега. А вот Джим. Он бежит потому, что впереди есть цель. И все-таки, как ни странно, они бегут вместе. В чем же дело? — продолжал он раздумывать, проходя по библиотеке и гася одну за другой зеленые мягкие звезды. — Неужели только в линиях наших ладоней? Почему одни — такие, а другие... Один всю жизнь на поверхности, весь — стрекотание кузнечика, весь — подрагивание усиков, сплошной узел нервов, вечно запутывающийся и запутывающий всех... Губы не знают покоя, глаза с колыбели сверкают и бросаются из стороны в сторону. Ненасытные глаза, и питаются тьмой... Это — Джим, с головой, похожей на ежевичный куст, и с неумным задором разрастаться вширь, как у сорняка

А вот — Вилли. Словно последний персик на самой высокой ветке. Он из тех, на которых взглянешь — заплачешь. Да, вроде бы у них все в порядке, и не то чтобы они отказались от случая передернуть в бридже или прихватить плохо лежащую точилку, нет, дело не в этом. Просто какими их увидел впервые, такими они и остаются всю жизнь: сплошные толчки, синяки, царапины да шишки, и вечное недоумение: почему, ну почему же это случилось? Как это могло случиться с ними?

Джим, он знает. Он караулит начало, примечает конец, и если уж зализывает царапину, то никогда не спросит — почему? Он знает. И всегда знал. Это еще до него кто-то знал, кто-то, бывший давным-давно, из тех, у кого волки ходили в любимчиках, а львы — в ночных приятелях. Это же не от головы. Это само его тело знает. И пока Вилли перевязывает очередную рану, Джим уже движется по рингу, отскакивает, уворачивается от неминуемого удара.

Вон они уже где! Джим притормаживает, поджидает Вилли. Вилли надал, чтобы догнать Джима Бац! бац! Джим выбил два окна в заброшенном доме. Бац! И Вилли выбил окно — как же, ведь Джим рядом,

смотрит. Боже, вот она, дружба! Каждый из них — гончар, каждый что-то лепит из другого".

«Джим, Вилли — подумал он. — Странники. Идите дальше. Когда-нибудь я пойму.»

Дверь библиотеки выпустила его с легким вздохом и слегка хлопнула на прощанье.

Спустя пять минут он уже заворачивал в пивную на углу, пропустить свой первый — и последний — стаканчик, и поспел как раз к концу чьей-то фразы:

— ...когда открыли алкоголь, итальянцы решили, что это — великая вещь, прямо настоящий эликсир жизни. А? Слыхали вы про такое?

— Нет, — равнодушно откликнулся бармен.

— Точно! — с воодушевлением продолжал посетитель. — Очищенный алкоголь! Век девятый-десятый. Выглядело оно как вода. Но обжигало. Не только во рту или там в желудке, нет, оно и в самом деле горит. Так вот, итальянцы решили, что им удалось смешать огонь с водой. Огненная вода! Эликсир жизни! Ей-Богу! А может, не так уж они и ошибались, принимая его за лекарство от всех болезней... за такую чудотворную штуку. Ну что, выпьем?

— Да я-то не хочу, — улыбнулся Хэллуэй, — а вот кто-то внутри меня вроде просит.

— Кто?!

«Наверное, мальчишка, которым я был когда-то, — подумал Хэллуэй, — тот самый, который пролетает осенними вечерними улицами, как листья под ветром.»

Но сказать так он, конечно, не смог бы и поэтому просто выпил, закрыл глаза и прислушался: не шевельнется ли давешнее крыло, не мелькнет ли на куче давно сложенных для костра поленьев хоть малая искорка? Нет, не мелькнула.

Вилли остановился. Он поглядел на город, погруженный в пятничный вечер. При первом из девяти ударов часов на доме мэрии всюду еще сияли огни, в магазинах кипела жизнь. Но при последнем ударе, отозвавшемся в десятке больных зубов горожан, картина изменилась. Парикмахеры поспешно припудривали клиентов и выпроваживали их за дверь, на ходу сдергивая простыни; смолк сифон аптекаря, весь день шипевший, словно змеиное гнездо; прекратилось комариное жужжание неоновых ламп, и обширный аквариум дешевого универмага, где миллионы всяких ерундовых штучек безнадежно ожидали своего избавителя, внезапно погрузился в темноту.

Заскользили тени, захлопали двери, ключи затрещали костями в замках, люди разбегались, и разбегались мыши, торопливо догрызая обрывок газеты или крошку галеты.

Раз! И они исчезли.

— Старик! — завопил Вилли. — Народ бежит, словно от урагана!

— Так оно и есть! — крикнул Джим. — Он за нами!

Они громко протопали мимо дюжины темных магазинчиков, мимо дюжины полутемных, мимо дюжины темнеющих. Город словно успел вымереть, пока они огибали Объединенные Сахарные Склады. И тут, за углом, ребята налетели на идущего навстречу деревянного индейца из табачной лавки.

— Эй! — Мистер Татли, хозяин, выглянул из-за плеча чероки. — Я вас не напугал, ребята?

— Не-а! — с запинкой, сквозь легкий озноб, ответил Вилли.

Ему вдруг показалось, что из прерий на город катится волна странно холодного дождя. Молния прорезала небо в отдалении, и Вилли испытал неудержимое желание оказаться дома, под шестнадцатью одеялами в собственной постели.

— Мистер Татли, — тихонько окликнул он.

Теперь уже два деревянных индейца застыли в плотной тьме табачной лавки. М-р Татли окаменел, забыв закрыть рот.

— Мистер Татли!

Он не слышал. Нет, он слышал что-то вдалеке, что-то долетевшее с порывом ветра, но не мог сказать, что именно. Вилли и Джим отпрянули. Он не видел их. Он не шевелился. Он только слушал. Ребята оставили его и

убежали.

В четвертом от библиотеки квартале они наткнулись еще на одну одеревеневшую фигуру.

М-р Крозетти застыл перед своей парикмахерской с ключом в дрожащих пальцах, не замечая остановившихся ребят.

Что заставило их насторожиться? Слезинка. Слезинка катилась по левой щеке парикмахера. Он тихонько забормотал:

— Крозетти, ты дурачок. Случилось что, нет ли — ты все плачешь, как маленький.

Крозетти всхлипнул и шумно вздохнул.

— Разве вы не чувствуете?

Джим и Вилли дружно приняхались.

— Лакрица!

— Да нет. Леденцы на палочке!

— Сколько лет я не слышал этого запаха, — вздохнул м-р Крозетти.

— Им же все тут пропахло! — фыркнул Джим.

— А кто это замечал? Когда? Сейчас вот только мой нос велел мне: дыши! И я расплакался. Почему? Да потому, что вспомнил, как давным-давно мальчишки облизывали такие штуки. Почему я за все эти тридцать лет ни разу не приняхался?

— Вы просто заняты были, мистер Крозетти, — подсказал Вилли, — времени у вас не было.

— Время, время... — проворчал м-р Крозетти, вытирая глаза. — Откуда он взялся, этот запах? Во всем городе никто не продает леденцов на палочке. Они теперь бывают только в цирках.

— О! — сказал Вилли. — Верно.

— Ну, Крозетти заплакался. — Парикмахер высморкался и повернулся с ключом к двери. А Вилли стоял, и взгляд его убежал вместе с красно-белой спиралью, бесконечно вьющейся на шесте возле парикмахерской. Сколько раз он уже пытался размотать эту ленту, тщетно лоя ее начало, тщетно подстерегая конец.

М-р Крозетти собрался выключать свой вращающийся шест.

— Не надо, — попросил Вилли. — Не выключайте.

М-р Крозетти взглянул на шест так, словно впервые открыл для себя его чудодейственные свойства. Глаза его мягко засветились, и он тихонько кивнул.

— Откуда берется и где исчезает, а? Никому не дано знать, ни мне, ни тебе, ни ему. О, тут тайна, ей-богу. Ладно. Пусть себе крутится.

«Как хорошо знать, — думал Вилли, — что он будет крутиться до

самого утра, что, пока мы будем спать, лента все так же нескончаемо будет возникать из ничего и исчезать в никуда».

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Они оставили парикмахера позади вместе с ветром, несущим запах лакрицы и леденцов на палочке.

Чарльз Хэллуэй уже протянул руку к вращающейся двери пивной, но остановил движение — редкие седые волоски на тыльной стороне ладони, как антенны, уловили нечто в октябрьской ночи. Может быть, полыхающие где-то пожары дохнули над прерией, может, новая ледниковая эра нависла над землей и уже погребла в мертвенно-холодном чреве миллион человек — лучше не выходить. Вдруг само Время дало трещину, и через нее уже сыплется пыль мрака, покрывая улицы серым пеплом. А может, все дело в прохожем, идущем той стороной улицы со свертком под мышкой и корзиной с торчащей из нее кистью. Он что-то насвистывает... Мелодия... она из другого времени года, нет, вовсе не печальная, просто она не годилась в октябре, но Чарльз Хэллуэй всегда слушал ее с удовольствием.

*Я слышал далекие колокола.
Рождественских гимнов звенели слова
О благоволении в человецех,
О Царстве Божием на Земле.*

Чарльз Хэллуэй задрожал. Внезапно нахлынуло ощущение жутковатого восторга, захотелось смеяться и плакать одновременно. Так бывало, когда в канун Рождества он смотрел на безгрешные лица детей на заснеженных улицах среди усталых прохожих. Порок испятнал лица взрослых, грех оставил на них следы, жизнь разбила их, словно окна заброшенного дома, разбила, отбежала, спряталась, вернулась и вновь бросила камень...

Громче и глубже пели колокола:

*Ликующий благовест вдаль летит:
Господь наш Спаситель нас призрит.
Ждет грешников — гибель, святых — торжество
В Царствии Божием славы Его!*

Прохожий перестал насвистывать. Теперь он был занят чем-то возле телеграфного столба на перекрестке, потом отошел и вдруг нырнул в открытую дверь давно пустовавшего магазинчика.

Чарльз Хэллуэй вышел и зачем-то направился к той же двери. А человек со свертком, кистью и корзиной уже снова появился на улице. Глаза его, пронзительные и неприятные, взглянули на Хэллуэя в упор. Человек протянул руку и медленно раскрыл ладонь. Хэллуэй вздрогнул. Ладонь незнакомца покрывала густая черная шерсть. Это походило на... Он не успел сообразить на что. Ладонь сжалась и исчезла. Человек повернул за угол. Ошеломленный Хэллуэй смахнул со лба вдруг выступившую испарину и с трудом сделал несколько шагов к дверям пустого магазина.

Там, в небольшом зале, под лучом единственной яркой лампы, стоял на козлах, словно на похоронах зимы, ледяной брус длиной шесть футов. Тусклый зеленовато-голубой свет струился из его глубин, и весь он был как огромная холодная жемчужина. Сбоку, у самого окна, висел на щите небольшой рекламный лист. Выведенное от руки каллиграфическим почерком, там значилось:

КУГЕР И ДАРК
ШОУ И ПАНДЕМОНИУМ ТЕНЕЙ
ФАНТОЧЧИНИ. ЦИРК МАРИОНЕТОК
ВАШ ТРАДИЦИОННЫЙ КАРНАВАЛ!
ПРИБЫВАЕТ НЕМЕДЛЕННО!
ЗДЕСЬ ПЕРЕД ВАМИ ОДИН ИЗ НАШИХ АТТРАКЦИОНОВ:
САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ!

Взгляд Хэллуэя метнулся от надписи к ледяной глыбе. Она ничуть не изменилась с детства. Он помнил ее, точно такую же, и бродячих фокусников, когда Холодильная Компания выставляла на всеобщее обозрение кусок зимы с замороженными девушками. Вокруг толпились зрители, на экране мелькали лица комедийных актеров, аттракционы сменяли друг друга, пока наконец вспотевший от натуги волшебник не вызволял заиндевевших бедняжек из ледяного плена и они, едва улыбаясь посиневшими губами, не исчезали за занавесом.

«Самая прекрасная женщина в мире!»

Но там же нет ничего! Просто замерзшая речная вода! Нет, не совсем.

Хэллуэй почувствовал, как в груди тяжело трепыхнулось сердце. Может быть, там, внутри огромной зимней жемчужины, есть пустое место, такая продолговатая волнистая выемка, ждущая жаркую летнюю плоть, может быть, она имеет форму женского тела?

Да, похоже.

Лед. И прекрасная, с таинственными изгибами пустота внутри. Томительное ничто. Изысканная плавность незримой русалки, позволившей поймать себя в ледяной футляр.

Лед был холоден. Пустота внутри была теплой. Хэллуэй хотел уйти, но еще долго стоял посреди странной ночи, в пустом магазине, перед холодным арктическим саркофагом, сверкавшим словно огромная Звезда Индии во мраке...

На углу Хиккори и Главной улицы Джим Найтшед притормозил.

— Вилли, а? — В голосе его неожиданно зазвучала нежная просительная нотка.

— Нет! — Вилли даже остановился, пораженный собственной жестокостью.

— Ну тут же рядышком, а? Пятый дом. И всего на минуточку, Вилли, — упрашивал Джим.

— На минуточку? — Вилли в сомнении оглядел улицу. Улицу Театра.

Все лето она была улица как улица. Здесь они лазили за персиками, за сливами и абрикосами, когда приходило время. Но вот в конце августа, в пору кислейших яблок, случилось нечто, разом изменившее все: и дома, и вкус персиков, и даже сам воздух под болтушками-деревьями.

— Вилли! Оно же ждет! Может быть, уже началось, а? — шептал Джим.

Вилли был непреклонен. Джим просительно тронул его за плечо. Они стояли на улице, переставшей быть яблочной, сливовой, персиковой. С некоторых пор она превратилась в улицу Единственного Дома, Дома с Окном Сбоку. Окно это — сцена, по словам Джима, а всегдашний занавес — сумрак за окном — иногда (может, и сегодня?) бывал поднят. И там, в комнате, на чудных подмостках — актеры. Они говорят загадочные, невероятные вещи, смеются непонятно чему, вздыхают, их бормотание и перешептывание казалось Вилли лишним, он не понимал их.

— Ну в самый-самый распоследний разочек, Вилли?! — не унимался Джим.

— Да если бы в последний! — в сердцах откликнулся Вилли. Щеки Джима зарделись. В глазах мелькнул зеленый огонек. А Вилли словно наяву увидел ту ночь. Он только что закончил с яблоками на дереве, как вдруг голос Джима шепотом окликнул его с соседней ветки: «Смотри! Вон там!» Вцепившись в ствол дерева, странно возбужденный, Вилли смотрел и не мог отвести взгляда от сцены. Перед ним был Театр, там незнакомые актеры сдергивали через голову рубашки, роняли одежду на ковер, нагие, похожие на дрожащих лошадей, тянулись друг к другу, касались... «Что они творят? — лихорадочно думал Вилли. — Почему смеются? Что с ними стряслось? Разве это хорошо?»

О, как ему хотелось, чтобы свет на Сцене погас! Но Сцена там, за

окном, была освещена ярко-ярко, и Вилли, оцепеневший на своем суку, глаз не мог оторвать. До него долетал смех, он вслушивался в смутные звуки, пока в изнеможении не скользнул по стволу вниз, почти упал, потом посмотрел вверх, на Джима — тот все еще висел на своей ветке: лицо словно опалило огнем, рот приоткрыт... «Джим, спускайся, — позвал Вилли. Не слышит. — Джим!» Джим наконец посмотрел вниз, странно посмотрел: как будто идиот прохожий предложил ему перестать жить и спуститься на землю. И тогда Вилли убежал, убежал один, просто погибая от половодья мыслей, не думая ни о чем, не зная, что и подумать.

— Вилли, ну, пожалуйста!

Даже глаза Джима просили. Руки прижимали к груди книжки.

— Мы в библиотеке были? Тебе мало?

Джим упрямо помотал головой.

— Тогда захвати мои, ладно?

Он отдал Вилли книги, повернулся и легко побежал под шелестящими, мерцающими деревьями. Обернулся. Кричит.

— Вилли! Знаешь, ты кто? Старый, глупый, дрянной епископальный баптист!

Пропал.

Вилли изо всех сил притиснул книги к груди. Ладони у него повлажнели.

«Не оглядывайся! — говорил он себе, и сам же отвечал: — Не буду, не буду!» Не оглядываясь, он пошел к дому. Быстро.

На полдороге за спиной Вилли послышалось пыхтение.

— Что, Театр закрыт? — бросил Вилли не оборачиваясь.

Джим поравнялся с ним и долго шел рядом молча.

— Там нет никого.

— Отлично!

Джим сплюнул.

— Ты, проклятый баптистский проповедник... — начал было он.

Из-за угла выкатилось навстречу перекасти-поле — мятый бумажный шар подскочил и лег у ног Джима. Вилли со смехом пнул мячик — пусть летит, и замолк.

Бумага развернулась, и по ветру плавно скользнула пестрая афишка. Ребятам вдруг стало холодно.

— Эй, погоди-ка... — медленно проговорил Джим.

И вдруг они сорвались с места и помчались за ней.

— Да осторожней ты! Не порви!

Бумага у них в руках вздрагивала и, казалось, даже погромыхивала, как маленький барабанчик.

ПРИХОДИТЕ 24 ОКТЯБРЯ!

Губы Джима двигались, не сразу произнося слова, написанные затейливым шрифтом.

КУГЕР И ДАРК

КАРНАВАЛ!!!

— Эй, двадцать четвертое... Это ведь завтра!

— Не может такого быть! — убежденно сказал Вилли. — После Дня Труда карнавалов не бывает!

— Да плевать на это! Посмотри! «Тысяча и одно чудо!» Смотри! «Мефистофель, пьющий лаву! Мистер Электрико! Монстр-Монгольфьер!» Э-э?..

— Воздушный шар, — пояснил Вилли. — Монгольфьер — это воздушный шар.

— Мадемуазель Тарот! — читал Джим. — Висящий Человек! Дьявольская гильотина! Человек-в-Картинках! Ого!

— Да подумаешь! Просто парень в татуировке!

— Нет. — Джим подышал на афишку и махнул по ней рукавом. — Он раз-ри-со-ван, специально разрисован. Погляди, он весь в чудовищах.

Целый зверинец! — Глаза Джима так и шарили по афише. — Смотри, смотри, Скелет! Вот здорово, Вилли! Не какой-нибудь там Тощий Человек, а Скелет! Во! Пыльная Ведьма! Что бы это могло быть, а, Вилли?

— Просто грязная старая цыганка...

— Нет. — Джим прищурился, будя воображение. — Да... вот так... Цыганка. Она родилась в Пыли, в Пыли выросла и однажды унесется обратно в Пыль! А вот здесь еще есть: «Египетский Зеркальный Лабиринт! Вы увидите себя десять тысяч раз! Храм искушений святого Антония!»

— «Самая Прекрасная...» — начал читать Вилли.

— «Женщина в Мире», — закончил Джим.

Они взглянули друг на друга.

— Как это может Самая Прекрасная Женщина в Мире оказаться в карнавальном балагане, а, Вилли?

— Ты когда-нибудь видел карнавальных женщин, Джим?

— А как же! Медведицы-гризли! А чего же тогда здесь едят?

— Да заткнись ты!

— Ну чего ты злишься, Вилли?

— Да ничего! Просто... Ай! Держи ее!

Ветер рванул лист у них из рук. Каким-то нелепым прыжком афиша взмыла вверх и исчезла за деревьями.

— Все равно это неправда, — не сдавался Вилли. — Не бывает карнавалов так поздно. Глупость это! Кто туда пойдет?

— Я, — тихо выдохнул Джим.

«И я, — подумал Вилли. — Увидеть зловещий блеск гильотины, египетские зеркала, человека-дьявола с кожей, как сера, прихлебывающего лаву...»

— Эта музыка... — пробормотал Джим. — Калиоп^[24]. Наверное, они приедут сегодня!

— Карнавалы всегда приезжают на рассвете...

— Ага, а лакрица, а леденцы? Помнишь запах? Ведь близко совсем.

Вилли подумал о запахах и звуках, принесенных ветровой рекой, о море Татли, стоящем в обнимку с другом-индейцем и слушающем ночь, о море Крозетти со слезинкой на щеке и о его шесте, вокруг которого все вьется красный язык: из ниоткуда в никуда. Вилли подумал обо всем этом и неожиданно стукнул зубами.

— Пошли-ка по домам.

— А мы и так дома! — удивленно воскликнул Джим.

Действительно, они и не заметили, как поднялись на холм, и теперь оставалось только разойтись каждому к своей двери.

Уже на крыльце Джим перегнулся через перила и тихонько окликнул:

— Вилли, ты — ничего?

— В порядке.

— Мы теперь месяц туда не пойдём, ну, к этому... к Театру. Год не пойдём! Клянусь!

— Ладно, Джим. Не пойдём.

Они так и стояли, положив руки на дверные ручки. Вилли взглянул на соседскую крышу. Там под холодными звездами поблескивал чудной громоотвод. Гроза то ли приближалась, то ли обходила стороной. Неважно. Вилли все равно был доволен, что у Джима есть теперь такая могучая защита.

— Пока!

— Пока!

Одновременно хлопнули две двери.

Однако дверь пришлось открывать снова, и уж на этот раз тихонько прикрывать за собой.

— Так-то лучше, — прозвучал мамин голос.

Через дверной проем Вилли смотрел на свою театральную сцену, единственную, которую любил всегда, знакомую до мельчайших деталей. Вот сидит отец (О! Он уже дома! Ну конечно же. Ведь они с Джимом дали приличного крюка), держит книгу, но открыта она на пустой странице. В кресле у огня мама. Вяжет и бормочет, как чайник.

Вилли одновременно тянуло и к ним, и от них. То они далеко, то близко. Вот они совсем крошечные в огромной комнате, в громадном городе, посреди исполинского мира, маленькие, совсем беззащитные перед вторжением ночи в этот открытый уютный театрик.

«И я такой же, — подумалось Вилли, — и я».

Любовь хлынула в душу мальчика. Такой он не чувствовал никогда, пока родители оставались только большими.

Мамины пальцы хлопотали, губы шевелились, пересчитывая петли, — именно так выглядит счастливая женщина. Вилли вспомнился парник, где среди зимы цвела кремовая тепличная роза. Вот и мама... вполне довольная в своей комнатке, счастливая по-своему. Счастливая? Но почему? Как? Вот рядом с ней сидит уборщик из библиотеки, чужак в этой комнате. Да, он снял форменную одежду, но лицо-то осталось, лицо человека, который бывает счастлив только по ночам, там, под мраморными сводами, одинокий, шаркая метлой по пыльным коридорам.

Вилли смотрел, не в силах постичь, почему счастлива женщина у камина, почему печален мужчина рядом с ней.

Отец смотрит в огонь. Рука расслабленно свисает с кресла. На ладони — смятый бумажный шарик. Вилли заморгал. Он вспомнил выкатившийся из темноты бумажный мяч. Ему не видно было, что и как написано на листе, но цвет! Цвет был тот же самый!

— Эй! — Вилли шагнул в гостиную.

Мама тут же улыбнулась — словно еще один огонь зажегся в комнате. Отец выглядел немного растерянным, словно его застали врасплох за не совсем достойным занятием.

Вилли так и подмывало спросить: «Ну и что вы думаете об этой афишке?» Но, поглядев, как молча и сосредоточенно отец запихивает

бумажный шарик между подлокотником и сиденьем кресла, Вилли сдержал себя. Мама листала библиотечные книжки.

— О! Они замечательные, Вилли!

Кугер и Дарк так и норовили соскочить с языка, и стоило немалого труда как можно небрежнее произнести:

— Ветер так и сдул нас домой. По улицам бумажки летают.

Отец никак не отреагировал на его слова.

— Пап, что новенького?

Рука отца так и осталась лежать на подлокотнике. Он бросил на сына слегка встревоженный взгляд. Глаза казались усталыми.

— Да все то же. Каменный лев разнес библиотечное крыльцо. Теперь рыщет по городу, за христианами охотится. А ни одного и нету. Нашел тут было одну в заточении, но уж больно она готовит хорошо.

— Ну что ты мелешь, — отмахнулась мама.

Поднимаясь к себе, Вилли услышал то, что и ожидал. Огонь в камине удовлетворенно вздохнул, блики метнулись по стене. И не оборачиваясь, Вилли буквально видел, как отец стоит вплотную к камину и наблюдает за превращающимися в пепел Кугером, Дарком, карнавалом, ведьмами, чудесами... Вернуться бы, встать рядом с отцом, протянуть к огню руки, согреться... Вместо этого он продолжал медленно подниматься по ступеням, а потом тихо прикрыл за собой дверь комнаты.

Иногда ночами, уже в постели, Вилли прикивал ухом к стене. Бывало, там говорили о правильных вещах, и он слушал; бывало, речь шла о чем-то неприятном — и он отворачивался. Когда голоса тихо скорбели о времени, о том, как быстро идут годы, о городе и мире, о неисповедимых путях Господних на земле или в крайнем случае о нем самом — тогда на сердце становилось тепло и грустно, Вилли лежал, уютно пристроившись, и слушал отца — чаще говорил он. Вряд ли они смогли бы говорить с отцом с глазу на глаз, а так — так другое дело. Речь отца, с подъемами и спадами, перевалами и паузами, вызывала в воображении большую белую птицу, неторопливо взмахивающую крыльями. Хотелось слушать и слушать, а перед глазами вспыхивали яркие картины.

Была в его голосе одна странность. Он говорил, и говорил истинно. О чем бы ни шла речь, будь то город или деревня, в словах звучала истина, — какой же мальчишка не почувствует ее чары! Часто Вилли так и засыпал под глуховатые звуки напевного голоса за стеной; просто ощущения, которые еще секунду назад давали знать, что ты — это ты, вдруг останавливались, как останавливаются часы. Отцовский голос был ночной

школой, он звучал как раз тогда, когда сознание лучше всего готово понимать, и тема была самая важная — жизнь.

Так начиналась и эта ночь. Вилли закрыл глаза и медленно приблизил ухо к прохладной стене. Поначалу голос отца рокотал, словно большой старый барабан, где-то внизу. А вот звонкий ручеек маминого голоса — сопрано в баптистском хоре, — не поет, а выпекает ответные реплики. Вилли почти видел, как отец, вольготно устроившись в кресле, обращается к потолку.

— Вилли... из-за него я чувствую себя таким старым... другой бы запросто играл в бейсбол с собственным сыном...

— Не кори себя... не за что, — нежный женский голос. — Ты и так хорош...

— ...На безрыбье... Черт! Мне ведь было сорок, когда он родился, да еще — ты! Люди спрашивают: «А это ваша дочь?» Черт! Стоит только прилечь, и от мыслей не знаешь, куда деваться!

Вилли услышал скрип кресла. Чиркнула спичка. Отец зажег трубку. Ветер бился за окнами.

— ... тот человек с афишей...

— Карнавал? Так поздно?

Вилли хотел отвернуться и не мог.

— ... самая прекрасная женщина в мире, — пробормотал отец.

Мать тихонько рассмеялась.

— Ты же знаешь, это — не обо мне.

«Как! — подумал Вилли. — Это же из афиши! Почему отец не скажет? Потому, — ответил он сам себе. — Что-то начинается. Что-то уже происходит».

Перед глазами Вилли мелькнул тот бумажный лист — вот он резвится между деревьями. «Самая Прекрасная Женщина...» В темноте щеки его вспыхнули, словно внезапный внутренний жар опалил их... Джим, улица Театра... обнаженные фигуры на сцене... безумные, как в китайской опере, проклятые древним проклятием... евреи... джиу-джитсу... индийские головоломки... и отцовский голос, грустный, печальный, печальнее всех... слишком печальный, чтобы можно было понять. Почему отец не сказал об афише? Почему сжег ее тайком?

Вилли выглянул в окно. Вон там! Белый лист танцевал в воздухе, словно большой клочок одуванчикового пуха.

— Ну не бывает карнавалов так поздно! — прошептал он. — Не может быть!

Через минуту, с головой накрывшись одеялом, при свете фонаря он

открыл книгу. С первой же страницы на него ощерился доисторический ящер, миллион лет назад долбивший змеиной головой ночное небо.

«Дьявольщина! — подумал он. — Это я Джимову книжку прихватил, а он — мою! А что? Вроде симпатичная зверюга...»

Уже улета в сон, Вилли успел услышать, как негромко хлопнула входная дверь. Отец ушел. Ушел к своим метлам, к своим книгам, ушел в город... просто ушел прочь. А мама спала. Она ничего не слышала.

Во всем мире нет другого имени, чтобы так легко слетало с языка. «Джим Найтшед — это я».

Джим вытянулся в постели и стал как стебель тростника. Кости легко держат плоть... мышцам удобно на костях... Библиотечные книжки, так и не открытые, сгрудились возле расслабленной руки.

Он ждал. Глаза полны сумрака, а под глазами — тень. Он помнил, откуда она. Мать говорила: в три года он едва не умер, вот тогда и появилась эта тень. На подушке — волосы цвета спелого каштана, жилки на висках и на запястьях гибких рук — темно-синие. Плоть его ваяла темнота, темнота медленно брала свое. Джим Найтшед — подросток, который все меньше говорит и все реже смеется.

Джим всегда смотрел только на мир перед собой, видел только его и не отводил глаз ни на миг. А если за всю жизнь ни разу не взглянуть в сторону, то к тринадцати годам проживешь все двадцать.

Вилли Хэллуэй — другой. Следы детства видны пока отчетливо. Взгляд вечно скользит поверх, уходит в сторону, проникает насквозь, и в результате к своим тринадцати годам он насмотрелся едва ли на шесть.

Джим досконально изучил каждый квадратный дюйм своей тени, он запросто мог бы вырезать ее из черной бумаги и поднять на флагштоке, как свое знамя.

Вилли удивлялся, изредка замечая скользящее рядом темное пятно.

— Джим, ты не спишь?

— Нет, мама.

Дверь открылась и снова закрылась бесшумно. Кровать слегка прогнулась от ее невеликого веса.

— Ох, Джим, какие у тебя руки холодные. Прямо ледяные. У тебя слишком большое окно в комнате. Это не очень хорошо для здоровья.

— Точно.

— Ты еще не понимаешь. Вот будет у тебя трое детей, а потом из них один останется...

— Да я их вообще заводить не собираюсь! — фыркнул Джим.

— Все так говорят.

— Да нет. Я точно знаю. Я все знаю.

— Что ты... знаешь? — Мамин голос слегка дрогнул.

— С какой стати новых людей плодить? Они ведь все равно умрут, — голос его звучал тихо и ровно. — Вот и все.

— Ну, это еще не все. Ты-то есть, Джим. А не будь тебя, и меня давно бы не было.

— Мама... — и долгая пауза, — ты помнишь папу? Я похож на него?

— Джим, в день, когда ты уйдешь, он уйдет навсегда.

— Кто?

— Ох, да лежи ты спокойно. Хватит уже, набегался. Просто лежи себе и спи. Только... обещай мне, Джим. Когда ты уйдешь, а потом вернешься, пусть у тебя будет куча детей. Пусть носятся вокруг. Позволь мне когда-нибудь побаловать их.

— Да не буду я заводить таких вещей, от которых потом одни неприятности.

— Каменный ты, что ли? Придет время, сам захочешь «неприятностей».

— Нет, не захочу.

Он посмотрел на мать. Да, ее ударило давным-давно. С той поры и навсегда остались синяки под глазами.

В темноте глуховато и спокойно прозвучал ее голос:

— Ты будешь жить, Джим. Жить и получать удары. Только скажи мне, когда придет срок. Чтобы мы попрощались спокойно. А то я не смогу отпустить тебя. Что хорошего — вцепиться в человека и не отпускать?

Она встала и закрыла окно.

— Почему это у мальчишек всегда окна нараспашку?

— Кровь горячая.

— Горячая... — Она стояла возле двери. — Вот откуда все наши беды. И не спрашивай почему.

Дверь закрылась.

Джим вскочил, открыл окно и выглянул. Ночь была ясная.

«Буря, — подумал он, — ты там?»

Да. Чувствуется... там, на западе, этаким «парень что надо» рвется напролом.

Тень от громоотвода замерла на дорожке под окнами.

Джим набрал полную грудь холодного воздуха и выдохнул маленькую теплую речку.

«А может быть, — подумалось ему, — залезть на крышу и отодрать этот дурацкий громоотвод? На фиг он нужен? Выкинуть его и посмотреть, что будет? Вот именно, посмотреть, что получится».

Сразу после полуночи.

Шаркающие шаги. Пустынная улица, и на ней давешний торговец. Большущий кожаный саквояж, почти пустой, легко болтается в крепкой руке. Лицо спокойное. Он заворачивает за угол и останавливается.

Мягкие белые мотыльки бьются о витринное стекло, заглядывают внутрь. А там, за окном, в пустоте зала стоит на козлах погребальная ладья из звездного стекла — глыба льда Аляскинской Снежной Компании, бриллиант для перстня великана. Внутри... да, там внутри — самая прекрасная женщина в мире.

Торговец больше не улыбался.

Она предстала перед ним вечно юной; она упала в сонную холодность льда и спит уже тысячи лет. Прекрасная, как нынешнее утро, свежая, как завтрашние цветы, милая, как любая девушка, чей профиль совершенной камеей врезается в память любого мужчины.

Торговец громоотводами вздохнул. Когда-то, давным-давно, он путешествовал по Италии и встречал таких женщин. Только там черты их хранил не лед, а мрамор. Однажды он стоял в Лувре перед полотном, а с картины, омытая летними красками, едва заметно улыбалась ему такая женщина. А как-то раз, пробираясь за кулисами театра, он бросил взгляд на сцену и примерз к полу. В темноте плыло лицо женщины, какой он не встречал больше никогда. Чуть шевелились губы, птичьими крыльями взмахивали ресницы, снежно-смертно-белым светом мерцали щеки.

Из прошлых лет возникали образы, накатывали, текли и обретали новое воплощение здесь, среди льда.

Какого цвета ее волосы? Они примут любой оттенок, только освободи их ото льда.

Какого она роста? Стоило двинуться перед витриной магазина, — и ледяная призма станет увеличительным или уменьшительным стеклом. Впрочем, какая разница? Торговец громоотводами вздрогнул. Он вдруг понял, что знает. Если она сейчас откроет глаза, он знает, какими они будут.

Если войти в этот пустынный ночной магазин... если протянуть руку... ведь рука теплая, лед растает.

Он прикрыл глаза. По губам скользнуло мимолетное летнее тепло. Он едва коснулся двери, и она открылась. Холодный северный воздух. Он

шагнул внутрь.

Дверь медленно, бесшумно закрылась за ним. Белые снежинки-мотыльки колотились в окно.

Полночь. Потом городские часы пробьют час, два, три, и перед рассветом звон их стряхнет пыль со старых игрушек на одних чердаках, сбросит блестки амальгамы со старинных зеркал на других, расшевелит сны во всех постелях, где спят дети.

Вилли услышал.

Издалека, из прерий, донесся звук: будто пыхтенье паровоза, а за ним медленный драконий лет поезда.

Вилли сел на постели.

В доме напротив, как в зеркале, на своей постели сел Джим.

Мягко, печально где-то за миллион миль заиграл калиоп.

Вилли рывком высунулся из окна. В соседнем окне появилась голова Джима. Из их окон, как и положено у мальчишек, можно было увидеть все: и библиотеку, и муниципалитет, и склад, и фермы, и даже саму прерию. Там, на краю мира, поблескивали, уходя за горизонт, волосинки рельс и переливалась лимонно-желтым и вишнево-красным звезда семафора. Там кончалась земля, и из-за края гонцом грядущей тучи вставало перышко дыма. Оттуда, звено за звеном, вытягивался кольчатый поезд. Все как надо: сначала паровоз, потом угольный тендер, а за ним — вагоны, вагоны... сонные, видящие сны вагоны, но впереди — сыплющий искрами, перемешивающий ночь паровоз. Адские сполохи заметались по ошеломленным холмам. Он был очень далеко, и все же ребятам виделся черный человек с огромными руками, ввергающий в открытые топки метеорный поток черного угля.

Головы в окнах мгновенно сгнули и появились опять с биноклями у глаз.

— Паровоз!

— Гражданская война! Да таких труб уже сто лет нету!

— И остальной поезд... он весь такой старый!

— Флаги, клетки! Это карнавал!

Они прислушались. Сначала Вилли показалось, что это посвистывает воздух в горле, но нет, это был поезд, это там плакал и вздыхал калиоп.

— Похоже на церковную музыку...

— Черт! С чего бы на карнавале играть, как в церкви?

— Не ругайся! — прошептал Вилли.

— Черт! Во мне весь день копилось! — не унимался Джим. — А все

так спят, черт бы их побрал!

Волна дальней музыки подкатывала к окнам. У Вилли мурашки пошли по коже.

— Нет, послушай: точно церковная музыка. Только немножко не такая. Бр-р! Замерз я. Пойдем глянем, как они приедут.

— Это в четвертом-то часу?

— А чего? В четвертом часу!

Голова Джима исчезла. Вилли видел, как он скачет в глубине комнаты — рубашка задирается, штаны запутываются, — а далеко в ночи задышался и шептал шальной похоронный поезд с черным плюмажем на каждом вагоне, с лакричного цвета клетками, и угольно-черный калиоп все вскрикивал, все вызванивал мелодии трех гимнов, каких-то спутанных, полузабытых, а может, и вообще не их.

Джим соскользнул по водосточной трубе.

— Джим! Подожди! — Вилли лихорадочно сражался с одеждой. — Джим! Да подожди же. Не ходи один! — Вилли кинулся следом за другом.

Иногда воздушного змея заносит высоко-высоко. Ты смотришь на него снизу и думаешь: «Он высоко. Он мудрый. Он сам чует ветер». Змей свободно гуляет по небу сам по себе, сам высматривает местечко, куда приземлиться, и уж если высмотрел — кричи не кричи, бегай не бегай, он просто рвет бечевку и идет на посадку, а тебе остается мчаться к нему со всех ног, мчаться так, что во рту появляется привкус крови.

— Джим! Да подожди же!

Сейчас Джим стал змеем. Бечевка порвалась, и уж какая там мудрость — неизвестно, но она уносит его от Вилли, а Вилли только и остается бежать изо всех сил, бежать за темным и молчаливым силуэтом, парящим высоко, вдруг ставшим чужим и дальним.

— Джим! Я тоже иду!

Вилли бежал и думал: «Ба! Да ведь это все то же, что и всегда. Я говорю, Джим бежит. Я ворочаю камни, Джим мигом выгребают из-под них всякий хлам. Я взбираюсь на холм, Джим кричит с колокольни. У меня счет в банке, у Джима — буйная шевелюра, рубашка да теннисные туфли, и все же почему-то он — богач, а я — бедняк. Не потому ли, — думал Вилли, — что вот я сижу на камне и греюсь на солнышке, а старик Джим танцует с жабами в лунном луче. Я пасу коров, а Джим дрессирует жутких чудищ. „Ну и дурак!“ — кричу я ему. „Трус!“ — кричит он в ответ. Но вот сейчас мы бежим туда, бежим оба».

Город остался позади, по сторонам мелькали поля. Под железнодорожным мостом мальчишек окатила волна холода. Луна вот-вот должна была показаться из-за холмов, и луга зябко вздрагивали под тонким росным одеялом.

Бамм!

Карнавальный поезд загрохотал под мостом. Взвыл калиоп.

— На нем не играет никто! — вздрогнув, прошептал Джим.

— Шутишь!

— Матерью клянусь! Сам погляди.

Платформа с калиопом удалялась. Свинцовые трубы мерцали под звездами, но за пультом никого не было. Только ветер гнал ледяной воздух в узкие щели, это ветер творил музыку.

Мальчишки мчались следом. Поезд изгибался, корчился под этот странный подводный похоронный звон, звук падал, падал, глух и все-таки

звенел и звенел. Вдруг свисток паровоза взметнул огромный султан пара и вокруг Вилли заплясали ледяные жемчужинки.

Ночами — часто? изредка? — Вилли слышал свист пара на краю сна, одинокий, далекий голос поезда. Он всегда оставался далеко, как бы близко ни подходить к вагонам. Иногда Вилли просыпался и с удивлением трогал мокрые щеки — откуда это? Он снова откидывался на подушку, прислушивался и думал: «Да, это они заставляют меня плакать, те поезда, что идут на восток и на запад, они уходят, уходят вдаль, ночной прилив затопляет их, волна сна накрывает поезда, города...» Ночной плач поездов, заблудившихся между станциями, потерявших память о пункте отправления, забывших, куда ехать; они вздыхают печально, и пар из их труб тает над горизонтом. Они уходят. Все поезда, всегда.

Но этот паровозный крик!

В нем одном были собраны все стенания жизни из всех ночей, из всех сонных лет, там слышался и заунывный вой псов, грезящих о Луне, в нем был посвист зимнего ветра с речной долины, когда он просачивается в щели веранды, и скорбные голоса тысяч огненных сирен, а то и хуже! — миллионы клубочков вздохов ушедших людей, уже мертвых, умирающих, не желающих умирать, все их стоны, вздохи и жалобы, разом рванувшиеся над землей.

Слезы брызнули у Вилли из глаз. Ему пришлось нагнуться, встать на колени, сделать вид, будто шнурок развязался. А потом он увидел, как Джим тоже трет глаза. Паровоз вскрикнул, и Джим вскрикнул в ответ. Паровоз взвизгнул и заставил Вилли взвизгнуть тоже. А потом весь этот сонм голосов разом смолк, словно поезд подхватил и умчал огненный нездешний вихрь.

Нет. Вот он скользит мягко, легко, черная бахрома трепещет, черные конфетти завиваются в сладком, приторном ветре, сопровождающем поезд, опускаются на окрестные холмы, а ребята бегут следом, и воздух вокруг такой холодный, словно ешь уже третью порцию мороженого подряд.

Джим и Вилли взлетели на пригорок.

— Старик! — прошептал Джим. — Он здесь.

Поезд забрался в лунную долину — излюбленное место прогулок всяких парочек. Обычно их так и тянуло за край холмов; там, словно внутреннее море, лежала падь, до краев полная лунным светом, зараставшая буйными травами по весне, заставленная стогами летом, заваленная снегом зимой. Да, это было дивное место для прогулок, когда над холмами вставала луна и призрачный свет трепетал и разливался на просторе.

И вот теперь, по старой железнодорожной ветке, исчезающей в лесу, сюда добрался, изогнулся и замер в осенней траве чудной поезд. Ребята поползли — иначе нельзя было — и притаились под кустом.

— Тихо как! — прошептал Вилли.

Поезд был недвижим. Никого не видать на локомотиве, никого в тендере, никого в вагонах. Черный безжизненный дракон под Луной, и только остывающий металл позвякивает едва слышно.

— Тихо! — прошипел Джим. — Я чувствую, они там, внутри, шевелятся...

У Вилли волосы встали дыбом по всему телу.

— Может, они догадываются, что мы — тут?

— Запросто! — замирая от сладкой жути, подтвердил Джим.

— А почему калиоп опять слышно?

— Как узнаю, сразу тебе скажу! — огрызнулся Джим. — Смотри!

И откуда он только взялся, этот болотного цвета огромный воздушный шар? А вот уже летит, прямо к луне, поднявшись футов на двести.

— Смотри, там в корзине под шаром есть кто-то!

Но тут им стало не до шара. С высокой платформы, как с капитанского мостика, спускался высокий человек. Он и вправду был похож на капитана, наблюдающего за приливом в этом внутреннем море. Темный костюм, черная рубашка, лицо сумрачное, а на руках — черные перчатки. Вот он вошел в лунный столб и махнул рукой. Только один раз махнул.

Поезд ожил.

В окне вагона показалась голова. Еще одна. Они возникали, как куклы в театре марионеток. И вот уже двое в черном волокут по шуршащей траве шест для шатра. Молча.

Безмолвие заставило Вилли отпрянуть, а Джим, наоборот, подался вперед. По всем правилам карнавал должен был громыхать, греметь, как лесопилка, ему положено громоздиться штабелями, путаться в канатах, сталкиваться под львиный рык, возбужденные люди должны звенеть бутылками с шипучкой, а кони — бляхами на сбруе, слоны — в панике, зебры ржут и дрожат, вдвойне полосатые от прутьев клеток.

А здесь было как в старом немом кино с черно-белыми актерами. Рты открываются, но испускают один лунный свет. Жесты беззвучны, и слышишь, как ветер шевелит пушок у тебя на щеках.

Новые тени выходили из поезда, шли мимо звериных клеток, а там даже глаза не горели, только темнота металась из угла в угол. Калиоп почти смолк, лишь ветер, бродя по трубам, пытался наиграть дурацкий мотивчик.

Посреди поля встал шпрыхталмейстер. Шар, точно здоровенный, заплесневевший зеленый сыр, повис прямехонько над ним.

И вдруг пришел мрак. В последний миг Вилли успел заметить, как шар ринулся вниз — и луна исчезла. Теперь он мог только чувствовать суету на поле. Ему казалось, что шар подхватили и растягивают на шестах, как огромного жирного паука.

Луна появилась. Облако слезло с нее, и выяснилось, что от шара остался один намек, а на лугу уже стоит готовый каркас.

Опять облака! Вилли окатила тень, и он вздрогнул. Ухо уловило шорох, это Джим пополз вперед. Вилли схватил его за ногу.

— Подожди! Сейчас парусину принесут.

— Нет, ой нет... — проговорил Джим.

Оба как-то сразу поняли: парусины не будет. В ней не было нужды. Канаты на верхушках шестов болтались из стороны в сторону, взмывали вверх, выхватывали из пролетающих облаков длинные ленты, и какая-то огромная тень заставляла облачные пряди сплетаться в покрывало. Шатер возникал прямо на глазах, и скоро остался только чистый плеск флагов на шестах.

Все замерло.

Вилли лежал с закрытыми глазами и слышал над головой хлопанье огромных маслянисто-черных крыльев — словно громадная древняя птица билась над полем. Она хотела жить.

Облака сдуло. Шар исчез. Люди сгнули. Палатки, растянутые на каркасах, струились и трепетали, как под черным дождем. Вилли показалось вдруг, что до города тысяча миль. Он быстро оглянулся. Ничего. Только травы и ночные шорохи. Он снова повернулся, теперь уже медленно, и оглядел безмолвные, темные, кажущиеся пустыми шатры.

— Не нравятся они мне, — в голос сказал он.

Джим не мог отвести глаз.

— Ага, — замороженно прошептал он, — ага...

Вилли встал. Джим остался лежать на траве.

— Джим! — позвал Вилли.

Джим вздрогнул, как будто его шлепнули по спине, Джим привстал на колени, Джим уже поднимался, уже тело его отвернулось, а глаза неотрывно прикованы к черным полотнищам, к огромным зазывающим транспарантам, к непонятным трубам, к дьявольским усмешкам темных, змеящихся складок.

Вскрикнула птица. Джим вскочил. Джим перевел дух.

Облачные тени гнали их через холмы и оставили только на окраине

города.

Вместе с ветром в распахнутое окно библиотеки вливался холод. Чарльз Хэллуэй долго стоял возле окна, но теперь вдруг заторопился. По улице мчались две тени, обладатели теней неслись на шаг впереди.

— Джим! — окликнул старик негромко. — Вилли!

Нет. Они не услышали и продолжали бежать. К дому. Чарльз Хэллуэй огляделся. Бродя в одиночестве по библиотечным коридорам, слабо улыбаясь внятными лишь ему речам веника в руках, он, конечно же, слышал и вскрик поезда, и бессвязные гимны калиопа.

— Три, — прошептал он едва слышно, — три утра...

На лугу уже поднялись шатры, карнавал ждал кого угодно, кого-нибудь, способного преодолеть неширокое озерцо травы. Вздутые шатры тихонько выпускали воздух, он покидал их чрево, пропитавшись древними запахами больших желтых зверей.

Никого. Только луна старается заглянуть в угольную тень между балаганами. Неподвижно мчатся карусельные лошади. За каруселью раскинулись топи Зеркального Лабиринта. Там, вал за валом, поднимаются из глубин волны пустых тщеславий, отстоявшиеся за много лет, посеребренные возрастом, белые от времени. Появись у входа любая тень — отражения шевельнутся испуганно, в зеркалах начнут восходить глубоко похороненные луны. Доведись появиться на пороге человеку — не предстанет ли он сам перед собой миллионоликим? Вот он смотрит на них, а они — на него; а ну как каждое из отражений вдруг обернется и взглянет на своего соседа, и лица начнут оборачиваться одно к другому, одно к другому, еще не старое — к тому, что постарше, это — к еще более почтенному, а оно — к совсем уже старому, потом к тому, что старше всех... Не разыщет ли стоящий у входа человек в пыльных глубинах Лабиринта себя самого, но только уже не пятидесяти-, а шестидесятилетнего, семидесяти, восьмидесяти, девяноста девяти лет?

У Лабиринта не спросишь, не ответит Лабиринт. Он просто ждет, похожий на огромную арктическую снежинку.

Три часа... Чарльз Хэллуэй замерз. Кожа вдруг стала как у ящерицы, кровь словно подернулась ржавчиной, во рту — привкус ночной сырости. И почему-то никак не отойти от окна. Далеко-далеко на лугу что-то поблескивает, как будто лунный свет отражается в стекле. Может, эти вспышки — какой-то код, может, они говорят о чем-то?

«Я пойду туда, — подумал Чарльз Хэллуэй. — Нет, я не пойду туда. Там хорошо, — подумал он. — Нет, там плохо», — тут же догнала следующая мысль.

Несколько минут спустя хлопнула, закрываясь, входная дверь. По пути домой он миновал окна пустого магазина. Внутри стояли козлы, а под ними — лужа грязноватой воды. Кое-где виднелись кусочки льда, а между ними — длинная прядь волос.

Чарльз Хэллуэй заметил ее, но почел за благо не увидеть. Он отвернулся и прошел мимо, и вскоре улица опустела так же, как и пространство магазина за витринным стеклом.

А вдали, на лугу, все поблескивал свет, отражаясь в Зеркальном Лабиринте. Там мелькали тени, словно осколки чьей-то жизни, еще не начавшейся, но уже пойманной и ожидающей воплощения.

Лабиринт ждал; его настороженный холодный взгляд скользил сквозь ночь, отыскивая хоть что-нибудь живое, хоть ночную птицу, пролетающую над лугом. Она заглянула бы внутрь... и пусть бы себе уносилась потом с заполошным криком дальше. Но не было ни одной птицы.

— Три, — произнес голос.

Вилли прислушался. Озноб еще прохватывал тело, но он уже согревался под одеялом и радовался, что вокруг — стены, над головой — крыша и пол под ногами, что дверь наконец укрыла его от огромности ночи, от обширности ночных пространств и ночной свободы, слишком большой, слишком пустынной и одинокой...

— Три...

Это — голос отца... уже внутри, здесь, в доме. Он там, в гостиной, осторожно ходит и разговаривает сам с собой.

— Три...

Почему поезд пришел именно в это время? Значит, отец тоже видел его? Следил за ним? Нет! Он не должен. Вилли свернулся под одеялом в тугий клубок, стараясь унять дрожь. Что за ерунда? Чего он боится? Этого ворвавшегося, словно черный штормовой прилив, карнавала? Или того, что знают о нем только он с Джимом, да вот еще отец, наверное, а весь город спит и не подозревает ни о чем?

Да. Вилли зарылся в одеяло с головой. Да.

— Три...

Три — это три утра, думал Чарльз Хэллуэй, сидя на краю постели. Почему поезд пришел именно в этот час?

Да потому, текли дальше мысли, что этот час — особый. Женщины ведь никогда не просыпаются в этот час. Они спят сном младенцев. А мужчины средних лет? О, они хорошо знают этот час. О Господи, полночь — это совсем неплохо: проснулся — и уснул, и час, и два — не страшно, ну поворожаешься и уснешь опять. А в шестом часу уже появилась надежда, рассвет недалеко. Но — три! Господи Иисусе, три пополуночи! Врачи говорят, тело в эту пору затихает. Душа выходит. Кровь течет еле-еле, а смерть подбирается так близко, как бывает только в последний час. Сон — это клочок смерти, но три часа утра, на которые взглянул в упор, — это смерть заживо! Тогда начинаешь грезить с открытыми глазами. Боже, если бы найти силы встать и перестрелять эти полуночи! Но нет сил. Лежишь приколотенный к самому дну, выжженному дотла. И эта дурацкая лунная рожа пялится на тебя сверху! Вечерней зари не осталось и в помине, а до рассвета еще сто лет. Лежишь и собираешь всю дурь своей жизни, какие-то милые глупости близких людей — а их давно уже нет... Где-то было

написано, что в больницах люди умирают чаще всего в три пополуночи...

— Хватит! — молча крикнул он.

— Чарли? — сонно-вопросительно пробормотала жена.

Он медленно снял второй ботинок. Жена слабо улыбнулась во сне... чему? Она бессмертна. У нее есть сын. Но ведь и у тебя тоже. Э-э, когда и какой отец на самом деле верил в это? Не выносив ребенка, не пережив боли? Кто из мужчин опускался во мрак и возвращался с сыном или дочерью так, как это делают женщины? Эти милые, улыбающиеся создания владеют доброй тайной. Эти чудесные часы, приютившие Время, — они творят плоть, которой суждено связать бесконечности. Дар внутри них, они признали силу чуда и больше не задумываются о ней. К чему размышлять о Времени, если ты — само время, если претворяешь мимолетный миг вечности в тепло и жизнь? Как должны завидовать мужчины своим женам, как часто такая зависть оборачивается ненавистью к этим мягким существам, уже обретшим жизнь вечную! А мы? Мы становимся ужасно важными, хотя неспособны удержать не только мир вокруг себя, но даже себя в мире. Слепые, не ведающие целого, мы падаем, разбиваемся, таем, останавливаемся и поворачиваем вспять. Мы не можем придать форму Времени. И что же остается? Страдать от бессонницы и пялить глаза в ночную темень.

Три после полуночи. Вот и вся нам награда. Три утра. Полночь души. Отлив. Душа остается на песке. И в этот час отчаяния приходит поезд. Почему?

— Чарли? — Рука жены нашла его руку. — С тобой... все в порядке? Чарли? — Она спала.

Он не ответил. Он не смог бы объяснить, каково ему сейчас.

Лимонно-желтое солнце появилось на круглом синем небе. Птицы рассыпали в воздухе прозрачные журчащие трели. Вилли и Джим выглянули из окон.

Вроде бы ничего не изменилось. Вот только взгляд у Джима...

— Этой ночью, — проговорил Вилли, — что это было? Или — не было?

Они вгляделись в луговые дали. Воздух там сгущался, как сироп. Даже под деревьями не видно ни единой тени.

— Шесть минут! — крикнул Джим.

— Пять!

Через четыре минуты с шуршащими в животах кукурузными хлопьями ребята уже выколачивали из палой листвы красноватую пыль на окраине. Вот последний холм. Глаза наконец оторвались от земли под ногами.

Карнавал был тут. Шатры, лимонно-желтые, как солнце, медно-желтые, как пшеничные поля еще две недели назад. Вымпелы, флаги, яркие, как синие птицы, хлопают над холщовыми балаганами львиного цвета. Из палаток, похожих на леденцы, плывут субботние запахи яичницы с ветчиной, жареных сосисок и оладий с кленовым сиропом. Повсюду носятся мальчишки, таща на буксире еще не проснувшихся до конца отцов.

— Ну, прямо самый обычный карнавал, — растерянно проговорил Вилли.

— Самая обычная дьявольщина, — энергично произнес Джим. — Не ослепли же мы прошлой ночью в самом деле! Пошли!

Они прошли сотню ярдов, и вот уже карнавал вокруг. Чем дальше они продвигались, тем яснее становилось: им не найти здесь тех ночных людей, что по-кошачьи двигались в тени болотного шара, под шатрами, клубящимися, как грозовые тучи. Вблизи карнавал оборачивался полусгнившими веревками, изъеденной молью парусиной, давно полинявшей, выгоревшей на солнце мишурой. Вывески балаганов обвисли на шестах печальными птицами, с них осыпались чешуйки древней краски; пологи трепыхались, приоткрывая на миг скучные чудеса: тощий человек, толстый человек, человек в картинках, человек, танцующий хула...

Сколько они ни рыскали, им так и не попалась таинственная сфера, надутая вредоносным газом, привязанная диковинными восточными узлами к рукоятям кинжалов, вонзенных в землю; не было ни помешанного

билетера, ни жуткой мести. Калиоп возле билетной кассы был нем как рыба. Ну а поезд? А что — поезд? Вон он стоит в густой теплой траве, сильно старый, в меру ржавый, с торчащими рычагами, шатунами и тендером, где даже второсортного кошмара не отыскать. Не было и в помине у этой развалины мрачного похоронного силуэта. Из него так много гари вылетело с паром и черными пороховыми хлопьями, что сил осталось разве на безмолвную просьбу полежать вот тут, на травке, среди осеннего листопада.

— Джим! Вилли!

Перед ребятами стояла мисс Фолей, учительница из седьмого класса, — одна сплошная улыбка.

— Мальчики, что стряслось? У вас такой вид, словно вы что-то потеряли.

— Да вот... — замялся Вилли, — калиоп... Вы не слышали прошлой ночью?

— Калиоп? Нет, не слыхала.

— А тогда как же вы оказались тут в такую рань, мисс Фолей? — спросил Джим.

— Я люблю карнавалы, — беспечно сияя, ответила мисс Фолей, маленькая улыбчивая женщина, заплутавшая между своим пятым и шестым десятком. — Давайте я куплю вам горячих сосисок, а пока вы будете есть, разыщу своего несносного племянника. Вы его не видели?

— Племянника?

— Да Роберта. Он должен погостить у меня пару недель. У него умер отец, а мать после этого расхворалась. Вот я его и взяла к себе. Он еще спозаранок удрал сюда. Там, говорит, встретимся. Вот и ищи его теперь. Э-э, что-то вы сегодня не в духе. Ну, пожуйте пока, и нечего хмуриться! — Она протянула мальчишкам угощение. — Через десять минут откроются аттракционы. Пойду-ка посмотрю его в Зеркальном Лабиринте...

— Нет! — неожиданно выпалил Вилли.

— Что «нет»? — не поняла мисс Фолей.

— Не надо в Зеркальном Лабиринте, — судорожно глотнув, промолвил Вилли. Перед его глазами в глубине Лабиринта проплыли мили отражений, а дна не было видно. Мальчику показалось, что там затаилась Зима и ждет, чтобы превратить в лед одним убийственным взглядом. — Мисс Фолей, — с трудом выговорил он, с удивлением вслушиваясь в звуки собственного голоса, — мисс Фолей, не ходите туда.

— Но почему?

Джим удивленно воззрился на друга.

— Да, Вилли, почему бы и не сходить туда?

— Там люди пропадают, — смущенно вымолвил Вилли.

— Ха! Тем более. А вдруг Роберт там заблудился? Этак он не выберется, пока я его за ухо не вытащу! — Мисс Фолей была настроена по боевому.

— Никто не знает, что там внутри плавает, — с трудом выговорил Вилли, не в силах отвести глаз от тысяч миль сверкающего стекла.

— Плавает! — рассмеялась мисс Фолей. — А ты фантазер, Вилли! Ну да я-то старая рыбка, так что...

— Мисс Фолей!

Но она уже отошла от них, помахав на прощанье, на секунду помедлила перед входом, шагнула и исчезла в зеркальном океане. Некоторое время ребята еще видели, как ее отражение погружается все глубже и наконец окончательно растворяется среди мерцающего серебра.

Джим вцепился в плечо Вилли.

— Что это значит, Вилли?

— Черт побери, Джим! Да зеркала эти! Не нравятся они мне. Посмотри, они здесь единственные такие же, как ночью.

— Ну, приятель, ты просто перегрелся на солнце! — фыркнул Джим. — Это же Лабиринт... — Он вдруг умолк. От зеркальных стен потянуло ледяным сквозняком.

— Джим, ты что-то начал говорить про Лабиринт...

Но Джим молчал. Только спустя минуту он хлопнул себя ладонью по шее.

— Точно!

— Да что с тобой, Джим? О чем ты?

— Волосы! — выкрикнул Джим. — Я же везде про это читал. Во всех страшных историях они всегда дыбом встают. Вот как сейчас у меня.

— Черт возьми, Джим! И у меня тоже.

Так они и стояли, переглядываясь, чувствуя восхитительные мурашки, а волосы у каждого и правда стояли дыбом.

В Зеркальном Лабиринте беспомощно тыкался силуэт мисс Фолей — два силуэта, четыре, нет, целая дюжина. Они не знали, которая из них настоящая, и помахали всем сразу. Но вот странность — ни одна мисс Фолей не заметила их и не помахала в ответ. Она брела там, в Лабиринте, словно слепая, скользя ногтями по холодному стеклу.

— Мисс Фолей!

Нет, она не слышит. Глаза побелели, как у статуи. Она что-то говорила, там, в зеркалах, во всяком случае, губы ее шевелились. Она бормотала,

причитала, вскрикивала, нет, кричала. Она билась головой о стекло, колотилась в него локтями, словно ошалевший мотылек о лампу, она воздевала руки. «О Господи! Помогите! — плакала она. — Помогите, о Господи!»

Джим и Вилли бросились вперед и замерли — из глубины зеркал выплыли их бледные лица с широко раскрытыми глазами.

— Мисс Фолей, вот сюда! — Джим протянул руку ко входу и наткнулся на холодное стекло.

— Сюда! — крикнул Вилли и ткнулся лбом в зеркало.

Из пустоты вынырнула рука, рука пожилой женщины, уже обессиленная, она в последний раз искала спасительную опору, и этой опорой оказался Вилли. Рука вцепилась в него и потащила в глубину, едва не сбив с ног.

— Вилли!

— Ай, Джим!

Джим ухватил друга за штаны, Вилли вцепился в руку, и так они вместе вытащили ее из безмолвных, обступающих со всех сторон, накатывающихся волной холодных зеркал.

Они выбрались на солнце.

Мисс Фолей, ощупывая синяк на щеке, то постанывала, то вздыхала, то принималась смеяться и вытирать глаза.

— Спасибо вам, спасибо, Вилли, спасибо, Джим! Я чуть не утонула там. Нет, я хотела сказать... О Боже, Вилли, ты был прав. Господи, Вилли, ты видел, как она заблудилась, как тонула... Бедняжка, она там совсем одна, она заблудилась! Мы должны спасти ее!

— Мисс Фолей! — Вилли с трудом удерживал руки, норовившие вцепиться в него. — Там же нет никого! Мисс Фолей!

— Я видела! Прошу вас, посмотрите! Спасите ее!

Вилли подскочил ко входу в Лабиринт и остановился, наткнувшись на ленивый, презрительный взгляд билетера. Он повернулся и подошел к учительнице.

— Мисс Фолей! Клянусь вам, там нет никого. После вас никто туда не входил. Это я неудачно пошутил насчет воды, вот вам, наверное, и запало...

Может быть, она и услышала, но никак не могла остановиться и все бормотала, растирая тыльные стороны ладоней. Голос учительницы изменился, словно она и правда каким-то чудом вернулась из невообразимых глубин, где нет уже никакой надежды.

— Никто не входил? Да она там, на дне! Бедная девочка! Я узнала ее... и сказала ей: «Я знаю тебя». Я даже помахала ей, и она крикнула мне:

«Привет!» Я побежала к ней, и вдруг — бац! упала. И она упала. И десятки, тысячи нас упали. «Погоди, — сказала я, — что ты тут делаешь?» Она была такой прелестной, такой юной... Но я почему-то испугалась. И тут мне послышалось, что она ответила. «Я настоящая, — говорит, — а ты нет!» — И засмеялась как из-под воды, а потом убежала туда, в Лабиринт. Надо найти ее!

— Мисс Фолей! — Вилли крепко обхватил ее и встряхнул. Она в последний раз всхлипнула и затихла.

Джим все вглядывался в холодные глубины, словно высматривая акул, но если они и были там, то предпочитали не показываться.

— Мисс Фолей, а как она выглядела? — спросил он.

Учительница заговорила снова слабым, но спокойным голосом:

— Она... она очень похожа на меня... только много-много лет назад. Ох, пойду-ка я домой...

— Мисс Фолей, мы проводим вас.

— Нет, нет, оставайтесь. Мне уже лучше. Оставайтесь, не стану портить вам веселье. — И она медленно пошла прочь. Одна.

Где-то неподалеку немаленький зверь напустил лужу. Ветер принес резкий запах аммиака, почему-то напомнивший о древности.

— Я ухожу, — сказал Вилли.

— Мы остаемся до заката, — быстро возразил Джим, — до самого темна, и все углядим, все как есть. Ты что, сдрейфил?

— Нет, — автоматически ответил Вилли. — А ты уверен, что никто не захочет больше нырнуть в этот чертов Лабиринт?

Джим быстро взглянул в бездонное зеркальное море, но там был теперь только чистый холодный свет, он открывал пустоту за пустотой позади пустоты.

— Никто! — твердо вымолвил Джим Подождал, пока сердце стукнет дважды, и пробормотал: — Наверное...

Плохое случилось уже на закате. Исчез Джим.

За целый день они с Вилли перепробовали половину аттракционов, разбили кучу бутылок в тире, выиграли кучу жетонов, принохивались, прислушивались, прокладывали себе путь в толпе, топчущейся на опавших листьях и опилках. А потом, совершенно неожиданно, Джим пропал.

Тогда Вилли, никого не спрашивая, молча и уверенно протиснулся через толпу и под небом цвета спелой сливы вышел к Лабиринту, заплатил за вход и шагнул внутрь. Потом он тихо позвал только один раз: «Джим!»

Да, Джим был там, наполовину внутри, наполовину снаружи холодных стеклянных волн. Словно его выбросило на песок, а друг его ушел далеко, и неизвестно — вернется ли когда-нибудь. Казалось, Джим стоит здесь уже часы, неподвижный, моргая едва ли раз в пять минут, губы чуть приоткрыты, стоит и ждет следующей волны, чтобы она открыла ему еще больше.

— Джим! Пошли отсюда!

— Вилли... — Джим едва заметно вздрогнул, — оставь меня.

— Жди-ка! — Одним прыжком Вилли добрался до Джима, схватил за пояс и потащил за собой. Кажется, Джим даже не понимал, что его волокут вон из Лабиринта. Он слабо упирался и, похоже, протестовал, повторяя заворуженно: «Вилли, о Вилли, Вилли!..»

— Джим! Сдурел ты, что ли? Я тебя домой веду!

— Что? Куда? Что?

Вот они уже снаружи, на ветерке. Небо налилось темнее сливы, только высокие редкие облачка еще ловили закатный свет. Отсвет пробежал по лицу Джима, по приоткрытым губам, мелькнул в невероятно позеленевших глазах.

— Джим! — тряс друга Вилли. — Что ты там видел? То же, что и мисс Фолей?

— Что? — слабо переспросил Джим.

— Счас как дам по носу! А ну, иди давай!

Вилли пихал, подталкивал, подгонял, почти силком тащил ошалевшего от загадочного восторга, слабо упиравшегося друга.

— Я не могу тебе сказать, Вилли, — бормотал Джим, — ты не поверишь... не знаю, как сказать. Там, внутри, о, там в глубине...

— Заткнись! — Вилли стукнул его по плечу. — Перепугал меня черт-

те как! Давеча мисс Фолей, теперь ты. С ума сойти. Гляди, время-то к ужину! Дома нас уж похоронили небось.

Шатры остались позади, под ногами шуршала стерня, и Вилли все поглядывал вперед, на город, а Джим все озирался назад, на хлопающие, быстро теряющие краски флаги на шестах.

— Вилли! Нам обязательно нужно вернуться попозже...

— Надо тебе, вот и возвращайся!

Джим остановился.

— Но ты же не отправишь меня одного, а? Вилли, ты же обещал, что всегда будешь рядом! Чтобы защищать меня, а, Вилли?

— Это еще неизвестно, кто кого защищать будет, — расхохотался было Вилли, но тут же замолчал. Джим странно, без улыбки, смотрел на него, а темнота словно заливала это знакомое лицо, скапливаясь во впадинах ноздрей, в ямах вдруг глубоко запавших глаз.

— Вилли, ты ведь будешь со мной? Всегда? Теплая волна обдала Вилли. В груди, возле сердца, шевельнулся ответ: «Да Ты ведь и так знаешь, что да.»

Они оба повернулись разом, шагнули и... споткнулись о тяжело лязгнувшую кожаную сумку.

Они долго стояли над ней. Вилли пошевелил сумку ногой. Внутри снова тяжело звякнуло.

— Это же сумка торговца громоотводами, — неуверенно произнес Вилли.

Джим наклонился, запустил руку в сумку и вытащил металлический стержень, сплошь покрытый химерами, клыкастыми китайскими драконами с огромными выпученными глазами, рыцарями в доспехах, крестами, полумесяцами, всеми символами мира. Все упования, все надежды человеческие тяжким грузом легли в руки ребят.

— Гроза так и не пришла. Зато он ушел.

— Куда? А как же сумка? Почему он ее бросил?

Оба одновременно оглянулись на карнавал позади. От парусиновых крыш волна за волной накатывал холод. От луга к городу шли машины. Мальчишки на велосипедах свистом звали собак. Скоро дорогу накроет ночь, скоро тени на Чертовом Колесе поднимутся до самых звезд.

— Люди не станут бросать посреди дороги всю свою жизнь, — заметил Джим. — У него больше ничего не было, и если что-то заставило его просто забыть сумку на дороге, значит, это был не пустяк. — Глаза у Джима загорелись, как у гончей, взявшей след.

— Пустяк не пустяк, но чтобы вот так про все забыть?.. — недоумевал Вилли.

— Вот видишь! — Джим с любопытством наблюдал за другом. — Загадка на загадке. Грозовой торговец, сумка торговца... Если мы сейчас не вернемся, то никогда ничего не узнаем.

— Джим... — Вилли уже колебался. — Ладно. Только на десять минут.

— Точно! А то темнеет уже. Все дома, ужинают. Одни мы здесь и остались. Ты подумай, как здорово! МЫ ОДНИ. Да еще и возвращаемся.

Они прошли мимо Зеркального Лабиринта. Из серебристых глубин навстречу им выступили две армии — миллион Джимов наступал на миллион Вилли. Армии столкнулись, смешались и исчезли. Вокруг не было ни души.

Ребята стояли посреди темного карнавала и невольно думали о десятках своих знакомых, улетающих ужин в теплых, светлых кухнях.

Крупные красные буквы кричали: «Неисправность! Не подходить!»

— А! Это с самого утра здесь висит, — махнул рукой Джим. — Вранье, по-моему.

Ребята стояли перед каруселью, а от вершин старых дубов накатывались на них волны жестяного шелеста. Кони, козы, антилопы и зебры замерли на кругу, пронзенные медными копьями. Словно рука могучего небесного охотника разом метнула смертоносные жала, пригвоздила несчастных животных к деревянному кругу, и они застыли, мучительно выгнувшись, умоляя раскрашенными испуганными глазами о милосердии и страдальчески оскалив зубы.

— Вовсе она не сломана. — С этими словами Джим перемахнул звякнувшую цепочку и ступил на вращающийся круг. Его сразу обступили зачарованные звери.

— Джим!

— Да ладно, Вилли. Мы же только карусель и не видели. Значит...

Джим качнулся. Лунатический карусельный мир дрогнул и слегка накренился. Звери шевельнулись. Джим хлопнул по шее темно-сливового жеребца.

— Эй, парень! — Из темноты за машинной будкой выступил человек, шагнул и подхватил Джима.

— Ай! — завопил Джим. — Вилли!

Вилли как стоял, так и прыгнул через цепочку ограждения и первый ряд зверей. Человек улыбнулся, ловко подхватил и его тоже, а потом поставил рядом с Джимом. Теперь они стояли бок о бок и глазели на буйную рыжую шевелюру над ярко-синими глазами незнакомца. Под тонкой рубашкой буграми перекачивались могучие мышцы.

— Неисправна, — мягко сказал человек. — Вы что, читать не умеете?

— Отпусти-ка их! — произнес новый, властный голос.

Ни Джим, ни Вилли не заметили, откуда взялся еще один мужчина. Он стоял возле самой цепочки.

— Доставь-ка их сюда, — повелел он.

Рыжий атлет плавно перенес ребят над спинами безропотных зверей и поставил в пыль у входа.

— Мы... — начал было Вилли.

— Любопытствуете, — не дал ему договорить вновь прибывший. Был

он высок, как фонарный столб, и бледен так, что вокруг лица расплывались лунные блики. Брови, волосы, костюм — антрацитового цвета, а жилет — кроваво-красный, и янтарная булавка в галстук в тон медово-желтым глазам. Впрочем, глаз Вилли поначалу не разглядел. Его поразил костюм долговязого, сделанный из удивительной материи. Такую ткань можно было бы получить, ссучив нить из зарослей «кабаньей ежевики»^[25], пружинной твердости конского волоса, щетины и такой, знаете, блескучей конопли. Ткань все время шевелилась, отливала и вспыхивала, а на ощупь она была, кажется, как самый колючий твид. В таком костюме человек должен был бы мучиться несказанно, страшный зуд любого заставил бы рвать на себе одежду, а этот стоял себе, как ни в чем не бывало, невозмутимый, как луна, ныряющая меж облаков, и внимательными рысьими глазами наблюдал за Джимом. На Вилли он и не посмотрел ни разу.

— Я — Дарк, — представился человек-жердь и взмахнул белой визитной карточкой. Она тут же стала синей.

Шелест. Карточка покраснела. Взмах. На ней проступил зеленый человек, свисающий с дерева. Карточка мелькала, приковывая взгляд.

— Дарк — это я. А вот этот рыжий мистер — мой друг Кугер.

Кугер и Дарк.

Опять шелест. На карточке пронеслись и исчезли какие-то имена. Выступили слова: «СОВМЕСТНОЕ ШОУ ТЕНЕЙ», мигнули и растаяли. На их месте крошечная, но противная ведьма мешала в заплесневевшем горшке какое-то гнусное варево. Но и ее в свою очередь согнали крупные буквы: «МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ АДСКИЙ ТЕАТР». Дарк протянул карточку Джиму. Джим принял ее и прочитал: «Наша специальность: проверка, смазка, полировка и ремонт жуков-могильщиков». Джим и глазом не моргнул. Секунду он рылся в бездонном кармане, полном сокровищ, как пиратский сундук, что-то выудил и протянул м-ру Дарку. На ладони лежал дохлый коричневый жук.

— Вот, — ровным голосом произнес Джим, — займитесь им.

— Ловко! — расхохотался м-р Дарк. — Один момент! — Он протянул руку за жуком, и из-под манжеты рубашки на миг выглянули пурпурные, темно-зеленые и ярко-синие драконы, перевитые латинскими, кажется, надписями.

— О! — воскликнул Вилли. — Человек-в-Татуировке!

— Нет, — Джим внимательно всмотрелся, — Человек-в-Картинках. Не одно и то же.

— Верно, парень, — м-р Дарк благодарно кивнул. — Как звать тебя?

«Не говори! — мысленно завопил Вилли и тут же с недоумением спросил сам себя: — А почему, собственно?»

— Саймон! — назвался Джим и криво ухмыльнулся, намекая на возможность существования других вариантов своего имени.

М-р Дарк понимающе ухмыльнулся в ответ.

— Хочешь увидеть побольше, а, «Саймон»?

Джим с независимым видом кивнул, вроде бы и не очень ему хотелось. Медленно, с нескрываемым удовольствием м-р Дарк засучил рукав рубашки до локтя. Джим так и впился глазами в руку. Больше всего она напоминала кобру, изготовившуюся для броска. М-р Дарк пошевелил пальцами, мышцы задвигались, картинки ожили.

Вилли очень хотелось посмотреть поближе, но он остался стоять на месте и только твердил про себя: «Джим! Ой, Джим!»

Джим и долговязый откровенно изучали друг друга. Колочий костюм Дарка словно оттенял рдевшие щеки и пляшущие глаза Джима. Казалось, Джим только что порвал ленточку в десятимильном забеге и теперь с пересохшими губами стоит и не может прийти в себя, готовый принять любую награду за свою победу. И вот она, награда — живые картинки, разыгрывающие пантомиму от одного только биения пульса под иллюстрированной кожей. Джим смотрел не отрываясь, а Вилли было не видеть, поэтому он стоял и думал о последних горожанах, возвращавшихся в город в теплых машинах, спешащих к ужину...

— Ух ты, вот черт! — слабым голосом проговорил Джим, и м-р Дарк тут же опустил рукав.

— Все. Представление окончено. Пора ужинать. Карнавал закрывается до семи утра. Все уходят. Приходи завтра, «Саймон», покатаешься на карусели, когда ее починят. Возьми мою карточку, для тебя вход свободный.

Джим, все еще не в силах оторвать глаз от запястий Дарка, взял карточку и сунул в карман.

— Ну, пока!

Джим повернулся. Джим побежал. Спустя секунду Вилли кинулся за ним. Джим оглянулся через плечо, изогнулся, подпрыгнул и... исчез. Вилли растерянно остановился. У него над головой из-за ствола дерева выглянул Джим. М-р Дарк и Кугер склонились над механизмом карусели.

— Быстро, Вилли! — зашипел из ветвей Джим. — Прыгай сюда! Да скорее же, а то увидят!

Вилли не очень ловко подпрыгнул, Джим подхватил его и втащил наверх. Дерево затряслось. Ветер прошумел в кроне.

— Джим! Зачем... — начал было Вилли.

— Заткнись! И смотри! — яростно зашептал Джим. Со стороны карусели доносилось металлическое постукивание, позвякивание, слабый скрип.

— Что у него там на руке было, Джим?

— Картинки.

— Ясно, картинки. Какие?

— Ну... такие. — Джим прикрыл глаза, словно пытаясь вспомнить. — Ну, знаешь, змеи там всякие. — Он почему-то отвел глаза.

— Не хочешь, не говори, — пожал плечами Вилли.

— Да нет. Я же сказал: змеи. Хочешь, я попрошу его показать и тебе... попозже?

«Нет, — подумал Вилли, — нет, не хочу». Он посмотрел вниз. Под деревом, в дорожной пыли, застыли тысячи отпечатков ног, а людей и след простыл. Вилли вдруг подумалось, что ночь теперь куда ближе, чем день.

— Я домой пойду, — неуверенно пробормотал он.

— Точно, Вилли, иди. Тут, значит, Зеркальные Лабиринты, старые учительницы, сумки с громоотводами, пропадающие торговцы, змеи на картинках шевелятся, нормальную карусель чинят, а ты, стало быть, домой? Ну, ладно. Пока, старина!

— Я... — Вилли взглянул вниз и замер.

— Все чисто? — раздался голос почти прямо под деревом.

— Чисто! — ответили издали.

М-р Дарк подошел к красной машинной коробке карусели, внимательно огляделся. Несколько мгновений он смотрел на дерево у дороги.

Вилли попытался вжаться в ствол.

— Включай!

Под стук, звон и бряканье карусель двинулась с места.

«Но ведь она же сломана!» — в панике подумал Вилли и растерянно оглянулся на Джима. Тот показывал вниз. И тут только Вилли заметил: карусель вращалась в обратную сторону!

Небольшой калиоп внутри механизма сопел, сипел, свиристел, брякал и позванивал.

«И музыка тоже наоборот», — подумал Вилли.

Как будто уловив его мысли, м-р Дарк дернулся и снова пристально посмотрел на дерево. Ветер завихрил вокруг Вилли черную листву. М-р Дарк едва заметно пожал плечами и отвернулся.

Взвизгивая и нелепо вихляясь, карусель крутилась все быстрее. М-р Кугер для проверки прошел немного по дороге и остановился прямо под

деревом. Вилли запросто мог бы плюнуть в него. В это время калиоп вскрикнул особенно пронзительно. В далеком пригороде отозвались собаки. Будто получив сигнал, м-р Кугер помчался обратно по дороге и с разбега ловко вскочил на карусель, оседлав какое-то унылое животное, спешившее задом наперед. Торчали во все стороны буйные огненно-рыжие волосы м-ра Кугера, на розовом лице сияли ярко-синие глаза. Карусель летела, и музыка летела, не отставая. Наоборот. «А откуда я знаю, что она началась с конца?» — подумал Вилли. Крепко вцепившись в сук, он пытался поймать мотив и сообразить, что это за мелодия, но литавры, колокольцы и барабаны били его в грудь, захватывали сердце и все подгоняли, подгоняли, заставляя кровь течь по жилам вспять, пульс — колотиться в висках, а руки — слабеть. Цепенея, Вилли изо всех сил сжимал сук. Он не мог оторвать глаз от взбесившейся карусели и невозмутимой фигуры м-ра Дарка, стоявшего рядом, за пультом.

Джим первым заметил новую странность и пихнул в бок Вилли. М-р Кугер! Вот его снова вынесло вперед, и Вилли оторопел. Лицо м-ра Кугера таяло, как розовый воск. Руки на глазах становились кукольными, тело под одеждой усыхало, да и одежда сжималась тоже, морщась и корячась. Скрылся. Появился снова, став еще меньше.

Огромным лунным сновидением разворачивалась карусель, волокла против естества несчастных лошадей, засасывала воздух под дикую музыку, а м-р Кугер, обыкновенный рыжий м-р Кугер с каждым оборотом становился все моложе и моложе. Годы слетали с него, как пыль, он беззаботно поглядывал на звезды, скользил взглядом по населенному мальчишками дереву, словно не замечая, как мельчают черты его лица, заостряется носик, розовеют, тая, уши.

Если в начале карусельной круговерти ему было сорок, то теперь — едва ли девятнадцать. На глазах у всех мужчина превращался в юношу, юноша — в мальчика... Вот ему семнадцать, шестнадцать... Еще оборот, еще... Вилли что-то шепчет. Джим считает круги, а ночной воздух теплеет, разогревается от трения, от необузданного полета шальных зверей; но уже медленнее вращение, реже вскрики калиопа, и вот, наконец, шипение, усталый свист, музыка проскулила жалобно в последний раз, карусель словно наехала на водоросли в воде и встала.

В деревянном седле виднелась тщедушная фигурка. Лет двенадцати. Губы Вилли без его участия шепнули: «Нет!» Губы Джима шевельнулись: «Нет!»

Маленькая тень сошла с круга. Лица не видать, а на руки падает свет фонаря. Розовые, сморщенные, словно новорожденные руки...

Мальчик-мужчина стрельнул глазами. Кажется, он чуял волны благоговейного ужаса, исходящие от дерева. Ужасный взгляд, как железный шип, пронзил листву. Маленький человек повернулся, замер, а потом кроличьи чесанул по дороге.

Джим раздвинул мешавшие листья. М-р Дарк тоже уходил следом. Вилли не чаял дожидаться, пока Джим спустился вниз. Но вот наконец они стоят на земле, потрясенные разыгравшейся пантомимой, ошеломленные таким поворотом событий. Первым заговорил Джим. Провожая глазами крошечную фигурку, улетающую по дороге, он сипло произнес:

— Да, Вилли, я тоже хочу домой, хочу поесть в тепле и покое. Но мы уже слишком много видели. Надо же досмотреть до конца, а? Ведь надо?

— Господи! — взмолился Вилли в полном отчаянии. — Да, я думаю, надо.

И они вместе побежали вослед невесть чему и незнамо куда.

За холмами быстро гасли бледные закатные отсветы. За чем бы ни охотились ребята — оно далеко впереди, так далеко, что не понять — есть или нету. И все же, если взглядеться, под дальними фонарями нет-нет да и мелькнет бегущая фигурка.

— Двадцать восемь! — выдохнул Джим. — Двадцать восемь раз он прокрутился.

— Ничего себе карусель! — помотал головой Вилли.

Маленькая фигурка далеко впереди остановилась и оглянулась. Джим и Вилли разом прыгнули за дерево, выжидая, пока это двинется дальше.

«Это, — подумал Вилли, — но почему „это“? Он же мальчишка... или мужчина? Нет. Это то, что менялось, вот оно что!» Они рысцой миновали окраину, и тут Вилли осенило.

— Слушай, Джим. Наверное, их там двое было, на карусели. Мистер Кугер и этот парнишка...

— Нет, — отрезал Джим. — Я с него глаз не спускал.

Они бежали мимо парикмахерской. Вилли скользнул глазами по какому-то объявлению в витрине и не смог сложить буквы. Впрочем, от тут же забыл об этом.

— Эй! Он свернул на улицу Калпеппера! Живей!

Они резко повернули за угол.

— Ушел!

Улица под фонарями лежала длинная и пустая. «Классики», расчерченные на тротуарах, заметало палой листвой.

— Вилли! А ведь мисс Фолей на этой улице живет?

— Да, вроде бы. В четвертом доме, кажется... Только... — Он не кончил.

Джим притормозил, засунул руки в карманы и, посвистывая, зашагал дальше небрежной походкой. Вилли шел рядом. Пройдя третий дом, они посмотрели наверх. В одном из слабо освещенных окон кто-то стоял. Кажется, это был мальчишка лет двенадцати.

— Вилли! — одними губами позвал Джим. — Этот парень...

— Ее племянник?

— Племянник, как же! Держи карман! Отвернись, может, он по губам читать умеет. Давай помедленнее. До угла, а потом — обратно... Ты лицо его видел? Глаза, Вилли! Они-то у людей не меняются, будь тебе хоть

шесть, хоть шестьдесят. Лицо у него точь-в-точь как у мальчишки, но глаза-то — мистера Кугера!

— Нет!

— Да!

Они остановились. Вздрагивая от бешеных толчков под ребрами, Джим крепко взял Вилли за руку и повел.

— Неужто ты не помнишь, какие у этого Кугера глаза были, когда он нас подхватил? А потом этот тип чуть меня на дереве не увидел. Ух! Никогда не забуду! И вот сейчас, в окне, те же самые глаза. Давай еще разок пройдемся, и помедленнее, поспокойнее. Надо же как-то предупредить мисс Фолей, какая у нее штука дома прячется.

— Постой, Джим, да как же ты предупредишь ее?

Джим не ответил. Только глянул искоса зеленым сияющим глазом. Вилли опять, как уже бывало, вспомнил одного знакомого старого пса. Тот жил себе спокойно месяц за месяцем, но потом однажды наступал момент, и пес исчезал на несколько дней, а то и на неделю. Домой он возвращался весь в репьях, прихрамывая, тощий, от него несло всеми помойками и болотами в округе. Можно было подумать, он для того только и выискивал места погрязнее, чтобы потом вернуться домой с глуповатой, смущенной улыбкой на морде.

Отец звал его Платоном, в честь древнего философа. Как и Платон, пес, похоже, все знал и все понимал. Вернувшись на тропу добропорядочности, он месяцами не сходил с нее, но однажды все начиналось сначала. «И вот сейчас, — думал Вилли, — на Джима тоже накатило. Уши торчком, нос — по ветру, он что-то слышит внутри. Может быть, тиканье часов, отсчитывающих другое, нездешнее время? Вон у него даже язык длиннее стал. Ишь, облизывается...»

Они снова остановились возле дома мисс Фолей, но в окне никого не было.

— Давай поднимемся, позвоним, — предложил Джим.

— Хочешь столкнуться с ним нос к носу?

— Надо же удостовериться. Лапу ему потрясти, в глаза посмотреть или куда там еще.

— Ты что, прямо при нем предупреждать ее будешь?

— Да зачем? Потом позвоним ей и все расскажем. Пошли!

Вилли вздохнул и покорился. Поднимаясь по ступенькам, он не знал, хочется ли ему, чтобы в этом мальчишке скрывался м-р Кугер.

Джим подергал дверной колокольчик.

— А если он откроет? — не удержался Вилли. — Знаешь, я так

сдрейфил, что с меня пыль осыпается. А ты что, вовсе не боишься?

Джим с интересом изучил свои спокойные ладони, повертел их так и сяк.

— Да будь я проклят! — выдохнул он. — Ты в точку попал: не боюсь я. Широко распахнулась дверь, и на пороге предстала улыбающаяся мисс Фолей.

— Джим! Вилли! Очень мило с вашей стороны!

— Мисс Фолей! — выпалил Вилли. — У вас все о'кей?

Джим в ярости взглянул на него.

— О! А почему бы и нет? — удивилась мисс Фолей.

Вилли сильно покраснел.

— Да мы просто... просто беспокоились. Эти проклятые карнавальные зеркала!

— Ерунда! Я уже и забыла о них. Может, войдете? — Она все еще распахивала перед ними дверь.

Вилли шаркнул ногой и уже собрался ответить, но замер. Занавеска позади мисс Фолей колыхнулась и обвисла, как темно-синий дождь, летящий наискось в дверном проеме. В том месте, где капли неподвижного дождя почти касались пола, торчали маленькие запыленные сандалии. Где-то за занавеской слонялся, видно, и сам недавний злой беглец.

«Злой? — опять подумал Вилли. — Да откуда я взял, что он — злой? А впрочем, с чего бы ему не злым быть? Именно: злой мальчишка».

— Роберт? — Мисс Фолей обернулась к дождевой завесе. Потом она взяла Вилли за руку и ввела в квартиру. — Роберт, иди познакомься с моими учениками!

Сквозь синие дождевики просунулась песочно-розовая рука и словно пощупала, какая там, в прихожей, температура.

«Вот беда-то! — успел подумать Вилли. — Счас он ка-ак на меня глянет и тут же поймет все. У меня же эта карусель прямо в глазу отпечаталась, как... как от молнии!»

— Мисс Фолей, — с трудом произнес Вилли.

Сквозь тускло мерцающий занавес непогоды выглянуло розовое лицо.

— Мисс Фолей, мы должны сказать вам ужасную вещь...

Джим ударил его по руке. Сильно ударил. Вот уже следом за лицом и тело проскользнуло через текучий полог. Мальчик. Стоит.

А позади шуршит тихий дождь.

Мисс Фолей слегка подалась вперед, к Вилли. Она ждет. Джим больно ухватил за локоть, потрянул. Вилли сбился; вспыхнул и вдруг выпалил:

— Мистер Крозетти!

Внезапно перед его мысленным взором совершенно отчетливо всплыла бумажка в окне парикмахерской. Там было написано: «Закрывается из-за болезни».

— Мистер Крозетти, — зачастил Вилли, — он... он умер!

— Как? Парикмахер?

— Парикмахер? — ахнул рядом пораженный Джим.

— Вот, видите? — Вилли зачем-то потрогал себя за голову. — Это он стриг. А сейчас мы шли там... и написано... а люди сказали...

— Какая жалость! — Мисс Фолей попыталась незаметно подтащить к себе поближе розоволицего мальчишку. — Мне, право, жаль. Мальчишки, познакомьтесь, это Роберт, мой племянник из Висконсина.

Джим протянул руку. Племянник с любопытством исследовал ее.

— Чегой-то ты на меня уставился? — спросил он.

— Кого-то ты мне напоминаешь, — протянул Джим.

«Джим!» — мысленно завопил Вилли.

— О! Ты на дядюшку моего здорово похож, — нарочито спокойно закончил Джим.

Глаза племянника метнулись к Вилли. Что было делать? Пришлось сосредоточенно изучать пол под ногами. «Нельзя же, в самом деле, дать ему посмотреть мне в глаза, — думал Вилли. — Там же кто хочешь увидит эту сумасшедшую карусель!» Его так и подмывало напеть мотив той музыки наоборот. «А все-таки надо, — думал он. — Пора. А ну-ка, посмотри на него!» Вилли поднял глаза и в упор взглянул на мальчишку. Бред, дичь, чушь собачья! Пол качнулся под ногами и поехал в сторону. Розовая праздничная маска безупречно изображала милое мальчишеское лицо, а сквозь прорези странно светились глаза м-ра Кугера, глаза пожилого человека, яркие, острые звезды, из тех, чей свет добирается до Земли миллион лет. Сквозь маленькие прорези для ноздрей входит теплый воздух, а вырывается ледяное дыхание м-ра Кугера! И леденцовый розовый язычок — точь-в-точь такие продают на праздник в день св. Валентина! — едва заметно шевелится, быстро-быстро, за розовыми сахарными зубами. Из-под маски зрачки м-ра Кугера чуть слышно пощелкивали, как объектив у «Кодака»: линзы то вспыхнут, то пригасятся диафрагмой. Вот он нацелился на Джима. Щелк, щелк! Прицелился, навел фокус, щелкнул, проявил, высушил, — и Джим лежит на своем месте в картотеке. Щелк, щелк!

Но ведь это только мальчишка стоит в прихожей рядом с женщиной и двумя другими подростками... Джим тоже не сводит с него глаз. Лицо неподвижно. Он тоже фотографирует этого Роберта.

— Вы ужинали, мальчики? — пропела мисс Фолей. — А то давайте с нами. Мы как раз садимся...

— Нет, спасибо, нам пора идти.

Все уставились на Вилли, словно удивляясь, почему бы ему не остаться здесь навсегда.

— Джим, — забормотал Вилли, — у тебя ведь мама одна дома, она же ждет...

— Ой, верно, — с неохотой протянул Джим.

— А я знаю, как мы сделаем! — Племянник выдержал паузу, чтобы все повернулись к нему. — Приходите к нам на десерт, а?

— На десерт?!

— А потом я возьму тетю на карнавал. — Племянник погладил мисс Фолей по руке, и она нервно засмеялась.

— Как «на карнавал»? — подскочил Вилли. — Мисс Фолей, вы же говорили...

— Ах да, это глупость была, я напугалась, — произнесла неуверенно мисс Фолей. — Сегодня, в субботнюю ночь, самое время для карнавала. Я вот обещала Роберту показать окрестности...

— Ну, придете? — спросил Роберт, все еще не отпуская руку мисс Фолей. — Позже?

— Здорово! — воскликнул Джим.

— Джим! — попытался вмешаться Вилли. — Нас ведь целый день дома не было. А у тебя мама больна.

— Да? Я и забыл. — Джим ядовито покосился на друга.

Щелк! Племянник сделал рентгеновский снимок их обоих. На этом снимке, конечно, видно, как трясутся холодные косточки внутри теплой плоти. Роберт протянул руку.

— Ну, тогда — до завтра? Увидимся возле балаганов.

— Отлично! — Джим сгреб и потряс маленькую руку.

— Пока! — Вилли выскочил за дверь, постоял, качаясь, сделал отчаянное усилие и повернулся к учительнице.

— Мисс Фолей...

— Да, Вилли?

«Не ходите с ним никуда! — думал Вилли. — Даже близко не подходите к балаганам. Сидите дома, ну пожалуйста!» Вслух же он сказал:

— Мистер Крозетти умер.

Она кивнула и пригорюнилась, наверное ожидая, что Вилли сейчас заплачет. И пока она ждала, Вилли выволок Джима наружу, и входная дверь отрезала их от женщины и мальчишки с розовым лицом и с глазами-

объективами, которые все щелкали, фотографируя двух таких непохожих друг на друга ребят.

Пока они в темноте нащупывали ступени, в голове у Вилли снова завертелась карусель, зашелестела жестяная листва дубов. Он с трудом выговорил:

— Джим! Ты ему руку пожал, этому Кугеру! Ты же не собираешься встречаться с ним?

— Это Кугер, точно, — деловито заговорил Джим. — Глаза его. Эх, если бы я встретился с ним сегодня ночью, мы бы все выяснили. И какая муха тебя укусила, Вилли?

— Меня? Укусила? — Они добрались до конца лестницы и разговаривали яростным шепотом. Вот и улица. Оба задрали головы. В освещенном окне маячила маленькая тень. Вилли вдруг встал как вкопанный. Наконец-то музыка у него в голове выстроилась как надо. Он прищурился.

— Джим! А ты знаешь, что за музыка была, под которую молодец мистер Кугер?

— Ну?

— Это же обычный похоронный марш, только задом наперед!

— Какой еще похоронный марш?

— «Какой, какой!» Шопен написал.

— А почему «задом наперед»?

— Да потому, что мистер Кугер не старел, ну, не к смерти шел, значит, а, наоборот, от нее. Он же все моложе становился, верно?

— Во жуть-то!

— Точно! — Вилли напрягся. — Он там! Вон, в окне торчит.

Помахать ему, что ли? Пока! Пока! Давай, пошли. Посвисти-ка что-нибудь, ладно? Только уж не Шопена, пожалуйста.

Джим помахал рукой. И Вилли помахал. Они пошли по улице, насвистывая «О, Сюзанна...».

Тень в окне тоже помахала им на прощанье.

Два ужина давно остыли в двух домах. Один предок наорал на Джима, два — на Вилли. И того, и другого отправили спать голодными. Шторм начался в семь и кончился в три минуты восьмого. Хлопнули двери, звякнули замки, пробили часы.

Вилли стоял у двери в своей комнате. Телефон остался в прихожей. Эх! Даже если он позвонит, мисс Фолей, скорее всего, не ответит. Ее сейчас, наверное, уже и в городе-то нет. Да и что бы он сказал ей? Мисс Фолей, ваш племянник — не племянник? Мальчик на самом деле — не мальчик? Конечно, она засмеется. И мальчик как мальчик, и племянник как племянник. На вид по крайней мере. Вилли повернулся к окну. В окне своей комнаты маячил Джим.

Видимо, он решал ту же проблему. Окно пока не откроешь, не посоветуешься. Рано еще. Родители внизу настроили свои локаторы, только и ждут, что бы еще добавить.

Оставалось завалиться на кровать, что они оба и сделали. Оба пошарили под матрасами — не завалилось ли шоколадки, отложенной на черный день. Нашлось кое-что. Сжевали без особой радости.

Постукивали часы. Девять. Полдесятого. Десять. Щелкнула задвижка на двери Вилли. Это отец открыл.

«Папа! — подумал Вилли. — Ну зайти! Надо поговорить».

Отец тяжело вздохнул на лестнице. Вилли ясно представлял себе его расстроенное, не то смущенное, не то недоумевающее лицо. «Нет, не войдет, — подумалось ему. — Ходить вокруг да около, говорить какие-то необязательные слова — это пожалуйста. А вот войти, сесть и выслушать — этого не будет. А ведь тут такое дело...»

— Вилли?..

Вилли подобрался.

— Вилли, — снова произнес отец, — будь осторожен.

— «Осторожен»! — так и взвилась мать внизу. — И это все, что ты собираешься ему сказать?

— А что я ему еще скажу? — проворчал отец, уже спускаясь по ступеням. — Он скачет, я — ползаю. Как тут равнять? Боже, иногда мне хочется... — Хлопнула входная дверь. Отец вышел на улицу.

Вилли полежал секунду и метнулся к окну. Отец так неожиданно вышел в ночь. Надо предупредить его. «Не я, — думал Вилли. — Не мне

грозит опасность, не за меня надо беспокоиться. Это ты, ты сам останься, не ходи! Там опасно!»

Но он не открыл окна, не крикнул. А когда все-таки выглянул, улица была пуста. Теперь — ждать. Спустя некоторое время там, внизу, вспыхнет свет в библиотечном окне. Когда начинается наводнение, когда небесный огонь вот-вот рухнет на головы, каким славным местом становилась библиотека. Стеллажи... книги, книги. Если повезет, никто тебя там не съест. Да где им! Они — к тебе, а ты — в Танганьике в 98-м году, в Каире 1812-го, во Флоренции в 1492-м!

«Будь осторожен...» Что отец имел в виду? Неужели он почувствовал? Может, даже слышал шальную музыку, ходил там, возле шатров? Да нет, никогда.

Вилли кинул камешек в соседнее окно. Отчетливо было слышно, как он стукнул о стекло. И... ничего. Вилли представил, как Джим сидит в темноте и прислушивается. Он бросил еще один. Стук. Тишина. Что-то не похоже на Джима. Раньше «звяк» еще звучал в воздухе, а рама уже взлетала вверх, и появлялась голова, из которой торчали во все стороны смешки, буйство, разбойные планы один другого хлеще.

— Джим! Да я же знаю, что ты там!

Стук. Молчание.

«Отец в городе. Мисс Фолей — и с кем! — тоже там, — все быстрее думал Вилли. — Господи Боже, Джим, надо же срочно делать что-то!» Он швырнул последний камешек. Стук. Слышно было, как отскочивший от окна камешек упал в траву. Джим так и не появился. «Ладно», — подумал Вилли и с досадой хлопнул ладонью по подоконнику. Ладно. Он лег в кровать и вытянулся. Холодно. Неподвижно.

В аллее за домом издавна был настелен деревянный тротуар из широченных сосновых досок. Видно, его уложили еще до того, как изобрели противный безответный асфальт. Еще дед Вилли, мощный, неукротимый старик, все дела которого сопровождалось шумом и громом, с дюжиной других умельцев на все руки продолжил деревянный настил футов на сорок. Дожди, солнце и ветер потрудились над ним, и теперь доски напоминали остов какого-то доисторического чудища.

Часы в городе пробили десять.

Лежа в постели, Вилли думал о трудах деда и ждал, когда настил заговорит. Не было еще такого, чтобы мальчишки чинно подходили к дому по дорожке и звонили в дверь, вызывая друзей. Что, других способов нет? Можно бросить камешек в окно, можно желудь на крышу, можно запустить под окно приятелю воздушного змея, изобразив на нем таинственный знак. Да мало ли что! Джим с Вилли не составляли исключения. Поздними вечерами, если попадалась могильная плита, чтобы поиграть в чехарду, или дохлая кошка, чтобы спустить на веревке в камин какому-нибудь зануде, кто-то один из них прокрадывался под луной за дом и там плясал, как на ксилофоне, на древнем, гулком, музыкальном настиле.

Они долго настраивали тротуар. Отодрали доску «ля» и поменяли ее местами с «фа», внесли еще кучу усовершенствований, и, наконец, дорожка зазвучала как надо. По той или иной мелодии можно было сразу догадаться о предстоящей ночной экспедиции. Если Джим вытанцовывал «Вниз по речке», значит, собрался на берег, к пещерам. Если Вилли ошпаренным терьером скакал по доскам, извлекая из них подобие «Марша через Джорджию», это означало, что за городом поспели сливы, персики или яблоки и пора идти в набег.

Вот и этой ночью Вилли затаил дыхание, ожидая, куда позовет его деревянная музыка. Что сыграет Джим, изображая карнавал, мисс Фолей, м-ра Кугера и розового племянника?

Десять с четвертью. Пол-одиннадцатого. Все тихо.

Вилли это не нравилось. О чем там думает Джим у себя в комнате? О Зеркальном Лабиринте? О том, что увидел там? Ну и что он задумал теперь? Вилли беспокойно заворочался. Ему не понравилась мысль о том, что между карнавальными балаганами в темных лугах и Джимом не может встать отец Джима. А мать? Она так хочет удержать его при себе, что

Джиму волей-неволей приходится удирать из дома, нырять в вольные ночные воды, уносящие вперед, к дальним свободным морям.

«Джим! — подумал он. — Ну, давай!»

И в десять тридцать пять ксилофон ожил. Вилли показалось, что Джим высоко подпрыгивает, как мартовский кот на крыше, и шлепается на доски, добывая из них подобие погребальной песни, сыгранной наоборот старым карнавальным калиопом.

Вилли уже потянул раму вверх, когда лунный блик скользнул по открывающемуся окну Джима.

Значит, это не он на досках? Значит, Вилли только слышалось то, что он хотел услышать? Он уже готов был окликнуть Джима, но промолчал. Джим беззвучно скользнул по водосточной трубе. «Джим!» — мысленно позвал Вилли.

На лужайке под окнами Джим замер, словно услышал свое имя. «Ты же не уйдешь без меня, Джим?»

Джим быстро взглянул вверх. Если он и увидел Вилли в окне, то ничем не показал этого.

«Джим, — думал Вилли, — ну мы же друзья пока. Ведь кроме нас с тобой, никто не услышит того, что слышим мы. Мы одной крови, и дорога у нас одна. И вот ты уходишь, бросаешь меня. Как же так, Джим?»

Дорожка уже опустела. Словно саламандра мелькнула за оградой. Вилли уже спускался вниз. Мысль догнала его, когда он перемахивал через забор. «Господи! Я ведь один. Это же первый раз я один ночью! И куда я иду? За Джимом. Господи! Помоги мне не сбиться с дороги!»

Джим летел над дорогой, как сова за мышью. Вилли мчался вприпрыжку, как охотник за совами. Тени скользили за ними через октябрьские лужайки. И когда они остановились, перед ними оказался дом мисс Фолей.

Джим оглянулся. Вилли тотчас превратился в куст, точно такой же, как те, среди которых он затаился, в ночную тень с едва заметно поблескивающими глазами, да и глаза застыли, остановившись на фигуре Джима.

— Эй, эй, там! — шепотом звал Джим, подняв лицо к окнам второго этажа.

«Ну и дела, — думал Вилли. — Смотри-ка, он же сам нарывается, сам хочет, чтобы его заманили и расщепили там, в Лабиринте».

— Эй! — тихо взывал Джим, — эй, вы там!

На фоне едва освещенного ночником окна мелькнула тень, невысокая такая тень... Значит, племянник с мисс Фолей уже вернулись... «Боже, — думал Вилли, — надеюсь, она вернулась тоже. А если она, как торговец громоотводами...»

— Эй!

Джим смотрел вверх, и взгляд у него был такой же, как возле Театрального Окна в доме неподалеку отсюда. С любовью, с преданностью даже Джим ждал, словно кот, не выглянет ли из окна какая-нибудь темная мышка. Сначала он стоял ссутулившись, а теперь, казалось, становился все выше, можно подумать, его тянуло что-то там, в окне. А ведь в нем нет никого. «Это» исчезло.

Вилли стиснул зубы. Казалось, тень струится через дом, он чувствовал ее ледяные вздохи. Он не мог больше ждать. Вилли кинулся из кустов вперед и схватил Джима за руку.

— Джим!

— Вилли! Ну ты-то что тут делаешь?

— Джим, не говори с ним, не надо. Пошли отсюда. Господи, да он же проглотит тебя, хорошо, если косточки выплюнет.

Джим вырвал руку.

— Вилли! Иди домой. Ты же мне все испортишь.

— Джим, я его боюсь. Чего тебе от него надо? Ты что-нибудь видел... там, в Лабиринте?

— Ну, видел.

— Но что? Ради Бога, что ты видел?

Вилли поймал Джима за рубашку на груди и на мгновение ощутил, как колотится о грудную клетку сердце.

— Уходи! — Голос Джима звучал жутко спокойно. — При тебе он не выйдет. Вилли, если ты не уйдешь, я тебе припомню... потом.

— Когда это «потом»?

— Проклятье! Когда стану старше, вот когда!

Вилли отпрянул, словно рядом ударила молния.

— О Джим... — проговорил он.

Он почти слышал стремительный бег карусели в темных водах ночи, почти видел Джима на черном деревянном жеребце, себя самого почти одревеневшего в тени под деревом. Ему хотелось кричать: «Смотри! Вот ты на карусели! Она крутится вперед, ты этого хотел, да? Вперед, а не назад! И ты на ней. Смотри: раз проехал — тебе пятнадцать, еще круг — уже шестнадцать, еще три — девятнадцать! И музыка играет правильный похоронный марш! А тебе уже двадцать, и ты сходишь с карусели, высоченный такой, совсем не тот Джим, которому почти четырнадцать и с которым я, зеленый от страха, стою посреди ночной улицы».

Вилли развернулся и ударил Джима. Врезал ему прямо по носу. Потом бросился на него, повалил и поволок в кусты. Он зажимал Джиму рот и загалкивал все дальше...

Открылась парадная дверь.

Вилли навалился на Джима сверху, придавил, не давая дышать, все еще зажимая рот. Что-то стояло на крыльце. Оно крутило головой, искало Джима и не могло найти.

Да нет, это же маленький мальчишка, Роберт, племянник. Поза небрежная, руки в карманах, насвистывает чуть слышно. Просто вышел подышать перед сном. Вилли некогда было особенно раздумывать — он держал вырывавшегося Джима, — и все-таки его поразил вид самого обычного мальчишки: веселая маленькая личность, в которой сейчас, ночью, и следа не отыщешь от взрослого дядьки.

Он бы запросто мог сигануть к ним в кусты и возиться с ними, как маленький щенок, и хохотать, а потом, может быть, и заплакать даже, если поцарапается каким-нибудь сучком, и страх растаял бы, улетучился, превратился бы в дурной сон, в воспоминание о дурном сне... Но ведь правда же — простой маленький мальчишка, самый настоящий племянник, свежий, как персик, смугло-розовый... Вот он уже увидел их, сцепившихся намертво, вот улыбнется сейчас...

Роберт стремительно метнулся в дом. Джим и Вилли все еще хватали, крутили, жали и мяли друг друга, а племянник уже вылетел обратно, перемахнул через перила, четко впечатавшись в собственную тень на траве. В руках у него было полно звезд. Они так и сыпались вокруг. Золото,

бриллианты падали в траву возле сжимавших друг друга в объятиях Вилли и Джима.

— Помогите! Полиция! — заорал Роберт.

Этот вопль так потряс Вилли, что он выпустил Джима. Джим был потрясен не меньше и выпустил Вилли. Оба одновременно коснулись холодного рассыпанного... металла.

— Во дела! Браслет!

— Ха! Кольцо! Ожерелье!

Роберт на бегу ловко сшиб два мусорных бака на углу. Они с грохотом повалились, рассыпая мусор на мостовую. Наверху, в спальне, вспыхнул свет.

— Полиция! — снова заорал Роберт и швырнул ребятам под ноги последнюю сверкающую пригоршню. Потом одним движением смахнул с персикового лица улыбку и дунул по улице.

— Стой! — подскочил Джим. — Стой! Мы тебя не тронем.

Вилли поймал Джима за ногу и уронил на землю. Отворилось окно. Мисс Фолей выглянула. Джим стоит на коленях и держит в руках женские наручные часики. Вилли глупо моргает с ожерельем в руках.

— Кто там? — закричала мисс Фолей. — Джим? Вилли? Чем вы там заняты?

Но Джим уже уносился вдаль по ночной улице. Вилли подождал ровно столько, чтобы дать мисс Фолей кинуться в соседнюю комнату и обнаружить кражу. Он услышал вопль.

Уже на бегу Вилли сообразил, что племянник именно этого и хотел от них. Надо бы вернуться, собрать браслеты, часы и камни, объяснить все мисс Фолей. А как же Джим? Его же спасти надо!

Позади все кричала мисс Фолей. Зажигались огни.

— Вилли Хэллуэй! Джим Найтшед! Ах вы, воры ночные! «Это про нас, — думал Вилли на бегу. — О Боже, ведь это про нас! Теперь никому ничего не докажешь, что бы мы ни сказали: про карусель, про зеркала, про племянника, никто же теперь не поверит!»

Так они и бежали, три зверя под ночными звездами. Черная выдра. Уличный кот. Кролик.

«Я — кролик, — подумалось Вилли, — белый испуганный кролик!»

Они вырвались на луг со скоростью около двадцати миль в час и с разрывом в милю. Впереди — племянник, за ним, настигая, Джим и, наконец, все больше отставая, Вилли.

Племянник, похоже, не на шутку струхнул и больше не улыбался. Он бежал, часто озираясь через плечо.

«Одурачили его, — устало думал Вилли. — Он-то рассчитывал, я останусь, полицию вызовут, я объяснять начну, мне, конечно, не поверят, или, может, он думал, я смоюсь потихоньку. А теперь он меня боится, я же избью его в кровь, вот он и рвется к своей карусели, хочет накрутить лет десять-пятнадцать. Ой, Джим, мы же должны сохранить его молодым, надо же содрать с него эту шкуру». Но по тому, как бежал Джим, Вилли видел: Джим ему не помощник. Джим не за племянником бежал. У него впереди был бесплатный аттракцион. Вот племянник скрылся между шатрами. Джим следом. Когда Вилли добежал, карусель уже дергалась, оживая. Музыка спросонья билась, грохотала, взвизгивала, а племянник со своим персиковым лицом уже ехал на большом круге в вихрях полуночной пыли.

Футах в десяти стоял Джим. Глаза у него были точь-в-точь как у дикого черного жеребца, что проплывал мимо. Карусель двигалась вперед. Джим подошел вплотную к разгоняющемуся кругу. Племянник пропал из виду, а когда появился вновь, то уже протягивал Джиму розовые пальцы и приговаривал, словно мурлыкал:

— Джим?..

Джим подался вперед.

— Нет! — завопил Вилли и кинулся на Джима. Ударил, схватил, удержал. Они снова сцепились, рухнули в пыль.

Удивленный племянник вынесся из тьмы, став на год старше. «На год, — успел подумать Вилли, — плохо дело. Ведь это не только выше, но и сильнее, умнее на год». Он отпихнул Джима.

— Скорее! — и бросился к пульту, сплошной головоломке из медных рычагов, фарфоровых ручек и шипящих проводов. Он уже схватился за переключатель, но набежал Джим и повис на руке.

— Вилли! Не тронь! Сломаешь.

Джим дернул переключатель обратно. Вилли повернулся и двинул Джима локтем. Они опять вцепились друг в друга, но на этот раз быстро устали и повалились на землю возле пульта.

Противный мальчишка, повзрослевший еще на год, пронесся у Вилли перед глазами. Еще пять-шесть кругов, и он перегонит их обоих.

— Джим! Он же убьет нас!

— Нет, не меня.

Вилли ударило током. Он взвыл, подскочил и дернул переключатель. Пульт плюнул в него синим огнем. Откуда-то из недр вылетела молния. Ребят разбросало ударом, и они, слегка оглушенные, лежа наблюдали за резко набравшей скоростью каруселью. Мимо снова просвистел племянник, постаревший еще на год. Он ругался почему зря. Он плевался, как павиан. Он боролся с ветром, цеплялся за медный стержень, сопротивляясь все растущей центробежной силе. Он пытался пробиться через коней и зебр к внешнему краю. Он приезжал, уезжал, приезжал, уезжал, цеплялся и вопил. Из пульта сыпался сплошной каскад сиреневых искр. Карусель вздрагивала и взбрыкивала. Вот племянник промахнулся рукой мимо стержня и упал. Копыто черного жеребца зацепило его по лицу. На лбу появилась кровь.

Джим рвался к пульту. Вилли оседлал его и прижимал к земле. Оба были бледны до синевы. Теперь уже из недр пульта вылетали целые фейерверки. Карусель сделала тридцать оборотов, сорок — «Ладно, Вилли, дай я встану», — пятьдесят оборотов. С последним клубом пара взвыл калиоп, засипел и вовсе потерял голос. Шипящая ослепительная дуга встала над остатками пульта, она словно заботилась о животных, несущихся по кругу, освещала им путь. Где-то среди зверей затерялся уже не мальчик, и даже не мужчина, а куда больше, намного больше, и даже еще больше того... все по кругу, по кругу.

— О Вилли! Он же теперь... он... — Джим вдруг всхлипнул. Он уже ничего не мог сделать, во всяком случае вот так, придавленный к земле, со стиснутыми руками. — Да отпусти же ты меня, Вилли! Мы должны заставить ее крутиться назад!

В шатрах начали появляться огни, но пока еще никто не выходил. "Почему? — думал Вилли. — Почему никого нет?"

Тут взрывы, грохот, музыка эта безумная — и никого. Где мистер Дарк? Ушел в город? Готовит какую-нибудь новую пакость?"

Фигура на карусельном круге билась в агонии. Сердце у Вилли тоже пыталось нащупать какой-то лихорадочный ритм: быстро, очень быстро, медленней, медленно, опять быстро, невероятно быстро, опять медленно, совсем медленно, так медленно опускается луна в конце белой зимней ночи.

Там, на карусели, едва слышный стон.

«Слава Богу, темно, — подумалось Вилли. — Слава Богу, не разглядеть ничего. О! Там ходит кто-то, сюда идет».

Выцветшая тень на вихляющемся кругу пыталась удержаться на какой-то незримой грани, но было поздно, уже поздно, совсем поздно, о, слишком поздно. Карусель со свистом рассекала воздух, она словно высасывала из пространства остатки солнечного света, смеха, чувств, а вокруг все шире расползались тьма и стужа.

В последнем приступе рвоты пульт управления напрочь оторвался от машинной коробки. Карусельные огни мигали и гасли один за другим. Круг постепенно замедлял свой безумный бег.

Вилли отпустил Джима. «Сколько же раз она повернулась? — подумал он. — Шестьдесят? Восемьдесят? Девяносто?»

«Сколько?» — спрашивали глаза Джима.

Карусель сотрясали судороги. Она остановилась. Круг замер, и по его фатальной неподвижности сразу становилось понятно: ничто больше, ни сердца, ни руки, ни головы, не вернет карусель к жизни.

Ребята встали и медленно подошли. Подошвы пошаркивали, словно делились друг с другом впечатлениями.

Что-то лежало с ближней стороны на деревянном полу. Лица не видно. С платформы свисала рука. Она могла принадлежать кому угодно, только не мальчишке. Большая, будто обтянутая пергаментом, сморщенным от огня. У человека на деревянном кругу были длинные-длинные, спутанные ветром белые космы. Ребята наклонились над ним. Глаза закрыты и как будто ссохлись. Нос заострился — так обтянула его кожа. Губы выцветшими лепестками едва прикрывали сжатые зубы. Тело под одеждой казалось тщедушным, но совсем не по-детски. Это был старик, но не обычный старый человек, умерший лет в девяносто, или очень старый, доживший до ста десяти, нет, это был какой-то совершенно ветхозаветный старик невозможных лет.

Вилли тронул тело. Человек был холоден, как лягушка-альбинос. От него исходил едва различимый запах ночных болот и древних египетских гробниц, наверное, так пахли полотнища, в которые заворачивали набальзамированных фараонов. Какой-то музейный экспонат, вынутый из витрины.

И все же он был еще жив. Он слабенько поскуливал и продолжал усыхать на глазах, быстро, очень быстро.

Вилли вывернуло наизнанку прямо у края платформы. А потом они бежали, поддерживая друг друга, с трудом загребая стопудовыми подошвами чугунные листья, окаменевшую траву и свинцовую пыль...

Одинокий жестяной фонарь у перекрестка окружило облачко мотыльков. Неподалеку чуть слышно сипела старая газовая будка. Двое мальчишек забились в тесную телефонную кабину. Они крепко держались друг за друга и вздрагивали при каждом ночном шорохе.

Вилли повесил трубку. Полиция и «скорая помощь» должны были прибыть с минуты на минуту.

Поначалу они с Джимом хриплым шепотом строили самые невероятные планы. Они сейчас пойдут домой, лягут спать, уснут и все забудут. Нет! Отправятся на товарном поезде на запад. Нет! Ведь если м-р Кугер сообразит, что это они его так отделали, тот старик, та египетская мумия, в которую он превратился, будет гоняться за ними по всему свету, рано или поздно догонит и разорвет в клочки. Так, споря и трясясь, они и оказались в телефонной кабине, и вот уже мимо с включенной сиреной пробирается полицейская машина, а за ней и «скорая помощь». В обеих машинах заметили перепуганных пацанов, стучащих зубами в мутном от мотыльков свете фонаря.

А три минуты спустя машины уже мчались вперед, Джим показывал дорогу и болтал при этом без умолку.

— Да жив он, точно! Должен быть жив. Мы же не хотели вовсе. Ей-богу, жаль, что так получилось! — Он уставился на черные шатры и замолчал.

— Не дрейфь, приятель, — пробасил полицейский. — Пошли.

Двое полицейских в темно-синем, двое санитаров в призрачно-белом и двое мальчишек, не поймешь в чем в последний раз повернули, огибая Чертово Колесо, и остановились перед каруселью.

Джим застонал сквозь зубы.

Кони окаменело взвивались в ночь на полном скаку. Звездный свет мерцал на медных копьях. И больше — ничего.

— Он ушел.

— Был он здесь, клянемся! — горячо заговорил Джим. — Ему лет сто пятьдесят было, а то и двести, он и умирал от этого.

— Джим, — тихонько сказал Вилли.

Четверо мужчин беспокойно озирались.

— Может, его в шатер отнесли, — предположил Вилли.

Полицейский взял Джима за локоть.

— Ты говоришь, лет сто пятьдесят? — спросил он. — А почему не триста?

— Да может, и триста! — взрыдал Джим. Он повернулся и крикнул: — Мистер Кугер! Мы помощь привели!

На Шатре Чудес мигнули огни. Черные полотнища знамен хлопали и трепетали перед входом. Полицейские посмотрели вверх. «МИСТЕР СКЕЛЕТ. ПЫЛЬНАЯ ВЕДЬМА. СОКРУШИТЕЛЬ. ВЕЗУВИО, ПЬЮЩИЙ ЛАВУ», — танцевали огромные буквы, каждая на отдельном вымпеле.

Джим помедлил и снова позвал:

— Мистер Кугер! Вы... там?

Флаги в ночном воздухе вздохнули. Шатер выдохнул теплый львиный дух.

— Ну, что? — спросил полицейский.

Джим, задрвав голову, читал появлявшиеся на флагах буквы.

— Они говорят: «Да». Они говорят: «Входите».

Джим шагнул вперед. Остальные вошли за ним. Внутри им пришлось перешагнуть через скрещенные тени от шестов, преграждавшие дорогу к высоким чудным подмосткам. Там за карточным столиком собралась невиданная компания. Карты в руках и на столе переливались оранжевым, ярко-зеленым и солнечно-желтым цветами. На них можно было разобрать изображения каких-то бледных зверей и крылатых людей. Игроков было четверо: подбоченившийся Скелет, Дутик, которого спускали каждую ночь и надували каждое утро, уродливый лилипут по имени Бородавка, а рядом с ним и вовсе какая-то мелюзга, то ли гном, то ли урод, не поймешь, вцепился в карты узловатыми, изуродованными артритом пальцами.

Стоп! Карлик! Вилли насторожился. Что-то там было насчет рук... Знакомые руки... Кто? Когда? Где? Ладно, не вспомнить. Он перевел взгляд в глубину шатра. Там стоял сеньор Гильотини при полном параде. Весь в черном, в черных сапогах до колен, черный капюшон на голове, — стоит возле своего детища и руки на груди сложил. Голодный гильотинный нож высоко поднят — сплошные блики и метеорный блеск. Так и хочет ринуться вниз. А там уже приготовлена кукла. Лежит и ждет своей участи. Еще дальше стоит Сокрушитель — сплошные железные мышцы и стальные жилы, хоть сейчас готов сокрушить кому-нибудь челюсть или согнуть подкову. Тут же расположился и Везувио с истертым языком и сожженными зубами. Больше того, он находился при исполнении обязанностей и как раз допивал каменную чашу с лавой. По своду шатра перебегали багровые и малиновые отсветы. Неподалеку, каждый в своей будке, тридцать других уродцев наблюдали за игрой огней, дюжиной

маленьких огненных солнц, бегавших над краями чаши. Везувио заметил посетителей и вылил остатки в бочку с водой. Шарахнулся пар. Все застыло. Даже противный зудящий звук, с самого начала наполнявший балаган, смолк.

Вилли быстро оглянулся. На большом помосте у дальней стены с полосатым шершнем в руке стоял обнаженный до пояса м-р Дарк, Человек-в-Картинках. Вытатуированные орды струились по его плечам. Используя шершня как иглу, он завершал очередной рисунок на левой ладони. Насекомое перестало жужжать, м-р Дарк повернулся к вошедшим. Но Вилли смотрел не на него.

— Вот он! Вон мистер Кугер!

Полицейские и санитары засуетились. За спиной м-ра Дарка помещался Электрический Стул. Зажатый его проводами и скобами, сидел давешний старик. Там, на сломанной карусели, он выглядел каким-то скомканным, а здесь его распрямили, и он важно ожидал удара молнии от своего последнего трона.

— Это он! Это он... умирал на карусели!

Долговязый Скелет обернулся от стола. Дутик и вовсе вскочил. Бородавка по-блошиному сиганул в кучу опилок. Карлик выронил карты и принялся вращать пустыми идиотскими глазищами.

«Да я знаю его! — понял Вилли. — Боже! Что они сделали с ним! Продавец громоотводов — вот это кто! Каким же ужасным колдовством вбили его в эту скрюченную плоть недомерка? Торговец громоотводами...»

Но тут его мысли прервали два события, случившиеся с замечательной слаженностью. Сеньор Гильотини прокашлялся и дернул рычаг. Лезвие ястребом скользнуло вниз. Шелест-стук-хруст-удар! Отсеченная голова куклы упала в корзину. Вилли мог бы поклясться, что лицо куклы, как в зеркале, напоминает его собственное, но ни за какие коврижки он не полез бы в корзину проверять свое подозрение. За этим событием последовало другое.

Механик, копавшийся в механизме застекленной, похожей на гроб будки, нажал на что-то. Щелкнул какой-то зубец под вывеской:

М-ль ТАРОТ^[26]. ПЫЛЬНАЯ ВЕДЬМА

Восковая фигура в стеклянном гробу кивнула головой и проследила затянутыми черной паутиной незрячими глазами за проходившими мимо мальчишками. Холодная восковая рука стряхнула на край гроба ПЫЛЬ СУДЬБЫ. Это была отлично сработанная кукла, и полицейские заулыбались, оценив представление сеньора Гильотини и Пыльной

Ведьмы. Стражи порядка уже расслабились и, похоже, не очень-то сетовали по поводу ночного вызова в это забавное царство акробатов и потрепанных волшебников.

— Джентльмены! — звучно произнес м-р Дарк, и все скопище картинок на нем словно бросилось в атаку. — Добро пожаловать! Вы успели вовремя. Мы как раз репетируем новые номера. — М-р Дарк взмахнул рукой, и чудовища у него на груди оскалили зубы и обнажили клыки. На животе дернулся циклоп с пупком на месте глаза.

«Господи, — подумал Вилли, — не то он таскает на себе всю эту ораву, не то она тащит и толкает его в разные стороны». Вилли чувствовал, что не только глаза полицейских и санитаров не в силах оторваться от волшебных картинок, шевелящихся на коже м-ра Дарка. Все уродцы в шатре точно так же зачарованы жизнью этой толпы, этого человеческого и звериного скопища, требующего ежесекундного внимания.

В груди м-ра Дарка проснулся орган. Из глубины поднялся звук, словно разом заговорили все картинки на его потной коже. Мышцы заиграли, и полчища обезумели. Их буйство словно передалось другим уродцам в шатре. Они задрожали в своих будках, на своих помостах, но и Вилли с Джимом чувствовали, как голос м-ра Дарка отдается у них в спинном мозге, гнет к земле, превращает в уродов.

— Джентльмены! — гремел м-р Дарк. — Уважаемые молодые люди! Мы как раз завершили наш новый номер, и вы сможете стать его первыми зрителями!

Один из полицейских, небрежно положив руку на кобуру, прищуренным глазом обвел шатер.

— Вот парень говорит...

— Говорит?! — захохотал м-р Дарк.

Уродцы подскочили и забились в припадке. М-р Дарк слегка похлопал и огладил свои картинки, и существа в шатре тут же затихли, словно их тоже похлопали и огладили.

— О чем он может говорить? — пренебрежительно произнес м-р Дарк. — Что он мог видеть? Эта публика часто пугается на представлениях. Стоит выскочить уродцу — и он уже задал стрекача. Но этой ночью, этой ночью особенно...

Полицейский, не слушая, показал пальцем на мумию, восседавшую на Электрическом Стуле.

— Это кто?

— Этот?

Вилли заметил огонь, метнувшийся в глазах м-ра Дарка. Впрочем,

Человек-в-Картинках тут же взял себя в руки.

— Это наш новый номер: м-р ЭЛЕКТРИКО!

— Нет! — завопил Вилли, и все повернулись к нему. — Вы только посмотрите на старика! Разве вы не видите? Он же мертвый! Его же только эти скобы да провода и держат!

Санитары как-то скептически посмотрели на узника Электрического Стула.

«О черт! — подумал Вилли. — Мы-то думали, все будет просто. Мистер Кугер умирает, а мы — вот они, с врачами, и они его спасают, а он тогда, может быть, простит нас, и этот чертов Карнавал нас отпустит. А что получается? Старик уже мертв. Слишком поздно. И все нас ненавидят».

Вилли чувствовал холод, расхолодившийся от непогребенной мумии, от холодного рта, от смерзшихся век. Ни один седой волосок не шелохнется. Ребра под опавшей рубашкой каменно-неподвижны. Землистые губы словно из сухого льда. Вытащи его наружу — от него пар пойдет!

Санитары переглянулись, кивнули полицейским. Те шагнули вперед.

— Джентльмены! — М-р Дарк рукой, украшенной жутким тарантулом, ухватил рукоять рубильника. — Сейчас на ваших глазах сто тысяч вольт пронизуют тело мистера Электрико!

— Нет, не позволяйте ему! — закричал Вилли.

Полицейские сделали еще по шагу вперед. Санитары открыли рты, собираясь сказать что-то. М-р Дарк метнул на Джима властный взгляд. И Джим тут же крикнул:

— Да нет! Все в порядке!

— Ты что, Джим?!

— Брось ты, Вилли, все нормально.

— Всем отойти! — Тарантул впился в рубильник. — Этот человек в трансе! Я загипнотизировал его. Нельзя нарушать чары, это может ему повредить.

Санитары закрыли рты. Полицейские остановились.

— Сто тысяч вольт — и после этого он будет как огурчик!

— Нет!

Полицейский сгреб Вилли. Человек-в-Картинках и все твари, населявшие его, повернули рубильник. Тотчас огни в шатре погасли.

Полицейские, санитары, мальчишки разом подскочили. Электрический Стул превратился в камин, в нем, как сухое полено, польхал старик. Полицейские отпрянули, санитары подались вперед. Уродцы в клетках вытянули головы. Синий огонь плясал, отражаясь, во множестве глаз.

Старик был мертв как камень. Но теперь в него вливалась новая, электрическая жизнь. Электричество кипело на его ушных раковинах, мельтешило в глубоких ноздрях, словно в пересохших колодцах, выложенных камнем, вползало синими змейками в скрюченные пальцы.

Рот Человека-в-Картинках открыт. Наверное, он кричит что-то. Никто не слышит его за шипением, треском и маленькими взрывами энергии. Она везде вверху, внизу, справа, слева от человека и его кресла-тюрьмы.

— Оживай! — гудит вокруг.

— Оживай! — кричат грозные разряды.

— Оживай! — вопит м-р Дарк, и слышит его только Джим, читающий по губам. Вилли тоже понимает: воля м-ра Дарка толкает старца, пытается пересоздать его заново, отодрать душу, растопить восковой дух.

— Он же мертвый! — Нет, никто не слышит Вилли, как ни надрывайся, как ни перекрикивай грохот молний.

— Живой! — Губы м-ра Дарка причмокнули. Живой! Оживает. Он передвинул переключатель в последнюю, крайнюю позицию. Жив! Где-то надсадно выли динамо-машины, скрипели, визжали, выдавливая дьявольскую энергию. Свет стал бутылочно-зеленым.

— «Мертвый! Мертвый!» — думал Вилли.

— «Живой! Живой!» — кричали машины, вопили огонь и молнии, выкрикивали глотки орды сине-багровых тварей, усеявших разрисованное тело.

У старца встали дыбом волосы на голове. С ногтей стекали на пол искры. Зеленый горячий огонь трепетал возле сомкнутых век.

Человек-в-Картинках наклонился над старым-престарым, мертвым-премертвым человеком. Стаи зверей тонули в поту на груди. Рука с тарантулом рубила воздух, задавая ритм: жи-ви! жи-ви!

И старец ожил. Вилли взвыл дурным голосом, но его никто не услышал. Все неотрывно следили за тем, как медленно, под напором электрического пламени поднимается мертвое веко.

Уродцы разинули рты. Где-то рядом маялся Джим. Вилли не глядя поймал его за локоть и почувствовал крик, отдававшийся в костях. Губы старика приоткрылись. Между зубами мечется и шипит синий огонь. Человек-в-Картинках уменьшил ток. Повернулся. Картинно припал на колено и вытянул руку.

Там, в кресле, у старика на груди чуть шевельнулась рубашка. Словно осенний лист ворохнулся под тонкой тканью.

Уродцы разом выдохнули.

Старец вздохнул.

«Да, — подумал Вилли, — это они дышат за него, они делают его живым». Вдох, выдох, вдох, выдох. Да ну, это не по правде. Он же не сможет ничего сказать, сделать.

— Теперь легкие, так, так, — прошелестел чей-то голос за спиной Вилли.

Кто это? Пыльная Ведьма в своем стеклянном гробу? Вдох.

Уродцы перевели дух. Выдох. Их плечи поникли. Губы старца задрожали.

— ...теперь сердце бьется... раз, два, раз, два, так.

Опять Ведьма? Вилли не мог заставить себя оглянуться.

Возле ключицы старца запульсировала жилка. Правый глаз открылся полностью, замер, как сломанная фотокамера. Зрачок казался бездонной дырой. Но он теплел с каждой секундой. Зато мальчишки внизу холодели.

Вот древний и ужасно мудрый кошмарный глаз ожил на фарфоровом лице, а откуда-то с самого дна противный племянничек уже разглядывал уродцев по стенам, санитаров, полицейских и... и Вилли.

Вилли видел себя, Джима — маленьких, крошечных, отраженных в этом единственном глазу. Он затаил дыхание. Если старец моргнет, два отражения будут раздавлены чугунными веками!

Человек-в-Картинках повернулся к зрителям и ослепительно улыбнулся.

— Джентльмены! И вы, мои юные друзья! Перед вами человек, живущий с молнией!

Один из полицейских рассмеялся и снял руку с кобуры. Вилли шмыгнул направо. Глаз тотчас же последовал за ним. Вилли юркнул налево. Скользящий взгляд преследовал его неотступно, губы мумии дрогнули и пропустили звук. Кажется, он долго блуждал в недрах окаменелого тела, прежде чем проложить дорогу на волю.

— Бла-го-да-рен-ннн.

Слова проваливались обратно в глубину.

— Благодарен-ннн...

Полицейские с улыбками переглянулись

— Нет! — снова выкрикнул Вилли. — Он же не живет. Если выключить ток, он опять будет мертвым! — Он сам зажал себе рот рукой. «Господи! — подумал он. — Что это я? Я ведь хочу, чтобы он ожил, ожил и простил нас, отстал от нас! Но, Господи, еще сильнее я хочу, чтобы он умер, чтобы они все тут поумирали. Ну что они меня пугают? У меня же от страха в животе клубки какие-то катаются... как кошки...»

— Простите меня, — прошептал он.

— Не за что! — воскликнул великодушный м-р Дарк.

Уродцы суматошно моргали и таращились. Что там дальше с этой мумией в холодном испепеляющем кресле?

Щеки старца запали, внутри что-то булькало. Человек-в-Картинках снова дернул рубильник. Поток электричества с шипением пробежал по дряхлому телу. М-р Дарк бешено ухмыльнулся и вложил в безвольную руку стальной меч. Открылся второй глаз, быстро, как дырка от пули, тут же нащупал Вилли и уже не выпускал больше.

— Я сссмотрел — шипели губы мумии, — мальчишки шатаются у шатра.

Пересохшие мехи быстро наполнялись, потом, словно проткнутые шилом, отдавали воздух со слабым всхлипом.

— Мы... ремонтировали и я прикинулся мертвым...

Снова пауза, чтобы глотнуть кислородного эля, электрического вина.

— Я свалился, как будто умер... они завизжали... и бежать! — Старик засмеялся. Он выдыхал каждый звук отдельно: — Ха! — пауза — Ха! — опять пауза — Ха!

Электричество обметало шелестящие губы.

Человек-в-Картинках деликатно покашлял.

— Джентльмены, представление утомило мистера Электрико...

— Да, конечно, — спохватился один из полицейских. — Извините за беспокойство, — он тронул фуражку, — отличный номер!

— Прекрасно, — одобрил один из санитаров.

Вилли вытянул шею, пытаясь посмотреть на санитаря, сказавшего такое, но Джим застил.

— Наши юные друзья! — провозгласил м-р Дарк. — Для вас — дюжина свободных посещений. — Он что-то протягивал ребятам.

Ни Джим, ни Вилли не тронулись с места.

— Ну? — подтолкнул их полицейский.

Вилли неуверенно коснулся разноцветных билетиков, но тут же отдернул руку, услышав: «Ваши имена?»

Полицейские перемигнулись. Молчание. Уродцы наблюдают.

— Саймон, — произнес Джим. — Саймон Смит.

Рука м-ра Дарка, держащая контрамарки, сжалась.

— Оливер, — проговорил Вилли. — Оливер Браун.

Человек-в-Картинках с шипением втянул воздух. Уродцы по стенам вдохнули. Общий вздох, казалось, разбудил м-ра Электрико. Меч у него в руке дернулся. От острия на плечо Вилли посыпались искры. Потом маленькая молния скакнула к Джиму. Полицейские расхохотались. Глаз

старца злобно польхал.

— Я дам вам прозвища, ослы вы этакие... Я вас окрещу... Ты будешь мистер Хилый, а ты мистер Тусклый. — М-р Электрико помолчал и слегка стукнул ребят мечом. — Короткой... грустной жизни вам... обоим! — Рот старца захлопнулся, глаз устремился вдаль. Он трудно дышал. Электрические искорки пузырьками шампанского роились в его крови.

— Ваши билеты, господа, — мурлыкал м-р Дарк. — Свободный вход, бесплатные аттракционы. В любое время. Приходите. Возвращайтесь.

Джим схватил билеты. Вилли сгреб свои. Они развернулись на пятках и вылетели вон из шатра.

Полиция, улыбаясь, сделала всем ручкой и проследовала за мальчишками. Санитары, без улыбок и прощальных жестов, еще больше похожие на призраков, замыкали отступление. Они нашли Джима и Вилли в уголке, на заднем сиденье полицейской машины. По виду ребят можно было понять, как им хочется оказаться дома.

II ПОГОНЯ

Она чувствовала зеркала в комнатах, как чувствуешь первый снег, даже не глядя в окно. Еще несколько лет назад мисс Фолей заметила, что в доме вместе с ней поселилось множество ее собственных теней, и тогда она решила избегать холодных льдистых провалов в гостиной, над комодами и в ванной. Лучше всего скользить по ним, как на коньках по тонкому льду, чуть задержись, и под грузом твоего внимания хрупкая корочка проломится, ухнешь сквозь нее и будешь погружаться в холодную глубину все дальше, на дно, где подстерегает прошлое, вырезанное словно барельеф на могильном мраморе. В вены хлынет ледяная вода, и ты навеки окажешься прикован к зеркальной глади, не в силах оторвать взгляд от железных доказательств Времени.

А сегодня, под затихающий вдаль топот трех пар мальчишеских ног, она почувствовала редкие холодные снежинки, падающие в зеркала ее дома. Ей захотелось нырнуть в зеркальную глубину, посмотреть, что за погода ждет ее там. Но удержало опасение стоит поддаться желанию и дать зеркалу силу схватить и удержать эту толпу женщин, бредущих вспять, чтобы стать девушками, девушек, шагающих навстречу маленьким девочкам, — столько людей поселится в ее тесной квартирке, этак и задохнуться можно.

Так что же делать теперь с зеркалами? И что делать с этими паршивцами — Вилли Хэллуэем и Джимом Найтшедом? И с... племянником? Вот чудно. Почему-то не получается произнести: «С моим племянником».

"Да ведь я с самого начала, — думала она, — с того момента, как он в дверь вошел, поняла, что он — не отсюда. И зря он мне доказывал, я все равно ждала... Чего вот только?"

Сегодня ночью... карнавал. Музыка, твердил ей Роберт, которую обязательно надо услышать, аттракционы, на которых обязательно надо прокатиться. А там Лабиринт, где спит арктическая зима... То ли дело — карусель! Плыви себе по лету, сладкому, как клевер, среди медвяных трав и

дикой мяты".

Мисс Фолей выглянула на лужайку. В траве все еще поблескивали камни. Она ведь каким-то шестым чувством поняла, что племянник просто хотел избавиться от мальчишек, видно опасался, как бы они не отговорили ее воспользоваться билетом. Она взяла с каминной полки белый картонный прямоугольничек.

КАРУСЕЛЬ. ОДИН ЧЕЛОВЕК — ОДИН РАЗ.

Время шло. Племянник не возвращался. Значит, надо действовать самой. Надо осторожно обойти — не дай Бог задеть или обидеть — этих стражников, Вилли и Джима. Нельзя, чтобы они встали между ней и племянником, между ней и ее каруселью, между ней и восхитительным полетом среди летних лугов.

Этот Роберт даже своим молчанием ухитрился сказать так много, молчанием, взглядом, тем, как держал ее руку... легким ароматом свежего дыхания, похожего на дух только что испеченного яблочного пирога.

Она сняла телефонную трубку. Из окна ей виден был огонек в здании библиотеки. Уже много лет весь город видит его по ночам. Она набрала номер. Тихий голос ответил. И тогда она твердо заговорила:

— Библиотека? Мистер Хэллуэй? Это мисс Фолей, учительница Вилли. Я вас прошу, встретьте меня через десять минут возле полицейского участка Мистер Хэллуэй?.. — Пауза. — Вы все еще там?

«Скорая помощь» и полицейская машина, борт о борт, встали на перекрестке. Один из санитаров опустил стекло и сказал полицейскому за рулем:

— Готов поклясться. Когда мы туда приехали, старик был мертв.

— Шутите! — отозвался полицейский.

В санитарной машине двое пожали плечами.

— Точно, шутим.

С перекрестка белая машина ушла вперед, синяя двинулась следом. На заднем сиденье скорчились Джим и Вилли. Поначалу они пытались еще объяснить что-то, но полицейские не слушали, они со смехом вспоминали и пересказывали друг другу недавнее посещение балагана. Тогда ребята попросили высадить их на углу, не доезжая участка.

Их и высадили возле двух темных домов. Ребята бодро взбежали каждый на «свое» крыльцо, взялись за ручки дверей (тем временем машина свернула за угол), спокойно сошли по ступенькам и отправились следом. Через пять минут они разглядывали из-за угла освещенный, как днем, участок, и Вилли сообразил, что на дворе стоит глубокая ночь, и взглянул на Джима. Джим следил за ярко освещенными окнами, словно ждал: вот сейчас они погаснут навек, ночь затопит их.

«Я выбросил свои контрамарки еще по дороге, — думал Вилли, — а Джим, гляди-ка, так и держит свои». Вилли задрожал. «Ну чего он теперь-то хочет? Что еще задумал и что вообще можно думать после того, как мертвец ожил в раскаленном добела электрическом кресле? Он что, и после этого все еще любит карнавалы?»

Вилли всмотрелся в глаза Джима. Да, вот они, отсветы огней этого дьявольского балагана, так и остались в зрачках Джима. Но ведь это все-таки Джим! Вот же он стоит в ярком свете Справедливости из-за угла.

— Слушай, Джим, — сказал Вилли. — Начальник полиции, он нас выслушает.

— Ага, — тут же отозвался Джим — Он как раз проснулся бабочек ловить. Черт побери, Вилли! Даже я не поверю тому, что случилось за последние двадцать четыре часа!

— Значит, надо еще кого-нибудь найти. Ведь мы знаем теперь, чего стоит этот проклятый карнавал!

— О'кей. И чего же он стоит, по-твоему? Что в нем такого уж плохого?

Ну, подумаешь, напугал старуху в Лабиринте! Да она сама испугалась, скажут в полиции. Дом ограбил? О'кей. А где грабитель? Стариком вдруг обернулся? Да что ты? Кто ж поверит, что эта дряхлая развалина только что была двенадцатилетним мальчишкой? И что остается? Ах да, этот бродяга со своими громоотводами исчез. А сумку оставил. Ну, может, где-нибудь в городе шляется...

— Этот Карлик в балагане...

— Да видел я его, видел. Похож на торговца, точно. А как ты докажешь, что еще недавно он был не такой? Кугер был мальчишкой, этот был большим, видишь, что получается? Нет у нас доказательств. Правильно... Видели мы... Ну и что? Наше слово против слова Дарка. Ему ведь поверят. Опять же, полиция так славно время провела. Черт возьми! Экая кутерьма! Как бы нам все-таки извиниться перед мистером Кугером?

— Извиниться?! — так и взвился Вилли. — Перед этим крокодилом? Перед этим людоедом? Ты что, еще не зарекся иметь дело с этими бормоглотами и гримзами?

— Бормоглотами, говоришь? Гримзами? — Джим задумчиво поглядел на друга.

Так они привыкли называть между собой всякую нежить из ночных кошмаров. Когда к Вилли приходили бормоглоты, они стонали, невнятно бормотали и лица на них не было. А в кошмарах Джима гримзы росли как на дрожжах и питались крысами, которые в свою очередь пожирали пауков, таких здоровенных, что они сами охотились на кошек.

— Именно так и говорю, — огрызнулся Вилли — Чего ты ждешь? Чтобы на тебя шкаф в десять тонн свалился? Посмотри, что с двоими уже сделали: с мистером Электрико и с этим свихнутым Карликом. Проклятая карусель черт знает что с людьми творит! Мы-то знаем, мы видели. Может, они нарочно так скрючили торговца, а может, опять не заладилось. Ну, принял он маленько, проехался на карусели, хлоп! и готово! Свихнулся и даже нас не узнал. Мало тебе? Неужто тебя Господь оставил, Джим? Слушай, а может, и мистер Крозетти...

— Да он просто передохнуть решил.

— Может, да, а может, нет. Парикмахерская — раз, объявление — два: «Закрывается по болезни». По какой это болезни, а, Джим? Леденцов объелся на представлении? Морскую болезнь на карусели подхватил?

— Ай да заткнись ты, Вилли!

— Нет, сэр, не заткнусь, не дождешься. Оно, конечно, сильная штука эта карусель. Думаешь, я навсегда хочу тринадцатилетним остаться? Вот уж дудки! Но, Джим, ты ведь не по правде захотел двадцатилетним стать?

— А о чем мы с тобой все лето говорили?

— Верно. Говорили. И ради этого ты сунешь голову в проклятую костоломку? Ну, вытянут тебя, да только после этого ты и думать забудешь, зачем оно тебе понадобилось!

— Нет уж, не забуду, — упрямо выдохнул в ночь Джим.

— А я тебе говорю — забудешь! Просто уйдешь и бросишь меня здесь, Джим.

— С чего это мне тебя бросать? — запротестовал Джим. — Не собираюсь я. Мы вместе будем...

— Вместе? Только ты на два фута выше, да? Будешь смотреть на меня сверху и хвастать своими руками-ногами. И о чем это мы говорить будем, скажи на милость, если у меня в карманах полно веревок для змеев, камушков и лягушачьих лап, а у тебя там будет чисто и пусто? Об этом, что ли, мы будем говорить, что ты бегаешь быстрее и запросто можешь меня бросить...

— Да не буду я тебя бросать, Вилли, никогда не буду!

— Мигом бросишь. Ладно. Давай. Оставь меня. У меня же есть перочинный ножик, со мной все в порядке. Буду под деревом сидеть, в ножички играть. А ты совсем свихнешься на этом черном жеребце, что носится кругами, да, слава Богу, теперь-то уж не понесется больше...

— Это ты виноват! — выкрикнул Джим и замолчал.

Вилли сжал кулаки.

— Ты, значит, хочешь сказать, что надо было дать этому маленькому прохиндею спокойно превратиться в большого прохиндея и открутить нам головы? А может, надо бы и тебя пустить туда покататься и помахать мне ручкой на прощанье? А я бы, значит, помахал тебе, да, Джим?

— Уймись ты, — пробормотал Джим. — Поздно теперь говорить, сломана карусель...

— А как починят ее, так сразу прокатят назад старину Кугера, чтобы он помоложе стал да вспомнил, как нас звать. И вот тогда они придут за нами, эти бормоглоты, нет, только за мной придут, ты ведь перед ними извиняться задумал, ты же скажешь им, как меня зовут и где я живу...

— Я не сделаю этого, Вилли, — произнес Джим сдавленным голосом.

— Джим! Джим! Вспомни. В прошлом месяце проповедник говорил: всему свое время, сначала одно, потом — другое, одно за другим, Джим, а не два за двумя, помнишь?

— Всему свое время, — тихо повторил Джим.

И тут до них донеслись голоса. В полицейском участке говорила женщина, а мужчины что-то отвечали ей.

Вилли быстро кивнул Джиму, они пробрались через кусты и, подкравшись к окну, заглянули в комнату.

За столом сидела мисс Фолей, напротив — отец Вилли.

— ...в голове не укладывается, — говорила мисс Фолей, — подумать только: Джим и Вилли — грабители! Надо же, в дом пробраться, взять, удрать!

— Вы точно их видели? — тихо спросил м-р Хэллуэй.

— Я закричала, и они посмотрели вверх, а там — фонарь... «Она молчит про племянника, — подумал Вилли, — и дальше молчать будет. Видишь, Джим! — хотелось крикнуть ему. — Это — ловушка! Племянник специально поджидал нас, чтобы в такую заварушку втянуть! А там уж неважно будет, что мы кому про карнавалы с каруселями рассказываем. Хоть полиция, хоть родители — никто не поверит!»

— Я не хочу никого обвинять, — продолжала меж тем мисс Фолей, — но если они не виноваты, то где же они?

— Здесь! — раздался голос.

— Вилли! — отчаянно прошептал Джим, но было уже поздно.

Вилли подпрыгнул, подтянулся и перескочил через подоконник.

— Здесь, — просто сказал он.

Они неторопливо шли домой по залитым луной тротуарам. Посредине — м-р Хэллуэй, по бокам — ребята. Уже перед домом отец Вилли вздохнул.

— По-моему, не стоит тебе, Джим, нарываться на неприятности с твоей матушкой посреди ночи. Давай, ты ей утром расскажешь, а? Ты, надеюсь, сможешь попасть домой по-тихому?

— Запросто! — фыркнул Джим. — Глядите, что у нас есть...

— У нас?

Джим небрежно кивнул и отодвинул со стены густые плети дикого винограда. Под ними открылись железные скобы, ведущие прямо к подоконнику Джима. М-р Хэллуэй тихо засмеялся, но внутри содрогнулся от внезапной острой печали.

— И давно это здесь? Впрочем, ладно, не говори. У меня в детстве такие же были, — добавил он и взглянул на затерянное в зелени окно Джима. — Здорово, конечно, выйти попозже... — Он остановил себя. — Но вы не слишком поздно возвращаетесь?

— Да нет. На этой неделе — первый раз после полуночи. М-р Хэллуэй поразмышлял немножко.

— Полагаю, от разрешения никакого удовольствия бы не было, так? Еще бы! Тайком смыться на озеро, на кладбище, на железную дорогу или в персиковый сад...

— Черт! Мистер Хэллуэй, и вы, что ли, тоже, сэр?..

— Еще бы! Но только — чур, женщинам ни слова. Ладно. Дуй наверх, и чтоб до следующего месяца про эту лестницу забыть!

— Есть, сэр!

Джим по-обезьяньи взлетел наверх, мелькнул в окне, закрыл его и задернул занавеску.

Отец Вилли глядел на ступени, спускавшиеся из звездного поднебесья прямо в свободный мир пустынных тротуаров, темнеющих зарослей, кладбищенских оград и стен, через которые можно перемахнуть с шестом.

— Знаешь, Вилли, что мне горше всего? — задумчиво обратился он к сыну. — Что я больше не в состоянии бегать, как ты.

— Да, сэр, — ответил Вилли.

— Давай-ка разберемся, — предложил отец. — Завтра ходим, еще раз извинимся перед мисс Фолей, и заодно осмотрим лужайку. Вдруг мы что-

нибудь не заметили, пока лазили там с фонарями. Потом зайдем к окружному шерифу. Ваше счастье, что вы вовремя появились. Мисс Фолей не предъявила обвинение.

— Да, сэр.

Они подошли к стене своего дома. Отец запустил руку в заросли плюща.

— У нас тоже? — Он уже нащупал ступеньку.

— У нас тоже.

М-р Хэллуэй вынул кисет и набил трубку. Они стояли у стены; рядом незаметные ступени вели к теплым постелям в безопасных комнатах. Отец курил трубку.

— Я знаю. На самом деле вы не виноваты. Ничего вы не крали.

— Нет.

— Тогда почему признались там, в полиции?

— Да потому, что мисс Фолей почему-то хочет обвинить нас. А раз она так говорит, ну, значит, так и есть. Ты же видел, как она удивилась, когда мы через окно ввалились? Она ведь и думать не думала, что мы сознаемся. Ну а мы сознались. Знаешь, у нас и кроме Закона врагов хватает. Я подумал: если мы сознаемся, может, они отстанут от нас? Так и вышло. Правда, мисс Фолей тоже в выигрыше — мы ведь преступники теперь, кто нам поверит?

— Я поверю.

— Правда? — Вилли внимательно изучил тени на отцовском лице. — Папа, прошлой ночью, в три утра...

— В три утра...

Вилли заметил, как вздрогнул отец, словно от ночного ветра, словно он знал уже все и только двинуться не мог, а просто протянул руку и тронул Вилли за плечо. И Вилли уже знал, что не станет говорить больше. Не сегодня. Может быть, завтра, да, завтра, или... послезавтра, когда-нибудь потом, когда будет день и шатры на лугу исчезнут, и уродцы оставят их в покое, думая, что достаточно припугнули двоих пронырливых мальчишек, и теперь-то уж они придержат язык за зубами. Может, пронесет, может...

— Ну, Вилли, — с усилием выговорил отец. Трубка погасла, но он не заметил. — Продолжай.

«Нет уж, — подумал Вилли, — пусть лучше нас с Джимом съедят, но больше чтоб никого. Стоит узнать — и ты в опасности».

Вслух же он сказал:

— Пап, я тебе через пару деньков все расскажу. Ну, точно! Маминой честью клянусь!

— Маминой чести для меня вполне достаточно, — после долгого молчания согласился отец.

Ах, как хороша была ночь! От пыльных пожухлых листьев исходил такой запах, будто к городу вплотную подступили пески аравийской пустыни. «Как это так, — думал Вилли, — после всего я еще могу размышлять о тысячелетиях, скользнувших над землей, и мне грустно, потому что, кроме меня, ну и еще, быть может, отца, никто не замечает этих прошедших веков. Но мы почему-то даже с отцом не говорим об этом».

Это был редкостный час в их отношениях. У обоих мысли то кидались по сторонам, как игривый терьер, то дремали, словно ленивый кот. Надо было идти спать, а они все медлили и выбирали окольные пути к подушкам и ночным мыслям. Уже настала пора сказать о многом, но не обо всем. Время первых открытий. Первых, а до последних было еще так далеко. Хотелось знать все и ничего не знать. Самое время для мужского разговора, да только в сладости его могла затаиться горечь.

Они поднялись по лестнице, но сразу разойтись не смогли. Этот миг обещал и другие, наверное, даже не такие уж отдаленные ночи, когда мужчина и мальчик, готовящийся стать мужчиной, могли не то что говорить, но даже петь. В конце концов Вилли осторожно спросил:

- Папа... а я хороший человек?
- Думаю, да. Точно знаю — да, — был ответ.
- Это... поможет, когда придется действительно туго?
- Обязательно.
- И спасет, когда придется спастись? Ну, если вокруг, например, все плохие и на много миль — ни одного хорошего? Тогда как?
- И тогда пригодится.
- Хотя ведь пользы от этого не очень-то много, верно?
- Знаешь, это ведь не для тела, это все-таки больше для души.
- Слушай, пап, тебе не приходилось иногда пугаться так, что даже...
- Душа уходит в пятки? — Отец кивает, а на лице — беспокойство. — Папа, — голос Вилли едва слышен, — а ты — хороший человек?
- Я стараюсь. Для тебя и для мамы. Но, видишь ли, каждый из нас сам по себе вряд ли герой. Я ведь с собой всю жизнь живу, знаю уж все, что стоит о себе знать.
- Ну и как? В общем?
- Ты про результат? Все приходит, и все уходит. А я по большей части

сизу тихо, но надежно, так что, в общем, я в порядке.

— Тогда почему же ты не счастлив, папа?

Отец покряхтел.

— Знаешь, на лестнице в полвторого ночи не очень-то пофилософствуешь...

— Да. Я просто хотел узнать.

Повисла долгая пауза. Отец вздохнул, взял его за руку, вывел на крыльцо и снова разжег трубку. Потом сказал неторопливо:

— Ладно. Мама твоя спит. Будем считать, она не догадывается о том, что мы с тобой беседуем здесь. Можем продолжать. Только сначала скажи, с каких это пор ты стал полагать, что быть хорошим — и значит быть счастливым?

— Со всегда.

— Ну, значит, пора тебе узнать и другое. Бывает, что самый наисчастливейший в городе человек, с улыбкой от уха до уха, жуткий грешник. Разные бывают улыбки. Учись отличать темные разновидности от светлых. Бывает, крикун, хохотун, половину времени — на людях, а в остальную половину веселится так, что волосы дыбом. Люди ведь любят грех, Вилли, точно, любят, тянутся к нему, в каких бы обличьях, размерах, цветах и запахах он ни являлся. По нынешним временам человеку не за столом, а за корытом надо сидеть. Иной раз слышишь, как кто-нибудь расхваливает окружающих, и думаешь: да не из свинарника ли он родом? А с другой стороны, вон тот несчастный, бледный, обремененный заботами человек, что проходит стороной, — он и есть как раз тот самый твой Хороший Человек. Быть хорошим — занятие страшноватое. Хоть и на это дело охотники находят, но не каждому по плечу, бывает, ломаются по пути. Я знавал таких. Труднее быть фермером, чем его свиньей. Думаю, что именно из-за стремления быть хорошей и трескается стена однажды ночью. Глядишь, вроде человек хороший, и марку высоко держит, а упадет на него еще волосок — он и сник. Не может самого себя в покое оставить, не может себя с крючка снять, если хоть на вздох отошел от благородства.

Вот кабы просто быть хорошим, просто поступать хорошо, вместо того чтобы думать об этом все время. А это нелегко, верно? Представь: середина ночи, а в холодильнике лежит кусок лимонного пирога, чужой кусок! И тебе так хочется его съесть, аж пот прошибает! Да кому я рассказываю! Или вот еще: в жаркий весенний полдень сидишь за партой, а там, вдали, скачет по камням прохладная чистая речка. Ребята ведь чистую воду за много миль слышат. И вот так всю жизнь ты перед выбором, каждую секунду стучат часы, только о нем и твердят, каждую минуту,

каждый час ты должен выбирать — хорошим быть или плохим. Что лучше: сбегать поплавать или париться за партой, залезть в холодильник или лежать голодным. Допустим, ты остался за партой или там в постели. Вот здесь я тебе секрет выдам. Раз выбрав, не думай больше ни о реке, ни о пироге, не думай, а то свихнешься. Начнешь складывать все реки, в которых не искупался, все не съеденные пироги, и к моим годам у тебя наберется куча упущенных возможностей. Тогда успокаиваешь себя тем, что, чем дальше живешь, тем больше времени теряешь или тратишь впустую. Трусость, скажешь? Нет, не только. Может, именно она и спасает тебя от непосильного, подожди — и сыграешь наверняка.

Посмотри на меня, Вилли. Я женился на твоей матери в тридцать девять лет, в тридцать девять! До этого я был слишком занят, отвоевывая на будущее возможность упасть дважды, а не трижды и не четырежды; Я считал, что не могу жениться, пока не вылижу себя начисто и навсегда. Я не сразу понял, что бесполезно ждать, пока станешь совершенным, надо скрестись и царапаться самому, падать и подниматься вместе со всеми. И вот однажды под вечер я отвлекся от великого поединка с собой, потому что твоя мать зашла в библиотеку. Она зашла взять книгу, а вместо нее получила меня. Тогда-то я и понял: если взять наполовину хорошего мужчину и наполовину хорошую женщину и сложить их лучшими половинками, получится один хороший человек, целиком хороший. Это ты, Вилли. Уже довольно скоро я заметил, с грустью, надо тебе сказать, что хоть ты и носишься по лужайке, а я сижу над книгами, но ты уже мудрее и лучше, чем мне когда-нибудь удастся стать...

У отца погасла трубка. Он замолчал, пока возился с ней, наконец разжег заново.

— Я так не думаю, сэр, — неуверенно произнес Вилли.

— Напрасно. Я был бы совсем уж дураком, если бы не догадывался о собственной дурусти. А я не дурак еще и потому, что знаю — ты мудр.

— Вот интересно, — протянул Вилли после долгой паузы, — сегодня ты мне сказал куда больше, чем я тебе. Я еще немножко подумаю и, может, за завтраком тоже расскажу тебе побольше, о'кей?

— Я постараюсь подготовиться.

— Я ведь потому не говорю... — голос Вилли дрогнул. — Я хочу, чтобы ты был счастлив, папа. — Он проклинал себя за слезы, наворачнувшиеся на глаза.

— Со мной все будет в порядке, сынок.

— Знаешь, я все сделаю, лишь бы ты был счастлив!

— Вильям, — голос отца был вполне серьезен, — просто скажи мне,

что я буду жить всегда. Этого, пожалуй, хватит.

«Отцовский голос, — подумал Вилли. — Почему я никогда не замечал, какого он цвета? А он такой же седой, как волосы».

— Пап, ну чего ты так печально?

— Я? А я вообще печальный человек; Я читаю книгу и становлюсь печальным, смотрю фильм — сплошная печаль, ну а пьесы, те просто переворачивают у меня все внутри.

— А есть хоть что-нибудь, от чего ты не грустишь?

— Есть одна штука. Смерть.

— Вот так да! — удивился Вилли. — Уж что-что...

— Нет, — остановил его мужчина с седым голосом. — Конечно, Смерть делает печальным все остальное, но сама она только пугает. Если бы не Смерть, в жизни не было бы никакого интереса.

«Ага, — подумал Вилли, — и тут появляется Карнавал. В одной руке, как погремушка, Смерть, в другой, как леденец, Жизнь. Одной рукой пугает, другой — заманивает. Это — представление. И обе руки полны!» Он вскочил с перил.

— Слушай, пап! Ты будешь жить всегда! Точно! Ну, подумаешь, болел ты года три назад, так ведь прошло все. Правильно, тебе — пятьдесят четыре, так ведь это еще не так много! Только...

— Что, Вилли?

Вилли колебался. Он даже губу прикусил, но потом все-таки выпалил:

— Только не подходи близко к Карнавалу!

— Чудно, — покрутил головой отец. — Как раз это и я тебе хотел посоветовать.

— Да я и за миллион долларов не вернулся бы туда!

«Но это вряд ли остановит Карнавал, — думал Вилли, — который по всему городу ищет меня».

— Не пойдешь, пап? Обещаешь?

— А ты не хочешь объяснить, почему не надо ходить туда? — осторожно спросил отец.

— Завтра, ладно? Или на следующей неделе, ну, в крайнем случае через год. Ты просто поверь мне, и все.

— Я верю, сын. — Отец взял его за руку и пожал. — Считаю, что это — обещание.

Теперь пора было идти. Поздно. Сказано достаточно. Пора.

— Как вышел, — сказал отец, — так и войдешь.

Вилли подошел к железным скобам, взялся за одну и обернулся.

— Ты ведь не снимешь их, пап?

Отец покачал одну скобу, проверяя, хорошо ли держится.

— Когда устанешь от них, сам снимешь.

— Да никогда я от них не устану!

— Думаешь? Да, наверное, в твоём возрасте только так и можно думать: что никогда ни от чего не устанешь. Ладно, сын, поднимайся.

Вилли видел, как смотрит отец на стену, затянутую плющом.

— А ты не хочешь... со мной?

— Нет, нет, — быстро сказал отец.

— А зря. Хорошо бы...

— Ладно, иди.

Чарльз Хэллуэй все смотрел на плющ, шелестящий в рассветных сумерках.

Вилли подпрыгнул, ухватился за первую скобу, за вторую, за третью... и взглянул вниз. Даже с такой небольшой высоты отец на земле казался съезжившимся и потерянным. Вилли просто не мог оставить его вот так, бросить одного в ночи.

— Папа! — громко прошептал он. — Ну что ты теряешь?

Губы отца шевельнулись. И он тоже подпрыгнул неловко и ухватился за скобу.

Беззвучно смеясь, мальчик и мужчина лезли по стене друг за другом. След в след.

Вилли слышал, как карабкается отец. «Держись крепче», — мысленно подбадривал он его.

— Ох! — Мужчина тяжело дышал.

Зажмурившись, Вилли взмолился: «Держись! Немножко же! Ну!»

Нога старика сорвалась со скобы. Он выругался яростным шепотом и полез дальше.

А дальше все шло гладко. Они поднимались все выше и выше, отлично, чудесно — хоп! — и готово! Оба ввалились в комнату и уселись на подоконнике, примерно одного роста, примерно одного веса, под одними и теми же звездами, они сидели, обнявшись, впервые, и пытались отдышаться, глотая огромные смешные куски воздуха, боясь расхохотаться и разбудить Господа Бога, страну, жену и маму; они зажимали друг другу рты ладонями, чувствуя кожей рук смеющиеся губы, и все сидели, сверкая яркими, влажными от любви глазами.

Потом отец все-таки нашел в себе силы, поднялся и ушел. Дверь спальни закрылась.

Слегка опьянев от приключений долгой ночи, открыв в отце то, что и не чаял открыть, Вилли сбросил одежду и как бревно повалился в кровать.

Вряд ли он проспал час. Какое-то неясное воспоминание разбудило его, он сел и сразу посмотрел на соседскую крышу.

— Громоотвод! — тихонько взвыл Вилли. — Его же нет!

Так оно и было. Украли? Нет, конечно. Джим снял? Точно. Но зачем? Вилли знал зачем. Джим говорил — чепуха, мол, все это. Вилли почти видел, как Джим с усмешкой лезет на крышу и отрывает чертову железяку. Нарочно отрывает, чтобы пришла гроза и чтобы молния ударила в его дом! Не мог Джим отказаться от такого развлечения, не мог не примерить обновку из электрического страха.

Ох, Джим! Вилли едва не выскочил в окно. Надо же немедленно прибить эту штуку на место. Обязательно. До утра. А то ведь проклятый Карнавал обязательно пошлет кого-нибудь разузнать, где мы живем. Я не знаю, как они явятся и в каком обличье, но они придут, придут! Господи, Джим, а твоя крыша такая пустая! Посмотри, облака прямо летят, гроза идет, беда надвигается...

Вилли насторожился. Какой звук издает воздушный шар, когда его несет ветер? Да никакого. Нет, какой-то должен быть. Наверное, он шуршит, шелестит или вздыхает, как ветер, когда откидывает тюлевые занавески. А может, он похож на тот звук, с которым вращаются звезды во сне? Или... ведь закат и восход тоже слышно. Вот когда луна плывет между облаков, слышно ведь, так и шар, наверное.

Как его услышишь? Уши не помогут. Разве что волосы на загривке, и легкий пушок в ушах, и еще волоски на руках — они иногда звенят, как кузнечики. Вот они могут услышать, и тогда ты будешь точно знать, даже лежа в постели: где-то неподалеку в небесах плывет воздушный шар.

Вилли почувствовал движение в комнате Джима. Должно быть, и Джим своими антеннами уловил, как поднимаются над городом призрачные воды, открывая путь Левиафану.

Оба они почувствовали тяжелую тень, скользящую меж домами. Оба высунулись в один и тот же миг и в который раз поразились этой удивительной слаженности, радостной пантомиме интуиции, предчувствия, обостренного годами дружбы. Оба задрали головы, посеребренные восходившей луной.

Как раз вовремя, чтобы заметить исчезающий за деревьями воздушный шар.

— С ума сойти! Что ему здесь надо? — Джим спрашивал, вовсе не рассчитывая на ответ.

Они оба знали. Лучше для поисков не придумаешь: ни тебе шума мотора, ни шороха шин, ни стука шагов по асфальту — только ветер, расчистивший в облаках целую Амазонку для мрачного полета плетеной корзины и штормового паруса над ней.

Ни Джим, ни Вилли не бросились от окон, они даже не шелохнулись, потому что шар возвращался! От него исходил призрачный звук — не громче бормотания в чужом сне.

Сильно и как-то сразу похолодало. Выбеленный многими бурями шар с легким журчанием падал вниз. Под слоновьей тенью враз заиндевели лужайка с цветочными часами. Уже можно было разглядеть и фигуру, торчавшую подбоченясь над краями корзины. Вот плечи, а это — голова? Луна светит прямо сзади, не разберешь... «Мистер Дарк!» — подумал Вилли. «Крушитель!» — показалось Джиму. «Бородавка!» — решил Вилли. — Скелет! Пьющий лаву! Сеньор Гильотины!»

Нет.

Это была Пыльная Ведьма, та, которая обращает в пыль черепа и кости и развеивает их по ветру.

Джим глянул на Вилли, Вилли — на Джима, и оба прочли по губам друг друга: «Пыльная Ведьма!»

«Но почему? — лихорадочно думал Вилли, — почему на поиски послали восковую каргу, почему не кого-нибудь ядовитого или огнеглазого? Зачем отправлять дряхлую куклу со слепыми тритоньими веками, защитыми черной вдовьей ниткой?»

И тогда, взглянув вверх, они поняли. Хоть и восковая, Ведьма была живей живых. Хоть и слепая, но она выставила из корзины длинную руку в пятнах ржавчины, и эта рука чутко просеивала воздух, касалась звездных лучей (они тускнели при этом), ловко распутывала воздушные течения и лучше носа вела ищейку.

И Джим, и Вилли знали даже еще больше. Слепота Ведьмы особая. Руки, опущенные вниз, ощущали биение мира, они могли незримо касаться крыш, ощупывать мешки на чердаках, мгновенно исследовать любую пыль, понимать сквозняки, пролетающие по комнатам, и души, трепыхающиеся в людях, руки видели, как легкие гонят кровь к вискам, к трепещущему горлу, к пульсирующим запястьям и снова к легким. Так же как ребята чувствовали морось, сеющуюся от шара, так же и Ведьма чувствовала их души, трепещущие вместе с дыханием возле ноздрей. Ведь каждая душа — огромный теплый след; Ведьма легко различала их, могла бы узнать по

запаху, могла бы размять в пальцах, как глину, и определить на ощупь. Вилли чуял, как она с высоты обнюхивает его жизнь, как пробует мокрыми деснами и гадючьим языком ее на вкус, как прислушивается к звучанию, пропуская душу из одного уха в другое.

Руки играли воздухом. Одна — для Джима, другая — для Вилли. Тень от шара окатила их волной ужаса.

Ведьма громко дохнула вниз. Шар тут же подскочил вверх, и тень убралась.

— Боже! — промолвил Джим. — Теперь они нас выследили. Оба едва перевели дух и снова замерли. Чуть слышно заскрипела и застонала крыша Джима под каким-то страшным, незримым грузом.

— Вилли! Она забирает меня!

— Нет, не то...

Шорох. Как будто мягкая щетка прошла по крыше Джима. А потом шар взмыл вверх и направился к холмам.

— Смылась! Вон она летит! Джим, она что-то сотворила с твоей крышей. Быстро! Кинь веревку!

Джим натренированным броском (не в первый раз) забросил в комнату Вилли бельевую веревку. Одним движением Вилли закрепил ее под подоконником и, споро перехватываясь руками, через минуту оказался в комнате Джима. Босиком, подталкивая друг друга, они выбрались на чердак. Выглянув из маленького окошка, Вилли зашипел: «Вот оно, Джим!»

Верно. Тут оно и было, серебрясь в лунном свете.

Такой след остается от улитки на тротуаре. Серебристо-гладкий, блестящий. Только улитка должна была бы весить фунтов сто. Серебристая полоса шириной в ярд начиналась от водосточного желоба, забитого листьями, и тянулась через весь скат до конька. Видно, и на той стороне было то же самое.

— Зачем это? — выдохнул Джим.

— Это же проще, чем высматривать номера домов и названия улиц. Твою крышу пометили, да так, что и днем и ночью издали видать.

— Черт меня побери! — Джим высунулся и потрогал след. На пальцах осталась какая-то клейкая гадость с противным запахом. — Вилли, что нам теперь делать?

— Я думаю, они не вернутся до утра. Не успеют. Не поднимут же они сейчас суматоху. А мы вот что сделаем!

На лужайке под окнами, свернутый кольцами, как огромный удав, лежал садовый шланг.

Вилли ящерицей слетел вниз, ничего не перевернул, не зацепил и не разбудил никого. Джим опомниться не успел, а Вилли, запыхавшийся, был уже снова наверху со шлангом в руке.

— Вилли, ты гений!

— А то как же! Давай скорее.

Они вдвоем протащили шланг на чердак и принялись смывать мерзкий ртутный налет. Работая, Вилли оглядывался на восток, там ночные краски уступали место рассветным. Далеко над холмами он видел шар, лавирующий в воздушных потоках. Не вернулся бы он... а то снова пометит. Ну и что? Они опять смоют. Так до восхода и будут мыть, если понадобится.

«Вот бы добром остановить Ведьму, — думал Вилли. — Они ведь все еще не знают ни наших имен, ни где мы живем. Мистер Кугер, того и гляди, дуба даст, где ему что-нибудь помнить. Карлик, если это и впрямь давешний торговец, совсем спятил, Бог даст, тоже не вспомнит. Мисс Фолей они до утра беспокоить не станут. Сидят там у себя в лугах и зубами скрипят. Ведьму вот на поиски послали...»

— Дурак я, — тихо и грустно сказал Джим, окатывая крышу там, где раньше крепился громоотвод. — Чего я его не оставил?

— Ладно, — отозвался Вилли, — молния ведь пока не трахнула. Может, еще и пронесет. Все. Пошли отсюда.

Они еще раз окатили крышу. Внизу стукнуло, закрываясь, окно.

— Мама, — тускло усмехнулся Джим. — Думает, дождь пошел.

Крыша стала чистой. Шланг шмякнулся в траву. За городом все еще мотался в быстро светлеющем небе воздушный шар.

— Чего она ждет?

— Может, чувствует, как мы тут поработали?

Тем же путем, через чердак, они вернулись в комнату Джима, и скоро каждый лежал в своей постели, прислушиваясь, как сердце наперегонки с часами отбивает ритм наступающего утра.

«Что бы они ни придумали, — размышлял Вилли, — нам надо опередить их». Ему пришла в голову мысль. Теперь он даже хотел, чтобы Ведьма вернулась. Уже несколько минут он разглядывал свое бойскаутское снаряжение, развешенное на стене: прекрасный лук и колчан со стрелами.

«Прости, папа, — подумал он и сел на кровати. — Пора и мне выходить из дома одному. Вовсе ни к чему, чтобы эта мразь болтала о нас, хоть сегодня, хоть когда».

Он снял лук со стены, еще немножко поколебался и отворил окно. «Вовсе не обязательно звать ее вслух, — думал он. — Надо просто думать, хоть это и нелегко с непривычки. Мысли они читать не могут, это точно, иначе ее и посылать не нужно было бы. Мысли — нет, но тепло живого тела, запахи, волнения, настроения — это она может учуять. Я уж постараюсь дать ей понять, что обманул ее, может, тогда...»

«Четыре утра», — прозвонили сонные куранты из другого мира.

«Эй, Ведьма, — подумал он, — вернись. Ведьма! — подумал он решительнее и предоставил крови радостно взволноваться от собственной находчивости. — Ведьма! А крыша-то чистая, слышишь? Мы ее помыли. Так что давай обратно, опять метить надо! Ведьма!..»

И Ведьма услышала.

Вилли вдруг почувствовал, как поворачивается пейзаж под шаром.

«О'кей, Ведьма, продолжай. Я здесь только один, просто мальчишка без имени, мыслей ты моих не прочтешь, но то, что я чувствую, разобрать сможешь. Так вот, я чувствую, что плевать мне на тебя! Мы тебя обдурили, наша взяла, а твоя затея провалилась. Что, съела?»

Через мили Вилли уловил согласный вздох. Похоже, шар приближался.

«Э-э, да что это я? — всполошился Вилли. — Мне вовсе не надо, чтобы она сюда летела. А ну-ка, пошли! Быстро! Быстро!»

Он натянул одежду, ловко, как обезьяна, спустился по скобам и

принюхался. Точно, приближается.

Он бежал, наплевав на тропинки, чувствуя восхитительную свободу, как заяц, наевшийся редкого дурманного корешка, бежал как берсерк, которого не остановить. Колени достают аж до подбородка, ноги крушат сучки и листья. Раз! Перемахнул через ограду, в руках — оружие, страх и восторг смешались белыми и красными леденцами во рту.

Он оглянулся. О! Шар уже близко! И летит быстро...

«Стоп! А куда я бегу? — подумал он. — Ах да, к дому Редмана! Там уж сколько лет никто не живет. Ну, еще два квартала...»

Шуршат бегущие ноги, шуршит эта шуковина в небе. Все в лунном свете, а звезды меркнут уже.

Он остановился возле дома Редмана. В каждом легком пылал огонь. Во рту — привкус крови. Изнутри рвется безмолвный крик:

«Вот! Это мой дом!»

Он почувствовал, как вильнула ветровая река в небесах.

«Правильно», — одобрил он.

Он уже повернул старую дверную ручку, и тут его пришибла мысль: «Боже! А вдруг они внутри, сидят и поджидают меня?»

Он распахнул дверь. За ней была полная тьма.

Лопнули с едва слышным треском паучьи сети. Больше ничего. Перескакивая через две ступеньки по гнилой лестнице, он взлетел на чердак, потом — на крышу и только здесь, прислонив лук к трубе, остановился и выпрямился.

Шар, зеленый, как тина, разрисованный крылатыми скорпионами, древними сфинксами, дымами и огнями, тяжело вздохнул и прынул вниз.

«Ну, — подумал он, — давай, Ведьма, иди сюда!»

Мокрая тень ударила его неожиданно, как крыло летучей мыши. Взмахнув руками, Вилли пошатнулся. Тень казалась вязкой черной патокой. Он упал. Ухватился за трубу. Тень окутала его и теперь утихомиривала. Липкий холод пронизывал до костей. Но вдруг, сам по себе, ветер сменил направление. Ведьма зашипела. Шар смыло вверх.

«Ветер! — отчаянно думал Вилли. — Он за меня! Не уходи! — испугался он за отлетающий шар. — Вернись!»

Он очень боялся, как бы Ведьма не разнюхала его план. А ведь, похоже, к этому и шло. Она уже поняла, что план есть, и теперь лихорадочно ощупывала его со всех сторон, вытягивала все больше. Вилли видел, как ее пальцы сучат воздух, быстро разбирая незримые нити. Она выставила ладони вниз, как будто он был печкой, хранившей огонь в подземном мире, а она пришла погреть над ней руки. Огромным

маятником корзина скользнула вниз, и теперь Вилли видел и защитные веки, поросшие мхом уши, и шамкающий иссохший рот, непрерывно пробувающий воздух на вкус. Бледные сморщенные губы поджались в сомнении. Вилли почти слышал ее мысли: «Что-то здесь не так! Уж слишком он подставляется, слишком просто взять его. Не иначе как обман». Определенно, она чувствовала подвох.

Ведьма задержала дыхание. Шар завис между вдохом и выдохом. Она решила рискнуть и вдохнула. Шар, потяжелев, пошел вниз. Выдохнула — взлетел вверх. Надо выждать.

Растопырив ладонь, Вилли приставил большой палец к носу и помахал.

Ведьма сделала большой вдох. Шар провалился.

«Ближе!» — подумал Вилли.

Нет, она осторожничала, спускалась по пологой спирали, ориентируясь на острый запах адреналина. Вилли вертел головой, следя за шаром.

«Ты что, хочешь, чтобы у меня голова открутилась? — мысленно прикрикнул он. — Думаешь, затошнит от твоего кружения?»

Нет. Шар опять завис. Оставалось последнее средство. Он повернулся к шару спиной и застыл.

«Ведьма, — думал он, — ты же не устоишь».

Совсем близко ощущалось зеленое скользкое облако, слышалось поскрипыванье плетеной корзины, шею и спину обдавало холодом. Уже близко!

Ведьма снова вдохнула. Балласт из звездного света и ночного ветра бросил шар вниз.

Ближе!

Слоновья тень тронула его ухо. Вилли протянул руку за оружием. Тень накрыла его. словно паук коснулся волос — неужто рука?! Вскрикнув, он обернулся. Ведьма тянулась к нему из корзины. До нее было не больше двух футов. Он нагнулся, перехватил лук поудобнее. Ведьма унюхала, учуяла, поняла, что у него в руках! Она попыталась выдохнуть, но от ужаса только затаила дыхание. Шар снизился еще, и корзина заскребла по крыше.

Только одна мысль осталась в голове у Вилли: «УНИЧТОЖИТЬ!!!» Он натянул тетиву.

Лук переломился пополам. Вилли тупо уставился на стрелу, оставшуюся у него в руке.

Ведьма испустила радостный вопль. Шар пошел вверх и ударил Вилли углом корзины. Ведьма снова победно заверещала. Уцепившись за край

корзины, Вилли в отчаянии метнул стрелу, как дротик, в огромный шар над головой. Ведьма загоготала и потянула к нему скрюченные пальцы.

Казалось, стрела летит целый час. Но вот она встретилась с оболочкой шара и исчезла в ней, оставив за собой маленькую дырку. От нее, как разрез на сыре, побежала горизонтальная трещина, как улыбка на круглом лице. Шар остановился, закачался и стал спускаться. Поверхность его подернулась рябью, форма теперь больше напоминала грушу. Причитая, бормоча и негодующе вскрикивая, Ведьма заметалась по корзине. Вилли мертвой хваткой вцепился в край и висел, болтая ногами. А шар плакал, сипел, захлебывался воздухом и скорбел о своей преждевременной кончине. Вдруг какое-то драконье дыхание подхватило опадающую плоть и быстро поволокло назад и вверх.

Вилли разжал пальцы. Пространство засвистело вокруг него, потом больно ударило по ногам крышей, он перевалился через водосток и ногами вперед провалился в следующую пустоту, вскрикивая, пытаясь ухватиться за пролетающую мимо водосточную трубу и понимая, что это не поможет, он еще успел заметить улетающий с шипением шар. Он уносил в облака бьющий из него воздух, как раненый зверь стремится укрыться в чаще, он не хотел издыхать и все-таки издыхал.

Все это мелькнуло перед глазами Вилли в единый миг, а уже в следующий что-то грубо развернуло его, хлестнуло, и, не успев обрадоваться дереву, он принялся считать сучки и ветки, пока, ободрив напоследок, дерево не оборвало его падения, поймав в матрас из переплетенных ветвей. Как застрявший воздушный змей, он лежал лицом к небу и с великой радостью слушал затихающие причитания Ведьмы, которую уносило все дальше от дома, дальше от улицы, дальше от города. Улыбка шара становилась все шире, шар мотало из стороны в сторону. Да и шаром он уже не был. Так, зеленая тряпка, летящая по ветру невысоко над землей, чтобы упасть в лугах, там, откуда пришла эта пакость, подальше от сонных, знать ничего не знающих домов.

Вилли казалось, что громовые удары собственного сердца вот-вот сбросят его с ненадежного батута, но зато он точно знал, что жив.

Спустя некоторое время, успокоившись, собравшись с духом и тщательнейшим образом выбрав молитву, он сполз с дерева.

И за весь остаток ночи больше НИЧЕГО не произошло.

Уже на рассвете по небу с грохотом прокатилась колесница Джаггернаута^[27]. По городским крышам зашелестел дождь, захихикал в водостоках, залепетал на странных подземных языках под окнами, вмешался в сны, которые торопливо перебирали Джим и Вилли, подыскивая подходящий и каждый раз убеждаясь, что все они скроены из одной и той же темной, шуршащей, непрочной ткани.

И еще одно событие произошло под утро. На раскисшем лугу, где обосновался Карнавал, внезапно задергалась, оживая, карусель. Калиоп, судорожно давясь, выплескивал дурно пахнущие обрывки музыки.

Пожалуй, лишь один-единственный человек в городе услышал и понял эти конвульсивные звуки.

В доме мисс Фолей открылась и тут же захлопнулась дверь. Легкие шаги простучали по улице. Дождь пошел сильнее. Молния выкинула в небе дикое танцевальное коленце, на миг высветила и навек сокрыла серую землю.

Дождь прикивал к окнам в доме Джима, дождь вылизывал стекла в доме Вилли, и там, и там было много тихих разговоров и даже несколько восклицаний.

В девять пятнадцать Джим в плаще и резиновых сапогах выбрался в воскресную непогоду. С полминуты он стоял, разглядывая крышу (там и намек не осталось ни на какую улитку), потом принялся гипнотизировать дверь Вилли. Дверь покладисто отворилась, и на пороге возник Вилли. Вслед ему долетел голос Чарльза Хэллуэя «Может, мне с вами пойти?» Вилли только головой помотал.

Ребята сосредоточенно шагали к полицейскому участку. Опять придется объясняться с мисс Фолей, извиняться, но ведь пока они еще только идут, засунув руки поглубже в карманы и перебирая в памяти жуткие субботние головоломки. Первым нарушил молчание Джим.

— Знаешь, когда мы после крыши спать пошли, мне похороны приснились. На Главной улице...

— А может, это парад был?

— Ха! Точно. Тыща людей, все в черном и гроб тащат, футов сорок длиной!

— Вот это да!

— Верно говорю. Я еще подумал: «Это что же такое помереть должно,

чтобы такой гробище понадобился?» Ну и подошел заглянуть. Ты только не смейся, ладно?

— Не улыбнись даже, честно.

— Там лежала такая сморщенная штукавина, ну, вроде черносливины. Как будто чья-то шкура, как с диплодока, что ли.

— Шар!

Джим остановился как вкопанный.

— Эй! Ты тоже видел? Но ведь шары не умирают?

Вилли молчал.

— Зачем их хоронить-то? Их же не хоронят?

— Джим, это я...

— Знаешь, он был как бегемот, только сдутый.

— Джим, прошлой ночью...

— А вокруг черные плюмажи, барабаны черным затянуты и по ним — черными колотушками — бум! бум! Я сдуру начал утром маме рассказывать, только начал ведь, а тут уже и слезы, и крики, и опять слезы. Вот женщинам нравится рыдать, правда? А потом ни с того ни с сего обозвала меня «преступным сыном»! А чего мы такого сделали, а, Вилли?

— Кто-то чуть было не прокатился на карусели. Но Джим, похоже, не слушал. Он шел сквозь дождь и думал о своем.

— По-моему, с меня хватит уже всей этой чертовщины.

— По-твоему?! И это — после всего? Ну что ж, Джим, хватит так хватит. Только вот что я тебе скажу. Ведьма, Джим, на Шаре! Этой ночью я один...

Но уже некогда было рассказывать. Не осталось времени поведать о том, как он сражался с шаром, как одолел его, как шар повлекся умирать в пустынные края, унося с собой слепую Ведьму. Не было времени, потому что сквозь дождь ветер донес до них печальный звук.

Они как раз проходили через пустырь с большущим дубом посередине. Вот оттуда, из теней возле ствола, и послышалось им...

— Джим! Там плачет кто-то!

— Да вряд ли! — Джим явно хотел идти дальше.

— Там девочка. Маленькая!

— Спятил? Чего это маленькую девочку потянет в дождь плакать под дубом? Пошли.

— Джим! Да ты что, не слышишь?

— Ничего я не слышу! Идем.

Но тут плач стал громче, он печальной птицей легко скользил сквозь дождь по мертвой траве, и Джиму волей-неволей пришлось повернуть за

Вилли. А тот уже шагал к дубу.

— Джим, я, пожалуй, знаю этот голос!

— Вилли, не ходи туда!

Джим остановился, а Вилли продолжал брести, подскользываясь на мокрой траве, пока не вошел в сырую тень. Насыщенный водой воздух, неотделимый от серого низкого неба, путался в ветвях и струйками стекал вниз, по стволу и веткам; и там, в глубине, действительно притулилась маленькая девочка. Спрятав лицо в ладошках, она рыдала так, словно город внезапно провалился сквозь землю, все люди перемерли в одночасье, а сама она потерялась в дремучем лесу.

Подошел Джим, встал у края теней и тихо спросил:

— Это кто?

— Сам не знаю, — отвечал Вилли, сдерживая уже созревшую догадку, от которой самому впору зареветь.

— Не Дженни Холдридж, а?

— Нет.

— И не Джейн Франклин?

— Да нет же, нет. — Губы Вилли потеряли чувствительность, как от заморозки у зубного врача. Одеревеневший язык едва шевелился: — Нет. Нет. Нет.

Малышка продолжала плакать, хотя уже чувствовала, что не одна под деревом, просто остановиться не могла. И головы пока не поднимала.

— ...Я... я... помогите мне, — донеслось сквозь всхлипывания, — никто мне не поможет... я... я... не такая...

Наконец, собравшись в силах, она подавила очередной всхлип и подняла лицо с совершенно опухшими и заплывшими от слез глазами. Она разглядела ребят, и это потрясло ее.

— Джим! Вилли! О Боже, это вы!

Она схватила Джима за руку. Он шарахнулся назад, бормоча:

— Нет! Ты что? Не знаю я тебя, отпусти!

— Вилли! — запрочитала девчушка растерянно. — Ну хоть ты-то помоги! Джим, не уходи! Не бросайте меня здесь! — Слезы снова ручьем хлынули у нее из глаз.

— Нет! — пронзительно взвизгнул Джим, вырвал руку, упал, вскочил на ноги, замахнулся даже невесть на кого, но удержался, затрясся весь и прошептал, заикаясь:

— Ой, Вилли, пойдем отсюда, ну, пожалуйста, пойдем, а?

Девочка под деревом испуганно отшатнулась; широко распахнутые глаза умоляюще и недоуменно перебежали с лица на лицо, потом она

застонала, обхватила себя за плечи и принялась раскачиваться, упрятав лицо на грудь. Она не плакала больше. Нет, она напевала что-то в такт своим наклонам, и видно было, что она так и будет мурлыкать себе под нос, одна, под деревом, среди серого дождя, и никто не подпоет ей, никто ее не остановит...

— ...кто-то должен мне помочь... кто-то должен ей помочь, — она причитала, как по мертвому, — кто захочет ей помочь... никто не может... никто не поможет... ладно, не мне, но ей помогите... ужасно...

— Она нас знает, — обреченно произнес Вилли, наклонившись к девочке и повернув голову к Джиму. — Я не могу ее бросить!

— Да врет она все! — яростно выпалил Джим. — Врет! Не знает она нас! Я же ее в глаза не видел!

— Нет ее, нет, верни ее, верни назад, — приговаривала девочка, раскачиваясь с закрытыми глазами.

— Кого? — участливо спросил Вилли, присев рядом с ней на корточки. Он даже тихонько тронул ее за руку. Она сразу вцепилась в него, тут же поняла свою ошибку, потому что он дернулся, выпустила его руку и снова разревелась.

Теперь Вилли терпеливо ждал, а Джим подскакивал и ерзал поодаль и все звал его идти, канючил, как маленький, что ему это не нравится, что они должны идти, должны идти...

— О-о-о, — тянула девочка, — она потерялась. Она убежала в то место и не вернулась больше. Найдите ее, найдите, пожалуйста, пожалуйста...

Весь дрожа, Вилли заставил себя погладить девочку по мокрой щеке.

— Ну, не вешай нос, — прошептал он, — все будет о'кей. Я помогу тебе.

Девочка открыла глаза и замолчала.

— Я — Вилли Хэллуэй, слышишь? Ты сиди тут, а мы через десять минут вернемся. Идет? Только не уходи никуда. Она покорно закивала.

— Значит, сидишь здесь и ждешь нас, так?

Она снова молча кивнула. Вилли выпрямился. Это простое движение почему-то испугало девочку, и она вздрогнула. Вилли помедлил, глядя на нее сверху вниз, и тихо произнес:

— Я знаю, кто вы. Но мне надо проверить.

Знакомые серые глаза глянули на него в упор. По длинным черным волосам и бледным щекам стекали капли дождя.

— Кто поверит? — едва слышно пролепетала она.

— Я, — коротко ответил Вилли.

Девочка откинулась спиной к дереву, сложила на коленях дрожащие руки и застыла, бледная, тоненькая, очень маленькая, очень потерянная.

— Я теперь пойду, ладно? — спросил Вилли.

Она кивнула, и тогда он зашагал прочь.

На краю пустыря Джим сучил ногами от нетерпения. Он слушал Вилли, истерично поскуливая, всякие междометия так и сыпались из него.

— Да быть того не может!

— Я тебе говорю. Она и есть, — доказывал Вилли. — Глаза. Сам же говорил, по ним видно. Вспомни, как было с мистером Кугером и тем противным мальчишкой. А потом, есть еще один способ удостовериться. Пошли.

Он протащил Джима через весь город и остановился возле дома, где жила мисс Фолей. Оба задрали головы и посмотрели на слепые в утреннем сумраке окна. Потом поднялись по ступеням и позвонили: раз, два и три раза.

Тишина. Медленно, со скрипом приоткрылась входная дверь.

— Мисс Фолей? — тихонько позвал Джим.

Из глубины дома доносился едва слышный, монотонный шорох дождя, стучавшего по оконным стеклам.

— Мисс Фолей?..

Они стояли посреди холла, перед текучим занавесом, и до звона в ушах вслушивались в кряхтенье балок на чердаке старого дома.

— Мисс Фолей!

Только мыши, уютно устроившиеся под полом, шебуршат в ответ.

— В магазин пошла, — заявил Джим.

— Нет, — покачал головой Вилли. — Мы знаем, где она.

— Мисс Фолей! Я знаю, что вы тут! — заорал вдруг Джим и яростно рванулся сквозь занавес. — Выходите, ну!

Вилли терпеливо ждал, пока он обыщет весь дом, а когда Джим, нога за ногу, притащился назад и сел на ступеньку, оба явственно услышали музыку, льющуюся через входную дверь вместе с запахом дождя и мокрой старой травы.

В далеких лугах калиоп хрипел задом-наперед «Похоронный марш» Шопена. Джим распахнул дверь и стоял в звуках музыки, как стоят под водопадом.

— Это же карусель! Они починили ее! Вилли спокойно кивнул.

— Она, должно быть, слышала музыку и вышла еще на рассвете. И что-то опять не заладилось. Может, установили ее неправильно, а может, так и задумано, чтобы на ней все время такие несчастья случались. Как с

торговцем громоотводами. Он же спятил после этого. Может, Карнавалу по нраву такие проделки, ему от них удовольствие. А может, они специально за ней охотились. Например, чтобы про нас выведать. Может, они хотели даже подослать ее к нам, чтобы она им помогла погубить нас. Откуда я знаю? Вдруг она испугалась, и тогда ей просто дали больше, чем она хотела или просила...

— Я не понимаю...

Здесь, на пороге пустого дома, под холодным дождем, самое время было подумать о несчастной мисс Фолей; сначала ее напугали Зеркальным Лабиринтом, потом заманили одну на карусель. Наверное, она кричала, когда с ней делали то, что сделали. Ее крутили круг за кругом, год, и еще год, много лет, слишком много, куда больше, чем ей хотелось. Они стерли с нее все, оставили только маленькую, напуганную, чужую даже самой себе девочку, и крутили, крутили, пока все ее годы не сгорели дотла, и тогда карусель остановилась, как колесо рулетки. Да только ничего не выигралось, пусто, «зеро»; наоборот, проигралось все, и некуда идти, и не расскажешь никому, и ничего не поделаешь... остается только плакать под деревом одной, под утренним осенним дождем.

Так думал Вилли. Примерно так же думал и Джим. Во всяком случае, он проговорил вдруг:

— Бедная, бедная...

— Надо помочь ей, Джим. Кто же еще такому поверит? Ты ж понимаешь, если она скажет кому: «Здрасьте, я — мисс Фолей!» Ей же скажут: «А ну, вали отсюда. Мисс Фолей уехала, скажут, нету ее. Топай отсюда, девчушка!» А может, она даже успела постучаться в добрую дюжину дверей, а, Джим? Представляешь, наверное, просила помочь, пугала людей своими причитаниями, а потом бросилась бежать, и вот теперь сидит там, под деревом... Может, полиция уже ищет ее, да что толку? Маленькая девочка, сидит, плачет. Запрут ее подальше, и свихнется она там с горя. Этот Карнавал, Джим, они там знают свое дело. Вытряхнут из тебя все, превратят Бог знает во что, и готово! Иди, жалуйся, только народ от тебя шарахается и слушать ничего не хочет. Одни мы понимаем, Джим, никто больше. Знаешь, я как будто улитку сырую проглотил! — закончил он неожиданно.

Они еще раз оглянулись на залитые дождем окна гостиной. Здесь мисс Фолей не раз угощала их домашним печеньем с горячим шоколадом, а потом махала рукой из окна. Они вышли, закрыли дверь и помчались к пустырю.

— Надо спрятать ее пока, — предложил Вилли, — а потом как-нибудь

поможем ей...

— Да как ей поможешь? — выговорил на бегу Джим. — Мы и себе-то помочь не можем!

— Должно же что-то быть, чем с ними справиться... просто не придумывается пока...

Они остановились.

Стук их сердец заглушало биение какого-то другого, огромного сердца. Взыли медные трубы, потом — тромбоны, целая стая труб ревела по-слоновьи. Почему-то этот рев вызывал тревогу.

— Карнавал! — выдохнул Джим. — А мы-то и не подумали! Он же может сам прийти, прямо в город! Парад! Или... те похороны, которые мне снились.

— Не похороны это. Но и парадом оно только прикидывается. Это нас ищут, Джим. Или мисс Фолей вернуть хотят. Они же по какой хочешь улице пройдут, Джим. Будут дудеть, барабанить, а сами шпионят. Джим, надо забрать ее оттуда!

Они сорвались с места и бросились по аллее, самым коротким путем, но тут же остановились. В дальнем конце, между ними и пустырем, показался карнавальнй оркестр. За оркестром двигались клетки со зверями, а вокруг шли клоуны, уродцы и разные другие, дудя в трубы и колотя в барабаны. Пришлось прятаться в кусты.

Парад шел мимо минут пять. За это время тучи сдвинулись, небо слегка очистилось и дождь перестал. Рокот барабанов постепенно замирал вдали. Слегка оглушенные, ребята двинулись вперед и скоро были на пустыре.

Под дубом не было никакой маленькой девочки. Они походили вокруг, посмотрели даже наверху, среди ветвей, но позвать по имени так и не смогли. Страшно было. Оставалось только одно: вернуться в город и спрятаться как следует.

Звонил телефон. М-р Хэллуэй снял трубку.

— Пап, это Вилли, — зачастил в трубке голос. — Пап, мы не можем идти в участок. Мы, наверное, даже дома сегодня не будем. Скажи маме, и маме Джима тоже, ладно?

— Вилли! Где вы?

— Прячемся. Они ИЩУТ НАС.

— Да кто, Бога ради?

— Пап, я не хочу тебя впутывать в это дело. Но ты поверь мне, пожалуйста, нам спрятаться надо, хотя бы на день-два, пока они не уйдут. А если мы домой заявимся, они нас выследят, и тогда или тебя, или маму погубят. И у Джима — то же. Я пойду, пап.

— Подожди, Вилли, не уходи!

— Пока, папа! Пожелай мне удачи!

Щелк.

М-р Хэллуэй поглядел на дома, на деревья, на улицы, прислушался к далекой музыке.

— Вилли, — сказал он молчащему аппарату, — удачи, сынок!

Он надел пальто, шляпу и вышел в странный опаловый свет, разлитый в холодном сыром воздухе.

Перед лавкой Объединенной Табачной Торговли, блестя мокрыми деревянными перьями, стоял деревянный индеец-чероки. Воскресный полдень окатывал его со всех сторон трезвоном колоколов разных церквей, их немало было в городе. Колокола спорили друг с другом, и звон падал с неба почти как недавний дождь. Индеец, как и полагается, не реагировал ни на католические, ни на баптистские призывы. Он даже ухом не повел навстречу еще каким-то звонам. Это билось языческое сердце Карнавала. Яркие барабаны, старческий визг калиопа, мельтешенье уродливых существ ничуть не привлекли по-ястребиному пронзительного взгляда индейца. Зато барабаны и трубы задавили колокольный звон и вызвали к жизни орущую толпу мальчишек и просто зевак, охочих до всяческих зрелищ. Пока звонили колокола, воскресная толпа казалась чопорно-сосредоточенной, но стоило цимбалам и тромбонам заглушить церковный перезвон — толпа расслабилась и превратилась в праздничное скопище.

Тень от деревянного томагавка индейца падала на металлическую решетку. Много лет назад этой решеткой прикрыли нарочно вырытую яму. Целый день решетка позвякивала под ногами десятков людей, входивших в лавку, и на обратном пути аккуратно принимала от них кусочки папиросной бумаги, золотые ободки от сигар, обгоревшие спички, а то и медные пенни.

Сейчас решетка уже не позвякивала, а беспрестанно гудела, сотрясаемая сотнями ног, ходулями, колесами балаганов. Это в тигрином рычании тромбонов и вулканических взрывах труб шел Карнавал. Но сегодня под решеткой, кроме обычного мусора, притаились два дрожащих человеческих тела. Шел Карнавал. Шел парадом, как огромный павлин, распутивший причудливый хвост; таращились по сторонам внимательные глаза уродцев. Они цепко обшаривали крыши домов, шпили церквей, изучали вывески дантистов и окулистов, примечали пыльные здания складов. Сотни глаз Карнавала пронизывали пространство города и не находили того, чего хотели. Да и не могли найти, оно ведь было у них под ногами и пряталось в темноте.

Под старой решеткой табачной лавки затаились Джим и Вилли. Здесь было тесно, сидеть приходилось, уперев коленки друг в друга, они даже дышать как следует опасались, но стоически переносили все неудобства. Волосы на их макушках шевелил ветерок от колыхавшихся женских юбок,

то и дело чья-нибудь фигура заслоняла кусочек неба, видимый со дна ямы. Перебегали дети.

— Слушай! — шепнул Джим. — Ну и угодили мы, прямо под парад. Давай-ка сматываться!

— Сиди как сидишь, — хриплым шепотом ответил Вилли. — Это же самое видное место. Они никогда не додумаются искать нас здесь.

Трум, трум, турум, турум, тум, тум! — гремел Карнавал. Решетка звякнула, на ней опять кто-то стоял. Вилли взглянул наверх и вздрогнул. Он знал эти подошвы со стертymi медными гвоздиками. «Папа!» — чуть не крикнул он. Джим тоже посмотрел наверх. Человек нервно переступал с ноги на ногу, поворачивался по сторонам, выискивая в толпе то, что было совсем рядом с ним. «Я мог бы дотронуться до него», — подумал Вилли. Чарльз Хэллуэй, бледный, возбужденный, ничего не почувствовал и через минуту ушел.

Но зато Вилли почувствовал, как душа у него ухнула вниз, в какой-то холодный, дрожащий белый кисель.

Шлеп!

Вилли и Джим вздрогнули. Розовая пластинка жевательной резинки упала возле их ног на кучу старых целлофановых оберток от сигарет. Сверху над решеткой склонилась расстроенная мордашка пятилетнего карапуза.

«Убирайся!» — свирепо подумал Вилли.

Но малышу жаль было так просто расставаться с лакомством. Он встал на колени и приник к самой решетке, высматривая свое розовое удовольствие.

Вилли едва сдержался, чтобы не схватить жвачку и не запихнуть в маленький ротик — лишь бы он исчез, скрылся побыстрее.

Барабан наверху раскатился дробным рокотом — и смолк.

Ребята переглянулись. «Парад! — подумали оба. — Он же остановился!» Малыш упрямо пытался просунуть руку сквозь решетку.

Наверху м-р Дарк, Человек-в-Картинках, командовавший парадом, окинул взглядом воздетые к небу разверстые пасти медных геликонов и подал знак. Тотчас стройное шествие распалось. Уродцы разбежались в разные стороны, смешались с толпой, разбрасывая небольшие рекламные афишки и не прекращая шарить глазами по толпе, по фасадам домов.

«Парад кончился, — понял Вилли, — началась охота».

Малыш наверху не собирался сдаваться. Его тень покрыла Вилли.

— Мама! Там!

В баре «Вечерок у Неда», за полквартала от табачной лавки, Чарльз Хэллуэй второй чашкой кофе приводил в порядок расстроенные бессонной ночью, раздумьями и поисками нервы. Он уже собрался расплатиться, когда его почему-то встревожила наступившая вдруг на улице тишина. В воздухе незримо разлилось беспокойство — это вмиг распавшийся Карнавал смешался с толпой. Сам не зная почему, Чарльз Хэллуэй убрал бумажник.

— Еще чашечку сделаешь, Нед?

Нед включил кофеварку, и в это время в баре появился новый посетитель. Он прошел от двери и слегка шлепнул по стойке рукой. Чарльз Хэллуэй взглянул. Рука взглянула на него. На тыльной стороне каждого пальца была сделана искусная татуировка в виде глаза.

— Мама! Тут, внизу! Посмотри!

Мальчик звал маму и тянул ручонку вниз. Мимо шли люди. Некоторые останавливались. Появился Скелет. Больше всего смахивающий на ободранное, давно засохшее дерево, он не столько подошел, сколько сыграл ксилофоном своих костей, переместившись поближе к холодному бумажному сору и теплым, дрожащим мальчишкам.

«Уходи! — с отчаянием думал Вилли. — Уходи же!»

Пухлые детские пальчики тянулись сквозь решетку.

«И ты — уходи!»

Скелет, похоже, послушался и убрался из поля зрения. Но не успел Вилли облегченно вздохнуть, как его место занял Карлик! Он подкатился вперевалочку, позвякивая дурацкими колокольчиками, нашитыми на грязную рубаху, и посверкивая глазами-камешками. Глаза поминутно меняли выражение: то они были блестящими и плоскими гляделками идиота, то вдруг становились глубокими и печальными глазами человека, потерявшего себя. Глаза ни секунды не оставались в покое, они так и шарили по сторонам, высматривая не то свою собственную сгинувшую личность, не то запропавших мальчишек. Казалось, взглядом его управляют двое хозяев, прежний и нынешний, заставляя глаза совершать жуткие прыжки: назад, в прошлое, обратно, в настоящее.

— Ма-ма! — тянул свое ребенок.

Карлик остановился возле него (они были примерно одного роста) и

посмотрел на малыша.

Вилли в яме испытал жгучее желание стать плесенью на бетонной стене у него за спиной. Похоже, Джим тоже пытался найти для себя местечко между бетоном и паутиной, покрывавшей его.

— Хватит тут ползать! — Раздраженный женский голос.

Слабо сопротивляющегося малыша уволокли. Поздно. Карлик уже стоял над решеткой и смотрел вниз. В глазах у него мелькали осколки человека по имени Фури, того самого, что давным-давно, в безоблачное, легкое и безопасное время, продавал громоотводы.

Вилли содрогнулся от жалости. «О, мистер Фури, что они сделали с вами! — думал он. — Что это было? Копер? Стальной пресс? Как это было? Вы кричали? Плакали? Они поймали вас, как кузнечика в коробку, и давили, пока не осталось ничего. Ничего не осталось, мистер Фури, ничего, кроме...»

Карлик. Не человек. Механизм. Не глаза. Камеры. Два объектива уставились в темноту. Щелк. Снимок: прутья решетки. А заодно и то, что под ней?

«На что он смотрит? — пытался сообразить Вилли. — На самую решетку или на то, что внизу?»

Миг катастрофы все длился. Жалкое, искореженное существо, в котором от человека оставалась лишь его двуногость, не двигалось. Может быть, все еще фотографировало?

На самом деле глаза-объективы куклы не замечали ни Джима, ни Вилли, ни даже самой решетки. Но все очертания, цвета, размеры фотокамера уродливого черепа зафиксировала надежно. Придет время, изображение проявится, картинка будет исследована, и тогда дикое, ссохшееся, потерянное создание бывшего торговца увидит все. А потом? Мечь? Уничтожение?

Клац-тук-щелк!

Бегут смеющиеся дети. Их текучая радость смыла Карлика, он вспомнил о чем-то и поковылял дальше, выискивая сам не зная что.

Выглянуло солнце. Двое мальчишек в яме едва дышали. Джим, не заметив, крепко вцепился в руку Вилли. Оба со страхом ждали новых, более внимательных глаз.

Пять синих, красных и зеленых глаз убрались со стойки. Чарльз Хэллуэй, получивший свой третий кофе, повернулся на вертящемся стуле к странному посетителю. Человек-в-Картинках в упор смотрел на библиотечного уборщика. Хэллуэй благодушно кивнул, но Человек-в-Картинках не ответил, не мигнул даже, и продолжал пристально

рассматривать соседа. «Экий наглец», — подумал м-р Хэллуэй, но отвести глаза уже не мог, он просто постарался придать взгляду как можно больше спокойствия.

— Что закажете, мистер? — поинтересовался бармен.

— Ничего. — М-р Дарк все еще разглядывал отца Вилли. — Я ищу двух парнишек.

«А то я не ищу!» — подумал Хэллуэй и расплатился. — Спасибо, Нед, — спокойно поблагодарил он и встал. Уже выходя, он заметил, как татуированный человек протянул руки в сторону бармена, повернув ладони вверх.

— Парнишек ищете? — переспросил Нед. — Как звать, сколько лет?

Дверь за Хэллуэем закрылась. М-р Дарк, не слушая болтовню бармена, проводил вышедшего внимательным взглядом.

Сначала Чарльз Хэллуэй по привычке двинулся в сторону библиотеки, но тут же остановился и сделал движение в сторону здания суда. Нет. Он постоял, ожидая, не направит ли его более точно интуиция, машинально ощупал карман пальто и обнаружил, что забыл курево. Это внесло определенность в его планы, и он зашагал к лавке Объединенной Табачной Торговли.

Джим из ямы взглянул в небо.

— Вилли! — зашипел он — Смотри, твой отец! Он нам поможет.

Вилли молчал.

— Ладно, я сам его позову!

Вилли схватил Джима за шиворот и отчаянно замотал головой.

— Да почему? — едва слышно удивился Джим.

— Потому, — шевельнулись губы Вилли.

Потому... Он взглянул наверх. Отсюда отец казался даже меньше, чем прошлой ночью со стены дома. «Это все равно, что позвать еще одного мальчишку, — подумал Вилли. — Зачем он нам? Нам нужен кто-нибудь важный, самый главный!» Вилли приподнялся, заглядывая в окно лавки. Вдруг он ошибся, и лицо отца на самом деле выглядит резче, взрослее, мужественнее, чем показалось ему ночью, в призрачном лунном свете? Нет. Все то же. Нервно бегающие отцовские пальцы, неуверенный излом губ. Он даже табак толком купить не может.

— Одну... вот эту... сигару мне за двадцать пять центов.

— Ба! — прогудел м-р Татли. — Да вы никак разбогатели, мистер Хэллуэй!

Чарльз Хэллуэй медленно вытаскивал сигару из целлофанового

пакетика. Он просто тянул время, ожидая какого-нибудь движения во вселенной, знака, объяснившего бы ему, что происходит... Почему он пошел этой дорогой? Зачем ему сигара за 25 центов? Кажется, кто-то окликнул его по имени. Он резко повернулся и обежал глазами толпу, яркие пятна клоунов с афишами, никого не увидел и повернулся снова прикурить от вечного синего газового пламени, выглядывающего из янтарной трубки в стене табачной лавки. Затянулся, выпустил струйку дыма, бросил сигарный кончик и взглядом проводил его до металлической решетки. Стоп! Он словно ударился о глаза, блеснувшие из-под земли. Чьи это тени там? Джим! Вилли! Чарльз Хэллуэй пошатнулся и попытался ухватиться за сигарный дым. Боже! Что они там делают, в колодце под улицей? Он чуть было не наклонился, но вовремя остановил себя и, как можно незаметнее, бросил уголком губ:

— Вилли? Джим? Черт побери, что происходит?

В этот момент за сто футов отсюда Человек-в-Картинках резко повернулся и вышел из забегаловки Неда.

— А ну, выбирайтесь! — распорядился Чарльз Хэллуэй.

Человек-в-Картинках, сам толпа посреди толпы, постоял мгновение и направился к табачной лавке.

— Пап! Мы не можем. Ради Бога, не смотри на нас!

Человек-в-Картинках был футах в восьмидесяти.

— Мальчики, — растерянно произнес Чарльз Хэллуэй, — полиция...

— Мистер Хэллуэй, — прервал его Джим, — не смотрите, а то нам конец. Человек-в-Картинках...

— Кто?!

— Ну, мужчина такой, в татуировке весь.

Перед глазами Хэллуэя возникли зрячие пальцы на стойке.

— Пап, ты лучше смотри вон на часы, а мы пока расскажем тебе...

М-р Хэллуэй как мог небрежней выпрямился... и в этот миг из-за угла появился Человек-в-Картинках. Он тут же остановился, изучая Чарльза Хэллуэя, разглядывавшего уличные часы со странным усердием.

— Сэр, — звучно произнес Человек-в-Картинках.

— Одиннадцать, пятнадцать, — бормотал Чарльз Хэллуэй, не выпуская сигары изо рта и рассматривая свои наручные часы. — Так и есть, отстают на минуту.

— Сэр, — повторил Человек-в-Картинках.

Джим ухватился за Вилли, Вилли вцепился в Джима, когда на решетке рядом с истертыми подошвами отца Вилли появились крепкие чужие каблуки.

— Сэр, — снова повторил человек по имени Дарк, цепко всматриваясь в черты лица Чарльза Хэллуэя, сравнивая их с другими. — «Объединенное шоу Кугера и Дарка» избрало двух местных школьников — двух, сэр! — нашими почетными гостями.

— А при чем здесь... — начал Чарльз Хэллуэй, изо всех сил стараясь не глядеть под ноги.

— Эти двое, — подкованные каблуки лязгнули о решетку, — эти двое смогут прокатиться на всех аттракционах, побывать на всех представлениях, пожмут руки всем нашим артистам и вернуться домой с кучей волшебных подарков...

— Кто же эти счастливцы? — прервал его м-р Хэллуэй.

— Мы выбрали их по фотографиям, сделанным вчера у входа на Карнавал. Помогите нам определить их, сэр, и вы разделите с ними удачу. Вот они!

«Он увидел нас! — панически подумал Вилли. — О Боже!» Человек-в-Картинках выставил вперед руки ладонями наружу. Отец Вилли пошатнулся. С правой ладони на него смотрел мастерски вытатуированный ярко-синей краской портрет собственного сына. На левой ладони, как живое, улыбалось лицо Джима.

— Вы знаете их? — От внимательного взгляда Человека-в-Картинках не укрылась растерянность м-ра Хэллуэя. И немудрено. У старика перехватило горло, и глаза разъехались в стороны, словно его огрели дубиной по голове. — Их имена?

«Молчи, папа!» — мысленно закричал Вилли.

— Я, собственно, не... — начал отец Вилли.

— Вы знаете их.

Протянутые вперед, требующие имен руки Человека-в-Картинках слегка подрагивали, и вместе с ними вздрагивали и страдальчески морщились лицо Вилли на правой ладони, лицо Джима на левой ладони, лицо Вилли в яме под улицей, лицо Джима внизу под решеткой.

— Сэр, вы же не хотите, чтобы мы не нашли наших героев?

— Нет, но...

— «Но»? — удивился м-р Дарк и подался вперед. Его собственные глаза и глаза всех тварей, бродивших по прериям его тела, вцепились в пожилого человека, стиснули со всех сторон, заволакивали тысячами взглядов. М-р Дарк придвинул ладони еще ближе — Вы сказали «но»?

М-р Хэллуэй покрепче прикусил сигару.

— Пожалуй, я припоминаю...

— Что?

— Один из них похож...

— На кого?

«Папа, неужели ты не видишь, как он заинтересовался?» — думал Вилли.

— Мистер, — удивился Чарльз Хэллуэй, — да чего вы так разнервничались из-за каких-то мальчишек?

— Я? Разнервничался? — Улыбка м-ра Дарка исчезла. Похоже, он слегка опешил. — Сэр, я забочусь о своем деле, а для вас это всего лишь нервы?

Отец Вилли смотрел, как перекачиваются бугры мускулов под легким костюмом его собеседника. Наверняка все кобры и африканские гадюки, которыми расписан этот молодец, шипят и скручиваются в клубки от злости.

— Один из этих сорванцов, — подчеркнуто медленно протянул м-р Хэллуэй, — напоминает мне Милтона Блумквиста.

М-р Дарк стремительно сжал пальцы. Голову Джима сдавила тупая боль.

— А второй, — почти ласково продолжал отец Вилли, — второй похож на Эвери Джонсона.

«Ну, папа, — внутренне возликовал Вилли, — ты — гигант!» И тут же чуть не застонал от неожиданно обрушившейся боли. Это м-р Дарк сжал вторую ладонь.

— По-моему, они оба, — невозмутимо закончил м-р Хэллуэй, — уехали на прошлой неделе в Милуоки.

— Вы лжете, — холодно произнес м-р Дарк.

Отец Вилли искренне возмутился:

— Что б я, да испортил победителям веселье?!

— Мы знаем имена мальчиков, — с расстановкой произнес м-р Дарк, — мы узнали их десять минут назад. Просто хотели удостовериться еще раз.

— И кто же они, по-вашему? — недоверчиво спросил отец Вилли.

— Джим, — уронил м-р Дарк. — Вилли.

Джим скорчился в темноте, Вилли втянул голову в плечи. Отцовское лицо оставалось глубоким омутом, в котором без всплеска утонули два имени.

— Джим, значит? Вилли? Да их тут туча, Джимов и Вилли, в таком городе, как наш, уж наверняка пара сотен наберется.

«Кто же нас выдал? — лихорадочно думал Вилли — Кто рассказал? Мисс Фолей? Но ведь ее нет, она ушла, и дом со льдистой занавеской пуст.

А та девочка, рыдавшая под деревом и так похожая на мисс Фолей? — спросил он себя. — Ее ведь тоже нет. Может быть, парад подобрал ее? Она так долго плакала, она так боялась... А если они пообещали, что музыка, кони, трубы, весь этот шальной карнавальный мир помогут ей, сделают взрослой, вырастят, покрутив вперед, поднимут, утешат, прекратят этот ужас и вернут все, как было? Да за это она скажет им все на свете. Что наобещал, что наврал ей Карнавал, когда они нашли ее под деревом?»

— Имена как имена, — гнул свою линию м-р Хэллуэй. — А с фамилиями как?

М-р Дарк не знал фамилий. Его космос, населенный чудовищами, вибрировал и исходил потом, обволакивался дурным запахом подмышек, шипел и ругался на мускулистых крепких ногах.

— Сдается мне, теперь вы лжете, — удовлетворенно, с незнакомой дотоле радостью выдохнул м-р Хэллуэй. — Как это вы не знаете фамилий? И с чего бы это вам, карнавальному чужаку, лгать мне посреди улицы в моем собственном, хоть и не Бог весть каком, городе?

Человек-в-Картинках сжал кулаки. Отец Вилли, слегка побледнев, смотрел, как шевелятся суставы, загоняя ногти в изображения двух мальчишеских лиц, упрятанных в эту прочную, очень прочную тюрьму из сильной, живой плоти.

Внизу две тени молча метались почти в агонии. Человек-в-Картинках смахнул с лица напряженное выражение. Теперь он выглядел совершенно безмятежным. Только яркая капля выкатилась из правого кулака, и такая же капнула из левого. Обе пропали меж прутьев старой решетки на тротуаре.

Вилли перевел дух. Что-то сползло у него по щеке. Он провел ладонью — на ней остался красный след. Вилли посмотрел на Джима. Похоже, его тоже отпустило, он лежал расслабившись и смотрел вверх.

Отец Вилли заметил кровь, сочившуюся из сжатых кулаков Человека-в-Картинках, но не подал виду, а глядя ему прямо в лицо, выговорил:

— Извините, приятель, больше ничем помочь не могу.

М-р Дарк повернулся на каблуках. Стальные набойки высекли искры из прутьев решетки.

Из-за угла, размахивая в воздухе руками и яркими цыганскими юбками, появилась Предсказательница Удачи, она же — Пыльная Ведьма. Сегодня ее незрячие глаза скрывали темно-синие стекла очков.

«Надо же, уцелела! — подумал Вилли. — Его ведь уволокло тогда, должно было об землю зашибить, а вот не зашибло. Теперь она взбесилась и не отстанет от меня!»

Его отец тоже увидел Ведьму и почувствовал, как кровь у него в жилах загустела и потекла медленнее.

Толпа приветливо расступалась и добродушно обсуждала яркие лохмотья этого удивительного существа. Многие с улыбками прислушивались к ее прибауткам, чтобы запомнить и потом пересказать в компании. Ведьма двигалась уверенно, ощупывая город вокруг чуткими пальцами. При этом она непрерывно не то пела, не то бормотала.

— Погадаю, услужу, все как есть наворожу. И про жен, и про мужей, про девиц и про парней. Про удачу и про жизнь, все мне ведомо, кажись. Приходи на представленье, погадаю в воскресенье. Девице скажу, на кого он похож. А тебе расскажу про всю ее ложь. Узнаешь его намерений цвет, увидишь ее души букет. Далеко не уходи, в шатер заходи, меня там найди.

Дети сразу пугались ее, а их родители — с развитым чувством юмора, конечно, — их родители веселились, глядя на забавную старуху и слушая ее бормотанье. Тем временем древняя ворожея, с ног до головы покрытая пылью множества живших на земле племен, все сплетала и разбирала меж пальцев микроскопическую паутину, пылинки, мушиные крыльшки, микробов и бактерий, слюдяные чешуйки, корпускулы солнечного света, преломленные уже явленными, а еще больше — неявленными человеческими страстями.

Ребята изо всех сил вжались в стенки своего убежища. Дребезжащий голос явственно доносился сверху.

— Слепа-то я — слепа. Но уж что вижу, то вижу. А вижу я человека в соломенной шляпе — это осенью-то! И еще вижу — и к чему бы это? — вот мистер Дарк стоит — привет, мистер Дарк! — а с ним старик...

«Не такой уж он и старый!» — крикнул про себя Вилли. Тень Ведьмы серым лягушачьим пятном накрыла яму. Теперь Вилли видны были все трое.

М-ра Хэллуэя сотрясала внутренняя дрожь. У него возникло ощущение длинных острых ножей, по очереди вонзающихся в живот.

— О, это не простой старик, — вновь забормотала Ведьма и вдруг замолчала. — А еще... — Шерсть у нее на носу ошетижилась. Она поптичьи завертела головой, пробуя воздух, быстро пережевывая его серыми губами.

Человек-в-Картинках поторопил ее:

— Ну!

— Подожди! — выдохнула цыганка и ногтями принялась скоблить незримый забор перед собой.

Вилли почувствовал, что еще секунда — и он не выдержит: заскулит и

затявкает от ужаса, как маленький щенок.

Пальцы Ведьмы медленно поползли вниз. Они чутко прощупывали каждую полосу спектра, взвешивали каждый лучик света. Вот-вот указательный палец вонзится в решетку на тротуаре, означая роковое «там!»

«Папа! — взмолился Вилли. — Ну сделай что-нибудь!»

Человек-в-Картинках терпеливо ждал. Как только на сцене появилась его лучшая ищейка, он успокоился и теперь посматривал на нее с гордостью, чуть ли не с любовью.

— Вот... — Пальцы Ведьмы отчаянно вибрировали.

— Вот! — громко провозгласил м-р Хэллуэй.

Ведьма подскочила от неожиданности.

— Вот поистине замечательная сигара! — голосил отец Вилли, картинно обернувшись к дверям лавки.

— Потеше, любезный, — с досадой произнес Человек-в-Картинках.

Мальчишки внизу подняли головы.

— Вот... — тянула свое Ведьма, пытаясь не упустить едва пойманное ощущение.

— Только жаль — погасла! — вещал на всю улицу Чарльз Хэллуэй. — Ну да ничего, дело поправимое. Сейчас прикурим. — Он снова сунул кончик сигары в синее пламя.

— Вы не могли бы помолчать немного? — обратился к нему м-р Дарк.

— Сами-то курите? — участливо поинтересовался м-р Хэллуэй.

Ведьма, вконец расстроенная его неожиданным словоизвержением, опустила руку, ушибленную громкими словами, и стерла с нее пот; так протирают антенну радиоприемника, чтобы избавиться от лишних помех. Затем она снова простерла руку вперед, трепетными ноздрями чутко пробуя эфемерные токи воздуха.

— Превосходно! — Из сигары м-ра Хэллуэя изверглось целое облако дыма. Дивные густые клубы окутали гадалку. Она закашлялась.

— Дурачина! — гаркнул, не сдержавшись, Человек-в-Картинках. Но не понять было, мужчину или женщину он имеет в виду.

— Отличная сигара! — продолжал восхищаться м-р Хэллуэй. — Пожалуй, угощу-ка я и вас тоже! — С этими словами он сотворил еще одну синюю тучу, почти совсем скрывшую Пыльную Ведьму.

Она громко и обиженно чихнула раз, другой, забормотала сердито себе под нос и заковыляла прочь.

Человек-в-Картинках схватил было отца за руку, но понял, что зашел слишком далеко, признал свое нелепое поражение и отправился вслед за

цыганкой. В спину ему прозвучал доброжелательный голос отца Вилли:

— Всего вам доброго, сэр!

«Вот это лишнее, папа», — подумал Вилли.

Человек-в-Картинках вернулся.

— Ваше имя, сэр? — напрямик спросил он.

«Не говори, не надо!» — напрягся Вилли. Его отец поколебался немного, вынул сигару изо рта, стряхнул пепел и ответил.

— Хэллуэй. Библиотечный работник, к вашим услугам. Заглядывайте, если придется, — добавил он, подмигнув.

— Не сомневайтесь, Хэллуэй, обязательно загляну!

Ведьма, пританцовывая, поджидала м-ра Дарка на углу. М-р Хэллуэй послунывил палец, определил направление ветра и послал в ее сторону очередное грозное облако. Ведьма затопотала на месте, повернулась и исчезла за углом. Человек-в-Картинках сурово взглянул на старика, повернулся и удалился широкими шагами, сжимая в кулаках ребячьи лица.

Из-под решетки не доносилось ни звука. «Как бы они там не померли от страха», — с беспокойством подумал Чарльз Хэллуэй. А Вилли внизу, с мокрыми от слез глазами, думал совсем другое: «Господи! Как же я раньше не замечал? Он же у меня высокий, выше Дарка ростом!»

Чарльз Хэллуэй все еще старался не смотреть на решетку. От дверей табачной лавки уводили за угол редкие алые кляксы. Они накапали из стиснутых кулаков м-ра Дарка. Отец Вилли с удивлением оглядел и себя тоже и не мог не заметить то новое — наполовину отчаяние, наполовину спокойная ясность, — что появилось в нем за последние четверть часа, появилось и совершило невозможное. Вряд ли он смог бы ответить, почему назвал м-ру Дарку свое имя, но чувствовал, что поступил так, как надо. Теперь он обращался к циферблату уличных часов с длинной речью:

— Что-то происходит, братцы. Что-то надвигается. Хорошо бы вам куда-нибудь деться до конца дня. Нам нужно выиграть время. Тут важно решить, с чего начать. Вроде бы ни один писанный закон пока не нарушен, но я чувствую, уже с месяц, как чувствую: бедой запахло. У меня внутри что-то подрагивает все время. Прячьтесь, ребята, прячьтесь. Я скажу вашим матерям, что у вас появилась работа на Карнавале, до темноты можете не появляться. А вечером, часам к семи, приходите ко мне в библиотеку. Я знаю, кажется, с чего начать. Надо просмотреть отчеты полиции по карнавалам за предыдущие годы, полистать подшивки газет, покопаться в некоторых старинных книгах. Все может пригодиться. Глядишь, с Божьей помощью к вечеру у нас появится какой-нибудь план. До тех пор не тревожьтесь ни о чем. Господь с вами, мальчики!

Вилли посмотрел. Тщедушная фигурка отца, ставшего вдруг высоким и сильным, неторопливо удалялась. Еще раньше его чудесная сигара выпала у него из пальцев — а он даже не заметил, — скользнула сквозь решетку, на мгновение осветив подземелье градом искр, и теперь лежала на дне ямы, гипнотизируя Джима и Вилли единственным багровым глазом. Ребята ослепили ее и выбросили вон.

На юг по Главной улице пробирался через толпу Карлик. Внезапно он остановился. Пленка была проявлена, и сознание наконец получило возможность просмотреть отснятые кадры. Карлик замычал, развернулся и через лес ног заковылял разыскивать Хозяина. Он скоро нашел его и заставил пригнуться низко-низко. М-р Дарк внимательно выслушал сообщение и бросился бежать, даже не оглянувшись на оставшегося позади удачливого старателя.

Возле индейца чероки Человек-в-Картинках пал на колени и, вцепившись в прутья стальной решетки, попытался разглядеть дно ямы. Там открылось ему скопище старых газет, фантики от леденцов, окурки и розовая полоска жевательной резинки, совершенно целая. М-р Дарк испустил короткий яростный вопль.

— Что-нибудь потеряли, сэр? — поинтересовался из-за стойки м-р Татли.

Человек-в-Картинках, все еще не отпуская решетку, утвердительно кивнул.

— Не беда, — успокоил его м-р Татли. — Раз в месяц я обязательно провожу инспекцию. Сколько у вас там: четвертак? полдоллара?

Банг!

Человек-в-Картинках вздрогнул и посмотрел вверх. В окошечке кассы, высоко в небесах, выскочил маленький огненно-красный флажок: «НЕ ПРОДАЕТСЯ».

Городские часы пробили семь. Эхо курантов пошло гулять по темным залам библиотеки. Хрупкий осенний лист прошуршал по оконному стеклу, или это просто перевернулась страница книги?

В одном из закоулков, склонившись в травяном свете лампы, сидел Чарльз Хэллуэй. Руки его, чуть подрагивая, перебирали страницы, ставили на место одни книги, снимали другие. Изредка он подходил к окну и, вглядываясь в осенние сумерки, наблюдал за улицей, потом опять возвращался к столу, перелистывал страницы, делал выписки, закладки, бормоча себе под нос. От слабых звуков его голоса под потолком библиотеки порхали смутные отголоски.

— Так... теперь посмотрим здесь...

— ... здесь! — подтверждали темные переходы.

— О, вот это нам пригодится...

— ... годится! — вздыхали темные залы.

— И вот это тоже!

— ... тоже, — шуршали пылинки в темноте.

Пожалуй, это был самый длинный день в его жизни. Он бродил среди диковинных толп, выслеживал рассыпавшихся по городу карнавальных шпионов. Он не стал портить матерям Вилли и Джима спокойного воскресенья и сказал лишь самое необходимое, и опять бродил по улицам, держась подальше от глухих аллей, сталкивался тенями с Карликом, кивал встреченным Крушителям и Пожирателям Огня и дважды с трудом сдержал панику, проходя мимо решетки возле табачной лавки. Он чувствовал, что в яме никого нет, и надеялся, что ребята, благодарение Богу, нашли надежное местечко. Вместе с толпой горожан он посетил Карнавал, но не зашел ни в один балаган, не прокатился ни на одном аттракционе. Уже в сумерки, перед заходом солнца, исследовал Зеркальный Лабиринт и понял достаточно, чтобы удержаться на берегу и не кануть в холодные глубины.

Промокший под вечерним дождем, промерзший до костей, он дал толпе возможность нести себя и, прежде чем ночь успела схватить его, причалил к берегу библиотеки. Здесь он достал самые нужные книги и разложил на столах, как огромные литературные часы. Теперь они отсчитывали для него свое время.

Он ходил от стола к столу, поглядывая искоса на пожелтевшие

страницы, словно на коллекцию диковинных бабочек, расправивших крылья над деревянными столешницами.

Здесь лежала книга, раскрытая на портрете князя тьмы. Рядом — серия гравюр «Искушение св. Антония», слева — алхимические рисунки Джованни Батисты Брачелли, изображавшие гомункулов, рожденных в ретортах. Место «без пяти полдень» занимал «Фауст», на двух пополудни лежала «Оккультная иконография», на шести утра, как раз там, где сейчас трудились его пальцы, расположилась «История цирков, карнавалов, театров теней и марионеток», во множестве населенная шутами, менестрелями, магами, клоунами на ходулях и куклами на веревочках. Сверх того присутствовали «Справочник по воздушному царству (Летающие твари за всю историю Земли)», «девять» находилось «Во власти демонов», выше помещались «Египетские снадобья», еще выше — «Мытарства на воздушных», придавленные «Зеркальными чарами», а уж совсем ближе к полуночи стояли под парами «Поезда и локомотивы», упирившиеся в «Мистерии сновидений», «Между полуночью и рассветом», «Шабаша ведьм» и «Договоры с демонами». Все было на своих местах, и весь циферблат заполнен. Не хватало лишь стрелок, поэтому Хэллуэй не мог сказать, который час отзвонили куранты его собственной жизни или жизни двоих ребят, затерянных где-то среди ни о чем не подозревающего города.

Чем же он располагал в итоге?

В три часа ночи появился поезд. На лугу раскинул сети Зеркальный Лабиринт, в город вошел воскресный парад, которым командовал рослый мужчина, разрисованный вдоль и поперек. Дальше было несколько капель крови, двое перепуганных мальчишек в яме и, наконец, он сам, сидящий в этой кладбищенской тишине над частями мудреной головоломки.

Ребята говорили правду. Это доказывало явное ощущение страха, сгустившееся в воздухе во время их странной беседы сквозь решетку. А уж он, Хэллуэй, в своей жизни повидал достаточно страшного, чтобы распознать его сразу при встрече. Почему в молчании разрисованного незнакомца ему слышались все ругательства и проклятья, сколько их есть на свете? Что почудилось Хэллуэю в фигуре дряхлого старика, мелькнувшей сквозь щель в пологе шатра под вывеской «М-р Электрико»? Почему на его теле плясали зеленые электрические ящерицы? Как сложить все это вместе, как совместить с тем, что говорят книги? Он взял в руки «Физиогномику. Тайны характера, определяемые по лицу», полистал. Автор уверял его, что Джим и Вилли — просто-таки воплощение ангельской чистоты, идеал Мужчины, Женщины или Невинного Младенца,

гармония Цвета, Пропорций и Расположения Звезд. И вот они глядят из-под решетки на весь этот шагающий и грохочущий ужас... А там... Чарльз Хэллуэй перевернул несколько страниц. Так, значит, Расписному Чуду присущи Раздражительность, Жестокость, Алчность — об этом говорят лобные шишки, а также Похоть и Ложь — это уже следует из линии губ, и в не меньшей степени — Хитрость, Наглость, Суета и Предательство, о чем с неопровержимостью должны свидетельствовать зубы м-ра Дарка.

Нет. Книга захлопнулась. Если судить по лицам, балаганные уроды не намного хуже тех, кто на его долгой памяти открывал и закрывал двери библиотеки. Но в одном он уверен совершенно. В этом убедили его две строки Шекспира. Их надо было поместить в центре книжного циферблата, ибо именно они наиболее точно выражали суть его мрачного предчувствия.

*Колет пальцы. Так всегда
Надвигается беда^[28].*

Так смутно — и так огромно.

С этим предчувствием не хотелось жить. Но Хэллуэй был твердо убежден: если ему не удастся изжить наступающий ужас сегодня ночью, он останется с ним на всю оставшуюся жизнь. И он все поглядывал в окно, все поджидал: Джим, Вилли, вы идете? Придете вы сюда?

Ожидание выбелило его плоть до цвета костей.

Здание библиотеки поднималось из сугробов времени, нападавших от лавины книг всех веков и народов — ее с трудом сдерживал порядок полок и разделителей.

Семь пятнадцать... семь тридцать... семь сорок пять воскресного вечера.

Город был занят Карнавалом. Мимо Джима и Вилли, затаившихся в кустах под стеной библиотеки, то и дело шли люди, заставляя ребят зарываться носами в палые листья.

— Полундра!

Оба снова вжались в землю. Кто-то пересекал улицу: может, какой-то парнишка, а может, Карлик, может, подросток с сознанием Карлика, а может, просто сдуло несколько листьев с дерева и бросило по подмерзшему после дождя тротуару. Ладно. Было и ушло. Джим сел, а Вилли все еще лежал, прижавшись к доброй, безопасной земле.

— Ты чего? Идти ведь надо.

— Библиотека, — словно нехотя, отозвался Вилли. — Я даже ее теперь боюсь. «Этим книжкам, поселившимся здесь, — думал он, — сотни лет от роду. У них шелушится кожа от старости, они расселись на полках, как стая грифов, крыло к крылу. Только ступи в темные переходы — сразу миллион золотых корешков так и вылупятся на тебя. Библиотека старая, и Карнавал старый, и отец старый...»

— Я знаю, — вслух произнес он, — отец там. Но отец ли он? А что, если они уже побывали здесь, изменили его, переделали, наобещали с три короба, чего и дать не могут, а он-то думает — у них есть, и мы войдем сейчас, а потом, лет через пятьдесят, кто-нибудь возьмет книжку, откроет, а оттуда на пол вывалимся, как сухие бабочкины крылья, мы с тобой, а? Как сожмут нас, как засунут между страницами, никто и не узнает, куда мы подевались...

Для Джима это было уже чересчур. Надо было немедленно действовать — и вот он уже колотит в библиотечную дверь. Еще миг — и Вилли присоединился к нему. Куда угодно, лишь бы убежать от уличной ночи, хоть в такую же ночь, но в тепло, под крышу, за дверь. Если уж выбирать, пусть лучше пахнет книгами... сил больше нет вдыхать запах мокрых прелых листьев... Вот уже отворилась дверь, и на пороге — отец со своей призрачного цвета шевелюрой. Они на цыпочках прошли

пустынными коридорами, и Вилли вдруг испытал безумное желание свистнуть, как бывало иногда на кладбище после захода солнца. Отец расспрашивал, почему они припозднились, а ребята старательно припоминали все места, где прятались днем. Они побывали в старых гаражах, отсиживались в амбарах, пробовали скрываться даже на деревьях, но в конце концов все это им надоело. Они вылезли из какой-то очередной норы и заявили прямо к шерифу. Полчаса, проведенные в участке, были прекрасны своей полной безопасностью, а потом Вилли пришла в голову мысль побродить по церквям, что они и сделали, облазив все церкви в городе, от подвалов до колоколен. Неизвестно, насколько безопасны были церкви на самом деле, но некое чувство защищенности там возникало. А потом надоело и это. Скука и предвечерняя тоска чуть было не погнали их на Карнавал, но тут, весьма кстати, солнце село, и настала пора двигаться к библиотеке. Весь день она представлялась им дружественным фортом, крепостью на захваченных врагом землях, и только в самом конце они испугались: а не сдалась ли и эта цитадель арабам?

— И вот мы здесь, — сипло прошептал Джим и замолчал. — А что это я все шепчу? — подумал он вслух. — Привык за этот день. Вот чертовщина! — Он рассмеялся и тут же испуганно оборвал себя. Из глубины библиотеки словно бы прошелестели легкие шаги. Но это всего лишь вернулись отголоски его собственного смеха, отраженные стеллажами, и кошкой прокрались по переходам.

Кончилось тем, что все вновь перешли на шепот.

Лесные чащи, мрачные пещеры, темные церкви, полуосвященные библиотеки одинаково приглушают голоса, гасят пыл, вынуждают говорить вполголоса из страха перед призрачными отголосками, продолжающими жить и после вашего ухода.

Теперь они были уже в той комнате, где Чарльз Хэллуэй разложил свои фолианты. Здесь все переглянулись, каждый поразился бледности другого, но говорить об этом не стали.

— А теперь давайте-ка все с самого начала, — потребовал отец Вилли, придвигая ребятам кресла.

Он внимательно выслушал рассказ о торговце громоотводами, о приближавшейся, по его словам, грозе, о ночном поезде, о том, как странно разворачивался на лугу Карнавал; потом в полуденном свете открылся проселок и по нему на луг брели сотни христиан — только львов не хватало, чтобы закусить ими; вместо львов был лабиринт, где само Время блуждало взад-вперед; дальше — неисправная карусель, перерыв на ужин, м-р Кугер, племянник с грешными глазами, потому что на самом

деле он был мужчина и жил так долго, что и рад бы умереть, да не знает как...

Ребята остановились перевести дух, а потом опять — мисс Фолей, снова Карнавал, дикий разбег карусели, мумия м-ра Кугера, мертвей мертвого, но вскоре ожившая под электрическими разрядами, — все это и была буря, только без дождя и грома, а потом — парад, яма, накрытая решеткой, нудная игра в прятки, и рассказ закончился абордажем библиотечных дверей.

Отец Вилли долго сидел, слепо уставившись на что-то прямо перед собой, потом его губы шевельнулись раз, другой, и он произнес:

— Джим, Вилли, я вам верю.

Ребята просто-таки осели в креслах.

— Что, всему этому?

— Всему этому.

Вилли потер глаза.

— Знаешь, — сообщил он Джиму, — я, кажется, разревусь сейчас.

— Да погоди ты! — прикрикнул на него Джим. — Нашел время!

— Верно. Времени у нас мало, — промолвил Чарльз Хэллуэй.

Он встал, набил трубку и в поисках спичек опустошил карманы, в результате чего на столе перед ним оказались: старая губная гармошка, перочинный нож, сломанная зажигалка, записная книжка — он давно уже предназначил ее для записи мудрых мыслей, но все руки не доходили. Перебрав весь этот жалкий мусор, он покачал головой и наконец обнаружил измочаленный спичечный коробок, зажег трубку и принялся расхаживать по комнате.

— Вот мы толкуем тут о совершенно особенном Карнавале: откуда он взялся, да почему, да зачем он здесь? Вроде бы никто и никогда такого не видел, а уж в нашем городишке — тем более. Однако не угодно ли вам посмотреть вот сюда. — Он постучал пальцем по сильно пожелтевшей газетной рекламе с числом в правом верхнем углу: 12 октября 1888 года. Реклама гласила: «Дж. К. Кугер и Г.М. Дарк представляют: театр-пандемониум, сопутствующие выступления, международный противоестественный музей!»

— «Дж. К.Г.М.», — вспомнил Джим, — на вчерашних афишах эти же инициалы. Но ведь не могут они быть теми же самыми?

— Не могут? Как сказать... — Отец Вилли потер виски. — Я, когда вот это увидел, тоже весь мурашками пошел.

Он положил на стол еще одну старую газету.

— Вот. 1860 год. И еще есть 1846-й. Та же реклама, те же фамилии.

Дарк и Кугер, Кугер и Дарк, они появляются и исчезают примерно каждые тридцать-сорок лет. Люди успевают все забыть. Где их носило все эти годы? Похоже, они путешествовали. Только довольно странно: они появляются всегда в октябре: октябрь 1846-го, октябрь 1860-го, 1888-го, 1910-го и, наконец, нынешний октябрь... — Голос Хэллуэя зазвучал глуше. — Бойтесь людей осени...

— Чего?

— Один старый религиозный трактат. Пастор Ньюгейт, кажется. Я его в детстве читал. Как же там дальше? — Он попытался вспомнить. Облизал губы. Наморщил лоб. Вспомнил. — «Для некоторых людей осень приходит рано и остается на всю жизнь. Для них сентябрь сменяется октябрём, следом приходит ноябрь, но потом, вместо Рождества Христова, вместо Вифлеемской Звезды и радости, вместо декабря, вдруг возвращается все тот же сентябрь, за ним приходит старый октябрь, и снова падают листья; так оно и идет сквозь века: ни зимы, ни весны, ни летнего возрождения. Для подобных людей падение естественно, они не знают другой поры. Откуда приходят они? Из праха. Куда держат путь? К могиле. Кровь ли течет у них в жилах? Нет, то — ночной ветер. Стучит ли мысль в их головах? Нет, то — червь. Кто глаголет их устами? Жаба. Кто смотрит их глазами? Змея. Кто слушает их ушами? Черная бездна. Они взбаламучивают осенней бурей человеческие души, они грызут устои причины, они толкают грешников к могиле. Они неистовствуют и во взрывах ярости суетливы, они крадутся, выслеживают, заманивают, от них луна угрюмеем ликом и замутняются чистые текучие воды. Таковы люди осени. Остерегайся их на своем пути». Чарльз Хэллуэй замолчал, и оба мальчика разом выдохнули.

— Люди осени, — повторил Джим. — Это они! Точно!

— А мы тогда кто? — сглотнул от волнения Вилли. — Мы, значит, люди лета?

— Ну, я бы так прямо не сказал, — покачал головой Хэллуэй. — Сейчас-то вы, конечно, ближе к лету, чем я. Может быть, когда-то и я таким был, но только очень давно. Большинство у нас серединка на половинку. Августовским полднем мы защищаемся от ноябрьских заморозков, мы живем благодаря запасам тепла, скопленным Четвертого Июля, но бывает, и мы становимся Людьюми Осени.

— Ну не ты же, папа!

— Не вы же, мистер Хэллуэй!

Он быстро повернулся к ним и успел заметить, как они бледны, как напряжены их позы с неподвижно лежащими на коленях руками.

— Слова, слова... Не надо меня убеждать, я говорю то, что есть. Как ты думаешь, Вилли, знаешь ли ты своего отца на самом деле? И достаточно ли я знаю тебя, если случится нам вместе выйти против тех?

— Я не понял, — протянул Джим. — Так вы — кто?

— Черт побери! Да знаем мы, кто он! — взорвался Вилли.

— Ой ли? — скептически произнес седой мужчина. — Давай посмотрим. Чарльз Вильям Хэллуэй. Ничего особенного, кроме того, что мне пятьдесят четыре, а это всегда не совсем обычно, особенно для тех, к кому эти пятьдесят четыре относятся. Родился в местечке под названием Сладкий Ключ. Жил в Чикаго. Выжил в Нью-Йорке. Маялся в Детройте, сменил кучу мест, здесь появился довольно поздно, а до этого переходил из библиотеки в библиотеку по всей стране, потому что любил одиночество, любил сравнивать с книгами то, что встречал на дорогах. Как-то раз, среди всей этой беготни, твоя мать, Вилли, остановила меня одним взглядом, и вот с тех пор я здесь. По-прежнему любимое время для меня — ночь в библиотечном зале. Навсегда ли я бросил якорь? Может, да, а может, и нет. Зачем я оказался здесь? Похоже, затем, чтобы помочь вам.

Он помедлил и долго смотрел на симпатичные, открытые мальчишеские лица.

— Да, — произнес он наконец. — Слишком долго в игре. Я помогу вам.

Ночной холодный ветер яростно тряс бельмастые окна библиотеки. Вилли, давно уже молчавший, вдруг сказал:

— Пап... ты всегда помогаешь...

— Спасибо, сынок, только это неправда. — Чарльз Хэллуэй тщательно изучал свою совершенно пустую ладонь. — Дурак я, — признался он неожиданно, — всегда норовил заглянуть поверх твоей головы — что там у тебя впереди. Нет бы на тебя посмотреть, на то, что сейчас есть. Но этак и каждый ведь дурак — вот мне уже и легче. Как оно бывает: ты вкальываешь всю жизнь, карабкаешься, прыгаешь за борт, сводишь концы с концами, прилепляешь пластырь, гладишь по щеке, целуешь в лобик, смеешься, плачешь, словом, весь при деле, и так до тех пор, пока не оказываешься вдруг наихудшим дураком на свете. Ну, тогда, понятно, орешь: «Помогите!», и очень здорово, если тебе ответит кто-нибудь. Я просто вижу эти небольшие городишки, раскиданные по всей стране, захолустные заповедники для дураков. И вот однажды появляется Карнавал. Ему достаточно тряхнуть любое дерево, и посыплется просто дождь из болванов, из таких, знаешь, индивидуумов, которым кажется (а может, и на самом деле так), что на их «помогите» некому ответить. Вот такие дураки-индивидуалисты и составляют урожай, который убирает Карнавал по осени.

— Черт возьми! — в сердцах произнес Вилли. — Но тогда ведь бороться с ними — безнадежное дело!

— Не скажи. Мы-то — вот они, сидим и думаем, какая разница между летом и осенью. Это уже хорошо. Значит, есть выход, значит, вы не останетесь дураками, значит, грех, зло, неправда, что бы этими словами ни называли, к вам не пристанут. У этого Дарка с его дружками не все козыри на руках. После нашего разговора я это точно знаю. Да, я его боюсь, но ведь и он меня побаивается. Тут мы квиты. Вопрос: как нам этим воспользоваться?

— Как?

— Начнем сначала. Возьмем историю. Если бы люди всегда стремились только к плохому, их бы просто не было. А ведь мы уже не плаваем вместе со всякими барракудами, и не бродим стадами по прериям, и не ищем у соседки-гориллы блох под мышкой. Мы ухитрились в свое время отказаться от клыков хищников и принялись жевать травку. Всего за

несколько поколений мы уравнивали философию охоты с философией земледелия. Тут нам пришлось в голову измерить свой рост, и выяснилось, что мы — повыше животных, но пониже ангелов. Потрясающая идея! Чтобы она не пропала, мы записали ее тысячу раз на бумаге, а вокруг понастроили домов наподобие того, в котором мы сидим. И теперь мы водим хороводы вокруг этих святилищ, пережевываем нашу сладкую идею и пытаемся сообразить, с чего же все началось, когда же пришло это решение — быть непохожими на всех остальных? Наверное, как-то ночью, примерно сотню тысяч лет назад, один из тогдашних косматых джентльменов проснулся у костра, посмотрел на свою сильно волосатую леди с младенцем и... заплакал. Ему подумалось, что придет время, и эти теплые и близкие станут холодными и далекими, уйдут навсегда. Этой ночью он все трогал женщину, проверяя, не умерла ли она еще, и детей, которые ведь тоже умрут когда-нибудь. А на следующее утро он обращался с ними уже чуточку поласковее, ведь они того заслуживали. В их крови, да и в его тоже, таилось семя ночи, пройдет время, и оно сокрушит жизнь, разрушит тело и отправит его в ничто. Тот джентльмен уже понимал, как и мы понимаем: век наш короток, а у вечности нет конца. Как только это знание поселяется в тебе, следом тут же приходят жалость и милосердие, и тогда мы стремимся оделить других любовью.

Так кто же мы есть в итоге? Мы — знающие, только тяжесть знания велика, и неизвестно, плакать надо от этого или смеяться. Кстати, звери не делают ни того, ни другого. А мы смеемся или плачем — смотря по сезону. А Карнавал наблюдает и приходит лишь тогда, когда мы созрели.

Чарльз Хэллуэй замолчал. Мальчишки смотрели на него так пристально, что ему стало неловко.

— Мистер Хэллуэй! — тихонько крикнул Джим. — Это же грандиозно! Ну а дальше, дальше-то что?

— Да, папа, — выговорил пораженный Вилли, — я и не знал, что ты можешь так говорить!

— Э-э, послушал бы ты меня как-нибудь вечерком, попозже, — усмехнулся отец, — сплошные разговоры. Да в любой из прожитых дней я мог бы рассказать тебе куда больше! Черт! А где же я был? Похоже, все готовился... готовился любить.

Вилли как-то вдруг пригорюнился, да и Джима насторожило последнее слово. Чарльз Хэллуэй заметил это и замолчал. «Как объяснить им, — думал он, — чтобы поняли? Сказать, что любовь — причина всего, цемент жизни? Или попытаться объяснить, что он чувствует, оказавшись в этом диком мире, волчком несущемся вокруг огромного косматого солнца,

падающего вместе с ним через черное пространство в пространства еще более обширные, то ли навстречу, то ли прочь от Нечто. Может быть, сказать так: волей-неволей мы участвуем в гонке и летим со скоростью миллион миль в час. А вокруг — ночь. Но у нас есть против нее средство. Начнем с малого. Почему любишь мальчишку, запустившего в небеса мартовского змея? Потому что помнишь подергивание живой бечевки в собственных ладонях. Почему любишь девочку, склонившуюся над родником? Потому что даже в вагоне экспресса не забываешь вкус холодной воды в забытый июльский полдень. Почему плачешь над незнакомцем, умершим на дороге? Потому что он похож на друзей, которых не видел сорок лет. Почему смеешься, когда один клоун лупит другого пирогом? Потому что вспоминаешь вкус крема в детстве, вкус жизни. Почему любишь женщину, жену свою? Ее нос дышит воздухом мира, который я знаю, и я люблю ее нос. Ее уши слышат музыку, которую я напеваю полночи напролет, конечно, я люблю ее уши. Ее глаза радуются приходу весны в родном краю, как же не любить мне эти глаза? Ее плоть знает жару, холод, горе, и я знаю огонь, снег и боль. Мы с ней — один опыт жизни, мы срослись миллионами ощущений. Отруби одно, убавишь чувство жизни, два — уполовинишь саму жизнь. Мы любим то, что знаем, мы любим нас самих. Любовь — вот общее начало, вот причина, объединяющая рот, глаза, уши, сердца, души и плоть... Разве скажешь им все это?»

— Смотрите, — все-таки попробовал он, — вот два человека едут в одном вагоне: солдат и фермер. Один все время толкует о войне, другой — о хлебе, и каждый вгоняет соседа в сон. Но если один вдруг вспомнит о марафонском беге, а другой в своей жизни пробежал хотя бы милю, они прекрасно проболтают всю ночь и расстанутся друзьями. У всех мужчин есть одна общая тема — это женщины, об этом они могут толковать от восхода до заката, и дальше... О черт!

Чарльз Хэллуэй замолчал и, кажется, покраснел. Цель вырисовывалась впереди, но вот как до нее добраться? Он в сомнении пожевал губами.

«Не останавливайся, папа, — думал Вилли. — Пока ты говоришь, здесь замечательно. Ты нас спасаешь, только продолжай...»

Мужчина почувствовал взгляд мальчика и понял его. Повернувшись, он встретил такой же взгляд Джима, встал и медленно начал обходить стол. Он касался то одной картинке, то другой, трогал Звезду Соломона, полумесяц, древний символ солнца...

— Я не помню, говорил я, что значит быть хорошим? Бог мой, я не знаю. Если при тебе на улице стреляют в чужака, ты едва ли кинешься на

помощь. Но если за час до этого успел поговорить с ним минут десять, если узнал хоть чуть-чуть о нем и о его семье, то, скорее всего, ты попытаешься помешать убийце. Потому что знаешь наверняка — это хорошо. А узнать надо стараться. Если не хочешь знать, отказываешься знать — это плохо. Без знания нет действия, без знания от твоих действий толку не будет. Думаете, я свихнулся? Вы ведь уверены, что всего и дел-то — пойти и перестрелять их всех к чертовой бабушке. Ты ведь уже пробовал стрелять, Вилли. Так не пойдет. Мы должны постараться узнать о них как можно больше, а главное — разузнать об их хозяине. Мы не сможем быть хорошими и действовать правильно, пока не будем знать, что в этой истории правильно. Поэтому мы тут теряем время. Сегодня воскресенье. Представление закончится не поздно, и народ разойдется по домам. А после этого... после этого нам надо ждать осенних людей. У нас в распоряжении часа два, не больше.

Джим стоял у окна, словно видел через весь город и черные шатры, и калиоп, играющий сам по себе, только от того, что мир, вращаясь, трется об ночь.

— Разве Карнавал — это плохо? — спросил он.

— Ты еще спрашиваешь! — рассердился Вилли.

— Стоп, стоп! — остановил его отец. — Вопрос хорош. Часть этого представления просто замечательная. Но есть старая хорошая поговорка: за все рано или поздно приходится платить. А здесь ты отдаешь им кое-что задаром, а взамен — пустые обещания.

— Откуда они взялись? — угрюмо спросил Джим. — Кто они? Вилли с отцом тоже подошли к окну. Чарльз Хэллуэй заговорил, словно обращаясь к темным шатрам на дальнем лугу.

— Некогда, ну, скажем, до Колумба, по Европе, позвякивая колокольчиками на лодыжках, с лютней за спиной бродил человек. А может, это было еще на миллион лет раньше, просто тогда он был в обезьяньей шкуре и выглядел как самая настоящая обезьяна. Желанней всего на свете были для него несчастья и боль окружающих. Он собирал их и целый день пережевывал, как мятную жвачку. Это давало ему силы, доставляло удовольствие. Наверное, после него его сын усовершенствовал капканы отца, ловушки для человеков, костоломки, средства для головной боли, способы мучения плоти и ограбления души. На дальних болотах из всяческих отбросов он вывел мошку, от которой не спрячешься, москитов, которые достают тебя летними ночами. Вот так, по человечку оттуда, отсюда, и собралась стая людей-псов, для которых нет ничего слаще твоей тревоги, которые с радостью помогут твоему горю. Они караулят твои

ночные страхи, вождеденно подслушивают твои угрызения совести и нечистые сны. Ночные кошмары — их хлеб насущный. Они намазывают его болью и уплетают за обе щеки. Они были всегда. С бичами из носорожьей кожи они надзирали за строительством пирамид, поливая их для крепости потом, кровью и жизнями других людей. Они проносились по Европе на белых оскаленных конях Моровой Язвы. Они, удовольствия ради, нашептывали Цезарю мысль о том, что и он смертен, а потом, на мартовской распродаже, пускали кинжалы за полцены. То они шуты при дворе императора, то — инквизиторы в застенке, то — цыгане на большой дороге жизни. Чем больше людей становилось на земле, тем быстрее росло их поголовье. А заодно совершенствовались способы причинения боли ближнему своему. Вот загудел первый паровоз, а они уже тут как тут, цепляют к нему вагон, больше всего похожий на средневековую гробницу или колесницу, в которую впрягали людей...

— И что, все эти годы они — одни и те же? — напряженным голосом спросил Джим. — Вы думаете, мистер Кугер и мистер Дарк родились... лет двести назад?

— По-моему, это ты говорил, что, прокатившись на карусели, нетрудно сбросить год-другой, верно?

— Так это что же, они могут жить вечно? — холодея от ужаса, спросил Вилли.

— И вечно вредить людям? — Джим никак не мог отказаться от какой-то своей мысли. — Но почему все — вред и зло?

— Отвечу, — спокойно отозвался Хэллуэй-старший. — Чтобы двигаться Карнавалу нужно какое-то топливо, так? Женщины, к примеру, добывают энергию из болтовни, а болтовня их — сплошной обмен головными болями, легкими укусами, артритными суставами, всякими совершенными глупостями, их последствиями и результатами. Многие мужчины не лучше — если их челюсти не загрузить жевательной резинкой из политики и женщин, с ними, чего доброго, кондрашка случится. А сколько удовольствия доставляют им похороны? Прибавить сюда хихиканье над некрологами за завтраком, сложить все кошачьи потасовки, в которых одни норовят содрать шкуру с других, вывернуть ее наизнанку, да еще доказывать после, что так оно и было. Еще не забыть приплюсовать работу шарлатанов-врачей, кромсающих людей вкривь и вкось, а после сшивающих грязной ниткой, умножить на убойную мощь динамитной фабрики, и тогда, пожалуй, получим черную силу одного только такого Карнавала. Они гребут лопатой в свои топки все наши низости и подлости. Все боли, горести и скорби человеческие летят туда же. Мы и то не

отказываемся подсолить наши жизни чужими грехами, Карнавал — тем более, только в миллион раз сильнее. Все страхи и боли мира — вот что вращает карусели. Сырой ужас, агония вины, вопли от настоящих или воображаемых ран — все перегорает в его топках и с пыхтением влечет дальше.

Чарльз Хэллуэй перевел дух.

— Как я узнал об этом? Да никак! Просто чувствую. Я слышал их музыку, слышал ваш рассказ. Наверное, я всегда знал об их существовании и только ждал ночного поезда на заброшенной ветке, чтобы посмотреть и кивнуть. Мои кости знают о нем правду. Они говорят мне. Я говорю вам.

— А могут они, — начал Джим, — это, души покупать?

— Зачем же платить за то, что можно получить даром? — усмехнулся м-р Хэллуэй. — Многие даже рады возможности отдать все за ничего. Мы ведь такой фарс устроили с нашими бессмертными душами! Правда, похоже, ты попал в точку. За всем этим делом чувствуется когтистая лапа дьявола. Он хоть не ест их, но и жить без них не может. Вот что всегда интересовало меня в старых мифах. Я все думал, ну зачем Мефистофелю душа Фауста? Что он с нею делать-то будет? Сейчас я вам изложу мою собственную теорию на этот счет. Лучший подарок для этих тварей — чадный огонь, горящий в душе человека, мучимого совестью за старые грехи. От мертвой души никакого проку нет. А вот живая, неистовая, сбрызнутая собственным проклятьем — вот это для них лакомый кусок.

Откуда мне это известно? А я наблюдаю. Карнавал — тот же человек, но намного яснее. Вот живут мужчина и женщина. Нет бы им разойтись в разные стороны или поубивать друг друга, а они наоборот — всю жизнь едят один другого поедом, таскают за волосы, царапаются. Почему? Да потому, что мучения и ненависть одного — наркотик для другого. Так и Карнавал чует уязвленную самость за много миль и мчится вприпрыжку погреть руки на этих углях. Он мигом распознает подростков, неспособных стать мужчинами, ноющих, как огромный больной зуб мудрости. Он чувствует, как вдруг начинает мельчать мужчина средних лет (вроде меня). Его августовский полдень давно прошел, а он все тараторит без пользы. Мы разжигаем в своих помыслах страсть, зависть, похоть, окисляем их в наших душах, и все это срывается с наших глаз, с наших губ, с наших рук, как с антенн, работающих, уж не знаю, на длинных или на коротких волнах. Но хозяева балаганных уродов знают, они давно научились принимать эти сигналы и не преминут урвать здесь свое. Карнавал не спешит, он знает, что на любом перекрестке найдет желающих подкормить его пинтой похотливой страсти или квартой лютой ненависти. Вот чем жив Карнавал: ядом грехов, творимых нами по отношению друг к другу, ферментами наших ужасных помыслов! — Чарльз Хэллуэй фыркнул. — Господи! — воскликнул он. — Сколько же я наговорил за последние десять минут!

— Вы много говорили, — подтвердил Джим.

— На чем языке, хотел бы я знать? — воскликнул м-р Хэллуэй. Ему

вдруг показалось, что толку от его речей столько же, сколько и обычно, когда он долгими ночами проповедовал свои идеи пустым залам, и только короткое эхо отвечало ему. Он написал множество книг на воздушных страницах светлых комнат, в просторных зданиях разных библиотек — где они? Он уже сомневался, не устроил ли он фейерверк из цветистых звучных фраз, годящихся лишь на то, чтобы поразить двух подростков без всякой для них пользы. Пустое упражнение в риторике.

Интересно, сколько из сказанного дошло до них? Одна фраза из трех? Две из восьми? Видимо, последние слова он произнес вслух, потому что Вилли неожиданно ответил.

— Три из тысячи.

Чарльз Хэллуэй не очень весело рассмеялся и вздохнул.

Джиму важно было выяснить что-то свое.

— Этот Карнавал... это что? Смерть?

Старик снова раскурил трубку, выпустил дым и внимательно изучил его.

— Нет, это не сама Смерть, но использовать ее как пытку он может. Смерти-то ведь нет, никогда не было и никогда не будет. Просто мы так часто изображали ее, столько лет пытались ее постичь, что в конце концов убедили себя в ее несомненной реальности, да еще наделили чертами живого и жадного существа. А ведь она — не больше чем остановившиеся часы, конец пути, темнота. Ничто. Но Карнавал прекрасно знает, что именно это. Ничто пугает нас куда больше, чем Нечто. С Нечто еще можно бороться, а вот как бороться с Ничто? Куда бить? Есть ли у Ничто хоть что-нибудь: тело, душа, мозг? Нет, конечно. Так что Карнавал пугает нас погремущей и собирает, когда мы в ужасе летим вверх тормашками. Он показывает нам Нечто, которое, по нашему мнению, ведет к Ничто. Например, этот Лабиринт там, на лугу. Обычное грубоватое Нечто, вполне достаточное, чтобы вышибить вашу душу из седла. Простой хулиганский удар ниже пояса: показать, как твои девяносто лет тают в зазеркальной глади, и вот ты уже готов, заморожен и недвижим, а калиоп наигрывает славную мелодию, больше всего похожую на стог сена, из которого пытаются давить вино, или на летнюю-ночь-на-берегу-озера, но только под барабаны и литавры. Экая неприятельность! Меня просто восхищает прямота их подхода. Всего и дел-то: разобрать старика на части зеркалами, превратить осколки в головоломку, а единственным ключом к ней владеет Карнавал. А ключ этот — просто-напросто вальс из «Прекрасного Огайо» или «Веселой вдовы», сыгранный наоборот, да карусель. Одного только не говорят они людям, катающимся под их музыку...

— Чего? — не утерпел Джим.

— А того, что если ты в одном обличье стал несчастным грешником, то и в любом другом им останешься. Изменить рост и пропорции — не значит изменить человека. Допустим, Джим, завтра ты станешь двадцатилетним, но думать-то будешь, как мальчишка, и этого не подделаешь! Они могут превратить меня в десятилетнего постреленка, да только мой пятидесятилетний разум все равно заставит меня вести себя по-взрослому, поступать так, как не поступил бы ни один мальчишка. Да и соединить разорванное время им не по силам.

— Это как? — спросил Джим.

— Допустим, я стал молодым. Но ведь все мои друзья и знакомые остались прежними, не так ли? Мне никогда уже не быть с ними вместе. Их интересы и заботы меня уже не взволнуют, ведь у них впереди — болезни и смерть, а у меня — еще одна жизнь. Куда деваться человеку на вид этак лет двадцати, а на самом деле прожившему мафусаилов век? Такой шок — не пустяк. Карнавал об этом помалкивает.

И что же в итоге? Скорее всего, безумие. С одной стороны, новое тело, новое окружение, с другой — оставленная жена, друзья, которые будут умирать у тебя на глазах, как и все прочие нормальные люди. Господи, одного этого довольно, чтобы заполучить удар! Но зато сколько страха, сколько мучений перепадет Карнавалу на завтрак. И тогда вы приходите и проситесь обратно. Карнавал слушает и кивает. Конечно, обещают они, если будете себя прилично вести, то в ближайшее время получите обратно ваши три десятка или сколько вам там причитается. На одном только этом обещании карнавальная поездка способна обогнуть земной шар, а трупка-то растет, в нее вливаются все новые жаждущие вернуть свое достоинство и за это ожидание прислуживающие Карнавалу, производящие уголь для его топки.

Вилли пробормотал что-то.

— Что ты говоришь, сынок?

— Мисс Фолей. — Голос Вилли дрогнул. — Бедная! Они ведь теперь заполучили ее, прямо как ты сказал. Она добилась своего, но это ее так напугало, она так плакала, пап, прямо обрыдалась вся... А теперь, спорить могу, они пообещали вернуть ей ее пятьдесят лет, но что они сделают с ней за это? Что они делают с ней вот прямо сейчас?

— Да поможет ей Бог! — Отец Вилли опустил тяжелую ладонь на страницы старой книги. — Наверное, она теперь с уродами. Кто они, как вы думаете? Да просто грешники. Они так долго странствуют с Карнавалом в надежде на освобождение, что стали похожи на свои грехи.

Я видел в балагане Самого Тучного Человека. Ну и кто он? Вернее, кем был раньше? Просто обжора-сладострастник. Карнавалу не откажешь в собственном черном юморе, теперь этот несчастный — узник своей собственной, трещащей по швам плоти. А вот — Скелет. Не обрекал ли он своих близких не только на физическое, но и на духовное истощение? Или ваш приятель Карлик. Вроде бы его вины не видно. Всегда в пути, никогда не ввязываясь в потасовку, опережая грозу и продавая громоотводы... но грозу-то он оставлял встречать другим. И вот бесплатные аттракционы Карнавала скомкали его до размеров большого тряпичного мяча, сшитого из всякой дребедени, запутавшегося в себе самом. А Пыльная Ведьма? Может, она из тех, что всегда живут завтрашним днем, не обращая внимания на сегодняшний? Это и мне знакомо. И вот она все накручивает свое наказание, видя на раскинутых картах одни только дурные восходы да горестные закаты. Впрочем, тебе виднее, Вилли. Ты ведь с ней накоротке знаком. Ну, кто там еще? Крушитель? Мальчик-овца? Пожиратель Огня? Сиамские близнецы? Великий Боже! Кем они были? Может быть, двойняшками, погрязшими во взаимном нарциссизме? Мы никогда не узнаем, а они никогда не расскажут. Мы можем только гадать и, конечно, будем ошибаться. Пустое занятие. В сторону его! Давайте-ка решать, куда нам двигаться отсюда.

Чарльз Хэллуэй расстелил на столе карту города и обвел карандашом место расположения Карнавала.

— Подкрадываться не будем: во-первых, не сумеем, а во-вторых, не наши это методы. А с чем в атаку пойдем?

— С серебряными пулями! — выпалил Вилли.

— Черт возьми! Они же не вампиры! — фыркнул Джим.

— А может быть, святой воды в церкви взять?

— Чушь! — отверг и это предложение Джим. — Это только в кино бывает. Или нет, мистер Хэллуэй?

— Это было бы слишком просто, мальчики.

— Ладно. — Глаза у Вилли яростно сверкнули. — Тогда возьмем пару галлонов керосина.

— Ты что? — испуганно воскликнул Джим. — Это не по закону!

— Это ты-то про закон вспомнил.

— Ну и что? Я!

Оба разом замолчали.

Шорох.

Легкий сквозняк пронесся по комнате.

— Дверь! — прошептал Джим. — Кто-то ее открыл!

Дальний щелчок. Снова легкое дуновение шевельнуло волосы и стихло.

— А теперь — закрыли!

Тишина. Только огромное здание библиотеки с темными лабиринтами переходов и молчаливыми книгами.

— В доме кто-то есть!

Ребята привстали. Внутри у них что-то попискивало, совершенно непонятно что. Чарльз Хэллуэй помедлил, прислушиваясь, и негромко приказал:

— Спрячьтесь.

— Мы тебя не бросим!

— Я сказал: спрячьтесь!

Мальчишки канули в темноту. Чарльз Хэллуэй глубоко вздохнул раз, другой, заставил себя сесть, пододвинул поближе старые подшивки газет. Ему оставалось только ждать, ждать и снова ждать.

Тень скользила среди теней. Чарльз Хэллуэй почувствовал, как душа его погружается в какую-то зыбкую глубину.

Тень и ее обладатель потратили немало времени на поиски комнаты, в окнах которой горел свет. Тень двигалась осторожно, словно оберегая хозяина от лишнего шума. И когда она отыскала наконец эту дверь, выяснилось, что сопровождает ее не одно лицо, даже не сто, а тысяча лиц при одном теле.

— Меня зовут Дарк, — произнес глубокий голос.

Чарльз Хэллуэй, не поднимая головы, с трудом выдохнул.

— Более известный как Человек-в-Картинках, — продолжил голос. —

Где мальчики?

— Мальчики? — М-р Хэллуэй наконец повернулся и оглядел мужчину у двери.

Человек-в-Картинках внимательным носом втянул тончайшую желтую пыльцу, облетевшую со страниц фолиантов. Отец Вилли только теперь заметил, что книги так и лежат, раскрытые на нужных местах. Он дернулся, сдержал себя и начал закрывать том за томом, стараясь не придерживаться никакой системы. Человек-в-Картинках наблюдал за ним, как будто ничуть не интересуясь происходящим.

— Ребят нет дома. Ни того, ни другого. Они могут упустить прекрасную возможность.

— Интересно, куда же они запропались? — Чарльз Хэллуэй расставлял книги по местам. — Знай они, что вы тут с бесплатными билетами, небось запрыгали бы от радости.

— Вы полагаете? — Улыбка м-ра Дарка мелькнула и растаяла, как остаток леденца. Он тихо и значительно произнес: — Я могу убить вас.

Чарльз Хэллуэй кивнул, не прекращая своего занятия.

— Вы слышали, что я сказал? — вдруг заорал Человек-в-Картинках.

— Слышал, слышал, — спокойно ответил Чарльз Хэллуэй, взвешивая на ладони тяжелый том, словно он был его приговором. — Но вы не станете убивать меня сейчас. Вы слишком самоуверенны. Это, наверное, оттого, что вы слишком давно содержите свое заведение.

— Стало быть, прочли две-три газетки и решили, что все знаете?

— Не все, конечно, но вполне достаточно, чтобы испугаться.

— Испугаться стоило бы куда сильнее, — угрожающе заявила толпа,

скрытая под черной тканью костюма. — У меня там, снаружи, есть один специалист... все решат, что случился простой сердечный приступ.

У м-ра Хэллуэя кровь метнулась от сердца к вискам, а потом заставила вздрогнуть запястья. «Ведьма», — подумал он и, видимо, непроизвольно шевельнул губами.

— Верно, Ведьма, — кивнул м-р Дарк.

Его собеседник продолжал расставлять книги по полкам, одну из них все время прижимая к груди.

— Эй, что вы там прижимаете? — М-р Дарк прищурился. — А, Библия! Очаровательно! Как это по-детски наивно и свежо.

— Вы читали ее, мистер Дарк?

— Представьте, читал. Скажу даже больше. Каждую главу этой книги, каждый стих вы можете прочесть на мне, сэр! — М-р Дарк замолчал, закуривая, выпустил струю дыма сначала в сторону таблички «Не курить», а потом в сторону Чарльза Хэллуэя. — Вы всерьез полагаете, что эта книжка может повредить мне? Значит, ваши доспехи — это наивность? Ну, давайте посмотрим.

Прежде чем м-р Хэллуэй успел двинуться, Человек-в-Картинках подскочил к нему и взял Библию. Он держал ее крепко, обеими руками.

— Ну что? Удивлены? Могу даже почитать вам. — Дым от сигареты м-ра Дарка завихрялся над шелестящими страницами. — А вы, конечно, ожидали, что я рассыплюсь прямо перед вами? К вашему несчастью, это все — легенды. Жизнь, это очаровательное скопище самых разных понятий, продолжается, как видите. Она движет сама себя и сама себя оберегает, а смысл ей придает неистовость. А я — не последний в легионе необузданных.

М-р Дарк, не глядя, швырнул Библию в мусорную корзину.

— Мне кажется, ваше сердце забило чуточку веселее? — иронично обратился он к м-ру Хэллуэю. — Конечно, остротой слуха я не сравнюсь с моей Цыганкой, но и мои уши кое-чего стоят. Как интересно бегают у вас глаза! И все куда-то мне за плечо. На что они намекают? Ах, на то, что мальчишки где-то здесь, в переходах этой богадельни. Прекрасно. По правде, я не хочу, чтобы они удрали. Едва ли кто-нибудь поверит их болтовне, а даже если и так — разве это плохая реклама моему заведению? Люди приходят в возбуждение, у них потеют руки и ноги, они украдкой пробираются за город, облизываются, они только и ждут приглашения познакомиться с лучшими из наших аттракционов. Помнится, и вы были среди них? Сколько вам лет?

Чарльз Хэллуэй плотно сжал губы.

— Пятьдесят? — с удовольствием прикидывал м-р Дарк. — Пятьдесят один? — Голос его журчал, как весенний ручей. — Пятьдесят два? Помолодеть хотите?

— Нет!

— Ну, зачем же кричать? — М-р Дарк пересек комнату, пробежал пальцами по корешкам книг на полке, словно годы пересчитывал. — А ведь молодым быть совсем неплохо. Подумайте, снова сорок — ну, не прелесть ли? Сорок ровно на десять приятнее, чем пятьдесят, а тридцать приятнее на целых двадцать.

— Я не хочу вас слушать! — Чарльз Хэллуэй зажмурился.

М-р Дарк посмотрел на него, склонив голову набок.

— Вот странно: чтобы не слышать меня, вы закрыли глаза. Заткнуть уши было бы надежнее.

Чарльз Хэллуэй прижал ладони к ушам, но и сквозь них проникал ненавистный голос.

— Вот что я предлагаю, — вещал м-р Дарк, попыхивая сигаретой, — если вы поможете мне в течение пятнадцати секунд — дарю вам ваше сорокалетие. Десять секунд — и можете снова праздновать тридцатипятилетие. Очень неплохой возраст. Сравнить с вами сейчас — почти юноша. Ну же, решайтесь. Давайте так: я начну считать по своим часам, по секундной стрелке. Как только решитесь, просто махнете рукой, а я вам тут же отмотаю, ну, скажем, лет тридцать, идет? Как говорят специалисты по рекламе: выгодное дельце! Да вы только подумайте! Начать все сначала, когда все вокруг, а главное — внутри, новое, славное, милое. И столько еще предстоит сделать, о столько можно подумать и столько всего попробовать. Давайте! Ваш последний шанс! Начали. Один, два, три, четыре...

Чарльз Хэллуэй отпрянул к стене, согнулся, изо всех сил сжал зубы, лишь бы не слышать проклятый счет.

— Вы теряете время, старина, — не переставая считать, говорил м-р Дарк. — Пять. Вы все теряете. Шесть. Семь. Считайте, почти потеряли. Восемь. Просто расточитель какой-то! Девять. Десять. Да вы дурак, Хэллуэй! Одиннадцать. Двенадцать. Почти совсем поздно. Тринадцать, четырнадцать. Все потеряно! Пятнадцать! Навсегда! — М-р Дарк опустил руку с часами.

Чарльз Хэллуэй отвернулся, выдохнул и прижался лицом к книжным корешкам, к старой уютной коже, хранящей запах древности и засохших цветов.

М-р Дарк уже стоял у выхода.

— Оставайтесь здесь, — резко приказал он. — Послушайте свое сердце. Я пошлю кого-нибудь остановить его. Но сначала — мальчишки.

Толпа бессонных созданий, сплошь покрывавшая рослое тело, верхом на м-ре Дарке, крадучись, отправилась на охоту. М-р Дарк позвал, и вся орава вторила ему:

— Мальчики! Где вы там? Отзовитесь.

Чарльз Хэллуэй прыгнул к двери, но комната перед его глазами стала мягко поворачиваться, и он едва успел рухнуть в кресло с одной только мыслью, стучащей в висках: «Сердце! Сердце мое, послушай! Куда же ты рвешься? О Боже! Оно хочет на свободу!» Он откинулся на спинку и затих.

Человек-в-Картинках мягко, по-кошачьи, продвигался в лабиринтах, окруженный молчаливо замершими на полках, застывшими в ожидании книгами.

— Мальчики! Вы меня слышите?

Молчание.

— Мальчики!

Где-то среди миллионов книг, за двумя десятками поворотов направо, за тремя десятками поворотов налево, после запертых дверей, левее полупустых полок, может, в литературном закопченном диккенсовском Лондоне, может, в Москве Достоевского, а то и вовсе в степях, раскинувшихся позади русской столицы, то ли под сенью атласов, то ли за баррикадами «Географий» стояли, но может быть, и лежали, покрываясь холодным потом, двое ребят.

Где-то невидимый в темноте Джим думал: «Он приближается!»

Где-то невидимый в темноте Вилли думал: «Он приближается!»

— Мальчики...

М-р Дарк шел в попоне из своих приятелей, он нес с собой каллиграфических рептилий, светивших самим себе в ночи его плоти. Вместе с ним двигался Тиранозавр, сообщавший его бедрам тяжелую плавность древней боевой машины. М-р Дарк шагал, как громовой ящер, в окружении мерзких каракулей плотоядных тварей, окрашенных жертвенной кровью овец, растерзанных, разметанных непреодолимым движением Джаггернаутовой колесницы о двух ногах. Руки м-ра Дарка, словно вознесенные изображенными на них Птеродактилем и Косой, помавали под мраморными сводами, создавая видимость полета. Вокруг древних могучих символов попоранной судьбы, судьбы расстрелянной, зарубленной судьбы роилась обычная толпа прихлебателей, прижатых к каждой мышце, к каждому суставу, рассевшихся по лопаткам, плящущихся из-под густой шерсти на груди, висящих вниз головой под мышками и орущих неслышно, как летучие мыши. Ноги, тело, заостренный профиль м-ра Дарка звучали в движении подобно черной приливной волне, накатывающейся на мрачный берег.

— Мальчики...

Терпеливый, мягкий голос, лучший друг всем озябшим, испуганным, затаившимся среди книг. Ступает тихо, крадется, шагает на цыпочках, пробирается, несется, стоит неподвижно среди египетских памятников звериным богам, тронул мертвые истории Черной Африки, помедлил в Азии, прогулялся к землям помоложе...

— Мальчики! Вы же меня слышите. Вот тут написано: «Соблюдайте тишину», поэтому я только шепну вам: ведь один из вас не хотел бы отказаться от наших предложений? Так?

«Это он про Джима», — подумал Вилли.

«Это он про меня, — подумал Джим. — Нет, я не хочу! Не надо! Не сейчас!»

— Ну, выходите, — промурлыкал м-р Дарк. — Я обещаю вам награду. Кто бы из вас ни вышел первым, он получит все!

Стук-перестук!

«Мое сердце!» — подумал Джим.

«Чье это сердце? Мое или Джима?» — подумал Вилли.

— Я вас слышу. — Губы м-ра Дарка дрогнули. — Вот сейчас — ближе. Вилли? Джим? Джим — это ведь тот, который пошустрее? Ну, выходи, мальчик!

«Не надо!» — подумал Вилли.

«Я ничего не знаю!» — в панике подумал Джим.

— Так. Джим, значит... — М-р Дарк постоял и двинулся в новом направлении. — Ну-ка, Джим, покажи мне, где сидит твой приятель? — Он добавил, понизив голос: — Мы постараемся, чтобы он не болтал. Раз у него голова не варит, можешь и за него прокатиться, верно, Джим? — М-р Дарк стал похож на воркующего голубя. — Так. Ближе. Я уже слышу, как у тебя сердце трепыхается.

«Молчи!» — приказал Вилли своей груди.

«Молчи! — прикрикнул Джим, задерживая дыхание. — Подожди стучать!»

— Так... интересно... не в этом ли алькове стоят ваши постельки? — М-р Дарк предоставил силе притяжения разных полок управлять выбором направления. — Ты здесь, Джим? Или... дальше?

Он натолкнулся на библиотечную тележку с книгами, и она бесшумно на своем резиновом ходу укатилась в темноту. Издали послышался глухой удар — это тележка дошла до стены и опрокинулась, вывалив содержимое, словно кучу мертвых черных ворон.

— Я смотрю, здорово вы наловчились в прятки играть, — проговорил м-р Дарк. — Но есть кое-кто и пошустрее вас. Слыхали сегодня калиоп на лугу? Вилли, а ты не знаешь, кто у нас сегодня был на карусели? Вот то-то и оно! А где сегодня твоя мама, Вилли?

Молчание.

— Она решила покататься сегодня вечером, Вилли. Мы, конечно, посадили ее на карусель и... оставили там. Ты слышишь, Вилли? Круг за кругом, год за годом!

«Папа! — с тоской подумал Вилли. — Где ты?»

В дальней комнате Чарльз Хэллуэй сидел и прижимал рукой свое

вырывающееся сердце. Он прислушивался к долетающему из темных коридоров голосу Человека-в-Картинках и думал: «Ему ни за что их не найти. Не станут же они его слушать. Он уйдет ни с чем!»

— Вот так мы и катали твою маму, Вилли, — тихонько приговаривал м-р Дарк, — круг за кругом, и, как ты думаешь, в какую сторону? — М-р Дарк пошарил рукой в темном воздухе между стеллажами. — Да, круг за кругом... А когда мы ее выпустили, ты слушаешь меня, мальчик? — так вот, когда мы ее выпустили и дали заглянуть в Зеркальный Лабиринт... ты не слышал, как она закричала? Она была похожа на драную кошку, старая-престарая. Только мы ее и видели. Ух, как она припустила от того, что поглядело на нее из зеркал! Она примчится в город и, конечно, бросится к твоей матери, Джим. Но когда твоя мама, Джим, откроет дверь и увидит существо лет этак двухсот, косматое, умоляющее застрелить ее из милости, ее затошнит, твою маму, Джим, не так ли? И она прогонит страшную старуху прочь, отправит нищенствовать на улицах, и никто никогда не поверит этому мешку костей, что он когда-то был красоткой-розочкой и приходился тебе родней, Вилли. Можно было бы, конечно, найти ее, мы-то знаем, кто она такая, и попробовать вернуть все, как было, правда, Вилли? правда, Вилли? правда, Вилли? — Голос темного человека зашипел и смолк.

В библиотеке кто-то тихо-тихо всхлипывал.

Человек-в-Картинках с удовольствием выдохнул из промозглых легких ядовитый воздух.

— Ага! Так-sss... Где-то здесь, — пробормотал он. — Ну, и под какой же буквой они расположены? Под "М" — «мальчишки»? Или под "П" — «приключения»? А может, под "И" — «испуганные»? Или просто "Д" и "Н", что будет означать «Джим Найтшед», и "В" и "Х" — для «Вилли Хэллуэя»? Где же мне взять почитать эти две замечательные человеческие книжки?

Неожиданно он ударил правой ногой по книжной полке. Часть книг выпала. Человек-в-Картинках наступил на освободившееся место и освободил ступеньку для левой ноги. Потом его правая нога пробила дырку в третьей полке. Он поднимался по стеллажам, как по лестнице. Четвертая полка, пятая, шестая... Он ощупывал и сбрасывал книги, цеплялся за поперечины, перелистывал ночь, отыскивая эти две закладки в одной большой книге.

Его правая рука, увенчанная тарантулом, сбросила «Каталог гобеленов», и он канул в бездну. Казалось, прошел целый век, прежде чем «Гобелень» грянулись об пол и разлетелись на части, мелькнув золотом,

серебром и небесно-голубыми узорами.

Пока он отдувался и ворчал, его левая рука добралась до девятой полки и ощутила пустоту. Книг не было.

— Мальчики! Вы там, на Эвересте?

Молчание. Только тихие, судорожные всхлипы стали поближе.

— Холодно? Еще холоднее? Совсем лед?

Глаза Человека-в-Картинках оказались вровень с одиннадцатой полкой. Окаменевшей статуей здесь лежал Джим Найтшед. До его лица было не больше трех дюймов. Полкой выше, с глазами, полными слез, лежал Вильям Хэллуэй.

— Славно, — произнес м-р Дарк.

Он протянул руку и потрогал голову Вилли.

Вилли показалось, что над ним взошла жуткая луна. Это поднялась ладонь Человека-в-Картинках. С нее прямо на Вилли уставилось его собственное лицо. В такой же собственный портрет всматривался Джим. Рука с нарисованным Вилли сгребла настоящего Вилли. Рука с нарисованным Джимом сгребла настоящего Джима. Человек-в-Картинках напрягся, извернулся и спрыгнул вниз. Мальчишки, лягаясь и крича, рухнули вместе с ним. Они приземлились на ноги, но не устояли бы, не поддержи их за шиворот мощные руки.

— Джим! — произнес м-р Дарк. — Вилли! Что вы там делали? Неужели — читали?

— Папа!

— Мистер Хэллуэй!

Из темноты выступил отец Вилли. Человек-в-Картинках заботливо переложил ребят под мышку и, поглядывая с любопытством, двинулся на м-ра Хэллуэя. Отец Вилли успел ударить только один раз. В следующий миг м-р Дарк поймал его руку и стиснул ее. Чарльз Хэллуэй застонал и упал на одно колено. М-р Дарк сдавил сильнее и одновременно прижал обоих ребят. Они уже едва дышали. У Вилли перед глазами метались огненные мухи. Отец Вилли застонал громче.

— Будьте вы прокляты!

— Но, но! — тихо проговорил Хозяин Карнавала. — Я и так проклят.

— ...прокляты!

— Старина, не в словах ведь дело, — сказал м-р Дарк. — Мысль! Действие! Быстрая мысль и быстрое действие — вот залог победы. Пока! — Он еще сильнее напряг мускулы. Мальчишки слышали, как захрустели пальцы м-ра Хэллуэя. Он вскрикнул и упал, потеряв сознание.

Человек-в-Картинках легко, как в танце, огибал углы стеллажей. Мальчишки, зажатые у него под мышкой, бились головами и ногами о книги. Стиснутый до полной неподвижности Вилли смотрел на пролетающие мимо полки, стены, двери и тупо думал, что от м-ра Дарка пахнет, как от старого калиопа.

Внезапно их отпустили. Они не успели перевести дух, а их уже больно ухватили за волосы и развернули к окну.

— Мальчишки, вы читали Диккенса? — азартно зашептал м-р Дарк. — Критики ругают его за «случайные совпадения», но мы-то с вами знаем,

что он прав. Вся жизнь — сплошные случайные совпадения. Взгляните сюда!

Ребята все еще пытались вывернуться из железной хватки ископаемых ящеров и оскалившихся обезьян. Вилли взглянул в окно. Он не знал, плакать ему от радости или от нового отчаяния. По улице от церкви шли обе их мамы. Ни с какой не с карусели! Никакая не старая! Надо же, все последние пять минут до нее было не больше двухсот ярдов!

— Мам! — крикнул Вилли сквозь ладонь, зажавшую ему рот.

— Мам! — передразнил м-р Дарк. — Мам, спаси меня!

«Нет, — подумал Вилли, — беги, мама, спасайся сама!» Но обе мамы, вполне довольные воскресной службой, просто шли себе по улице.

— Мама!.. — снова выкрикнул Вилли, но через потную лапу прорвалось лишь какое-то жалкое блеяние.

Мама Вилли на той стороне улицы, нет, за тысячу миль отсюда, вдруг замедлила шаги.

«Не могла же она услышать, — подумал Вилли, — и все-таки...»

Она посмотрела в сторону библиотеки.

— Замечательно, — пробормотал м-р Дарк, — чудесно, превосходно!

«Здесь мы, — отчаянно думал Вилли. — Ну, увидь нас, мам! А потом беги, звони в полицию!»

— Почему бы ей не посмотреть сюда? — тихонько спросил м-р Дарк. — Она бы увидела прекрасную портретную группу в окне. И прибежала бы сюда. А мы бы еепустили.

Вилли чуть не подавился рванувшимся из него «нет!». Мамины глаза скользнули от входной двери по окнам первого этажа.

— Сюда, — подсказал м-р Дарк, — на второй этаж, пожалуйста. Весьма подходящий случай, обидно было бы упускать его.

Женщины стояли на тротуаре. Мама Джима что-то говорила соседке.

«Пожалуйста, — умолял Вилли, — нет, не надо!»

Женщины повернулись, и вскоре их уже поглотили улицы вечернего города. Вилли почувствовал разочарование Человека-в-Картинках.

— Н-да, — проговорил тот. — Не самое удачное из «случайных совпадений». Никто ничего не приобрел, но никто и не потерял. Жаль, конечно, ну ладно!

Волоча ребят за собой, он спустился к входной двери и открыл ее. Кто-то ждал их в сумерках. Легкая, как у ящерицы, лапка стремительно коснулась подбородка Вилли.

— Хэллуэй! — прошелестел голос Пыльной Ведьмы.

Будто хамелеон лизнул Джима в нос.

— Найтшед! — утвердительно произнес тот же голос.

Позади переступали с ноги на ногу два зловещих силуэта: Скелет и Карлик.

Это был замечательный случай. Ребята уже готовы были заорать во все горло, но Человек-в-Картинках опередил их, запечатав рты ладонями. Потом он кивнул старухе. Ведьма по-птичьи выступила вперед. Защитые игуаньи веки, длинный крючковатый нос с заросшими шерстью ноздрями и непрестанно шевелящиеся пальцы вплотную надвинулись на мальчишек. Они оторопело вытаращились на Ведьму. Не сразу дошел до них смысл слов, которые бормотал иссохший рот.

— Стрекозиная Игла, штопай рты им, пусть молчат!

Острый ноготь ее большого пальца быстро замелькал возле лиц мальчишек, покалывая им то верхние, то нижние губы. И вот они уже крепко-накрепко сшиты невидимой нитью.

— Стрекозиная Игла, штопай уши, чтоб оглохли!

Холодный песок хлынул в уши Вилли, но сквозь навалившуюся тишину он продолжал слышать противный шелестящий голос. Мох вырос в ушах Джима, накрепко запечатав их.

— Стрекозиная Игла, ты зашей-ка им глаза! Нечего по сторонам глядеть!

Вилли показалось, что старухины пальцы, раскаленные добела, повернули его глазные яблоки внутрь, в темноту, а за ними с лязгом, словно железные ставни, захлопнулись веки. Невидимое игольчатое насекомое продолжало сновать где-то снаружи, и пыльный голос продолжал зашивать их ощущения, навек отгораживая от всего мира.

— Стрекозиная Игла! Шей ровней! Тьму зашей, пылью набей, сном нагрузи, узелки крепко-накрепко свяжи, влей молчание в кровь. Быть по сему, быть по сему!

Ведьма опустила руки и отступила на шаг. Мальчишки стояли молча, в полной неподвижности. Человек-в-Картинках отпустил их и тоже сделал шаг назад. Ведьма тщательно обнюхала свою работу, в последний раз пробежалась пальцами по двум статуям и удовлетворенно затихла.

Карлик маялся у ног ребят, слегка постукивая по коленкам, окликаая по именам.

Человек-в-Картинках кивнул через плечо:

— Часы уборщика. Пойди, останови их.

Ведьма, подпрыгивая от удовольствия, отправилась разыскивать очередную жертву. М-р Дарк скомандовал:

— Раз, два, левой, правой!

Ребята ровным механическим шагом спустились по ступеням. Карлик шел рядом с Джимом, Скелет — рядом с Вилли.

Человек-в-Картинках, невозмутимый, как смерть, шагал следом.

Рука Чарльза Хэллуэя лежала где-то поблизости и таяла на огне нестерпимой боли. Он открыл глаза, и тут по комнате пронесся порыв ветра. Кто-то опять открыл входную дверь. Вскоре послышался женский голос. Что-то напевая, он приближался.

— Старик, старик, старик?..

На месте левой руки лежал распухший окровавленный кусок плоти. Пульсирующая боль не давала сосредоточиться, высасывала силы, подавляла волю. Он попытался было сесть, но боль снова опрокинула его.

— Старик?..

«Да какой я тебе старик! — с яростным ожесточением подумал он. — Пятьдесят четыре — это еще не старость!»

Она вошла и остановилась у двери. Пальцы-мотыльки порхают, плетут незримые нити, читают по Брейлю заголовки на корешках, а ноздри настороженно исследуют воздух.

Чарльз Хэллуэй, извиваясь как червяк, полз к ближайшему стеллажу. Он должен, обязан забраться туда, где книги смогут защитить его. Их можно сталкивать сверху на голову любому непрошеному визитеру.

— Старик, я слышу, как ты хрипишь...

Он сам притягивал ее, шипя от боли при каждом движении.

— Старик, я чувю твою рану...

Если бы он только мог выбросить в окно эту злосчастную руку вместе с болью, и пусть себе лежит там, созывая к себе всех ведьм на свете. Он представил себе, как Ведьма тянет из окна руки к огненному биению, лежащему на асфальте. Но нет, рука здесь, она излучает боль, направляя эту странную оборванную Цыганку.

— Да будь ты проклята! — закричал он. — На, получай! Вот он я!

Ведьма обрадованно заторопилась вперед, черные тряпки взвихрились вокруг нее, словно на огородном пугале. Но Чарльз Хэллуэй даже не смотрел на свою новую обидчицу. В нем боролись отчаяние и стремление во что бы то ни стало найти выход. Борьба эта занимала все его существо полностью, только глаза, пока не участвовавшие во внутренней схватке, могли смотреть из-под полуопущенных век.

Рядом послышался шелестящий, какой-то пыльный шепот:

— Очень просто... остановить сердце...

«Почему бы и нет?» — смутно подумал он.

— Медленнее, — пробормотала она.

«Да», — машинально откликнулся он.

— Медленно, очень медленно...

Сердце его, до этого мчавшееся галопом, теперь перестраивало ритм, и это было неудобно как-то, но вскоре на смену неприятным ощущениям пришли странная легкость и спокойствие.

— Еще медленнее, — предлагала она.

«Я ведь устал, ты слышишь, сердце?» — подумалось ему. Да, сердце слышало. Оно постепенно разжималось, как разжимается стиснутый кулак. Сначала расслабляется один палец...

— Хорошо остановить все, хорошо забыть обо всем, — шептала она.

«А что, разве плохо?» — думал он.

— Еще медленнее, совсем медленно, — приказывала она.

Сердце стало давать перебои.

А потом вдруг, вопреки собственному стремлению к покою, к избавлению от боли, он открыл глаза. Просто чтобы еще раз посмотреть вокруг напоследок... Он увидел Ведьму. Он увидел пальцы, усердно работающие в воздухе, а еще он непостижимым образом увидел свое лицо, свое тело, сердце, слабеющее на глазах, а в нем — свою душу. С каким-то отрешенным любопытством он изучал странное создание, стоявшее рядом. Считал стежки, которыми были перехвачены ее веки, подсчитывал количество глубоких морщин-трещин на шее — такая же шея у ящерицы Хэла, попадающей в Аризоне; на огромных ушах — как у небольшого слона; на иссохшем глинистом лбу. Ему, пожалуй, еще не приходилось вот так изучать другого человека. «А ведь это похоже на головоломку, — пришла отстраненная мысль. — Собери ее и узнаешь самый главный секрет жизни». Решение было тут, рядом, оно крылось в самом объекте его внимания, и все могло проясниться в один миг, вот сейчас, нет, чуть погодя, еще чуть погодя. «Погляди-ка на эти скорпионьи пальцы, — приглашал он сам себя, — послушай, как она причитает, как перебирает воздух. Воздух! Вот именно! Она обманывает воздух, надувает его! Да ведь это же сплошное надувательство! Просто щекотно — и все!»

— Медленнее, — прошептала она, словно собираясь заснуть.

«Медленнее» — надо же! А его послушное, доверчивое сердце принимает все за чистую монету. Принимает всерьез этот щекотливый обман!

Чарльз Хэллуэй слабо хихикнул. И тут же удивился: «Чего это я хихикаю, да еще в такой момент?»

Ведьма дернулась, словно тоненькие провода, которые она разбирала в

воздухе перед собой, закоротило, и ее слегка трянуло током.

Чарльз Хэллуэй не заметил этого, она ведь то и дело отшатывается и наклоняется поближе. Вот опять подалась вперед...

Действительно, Ведьма, перехватив инициативу, снова просунулась к нему и принялась еще быстрее сучить пальцами в нескольких дюймах от его груди. Это выглядело так, словно она пытается зачаровать маятник старинных часов.

— Медленнее! — кричала она.

Из глубины его существа поднялась и расцвела на губах какая-то дурацкая улыбка.

— Совсем медленно!

В поведении Ведьмы появилось что-то новое, какая-то лихорадочная поспешность, какое-то беспокойство, прорывающееся гневными нотками в голосе. Вот умора! Так даже смешнее.

Чарльз Хэллуэй не обратил внимания, когда и как в нем, без каких-либо усилий, без желания оказать сопротивление, возникла ровная, спокойная уверенность: все это не имеет никакого значения. Жизнь сейчас, в конце, казалась ему не более чем шуткой. Здесь, в дальней комнате окружной библиотеки, куда его жизнь как раз влезла целиком, без остатка, он впервые заметил, какой бессмысленно растянутой она у него была, как она базальтовой глыбой нависала над ним все эти годы, а в итоге — вот, вся здесь, куда только девалось ее недавнее величие. Смех, да и только! За несколько минут до смерти Чарльз Хэллуэй спокойно размышлял о сотнях личин своего тщеславия, раскладывал по полочкам десятки разновидностей своего самомнения. Вся комната представлялась ему заставленной и завешенной игрушками всей его жизни. Но самой смешной была среди них Пыльная Ведьма, обыкновенная жалкая старуха в лохмотьях, увлеченно щекотавшая воздух. О, она его просто щекочет!

Чарльз Хэллуэй открыл рот и издал совершенно неожиданный, в том числе и для себя самого, смешок.

Ведьма отпрянула и замерла. Но Хэллуэй не видел ее. Он был слишком занят. Он выпускал из себя смех. Вот он открыл каналы пальцев, и в кончиках их заплясали веселые иголки, вот задрожало горло, пропуская смеховую энергию к глазам — они прищурились, и дальше — дальше не удержать! Свистящая шрапнель первого взрыва хохота разлетелась во все стороны.

— Вы! — выкрикнул он, неизвестно к кому обращаясь. — Смешно-то как! Эй, вы!

— Нет, вовсе не смешно, — запротестовала Ведьма.

— Кончай щекотку! — едва выговорил он.

— Нет! — Ведьма затряслась от злости. — Спи! Стихни! Совсем замолчи!

— Ну перестань! — орал он, вовсе не слушая ее. — Щекотно же! Прекрати! Ой, не могу, ха, ха! Ой, остановись!

— Вот! Вот именно! — взвизгнула Ведьма. — Сердце, остановись!

Но, похоже, ее собственное сердце находилось сейчас в большей опасности, чем сердце Хэллуэя, корчившегося явно от смеха. Ведьма замерла и с беспокойством обнюхала свои ставшие вдруг непослушными пальцы.

— О Боже мой! — уже рычал от смеха Хэллуэй. Огромные слезы выступили у него из-под век. — Ха! Ха! Ребра отпустило! Продолжай, сердце мое, продолжай!

— Сердце, стой! — шипела Ведьма.

— Господи! — Он широко открыл глаза, перевел дух и отворил внутри себя новые источники воды и мыла, смывая весь налипший внутри мусор, моя все дочиста, окатывая, отскребывая и снова окатывая. — Кукла! — вдруг дошло до него. — Смотри! У тебя ключик сзади торчит! Кто же тебя заводил-то? — И он зашелся в очередном приступе хохота.

Этот неожиданный хохот словно огнем опалил женщину, обжег руки, заставив отдернуть их и спрятать под лохмотьями, она невольно подалась назад, сделала попытку устоять, но не смогла. Смех хлестал ее по лицу, дюйм за дюймом выталкивая из комнаты, и она начала отступать шаг за шагом, натываясь на стеллажи, пытаясь ухватиться за книги на полках, но они выскальзывали у нее под руками, срывались со своих мест и рушились на нее водопадом. Мрачные истории били ее по лбу, прекрасные теории, не выдержавшие проверки временем, сыпались ей на голову. Вся в синяках и ссадинах, подгоняемая словно ударами бича его смехом, заполнившим отделанные мрамором своды, звеневшим в переходах, она не выдержала, завертелась волчком, полоснула ногтями воздух и бросилась бежать, совершенно забыв о двух-трех ступеньках перед выходом. С них она и скатилась кубарем. Оглушенная падением, Ведьма не сразу справилась со входной дверью, а та еще напоследок хорошенько поддала ей под зад, заставив пересчитать своими костями еще и ступени парадного входа.

Ее испуганные причитания и дробный грохот падения чуть не прикончили Чарльза Хэллуэя. Новый приступ хохота грозил разорвать ему диафрагму.

— Боже мой, Господи, прекрати, пожалуйста! — уже заикаясь от смеха, взмолился он.

И все кончилось.

Некоторое время он еще конвульсивно хихикал, слабо посмеивался, а потом долго и удовлетворенно только дышал, давая отдых измученным легким, трясая счастливо-усталой головой, прислушиваясь, как уходит боль из-под ребер и, как ни странно, из покалеченной руки. Он бессильно припал к стеллажам, прижался лбом к какой-то хорошо знакомой книге, и слезы, освобожденные пережитым весельем, потекли по его щекам. Только тут до него дошло, что он один. Ведьма ушла!

«Но почему? — удивился он. — Что я такого сделал?»

С последним горловым смешком он встал. Что же случилось? О Боже, надо разобраться. Только сначала дойти до аптеки и аспирином хоть ненадолго унять все-таки сильно болевшую руку, а потом уже подумать. «За последние пять минут, — сказал он себе, — ты что-то выиграл, разве нет? Ну! Чем вызвана твоя победа? Думай! Это обязательно надо понять!»

Улыбаясь нелепой левой руке, удобно пристроившейся раненым зверьком на сгибе локтя правой, он заторопился по темным коридорам, открыл дверь и вышел в город.

III ИСХОД

Небольшое шествие в молчании двигалось по городу. Позади остался огромный вертящийся леденец возле дверей парикмахерской Крозетти, темные витрины магазинов, пустынные улицы — люди уже разошлись по домам. Кончилась вечерняя служба, кончалось последнее представление на Карнавале.

Ноги Вилли, оказавшиеся где-то далеко внизу, размеренно постукивали по тротуару. «Раз, два, — думал он. — Раз, два. Налево. Кто-то говорит: направо. Похоже на стрекозиный шорох. Раз, два».

Интересно, Джим тоже здесь? Вилли скосил глаза. Вот он, рядом. А это что за малыш пристроился сзади? Свихнувшийся Карлик, ясно... Да еще Скелет. А что это за толпа валит за ними? А-а, Человек-в-Картинках...

Вилли кивнул своим собственным мыслям и вдруг заскулил так высоко и жалобно, что все окрестные собаки должны были его услышать. Вот они, в арьергарде, целых три штуки, и толку от них никакого.

Конечно, бродячие псы не могли упустить такой случай и с полным знанием дела принимали участие в импровизированном параде. Когда они забегали вперед, хвосты у них становились похожими на флажки в руках правофланговых, направляющих большие, настоящие парады

«Полайте! — попросил собак Вилли. — Полайте, как в кино! Позовите полицию!» Но собаки только вежливо улыбались и неторопливой рысцой сопровождали идущих. «Счастливый случай, где же ты? — думал Вилли. — Хоть какой...» О! М-р Татли! Вилли и видел, и в то же время как будто не видел знакомого хозяина табачной лавки, затаскивающего своего деревянного индейца в магазин. Значит, закрывать собрался.

— Головы — направо! — тихонько скомандовал Человек-в-Картинках.

Джим повернул голову. Вилли повернул голову. М-р Татли приветливо улыбнулся.

— Улыбнитесь! — шепотом приказал м-р Дарк.

Ребята улыбнулись.

— Привет! — М-р Татли помахал рукой.

— Поздоровайтесь! — шепнул кто-то за спиной Вилли.

— Привет! — произнес Джим.

— Привет, — повторил Вилли.

Собаки вежливо полаяли.

— Бесплатные аттракционы, — буркнул сзади м-р Дарк.

— Бесплатная карусель, — сообщил Вилли м-ру Татли.

— На Карнавале, — безжизненно звякнул голос Джима.

Улыбки теперь не нужны, их можно снять.

— Приятно повеселиться! — пожелал м-р Татли.

Собаки залаяли немного бодрее.

— А как же, сейчас повеселитесь, — пробормотал м-р Дарк. — Вот толпа через полчаса схлынет, тогда и начнем. Сначала Джима прокатим. Ты как, не передумал, Джим?

Загоченный внутри себя, Вилли пытался думать: «Не надо, Джим. Не слушай его!»

— Мы тебя с собой возьмем, Джим. Если мистер Кугер не поправится, а он, надо сказать, довольно плох пока, правда, мы еще разок попробуем, — но если он не встанет, придется тебе занять его место, Джим. Ты как насчет партнерства, а? Конечно, мы тебя подрастим лет до двадцати, двадцати пяти, да? И будет: «Дарк и Найтшед, Найтшед и Дарк» — вполне подходяще для нас с тобой и для нашего представления. Турне, гастроли за океан! Как ты на это смотришь, Джим?

Зачарованный Ведьмой, Джим молча шагал рядом.

«Не слушай ты!» — скулил про себя его лучший друг, которому вроде и слышать-то ничего не полагалось.

— Ну а что с Вилли будем делать? — размышлял вслух м-р Дарк. — Может, покрутить его назад, а? Сделаем из него грудного младенца, отдадим Карлику, пусть таскает, — предложил он. — Как тебе эта мысль, Вилли? Лет пятьдесят побудешь младенцем, ни тебе сказать, ни тебе возразить. По-моему, в самый раз для Вилли. Этакая игрушка, маленький, мокренький приятель для нашего Карлика!

Вилли должен был бы закричать, но он продолжал механически шагать и молчал. Зато собаки взвыли от ужаса и бросились врассыпную, словно их побили камнями.

Из-за угла показался человек. Полицейский.

— Кто это? — быстро спросил м-р Дарк.

— Мистер Колб, — равнодушно ответил Джим.

— Мистер Колб, — эхом повторил Вилли.

— Стрекозиная Игла! — скомандовал м-р Дарк. — За дело!

Вилли вздрогнул от боли в ушах. Плотная тьма залила глаза. Жидкая резина залепила рот. Он чувствовал покалывание, зудение, что-то сновало по лицу, и он быстро немел, глух и слеп.

— Поздоровайтесь с мистером Колбом!

— Здравствуйте, — послушно произнес Джим.

— ... мистер Колб, — добавил Вилли.

— Привет, ребята. Добрый вечер, джентльмены.

— Поворот направо! — раздалась новая команда.

Они повернули и теперь уходили прочь от теплых огней, от доброго города, от безопасных улиц, уходили в луга, маленький парад без труб и барабанов.

Парад, в котором не осталось никакого порядка, растянулся чуть ли не на милю. Впереди вышагивали Джим и Вилли. Рядом с ними шли их новые друзья, то и дело поминавшие какую-то Стрекозину Иглу.

Сзади, отстав на полмили, брела старая Цыганка. Чувствовала она себя неважно. Пыль за ней взметалась маленькими вихрями и укладывалась на дорогу таинственными символами. Отстав от нее еще на милю, торопился библиотечный уборщик. Иногда, вспоминая о победной первой стычке, он по-юношески размашисто шагал вперед, но, вспомнив о возрасте, сбавлял темп и глотал таблетки, прижимая к груди левую руку.

М-р Дарк остановился на обочине, словно командующий на смотре. Он прислушивался к внутреннему голосу, производящему переключку разношерстного воинства. Что-то было не так. М-р Дарк неуверенно оглянулся по сторонам, но внутренний голос уже молчал.

На границах Карнавала им повстречалась толпа людей. Джим, сопровождаемый Скелетом и Карликом, все так же механически вошел в человеческую реку, лишь слегка удивившись ее внутренней разреженности. Со всех сторон до слуха Вилли доносились всплески смеха. Он шел словно под ливнем из голосов и обрывков музыки. В небе плавно двигалась вереница светлячков — это Чертово Колесо огромным фейерверком вздымалось над ними.

Потом они пробирались через ледяные моря Зеркального Лабиринта. В холодных гранях вспыхивали и погружались на дно тысячи очень похожих на них мальчишек, опутанных паучьими сетями чар.

"Это все мои "я", — думал Джим.

«Они не помогут мне, — думал Вилли. — Сколько бы меня здесь ни собралось, они мне не помощники».

Куча мальчишек смешалась с кучей картинок успевшего раздеться м-ра Дарка. Пришлось проталкиваться сквозь изображения изображений, пока возле выхода из Лабиринта их не окружили восковые фигуры.

— Сидеть! — скомандовал м-р Дарк. — Оставайтесь тут.

К восковым фигурам убитых, обезглавленных, удушенных мужчин и женщин прибавились две маленькие фигурки, неподвижные, как египетские кошки, смотрящие прямо перед собой.

Мимо проходили последние посетители. Они, посмеиваясь, разглядывали восковые фигуры, обсуждая их между собой. Никто из них не

обращал внимания на тонкую струйку слюны, блестящую в углу рта одного из «восковых мальчуганов», никто не замечал поблескивающих глаз второго, даже влажная бороздка у него на щеке не привлекла никого из поздних зевак.

Ведьма добрела до шатров и спотыкалась о кольшки и веревки на дальней границе Карнавала.

— Леди и джентльмены!

Их еще оставалось сотни две, задержавшихся воскресных гуляк, и все они, как единое тело, повернулись на голос.

Человек-в-Картинках, весь гадючья, саблезубая, сладострастная, стервятниковая обезьяна, оранжево-розовый, желто-зеленый, взобрался на помост.

— Последнее бесплатное воскресное представление! Подходите, подходите все!

Толпа повалила к сцене. Там, рядом с м-ром Дарком, уже стояли Скелет и Карлик.

— Невероятно опасный, самый рискованный, всемирно известный номер с пулей! — выкрикивал м-р Дарк.

Толпа одобрительно загудела.

— Ружья, с вашего позволения!

Скелет широким жестом распахнул шкаф. За дверцами тускло и грозно блеснул металл ружейных стволов.

Ведьма, поспешно семенившая к помосту, словно вросла в землю, когда м-р Дарк провозгласил:

— А вот и наша беззаветно храбрая, бросающая вызов смерти, мадемуазель Тарот, Ловящая Пули!

Ведьма затрясла головой, затопотала и заскулила, но м-р Дарк уже протянул руку, подхватил ее за шкурку и вознес на помост, не обращая внимания на слабое сопротивление. Он выдержал эффектную паузу и обратился к собравшимся.

— А теперь я попрошу подняться на сцену добровольца, который произведет роковой выстрел!

Толпа зашумела, и м-р Дарк, воспользовавшись этим, быстро спросил:

— Ты остановила часы?

— Нет, — прохныкала Ведьма.

— Как — нет?! — шепотом заорал м-р Дарк. Он испепелил Ведьму бешеным взглядом, повернулся к толпе и, легко коснувшись винтовок в стойке, повторил:

— Добровольцы, пожалуйста!

— Остановите представление! — ломая руки, тихонько вскрикнула Ведьма.

— И не подумаю, будь ты трижды проклята, дура старая! — прошипел м-р Дарк. Он незаметно ущипнул картинку у себя на запястье, изображавшую слепую черную цыганку.

Ведьма взметнула руки, прижала их к груди и застонала сквозь зубы.

— Милости прошу! — выдохнула она едва слышно.

Толпа молчала. М-р Дарк, словно с сожалением, развел руками.

— Ну что ж, раз не находится добровольцев, — он поскреб разрисованное запястье, и Ведьма затряслась как осиновый лист, — придется отменить представление.

— Есть! Есть доброволец!

Толпа ахнула и повернулась на голос.

М-р Дарк пошатнулся, как от удара, и напряженно спросил:

— Где?

— Здесь!

Из дальних рядов поднялась рука, и люди тут же расступились, освобождая проход. Теперь ничто не мешало м-ру Дарку разглядеть стоявшего поодаль мужчину. Это был Чарльз Хэллуэй, штатский, отчасти — муж, отчасти — ночной бродяга, несомненно — отец и уборщик из окружной библиотеки.

Одобрительный шум в толпе прекратился. Чарльз Хэллуэй не трогался с места. Дорога перед ним до самого помоста была свободна. Он не смотрел на лица уродцев на сцене, не видел людей, уставившихся на него, глаза его неотрывно уперлись в Зеркальный Лабиринт, в пустоту, манящую миллионами отраженных отражений, перевернутых дважды, трижды, уходящих все дальше в сверкающее Ничто.

Не осталось ли на серебряной амальгаме тени двоих ребят? Не помнят ли холодные плоскости их отражений? Что-то ощущали едва трепещущие кончики его ресниц, что-то там, за зеркальными стенами... Теплый воск среди холодного... ожидание предстоящего ужаса, ожидание пути в Никуда...

«Нет, — остановил себя Чарльз Хэллуэй, — не думай о них. Потом. Сначала разберись с этими».

— Иду! — крикнул он.

— Точно! Задай им, папаша! — посоветовал кто-то.

— Обязательно задам, — отозвался м-р Хэллуэй и пошел сквозь толпу.

Ведьма завороченно повернулась на звук знакомого голоса. За стеклами темных очков дернулись защитные веки, силясь разглядеть ночного добровольца.

М-р Дарк, вызвав переполох среди населявших его народов, наклонился вперед и оскалил зубы в приветственной гримасе. Настойчивая мысль огненным колесом бешено вертелась у него в глазах: «Что? Что? Что это значит?»

А пожилой уборщик, тоже с приклеенной улыбкой на губах, шагал вперед. Перед ним, как море перед Моисеем, расступалась толпа и смыкалась позади. Шел он уверенно, но все еще не знал, что же ему, собственно, делать, и вообще, почему он здесь?

Такова была мизансцена ко времени первой ступеньки. Ведьму затрясло. М-р Дарк ударил ее взглядом и протянул руку, собираясь поддержать под правый локоть поднимающегося на помост пятидесятичетырехлетнего мужчину. Но тот только покачал головой, отказываясь от помощи.

Взойдя на помост, Чарльз Хэллуэй обернулся и помахал собравшимся. Ему ответили взрывом аплодисментов.

— Но ваша левая рука, сэр, — демонстрируя участие, проговорил м-р

Дарк, — вы же не сможете стрелять...

— Я вполне управлюсь и одной рукой, — слегка побледнев, заявил м-р Хэллуэй.

— Ура! — завопил какой-то юный шалопай внизу.

— Правильно, Чарли, дай им! — одобрил мужской голос издали.

В толпе послышался смех, потом отдельные хлопки, с каждой секундой становившиеся все дружнее. М-р Дарк вспыхнул и поднял руки, словно преграждая дорогу звукам, весенним дождем освежавшим людей.

— Хорошо, хорошо! — прокричал он и добавил значительно тише: — Посмотрим, что из этого получится.

Человек-в-Картинках выхватил из стойки самую тяжелую винтовку и бросил через весь помост. Толпа разом выдохнула.

Чарльз Хэллуэй повернулся, подставил правую ладонь, и винтовка шлепнулась ему в руку. Он справился.

Публика зашумела, кое-где раздался свист. Ясно было, что грязную игру м-ра Дарка заметили и не одобряют. Счет рос не в его пользу.

Отец Вилли улыбнулся и поднял винтовку над головой. Толпа приветственно взревела.

Подставив грудь под накатывающуюся волну аплодисментов, Чарльз Хэллуэй еще раз попытался проникнуть взглядом сквозь Лабиринт. Он не мог видеть, но зато с уверенностью чувствовал замерших среди других иллюзий, почти превращенных в восковое подобие самих себя Вилли и Джима. Взглянул и тут же посмотрел на м-ра Дарка (пожалуй, тот проиграл еще одно очко, ибо не был готов к его взгляду), а потом — на незрячую ночную Гадалку. Бочком-бочком она все отступала подальше, но дрожащие ноги принесли ее прямо к кроваво-красному глазу большой мишени на заднике помоста.

— Мальчик! — неожиданно крикнул Чарльз Хэллуэй...

М-р Дарк вздрогнул.

— Мне в помощь нужен парнишка-доброволец, — объяснил м-р Хэллуэй. — Один кто-нибудь, — обратился он к собравшимся.

Несколько ребят в толпе задвигались.

— Мальчик! — снова в голос крикнул Чарльз Хэллуэй. — Погодите, у меня тут сын где-то был. Думаю, он не откажется. Вилли!

Ведьма замахала руками. Ей надо было понять, почему этот пятидесятичетырехлетний мужчина так нагло распоряжается на их территории, М-р Дарк аж завертелся на месте, словно подброшенный ударом еще не выпущенной пули.

— Вилли! — снова крикнул отец.

Посреди Воскового Музея сидел недвижимый Вилли.

— Вилли! Сынок! Иди сюда!

Люди в толпе завертели головами. Но никто не отзывался. М-р Дарк уже вернул самообладание и теперь поглядывал на противника сочувственно-заинтересованно. Видимо, он ждал чего-то, как, впрочем, и отец Вилли.

— Вилли! — снова воззвал Чарльз Хэллуэй. — Иди же, помоги своему старику! — В голосе отца звучал благодушный упрек. Вилли сидел не шевелясь среди восковых экспонатов музея. М-р Дарк ухмыльнулся.

— Вилли! Ты что, не слышишь меня, что ли?

Ухмылка м-ра Дарка стала еще шире.

— Вилли, шельмец! Да ответь же своему старику!

М-р Дарк словно получил удар поддых. Последний голос принадлежал какому-то мужчине из толпы. Вокруг засмеялись.

— Вилли! — пронзительно выкрикнула дородная матрона у края помоста.

— Вилли! — вторил ей басом джентльмен в котелке.

— Йо-хоо! — йодлем взвыл бородатый джентльмен неподалеку.

— Вилли! — дискантом заверещал какой-то малец.

По толпе, нарастая, гуляли волны хохота. Разноголосые крики угрожали слиться в единый мощный призыв.

— Вилл! Вилли! Вильям!!!

Тень мелькнула в льдистых зеркальных стенах. Ведьма покрылась крупными каплями холодного пота. Толпа разом смолкла. Чарльз Хэллуэй поперхнулся именем собственного сына.

У выхода из лабиринта, больше всего похожий на ожившую восковую фигуру, стоял Вилли.

— Вилли! — тихонько позвал отец.

Ведьма испустила жалобный стон. Вилли, незряче подняв лицо, деревянным шагом двинулся через толпу. Отец протянул сыну ружейный ствол, и, ухватившись за него, паренек влез на помост.

— Вот моя левая рука! — объявил Чарльз Хэллуэй.

Вилли никак не реагировал на дружные, напористые аплодисменты, которыми люди встретили его появление. М-р Дарк, казалось, и ухом не повел, но Чарльз Хэллуэй видел, как суетились его глаза, они, словно скорострельные пушки, вели беглый огонь по мальчику и старику на краю помоста, но то ли порох отсырел, то ли снаряды и вовсе оказались холостыми, толку от его пальбы не было никакого. Что-то не клеилось у него в последние минуты, он уже не был уверен в том, что хорошо помнит

сюжет представления. Не знал сценария и Чарльз Хэллуэй, не знал, но прекрасно чувствовал. Именно эту пьесу писал он долгими библиотечными ночами, запоминал сюжетные ходы, рвал в клочки написанное, забывал и снова вспоминал. Он был уверен в режиссерских способностях своего "я", он играл по слуху, по наитию, по душе и сердцу! И вот...

Он улыбнулся Ведьме, и блеск его зубов больно отозвался в незрячих глазах. Она заслонила рукой защитные веки за темными очками.

— Подходите поближе! — Чарльз Хэллуэй сделал приглашающий жест.

Толпа придвинулась. Помост стал островом, люди — морем вокруг.

— Посмотрите на мишень!

Ведьма попыталась растечься по собственным лохмотьям. Человек-в-Картинках тревожно обернулся налево, напрасно ища поддержки у Скелета, еще сильнее похудевшего за несколько последних минут; посмотрел направо — Карлик с довольным видом полного идиота пускал пузыри.

— Пулю, пожалуйста, — вполне миролюбиво попросил Чарльз Хэллуэй.

Кишащие полчища тварей на живом полотне и не подумали его услышать, соответственно не услышал и м-р Дарк.

— Пулю, с вашего позволения, — повторил Чарльз Хэллуэй. — У вашей Цыганки блоха на бородавке, попробую ее сшибить.

Вилли стоял неподвижно.

М-р Дарк явно колебался.

Снаружи волнующееся море голов расцветало улыбками — здесь, там, десяток, два, сотни белозубых бликов, — словно лунные отсветы на волнах прилива.

Человек-в-Картинках медленно достал пулю и протянул... мальчику. Вилли не заметил длинной волнистой руки. Пулю взял его отец.

— Пометьте своими инициалами, — машинально произнес м-р Дарк обязательную фразу.

— Ну, зачем же! Есть и кое-что получше! — усмехнулся Чарльз Хэллуэй. Он вложил пулю в равнодушную руку сына и достал перочинный нож. Взял пулю, пометил и вернул м-ру Дарку.

«Что? Что? Что происходит? — сонно думал Вилли. — Я знаю, что происходит. Я не знаю. Что? Что? Что?»

М-р Дарк внимательно рассмотрел нацарапанный на пуле полумесяц, не увидел в этой луне ничего особенного, зарядил ружье и снова грубо

бросил старику. И снова Чарльз Хэллуэй ловко поймал оружие.

— Готов, Вилли?

Неподвижное лицо едва заметно наклонилось.

Чарльз Хэллуэй мельком взглянул в сторону Лабиринта. «Как ты там, Джим? Держись, паренек!»

М-р Дарк повернулся. Он собирался отойти, успокоить свою пыльную подругу, но замер, остановленный резким звуком открываемого затвора. Отец Вилли достал из ствола пулю и продемонстрировал ее собравшимся. Она выглядела как настоящая, но Чарльз Хэллуэй помнил давно прочитанное им где-то описание этого трюка. Пуля делалась из твердого, раскрашенного под свинец воска. При выстреле воск мгновенно испарялся, из ствола вылетал лишь дым да горячий пар, а перед тем Человек-в-Картинках незаметно сует своей напарнице настоящую пулю. Ее не так уж трудно подменить, заряжая ружье. Ведьма подскакивает от выстрела, а потом показывает настоящую пулю, зажатую в желтых крысиных зубах. Фанфары! Аплодисменты!

Человек-в-Картинках оглянулся. Чарльз Хэллуэй держал в руках восковую пулю, явно принимая ее за настоящую, и озабоченно приговаривал:

— Давай-ка пометим ее получше, сынок...

Вилли держал пулю в бесчувственной руке, а старик перочинным ножом старательно наносил на чистую пулю все тот же загадочный лунный серп. Потом он лихо заслал ее в патронник.

— Готово? — раздраженно спросил м-р Дарк и взглянул на Ведьму. Она заколебалась, но в конце концов слабо кивнула.

— Готово! — отозвался Чарльз Хэллуэй.

Вокруг стояли безмолвно шатры, сдержанно дышала толпа людей, беспокойно шевелились уродцы. Ведьма замерла на грани истерики, где-то неподалеку неподвижной мумией восседал Джим, которого еще предстояло найти, в соседнем шатре электрические сполохи поддерживали видимость жизни в древнем старце, карусель застыла в ожидании конца представления и того момента, когда разойдется наконец надоевшая толпа и Карнавал разберется по-своему с дерзкими мальчишками и старым библиотечным уборщиком, попавшимися в ловушку, уже пойманными, просто надо подождать, пока их оставят наедине с Карнавалом.

— Вилли, — беззаботно болтал Чарльз Хэллуэй, поднимая вдруг потяжелевшее ружье, — давай свое плечо, мы его как подпорку используем. Прихвати-ка за ствол, так надежнее будет. — Мальчик послушно поднял руку. — Вот так, сынок. Отлично. Когда скажу:

«Приготовились», задержи дыхание. Слышишь меня?

Рука Вилли слабо дрогнула в ответ. Он спал. Он видел сны. Этот сон был кошмаром. Во сне он услышал крик отца.

— Леди и джентльмены!

Человек-в-Картинках вонзил ногти в собственную ладонь, в мальчишеское лицо, спрятанное в кулаке. Вилли скрутила судорога. Ружье упало. Чарльз Хэллуэй и внимания не обратил.

— Леди и джентльмены! У меня левая — не того, вот сынок ее заменит. Сейчас мы с ним исполним перед вами самый рискованный, самый опасный, уникальный трюк с пулей!

Аплодисменты. Хохот.

Пятидесятичетырехлетний библиотечный уборщик проворно поднял ружье, словно это была привычная швабра, и снова водрузил на вздрагивающее плечо сына.

— Эй, Вилли, слышишь, сынок, давай врежем им за нас!

Да, Вилли слышал. Судорога стала отпускать его. М-р Дарк еще сильнее сжал кулак. Вилли снова затрясло.

— Прямо в яблочко врежем им, верно, сынок! Не подкачай, поднатужься! — скоморошничал отец. Толпа смеялась.

А Вилли и впрямь успокоился. Ствол ружья у него на плече замер. Суставы на стиснутой руке м-ра Дарка побелели, но мальчик оставался неподвижным. Волны смеха омывали его замершую фигурку. Отец не давал смеху погаснуть.

— Покажи-ка даме свои зубы, Вилли!

Вилли оскалился в сторону мишени.

Ведьма побледнела, как мучной куль.

Чарльз Хэллуэй тоже ослабил, старательно обнажив все свои оставшиеся зубы.

Ледяной озноб прокатился по телу Ведьмы.

— Гляди-ка, парень! — послышался голос из толпы. — У нее аж поджилки трясутся. Напугал так напугал! Во изображает!

«Вижу я», — с досадой подумал Чарльз Хэллуэй. Его левая рука безвольно висела вдоль тела, палец правой застыл на спусковом крючке винтовки. Ствол неподвижно лежит на плече Вилли, дуло устремлено в мишень, прямо в лицо Пыльной Ведьме; и вот настает последний миг. В патроннике восковая пуля. Господи! Да что может сделать кусочек воска? Испариться на лету? Глупость какая! Зачем они здесь, что они могут сделать? «Прекрати немедленно, — приказал он сам себе. — Все. Тихо. Никаких сомнений!» Он буквально чувствовал слова, теснившиеся во рту.

Ведьма тоже слышала их.

Прежде чем последний теплый смешок замер в толпе, Чарльз Хэллуэй прошептал беззвучно, одними губами: «Я пометил пулю не лунным знаком. Это — моя улыбка. Моя улыбка — вот настоящая пуля в стволе!» Он не стал повторять и лишь помедлил, ожидая, пока до Ведьмы дойдет смысл его слов. И за миг до того, как слова эти прочел по губам Человек-в-Картинках, Чарльз Хэллуэй негромко и отрывисто приказал сыну: «Приготовились!»

Вилли перестал дышать. Неподалеку у затерянного среди восковых истуканов Джима слюна перестала течь из уголков губ. У мертво-живой куклы, привязанной ремнями к Электрическому Стулу, едва слышно зудел в зубах синий электрический огонек. Картинки м-ра Дарка вспотели от ужаса, когда их хозяин судорожно стиснул собственную ладонь. Поздно! Вилли даже не шелохнулся, даже не вздрогнул, ствол винтовки на его плече не двинулся. Отец хладнокровно скомандовал: «Пли!»

И грянул выстрел.

Один-единственный выстрел!

Ведьма судорожно вздохнула. Джим вздохнул среди восковых кукол. Вилли вздохнул во сне. Чарльз Хэллуэй сделал глубокий вдох. Чуть не захлебнулся воздухом м-р Дарк. Со всхлипом втянули воздух уродцы. Перевела дух толпа людей перед помостом.

Ведьма вскрикнула. Джим в музее выдохнул. Вилли на сцене взвизгнул, просыпаясь.

Человек-в-Картинках заревел, выпуская воздух из легких; он взмахнул руками, призывая события замереть, застыть. Но Ведьма падала. Ее тело сухо стукнулось о край помоста и рухнуло в пыль.

Чарльз Хэллуэй медленно, с неохотой, выдыхал теплый, обжитый в груди воздух. Дымящаяся винтовка зажата в правой руке, глаз — на линии прицела, но на том конце — только красная мишень и никакой Цыганки.

На краю помоста застыл м-р Дарк. Он впился глазами в толпу и пытался разобрать отдельные выкрики.

— Обморок!

— Да нет, поскользнулась просто.

— Застрелили!

Чарльз Хэллуэй подошел и встал рядом с Человеком-в-Картинках. Он тоже посмотрел вниз. Много можно было прочесть в его взгляде: и удивление, и отчаяние, и радостное удовлетворение.

Старуху подняли и уложили на помост. Полуоткрытый рот Ведьмы, казалось, выражал удовольствие.

Чарльз Хэллуэй знал — она мертва. Еще мгновение — это поймут все. Он внимательно наблюдал за рукой м-ра Дарка. Вниз, еще ниже, коснуться, проверить, ощутить трепет жизни. М-р Дарк взял Ведьму за руки. Кукла. Марионетка. Он пытался заставить ее двигаться, но безжизненное тело не слушалось его. Тогда он призвал на помощь Скелета и Карлика, они трясли и двигали тело, норовя придать ему видимость жизни, а толпа потихоньку пятилась от помоста все дальше.

— ...мертвая!

— Раны не видно!

— Может, это шок у нее?

«Да какой там шок! — думал Чарльз Хэллуэй. — Боже мой, неужели это убило ее? Наверное, виновата другая пуля. Может, она случайно

проглотила настоящую? Моя улыбка? О Иисусе!»

— Все о'кей! — воскликнул м-р Дарк. — Представление окончено! Все в порядке! Так и задумано! — Он не глядел на мертвую женщину, не глядел на толпу, не глядел даже на Вилли, моргавшего, как сова днем, только что выбравшегося из одного кошмара и готового провалиться в следующий. М-р Дарк кричал: — Все по домам! Представление окончено! Эй, там, гасите свет!

Карнавальные огни замигали и начали гаснуть. Толпа принялась разворачиваться, как огромная карусель, двинулась, густея под еще горевшими фонарями, словно надеясь отогреться, прежде чем шагнуть в ветреную ночь. Но огни продолжали гаснуть.

— Скорее! — торопил м-р Дарк.

— Прыгай! — шепнул отец Вилли.

Вилли соскочил с помоста и поспешил за отцом, все еще сжимавшим в руке винтовку, убившую Ведьму улыбкой.

Они были уже у входа в Лабиринт. Слышно было, как сзади, на помосте, топчется и сопит м-р Дарк.

— Карнавал закрывается. Всем — домой! Конец! Закрыто!

— Джим там, внутри?

— Джим? Внутри? — Вилли с трудом понимал происходящее. — Да! Да, внутри!

Посреди музея восковых фигур, по-прежнему неподвижный, сидел Джим.

— Джим! — Голос, звавший его, протолкался через Лабиринт.

Джим шевельнулся. Джим мигнул, вздохнул, встал и неуклюже заковылял к заднему выходу.

— Джим! Подожди там! Я приду за тобой!

— Нет, папа, нет! — Вилли вцепился в отца.

Они стояли у первой зеркальной стены. Боль снова немилосердно терзала левую руку Чарльза Хэллуэя, поднималась к локтю, выше, еще немного, и ударит в сердце.

— Не надо, папа, не входи! — Вилли держал отца за правую руку.

Помост позади был пуст. М-р Дарк покинул его. Ночь смыкалась вокруг Вилли с отцом, огни гасли один за другим, ночь густела, наливалась силой, ухмылялась, выталкивала людей прочь, срывая последних посетителей, как запоздалые листья с деревьев, гнала по дороге...

Перед глазами Чарльза Хэллуэя перекачивались зеркальные валы, это был вызов, брошенный ему ужасом. Надо было принять его, шагнуть в зеркальное море, проплыть по холодным волнам, прошагать по зеркальным

пустыням, прекратить, остановить распадение человеческого "я" в бесконечно отраженных поворотах. Чарльз Хэллуэй знал, что ждет его. Закроешь глаза — заблудишься, откроешь — познаешь отчаяние, применишь на плечи невыносимое бремя, которое вряд ли унесешь дальше двенадцатого поворота. И все же он отвел руки сына.

— Там Джим, Вилли, — только и сказал он. — Эй, Джим, подожди! Я иду! — Отец Вилли шагнул в Лабиринт.

Впереди дробился и вспыхивал серебряный свет, опускались плиты темноты, сверкали стены, отполированные, отчищенные, промытые миллионами отражений, прикосновениями душ, волнами агоний, самолюбования или страха, без конца бившимися о ровные грани и острые углы.

— Джим! — Чарльз Хэллуэй побежал. Вилли — за ним.

Гасли огни. Их отражения меняли цвет. То вспыхивала синяя искра, то сиреневая змейка струилась по зеркалам, отражения мигали, став тысячами свечей, угасающих под ледяным ветром.

Между Чарльзом Хэллуэем и Джимом встало призрачное войско — легион седовласых, седобородых мужчин с болезненно искаженными ртами.

«Они! Все они — это Я!» — думал Чарльз Хэллуэй.

«Папа! — думал Вилли у него за спиной — Ну что же ты! Не бойся. Все они — только мой папа!»

Да нет, не все. Вилли решительно не нравился вид этих угрюмых стариков. Посмотрите на их глаза! И так старые отражения дряхлели с каждым шагом, они дико размахивали руками в такт жестам отца, отгонявшего видения в зеркалах.

— Папа! Это же только ты!

Нет. Их там было больше.

И вот погасли все огни. Два человека, большой и маленький, замерли, невольно съежившись, в напряженно дышащей тишине.

Рука шебуршилась, как крот под землей. Рука Вилли потрошила карманы, хватая, определяя, выбрасывая. Он знал, что легионы стариков в темноте двинулись со стен, прыгают, теснят, давят и в конце концов уничтожат отца оружием своей сущности. За эти секунды, что летят, летят и уносятся навсегда, если не поторопиться, может произойти невесть что! Эти воины Будущего наступают, а с ними — все предстоящие тревоги, настоящие, подлинные отражения, с железной логикой доказывающие: да, вот таким станет отец Вилли завтра, таким — послезавтра, и дальше, дальше, дальше... Это стадо затопчет отца! Ищи! Быстро ищи! Ну, у кого карманов больше, чем у волшебника? Конечно, у мальчишки! У кого в карманах больше, чем в мешке у волшебника? Конечно, у мальчишки! Вот он!

Вилли выудил наконец спичечный коробок и зажег спичку.

— Сюда, папа!

«Стой!» — приказала спичка.

Батальоны в древних маскарадных костюмах справа застыли на полушаге, роты слева со скрипом выпрямились, бросая зловецкие взгляды на непрошенное пламя, мечтая только о порыве сквозняка, чтобы снова рвануться в атаку под прикрытием тьмы, добраться до этого старого, ну вот же — совсем старого, а вот — еще старше, добраться до этого ужасающе старого старика и убить его же собственной неотвратимой судьбой.

— Нет! — произнес Чарльз Хэллуэй.

«Нет», — задвигался миллион мертвых губ.

Вилли выставил горящую спичку вперед. Навстречу из зеркал какие-то высохшие полуобезьяны протянули бутоны желтого огня. Каждая грань метала дротики света. Они незримо вонзались, внедрялись в плоть, кололи сердце, душу, рассекали нервы и гнали, гнали дерзкого мальчишку вперед, к гибели.

Старик рухнул на колени, собрание его двойников, постаревших на неделю, на месяц, год, пятьдесят, девяносто лет, повторило движение. Зеркала уже не отражали, они высасывали кровь, обгладывали кости и вот-вот готовы были сдуть в ничто прах его скелета, разбросать тончайшим слоем мотыльковую пыль.

— Нет! — Чарльз Хэллуэй выбил спичку из рук сына.

— Папа!

В обрушившейся тьме со всех сторон двинулась орда старцев.

— Папа! Нам же надо видеть! — Вилли зажег вторую, последнюю спичку.

В ее неровном свете он увидел, как отец оседает на пол, закрыв руками лицо. Отражения приседали, приспособлялись, занимали удобное положение, готовясь, как только исчезнет свет, продолжить наступление. Вилли схватил отца за плечо и встряхнул.

— Папа! — закричал он. — Ты не думай, мне и в голову никогда не приходило, что ты — старый! Папа, папочка! — В голосе слышались близкие рыдания. — Я люблю тебя!

Чарльз Хэллуэй открыл глаза. Перед ним метались по стенам те, кто был похож на него. Он увидел сына и слезы, дрожащие у него на ресницах, и вдруг, заслоня отражения, поплыли образы недавнего прошлого: библиотека, Пыльная Ведьма, его победа, ее поражение, сухо треснул выстрел, загудела взволнованная толпа.

Еще мгновение он смотрел на своих зеркальных обидчиков, на Вилли, а потом... тихий звук сорвался с его губ, звук чуть погромче вырвался из горла. И вот он уже обрушил на Лабиринт, на все его проклятые времена, свой единственный громогласный ответ. Он широко раскрыл рот и издал ЗВУК. Если бы Ведьма могла ожить, она узнала бы его, узнала и умерла снова.

Джим Найтшед с разбегу остановился где-то на карнавальных задворках.

Где-то среди черных шатров сбился с ноги Человек-в-Картинках. Карлик застыл, Скелет обернулся через плечо. Все услышали... нет, не тот звук, который издал Чарльз Хэллуэй, другой, ужасный и длительный звук заставил замереть всех. Зеркала! Сначала одно, за ним — другое, третье, дальше, дальше, как костяшки стоящего домино, взрывались изнутри сетью трещин, слепли и падали звеня. Целую минуту изображения сворачивались, извивались, перелистывались, как страницы огромной книги, пока не разлетелись метеорным роем.

Человек-в-Картинках вслушивался в стеклянные перезвоны, чувствуя, как сеть трещин покрывает и его глазные яблоки, и они, того и гляди, начнут выпадать осколками. Это Чарльз Хэллуэй, словно мальчик-хорист, спел на клиросе сатанинской церкви прекрасную, высокую партию мягкого добродушного смеха и тем потряс зеркала до основания, а потом и само стекло заставил разлететься вдребезги. Тысячи зеркал вместе с древними отражениями Чарльза Хэллуэя кусками льда падали на землю и становились осенней слякотью под ногами. Все это наделал тот самый звук, не удержавшийся в легких пожилого человека. Все это смогло случиться из-за того, что Чарльз Хэллуэй наконец-то принял и Карнавал, и окрестные холмы, и Джима с Вилли, а прежде всего — самого себя и самую жизнь, а приняв, выразил свое согласие со всем на свете тем самым звуком.

Как только звук разбил зеркальную магию, призраки покинули стеклянные грани. Чарльз Хэллуэй даже вскрикнул, неожиданно ощутив себя свободным. Он отнял руки от лица. Чистый звездный свет омыл его глаза. Мертвяки-отражения ушли, опали, погребенные простыми осколками стекла под ногами.

— Огни! Огни! — выкрикивал далекий теплый голос.

Человек-в-Картинках метнулся и исчез среди шатров. Последний посетитель давно покинул Карнавал.

— Папа! Что ты делаешь? — Спичка обожгла пальцы Вилли, и он выронил ее. Но теперь и слабого звездного света хватало, чтобы увидеть, как настойчиво разгребает отец горы зеркального мусора, прокладывая дорогу к выходу.

— Джим?

Задняя дверь Лабиринта распахнута. Блики далеких фонарей слабо озаряют восковых убийц и висельников, но Джима среди них нет.

— Джим!

Они стояли у раскрытой двери и тщетно всматривались в тени между шатрами. Последний электрический фонарь на карнавальной земле потух.

— Теперь нам никогда не найти его, — проговорил Вилли.

— Найдем, — пообещал отец в темноте.

«Где?» — подумал было Вилли, но тут же насторожился и прислушался. Так и есть! Карусель запыхтела, калиоп начал пережевывать музыку. «Вот, — мелькнуло в голове Вилли, — если где и искать Джима, так возле карусели. Старина Джим! У него же еще бесплатный билет в кармане. Ну, Джим, ну, проклятый, старый... Не надо! — остановил он себя, — не проклинай его. Он уже и так проклят или вот-вот схлопочет. Ну как тут найдешь его! Ни спичек, ни фонарей. И нас ведь всего двое против всех этих... да еще на их собственной территории!»

— Как... — начал он, но отец остановил его. Чарльз Хэллуэй благоговейно произнес лишь одно слово: «Там». Вилли шагнул к посветлевшему дверному проему.

Ура! Господи, луна поднимается над холмами!

— Полиция?..

— Некогда. Тут минуты решают. Нам о троих людях надо думать.

— Да не люди они, а уроды!

— Люди, Вилли. Перво-наперво Джим, потом — Кугер с его Электрическим Стулом, ну а третий — мистер Дарк со своим паноптикумом. Спасти первого, прикончить к дьяволу двух других, тогда и остальные уроды дорогу найдут. Ты готов, Вилли?

Вилли огляделся по сторонам, поднял глаза.

— Слава Богу, луна!

Крепко взявшись за руки, отец и сын вышли за дверь. Навстречу приветственно взметнулся ветер, взвихрил волосы на головах и пошел хлопать парусиной шатров, словно над лугом взлетал огромный воздушный змей.

Тени обдавали их запахом аммиака, лунный свет — запахом чистого речного льда.

Впереди сипел, стучал и свиристел калиоп. Вилли никак не мог разобрать, правильную музыку он играет или вывернутую.

— Куда теперь? — прошептал отец.

— Вон туда! — махнул рукой Вилли.

В сотне ярдов позади шатров разорвал темноту каскад синих искр.

«Мистер Электрико! — догадался Вилли. — Они пытаются поднять его. Хотят притащить на карусель, чтобы уж либо оживить, либо окончательно угробить. А если они и вправду оживят его, вот он рассвирепеет! И Человек-в-Картинках тоже. И все на нас с папой. Ладно. Джим-то где? И какой он? На чьей стороне? Да на нашей, конечно же! — попытался он уверить себя. Но тут же подумал: — А сколько живет дружба? До каких пор будем мы составлять одно приятное, круглое, теплое целое?»

Вилли взглянул налево. Там, полускрытый полотнищами шатра, стоял и чего-то ждал Карлик.

— Посмотри, папа! — тихонько вскрикнул Вилли. — А вон там — Скелет! — Действительно, напоминая давно засохшее дерево, неподвижно торчал высокий тощий человек. — Интересно, почему уроды даже не пробуют остановить нас?

— Потому что боятся.

— Кого? Нас?!

Отец Вилли, пригнувшись, словно заправский разведчик, выглядывал из-за угла фургона.

— Им уже прилично досталось. И они прекрасно видели, что стало с Ведьмой. Другого объяснения у меня нет. Посмотри на них.

Уроды мало чем отличались от подпорок шатров. Много их виднелось в разных местах луга. Прячась в тени, все они чего-то ждали. Чего?

Вилли попытался сглотнуть пересошим горлом. Может, они не прячутся вовсе, может, просто собрались сматываться? или драться? Скоро м-р Дарк ка-ак свистнет, а они все ка-ак набросятся... а пока просто время не пришло. Опять же, м-р Дарк занят. Вот освободится и свистнет. Ну и что тогда делать? А почему — тогда? Надо попробовать так сделать, чтобы он вообще не свистнул.

Ноги Вилли умело скользили по траве. Отец крался впереди. Уроды провожали их остекленевшими под лунной глазами.

Голос калиопа изменился. Теперь он звучал даже мелодично, и звуки печальным ручейком струились между шатров.

«Так! Вперед играет! — отметил про себя Вилли. — А раньше, значит, назад играл. Интересно, куда еще расти мистеру Дарку?» И вдруг до него дошло.

— Джим! — заорал Вилли.

— Тихо! — одернул его отец.

Но имя уже было сказано. Оно само рванулось из Вилли, как только он услышал заманчивые, привлекающие звуки. Джим где-то там, поблизости, затаился и гадает, покачиваясь в такт: каково это, стать шестнадцатилетним? А восемнадцатилетним? О, а вот еще лучше — двадцатилетним? Могучий вихрь Времени прикинулся летним ветерком и наигрывает веселенький мотивчик, обещая все-все на свете. Даже Вилли чуть заметно пританцовывает под музыку, вырастающую персиковым деревцем со спелыми плодами.

«Ну уж нет!» — Вилли категорически отверг все соблазны и заставил ноги перейти на другой ритм, шагать под собственный мотив и держать, держать его, горлом, легкими, костями черепа гася гнусавые звуки калиопа.

— Посмотри, — тихо сказал отец.

Впереди между шатрами двигалось диковинное шествие. В знакомом Электрическом Стуле, как султан в паланкине, ехала усохшая ископаемая фигура. Стул равномерно покачивался на плечах пятен темноты разных форм и размеров.

Тихий голос отца вспугнул их. Шествие разом подскочило и бросилось наутек.

— Мистер Электрико! — узнал Вилли. — Это его на карусель тащат! — Маленький парад скрылся за углом шатра. — Вокруг, за ними! — увлекая за собой отца, крикнул Вилли.

Калиоп расплывался медовыми сотами звуков. Он выманивал, вытаскивал, притягивал Джима, где бы тот ни скрывался.

А для м-ра Электрико музыка, значит, пойдет задом-наперед, и карусель завертится наоборот, сдирая старую кожу, возвращая годы.

Вилли споткнулся и пропахал бы носом землю, не поддержи его отец под локоть. В тот же миг из-за шатров вознесся целый хор звуков: лай, вой, причитания, плач. Звуки испускали искалеченные глотки уродов.

— Джим! Они Джима заполучили!

— Вряд ли, — пробормотал Чарльз Хэллуэй и добавил непонятно: — Может, это мы их заполучили.

Обогнув очередной шатер, они попали в маленькую пыльную бурю. Вилли зажмурился и зажал нос ладонью. Пыли было много. От нее исходил запах древних пряностей, сгоревших кленовых листьев. В воздухе было сине от пыли.

Чарльз Хэллуэй чихнул. Какие-то смутно видимые фигуры шарахнулись прочь от предмета странных очертаний, лежащего на полдороге между шатрами и каруселью. При ближайшем рассмотрении это оказался опрокинутый Электрический Стул с торчащими во все стороны ремнями, подставками и зажимами.

— А где же мистер Электрико? — растерянно проговорил Вилли. — То есть... мистер Кугер?

— Да вот это он, наверное, и есть, — ответил отец.

— Что — это?

Но ответ действительно был здесь, вокруг Вилли. Он взвизгивался над дорогой, носился в воздухе осенним ладаном, щекотал в носу запахом древнего тимьяна.

«Вот так, — подумал Чарльз Хэллуэй, — оживить или угробить». Он представлял, как суетились они еще несколько минут назад, волоча древний пыльный мешок с костями на Электрическом Стуле без проводов, как пытались выходить сухую мумию, сохранить жизнь в кучке истлевшего праха, хлопьев ржавчины и давно прогоревших углей. В них не осталось ни единой искры, и никакому ветру не под силу раздуть в этом пепле огонек жизни. Но они пытались, и не единожды, только каждый раз в панике оставляли эту затею, потому что любой толчок грозил превратить древнего Кугера в кучу сопревших опилок. Уж лучше бы оставить его прислоненным к надежной жесткой спинке Электрического Стула, оставить чудо-экспонатом для публики, но они должны были попытаться еще раз, когда пала темнота, когда убралось наконец людское стадо, когда всех перепугала убийственная улыбка, и так нужен прежний Кугер — высокий, рыжий, неистовый. Но эта попытка оказалась роковой. С минуту назад последние легчайшие узы распались, последний засов, удерживавший жизнь за дверью тела, отскочил, и тот, кто был Основателем, сбросил последние скрепы и вознесся клубами пыли и вихрем осенних листьев. М-р Кугер, обмолоченный в последний урожай, затанцевал легчайшим прахом над лугами. Древнее зерно в силосной башне тела взметнулось мучной пылью и исчезло; было — и прошло.

— Нет, нет, нет, нет, — монотонно бормотал кто-то рядом.

Чарльз Хэллуэй тронул сына за руку. Оказывается, это Вилли бормотал монотонное «нет». Мысли его текли параллельно мыслям отца, он тоже видел все стадии: суету над останками, пыльный фонтан и удобренные травы вокруг... Теперь в лунном свете остался нелепый перевернутый Стул, а уроды, тащившие м-ра Кугера на последний костер, разбежались и попрятались в тени.

«Не от нас ли они разбежались? — подумал Вилли. — Что-то ведь заставило их бросить Стул. Или — кто-то?»

Кто-то! Вилли вытаращил глаза.

Перед ним, чуть поодаль, пустая карусель, поскрипывая, совершала свой обычный путь через Время. Неторопливо. Вперед.

А между ней и брошенным Электрическим Стулом стоял... уродец? Нет...

— Джим!

Отец ударил сына под локоть, и Вилли заткнулся.

«Или... но это же Джим?! — подумал он. — А где же тогда мистер Дарк? Наверное, где-то неподалеку. Кто еще мог запустить карусель? Кто еще мог притащить сюда всех: и Джима, и их с отцом?»

Джим отвернулся от перевернутого Стула и медленно двинулся дальше, к своему бесплатному аттракциону.

Перед ним лежала его всегдашняя цель. Бывало, он, как флюгер, поворачивался то в одну сторону, то в другую, колебался, завидев новые дали, порывался в каком-нибудь показавшемся симпатичным направлении, но вот сейчас наконец определился окончательно, вытянулся и завибрировал в силовом потоке музыкальных ветров. Он все еще пребывал в полусне. И он не смотрел по сторонам.

— Иди догони его, Вилли, — подтолкнул отец.

Вилли пошел. Джим был уже возле карусели. Поднял правую руку. Медные шесты, как спицы колеса, проплывали мимо, улетали в будущее. Они проникали в тело, подхватывали, тянули, как сироп, захватывали кости и разжеванной тянучкой тащили за собой. Отблеск надраенной меди лег на скулы Джима, стальной блеск мелькнул и остался в глазах. Джим подошел вплотную. Медные спицы постукивали его по ногтям протянутой руки, вызывая какой-то свой мотивчик.

— Джим!

Спицы мелькали мимо, сливаясь в медный рассвет в ночи. Музыка рванулась звонким фонтаном звуков.

— И-ииииии!

Джим подхватил музыкальный вопль.

— И-ииииии!

— Джим! — Вилли бежал и кричал на бегу.

Джим хлопнул ладонью по шесту, шест вырвался. Но набежал следующий, и ладонь Джима словно припаялась к нему. Сначала — запястье, потом — плечо, и, наконец, все еще не проснувшееся тело Джима оторвало от земли.

Вилли был уже рядом. Он успел схватить Джима за ногу, но не сумел удержать, и Джим поехал в плачущей ночи по огромному вечному кругу. Не потеряв инерции, Вилли бежал за ним.

— Джим, слезай! Джим, не бросай меня тут!

Центробежная сила отбросила тело Джима, он летел, держась за шест, под каким-то невыносимым, углом к плоскости круга, откинув в сторону другую руку, маленькую, белую, отдельную ладонь, не принадлежащую карусели, помнящую старую дружбу.

— Джим, прыгай!

Вилли, как вратарь за мячом, прыгнул за этой рукой... и промахнулся. Он споткнулся, удержался на ногах, но потерял скорость и сразу безнадежно отстал. Джим уехал в свой первый круг один. Вилли остановился, ожидая следующего появления... кого? Кто вернется к нему?

— Джим! Джим!

Джим проснулся! Через полкруга лицо его ожило, теперь им попеременно владели то декабрь, то июль. Он судорожно вцепился в шест и ехал, отчаянно поскуливая. Он хотел ехать дальше. Он ни за что не хотел ехать дальше. Он соглашался. Он отказывался. Он страстно желал и дальше купаться в ветровой реке, в блеске металла, в плавной тряске коней, колотящих копытами воздух. Глаза горят, кончик языка прикушен.

— Джим, прыгай! Папа, останови ее!

Чарльз Хэллуэй взглянул на пульт управления каруселью. До него было футов пятьдесят.

— Джим, слезай, ты мне нужен. Джим, вернись!

Далеко, на другой стороне карусели, Джим сражался со своими руками, с шестами, конями, завывающим ветром, наступающей ночью и звездным круговоротом. Он выпускал шест и тут же хватался за него. А правая рука откинута наружу, просит у Вилли хоть унцию силы.

— Джим!

Джим едет по кругу. Там внизу, на темном полустанке, откуда унесся навсегда его поезд, он видит Вилли, Вильяма Хэллуэя, давнего друга, юного друга, и чем дальше уносит его бег карусели, тем моложе будет казаться друг Вилли, тем труднее будет припомнить его черты... Но пока

еще — вон он, друг, младший друг, бежит за поездом, догоняет, просит сойти, требует... чего он хочет?

— Джим! Ты помнишь меня?

Вилли отчаянно бросился вперед и достал-таки пальцы Джима, схватил ладонь.

Зябко-белое лицо Джима смотрит вниз. Вилли поймал темп и бежит вровень с внешним кругом карусели. Где же отец? Почему он не выключает ее? Рука у Джима теплая, знакомая, хорошая рука.

— Джим, ну пожалуйста!

Все дальше по кругу. Джим несет его. Вилли волочит следом.

— Пожалуйста!

Вилли попытался остановиться. Тело Джима дернулось. Рука, схваченная Вилли, рука, пойманная Джимом, прошла сквозь июльский жар. Рука Джима, уходящего в старшие времена, жила отдельно, она знала что-то свое, о чем сам Джим мог едва догадываться. Пятнадцатилетняя рука четырнадцатилетнего подростка. А лицо? Отразится ли на нем один оборот? Чье оно? Пятнадцатилетнего, шестнадцатилетнего юноши?

Вилли тянул к себе. Джим тянул к себе. Вилли упал на край дощатого круга. Оба уезжали в ночь! Теперь весь Вилли, полностью, ехал с другом Джимом.

— Джим! Папа!

«Ну и что? Раз уж не сумел стащить Джима, почему бы не поехать дальше вместе? Остаться вдвоем и пуститься в путь рука об руку». Что-то начало происходить в теле Вилли. В нем поднимались неведомые соки, застилала глаза, отдавались в ушах, покалывали электрическими иголками спину...

Джим закричал. И Вилли закричал тоже.

Их странствие длилось уже полгода, уже полкруга они путешествовали вдвоем, прежде чем Вилли решился, ухватив Джима покрепче, прыгнуть, отмахнуться от многообещающих взрослых лет, сигануть вниз, рвануть за собой Джима. Но Джим не мог отпустить шест, не мог отказаться от своей бесплатной поездки.

— Вилли! — впервые подал голос Джим, раздираемый между другом и кругом, одна рука — здесь, другая — там. Он не понимал, одежду с него сдирают или тело. Глаза у Джима стали алебастровыми, как у статуи. А карусель неслась! Джим дико вскрикнул, сорвался, нелепо перевернулся в воздухе и рухнул на землю.

Чарльз Хэллуэй дернул рубильник. Пустая карусель останавливалась. Кони притормаживали бег, так и не добравшись до какой-то далекой

летней ночи.

Чарльз Хэллуэй опустился на колени вместе с Вилли возле неподвижного тела Джима, потрогал пульс, приложил ухо к груди. Невидящими глазами Джим уставился на звезды.

— О Боже! — закричал Вилли. — Он что, мертвый?

— Мертвый?.. — Отец Вилли коснулся лица, груди Джима. — Нет, я не думаю...

Где-то неподалеку тоненький голос позвал на помощь. Они подняли головы. К ним опрометью бежал мальчишка. Он то и дело оглядывался через плечо, спотыкался о растяжки шатров и задевал плечами билетные будки.

— Помогите! — истошно верещал он. — Помогите, он меня поймают! Я не хочу! Мама! — Малец подбежал и вцепился в Чарльза Хэллуэя. — Помогите, я потерялся. Возьмите меня домой, а то этот дядька в картинках поймают меня!

— Мистер Дарк! — выдохнул Вилли.

— Ага, он, он! — тараторил мальчишка. — Он за мной бежал.

— Вилли, — отец встал. — Позаботься о Джиме. Попробуй искусственное дыхание. Ну, пойдем, малыш.

Мальчонка тут же рванулся прочь. Чарльз Хэллуэй шел за ним и внимательно разглядывал тщедушное тельце, неправильной формы голову и откляченный зад. Они отошли от карусели футов на двадцать, и Чарльз Хэллуэй спросил:

— Послушай, дружок, как тебя зовут?

— Да некогда же! — истерично выкрикнул мальчишка. — Джед меня зовут. Идем быстрее.

Чарльз Хэллуэй остановился.

— Послушай-ка, Джед, — сказал он. Теперь мальчишка тоже остановился и нетерпеливо повернулся к нему. — А скажи-ка, сколько тебе лет?

— Девять мне, девять! Пойдем, мы же не успеем!

— Девять лет! — мечтательно повторил Чарльз Хэллуэй. — Отличная пора, Джед. Я никогда не был таким молодым.

— Чтоб мне провалиться... — начал мальчишка.

— Вполне возможно, — подхватил Чарльз Хэллуэй и протянул руку. Парнишка отшатнулся. — Похоже, ты боишься только одного человека, Джед. Меня.

— Чегой-то мне вас боятся? Кончайте вы. Почему?..

— Потому, что иногда зло оказывается безоружно перед добром. Потому, что иногда даже наигранные трюки не удаются. Не так-то просто

столкнуть человека в яму. И «разделяй и властвуй» сегодня не пройдет, Джед. Куда ты думал отвести меня? В какую-нибудь львиную клетку? Придумал еще какой-нибудь аттракцион вроде зеркал или Ведьмы? А знаешь что, Джед? Давай-ка попросту засучим твой правый рукав, а?

Мальчишка сверкнул глазами и отскочил, но Чарльз Хэллуэй прыгнул за ним и схватил за шиворот. Вместо того чтобы возиться с рукавом, он просто сдернул с паренька рубашку через голову.

— Ну вот, Джед, так я и думал, — тихо произнес он.

— Ты... ты...

— Да, да, Джед, я. Но главное — это ты, Джед.

Все тело мальчишки покрывала татуировка. Змеи, скорпионы, прожорливые акулы теснились на груди, обвивали талию, корчились на спине маленького, холодного, дрожащего тела.

— Здорово нарисовано, Джед, — одобрил Чарльз Хэллуэй.

— Ты! — Мальчишка размахнулся и ударил.

Чарльз Хэллуэй даже не стал уворачиваться. Он принял удар, а потом сгреб мальчишку и крепко зажал под мышкой. Малец забился, задергался и отчаянно заверещал: «Нет!»

— Теперь только «да», Джед, — приговаривал Чарльз Хэллуэй, действуя одной правой рукой. Левая его не слушалась. — Зря дергаешься, я тебя не выпущу. Идея была хорошая: сначала разделаться со мной, потом добраться и до Вилли... А когда явится полиция, ты вроде бы и ни при чем, какой спрос с мальчика? Карнавал? А что — Карнавал? Твой он, что ли?

— Ничего ты мне не сделаешь! — завизжал мальчишка.

— Может быть, и нет, но я попробую, — ласково пообещал Чарльз Хэллуэй, крепче прихватывая своего пленника.

— Караул! Убивают! — заорал и заплакал парень.

— Да что ты, Джед, или мистер Дарк, или как тебя там еще, — укоризненно произнес Чарльз Хэллуэй. — Я и не думаю тебя убивать. По-моему, это ты собираешься себя прикончить. Ты же не можешь находиться долго рядом с такими людьми, как я. Да еще так близко!

— Отпусти, злодей! — застонал мальчишка, извиваясь в руках мужчины.

— Злодей? — Отец Вилли рассмеялся. Судя по рывкам Джеда, звуки простого смеха доставляли ему не больше удовольствия, чем рой рассерженных пчел. — Злодей, говоришь? — Руки мужчины еще крепче прихватили маленькое тело. — И это ты говоришь, Джед? Уж чья бы корова мычала! Со стороны оно, может, так и выглядит. Злу добро всегда кажется злом. Но я буду делать только добро. Я буду держать тебя долго,

держат и смотреть, что сделает с тобой добро. Я буду делать тебе добро, Джед, мистер Дарк, мистер Хозяин Карнавала, паршивый мальчишка, буду делать до тех пор, пока ты не скажешь мне, что стряслось с Джимом. Лучше тебе разбудить его, лучше вернуть его к жизни. Ну!

— Я не могу, не могу... — ломкий голос уходит в тело, как в колодезь, глубже, глуше, — не могу...

— Не хочешь?

— ... не могу.

— О'кей, приятель. Тогда вот так и вот так...

Со стороны их можно было принять за отца с сыном, встретившихся после долгой разлуки. Мужчина поднял раненую руку и потрогал синяк на скуле, оставшийся после удара мальчишки, потрогал и улыбнулся. Толпа картинок на теле мальчика бросилась врассыпную. Глаза маленькой бестии с ужасом впились в раздвинутые улыбкой губы мужчины. Это была та самая улыбка, которая недавно поразила насмерть Пыльную Ведьму.

Мужчина крепко прижимал к себе мальчишку и думал: «У Зла есть только одна сила, та, которой наделяем его мы. От меня ты ничего не получишь. Наоборот, я заберу у тебя все. И тогда тебе останется только погибнуть».

В глазах мальчика метались огни, словно отражения близко горящей спички. Но из глубины поднимался страх, и пламя в глазах тускнело, выцветало, гасло и, наконец, погасло совсем. И тогда вся толпа, весь конклав чудищ рухнули и придавили маленькое тело к земле.

Наверное, их падение должно было сопровождаться грохотом, как от горного обвала, но на самом деле в воздухе разнесся всего лишь шелест, как будто японский бумажный фонарик уронили в пыль.

Чарльз Хэллуэй долго не мог отдышаться. Трепетные тени заполнили полотняные аллеи. Среди теней угадывались уродливые фигуры. Их так долго вскармливали их собственными грехами и страхами, что теперь и они не сразу смогли прийти в себя; держась за шесты и веревки, многие постанывали и поскуливали от неуверенности. Скелет решил выбраться из надежной тени поближе к свету. Карлик, еще не догадываясь, а только подозревая о своем прежнем обличье, боком, как краб, подобрался к карусели и теперь таращился на Вилли, склонившегося над Джимом, и его отца, почти в той же позе застывшего в изнеможении над другим детским телом. Тем временем карусель дотянула последний оборот и встала, как паром, уткнувшийся в заросший травой берег.

Карнавал превратился в огромный темный камин. В разных уголках тлели угли настороженных взглядов его обитателей. Все они тянулись к одному месту.

Там лежал под луной разрисованный мальчик по имени Дарк.

Там лежали поверженные драконы, разрушенные башни, сраженные чудовища мрачных, древних эр: птеродактили уткнулись в землю, как сбитые самолеты, страшные раки выброшены на берег отливом жизни. Изображения двигались, меняли очертания, дрожали по мере того, как холодела маленькая плоть. Циклопий глаз на пупке подмигивал сам себе, шипастый трицератопс ослеп и впал в буйство, картинки, все вместе и каждая в отдельности, прижившиеся на теле большого м-ра Дарка, теперь ссохлись и стали напоминать микроскопическую вышивку, этакий расшитый платочек, наброшенный на костлявые плечи.

Из темноты выступали новые уроды. Лица их напоминали цветом несвежую постель — арену их поражений в битве за собственные души. Тени медленно перемещались по кругу, образуя хоровод вокруг м-ра Хэллуэя и неподвижного тела на земле.

Вилли размеренно поднимал и опускал руки Джима и совершенно не обращал внимания на собравшихся вокруг зрителей. Они, впрочем, не докучали ему. Казалось, многие из них стояли, полностью поглощенные своим собственным дыхательным процессом. Искаженные рты со всхлипами втягивали ночь, откусывали от нее большие куски и заглатывали, словно долгие годы прожили на голодном пайке.

Чарльз Хэллуэй следил за метаморфозами картинной галереи,

сосредоточенной на небольшом пространстве лежащего у его ног тела. Оно остывало на глазах. Смерть вышибала подпорки из-под крошечных кошмарных композиций, каллиграфические надписи искажались, скрученные жгутами пресмыкающиеся разворачивались поникшими знаменами проигранной войны, и вот они уже бледнеют, растворяются, исчезают, одно за другим покидают маленькое тело.

Уроды вокруг беспокойно зашевелились. Казалось, лунный свет впервые дал им возможность оглядеться. Одни потирали запястья, не понимая, куда делись наручники, другие ощупывали шеи, пытаясь обнаружить привычное ярмо, так долго пригибавшее их к земле. Все недоуменно моргали, не смея поверить увиденному: возле застывшей карусели лежал клубок бед, средоточие их несчастий. Они пока не осмеливались подойти, наклониться, потрогать этот холодный лоб и только взирали в оцепенении, как бледнеют их гротескные портреты, как тает экстракт их жадности, злобы, язвущей вины, слепых убеждений, как распадаются ловушки картинок по мере того, как тает этот невеликий сугробик грязноватого снега. Вот поблек Скелет, за ним потекло и испарилось изображение уродливого Карлика, вот и Пьющий Лаву освободился от осенней плоти, а за ним меняется цвет Черного Палача из Лондонских Доков, взлетел и растворился Человек-Монгольфьер, похудел и стал невидимкой Толстяк, вспорхнула и исчезла в воздухе целая группа, а Смерть все протирала и протирала дочиста грифельную доску тела.

И вот уже перед Чарльзом Хэллуэем лежал просто маленький мертвый человек: чистая, без единого пятнышка, кожа, пустые глаза, устремленные на звезды.

— Ах-xxx! — хором вздохнули странные люди, столпившиеся в тени вокруг.

А потом... Может, старый калиоп вякнул в последний раз, может, гром, ночующий в облаках, повернулся во сне на другой бок — все вокруг пришло в движение. Уродов охватила паника. Свобода бросила их в разные стороны, как камни из пращи. Не стало своего шатра, не стало грозного Хозяина, не стало самого темного закона, сбивавшего их в кучу. Они разбегались.

Должно быть, на бегу они цеплялись за веревки и выдергивали колья растяжек, и теперь само небо, колыхнувшись, начало беспорядочно свертывать и комкать вздыхающие шатры. Веревки взвивались с шипением, гневно хлестали по траве. Как темный испанский веер, сложился шатер-зверинец. Вокруг качались и падали шатры поменьше. Обнажился и зашатался бронтозаврий костяк главного балагана уродов. Мгновение он

помедлил в нерешительности, плавно взмахнул кожистыми, как у птеродактиля, крыльями, и Ниагарой хлынул вниз. Три сотни пеньковых змей взвились в воздух. Черные шести с треском подломились. Они стали выпадать, как гнилые зубы из огромной челюсти; пыльные полотнища хлопотливо забились, пытаясь взлететь и опадая, умирая от самой обычной силы тяжести, задыхаясь под собственным весом.

Огромный вздох исторг наружу жаркие испарения чужих земель, взметнул в воздух тучи конфетти из тех времен, когда еще не было венецианских каналов, над лугом огромными питонами зазмеились густые струи леденцовых запахов. Балаган падал, тоскуя и жалуясь; натиск падения одолел наконец три центральные опоры, и они сломались, как будто три пушки выпалили одна за другой.

Шквал, пронесшийся над лугом, заставил вскипеть безумный калиоп. Под его пронзительное сипение всплеснули руками изображения уродов на вымпелах и знаменах, потом древки качнулись и уронили полотнища на землю.

Возле карусели остался стоять лишь Скелет. Вот он сложился пополам, нагнулся и поднял фарфоровое тело, бывшее некогда м-ром Дарком. Выпрямился, постоял и зашагал прочь, в поля. Вилли смотрел, как тощий человек со своим грузом поднялся на взгорок и скрылся вослед сгинувшему карнавальному племени.

Вилли нахмурился. Кугер, Дарк, Скелет, Карлик — куда же вы все? Не убегайте, вернитесь! Мисс Фолей, где вы? М-р Крозетти, все кончилось, можно передохнуть. Здесь уже не страшно, вернитесь!

Нет. Они бегут, и видно, будут бежать вечно, пытаясь обогнать самих себя. И ветер ворошит траву, сдувая все следы.

Вилли снова повернулся к Джиму, снова давил ему на грудь, давил и отпускал, давил и отпускал, потом, дрожа, коснулся щеки Друга.

— Джим?

Но Джим оставался холоден, как вскопанная земля.

Только отголосок тепла хранило тело, только легкий оттенок цвета оживлял кожу щек. Вилли взял Джима за руку — пульса не было, приложил ухо к груди — тихо, совсем тихо.

— Он умер!

Чарльз Хэллуэй подошел, опустился на колени и тоже потрогал неподвижную грудь Джима.

— Кажется, нет, — неуверенно произнес он. — Не совсем...

— Совсем! — Слезы хлынули из глаз Вилли.

Отец не дал начаться истерике и как следует встряхнул сына.

— Прекрати! — крикнул он. — Хочешь его спасти?

— Поздно, папа. Ой, папа!

— Заткнись и слушай!

Долго сдерживаемые рыдания прорвались наружу. Отец коротко размахнулся и ударил сына по щеке, раз и еще раз. После третьего раза слезы удалось на время остановить.

— Пойми, Вилли, — отец свирепо ткнул в него пальцем, — всем этим проклятым даркам твои слезы — бальзам на душу. Господи Иисусе, чем больше ты реवेशь, тем больше соли слизнут они с твоего подбородка. Ну, рыдай, а они будут сосать твои охи и ахи, как коты валерьянку. Вставай! Встань, кому говорю! Прыгай! Скачи, вопи, ори, пой, Вилли, а главное — смейся! Ты должен хохотать, должен — и все!

— Я не могу!

— Кому нужно твое «не могу»? Ты должен. Больше у нас нет ничего. Я знаю, так уже было в библиотеке. Ведьма удрала. Боже мой, ты бы видел, как она улепетывала! Я убил ее улыбкой, понимаешь, Вилли, одной-единственной улыбкой. Людям осени не выстоять против нее. В улыбке — солнце, оно ненавистно им. Не воспринимай их всерьез, Вилли!

— Но...

— Никаких «но», черт возьми! Ты видел зеркала. Вспомни, они показали меня дряхлой развалиной, показали, как я обращаюсь в труху. Это же простой шантаж. То же самое они сделали с мисс Фолей, и у них получилось. Она ушла с ними в Никуда, ушла с этими дураками, восхотевшими всего! Всего! Бедные проклятые дураки! Это же надо придумать — порезаться об Ничто. Ну, чисто дурной пес, бросивший кость ради отражения кости в пруду.

Вилли, ты же видел: бам! бам! Ни одного зеркала не осталось. Они рассыпались, как льдины на солнце. У меня ничего не было: ни ножа, ни ружья, даже рогатки не нашлось, только язык, только зубы, только легкие, и я разнес эти паршивые зеркала одним презрением! Бросил на землю десять миллионов испуганных дураков, дал возможность настоящему человеку встать на ноги. Теперь поднимайся ты, Вилли!

— Но Джим... — начал Вилли.

— Он и здесь и там. С Джимом всегда так, ты же знаешь. Он не мог пропустить ни одного искушения и вот теперь зашел слишком далеко, может, совсем ушел. Но ты же помнишь, он боролся, он же руку тянул, хотел спрыгнуть. Ну так мы закончим за него. Вперед! Вилли шевельнулся. Дернул плечом.

— Беги!

Вилли шмыгнул носом. Отец шлепнул его по щеке, и слезы разлетелись мелкими звездочками.

— Прыгай! Скачи! Ори!

Отец подтолкнул Вилли, сделал пируэт, лихорадочно пошарил в карманах и достал что-то блестящее. Губная гармошка! Дунул.

Вилли остановился, опустил руки и уставился на Джима. И тут же схлопотал от отца по уху.

— Хватит пялиться! Двигай!

Вилли сделал шагок. Отец выдул из гармошки смешной аккорд, дернул Вилли за локоть, подбросил его руки.

— Пой!

— Что петь?

— Боже мой, мальчик, пой хоть что-нибудь!

Гармошка фальшиво изобразила «Вниз по реке».

— Папа! — Вилли едва двигался и мотал головой от свинцовой усталости во всем теле. — Папа! Глупо же!

— Точно! Куда уж глупей! Нам только этого и надо, дурачина-простофиля! И гармошка дурацкая. И мотивчик тоже, я тебе скажу. — Отец выкрикивал и подскакивал, как танцующий журавль.

Нет, этого пока мало. Но, кажется, он уже переломил настрой.

— Давай, Вилли! Чем громче, тем смешнее. Ишь чего захотели — слезы лакать! Не вздумай дать им ухватиться за твой плач, они из него себе улыбок нашьют. Будь я проклят, если смерти удастся пощеголять в моей печали! Ну же, Вилли, оставь их голодными. Отпусти на волю свои руки-ноги. Дуй!

Он схватил Вилли за хохол на макушке и дернул.

— Ничего... смешного...

— Наоборот. Все смешно. Ты только на себя погляди! А я? Чарльз Хэллуэй корчил жуткие рожи, таращил глаза, тянул себя за уши, скакал, как влюбленный шимпанзе, из вальса срывался в чечетку, выл на луну и тормозил, тормозил Вилли.

— А смешнее смерти вообще ничего нет, разрази ее гром! Видали мы ее в белых тапочках. А ну, давай «Вниз по реке». Как там? «Трам-пам, далеко!» Ну, Вилли, и голосок у тебя! Прямо отощавшее девчоночье сопрано. Жаворонок накрылся медным тазом и чирикает. Давай скачи!

Вилли хихикнул, прошелся петушком, присел пару раз. К щекам прилила кровь. В горле что-то дергалось, как будто лимонов наелся. Он уже ощущал, как грудь распирает предчувствие смеха.

Отец извлек из гармошки какое-то подобие мотива.

— «Там, где все старики...» — затянул Вилли.

— «Остаются навсегда...» — подхватил отец.

Шарк, стук, прыг, скок.

Ну и где Джим? Да не до него сейчас. Забыли. Отец пощекотал Вилли под ребрами.

— «Там девицы молодые...»

— «Будут петь ду-да-да!» — грянул Вилли. — «Ду-да-да», — поймал он мотив. В горле щекотало. В груди надувался шар.

— «А проселочек у речки...»

— «Миль пяти в длину всего!»

Мужчина с мальчиком изобразили менуэт.

Это случилось на следующем танцевальном коленце. Шар внутри у Вилли стремительно разрастался. Вот он уже выпирает из горла, вот раздвинул губы в улыбке.

— Ты чего это? — Отец лязгнул зубами.

Вилли фыркнул.

— Кажись, не в той тональности спел, — сконфуженно произнес отец.

Шар в груди Вилли взорвался. Он захохотал.

— Папа! — он подпрыгнул. Схватил отца за руку и забегал по кругу, крякая и кудахча. Ладони били по коленям, пыль летела столбом.

— «О Сюзанна!»

— «Ты не плачь обо мне!»

— «Я пришел из Алабамы...»

— «И банджо мое...»

— «При мне!» — хором выкрикнули они.

Гармошка хрюкнула и выдала истошный фальшивый визг. Чарльз Хэллуэй, не обращая на это внимания, требовал от нее какую-то плясовую собственного изобретения, изгибался, подпрыгивал и никак не попадал ладонью по своей пятке.

Они кружились, сталкивались, бодались и дышали все запаленнее: ха! ха!

— О Боже мой, ха! Вилли, сил нет! Ха-ха!

Они хохотали как безумные, и вдруг посреди хохота кто-то чихнул. Отец и сын повернулись. Вгляделись.

Кто это там лежит в лунном свете? Джим, что ли? Найтшед? Это он чихает? И щеки порозовели?

Да ладно! Отец сгреб и закружил Вилли, попискивая гармошкой. Они прошлись в дикой самбе раз, другой, перепрыгнули через Джима, попавшегося на дороге.

— «Ктой-то там на кухне с Диной?» — горланили они.

— «Я-то знаю, что за гусь!»

Джим провел языком по губам. Никто этого даже не заметил. А если и заметил, то не подал виду. Джим открыл глаза. Первое, что он увидел, были два идиота, скакавшие в пыли. Джим помотал головой: не может быть. Он шел через годы, вернулся Бог весть откуда, а ему даже «Эй!» никто не сказал. Дергаются как припадочные. Обидные слезы защипали глаза, но еще прежде слез из горла проскользнул смешок, за ним — другой. Джим расхохотался. Нет, ну они точно ополоумели, этот Вилли со своим стариком. Скачут как гориллы, пыль столбом, и морды у обоих при этом загадочные. Они вились вокруг Джима, хлопали себя по коленкам и с оттопыренными ушами трясли над ним головами. И они смеялись. Все время смеялись. Волны их веселья омывали Джима с головы до ног, и казалось, смех не иссякнет, даже если рухнут небеса или разверзнется земля.

Глядя на друга, Вилли скакал как сумасшедший и с восторгом думал: «Он не помнит! Не помнит, что был мертвый, а мы не скажем ему, никогда-никогда не скажем! Ду-да-да! Ду-да-да!»

Ни Вилли, ни отец не крикнули: «Привет, Джим! Давай с нами!», нет, они просто протянули руки, словно он случайно, ну, например, споткнувшись, выпал из их круга, и дернули его обратно. И Джим взлетел. А когда опустился на землю среди них, то уже плясал с ними вместе. Теперь, крепко сжимая горячую руку Джима, Вилли точно знал: они дурачились не зря. Это их вопли, прыжки и нелепые рожи вливали в Джима живую кровь. Они приняли его, как повитуха принимает

новорожденного, встряхнули, похлопали по спинке, и Джим задышал.

Отец пригнулся, Вилли с ходу перемахнул через него и тут же пригнулся сам. Чехарда сразу пошла замечательно, в хорошем темпе, и вот уже Вилли и отец стоят пригнувшись друг за другом и ждут прыжка Джима. Джим прыгнул раз, другой... но одолел только половину спины Чарльза Хэллуэя, и они всей кучей, с совиным уханьем и ослиным гоготом, покатались в траву. Все трое чувствовали себя словно в Первый День Творения, когда Радость еще не покинула Сад Господень.

Охая, они уселись на траве, похлопывая друг друга по плечам, разобрались с ногами — где чьи? — и обменялись счастливыми взглядами, немножко пьяные от пережитого веселья. А потом, насмотревшись на соседа, на улыбающихся, посмотрели на луг.

Поверх слоновых могил рухнувших шатров лежали перекрещенные шести. Ветер шевелил складки, как лепестки огромной черной розы.

Мир вокруг спал, и только они, троица уличных котов, довольно жмурились на луну.

— Что это было? — сиплым от недавнего смеха голосом выговорил наконец Джим.

— Э-э, чего только не было! — воскликнул Чарльз Хэллуэй.

Все трое снова рассмеялись, но вдруг Вилли схватил Джима за руку и заплакал.

— Эй, — тихонько сказал Джим и снова повторил нежно: — Эй, ну...

— Джим, ох, Джим, — уже не сдерживался Вилли, — Джим, мы с тобой всю жизнь друзьями будем...

— Это уж точно, — тихо и серьезно подтвердил Джим.

— Ладно, все в порядке, — сказал Чарльз Хэллуэй. — Теперь можно и поплакать. Из лесу выбрались, это главное. Дома еще насмеемся.

Вилли отпустил Джима и теперь стоял, с гордостью глядя на отца.

— Ой, папа, ты же такое сделал!..

— Не я один. Мы вместе сделали.

— Без тебя бы ничего не вышло. Значит, я просто не знал тебя, но зато теперь-то уж точно знаю.

— Ну да?

— Ей-богу!

Каждому из них казалось, что голову другого окружает влажное, мерцающее сияние.

— Годится! — согласился отец и протянул руку.

Вилли схватил ее и потряс. Получилось смешно, и недавние слезы как-то сами собой высохли. Теперь они смотрели на следы, уходящие по

росе в холмы.

— Папа, они вернутся? Как ты думаешь?

— И да, и нет. — Отец убрал в карман губную гармошку. — Они не вернутся. Будут другие, похожие. Не обязательно Карнавал, одному Богу известно, под какой личиной они явятся в следующий раз. Может, уже на восходе, может, ближе к полудню или в крайнем случае на закате, но они придут.

— Нет! — невольно воскликнул Вилли.

— Да, сынок. Теперь уж всю жизнь придется быть начеку. Все только начинается.

Они неторопливо обогнули карусель.

— А как же мы их узнаем? — допытывался Вилли. — На кого они будут похожи?

— Может быть, они уже здесь, — тихо ответил отец.

Оба друга быстро огляделись. Но поблизости была только карусель да они сами. Тогда Вилли поднес руки к лицу и внимательно осмотрел их, перевел взгляд на Джима и снова — на отца.

Чарльз Хэллуэй кивнул. Только один раз. Потом взялся за медный шест и легко вскочил на карусель. Вилли встал рядом с ним. И Джим тоже. Джим потрепал гриву черного жеребца, Вилли погладил коня по шее. Огромный круг плавно накренился на волнах ночи.

«Только три кружочка вперед, — подумал Вилли. — Ну, поехали!»

«Четыре круга вперед, приятель, — подумал Джим. — Поживее!»

«Всего десять кругов назад, — подумал Чарльз Хэллуэй. — Господи!»

Каждый из них по глазам понял мысли другого.

«Неужели так легко?» — подумал Вилли.

«Всего-то разочек», — подумал Джим.

«Только начни, — думал Чарльз Хэллуэй, — и уже не остановишься. Еще круг, и еще один. А после начнешь друзьям предлагать прокатиться, и другим тоже...»

Все трое одновременно вздрогнули от одной и той же мысли:

«...и вот ты уже катаешь Хозяина карусели... и уродов, владельца маленького кусочка вечности в темном бродячем цирке...»

«Да, — сказали они глазами, — может быть, они уже здесь». Чарльз Хэллуэй покопался в инструментальном ящике и вытянул небольшую кувалду. Тщательно примерившись, он разбил основные шестерни, потом, вместе с ребятами, обошел карусель и поработал над распределительным щитом, пока он не разлетелся вдребезги.

— Может, и ни к чему, — задумчиво проговорил он. — Уродов нет, а

без них, без их энергии она и работать не будет, но все-таки... — И он еще раз трахнул кувалдой в центр механизма, после чего отшвырнул ее прочь.

— Должно быть, за полночь уже.

Часы на здании мэрии, часы на баптистской церкви, часы на католических церквях дружно пробили полночь. Ветер принес облачко семян Времени.

— Кто последний до семафора, тот — старая тетка!

Мальчишки рванулись, как пули из пистолета.

Лишь мгновение помедлил старик. Смутная боль шевельнулась в груди. «Ну и что будет, если я побегу? — думал он. — Умру? Эка важность! А вот то, что перед смертью, — это важно по-настоящему. Мы славно поработали сегодня, такую работу даже смерть не испортит. Ребята вон как дунули... почему бы и мне... не последовать?»

Так он и сделал.

Господи! Как здорово испаривать росное одеяло на потемневшей траве. Мальчишки неслись, как пони в упряжке. Может, когда-нибудь придет такое время, что кто-то добежит до цели первым, а кто-то — вторым, а то и вовсе не добежит. Когда-нибудь... только не сейчас. Эта первая минута нового дня не годилась для такого. На бегу не было времени разглядывать лица — кто старше, кто моложе. Это был уже другой, новый день октября, и в этом году он оказался куда лучше прочих, хотя час назад и мысли такой ни у кого не возникло бы. Луна в компании со звездами в великом кружении уходила к неизбежному рассвету. Потом она исчезнет, и от слез этой ночи не останется ни следа. Вилли бежал, смеялся и пел, Джим деловито проводил пресс-конференцию сам с собой, и так они мчались к городу по стерне, и город, где им еще сколько-то лет жить напротив друг друга, надвигался все быстрее.

А сзади трусил пожилой мужчина со своими то добродушными, то печальными мыслями.

Наверное, мальчишки невольно притормаживали, а может, наоборот, Чарльз Хэллуэй нагнал. Ни они, ни он не могли бы сказать, как оно было на самом деле. Но главное не в этом. Главное, мужчина был у семафора одновременно с ребятами.

Вилли хлопнул ладонью по столбу, и Джим хлопнул ладонью по столбу, но в тот же самый момент и по тому же самому столбу семафора хлопнула рука Чарльза Хэллуэя.

Тройной победный клич зазвенел на ветру.

Чуть позже, под бдительным присмотром луны, трое оставили позади луга и вошли в город.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

1

Стихи в переводе Я. Берлина.

Стихи в переводе Ю. Вронского.

Click, Pic, Flick — эти слова созвучны названиям американских бульварных изданий с минимальным количеством текста и большим количеством иллюстраций. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Автор стихотворения — английский поэт XIX века Мэтью Арнольд.
Перевод И. Оньшук.

Ортега-и-Гассет — видный испанский писатель и философ XX века.

Томас Лав Пикок — английский писатель и поэт, близкий друг Шелли.

«Уолден, или Жизнь в лесах» — известное произведение классика американской литературы XIX века Генри Давида Торо.

Антиетам – город, при котором произошло известное сражение в сентябре 1862 г., когда северяне потеряли двенадцать тысяч солдат, а южане – более девяти тысяч и вынуждены были отступить за реку Потомак.

Великая армия Республики – организация ветеранов-юнионистов, учреждена после окончания войны Севера и Юга в 1866 г.

Шайло – битва при Шайло произошла в апреле 1862 года.

– *Похищенное?* – У мистера По было такое слово. – Имеется в виду рассказ Эдгара По «Похищенное письмо» (1842).

Уолденский пруд – отсылка к философскому произведению американского писателя и мыслителя Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854).

Аппоматокс – город в штате Виргиния, в ратуше которого 9 апреля 1865 г. был подписан акт о капитуляции армии Юга в Гражданской войне.